

84(2Рос) 1 W 305

# СОЧИНЕНІЯ Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ  
ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

W

Съ портретомъ автора и статей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

8255

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

552.

БИБЛИОТЕКА  
И. Ф. 1905 г.  
1114

Цѣна cadaго тома 1 рубль.

БІБЛІОТЕКА  
Станіславського  
Училищного Інституту  
Школяр.

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности  
помѣщены при шестомъ томѣ.

4-е издание Ф. Павленкова.

4 нум 1941

30/3271 (1894)

НБ ПНУС  
5548

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Г. ФАРВЕРА, Екатерининскій кан., 59.  
1903.

# ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

1859.

	СТР.
1) Первые литературные опыты . . . . .	1

1861.

*5868*

2) Несоразмѣрныя претензіи. . . . .	225
3) Народныя книжки . . . . .	237
4) Идеализмъ Платона . . . . .	257
5) Физиологическіе эскизы Молешота. . . . .	281
6) Процессъ жизни. . . . .	307
7) Схоластика XIX вѣка . . . . .	331
8) Стоячая вода. . . . .	401
9) <u>Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ</u> . . . . .	437
10) Женскіе типы . . . . .	481
11) Библиографическія замѣтки. . . . .	529
12) Меттернихъ . . . . .	561



## ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ.

(Библиографическія замѣтки и критическія статьи изъ журнала «Разсвѣтъ», 1859 г.).

**Записки доброй матери или послѣднія ея наставленія при выходѣ дочери въ свѣтъ.**  
Спб. 1858 г. Ц. 1 р.

Книга эта, по своему важному предмету, заслуживаетъ полнаго нашего вниманія. Эти послѣднія наставленія, писанныя отъ имени умирающей матери, заключаютъ въ себѣ взглядъ автора на значеніе женщины, на положеніе ея въ обществѣ и на ея обязанности. Вся книга раздѣляется на 4 части.

Въ первой части авторъ говоритъ о женщинѣ вообще и опредѣляетъ ей мѣсто въ природѣ. Мнѣнія его о различномъ назначеніи мужчины и женщины довольно вѣрны, но не новы; первому онъ предоставляетъ дѣятельность внѣшнюю, государственныя и общественныя заботы; на долю второй оставляетъ домашнюю жизнь, воспитаніе дѣтей, дѣятельность въ семейномъ быту. Можно однако замѣтить, что дѣленіе это у него сдѣлано слишкомъ рѣзко и вредитъ разумной самостоятельности женщины, ставя ее въ полную зависимость, во-первыхъ—отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, во вторыхъ—отъ мужчины. Почему-же женщинѣ не заняться наукою для науки, почему ей не посвятить себя искусству, ежели она чувствуетъ къ тому внутреннее призваніе? Вообще первая часть, кромѣ этого отдѣла, заключаетъ въ себѣ общія мѣста о необходимости сохранять здоровье, заботиться до нѣкоторой степени о наружности и обогащать умъ познаніями; во всемъ этомъ нѣтъ ничего новаго; самыя гигиеническія указанія очень неопредѣленны и ограничиваются совѣтами быть умѣренной во всемъ, беречься простуды, избѣгать сквознаго вѣтра.

Во второй части говорится о добродѣтеляхъ, необходимыхъ для женщины, и объ образованіи ея ума. Говоря о сердцахъ женщины, авторъ какъ-то странно отдѣляетъ душу отъ сердца и старается опредѣлить различіе между тѣмъ и другимъ.

«Душа—мать добродѣтелей, сердце—источникъ чувствъ нашихъ; душа дѣлаетъ насъ достойными любви, а сердце учитъ любить; души мы обязаны счастьемъ, а сердцу—способами, какъ пользоваться этимъ счастьемъ; первая, бывъ безпрестанно дѣятельна, требуетъ силы, постоянства; второму необходимы чувствительность и доброта, потому что оно постоянно любитъ. Душа совершеннѣе, а сердце прекраснѣе; добрая душа, кажется, не подвластна никакому заблужденію, а наилучшее сердце можетъ ошибиться».

Это чрезвычайно непонятно; вообще авторъ любитъ раздѣлять то, чего раздѣлять нѣтъ ни надобности, ни возможности; при этомъ онъ вдается въ такія психологическія тонкости, которыя только затемняютъ дѣло и въ сущности ни къ чему не ведутъ; такъ, напримѣръ, онъ отдѣляетъ «доброту» отъ «добродѣтели», «неаккуратность» отъ «безпорядка» и долго рассуждаетъ о мнимомъ различіи ихъ между собою. Несмотря на эти недостатки, изложенія о добродѣтели, необходимой для женщины, опредѣлены вѣрно; указывая на добродѣтель, авторъ въ то же время упоминаетъ и о тѣхъ крайностяхъ, къ которымъ можетъ повести излишнее преобладаніе самаго благороднаго качества. Доброта можетъ перейти въ слабость, чувствительность часто разстраиваетъ здоровье, постоянство иногда доходит до упрямства. Что касается до развитія умственныхъ способностей, то основній взглядъ автора на образованіе женщины совершенно невѣренъ. Вотъ его подлинныя слова:

«Всѣ даже науки и искусства, которыми женщины преимущественно занимаются въ молодости, имѣютъ двоякую цѣль: первая—придать себѣ прелести и приобрести средства всѣмъ нравиться; вторая, по моему, болѣе важная, — удѣлять ихъ дѣтямъ».

А гдѣ-же внутренняя самостоятельность женщины? Неужели она должна развивать свой умъ только для свѣта, для мужа и для дѣтей? Неужели она должна совершенно оставить въ сторонѣ свою собственную личность? Нѣтъ, женщина

должна также учиться и для самой себя; она должна развивать свои умственные способности для того, чтобы возвысить и облагородить свою личность, чтобы выработать себя светлый взгляд на вещи, чтобы освободиться от предрассудков, чтобы сделаться нравственно совершеннее. Женщина, близкая къ идеалу, развитая во всѣхъ отношеніяхъ, всегда будетъ и хорошею женой, и примѣрною матерью. Эта невѣрность взгляда автора на цѣль образованія женщины выражается въ томъ, что онъ ограничиваетъ и стѣсняетъ кругъ наукъ, которыхъ изученіе считается необходимымъ; самый процессъ изученія является поверхностнымъ и недостаточнымъ. Глава о чтеніи содержитъ въ себѣ полезныя совѣты и указанія на то, что нужно читать со вниманіемъ и дѣлать выписки; жаль только, что авторъ возстаетъ противъ всѣхъ романовъ безъ исключенія и не допускаетъ даже существованія такихъ романовъ, въ которыхъ можно было бы видѣть жизнь и людей безо всякихъ прикрасъ,—въ томъ свѣтѣ, въ какомъ являются они на самомъ дѣлѣ. А такіе романы и повѣсти существуютъ, и чтеніе ихъ, не оскорбляя ни нравственности, ни приличія, развиваетъ чувство изящнаго и даетъ правильный взглядъ на жизнь.

Третья часть говорить о недостаткахъ, которыхъ должна остерегаться дѣвушка; это лучшая часть всей книги; самые недостатки подмѣчены и опредѣлены очень вѣрно, но любящая мать подтверждаетъ слова свои примѣрами, взятыми изъ жизни,—примѣрами, въ которыхъ, разумѣется, порокъ наказывается и торжествуетъ добродѣтель. Лучше было-бы, когда бы этихъ примѣровъ совсѣмъ не было; пора перестать говорить съ дѣвushкою, какъ съ ребенкомъ; довольно объяснить ей, чтѣ дурно и чтѣ хорошо, зачѣмъ-же еще грозить ей наказаніемъ; добродѣтель должна быть слѣдствіемъ сознанія долга и внутренняго убѣжденія, а дѣлать добро по заказу, для награды или по страху наказанія, мелко и недостойно развитого человѣка. Къ тому-же почти всѣ наказанія, которыми грозить маменька, состоятъ въ томъ, что можно по тому или другому недостатку упустить блестящую партію. Странно! Неужели-же дѣвушка должна исправляться отъ своихъ недостатковъ для того только, чтобы поскорѣе выйти замужъ? Это оскорбляетъ достоинство женщины. Кромѣ того самъ авторъ противорѣчитъ себѣ, потому что въ 4-й части мать убѣждаетъ дочь свою не слѣзнуть замужествомъ, говорить о прелести дѣвичьей жизни и замѣчаетъ, что лучше весь вѣкъ остаться въ дѣвushкахъ, нежели выйти замужъ кое-какъ, не обсудивъ этого важнаго шага и не узнавъ коротко жениха.

Четвертая часть состоитъ изъ общихъ разсужденій о дружбѣ, о любви, о семейной жизни и о свѣтскихъ отношеніяхъ. Въ этихъ разсужденіяхъ много хорошаго, когда говорится объ

обязанностяхъ жены и матери; но странно, что авторъ ставитъ супружество «по разсудку и уваженію» выше брака «по истинной любви». На любовь авторъ смотритъ какъ-то не совсѣмъ дружелюбно; онъ смѣшиваетъ истинное чувство, основанное на взаимномъ уваженіи и пониманіи, съ пустою игрою фантазіи.

Авторъ, какъ мы видѣли, не понималъ истиннаго значенія женщины и безсознательно отнялъ у нея то высокое мѣсто, которое она должна занимать въ человѣческомъ обществѣ. Въ частности, чисто практическіе совѣты его могутъ принести пользу, но основной взглядъ рѣшительно не выдерживаетъ критики.—Изложеніе очень неудовлетворительно: риторическія фигуры и избытки сравненія встрѣчаются на каждомъ шагу; попадаются даже въ очень серьезномъ разсужденіи выраженія «храмъ Гименея», «крылатый божокъ» и тому подобныя вычурности. Языкъ тяжелъ, а мѣстами даже совершенно неправиленъ.

#### Стихотворенія Юліи Жадовской.

Всѣ стихотворенія Ю. Жадовской проникнуты истиннымъ, неподдѣльнымъ чувствомъ, которое вездѣ преобладаетъ надъ поэтическимъ творчествомъ; оттого въ каждомъ стихотвореніи есть что-то недосказанное, неопредѣленное; мысль и чувство не всегда находятъ себѣ соответствующіе образы и не вполне укладываются въ словѣ. Несмотря на эту недостаточность формы, несмотря на эту недосказанность и неопредѣленность, искренность чувства и тихая задушевная грусть придаютъ стихотвореніямъ Ю. Жадовской особенную трогательную прелесть; грусть эта ищетъ себѣ отраженія въ явленіяхъ природы; и восходъ солнца, и лѣтній вечеръ, и легкое облачко, и падающая звѣзда находятъ себѣ сочувствіе въ душѣ Ю. Жадовской и наводятъ на нее мрачныя мысли; то тоскуетъ она о несовершенствахъ жизни, то груститъ собственнымъ горемъ, то съ печальной улыбкой вспоминаетъ о невозвратимомъ прошедшемъ. И вездѣ господствуетъ глубокая затаенная грусть, которая выражается просто и безыскусственно. Укажемъ нашимъ читательницамъ на нѣкоторыя изъ лучшихъ стихотвореній Ю. Жадовской. Къ числу такихъ стихотвореній относятся: «Исторія цвѣтовъ», XXXIX-е, «Сила звуковъ», XLVII-е, «Необходимое притворство», «Неутоленная жажда», XCIX-е, «Нива», Посѣвъ», «Посѣщенія». Мы обратили вниманіе нашихъ читательницъ только на самыя замѣчательныя изъ поэтическихъ произведеній Ю. Жадовской,—на тѣ, въ которыхъ форма всего болѣе соответствуетъ содержанію, въ которыхъ прекрасная идея выражается въ художественномъ образѣ. Приводимъ для примѣра стихотвореніе 1-е, замѣчательное по глубинѣ мысли:



Лучшій перлъ таятъ  
 Въ глубинѣ морской;  
 Зрѣтеъ мысль святая  
 Въ глубинѣ души.  
 Надо сильно бурѣ  
 Море взволновать,  
 Чтобъ оно въ бореньи  
 Выбросило перлъ;  
 Надо сильно чувству  
 Душу потрясти,  
 Чтобъ она въ восторгѣ  
 Вырзила мысль.

Въ этомъ стихотвореніи лежитъ глубокая идея. Только сильное волненіе можетъ вызвать наружу завѣтную мысль, которая таятъ въ глубинѣ души; человекъ бережетъ и лелѣетъ эту мысль, не хочетъ и не можетъ ея высказать; она для него священна, онъ боится подѣлиться ею съ другими, которые, быть можетъ, не поймутъ ея; она слишкомъ сильна, слишкомъ обширна, чтобы выразиться, и до времени таятъ, но настанетъ рѣшительная минута, которая потрясаетъ всю внутреннюю природу человека, и эта завѣтная мысль съ неудержимой силою легко и свободно вылетаетъ во вдохновенномъ словѣ или въ гениальномъ произведеніи. Сравненіе задушевной мысли съ перломъ, выброшеннымъ моремъ во время бури, образъ, въ которомъ выражена эта прекрасная идея, немного натянуть, и потому слабъ и блѣденъ. Приводимъ для сравненія стихи Шиллера, въ которыхъ высказывается та-же мысль:

Ich wohn in einem steinernen Haus,  
 Da lieg ich verborgen und schlafe,  
 Doch ich trete hervor, ich eile heraus  
 Gefordert mit eiserner Waffe.  
 Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein,  
 Mich kann dein Athem bezwingen;  
 Ein Regentropfen schon saugt mich ein,  
 Doch mir wachsen im Siege die Schwingen:  
 Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt,  
 Erwachs' ich zum furchtbarn Gebieter der Welt.

Какой оригинальный образъ: сравненіе гениальной мысли и поэтического творчества съ искрою, которая отъ удара желѣза вырывается изъ холоднаго кремня и разрастается въ могучій пламень,—это одно изъ такихъ сравненій, которыя составляютъ принадлежность великихъ поэтовъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что этотъ прекрасный образъ рѣшительно не передать въ русскомъ переводѣ Мейснера:

Я въ каменномъ домѣ незримо живу  
 И сплю въ безмятежномъ покоѣ;  
 Но я не могу не предстать на яву,  
 Заслыша оружье стальное.  
 Сперва я чуть видимъ, безсиленъ и малъ,  
 Дыханье твое мнѣ опасно;  
 Довольно дождинки—я въ мигъ и пропамъ,  
 Но въ сушѣ расту я ужасно:  
 Когда же со мною мой братъ заодно—  
 Весь мѣръ мнѣ тогда утрапять суждено.  
 (Шиллеръ въ переводѣ русскихъ поэтовъ,  
 т. II, стр. 195).

Изъ стихотвореній Ю. Жадовской приведемъ еще одно, въ которомъ выражено поэтическое сочувствіе къ бѣдной трудовой жизни поселенна:

Грустная картина!  
 Облакомъ густымъ  
 Вьется изъ овина  
 За деревней дымъ.  
 Незавидна мѣстность:  
 Скучная земля,  
 Плоская окрестность,  
 Выжаты поля.  
 Все какъ бы въ туманѣ,  
 Все какъ будто спитъ...  
 Въ худенькомъ кафтанѣ  
 Мужичекъ стоитъ,  
 Головой качаетъ,—  
 Умолотъ плохой,—  
 Думаешь, гадаешь:  
 Какъ-то быть зимой?  
 Такъ вся жизнь проходитъ  
 Съ горемъ пополамъ;  
 Тамъ и смерть приходитъ,  
 Съ ней конецъ трудамъ.  
 Причастить большого  
 Деревенскій попъ;  
 Принесутъ сосновый  
 Отъ сосѣда гробъ;  
 Отпоютъ унылъ...  
 И старуха мать  
 Долго надъ могилой  
 Будетъ причитать

Какимъ теплымъ, мягкимъ сочувствіемъ дышатъ эти простые, безыскусственные строки; это простой рассказъ жизни поселенна,—рассказъ, вылившійся прямо изъ души поэта, не получившій въ словѣ никакихъ прикрасъ, но зато проникнутый тихою, какъ бы робкою грустью и глубокимъ искреннимъ чувствомъ. Въ этихъ стихахъ нѣтъ ни претензій на эффектъ, ни желчи, ни сатирическихъ выходокъ; въ нихъ отразилась мягкая, нѣжная душа женщины, которая понимаетъ несовершенство жизни и грустить молча и безропотно. Такое направленіе проходитъ чрезъ всѣ стихотворенія Ю. Жадовской, но не вездѣ выражается въ такой опредѣленной и законченной формѣ. Кромѣ того въ другихъ произведеніяхъ Ю. Жадовской вниманіе поэта обращено на свой внутренній мѣръ, и причиною неясности является отчасти самый предметъ. Понять, уловить, выразить въ поэтической формѣ движеніе собственной души—неопредѣленное чувство, несознанное стремленіе, труднѣе, нежели изобразить внѣшнюю природу. При первомъ нуженъ глубокой психологическій анализъ, при второмъ—достаточно одного поэтического чувства. Во всякомъ случаѣ, обращаемъ вниманіе нашихъ читательницъ на стихотворенія Ю. Жадовской; многія изъ указанныхъ нами произведеній стоятъ на ряду съ лучшими созданіями русской поэзии. Къ тому-же женщина лучше насъ пойметъ и оцѣнитъ чувства женщины и сердечнымъ сочувствіемъ отзовется на задушевное, грустное слово.

**Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова.**  
*Я. Г. Е.—А.* («Отечеств. Записки», 1858 г., январь).

Наталья Борисовна Долгорукова, дочь фельд-маршала графа Бориса Петровича Шереметева, въ началѣ царствованія Анны Иоанновны вышла замужъ за князя Ивана Алексѣевича Долгорукова, бывшаго любимцемъ Императора Петра II. Когда весь родъ Долгоруковыхъ въ царствованіе Анны Иоанновны подвергся опалѣ, Наталья Борисовна послѣдовала за мужемъ своимъ въ ссылку,—сначала въ дальнія деревни, потомъ въ Сибирь, въ Верезовъ. Девять лѣтъ прожила она въ изгнаніи; мужъ ея былъ казненъ вмѣстѣ съ тремя своими дядями, а Наталья Борисовна, возвращенная изъ ссылки при Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, удалась въ Кіевскій монастырь и умерла схимницею. Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ біографія знаменитой страдальцы,—женщины, посвятившей всѣ силы души святому чувству,—женщины, которой имя осталось въ исторіи, хотя она не была ни правительницей, ни писательницей,—хотя жизнь ея была только длиннымъ рядомъ страданій. Особенно утѣшительное явленіе представляетъ свѣтлый образъ княгини Долгоруковой въ половинѣ XVIII столѣтія среди безпрестанныхъ переворотовъ и смутъ, среди сценъ насилій и дворцовыхъ интригъ. Наталья Борисовна узнала и полюбила Ивана Алексѣевича при жизни Императора Петра II, когда Долгоруковы стояли еще на верху могущества, когда всѣ ожидали, что Иванъ Алексѣевичъ заступитъ мѣсто павшаго Меншикова, когда сестра его была обрученною невѣстою Государя. Но Императоръ умираетъ, и сцена переменяется. Долгоруковы сходятъ съ политическаго поприща, и въ городѣ уже посятся слухи объ окончательной ихъ опалѣ. Родственники Натальи Борисовны убѣждаютъ ее отказать жениху. Но 16-лѣтняя дѣвушка съ негодованіемъ отвергаетъ всѣ ихъ доводы. «Когда онъ былъ великъ,—пишетъ она въ своихъ запискахъ,—такъ я съ удовольствіемъ за него шла, а когда онъ сталъ несчастливъ, отказать ему? Я такому безсовѣстному совѣту согласія дать не могла и такъ положила свое намѣреніе, отдавъ одному сердцу, жить или умереть вмѣстѣ, а другому нѣтъ уже участія въ моей любви». Возникаетъ вопросъ,—имѣлъ ли князь Долгоруковъ, ожидавшій опалы, право связать судьбу свою съ участіемъ прелестнаго молодого существа, которому повидному такъ улыбалась жизнь? Зная историческую личность князя Долгорукова, трудно рѣшить, понималъ ли онъ великость подвига своей невѣсты, былъ ли онъ способенъ оцѣнить ее, и потому нельзя сказать утвердительно, какая побудительная при-

чина заставила его принять приносимую ему жертву. Въ счастливые дни свои онъ является намъ обыкновеннымъ временникомъ, надменнымъ и честолюбивымъ, и только очистительная сила несчастія облагородила его, дала ему средство умереть истиннымъ человѣкомъ и спасла его память отъ нареканій потомства. Въ несчастіи смыслъ онъ съ себя пагубные слѣды тогдашняго превратнаго воспитанія и положенія своего при дворѣ; въ несчастіи является онъ человѣкомъ съ великой душой, достойнымъ любви своей супруги. Одно то обстоятельство, что онъ могъ быть любимымъ такою женщиною, какова была Наталья Борисовна, доказываетъ намъ, что онъ стоялъ выше уровня людей того времени, выше мелкихъ бездушныхъ честолюбцевъ. Что касается до личности самой княгини, то конечно она не принадлежитъ къ своему вѣку; она гораздо выше его и возбуждаетъ теплое почтительное чувство. Вы не ограничьтесь однимъ уваженіемъ, вы полюбите ее какъ благородную женщину, умѣвшую любить, умѣвшую страдать. Это не античная статуя, поражающая правильностью формъ, строгая и холодная; это живая женщина съ истинно человѣческимъ, глубокимъ чувствомъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о самой статьѣ. Это, по словамъ самого автора, не исторія, а только бѣглый очеркъ одной изъ благороднѣйшихъ личностей исторіи. Изъ нея читательницы наши, незнакомыя съ Наталіей Борисовною, могутъ вкратцѣ (въ этой статьѣ всего 26 стр.) узнать главные факты ея жизни и характеръ той эпохи, въ которой она жила и дѣйствовала. Паденіе Меншикова, обрученіе Петра II съ княжною Долгоруковой и смерть его, вступленіе на престолъ Анны Иоанновны описаны довольно живо и подробно, можетъ быть даже слишкомъ подробно по объему всей статьи. Обстановка—важное дѣло; не зная ея, не зная духа времени, нельзя понять ни личности героини, ни смысла событій; тѣмъ не менѣе не должно въ пользу этой обстановки жертвовать главнымъ дѣйствующимъ лицомъ; на него обращено слишкомъ мало вниманія сравнительно съ окружающими его обстоятельствами; оно не выдвигается на первый планъ и иногда даже теряется изъ виду въ теченіе нѣсколькихъ страницъ.—Нужно было говорить не столько о ходѣ политическихъ событій, сколько о впечатлѣніи, какое производили они на княгиню Долгорукову. Это блѣже обрисовало бы ея характеръ; но, повторяемъ, рассказъ, когда онъ касается личности Натальи Борисовны, дѣлается очень интересенъ, тѣмъ болѣе, что онъ оживленъ цитатами изъ ея записокъ, въ которыхъ она съ такой благородной простотою, съ такой покорностью сама говоритъ о своихъ несчастіяхъ.

**Образованіе женщинъ средняго и высшаго состоянія.** *Г. Апшелльрота.* («Отечеств. Записки» 1858 г. № 2).

Хотя статья Апшелльрота написана болѣе для матерей семейства и для педагоговъ, нежели для нашего круга читателейъ, мы не можемъ пройти ее молчаніемъ; предметъ слишкомъ важенъ и слишкомъ близко касается дѣли и направленія нашего журнала. Всѣмъ извѣстно, что воспитаніе женщинъ въ наше время еще не вполне соотвѣтствуетъ высокому ихъ назначенію; со времени Грибоѣдова, поднявшаго въ «Горѣ отъ ума» вопросъ о нашихъ женщинахъ, говорить и пишутъ о *мишурномъ блескѣ, о внутренней пустотѣ* женскаго воспитанія, а до сихъ поръ еще не все переговорено. Слова остаются словами. Теоріи не проводятся въ жизнь. Женщины по прежнему живутъ болѣе внѣшнею жизнью свѣтскихъ удовольствій, оставляютъ свои обязанности, мало думаютъ о воспитаніи дѣтей. А между тѣмъ рѣдка серьезная статья не указываетъ на этотъ недостатокъ нашего общества; рѣдкій романъ, рѣдкая повѣсть не представляютъ гибельныхъ послѣдствій превратнаго воспитанія нашихъ женщинъ.

Статья Апшелльрота — прекрасный протестъ противъ этого общественнаго зла, прекрасный по своей идѣ, прекрасный потому, что, указывая болѣзнь, авторъ указываетъ и средства исцѣленія и по мѣрѣ силъ старается представить идеалъ правильнаго женскаго развитія. На этомъ основаніи статью эту можно раздѣлить на двѣ части, какъ дѣлитъ ее и самъ авторъ: одна, отрицательная, послѣдовательно представляетъ развитіе зла, разбираетъ причины, изъ которыхъ сложилось современное превратное направленіе воспитанія, наконецъ раскрываетъ до послѣднихъ подробностей результаты, къ которымъ оно ведетъ, и выставляетъ разительные примѣры нравственнаго и умственнаго разлада между мужемъ и женою, — разлада, отравляющаго домашній бытъ, порождающаго семейныя непріятности, ссоры, слезы, несчастія. Мы назвали эту часть отрицательною, потому что въ ней указываются недостатки; въ этомъ же смыслѣ гоголевскія личности называются отрицательными типами.

Вторая часть, положительная, показываетъ намъ женщину идеальную и воспитаніе ея такое, какимъ оно должно быть по мнѣнію Апшелльрота.

Первая часть вполне удовлетворительна, да и не мудрено. Это вѣрный снимокъ съ натуры, проникнутый искреннимъ, благороднымъ негодованіемъ. Вообще и въ изящной литературѣ нашей, и въ серьезныхъ статьяхъ лучше удаются отрицательныя стороны, отрицательныя

типы; и это понятно: все, что насъ окружаетъ, содѣйствуетъ развитію отрицательныхъ характеровъ, оттого и натурально видѣть отраженіе ихъ въ литературѣ; они списаны съ натуры; мы узнаемъ ихъ, узнаемъ себя и свое общество въ уродливыхъ типахъ. — Говорить объ уродствѣ легче, нежели представлять идеалъ красоты, потому что легче вообще порицать, нежели хвалить. Люди обыкновенные, дюжинные встрѣчаются чаще великихъ людей, а между тѣмъ въ этой обыкновенности много недостатковъ, много печальныхъ сторонъ.

Все, что мы сказали вообще, можно отнести къ нашимъ женщинамъ, къ положенію ихъ въ обществѣ, къ семейнымъ ихъ отношеніямъ, къ условіямъ, подъ которыми онѣ развиваются.

Все это *обыкновенно*; и недостатки этой обыкновенности прекрасно выставилъ Апшелльротъ. Особенно поразительны его примѣры семейныхъ несчастій, хотя мысль сама по себѣ и не нова:

«Посмотрите на эту чету супруговъ: жена воспитана по модѣ, недурна собою, премно бо таетъ по-французски, ловко себя держитъ и даже иногда, не только при постороннихъ, прогремитъ на роялѣ презатѣйливую піеску — конечно тоже модную и твердо-заученную; а мужъ — человѣкъ дѣловой, просвѣщенный и мыслящій; всмотритесь въ нихъ пристальнѣе: кажется, чего бы имъ не доставало? Оба образованы и учены всему, а другъ друга не понимаютъ, будто соплились они съ разныхъ планетъ. Онъ смотритъ на жену свою съ прискорбіемъ и какимъ-то проницательнымъ сожалѣніемъ и принужденъ съ нею объясняться чрезъ посредство другихъ. Ему хотѣлось бы и самому съ нею побесѣдовать отъ души, и начиналъ онъ не разъ такую бесѣду, но она не могла его понять — скучала, зѣвала и внезапно прерывала его какимъ-нибудь пустѣйшимъ вопросомъ; и замолкалъ онъ тогда, и съ грустью уходилъ отъ нея и затаивалъ въ груди своей горькое чувство своего одиночества, одиночества узника, скованнаго супружескимъ долгомъ, отношеніями семейными и пустосвѣтскими. Много разъ пытался онъ устроить свой семейный бытъ разумно и правильно, но отказался наконецъ отъ этой мечты, махнулъ рукой и пріютился въ клубѣ, гдѣ и находитъ себѣ покой и утѣшеніе. Она же очень довольна собою и даже мужемъ, всегда въ свѣтскомъ кругу, всегда развлечена, прославлена всѣми львами, никогда не бываетъ наединѣ съ собою и дома, у себя, вѣчно въ гостяхъ».

Не правда ли, *mesdames*, тутъ есть надъ чѣмъ задуматься. Мужъ и жена любятъ другъ друга (насколько умѣютъ), оба молоды, богаты, образованы (по-нашему). Чѣмъ не жизнь? А все чего-то недостаетъ. И въ этомъ нельзя обвинять жену; она — невинная причина этого постоянного томительнаго недоразумѣнія, этого недоговореннаго, непонятаго въ ихъ отношеніяхъ.

Можетъ ли иначе чувствовать, можетъ ли иначе смотрѣть на жизнь женщина, воспитанная такъ, какъ воспитывается большинство нашихъ женщинъ?

«Но вотъ и другая чета — средняго состоянія, семья небогатая. Мужъ трудами своими и служ-

бою добываетъ честно все необходимое для умѣренной... безбѣдной жизни, а на дорогія затѣи и роскошныя прихоти у него средствъ недостаетъ. Жена воспитана въ модномъ пансіонѣ, привыкла къ великолѣпной обстановкѣ, отъ сверстницъ насладилась разныхъ соблазнительныхъ разказовъ объ удовольствіяхъ свѣтской жизни и требуетъ отъ мужа такой-же щеголеватой обстановки, такихъ-же нарядовъ и удовольствій, какими пользуются ея прежнія пансіонскія подружки. Онъ не въ состояніи удовлетворить этимъ требованіямъ — и вотъ начинается домашняя война, семейныя сцены; это повторяется довольно часто, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Безпрерывная война на булавкахъ убійственна, тѣмъ болѣе, что эти нападенія дѣлаются на беззащитнаго мужа въ то время, когда онъ, утомленный отъ трудовъ и заботъ, нуждается въ покоѣ душевномъ и тѣлесномъ; эти булавочныя нападенія неотразимы, а потому чрезвычайно утомительны и невыносимы. Кончается тѣмъ, что честный человѣкъ, чтобъ отдохнуть хоть на минуту въ своей семьѣ, исполняетъ требованія жены, а для этого принужденъ прибѣгнуть къ чрезвычайнымъ мѣрамъ; онъ берется за кривыя дѣла, выжимаетъ взятки, пускается въ грязныя аферы и становится мерзавцемъ; или отъ чрезвычайныхъ усилій и трудовъ становится жертвою чахотки... А семейнаго мира все нѣтъ; желанія и требованія такой женщины неограниченны и увеличиваются по мѣрѣ ихъ удовлетворенія...

Для полноты, приведу еще одинъ примѣръ благотѣльнаго вліянія этой лоценой полубразованности. Небогатый, но трудолюбивый и честный человѣкъ по любви и здравому разсужденію женился на дѣвушкѣ простенькой, скромной, добродушной, воспитанной въ пагубархальной простотѣ. Они устроили скромное свое житье-бытье; онъ трудится и добываетъ необходимое; она хозяйничаетъ, какъ умѣетъ; все идетъ прекрасно, оба довольны своимъ состояніемъ. Но вотъ молодая женщина познакомилась съ сосѣдкой и очень ею обласкана — онѣ подружались, какъ говорится. Сосѣдка воспитана въ пансіонѣ, образована, какъ слѣдуетъ попансіонски: бывала въ свѣтѣ, знаетъ во всемъ толкъ, особенно въ нарядахъ, маскарадахъ, гуляньяхъ и т. д. Молодая простушка слушаетъ ея заманчивыя разказы о модныхъ шляпкахъ, накидкахъ, браслетахъ, объ удовольствіяхъ бальныхъ и театральныхъ; слушаетъ съ подобострастіемъ и наставленія мудрой сосѣдки, какъ себя держать, какъ жить прилично слѣдуетъ, какъ въ обществѣ бывать приятно и у себя вечера дѣлать необходимо. Заронились желанія въ головѣ бѣдной простушки. Мужъ замѣчаетъ, что у него въ домѣ что-то неладно; жена какъ будто на него дуется, иногда подтруниваетъ надъ его бѣдностью и неумѣніемъ жить прилично: сравниваетъ свое житье съ жизнью другихъ знакомыхъ, находитъ, что всѣ живутъ гораздо лучше и веселѣе, и выводитъ заключение, что мужъ ея вовсе не заботится о ея спокойствіи и счастіи, что она погубила свою молодость, вышедши за него замужъ. Потомъ начинаютъ упреки въ безчужденности, нерадивости, лѣни; упреки переходятъ въ брань, въ ссору — и «прощай хозяйскіе горшки!» Мужъ пытался уговаривать, урезонивать, упрашивать взбѣленивающую жену свою, но она ничего и слушать не хочетъ; сладкіе разказы образованной сосѣдки отуманили ея воображеніе; она возмечтала о себѣ. Наскучили наконецъ бѣдному мужу задорныя выходки жены и, чтобъ отъ нихъ избавиться, онъ началъ бѣгать

отъ своего дома, проводить свободное время гдѣнибудь съ пріятелими и за графинчикомъ, повѣряетъ имъ свое горе; ему отъ этого какъ будто становится легче, и въ теченіе времени онъ, вслѣдствіе усиленныхъ пріемовъ утѣшительной эссенціи, дѣйствительно избавляется отъ всѣхъ печалей и приобретаетъ значительный запасъ терпѣнія и великолѣпнѣйшій багровый носъ. Между тѣмъ жена, отъ скуки, еще чаще посѣщаетъ милую сосѣдку, образовывается подъ ея руководствомъ и научается наконецъ собственными природными талантами добывать себѣ всевозможные модные наряды и прихоти и пользуется не хуже другихъ образованныхъ разными невинными удовольствіями. Вотъ какіе успѣхи можетъ сдѣлать простая женщина подъ руководствомъ пріятельницы, образованной въ пансіонѣ!»

Причину этихъ печальныхъ разладовъ въ супружествѣ Аппельротъ дѣйствительно вывести изъ невѣрности основнаго взгляда на воспитаніе женщины, или, скорѣе, изъ отсутствія опредѣленнаго взгляда и направленія. Переходимъ ко второй части, къ части положительной, къ изображенію женскаго воспитанія такимъ, какимъ оно должно быть, по мнѣнію Аппельрота.

Посмотримъ сначала на цѣль его воспитанія, на конечный результатъ, къ которому должна прійти женщина, окончивая курсъ своего ученія. Исключительной сферой дѣятельности женщины Аппельротъ считаетъ семейный кругъ, домашнюю жизнь; онъ смѣется надъ учеными женщинами и съ пренебреженіемъ отзывается о женщинахъ-писательницахъ. Итакъ, вотъ одно положеніе, *женщина создана исключительно для семейнаго круга.*

Ограниченная сфера дѣятельности требуетъ ограниченнаго, до нѣкоторой степени, развитія, и Аппельротъ стѣсняетъ кругъ образованія женщины, смотритъ на нее какъ на какого-то вѣчнаго ребенка, которому нельзя и не должно говорить вещей серьезныхъ и отвлеченныхъ; онъ объясняетъ это тѣмъ, что «женщины вообще болѣе способны чувствовать сердцемъ, чѣмъ разсуждать; въ нихъ болѣе развито воображеніе, чѣмъ сознаніе, и вѣрованіе — болѣе, чѣмъ убѣжденіе».

Другое положеніе: *въ женщинѣ чувство преобладаетъ надъ умомъ*, и преподаваніе должно съ этимъ сообразоваться.

Аппельротъ распределяетъ всѣ науки, которыя считаетъ достойными для женщинъ, на три разряда:

1) Предметы, развивающіе чувство нравственнаго добра: Законъ Божій, отечественный языкъ, исторія, естественныя науки и географія.

2) Предметы, развивающіе и укрѣпляющіе мыслительную способность: отечественный языкъ, отчасти иностранныя языки и математика (арифметика и геометрія).

3) Предметы, развивающіе механическую ловкость и чувство изящнаго: чистописаніе и рисованіе, танцы, музыка, рукодѣліе и домашнее хозяйство.



ВВ. Всё эти предметы должны быть преподаваемы только въ томъ объемѣ, въ какомъ они нужны для семейной жизни, и согласно съ тѣмъ, что у женщины чувство преобладаетъ надъ умомъ.

Полож. I. *Женщина создана исключительно для семейной жизни.*

Въ наше время большинство женщинъ, при самыхъ благородныхъ стремленіяхъ, при всемъ тепломъ, искреннемъ желаніи принести пользу, часто не имѣютъ средствъ благотворно дѣйствовать на свой домашній кругъ и, не получивъ основательнаго образованія, не могутъ даже воспитать своихъ дѣтей согласно съ требованіями и духомъ времени. — При такомъ порядкѣ вещей конечно хорошо назначить имъ определенное мѣсто, дать имъ разумную дѣятельность, а дѣятельность въ семейномъ быту конечно дѣло прекрасное. Но ежели представлять себѣ идеаль развитія женщины, то можно ли допустить такую исключительность, такое деспотическое ограниченіе? Можно ли отнять у женщины всё поприща дѣятельности, кромѣ семейнаго круга?

Ежели принять равенство мужчины и женщины, можно ли совмѣстить съ этой великой идеей такое несправедливое, обидное дѣленіе? Мужчина взялъ себѣ все: и гражданскую дѣятельность, и науку, и литературу, и искусство; женщина не отказывается и отъ своей доли семейнаго счастья, а женщина *должна* довольствоваться тѣмъ, что ей оставлено: скромной своей половиной семейнаго счастья. — Воспитывая женщину исключительно только для домашней жизни, вы ставите ее въ полную безответственную зависимость отъ вѣншихъ обстоятельствъ, отнимаете у нея всякую внутреннюю самостоятельность. Нѣтъ, мы думаемъ, что женщины, какъ и мужчины, должны быть открыты всё поприща возможной дѣятельности. Гражданская жизнь наша не такъ организована, чтобы женщины могли принимать въ нихъ живое участіе, но зачѣмъ же самымъ воспитаніемъ отдалять ихъ отъ науки, литературы и искусства, когда онѣ могутъ внести въ эти области свой новый, оригинальный элементъ? Дѣло воспитанія — развить физическія, умственные и нравственные способности и потомъ предоставить полную свободу естественному влеченію; всякое ограниченіе въ воспитаніи, всякое направленіе къ извѣстной, узкой цѣли ведетъ за собою горестныя послѣдствія, особенно если одна исключительная цѣль назначается половиной человѣческаго рода.

Полож. II. *Въ женщинѣ чувство преобладаетъ надъ умомъ, и преподаваніе должно сообразоваться съ этимъ.*

Ежели и дѣйствительно преобладаетъ чувство, то неизвѣстно, дѣлается ли это по естественнымъ законамъ природы, или происходитъ отъ недостаточнаго развитія умственныхъ способностей.

Утѣшительнѣе и правдоподобнѣе было бы послѣднее предположеніе; въ противномъ случаѣ, если умственные способности женщины дѣйствительно никогда не могутъ достигнуть той степени развитія, которой достигаютъ способности мужчины, тогда невозможно равенство правъ обоихъ половъ, тогда женщины осуждены на вѣчное подчиненіе, на вѣчное рабство. Но такое предположеніе не согласно съ человѣческимъ достоинствомъ и рѣшительно не можетъ быть допущено. Неужели работа вѣковъ и тысячелѣтій, постепенно выводившихъ женщину изъ униженія и подданства, пропала даромъ? Неужели женщина никогда не будетъ вполне подружою мужчины, никогда не раздѣлитъ съ нимъ тяжелой ноши заботъ и обязанностей, неужели женщина не скажетъ своего слова въ дѣлѣ развитія человечества? Нѣтъ, это невозможно. — Дѣло воспитанія — именно развить до послѣднихъ возможныхъ предѣловъ умственные силы женщинъ, привести эти силы въ равновѣсіе съ преобладающей силою чувства, а не поглажать этому преобладанію, вредящему полной гармоніи. Переходимъ къ частностямъ.

Раздѣленіе наукъ на три разряда совершенно неестественно. Аппельротъ отдѣляетъ силу духовную отъ умственной, считаетъ одиѣ науки нужными для развитія чувства нравственнаго добра, другія — для развитія мыслительной силы. Но развѣ можно отдѣлять одно отъ другого, развѣ есть науки, которые не развивали бы мыслительной силы и въ то-же время, ведя къ истинѣ, не поддерживали чувство нравственнаго добра?

Аппельротъ самъ чувствуетъ это, и потому отечественный языкъ попалъ въ обѣ категоріи, но исторія, по его мнѣнію, не развиваетъ мыслительной силы. И немудрено. Аппельротъ представляетъ исторію какимъ-то правоученіемъ въ лицахъ, въ которомъ, какъ въ дѣтскихъ сказочкахъ, и то въ старыхъ, добродѣтель торжествуетъ, а пороки наказываются. Такъ конечно исторія не развиваетъ мыслительной способности; но ежели мы въ ней будемъ видѣть жизнь и развитіе человечества, ежели изъ нея мы будемъ изучать фізіономію и характеръ различныхъ эпохъ и народовъ, ежели, однимъ словомъ, мы будемъ смотрѣть на исторію, какъ смотрятъ на нее современные ученые, и ежели мы передадимъ этотъ свѣтлый взглядъ нашимъ ученицамъ (а передать его можно, лишь бы умѣли взяться за дѣло), тогда никакая наука больше исторіи не разовьетъ мыслительной силы.

Назначеніе всякой науки — развить умственные способности; этого развитія нельзя отдѣлить отъ развитія чувства нравственнаго добра; свѣтлый умъ, нормально развитой, горячо любить добро, потому что оно истинно, и полюбить его сознательно, умно. Аппельротъ самъ говоритъ, что въ сущности чувство нравственнаго добра, чувство истины и чувство прекраснаго —

одно и то же. Къ чему же его неестественное дѣленіе? Къ чему же на первомъ планѣ поставлено развитіе чувства нравственнаго добра, когда оно путемъ науки невозможно безъ стремленія къ истинѣ? Надо сначала пробудить это стремленіе, вызвать къ дѣятельности силы молодого ума, и тогда плодомъ этого стремленія явится истинное, сознательное чувство нравственнаго добра.

Въ третьемъ отдѣлѣ соединяются изящныя искусства и чисто-практическія упражненія; рисованіе и музыка поставлены рядомъ съ чисто-писаніемъ и домашнимъ хозяйствомъ. Апельротъ смѣшиваетъ чувство изящнаго съ опрятностью и аккуратностью.

Еще нѣсколько словъ: изученіе литературы, изученіе народа въ его словѣ, эта высшая наука не нашла себѣ мѣста въ программѣ Апельрота; онъ какъ будто съ прискорбіемъ допускаетъ чтеніе иностранныхъ писателей, и даже изученіе отечественной литературы стоитъ у него на степени полезнаго развлеченія, не болѣе.

Трудно по объему нашего журнала войти въ болѣе подробный разборъ статьи Апельрота. На этотъ разъ довольно будетъ и этихъ бѣглыхъ общихъ замѣчаній. Итакъ, статья, прекрасная по вызвавшей ее идеѣ, представляетъ нѣкоторые недостатки въ выполненіи: она стѣсняетъ дѣятельность женщины, ставитъ ее ниже мужчины по умственнымъ способностямъ и предлагаетъ программу, не соответствующую цѣли образованія женщинъ и не удовлетворяющую требованіямъ современной науки.

### Наслѣдство тетушки. Разказъ *И. Весеньева*. («Отеч. Зап.» 1858, № 3).

Статья Апельрота и повѣсть *И. Весеньева* сходятся въ своей основной идеѣ; и та, и другая выставляютъ недостаточность современнаго женскаго воспитанія, съ тою только разницей, что эта мысль у Апельрота развивается теоретически, а у *И. Весеньева* она проводится въ живомъ разказѣ, влагается въ образы и потому сильнѣе поражаетъ умъ, сильнѣе дѣйствуетъ на душу. Сюжетъ самый простой; это обыкновенно бываетъ тогда, когда основная мысль говоритъ сама за себя, когда она такъ сильна, что автору нѣтъ надобности прибѣгать къ внѣшнимъ эффектамъ. Вотъ въ чемъ дѣло. Племянникъ послѣ смерти тетушки, умершей классною дамой въ одномъ изъ модныхъ пансіоновъ, пріѣзжаетъ въ пансіонъ узнать о послѣдней волѣ покойницы и получаетъ ея книги и вещи; онъ разсматриваетъ ихъ на досугъ и удивляется: записки о вещахъ пансіонерокъ, журналъ ихъ занятій, учебныя книги, разныя контрабандныя книжки и тетрадки, письма къ родителямъ, отобранныя у воспитанницъ,—вотъ все, что онъ находитъ; нѣтъ

ни слѣдовъ самообытной жизни, задушевной мысли въ томъ, что осталось отъ тетушки.—Эту загадку объясняетъ ему одна кузина, знавшая тетушку и даже воспитывавшаяся подъ ея руководствомъ въ этомъ модномъ пансіонѣ. Тетушку 5-ти лѣтъ помѣстили въ пансіонъ, 14-ти включили въ число пансіонерокъ, потомъ повысили въ классныя дамы—тѣмъ и кончилось. И такъ прошла цѣлая жизнь, не выходящая изъ сферы тѣснаго, сухого пансіонскаго быта; и тетушка умерла спокойная и счастливая сознаниемъ, что исполнила свой долгъ;—а въ чемъ, спросите вы, состоялъ этотъ долгъ?—Дѣйствительно, давать направленіе молодому поколѣнію, развивать его умъ, облагораживать сердце и видѣть плоды своего воспитанія—какая великая, святая обязанность! какая прекрасная награда!—Но то ли дѣлала тетушка, такъ ли смотрѣла она на свои обязанности?—Нѣтъ, она поставила себѣ цѣлю жизни строгое, слѣпое исполненіе пансіонскаго устава, подъ гнетомъ котораго она выросла и состарѣлась. Пансіонъ замѣнилъ ей весь окружающій міръ, и она посвятила ему все существо свое, не разсуждая, не спрашивая о томъ, дѣйствительно ли здравы и непогрѣшимы всѣ его постановленія, хорошо ли то направленіе, которое даетъ онъ воспитанницамъ.—Мысли ея не шли далѣе ограды пансіона; могла ли она спрашивать у себя или отдавать себѣ отчетъ въ цѣли и назначеніи пансіона, въ цѣли и назначеніи собственной дѣятельности? Она была колесомъ сложной машины, полезнымъ только для движенія этой машины, но лишеннымъ всякаго сознанія, всякой самостоятельности. И такъ прошла жизнь; и это называется жизнью? А въдѣ въ этой женщинѣ были зародыши ума.—Имъ не дали развернуться; было чувство, это видно изъ того, что, умирая, она утѣшалась мыслью, что исполнила свой долгъ; видно изъ того, что она привязалась къ своему дѣлу и исполняла его добросовѣстно, хотя безтолково и безсознательно. Ежели бы эти силы были развернуты любящей рукою матери, ежели бы опытные просвѣщенные наставники развили умственныя способности ребенка, могла бы выйти женщина, а сколько высокаго, святаго въ одномъ словѣ: женщина.—Но съ пяти лѣтъ сухая, безцвѣтная обстановка замѣнила ей жизнь—и судьба ея была рѣшена, и она умерла, не понявъ того, что дѣятельность ея была бесполезна, что жизнь прошла вяло и сонливо. Странно одно. Неужели она могла безъ борьбы уступить окружающему порядку вещей? Неужели ни разу душа не пробуждалась, не рвалась въ другую сферу, не искала любви и сочувствія? Неужели очнувшійся умъ не ужасался окружающей пустоты, не искалъ другой полезной дѣятельности? Правда, сильны дѣтскія воспоминанія, а съ этими воспоминаніями неразрывно связанъ тотъ же пансіонъ; но въдѣ есть порою молодости, когда сердце дѣвочки пробуждается,

ищетъ любви, поэзи. Тогда неволя должна казаться неволею, монотонная обстановка явится во всей монотонности, безцвѣтная дѣйствительность покажется еще безцвѣтнѣе, въ сравненіи съ радужными идеалами, и тутъ должна быть минута борьбы, и послѣ этой борьбы нужно или вырваться въ другую сферу, или навсегда помириться съ прежнимъ положеніемъ. Тетушка помирилась и вѣроятно смотрѣла на мечты свои какъ на глупое увлеченіе молодости, но врядъ ли дѣло обошлось безъ всякой борьбы. Вѣдь и ученики іезуитовъ, въ которыхъ съ колыбели убивали волю, порою возмущались и сбрасывали съ себя нравственныя цѣпи, несомнѣтныя съ достоинствомъ человѣка. — Жаль, что Весеневъ не прослѣдилъ этой борьбы; за послѣднимъ порывомъ къ свободѣ еще страшнѣе, еще грустнѣе показале бы наступившая мертвая тишина, *calme plat*, какъ говорятъ французы. Кромѣ того, процессъ и исходъ борьбы яснѣе выставили бы жалкую личность тетушки. Трудно обвинить въ участи тетушки одинъ модный пансіонъ, въ которомъ она воспитывалась, трудно сложить на его счетъ всю вину ея нравственнаго и умственнаго отупѣнія; однообразіе ея жизни и отсутствіе самыхъ святыхъ родственныхъ чувствъ, самыхъ необходимыхъ для сердца семейныхъ обязанностей положили на ея личность печать какой-то сухости и холодности; она не знала своего семейства, не испытала любви матери, умершей вскорѣ послѣ ея рожденія, и сама никого не любила сильно, съ самоотверженіемъ. Пансіонъ при самыхъ лучшихъ условіяхъ, при самомъ вѣрномъ направленіи воспитанія не могъ замѣнить ей семейства; смерть матери оставила ничѣмъ не замѣнимый пробѣлъ въ ея жизни; мягкость чувства, сердечная теплота, которую только любящая рука матери могла въполнѣ развить въ ребенкѣ, уступили мѣсто холодному исполненію долга. — Вина пансіона состоитъ въ томъ, что онъ не развилъ ея умственныхъ способностей, что онъ далъ ей кой-какія знанія безъ живого примѣненія ихъ къ жизни, что онъ не показалъ ей истиннаго назначенія женщины; если-бы въ этомъ отношеніи пансіонское воспитаніе сдѣлало свое дѣло, то тетушка была бы вѣроятно, какъ большинство людей, которыхъ дѣтство прошло не весело и однообразно, женщиною серьезною, сосредоточенною въ себѣ, можетъ быть даже холодною, но тогда по крайней мѣрѣ она могла бы принести дѣйствительную пользу, тогда дѣятельность ея была бы сознательная и разумная. Но пансіонъ не сдѣлалъ этого. Соблюденіе пустыхъ формальностей обратило на себя все вниманіе наставницъ; строгая, холодная, форменная внѣшность занятій и самыхъ рекреаций загнула воспитанницъ и не могла привлечь ихъ, заинтересовать и пріохотить къ наукамъ, которая представлялась имъ въ видѣ уроковъ, не имѣющихъ между собою живой связи.

Такъ училась сама тетушка, такъ стала она учить своихъ воспитанницъ съ полнымъ убѣжденіемъ, что исполняетъ свой долгъ. Трудно вѣрить ея въ этомъ.

Старое горе. В. Крестовскаго («Отеч. Зап.» 1858 г., № 8).

Дѣйствіе происходитъ на Душинскомъ Чугунномъ Заводѣ, въ глуши Пермской губерніи. Молодой человѣкъ, управляющій этого завода, — главное дѣйствующее лицо разсказа. Люди, съ которыми ему приходится жить, стоять ниже его по образованію; ему скучно, онъ обращается къ прошедшему и вспоминаетъ о своемъ старомъ горѣ, еще живомъ и не забытомъ. Его записки составляютъ повѣсть. Авторъ даетъ статьѣ форму дневника. Эти записки писаны черезъ годъ послѣ смерти жены, проникнуты грустью и глубокимъ отвращеніемъ къ жизни; онъ скоротилъ свое счастье и увѣренъ, что въ будущемъ ему ожидать нечего. Конецъ его записокъ убѣждаетъ насъ въ противномъ, но объ этомъ послѣ. Скажемъ сначала нѣсколько словъ о покойной женѣ его, Сашѣ. — Характеръ Саши очерченъ въ двухъ-трехъ отрывочныхъ сценахъ семейной жизни, о которой вспоминаетъ ея неутѣшенный мужъ. Несмотря на то, онъ принадлежитъ къ лучшимъ женскимъ характерамъ нашей литературы, въ которой эти характеры удаются довольно рѣдко. Добродѣтельныя женщины большей частью выходятъ изъ ряду живыхъ существъ и дѣлаются какими-то бѣдными идеалами, въ которыхъ нѣтъ ничего женскаго. — Напротивъ, Саша — живая, прекрасная женщина; она безропотно переноситъ бѣдность, живетъ для своего мужа, старается облегчить его горькую участь, скрываетъ отъ него свои лишенія, чтобы не огорчить его, и когда недостало силъ страдать, умираетъ спокойно, безъ слезъ, безъ жалобъ на свою судьбу. И при всемъ этомъ она остается вполнѣ женщиной, прелестнымъ любящимъ существомъ. Вотъ сценка изъ ихъ семейной жизни.

«Мнѣ попался въ книгѣ лоскутокъ, обрѣзокъ шелковой матеріи. Помню, я нашелъ его на полу нашей комнаты и, не знаю почему, вздумалъ спросить Сашу, что это. Она покраснѣла, смутилась и стала ласкать меня. Это значило, что она не хотѣла отвѣчать. «Я себѣ обновку шью», сказала она наконецъ, когда я ужъ слишкомъ привязался. Обновки, и такой дорогой, быть не могло; я допрашивалъ настойчиво; она призналась: она взялась шить платъ какой-то госпожѣ, которая искала, чтобъ ей работали дешевле, чѣмъ въ магазинахъ. Саша уже не въ первый разъ это дѣлала.

Это была ужасная минута... Моя жена — швея, поденщица — вотъ все, что я ей доставилъ! Грязная франтиха, торгующаяся въ каждомъ грошѣ, важная богатая барыня, которой не жаль ты-

саять для своихъ глупыхъ прихотей, для своихъ тряпокъ, и которая смѣетъ находить, что бѣдные люди дорожатся, продавая свои бессонныя ночи и голодные дни; уродливая барышня, которой надо угодить, чтобъ скрыть ея выломанные бока и сухія кости — все это обходится съ моею женой, какъ съ служанкой, посылаетъ за нею, когда вдувается, заставляя ее ждать въ своихъ дѣвичьихъ... Я задыхался... не помню, что я дѣлалъ. Саша выхватила у меня изъ рукъ это платье: я хотѣлъ бросить его въ печку. Это меня образумило, это дало мнѣ понять, что, сколько ни негодуй, ни кричи, ты — человѣкъ «чистый и развитой», тебѣ это не къ лицу, не приходится: сожжешь гадкую тряпку, а заплакать за нее не въ состояннн...

— Милый, не шуми! сказала она, тихо обнявъ меня и тихо плача...

Ея отецъ, слѣпой, больной, спалъ рядомъ въ комнатѣ».

Сколько чувства, сколько деликатности въ этой женщинѣ! Она понимаетъ свои обязанности въ отношенн къ мужу, рѣшается помогать ему и во имя долга побѣждаетъ ложный стыдъ и предрасудки; но она падаетъ самолюбіе своего мужа, боится оскорбить его, и, быть можетъ, первый разъ въ жизни рѣшается хитрить съ нимъ, и хитритъ такъ неудачно, съ такой престестной неловкостью; ей тяжело и больно скрывать отъ него что бы то ни было. Приведенная нами сцена необыкновенно хороша. Она бросаетъ яркій свѣтъ на два главные характера повѣсти. Мужъ Саши — человѣкъ образованный и развитой, а между тѣмъ онъ не понимаетъ прекраснаго поступка своей жены. Въмѣсто того, чтобы поддержать и ободрить жену, онъ приходитъ въ негодованн и дѣлаетъ нелѣзную сцену. А между тѣмъ въ его запискахъ встрѣчается такое мѣсто:

«Онѣ забыли, что женщина — *помощница*, и съ какой-то гордостью считаютъ ее только *утѣлой*, не вникая, что это названн, когда оно *одно*, унижаетъ женщину...».

Тутъ явное противорѣчн словъ съ поступками, и такія противорѣчн встрѣчаются у него на каждомъ шагу; это отличительная черта слабаго характера. Многие прекрасно говорятъ, и говорятъ отъ души, съ полнымъ убѣжденнмъ, а въ жизни поступаютъ совершенно иначе и даже не замѣчаютъ противорѣчн въ своемъ поведенн. Къ числу этихъ многихъ принадлежатъ и мужъ Саши; у него свѣтлый взглядъ на жизнь и прекрасныя убѣжденн, но онъ не умѣетъ съ ними сладить, не смѣетъ отбросить ихъ, потому что чувствуетъ, что они вѣрны, и не въ силахъ держаться ихъ въ жизни, потому что они слишкомъ велики и тяжелы для него. Онъ возстаетъ противъ предрасудковъ общества, говоритъ очень умно и дѣлвно, а между тѣмъ самъ вполне подчиняется имъ и никакъ не рѣшается отъ нихъ освободиться. Онъ виноватъ передъ своей женой; онъ не умѣлъ поддержать ея энергн, не умѣлъ ободрить ее и облегчить ей горькую долю бѣдности; Саша не могла даже быть

откровенной и страдала молча, потому что жалѣла мужа, какъ больного, слабаго ребенка, а мужъ унывалъ, отчаявался и измучилъ жену, думая, что выражаетъ этимъ свою любовь. Изъ его записокъ видно, что онъ смутно понималъ свою невольную вину; вмѣсто тихой грусти является горькое чувство озлобленн, когда онъ говоритъ о своей прошедшей семейной жизни; въ его тонѣ слышится что-то въ родѣ раскаянн; мѣстами проглядываютъ обвиненн противъ самаго себя; но, какъ человѣкъ слабый, онъ тотчасъ старается сложить съ себя вину въ прошедшемъ, и жалуется на людей и на судьбу. Но это мрачное настроенн духа со временемъ проходитъ. Такіе люди, какъ мужъ Саши, не могутъ ни вѣчно любить, ни вѣчно страдать. Но забыть — невозможно. Прошло семь лѣтъ, а свѣтлый образъ Саши еще живетъ въ его душѣ, и ему больно, по временамъ стыдно за свое новое счастье, за довольство, котораго не раздѣлила бѣдная женщина, жертва нужды и лишенн. Въ послѣднихъ словахъ записокъ прекрасно выражено смутное состоянн души нашего героя; представлена внутренняя борьба, которая мучитъ и истощаетъ его силы. Ему хочется счастья, забвенн, а между тѣмъ жалко, совѣстно забыть бѣдную Сашу; хотѣлось бы воротить прошедшее, да не воротить, хотѣлось бы свѣтлаго будущаго, да на душѣ тяжелыя воспоминанн. — Весь характеръ мужа Саши выдержанъ до мельчайшихъ подробностей; авторъ отъ себя не говоритъ ни слова; даже самъ герой въ своихъ запискахъ говоритъ о себѣ и о своихъ качествахъ очень мало; а между тѣмъ его личность просвѣчивается въ каждомъ его словѣ; каждый разсказъ, каждая сцена его воспоминанн прибавляетъ къ его характеру новую черту; послѣ прочтенн повѣсти, онъ, какъ живой человѣкъ, является передъ читателемъ, со всѣми своими хорошими и дурными сторонами, со всѣми слабостями и недостатками.

Въ нѣсколькихъ словахъ записокъ очерченъ отецъ Саши, старый гимназическій учитель. Приводимъ эти слова и предоставляемъ нашимъ читательницамъ составить себѣ понятн о личности этого почтеннаго труженика:

«Помню похороны старика. Его лицо будто предо мной, и расплаканное лицо Саши... И то сказать, такимъ людямъ незачѣмъ жить на свѣтѣ! Любить науку, изучать, не утомляясь и не слабѣя волей до старости, — и не имѣть возможности выбиться изъ труженичества, доставить пользу другимъ, а себѣ хотя пылинку той извѣстности, которую другіе достаютъ такъ легко; быть принужденнымъ изъ-за куска хлѣба преподавать узенькій, жалкій курсъ мальчикамъ, которые, чтобъ скорѣе кончить, убоясь премудрости, то-и-дѣло выпрыгиваютъ въ конкера... стоило ли для этого родиться съ горячимъ сердцемъ, неочерствѣвшимъ ни отъ старости, ни отъ горя, ни отъ стѣсненн, ни отъ безчувствнн, съ чистѣйшей любовью къ добру и прекрасному, уцѣлѣвшей среди всей житейской грязи?... Гово-



рять, чувство долга, чувство прекраснаго во всемъ утѣшаетъ и поддерживаетъ. Да, утѣшало, какъ утѣшаетъ опиумъ, вино, на известное время, но не поддержало, а сведо въ могилу. Будь онъ не труженикъ, а шарлатанъ, онъ бы не негодовалъ, не тратилъ времени на добросовѣстные и никѣмъ не оцѣненные труды; онъ бы принорвился къ настоящимъ потребностямъ, искалъ бы протекціи, сдѣлалъ бы одну-двѣ уступки совѣсти, издалъ бы брошюры въ назидательно хвалебномъ духѣ о какомъ-нибудь мудреномъ вопросѣ, прославился бы, слылъ бы за человѣка благонадежнаго и получилъ бы гдѣ-нибудь мѣсто инспектора, а пожалуй и директора гимназіи...

Онъ кончилъ иначе: ослѣпнувъ надъ ночной работой, лишенный хлѣба, онъ умеръ на рукахъ бѣдняка, которому, самъ восторженный, какъ юноша, любясь на молодую любовь, отдалъ онъ свою безпомощную, безпріютную дочь...

Вдумайтесь въ эти слова; вспомните, что это пишетъ молодой человѣкъ, полный жизни, только что кончившій курсъ въ университетѣ, о старикѣ учителѣ, отжившемъ свой вѣкъ; сравните ихъ между собою и посмотрите, въ комъ изъ нихъ больше энергіи и свѣжихъ силъ. Старикъ трудился до изнеможенія, ослѣпъ надъ работою, умираетъ въ бѣдности, никѣмъ не замѣченный, и все-таки вѣрится въ жизнь и, какъ юноша, горячо любитъ прекрасное. Молодой человѣкъ сомнѣвается въ святости чувства долга, отступаетъ отъ борьбы въ жизни, не вѣрится въ изящное. Остальные лица повѣсти стоятъ на второмъ планѣ. Они хорошо и живо очерчены, но оставившись на нихъ мы не можемъ.

**Джонъ Говардъ.** («О. З.», 1858 г., сентябрь).

Обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на этотъ краткій биогрфическій очеркъ; личность Говарда такъ замѣчательна и составляетъ такое утѣшительное явленіе въ исторіи человѣчества, что трудно пройти его имя молчаніемъ. Онъ посвятилъ всю свою жизнь на облегченіе страданій ближняго; благо человѣчества и улучшеніе судьбы его составили единственную цѣль жизни Говарда; этой высокой цѣли онъ принесъ въ жертву и состояніе свое, и время, и лучшіе силы. Говардъ родился въ Англіи въ 1726 году. Два важные предмета обратили на себя его вниманіе, онъ съ полнымъ самоотверженіемъ посвятилъ имъ всю свою жизнь. Эти два предмета были: улучшеніе тюремъ и изученіе чумы, отысканіе предохранительныхъ мѣръ и лѣкарства отъ заразы. До него тюрьмы въ Англіи представляли страшную, отвратительную картину; онъ былъ грязны и нездоровы; заключенныхъ содержали очень дурно; тюремщики, не получавшіе жалованья отъ правительства, притѣсняли своихъ колодниковъ и выжимали изъ нихъ деньги. Говардъ, вы-

бранный шерифомъ (мировымъ судьей) графства Бетфордъ, обратилъ вниманіе на всѣ эти недостатки; съ цѣлью усовершенствовать тюрьмы, онъ два раза объѣхалъ всю Англію, путешествовалъ по Европѣ и, наконецъ, собравъ всѣ матеріалы, издалъ сочиненіе: «О состояніи тюремъ въ Англіи и Валлісѣ». Его книга произвела желанное дѣйствіе: по его проекту англійское правительство, подражая голландскому, учредило рабочіе дома, въ которыхъ преступники приучались къ труду и получали такимъ образомъ средства сдѣлаться честными и полезными гражданами: тюрьмы были передѣланы и усовершенствованы по указанію Говарда.—Изученіе чумы и наблюденія надъ лѣченіемъ этой страшнѣйшей болѣзни, а также странствованія по карантинамъ заняли остальные годы жизни Говарда. Онъ умеръ въ Россіи отъ заразы и похороненъ въ Херсонской губерніи. Такие люди, какъ Говардъ, рѣдко встрѣчаются во всемірной исторіи; одинъ простой перечень фактовъ его жизни внушаетъ глубокое уваженіе; онъ всѣмъ пожертвовалъ для пользы человѣчества, и умеръ, исполняя тяжелья и опасныя обязанности, которыя добровольно на себя принялъ. Всѣ подробности о такомъ человѣкѣ должны быть для насъ дороги и интересны. Указанная нами статья очень коротка и не можетъ дать полнаго, яснаго понятія о личности Говарда; она только познакомитъ съ главными фактами его жизни, но эти факты такъ краснорѣчивы, такъ характеризуютъ человѣка, что изъ нихъ легко самому вывести заключеніе.

**Братецъ В. Крестовскаго** («О. З.», 1858 г., октябрь).

Повѣсть В. Крестовскаго представляетъ намъ внутреннюю семейную жизнь, бѣдную, грустную, однообразную, какъ сѣрый осенній день. Главный характеръ повѣсти, характеръ Сергѣя Андреевича Чиркина, *братца*, очерченъ превосходно. В. Крестовскій прослѣдилъ его развитіе съ колыбели и наконецъ показалъ намъ своего героя человѣкомъ пожилымъ, въ которомъ выработались всѣ черты характера,—человѣкомъ, котораго убѣжденія успѣли сложиться и окрѣпнуть. Чтобы представить этотъ характеръ нашимъ читательницамъ, намъ достаточно будетъ сдѣлать нѣсколько выписокъ изъ самой повѣсти. Вотъ, напримѣръ, черты изъ дѣтства и первой молодости Сергѣя Андреевича, тогда еще Сереженьки:

«Сереженька писалъ рѣдко: у него и въ гимназіи постоянно не доставало времени, а позже и говорить нечего. Но онъ аккуратно помнилъ дни рожденія и именинъ своихъ родителей и умѣлъ принорочить такъ, что поздравленія его получались въ самый день торжества; если же письма должны были опоздать или придти ранѣе,

по расчету почтовых дней, Серезенька пользовался этимъ случаемъ для какой-нибудь особенной любезности. «Ранѣе всѣхъ и первый бросаюсь я въ ваши объятія, дражайшіе родители».. Или: «теперь, когда давно кругомъ васъ затихъ шумъ поздравлений, радуюсь, что моего голоса не заглушить болѣе голосъ постороннихъ»... и прочее. Сергѣй Андреевичъ не думалъ и не понималъ, что «посторонними» называлъ своихъ сестеръ...

Онъ зналъ ихъ мало, но онѣ хорошо его помнили. Когда онъ прѣѣзжалъ на вакацію, ему было девятнадцать лѣтъ, его сестрамъ—двадцать и одиннадцать; третъей еще не было на свѣтѣ. Онъ сказалъ только Вѣрѣ, что она ничего не знаетъ и не граціозна, и замѣтилъ (при родителяхъ) сестрѣ Прасковѣ, что она могла бы заняться ребенкомъ, что долгъ женщины—любить дѣтей и заботиться о нихъ. Мать ахала отъ ума и сердца Серезеньки.»

Желаніе выказаться передъ родителями, по-важничать передъ сестрами, дать имъ почувствовать свое превосходство, унизить ихъ въ глазахъ отца и матери, все это такіе зародыши, которые со временемъ обѣщаютъ принести богатый плодъ. Во всемъ этомъ уже проглядываетъ черствое сердце, замѣтно отсутствіе юношеской теплоты и юношескаго благородства. Наглая самоуверенность, сухой, бездушный эгоизмъ, грубое самооклоненіе, непріступная гордость въ отношеніи къ подчиненнымъ, заискиваніе передъ людьми, стоящими выше,—вотъ что обѣщаетъ въ будущемъ этотъ характеръ, вотъ что мы можемъ вывести изъ одного, приведеннаго нами, отрывка. Сергѣй Андреевичъ сдержалъ все, что обѣщалъ онъ въ молодости. Кромѣ себя, своей выгоды, своихъ интересовъ, онъ не хочетъ знать ничего, цѣль въ его жизни—карьеру и состояніе; дальше, выше этого, онъ ничего не видитъ и для достиженія своей цѣли готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтѣ. Онъ никого не любитъ и даже не скрываетъ этого въ своемъ семейномъ кругу, куда онъ заглядываетъ очень рѣдко, да и то по дѣламъ. Приведемъ для характеристики Сергѣя Андреевича еще одно мѣсто изъ повѣсти—разговоръ Прасковьи Андреевны съ Ивановымъ, женихомъ младшей сестры ея, Кати.

«— Ахъ, Боже мой! прервалъ Ивановъ;— это даже больно слушать! Нѣтъ, я вамъ все скажу. Объ этомъ даже грѣшно молчать: лучше вамъ совсѣмъ глаза открыть. Прошлый разъ, какъ я отъ васъ воротился, я на другой день пошелъ къ нашему управляющему палатою поговорить о моихъ бумагахъ, о разрѣшеніи, потому что я женюсь. Вы помните... я-то ужъ очень хорошо помню, какъ вышъ братецъ принялъ и мое сватовство, и меня—ну, словомъ, все. Я тогда же рѣшился объявить, что мнѣ дано слово, что я женюсь, взять разрѣшеніе, чтобъ вышъ братецъ не подумалъ, будто я испугался. Ему все равно, что я женюсь на его сестрѣ, а мнѣ онъ и недавно все равно: мнѣ ни его милости, ни протекціи, ни денегъ его—ничего не нужно, право.. Ради Бога, скажите, такъ ли я говорю? Что жъ? я молодой, не важная особа; но, кажется, всякій человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, имѣетъ пра-

во о себѣ думать по справедливости, имѣетъ право... хоть не унижаться, если ужъ судьба и пустой карманъ велятъ ему молчать—такъ, что ли? скажите?»

— Что жъ вы управляющему вашему сказали? спросила Прасковья Андреевна.

— Я? ничего; говорилъ о бумагахъ, какія мнѣ нужны, просилъ не задержатъ—и только. Онъ человѣкъ чудесный, разспрашивалъ, что, какъ, по любви ли я женюсь, на комъ. Я сказалъ. Онъ говоритъ: «не родня ли Чиркину, что служилъ въ... Министерствѣ?»—«Сестра», говорю я. Въ то время былъ у управляющаго нашъ ассессоръ, недавно изъ Петербурга, онъ вступилъ въ разговоръ. «Какая, говоритъ, сестра? у Чиркина нѣтъ сестеръ». Я говорю: «Есть сестры и мать, живутъ въ деревнѣ»... Да Боже мой! это разсказывать отвратительно. Вообразите вы, что онъ увѣряетъ всѣхъ, цѣлый свѣтъ, что у него нѣтъ родныхъ: отрекается отъ васъ, потому что вы для него слишкомъ бѣдны, слишкомъ мелки... отъ матери!.. Видите, ему, важному лицу, непріятно имѣть провинціальныхъ родныхъ, вы на него тѣнь бросаете... я ужъ и не понимаю, что это! какъ будто вы не въ тысячу разъ лучше его, благороднѣе его, со всѣми его мраморными лѣстницами да золочеными карнизамъ, какъ будто вамъ не больше стыдъ и обида, что вашъ братъ—эгоистъ, взяточникъ!.. Нѣтъ, ради Бога, простите меня! Я изъ себя выхожу...»

Тутъ уже выразился весь характеръ, къ этому нельзя ничего прибавить. Гнетъ братца, которымъ всегда была ослѣплена старуха-мать, тяжело налегъ на сестеръ и подѣйствовалъ на обѣихъ старшихъ, обѣимъ имъ испортилъ жизнь, но дѣйствіе этого гнета было различное. Старшая сестра, Прасковья Андреевна, дѣвушка умная, съ твердымъ характеромъ, не подчинилась вліянію братца; характеръ ея окрѣпъ въ борьбѣ, она сосредоточила въ себѣ свои силы и сдѣлалась еще тверже, еще самостоятельнѣе. Была пора молодости, когда она искала сочувствія, когда у нея была потребность высказаться, полюбить, привязаться. Она обратилась было къ брату, но мы знаемъ Сергѣя Андреевича; онъ умомъ могъ понять, что желала сестра его, но не хотѣлъ; Прасковья Андреевна ждала хоть капли сочувствія, хоть одного дружескаго слова: она встрѣтила насмѣшку и грубое, жестокое наставленіе со стороны матери; она ничего не могла ждать и ничего не встрѣтила; но поневолѣ затаила она въ себѣ свои силы, углубилась въ самое себя, сосредоточилась и уже не высказывалась. Счастливы характеры, которые могутъ такъ сосредоточиться, которымъ есть во что углубиться. На слабые характеры гнетъ дѣйствуетъ иначе; вторая сестра, Вѣра, совершенно покорилась, и покорилась безсознательно, желѣзной волѣ Сергѣя Андреевича, который самовластно, какъ патріархъ, господствовалъ въ семействѣ; бѣдную дѣвушку запугали смолоту, она потеряла всякое довѣріе къ собственнымъ силамъ, боялась всѣхъ и особенно братца, растерялась, отупѣла и, не рѣшаясь имѣть ни мысли, ни воли, стала

повиноваться молча и машинально. Безотрадно прошла жизнь обѣихъ дѣвушекъ; не было ни счастья, ни любви, не было даже удовольствій. Прасковья Андреевна тратила свою замѣчательную энергію и силу души на мелкую, ежедневную борьбу, которую поневолѣ должна была вести въ тѣсномъ, душномъ кругу своей неладной семьи. И между тѣмъ она сохранила способность любить и сосредоточила всю силу чувства на младшей сестрѣ своей, «на своей дѣвчкѣ» Катѣ. Эта сила характера, эта твердость воли и въ то же время эта мягкость, способность любить сильно, съ самоотверженіемъ, заставляютъ насъ признать въ Прасковьѣ Андреевнѣ женщину дѣйствительно замѣчательную; вспомнимъ при этомъ, что она не успѣла развиться какъ слѣдуетъ, что ея не любила мать, что ее преслѣдовала братецъ, представимъ себѣ монотонную обстановку всей ея жизни, и только тогда мы будемъ въ состояніи вполнѣ оцѣнить и понять ея характеръ, выработавшійся при такихъ невыгодныхъ обстоятельствахъ. Катя является намъ молодой дѣвушкой, почти ребенкомъ; она еще весела, беззаботно смотритъ на жизнь, она любитъ и любима; Прасковья Андреевна отстаиваетъ ее отъ матери, а неумолимая рука брата на успѣла еще разбить ея свѣтлыхъ мечтаний... наставитъ и ея время.

Объ матери, объ Любви Сергѣевнѣ, трудно сказать что-нибудь опредѣленное; это одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые ничѣмъ не выдаются изъ общей массы. Любовь Сергѣевна принадлежитъ къ числу характеровъ, какіе встрѣчаются на каждомъ шагѣ, но эти обыкновенные характеры трудно выставить, трудно опредѣлить именно потому, что они обыкновенны, что ничто въ нихъ не бросается въ глаза; ихъ надобно наблюдать и изучать, а такое изученіе не всякому по силамъ; потому большинство плохихъ романисовъ русскихъ и особенно французскихъ обходятъ такіе характеры, изображаютъ какихъ-то небывалыхъ героевъ или небывалыхъ злодѣевъ, описываютъ ихъ подвиги или преступленія и совсѣмъ не даютъ понятія о характерѣ. Напротивъ, въ повѣстяхъ В. Крестовскаго постоянно дѣйствуютъ люди обыкновенные, взятые прямо изъ жизни; Сергѣй Андреевичъ—дурной человѣкъ, но не извергъ, не чудовище. На каждомъ шагѣ встрѣчаются такіе эгоисты, люди, готовые принести въ жертву себѣ и своимъ выгодамъ все на свѣтѣ; они не дѣлаютъ преступленій въ полномъ смыслѣ этого слова, а только тяготѣютъ надъ всѣмъ, что приходитъ съ ними въ соприкосновеніе, и часто разрушаютъ счастье людей близкихъ. Прасковья Андреевна—хорошая женщина, но никакъ не идеальная. Что касается до Любви Сергѣевны, то объ ней даже трудно сказать, хорошая ли она женщина, или дурная. Личность ея, впрочемъ, производитъ неприятное впечатлѣніе, неприятное уже потому, что она безгра-

нично любить своего ненагляднаго Серсезеньку. Впрочемъ, эта любовь очень понятна, какъ любовь матери. Мать любить свое дитя, хотя это дитя и уродъ, даже когда оно—уродъ нравственный; любить даже болѣе прочихъ дѣтей, потому что видить, какъ всѣ отъ него отворачиваются.

Въ характеристикѣ Любви Сергѣевны особенно замѣчательно слѣдующее мнѣніе автора о такихъ безцвѣтныхъ личностяхъ:

«Эти люди иногда среди другихъ людей выбираютъ себѣ привязанность—и всегда выборъ бываетъ неудаченъ; изъ противорѣчій, изъ того, что другіе говорятъ, что такой-то дурень, они берутъ именно этого человѣка себѣ въ друзья, говоря съ самоуниженіемъ, не лицемернымъ, но озлобленнымъ: «Для меня и то хорошо». Иногда возраженіе дѣлается иначе: «Его всѣ ненавидятъ; со мной по крайней мѣрѣ ему будетъ съ кѣмъ слово сказать»... Съ вида—чувство доброе и смиренное; но тотъ не опибется, кто сочтетъ его за осужденіе всѣхъ этихъ ненавистниковъ и гордецовъ, которые отталкиваютъ отъ себя человѣка... Зато, выбравъ друга, эти люди не знаютъ ему предъ другими цѣны и мѣры; надинѣ сами съ собой они размышляютъ, что этотъ другъ ими манкируетъ и прочее»...

Наконецъ, Ивановъ, женихъ Кати, — влюбленный молодой человѣкъ, хорошій и благородный. Больше о немъ ничего нельзя сказать. Любовь стоитъ на первомъ планѣ и заслоняетъ отъ насъ всѣ остальные стороны его характера. Впрочемъ и онъ, и Катя—лица второстепенныя; хотя на ихъ судьбѣ собственно и основано дѣйствіе повѣсти, но дѣйствуютъ за нихъ другіе; другіе заботятся объ ихъ интересахъ, между другими происходитъ печальная семейная драма, которой развязка прямо относится къ Иванову и его невѣстѣ. Итакъ, мы постарались представить нашимъ читательницамъ списокъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныя отношенія; дѣйствія этихъ людей совершенно обыкновенны и не выходятъ изъ предѣловъ вседневной семейной жизни; нѣтъ никакихъ особенно замѣчательныхъ приключеній, но зато ни одна сцена повѣсти не пропадетъ даромъ, зато въ каждомъ словѣ выражается характеръ дѣйствующихъ лицъ и проводится мысль автора, зато вся повѣсть заставляетъ задуматься, не забывается и оставляетъ по себѣ глубокое впечатлѣніе, какъ всякое вѣрное изображеніе дѣйствительной жизни съ ея печальными недостатками.

#### *Дочери. Совѣты старушки, посвященные матерямъ, имѣющимъ дочерей.*

Среди книгъ и статей, писанныхъ въ послѣднее время о женщинѣ и о женскомъ воспитаніи, заслуживаетъ особеннаго вниманія небольшая брошюра, заключающая въ себѣ: «Совѣты старушки». Въ этой брошюрѣ находятся въ равно-

вѣси между собою результаты жизненнаго опыта и строго-логическаго мышленія; взаимно смягчая и умѣряя другъ друга, эти результаты сходятся въ общихъ, стройныхъ выводахъ, въ которыхъ не видно ни пылкаго увлеченія утопическими теоріями, ни отталкивающей холодности чисто практическаго, матеріальнаго взгляда на вещи. Видно, что жизненный опытъ умѣрилъ въ авторѣ юношескія увлеченія, не убивая живыхъ благородныхъ началъ человѣческой души не подавляя вѣры въ прекрасное, не подавляя святаго стремленія къ добру и къ истинѣ. Такой предметъ, какъ воспитаніе женщины, требуетъ спокойнаго и хладнокровнаго размышленія; разсуждая о немъ, легко впасть въ крайности, легко увлечься теорією. Не понявъ истиннаго назначенія женщины, не обсудивъ положенія ея въ современномъ обществѣ, можно, при самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ, указать женщинѣ несвойственную ей сферу дѣятельности; желая строго опредѣлить кругъ ея обязанностей, можно стѣснить ея законную свободу; желая расширить эту свободу, желая избавить женщину отъ всякой зависимости, можно отодвинуть на второй планъ лучшія права ея,—права быть подругою мужа, матерью и воспитательницею. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ увлеченіе будетъ вредно и приведетъ къ ложнымъ результатамъ. Этого увлеченія избѣжалъ авторъ «Совѣтовъ старушки»; онъ пишетъ для современнаго общества, знаетъ его потребности, видитъ его слабобы и сильныя стороны, и даетъ совѣты и указанія, прямо относящіеся къ дѣлу, прямо прижизнимые къ теперешнему порядку вещей. Такую книгу мы не можемъ оставить безъ вниманія. Для нашихъ читательницъ въ ней недоступны нѣкоторые мѣста (глава 2); но зато матери найдутъ въ ней дѣльные и благоразумные совѣты, высказанные убѣдительно и послѣдовательно, подтвержденные логическими доказательствами и разительными примѣрами изъ вседневной жизни. Авторъ начинаетъ съ самаго простаго и въ то же время важнаго вопроса, имѣющаго существенное вліяніе на положеніе и жизненныя силы высшаго и средняго класса нашего общества. Отчего, спрашиваетъ онъ, такъ много холостяковъ и старыхъ дѣвъ? Отвѣтъ на это самый простой и естественный: оттого, что мужчины, отъ которыхъ зависитъ сдѣлать выборъ, не рѣшаются выбирать, боясь ошибки и разочарованія. Не рѣшаются-же они потому, что у нихъ передъ глазами много примѣровъ несчастныхъ и, какъ говоритъ авторъ, *полусчастливыхъ* супружествъ. Отчего же такъ рѣдко встрѣчается истинное, прочное семейное счастье? Отвѣта на этотъ вопросъ должно искать въ воспитаніи женщины, въ томъ первоначальномъ направленіи, которое дано ей съ малыхъ лѣтъ и которое въ большей или меньшей степени имѣетъ вліяніе на всю ея жизнь. Обращаясь къ воспи-

танію, авторъ высказываетъ свои мысли о назначеніи женщины. Не отнимая у нея права заниматься наукою и искусствомъ, онъ говоритъ, что истиннымъ поприщемъ для ея дѣятельности должна быть семья; только въ семьѣ женщина вполне достигаетъ своего назначенія; только въ семьѣ могутъ вполне развернуться любящія женственныя силы ея души. Совѣтуя матерямъ готовить изъ своихъ дочерей преимущественно хорошихъ семьянокъ, авторъ не стѣсняетъ этимъ женскаго образованія; онъ понимаетъ, что добросовѣстное исполненіе обязанностей жены и матери требуетъ многосторонняго и гармоническаго развитія всѣхъ умственныхъ способностей и всѣхъ силъ души; онъ понимаетъ, что для семейнаго счастья необходимо возможное равенство между супругами, равенство умственное, на которомъ должно быть основано взаимное пониманіе и уваженіе.

«Она (женщина), говоритъ онъ, должна быть образована, чтобы понимать и сочувствовать интересамъ своего мужа, чтобы основательно развивать понятія, мысли и взгляды своихъ дѣтей въ ихъ первомъ возрастѣ. Программу такого образованія дать трудно, потому что въ разныхъ классахъ общества различно и самое воспитаніе, но во всякомъ случаѣ, думаю я, дѣвушкамъ должно давать образованіе, соответственное тому обществу, въ которомъ имъ суждено жить».

Съ послѣднею мыслью автора мы позволимъ себѣ не согласиться. Бѣдная дѣвушка должна быть приучена съ малолѣтства къ тому образу жизни, который суждено ей будетъ вести современнымъ, къ тѣмъ занятіямъ, которыми она должна будетъ добывать себѣ пропитаніе, наконецъ къ тѣмъ лишеніямъ, съ которыми она встрѣтится въ жизни,—все это справедливо; но умственное образованіе ея не должно терпѣть отъ ея общественнаго положенія. Ежели она имѣетъ средства учиться, развиваться—пусть учится, пусть развивается во что бы то ни стало. Правда, развитой дѣвушкѣ предстоитъ въ жизни много горя, много страданій; каждое грубое слово, каждая неосторожная шутка болѣзненно отзовутся въ ея душѣ; не помирится она съ нравственными несовершенствами окружающихъ ея людей; но, какъ бы то ни было, она будетъ благотворно дѣйствовать въ своемъ семейномъ кругу, дастъ хорошее направленіе своимъ дѣтямъ, быть можетъ облагородитъ и возвыситъ своего мужа, и сознаніе исполненнаго долга вознаградитъ ее за тяжелыя минуты страданія. А эти тяжелыя минуты неизбежны. Ихъ переживаютъ все лучшіе, болѣе развитые люди, стоящіе впереди своего общества; гдѣ масса будетъ смѣяться, гдѣ она съ туннымъ равнодушіемъ — взглянетъ на нравственное зло, тамъ передовой человѣкъ почувствуетъ грусть или негодованіе, тамъ онъ переживетъ одну изъ тяжелыхъ минутъ. Но слѣ-



дуетъ ли изъ этого, что не должно быть людей, выдвигающихся изъ среды окружающаго ихъ общества? Что мы сказали о развитомъ человѣкѣ вообще, то можно примѣнить къ дѣвушкамъ, для которой роль общества будетъ играть семья, стоящая ниже ея по образованію. Тяжело будетъ ея положеніе; но не для одного счастья, не для одного наслажденія созданъ человѣкъ; онъ созданъ для труда и борьбы, для усовершенствованія своей духовной природы и для благотворнаго дѣйствія на окружающихъ его людей. Со всѣми остальными совѣтами автора нельзя не согласиться; замѣчанія его о преподаваніи наукъ, о занятіяхъ искусствами, о домашнемъ хозяйствѣ, о выѣздахъ дѣвушки, о ея первыхъ чувствахъ и о степени ихъ прочности, наконецъ о выборѣ жениха и объ отношеніяхъ родителей къ замужнимъ дочерямъ, всѣ эти замѣчанія вѣрны и полезны. Авторъ въ своихъ разсужденіяхъ умѣетъ быть практически благоразумнымъ, не дѣлаясь сухимъ и холоднымъ; такъ, напримѣръ, не оскорбляя свѣжести и чистоты первой любви, онъ умѣетъ критически оцѣнить ея значеніе для супружеской жизни и съ тонкимъ тактомъ отдѣлать истинное чувство молодого сердца отъ минутнаго, непечнаго увлеченія. Въ каждомъ словѣ его проглядываютъ опытность, благоразуміе и теплое чувство. Книга его можетъ принести истинную пользу матерямъ, воспитательницамъ; даже молодымъ дѣвушкамъ хорошо было бы прочесть ее, начиная съ III главы.

**Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія. Ивана Гончарова, въ двухъ томахъ. Спб. 1858 г.**

Очерки путешествія Гончарова составляютъ существенно важное приобрѣтеніе для нашей литературы, и мы считаемъ долгомъ обратить на нихъ вниманіе нашихъ читателей. Не принимая на себя серьезной и трудной обязанности критика, мы только укажемъ на главные красоты этого произведенія и постараемся поставить нашихъ читателей на ту точку зрѣнія, съ которой должно смотрѣть на «Очерки путешествія». Оправившись въ кругосвѣтное путешествіе въ концѣ 1852 года, Гончаровъ въ письмахъ къ своимъ петербургскимъ друзьямъ дѣлился съ ними путевыми впечатлѣніями; письма эти печатались въ разныхъ журналахъ и въ прошломъ году собраны и изданы отдѣльной книгой подъ заглавіемъ «Фрегатъ Паллада». Цѣлью путешествія была Японія, съ которою наше правительство желало заключить торговый трактатъ; нуть лежалъ изъ Балтійскаго и Нѣмецкаго моря по Атлантическому океану мимо западныхъ береговъ Африки, черезъ мысъ Доброй Надежды къ южнымъ оконечностямъ Азіи, а отуда къ сѣверу, по Восточному океану, вдоль

береговъ Китая въ Нагасаки. Изъ Японіи фрегатъ пошелъ къ берегамъ Сибири, и Гончаровъ черезъ Сибирь сухимъ путемъ вернулся въ Петербургъ. Въ этомъ путешествіи Гончаровъ видѣлъ три океана,—Атлантическій, Индійскій и Тихій, два раза переходилъ черезъ экваторъ и тропики и наблюдалъ вблизи природу, жителей южной Африки, южныхъ и восточныхъ береговъ Азіи и азіатскихъ острововъ, разсѣянныхъ по Восточному океану. Онъ видѣлъ много любопытнаго, много замѣчательнаго, но, несмотря на то, интересъ описываемыхъ предметовъ, содержаніе, стоитъ на второмъ планѣ и уступаетъ самому описанію. На книгу Гончарова должно смотрѣть не какъ на путешествіе, но какъ на чисто художественное произведеніе. Отъ путешественника мы требуемъ подробныхъ и полныхъ свѣдѣній о странѣ и ея обитателяхъ, требуемъ статистическихъ, историческихъ и этнографическихъ данныхъ; путешественникъ долженъ изучить свой предметъ, и количество сдѣланныхъ имъ наблюденій и сообщенныхъ свѣдѣній опредѣляетъ достоинство его труда. Отъ разсказа путешественника мы можемъ требовать только ясности и послѣдовательности. Въ путевыхъ очеркахъ Гончарова мы должны искать достоинствъ другого рода. Заключая въ себѣ результаты личныхъ впечатлѣній, выражая собою то, что передумалъ и переживалъ художникъ, они представляютъ чисто литературныя, эстетическія красоты; въ нихъ мало научныхъ данныхъ, въ нихъ нѣтъ новыхъ изслѣдованій, нѣтъ даже подробнаго описанія земель и городовъ, которые видѣлъ Гончаровъ; вмѣсто всего этого читатель находитъ рядъ картинъ, набросанныхъ смѣлою кистью, поражающихъ своєю свѣжестью, законченностью и оригинальностью. Въ этихъ картинахъ воспроизведена природа въ самыхъ разнообразныхъ своихъ видоизмѣненіяхъ, въ нихъ схвачены разнородные типы, представители различныхъ національностей; тонкая наблюдательность автора успѣла выбрать характеристическія черты; творческій талантъ его соединилъ эти черты въ одно цѣлое, создалъ изъ нихъ стройные живые образы. Описаніе неодушевленной природы и наблюденіе надъ отдѣльными личностями и цѣлыми народами составляютъ два главные сюжета путевыхъ замѣтокъ Гончарова. Эти двѣ стороны неразлучны между собою въ самомъ ходѣ сочиненія и часто сливаются въ общей картинѣ, въ которой вѣчная природа служитъ обстановкою для человѣка, или человѣкъ дополняетъ собою общее впечатлѣніе, произведенное вѣчною природой. Несмотря на тѣсную связь ихъ между собою, мы позволимъ себѣ для большей ясности разсмотрѣть отдѣльно каждую изъ этихъ сторонъ. При описаніяхъ величественныхъ явленій природы какъ-то невольно, естественно измѣняется общій тонъ разсказа: хладнокровный, добро-

душно веселый, слегка насмѣшливый юморъ, возбужденный окружающими людьми и забавными сценами морской жизни, исчезаетъ; поэтъ безраздѣльно отдается обаятельному впечатлѣнію; для него наступаетъ торжественная минута внутренней тишины, спокойнаго благоговѣнія; онъ не анализируетъ, не дробитъ общаго впечатлѣнія, не старается даже опредѣлить его; онъ только смотритъ, думаетъ, чувствуетъ и создаетъ стройную, прекрасную картину, въ которой отражаются и его думы, и его чувства. Въ подобныхъ сценахъ природы нѣтъ мѣста анализу; спокойно восторженное состояніе поэта устраняетъ холодный, критическій взглядъ наблюдателя. При изображеніи людей, при воспроизведеніи ихъ характеровъ въ живыхъ эпизодахъ, обнаруживается другая сторона творческаго таланта Гончарова: авторъ подмѣчаетъ тончайшія особенности различныхъ національностей, показываетъ ихъ читателю въ двухъ-трехъ мѣтко выбранныхъ случаяхъ всендневной жизни, группируетъ эти особенности и опредѣляетъ ими народный характеръ; все это дѣлается какъ бы само собою, безъ труда и натяжки. Авторъ рассказываетъ самые простые эпизоды своего путешествія, рассказываетъ ихъ, повидимому, безъ всякой задней мысли, безъ всякой заранее обдуманной цѣли, но взгляните въ эти эпизоды: въ каждомъ изъ нихъ вы увидите какую-нибудь мелкую, едва замѣтную, но характернстическую черту; прочтя нѣсколько такихъ эпизодовъ, вы замѣчаете, что нечувствительно познакомились съ духомъ и складомъ ума известнаго народа. Англичане, голландцы, индѣйцы, китайцы, дикейцы, корейцы и особенно японцы, доставляли автору матеріалы для наблюденій; всѣ они являются съ своей оригинальной фizioноміей, своимъ личнымъ, отчетливо обработаннымъ характеромъ. Даже жители крайняго востока Азии, китайцы, корейцы, ливейцы и японцы—народы родственные, близкіе между собою по происхожденію—рѣзко разграничены; между ними есть много общаго, есть семейное сходство, но каждый изъ нихъ сохранилъ у Гончарова свою оригинальность, каждый имѣетъ свои отличительныя свойства. Очерчивая типы цѣлыхъ національностей, авторъ въ то же время отдѣляетъ характеры отдѣльныхъ личностей. Японскіе переводчики и сновники, посѣщавшіе фрегатъ въ пагасакской гавани, выведены такимъ образомъ въ дневникѣ путевыхъ впечатлѣній: всѣ они представляютъ типъ японца, но каждая отдѣльная личность живетъ своей жизнью, имѣетъ свои личныя общечеловѣческія свойства и, сохраняя національную фizioномію, рѣзко отличается отъ своихъ единоплеменниковъ. Богатый матеріалъ для наблюденій давалъ автору экипажъ фрегата; большая часть офицеровъ и матросовъ играютъ важную роль въ

путевыхъ замѣткахъ, представляя собою различныя видоизмѣненія русскаго народнаго характера. Столкновеніе этихъ чисто русскіхъ типовъ съ англичанами, съ японцами, съ малайцами и т. д. представляетъ любопытное явленіе и даетъ мѣсто многимъ занимательнымъ эпизодамъ, въ которыхъ авторъ обнаруживаетъ въ полной силѣ свое знаніе русскаго человѣка. Не приводимъ здѣсь никакого отрывка, потому что подобные эпизоды могутъ быть совершенно понятны, могутъ произвести свое полное впечатлѣніе только въ связи между собою, когда уже знакомы и общій тонъ разсказа, и характеры отдѣльныхъ дѣйствующихъ лицъ. «Фрегатъ Паллада» состоитъ, какъ мы уже замѣтили, изъ писемъ, писанныхъ для друзей и сначала не предназначавшихся для печати. Это обстоятельство придаетъ путевымъ замѣткамъ особенный характеръ задушевной теплоты и дружеской откровенности: Гончаровъ постоянно говоритъ о себѣ, о своихъ впечатлѣніяхъ, о своемъ расположеніи духа, о вліяніи вѣшней обстановки на его здоровье и духовную дѣятельность; личность автора не скрывается за описываемыми предметами; читатель не теряетъ ее изъ виду и коротко знакомится съ нею къ концу путевыхъ замѣтокъ. Путешествіе Гончарова по неизмѣримымъ равнинамъ, болотамъ и тундрамъ Сибири,—путешествіе, въ которомъ онъ почти исключительно говоритъ о своихъ лишеніяхъ и путевыхъ страданіяхъ, всего болѣе содѣйствуетъ этому сближенію читателя съ авторомъ. Эта часть путешествія сверхъ того даетъ самыя занимательныя подробности объ обширномъ краѣ, любопытномъ во всѣхъ отношеніяхъ, составляющемъ часть нашего отечества и почти неизвѣстномъ большинству читателей.

**Отголосокъ на «жалобу женщины». В...й.**  
(«Современникъ» 1858 г., февраль).

Въ небольшой статьѣ г-жи В...й затронуты самые важные и существенные вопросы женскаго воспитанія,—вопросы, вызванные не теоретическимъ размышленіемъ, а насущною жизненною потребностью. Г-жа В...—мать, занимающаяся воспитаніемъ своихъ дочерей, съ любовью взявшаяся за свое святое дѣло и посвятившая ему всѣ силы своей души. При всемъ горячемъ желаніи принести истинную пользу своимъ дѣтямъ, г-жа В... не получившая прочнаго образованія, не слѣдившая за развитіемъ педагогическихъ идей, не довѣряетъ собственнымъ силамъ и, излагая свою систему воспитанія, требуетъ совѣта и помощи мыслящихъ людей нашего общества. Чтобы объяснить свое положеніе, чтобы показать тѣ обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ она взялась за

трудное дѣло воспитанія, она въ короткихъ словахъ рассказываетъ свою молодость, прошедшую безъ любящаго надзора матери и не оставившую ей ни основательныхъ свѣдѣній, ни твердыхъ убѣждений. Прекрасное сердце и свѣтлый природный умъ извѣдали г-жу В... отъ внутренней душевной пустоты и сухости, которая большей частью бываетъ слѣдствіемъ недостаточнаго развитія; весело и беззаботно прошли первые годы ея замужества, но обстоятельства скоро перемѣнились, состояніе разстроилось, и г-жа В..., сдѣлавшись матерью, поняла свои обязанности и сама взялась за воспитаніе своихъ дочерей. Желая приготовить ихъ къ бѣдной, трудовой жизни, желая убѣдить ихъ въ необходимости полезной дѣятельности, г-жа В... не скрываетъ отъ нихъ стѣсненнаго положенія своихъ обстоятельствъ, не утѣшаетъ ихъ, не общается имъ веселой будущности, но, приучая ихъ къ хозяйственнымъ заботамъ, старается приохотить ихъ къ труду, который, смотря по направленію, данному въ молодости, можетъ сдѣлаться для чловѣка невыносимымъ бременемъ или необходимымъ условіемъ жизни. Чтобы наставленія и уроки ея не оставались мертвой буквой, чтобы они глубоко проникали въ молодое сердца дѣтей, чтобы они служили основаніемъ ихъ будущихъ убѣждений, г-жа В... старается быть близкою къ своимъ дочерямъ, живетъ съ ними одною жизнью, раздѣляетъ ихъ игры, дѣлается ихъ необходимою подругой, и не стѣсня ихъ подозрительнымъ надзоромъ, не тяготѣя надъ ними строгою властью, приобретаетъ ихъ добровольное и полное дружеское довѣріе. Она приводитъ простой, но трагическій эпизодъ, доказывающій всю силу любви дѣтскаго, неспорченнаго сердца. «Образовать своихъ дѣвочекъ нравственно, говоритъ г-жа В...—я, кажется, успѣла; онѣ религіозны безъ суевѣрія, добронравны и чувствительны, готовы отдать послѣднее бѣдному, не жаждутъ нарядовъ и способны на всякія лишения». Если воспитаніе достигаетъ такихъ результатовъ, то можно сказать смѣло, что оно ведено правильно и разумно. Но для гармоническаго развитія необходимо еще прочное научное образованіе; чтобы понимать свои обязанности и свое положеніе, женщина должна имѣть вѣрный взглядъ на жизнь, на людей, на все, что ее окружаетъ. Такой взглядъ дается жизненнымъ опытомъ; но чтобы этотъ опытъ вполне принесъ свою пользу, чтобы въ немъ окрѣпли убѣжденія, необходимо, чтобы убѣжденія эти были вложены воспитаніемъ, необходимо правильное приготовленіе къ жизни и всестороннее умственное развитіе. Необходимость такого развитія сознаетъ г-жа В..., но тутъ начинаются для нея мучительныя сомнѣнія, недовѣріе къ собственнымъ силамъ, къ правильности своего взгляда на вещи. Несмотря на всѣ эти затрудненія, она, руководствуясь однимъ при-

роднымъ здравымъ смысломъ, слѣдуя внушеніямъ разумной материнской любви, достигаетъ самыхъ отрадныхъ результатовъ, къ которымъ стремится современная педагогическая наука. Г-жа В... не скрываетъ отъ своихъ дѣтей грустной, мрачной стороны жизни, не представляетъ людей ангелами, не создаетъ имъ фантастическаго міра, въ которомъ господствуетъ и торжествуетъ добродѣтель; не разоблачая передъ ними отвратительныхъ явленій порока, не останавливая ихъ мысли на сценахъ злодѣянія и безнравственности, не убивая ихъ вѣры въ доброе и прекрасное, она даетъ имъ замѣтить, что въ жизни есть много не изящнаго, что въ людяхъ много дурного и плоскаго, что чловѣку свойственны слабости и заблужденія. Лучшимъ средствомъ къ ознакомленію дѣтей своихъ съ будничною невзрачною стороною жизни г-жа В... считаетъ чтеніе нашихъ лучшихъ современныхъ писателей и смѣло, съ полнымъ убѣжденіемъ, даетъ въ руки своимъ дочерямъ Гоголя, Аксакова («Семейную хронику»), Толстого («Дѣтство и отрочество»), Тургенева («Записки охотника») и др. Такое приготовленіе къ жизни избавитъ въ будущемъ отъ горькаго разочарованія, которое въ душѣ пылкой и воспримчивой можетъ оставить неизгладимое чувство ненависти и презрѣнія къ людямъ и къ обществу. На такихъ данныхъ основано воспитаніе г-жи В...; по свѣтлымъ мыслямъ, которыя она высказываетъ въ своей статьѣ и которыя, повидимому, выработались въ ней опытомъ и путемъ самостоятельнаго размышленія, можно судить о степени ея простаго ума; по искреннему чувству, съ которымъ она проситъ совѣта и дѣлится своимъ опытомъ съ матерями и воспитательницами, легко узнать любящую женщину-мать, глубоко проникнутую сознаніемъ своихъ святыхъ обязанностей. Можно надѣяться, что теплыя слова г-жи В... не останутся безъ отвѣта и принесутъ свою долю пользы въ уясненіи идеи женскаго воспитанія.

**Николай Яковлевичъ Прокоповичъ и отношенія его къ Гоголю.** *Н. В. Гербеля.* («Современникъ», 1858 г., февраль).

Дорого русскому сердцу имя Гоголя; Гоголь былъ первымъ нашимъ народнымъ, исключительно русскимъ поэтомъ; никто лучше его не понималъ всѣхъ отбѣнковъ русской жизни и русскаго характера, никто такъ поразительно вѣрно не изображалъ русскаго общества; лучшие современные дѣятели нашей литературы могутъ быть названы послѣдователями Гоголя; на всѣхъ ихъ произведеніяхъ лежитъ печать его вліянія, слѣды котораго еще долго вѣроятно останутся на русской словесности. Все, что можетъ объяснить подробности жизни Гоголя,

условія, при которыхъ онъ развивался, характеръ его, какъ частнаго человѣка, все, что было къ нему близко и приходило съ нимъ въ соприкосновеніе, заслуживаетъ нашего полнаго вниманія. Статья Гербеля содержитъ въ себѣ краткую біографію Н. Я. Прокоповича, лучшаго друга и школьнаго товарища нашего великаго поэта. Прокоповичъ вмѣстѣ съ Гоголемъ воспитывался въ Нѣжинскомъ Лицеѣ, подружился съ нимъ въ молодости и остался близокъ къ нему на всю жизнь. Гоголь часто видѣлся съ нимъ, когда жилъ въ Петербургѣ, гдѣ Прокоповичъ служилъ послѣ окончанія лицейскаго курса; во время разлуки они вели между собою постоянную переписку, откровенную, товарищескую бесѣду, которая бросаетъ яркій свѣтъ на личность Гоголя, какъ человѣка. За границею, въ Парижѣ, въ Римѣ, Гоголь любилъ забывать на время свои заботы, душевныя волненія и физическія болѣзни, любилъ переноситься воображеніемъ въ веселый кружокъ прежнихъ товарищей. Въ письмахъ своихъ къ Прокоповичу, проникнутыхъ душевными, теплыми чувствомъ, онъ часто воспоминаетъ лицейскіе годы и съ искренними участіемъ разспрашиваетъ о своихъ сверстникахъ. Гоголь видѣлъ въ Прокоповичѣ замѣчательный творческій талантъ и въ письмахъ своихъ часто уговариваетъ его взяться за перо; въ литературныхъ опытахъ Прокоповича дѣйствительно замѣтны проблески истиннаго таланта, но талантъ этотъ никогда не получилъ полнаго развитія. Прокоповичъ довольствовался скромной должностью учителя, печаталъ мало и неохотно, и рѣшительно не оправдалъ тѣхъ надеждъ, которыя возлагалъ на него Гоголь. Опыты его прошли незамѣченными, и Прокоповичъ, какъ писатель, рѣшительно неизвѣстенъ въ русской литературѣ. Зато имя его занимаетъ важное мѣсто въ біографіи Гоголя; онъ помогалъ нашему поэту дѣломъ и совѣтомъ; въ отсутствіе его онъ завѣдывалъ изданіемъ его сочиненій; ему поручено было высылать Гоголю деньги за границу; его спокойная веселость разгоняла при свиданіи меланхолію Гоголя; въ домѣ Прокоповича собирався кружокъ нѣжинскихъ товарищей, и въ этомъ обществѣ Гоголь былъ веселъ, шутилъ и сочинялъ на общихъ знакомыхъ разныя пѣсни и куплеты. Въ разлуку, письма Прокоповича поддерживали въ Гоголѣ веселое расположеніе духа и служили ему истинной отрадой на чужой сторонѣ. Въ своей статьѣ Гербель приводитъ цѣликомъ нѣсколько писемъ Гоголя къ Прокоповичу. Письма эти показываютъ намъ, какъ тѣсны были ихъ отношенія. Гоголь съ полной откровенностью говоритъ въ нихъ о своихъ нуждахъ, о своихъ плахахъ и надеждахъ. Впрочемъ въ этихъ дружескихъ отношеніяхъ лучшая роль принадлежала не Гоголю. Въ большей части своихъ писемъ, особенно въ тѣхъ, которыя относятся ко времени печатанія «Мертвыхъ Душъ»,

Гоголь требуетъ отъ Прокоповича разнаго рода услугъ и одолженій; видимо злоупотребляетъ его дружескою предупредительностью и даже иногда, въ случаѣ какой-нибудь неудачи или ошибки Прокоповича, даетъ ему почувствовать свое неудовольствіе въ какомъ-нибудь косвенномъ намека. «Дѣльною перепискою» Гоголь называетъ только такую, въ которой дѣло идетъ о «Мертвыхъ Душахъ» и объ изданіи его сочиненій; во всѣхъ письмахъ онъ говоритъ о себѣ, о своихъ нуждахъ и только изрѣдка, для приличія, покровительственнымъ тономъ убѣждаетъ Прокоповича взяться за перо и развивать свой литературный талантъ. Гоголи въ то время занимали чисто практическіе, промышленные интересы; въ письмахъ, относящихся ко времени изданія сочиненій, цѣлыя страницы наполнены разсужденіями о шрифтѣ, о бумагѣ, о цѣлѣ. Болѣе замѣчательны другія письма Гоголя, въ которыхъ онъ говоритъ о состояніи своей души, — письма, относящаяся къ послѣдующимъ годамъ его жизни, проникнутыя уныніемъ, болѣзненной грустью, полнымъ недовѣріемъ къ собственнымъ силамъ. Приводимъ послѣднее его письмо, писанное за годъ до смерти и носящее на себѣ слѣды этого мрачнаго настроенія духа:

«На твое письмо не отвѣчалъ, въ ожиданіи лучшаго расположенія духа. Съ новаго года напали на меня всякаго рода недуги. Все болѣю и болѣю: климатъ допекаетъ. Куда убѣжать отъ него, еще не знаю; пока не рѣшился ни на что. Радъ, что ты здоровъ и твое семейство также. По настоящему слѣдуетъ позабыть свою хандру, когда видишь, что друзья и близкіе еще, слава Богу, здравствуютъ. Впрочемъ и то сказать: надобно знать честь. Мы съ тобой, слава Богу, пережили сорокъ лѣтъ и во все это время ничего не знали, кромѣ хорошаго, тогда какъ иныхъ вся жизнь — одно страданіе. Да будетъ же прежде всего на устахъ нашихъ благодарность. Болѣзни приостановили мои занятія «Мертвыми Душами», которыя пошли было хорошо. Можетъ быть болѣзнь, а можетъ быть и то, что, какъ поглядишь, какіе глупые настаютъ читатели, какіе безтолковые цѣнители, какое отсутствіе вкуса... просто не поднимаются руки. Странное дѣло, хоть и знаешь, что трудъ твой не для какого-нибудь переходнаго... современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимаетъ нужное для него спокойствіе. Увѣдоми меня о себѣ. Все же и въ твоей жизни, какъ дни ея повидимому ни походятъ одинъ на другой, случается что-нибудь не ежечасное: или прочтется что-нибудь, или услышится, или сама собой, какъ подарокъ съ неба, почувствуется такая минута, что хотѣлъ бы благодарить за нее долго и быть вѣчно свѣжимъ и новымъ въ своей благодарности. Адресуй попрежнему: въ домъ Тамызина, на Никитскомъ Бульварѣ. Супругу и дѣтокъ обними.

Твой весь Н. Гоголь».

Только въ дружескомъ письмѣ могло такъ полно обнаружиться состояніе души нашего поэта. Въ каждомъ словѣ Гоголя видна болѣзнен-



ная внутренняя пустота, неудовольствие на себя и на других; видно, что въ Гоголѣ уже совершился горестный переворотъ, вслѣдствіе котораго онъ вдался въ ханжество и отгрекся отъ лучшихъ своихъ произведеній. Отсюда происходят жалобы его почитателей, которые конечно не могли понять его «Переписки съ друзьями», показавшей въ немъ совершенную перемену основныхъ убѣжденій. Въ статьѣ Гербеля на первомъ планѣ стоитъ личность Гоголя, заслоняя собою личность Прокоповича. Это довольно понятно. Для біографіи Прокоповича нѣтъ другихъ матеріаловъ, кромѣ переписки его съ Гоголемъ; къ тому же самъ Прокоповичъ важенъ для насъ только какъ другъ великаго поэта, и потому письма Гоголя, приведенныя Гербедемъ, составляютъ главный интересъ статьи, тѣмъ болѣе, что они напечатаны въ первый разъ и до сихъ поръ не были извѣстны.

**Босоножка.** Повѣсть *Аузбаха*. («Библіотека для Чтенія», 1858 г., январь и февраль).

Эта повѣсть Ауэрбаха отличается необыкновенной граціозностью формы и тонкимъ анализомъ внутреннихъ движеній человѣческой души. Въ ней прослѣжено параллельное развитіе двухъ характеровъ, которые, развиваясь при одинаково неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, доходятъ до совершенно противоположныхъ результатовъ. Братъ и сестра, Дами и Амрей, дѣти бѣднаго нѣмецкаго крестьянина, въ младенчествѣ теряютъ своихъ родителей и, оставшись круглыми сиротами, растутъ на попеченіи общественнаго совѣта деревни, который, заботясь о ихъ пропитаніи, посылая ихъ въ школу, конечно не можетъ слѣдить шагъ за шагомъ за ихъ умственнымъ развитіемъ и такимъ образомъ замѣнить имъ родительскій надзоръ. Предоставленныя собственнымъ наклонностямъ, лишеныя необходимаго присмотра, дѣти развиваются независимо отъ посторонняго вліянія, свободно слѣдя каждый своему внутреннему побужденію. Различіе ихъ характеровъ, замѣтное въ самомъ нѣжномъ возрастѣ, съ годами усиливается и принимаетъ болѣе опредѣленныя формы. Одно и то же несчастье, поразившее обоихъ дѣтей, дѣйствуетъ на нихъ совершенно различно: Амрея глубоко чувствуетъ свою потерю, свое одиночество, питаетъ благоговѣнное уваженіе къ памяти родителей, но затаиваетъ въ глубинѣ души свою печаль и въ самой горести находитъ новыя силы, чтобы учиться, работать и поддерживать брата. Дами плачетъ громче сестры, часто жалуется на свое сиротство, но утѣшается всякою бездѣлицей и, лишь бы ему было хорошо, готовъ забыть невозвратную потерю. Амрей груститъ о своихъ родителяхъ, боится за будущность брата; Дами жалѣетъ объ удобствахъ жизни, которыми пользовался въ отцовскомъ

дѣмѣ, и думаетъ только о себѣ. Бѣдность и зависимое положеніе, въ которое поставлены сироты, также производятъ на нихъ различное вліяніе. Амрея сосредоточиваетъ въ себѣ свои силы, пріучается заботиться о самой себѣ, вдумывается въ собственное положеніе и въ поступки окружающихъ ее людей; въ ней просыпается чувство собственнаго достоинства, и она, по инстинктивному побужденію благородной природы, старается оградить себя отъ обидъ и подарковъ, отъ оскорбительныхъ насмѣшекъ и оскорбительнаго участія людей постороннихъ. Дами не умѣетъ стать выше своего положенія и постоянными жалобами на свое сиротство возбуждаетъ въ сверстникахъ и знакомыхъ отвращеніе или презрительную жалость; оскорбленія не возмущаютъ его, а заставляютъ страдать настолько, насколько они нарушаютъ его спокойствіе или матеріальное благосостояніе. Онъ не размышляетъ, не вдумывается въ жизнь, а живетъ, какъ живется: чуть улыбнется счастье, начинается строить воздушные замки, при малѣйшей неудачѣ падаетъ духомъ, жалуется на сиротство и во всемъ обвиняетъ сестру, которая, несмотря на свою молодость, съ предусмотрительною нѣжностью матери заботится о его будущности. Въ повѣсти Ауэрбаха стоитъ на первомъ планѣ превосходно обработанный характеръ Амрей. Мы поговоримъ о ней подробнѣе. Авторъ слѣдитъ за ея внутреннимъ развитіемъ, за постепеннымъ пробужденіемъ различныхъ силъ ея души, за процессомъ мысли, которая съ каждымъ годомъ сильнѣе и сильнѣе работаетъ въ головѣ дѣвочки. Способность вдумываться въ предметъ и быстро схватывать его характеристическія свойства проявляется въ ребенкѣ въ умѣннѣ сочинять и отгадывать загадки; самостоятельность характера выражается въ какой-то угловатой, безыскусственной оригинальности, которая съ лѣтами до нѣкоторой степени сглаживается, но оставляетъ на Амрей легкій отпечатокъ чего-то особеннаго, недюжиннаго. Въ бессознательномъ влеченіи ребенка къ цвѣтамъ, къ зелени, къ родной липѣ видны зародыши глубокаго поэтическаго сочувствія къ природѣ; въ нѣжной ребячески-граціозной заботливости 17-ти-лѣтней дѣвочки о бѣдномъ Дами замѣтна мягкая женственность; ея умѣннѣ обращаться съ неразвитымъ, своимъ нравнымъ и въ то же время безхарактернымъ мальчикомъ показываетъ задатки рѣдкаго благородія. Эти отдѣльныя черты, прекрасно сгруппированныя авторомъ, слагаются въ нѣжный, прелестный образъ; ребенокъ дѣлается дѣвучкою, свойства характера обозначаются опредѣленнѣе и круглѣе, изъ инстинктивнаго стремленія къ истинѣ и прекрасною возникаютъ сознательныя убѣжденія, выработанныя самостоятельнымъ размышленіемъ и проведенныя въ жизнь. Сочувствіе къ природѣ, слѣдствіе частаго уединенія и простой деревенской жизни, прини-

масть отъѣнокъ мечтательности, которая не вредитъ однако чисто практической сторонѣ жизни. Дѣвушка поэтизируетъ явленія природы и случаи вседневной жизни, отыскиваетъ въ нихъ идею и значеніе, видитъ въ нихъ скрытый таинственный смыслъ, сливаетъ ихъ съ собственными радужными грезами и фантазіями и, несмотря на то, строго выполняетъ свои обязанности, здраво и свѣтло смотритъ на жизнь и на свое назначеніе. «Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ Ауэрбахъ:—въ Амреѣ образовались отшельническія мечты, рѣдко освѣщаемыя жизненнымъ расчетомъ; но при всѣхъ мечтахъ и размышленіяхъ своихъ она тщательно взираетъ и не спускала ни одной петли». Въ заключеніе приведемъ нѣсколько сценъ между братомъ и сестрою: эти сцены, выбранныя изъ различныхъ возрастовъ, покажутъ постепенное развитіе обонхъ характеровъ, постепенное осмысленіе ихъ взаимныхъ отношеній. Вотъ сцена въ самомъ началѣ повѣсти:

«Дорогой дѣвочка сказала:

— Я тебѣ задамъ загадку: «какое дерево грѣетъ, хотя имъ и не топятъ печки?»

— Липейка учителя, когда бьютъ ею по рукамъ,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Нѣтъ, не то; дерево, которое колютъ, грѣетъ безъ огня.

И, остановившись у куста, она спросила:

— А это что? сидитъ на палочкѣ, въ красной рубашечкѣ, брюшко сыто, камнями набито?

Мальчикъ серьезно задумался и воскликнулъ:

— Постой, не говори мнѣ, что это такое... Ахъ! это шишка шиповника.

Дѣвочка одобрительно кивнула головой и сдѣлала видъ, какъ-будто задала ему эту загадку въ первый разъ, между тѣмъ какъ это случилось очень часто, и она повторила загадку, чтобы потѣшить братишку».

Тутъ видно только доброе чувство, желаніе развеселить брата, чувство инстинктивное, но уже показывающее огромное превосходство Амрея надъ Дами. Дѣвушка смутно понимаетъ, что она старшая, что она обязана уступать ребенку, и въ ея обращеніи проглядываетъ сознаніе своего превосходства. Черезъ нѣсколько времени происходитъ сцена въ томъ-же родѣ, но уже съ другимъ отъѣнкомъ. Вотъ она:

«Всего больше доставляла Амрея удовольствія Дами, когда «дарила ему свои загадки». Дѣти все еще сжиливали у дома своего богатаго опекуна, то у телѣги, то у хлѣбной печки за домомъ, грѣясь около нея, особенно осенью. Амрея спрашивала:

— А что всего лучше въ хлѣбной печкѣ?

— Ты вѣдь знаешь, я не умѣю отгадывать,—жалобно отвѣчалъ Дами.

— Ну, такъ я тебѣ скажу: лучше всего въ хлѣбной печкѣ то, что она не съѣдаетъ сама хлѣба. И указывая на телѣгу, стоящую передъ домомъ, Амрея спрашивала:—Ну, а это что: все въ дырахъ, а ужъ какъ крѣпко, просто страхъ!

И, не дожидая долго отвѣта, она прибавила:

— Это цѣпь.

— Эту загадку подари мнѣ, говорилъ Дами, а Амрея отвѣчала:

— Да, можешь задавать ее кому хочешь. А видишь тамъ овецъ? Теперь я еще загадку выдумала.

— Нѣтъ, восклицала Дами:—нѣтъ, трехъ мнѣ не запомнить: мнѣ довольно и двухъ.

— Нѣтъ, слушай, а то я и ты отниму.

И Дами съ безпокойствомъ шептала, чтобы не позабыть: «цѣпь, печка, а между тѣмъ, какъ Амрея спрашивала: «Съ какой стороны у овецъ больше шерсти? Мнѣ! мнѣ съ наружной!», добавляла она шутливо, напѣвая, а Дами послѣ этого бѣжалъ загадать свои новыя загадки товарищамъ».

Угроза отнять подаренныя загадки составляетъ важную черту. Амрея смотритъ на дѣло серьезно, и игра въ загадки перестаетъ быть пустою забавою: она видитъ въ ней средство упражнять память брата и для этого пользуется тѣмъ вліяніемъ, которое успѣла приобрести на него. Къ доброму желанію потѣшить ребенка присоединяется разумное желаніе принести ему пользу. Спустя лѣтъ шесть Амрея дѣлается гусятницею и случайно узнаетъ, что знаніе это въ ея деревнѣ считается унижительнымъ:

«Для самой себя она и не желала ничего лучшаго, но она не стала больше позволять Дами стережъ съ нею гусей. Онъ—мужчина, изъ него долженъ выйти человѣкъ, и ему повредило бы, если бъ его можно было упрекнуть, что онъ прежде пасъ гусей. Но при всемъ желаніи, Амрея не могла разъяснить ему этого, и онъ спорилъ и ссорился съ сестрою».

Тутъ уже является такое благоразуміе, которое можетъ даже показаться неестественнымъ въ 14-ти-лѣтней дѣвушкѣ; но надо вспомнить, что эта дѣвушка рано развилась, что она съ шести лѣтъ росла на свободѣ, обдумывала свои поступки и вглядывалась въ природу. Ранняя самостоятельность или испортилъ характеръ, или придастъ ему особенную силу: съ Амреей случилось послѣднее... Еще одна сцена, тоже лѣтъ черезъ шесть послѣ предыдущей. Дами уходитъ въ другую деревню на мѣсто, и Амрея, прозванная Босоножкой, даетъ ему послѣднія наставленія.

«—Кабы ты мнѣ сказалъ это,—сказала Босоножка:—яшла бы тебѣ мѣсто получше. Я дала бы тебѣ письмо къ Ландфридшѣ въ Альгей, и тамъ бы тебя приняли, какъ сына.

— Лучше не говори объ ней,—сердито сказалъ Дами:—вотъ ужъ скоро тринадцать лѣтъ, какъ она должна мнѣ пару кожаныхъ панталонъ, что обѣщала. Помнишь? Тогда мы были еще маленькіе и думали, что если будемъ стучаться у своего дома, то намъ отворотъ батюшка съ матушкой. Молчи лучше объ Ландфридшѣ. Богъ знаетъ, помнить ли она объ насъ и жива ли еще.

— Да, жива; вѣдь она родня нашимъ, и дома объ ней часто говорятъ; она пережила всѣхъ своихъ дѣтей, кромѣ одного сына, которому передаетъ свое хозяйство.

— Ты только отвратишь меня отъ моей новой службѣ,—жалобно сказалъ Дами:—вотъ ты говоришь, что я могъ бы достать мѣсто получше. Хорошо ли это?

Голосъ у него задрожалъ.

— Не будь же такимъ нѣженкой, сказала Босоножка. — Развѣ я отнимаю у тебя что-нибудь? Ты дѣлаешь всегда такой видъ, какъ будто тебя гуси щиплютъ. Вотъ что скажу я тебѣ: теперь оставайся при томъ, что есть у тебя, постарайся остаться на этомъ мѣстѣ. Не дѣло, какъ кукушка, переходить всякую ночь почевать на новое дерево. Я бы также могла достать другое мѣсто, но не хочу; я вотъ сдѣлала, что мнѣ и тутъ хорошо. Кто каждую минуту переходитъ съ мѣста на мѣсто, на того смотреть какъ на чужого; знаютъ, что завтра его не будетъ ужъ въ домѣ, и потому и сегодня тамъ, какъ не дома.

— Мнѣ не надо твоихъ нравоученій, сказалъ Дами и, разсердившись, хотѣлъ уйти. — Ты всегда стараешься задѣть меня; а со всѣми другими ты уступчива.

— Да, потому что ты братъ мнѣ, смѣясь, сказала Босоножка, лаская недовольнаго.

Можно подумать, что мать говорить съ сыномъ, такая разумная нѣжность, такая серьезность и твердость убѣждений видны въ словахъ Босоножки. Жалкая личность Дами прекрасно выразилась въ этой сценѣ. Онъ то сердится, то плачется на судьбу, то тяготится благотворнымъ вліяніемъ сестры и между тѣмъ не въ силахъ его сбросить. Есть въ повѣсти мѣста довольно блѣдныя, особенно во второй части: первая любовь Амреи объяснена довольно безцвѣтно и недостаточно, мѣстами въ повѣсти отражается нѣмецкая туманная сентиментальность, когда говорится о симпатіи, о сочувствіи душъ, о бессознательныхъ предчувствіяхъ двухъ любящихъ сердецъ. Эти мелкіе недостатки впрочемъ вполне выкупаются достоинствомъ цѣлаго и превосходно выдержаннымъ характеромъ Амреи.

### Остапъ Бондарчукъ. Романъ *Г. Крашевскаго*. («Библ. для Чт.», 1859 г., июль).

Романъ польскаго писателя Крашевскаго «Остапъ Бондарчукъ» отличается разнообразіемъ положеній, занимательностью содержанія и живостью дѣйствія. Въ немъ представлено столкновеніе двухъ поколѣній, которыя смотрятъ совершенно различно на предметы самые важные: на личность человѣка, на его отношенія къ обществу, на его обязанности въ отношеніи къ самому себѣ и къ ближнимъ.

Съ одной стороны является старый графъ, обломокъ польской аристократіи и представитель старыхъ идей и отжившихъ предрасудковъ. Онъ различаетъ людей по ихъ происхожденію, уважаетъ только знатность рода или богатство и не обращаетъ никакого вниманія ни на образованіе, ни на личныя достоинства; съ другой стороны стоятъ дочь и племянникъ графа, воспитанные подъ вліяніемъ живыхъ идей, проникнутые теплою любовью къ человѣчеству, съ искреннимъ уваженіемъ ко всему истинному, благо-

родному и прекрасному, гдѣ бы оно ни встрѣтилось, въ какой бы низкой сферѣ общества оно ни находилось. Племянникъ, Альфредъ, представляетъ типъ молодого аристократа, умнаго, развитого, сознающаго необходимость труда и образованія, но сохранившаго какую-то врожденную наследственную лѣнь, склонность къ бездѣйствію, которая мало-по-малу беретъ верхъ надъ желаніемъ трудиться и приносить пользу, надъ сознаніемъ собственныхъ обязанностей въ отношеніи къ обществу. Дочь графа, Михалина, по своимъ понятіямъ представляетъ совершенную противоположность съ старымъ графомъ: открыто высказываетъ свои идеи, споритъ съ отцомъ и старается, по возможности, измѣнить его неправильныя убѣжденія; она держитъ себя независимо какъ въ своихъ разсужденіяхъ, такъ и въ поступкахъ, любитъ все новое и оригинальное и часто является прелестнымъ, избалованнымъ ребенкомъ въ своихъ желаніяхъ и требованіяхъ. Среди такой обстановки помѣщенъ герой романа, Остапъ Бондарчукъ, крѣпостной человѣкъ графа, получившій, по особенному стеченію обстоятельствъ, прекрасное образованіе. Онъ поставленъ въ самое затруднительное и тяжелое положеніе: образованіе выдвинуло его изъ прежняго состоянія, приблизило его къ другой сферѣ, въ которую не пускаютъ его общественныя предрасудки, олицетворенныя въ особѣ стараго графа. Графъ, не обращая никакого вниманія на образованіе и личныя достоинства человѣка, не придавая имъ никакого значенія, попрежнему считаетъ Остапа своею собственностью, не щадитъ его самолюбія и хочетъ по своему произволу располагать его судьбою. Альфредъ, товарищъ Остапа по Берлинскому университету, считаетъ его лучшимъ и единственнымъ своимъ другомъ и, зная его прекрасныя качества, питаетъ къ нему глубокое уваженіе. Михалина, заинтересованная его оригинальнымъ положеніемъ, вглядывается въ него пристальнѣе, оцѣниваетъ его достоинства и, несмотря на различіе общественнаго положенія, чувствуетъ къ нему непреодолимое влеченіе. Вотъ на чемъ основана завязка романа. Дѣйствіе происходитъ на Воляни, въ помѣстьѣ графа, и начинается пріѣздомъ изъ-за границы молодыхъ людей, Остапа и Альфреда, окончившихъ курсъ въ Берлинскомъ университетѣ. Съ этой минуты, собственно говоря, начинается дѣйствіе. Въ предыдущихъ главахъ заключается вступленіе, въ которомъ авторъ выводитъ свои дѣйствующія лица и знакомитъ читателя съ ихъ характеромъ и убѣжденіями. Романъ Крашевскаго состоитъ изъ двухъ частей; но въ одной первой части заключается весь интересъ романа: въ ней уже оканчивается начатое дѣйствіе, рѣшается судьба главныхъ дѣйствующихъ лицъ, Остапа, Михалины и Альфреда. Событія первой части прямо вытекаютъ изъ характера и поло-

жени дѣйствующихъ лицъ. Они вполне естественны, находятся въ тѣсной связи между собою и проникнуты живымъ интересомъ. Во второй части событія придуманы искусственно и основаны на разныхъ случайностяхъ, которыя не обуславливаются характеромъ выведенныхъ лицъ, плохо вяжутся между собою и не составляютъ никакого стройнаго цѣлаго; несмотря на усилія автора оживить дѣйствіе разными вводными лицами, несмотря на нѣсколько прекрасныхъ и типичныхъ сценъ, интересъ во второй части слабъ, дѣйствіе вяло и натянута. Замѣтимъ еще одинъ недостатокъ въ романѣ Крашевскаго: у него нѣтъ анализа внутреннихъ движеній души, онъ описываетъ очень вѣрно и художественно внѣшнее дѣйствіе, но не вникаетъ во внутреннія причины этого дѣйствія, не слѣдитъ за развитіемъ характеровъ. Дѣйствующія лица его можно назвать типами, олицетвореніями извѣстныхъ убѣжденій; но трудно опредѣлить ихъ личный характеръ. Графъ—старый аристократъ, Альфредъ—молодой аристократъ; но ни у того, ни у другого нѣтъ своей собственной личности: они дѣйствуютъ подъ вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, поступаютъ по убѣжденіямъ, которыя вложило въ нихъ воспитаніе, выражаютъ извѣстныя идеи, не высказывая ни гдѣ, ни въ словахъ, ни въ поступкахъ, своего характера, внутреннихъ свойствъ своей души. Душевные движенія не разобраны авторомъ. Напримѣръ, любовь Михалины къ Остапу, любовь очень естественная, которой можно было оживить отъ положенія молодыхъ людей, является какъ-то внезапно. Какъ личность Остапа обратила на себя вниманіе Михалины, какъ подѣйствовали его возвышенный образъ мыслей, его благородныя убѣжденія на воспримчивую глубокую душу умной и развитой дѣвушки, какъ совершился переходъ отъ сожалѣнія и снисходительнаго участія къ уваженію, отъ уваженія—къ болѣе нѣжному чувству, какъ поняла дочь графа свой первый, едва замѣтный проблескъ любви,—всѣ эти вопросы, существенно важныя для объясненія личности Михалины, остаются безъ отвѣта. Остапъ является героемъ романа, онъ дѣйствуетъ тоже сообразуясь съ обстоятельствами, поступаетъ вездѣ хорошо и благородно; но читатель нигдѣ не видитъ побудительной причины, не можетъ прослѣдить внутренней борьбы, совершавшейся въ его душѣ, не видитъ онъ, какъ мысль смѣнялась мыслью, какъ чувства одно за другимъ овладѣвали душою, какъ дѣйствовали внѣшнія обстоятельства и какъ подѣ ихъ вліяніемъ возникъ и сложился характеръ. Словомъ, Крашевскій представляетъ результаты, выводы, не анализируя причинъ. Недостатокъ анализа выкупается до нѣкоторой степени художественною полнотою, роскошною свѣжестью описаній. Гдѣ Крашевскій рисуетъ съ натуры, гдѣ онъ является живописцемъ, тамъ онъ поражаетъ вѣр-

ностью и силою своихъ картинъ. Въ самомъ началѣ своего романа онъ рисуетъ картину разрушенія, которую представляла волынская деревня графа вскорѣ послѣ нашествія французовъ въ 1812 году. Для своего описанія онъ не беретъ никакихъ смѣлыхъ образовъ, не позволяетъ себѣ ни малѣйшихъ прикрасъ, не даетъ воли воображенію: онъ рисуетъ просто, осязательно, останавливаясь на мельчайшихъ подробностяхъ, картину опустѣлаго села и разореннаго панскаго дома. Простота эта глубоко западаетъ въ душу и производитъ сильное и продолжительное впечатлѣніе. Приводимъ слова Крашевскаго:

«Послѣ двѣнадцатаго года избранная нами деревенька представляла самую грустную картину. Нѣсколько хижинъ были совершенно разобраны; торчали только оставленные столбы и развалившіяся черныя печи. Плетни заборовъ лежали на землѣ, огороды покрыты хворостомъ и крапивой. Кое-гдѣ видѣлись слѣды недавняго пожара. Истоптанная земля свидѣтельствовала о недавно стоявшихъ тутъ лошадахъ. Груды костей валялись по дорогѣ, вороны клевали остатки падали. Гробовая тишина прерывалась только ихъ карканьемъ. Крестьянъ возвратилось еще мало. Оттого рѣдкая изба топилась, и рѣдко человѣческая фигура показывалась на широкой улицѣ, частью поросшей уже травой. На концѣ селенія былъ старый панскій замокъ. Звали его замкомъ потому, что тотъ, кто жилъ въ немъ, назывался графомъ. Это было желтое одноэтажное строеніе съ четырьмя колоннами спереди, съ двумя флигелями по бокамъ, съ рѣшеткой, раздѣленной кирпичными столбами, и съ высокими каменными воротами, украшенными двумя глиняными сосудами. Послѣ войны рѣшетка была выломана, штукатурка со столбовъ осыпалась, и одна часть воротъ обрушилась. Замокъ представлялъ не очень красивый видъ. Въ большей части оконъ не было стеколъ и даже рамъ; инныя были затворены ставнями, инныя забиты досками, а другія сдѣлались приотомъ для воробьевъ и ласточекъ. Одинъ изъ флигелей служилъ повидимому конюшней; въ другомъ же одна половина была пустая, а другая занята управляющимъ. Въ переднемъ фасадѣ замка, не знаю, какимъ образомъ, пушечное ядро пробило дыру надъ самымъ стертымъ гербомъ владѣльца. Ласточки тутъ же прилѣбли себѣ гнѣздышко: разрушеніе послужило имъ въ пользу. Грустно было войти внутрь зданія. Поврежденная крыша прогускала снѣгъ и дождь, грязныя струи которыхъ лили на выбитый и выломанный полъ, на алебастровыя статуи и на расписанныя мозаическія стѣны. Замокъ самъ повѣствовалъ о своемъ бѣдствіи. Въ стѣнахъ прострѣленные стѣны, обвалившійся потолокъ, разбитыя двери. Въ комнатахъ были кучи пепла и угля, кресла и столы безъ ножекъ, вмѣсто печей одни кирпичи. Въ столовой висѣло въ беспорядкѣ нѣсколько фамильныхъ портретовъ, разрубленныхъ, ободранныхъ и прострѣленныхъ. Большой бильярдъ, безъ сукна, закрытъ былъ соломкою; къ зеленому шурку, на которомъ висѣлъ паукъ, привязана была веревка, служившая въ родѣ вѣшлицы; подъ ней была черная запекшаяся лужа. Вездѣ валялись кости, клочки бумаги, пыжи, обломки мебели и лохмотья одежды. Стѣны исписаны были разными неприличными словами. Въ кабинетѣ стояло разрушенное сабелными ударами фор-

тепьяно, а на полу валялись бѣлыя клавиши, разбитая арфа висѣла на кольцѣ; пустыя рамы картинъ затянута были трудолюбивымъ паукомъ. Въ библиотекѣ всѣ шкафы были пусты; только нѣсколько растрепанныхъ книгъ валялось въ беспорядкѣ, и вырванные листы бѣлѣлись по угламъ».

Другого рода картина разрушенія представляеть художественное описаніе бѣдной хижины волынскаго крестьянина, описаніе простое и трогательное, проникнутое глубокимъ сочувствіемъ къ тяжелой долѣ несчастныхъ труженниковъ.

«Нѣсколько кривыхъ дубовыхъ или осиновыхъ столбовъ подпирають ее по сторонамъ. Березовыя или осиновыя, подусгнившія кривыя балки служатъ подпорками крыши. О тесѣ и говорить нечего: онъ состоитъ изъ ободранныхъ осиновыхъ прутьевъ, безобразно прищипленныхъ одинъ къ другому, такъ что, когда солома облежится, то вся крыша или поднимается, или образуетъ ямы, черезъ которыя дождь ручьями проходитъ въ мазанку и ускоряетъ ея разрушеніе. Стѣны, заваленныя бревнами, служатъ цѣлой семьѣ защитой отъ зимней непогоды и страшныхъ вьюгъ. Внутри и снаружи хата každогодно обмазывается и огораживается валомъ изъ земли или навоза. Надъ прорубленнымъ маленькимъ окопечкомъ виситъ кусокъ свернутой соломы. Въ такомъ видѣ она существуетъ многие годы; зато старость ея очень печальна. Нескоро поселянинъ подумаетъ о новой хатѣ. Для него это невозможно. Крыша развалилась, порастетъ мхомъ, травой и житомъ. Стѣны уйдутъ въ землю, такъ что и окно придется на завалинкѣ, срубъ разойдется вкось, а все зовутъ ее хатой, все живутъ въ ней люди. Нерѣдко и крыша слѣзетъ, стѣны вывалятся; но и это не бѣда: ихъ подопрутъ, и все-таки живутъ въ нихъ. Трудно выстроить жильѣ въ бѣдѣнной сторонѣ. Гумно огораживается изъ плетня, и изъ экономіи одной стороной примыкаетъ къ хатѣ; хлѣвъ и сарай тоже прижаты къ ней. Зато, когда искра попадетъ на крышу, нѣтъ спасенія: все горитъ! Тутъ ужъ поповоль придется думать о постройкѣ новаго жилья».

Далѣе замѣчательна картина селенія графа во время холеры. Крашевскій выбираетъ обыкновенно сюжеты мрачныя и грустныя и прекрасно разработываетъ взятый предметъ. Не менѣе замѣчательны въ романѣ разговоры между дѣйствующими лицами, оживленные, естественные и прямо вытекающіе изъ ихъ положенія. Вообще говоря, романъ Крашевскаго, несмотря на недостатокъ анализа, несмотря на растянутость и неестественность второй части, представляетъ замѣчательныя литературныя достоинства и заслуживаетъ вниманія нашихъ читателей.

**Екатерина Великая на Днѣпрѣ.** Разсказъ Гр. Данилевскаго. («Б. для Ч.», 1858 г., октябрь).

Рекомендуемъ нашимъ читательницамъ небольшой историческій разсказъ г. Данилевскаго,

описывающей эпизодъ изъ путешествія Екатерины II по южной полосѣ Россіи. Путешествіе это происходило въ 1787 году, вскорѣ послѣ присоединенія Крыма. Крымъ былъ присоединенъ безъ войны, потому что ни Турція, устрашенная побѣдами Румянцева и Орлова, ни татары, занятые внутренними раздорами, не могли сопротивляться дѣйствіямъ русскаго правительства, которое въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ назначало и смѣняло по своему произволу крымскихъ хановъ. По мирному договору, заключенному при Кучукъ-Кайнарджи въ 1774 году, Турція объявила свободными прежнихъ данниковъ своихъ, татаръ крымскихъ, буджакскихъ и кубанскихъ, жившихъ на Таврическомъ полуостровѣ и по всему сѣверному берегу Чернаго моря. Независимость татаръ продолжалась недолго, и уже въ 1783 году крымскіе и ногайскіе мурзы принуждены были присягнуть на вѣчное подданство Императрицѣ Екатерины. Границы Россіи раздвинулись на югъ до Чернаго моря и устья Дуная; но вновь пріобрѣтенныя земли, покрытыя луговыми и песчаными степями, необработанныя и слабо населенныя, не имѣли въ то время большого значенія и не могли принести государству почти никакого дохода. Князю Потемкину поручено было управленіе всѣми присоединенными землями, на него возложена была трудная задача заселить и разработать богатый, но не тронутый край, воспользоваться его роскошною природою, провести путь сообщенія, создать промышленность и дать движеніе торговлѣ. Потемкинъ взялся за дѣло ревностно, со свойственной ему неутомимой энергіей, и Императрица, отиравшаяся въ 1787 году осматривать свои новыя владѣнія, была изумлена благоденствіемъ и цвѣтущимъ положеніемъ страны. Правда, для прѣзда Екатерины были сдѣланы приготовленія въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Всѣ силы края, все, что въ немъ было лучшаго, самого блестящаго, все было сдвинуто по обѣ стороны дороги, по которой ѣхала Екатерина; все было выставлено напоказъ. Гдѣ не доставало дѣйствительныхъ средствъ, тамъ помогали театральныя декорации, представлявшія дома, деревни, цѣлые пейзажи, раскинутые въ отдаленіи. Съ Государынею ѣхали представители иностранныхъ державъ, послы французскій, австрійскій и англійскій; въ Каневѣ, на Днѣпрѣ, ждалъ и король польскій Станиславъ-Августъ; къ ней навстрѣчу ѣхалъ Юсифъ II, императоръ австрійскій. Нуженъ былъ блескъ, нужна была великолѣпная обстановка: того требовалъ XVIII вѣкъ, пышный, блестящій и часто суетный и пустой; того требовали обстоятельства и положеніе Екатерины. Выставляя напоказъ свое дѣло, прибѣгая къ оптическимъ обманамъ, Потемкинъ заботился не объ однихъ своихъ личныхъ интересахъ: тутъ шло дѣло о славѣ его Государыни, которой онъ былъ искренно преданъ; тутъ могли руко-



водствовать имъ политическіе расчеты. Въ разсказѣ Данилевскаго описывается самый интересный моментъ путешествія—встрѣча Екатерины съ Іосифомъ,—встрѣча, происшедшая самымъ оригинальнымъ образомъ, въ бѣдной корчмѣ. Зная историческія личности, разыгравшія эту комическую интермедію, можно себя представить общую картину любопытной сцены, въ которой выразилась та эпоха, любившая блескъ и оригинальность, французскую философію и французскіе мадригалы, рѣшавшая шутя государственныя вопросы и часто обращающая въ государственныя вопросы свои шутки и забавы. Всего забавнѣе въ этой сценѣ комическая досада свѣтлѣйшаго, приготовлявшаго и выдумывавшаго самые разнообразныя и роскошныя эффекты, и вдругъ вмѣсто торжественной встрѣчи происходитъ свиданіе двухъ вѣщноносцевъ въ глуши, гдѣ даже нельзя достать приличнаго завтрака, вмѣсто идиллическихъ поселенъ, пастуховъ и пастушекъ является полупьяный старикъ, выжившій изъ ума, и, не узнавая гостей, начинается откровенный разсказъ о своихъ домашнихъ несприятностяхъ. Свѣтлѣйшій сердится и про себя приклоняетъ всякія дорожныя случайности и импровизованныя встрѣчи. «И что это за корчма? и чортъ бы ее побралъ! думалъ свѣтлѣйшій, между тѣмъ, не зная самъ, куда идетъ и куда ведутъ двухъ вѣщноносныхъ странниковъ. Ну, ожидалъ ли я, что они тутъ встрѣтятся? Строилъ города, завоевывалъ царства, крестилъ татаръ, чтобъ прославить Екатерину, и совершилъ чудеса, чтобы въ безлюдномъ краѣ она царственно пробѣжала и увидѣла многолюдство; короля польскаго заставилъ выѣхать ей навстрѣчу въ Каневъ, а австрійскаго императора—въ Херсонъ. Все устроилось отлично,—и вдругъ они встрѣтятся въ гнилой корчмѣ, гдѣ попадется какой-нибудь жидъ, или хохоль, или пьяный шляхтичъ. Наговорятъ, наврутъ, безпорядокъ...»

Въ этомъ комическомъ отчаяніи виденъ и придворный, и человекъ XVIII вѣка, виденъ наконецъ князь Потемкинъ, соединявшій въ своей личности и того, и другого, вмѣщавшій въ себя, кромѣ того, ненасытное честолюбіе и безпредѣльную преданность къ облагодѣтельствовавшей его Государынѣ.

**Кенигсбергъ во время семилѣтней войны.**  
*Изъ записокъ А. Т. Болотова.* («Библиот. для чт.», 1858 г., мартъ и апрѣль).

Мемуары или историческія записки частныхъ лицъ составляютъ драгоценный матеріалъ для исторіи и имѣютъ важное значеніе въ глазахъ каждаго любознательнаго читателя. Современники, бывшіе свидѣтелями описываемыхъ событій, принимавшіе въ нихъ болѣе или менѣе дѣятельное участіе, могутъ представить живую

картину своей эпохи, могутъ бросить яркій свѣтъ на историческія личности и подмѣтить такія тонкія, неувловимыя черты, которые ускользаютъ отъ историка, но, несмотря на то, имѣютъ важное значеніе въ правильномъ пониманіи духа времени и событій. Современники часто бываютъ пристрастны и, увлекаясь личными побужденіями, личною ненавистью или пріязнью, выставляютъ историческія происшествія въ неправильномъ свѣтѣ. Принадлежа къ какой-либо партіи, имѣя собственныя убѣжденія, они часто невольно стараются оправдать своихъ единомышленниковъ и бросить тѣнь на противную сторону; но такое пристрастіе распознать трудно: оно проглядываетъ въ тонѣ разсказа, отражается въ томъ увлеченіи, съ которымъ авторъ записокъ говоритъ объ интересующихъ его событіяхъ. Кромѣ того, самое увлеченіе, самое пристрастіе современника имѣютъ свою цѣну для потомства: они показываютъ намъ, насколько предки наши умѣли быть справедливы, насколько уважали они чужія убѣжденія, какъ смотрѣли на событія и какимъ образомъ выражали свои мысли и чувства. Извѣстная эпоха въ частныхъ мемуарахъ невольно является предъ нашими глазами съ мельчайшими подробностями, съ дурными и хорошими сторонами.

Андрей Тимоѣевичъ Болотовъ, авторъ разсмагиваемыхъ нами мемуаровъ, былъ сынъ русскаго дворянина, родился въ 1738 году и по обычаю того времени съ дѣтства былъ зачисленъ въ военную службу; уже съ десяти лѣтъ онъ вмѣстѣ съ отцомъ находился при своемъ полку и всюду слѣдовалъ за нимъ въ его переходахъ. Въ 1757 году началась война съ Пруссією, извѣстная подъ названіемъ семилѣтней войны, и молодой Болотовъ вмѣстѣ съ полкомъ отправился къ мѣсту военныхъ дѣйствій. Походная жизнь и боевыя тревоги не нравились будущему автору записокъ и утомляли его, не оставляя ему времени для мирныхъ научныхъ занятій, къ которымъ онъ былъ расположенъ смолodu. Къ величайшему своему удовольствію, Болотовъ, какъ человекъ, знающій нѣмецкій языкъ, былъ прикомандированъ къ канцеляріи барона Корфа и остался въ Кенигсбергѣ, который въ то время былъ занятъ русскими войсками. Описаніе жизни въ Кенигсбергѣ составляетъ седьмую часть записокъ Болотова. Первые шесть частей, въ которыхъ Болотовъ описываетъ свою первую молодость и походъ въ Пруссію, были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1850 и 1851 гг. Жизнь въ Кенигсбергѣ въ то время представляла множество разнообразныхъ развлеченій. У генералъ-поручика Корфа часто происходили танцевальныя вечера, о которыхъ Болотовъ вспоминаетъ съ большимъ удовольствіемъ. Въ Кенигсбергскомъ театрѣ давались маскарады, привлекавшіе въ ложи многочисленную и блестящую толпу зрителей. Общество русскіхъ офи-

церковь собиралось даже устроить благородный спектакль, и роли были уже розданы и разучены; но какія-то непредвидѣнные обстоятельства помѣшали дѣлу. Приводимъ для примѣра мѣсто изъ мемуаровъ, въ которомъ авторъ жалуется даже на излишество увеселеній: этотъ отрывокъ можетъ дать нашимъ читательницамъ понятіе о языкѣ Болотова, устарѣломъ, но живомъ и понятномъ.

«Балы, маскарады и танцы происходили у насъ и до того нерѣдко, а тутъ, когда уже было гдѣ потанцовать и поразгуляться, количество ихъ усугубилось и танцваніе мнѣ такъ наскучило, что иногда нарочно сказывался я больнымъ, чтобы не идти на балъ и не истощать силъ своихъ до изнуренія въ танцахъ и прыганьи. Сіе дѣйствительно было болѣе оттого, что дамъ и дѣвицъ събѣжалось къ намъ всякій разъ прелекое множество, и всѣ онѣ были ужасны охотницы танцовать, а мужчинъ, и особенно молодыхъ и могущихъ танцовать, какъ говорится, во вся тяжкая, было очень мало; а какъ я находился уже тогда въ числѣ немногихъ первѣйшихъ и лучшихъ танцовщиковъ, то судите, каково было намъ безъ отдыха, по нѣскольکو часовъ, пропрыгивать и кругомъ вертѣться, танцуя разные контрадансы, изъ которыхъ и одинъ всегда кроваваго пота стоить протанцовать; ибо мы ихъ тутъ, въ новой и пространной галлерей, танцовали не менѣе, какъ паръ въ тридцать; а другая и такая же или еще большая половина молодыхъ госпожъ и дѣвицъ, поджавъ руки, стояла и съ нетерпѣніемъ ожидала окончанія того, дабы начать имъ самимъ другой контрадансъ, и жадность ихъ къ тому и въ пріскаваніи себѣ кавалеровъ была такъ велика, что не мы ихъ, а онѣ сами уже насъ отыскивали и не поднимали, а просѣбою просили, чтобы съ ними потанцовать, и сбѣжали всякій разъ другъ передъ другомъ захватить себѣ лучшаго танцовщика; такъ что въ половинѣ еще танцуемаго контраданса къ намъ създи подхаживали и обѣщанія рукъ нашихъ себѣ прашивали. Сперва, и покуда было намъ сіе въ диковишку, ставили мы себѣ то въ особенную честь; но послѣ, когда дѣла контрадансовъ, а особливо самыхъ бѣшеныхъ и рѣзвыхъ, такъ намъ надоѣла, что ждешь не дожدهшься, покуда и одинъ окончится, наконецъ мы начали прибѣгать къ разнымъ хитростямъ и обманамъ и, отдѣлявшись отъ всѣхъ подбѣгавшихъ създи и требовавшихъ обѣщанія танцовать, утѣреніемъ, что мы уже заняты и дали слово свое уже другимъ, хотя ничего того не бывало, тотчасъ, по окончаніи танца, уходили въ самыя отдаленнѣйшія и такіе покой, гдѣ никого не было, и тамъ сколько-нибудь отдыхали. Но нерѣдко отыскивали насъ и тамъ госпожи, и мы не знали уже куда отъ нихъ, исканнихъ насъ шайками и хоровами, дѣваться».

Развлеченія и дѣла службы не мѣшали Болотову заниматься серьезными научными предметами: пребываніе въ Кенигсбергѣ принесло огромную пользу его умственному развитію. Любознательность его вездѣ искала себѣ удовлетворенія, а Кенигсбергъ представлялъ всѣ удобства для научныхъ занятій. Болотовъ сблизился съ многими учеными спеціалистами, старался учиться, гдѣ только было возможно, много читалъ, покупалъ книги на послѣдніа деньги и въ своихъ за-

пискахъ говорить съ особеннымъ одушевленіемъ обо всемъ, что относится къ области знаній, обо всемъ, что содѣйствуетъ умственному развитію. Занимаясь нравственной философійей, Болотовъ старался провести ея идеи въ жизнь, старался размышленіемъ исправить отъ своихъ недостатковъ. Онъ приводитъ изъ собственной жизни два любопытные примѣра самообладанія, два случая, въ которыхъ онъ, не поддаваясь первому влеченію гнѣва, поступилъ благоразумно и хладнокровно. Эта часть записокъ Болотова, въ которой онъ говоритъ о своихъ занятіяхъ и о своемъ образѣ жизни, внушаетъ невольное уваженіе и вызываетъ сочувствіе къ его личности; его трудолюбіе, свѣтлый умъ, благородная любознательность, кроткій нравъ и добродушіе, съ которыми онъ отзывался объ окружавшихъ его личностяхъ,—все это располагаетъ въ его пользу и заставляетъ насъ признать въ немъ одного изъ лучшихъ людей своего времени. Въ его запискахъ поражаютъ искренній тонъ разсказа и добродушная веселость, которою проникнуто повѣствованіе: ни о комъ изъ своихъ сослуживцевъ или знакомыхъ не говоритъ онъ дурного, ни на кого не бросаетъ тѣни; о тѣхъ, съ кѣмъ онъ не сошелся во вкусахъ и убѣжденіяхъ, онъ упоминаетъ коротко и въ самыхъ умѣренныхъ выраженіяхъ; о людяхъ, любившихъ науку, помогавшихъ ему своими совѣтами, оказавшихъ ему какое-нибудь одолженіе или изъясвившихъ ему ласковое участіе, Болотовъ говоритъ гораздо подробнѣе, съ теплымъ чувствомъ и трогательною благодарностью. Между тѣмъ, пока авторъ записокъ проводилъ время среди ученыхъ занятій и мирныхъ увлеченій, военныя дѣйствія шли своимъ чередомъ, и извѣстія изъ дѣйствующей арміи сильно интересовали кенигсбергскихъ жителей. Въ запискахъ Болотова находится разсказъ о всей кампаніи 1759 года и прекрасное описаніе знаменитаго сраженія при Кунерсдорфѣ,—описаніе, составленное по самымъ свѣжимъ извѣстіямъ. Не ограничиваясь сухимъ перечнемъ разныхъ военныхъ маневровъ, Болотовъ въ живомъ повѣствованіи изображаетъ положеніе дѣлъ въ обоихъ враждебныхъ лагеряхъ и потомъ ясно и послѣдовательно излагаетъ планъ дѣйствій обоихъ военачальниковъ—Фридриха Великаго и Салтыкова. Описаніе кунерсдорфской битвы проникнуто чисто драматическимъ интересомъ. Не увлекаясь неумѣстнымъ патріотизмомъ, Болотовъ отдаетъ полную справедливость храбрости прусскихъ войскъ и военному искусству великаго короля; радуясь блестящимъ побѣдамъ, одержаннымъ русскими войсками при Мюльрозенѣ и Кунерсдорфѣ, онъ приписываетъ первую явноему превосходству силъ, а вторую объясняетъ случайною олошностью Фридриха, увлекшагося въ пылу сраженія и неумѣвшаго во-время остановитъ натиска своихъ войскъ. Нигдѣ нѣтъ видимаго пристрастія къ военной славѣ Россіи; съ

теплымъ чувствомъ патриота Волотовъ соединить холодную справедливость историка; говоря о дѣйствіяхъ союзныхъ австрійскихъ войскъ, онъ нисколько не уменьшаетъ ихъ заслугъ, приписываетъ имъ честь кунерсдорфской побѣды и въ то же время прямо и откровенно говоритъ объ ошибкахъ, которыя дѣлали австрійскіе генералы во время всей кампаніи. Вообще простой, безыскусственный разсказъ Волотова объ этомъ интересномъ эпизодѣ семилѣтней войны имѣетъ въ себѣ особенную прелесть. Личность Фридриха, его надежды передъ кунерсдорфской битвой, геройская храбрость его во время сраженія, его бѣгство и отчаяніе, роковая ночь, проведенная имъ въ бѣдной деревушкѣ съ нѣсколькими солдатами, безвыходное положеніе великаго короля,—все это представлено Волотовымъ такъ сильно и вѣрно и въ то же время такъ просто и естественно, какъ могъ представить только современникъ, писавшій подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ событій. Занимательность сюжета и повѣствовательный талантъ автора почти вездѣ выкупаютъ недостатки устарѣлаго языка и странной разстановки словъ.

### Семилѣтняя война. Изъ записокъ А. Т. Болотова. («Б. для Ч.», 1858 г., августъ).

Эта статья составляетъ второй эпизодъ изъ записокъ А. Т. Болотова и содержитъ въ себѣ описаніе двухъ послѣднихъ годовъ семилѣтней войны. Говоря объ описаніи Кенигсберга во время семилѣтней войны, мы уже познакомили нашихъ читателей съ общимъ значеніемъ мемуаровъ Болотова и съ личнымъ характеромъ ихъ автора; скажемъ теперь нѣсколько словъ о предметѣ разсматриваемой нами статьи и о ходѣ событій, какъ ихъ описываетъ Волотовъ.

Приближалась развязка кровопролитной и продолжительной войны. Силы Фридриха были истощены, и уже большая часть его владѣній была занята непріятельскими войсками: собственно Пруссія уже давно находилась подъ властью Россіи, присягнула Императрицѣ Елисаветѣ и управлялась какъ русская область; западныя, при-рейскія владѣнія прусскаго королевства были заняты французами; южнымъ областямъ грозили австрійцы. Армія Фридриха, разбитая при Кунерсдорфѣ, была малочисленна, дурно одѣта, дурно вооружена; земли, находившіяся еще во власти короля, были истощены и едва могли доставить войску съѣстные припасы; старые генералы и опытные офицеры были перебиты или изранены; народъ утомился тягостями войны и сильно желалъ мира. Мира желали и всѣ воевавшія державы, сто желалъ и король Фридрихъ; но никто не рѣшался схватить ни малѣйшей уступки, и открылась кампанія 1760 года. Почти

вся Европа была заинтересована ходомъ военныхъ дѣйствій: французы, австрійцы, русскіе и шведы соединенными силами съ разныхъ сторонъ двинулись на прусскія владѣнія. Въ Кенигсбергѣ всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за событіями: для русскихъ шло дѣло о военной славѣ отечества и о плодахъ всей кровопролитной войны, для пруссаковъ рѣшался вопросъ—кому имъ принадлежать, Пруссіи или Россіи. Между тѣмъ военныя дѣйствія шли вяло и нерѣшительно. Волотовъ, который, несмотря на свои миролюбивыя наклонности и философскій взглядъ на вещи, дорожилъ славою русскаго оружія, даетъ подробный отчетъ о кампаніи 1760 г. и явно выражаетъ свое неудовольствіе: не было никакого единства въ дѣйствіяхъ, никакого общаго плана. Австрійцы, или, какъ онъ называетъ, цесарцы, часто несли на себѣ всю тяжесть войны и не получали помощи отъ нашихъ генераловъ; союзники дѣйствовали врозь, ходили взадъ и впередъ и, не терпя значительныхъ неудачъ, не рискуя ничѣмъ, не вступая въ генеральное сраженіе, тратили свои силы въ мелкихъ стычкахъ и не пріобрѣтали никакихъ существенныхъ выгодъ. Въ 1760 году Берлинъ былъ занятъ русскимъ отрядомъ графа Чернышева. Взятіе столицы и резиденціи короля можетъ показаться событіемъ важнымъ, имѣющимъ рѣшительное вліяніе на ходъ войны; но надо вспомнить, что въ то время нетрудно было взять Берлинъ: онъ не былъ защищенъ ни природнымъ своимъ положеніемъ, ни сильнѣйшими укрѣпленіями, въ немъ не было многочисленнаго гарнизона, и столица прусскаго королевства сдавалась почти безъ сопротивленія; сверхъ того, Берлинъ не былъ важнымъ военнымъ пунктомъ. Фридриху горько было видѣть свою столицу въ рукахъ непріятеля, его самолюбіе и національная гордость страдали; но силы его не уменьшились, а взятіе Берлина не отнимало у него средствъ продолжать войну. Волотовъ не считаетъ этого событія важнымъ и, кончая описаніе кампаніи, говоритъ рѣшительно, что не произошло ничего замѣчательнаго и что всѣ «труды, убытки и люди потеряны были попустому». Замѣчательно, что во время своего пребыванія въ Берлинѣ русскіе войска вели себя съ рѣдкой умѣренностью, не производили никакихъ безпорядковъ, не грабили и щадили жизнь и собственность частныхъ лицъ. Но явились австрійцы, и все перемѣнилось. Берлинъ, Потсдамъ, Шарлотенбургъ испытали всѣ ужасы войны: ихъ обложили тяжелой контрибуціей, частные дома были ограблены, королевскіе замки разорены и обезображены, произошли убійства и возмутительная жестокости. Волотовъ съ негодованіемъ разсказываетъ объ этихъ поступкахъ; которые впрочемъ въ то время считались явленіями обыкновенными и почти всегда сопровождали взятіе города. Особенно славилась своимъ свое-

волею и дикой жестокостью легкая кавалерія австрийцевъ, состоявшая изъ кроатовъ и венгерцевъ, которые еще во времена тридцатилѣтней войны, подъ начальствомъ Тилли и Валленштейна, наводили ужасъ на мирныхъ жителей Германіи. Дальнѣйшій ходъ военныхъ дѣйствій не представляетъ ничего замѣчательнаго. Салтыковъ былъ смѣненъ, и главнокомандующимъ нашихъ войскъ назначенъ Вутурлинъ, о которомъ Волотовъ отзывался довольно рѣзко, называя его прямо совершенно неспособнымъ «къ командованію не только арміей, но и двумя или тремя полками». Кампанія 1761 года была ведена слабо и безсвязно. Между тѣмъ частная жизнь Волотова въ Кенигсбергѣ шла попрежнему тихо и безмятежно. Въмѣсто Корфа губернаторомъ назначенъ Суворовъ, отецъ знаменитаго рымникскаго побѣдителя, который въ то время былъ неизвѣстнымъ армейскимъ подполковникомъ. Балы и маскарады почти прекратились; но ученныя занятія Волотова шли живо и удачно. Въ своихъ запискахъ онъ очерчиваетъ характеръ своего новаго начальника, приводитъ почти дословно нѣкоторые разговоры, въ которыхъ выразилась его личность. Суворовъ былъ человекъ простой, безъ претензій, нелюбившій розсказней, даже немного скупой, строгій въ исполненіи своихъ обязанностей, но добрый и ласковый въ отношеніи къ подчиненнымъ. Онъ принялъ участіе въ Волотовѣ, полюбивъ его за склонность къ научнымъ занятіямъ, оцѣнилъ его свѣтлый умъ и счастливыя способности и часто давалъ ему разныя порученія, требовавшія скорого и точнаго исполненія. Однажды ему было поручено арестовать графа Гревена, прусскаго помѣщика, обвиненнаго въ неосторожныхъ выраженіяхъ о нашемъ правительствѣ. Описаніе этого ареста составляетъ интересный эпизодъ въ запискахъ Волотова: испугъ графа, непонимавшаго своей вины, горестъ жены, слезы дѣтей, общая картина страха и печали, неприятное положеніе самого Волотова, исполнявшаго по обязанности порученіе, которому не могъ сочувствовать. Все это представлено въ самыхъ вѣрныхъ яркихъ краскахъ. Въ этомъ эпизодѣ обрисованы отношенія нашего правительства къ покоренному населенію Пруссіи, понятія нѣмцевъ о Россіи, ихъ чувства къ русскому правительству и наконецъ, среди всей этой обстановки, въ самомъ тонѣ разсказа проглядываетъ добрая и мягкая личность самого автора. Эта часть записокъ оканчивается новымъ назначеніемъ Волотова. Онъ получаетъ вмѣсто флигель-адъютанта при бывшемъ своемъ начальникѣ, генералѣ Корфѣ, и переѣзжаетъ въ Петербургъ. Начинается новая жизнь и новыя обязанности.

**Петербургъ при Петрѣ III.** Изъ записокъ А. Т. Волотова. («Вибл. для Чтен.», 1858 года, декабрь).

Назначенный адъютантомъ къ барону Корфу, Волотовъ пріѣзжаетъ, какъ мы уже замѣтили, въ Петербургъ, и для него начинаются новая жизнь и новыя обязанности. Та часть его записокъ, въ которыхъ онъ разсказываетъ о своей адъютантской службѣ и о пребываніи своемъ въ столицѣ, представляетъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и любопытнѣйшихъ эпизодовъ его мемуаровъ. Въ Кенигсбергѣ Волотовъ жилъ тихо и спокойно, занимался канцелярскими работами, учился, да изрѣдка танцевалъ на вечерахъ у барона Корфа. Въ Петербургѣ было не то: въ качествѣ адъютанта, онъ долженъ былъ ѣздить съ своимъ генераломъ и во дворецъ, и къ тогдашнимъ вельможамъ. Онъ видѣлъ вблизи все блестящее общество того времени и могъ собрать самыя любопытныя подробности объ отдѣльныхъ личностяхъ, могъ составить въ своихъ запискахъ самую полную картину нравовъ и обычаевъ своей эпохи. Не задолго до пріѣзжа въ Петербургъ скончалась Императрица Елисавета, на престолъ вступилъ Императоръ Петръ III Ѳеодоровичъ, и во всѣхъ дѣйствіяхъ правительства произошелъ переворотъ. Петръ III, горячо любившій и уважавшій короля прусскаго, тотчасъ по вступленіи своемъ на престолъ, заключилъ съ нимъ миръ, отказался отъ всѣхъ завоеваній, отдалъ назадъ Кенигсбергъ и собственно Пруссію, уже присягнувшую Елисаветѣ, очистилъ Померанію, занятую русскими войсками, и приказалъ корпусу графа Чернышева присоединиться къ войскамъ Фридриха. Семилѣтняя война дорого стоила Россіи, жертвовавшей для военныхъ дѣйствій деньгами и людьми, и Императоръ Петръ III, отказываясь отъ плодовъ побѣды, купленной русской кровью, возбудилъ всеобщее неудовольствіе, которое живо отразилось въ запискахъ Волотова, человека миролюбиваго, но горячо преданнаго интересамъ своего отечества.

Внутреннія распоряженія новаго правительства отличались кротостью и гуманностью. Дворянство получило новыя права: законъ Петра Великаго, по которому каждый дворянинъ обязанъ былъ служить до старости, — законъ, смягченный при Аннѣ Іоанновнѣ, былъ отмѣненъ Петромъ III; дворянину позволено было безрепятственно ѣздить за границу и выходить въ отставку, когда заблагоразсудится. Тайная канцелярія, учрежденная Бирономъ, была уничтожена; роковое слово и *дѣло*, которымъ часто, по личной ненависти, обвиняли невинныхъ, было отмѣнено. Старый фельдмаршалъ Минихъ, сосланный въ Сибирь Елисаветою, былъ возвращенъ. Желая привести въ порядокъ законода-

тельство, злоупотребное множеством указовъ, часто противорѣчившихъ другъ другу, Императоръ приказалъ перевести и издать уложение Фридриха II, отличавшееся сжатостью и опредѣленностью. Волотовъ упоминаетъ обо всѣхъ этихъ распоряженіяхъ, одобряетъ ихъ; но по тону его разсказа замѣтно, что онъ не вполне сочувствуетъ новому правительству и не можетъ забыть уступокъ, сдѣланныхъ королю прусскому, и недоброжелательно смотритъ на излишнее пристрастіе Императора къ личности Фридриха II. Пристрастіе это выразилось въ слѣпномъ подражаніи всему прусскому: войска были одѣты въ прусскіе мундиры и подчинены прусскому военному уставу; была введена строгая дисциплина и приказано было ежедневно, несмотря ни на какую погоду, производить военныя упражненія. Нововведенія эти не нравились ни солдатамъ, ни офицерамъ, и неудовольствие противъ правительства мало-по-малу распространилось во всѣхъ слояхъ столичнаго общества. Волотовъ также былъ недоволенъ и правительствомъ, и своею должностью. Онъ имѣлъ на то достаточныя причины. Служба его была самая тяжелая. Не имѣя никакихъ опредѣленныхъ обязанностей, онъ вполне зависѣлъ отъ своего генерала, находился въ полномъ его распоряженіи, долженъ былъ исполнять малѣйшія его прихоти. Въ своихъ запискахъ онъ самымъ трогательнымъ и въ то же время комическимъ образомъ выражаетъ свое негодованіе и изливаетъ горькія жалобы на тягости адъютантской должности.

«Скоро почувствовалъ я всю тягость такой безпокойной и прямо почти собачьей жизни, и не только разъѣзды свои съ генераломъ и безпрерывныя разсыланья меня то въ тотъ, то въ другой край Петербурга до крайности возненавидѣлъ и проклиналъ, но и самый дворецъ, со всѣми пышностями и веселостями его, которыя въ первый разъ такъ были для меня занимательны и забавны, наконецъ такъ мнѣ надоели, что мнѣ о немъ и вспоминать не хотѣлось».

Странныя отношенія тогдашнихъ адъютантовъ къ своимъ генераламъ, разсылавшимъ ихъ по своимъ надобностямъ въ разные концы города и считавшимъ ихъ чѣмъ-то въ родѣ камердинера, характеризуютъ то время и до мельчайшихъ подробностей представлены въ запискахъ Волотова. Громадный повѣствовательный талантъ во всей своей полнотѣ развертывается въ этой части записокъ, наполненной разсказомъ разныхъ мелкихъ случаевъ изъ всендневной жизни самого автора. Эти случаи сами по себѣ очень незначительны; но въ нихъ съ поразительной ясностью представленъ бытъ тогдашняго общества, въ нихъ выражается личность Волотова, и потому они въ нашихъ глазахъ должны имѣть свою цѣну; сверхъ того, они разсказаны съ такой увлекательной простотой, авторъ такъ хорошо умѣетъ расположить читателя въ пользу своей добродушной личности, что невольно ин-

тересуешься мельчайшими подробностями его жизни, невольно принимаешь искреннее участіе въ его надеждахъ, въ его радостяхъ и печаляхъ. Особенно хороши въ этой части записокъ разговоры Волотова съ разными сослуживцами и начальственными лицами: они написаны такимъ живымъ, естественнымъ, чисто разговорнымъ языкомъ, въ нихъ такъ мѣтко схвачены личности людей, окружавшихъ Волотова; въ нихъ мѣстами такъ много неподдѣльнаго комизма, что почти трудно повѣрить, что они написаны въ прошломъ столѣтіи, когда на нашей письменности еще лежала тяжелая печать риторики.

**Голось русской древней церкви объ улучшеніи быта несвободныхъ людей.** Рѣчь, произнесенная 8 ноября 1858 года на торжественномъ актѣ Казанской Духовной Академіи, въ память основанія ея, бакалавромъ *А. Щановымъ*.

Вопросъ объ освобожденіи крестьянъ обратилъ на себя вниманіе всѣхъ слоевъ нашего общества; онъ находитъ себѣ отголосокъ во всѣхъ сферахъ умственной дѣятельности нашего отечества. Люди, занимавшіеся наукой, трудившіеся надъ нашей отечественной исторіею, работавшіе въ области права, посвятили теперь свои силы разрѣшенію или по крайней мѣрѣ выясненію этого вопроса. Даже церковь наша, которая въ обыкновенное время не принимаетъ открытаго участія въ нашей гражданской, государственной жизни, теперь не разъ говорила свое слово, не разъ изъясляла свое сочувствіе къ прекрасному, гуманному дѣлу. Въ Казани по этому предмету была произнесена замѣчательная рѣчь, на которую мы обратимъ вниманіе нашихъ читателей. Вопросъ о крестьянахъ долженъ интересовать каждаго русскаго, каждаго, кому дороги честь и благосостояніе нашего отечества. Какъ бы ни былъ вопросъ этотъ удаленъ отъ непосредственныхъ, ближайшихъ интересовъ нашихъ читателей, онъ не могутъ, не должны, во имя человечества, не должны оставаться къ нему холодны и равнодушны. Имъ только стоитъ вдуматься въ значеніе словъ: рабство и свобода, стоитъ только взглянуть въ бытъ и личность нашего крестьянина или даже просто прочесть кого-нибудь изъ нашихъ современныхъ писателей, и онъ поймутъ, какой великій шагъ впередъ дѣлаетъ въ эту минуту Россія. Слѣдить за постепеннымъ развитіемъ этого вопроса, читать статьи о взаимныхъ отношеніяхъ между крестьянами и помѣщиками конечно не дѣло нашихъ читателей: такое чтеніе будетъ для нихъ утомительно; статьи эти имѣютъ временный и частный интересъ. При обзорѣ журналовъ мы обходили подобныя статьи и, несмотря на то, считаемъ себя въ правѣ ре-

комендовать читательницамъ рѣчь Шапова, важную по своему отношенію къ современности и къ тѣмъ историческимъ свѣдѣніямъ, которыя она сообщаетъ о древней Руси, разбираетъ отношенія древней русской церкви къ рабству, какъ оно существовало у насъ въ средневѣковой періодъ нашей исторіи. Для этого онъ сначала набрасываетъ общую картину Руси XII вѣка и объясняетъ, какимъ образомъ возникло и развилось рабство, которое, какъ извѣстно, составляетъ неизбѣжное, но временное явленіе въ исторіи каждаго народа. Рабовъ приобретали всѣми правдами и неправдами; рабы были нужны богачамъ, потому что земли было много, а рукъ мало: нужно было вырубать дѣсь, обрабатывать поля, сѣять и собирать хлѣбъ. Люди того времени, неразборчивые въ средствахъ, не занятые никакими высшими интересами, сосредоточивали всю свою дѣятельность на пріобрѣтеніи матеріальныхъ выгодъ и употребляли всевозможныя хитрости и насилія, чтобы заманить къ себѣ въ работу или закабалить въ неволю свободнаго человека. Средствъ на то было много, и рабство дѣлалось быстрые успѣхи. Изобразивъ такимъ образомъ печальную картину развитія рабства, представивъ въ нѣсколькихъ сильныхъ чертахъ мрачныя стороны угнетенія, авторъ переходитъ къ тѣмъ утѣшительнымъ, свѣтлымъ явленіямъ, въ которыхъ въ то время выразился въ нашемъ отечествѣ духъ христіанства:

«Подлѣ грубой матеріальной силы,—говоритъ авторъ,—подлѣ господства сильной личности, стремящейся поработить себѣ слабыя личности, выступаетъ могущественная духовная сила, воздвигаются личности, облеченныя силою духа и правды, какъ пророки, защищающіе вдовъ и сиротъ во имя христіанства, возвѣщающіе отраду несправедливо порабощаемымъ людямъ».

За этими словами, выражающими собою строгую истину, нисколько не уклоняющимися отъ исторической дѣйствительности, слѣдуетъ цѣлый рядъ самыхъ краснорѣчивыхъ и убѣдительныхъ доказательствъ. Шаповъ приводитъ случаи изъ жизни нашихъ древнихъ святителей,—случаи, разсказанные ихъ современниками или ближайшими потомками, съ тою безыскусственною простотою, которая рѣшительно не позволяетъ сомнѣваться въ ихъ достовѣрности. Въ этихъ приведенныхъ случаяхъ мы видимъ со стороны лучшихъ людей тогдашняго духовенства ту полную и мягкую гуманность, которою во многихъ отношеніяхъ справедливо гордится нашъ просвѣщенный вѣкъ. Многие изъ нихъ открыто осуждаютъ рабство, всѣ они отпускаяютъ на волю принадлежавшихъ имъ рабовъ и стараются облегчить участь угнетенныхъ. Рядомъ съ прижизненными изъ жизни, Шаповъ приводитъ въ доказательство отрывки изъ поученій, изъ писемъ святителей, изъ церковныхъ узаконеній. Особенно убѣдительны послѣдніе документы. Прижизненные изъ жизни отдѣльныхъ лицъ, отрывки

изъ частныхъ писемъ могли бы показаться единичнымъ явленіемъ, составляющимъ рѣдкое исключеніе изъ общаго правила. Можно было бы предполагать, что не церковь, а только нѣкоторые, немногіе ея представители принимали участіе въ судьбѣ угнетенныхъ рабовъ. Но церковныя узаконенія уничтожаютъ подобное предположеніе. Изъ нихъ мы видимъ, какъ наше духовенство смотрѣло на рабство, какъ обращалось оно съ подвластными ему крестьянами. Правда, тогда немногіе говорили противъ самой идеи рабства, правда, духовенство при Иоаннѣ III не согласилось отказаться отъ своихъ населенныхъ помѣстій; но этого нельзя было требовать въ то время. Понять, что рабство само по себѣ несправедливо и противно человѣческому достоинству—это было уже дѣломъ высшей, болѣе развитой цивилизаціи. Довольно того, что церковь обращалась вполне гуманно съ принадлежавшими ей крестьянами, довольно того, что она считала тяжкимъ упрекомъ жестокое и грубое обращеніе съ подвластными людьми. Въ то время, при томъ глубокомъ уваженіи, которымъ пользовалось духовенство, оно могло имѣть и имѣло сильное и благотѣльное вліяніе и на владѣльцевъ, и на рабовъ. Съ теченіемъ времени вліяніе духовенства становилось конечно слабѣе, потому что образованіе мало-по-малу дѣлалось достоинствомъ свѣтскаго общества. Частная и государственная жизнь совершенно почти выдѣлилась изъ сферы религіи. Шаповъ считаетъ XVIII вѣкъ самымъ тяжелымъ временемъ для низшаго, несвободнаго класса. Мысль эта вполне основательна. Принесенная къ намъ образованность ослабила и почти уничтожила вліяніе духовенства; привилегированный классъ — дворянство возвысилось на счетъ другихъ сословій, но возвышеніе это было искусственное, образованность вѣшняя и непрочная. Люди XVIII вѣка вышли изъ повиновенія своихъ духовныхъ учителей, но не дошли еще, путемъ развитія, до пониманія истинной гуманности, до уваженія личности человека. Произшло безобразное смѣшеніе изъ остатковъ старины и изъ нововведенныхъ обычаевъ; произошелъ разладъ и въ семейной, и въ общественной, и въ государственной жизни. Патриархальность нравовъ уже исчезла, истиннаго образованія еще не явилось, и это промежуточное время, какъ всякій переходъ, болѣзненно отозвалось на безотвѣтномъ и зависимомъ сословіи. За XVIII вѣкомъ послѣдовала новая эпоха: началось съ половины нынѣшняго столѣтія сознательное движеніе впередъ, и это движеніе не могло ужаться съ возмутительными формами рабства. Послѣдній остатокъ среднихъ вѣковъ долженъ былъ исчезнуть, и вотъ теперь церковь опять подаетъ свой голосъ за правое дѣло; но обстановка, окружающія обстоятельства сильно измѣнились: тогда церковь говорила одна, и то большей частью безуспѣшно, тогда она стояла



впереди всего общества въ дѣлѣ гуманнаго развитія, теперь она идетъ вмѣстѣ съ другими, она увлечена общимъ прогрессомъ и своими теплыми молитвами благословляетъ общество на новый, истинный шагъ впередъ.

**Воспоминанія о Петрѣ Николаевичѣ Кудрявцевѣ.** А. Галахова. («Русскій Вѣстникъ», 1858 г., № 4).

Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ, скончавшійся въ началѣ 1858 года, принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ представителямъ исторической науки въ нашемъ отечествѣ. Онъ былъ ученикомъ извѣстнаго Грановскаго, потомъ преподавателемъ всеобщей исторіи въ Московскомъ университетѣ и наконецъ послѣ смерти Грановскаго занялъ его катедру, но къ несчастію не надолго. Въ октябрѣ 1857 года умеръ Грановскій, а черезъ три мѣсяца, въ январѣ 1858 года, скончался и Кудрявцевъ. Въ ученomъ мѣрѣ особенно извѣстенъ обширный историческій трудъ его, «Судьбы Италіи», въ которомъ онъ представляетъ исторію этой страны со времени паденія Западной Римской имперіи до Карла Великаго. Кудрявцевъ умеръ 52 лѣтъ, умеръ въ то время, когда достигъ уже полнаго всесторонняго развитія, когда взглядъ его на вещи окончательно установился, когда каждый годъ его жизни могъ быть важнымъ приобрѣтеніемъ для науки. Одинъ изъ друзей покойнаго профессора, Галаховъ, знавшій его съ двадцатилѣтняго возраста, написалъ свои воспоминанія, въ которыхъ старается воспроизвести личность Кудрявцева, какъ человѣка, представить тѣ стороны его характера, которыя не могли отразиться въ его ученыхъ и литературныхъ трудахъ. Галаховъ предупреждаетъ читателя, что онъ пишетъ воспоминанія, а не біографію. Предостереженіе это дѣйствительно необходимо, потому что въ статьѣ Галахова нѣтъ ни полнаго, послѣдовательнаго повѣствованія о главнѣйшихъ фактахъ жизни Кудрявцева, ни критической оцѣнки его дѣятельности; Галаховъ не прослѣживаетъ постепеннаго развитія Кудрявцева, не объясняетъ тѣхъ обстоятельствъ жизни, не очерчиваетъ тѣхъ личностей, которыя могли имѣть вліяніе на его характеръ; объ ученыхъ трудахъ Кудрявцева упоминается вскользь; Галаховъ показываетъ намъ Кудрявцева такимъ, какимъ знали его близкіе друзья, приводитъ только тѣ черты его жизни, которыя извѣстны ему лично. Статья Галахова содержитъ въ себѣ такимъ образомъ драгоценныя матеріалы для будущей біографіи Кудрявцева и можетъ дать читателямъ понятіе о благородной личности покойнаго.

Жизнь Кудрявцева представляетъ въ себѣ много интересныхъ моментовъ. Онъ воспитан-

вался въ Московской духовной семинаріи и началъ такимъ образомъ свой курсъ ученія при довольно неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Отсталый руководитель, отжившія идеи, рутинное преподаваніе,—все это долженъ былъ испытать на себѣ будущій профессоръ. Какъ уживалась съ этими неблагопріятными обстоятельствами даровитая, свѣжая природа любознательнаго юноши, какъ потомъ, въ годы его студентства, въ немъ совершался переходъ ребяческаго взгляда на занятія къ свѣтлому пониманію обязанностей человѣка,—это два важные вопроса, которыхъ рѣшенія мы можемъ требовать только отъ біографіи Кудрявцева. Въ «Воспоминаніяхъ» обозначены эти два момента въ жизни покойнаго профессора; но Галаховъ не можетъ дать полнаго удовлетворительнаго отчета объ этомъ, тѣмъ болѣе, что онъ сблизился съ Кудрявцевымъ уже въ послѣдніе годы его университетскаго курса. Галаховъ сообщаетъ очень интересныя свѣдѣнія о томъ, какъ добросовѣстно исполнялъ онъ свои обязанности, какъ смотрѣлъ на свои журнальныя работы, за которыя онъ принялся довольно рано. Здѣсь перечисляются повѣсти, написанныя Кудрявцевымъ во время его студентства, потомъ въ первые годы по выходѣ изъ университета. Перечисляя повѣсти Кудрявцева, Галаховъ даетъ въ то же время краткій отчетъ объ ихъ литературномъ достоинствѣ. Судить о первыхъ опытахъ Кудрявцева должно конечно относительно: надо помнить, что онъ писалъ въ 1838 году, когда еще не вполне установился вкусъ общества, когда требованія критики не были высказаны и сознаны такъ ясно, какъ высказаны и сознаны въ наше время. Если сравнить повѣсти Кудрявцева съ большинствомъ тогдашнихъ беллетристическихъ произведеній, въ которыхъ, чтобы завлечь читателя, придумывались разныя неправдоподобныя приключенія и подбирались эффектныя сцены, тогда въ авторѣ этихъ юношескихъ опытовъ нельзя не признать истиннаго таланта и вѣрнаго пониманія изящнаго. Недостатокъ анализа, неопредѣленность характеровъ, которыхъ нельзя не замѣтить напримѣръ въ повѣсти «Флейта», прямо вытекаютъ изъ возраста автора, изъ степени его тогдашней опытности. Обративъ вниманіе читателя на литературныя занятія Кудрявцева, Галаховъ переходитъ къ характеристикѣ его внутренней жизни; онъ показываетъ отношенія молодого человѣка къ членамъ семейства, къ отцу, къ сестрамъ, взглядъ Кудрявцева на женщину, вліяніе, которое оказывала на родныхъ и близкихъ его развитая, благородная и мягкая личность. Кудрявцевъ отличался самой гуманной терпимостью, самымъ сознательнымъ уваженіемъ къ личности женщины, самымъ искреннимъ желаніемъ принести пользу ея умственному и нравственному усовершенствованію. Въ его нѣжной дружбѣ съ сестрами, которыя во многихъ отно-

иныхъ были обязаны ему своимъ развитіемъ, всего полнѣе выразились эти свойства его характера. Онъ никогда не давалъ себѣ права показывать имъ своего умственного превосходства, онъ уважалъ ихъ убѣжденія, какъ бы ни были они незрѣлы. Эта скромность вызывала съ ихъ стороны довѣріе и давала ему возможность успѣшнѣе содѣйствовать ихъ образованію. Глубокая привязанность Кудрявцева къ супругѣ даетъ также важную черту для характеристики покойнаго. Способность любить сильно и глубоко составляетъ принадлежность немногихъ избранныхъ. Кудрявцевъ былъ вполнѣ счастливъ съ своею супругою, но могъ быть счастливъ одинъ разъ въ жизни. Онъ пережилъ свою супругу немногими мѣсяцами, и что онъ испыталъ въ это время, что онъ переживалъ, то выразилось въ двухъ прекрасныхъ письмахъ его къ Галахову. Письма эти приложены къ воспоминаніямъ и составляютъ одну изъ самыхъ интересныхъ частей статьи. Первое письмо написано Кудрявцевымъ за границу, черезъ пять мѣсяцевъ послѣ кончины жены. Второе писано имъ уже въ Москвѣ, незадолго до смерти. Въ первомъ Петръ Николаевичъ весь занятъ своимъ горемъ: онъ не даетъ мѣста никакой посторонней мысли, никакому отпадному чувству, никакой даже отдаленной надеждѣ. Онъ говоритъ о себѣ и о своей потерѣ много и подробно; онъ самъ анализируетъ состояніе своей души и съ какимъ-то страннымъ удовольствіемъ останавливается мыслію на воспоминаніяхъ о прошломъ и на созерцаніи темнаго и безотраднато настоящаго. При первомъ, поверхностномъ взглядѣ можетъ показаться неестественнымъ то изумительное спокойствіе, съ которымъ Кудрявцевъ вглядывается въ свое несчастіе, та хладнокровная послѣдовательность, съ которою онъ развиваетъ свои мысли, наконецъ тотъ чисто литературный языкъ, которымъ онъ пишетъ въ минуты сильнаго страданія. Но сомнѣній въ этомъ случаѣ быть не можетъ. Противъ такихъ сомнѣній говорить простога, съ которою Кудрявцевъ пишетъ о своихъ чувствахъ. Что онъ анализируетъ ихъ, это понятно: онъ привыкъ вдумываться во все, что его окружаетъ, привыкъ искать во всемъ мысли, связи между причиною и слѣдствіемъ; что онъ такъ упорно всматривается въ свою потерю, что онъ съ усиленнымъ вниманіемъ припоминаетъ черты былого счастья, это также понятно, это показываетъ, какъ сильно было чувство. Человѣкъ, у котораго нѣтъ отрады впереди, долженъ оглянуться назадъ, долженъ съ любовью, съ мучительнымъ наслажденіемъ останавливаться на прошедшемъ. Сверхъ того, ежели припомнимъ, что письмо Кудрявцева было писано черезъ пять мѣсяцевъ послѣ смерти жены, когда уже первый бредъ отчаянія прошелъ, то не покажется удивительнымъ послѣдовательный ходъ мысли и литературное изложеніе. Приведемъ отрывокъ изъ этого письма.

«Какъ страшно можетъ иногда расколоться жизнь; все по одну сторону и ничего по другую! Я все не знаю до сихъ поръ, что это такое—слѣпой случай, или въ самомъ дѣлѣ какое «наказаніе»? И знаете-ли, что мнѣ бы, кажется, было лучше увѣриться въ послѣднемъ. Наказаніе имѣетъ хоть какой-нибудь смыслъ; но слѣпой, бессмысленный случай, разрушающій однимъ разомъ все ваше счастье, губящій его въ вашихъ глазахъ съ какою-то злою проніей и насильственно переворачивающій всю вашу жизнь къ прошедшему—это невыносимо тяжело. Если это неразумная сила, то откуда-же въ ней столько рассчитанной жестокости? А если она разумна, то какъ можетъ быть столько жестокою? Такъ спугалось все у меня въ головѣ, что самое сильное впечатлѣніе, которое остается у меня въ жизни—это впечатлѣніе жестокаго обмана. На свою личную жизнь пожаловаться не могу; она и довольно долга теперь уже, и не скажу, чтобъ она была пуста. Вы знаете, любезный другъ, тѣ интересы, которые проходили черезъ нее, потому что большію и, можетъ быть, лучшую часть ихъ мы пережили вмѣстѣ. Но мнѣ было послано *счастье*. Говорю послано, потому что я не искалъ его усердно, не гонялся за нимъ—само пришло, будто посланное къмъ. Уже подавая ему руку на будущій союзъ, я далеко, далеко не предчувствовалъ всей цѣны его. Мнѣ почти безъ искательства было послано то, что не всегда дается послѣ многихъ и усиленныхъ поисковъ. У меня было столько счастья, что меня, кажется, не испугало бы никакое лишеніе. Я былъ, наконецъ, можетъ быть даже слишкомъ самодоволенъ. Мнѣ нечего было искать, потому что около меня было все, все... Прежде, чѣмъ я опредѣлилъ себѣ, въ чемъ можетъ состоять мое счастье, оно уже было со мною. Да, это было счастье—могу я сказать теперь, ловя все дальше и дальше убѣгающую отъ меня тѣнь его. Еще въ тотъ день, какъ я прощался съ вами въ Москвѣ, оно было со мною все сполна, и я легко подавалъ руку друзьямъ, потому что видѣлъ впереди только свѣтлые и радостные дни. Давно-ли, кажется, это было, а теперь у меня ужъ ничего нѣтъ: какъ неожиданно создалось мое счастье, такъ быстро, внезапно и насильственно было оно разрушено».

Второе письмо отличается болѣе спокойнымъ тономъ: видно, что Кудрявцевъ уже свыкся съ мыслію о своей утратѣ; его занимаютъ серьезныя обязанности профессорства, и онъ съ сочувствіемъ говоритъ о студентахъ и о томъ возбуждающемъ вліяніи, которое оказываетъ на профессоровъ ихъ живая и разумная любознательность. Мы указываемъ нашимъ читательницамъ на статью Галахова не потому, что предметомъ воспоминаній является русскій ученый: Кудрявцевъ замѣчательнъ, какъ человѣкъ; его личность служитъ живымъ доказательствомъ той истины, что наука можетъ возвысить, облагородить человѣка, что путемъ серьезныхъ научныхъ занятій достигается то полное, гуманное развитіе, къ которому должно стремиться. Трудясь для науки съ полнымъ самоотверженіемъ, отыскивая истину для истины, человѣкъ развиваетъ не однѣ умственныя силы: онъ дѣлается нравственнѣе и чище, онъ отрѣшается отъ мелочности грязнаго; исключительно практическаго

расчета; чувства его приходятъ между собою въ гармонию, движеніе души дѣлается сознательнѣе и разумнѣе. Безпорочный трудъ приноситъ съ собою самую прекрасную награду: онъ даетъ человеку тихое, внутреннее удовлетвореніе, сознание исполненнаго долга, онъ вырабатываетъ въ немъ твердость убѣжденій и самостоятельный, безстрастный и въ то же время полный теплаго сочувствія взглядъ на людей и на жизни.

**Уильямъ Чаннингъ.** *Евгеніи Туръ.* («Рус. Вѣстникъ», 1858 г.).

Имя Уильяма Чаннинга по всей вѣроятности совершенно незнакомо нашимъ читательницамъ; между тѣмъ это имя одной изъ самыхъ развитыхъ, самыхъ благородныхъ личностей нашего времени. Сочиненія его, переведенныя на всѣ европейскіе языки, приобрѣли ему въ послѣднее время самую почетную извѣстность. Чаннингъ не былъ ни исключительно ученымъ, ни исключительно государственнымъ человѣкомъ, ни исключительно писателемъ: онъ трудился вслѣдъ, гдѣ могъ принести пользу; онъ принимался за всякое дѣло, къ которому влекло его внутреннее чувство или къ которому побуждали его голосъ совѣсти и разумное пониманіе долга. Дѣятельность Чаннинга была самая разнообразная; развитіе его самое многостороннее. Онъ былъ бostonскимъ пасторомъ и своими проповѣдями имѣлъ сильное и благотворное вліяніе на своихъ слушателей: убѣдительность его краснорѣчія, искренность воодушевленія, мягкость чувства, ясное и полное пониманіе предмета, простота и увлекательная прелесть изложенія, — все, что дѣйствуетъ на умъ и на сердце, все это встрѣчается въ рѣчахъ Чаннинга и вполне объясняетъ необыкновенную популярность, которую онъ пользовался уже въ первые годы своего пасторства, когда былъ еще молодымъ и неизвѣстнымъ человѣкомъ. Довольно будетъ сказать, что степеніе публики на бесѣдахъ молодого проповѣдника бывало такъ велико, что нарочно для Чаннинга пришлось строить новую, болѣе помѣстительную церковь. Чтобы удовлетворять требованіямъ многочисленныхъ и просвѣщенныхъ слушателей, нужно было конечно много труда и времени; но дѣятельность молодого, болѣзненнаго человѣка далеко не ограничивалась составленіемъ и произнесеніемъ поученій. Онъ самъ проводилъ въ жизнь тѣ прекрасныя идеи христіанства, которыя развивалъ передъ своими слушателями; проникнутый уваженіемъ къ своему священному званію, понимая во всей ихъ полнотѣ высокія обязанности, которыя оно на него возлагало, Чаннингъ отыскивалъ всевозможные случаи, чтобы дѣлать добро; онъ сблизился съ низшимъ и бѣднѣйшимъ классомъ на-

рода, — съ тѣмъ сословіемъ, въ которомъ нужда, соединенная съ недостаткомъ образованія, всего чаще ведетъ за собою пороки и преступленія; входя въ тюрьмы, въ больницы и частныя жилища, онъ изучалъ потребности народа, примѣняясь къ степеніи его развитія, помогая деньгами и совѣтами, и часто его простое, задушевное слово глубоко западало въ душу несчастныхъ, подавленныхъ нуждою и болѣзнію. Чаннингъ заботился о народномъ образованіи и сильно говорилъ и писалъ о необходимости школъ, доступныхъ не только для богатыхъ и бѣдныхъ, но и для цвѣтныхъ жителей, которыхъ постоянно чуждались бѣлые. Слова его конечно не оставались безъ послѣдствій, и въ путешествіи Лакіера мы читаемъ, что въ Бостонѣ существуютъ школы для цвѣтныхъ дѣтей, а что въ Чикаго цвѣтныя и бѣлыя учатся вмѣстѣ, сидятъ на одной школьной скамейкѣ. Занимаясь нуждами своего родного города, Чаннингъ не оставался равнодушнымъ къ вопросамъ, касавшимся всего Союза. Бѣдственное положеніе негровъ-невольниковъ въ Южныхъ Штатахъ заставляло глубоко страдать его возвышенную, чистую душу; онъ даже не могъ и не хотѣлъ понять, что во владѣльцахъ негровъ дѣйствовало одно корыстолюбіе, а не ложное убѣжденіе: онъ думалъ, что плантаторы считаютъ рабство необходимымъ для благосостоянія общества, и потому всѣми возможными доводами старался разувѣрить ихъ, показать имъ, какъ пагубны слѣдствія рабства и для рабовъ, и для владѣльцевъ. Во имя чести своей родины, во имя страждущаго человечества, Чаннингъ въ первый разъ выступилъ впередъ, какъ политическій писатель, и безпристрастно, хладнокровно, не увлекаясь ни духомъ партій, ни своимъ состраданіемъ къ угнетеннымъ неграмъ, разобралъ вопросъ о рабствѣ и высказалъ много обдуманыхъ и смѣлыхъ истинъ, которыми вооружилъ противъ себя и плантаторовъ, и *аболіціонистовъ*, — людей, требовавшихъ освобожденія невольниковъ и увлекшихся своимъ справедливымъ рвеніемъ. Ни политическія запятія, ни дѣла благотворительности не заставляли Чаннинга забывать о собственномъ умственномъ развитіи и нравственномъ совершенствованіи. При всѣхъ своихъ многосложныхъ трудахъ, Чаннингъ находилъ время для научныхъ занятій: онъ изучалъ литературу, философію, богословіе и право. Строго обдумывая и анализируя каждую прочитанную мысль, тщательно слѣдя за своими поступками, за движеніями своей души, Чаннингъ умѣлъ достигнуть того гармоническаго, цѣлостнаго развитія, которое должно быть цѣлью каждаго человѣка. Онъ былъ религіозенъ, его одушевляло самое теплое, высокое чувство любви къ Богу, и между тѣмъ это чувство никогда не доходило до фанатизма и исключительности, никогда не побуждало его бросить міръ, удалиться отъ людей, ему близкихъ, отъ тѣхъ людей, которымъ онъ дѣлалъ такъ много

добра. Религіозность Чаннинга не придавала ему того мрачнаго, суроваго взгляда на жизнь, которыми так отличаются американскіе пуритане и квакеры. Чаннингъ до конца своей жизни, до семидесятилѣтняго возраста, сохранялъ самый свѣтлый взглядъ на личность человѣка, самое поэтическое сочувствіе къ красотѣ природы. Онъ, какъ ребенокъ, какъ восторженный юноша, радуется появленію весны, любитъся на свѣжую зелень, прислушивается къ пробуждающейся жизни природы. Мы назвали его радость юношескою; но въ ней есть другой оттѣнокъ, въ ней есть какое-то величественное и трогательное спокойствіе, свѣдѣнье строинаго, законченнаго развитія и зрѣлаго размышленія надъ предметами жизни и надъ отвлеченными вопросами науки. Вотъ его слова, взятые изъ одного письма:

«Сію минуту я глядѣлъ на зелень, разстилающуюся передъ моимъ домомъ, покрытую каплями росы, которая блистала въ тѣни ближайшихъ деревьевъ, и вдругъ почувствовалъ такое умиленье, какого мнѣ не случалось испытывать въ мои молодые годы. Древніе называли землю нашею матерью. Мнѣ это не нравится: она слишкомъ молода, свѣжа, полна жизни, и это сравненіе нейдетъ къ ней. Правда, я вѣрю, что есть другой міръ, который еще прекраснѣе этого, но люблю наше первое жилище и не могу подумать безъ сожалѣнія, что мнѣ придется разстаться съ этимъ солнцемъ, съ этимъ небомъ, съ этимъ океаномъ и съ этими полями».

Понимая всю прелесть внѣшней природы, во всѣхъ ея разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ, Чаннингъ вполне цѣнилъ и уважалъ нравственную природу человѣка: онъ видѣлъ ея высокія и прекрасныя стороны; онъ вѣрилъ и хотѣлъ вѣрить въ добро, но при этомъ не былъ близорукъ, не увлекался мечтательностью и умѣлъ находить и обличать людскіе слабости и пороки. Эти слабости и пороки не могли сдѣлать его холоднымъ и мрачнымъ мизантропомъ; глубоко онъ страдалъ, обличая ихъ, но не ожесточился отъ этихъ страданій, не загрубѣлъ въ борьбѣ съ жизнью и всегда умѣлъ найти въ себѣ достаточно душевной теплоты, чтобы утѣшить несчастнаго и сказать ему доброе, ласковое слово. Чаннингъ былъ отличный семьянинъ. Онъ женился на той женщинѣ, къ которой чувствовалъ съ первыхъ дней своего дѣтства сначала дружбу, потомъ глубокую и искреннюю любовь. Взглядъ его на женщину вообще отличается самымъ высокимъ пониманіемъ ея правъ, ея обязанностей и того вліянія, которое она можетъ и должна оказывать на общество своею тихою, кроткою дѣятельностью въ семейной жизни. Съ пятнадцати лѣтъ, съ того возраста, когда онъ началъ мыслить, онъ сталъ смотрѣть на женщину, какъ на воплощеніе добраго начала, какъ на граціозное существо, призванное преобразовать общество силою добродѣтели.

«Мнѣ было пятнадцать лѣтъ; удивительно ли,

что всѣ мои помыслы обратились на женщину? Мнѣ чудилось, что она управляетъ человѣческимъ обществомъ, что если бы она захотѣла отдаться добру, а не суетности, все въ мірѣ измѣнилось бы къ лучшему. Я написалъ тогда же длинное письмо, въ которомъ подробно развилъ мои мысли. Посланіе это называлось ей—и при этомъ онъ указывалъ на жену свою—но я не осмѣлился отдать ей его».

Поэтический взглядъ этотъ на женщину не былъ увлеченіемъ молодости, неяснымъ бредомъ пылкой души: онъ сохранился въ Чаннингѣ до послѣднихъ дней его жизни и отражается во всѣхъ его сочиненіяхъ и особенно въ его перепискѣ. Чаннингъ высоко цѣнилъ женскую грацію и женскую добродѣтель; онъ понималъ, чѣмъ должна быть женщина, и потому съ особенною горестью, съ особеннымъ внутреннимъ страданіемъ смотрѣлъ на ея недостатки и на ложный путь, который выбираютъ себѣ въ жизни многія женщины, способныя быть семьянинками, хорошими матерями, полезными членами общества. Мы, быть можетъ, слишкомъ долго остановились на личности бостонскаго пастора; но у насъ есть на то свои причины. Личность Чаннинга не бросается въ глаза, не поражаетъ никакими громадными качествами, никакими рѣзко выдающимися особенностями. Съ перваго взгляда все въ немъ кажется обыкновенно, потому что все пропорціонально, умѣренно и нормально. Нужно взглянуть въ каждую черту его характера, вдуматься въ его мысли, почувствовать тѣ чувства, которыя волновали его телесную душу, и только тогда мы до нѣкоторой степени будемъ въ состояніи судить о гармонической полнотѣ его развитія, о той нравственной высотѣ, на которую онъ умѣлъ поставить себя долговременнымъ, часто мелочнымъ трудомъ надъ своимъ совершенствованіемъ. Представить хотя въ общихъ чертахъ такую личность нашимъ читательницамъ мы считали долгомъ: въ Уильямѣ Чаннингѣ читательницы увидятъ человѣка глубоко религіознаго, нравственнаго, вполне развитого и научно образованнаго. Всѣ эти качества рѣдко сосредоточиваются въ одномъ человѣкѣ. Сверхъ того они увидятъ въ Чаннингѣ такую мягкую, любящую душу, которая заставитъ ихъ неволью понять и оцѣнить эту личность. Въ мысляхъ Чаннинга, во многихъ отрывкахъ изъ его писемъ, приведенныхъ въ статьѣ г-жи Туръ, такъ много искренняго благочестія и чистаго нравственнаго чувства, что эти мѣста могутъ служить вмѣсто религіознаго чтенія. Гдѣ Чаннингъ говоритъ о любви къ Богу, объ обязанностяхъ человѣка къ ближнему, о своемъ сочувствіи къ природѣ, тамъ въ каждомъ словѣ его свѣтится горячая молитва, вылившаяся прямо изъ души. Нашъ бѣглый очеркъ личности Чаннинга можетъ показаться панегирикомъ. Мы не могли подтверждать каждой нашей мысли собственными словами разбираемой нами личности и по-

тому просимъ нашихъ читательницъ обратиться къ статьѣ г-жи Евгени Туръ: въ этой статьѣ они найдутъ біографію Чаннинга и подробную оцѣнку его личности, основанную на его собственныхъ словахъ, на выпискахъ изъ его сочиненій или на отрывкахъ, взятыхъ изъ его писемъ.

### О подражаніи Христу. Четыре книги. *Өма Кемпійскаго*. Новый переводъ.

Книга «О подражаніи Христу» принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ религиозныхъ сочиненій. Причины этого распространенія заключаются, съ одной стороны, въ строгой нравственности книги, съ другой—въ ея древности, доставившей ей извѣстность и упрочившей ея авторитетъ. Книга «О подражаніи Христу» написана на латинскомъ языкѣ въ половинѣ XV столѣтія и приписывается монаху августинскаго ордена Өмѣ Кемпійскому. Сочиненіе это вскорѣ распространялось въ огромномъ числѣ рукописей; по введеніи книгопечатанія, оно выдержало множество изданій и было переведено на всѣ европейскіе языки. У насъ, въ Россіи, оно стало извѣстно съ половины XVII вѣка и съ тѣхъ поръ было переведено девять разъ. Последній переводъ, графа Сперанскаго, выдержалъ уже шесть изданій. Въ нынѣшнемъ году появилось новое московское изданіе, но это не переводъ графа Сперанскаго. Если принять въ расчетъ ограниченный кругъ нашего читающаго общества, то нельзя не предположить, что книга «О подражаніи Христу» извѣстна въ каждомъ религиозномъ семействѣ. На этомъ основаніи мы считаемъ излишнимъ распространяться о ея достоинствахъ, въ пользу которыхъ такъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ самый успѣхъ ея; мы постараемся только поставить нашихъ читательницъ на ту точку зрѣнія, съ которой должно смотрѣть на нѣкоторыя мысли этой книги и на общій тонъ изложенія. Для этого необходимо сказать нѣсколько словъ о содержаніи. Все сочиненіе состоитъ изъ четырехъ книгъ. Въ первыхъ трехъ книгахъ выразился взглядъ автора на людей и на ихъ обязанности, выразились тѣ требованія, которыми онъ опредѣляетъ нравственное совершенство. Личность автора, его положеніе, время и обстановка, среди которой онъ жилъ,—все это не могло не имѣть вліянія на направленіе его идей, и все это дѣйствительно отразилось въ его сочиненіи. Нельзя не замѣтить съ перваго взгляда, что его совѣты и наставленія не имѣютъ живой связи съ практической жизнью: онъ смотритъ на міръ строго и мрачно, совѣтуетъ чловѣку удаляться отъ шумной свѣтской дѣятельности, совѣтуетъ ему углубляться въ самого себя, посвящать себя уединенному созерцанію и

постоянному сокрушенію о грѣхахъ. Чловѣкъ долженъ, по мнѣнію автора, отрѣшиться себя отъ всего земного, убитъ въ себѣ всякое уваженіе воли, всякое стремленіе ума къ сознанію; все, что выходитъ изъ границъ монастырской кельи, все, что не составляетъ подвига благочестія, въ тѣсномъ значеніи этого слова, все это признается авторомъ или существенно вреднымъ, или совершенно бесполезнымъ. Невинныя радости жизни, привязанность къ людямъ близкимъ, самоотверженіе во имя науки, эстетическія наслажденія предметами искусства,—все это презираетъ авторъ, все это считаетъ онъ недостойнымъ христіанина. Такой взглядъ, конечно, въ наше время не можетъ найти себѣ сочувствія: мы привыкли слышать отъ нашихъ духовныхъ учителей, что всякая добросовѣстная и полезная дѣятельность ведетъ чловѣка къ нравственному усовершенствованію; въ наше время наука не ведетъ ни къ отрицанію законовъ нравственности, ни къ отрицанію истинъ религіи. Въ XV столѣтіи было не то: европейское общество переживало тяжкую эпоху, нравственность находилась въ упадкѣ, наука ограничивалась мертвою буквою или занималась разрѣшеніемъ вопросовъ, не имѣвшихъ ни живого смысла, ни отношенія къ дѣйствительности. Чловѣку неиспорченному, сохранившему въ душѣ своей стремленіе къ добру, трудно было помириться съ подобной обстановкой. Въ такомъ чловѣкѣ необходимо должно было возникнуть, съ одной стороны, искреннее отвращеніе отъ всего окружающаго, съ другой—сильное влеченіе къ лучшему міру, не имѣющему ничего общаго съ земными страстями и побужденіями. Эти два чувства испыталъ Өма Кемпійскій, и въ своей книгѣ онъ выражаетъ ихъ то въ горькихъ жалобахъ на слабости и несовершенства чловѣческой природы, то въ строгихъ упрекахъ испорченному и суетному міру. Өма Кемпійскій въ этомъ отношеніи заплатилъ дань своему вѣку: въ его совѣтахъ и наставленіяхъ высказывается тотъ же взглядъ на міръ, который иногда въ безыскусственной формѣ выражали средневѣковыя хроникеры, утомленные несправедливостями и грубою необразованностью своихъ современниковъ. Ту истину, что внѣ Христа нѣтъ спасенія ничему чловѣческому, Өма Кемпійскій доводитъ до такой односторонности, что рѣшительно не вѣритъ силѣ чловѣческой мысли, не полагается на результаты науки, забывая, что Христосъ пришелъ спасти и чловѣческую мысль, слѣдовательно, и науку; оттого религіозно-нравственное ученіе его чисто и возвышенно, но слишкомъ строго и односторонне; оно не мирится съ дѣятельностью чловѣка, не переходитъ въ его всеневную жизнь и потому, оставаясь въ предѣлахъ монастырской кельи, пугаетъ читателя неумолчивостью своихъ приговоровъ. Самое изложеніе носитъ на себѣ отпечатокъ фанатическихъ убѣжденій средневѣковаго католика; это не раз-

сужденіе, въ которомъ авторъ старается поддѣлствовать на умъ и на чувства читателя, это не поученіе, въ которомъ общее нравственное положеніе примѣняется къ отдѣльнымъ случаямъ жизни: это по большей части рядъ общихъ сентенцій, высказанныхъ коротко, строгимъ, рѣшительнымъ тономъ, не принимающимъ ни малѣйшаго возраженія, не допускающимъ и тѣни сомнѣнія. Авторъ говоритъ читателю: «ты долженъ поступать такъ», и большей частью не присовокупляетъ къ такимъ словамъ никакихъ доказательствъ, не объясняетъ своей мысли ни однимъ примѣромъ. Часто даже авторъ говоритъ отъ лица Бога и представляетъ свои мысли въ видѣ разговора между человѣкомъ и Творцомъ; иногда тонъ поученія переходитъ въ тонъ молитвы; авторъ какъ бы забываетъ о читателѣ и, увлекаясь порывомъ собственнаго чувства, предается безраздѣльно благоговѣйному созерцанію. Такія мѣста—лучшія во всемъ сочиненіи: въ нихъ видно полное одушевленіе, въ нихъ исчезаетъ или по крайней мѣрѣ дѣлается незамѣтно та риторическая пѣтливость, которая въ духовной литературѣ такъ часто вредитъ изложенію высокихъ и прекрасныхъ идей. Строгость и рѣшительность приговоровъ, неприятно поражающая въ наставленіяхъ Оомы Кемпійскаго, смягчается въ его молитвахъ, такъ что читателю становится легче на душѣ, и онъ самъ поддается тому благоговѣйному увлеченію, которое испытывалъ въ эти минуты авторъ. Наставленія Оомы Кемпійскаго имѣютъ, кромѣ своего мрачнаго характера, другой недостатокъ: они слишкомъ отвлечены; въ нихъ говорится человѣку, что онъ долженъ любить Бога, что самоотверженіе составляетъ обязанность христіанина, что міръ полонъ грѣха и соблазна, но на этомъ большей частью и останавливается авторъ; онъ не показываетъ, въ чемъ должна и въ чемъ можетъ выражаться любовь къ Богу, онъ не опредѣляетъ, что такое самоотверженіе, не даетъ полной и вѣрной характеристики пороковъ и добродѣтелей. Наконецъ авторъ забываетъ, что онъ говоритъ съ человѣкомъ, съ существомъ слабымъ, склоннымъ къ грѣху и паденію; онъ не хочетъ понять, что неумолимый тонъ его и строгія требованія могутъ только потрясти и испугать читателя, а не убѣдить, не растрогать. Такой испугъ, такое потрясеніе бывають иногда спасительны; но, по нашему мнѣнію, всего вѣрнѣе и надежнѣе бывають тѣ результаты, которые достигаются путемъ краткаго убѣжденія и постепеннаго дѣйствія на умъ и на чувство. Мы много говорили о недостаткахъ книги и, указывая на нихъ нашимъ читательницамъ, старались объяснить ихъ изъ личности самого автора, жившаго въ печальную и смутную эпоху. Недостатки эти во многихъ отношеніяхъ вредятъ цѣлому, и ежели сравнить книгу «О подражаніи Христу» съ религиозными сочиненіями Иннокентія и Кирилла, то нельзя

не отдать предпочтенія послѣднимъ. Нравственное ученіе ихъ такъ-же чисто и возвышенно, но предложено въ болѣе современной формѣ; взглядъ на жизнь кротче и терпимѣ; наставленія болѣе примѣнны къ дѣйствительности, подкрѣплены доказательствами и вообще болѣе дѣйствуютъ на умъ; изложеніе проще, скромнѣе и естественнѣе. При всемъ томъ книга «О подражаніи Христу» имѣетъ свои неотъемлемыя достоинства: она можетъ возбудить въ душѣ читателя неудовольствіе противъ самого себя, можетъ навести его на спасительныя размысленія; самая суровость тона въ нѣкоторыхъ мѣстахъ придаетъ изложенію такую силу и энергію, которая можетъ произвести глубокое впечатлѣніе.

### Народные украинскіе рассказы. Марка Вовчка. («Русскій Вѣстникъ», 1858 г.).

Рассказы Вовчка въ началѣ 1857 г. вышли отдѣльною книжкою на малороссійскомъ нарѣчій и потомъ переведены самимъ авторомъ на нарѣчіе великороссійское и помѣщены въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1858 г. Рассказы эти взяты изъ вседневной жизни украинскихъ поселянъ и отличаются простотою сюжета и необыкновенной художественностью изложенія. Мы не будемъ разбирать каждый изъ его рассказовъ отдѣльно, а постараемся передать нашимъ читательницамъ то общее впечатлѣніе, которое они оставляютъ по себѣ, постараемся познакомить ихъ съ литературными приемами автора и съ художественными красотою его произведенія. Рассказы относятся къ различному времени: одни берутъ черты изъ современнаго быта, другіе воспроизводятъ преданія и повѣрья старины, сохранившіяся въ народной памяти изъ временъ казачества, когда еще Украиной вращалась Московщина вмѣстѣ съ Польшею. И тѣ, и другіе представляютъ, впрочемъ, одинъ національный характеръ, мало измѣнившійся въ теченіе двухъ вѣковъ. Тѣ же народныя типы, примѣненные только къ обстоятельствамъ мѣста и времени, встрѣчаются и въ преданіяхъ, и въ современныхъ рассказахъ: и здѣсь, и тамъ является старикъ-отецъ, сѣдой казакъ или поселянинъ, любящій дѣтей по-своему, держащій ихъ въ строгомъ повиновеніи, гордый своею волею, непоколебимый въ своихъ убѣжденіяхъ; рядомъ со старикомъ стоитъ старуха, нѣжная мать, готовая исполнить малѣйшее желаніе любимаго дитятки, но не смѣющая выйти изъ повиновенія мужу; она заступаетъ за дѣтей, которыхъ журитъ отецъ, но заступается робко и какъ бы украдкою; сочувствуя ихъ желаніямъ, она плачетъ и горюетъ вмѣстѣ съ ними, старается ихъ утѣшить, но признаетъ сама неогрѣшимость мнѣній старика и боится подать другимъ членамъ семейства примѣръ ослушанія. Дѣти, особенно дочери, вполне зави-



сять отъ воли отца и рѣшительно расходятся съ нимъ въ убѣжденіяхъ. Онѣ являются у М. Вовчка беззаботными пташками, «неразумными щебетушками», живущими со дня на день, не думая ни о прошедшемъ, ни о будущемъ; все ихъ радуетъ, все веселитъ, и только твердая воля «грознаго батюшки», который «въ кой-то вѣки пустить на улицу погулять», способна сдерживать рѣзвые порывы живой молодости. Но беззаботность эта скоро проходитъ; наступаетъ рѣшительная минута, пробуждается первое чувство любви, и начинаются сознательная радость и повременамъ серьезное тихое горе; оппозиція отца дѣлается тверже и страшнѣе; отецъ не хочетъ себя зятья изъ панскихъ, «а чтобы самъ себя паномъ быть, чтобы никому не кланялся—вотъ какого!» Дѣвушка любитъ панскаго; надежда и опасеніе быстро смѣняются въ ея груди и нарушаютъ ея прежнее безоблачное веселье; мысли и чувства ея группируются вокругъ одного предмета; въ ней совершается переходъ отъ ребенка къ женщинѣ. Этотъ переходъ, это тревожное развитіе чувства прекрасно представлены въ рассказахъ М. Вовчка; часто дѣвушка говоритъ отъ своего лица и въ простыхъ, безыскусственныхъ словахъ изображаетъ силу своего чувства и состояніе глубоко взволнованной души; въ ней любовь возникаетъ внезапно, развивается быстро и вскорѣ дѣлается для нея необходимымъ условіемъ существованія; она готова пожертвовать всѣмъ для любимаго человѣка, но никогда не нарушаетъ законовъ семейнаго повиновенія, никогда не рѣшается идти противъ воли отца. Сила чувства и постоянство составляютъ главные качества дѣвушекъ, которыхъ выводитъ авторъ; оставаясь вѣрными своему долгу въ отношеніи къ родителямъ, онѣ не измѣняютъ и чувству и, какъ святыню, хранятъ его въ душѣ. При согласіи родителей, на долю дочери выпадаетъ тихое семейное счастье, въ противномъ случаѣ дѣвушка груститъ и чахнетъ или умираетъ насильственной смертью. Счастье для нея возможно только съ любимымъ человѣкомъ; а любить она одинъ разъ и на всю жизнь. То же постоянство, та же чистота чувства характеризуютъ и паробковъ; они любятъ по нѣсколько лѣтъ, не забываютъ своихъ дѣвчипъ въ разлуку и свято хранятъ данныя имъ обѣщанія; изъ любви къ дѣвушкѣ паробокъ уважаетъ желаніе ея отца, покоряется его волѣ, работаетъ и копитъ деньги, чтобы откупиться и сдѣлаться вольнымъ казакомъ. Если его возлюбленная по волѣ родителей выходитъ за немилаго человѣка, онъ на всю жизнь остается холостякомъ и напрасно старается размыкать свое горе, забыть его въ разгульной бурлацкой жизни. Таковы главные типы, которые всего чаще повторяются въ украинскихъ рассказахъ. Есть и другіе, менѣе свѣтлые и чистые; но они встрѣчаются рѣже и видимо не пользуются сочувствіемъ народа. Въ одномъ изъ

рассказовъ мать выдаетъ дочь насильно замужъ, въ другомъ жена господствуетъ надъ мужемъ, въ третьемъ свекровь преслѣдуетъ сноху; но видно по тону рассказчика, что этихъ отдѣльных случаевъ нельзя принимать за общее правило. Мы замѣтили, что простота сюжета составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ украинскихъ рассказовъ. Взаимная любовь двухъ молодыхъ людей стоитъ обыкновенно на первомъ планѣ; иногда этому чувству мѣшаютъ расчеты родителей, иногда нѣтъ никакихъ препятствій, все идетъ благополучно и оканчивается счастливымъ супружествомъ; немногіе изъ рассказовъ имѣютъ трагическую развязку, но и эта развязка приводится такъ естественно, такъ просто, послѣ такой несложной интриги, что невозможно заподозрить автора въ малѣйшей натяжкѣ. Все дѣйствіе выводится изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и изъ ихъ положенія, и эти характеры и положенія картинно и наглядно опредѣляются съ первыхъ словъ рассказа: случайностей, подобранныхъ происшествій нѣтъ вовсе, ежели не почестъ случайностью встрѣчу молодой дѣвушки съ пригожимъ чумакомъ на деревенскомъ праздникѣ или просто на улицѣ. Авторъ часто ведетъ свой рассказъ отъ имени кого-нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ, иногда говоритъ отъ себя, но всегда умѣетъ придать своему изложенію наивность и прелесть народной рѣчи, которую мы встрѣчаемъ въ языкѣ панихъ старинныхъ сказокъ и преданій; мѣстами даже проявляется безъ малѣйшей искусственности та мѣрная, звучная рѣчь, которая составляетъ неотъемлемую принадлежность эпического языка народной поэзіи. М. Вовчекъ приближается къ народной поэзіи не только вишнею формою своихъ рассказовъ, но и всѣми своими литературными приемами; онъ рассказываетъ, какъ простой очевидецъ, близкій къ изображаемымъ лицамъ по понятіямъ и образованію, раздѣляющій ихъ простодушными вѣрованіями и предразсудки, сочувствующій ихъ горю и радости; мы нигдѣ не видимъ личности автора, нигдѣ не высказываетъ онъ своихъ мыслей и чувствъ, нигдѣ не выдѣляется изъ той сферы, которую описываетъ. Говоря о чувствахъ, онъ ихъ не анализируетъ, онъ не раскрываетъ непосредственно передъ глазами читателя состояніи души своихъ паробковъ и молодыхъ; онъ просто описываетъ, не измѣняя своего ровнаго и спокойнаго тона, ихъ поступки, движенія, слова и взгляды, и весь ихъ внутренній міръ вполнѣ отражается въ этихъ повидимому незначительныхъ наружныхъ дѣйствіяхъ. Приводимъ для примѣра небольшую сцену между отцомъ и двумя дочерьми:

«Она сидитъ въ садикѣ, плететъ вѣнокъ изъ алаго да изъ бѣлаго маку, зеленымъ барвинкомъ перевиваетъ, а солнышко всходитъ изъ-за дѣпровской кучи.

— Дитя мое, Катруся!—говорить старикъ, садясь подлѣ нея.—Послалъ тебѣ Господь великую печаль на сердце! Подними же головку, дочка, да глянь на стараго батька.

Она подняла голову и взглянула на него.

— О, дочка! какая жь ты старая стала!

— Нѣтъ, тато, я еще молоденькая!—вздокнула, и опять за вѣнокъ.

Какъ ужь онъ ее ни утѣшалъ, какъ ни уговаривалъ, она, зная, плететь вѣнокъ и ни слова.

Послелъ старый, кликнулъ меньшую дочку

— Тетянка, поди, моя рыбка, къ сестрицѣ; она въ великомъ горѣ, утѣши ее.

— А что тамъ? гдѣ жь она?

Прибѣжала въ садочекъ: «Сестрица Катруся, сердечко! чего вы тоскуете? Вотъ ужь и лѣтенько на дворѣ!»

А сама обхватила ее за шею рученками.

— Сестрица, моя милая, щекотунечка моя неразумная!—ласкаетъ Катря малую.

— О, да какой же вѣнокъ вѣшь красный, сестрица! да какой же красный! Сестронька, любонька, когда жь вы его надѣнете?

— Вечеромъ надѣну.

Повѣсила вѣнокъ надъ водою, да и гуляетъ по саду, водячи сестричку за руку, а та щебечетъ...

Ключетъ отецъ обѣдать. Пришла и сѣла за столъ, своими бѣлыми руками медь отцу наливалъ и разговаривалъ. Только какъ старикъ ни заходилъ, ничего о себѣ самой не сказала.

Вечеру вошла къ отцу и поцѣловала у него руку. Старикъ обхватилъ ее голову: «Катря, дочка моя несчастная; помилуй тебя Матерь Божья!» И малую сестру обняла и прижала къ сердцу».

Авторъ ни разу не говоритъ о томъ, что чувствуетъ Катря, и между тѣмъ страшно становится за нее: въ каждомъ ея словѣ, въ каждомъ движеніи видно нѣмое горе, видна какаля-то мрачная и слобойная полнота несчастія, при которомъ человѣкъ не плачетъ, не жалуется, а сосредоточиваетъ въ себѣ всѣ душевныя силы, при которомъ онъ не теряетъ сознанія, не измѣняетъ своего обращенія, но медленно изнываетъ и гаснетъ. Она не отвергаетъ ребяческихъ ласкъ Тетянки, рѣзвой «сестрички», которая утѣшаетъ ее по-своему, напоминая о лѣтѣ, указывая на цвѣтущую природу; она улыбается ей странною улыбкою человѣка, который потерялъ все, что ему было дорого, кончилъ всѣ расчеты съ жизнью, отрѣшился отъ всего земного и ничего не видитъ и не желаетъ въ будущемъ. Во всемъ поведеніи Катри видна, кромѣ жестокой горести, спокойная, но страшная рѣшимость, которой ничего не поколеблетъ и не измѣнитъ. Второстепенныя лица этой сцены, старый Максимъ Гримачъ и Тетяна, въ высшей степени типичны и живо очерчены. Въ первомъ обычная суровость и важность смѣняются отцовскою любовью, нѣжностью, желаніемъ приглубить страдающую дочь; видно, что старикъ не умѣетъ взяться за дѣло, не привыкъ вести мягкую и чувствительную рѣчь, да къ тому-же и понимаетъ, что не помогутъ никакія утѣшенія. Тетяна воплощаетъ въ себѣ граціозный образъ веселой и беззаботной дѣвочки; она смутно понимаетъ горе сестры,

сочувствуетъ ей всѣми силами дѣтскаго, любящаго сердца, но не можетъ долго грустить и по врожденной потребности тотчасъ начинаетъ щебетать и безотчетно радоваться всему окружающему. На всей этой семейной картинѣ, несмотря на ея печальный характеръ, несмотря на ея трагическое значеніе въ рассказѣ, разлитъ теплый колоритъ какого-то торжественнаго примирающаго спокойствія. Граціозная простота выраженія и строгая истина изображеннаго чувства глубоко ложатся на душу, но не потрясаютъ ея, не волнуютъ, а приводятъ въ какое-то гармоническое настроеніе тихой и мягкой грусти.

### Послѣ обѣда въ гостяхъ. *Кохановской.*

(«Р. Вѣстникъ», 1858 г., № 16).

Повѣсть г-жи Кохановской заключаетъ въ себѣ рассказъ пожилой женщины, небогатой помещицы, о своемъ житіи-бытіи, воспоминаніи ея о прошломъ, о дѣвическомъ веселіи и о первыхъ годахъ замужества. Личность рассказчицы, Любови Архиповны, такъ ярко и живо выставляется и въ припоминаемыхъ ею событіяхъ, и въ самомъ тонѣ ея рассказа, что намъ будетъ легко передать нашимъ читательницамъ ея характеристику. Для этого мы должны сообщить имъ главныя моменты ея исторіи; но это не повредитъ интересу сюжета, потому что достоинства повѣсти заключаются не въ сцѣвленіи событій, а во внутреннемъ развитіи характеровъ и въ отдѣльныхъ мелкихъ подробностяхъ, въ которыхъ и отражается жизнь провинціальнаго городка, и которыми очерчиваются положеніе и взаимныя отношенія главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Любовь Архиповна, какъ видно съ первыхъ словъ ея, съ первыхъ движеній,—женщина живая, энергическая, одаренная здоровымъ умомъ и довольно вѣрнымъ взглядомъ на вещи; ни лѣта, ни матеріальныя заботы, ни бѣдная обстановка ея жизни не могли подавить въ ней врожденной веселости, не могли засушить ея любящей, воспримчивой души, не омрачили ея взгляда на людей и на жизнь. Она съ полнымъ сочувствіемъ и доверіемъ обращается къ молодой дѣвушкѣ, съ которою встрѣчается въ одномъ домѣ; въ разговорахъ съ нею она сама молодѣетъ душою, дѣлается веселѣе и общительнѣе, вспоминаетъ бывшее и съ перваго же свиданія рассказываетъ все, что у нея было на душѣ, все, что она пережила и перечувствовала. Съ перваго взгляда подобная откровенность можетъ показаться неестественной, читатель можетъ принять ее за пустую болтливость, за признакъ вѣтренности и неглубокаго характера; но тутъ будетъ вѣрнѣе предположить другую причину, болѣе сообразную съ послѣдующимъ развитіемъ личности Любови Архиповны. Бѣдность и без-

помощное вдовство ставить ее въ зависимое положеніе, которое часто даютъ ей чувствовать окружающіе ее люди, необразованные или по-дурованные. Свѣтлый природный умъ бѣдной помѣщицы даетъ ей средства угадывать и понимать эти великія оскорбленія, выраженные въ отгѣнкѣ голоса, въ наклоненіи головы, въ холодномъ взглядѣ; добрая, воспримчивая душа ее болѣзненно сжимается; въ ней накапливается и накипаетъ горе; она рѣдко видитъ искреннее участіе, въ которомъ не было бы отгѣнка кровителеннаго превосходства; не естественно ли ей искреннее удовольствіе, не естественно ли та непринужденная откровенность, которую вызываетъ въ Любови Архиповнѣ мягкое, веселое и въ то-же время почтительное обращеніе ея молодой собесѣдницы? Наболѣвшему сердцу ея становится легче; она рада отвести душу, и краснорѣчіе ея, вызванное задушевнымъ словомъ молодой дѣвушки, не находитъ себѣ предѣловъ, пока не высказано все, что было на душѣ. Стоило только затронуть рой свѣтлыхъ воспоминаній, и все они неудержимо стремятся наружу. Рассказъ слѣдуетъ за рассказомъ, одно воспоминаніе будитъ другое, и, воодушевленная звуками собственнаго прошедшаго, Любовь Архиповна спѣшитъ освѣжить въ памяти и какъ бы снова пережить и бывшее горе, и бывшія радости. Личность молодой дѣвушки, которой помѣщица рассказываетъ свою исторію, стоитъ конечно на второмъ планѣ; она принимаетъ участіе въ разговорѣ отдѣльными, отрывочными словами и только вызываетъ откровенность Любови Архиповны. Вообще вся сцена между этими двумя женщинами служитъ только вступленіемъ и обстановкою для разсказа; но, не смотря на то, она заслуживаетъ нашего полнаго вниманія. Въ этой сценѣ авторъ умѣлъ, во-первыхъ, обрисовать личность молодой дѣвушки такъ, что по ея односложнымъ вопросамъ и отвѣтамъ можно составить себѣ полное понятіе о ея характерѣ; во-вторыхъ, онъ необыкновенно живо и естественно воспроизвелъ то впечатлѣніе, которое оказываетъ она на Любовь Архиповну, ту инстинктивную симпатію, которую чувствуютъ онѣ другъ къ другу и которая постепенно растетъ вмѣстѣ съ интересомъ разсказа. Дѣйствительно, бывають разговоры, которые быстро сближаютъ собесѣдниковъ, бывають минуты, когда душа жадно ищетъ сочувствія, когда она особенно расположена высказаться, открыть другому свои заповѣдныя мысли. Кромѣ этого общечеловѣческаго чувства, въ Любови Архиповнѣ дѣйствуетъ другое личное побужденіе, обусловленное ея лѣтами и положеніемъ въ обществѣ. Сорокалѣтняя женщина, не потерявшая ни свѣжей впечатлительности, ни задушевной теплоты юности, по естественному влеченію обращается къ молодой дѣвушкѣ; молодость составляетъ лучшую пору ея жизни, къ ней обращаются ея мысли; въ

прошедшемъ ищетъ она отрадныхъ минутъ, и ея живая, веселая слушательница напоминаетъ ей то, что уже пережито, и съ неподдѣльнымъ любопытствомъ и искреннимъ участіемъ выслушиваетъ ея разсказъ.

Въ тонѣ молодой дѣвушки, въ первыхъ словахъ ея слышна какая-то насмѣшливость; но въ насмѣшливости этой нѣтъ ничего желчнаго, оскорбительнаго, нѣтъ и того отгѣнка пренебреженія, который такъ болѣзненно дѣйствовалъ на Любовь Архиповну въ обращеніи ея съ другими людьми. Это—веселая шутливость, естественное послѣдствіе молодости, здоровой и полной силъ. Она придаетъ словамъ дѣвушки граціозный отпечатокъ игривости, развеселяетъ Любовь Архиповну и содѣйствуетъ сближенію обѣихъ женщинъ; въ ней свѣтится и веселый умъ, и прекрасное сердце; когда разсказъ помѣщицы дѣлается серьезнѣе и грустнѣе, насмѣшливость эта совершенно исчезаетъ и уступаетъ мѣсто самому напряженному вниманію и непритворному участію. Не переступая границъ вѣжливости, эта шутливость устраняетъ ту натянутую изысканность, которая обыкновенно господствуетъ въ разговорѣ между людьми мало знакомыми и которая дѣлается еще чувствительнѣе, когда эти люди расходятся въ лѣтахъ, въ общественномъ положеніи и особенно въ образованіи. При такихъ условіяхъ, при томъ живомъ и общипительномъ характерѣ, который мы видѣли въ Любови Архиповнѣ, очень естественно, что она высказалась и даже, какъ женщина пожилыхъ лѣтъ, разболталась. Она замѣчаетъ, что барышня мѣстами шутитъ и лукаво улыбається; но это ей по сердцу: она любитъ шутки и сама не прочь пошутить. Это всего лучше видно изъ слѣдующаго разговора, который завязывается тотчасъ послѣ перваго знакомства:

«Приподнимаясь и оправляя нѣсколько раскинувшееся платье, чтобъ этимъ самымъ предоставить возлѣ себя мѣсто моея неожиданной собесѣдницѣ, я не могла воздержаться отъ маленькой улыбки.

— Такъ она виновата? спросила я.

— Она, матушка! сказала, садясь возлѣ меня, моя собесѣдница, покручивая немного головою, и начала живо пересказывать все, что я знала, и чего не знала, что слышала и недослышала изъ разговора въ гостинной.—Свѣтъ бѣлый на томъ стоитъ, что жены мужьями мудрятъ, охъ, мудрятъ!

— Все это такъ, отвѣчала я, едва удерживаясь отъ смѣха:—извините меня, имени и отчества не знаю.

— Любовь Архиповна, подсказала помѣщица.

— Извините меня, Любовь Архиповна; но, кажется, не вамъ бы такія рѣчи говорить и не мнѣ бы слушать.

— Какія, матушка?—спросила помѣщица.— Подлинно, неслыханныя рѣчи, что жена мужа на поводочкѣ ведетъ!

— Да вѣдь вы не водили вашего?

— А вамъ кто сказать, что не водила?—перенимая мою живость и почти тонъ голоса, передразнила меня Любовь Архиповна.— Вотъ то-то и есть, что водила. Коли-бъ не водила, то и не говорила-бъ.

На такой аргументъ возражать было нечего. Я немножко примолкла.

— Вотъ вы и замолчали,— сказала Любовь Архиповна, заглядывая съ участіемъ мнѣ въ глаза.— А я, матушка, за цѣлые полдня намолчалась, и больше молчать не приходится... Нѣтъ-таки, вы посмотрите на меня, прибавила, трогая меня потихоньку рукою, разговорчивая помѣщица.— Какъ я вамъ показываюсь?

— Въ какомъ отношеніи?— сказала я, весело смѣясь и протягивая руку къ рукѣ Любови Архиповны, теребившей мой кисейный рукавъ?.

Здѣсь высказывается та непринужденная добродушная веселость, которая придаетъ шуткамъ молодости такую граціозную прелесть и невольно располагаетъ въ пользу молодой дѣвушки; высказывается и та безобидная шутливость, которая обыкновенно служитъ выраженіемъ остраго, бойкаго ума. Затѣмъ начинается самый рассказъ. Онъ иногда прерывается замѣчаніями барышни, которая употребляетъ разныя невинныя хитрости, разныя уловки, чтобы навести разговоръ на самый интересный для женщины предметъ, чтобы узнать отъ Любови Архиповны романъ ея жизни, ея чувства и сердечныя тайны. Любовь Архиповна замѣчаетъ хитрости и отшучивается; но потребность откровенности пробудилась съ новою силою и не позволяетъ ничего утаить. Къ тому же романа, мечтаній, развившагося чувства въ ея жизни и не было. Она начинаетъ свою добровольную исповѣдь съ оживленнаго описанія своей дѣвической жизни въ бѣдномъ, но веселомъ украинскомъ городкѣ. Провинціальная жизнь въ такомъ захолустьѣ, куда еще не проникла новѣйшая образованность, гдѣ все идетъ на старый русскій ладъ, гдѣ веселится по-своему, гдѣ соблюдаются всѣ обряды, установленныя вѣками, представляетъ множество самыхъ интересныхъ особенностей. Читатель слышитъ воодушевленный голосъ человѣка, прожившаго при такой обстановкѣ лучшіе годы своей жизни, свыкшагося со всѣми ея мелкими подробностями, полюбливаго всѣея привлекательныя и отталкивающія стороны. Человѣку свѣжему, привыкшему къ разумной дѣятельности, покажется утомительнымъ однообразие, неподвижность, ограниченность подобной жизни; но Любовь Архиповна, какъ женщина мало развитая, не сознаетъ ея недостатковъ, потому что воспоминаніе о ней нераздѣльно слито съ лучшими, самыми свѣжими ея воспоминаніями; рассказъ ея получаетъ отгѣнокъ радужной мечты, въ которой сглаживаются и исчезаютъ рѣзкія и непривлекательныя черты дѣйствительности. Несмотря на розовый, отчасти фантастическій свѣтъ, разлитый въ ея рассказѣ, описаніе провинціальной жизни не теряетъ своего художественнаго значенія; мы не имѣемъ права искать въ немъ того безпристрастія, котораго можно ожидать отъ посторонняго зрителя, потому что такое безпристрастіе было бы несомнѣнно съ личнымъ характеромъ и съ положеніемъ рассказчицы; мы должны видѣть въ раз-

сказѣ ея не самую дѣйствительность, не самый предметъ, а произведенное имъ впечатлѣніе, составившееся подъ влияніемъ личнаго взгляда Любови Архиповны. Авторъ хотѣлъ показать, какъ смотритъ провинціальная барышня на окружающую ее обстановку; онъ хотѣлъ въ рассказѣ Любови Архиповны не столько представить полную и вѣрную картину быта, сколько добавить новыя черты къ характеристикѣ своего главнаго дѣйствующаго лица. Дѣвическая жизнь, веселая и беззаботная, ея безпричинныя радости и мимолетныя огорченія, шумныя хороводы уѣздныхъ красавицъ, ихъ рѣзвыя шалости описаны чрезвычайно художественно. Слушательницѣ Любови Архиповны дѣлается даже завидно; она невольно сравниваетъ непритворную веселость старосвѣтской барышни, выражающуюся въ такихъ непритворныхъ формахъ, съ блестящими, но часто скучными балами, которые выпадаютъ на ея долю. Сравненіе это выражено въ очень граціозной формѣ.

«Измаешься такъ, что лишь бы до постели добраться: упадешь на подушку, какъ убитая; не въ мочь тебѣ и Богу помолиться. Только развѣ въ дремотѣ, какъ малое дитя, перекрестишься, да себѣ на умѣ скажешь: слава Богу, вотъ я напѣлась и напьясалась вдоволь. У меня мелькнула мгновенная странная мысль: возникаетъ ли когда въ насыщенной, пресыщенной удовольствіями, свѣтской блистательной дѣвушкѣ подобное же чувство, которое посѣщало ея меньшую сестру, старосвѣтскую барышню, и хотя разъ въ жизни случилось ли той заснуть, послѣ блестящаго бала, съ этимъ лепетомъ радостной молодой души: слава Богу, вотъ я напѣлась и напьясалась вдоволь? Любовь Архиповна не дала мнѣ подумать объ этомъ».

Во всемъ этомъ прелестномъ описаніи дѣвическихъ увеселеній встрѣчается только одинъ эпизодъ, который неприятно поражаетъ своей искусственностью и впадаетъ въ фарсъ. Эпизодъ о городническомъ козлѣ или чортѣ, вынесемъ на рогахъ плетень, тревога, надѣланная этимъ бытіемъ по всему городу, представляетъ подборъ смѣшныхъ происшествій, приклеенныхъ одно къ другому. Искренній смѣхъ отъ души возможенъ только тамъ, гдѣ онъ возникаетъ свободно и естественно, гдѣ онъ вызванъ истиннымъ комизмомъ правдоподобнаго происшествія; но гдѣ замѣчаются натяжка, искусственное приготовленіе смѣшнаго эффекта, тамъ комизмъ переходитъ въ фарсъ и не достигаетъ своей цѣли. Впрочемъ, нѣтъ недостатка въ истинномъ комизмѣ, вызванномъ положеніемъ и характеромъ дѣйствующихъ лицъ. Къ такимъ художественно комическимъ мѣстамъ относится, напримѣръ, рассказъ о хороненіи золота. Беззаботные годы дѣвической жизни проходятъ; настаетъ другая пора, начинается драматическій интересъ разсказа, начинается глубокой анализъ характеровъ. Любовь Архиповна выходитъ замужъ по принужденію, и въ крутыхъ поступкахъ ея матери, женщины стараго

вѣка, обнаруживается мрачная сторона патриархальнаго быта, который такъ свѣтло и привлекательно представленъ въ дѣвическихъ воспоминаніяхъ. Замужество и семейная жизнь Любови Архиповны служатъ выраженіемъ той мысли, что иногда взаимное уваженіе, скрѣпленное узами привычки, можетъ составить семейное счастье, можетъ вознаградить собою за отсутствіе страстной любви. Такая мысль блистательно проведена въ разсказѣ: въ ней глубоко убѣждена разсказчица, испытавшая на своемъ вѣку странный, едва понятный переходъ отъ крайняго отращенія къ нѣжной привязанности. Предметомъ обоихъ этихъ противоположныхъ чувствъ былъ ея мужъ, котораго замѣчательный характеръ прекрасно обрисованъ и выдержанъ въ повѣсти. Мужъ Любови Архиповны, Никаноръ Семеновичъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ людей, которые умѣютъ соединить въ себѣ твердую волю съ мягкостью, съ женственной нѣжностью чувства, которые умѣютъ любить съ полнымъ самоотверженіемъ, не требуя отъ любимаго предмета, взаимнѣй приносимыхъ ему жертвъ, ни взаимности, ни благодарности, ни даже вниманія; сила чувства его высказывается въ силѣ его страданій, въ томъ странномъ нравственномъ мученіи, которое выдерживаетъ онъ отъ презрительной холодности своей жены; твердость его воли выражается въ умѣнн кротко сносить эти страданія, безъ ропота, безъ озлобленія, въ умѣнн молчать и терпѣть, не надѣдая любимому предмету своимъ присутствіемъ, не преслѣдуя его жалобами и изъясвленіями своихъ отвергнутыхъ чувствъ; его подвергаютъ ежедневной, ежеминутной шпгкѣ, стараются вывести изъ терпѣнн злыми насмѣшками и нескрытыми признаками отвращенія, — осмѣянный мужъ великодушно выдерживаетъ всѣ эти нападки и, въ награду за то, защищаетъ свою жену отъ деспотическихъ притязаній ея матери. Трудно предположить, чтобы подобное величіе души не произвело рано или поздно благотворнаго вліанія на большое, разбитое сердце молодой женщины; ежели отвращеніе не могло смѣниться страстной любовью, то оно должно было перейти въ тихое чувство дружбы и нѣжной признательности. Переходъ этотъ, взаимное дѣйствіе другъ на друга разнородныхъ характеровъ обоихъ супруговъ прослѣжены и разобраны самымъ тонкимъ психологическимъ анализомъ. Ограничимся одной выпиской того мѣста, въ которомъ изображено примиреніе и рѣшительный переломъ въ чувствахъ молодой женщины:

«Стали мы подъѣзжать къ Купянкѣ, приду- чился намъ на дорогѣ мосточекъ. «Дай, говорю, хоть выйду, пройду, перейду этотъ мосточекъ». Онъ велѣлъ остановить лошадей, и мы вышли. Только онъ, матушка, хотѣлъ взять меня подъ руку, чтобы перевести, значить, черезъ мостокъ (дурно было идти), я какъ отшатнулась отъ него, и прямо съ размаху упала подъ мостокъ, не

удержалась на краю. Я перепугалась, а онъ бросился ко мнѣ; лица на немъ нѣтъ. «Боже мой! — всплеснулъ руками, — долго ли это еще будетъ?» Я стала подниматься, матушка, и какъ-то мнѣ пришлось, что я прямо глянула глазами на него; а онъ, блѣдный какъ полотно, стоитъ надо мною, и мнѣ его, матушка, жалко стало... Съли мы, опять и поѣхали, а мнѣ все его жалко. Ушибиться я вовсе не ушиблась; упала мягко на прошлогоднюю траву и даже не замарала ничего... а какъ подумаю, мнѣ жалко его. Дай, говорю себѣ, погляжу на него. Поглядѣла я, матушка, а онъ сидитъ, какъ словно окаменѣлый: въ лицѣ ни кровиночки нѣтъ; протянулъ руки, сложилъ ихъ себѣ на колѣни и сидитъ, хотя бы онъ двинулся или пошевелился; даже у него глаза будто остановились. Я хочу позвать и не знаю, какъ. Позабыла я, не знаю, какъ моего мужа зовутъ. Тронула его за рукавъ, онъ не слышитъ. Я не знаю, что дальше со мною стало. Только я, матушка, упала ему на руки, ухватилась за него и говорю: «Прости меня, я больше не буду». Онъ даже задрожалъ весь. «Не будешь?» Наклонился ко мнѣ и глядитъ на меня быстро глазами, что мнѣ даже странно стало. «Посмотрю я, какъ ты не будешь? Поцѣлуй меня!» И вотъ тебѣ, какъ Богъ святъ, родная моя, откажись я въ ту минуту поцѣловать его, онъ бы, кажется, тутъ же убилъ меня... Я закинула ему руки кругомъ шеи, крѣпко обняла его, и какъ я своимъ поцѣлуемъ поцѣловала, его, да и не оторвусь отъ него. Какъ зарыдаю я, какъ поплывутъ у меня слезы, — и вотъ, матушка, когда пришелъ истокъ пмъ! Я тебѣ и сказать не умѣю, какъ это я плакала. Ни прежде, ни послѣ я не видала и не слыхала, чтобы человекъ лился такъ слезами, какъ я лилась тогда. Никаноръ Семеновичъ меня обнялъ, держитъ возлѣ себя. «Любаша! — говорить, — Богъ съ тобою! Христосъ съ тобою!» крестить меня, цѣлуетъ меня, а я одно, что льюся слезами, припала на груди у него».

Въ этой сценѣ нѣтъ ничего случайнаго и произвольнаго; каждая черта, каждое душевное движеніе строго обдуманно и прекрасно подмѣнены. Бываютъ въ жизни минуты, въ которыхъ достаточно одного толчка, чтобы рѣшить участь цѣлой жизни, одного случайнаго событія, чтобы перевернуть цѣлый образъ мыслей, выработавшійся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Въ такую минуту внезапно, вдругъ припомнятся мысли, слова и поступки, сдѣланные, произнесенные и задуманные очень давно, — все сдѣлается ясно передъ глазами; окинешь взоромъ далеко прошедшее, — и все вдругъ явится въ иномъ свѣтѣ. Такого рода переворотъ совершился въ Любови Архиповнѣ при случайномъ взглядѣ на блѣдное, истомленное лицо мужа, носившее на себѣ глубокіе слѣды тяжелаго нравственнаго страданія. Перевороты эти подготавливаются долгимъ рядомъ мыслей и чувствъ, но совершаются внезапно, безъ участія нашей собственной воли. Въ душевномъ движеніи ея мужа мы видимъ другое, весьма замѣчательное явленіе: Никаноръ Семеновичъ терпѣливо сносилъ холодность своей жены, онъ молчалъ и терпѣлъ, его энергія была подавлена тяжестью страданія; но эта энергія пробуждается съ полной силой

при первом свѣтѣ надежды. Онъ страшиваетъ себя свою апатію, и сердце его уже не просить, а требуетъ полной любви, полного вознагражденія за вынесенныя страданія; въ немъ вдругъ проснулось чувство, сдавленное громаднымъ усиленіемъ воли, и чувство это требуетъ взаимности, во что бы то ни стало: оно вырвалось наружу, и уже ничто его не сдержитъ. Его глубокая, спокойная природа, потрясенная до основанія, сильно взволновалась; не мудрено, что страшно стало Любови Архиповнѣ. Ежели бы она вздумала послѣ первыхъ словъ своихъ возвратиться къ прежней холодности, дѣло могло бы дѣйствительно получить трагическую развязку. Въ заключеніе, укажемъ нашимъ читательницамъ на второстепенное, но весьма типическое лицо повѣсти—на Авдотьюшку, бѣдную, благочестивую старушку, проводящую всю жизнь въ постѣ и молитвѣ и странствующую по различнымъ монастыряхъ Россіи. Ея рассказы, проникнутые поэтической, безграничной вѣрой, служатъ выраженіемъ полного преобладанія чувства и воображенія надъ критической силой ума. Не будемъ говорить о Черномъ, о лицѣ самомъ поэтическомъ въ рассказѣ; читательницы пусть сами прочтутъ художественный рассказъ г-жи Кохановской и вполне оцѣнятъ его красоты.

### Свободный выборъ. Повѣсть *Е. Нарской*. (тамъ-же).

Повѣсть г-жи Нарской должна обратить на себя наше вниманіе не столько по своимъ литературнымъ достоинствамъ, сколько по той мысли, которая положена въ ея основаніи. Г-жа Нарская хотѣла представить въ своей повѣсти характеръ дѣвушки, получившей правильное, основательное образованіе и развившейся при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ; она хотѣла привести эту дѣвушку въ соприкосновеніе съ шумной свѣтской жизнью, поставить ее среди блестящаго, мало развитого общества и прослѣдить тѣ ощущенія, которыя переживаетъ эта дѣвушка, и то вліяніе, которое будетъ оказывать она на окружающихъ ее людей. Тема, выбранная авторомъ, обширна и соответствуетъ потребностямъ нашего времени и общества, въ которомъ поднять вопросъ о женскомъ образованіи; тема эта находится въ прямомъ соотношеніи съ направленіемъ нашего журнала, и потому мы считаемъ нужнымъ представить подробный отчетъ о повѣсти г-жи Нарской.

Клавдія Александровна Фуржеева, молодая дѣвушка, занимающая среди дѣйствующихъ лицъ повѣсти главное мѣсто, проводитъ въ деревнѣ дѣтство и первые годы молодости; воспитаніе ея находится подъ руководствомъ старика-отца, человѣка опытнаго и свѣдущаго, сохранив-

шаго чистоту юношескихъ убѣжденій, сознающаго необходимость образованія, умѣвшаго пробудить въ дочери живую любознательность и развить въ ней благородный и правильный взглядъ на жизнь. Слѣдствія подобнаго воспитанія проявляются во всемъ послѣдующемъ ходѣ событій; но о самомъ ходѣ этого воспитанія г-жа Нарская говоритъ очень мало: она беретъ Клавдію въ томъ возрастѣ, когда учебныя занятія ея уже оканчиваются, когда первоначальное направленіе уже дано, когда человѣку предоставляется возможность работать собственными силами надъ дальнѣйшимъ своимъ развитіемъ и усовершенствованіемъ. О предыдущемъ періодѣ жизни, о дѣтствѣ, о тѣхъ пріемахъ, которыми пользовался старикъ Фуржеевъ, не сказано ни слова; встрѣчаются только общія, довольно неопредѣленные указанія: такъ, напримѣръ, г-жа Нарская говоритъ, «что цвѣты и книги составляли всю ихъ прихоть»; сама Клавдія говоритъ отцу, что бабушка ея не разъ замѣчала, «будто она болѣе похожа на студента, чѣмъ на благовоспитанную дѣвицу». Эти указанія, самый характеръ старика Фуржеева и наконецъ рѣзкое различіе между Клавдіей и окружающими ее дѣвками, получившими поверхностное свѣтское образованіе,—все это даетъ намъ право заключить, что воспитаніе ея было серьезное и основательное; но при этомъ нельзя не пожалѣть, что г-жа Нарская не дала намъ болѣе подробностей объ объемѣ этого воспитанія, о томъ, какъ и чему училась Клавдія. Сцена изъ ея дѣтства, перечень ея занятій уяснили бы намъ характеры Фуржеева и его дочери и дали бы намъ право судить о взглядѣ автора на образованіе женщины; отсутствіе опредѣленныхъ указаній на воспитаніе Клавдіи подаетъ поводъ къ довольно важному недоразумѣнію. Въ ходѣ послѣдующихъ событій у Клавдіи является желаніе трудиться и зарабатывать деньги, она обращается къ запасу свѣдѣній, приобрѣтенныхъ ею подъ руководствомъ отца, и съ ужасомъ замѣчаетъ, что свѣдѣнія эти недостаточны и даже поверхностны. «Я не знаю по-русски», говоритъ она себѣ, «я не могу свободно и правильно написать письма на родномъ языкѣ! Развѣ насъ учатъ, какъ слѣдуетъ, русскому языку?» Не имѣя опредѣленнаго понятія о томъ, какъ шло воспитаніе Клавдіи, читатель не знаетъ, чему приписать эти слова—дѣйствительному сознанію недостаточнаго образованія или минутному порыву отчаянія, вызванному обстановкою всѣдневной жизни. Прочтя эти слова, читатель не можетъ также утвердительно сказать, насколько воспитаніе Клавдіи стояло выше того воспитанія, которое обыкновенно дается дѣвушкамъ, готовящимся жить исключительно для свѣта и для его шумныхъ удовольствій. Клавдія жалуется на неосновательное знаніе русскаго языка. Въ чемъ же состояло ея образованіе? Такой вопросъ не



находить себя определеннаго отвѣта; а между тѣмъ ясно видно намѣреніе автора показать превосходство Клавдіи надъ окужавшими ее молодыми дѣвушками. Превосходство это выражается въ возвышенномъ образѣ мыслей, въ стремленіи къ серьезнымъ занятіямъ и къ разумной самостоятельности, въ умѣніи думать и обсуживать, анализировать движенія собственной души. Клавдія не увлекается первымъ порывомъ чувства и въ то же время не даетъ въ своихъ мысляхъ мѣста холодному и сухому расчету; она чувствуетъ горячо и искренно. Она довѣрчиво сближается съ людьми; но эта довѣрчивость не отнимаетъ у нея способности обѣивать людей по достоинству; она понимаетъ, что для счастья въ жизни необходимо сознательное чувство, что чувство это должно быть основано на уваженіи и одинаковомъ пониманіи главнѣйшихъ обязанностей человѣка; она готова скорѣе принять на себя тяжелую трудовую жизнь, полную заботъ и матеріальныхъ лишеній, нежели связать свою судьбу съ судьбою человѣка, недостойнаго уваженія и неспособнаго возбудить къ себѣ искреннюю привязанность. Результаты воспитанія очевидно самые утѣшительные; но въ чемъ состояло это воспитаніе, и почему Клавдія не вынесла изъ него даже основательнаго знанія русскаго языка? Это остается вопросомъ очень интереснымъ, но тѣмъ не менѣе неразрѣшеннымъ. Повѣсть начинается со всгупленія молодой дѣвушки въ свѣтъ. Свѣтскія удовольствія сначала конечно занимаютъ ее, ей весело, она рада потанцовать; но балы скоро надоедаютъ ей, когда она замѣчаетъ, что ей ставить въ обязанность присутствовать на нихъ и веселиться во что бы то ни стало; докучливыя наставленія старшихъ родственницъ, изучившихъ до тонкости всѣ мелочныя условія свѣтской жизни, тяготятъ ея свѣжую, неиспорченную природу; каждый шагъ ея, каждое естественное движеніе вызываютъ толки, комментаріи и длинныя правоченія со стороны бабушки. Все это становится для нея невыносимо; жизнь въ Москвѣ теряетъ въ ея глазахъ всю свою прелесть, и тихія серьезныя занятія прежней уединенной жизни снова манятъ ее къ себѣ. Такой переходъ не представляетъ конечно неестественнаго. Было бы странно, если бы молодая дѣвушка имѣла отвращеніе отъ свѣтскихъ удовольствій; какъ бы ни было серьезно данное ей воспитаніе, оно рѣдко ведетъ, да и не должно вести, къ подобнымъ крайностямъ. Съ другой стороны, очень понятно, что дѣвушка умная и развитая не могла удовольствоваться одной салонной, вишней и пустой жизнью. За минутнымъ увлеченіемъ столичными удовольствіями конечно должно было послѣдовать разочарованіе, болѣе или менѣе неприятное. Можно при этомъ замѣтить, что періодъ увлеченія свѣтомъ выставленъ въ повѣсти довольно слабо. На него есть намеки,

о немъ можно догадываться, напримѣръ по письму Клавдіи къ своей подругѣ; но нѣтъ ни одной сцены, въ которой прямо и ясно выразилось бы это увлеченіе. Между тѣмъ содержание повѣсти развертывается, и являются новыя личности. Въ выборѣ этихъ личностей нѣтъ ничего случайнаго: видно, что каждая изъ нихъ осуществляетъ собою одну изъ сторонъ мысли автора; одиѣ приходятъ въ столкновеніе съ Клавдіей и содѣйствуютъ развитію ея характера; другія составляютъ съ нею противоположность и помогаютъ автору отгѣнить и обозначить посредствомъ сравненія свойства главнаго дѣйствующаго лица. Планъ повѣсти строго обдуманъ: мы видимъ, какъ проявляется самостоятельная дѣятельность ума и сердца молодой дѣвушки. Она отказывается богатому жениху, потому что не чувствуетъ въ себѣ способности и желанія составить его счастье; въ то же время она готова, изъ жалости, выйти замужъ за человѣка безхарактернаго и пустого, но страстно привязаннаго къ ней. Мы видимъ такимъ образомъ въ ея поступкахъ съ одной стороны пониманіе обязанностей женщины, съ другой—вполнѣ женственное увлеченіе порывомъ сердца; въ первомъ случаѣ видимъ преобладаніе нравственнаго чувства надъ грязнымъ расчетомъ, во второмъ — перевѣсъ чувствительности надъ голосомъ разсудка. При этомъ должно замѣтить, что второй эпизодъ жизни Клавдіи гораздо болѣе перваго обрисовываетъ ея характеръ. Отказать богатому жениху не важность: это сдѣлаетъ каждая развитая дѣвушка, но сжалиться до такой степени надъ чувствомъ, котораго не раздѣляешь,—это черта важная и замѣчательная. Клавдія поступила бы опрометчиво, если бы повиновалась въ этомъ случаѣ первому влеченію сердца; но есть такого рода опрометчивыя поступки, такого рода неосторожности и ошибки, на которыя способны очень немногія прекрасныя и развитыя личности. За этими двумя эпизодами, въ которыхъ читатель постепенно знакомится съ различными сторонами характера героини, слѣдуетъ третій, изображающій любовь Клавдіи къ человѣку мыслящему, развитому во всѣхъ отношеніяхъ, самостоятельному и достойному уваженія. Это одна изъ лучшихъ частей повѣсти: развитіе чувства прослѣжено и объяснено читателю; въ проявленіяхъ этого чувства нѣтъ никакихъ неестественныхъ эффектовъ, противорѣчащихъ характеру и положенію дѣйствующихъ лицъ. Клавдія любить тихо и спокойно; молча страдаетъ она отъ встрѣчающихся ей препятствій, твердо борется она съ ними и силою воли побѣждаетъ ихъ. Сдѣлавшись женою любимаго человѣка, она съ непоколебимымъ постоянствомъ исполняетъ свои обязанности, дѣлитъ съ мужемъ горе и радости, помогаетъ ему въ работахъ, переноситъ болѣзни и заботы. Говоря объ этой порѣ жизни Клавдіи, авторъ не впадаетъ въ преувеличеніе, не иде-

ализирует своей героини, а просто представляет въ ея лицѣ добрую, мыслящую и развитую женщину. Личности, окружающія Клавдію, очень разнообразны и очерчены довольно ярко. Одни — сухіе эгоисты, неразвившіеся, не понявшіе цѣли жизни и смотрящіе съ предубѣжденіемъ и съ за- таенною досадою на всякаго, кто потревожит живою мыслью ихъ тупое умственное усыпленіе. Эгоисты эти являются въ различныхъ видоизмѣненіяхъ; но не трудно узнать одинъ и тотъ же типъ: тутъ есть старухи, которые проводятъ время за картами, живуть городскими слухами и строго наблюдаютъ за ненарушимостью свѣтскихъ обрядовъ; есть молодыя дѣвушки, вѣчно танцующія, вѣчно смѣющіяся и высматривающія жениховъ; есть и молодые люди, не знающіе никакого труда, живущіе со дня на день безъ всякой опредѣленной цѣли. Другого рода личности, забытыя, подавленные силою обстоятельствъ или мертвящимъ вліяніемъ сухихъ и тяжелыхъ людей. Такія личности всего лучше удались автору; Нарская умѣла показать, какъ въ этихъ людяхъ есть и умъ, и чувства, и какъ все это въ нихъ стѣснено и связано; она умѣла даже представить въ нихъ проблески ума и чувства, проблески мнунутые, за которыми опять слѣдуютъ неподвижность и официальная холодность. Все, что мы сказали, относится къ плану, къ идеѣ повѣсти; въ выполненіи этой идеи есть много недостатковъ: видно, что авторъ, обдумавъ и разобравъ характеръ, не всегда умѣлъ воспроизвести его, не всегда примѣнялся къ положенію выведенной личности и потому отъ ея лица высказалъ идеи въ такой формѣ, въ какой не могли онѣ быть высказаны. Фуржеевъ и его дочь большей частью говорятъ книжнымъ языкомъ; старикъ Фуржеевъ произноситъ довольно некстати поученія рѣзкія, длинные и утомительныя. Желая обозначить какое-либо движеніе мысли, какую-либо сторону характера, Нарская употребляетъ черты слишкомъ рѣзкія; чтобы показать неправильное развитіе родственницъ Клавдіи, она приводитъ сцены, въ которыхъ нельзя не замѣтить утрировки. Къ такимъ сценамъ относится большая часть разговоровъ Клавдіи съ бабушкой: бабушка слишкомъ открыто и нагло становится на сторонѣ обскурантизма, слишкомъ недѣло говоритъ противъ образованія женщины; она можетъ такъ думать и чувствовать, но, какъ женщина умная, не будетъ говорить такъ рѣзко съ внучкой, которую желаетъ убѣдить и подчинить своему вліянію. Молодая дѣвушка, подруги Клавдіи, представлены также чрезчуръ пустыми и неразвитыми; ихъ остроты, ихъ насмѣшки надъ Клавдіей слишкомъ плоски. Вообще разговорамъ, приведеннымъ въ повѣсти Нарской, недостааетъ живости, и это много вредитъ достоинству цѣлаго.

### Un mot aux mères. Par. L. S. de M.

Небольшая брошюра г-жи L. S. de M. посвящена разрѣшенію одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ, касающихся женскаго воспитанія, одного изъ тѣхъ вопросовъ, которые въ послѣднее время были подняты въ нашей педагогической литературѣ. Г-жа L. S. de M. поставила себѣ задачею обсудить выгоды и невыгоды женскаго общественнаго воспитанія и разобрать то вліяніе, которое можетъ имѣть такое воспитаніе на образъ мыслей дѣвушки, на ея нравственность и на положеніе въ семействѣ. Сравнивъ общественное воспитаніе съ домашнимъ, г-жа L. S. de M. выводитъ изъ этого сравненія результаты и представляетъ въ общихъ чертахъ планъ такого учебнаго заведенія, которое, не отрывая воспитанницъ отъ семейства, доставило бы имъ средства пользоваться уроками хорошихъ учителей и такимъ образомъ совместило бы въ себѣ выгоды домашняго и общественнаго воспитанія. Таковъ общій планъ сочиненія; сообразно съ этимъ планомъ самое сочиненіе раздѣляется на три главы. Первая глава доказываетъ необходимость домашняго воспитанія для правильнаго развитія женщинъ. Г-жа L. S. de M. начинаетъ съ того, что вглядывается въ окружающее насъ современное общество и опредѣляетъ ту роль, которую занимаетъ въ немъ женщина. «Я вижу, говорить она,—что женщина не понимаетъ своего назначенія, тратится на пустяки, забываетъ свои святныя обязанности и такимъ образомъ дѣлается для своего времени источникомъ несчастій». Приговоръ этотъ строгъ; но онъ показываетъ, какъ высоко понимаетъ г-жа M. значеніе женщины, говоря, что она имѣетъ такое рѣшительное вліяніе на направленіе общества. Сверхъ того г-жа M. допускаетъ и исключенія изъ выказаннаго ею правила; но исключенія эти конечно бываютъ рѣдки и большей частью являются независимо отъ тѣхъ условій, при которыхъ обыкновенно развивается въ наше время женщина. На эти-то условія г-жа M. и обращаетъ преимущественное вниманіе. Она съ благоговѣніемъ останавливается передъ прекрасной мыслью, которая лежитъ въ основаніи институтовъ; она съ уваженіемъ говоритъ о числѣ и великолѣпнн этихъ заведеній, въ которыхъ сироты, не имѣющія ни семьи, ни пристанища, могутъ получать отъ государства прочное и обширное умственное образованіе. Отдавая полную справедливость пользѣ этихъ общественныхъ учреждений, г-жа M. въ то же время замѣчаетъ въ нихъ существенный недостатокъ. Недостатокъ этотъ тѣмъ важнѣе, что онъ не является слѣдствіемъ случайнаго временнаго злоупотребленія; напротивъ, онъ составляетъ неизбѣжное, необходимое свойство казеннаго заведенія, которое

ни въ какомъ случаѣ не можетъ замѣнить для воспитанницъ семейства. Приведемъ слова автора, въ переводѣ:

«Эти воспитательныя заведенія въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ держать бѣдную дѣвочку вдали отъ нѣжной ласки матери; они отчуждаютъ ее отъ домашнихъ обязанностей, отрѣщаютъ ее отъ тѣхъ заботъ, отъ тѣхъ привычекъ, отъ тѣхъ горестей, которыя составляютъ для человѣка истинную житейскую школу. Ребенокъ долженъ мало-по-малу приучаться къ сердечнымъ огорченіямъ, къ лишениямъ, къ обманутымъ надеждамъ,—словомъ, ко всемъ мелкимъ неприятностямъ, которыя неизбежно ведутъ за собою семейная жизнь».

Съ этими словами нельзя не согласиться. Давно извѣстно, что жизнь составляетъ лучшую школу, что опытъ и практика необходимы во всякомъ дѣлѣ и что ихъ не замѣнить никакая теорія; поэтому ребенку лучше всего жить по возможности въ дѣйствительности, въ той средѣ, въ которой ему современемъ придется самому быть независимымъ дѣятелемъ. Нужно избѣгать для ребенка той искусственной атмосферы, въ которой нельзя будетъ держать его въ продолженіе всей жизни, изъ которой ему рано или поздно необходимо будетъ выглянуть на свѣтъ, въ дѣйствительность. Такую искусственную атмосферу представляютъ всѣ помянутыя заведенія, въ которыхъ воспитанникъ видитъ вокругъ себя одни и тѣ же лица, одни и тѣ же занятія, одни и тѣ же отношенія; онъ создаетъ себѣ свои понятія, отъ которыхъ потомъ трудно бываетъ отрѣшиться, свой маленькій міръ, часто не имѣющій ничего общаго съ тѣмъ большимъ міромъ, который лежитъ за стѣнами училища. Взглядъ его на жизнь получаетъ особенное, всегда неправильное, а иногда и превратное развитіе; чѣмъ больше бываетъ замкнутость, тѣмъ полнѣе отчужденность отъ окружающаго общества, тѣмъ чувствительнѣе вліяніе, которое оказываютъ годы ученія на дальнѣйшую жизнь и дѣятельность воспитанника. Кромѣ запаса знаній, училище даетъ воспитаннику извѣстнаго рода понятія, которыя рѣдко выдерживаютъ столкновение съ дѣйствительностью, которая большей частью самому же воспитаннику приходится искоренять и перерабатывать. Въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ замкнутость всего полнѣе, и потому вліяніе пансіонскихъ привычекъ и понятій всего сильнѣе проявляется въ жизни женщины, тѣмъ болѣе, что этому содѣйствуютъ воспримчивость и впечатлительность, свойственные ея полу и тому нѣжному возрасту, въ которомъ дѣвушки большей частью поступаютъ въ заведеніе. Г-жа М. обращаетъ вниманіе на слѣдствія подобнаго воспитанія и въ особенности развиваетъ ту мысль, что дѣвушка, находившаяся въ первые годы молодости вдали отъ семейства, не можетъ жить сердцемъ, не можетъ найти пищи для своей врожденной потребности любить и прино-

сить, по мѣрѣ силъ, пользу любимымъ людямъ. Дружескія отношенія съ сверстницами обыкновенно оканчиваются за дверями пансіона и оставляютъ по себѣ одни безплодныя сожалѣнія, вселиваютъ въ сердце дѣвушки тоскливое воспоминаніе о прошедшемъ,—воспоминаніе, являющееся въ ту пору, когда всего лучше бываетъ жить въ настоящемъ, весело смотрѣть впередъ и думать о ближайшемъ будущемъ. Эти воспоминанія порождаютъ въ жизни дѣвушки какую-то раздвоенность, какой-то разладъ между мыслью и дѣйствительною жизнью; чѣмъ рѣже переходъ изъ пансіона въ родительскій домъ, тѣмъ чувствительнѣе этотъ разладъ, тѣмъ больнѣе отзывается онъ въ молодой душѣ дѣвушки, тѣмъ серьезнѣе могутъ быть и послѣдствія этого разлада. Г-жа М. справедливо замѣчаетъ, что внѣшняя обстановка можетъ имѣть въ этомъ случаѣ важное значеніе.

«Онѣ (воспитанницы),—говоритъ она,—привыкли къ просторнымъ комнатамъ, къ заламъ, освѣщеннымъ лампами и люстрами; имъ тѣсно въ маленькой, скромной, часто даже бѣдной квартирѣ, въ которой ждетъ ихъ материнская нѣжность. Многія изъ нихъ, навѣрное, мечтаютъ о любви къ родителямъ и даже, при романтическомъ настроеніи ума, мечтаютъ о высокомъ самопожертвованіи, сочиняютъ себѣ цѣлую трагедію прекрасныхъ словъ и прекрасныхъ поступковъ,—и, несмотря на то, онѣ не могутъ себѣ представить мелкихъ, тягостныхъ подробностей жизни, полной лишеній, такой жизни, какая обыкновенно ожидаетъ ихъ въ родительскомъ домѣ. Еще труднѣе имъ представить себѣ, что сила воли и привычка терпѣть нужду могутъ поставить человѣка выше многихъ мелкихъ неудобствъ жизни, что рядомъ съ лишеніемъ можно встрѣтить радость и наслажденіе».

Но тутъ все-таки дѣло идетъ только о внѣшней обстановкѣ; еще тяжеле можетъ быть внутренній разладъ между матерью и дочерью,—разладъ въ основныхъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, во взглядѣ на жизнь, въ пониманіи важнѣйшихъ обязанностей человѣка. Такой разладъ иногда бываетъ необходимымъ. Можетъ случиться, что молодая дѣвушка стоитъ выше своего семейства по умственному развитію и по нравственнымъ качествамъ, что ея не понимаютъ и не умѣютъ цѣнить: тогда со стороны дѣвушки должны быть только мягкость и терпимость; но, при поверхностности нынѣшняго воспитанія, такіе случаи рѣдки. Чаше бываетъ, что, наоборотъ, виною разлада является сама дѣвушка или, вѣрнѣе сказать, то странное направленіе, которое дала ей замкнутая сфера пансіонской жизни, холодная и форменная обстановка первыхъ лѣтъ молодости. Въ заключеніи своей первой главы г-жа М. обращается къ матерямъ и говоритъ имъ, что воспитаніе дочерей составляетъ ихъ прямую обязанность, отъ которой онѣ не имѣютъ права отклоняться, отъ которой можетъ освободить ихъ только крайняя нужда или искреннее и глубокое сознаніе

собственной неспособности. Доказавъ необходимость домашняго воспитанія, г-жа М. объясняетъ въ слѣдующей главѣ, въ чемъ должно, по ея мнѣнью, состоять это воспитаніе. Совѣты ея ограничиваются очень вѣрными, но довольно общими и часто растянутыми указаніями. Въ числѣ этихъ указаній встрѣчается впрочемъ одна замѣчательная мысль, которая находится въ тѣсной связи съ общимъ направлениемъ первой главы: тамъ г-жа М. показала, какіе пробѣлы оставляетъ въ душѣ дѣвушки пансіонское воспитаніе; здѣсь она обращаетъ вниманіе матерей на то, какъ пополнить эти пробѣлы.

«Если,—говоритъ она,—Богъ пошлетъ вамъ болѣзнь, если случится несчастье въ домѣ, не удаляйте отъ него вашего ребенка: пусть онъ ухаживаетъ за вами, пусть сидитъ у вашей постели, какъ бы ни былъ онъ молодъ; пусть плачетъ съ вами, какъ бы ни былъ онъ слабъ. Физическая природа его не должна развиваться въ ущербъ нравственной. Удаляя его отъ себя въ минуту испытаній, вы скрываете отъ него лучшія стороны, лучшія способности его души; если охранять ребенка отъ всякаго огорченія, то окончится тѣмъ, что онъ не будетъ въ состояніи не только страдать, но даже и смотреть на страданіе. Дочь уйдетъ отъ больной матери, потому что у нея не достанетъ силъ видѣть ея болѣзнь».

Въ этихъ словахъ видно знаніе современной семейной жизни. Г-жа М. прямо указываетъ на одинъ важный недостатокъ воспитанія,—на недостатокъ, происходящій отъ излишней нѣжности къ дѣтямъ. Родители стараются скрывать отъ дѣтей свои огорченія, стараются держать ихъ въ счастливомъ невѣдѣніи печальныхъ сторонъ жизни. Но это счастливое невѣдѣніе не можетъ продолжаться всегда: за нимъ непременно долженъ слѣдовать рѣзкій переходъ въ жизнь, и чѣмъ рѣзче этотъ переходъ, тѣмъ тяжелее отзывается онъ во всемъ нравственномъ существѣ молодого человѣка. Часто за этимъ переходомъ могутъ развиваться или недобѣре къ людямъ и къ собственнымъ силамъ, или мелочной и холодный эгоизмъ, равнодушіе къ чужимъ дѣйствительнымъ страданіямъ и, рядомъ съ этимъ равнодушіемъ, слезливая чувствительность. Эти качества довольно часто встрѣчаются въ женскихъ характерахъ, потому что женщина большей частью долѣе мужчины остается подъ любящимъ вліяніемъ родителей, вдали отъ огорченій и заботъ самостоятельной, дѣятельной жизни. Не испытавши въ молодости ни противорѣчій, ни лишеній, не узнавши, что такое горе, она не найдетъ въ себѣ достаточныхъ силъ, чтобы перенести свои страданія или чтобы облегчить страданія другого. Потому совѣтъ г-жи М. имѣетъ важное значеніе въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія: надъ этимъ совѣтомъ слѣдовало-бы задуматься многимъ родителямъ. Въ третьей и послѣдней главѣ г-жа М. предлагаетъ проектъ женской гимназіи, или заведенія для приходящихъ,—проектъ, который въ глав-

ныхъ чертахъ своихъ былъ осуществленъ въ концѣ прошедшаго года. Говорить о выгодахъ подобнаго учрежденія считаемъ излишнимъ: можно съ перваго взгляда замѣтить, что онъ совмѣщаетъ въ себѣ преимущества общественнаго и частнаго воспитанія: живя дома, находясь подъ постояннымъ надзоромъ родителей, воспитываясь въ той сферѣ, въ которой имъ современемъ придется дѣйствовать, дѣвицы въ то-же время за ничтожную плату могутъ получить основательное образованіе. Изъ числа мыслей, встрѣчающихся въ проектѣ г-жи М., особенно замѣчательна по своей практичности слѣдующая:

«Въ этомъ заведеніи,—говоритъ г-жа М.,—не должно быть дѣтей ниже девятилѣтняго возраста; чтобы не отвращать малютокъ отъ занятій, не должно держать ихъ слишкомъ долго въ училищѣ; въ первомъ классѣ довольно въ день двухъ часовъ ученія, потому можно приходить въ классы не ранѣе 10 часовъ. Воспитанницы высшихъ классовъ могутъ приходить часовъ въ девять, и уроки должны продолжаться около пяти часовъ».

Эту мысль не мѣшало-бы примѣнить и къ мужскимъ учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ также встрѣчаются воспитанники различнаго возраста, подчиненные одному общему уставу. Такъ напримѣръ, въ мужскихъ гимназіяхъ есть мальчики лѣтъ десяти и молодые люди лѣтъ восемнадцати, и тѣ, и другіе проводятъ въ классахъ одно и то же время, то есть болѣе пяти часовъ. Вообще у насъ соображаются съ возрастомъ только въ изложеніи предмета, а продолжительность преподаванія для всѣхъ возрастовъ одна и та-же; между тѣмъ физическія и умственные силы воспитанниковъ измѣняются съ каждымъ годомъ, а потому съ каждымъ годомъ должна измѣняться и работа. Что легко для молодого человѣка, то утомительно для ребенка. Остальныя мысли г-жи М. о женскихъ гимназіяхъ прямо вытекаютъ изъ ея мыслей объ общественномъ и домашнемъ воспитаніи,—изъ тѣхъ мыслей, которыя высказаны въ первыхъ двухъ главахъ ея сочиненія. Мысли эти здравы и вѣрны: въ нихъ выразился правильный взглядъ на задачу воспитанія; въ нихъ видно знаніе нашего общества и пониманіе его недостатковъ и насущныхъ потребностей.

## Дѣтство и юность Т. Н. Грановскаго. II. Кудрявцева. («Р. Вѣстникъ», 1858 г., № 12).

Тимоеи Николаевичъ Грановскій, бывший профессоръ всеобщей исторіи въ Московскомъ университетѣ, извѣстный своими учеными трудами и теплою любовью къ наукѣ, скончался въ 1855 году. Читательницамъ нашимъ вѣроятно не разъ приходилось слышать его имя, которое съ уваженіемъ произносятъ и его сослуживцы, и бывшіе его слушатели, и наконецъ всѣ, кому дорого

развитіе научной дѣятельности въ нашемъ отечествѣ. Со смерти Грановскаго прошло уже нѣсколько лѣтъ; но до сихъ поръ еще не было составлено полной и удовлетворительной его біографіи.

Преемникъ Грановскаго по кафедрѣ всеобщей исторіи, Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ, скончавшійся въ первой половинѣ 1858 года, взялъ на себя трудъ описать жизнь своего предшественника и собралъ всѣ матеріалы, состоявшіе большей частью изъ писемъ и семейныхъ воспоминаній. Преждевременная смерть не позволила Кудрявцеву окончить его трудъ, и только первый періодъ жизни Грановскаго, заключающійся его выходомъ изъ университета, получилъ окончательную отдѣлку и появился въ печати въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за ноябрь 1858 года. Эта начатая біографія Грановскаго имѣетъ для читателя двойной интересъ: во первыхъ, она знакомитъ съ фактами жизни покойнаго профессора, съ обстановкою первыхъ лѣтъ его дѣтства и юности, показываетъ первоначальное развитіе его характера; во-вторыхъ, какъ посмертный трудъ Кудрявцева, она обнаруживаетъ глубину мысли и критическій взглядъ своего составителя и служить вѣрнымъ отраженіемъ его замѣчательной личности. Кудрявцевъ съ горячей любовью занялся своимъ дѣломъ: онъ собралъ всевозможныя свѣдѣнія о первыхъ годахъ жизни Грановскаго, о его родителяхъ, о той обстановкѣ, подъ влияніемъ которой росъ и развивался ребенокъ; онъ умѣлъ расположить эти разрозненныя, отрывочныя свѣдѣнія, привести ихъ въ систематическую послѣдовательность и составить очень живую и интересную картину дѣтства Грановскаго. Первые годы жизни заслуживаютъ полнаго вниманія біографа: первыя впечатлѣнія, первоначальное направленіе воспитанія, личности окружающихъ людей имѣютъ часто рѣшительное, неизгладимое вліяніе на наклонности и характеръ ребенка. Къ сожалѣнію, бываетъ обыкновенно очень трудно собрать подробности объ этомъ первомъ періодѣ жизни, сообщенныя свѣдѣнія бываютъ обыкновенно отрывочны, неясны и безцвѣтны. Рѣдко даютъ себѣ трудъ наблюдать надъ постепеннымъ развитіемъ ребенка, подмѣчать въ немъ характерныя особенности, слѣдить за пробужденіемъ молодого ума. На этомъ основаніи Кудрявцевъ не могъ дать полной характеристики дѣтства Грановскаго: онъ приводитъ отдѣльныя черты, очень любозпытныя и занимательныя, но не отражающія въ себѣ личнаго характера героя; дѣтство Грановскаго прошло тихо и мирно; онъ не обгонялъ своимъ умственнымъ развитіемъ сверстниковъ и не стоялъ выше ихъ по благородству характера. Дѣтскія шалости его, о которыхъ воспоминаніе сохранили самъ Грановскій и нѣкоторые изъ его близкихъ знакомыхъ, доказываютъ, что ни нравственныя свойства его, ни наклонности не обозначались въ первый періодъ

его жизни. Эта часть труда Кудрявцева важна и интересна для насъ въ особенности потому, что знакомитъ съ обстановкою жизни Грановскаго, съ членами его семейства, съ тѣми личностями, которыя имѣли на него ближайшее и непосредственное вліяніе. Такимъ образомъ разсказъ доходитъ до тринадцатилѣтняго возраста будущаго профессора. Здѣсь онъ оживаетъ и становится интереснѣе и глубокомысленнѣе; тутъ уже обозначаются зародыши тѣхъ чувствъ и стремленій, которыя должны были опредѣлить судьбу молодого человѣка. На первый планъ выступаютъ любовь его къ матери и страстная охота къ чтенію. Эти два чувства, глубоко укоренившіяся въ душѣ ребенка, повели за собою важныя послѣдствія. Любовь къ матери подчинила его ея благотворному вліянію и положила прочныя основанія той нравственной чистотѣ мыслей и побужденій, той мягкости и глубинѣ чувства, которыя отличали Грановскаго въ позднѣйшую пору его жизни. Развившаяся наклонность къ чтенію расширила кругъ его мысли, затронула въ немъ многие вопросы, которыхъ не могло поднять одно домашнее воспитаніе, и облегчила дальнѣйшій ходъ его самообразованія. Интересъ біографіи возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ молодой человѣкъ дѣлается самостоятельнѣе сталкивается лицомъ къ лицу съ практической жизнью и, выходя изъ-подъ вліянія родительской власти, начинаетъ жить и дѣйствовать своимъ умомъ. Здѣсь, подъ вліяніемъ обстоятельствъ, часто подъ вліяніемъ нужды и горя, слагаются и крѣпнутъ убѣжденія Грановскаго; умственные способности его начинаютъ работать самостоятельно; онъ задумывается надъ цѣлью собственной жизни, старается разгадать свои наклонности и выбрать своимъ силамъ соответствующее имъ поле дѣятельности; онъ жаждо ищетъ образованія и не довольствуется той ограниченной средою, въ которую поставило его желаніе родителей; сила воли и еще инстинктивная любовь къ наукѣ прокладываютъ ему дорогу и заставляютъ его преодолѣть препятствія, на которыхъ остановился бы всякій другой. Принужденный работать надъ своимъ образованіемъ, предоставленный собственнымъ силамъ, Грановскій въ одно время борется и съ матеріальной нуждою, и съ жестокомъ горемъ, и съ семейными неурядицами, и со всѣми трудностями университетскаго курса. Пораженный извѣстіемъ о смерти матери, оставленный, почти забытый отцомъ въ чужомъ городѣ, двадцатилѣтній молодой человѣкъ не забываетъ своихъ младшихъ сестеръ и брата; обремененный заботами, подавленный собственнымъ горемъ и нуждою, онъ старается устроить ихъ участь, обезпечить ихъ существованіе, развитъ ихъ умственныя способности. Эта послѣдняя часть недоконченнаго труда Кудрявцева представляетъ особенный, мѣстами драматическій интересъ. Біографъ собралъ письма Грановскаго, расположилъ ихъ въ хронологиче-

скомъ порядкѣ и, выскнувъ въ то состояніе души, подъ вліяніемъ котораго они были писаны, воспроизвелъ самыми яркими и вѣрными красками его студенческую жизнь, его отношенія къ товарищамъ, къ обществу, къ семейству и къ самому себѣ. Не позволивъ себѣ ни одного произвольнаго слова, не прибавивъ къ личности Грановскаго ни одной черты, не основанной на какомъ-нибудь фактѣ, не оставивъ безъ вниманія ни одной подробности, которая могла бы бросить свѣтъ на его характеръ, Кудрявцевъ исполнилъ ту задачу, которую предположилъ себѣ, приступая къ своему труду. Читатель можетъ познакомиться вполне съ личностью Грановскаго, какъ человѣка, въ первый періодъ его развитія. Молодость его, та школа горя и лишеній, черезъ которую онъ прошелъ такъ рано, въ которой сформировались черты его характера, обрисована со всѣхъ сторонъ мастерскою рукою Кудрявцева. Несмотря на недоконченность его биографическаго очерка, юношескій образъ Грановскаго, глубоко прочувствованный и художественно воспроизведенный, обозначенъ въ наглядныхъ чертахъ и производитъ цѣльное и опредѣленное впечатлѣніе.

**Мачиха.** Разсказъ *Б. Ауэрбаха*. («Р. В.», 1858 г., ноябрь, прилож.).

Повѣсти Ауэрбаха должно разсматривать, какъ произведенія нѣмецкаго поэта и какъ произведенія поэта вообще. Двѣ стороны въ его разсказахъ должны обратить на себя особенное вниманіе читателя: сторона національная, мѣстный колоритъ, выражающійся во внѣшнихъ формахъ и въ обстановкѣ, и сторона общечеловѣческая, внутреннее развитіе характеровъ, анализъ душевныхъ движеній. Личности, которыя Ауэрбахъ выводитъ въ своихъ разсказахъ, отличаются своей типичностью: на нихъ лежитъ неизгладимый отпечатокъ ихъ національности; ихъ взглядъ на жизнь, ихъ поступки, ихъ рѣчи, всѣ внѣшнія формы, въ которыхъ проявляются ихъ личныя свойства, обуславливаются ихъ общественнымъ положеніемъ и прямо выходятъ изъ народнаго характера. Но одной такой типичности было бы мало. Если бы въ повѣстяхъ Ауэрбаха была только воспроизведена нѣмецкая народная жизнь, если бы дѣйствующія лица были исключительно нѣмецкими типами, то интересъ самыхъ повѣстей былъ бы временный и мѣстный. Для читателя, принадлежащаго къ другому народу, онѣ были бы любопытны настолько, насколько интересуетъ каждаго образованнаго человѣка разсказъ путешественника. Въ нихъ не было бы той свѣжей художественности, которая составляетъ ихъ главное достоинство. Худо-

женность эта основана на пониманіи человѣческой души, на психологической вѣрности и естественности, съ которою поэтъ воспроизводитъ явленія внутренней жизни. Онъ умѣетъ слѣдить за самыми неувидимыми ея движеніями, облакаетъ свою мысль въ самые живые образы, создаетъ самые естественные и въ то-же время граціозные характеры. Не выходя изъ сферы семейной жизни, не вводя въ свой разсказъ никакихъ происшествій, кромѣ мелкихъ случаевъ вседневной жизни, онъ умѣетъ въ каждомъ такомъ случаѣ отыскать его внутреннюю причину, объяснить его вліяніе на каждое изъ дѣйствующихъ лицъ. Рядъ такихъ случаевъ обрисовываетъ характеръ несравненно лучше и полнѣе, нежели обрисовали бы ихъ искусственно подобранныя событія. Мы видимъ живого человѣка въ соприкосновеніи съ дѣйствительною, вседневной жизнью; мы передумали и перечувствовали то, что можно думать и чувствовать, находясь въ его положеніи; по крайней мѣрѣ мы видѣли въ дѣйствительной жизни подобныя обстоятельства и потому можемъ полнѣе сочувствовать дѣйствующимъ лицамъ повѣсти, вѣрнѣе понимать состояніе ихъ души, неуклоннѣе слѣдить за мыслью автора. Все, что мы сказали о повѣстяхъ Ауэрбаха вообще, вполне можно приложить къ его повѣсти «Мачиха». Постараемся сдѣлать легкій очеркъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. На первомъ планѣ стоитъ прекрасная женская личность «Мачихи», Тадеи. Въ ней авторъ изобразилъ одинъ изъ тѣхъ сильныхъ, сосредоточенныхъ въ себѣ характеровъ, которые вырабатываются одиночествомъ, невеселою обстановкою и самостоятельнымъ размышленіемъ. Авторъ не прослѣдилъ ея развитіе съ дѣтства, но онъ показалъ намъ общій колоритъ ея домашней, дѣвической жизни, выставилъ личность ея отца, и по этимъ даннымъ ея семейнаго быта мы можемъ заключить, что первая молодость Тадеи прошла однообразно и скучно. Такія условія жизни дѣйствуютъ различно, смотря по врожденнымъ наклонностямъ, смотря по тѣмъ силамъ, которыя вложены въ человѣка природою. Обыкновенный, дюжинный характеръ могъ бы сдѣлаться еще мельче и безцвѣтнѣе; нуждаясь въ посторонней поддержкѣ, не будучи въ состояніи жить и думать собственными силами и не находя въ окружающихъ людяхъ ни помощи, ни сочувствія, онъ бы потерялъ и вѣру въ жизнь, и довѣріе къ людямъ, и уваженіе къ собственной личности. Сильные характеры развиваются иначе. Тадея является намъ въ эпоху разсказа тридцатилѣтней дѣвушкой. Изъ этой черты можно заключить, что Ауэрбахъ рисуетъ дѣйствительную, а не романтическую жизнь; героиня его начинаетъ дѣйствовать въ такомъ возрастѣ, въ которомъ женщины обыкновенныхъ романистовъ уже сходятъ со сцены. Это не случайная черта. Ауэрбахъ хотѣлъ предста-

вить выработавшійся, оконченный характеръ; а такого сложившагося характера нельзя предполагать въ шестнадцати или семнадцатилѣтней дѣвушкѣ, которая можетъ полюбить и разлюбить, которая случайное движеніе чувствъ можетъ принять за дѣйствительное, глубокое чувство. Молодость Тадеи прошла безъ любви; но самостоятельность и твердость характера спасли его отъ того жалкаго озлобленія, которое такъ часто слѣдуетъ за разочарованіемъ. Умѣя смотрѣть на жизнь здоровыми глазами, она не ждала отъ нея невозможнаго счастья, не тревожила себя несбыточными мечтами; грустно проведенное дѣтство выучило ее переносить и мелкія непріятности, и, что еще тяжеле, однообразіе жизни; но терпѣніе это не одревенело ея чувства, не превратилось въ тупую заботливость: она умѣла только затаить въ себѣ любящія силы души, умѣла примириться съ своей скучной жизнью и старалась до времени точно и вѣрно исполнять свои обязанности, чтобы въ сознаніи долга находить внутреннее утѣшеніе. Твердость воли и самостоятельность характера, сформированныя такою постоянною борьбой съ жизнью, не мѣшали развитію женственной стороны ея души; онѣ совмѣстились съ мягкостью чувства, со способностью любить. Способность эта не находила себѣ исхода, но не замерла въ ея душѣ и, затаившись, сохранила всю свою юную свѣжесть и грацію. Тадеи видѣть человѣка, способнаго составить ея счастье, — человѣка достойнаго уваженія, и, вполнѣ сознавая принимаемая на себя обязанности, отдается тому чувству, которое онъ ей внушаетъ, просто, спокойно, безъ излишняго увлеченія, несвойственнаго ея лѣтамъ, и безъ притворства, несообразнаго съ ея честнымъ и прямымъ характеромъ. Можно только замѣтить, что чувство Тадеи возникаетъ слишкомъ быстро. Авторъ мало объясняетъ его и не прослѣживаетъ его развитія; оно вполнѣ естественно въ своемъ проявленіи, но съ перваго разу является уже готовымъ. То-же замѣчаніе сдѣлали мы, говоря о «Босоножкѣ». Можно сказать вообще, что Ауэрбахъ лучше умѣетъ представлять естественное развитіе мысли, изображать спокойное состояніе души, нежели слѣдить за сильными ея движеніями и анализировать тѣ чувства, которыя глубоко волнуютъ и потрясаютъ ее. Когда Тадеи полюбила Раймунда, личность ея осталась вѣрною себѣ. Авторъ выдержалъ ея характеръ; но мы не можемъ вполнѣ отдать себѣ отчетъ въ томъ дѣйствіи, которое оказала на нее любовь. Въ минуту тихой грусти или спокойнаго счастья, личность ея гораздо полнѣе и определеннѣе выступаетъ передъ нашими глазами. Мужъ Тадеи, Раймундъ, представляетъ съ нею совершенную противоположность: онъ — человѣкъ добрый и честный, но слабый, робкій и нерѣшительный; онъ выросъ

при такихъ условіяхъ, которыя, содѣйствуя развитію хорошихъ качествъ сердца и ума, не дали окрѣпнуть волѣ, не положили основанія сильному, самостоятельному характеру. О немъ съ малолѣтства заботились, за него думали и рѣшали другіе; онъ съ удовольствіемъ довѣрялся любящему надзору родителей, не разставался съ ними и дожидъ до зрѣлыхъ лѣтъ, не выработавъ въ себѣ энергіи, не пріучившись дѣйствовать по своимъ убѣжденіямъ. Взглядъ его на жизнь вѣренъ и ясенъ, идеи его отличаются благородствомъ; онъ часто расходится въ убѣжденіяхъ съ своимъ отцомъ, человѣкомъ добрымъ, но хитрымъ, малоразвитымъ и исключительно практическимъ; онъ говоритъ и мыслитъ здраво, строго и честно, но когда приходитъ пора дѣйствовать, тогда онъ робѣетъ, отступаетъ и часто по слабости позволяетъ сбить себя съ прямого пути, на который указываетъ ему совѣсть и природный умъ. Онъ самъ первый замѣчаетъ въ себѣ этотъ разладъ мысли съ дѣломъ и самъ жестоко страдаетъ отъ каждаго своего проступка. Почему Тадеи полюбила Раймунда — по безотчетному ли влеченію, или по сознательной оцѣнкѣ его хорошихъ качествъ, это у Ауэрбаха почти вовсе не объяснено. Чувство съ ея стороны возможно и естественно, потому что чистота убѣжденій Раймунда должна была прежде всего броситься ей въ глаза и сильно подѣйствовать на ея неспорченную природу; но почему именно возникло это чувство, какъ оно развилось, на это нѣтъ отвѣта. Зато послѣдующее вліяніе Тадеи на характеръ мужа прослѣжено прекрасно; здѣсь мягко схвачено то ободряющее дѣйствіе, которое оказываетъ сознательная привязанность на слабую и нерѣшительную личность.

«Почтмейстеръ (Раймундъ), котораго отецъ не безъ основанія обвинялъ въ слабости, какъ-то окрѣпъ и возмужалъ подлѣ Тадеи. До сихъ поръ онъ слишкомъ привыкъ къ ровному теченію семейной жизни, ему не нужно было употреблять старанія, чтобы сохранить любовь и уваженіе своихъ близкихъ; теперь же онъ хотѣлъ доказать Тадеѣ, что онъ умѣетъ дѣйствовать самостоятельно, и черезъ это съ каждымъ днемъ пріобрѣталъ мужество и твердость».

Объ остальныхъ личностяхъ мы упоминаемъ коротко. Всѣ онѣ въ высшей степени типичны. Однѣ едва набросаны, другія тщательно обработаны; но нѣтъ ни одного безцвѣтнаго, нѣмого лица. Художникъ въ нѣсколькихъ чертахъ умѣлъ уловить характерныя особенности. Къ числу такихъ неотдѣланныхъ, но оригинальныхъ типовъ принадлежатъ булочникъ Геслеръ и его жена; но особенно замѣчательна личность Штаффельши, матери Раймунда. Это женщина стараго вѣка, дѣятельная хозяйка, соединяющая въ себѣ практическую мудрость и опытность съ мягкимъ сердцемъ и съ искренней душевной теплотою. Рѣчи Штаффельши, ея совѣты проникнуты здоровымъ



смысломъ и замѣчательны по своей примѣнимости къ дѣлу; ея поступки прямодушны, обращеніе откровенно, иногда угловато, но всегда привѣтливо. Отношенія ея къ невѣсткѣ, къ Таддеѣ, отличаются задушевностью и нѣжностью, въ которой нѣтъ ничего приторнаго и натянутого. Дружба ихъ основана на взаимномъ уваженіи и выражается не въ словахъ, а на дѣлѣ. Таддея довѣряетъ опытности старухи, съ удовольствіемъ обращается къ ней за совѣтомъ, цѣнитъ ея умъ и открытое добродушіе. Штаффельша съ своей стороны понимаетъ замѣчательный характеръ невѣстки, инстинктивно ставитъ ее выше собственного сына и съ материнской заботливостью вникаетъ въ ея нужды и сомнѣнія. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ ихъ разговоровъ:

«Старая Штаффельша все болѣе и болѣе сходилась съ невѣсткой и вполнѣ одобряла ея образъ дѣйствія, указывая ей, однако, на затрудненія, которыя ей предстояли. Однажды она сказала Таддеѣ:

— Знаешь ли, когда Эрнестина привяжется къ тебѣ, какъ родная дочь? Когда ты ее хоть разъ хорошенько накажешь. Пока ты этого не сдѣлаешь, ты все будешь смутно чувствовать, что ты ей чужая, потому что не смѣешь ее наказывать, и что она тебѣ чужая, потому что не можешь тебя разсердить такъ, какъ родной ребенокъ, на котораго ты именно и сердилась, что онъ тебѣ дорогъ. Ты хочешь, чтобы дѣвочка чувствовала, что она здѣсь дома; но тѣмъ именно, что ты такъ осторожно съ ней обращаешься, не требуешь отъ нея почти ничего, ты ее отъ себя отчуждаешь. Дитя не почувствуетъ себя дома, пока его немножко не поштрафуютъ. О, Боже мой! Ты—первая мачиха, которой приходится совѣтовать это.

— Вы, можетъ быть, правы,—отвѣчала Таддея.—Будьте увѣрены, что при первомъ случаѣ я накажу ее.

— Постой!—сказала Штаффельша.—Ты еще молода. Знаешь ли ты, какая самая лучшая оплеуха?

— Нѣтъ.

— Та, которая дается безъ предисловія и безъ длинныхъ разсужденій, безъ угрозъ и безъ выговоровъ. Такъ, бацъ въ щеку, и больше ни слова. Это и для матери лучше, и для ребенка лучше, и дѣйствуетъ хорошо. Спроси у мужа: я два раза выдрала его за уши, не говоря дурного слова, и онъ этого въ вѣкъ не забудетъ. А разозлить и себя и ребенка прежде или послѣ наказанія—и ребенка можно испортить, и мать».

Совѣтъ Штаффельши конечно можетъ вызвать много дѣльных возраженій; но въ немъ видно глубокое практическое изученіе дѣтской природы, виденъ и ясный, здравый смыслъ. Ребенку, чтобы почувствовать себя, какъ дома, должно понять, что надъ нимъ имѣютъ власть, а заставить его понять это можно, какъ говоритъ Штаффельша, только посредствомъ легкаго и конечно справедливаго наказанія. Изъ этой выписки мы видѣли, что Таддея, выходя за Раймунда, сдѣлалась *мачихою*. Последнія двѣ главы, лучшія во всей повѣсти, показываютъ намъ ея новое положеніе, ея обращеніе съ пасынками и отношенія

къ другимъ членамъ семейства. Романическій интересъ уже конченъ, судьба главныхъ дѣйствующихъ лицъ уже рѣшена, первая минута любви прошла, праздничная обстановка первыхъ дней замужества исчезла; для Таддеи настаетъ будничная жизнь, и она вступаетъ въ свои новыя обязанности. Тутъ Ауэрбахъ начинаетъ свой глубокий и тонкій анализъ, тутъ онъ высказываетъ свое знаніе человѣческой души; тутъ особенно привлекательно и естественно представлены въ двухъ-трехъ сценахъ чувства и мысли ребенка, выведенъ весь его внутренний міръ. Таддеѣ было всего труднѣе преодолѣть нерасположеніе своей маленькой падчерицы, запуганной разсказами о *мачихѣ* и холодно отвѣчавшей на ея нѣжную заботливость. Какъ ей удалось привлечь къ себѣ сердце ребенка, какъ совершился переломъ въ его душѣ, это описано авторомъ въ двухъ послѣднихъ главахъ, въ которыхъ дѣйствіе не выходитъ изъ тѣснаго семейнаго круга. Выписываемъ глубоко обдуманную и граціозную сцену окончательнаго примиренія:

«Приближался конецъ марта. Уже было нѣсколько теплыхъ, весеннихъ дней; но потомъ опять выпалъ снѣгъ; опять какъ будто бы настала зима; но видно было, что не надолго. Мать разсказывала дѣтскимъ, что уже прилетѣли скворцы и потомъ опять исчезли, неизвѣстно, гдѣ они теперь; дѣти слушали съ удивленіемъ.

Эрнестина сидѣла подлѣ матери, которая учила ее шить,—задача довольно трудная, потому что дѣвочка не любила этой работы. Таддея прятала у самопрялки, маленькій Магнусъ подъ столомъ строилъ домики изъ деревяшекъ.

Мать на минуту ушла, чтобы распорядиться по хозяйству; когда она возвратилась, она нашла прялку въ величайшемъ беспорядкѣ; день былъ весь спутанъ и раздѣрганъ.

— Это ты сдѣлала,—сказала мать строго.—Поди сюда, Эрнестина, сюда, поближе. Ты видишь, что ты тутъ надѣлала, ты видишь, сколько мнѣ нужно труда, чтобы все опять привести въ порядокъ? Я тебѣ говорю въ послѣдній разъ: если ты еще стаешь трогать самопрялку, ты будешь наказана. Теперь садись, пододвинь скамейку сюда, налѣво, что-бы я могла видѣть, какъ ты шьешь.

Въ комнатѣ слышно было только монотонное жужжанье веретена, и Таддея нѣсколько времени не смотрѣла на дѣвочку, чтобы дать ей успокоиться.

Какъ знать, что происходитъ въ дѣтской душѣ? Рѣчи и чувства ребенка часто бываютъ загадками для тѣхъ, кто его окружаетъ. Часто насъ поражаетъ проблескъ мысли, неожиданная выходка, которая показала бы намъ невѣроятную и невозможную, если бы мы не видѣли ея сами.

Никогда еще Таддея такъ строго не говорила съ ребенкомъ, никогда еще Эрнестина не видала ее такою серьезною и твердою, и какое-то необъяснимое волненіе овладѣло ея дѣтскою душой. Она невольно прижалась къ Таддеѣ. Былъ ли то страхъ или любовь?

Таддея чувствовала ея приближеніе; она на минуту остановила веретено и, положивъ руку на плечо дѣвочки, сказала только: «будь умница». Потомъ опять долгое время не было слышно ничего, кромѣ мѣрнаго звука самопрялки. Два

сердца билась так близко другъ отъ друга; но какъ знать, когда они сольются вмѣстѣ.

Солнце озарило окна первыми весенними лучами. Таддея встала и подвинула къ солнцу комнатныя растенія, которыя она привезла съ родины. Ею овладѣло особое чувство тихаго счастья. Есть минуты, когда мы сливаемся душою съ жизнью всей природы. Таддея смотрѣла на цвѣты и думала о томъ, какъ нуженъ для нихъ теплый солнечный лучъ, они выросли далеко отсюда, и солнышко ихъ отыщеть вездѣ. И вдругъ ей показалось, что вся эта обычная обстановка посылаетъ ей глубокое напоминаніе. Имъ нужно вырасти на солнцѣ! А для сердца человѣческаго нужна теплая любовь. Жалко то сердце, которое въ лучшую свою пору не было согрѣто лучомъ!

Таддеѣ захотѣлось выказать ребенку всю свою нѣжность, приголубить и пригрѣть его, какъ она пригрѣла цвѣты на весеннемъ солнцѣ. Она обратилась къ Эрнестинѣ, и взгляды ея засіяли ярче и теплѣе солнечнаго луча. Дѣвочка, можетъ быть, почувствовала этотъ взглядъ: она какъ-то вздрогнула, но однако не обернулась. Упрямство Эрнестины все еще не было переломлено.

Таддея опять зачѣмъ-то вышла, и когда она, возвращаясь, отворила дверь, дѣвочка опять стояла передъ самопрялкою. Таддея быстро подошла къ ней, и въ ту же минуту, неласково дернутое, сильно загорѣлось ушко малютки.

Она не прибавила ни слова. Она опять посадила дѣвочку подлѣ себя на скамейку и дала ей въ руку работу безъ малѣйшаго замѣчанія. Опять быстро завертѣлось колесо самопрялки, и такъ же быстро смѣнялись ощущенія въ душѣ Таддеи. Дѣло сдѣлано, она наказала ребенка, и ребенокъ, рыдая, сидитъ подлѣ нея. Опять настало долгое молчаніе.

Кто наблюдалъ за дѣтми, тотъ долженъ быть замѣтить, какъ рѣдко даже самыя благонравныя сразу повинуются какому-нибудь запрещенію.

Это рѣзкое преломленіе ихъ воли оскорбляетъ ихъ самолюбіе, можетъ быть, даже дѣтское чувство собственнаго достоинства. Запретите ребенку трогать какую-нибудь вещь, онъ большей частью повинуется не вдругъ и, если возможно, еще разъ дотронется до нея, какъ бы въ доказательство, что онъ оставляетъ ее не иначе, какъ по собственному рѣшенію. Съ другой стороны, когда накажешь ребенка, въ самомъ наказавшемъ обыкновенно остается какое-то чувство досады на самого себя, и нѣтъ ничего опаснѣе, какъ стараться разсѣять это неприятое ощущеніе, преждевременно утѣшая ребенка и предлагая ему тутъ же разныя удовольствія. Таддея дала Эрнестинѣ хорошененько выплакаться, какъ ни хотѣлось ей остановить эти слезы. Наконецъ, когда Эрнестина совсѣмъ успокоилась, мать сказала ей:

— Если ты будешь умна, я тебѣ будущую зиму подарю самопрялку и выучу тебя прясть.

— Да,—закричалъ вдругъ маленький Магнусъ изъ-подъ стола,—мама всегда даетъ то, что обѣщаетъ.

Таддея радостно улыбалась увѣренности мальчика: она, точно, никогда не давала дѣтямъ пустыхъ обѣщаній.

Опять все утихло въ комнатѣ. Таддея чувствовала, что Эрнестина къ ней прижимается все ближе и ближе, ей показалось даже, что она тихонько цѣлуетъ ей платье, и наконецъ голова дѣвочки совсѣмъ опустилась на ея колѣни. Она медленнѣе стала вертѣть колесо самопрялки, и ребенокъ тихо задремалъ. Но вотъ Эрнестина

глубоко вздохнула. Таддея смотрѣла на нее, и въ ея душѣ раздавался напѣвъ старой пѣсни:

Что мягче лебяжяго пуха?  
— Лоно матери!  
Что слаще душистаго меда?  
— Ласки матери!

Все глубже становится взглядъ, и вотъ ребенокъ открылъ глаза, да, точно, то быль взглядъ матери; нельзя сказать, кто первая нагнулась, кто первая протянула руки. «Маменька!» «Ты мое дитя!» и онѣ уже лежали въ объятіяхъ другъ друга, и косвенный лучъ солнца падалъ изъ окна, озаривъ комнату весеннимъ блескомъ.

Но Таддея не захотѣла продлить эти ласки; не даромъ же про нее говорила старая Штаффельшна: «Во всемъ, что она дѣлаетъ, чувствуется ея доброта, но нельзя рассказать, въ чемъ именно! Ея доброта точно масло въ сдобной булѣ: она вездѣ».

Таддея посадила Эрнестину къ себѣ на колѣни и стала учить ее прясть, и когда отецъ вошелъ и съ удивленіемъ взглянулъ на нихъ, Эрнестина закричала ему звонкимъ голосомъ:

— Папа! маменька обѣщала мнѣ на будущую зиму подарить самопрялку; она всегда дѣлаетъ, что обѣщаетъ!»

Отъ себя мы не прибавляемъ ни слова. Попрошимъ только нашихъ читательницъ вдуматься и вчитаться въ это мѣсто, разобрать каждую отдѣльную черту и сличить ее съ своими воспоминаніями дѣтства, и тогда поневолѣ тепло и ясно станетъ на душѣ, и вся семейная картина въ кроткомъ свѣтѣ выступитъ передъ глазами.

#### Частныя женскіе пансіоны. Д. М. («Атенеи», 1858 г., № 14.)

Недавно (стр. 9) мы высказали нѣсколько замѣчаній по поводу статьи Апфельрота «Образованіе женщины средняго и высшаго сословія»; въ статьѣ Д. М. заключается разборъ мыслей Апфельрота и указываются тѣ затрудненія, которыя встрѣтили бы его совѣты, ежели бы ихъ захотѣли примѣнить къ жизни. Авторъ, какъ показываетъ уже заглавіе его статьи, обращаетъ преимущественно вниманіе на тѣ несовершенства, которыя указываетъ Апфельротъ въ устройствѣ частныхъ женскихъ пансіоновъ; Д. М. защищаетъ частныя пансіоны и, разбирая упреки Апфельрота, находитъ, что одни изъ нихъ совершенно неосновательны, другіе голословны и бездоказательны. Изъ тѣхъ словъ Апфельрота, которыя приводитъ его рецензентъ, нельзя не замѣтить особеннаго ожесточенія перваго противъ пансіоновъ, содержимыхъ иностранками. Апфельротъ возстаетъ противъ иностраннаго вліянія «какой-нибудь мадамы, иногда весьма сомнительныхъ достоинствъ», и говоритъ о необходимости «народнаго образованія будущихъ русскихъ женъ и матерей». Мысли эти выражены въ рѣзкой формѣ, черезъ которую проглядываетъ

странное недоверіе ко всему иностранному; но онъ не до такой степени невѣрны, чтобы вызывать то серьезное возраженіе, которое представляетъ Д. М. «Развѣ, спрашиваетъ онъ, иностранка не можетъ быть хорошею воспитательницей?» Конечно можетъ; но зачѣмъ такимъ образомъ ставить вопросы. Дѣло не въ томъ, можетъ-ли иностранка быть хорошей воспитательницей, или нѣтъ. Объ этомъ странно и спрашивать. Намъ надо знать, дѣйствительно-ли удовлетворяетъ какимъ-нибудь разумнымъ требованіямъ воспитаніе, получаемое дѣвцами въ частныхъ пансіонахъ, которые большею частью содержатся иностранками. Если воспитаніе это удовлетворительно, то возраженіе Д. М. основательно, хотя и невѣрно поставлено. Но въ статьѣ рецензента не приведено фактовъ, на которыхъ можно было бы основать такое утѣшительное положеніе, и потому мы возводимъ себя сомнѣваться въ этомъ. Частные пансіоны нерѣдко составляютъ предметъ спекуляціи; содержатель или содержательница рѣдко бываютъ проникнуты сознаніемъ своихъ обязанностей; рѣдко принимаются они за свое дѣло изъ безкорыстнаго желанія принести пользу или даже съ твердымъ намѣреніемъ исполнить добросовѣстно свои общанія. Конечно, если бы общество наше было достаточно развито, то трудно было бы обмануть его эффектной обстановкою; оно бы скоро умѣло оцѣнить дѣйствительныя достоинства воспитанія, умѣло бы отдѣлать и недостатки. Тогда между частными пансіонами явилась бы конкуренція, и воспитаніе, сдѣлавшись предметомъ коммерческаго предпріятія, нисколько не утратило бы своихъ внутреннихъ качествъ. Но развѣ на самомъ дѣлѣ такъ? Развѣ многіе изъ родителей нашего времени способны основательно судить о томъ, что нужно для хорошаго воспитанія? развѣ могутъ они подвергать критикѣ составъ пансіонской программы и слѣдить за тѣмъ, чтобы общанія, данныя въ программѣ, были строго выполнены? При такомъ порядкѣ вещей, какъ ни печально подобное сознаніе, а необходимо поставить предполагаемая казенныя гимназіи выше частныхъ пансіоновъ. Въ первыхъ по крайней мѣрѣ выборъ наставниковъ, классныхъ дамъ и проч. не всегда будетъ зависеть отъ произвола одного лица и, быть можетъ, будетъ подлежать болѣе строгому контролю. По крайней мѣрѣ онъ навѣрное не будетъ обуславливаться экономическими расчетами частнаго лица. Что касается собственно до вліянія иностранцевъ, то нельзя и здѣсь не видать въ словахъ Апшелярота своей доли правды. Очень естественно, что національность содержателя должна имѣть вліяніе и на выборъ преподавателей, и на самый ходъ преподаванія, и наконецъ на языкъ, который господствуетъ въ стѣнахъ пансіона. Пристрастіе иностранца къ своей народности очень естественно; но тѣмъ не менѣе это при-

страстіе не принесетъ никакой пользы воспитанницѣ, а только собьетъ ее съ толку и вселитъ ей ложныя понятія, или не дастъ ей достаточно полнаго понятія о Россіи и о русскихъ. Авторъ упрекаетъ Апшелярота въ славянофильствѣ; не наше дѣло рѣшать, насколько основателенъ этотъ упрекъ, но нельзя не замѣтить, что рецензентъ впалъ въ крайность. «Общество, говоритъ онъ, быстро двинется впередъ, только не на основаніи славянофильской идеи о народной семейственности, а на основаніи общихъ для всего человечества законовъ развитія». Съ послѣдней частью этой мысли мы совершенно согласны. Очень понятно, что каждый народъ, составляя часть человечества, пойдетъ впередъ по общимъ его законамъ развитія. Но можно ли на подобной мысли построить заключеніе, что въ преподаваніи нѣтъ надобности сообразоваться съ народностью учащихся? Мы думаемъ, что объёмъ, въ которомъ преподаются науки, долженъ находиться въ прямомъ отношеніи съ потребностями учащихся. Этими же потребностями должны обуславливаться приемы преподавателя. Нельзя отвергать, что желаніе узнать подробности того, что окружаетъ человека, что ему близко и дорого, что имѣетъ вліяніе на его личность,—нельзя, повторяемъ мы, отвергать, что это желаніе составляетъ одну изъ самыхъ естественныхъ и законныхъ потребностей. Какъ же ученику не интересоваться свѣдѣніями, которыя сообщаютъ ему о его родномъ языкѣ, о его отечественной исторіи, о его литературѣ? Нужно только, чтобы эти свѣдѣнія имѣли въ его глазахъ живой смыслъ, чтобы они въ наглядной формѣ представлялись его уму. Преподаваніе, по нашему мнѣнію, должно сообразоваться съ національностью ученика. Знаніе отечественнаго языка, исторіи и словесности должно занимать одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ въ запасѣ свѣдѣній, выносимыхъ имъ изъ школы. Пора космополитизма прошла съ XVIII столѣтіемъ; идея гуманности, скрѣпляя союзъ между всѣми людьми, рѣшительно не исключаетъ патриотизма, который конечно не долженъ доходить до слѣпотаго увлеченія всѣмъ, что *наше*, и до безсмысленнаго гоненія того, что *чужое*; всѣ мы должны работать для человечества, но всего естественнѣе работать тѣми средствами, которыя находятся у насъ подъ руками, и въ той сферѣ, въ которую мы поставлены; описывая сцены изъ русской жизни, трудясь надъ мелкимъ вопросомъ русской науки, русскій писатель и ученый конечно работаютъ для человечества, хотя результаты ихъ трудовъ будутъ чувствительны въ одной его части. Все это конечно знаетъ рецензентъ; но мы привели эти общеизвѣстныя мысли, чтобы показать, что дѣло только въ словахъ; выраженіе Апшелярота дѣйствительно неудачно и неясно, но идея о томъ, что преподаваніе должно быть ведено сообразно съ національностью уче-

ника, очень основательна. «Русская жена и русская мать» должна знать потребности того общества, въ которомъ она живетъ; она должна слѣдить за успѣхами просвѣщенія, за движеніемъ идей въ литературѣ; чтобы оцѣнить значеніе этихъ идей, она должна знать ихъ отношеніе къ прошедшему; чтобы понимать и уяснить своимъ дѣтямъ красоты отечественныхъ писателей, она должна знать духъ языка, должна изучить, конечно на примѣрахъ, его изгибы и обороты. На чистоту русскаго языка воспитанницъ, на полноту изученія отечественной литературы конечно могутъ имѣть вредное вліяніе національность содѣлателей и учителей и преобладаніе иностраннаго языка въ пансіонѣ,— обстоятельство, которымъ часто такъ дорожатъ родители. Изученіе иностранныхъ языковъ и литературъ важно и необходимо для всесторонняго развитія; но развѣ нельзя согласить одно съ другимъ? Развѣ это помѣшаетъ занятіямъ по отечественному языку, чтенію русскихъ писателей? Между тѣмъ, въ какомъ предметѣ всего слабѣе и поверхностнѣе знанія нашихъ дѣвицъ? въ русскомъ языкѣ, въ русской словесности. Объ исторіи и говорить нечего: у насъ нѣтъ по этому предмету порядочныхъ учебниковъ, да и предметъ-то самый неразработанный. Этихъ печальныхъ фактовъ не отвергнетъ Д. М. Смѣшно приписывать ихъ иностраннымъ пансіонамъ; но нельзя не допустить, что они имѣли въ этомъ случаѣ нѣкоторое вліяніе. Хотя мы далеко ушли впередъ отъ временъ Грибоѣдова, а нельзя не замѣтить въ нашемъ обществѣ остатковъ прежней перемѣнчивости, прежняго пристрастія къ чужому ради чужого. О нравственной порчѣ, которую, по словамъ Апшльбота, выносятъ дѣвицы изъ пансіоновъ, мы говорить не будемъ: этому факту мы не вѣримъ, какъ не вѣритъ ему и Д. М.; сверхъ того, мы думаемъ, что поверхностное, неправильное образованіе, хотя бы оно и никогда не вело къ безнравственности, составляетъ само по себѣ большое несчастіе. Апшльботу, для подтвержденія его мыслей о слѣдствіяхъ превратнаго воспитанія, не слѣдовало прибѣгать къ примѣру, очевидно натянутому: доказательства были и безъ того довольно сильны, а первые два примѣра были вполне достаточны.

Д. М. несогласенъ съ мыслью Апшльбота, что, благодаря поверхностному и неосмысленному ходу преподаванія въ пансіонахъ, познанія, приобретенныя въ теченіе курса, испаряются вскорѣ послѣ выпускнаго экзамена. Причину этого явленія, существованіе котораго онъ признаетъ, Д. М. видитъ не въ системѣ преподаванія, а въ неразвитости нашего общества. Это отчасти справедливо. Общество конечно виновато; но виноваты и учебныя заведенія, зачѣмъ они не внушили воспитанницамъ уваженія къ наукѣ, зачѣмъ они не приохотили ихъ къ серьез-

нымъ занятіямъ, къ осмысленному и послѣдовательному чтенію, зачѣмъ они заставили ихъ смотрѣть на науку, какъ на враждебное начало или по крайней мѣрѣ какъ на сухую и страшно скучную матерію. Общество плохо, согласны; оно не можетъ оказывать возбудительнаго вліянія на умственную дѣятельность воспитанницы, окончившей курсъ; но мѣшать серьезнымъ занятіямъ оно не будетъ: вѣдь не до такой же степени оно безсмысленно и неразвито, чтобы преслѣдовать умную, милую и образованную дѣвушку за то только, что она у себя въ кабинетѣ читаетъ дѣльные книги. Если эта дѣвушка станетъ выставлять на показъ свои свѣдѣнія, то конечно ей не миновать насмѣшекъ; но вѣдь педанство, какъ извѣстно, есть признакъ неправильнаго и недостаточнаго развитія, и его предполагать не слѣдуетъ. Неразвитость общества не оправдываетъ учебныхъ заведеній, тѣмъ болѣе, что направленіе воспитанія могло бы имѣть обратное вліяніе и на самое общество. Взвѣсивъ опровергнуть мнѣніе Апшльбота насчетъ частныхъ пансіоновъ, Д. М. не представилъ ни одного убѣдительнаго фактическаго возраженія. Онъ нигдѣ не говоритъ, что воспитаніе въ нихъ хорошо; онъ только старается доказать что недостатки пансіонскаго воспитанія будутъ встрѣчаться и встрѣчаются вездѣ, сближаетъ положеніе содѣлательницы съ положеніемъ казенныхъ начальниковъ и начальницъ, и вину заведеній сваливаетъ на общество. Апшльротъ говоритъ напримѣръ о наружной эффектности экзаменовъ; Д. М. не опровергаетъ этого мнѣнія фактами, не доказываетъ, почему такихъ экзаменовъ не можетъ быть, а говоритъ только: «думаемъ, что время такихъ экзаменовъ прошло безвозвратно». Впрочемъ Д. М. прибавляетъ, что, не имѣя подъ руками фактовъ, онъ оставляетъ дѣло подъ сомнѣніемъ. Но на чемъ же основано въ такомъ случаѣ первое предположеніе, можетъ ли оно сколько-нибудь приниматься въ расчетъ? Не опровергая Апшльбота фактами, Д. М. часто принужденъ спорить изъ за словъ, придирается къ частностямъ, даже къ неудачнымъ выраженіямъ, въ которыхъ иногда заключена вѣрная мысль. Гораздо серьезнѣе и основательнѣе возраженія Д. М. противъ той системы женскаго образованія, которую предлагаетъ Апшльротъ во второмъ отдѣлѣ своей статьи. Этотъ второй отдѣлъ, который мы въ нашемъ разборѣ назвали положительной частью, совершенно не состоятеленъ. Замѣчанія, которыя высказываетъ Д. М., очень сходны съ нашими замѣчаніями, съ тою только разницею, что мы обратили вниманіе преимущественно на теоретическія невѣрности системы, а Д. М. — на степень ея практической примѣнимости. И въ томъ, и въ другомъ отношеніи система Апшльбота не выдерживаетъ критики: она основана на невѣрномъ или не-

вполнѣ вѣрномъ взглядѣ на женщину и, какъ прекрасно доказалъ Д. М., не примѣнима къ дѣйствительности, потому что Апфельротъ требуетъ, напримѣръ, чтобы учителя безраздѣльно посвящали себя своему дѣлу, не заботились о своихъ личныхъ выгодахъ, чтобы они были въ одно время и мыслителями, поэтами и художниками, чтобы они преподавали свой предметъ въ связи съ другими предметами, и т. п. Исполнять такого рода требованія конечно невозможно. Возраженія Д. М. основательны и дѣльны.

**Еще о женскомъ трудѣ.** По поводу журнальныхъ толковъ объ этомъ вопросѣ. *А. М. Пальховскаго.* («Атеней», 1858 г., № 24).

Взявши на себя обязанность слѣдить за движеніемъ идей, касающихся женщины и ея воспитанія, мы часто бываемъ принуждены останавливать нашихъ читательницъ на явленіяхъ бесплодныхъ и неограднхъ. Къ числу такихъ явленій относится статья Пальховскаго; не рекомендуемъ ея для чтенія: ни идея автора, ни развитіе этой идеи не принесутъ нашимъ читательницамъ ни малѣйшей пользы; мы съ своей стороны не обходимъ этой статьи потому, что она помѣщена въ одномъ изъ нашихъ извѣстныхъ журналовъ, и что авторъ говоритъ о своемъ предметѣ съ такой самоувѣренностью, которая можетъ поколебать неполнѣ установленнаго убѣжденіе. «Всему есть мѣра!»—такими словами начинается Пальховскій свою статью, въ которой онъ разбираетъ вопросъ о томъ, должна-ли женщина трудиться ради денегъ, и можетъ-ли сфера ея дѣятельности выходить за предѣлы семейной жизни. Самая статья и начальные слова ея вызваны, какъ выражается авторъ уже въ заглавіи, «журнальными толками», или, какъ скажемъ мы съ своей стороны, двумя дѣльными статьями, отвѣчавшими на потребности нашего времени и встрѣтившими въ обществѣ единодушное и неподдѣльное сочувствіе\*). Въ этихъ статьяхъ проводится та мысль, что женщина сдѣлается самостоятельной, ежели рѣшится работать, ежели дѣвушки будутъ съ молодыхъ лѣтъ приучены къ какому-нибудь серьезному и прибыльному занятію, ежели мать семейства будетъ въ состояніи собственнымъ трудомъ обезпечить существованіе своихъ дѣтей или по крайней мѣрѣ будетъ облегчать тяжелую ношу мужа, принося въ домъ свои заработки. Въ настоящее время женщины

большей частью работаютъ только въ случаѣ нужды, поступають въ чужіе дома, дѣлаются гувернантками или работаютъ иголкой, и своимъ шитьемъ едва приобретаютъ себѣ насущное пропитаніе. Другія сферы дѣятельности: наука, литература, искусство (сценическое, музыка, пѣніе), прибыльные ремесла, торговля, большей частью закрыты для женщины; она не приготовлена къ этимъ занятіямъ, ей почти никогда не приходится въ голову взяться за что-нибудь подобное; наукою не занимается въ настоящее время почти ни одна женщина въ нашемъ отечествѣ; искусству посвящаютъ себя только тѣ, кого съ непреодолимой силою побуждаетъ къ тому громадный талантъ,—скромныя дарованія большей частью остаются даже несознанными, потому что первоначальное воспитаніе не угадало ихъ зародыша, не развернуло ихъ, не приготовило врожденныхъ способностей къ дѣятельности. Между тѣмъ эти скромныя дарованія, не производя переворота въ искусствѣ, не дѣлая шума въ свѣтѣ, могли бы принести свою долю пользы и поставили бы обладательницу ихъ въ независимое и почетное положеніе. Нѣтъ той человѣческой природы, которая, при правильномъ развитіи, не нашла бы себѣ въ образованномъ обществѣ занятій, соответствующихъ ея способностямъ и призванію; нужно только, чтобы была возбуждена потребность дѣятельности, чтобы было вложено съ дѣтства глубокое убѣжденіе въ необходимости труда, какъ священной обязанности человѣка. Проводя подобныя идеи, гг. М. В. и Славинскій не отрицаютъ у женщины правъ быть женою и матерью, не снимаютъ съ нея и тѣхъ высокихъ обязанностей, которыя связаны съ этими правами; они только говорятъ: «нѣтъ уважительныхъ причинъ предназначать женщинъ *исключительно* къ семейной жизни». Противъ этихъ высказанныхъ ими идей возсталъ Пальховскій. Онъ повелъ свои доказательства путемъ естественно-историческимъ, взялъ въ примѣръ общественное устройство и частную жизнь пчелъ и бѣлыхъ муравьевъ, и на основаніи этихъ данныхъ вывелъ свои результаты, опредѣлилъ отношенія между мужчинами и женщинами, опредѣлилъ ту роль, которую должны играть оба пола въ семействѣ и человечествѣ. Мы не будемъ слѣдить за рядомъ доказательствъ, которыя приводитъ Пальховскій; такая работа была бы утомительна для нашихъ читательницъ, тѣмъ болѣе, что параллели и наведенія Пальховскаго большей частью крайне натянуты. Такъ напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ имъ проводится параллель между людьми и пчелами: «въ человѣческомъ родѣ, говоритъ авторъ, нѣтъ рабочихъ, но зато въ немъ не должно быть и трутней; а *потому* мужъ долженъ заботиться о женѣ и о своемъ семействѣ». Все это заключеніе построено на одномъ фактѣ, на томъ, что у людей нѣтъ рабочихъ. Къ этому факту авторъ

\*) Статьи эти—«О женскомъ трудѣ» М. В. и «Объ общественной самостоятельности женщинъ» Славинскаго были помѣщены: первая въ «Экономическомъ Указателѣ» 1858 г., № 60, вторая—въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ», № 55.

прибавляет нравственную сентенцію: «не должно быть трутней», и, считая все дѣло доказаннымъ, подводитъ итогъ: «а потому мужъ долженъ заботиться о женѣ». Такими насильственными сближеніями и параллелями наполнена статья; но мы ограничимся одними результатами, до которыхъ дошелъ авторъ путемъ подобныхъ силлогизмовъ. Пальховскій строго разграничиваетъ обязанности мужчины и женщины: первые должны трудиться, добывать деньги, работать для своего отечества, для потомства, для человечества; вторыя должны хозяйничать въ домѣ, рождать дѣтей, кормить ихъ грудью, потомъ воспитывать и дѣлать изъ нихъ полезныхъ гражданъ. Мужчинѣ не дозволяется проникать въ дѣтскую и вмѣшиваться въ воспитаніе; женщина не смѣетъ выходить изъ своей домашней жизни и должна проводить свой вѣкъ въ хозяйственныхъ и педагогическихъ занятіяхъ. Пальховскій не говоритъ прямо, что онъ не допускаетъ вмѣшательства отца въ воспитаніе дѣтей; но изъ его словъ очевидно, что онъ не оправдываетъ такого вмѣшательства и считаетъ его явленіемъ противоестественнымъ. Пальховскій не признаетъ законныхъ правъ отца на воспитаніе, и въ этомъ отношеніи ставитъ его на одну доску съ нянькою и наемнымъ учителемъ. Правильны-ли такой взглядъ на семейную жизнь? Должно-ли воспитаніе быть безраздѣльно отдано на руки женщины? Дѣло воспитанія—развить умъ и сформировать характеръ будущаго человѣка. Можетъ-ли женщина выработать въ своемъ воспитанникѣ ту твердость воли, которая необходима мужчинѣ для дѣятельности и для борьбы въ жизни? Исключительно женское, большей частью мягкое и нѣжное, часто слабое воспитаніе можетъ развить въ воспитанникѣ чрезмѣрную чувствительность, преобладающую силу воображенія, излишнюю уступчивость,—словомъ, женственность характера, которая для мужчины можетъ быть въ послѣдующей жизни источникомъ проступковъ и несчастій. Мы думаемъ, что для воспитанія, вполне достигающаго своей цѣли, необходима совокупная, согласная дѣятельность отца и матери, необходима мирная семейная жизнь, необходимъ живой и благотворный примѣръ родителей. Но, спрашивается, можетъ-ли быть такая согласная дѣятельность, такая семейная жизнь при томъ порядкѣ вещей, котораго желаетъ Пальховскій? Жена и мужъ будутъ постоянно дѣйствовать въ двухъ различныхъ сферахъ; отецъ не будетъ принимать участія въ воспитаніи дѣтей, которыя такимъ образомъ будутъ находиться подъ постояннымъ, исключительнымъ вліяніемъ матери. Такая жизнь будетъ конечно лучше, разумнѣе и нравственнѣе той жизни, которою живутъ теперь многія семейства; но все-таки она построена на совершенно неправильной или, по крайней мѣрѣ, односторонней идеѣ. Что обезпечиваетъ здѣсь

самостоятельность женщины? Вотъ что говоритъ объ этомъ авторъ:

«Въ семействѣ людей развитыхъ жена не жалуется на зависимость отъ мужа, потому что образованный мужъ вполне сознаетъ, что если жена исполняетъ часть возложенной на него обязанности, то и онъ, по чувству справедливости, долженъ исполнить что-нибудь за жену. Если жена воспитываетъ за него дѣтей, то онъ долженъ позаботиться за нее объ ея существованіи. Здѣсь только обмѣнъ услугъ, здѣсь равенство отношеній, а не зависимость, не рабство».

Обмѣнъ услугъ? Хорошо; ежели этотъ обмѣнъ дѣлается добровольно, по взаимному влеченію; но кто-же имѣетъ право сдѣлать его насильственно, кто можетъ, не спрося членовъ семейства, самовольно распоряжаться ихъ способностями, ограничивать ихъ дѣятельность, вмѣшиваться въ ихъ отношенія? Требованіе Пальховскаго, чтобы жена занималась исключительно воспитаніемъ дѣтей, представляетъ незаконное посягательство на разумную свободу личности. Сверхъ того, въ приведенныхъ нами словахъ авторъ проговорился и самъ опровергнулъ ту мысль, которую онъ поддерживаетъ; онъ сознался, что на мужа также возложена природою обязанность воспитывать дѣтей, и что жена исполняетъ ее отчасти за него, а что мужъ заботится о существованіи жены—за нее. Стало быть, теоріей Пальховскаго нарушается естественный порядокъ вещей. Обмѣнъ услугъ дѣлается не только не спрося супруговъ, но онъ даже, по сознанию автора, идетъ противъ законовъ природы. Къ чему-же повело сближеніе съ пчелами? Не лучше-ли-же, чтобы каждый изъ членовъ семейства исполнялъ все свои обязанности за себя, чтобы мужъ заботился, на сколько можетъ, о воспитаніи дѣтей, а чтобы жена, по мѣрѣ силъ, не отрываясь отъ семейства, занималась какимъ-нибудь ремесломъ, искусствомъ, наукою и зарабатывала деньги. Тогда между супругами будетъ болѣе общаго, дѣятельности ихъ не будутъ такъ расходиться; они будутъ въ состояніи ободрять и поддерживать другъ друга и дѣломъ, и совѣтомъ; наконецъ самостоятельность женщины будетъ обезпечена тѣми матеріальными средствами, которыя будутъ доставляться ей работою, и между супругами будетъ господствовать полное разумное равенство, которое не можетъ имѣть мѣста, когда жена чувствуетъ, что только трудъ мужа доставляетъ ей средства къ существованію. Пальховскій думаетъ, что ежели женщина будетъ работать, то она перестанетъ быть женою и матерью; онъ приходитъ въ негодованіе, горячится, рисуетъ восторженную картину материнской любви и въ заключеніе восклицаетъ: «Вотъ съ вами, гг. эмансипаторы! Вы не видали матерей, вы не проникались высокою поэзіей ихъ безграничной любви!» Къ чему все это? За что сердится авторъ? Женщина будетъ имѣть опре-

дѣленные занятія, положимъ, хоть журнальный переводъ (эта работа почти общедоступная), будетъ работать въ свои свободныя минуты и нисколько не потеряетъ отъ этого своей материнской нѣжности. Не забудетъ она своего ребенка, не отойдетъ отъ колыбели больного дитяти, какъ бы много ни было работы. Осмысленная дѣятельность развиваетъ силы ума, а не уничтожаетъ естественныхъ чувствъ и побужденій, вложенныхъ въ человѣка природою. А какой богатый источникъ чистыхъ наслажденій найдетъ женщина въ такой дѣятельности! Молодая женщина, молодая мать, сидя надъ денежными работами, будетъ понимать, что она работаетъ для своего ребенка, что она доставитъ ему удовольствіе на свои трудовыя деньги, что она, быть можетъ, обезпечитъ его воспитаніе, дастъ ему средства развиваться правильно и успѣшно. Эти наслажденія Пальховскій совершенно произвольно отнимаетъ у женщины и еще, въ добавокъ, считаетъ себя прогрессистомъ, и еще называетъ идеи М. В. и Славинскаго «вредными и опасными». Какое же вредное вліяніе произведутъ ихъ идеи? Внушать женщинѣ стремленіе къ самостоятельности? Дай Богъ! Лишь бы только женщины поняли, что самостоятельность покупается цѣною труда и что истинная самостоятельность состоитъ въ разумномъ употребленіи тѣхъ способностей, которыя вложила въ насъ природа, а не въ пустомъ нарушеніи безвредныхъ условій общественности. Дай Богъ, чтобы женщины почувствовали потребность въ трудѣ; трудолюбіе не поведетъ къ дурному, не извратитъ, не засушитъ любящихъ силъ души; въ трудолюбіи заключается надежный залогъ семейнаго счастья. Мы до сихъ поръ рассмотрѣли одну сторону вопроса. Мы брали женщину въ семейномъ быту, какъ постоянно беретъ ее Пальховскій; но авторъ забылъ, что въ нашемъ обществѣ далеко не всѣ дѣвушки выходятъ замужъ. Что же будетъ дѣлать старая дѣвушка? Чѣмъ она обезпечена? На нее смотрятъ часто какъ на жалкое, непріятное или по крайней мѣрѣ несчастное, неудавшееся существо. Отчего это происходитъ? Оттого, что старая дѣвушка, не имѣя опоры въ семействѣ, въ мужѣ, зависитъ болѣе или менѣе отъ окружающихъ ее людей и не имѣетъ опредѣленныхъ занятій. Дайте ей средства трудиться сообразно съ способностями и врожденной наклонностью, дайте ей возможность жить своими заработками, и тогда навѣрное къ одинокому и дѣйствительно несомнѣнно веселому положенію старой дѣвушки не будетъ по крайней мѣрѣ примѣшиваться тяжелое, мучительное чувство зависимости и собственной безполезности. Мы можемъ привести въ примѣръ американскихъ женщинъ, которыя, работая наравнѣ съ мужчинами, умѣли внушить къ себѣ самое сознательное уваженіе. Въ Америкѣ, ежели вѣрить разсказамъ путешественниковъ, и старыя дѣвушки не чувствуютъ себя

лишними, трудятся, какъ трудились въ молодости; спокойно, среди полезныхъ занятій, доживаютъ свой вѣкъ. Пальховскій возражаетъ въ концѣ статьи по пунктамъ на мысли М. В. и Славинскаго; но въ этихъ возраженіяхъ не знаешь, чему болѣе удивиться—неосновательности или самоувѣренности, съ которою они высказаны. Приводимъ для примѣра одинъ изъ такихъ пунктовъ:

«По нашему мнѣнію (которое, разумѣется, нисколько не выдаемъ за абсолютно-вѣрное), эти неправильныя заключенія вызваны слѣдующими условіями: 1) *Незнаніемъ женскаго организма*. Истинныя, добытыя науками естественными, у насъ еще чрезвычайно мало распространены въ обществѣ; а между тѣмъ значеніе этихъ наукъ такъ велико, что нѣтъ почти ни одного общественнаго вопроса, который бы въ своей сущности не опирался на тотъ или другой законъ природы. Отсюда происходитъ весьма непріятное послѣдствіе: люди, незнакомые съ природою и человѣческимъ организмомъ, принимаются трактовать о предметахъ, требующихъ основательнаго знанія наукъ естественныхъ, и, разумѣется, впадаютъ въ ошибки. Если-бы гг. М. В. и Славинскій, прежде чѣмъ рѣшать вопросы о «Женскомъ трудѣ» и «Общественной самостоятельности женщинъ», потрудились изучить физиологію (а вмѣстѣ съ тѣмъ и психологію) женскаго организма, они вѣрно не написали-бы того, что прочли читатели «Экономическаго Указателя» и «Санктпетербургскихъ Вѣдомостей». Опираясь на физиологическія данныя, г. М. В. никакъ не рѣшился-бы (ради эманципаціи) отрывать женщинъ отъ ихъ семействъ; а г. Славинскій не сказалъ-бы, что «нѣтъ уважительныхъ причинъ предназначать женщинъ исключительно къ семейной жизни, домашнему житію».

Что высказано въ этихъ строкахъ? Чѣмъ доказано, что гг. М. В. и Славинскій не знали женскаго организма? Какія стороны женскаго организма были имъ неизвѣстны? Вмѣсто отвѣта на эти вопросы Пальховскій даетъ отвѣченное разсужденіе о пользѣ изученія естественныхъ наукъ. Надобно согласиться, что такія разсужденія ничего не доказываютъ. Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ указать на мастерской разборъ статьи Пальховскаго, помѣщенный въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1858 г. за сентябрь.

Парижскія письма. М. Л. Михайлова. Письмо V. («Современникъ», 1859 г.).

При обзорѣ «Современника» за 1858 годъ мы не говорили о письмахъ Михайлова и имѣли на то свои причины. Изображая различныя стороны французской жизни и французскаго общества, Михайловъ съ безопадною правдивостью обнажалъ пороки, развѣдающіе его организмъ;



при этомъ ему приходилось упоминать о такихъ печальныхъ и грязныхъ явленіяхъ, съ которыми мы не считали нужнымъ знакомить нашихъ читателейъ. На этомъ основаніи мы прошли молчаніемъ первыя четыре письма; пятое письмо Михайлова, составляющее самостоятельное цѣлое, заключаетъ въ себѣ такія свѣтлыя мысли о женщинѣ, о значеніи ея въ общей жизни человѣчества, что мы считаемъ обязанностью указать на это письмо и поговорить объ его содержаніи. Молодыя дѣвицы могутъ встрѣтить въ этомъ письмѣ нѣкоторыя рѣзкія выраженія, и потому мы рекомендуемъ его не имѣть, а матерямъ и воспитательницамъ, и совѣтуемъ тѣмъ и другимъ прочесть его съ воспитанницами, выпуская то, что покажется излишнимъ. Общее направленіе, основная мысль письма выкупаютъ эту рѣзкость отдѣльныхъ эпизодовъ,—рѣзкость, которая можетъ быть смягчена, не вреди достоинству и связи цѣлаго. Письмо Михайлова вызвано толками о женщинѣ, занимающими французское общество въ лицѣ передовыхъ его представителей. Толки его выразились въ послѣднее время въ книгѣ историка Мишле: «L'Amour», надѣлавшей много шума, получившей незаслуженную извѣстность и, по выраженію Михайлова, скандальный успѣхъ. Первое изданіе «L'Amour» разошлось въ мѣсяцъ съ небольшимъ. Оно надѣлало шуму и въ Петербургѣ; оно могло имѣть вредное вліяніе на образъ мыслей общества, и потому дѣльное опроверженіе основныхъ положеній этой книги заслуживаетъ полнаго сочувствія. Такое опроверженіе составляетъ существенную и главную часть статьи Михайлова. Прислушая къ разбору новаго сочиненія Мишле, авторъ «Парижскихъ писемъ» дѣлаетъ обгльміи очеркъ новѣйшихъ мнѣній, высказанныхъ о женщинѣ французскими писателями и мыслителями; въ этомъ очеркѣ Михайловъ обращаетъ особенное, почти исключительное вниманіе на Прудона, знаменитаго представителя коммунистическихъ идей во Франціи. Мнѣніе Прудона о женщинѣ кажется Михайлову несовременнымъ и, что еще важнѣе, совершенно неистиннымъ. Такимъ должно оно дѣйствительно показаться каждому безпристрастному человѣку, не увлекающемуся именемъ Прудона и принимающему къ сердцу самостоятельность женщины и ея права на развитіе. Прудонъ не только смотритъ съ предубѣжденіемъ на современную женщину, далеко несоотвѣтствующую нравственному идеалу, но даже отрицаетъ въ женщинѣ вообще всякую способность къ совершенствованію; стремленіе къ прогрессу онъ считаетъ со стороны женщины незаконной попыткой выйти изъ того положенія страдательной подчиненности, на которое, по мнѣнію Прудона, она отъ вѣка осуждена природою.

Путь къ самосовершенствованію, путь науки и умственной дѣятельности по мнѣнію Пру-

дона, долженъ быть закрытъ для женщины; она неспособна къ серьезному труду и недостойна такого труда. Чѣмъ-же поддерживается Прудонъ такое обидное для женщины положеніе? Тѣмъ, что женщина ни въ области мысли, ни въ области искусства не можетъ представить тѣхъ знаменитыхъ именъ, которыми гордится человечество. «Гдѣ твои Шекспиры, Кювье, Канты?» спрашиваетъ Прудонъ у женщины. Онъ не замѣчаетъ того, что силы женщины просыпаются только теперь, и что ссылка на безотрадное прошлое, проведенное ею въ полной умственной зависимости, неумѣстна, невеликодушна и не можетъ служить противъ нея доказательствомъ. Прудонъ считаетъ вліяніе женщины на общество вреднымъ; слѣды этого вліянія онъ замѣчаетъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, отличающихся сентиментальностью, лишенныхъ силы и мужества. Этотъ фактъ, подмѣченный самимъ Прудонъ, служитъ разительнымъ доказательствомъ противъ его теоріи: ежели онъ признаетъ въ женщинахъ способность дѣйствовать на общество и человечество, то онъ не можетъ, не противорѣча себѣ, считать ее существомъ слабымъ и ничтожнымъ, не можетъ презирать ее. Дѣйствительно, тонъ ненависти смѣняется у него тонъ пренебреженія, съ которымъ онъ до тѣхъ поръ отзывался о способностяхъ и значеніи женщины. Признавая вліяніе женщины вреднымъ, Прудонъ совѣтуетъ совершенно парализовать это вліяніе, стѣснить женщину и отнять у нея тѣ жалкія права, то скудное умственное развитіе, которыми пользуется она въ современномъ обществѣ. Здѣсь Прудонъ поступаетъ неэкономически. Онъ видитъ силу, приносящую вредъ общему организму человѣчества; вмѣсто того, чтобы вникнуть въ сущность этой силы, вмѣсто того, чтобы стараться извлечь изъ нея ту пользу, которую можетъ принести каждая сила, приложенная къ должному мѣсту и получившая должное направленіе, вмѣсто всего этого, онъ совѣтуетъ уничтожить эту силу, и такимъ образомъ лишаетъ человечество одного изъ его могущественныхъ двигателей. Мнѣнія Прудона о женщинѣ рѣзки, несправедливы, оскорбительны для достоинства женщины. Онъ принимаетъ за норму результаты неправильнаго развитія и считаетъ случайныя свойства, привившіяся къ женщинѣ отъ испорченнаго общества, за необходимую и неизбежную принадлежность ея природы. Мнѣнія Прудона, повторяемъ, рѣзки; но уже по самой рѣзости своей они не такъ опасны, какъ мысли, выраженные Мишле въ его книгѣ «L'Amour». Мнѣнія Прудона возстановятъ противъ себя всѣхъ: мыслящій человѣкъ увидитъ ихъ несправедливость и нелогичность; человѣку пустому, преданному исключительно свѣту, не понравится мрачный взглядъ на вещи, проведенный въ его мысляхъ; женщина оскорбится тѣмъ безпощаднымъ приговоромъ, который произно-

сится надъ ея судьбою. Совершенно другое впечатлѣніе можетъ произвести на читающее общество книга Мишле, уже на первый разъ располагающая въ свою пользу блестящимъ, увлекательнымъ изложеніемъ. За этимъ изложеніемъ скрываются мысли невѣрныя, но не всегда поражающія глазъ рѣзкостью или очевидною нелогичностью. Мишле располагаетъ читателя въ свою пользу, объявляя себя защитникомъ женщины. Но какъ же онъ ее защищаетъ? Такъ, какъ защищаютъ балованнаго ребенка отъ справедливыхъ требованій наставника. Какое понятіе составляетъ себѣ Мишле о личности женщины? Понятіе самое жалкое, самое оскорбительное, хотя облеченное въ сладкія, вкрадчивыя фразы, пропущенныя французской любезностью. Женщина, по его мнѣнію, вѣчная больная, вѣчный ребенокъ, котораго капризы долженъ уважать мужчина, не стараясь ни о фундаментальномъ извѣщеніи болѣзни, ни о воспитаніи и развитіи «ремлющихъ въ ребенкѣ способностей. Автору «Любви» какъ-то правится въ современной женщинѣ ея непривычка мыслить, ея неумѣнье понимать серьезные гражданскіе или человѣчскіе интересы, ея слабость воли; въ томъ, что прямо происходитъ отъ неправильнаго или недостаточнаго развитія, онъ видитъ какую-то прелесть, женственную грацію, забывая ту великую истину, что женщина—человѣкъ, и что общечеловѣчскій недостатокъ не можетъ казаться добродѣтельно въ женщинѣ. Любуясь этими глупозными, по его мнѣнію, особенностями же своей природы, Мишле, подобно Прудону, принимаетъ случайныя и по всей вѣроятности временныя явленія за необходимыя и законныя; на этихъ особенностяхъ онъ основываетъ любовь, которая не возвышается въ его книгѣ до степени разумнаго, сознательнаго чувства. Женщина является въ этомъ чувствѣ оведалницей, которой пріятно располагать всею любимаго человѣка, является больнымъ, балованнымъ ребенкомъ, который капризничаетъ, хнычетъ и требуетъ себѣ постоянныхъ услугъ и угожденій. Мужчина играетъ страдальную роль, смотритъ въ глаза своей повелительницѣ, не имѣющей впрочемъ никакой личной свободы, ея капризамъ жертвуетъ своими обязанностями и съ ея стороны не можетъ ожидать никакого сочувствія душевнымъ интересамъ своей умственной жизни. И это любви? И на такомъ-то жалкомъ чувствѣ должно быть, по мнѣнію Мишле, основано семейное счастье? Гдѣ же мысль, гдѣ нища для умственной жизни, гдѣ то обновленіе нравственныхъ силъ, котораго мужчина имѣетъ право требовать отъ женщины, рѣшившейся раздѣлить его судьбу? Въ любви, какъ характеризуетъ ее Мишле, существуетъ только обаяніе, основанное на созерцаніи физической красоты и граціознаго кокетства. Такая любовь недостойна

мыслящаго человѣка и оскорбительна для нравственной и развитой женщины, оскорбительна потому, что не предполагаетъ уваженія необходимаго. Опровергая Мишле и Прудона, Михайловъ самъ прямо и открыто становится въ ряды защитниковъ эманципаціи женщины. Эманципація женщины! Слово это вызываетъ самыя разнообразныя понятія, производитъ самыя разнообразныя впечатлѣнія. Одни считаютъ эманципацію женщины невозможною, другіе—предосудительною мечтою, многіе принимаютъ за эманципацію неосмысленное желаніе нѣкоторыхъ женщинъ оригинальничать, нарушать безъ особенной надобности принятые общественные обычаи, отличаться рѣзкими манерами и рѣзкимъ образомъ мыслей; многіе думаютъ, что эманципація несовмѣстна съ истинною женственностью; многіе именемъ эманципированной женщины называютъ какую-нибудь неудавшуюся подражательницу г-жи Жоржъ Зандъ. Всѣ эти мнѣнія несправедливы и не вытекаютъ изъ смысла самаго слова «эманципація». Жоржъ Зандъ отнеслась не такъ, какъ слѣдовало, къ вопросу о самостоятельности женщины. Она обратила преимущественное вниманіе на тѣ стѣснительныя законы свѣта, которые ограничиваютъ кругъ дѣятельности женщины; она потребовала уничтоженія этихъ неосмысленныхъ законовъ; она сама нарушила ихъ и думала такимъ образомъ доставить женщинѣ независимость. Она ошиблась, потребовала вдругъ независимости, тогда какъ слѣдовало сначала требовать для женщины серьезнаго образованія; она напала на вѣщныя стѣсненія, не понимая, что эти стѣсненія основаны на внутренней слабости и неразвитости самой женщины, что они останутся въ полной силѣ до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать вызвавшія ихъ причины. Эманципація женщины состоитъ не въ безплодномъ ниспроверженіи общественныхъ приличій, а въ реформѣ женскаго воспитанія. Только правильно развитая, серьезно образованная женщина будетъ въ состояніи руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ не бездушнымъ судомъ свѣта, а собственнымъ нравственнымъ чувствомъ, голосомъ собственнаго разсудка. Только женщина, способная къ серьезному труду, будетъ поставлена въ совершенно независимое положеніе въ обществѣ и въ семействѣ; дѣло эманципаціи—разрушить предрасудки, которыми скована женщина, и дать ей взамѣнъ этихъ предрасудковъ твердыя, здравыя убѣжденія. Порядокъ въ этомъ дѣйствіи долженъ быть обратный, то есть, сначала надо сформировать убѣжденія, а паденіе предрасудковъ будетъ уже естественнымъ слѣдствіемъ этого формировація. Дѣло эманципаціи—внести въ женское воспитаніе науку во всемія ея строгомъ величіи. Тѣ женщины, для которыхъ настала пора самостоятельности, съ жадностью возьмутся за науку, онѣ поймутъ, что знаніе,

только знаніе дѣлаетъ человѣка свободнымъ и великимъ. Кто не способенъ понять этой истины теперь, тотъ пойметъ ее впослѣдствіи, или, хотъ и не понимъ, увлечется общимъ движеніемъ. Что дѣлать! безъ этого нельзя. Во всякомъ дѣлѣ есть передовые люди, есть и масса, толпа. Такъ проводится въ жизнь вопросъ о самостоятельности женщинъ въ Англии и въ Америкѣ. Михайловъ приводитъ въ своемъ письмѣ имя миссъ Елисаветы Блеквель, доктора медицины, отправлявшейся, во время пребыванія его въ Парижъ, въ Лондонъ читать лекціи физиологій. Вотъ типъ эманципированной женщины въ томъ смыслѣ, какъ должно понимать это слово. Миссъ Блеквель не тратила жизни и душевныхъ силъ на мелкую борьбу съ мелкими условіями общественной жизни; ею не руководило желаніе блеснуть оригинальностью; она пошла тяжелою, трудовою дорогою, переломила встрѣчавшіяся ей препятствія не изъ своенравнаго умничанья, не по капризу, а вслѣдствіе твердаго убѣжденія; она отстояла за собою право трудиться и принести пользу, и потому въ теченіе послѣдующей жизни скромно, безъ претензій пользовалась приобретеннымъ правомъ. Бѣглая характеристика личности и дѣятельности миссъ Блеквель, представленная въ статьѣ Михайлова, показываетъ намъ, какъ смотритъ авторъ на эманципацию женщины. Онъ отдаетъ полную дань уваженію личности миссъ Блеквель и ставитъ ее несравненно выше женщинъ, подобныхъ Жоржъ Зандъ, которыя, по его словамъ, составляютъ «печальныя, хотя и симпатическія явленія переходной, страстной эпохи». За этой страстной эпохою, за эпохою борьбы женщины съ препятствіями, которыми окружило ее общество, должно слѣдовать время сознательнаго труда и разумной свободы, какъ, слѣдствія этого труда. Представительницею или, вѣрнѣе, предвѣстницею этой лучшей эпохи, къ которой стремятся желанія всѣхъ передовыхъ людей, мужчинъ и женщинъ, является миссъ Блеквель, и за нею слѣдуетъ много другихъ женщинъ, трудящихся въ Америкѣ въ скромныхъ и неизвѣстныхъ должностяхъ. Эти скромныя труженицы безъ шума отстаиваютъ общее дѣло женщины, и тихой дѣятельностью своею готовятъ ей лучшую будущность. Уваженіе къ личности, самостоятельности и труду женщины, сочувствіе ко всему, что содѣйствуетъ ея развитію и самоосвобожденію, и смѣлое противодѣйствіе антипрогрессивнымъ, вреднымъ идеямъ Прудона и Мишле— вотъ отличительныя свойства и главныя достоинства статьи Михайлова, вотъ и побудительныя причины, заставившія насъ обратить на эту статью вниманіе матерей и воспитательницъ. Мысли, приведенныя Михайловымъ, должны быть распространяемы въ нашемъ обществѣ, стремящемся къ самосознанію; на этихъ мысляхъ должно быть воспитываемо молодое поко-

лѣніе; только подобныя мысли, проведенныя въ жизнь, способны сформировать женщину, гармонически развитую, способную приносить пользу, нравственно свободную и слѣдовательно счастливую.

### Эпизодъ изъ исторіи Нидерландовъ. Правленіе герцога Альбы. (Изъ сочиненія Мотлея: «Therise of the Dutch republic».)

Нидерланды въ концѣ XIV столѣтія вошли въ составъ герцогства Бургундскаго, которое было основано Филиппомъ, сыномъ Іоанна Добраго, короля французскаго. Въ 1477 году послѣдній герцогъ Бургундскій, Карлъ Смѣлый, былъ убитъ при Нанси, въ сраженіи съ швейцарцами. Обширныя владѣнія его распались; собственно Бургундія покорилась его постоянному сопернику, королю французскому Людовику XI, а Фландрія и Артуа, то есть большая часть нынѣшнихъ Нидерландовъ, остались во власти дочери Карла, Маріи Бургундской, которая вышла замужъ за германскаго императора Максимилиана. Дочь Маріи и Максимилиана, Іоанна, вышла замужъ за Филиппа Арагонскаго, сына Фердинанда Католическаго и Изабеллы. Сынъ Филиппа и Іоанны былъ Карлъ, вступившій на испанскій престолъ подъ именемъ Карла I и потомъ избранный императоромъ германскимъ и принявшій имя Карла V. Знаменитый Карлъ V, происходившій такимъ образомъ по женской линіи отъ герцоговъ бургундскихъ, соединилъ подъ своею властью бѣольшую часть тогдашняго политическаго міра Европы. Пиренейскій полуостровъ, Нидерланды и южная Італія составляли его родовыя владѣнія; Германія повиновалась ему, какъ императору. Америка была покорена горстью искателей приключеній. Когда Карлъ V отрекся отъ престола, сынъ его Филиппъ II наслѣдовалъ его родовыя владѣнія, а братъ его, Фердинандъ, сдѣлался императоромъ. Мы сочли нужнымъ напомнить нашимъ читательницамъ эти сухія, генеалогическія подробности, чтобы объяснить имъ, какимъ образомъ въ концѣ XVI столѣтія испанскій король Филиппъ II является повелителемъ и угнетателемъ Нидерландовъ. Эти подробности, повидимому сухія и незначительныя, очень важны для пониманія смысла тѣхъ событій, которыя изложены въ статьѣ Мотлея. Еще важнѣе знать внутреннее положеніе Нидерландовъ. Характеръ жителей этой страны всегда отличался мужествомъ, стремленіемъ къ независимости и трудолюбіемъ. Въ средніе вѣка во Фландріи составились сильныя городскія общины, хоторя не хотѣли покоряться сосѣднимъ баронамъ и часто вели упорныя войны съ герцогами бургундскими. Городскія общины эти обезпечивали частную соб-

ственность гражданъ отъ всякихъ незаконныхъ притязаній и содѣйствовали такимъ образомъ развитію торговли. Фландрскіе города, Антверпенъ, Гентъ, Лютихъ, Мехлинъ, славились въ средніе вѣка своими промышленными издѣліями и поддерживали обширныя торговыя сношенія со всѣми странами Европы. Движеніе торговли возбуждало предприимчивость нидерландцевъ, поддерживало въ нихъ смѣлость и, доставляя имъ богатства, давало имъ средства отрѣшиться отъ мелочныхъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ и посвящать свои досуги умственнымъ занятіямъ. Народная образованность приняла обширные размѣры: въ XVI столѣтіи рѣдкій нидерландецъ не умѣлъ читать и писать. Понятно, что при такихъ условіяхъ деспотизмъ испанскаго короля не могъ не встрѣтить въ народѣ энергическаго противодѣйствія; понятно также, что движеніе мысли, пробужденное въ Германіи проповѣдью Лютера, его послѣдователей и современниковъ, не могло не найти въ Нидерландахъ живого сочувствія. Богатый, дѣятельный, сильный народъ не могъ безропотно переносить нарушеніе своихъ человѣческихъ правъ; не могъ онъ также оставить безъ вниманія смѣлое слово истины, ниспровергавшее вѣковыя заблужденія, во имя чистой нравственности евангельскаго ученія. Нидерландцы выработали себѣ конституцію, которую Филиппъ принужденъ былъ подтвердить при своемъ восшествіи на престолъ; реформація быстро распространилась въ Нидерландахъ и, найдя себѣ многочисленныхъ приверженцевъ, породила нѣсколько различныхъ сектъ. Эти два обстоятельства: конституціонныя права нидерландцевъ и ихъ религіозныя убѣжденія, подали поводъ къ упорной борьбѣ между государемъ и его законными подданными. Филиппъ хотѣлъ управлять ими произвольно, не справляясь съ ихъ законами, не стѣсняясь тѣми обязательствами, которыя были даны имъ самимъ, не обращая вниманія на явное неудовольствіе цѣлаго народа. Будучи ревностнымъ католикомъ, Филиппъ не могъ возвыситься до вѣротерпимости и ненавидѣлъ новую религію, называя ее ересью и богохульствомъ. Характеръ этого короля, составившаго себѣ въ исторіи печальную знаменитость, вѣроятно въ общихъ чертахъ извѣстенъ нашимъ читателямъ. Главныя свойства его характера: жестокость, мрачная недобѣрчивость, вѣроломство и умъне холодно обдумывать самыя возмутительныя злодѣянія, находится въ тѣсной связи съ характеромъ эпохи, проникнутой духомъ политическихъ сочиненій Макіавелли. Сверхъ того, могущественнѣйшимъ двигателемъ Филиппа II былъ религіозный фанатизмъ, вытѣснявшій размышленіе, одушевлявшій его дикою энергіей и доводившій его нерѣдко до пагубныхъ безразсудныхъ крайностей. Фанатизмъ этотъ обусловливался тогдашнимъ положеніемъ религіи. Католицизмъ начиналъ терять свое міровое значеніе

и безусловное вліяніе на умы людей. Протестъ здраваго смысла противъ его притязаній выразился уже въ определенной формѣ и нашелъ себѣ многочисленныхъ послѣдователей. Въ началѣ XVI вѣка жили Лютеръ, Кальвинъ, Цвингли, — реформаторы, шедшіе съ большею смѣлостью и съ большимъ успѣхомъ по дорогѣ, проложенной Виклефомъ въ Англии, альбигойцами во Франціи, Гуссомъ въ Богеміи и въ Германіи. Человѣческая мысль пробуждалась, и непогрѣшимость папы подвергалась сомнѣніямъ, которыхъ уже не трудился скрывать. Католицизмъ отживалъ свой вѣкъ и хватался за послѣднія отчаянныя средства: усилилась инквизиція, явились іезуиты, выступили послѣдніе бойцы католицизма, дикіе фанатики, которые тѣмъ упорнѣе гнали истину, чѣмъ болѣе чувствовали ея могущество. Къ числу этихъ фанатиковъ относится Филиппъ. Въ этой отчаянной борьбѣ католицизма съ напылвомъ свѣжихъ идей выразились отличительныя черты переходной эпохи, отмѣченныя Грановскимъ въ его публичной лекціи о Людовикѣ IX. «Разсматривая съ вершины настоящаго погребальное шествіе народовъ къ великому кладбищу исторіи, — пишетъ покойный профессоръ, — нельзя не замѣтить на вождяхъ этого шествія двухъ особенно рѣзкихъ типовъ, которые встрѣчаются преимущественно на распутияхъ народной жизни, въ такъ называемыя переходныя эпохи. Одни отмѣчены печатью гордой и самонадѣянной силы. Эти люди идутъ смѣло впередъ, не спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряетъ ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но нерѣдко отказываетъ имъ въ любви и поэзіи. Сердце ихъ не отзывается на грустные звуки былого. Зато за ними право побѣды, право историческаго успѣха. Больше право на личное сочувствіе историка имѣютъ другіе дѣятели, въ лицѣ которыхъ воплощаются вся красота и все достоинство отходящаго времени. Они — его лучшіе представители и доблестные защитники». Эти слова сказаны Грановскимъ о средневѣковыхъ учрежденіяхъ, о рыцарскомъ, феодальномъ бытѣ, уступавшемъ при Людовикѣ IX мѣсто менѣ блестящимъ, но болѣе разумнымъ формамъ гражданственности. Въ этихъ словахъ историкъ отдаетъ справедливость прогрессистамъ, — людямъ, ведущимъ челоѣчество впередъ, и въ то-же время изъясняетъ свое личное сочувствіе къ приверженцамъ отжившаго порядка вещей, — людямъ заблуждающимся, но поставленнымъ въ драматическое положеніе и погибающимъ потому, что ихъ увлекаетъ слѣпая, безкорыстная привязанность къ мертвой, невоскресимой старинѣ. Это сочувствіе историка къ представителямъ умирающихъ идей невозможно въ настоящемъ случаѣ, при разсмотрѣннй борьбы, происходившей въ XVI столѣтіи между католицизмомъ и движеніемъ челоѣческой мысли. Здѣсь въ драма-

тическомъ положеніи находятся представители прогресса; они заслуживаютъ двоякаго сочувствія: во-первыхъ потому, что на ихъ сторонѣ право побѣды, во-вторыхъ потому, что они — угнетенные, ихъ казнить, вѣшаютъ, жгутъ. Католицизмъ теряетъ свою состоятельность въ области мысли, у него нѣтъ доводовъ, которыми бы онъ могъ отстаивать законное право на неограниченное господство; но онъ располагаетъ огромными матеріальными средствами и душитъ всякое движеніе идей. Колоритъ, разлитой въ приведенномъ нами отрывкѣ изъ лекціи Грановскаго, не идетъ къ нашему случаю, но основная мысль, выражающая собою непреложный историческій законъ, остается въ полной силѣ. XVI вѣкъ былъ для Западной Европы переходною эпохой. Въ эту эпоху, въ томъ самомъ эпизодѣ, который изображаетъ Мотлей, выступаютъ на сцену оба рѣзкіе типа, которые отмѣтилъ Грановскій. Воплощеніемъ перваго типа, представителемъ новой жизни является Вильгельмъ Оранскій, освободитель Нидерландовъ, вождь народа, защитникъ свободы, совѣсти и вѣротерпимости; воплощеніе втораго типа мы видимъ въ Филиппѣ II, въ деспотѣ, въ фанатикѣ, презирающемъ человѣческія права и унижающемъ человѣческое достоинство. Подтверждается нашимъ эпизодомъ и та мысль, что отживающій принципъ передъ окончательнымъ своимъ паденіемъ развертываетъ все свои силы и выслаиваетъ послѣднихъ своихъ представителей, въ которыхъ воплощается вся его энергія. Примеры для подтвержденія этой мысли найти нетрудно: представителемъ отживающаго римскаго язычества былъ Юліанъ Апостатъ, думавшій воскресить классическую древность; представителемъ падавшаго язычества на Руси былъ Владиміръ Свѣтой, придавшій въ первую половину своего царствованія особенную, небывалую торжественность богослуженію Перуна. Все эти люди употребляли всевозможныя усилія, чтобы поднять то, что упало навсегда или по крайней мѣрѣ клонилось къ неизбѣжному паденію. Все они своими усиліями истощали послѣднія средства поддерживаемыхъ ими идей и такимъ образомъ ускоряли гибель того, что старались возвысить. Сами они или погибали въ бесплодныхъ попыткахъ остановить теченіе исторической жизни, или, подобно Владиміру, увлеченные неудержимымъ потокомъ новаго порядка вещей, отступали отъ своихъ прежнихъ цѣлей, сами разрушали кумиры, которымъ служили, и дѣлались ревностными проповѣдниками истинъ, воспринятыхъ слѣпо отъ упорной борьбы. Филиппъ остался до своей смерти мрачнымъ приверженцемъ старины. Онъ не погибъ самъ въ борьбѣ, но погубилъ свое государство и растерялъ одно за другимъ владѣнія, доставшіяся ему отъ отца. Нидерланды отложились при его жизни. Португалія возмутилась при его

ближайшихъ преемникахъ. Въ Неаполѣ происходили постоянныя возстанія. Испанія, измученная инквизиціей, ослабленная несчастными войнами, имѣвшими большею частью религиозныя причины, потеряла свое промышленное населеніе, состоявшее изъ мавровъ и евреевъ, обдѣнѣла, опустѣла и до сихъ поръ не можетъ оправиться отъ жестокихъ страданій, которымъ подвергла ее безразсудная политика Филиппа и его преемниковъ. Изъ разсказовъ путешественниковъ ясно видно, въ какомъ жалкомъ положеніи, матеріальной бѣдности и умственной неразвитости находятся жители этой страны, благодѣтельствованной природой. Испанія была послѣднимъ убѣжищемъ и послѣднею жертвой религиознаго фанатизма въ Европѣ. Борьба между Филиппомъ II и нидерландскимъ народомъ, происходившая въ концѣ XVI вѣка, имѣетъ обширное, общечеловѣческое значеніе во всемирной исторіи. Вглядываясь въ различныя фазы этой борьбы, рассматривая различныя части этой великой исторической картины, наши читатели могутъ составить понятіе о характеристическихъ особенностяхъ такъ называемыхъ переходныхъ эпохъ. Въ эти эпохи всего сильнѣе разыгрываются человѣческія страсти, принципъ борется съ принципомъ, и выступаютъ на сцену великія историческія личности, вокругъ которыхъ группируются ихъ послѣдователи. Историческій міръ раздѣляется на двѣ враждебныя партіи. Настоящее не имѣетъ тогда опредѣленнаго характера и не имѣетъ представителей; есть только прошедшее, упорно отстаивающее свои права на существованіе и постепенно теряющее свою законность, и будущее, сначала гонимое, но потомъ мало-по-малу отбрасывающее прежнюю жизнь и водворяющееся съ полною силой. Мы уже назвали нашимъ читателямъ двухъ представителей борющихся между собою принциповъ. Личный характеръ этихъ представителей заслуживаетъ полнаго вниманія. Посредственность не можетъ воплотить въ себѣ какую-нибудь идею. На характерѣ Филиппа лежитъ печать мрачной, дикой энергіи, не отступающей ни передъ какими насиліями, не презирающей никакихъ хитростей, могущихъ повести къ цѣли. Для поддержанія своего принципа Филиппъ жертвуетъ политическими видами, личными выгодами, самыми нѣжными привязанностями, къ которымъ только была способна его мрачная природа, самыми священными семейными узами. Того же фанатизма требуетъ онъ отъ всѣхъ его окружающихъ, и дѣйствительно вокругъ его престола группируются суровыя личности, неспособныя ни къ страданію, ни къ угрызеніямъ совѣсти. Однѣ изъ нихъ жестоки по убѣжденію, другія—по страсти. Однѣ проливаютъ кровь холодно, другія—съ наслажденіемъ, непонятнымъ для большинства людей, но достигающимъ колоссальныхъ, ужасающихъ размѣ-

ровъ въ нѣкоторыхъ личностяхъ, находящихся подъ вліяніемъ особыхъ историческихъ обстоятельствъ. Появленіе подобныхъ личностей составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ историческаго броженія, предшествующаго и сопровождающаго великіе перевороты. Подобныя личности являлись въ первые вѣка христіанства и съ яростію боролись съ новымъ ученіемъ. Такія же личности засѣдали между монтаньярами въ эпоху великой французской революціи. Впереди фанатиковъ, составлявшихъ свѣту Филиппа, стоитъ личность, колоссальная по своимъ воинскимъ дарованіямъ и по своему историческому значенію,—личность, почти заслоняющая собою образъ Филиппа. Это—герцогъ Альба, знаменитый полководецъ, прославившій себя многочисленными побѣдами и безчисленными казнями, холодно и спокойно совершенными въ Нидерландахъ. Ни Филиппъ, ни Альба не были людьми кровожадными по темпераменту: оба они совершали безполезныя жестокости болѣе изъ излишней предосторожности, нежели изъ наслажденія. Они были равнодушны къ страданіямъ человѣчества, но не находили въ нихъ удовольствія; казни были въ ихъ глазахъ средствомъ, а не цѣлью; дѣйствіями ихъ управлялъ всегда глубокой расчетъ, всегда обмазывавшій ихъ ожиданія. Ихъ принципъ былъ невѣренъ; но нельзя отвергнуть того, что они дѣйствовали по принципу. Они не были обыкновенными злодѣями. Ихъ породили историческія обстоятельства, а не фзіологическія особенности ихъ организаціи. За этими могучими личностями стоятъ цѣлыя легіоны темныхъ бездарныхъ злодѣевъ, служившихъ имъ орудіями и достойныхъ одного презрѣнія.

Насилія такихъ людей не могли не вызвать реакціи въ такой богатой, образованной странѣ, какъ Нидерланды. Реакція началась, и во главѣ оппозиціи явился Вильгельмъ, принцъ Оранскій, человѣкъ хладнокровный, принявшій за дѣло освобожденія родины не по минутному порыву, а послѣ долгаго, глубокаго размысленія. Вильгельмъ принадлежалъ къ числу тѣхъ желѣзныхъ людей, на твердость которыхъ не дѣйствуютъ неудачи и нравственные страданія. Эти люди долго медлятъ прежде, нежели рѣшительно выступаютъ на историческую сцену; но, выступивъ однажды, они уже не оглядываются назадъ, не отступаютъ ни передъ какими пожертваніями, не боятся никакихъ опасностей, и твердымъ, рассчитаннымъ шагомъ идутъ къ такой отдаленной цѣли, которой не смѣлъ бы предположить себѣ человѣкъ болѣе пылкой или менѣе даровитый. Такимъ человѣкомъ былъ Робертъ Брюсъ, освободитель Шотландіи. Таковъ былъ и Тамерланъ, жившій среди другой цивилизаціи и направившій иначе громадныя силы своей души. Всѣ они долго терпѣли неудачи, всѣ обрывались и падали, но поднимались всякій разъ, шли впередъ и достигали завѣтной цѣли. Личныя свойства Виль-

гельма Оранскаго совершенно подходятъ подъ тѣ черты, которыми Грановскій характеризуетъ людей прогресса. Одаренный чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, Вильгельмъ лишень того поэтическаго ореола, который окружаетъ образы нѣкоторыхъ историческихъ личностей, замѣчательныхъ по романтической судьбѣ или по симпатичнымъ чертамъ характера. Вильгельмъ заслуживаетъ безграничное уваженіе, какъ безкорыстный и даровитый историческій дѣятель; но онъ слишкомъ твердъ и холоденъ, дѣйствія его слишкомъ рассчитаны и правильны, въ немъ самомъ слишкомъ мало романтизма, слишкомъ великъ перевѣсъ мысли надъ чувствомъ, чтобы личность его могла привлекать къ себѣ тою прелестью, которая носится вокругъ именъ Альфреда Великаго, Людовика IX, Баярда, Дона Карлоса, Маріи Стюартъ. Вильгельму не нужно этого сочувствія, въ которомъ есть много безотчетнаго: съ него довольно осмысленнаго уваженія, которое внушаетъ намъ къ его особѣ безпристрастный приговоръ исторіи. Большой интересъ можетъ возбудить своими разнообразными приключеніями и пылкою, чисто средневѣковою храбростію братъ Вильгельма, Людовикъ Нассаускій,—Баярдъ своего времени и правая рука брата въ дѣлѣ освобожденія Нидерландовъ. Вильгельмъ составлялъ планы и прискивалъ средства; Людовикъ бралъ на себя выполненіе и часто губилъ общее дѣло своею безумною отвагою. Рядомъ съ этими двумя личностями и за ними стоитъ пестрая толпа освободителей, различныхъ по положенію въ обществѣ, по религіознымъ убѣжденіямъ, по характеру и по образу дѣйствій. Дворяне, кушцы и ремесленники, католики и протестанты, фанатики и мыслящіе люди, пылкіе воины и хладнокровные мыслители,—всѣ дѣйствовали заодно и каждый посвоему, когда испанскій деспотизмъ коснулся самыхъ существенныхъ интересовъ народа, его правъ на собственность. Дѣйствія этихъ освободителей не могли носить на себѣ характера единства. Одни домогались полной вѣротерности, другіе—исключительнаго господства протестантизма. Одни желали вести дѣло умѣренно, другіе портили его жестокостями, примѣшивая къ дѣлу освобожденія узкіе планы личной мести. Въ сторонѣ отъ борющихся партій, не принимая прямого участія въ дѣлѣ, стояли европейскіе государи, составившіе общественное мнѣніе и нерѣдко употреблявшіе свое дипломатическое вліяніе, чтобы дать перевѣсъ той или другой сторонѣ. Елисавета англійская, Карлъ IX французскій, виновникъ варолюмеевской ночи, и императоръ Максимилианъ, нерѣшительный и измѣнчивый, стояли на первомъ планѣ въ этой группѣ зрителей, болѣе или менѣе заинтересованныхъ дѣйствіемъ.

Мы постарались въ немногихъ словахъ набросать историческую картину, которой подробности читательницы наши могутъ прослѣдить у

Мотлея; какъ при разборѣ художественнаго произведенія, мы объяснили общее значеніе дѣйствія и, не касаясь самаго хода событій, познакомили читателей съ характерами главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Уже по нашему бѣглому перечню онѣ могутъ судить о важности дѣйствія, могутъ угадывать элементы драматическаго интереса, которые заключаются какъ въ положеніи борющихся сторонъ, такъ и въ колоссальныхъ характерахъ отдѣльныхъ личностей. Для дальнѣйшихъ подробностей надобно обратиться къ той статьѣ, на которую мы указываемъ. Въ ней онѣ найдутъ вѣрное, отчетливое и послѣдовательное изображеніе событій, рельефное воспроизведеніе характеровъ и положеній,—словомъ, все, что составляетъ необходимую принадлежность и лучшее достоинство историческаго сочиненія.

**Леонардо да-Винчи.** *К. К. Герца.* («Атены», 1858 г., № 25 и 26).

Леонардо да-Винчи былъ, какъ, вѣроятно, извѣстно нашимъ читательницамъ, знаменитый итальянскій художникъ, жившій въ концѣ XV вѣка,—въ ту замѣчательную эпоху, которая называется во всемирной исторіи эпохою возрожденія наукъ и искусствъ. Въ это время лучшіе, просвѣщеннѣйшіе люди, утомленные средневѣковыми смутами и невѣжествомъ, обратились къ изученію классической (римской и греческой) древности, которая была забыта и оставлена въ первые вѣка христіанства. Вниманіе тогдашнихъ ученыхъ обратилось къ изслѣдованію языка и словесности; художники нашли въ остаткахъ классическаго искусства, въ архитектурныхъ памятникахъ и статуяхъ, образцы, достойные изученія и подражанія. Всего сильнѣе движеніе ума въ эту эпоху проявилось въ Италіи. Въ Италіи всего полнѣе сохранились остатки древняго міра; въ Италіи Римъ служилъ живымъ памятникомъ отжившей образованности. Италія была по своему географическому положенію всего ближе къ образованности Византіи. Итальянскія республики держали въ своихъ рукахъ тогдашнюю торговлю, богатства, стекавшіяся въ руки генуэзцевъ, венеціанъ, флорентійцевъ, давали имъ средства и досугъ подумать о высшихъ потребностяхъ и лучшихъ наслажденіяхъ человѣчества; роскошная природа и благотворенный климатъ развивали въ итальянцахъ стремленіе къ поэтическому творчеству и къ эстетическому наслажденію. Всѣ эти причины имѣли сильное вліяніе на ту роль, которую заняла Италія въ исторіи развитія человѣчества. Эпоха возрожденія была ознаменована цѣлымъ рядомъ знаменитыхъ именъ итальянскихъ художниковъ, которыхъ творенія остаются до сихъ поръ безсмертными памятниками по всѣмъ отраслямъ искусства. Къ числу этихъ первоклассныхъ

художниковъ относится Леонардо да-Винчи, достойный современникъ Микель-Анджело и Рафаэля. Подобно Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи не ограничился какой-нибудь одною сферою творческой дѣятельности: оба художника приобрѣли себѣ безсмертіе самыми разнообразными трудами. Микель-Анджело былъ архитекторомъ, ваятелемъ и живописцемъ; онъ создалъ куполь св. Петра въ Римѣ, статую «Моисея» и картину «Страшнаго суда»; каждое изъ этихъ колоссальныхъ твореній могло бы обезсмертить имя художника, а между тѣмъ всѣ три принадлежатъ гению одного человѣка. Еще разнообразнѣе была дѣятельность Леонардо да-Винчи. Не ограничиваясь пластическими искусствами, къ которымъ относятся живопись, скульптура и зодчество, онъ проникъ въ область музыки и поэзіи; не ограничиваясь сферою искусства, онъ находилъ себѣ время и силы заниматься науками: математикой, механикой и фортификаціей. Онъ былъ творецъ въ механикѣ и замѣчательный военный инженеръ. Въ наше время трудно себѣ представить такой всеобъемлющій умъ, такую обширную дѣятельность. Почему же такъ было прежде? Почему нѣтъ этого теперь? Такіе вопросы возникаютъ невольно при чтеніи біографіи этихъ колоссальныхъ гениевъ. На эти вопросы мы можемъ отвѣтить только предположеніемъ: въ то время, когда жили Микель-Анджело и Леонардо да-Винчи, у науки почти не было прошедшаго, наука была въ младенчествѣ; пытливому уму почти не нужно было изучать труды предшественниковъ, потому что трудовъ этихъ было очень немного; труды эти были большей частью робкія и слабыя попытки ума, неувѣреннаго въ своихъ силахъ; каждая смѣлая, удачная, живая мысль могла подвинуть науку впередъ, могла произвести на современниковъ глубокое впечатлѣніе. Теперь положеніе дѣль измѣнилось. Теперь мало одного природнаго ума и дарованія: нужны еще долговременный усидчивый трудъ, изученіе; теперь труднѣе сдѣлать переворотъ въ наукѣ, труднѣе дать ей новое направленіе; наука во многихъ отношеніяхъ стоитъ на непоколебимыхъ основаніяхъ, количество развитыхъ и трудящихся людей сдѣлалось больше; критическій смыслъ передовыхъ людей общества сдѣлался проникательнѣе и острѣе, приговоръ ихъ будетъ основательнѣе и строже; по тому въ наше время гениальный человѣкъ большей частью, развивъ свои способности предварительнымъ приготовленіемъ, общимъ образованіемъ, берется за одну отрасль науки, дѣлается специалистомъ; иначе у него не достанетъ силъ удовлетворить вполнѣ требованіямъ безпристрастной и строгой критики. Напротивъ того, въ средніе вѣка замѣчательные люди часто охватывали всю область современныхъ имъ знаній, занимались въ одно время предметами, не имѣющими между собою никакой тѣсной связи.



Дѣятельность ихъ была безспорно обширнѣе; но врядъ ли она была глубже дѣятельности современныхъ специалистовъ. Мы позволили себѣ это отступление потому, что желали предохранить нашихъ читательницъ отъ невѣрнаго взгляда на прошедшее. Видя колоссальныя личности Микель-Анджело и Леонардо, онѣ могли подумать, какъ думаютъ многіе, что родъ человѣческій измелчалъ нравственно и умственно, что настоящее положеніе дѣлъ хуже прошедшаго. Такая мысль неутѣшительна и невѣрна; она противорѣчитъ естественному ходу событій. Въ исторіи мы должны видѣть развитіе человѣчества, его стремленіе къ совершенству. Стремленіе это бываетъ иногда уродливо, человѣчество переживаетъ тяжелыя эпохи нравственной борьбы и болѣзни, но оно постоянно подвигается впередъ, несмотря на ошибки и увлеченія. Какъ ни блеститъ знаменитыми именами эпоха возрожденія, а наше время во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ выше ея и пользуется выработанными ею результатами несравненно полнѣе, нежели пользовались ими люди XV и XVI вѣковъ. Все, что мы сказали, относится, конечно, только къ ученой дѣятельности Леонардо, которая, при всей своей обширности, почти не оставила по себѣ слѣда. Слава Леонардо да-Винчи основана на его художественныхъ произведеніяхъ и преимущественно на его картинахъ, которыя, къ несчастью, уцѣлѣли далеко не всѣ. Человѣческая личность Леонардо также заслуживаетъ полного уваженія; онъ былъ человѣкъ религіозный, строго нравственный и въ высшей степени добросовѣстный. Эти качества получаютъ въ нашихъ глазахъ всю свою цѣну, когда мы вспом-

нимъ, что современники Леонардо были люди, не знавшіе ничего священнаго,—люди, готовые жертвовать для своихъ личныхъ выгодъ, для чувственныхъ наслажденій всѣми законами чести и справедливости. Въ отношеніи къ нравственному упадку Италіи стояла, быть можетъ, еще ниже другихъ, менѣе образованныхъ государствъ Европы. Папы и свѣтскіе владѣтели не знали границъ своему честолюбію, не останавливались ни передъ какими злодѣяніями, когда дѣло шло объ исполненіи ихъ прихотей или замысловъ; дѣло въ ихъ глазахъ оправдывала средства; рядъ измѣнъ, убійствъ, междоусобій, нарушенныхъ договоровъ и коварно расторгнутыхъ союзовъ—такова политическая жизнь Италіи въ XV и XVI столѣтіяхъ; внутренняя, домашняя жизнь была еще грязнѣе политической, и между тѣмъ Леонардо да-Винчи умѣлъ остаться чистъ среди подобной обстановки, умѣлъ сохранить въ душѣ безкорыстную любовь ко всему изящному, истинному. Факты его жизни не вполнѣ извѣстны; но отзывы его лучшихъ современниковъ и ближайшихъ потомковъ даютъ ему полное право на уваженіе. Статья Герца познакомитъ нашихъ читательницъ съ главными чертами характера Леонардо и его творческой дѣятельности. Не имѣя матеріаловъ для полного описанія его жизни, Герцъ всего болѣе обращаетъ вниманіе на личность Леонардо, какъ художника; онъ показываетъ, какъ творилъ Леонардо и какъ смотрѣлъ онъ на свое искусство; онъ перечисляетъ его картины, дошедшія до насъ, и даетъ понятіе о ихъ достоинствахъ и томъ значеніи, которое имѣли онѣ для своего времени и для развитія искусства.

## „Журналъ для Воспитанія“ 1857, 1858 и 1859 гг.

Съ 1857 г. въ нашей журнальной литературѣ появились два изданія \*), исключительно посвящающія себя обсужденію вопросовъ, касающихся воспитанія. Самое появленіе этихъ двухъ журналовъ составляетъ фактъ замѣчательный, заслуживающій полнаго вниманія и сочувствія. Видно, что общество наше, обратившись къ изслѣдованію своихъ слабостей и недостатковъ, не останавливается на одномъ разсмотрѣніи виѣшнихъ фактовъ. Отъ явленія оно восходитъ къ причинѣ. Види зло, оно сознаетъ, что это зло росло постепенно, и потому въ воспитаніи, въ условіяхъ, при которыхъ развиваются отдѣльныя личности, старается найти объясненіе тѣхъ несовершенствъ, которыя поражаютъ насъ въ нашей общественной и домашней жизни. Изслѣдуя причины зла, кроющіяся въ превратномъ воспитаніи, оно въ то же время отыскиваетъ средства исправлять эти недостатки, дѣйствуя на молодое подрастающее поколѣніе. Говорить о важности воспитанія, о благотѣльных послѣдствіяхъ, которыя поведетъ за собою обсужденіе педагогическихъ вопросовъ, мы считаемъ излишнимъ, потому что намъ пришлось бы повторять общія мысли, уже давно вошедшія въ сознаніе образованнаго общества. Не будемъ также говорить, почему мы принимаемъ на себя обязанность сдѣлать обзоръ нашихъ педагогическихъ журналовъ. Причины этого ясны и находятся въ непосредственной связи съ цѣлью и назначеніемъ нашего изданія. Скажемъ только, что мы начнемъ нашъ обзоръ съ начала существованія обоихъ журналовъ, съ того времени, когда вопросъ о воспитаніи сдѣлался современнымъ, жизненнымъ вопросомъ, обратившимъ на себя вниманіе лучшихъ людей нашего общества. Говоря о другихъ журналахъ, мы разсматривали только прошлый 1858 годъ. При обзорѣ педагогическихъ журналовъ такъ поступить нельзя: нужно прослѣдить въ хронологической послѣдовательности постепенное развитіе педагогическихъ идей въ нашемъ отечествѣ. Развитіе это совершилось и совершается на нашихъ глазахъ; начало этого развитія, начало движенія относится къ нашей современ-

ности; этимъ началомъ, этимъ первымъ толчкомъ обуславливается дальнѣйшій ходъ развитія; послѣдующее находится въ связи съ предыдущимъ и независимо отъ него не можетъ быть вполне понято, потому что каждая идея возникаетъ въ обществѣ не внезапно, а постепенно развивается, уясняется и приходитъ въ сознаніе. Итакъ, мы начнемъ съ перваго года существованія «Журнала для Воспитанія», возникшаго въ 1857 году, нѣсколькими мѣсяцами раньше «Русскаго Педагогическаго Вѣстника». Цѣль и объемъ нашего журнала не позволяютъ намъ обсуживать всѣ педагогическія статьи, помѣщенные въ обоихъ журналахъ. Мы будемъ говорить преимущественно о томъ, что относится къ назначенію и образованію женщины.

### Письма къ русскимъ женщинамъ. А. X—вой. (№№ 1 и 3).

Въ первыхъ нумерахъ «Журнала для Воспитанія» помѣщены два письма г-жи X—вой, въ которыхъ высказывается взглядъ автора на то, чѣмъ должна быть женщина, и на то, въ какомъ положеніи находится она въ современномъ обществѣ. Эти два письма составляютъ, повидимому, начало цѣлаго ряда писемъ о женскомъ воспитаніи; это какъ-бы вступленіе, въ которомъ авторъ знакомитъ читателя съ своими убѣжденіями, съ своимъ взглядомъ на предметъ. Въ этомъ вступленіи высказаны общія положенія, на основаніи которыхъ авторъ хотѣлъ построить свою систему; но первыя два письма остались безъ продолженія, и потому мы лишены возможности судить о практическихъ средствахъ, которыми авторъ надѣется осуществить свою теорію. На этомъ основаніи мы принуждены ограничиться обсужденіемъ самой теоріи, общихъ положеній, высказанныхъ въ первыхъ двухъ письмахъ. Эти общія положенія не могутъ возбудить никакого серьезнаго опроверженія, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время они составляютъ уже доказанную и общественную истину. Въ первомъ письмѣ г-жа X—ва словами покойнаго Вѣлинскаго упрекаетъ русскую женщину въ неразвитости, въ стремленіи къ виѣшнему блеску, въ пренебреженіи къ

\*) „Журналъ для Воспитанія“ и „Русскій Педагогическій Вѣстникъ“.

внутреннимъ, прочнымъ достоинствамъ собственнаго существа и окружающихъ людей. Большая выписка изъ Бѣлинскаго составляетъ самую капитальную часть статьи,—ту часть, вкругъ которой группируются мнѣнія автора. Выписка эта въ правдивыхъ и энергичныхъ выраженіяхъ выставляетъ наружу пустоту обыкновеннаго свѣтскаго воспитанія и еще болѣе обыкновенной семейной жизни въ свѣтѣ и для свѣта. Слова Бѣлинскаго, справедливыя двадцать лѣтъ тому назадъ, не потеряли своей силы и теперь. Онъ рисуетъ въ сильныхъ, крупныхъ, но неутрированныхъ чертахъ картину жизни русской дѣвушки. Читая его слова, нельзя не сознаться, что домашняя жизнь медленно и вяло подвигается впередъ въ нашемъ отечествѣ. Нельзя не сознаться, что г-жа Х—ва и въ наше время не могла сдѣлать лучшаго выбора, чтобы, сообразно съ своей цѣлью, представить русскимъ женщинамъ ихъ собственные несовершенства, требующія радикальной, энергической реформы въ воспитаніи. Г-жа Х—ва согласна со словами нашего критика; она признаетъ мѣткость его упрековъ, но не соглашается съ причинами, которыми Бѣлинскій объясняетъ себѣ недостатки русскихъ женщинъ. Бѣлинскій говоритъ, что виновато все общество, что виноваты особенно мужчины, смотрящіе на женщину или съ коммерческой, или во всякомъ случаѣ съ эгоистической точки зрѣнія,—мужчины, не понимающіе истинной красоты, истинной женственности, не признающіе правъ женщины на самостоятельное развитіе. Г-жа Х—ва говоритъ просто:

«Не будемъ обвинять другихъ въ нашихъ недостаткахъ, какъ это дѣлаетъ критикъ, находившій, что мужчина причиною нашей неразвитости <sup>1)</sup>; но не будемъ также, подобно страусу, прятать наши головы въ кусты, чтобы не выдать врага. Встрѣтимъ лучше его

лицомъ къ лицу и постараемся побѣдить. Я увѣрена, что всѣ эти недостатки не органическіе, т. е. не заключаются въ природѣ русской женщины, но скорѣе слѣдствіе ложныхъ понятій о воспитаніи женщины и ея назначенія».

Г-жа Х—ва не хочетъ видѣть въ мужчинахъ главной причины недостатковъ. Она хочетъ увѣрить женщинъ, что онѣ виноваты сами, что онѣ сами, одни могутъ исправиться, и что съ исправленіемъ ихъ все пойдетъ иначе. Цѣль въ этомъ случаѣ похвальная. Г-жа Х—ва дѣлаетъ воззваніе къ русскимъ женщинамъ и желаетъ внушить имъ бодрость, подать имъ силы для великаго и прекраснаго подвига; но похвальная цѣль автора не мѣшаетъ намъ замѣтить неполнѣе вѣрное сужденіе. Общество развивается органически: усовершенствованіе въ одной части его ведетъ за собою пропорціональное улучшеніе всего устройства, всего общественного сознанія; недостатокъ въ отдѣльной части лежитъ тяжелымъ бременемъ на всеобщественномъ зданіи. Неразвитость мужчинъ парализовала всѣ лучшія стремленія женщинъ, тѣмъ болѣе, что въ нашемъ обществѣ одному мужчинѣ были даны кой-какія средства къ развитію,—средства, которыми женщина, при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ, могла пользоваться не иначе, какъ черезъ мужчину. Неразвитость женщинъ, вслѣдствіе неразвитости мужчинъ, въ свою очередь оказывала губительное, мертвящее вліяніе на семейную жизнь, развивала пустыя свѣтскія отношенія, задерживала и забивала стремленіе къ истинѣ, проявлявшееся въ молодомъ поколѣніи. Оба пола вредили другъ другу, не пускали другъ друга впередъ, и женщина собственными силами не могла пробить преграду, которую поставили передъ нею своекорыстная рутинка, привычка, общественные предрасудки; ей трудно, невозможно было идти къ истинному образованію, когда общество и близкіе люди требовали отъ нея совѣтъ другого; нуженъ былъ сильный толчокъ, который бы отозвался во всѣхъ слояхъ общества: такимъ толчкомъ были историческія обстоятельства, совершающіяся передъ нашими глазами. Толчокъ этотъ вызвалъ дѣятельность мужчинъ и уже потомъ нашель себѣ отголосокъ въ женщинѣ; слѣдовательно, главною причиною зла были все-таки мужчины, которые, присвоивъ себѣ неограниченную монополію, принимая участіе въ государственной жизни, занимаясь наукой, творя въ области искусства, не умѣли или не могли внести живительной мысли въ свою семейную жизнь, не могли открыть глазъ на истину тѣмъ существамъ, которые находились отъ нихъ въ умственной зависимости. Не можемъ, такимъ образомъ, принять возраженія г-жи Х—вой противъ мнѣнія Бѣлинскаго, тѣмъ болѣе, что возраженіе это высказано голословно, бездоказательно, въ формѣ воззванія къ

<sup>1)</sup> „И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имѣете вы право требовать отъ нея, чтобы она была не тѣмъ, чѣмъ сами-же вы ее сдѣлали? Можете-ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невѣсту и жену, и ничего болѣе? Развѣ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобы наладиться этимъ ароматомъ, этой гармоніей женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и сообщенія женщины, которыя такъ кротко, успокоительно и обаятельно дѣйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали-ль вы когда-нибудь имѣть друга въ женщинѣ, въ которую вы совсѣмъ не влюблены, сестру въ женщинѣ, вамъ посторонней?—Нѣтъ! Если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиной, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ женщинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину свое исключительное вниманіе, то всегда съ положительными видами—ради женитьбы или волокитства. Вотъ взгляды на женщину чисто утилитарныя, почти коммерческія: она для васъ—капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ; если не то, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...“ „Отеч. Зап.“, т. XXXIX.

русской женщины. Второе письмо — «о значении женщины» вполне соответствует своему заглавию. Роль женщины в семейном быту определена верно; обязанности ее в отношении к человечеству, значение ее для усовершенствования и облагораживания отдельной личности и дѣла общества представлены в общих чертах, но так, что ни одно слово автора не может вызвать противоречія. Указаны также условия, препятствовавшія развитію и разумной самостоятельности женщины. Условия эти вытекают изъ многихъ ложныхъ, неправильно понятыхъ или искаженныхъ законовъ общества, вытекаютъ изъ неразвитости самого общества, создавшаго себѣ уродливые законы или искажившаго тѣ правила общезжитія, которыя вначалѣ имѣли разумное основаніе. При этомъ г-жа Х—ва обходитъ вопросъ, затронутый ею въ первомъ письмѣ, — вопросъ о томъ, насколько мужчина виноватъ в неразвитости женщины. Вообще, нельзя не замѣтить въ статьѣ г-жи Х—вой неопредѣленности и неоконченности, которая происходитъ оттого, что статья эта должна была имѣть продолженіе. Многие поднятые въ ней вопросы не разрѣшены, во многихъ мѣстахъ авторъ общается читателю объяснить нѣкоторыя вещи впоследствии и не объясняетъ. На этомъ основаніи нельзя надъ этой статьёю произнести рѣшительнаго приговора. Можно только сказать, что идеаль женщины, который представляеть г-жа Х—ва, стоитъ на той нравственной высотѣ, которой требуютъ понятія лучшихъ, передовыхъ людей нашего современнаго общества. Считая семейство истиннымъ поприщемъ для дѣятельности женщины, авторъ въ то-же время не отрицаетъ у нея права говорить свое слово во дѣлахъ общества, науки и искусства. Г-жа Х—ва избѣгаетъ, такимъ образомъ, той деспотической исключительности, въ которую впадаютъ въ наше время многие писатели, обсуживающіе вопросъ о назначеніи и обязанностяхъ женщины.

**Мысли объ устройствѣ женскихъ училищъ въ губернскихъ городахъ. А. Чумикова. Институты. Луизы Бюхнеръ.**

Статья Чумикова и небольшой отрывокъ изъ сочиненія нѣмецкой писательницы Луизы Бюхнеръ сходятся между собою по сюжету и по основной идеѣ, и потому мы будемъ говорить о нихъ вмѣстѣ. Первая статья больше второй по объему, предложенные вопросы рассмотрѣны въ ней полнѣе, и потому мы обратимъ на нее преимущественное вниманіе. Желая высказать свои мысли объ устройствѣ женскихъ училищъ въ губернскихъ городахъ, Чумиковъ сначала предлагаетъ себѣ вопросъ, удовлетворяють-ли

современнымъ требованіямъ педагогики закрытыя или замкнутыя учебныя заведенія, которыя г-жа Бюхнеръ называетъ въ своей статьѣ институтами. И Чумиковъ, и г-жа Бюхнеръ находятъ въ основной идеѣ этихъ заведеній существенные недостатки; возраженія ихъ въ главныхъ чертахъ сходны между собою и имѣютъ много общаго съ мыслями г-жи L. S. de M., которой брошюру: «Un mot aux mères» мы уже рекомендовали нашимъ читательницамъ. Сознавая необходимость домашняго семейнаго воспитанія, безъ котораго дѣвица не можетъ сдѣлаться хорошею женою, матерью и хозяйкой, всё трое встаютъ противъ замкнутыхъ заведеній, отчуждающихъ дочь отъ матери и отъ той сферы, для которой она создана. Возраженія Чумикова отличаются особенною полнотой, практическимъ знаніемъ дѣла и заботливымъ вниманіемъ въ подробности пансіонскаго воспитанія. Чтобы со всѣхъ сторонъ обсудить дѣло, авторъ прежде всего рассказываетъ объ историческомъ происхожденіи закрытыхъ заведеній. Заведенія эти получили свое развитіе подъ влияніемъ г-жи Ментенонъ, въ царствованіе Людовика XIV, когда общество было развращено, когда, вслѣдствіе этого, семейная жизнь находилась въ упадкѣ, когда дѣвицы не могли видѣть у себя дома поучительнаго примѣра со стороны родителей. Сообразныя съ духомъ того времени, вызванныя мрачными, печальными историческими обстоятельствами, закрытыя училища, при постепенныхъ успѣхахъ нравственности и семейственности, стали терять благотѣльное значеніе для общества; они утратили свой смыслъ, какъ утрачиваетъ его всякое учрежденіе, переживающее свое время. Конечно, этого положенія нельзя возвести въ общее правило, нельзя сказать утвердительно, что закрытыя заведенія пережили свое время, потому что многія матери и теперь не могутъ или не хотятъ воспитывать своихъ дѣтей собственными силами, собственнымъ влияніемъ и примѣромъ. Все это справедливо; но при этомъ нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Чумикова, допускающаго пансіоны только какъ необходимое зло, для тѣхъ только дѣтей, «которыхъ родители умерли физически или нравственно». Обсудивъ идею, лежащую въ основаніи замкнутыхъ заведеній, объяснивъ ее происхожденіемъ историческими обстоятельствами, Чумиковъ обращается къ нашей современности и рассматриваетъ эту идею въ единичныхъ проявленіяхъ, въ практическомъ примѣненіи къ дѣйствительной жизни. Эта часть статьи, основанная, повидимому, на личномъ опытѣ автора, отличается наглядностью, полнотой подробностей и тонкимъ анализомъ того влиянія, которое могутъ оказывать на воспитанницъ различныя стороны обстановки, окружающей ихъ въ училищѣ. Чумиковъ начинается съ того, что сравниваетъ любящій надзоръ, нѣжную заботливость матери съ офи-

циальною, часто благонамѣренною, но большей частью холодною дѣятельностью губернантокъ и наставницъ. Разница между тѣмъ и другимъ, разница очевидная, понятная для нашихъ читательницъ, представлена очень вѣрно. Опредѣливъ роль наставницъ, указавъ на необходимыя, неизбѣжныя недостатки ихъ педагогической дѣятельности, Чумиковъ обращаетъ вниманіе читателей на то обстоятельство, что наставницы эти принуждены дробить свое вниманіе, свою заботливость между сотнями дѣвицъ, различныхъ по характеру, по умственнымъ способностямъ, по первоначальному направленію, полученному ими въ родительскомъ домѣ. Естественнымъ слѣдствіемъ этого дробленія является, по словамъ Чумикова, необходимость дѣйствовать *куртомъ*, на массу; а такого рода дѣйствія ведутъ за собой подавленіе индивидуальности, сглаживание личнаго характера, между тѣмъ какъ воспитаніе должно, напротивъ того, покровительствовать развитію личности, вызывать наружу, пробуждать и направлять къ дѣятельности врожденныя способности каждаго недѣлнмаго. Затѣмъ Чумиковъ переходитъ къ разсмотрѣнію отношеній между воспитанницами и въ этихъ отношеніяхъ видитъ зародыши многихъ свойствъ души, искажающихъ и подавляющихъ женственность. Соревнованіе ведетъ къ развитію зависти, къ желанію отличиться, къ кокетству; тѣсныя ежедневныя отношенія между дѣвками, получившими различное направленіе, могутъ произвести между ними взаимный обмѣвъ недостатковъ, отъ которыхъ, быть можетъ, многія воспитанницы остались-бы свободны въ родительскомъ домѣ. При этомъ Чумиковъ не упускаетъ изъ вида развитія мечтательности, романческаго настроенія ума, развитія того *обожанія*, которое составляетъ техническій терминъ въ каждомъ закрытомъ заведеніи. Таковы нравственныя слѣдствія пансіонскаго воспитанія, разбѣдиненность съ дѣйствительною жизнью, холодность сердца, сосредоточенность и рядомъ съ этими качествами болѣзненное развитіе воображенія, вѣднней чувствительности, которая, конечно, не замѣнитъ душевной теплоты, возникающей только при соприкосновеніи съ дѣйствительнымъ житейскимъ горемъ, при видѣ дѣйствительнаго страданія. Не менѣе печальныя результаты собственно умственнаго, научнаго образованія. Недостатки системы преподаванія, сухой, стѣсненной отсталыми программами, стѣсненной всей пансіонскою рутинною жизнью въ классахъ и внѣ классовъ, эти недостатки понятны всякому, кто дорожитъ въ наукѣ живою мыслью, кому близко къ сердцу развитіе ученика безъ отношенія къ экзамену и къ благоволенію начальства. Чумиковъ представилъ очеркъ борьбы молодого преподавателя съ обстоятельствами, вѣднней обстановкой заведенія и умственной апатіей воспитанницъ. Борьба эта кон-

чается тѣмъ, что молодой, талантливый и образованный учитель начинаетъ вести дѣла по-старому, т. е. задавать уроки, диктовать готовые вопросы и отвѣты, прослушивать затверженныя, но не вошедшія въ сознаніе слова, предложенія и періоды. Трудно себѣ представить, чтобы такъ было вездѣ, во всѣхъ закрытыхъ заведеніяхъ; но нельзя не согласиться, что въ словахъ Чумикова видно основательное знаніе описываемаго предмета, что въ нихъ слышится такое искреннее, честное убѣжденіе, которое невольно заставляетъ вѣрить, тѣмъ болѣе, что представленныя имъ результаты, подкрѣпленные примѣрами изъ жизни, прямо, непосредственно вытекаютъ изъ самой сущности или основной идеи закрытаго заведенія. Чумиковъ и Луиза Бюхнеръ разсматриваютъ тотъ-же предметъ съ различныхъ сторонъ. Первый говоритъ о положительномъ вредѣ пансіонскаго воспитанія; нѣмецкая писательница, напротивъ того, обращаетъ вниманіе на его отрицательную сторону, т. е. на то, чего лишаются воспитанницы, удаляясь на долгое время изъ родительскаго дома или вообще изъ семейнаго быта. Статья г-жи Бюхнеръ заслуживаетъ сочувствія по своему направленію; но она очень коротка, не разсматриваетъ практическихъ средствъ, которыми располагаютъ пансіоны, и не показываетъ недостатковъ преподаванія.

Вторая часть статьи Чумикова содержитъ въ себѣ практическія совѣты для устройства въ губернскихъ городахъ училищъ для приходящихъ дѣвицъ или, какъ ихъ называютъ теперь, женскихъ гимназій. Совѣты эти относятся преимущественно къ отысканію матеріальныхъ средствъ для учрежденія и содержанія этихъ училищъ и къ главнымъ чертамъ внутренняго управленія училища; о системѣ преподаванія, о числѣ классовъ, о распредѣленіи занятій между ученицами различныхъ возрастовъ сказано очень коротко и въ общихъ выраженіяхъ; объ экзаменахъ, о томъ, оставить-ли ихъ въ новыхъ училищахъ, и ежели они останутся, какъ ихъ производить, — объ этомъ не сказано ни слова. Вообще, вторая часть статьи замѣчательна болѣе по своему современному направленію, нежели по практической прихвнмости высказанныхъ въ ней совѣтовъ. Чумиковъ правильно обсудилъ свой вопросъ, но въ его статьѣ нельзя видѣть проекта, который могъ-бы быть приведенъ въ исполненіе. Ежели сморгѣть на статью съ этой точки зрѣнія, то въ ней можно замѣтить много недоговореннаго, много пробѣловъ. Заслуга Чумикова заключается въ томъ, что онъ выставилъ недостатки закрытыхъ заведеній и указалъ путь къ лучшему порядку вещей въ дѣлѣ женскаго воспитанія.

### Заграничныя письма въ редакцію «Журнала для Воспитанія», В. Водовозова.

Заграничныя письма Водовозова заслуживаютъ полного вниманія нашихъ читателей, какъ по своему литературному достоинству, такъ и по интересу описываемаго въ нихъ предмета. Водовозовъ сообщаетъ свѣдѣнія о современномъ положеніи воспитанія въ Германіи. Письма его занимательнѣе простыхъ впечатлѣній и путевыхъ записокъ туриста, — записокъ, часто довольно безсвязныхъ, носящихъ на себѣ явные слѣды случайности въ выборѣ и расположеніи описываемыхъ предметовъ. Причины этой случайности заключаются въ томъ, что на путешествіе многие смотрятъ, какъ на простое развлеченіе. Всякое путешествіе, предпринимаемое сознательно, по внутренней потребности, должно имѣть какую-нибудь специальную, хотя и не исключительную цѣль. Путешественникъ передъ своимъ отъѣздомъ долженъ отдать себѣ отчетъ въ томъ, что интересуетъ его, чего онъ намѣренъ искать за границею, во что намѣренъ вглядываться, съ какой точки зрѣнія будетъ онъ смотрѣть на встрѣчающіеся ему предметы. Поэтъ и художникъ будутъ собирать впечатлѣнія въ картинахъ природы, въ наблюденіи типическихъ личностей, въ которыхъ отражается національность; натуралистъ будетъ смотрѣть на тѣ же предметы, но будетъ подвергать ихъ анализу, вмѣсто того, чтобы соединить ихъ въ стройныя картины и наслаждаться общимъ впечатлѣніемъ; историкъ, агрономъ, политикъ, — словомъ, каждый специалистъ взглянетъ на дѣло съ своей точки зрѣнія; всѣ они осмотрятъ все, что заслуживаетъ вниманія, но каждый изъ нихъ откроетъ и разработаетъ для себя ту сторону предмета, которая займетъ его болѣе, каждый выпесетъ свое оригинальное впечатлѣніе, и характеръ этой оригинальности отразится въ его запискахъ. Безъ этого самобытнаго характера, придающаго описанному впечатлѣнію жизнь и силу, безъ единства мысли не можетъ быть въ путевыхъ запискахъ ни художественнаго достоинства, ни научнаго интереса. Научный интересъ дѣлается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше дробится вниманіе путешественника, чѣмъ сосредоточеннѣе кругъ его наблюденій. Въ этомъ отношеніи заграничныя письма Водовозова почти теряютъ характеръ путевыхъ впечатлѣній и, сохраняя литературную живость изложенія, представляютъ чисто научныя свѣдѣнія о состояніи германскихъ училищъ. Здѣсь авторъ писемъ понялъ и представилъ германскій народный характеръ, насколько онъ выразился въ педагогической дѣятельности. Высокое развитіе народа, просвѣщенный взглядъ на вещи и добросовѣстное знаніе дѣла обнаруживаются въ каждомъ учрежденіи, описанномъ Водовозовымъ. Нигдѣ нѣтъ ничего необдуманнаго, снитаго на

живую нитку или предоставленнаго случайности: все заранѣе обсуждено, разобрано и примѣнено къ условіямъ мѣстности, къ потребностямъ воспитывающагося сословія, къ возрасту дѣтей и къ степенямъ ихъ умственнаго развитія. Преподаваніе идетъ рука объ руку съ нравственнымъ воспитаніемъ; сообщая фактическія свѣдѣнія, учитель въ то-же время пробуждаетъ самостоятельность учениковъ, заставляетъ ихъ мыслить, дѣйствуетъ на ихъ нравственное чувство, причаетъ ихъ къ сознательному повиновенію и къ исполненію долга. Въ низшихъ училищахъ нѣтъ строгаго разграниченія между областями наукъ; уроки, задаваемые учителями, не лежатъ особнякомъ, какъ-бы въ отдѣльныхъ ящикахъ, въ головѣ ребенка: они постоянно находятся въ движеніи, примѣняются въ постоянныхъ упражненіяхъ, въ которыхъ вызываются въ одно время наружу свѣдѣнія географическія, историческія, арифметическія и т. д. Ребенокъ приучается смотрѣть на эти свѣдѣнія, какъ на свою собственность; онъ привыкаетъ распоряжаться этимъ капиталомъ, онъ знаетъ, гдѣ что взять въ своей памяти, какъ иногда приложить къ дѣлу. Словомъ, живая связь науки съ практической жизнью составляетъ основную черту той педагогической системы, по которой идетъ преподаваніе въ училищахъ, посѣщенныхъ Водовозовымъ. Водовозовъ видѣлъ сиротскіе дома, дѣтскіе сады, въ которыхъ развиваются въ играхъ умственныя способности дѣтей перваго возраста, видѣлъ народныя училища съ болѣе серьезной методой преподаванія, осматривалъ гимнастическія школы и, наконецъ, посѣтилъ нѣсколько женскихъ учебныхъ заведеній, объ устройствѣ которыхъ онъ отзывался съ большою похвалою. Устройство этихъ училищъ, насколько можно судить по фактамъ, сообщеннымъ Водовозовымъ, удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ современной науки. Объемъ преподаванія, распределеннаго въ Ганноверскомъ училищѣ между девятью классами, довольно обширенъ и можетъ дать дѣвушкамъ самое разностороннее развитіе, особенно ежели принять въ соображеніе, что воспитанницы не ограничиваются сферою школьной дѣятельности: живя дома, у родителей, онѣ имѣютъ всѣ средства пріобрѣтать практическое знаніе и прилагать къ жизни свѣдѣнія, вынесенныя изъ школы. Распределеніе предметовъ между различными классами указываетъ на строго соблюденную постепенность въ переходѣ отъ легкаго къ болѣе трудному, отъ чисто конкретнаго къ болѣе отвлеченному. Число уроковъ, время занятій также измѣняются сообразно съ возрастомъ воспитанницъ. Цѣлю образованія въ Ганноверской школѣ является гармоническое развитіе силъ ума и души, безъ всякаго стѣсненія личности, безъ всякаго стремленія къ какой-нибудь частной, ограниченной цѣли; на женщину смотрятъ, какъ

на самостоятельную личность, имѣющую право развиваться для себя и пользоваться своимъ развитіемъ для удовлетворенія своихъ внутреннихъ потребностей, сообразно со своими наклонностями и побужденіями. Не всѣ германскіе педагоги раздѣляютъ этотъ взглядъ на вещи: въ нѣкоторыхъ женскихъ училищахъ жертвуютъ для частныхъ цѣлей всеобщимъ развитіемъ; но на такой взглядъ на вещи можно смотрѣть не иначе, какъ на уклоненіе, при которомъ трудно женщинѣ достигнуть своего назначенія.

### Вліяніе искусства на воспитаніе. *Б. М.—а.* (№№ 2 и 9).

Необходимость эстетическаго образованія сознается всѣми современными педагогами, правильно смотрящими на конечную цѣль воспитанія. Эта цѣль состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать человѣка человѣкомъ, то-есть возвысить, облагородить, развить всѣ его способности, вселить въ него стремленіе къ лучшему и дать ему средства къ самосовершенствованію. На пути этого самосовершенствованія человѣка ожидаютъ горести и сомнѣнія; ему предстоитъ борьба съ собственными несовершенствами, трудъ, работа надъ самимъ собою. Поэтому такъ часто говорятъ, что человѣкъ созданъ для труда и борьбы. Борьба эта становится тѣмъ упорнѣе, исходъ борьбы тѣмъ сомнителнѣе, чѣмъ больше расходятся обязанности человѣка съ его желаніями, чѣмъ больше разладъ между нравственнымъ долгомъ и чувственными явленіями. На этомъ основаніи одна изъ важнѣйшихъ задачъ воспитанія состоитъ не въ томъ, чтобы во имя долга подавить личную свободу, искоренить враждебныя наклонности и влеченія, а въ томъ, чтобы согласить, примирить одно съ другимъ, чтобы дать правильное развитіе этимъ наклонностямъ, которыя въ противномъ случаѣ, не получивши должнаго направленія, могутъ переродиться въ страсти и повести къ самымъ печальнымъ уклоненіямъ отъ разумности. Нужно, чтобы человѣкъ дѣлалъ добро, по возможности не насилуя своей природы; нужно, чтобы онъ смотрѣлъ на трудъ не какъ на печальную необходимость, а какъ на внутреннюю потребность, какъ на существоющее условіе жизни, какъ на высокое наслажденіе; хорошія, благородныя влеченія должны по возможности обратиться въ привычку, сдѣлаться второю природою правильно развитою человѣка. Степень развитія можно довольно безошибочно опредѣлять по тѣмъ предметамъ, которые нравятся человѣку,—по тому, въ чемъ онъ находитъ себѣ удовольствіе или наслажденіе. Чѣмъ грубѣе, необразованнѣе человѣкъ, чѣмъ ниже стоитъ его природа въ нравственномъ отношеніи, тѣмъ матеріальнѣе его наслажденія, тѣмъ менѣе они проникнуты мыслью, тѣмъ ближе они къ чисто жи-

вотнымъ влеченіямъ. Такія наслажденія, конечно, не могутъ имѣть образовательнаго вліянія: вмѣсто того, чтобы облагораживать человѣка, они удерживаютъ его въ состояніи нравственнаго униженія. Между тѣмъ, наслажденіе составляетъ одну изъ потребностей человѣческой души. Способность наслаждаться принадлежитъ къ числу благороднѣйшихъ ея способностей; но способность эта нуждается въ развитіи. Человѣку свойственно стремленіе къ прекрасному, но каждый понимаетъ прекрасное по своему, часто невѣрно и превратно. Задача эстетическаго образованія состоитъ именно въ томъ, чтобы воспользоваться этимъ врожденнымъ стремленіемъ и показать ему вѣрную дорогу. Эстетическое образованіе должно пріучить человѣка любить прекрасное и правильно понимать его; оно должно образовывать и очистить вкусъ, показать человѣку то, въ чемъ должно искать наслажденія, развить въ немъ способность наслаждаться тѣмъ, что дѣйствительно прекрасно,—тѣмъ, что можетъ оказывать на душу благотворное, обновляющее вліяніе. Плодомъ эстетическаго образованія должны быть внутренняя гармонія, согласіе между долгомъ и желаніемъ, между разсудкомъ и чувствомъ, отсутствіе той борьбы, которая всегда служитъ признакомъ еще неполнаго развитія. Къ такой дѣли должно стремиться. Можно ли ея достигнуть—это другой вопросъ,—вопросъ, на который, повидимому, придется отвѣчать отрицательно. Были, впрочемъ, избранные люди, которые еще при жизни достигали внутренняго успокоенія и прочнаго душевнаго мира. Къ числу такихъ людей можно отнести В. Гумбольдта и Огюстена Тьерри: оба эти ученые считали трудъ, самоотверженіе во имя науки высочайшимъ наслажденіемъ; слѣдовательно, влеченіе и долгъ были согласены. Оба они были высоко развиты въ эстетическомъ отношеніи: В. Гумбольдтъ былъ замѣчательный критикъ, цѣнитель изящнаго во всѣхъ его проявленіяхъ; Тьерри былъ художникъ въ дѣлѣ историческаго творчества. Оба они подъ конецъ жизни сознавали что честно исполнили долгъ человѣка, и оба умерли съ этимъ спокойнымъ сознаніемъ; ихъ душевнаго мира не могли нарушить ни тѣлесныя страданія, которыя пришлось испытать Тьерри, ни огорченія отъ потери близкихъ людей, которыя выпали на долю Гумбольдта. Итакъ, вотъ плоды эстетическаго образованія. Говорить отдѣльно о необходимости такого образованія для женщины мы считаемъ излишнимъ, потому что твердо убѣждены, что ея духовная природа имѣетъ тѣ же потребности, какъ и природа мужчины, что женщина, какъ и мужчина, имѣетъ право сказать: «Я—человѣкъ, и ничто человѣческое не считаю для себя чуждымъ».

Возникаетъ вопросъ: съ какихъ лѣтъ должно начинать эстетическое образованіе? Отвѣтъ на это ясенъ: для однихъ раньше, для другихъ позд-



нѣе, но вообще чѣмъ раньше, тѣмъ лучше. Пока еще нельзя дѣйствовать положительными средствами, пока нельзя развивать вкуса, потому что дремлютъ умственные способности и не окрѣпли физическія силы, до тѣхъ поръ нужно дѣйствовать отрицательно, охраняя ребенка отъ всего того, что можетъ непріятно поразить его и произвести болѣзненное, хотя и смутное, неясное впечатлѣніе. Статья г. М.—а содержитъ въ себѣ множество прекрасныхъ и вполне примѣнимыхъ наставленій насчетъ того, какъ управлять первоначальнымъ эстетическимъ образованіемъ ребенка. Для исполненія его совѣтовъ не нужно ни хлопотъ, ни большихъ издержекъ: нужна только добрая воля, а главное—убѣжденіе въ необходимости эстетическаго образованія и сознаніе того, что образованіе это начинается съ первыхъ впечатлѣній ребенка, а не съ того времени, когда ему читаютъ съ кафедръ теорію изящнаго. Авторъ статьи совѣтуетъ обращать вниманіе на обстановку, которая окружаетъ ребенка въ первые дни и годы его жизни. Совѣтъ этотъ основательнѣе, хотя съ перваго взгляда можетъ показаться, что внѣшняя обстановка не имѣетъ важнаго значенія въ дѣлѣ воспитанія. Надо вспомнить, что ребенокъ сначала способенъ воспринимать одни внѣшнія впечатлѣнія, что на него всего сильнѣе дѣйствуетъ то, что поражаетъ его чувство. Эти впечатлѣнія, воспріятыя сначала случайно, инстинктивно, мало-по-малу получаютъ смыслъ въ глазахъ ребенка. Оставаясь въ его памяти, они начинаютъ дѣйствовать на его понятія, будить въ его душѣ чувства, вызывать къ дѣятельности воображеніе. Для характера ребенка очень важно то, при какихъ условіяхъ совершилось это первое пробужденіе духовной дѣятельности; важнымъ даже обстановка, убранство комнаты, потому что все это производитъ впечатлѣніе на воспримчивые, еще не окрѣпнувшіе нервы. Впослѣдствіи, въ извѣстномъ возрастѣ, любовь къ чистотѣ и порядку совершенно отдѣляется отъ высшаго эстетическаго чувства, побуждающаго человѣка наслаждаться созерцаніемъ красоты или воплощать мысль въ соответствующую ей форму; но въ первые годы жизни опрятность и порядочность составляютъ первые проблески эстетическаго чувства, котораго высшія проявленія еще не доступны дѣтскому пониманію. Поэтому г. М.—ъ совѣтуетъ дорожить этими проблесками и смотрѣть на нихъ не только съ практической стороны, не только какъ на качества, доставляющія въ жизни внѣшнія удобства и комфортъ. Говоря о попыткахъ творчества, которыя часто проявляются въ дѣтскихъ играхъ, въ любимыхъ занятіяхъ дѣтей, г. М.—ъ обращаетъ на этотъ предметъ вниманіе воспитателей. Чѣмъ самобытнѣе и безыскусственнѣе эти попытки, чѣмъ меньше въ нихъ подражательности и стремленія къ эффекту, тѣмъ большую цѣну должны онѣ имѣть въ глазахъ воспитателя, который, не стѣс-

няя свободы ребенка, не обращая его забавы въ работу, долженъ помогать ему и дружескимъ со-вѣтомъ руководить его опыты. Попытки эти дороги не столько, какъ задатки будущаго таланта, сколько потому, что онѣ показываютъ въ ребенкѣ присутствіе живого природнаго смысла и само-роднаго стремленія къ дѣятельности. Совершенно противоположность съ этими здоровыми проявленіями творчества, выражающагося часто въ грубыхъ или причудливыхъ, но естественныхъ формахъ, составляютъ такъ называемые таланты, привитые къ дѣтямъ искусственнымъ воспитаніемъ, суровую дисциплиною, безъ которой рѣдко обходится раннее обученіе какому-нибудь искусству. Эти преждевременные таланты чаще всего проявляются въ дѣтяхъ художниковъ и, къ сожалѣнію, составляютъ рѣдко предметъ спекуляціи со стороны родителей. Въ такомъ талантѣ обыкновенно нѣтъ ничего самобытнаго; все его достоинство состоитъ во внѣшней эффектности. Ребенокъ безсознательно усваиваетъ себѣ механизмъ искусства, не понимая его идеи, не имѣя въ себѣ искры художественнаго чувства. Подобное развитіе представляетъ печальное, болѣзненное уклоненіе отъ той цѣли, къ которой должно вести истинное эстетическое образованіе. Къ числу такихъ же неестественныхъ, привитыхъ къ дѣтскому возрасту проявленій эстетическаго чувства г. М.—ъ относитъ совершенно справедливо дѣтскіе балы и театры, стѣсняющіе свободное развитіе личностей и побуждающіе дѣтей перенимать всѣ приемы взрослыхъ. Опредѣливъ, въ чемъ должно состоять вообще развитіе любви къ изящному въ дѣтяхъ перваго возраста, авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ отраслей искусства. Онъ объясняетъ ихъ образовательную силу и показываетъ средства, которыми можно ввести предметы искусствъ въ кругъ ежедневныхъ впечатлѣній ребенка. Эти предметы, назначенные для того, чтобы пробуждать эстетическое чувство въ высшемъ смыслѣ этого слова, должны быть приурочены къ дѣтскому возрасту. Красоты тѣхъ произведеній, которыми мы окружаемъ дѣтей, должны быть красоты простыя, понятныя, близкія дѣтскому сердцу. Картины должны изображать такіе эпизоды, въ которыхъ проявлялось бы чувство, доступное дѣтямъ, способное возбудить въ нихъ сочувствіе,—музыкальная мелодія должна отличаться простотою; въ противномъ случаѣ искусство останется для дѣтей чуждымъ элементомъ и не получитъ образовательнаго вліянія. Нужно прежде всего не учить искусству, а пробудить въ ребенкѣ способность наслаждаться изящнымъ. Наслажденіе это будетъ сначала инстинктивное, безотчетное; но лишь бы это было дѣйствительное, непритворное, хотя и несознанное наслажденіе: оно обогородитъ и принесетъ свою пользу. У насъ въ обществѣ держатся обратнаго пути; о вліяніи искусства на нравственность, на чувства

не заботятся. Искусство сведено на степень механической ловкости, и на развитіе этой ловкости обращено все вниманіе родителей и воспитателей. Ребенка, не обнаружившаго еще никакихъ музыкальныхъ наклонностей, неспособнаго съ удовольствіемъ выслушать самую простую и не натянутую мелодію, сажаютъ прямо за фортепіано и заваливаютъ гаммами и экзерсисами. Мудрено-ли, что, при подобныхъ условіяхъ, гибнетъ эстетическое чувство ребенка, забытаго рутинною, запуганнаго сухими безжизненными формами, въ которыхъ впервые передъ его глазами является искусство. Немудрено и то, что наше общество, которое всего болѣе дорожитъ внѣшностью, не заботясь о внутреннемъ содержаніи, немудрено, что это общество обращаетъ такъ мало вниманія на истинное эстетическое образованіе. При этомъ образованіи внѣшній блескъ есть явленіе случайное, на которое нельзя разсчитывать; а обществу нуженъ блескъ, во что бы то ни стало, и вотъ въ наше воспитаніе введено, подъ именемъ искусства, бездушное изученіе разныхъ механическихъ приѣмовъ, въ которыхъ нѣтъ ни мысли, ни чувства. Такъ изучаютъ музыку, живопись, танцы. При такомъ порядкѣ вещей воспитанники и воспитанницы не могутъ испытывать на себѣ благотворнаго вліянія искусства, при такомъ порядкѣ вещей можно смѣло сказать, что у насъ еще нѣтъ эстетическаго образованія или что оно составляетъ удѣлъ немногихъ избранныхъ людей, поставленныхъ судьбою въ особое счастливое положеніе. Статья г. М.—а можетъ напомнить педагогамъ, какую важную часть воспитанія они упускаютъ изъ вида.

**Быть и казаться.** *Н. И. Пирогова.* (№ 5).  
**Внѣшность въ жизни и воспитаніи.** *Натали Гр.* (№№ 4 и 5).

Говоря о статьѣ X—вой: «Письма къ русскимъ женщинамъ», мы видѣли, что главный недостатокъ, который авторъ замѣчаетъ въ нашихъ женщинахъ, состоитъ въ ихъ двойственности, въ стремленіи къ блестящей внѣшности, въ желаніи прикрыть приличною и изящною обстановкою бѣдность и пустоту какъ духовнаго міра, такъ и физическаго, домашняго быта. Эта двойственность не есть явленіе случайное: напротивъ, это результатъ неправильнаго развитія общества; она проникла во всѣ условія его существованія и породила множество пустыхъ, иногда вредныхъ формальностей въ отношеніяхъ между людьми. Эти формальности сдѣлались необходимы; онѣ освящены временемъ и получили силу закона. За нихъ держатся многие, какъ за святыню, и держатся не безъ причины: отнимите у нихъ эти формальности, и они ужаснутся, имъ сдѣлается страшно. Вы отнимете у нихъ все, что составляло содержаніе ихъ жизни, все, что давало пищу ихъ мыслительной способности, и имъ поневолѣ придется познакомиться съ пустою собственной души; а пустота всегда возбуждаетъ ужасъ. Этого-то ужаса и составляетъ людей, считающихъ себя неспособными къ серьезному дѣлу, создавать себѣ свой міръ, въ которомъ есть и трудъ, и борьба, и развлеченія, но въ которомъ все это не требуетъ ни напряженія мысли, ни внутренняго подготовленія, въ которомъ и труды, и неприятности облечены въ самую заманчивую и привлекательную форму. Къ этому-то особенному міру внѣшности, къ этому міру, живущему по своимъ искусственнымъ законамъ, приготавливаютъ и молодое поколѣніе, особенно съ того возраста, когда въ немъ пробуждается умственная самостоятельность, когда мысли его, развиваясь по естественнымъ законамъ природы, начинаютъ принимать направленіе, несходное съ установившимися условіями. Вліяніе внѣшности на воспитаніе женщины составляетъ явленіе признанное,—явленіе, о которомъ высказано нѣсколько правдивыхъ мыслей въ статьѣ г-жи X—вой. Мы уже знаемъ, какъ дѣйствуютъ на дѣвушку безпрестанные выѣзды, практическіе уроки старшихъ дѣввицъ и женщинъ, приѣмъ гостей у себя дома, старанія нравиться и держать себя въ обществѣ, какъ слѣдуетъ,—словомъ, вся обстановка свѣтской жизни, въ которую часто вступаютъ дѣвушки, едва переставшіи быть дѣтьми. Но какъ ни рано вступаютъ онѣ въ свѣтъ, а вліяніе этого свѣта должно проявиться еще гораздо раньше. Чтобы вывезти дѣвушку на балъ, нужно ее приготовить, и вотъ приготовленіе это начинается чуть ли не съ самой колыбели. Что вліяніе свѣта на первоначальное и нравственное воспитаніе ребенка действительно существуетъ, это неопровержимый фактъ, это доказывается тѣмъ различіемъ, которое существуетъ между городскимъ и деревенскимъ воспитаніемъ, между воспитаніемъ средняго и высшаго классовъ. Въ чемъ же состоитъ это вліяніе? Статья г-жи Гр. представляетъ замѣчательную попытку отвѣчать на этотъ любопытный вопросъ. Статья эта: «Внѣшность въ жизни и воспитаніи» не посвящена исключительно женскому воспитанію, но затрогиваетъ въ ней вопросъ такъ важенъ, онъ имѣетъ такое всеобъемлющее значеніе, отъ его правильнаго разрѣшенія такъ много зависитъ успѣшное развитіе женщины, что мы считаемъ себя въ правѣ говорить объ этой статьѣ на страницѣхъ нашего журнала. Г-жа Гр. разсматриваетъ въ своей статьѣ первый возрастъ, въ которомъ воспитаніе еще не различаетъ половъ,—тотъ возрастъ, когда еще не начиналось правильное ученіе, когда вмѣсто уроковъ преподавателя мы видимъ первые изустныя наставленія матери или няньки. Возрастъ этотъ очень важенъ, болѣе, нежели

могло бы показаться съ перваго взгляда. Въ этомъ возрастѣ ребенокъ жадно воспринимаетъ впечатлѣнія окружающаго міра, переработываетъ ихъ по-своему въ своей маленькой головкѣ и изъ отдѣльных, мелкихъ фактовъ своей ежедневной жизни, изъ подмѣченныхъ имъ отрывочныхъ словъ и поступковъ собираетъ себѣ матеріалы для будущаго характера. Въ этомъ возрастѣ ребенокъ живетъ своей жизнью; у него своя логика, свой міръ, полный грезъ и дѣтскихъ фантазій,—міръ, къ которому трудно привыкнуть взрослому, въ который можно проникнуть только при довѣрїи малютки, о которомъ можно составить себѣ понятіе только долгимъ, тщательнымъ наблюденіемъ. Въмѣсто того, чтобы изучать этотъ дѣтскій міръ, существованіе котораго прекрасно представилъ Н. И. Пироговъ въ своей статьѣ «Быть и казаться», воспитатели въ старину насильно врываются въ этотъ міръ «съ желомъ въ рукѣ», то-есть преждевременными наказаніями возмущали гармонію дѣтской души, а въ наше время они вносятъ въ дѣтскія понятія много такого, что не имѣетъ ничего общаго съ природою и составляетъ исключительную принадлежность общества. Г-жа Гр. беретъ примѣры прямо изъ жизни; она перечисляетъ множество привычекъ, которыя насильно навязываютъ дѣтямъ, множество правилъ общечитія, съ которыми ихъ заставляютъ сообразоваться, которыхъ они не могутъ обсудить и подвергнуть критикѣ и которыя при неправильномъ или неполномъ пониманіи могутъ внушить имъ превратный или безразветвенный взглядъ на вещи. Вотъ для примѣра выписка изъ статьи г-жи Гр.:

«Ему столько твердятъ о необходимости расшаркиваться, посылать ручкой поцѣлуй и даже иногда говорить заученные комплименты—все это часто съ помощью сластей и подобныхъ наградъ — что, наконецъ, побѣдивъ его природную застенчивость, достигаютъ своей цѣли. Но что-же сообщаютъ ему въ этомъ чисто внѣшнемъ обычаѣ? Одну пустую, холодную форму учтивости, которая для взрослыхъ имѣетъ смыслъ и значеніе, но совершенно чужда понятіямъ дитяти, потому что безъ разбора прилагается ко всякому являющемуся въ гостиной; она не выражаетъ ни влеченія его сердца къ одному лицу болѣе, нежели къ другому, ни привязанности къ тѣмъ близкимъ, которыхъ онъ привыкъ часто видѣть въ домѣ родителей,—однимъ словомъ, ни одного изъ тѣхъ откровенныхъ порывовъ чувства, которые составляютъ главную прелесть дѣтскаго возраста. И неужели эти свѣтскія формы, которыя позже обращаются въ принужденность и жеманство, могутъ имѣть въ глазахъ матери болѣе прелести, нежели простота и истина въ каждомъ движеніи, словѣ и дѣйствіи? Вѣдь эта истина во всемъ существѣ человѣка остается ему на всю жизнь не въ одной только внѣшней формѣ, но и проникаетъ все изгибы его сердца. Кромѣ этого ранняго искаженія дѣтской наивности, ребенокъ, при такомъ вниманіи къ наружнымъ формамъ, научается преждевременно

различать оттѣнки положенія и свѣтскихъ отношеній, которыя какъ можно долѣе должны оставаться ему неизвѣстны. Онъ рано видитъ, что реверансы и комплименты требуются отъ него только въ гостиной; но никто не заставитъ его поклониться какому-нибудь не почетному гостю, котораго принимаютъ въ залѣ или передней, мастеровому или бѣдной старушкѣ, которые приходятъ къ родителямъ его съ задняго крыльца. Какъ грустно видѣть, что такимъ образомъ уничтожаются въ самомъ зародышѣ истинно-человѣческія его чувства: неподдѣльная сердечность, искренность и невинное понятіе о братствѣ людей, эти чистые источники любви, которые выше всѣхъ добродѣтелей христіанскихъ! И чѣмъ замѣняютъ ихъ? внѣшними безжизненными формами, которыя покрываютъ сердце человѣка какою-то ледяною корою, и всего чаще изподъ этой наружной утонченной любезности проглядываютъ надменность, холодность и нечувствительность».

Въ этихъ первыхъ проявленіяхъ пробуждающагося въ ребенкѣ сознанія, въ первыхъ движеніяхъ мысли, обуславивающей совѣты и наставленія взрослыхъ, въ первыхъ умозаключеніяхъ, которыя выведетъ изъ своего размысленія ребенокъ, можно видѣть задатки, зародыши будущихъ свойствъ его души. Ребенка приучаютъ къ салонной вѣжливости, его заставляютъ улыбаться знатному гостю, и въ то-же время онъ видитъ, что не обращаютъ вниманія на другаго; онъ видитъ это и (дѣти догадливы и часто наблюдательны) думаетъ по-своему, и Богъ знаетъ, къ какому результату ведетъ его процессъ его ребяческаго мышленія, незрѣлаго, часто неослѣдовательнаго, но имѣющаго въ его глазахъ полную цѣну. Изъ мысли, зародившейся въ подобную минуту и незамѣченной взрослыми, могутъ возникнуть современемъ, сообразно съ общественнымъ положеніемъ ребенка, гордость, аристократическая исключительность или стремленіе къ внѣшнимъ отличіямъ, честолюбіе или-же рабское подобострастіе и желаніе угождать сильнымъ. Такимъ образомъ стараніе родителей приучить дѣтей къ внѣшнимъ приемамъ вѣжливости можетъ повести къ подавленію естественныхъ, вложенныхъ въ душу человѣка благородныхъ побужденій. То-же преобладаніе внѣшности происходитъ чрезъ всѣ отрасли нашего воспитанія; оно представлено въ статьѣ г-жи Гр. въ приложеніи къ религіозному образованію и къ умственному развитію. Въ первомъ случаѣ ребенка заставляютъ учить наизусть длинныя молитвы, которыхъ онъ не понимаетъ и которымъ, слѣдовательно, не можетъ сочувствовать; во второмъ случаѣ его механически обучаютъ языкамъ, и главную роль въ этомъ обученіи занимаетъ заучиваніе наизусть басенъ и стиховъ, которые потомъ ренетируются въ салонѣ, въ присутствіи родителей и гостей. Въ первомъ случаѣ подавляется свободное развитіе религіознаго чувства; является бессознательная, тупая или лицемѣрная, притворная приверженность къ внѣшности, къ об-

рядамъ. Во второмъ случаѣ врожденная любознательность забивается или получаетъ превратное направленіе; ребенокъ привыкаетъ рисоваться, выставлять свои свѣдѣнія, предпочитать похвалу и лести собственному внутреннему сознанию своего достоинства,—сознанию, которое можетъ и должно быть внушаемо ребенку съ самаго ранняго возраста. Если представить себѣ развитие всѣхъ названныхъ нами качествъ въ дѣвущкѣ, пережившей уже первые годы дѣтства, то легко будетъ объяснить себѣ причины мелочной расчетливости, рассчитанной и безцѣльной кокетливости, пустой формальности въ дѣлѣ религіи,—формальности, не оживленной мыслью, не согрѣтой истиннымъ, нравственнымъ чувствомъ. Если вспомнить, что всѣ эти свойства часто проявляются въ нашихъ женщинахъ, ежели привести ихъ въ прямое соотношеніе съ направленіемъ, которое даютъ дѣтямъ перваго возраста, то не трудно будетъ представить себѣ, какую важную роль играетъ въ судьбѣ нашей женщины развитіе внѣшности въ жизни и воспитаніи. Г-жа Гр. правильно и послѣдовательно опредѣляетъ недостатки такого направленія. Она указываетъ въ то же время на направленіе противоположное, при которомъ силы ребенка, не стѣсненныя неумѣстнымъ, грубымъ внѣшательствомъ взрослыхъ, развиваются естественно и правильно, при которомъ роль воспитателя ограничивается тѣмъ, что онъ предостерегаетъ ребенка отъ уклоненій и ошибокъ, даетъ матеріалъ его мысли и постепеннымъ упражненіемъ укрѣпляетъ его физическія и духовныя силы. При такой системѣ воспитанія, г-жа Гр. совѣтуетъ воспитателю входить въ міръ дѣтскихъ интересовъ, изучать законы, по которымъ дѣйствуетъ мысль воспитанника, и дѣйствовать на него, сообразуясь съ этими законами. Стараясь примѣнить первоначальное воспитаніе къ дѣтскимъ понятіямъ, г-жа Гр. иногда впадаетъ въ крайность. Такъ напримѣръ, она отстаиваетъ волшебные рассказы, которыми занимаютъ дѣтей въ первомъ возрастѣ, и требуетъ только, чтобы рассказы эти были художественны и граціозны. На это можно возразить, что дѣтямъ трудно оцѣнить художественное достоинство рассказа, что все вниманіе ихъ будетъ устремлено на фантастическое сіяніе событій; ихъ поразитъ всего болѣе противорѣчіе между этими событіями и законами дѣйствительности. Если мы даже допустимъ, что волшебные рассказы не поведутъ къ несоразмѣрному развитію воображенія, не породятъ вредныхъ и нелѣпыхъ предразсудковъ, то все-таки они останутся безполезнымъ бременемъ въ памяти и не дадутъ здоровой пищи мыслительнымъ силамъ ребенка. Есть много знаній изъ области естествовѣдѣнія и исторіи, которыя могутъ быть сообщены ребенку въ самомъ нѣжномъ возрастѣ и которыя подѣйствуютъ на него такъ-же обаятельно, какъ дѣйствуетъ волшебная сказка.

Есть, наконецъ, рассказы, въ которыхъ ребенокъ можетъ нечувствительно ознакомиться съ окружающимъ его міромъ, можетъ мало-по-малу расширить сферу своихъ понятій. Такіе рассказы, ежели въ нихъ есть эстетическія достоинства, могутъ нечувствительно приготовить вкусъ къ тѣмъ литературнымъ произведеніямъ, интересъ которыхъ основанъ не на событіяхъ, а на развитіи мысли, на созданіи характеровъ, на изображеніи людей и жизни.

Статья Пирогова «Быть и казаться», перепечатанная въ «Журналѣ для Воспитанія», въ отдѣлѣ «Педагогическій Сборникъ», изъ «Одесскаго Вѣстника», разбираетъ тотъ-же вопросъ о значеніи внѣшности, примѣненный къ частному случаю. Пироговъ спрашиваетъ себя, какое вліяніе можетъ имѣть на нравственность дѣтей выходъ ихъ передъ публикою на сцену въ роли, заранѣе приготовленной и изученной. Вопросъ этотъ вызванъ былъ спектаклемъ, происходившимъ въ одной изъ одесскихъ гимназій. Разрѣшеніе этого вопроса повело за собою въ статьѣ Пирогова рядъ прекрасныхъ мыслей о своеобразныхъ свойствахъ дѣтской души, о внутреннемъ мірѣ дѣтей, въ который взрослые насильемъ или хитростью, съ умысломъ или неумышленно, вносятъ преждевременно свои не всегда вѣрныя понятія, не всегда честныя побужденія, не всегда естественныя и законныя стремленія. Отъ этого смѣшенія разнородныхъ элементовъ въ душѣ ребенка рано проявляется двойственность, рано обнаруживается потребность замѣнить или, вѣрнѣе, заслонить истинныя чувства поддѣльными, естественныя мысли привитыми, голосъ совѣсти—пониманіемъ приличій. Дѣтскіе театры, по словамъ Пирогова, содѣйствуютъ такому превращенію; свѣтскія удовольствія не имѣютъ ничего общаго съ дѣтскими играми, не составляютъ потребности возраста: они принесены извнѣ, привиты взрослыми и уже по одному этому составляютъ въ дѣтской жизни явленіе ненормальное,—явленіе, которое можно было бы допустить только тогда, когда бы оно приносило существенную пользу. Но пользы эти развлеченія не приносятъ; напротивъ, они только готовятъ дѣтей къ будущей свѣтской жизни, приучая ихъ къ пустой болтовнѣ, къ бездѣйствію, къ мелочному тщеславію. Слѣдовательно, развлеченія эти вредны. Можно было бы возразить на это, что изученіе роли заставляетъ всматриваться въ положенія дѣйствующаго лица, вдумываться въ его характеръ, что онъ такимъ образомъ развиваетъ мыслительную способность, пробуждаетъ эстетическое чувство и знакомитъ съ дѣйствительной жизнью. Все это справедливо въ теоріи, но непримѣнимо къ силамъ дѣтскаго возраста. Ребенокъ видитъ въ театрѣ развлеченіе; онъ не обращаетъ вниманіе ни на нравственную сторону сценическаго представленія, ни на художественное достоинство пьесы. Онъ способенъ чувствовать изящное тогда, когда оно поражаетъ, охва-

тываетъ его со всѣхъ сторонъ; ему сдѣлается хорошо и легко на душѣ при видѣ прекрасной мѣстности, цвѣтущей природы. Но отыскивать изящное, вдумываясь въ предметъ, онъ еще не въ состояніи: для этого нужно слишкомъ много критики. Въ литературныхъ произведеніяхъ дѣтямъ всего болѣе нравится обыкновенно то, что выходитъ изъ уровня дѣйствительности, — то, что человѣку съ развитымъ вкусомъ покажется уродливымъ и неестественнымъ. Преобладающая сила воображенія и неспособность вдумываться въ предметъ помѣшаютъ дѣтямъ оцѣнить красоты драматическаго произведенія, ежели даже допустить, что они станутъ искать въ своемъ спектаклѣ чего нибудь, кромѣ костюмовъ, декораций и необычной хлопотливой дѣятельности. Сверхъ того, пьесы, предназначающіяся для дѣтскихъ спектаклей, пишутся обыкновенно кое-какъ, безъ психологическаго изученія, безъ вѣрнаго воспроизведенія жизни; авторъ влагаетъ въ свое произведеніе нравственную мысль, пересыпаетъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ сентенціями; въ концѣ по року наказывается, добродѣтель торжествуетъ, и занавѣсъ опускается. Все это заставляетъ насъ вполне согласиться съ мнѣніемъ Пирогова о дѣтскихъ спектакляхъ, которыя стоятъ совершенно на ряду со всѣми свѣтскими развлеченіями, принимаемыми къ дѣтскому возрасту. Элемента изящнаго въ дѣтскихъ спектакляхъ искать нельзя. Обсуживая свой частный вопросъ, Пироговъ не говоритъ о всѣхъ проявленіяхъ внѣшности въ воспитаніи: онъ только прекрасно опредѣляетъ нравственное значеніе двойственности и выводитъ происхожденіе этой двойственности изъ разлада между приемами воспитанія и естественными свойствами дѣтской души, — между дѣтскою природою и тѣмъ элементомъ, который насильственно прививается извнѣ.

### Значеніе матери въ юношескомъ воспитаніи.

*Натали Г—ть.* (№ 3).

Участіе матери въ воспитаніи сына или дочери не только важно, но даже необходимо: отъ вліянія матери во многихъ отношеніяхъ зависитъ будущій характеръ ребенка, въ ея рукахъ находится возможность дать его пробуждающимся мыслямъ то или другое направленіе. Отвѣтственность матери велика; обязанности ея священны. Для достойнаго выполненія подобныхъ обязанностей, кромѣ истиннаго материнскаго чувства, къ которому способна каждая женщина, необходимо еще предварительное теоретическое приготовленіе, необходимо умственное развитіе, которое внушило бы матери-воспитательницѣ правильный взглядъ на ея задачу, которое предохранило бы ее въ дѣлѣ воспитанія отъ увлеченій и ошибокъ. Въ воспитаніи своихъ дѣтей мать должна дѣйствовать съ полнымъ безкорыстіемъ,

не стараясь пріобрѣсти надъ ними исключительнаго вліянія, которое могло бы подавить ихъ самостоятельность или дать ихъ душевнымъ способностямъ одностороннее направленіе. Вліянію этому дѣти могутъ подчиниться тѣмъ болѣе, что оно не тяготитъ ихъ, что оно проникнуто искреннею любовью и не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ грубымъ деспотизмомъ, который всегда, рано или поздно, вызываетъ противодѣйствіе со стороны угнетенныхъ. Здѣсь воспитанники не видятъ ни наказаній, ни строгихъ выговоровъ; имъ хорошо, они любятъ свою мать всѣми силами дѣтской души и съ удовольствіемъ привыкаютъ не думать о своихъ потребностяхъ и даже удовольствіяхъ, не обсуживать своихъ поступковъ, смотрѣть на все глазами матери и, не формируя себѣ ни собственнаго мышленія, ни собственной воли, повиноваться по силѣ инерціи. Есть возрастъ, когда такое повиновеніе необходимо; но должно желать, чтобы возрастъ этотъ кончался какъ можно раньше, чтобы воспитаннику было время упражнять мыслительныя способности и волю прежде, нежели онъ выйдетъ изъ родительскаго дома и вступить въ дѣйствительную жизнь. Но ребенокъ не можетъ такимъ образомъ соображать и рассчитывать, онъ не можетъ знать, что ему понадобится самостоятельность, и потому не можетъ самъ постепенно освободить себя изъ-подъ вліянія матери. Здѣсь должна дѣйствовать сама мать; она сама должна пріучать ребенка обдумывать и взвѣшивать ея приказанія, которыя мало-по-малу должны измѣнять свой характеръ и переходить въ совѣты и наставленія; она сама должна развивать въ немъ практическую способность ума и предостерегать его отъ слѣпотаго подчиненія авторитету. Задача трудная! За нее должно браться осторожно, должно вести дѣло впередъ нечувствительно для самого воспитанника, который не былъ бы въ состояніи понять истинной побудительной причины въ дѣйствіяхъ матери. Для выполненія этой задачи необходимо теоретическое размышленіе надъ цѣлями и средствами педагогической дѣятельности. Матери необходимо заранѣе опредѣлить себѣ свою роль, свое значеніе въ дѣлѣ воспитанія. Это вопросъ очень важный, и теоретическое рѣшеніе его должно составить одну изъ задачъ нашей педагогической литературы. Рѣшеніе этого вопроса можетъ имѣть благотворное вліяніе на воспитаніе женщины. Объяснивъ себѣ, въ чемъ состоитъ задача матери, мы узнаемъ, чѣмъ должна быть женщина, и тогда нетрудно будетъ соразмѣрить приемы воспитанія съ той конечной цѣлью, которая должна быть имъ достигнута. Статья г-жи Г—ть по своему заглавію даетъ намъ право ожидать удовлетворительнаго отвѣта. Значеніе матери въ юношескомъ воспитаніи — это и нужно опредѣлить. Вліяніе матери на физическое воспитаніе дѣтей очевидно и понятно. Вліяніе ея на умственное образованіе дѣтей перваго возраста не

представляет значительнаго интереса, потому что въ этомъ возрастѣ едва пробуждается само-дѣятельность воспитанника; зато влияние матери на юношеское воспитаніе составляетъ важный и сложный вопросъ. Здѣсь уже нужно опредѣлить отношеніе между этимъ влияніемъ и формирующимся характеромъ личности; здѣсь еще нужно влияние матери, чтобы сдерживать и умѣрять слишкомъ сильныя проявленія юношескаго права. Но влияние это должно быть въ известныхъ границахъ, чтобы не стѣснять свободнаго развитія личности; въ опредѣленіи этихъ границъ и заключается весь вопросъ. Посмотримъ, насколько отвѣчаетъ на него статья г-жи Г—ть. Статья эта состоитъ изъ трехъ частей. Въ первой части, въ родѣ вступленія, г-жа Г—ть показываетъ только, что влияние матери благотворно, «что для женщины недостаточно посвящать себя» хозяйству, кухнѣ или руководѣю, что она должна быть матерью и что, желая быть матерью, нужно приготовить себя къ этому прочнымъ умственнымъ образованіемъ. Все это вѣрно, но не ново. Доказывая эти признанныя истины, г-жа Г—ть тратитъ понапрасну много труда; она оспариваетъ мнѣнія, не стоящія опроверженія, — мнѣнія, которыхъ, вѣроятно, въ наше время никто не рѣшился бы высказать громко или печатно. Такъ, напримѣръ, она говоритъ: «непростительно думать, что женщинѣ вовсе не нужно образованія и познаній»; «полагать, что все, чему ее учили въ дѣтствѣ и юности, имѣло только одну суетную цѣль, есть опасное заблужденіе» и т. п. Но кто же теперь такъ думаетъ или полагаетъ? Говоря о важности влияния матери, г-жа Г—ть не выходитъ изъ общихъ мѣстъ, иногда впадаетъ въ преувеличеніе, употребляетъ, вмѣсто доказательства, сравненія и риторическія фигуры и вообще не обсуживаетъ своего вопроса хладнокровно, не рассматриваетъ его со всѣхъ сторонъ, а старается подвѣствовать на чувство и воображеніе читателя. «Кто, кромѣ просвѣщенной матери, — говоритъ она, — можетъ образовать чело-вѣка въ лучшемъ его значеніи?» На этотъ вопросъ, на который г-жа Г—ть, повидимому, не ожидаетъ отвѣта, можно отвѣчать: обстоя-тельства жизни, горькая школа лишений и несчастій. Большая часть великихъ характеровъ образуется въ борьбѣ, и борьба эта часто начинается съ малолѣтства. Ребенокъ, лишенный покровительства родителей, сирота, сосредоточиваетъ въ себѣ свои душевныя силы, не даетъ воли чувству, вдумывается въ поступки окружающихъ его людей, привыкаетъ къ лишениямъ и съ малолѣтства набираетъ силы для будущей борьбы съ обстоятельствами. Суровое воспитаніе, нерадостно проведенное дѣтство часто могутъ имѣть болѣе благотворное влияние на развитіе характера, нежели любящая заботливость матери. Считать вслѣдствіе этого подобное воспитаніе нормальнымъ было бы странно, потому что оно можетъ прежде-

временно озлобить юношу, внушить ему неосновательную ненависть къ жизни и къ людямъ; мы сдѣлали наше замѣчаніе для того только, чтобы показать, что сужденіе г-жи Г—ть высказано бездоказательно, и что она не дала себѣ труда ближе и точнѣе опредѣлить заслугу матери въ дѣлѣ воспитанія. Вмѣсто того г-жа Г—ть сравнивается влияние матери съ значеніемъ «дожда для брошеннаго въ землю сѣмени», или «солнечнаго луча для раскрывающагося цвѣтка». Должно сознаться, что подобныя фигуры мало разъясняютъ дѣло. За этой первой частью, которая, даже какъ общее вступленіе недостаточна, по бѣдности и общезвѣстности высказанныхъ въ ней идей, слѣдуютъ двѣ главы объ умственномъ образованіи. Въ одной изъ этихъ главъ говорится объ ученіи, въ другой — о выборѣ наставниковъ. Обѣ главы эти заключаютъ въ себѣ нѣсколько совѣтовъ, которые могутъ быть полезны для матерей; но ни та, ни другая не опредѣляютъ значенія матери въ юношескомъ воспитаніи. Въ первой доказывается, что ученіе должно быть серьезно, дѣльно, не должно состоять изъ однихъ забавъ, съ которыхъ обыкновенно начинается преподаваніе для дѣтей перваго возраста. Это — мысль вполне вѣрная; г-жа Г—ть справедливо упрекаетъ составителей такъ называемыхъ популяр-ныхъ руководствъ въ томъ, что они для занимательности жертвуютъ достоинствомъ науки, серьезно ея идею, что, напримѣръ, вмѣсто курса исторіи они предлагаютъ собраніе анекдотовъ, плохо связанныхъ между собою. Наша литература бѣдна учебниками, и потому въ ней нѣтъ подобныхъ явленій; зато литературы иностранныя, особенно французская, изобилуютъ такого рода книгами (напримѣръ, учебники Ламе-Флери). Г-жа Г—ть подмѣчаетъ здѣсь одинъ изъ главныхъ недостатковъ исключительнаго влияния матери: жалѣя своихъ дѣтей, не желая напрягать ихъ умственныя способности, мать можетъ излишней нѣжностью ослабить ихъ энергію, отучить ихъ отъ всякаго серьезнаго труда. Это замѣчаніе вполне справедливо. Домашнее преподаваніе очень часто страдаетъ указанными недостатками, которые ведутъ за собою дилетантизмъ въ наукѣ и поверхностность во взглядѣ на жизнь и на всякую дѣятельность. Слѣдующая глава не имѣетъ связи съ предыдущимъ и рассматриваетъ частный вопросъ — «о выборѣ наставника». Г-жа Г—ть совѣтуетъ искать въ преподавателѣ не вышней эффектности, «не свѣтскаго остроумія и умѣнья нравиться», а внутреннихъ достоинствъ и прочныхъ познаній; она говоритъ, что не должно при отбѣнкѣ личности поддаваться первому впечатлѣнію, требуетъ, чтобы уважали людей, посвятившихъ себя наукѣ и педагогическимъ трудамъ, и вообще, какъ и въ первой части своей статьи, ограничивается тѣмъ, что высказываетъ довольно гладкими фразами обще-известныя мысли, не имѣющія ничего общаго съ

главнымъ предметомъ статьи. Вопросъ о вліяніи матери на воспитаніе юности остается едва затронутымъ и совершенно нерѣшеннымъ.

### Деспотизмъ материнской любви. С. Н. (МѢ 3 и 4).

Повѣсть г-на С. Н. заслуживаетъ вниманія нашихъ читателей, по вѣрности и оригинальности проведенной въ ней идеи. Авторъ этой повѣсти доказываетъ, что исключительное вліяніе матери на воспитаніе дѣтей можетъ имѣть свои печальные послѣдствія, что самая материнская любовь, чувство высокое и святое, можетъ впадать въ крайность и тяготѣть надъ самостоятельностью сына или дочери. Это—мысль смѣлая. Авторъ можетъ навлечь на себя упрекъ въ томъ, что онъ не понялъ или искажилъ материнское чувство; но упрекъ этотъ былъ бы несправедливъ: какъ бы мы ни уважали какое-либо чувство, какъ бы ни было оно чисто и прекрасно, мы никогда не должны читать ему панегирикъ; напротивъ, не теряя ни на минуту критической способности, мы должны подвергнуть это чувство анализу, и тогда, отдѣливъ его случайныя несовершенства и уклоненія отъ разумности, мы будемъ въ состояніи сознательно уважать его прекрасныя стороны, а сознательное уваженіе всегда прочіѣ увлеченія. На этомъ основаніи мы не думаемъ, чтобы чтеніе повѣсти «Деспотизмъ материнской любви» могло имѣть для нашихъ читателей какія-нибудь вредныя послѣдствія: оно не потрясетъ авторитета доброй матери, а, напротивъ, заставитъ вдуматься въ ея чувство и попытается оцѣнить его безкорыстно. Авторъ повѣсти представилъ деспотизмъ материнской любви; но и въ этомъ деспотизмѣ нѣтъ ничего неблагороднаго, къ нему не примѣшиваются никакіе личные виды: этотъ деспотизмъ проистекаетъ изъ избытка чистой любви и доказываетъ только, что въ дѣлѣ воспитанія для матери мало одной привязанности къ дѣтямъ и что рядомъ съ этой привязанностью должно быть умственное развитіе и знаніе тѣхъ законовъ, по которымъ правильно и свободно развиваются способности человѣческой души. Нельзя не пожалѣть, что воплію вѣрная мысль автора изложена въ формѣ повѣсти, а не въ теоретическомъ разсужденіи. Въ послѣднемъ случаѣ форма гармонировала бы съ содержаніемъ, мысль выиграла бы въ ясности, и не видно было бы неудачной попытки создать характеры и сочинить событія. Форма повѣсти возбуждаетъ въ насъ требованія, которыхъ не возбудила бы серьезная статья. Въ послѣдней мы должны обратиться все вниманіе на мысль, и мысль оказалась бы вѣрною; на первую, то-есть на повѣсть, мы должны смотрѣть, какъ на изящное произведеніе, и имѣемъ полное право требовать вѣрности характеровъ, живости дѣй-

ствія, занимательности, художественнаго группированія событій, въ которыхъ была бы проведена общая мысль, но проведена такъ, чтобы со стороны автора не было замѣтно усилія, старанія нанизать на эту мысль событія. Повѣсть, по нашимъ современнымъ понятіямъ, должна быть не нравоученіемъ въ лицахъ, а живымъ рассказомъ, взятымъ изъ жизни. Авторъ долженъ соблюсти въ своемъ произведеніи условія времени, то-есть воспроизвести ту эпоху, въ которой происходятъ описываемыя имъ событія; съ соблюденіемъ условій времени неразрывно связано соблюденіе мѣстнаго, народнаго колорита. Мы хотимъ видѣть въ дѣйствующихъ лицахъ живыхъ, дѣйствительныхъ людей, а на такихъ людяхъ всегда имѣютъ сильное вліяніе обстоятельства и духъ времени, въ нихъ всегда выражаются черты той національности, къ которой они принадлежатъ. Наконецъ, въ повѣсти должны быть представлены характеры, дѣйствительно существующіе или могущіе существовать, то-есть авторъ долженъ соблюсти психологическую истину и общечеловѣчскій интересъ. Дѣйствія каждаго изъ лицъ должны опредѣляться его личнымъ характеромъ; авторъ не имѣетъ права вводить случайностей, насильственно набирать событія, чтобы провести свою идею или оттѣнить какую-нибудь черту характера; событія должны въ естественной послѣдовательности вытекать одно изъ другого, не нарушая дѣйствительности, не противорѣча ея законамъ. Для насъ не должна быть замѣтна рука автора, передвигающаго дѣйствующихъ лицъ и распоряжающагося по своему произволу ихъ поступками и рѣчами. Постараемся же примѣнить высказанныя нами общезвѣстныя мысли къ повѣсти г-на С. Н., которая, повторяемъ, по вѣрности идеи, заслуживаетъ полнаго одобренія. Главными дѣйствующими лицами разсказа являются графиня и ея сынъ, вокругъ личности котораго группируются событія. Ни въ началѣ разсказа, ни послѣ авторъ не объявляетъ намъ, къ какой націи принадлежали графиня и ея сынъ. Онъ говоритъ, что дѣйствіе повѣсти происходитъ лѣтъ тридцать тому назадъ; но это указаніе на время не имѣетъ никакого вліянія ни на ходъ событій, ни на характеръ личностей. Обстановка, среди которой они живутъ, отношенія ихъ къ сосѣдямъ, къ другимъ сословіямъ не могутъ бросить никакого свѣта на важный и интересный вопросъ объ ихъ національности. Эта обстановка, эти отношенія очерчены такъ блѣдно, неопредѣленно и безцвѣтно, что могли бы имѣть мѣсто почти во всякой національности, почти во всякое время. Упомянется о замкѣ, въ которомъ они жили, о священникѣ и предсѣдателѣ суда, какъ о сосѣдяхъ; но что это за замкъ, на какой степени развитія стоятъ эти сосѣди, этого мы положительно не знаемъ. Личность самой графини очерчена только со стороны ея педагогической дѣятельности, но даже здѣсь можно сдѣлать



нѣсколько вопросовъ, которые не найдутъ себѣ удовлетворительнаго отвѣта. Гдѣ воспитывалась, при какихъ условіяхъ развивалась графиня, этого намъ не говоритъ авторъ; а между прочимъ это чрезвычайно важно: это обстоятельство, быть можетъ, объяснило-бы многія черты ея характера, многія особенности въ томъ вліяніи, которое она имѣла впоследствии на развитіе своего сына. Мы читаемъ въ повѣсти г-на С. Н., что графиня любила свѣтскую жизнь; но какимъ образомъ въ ней совершился переходъ отъ свѣтской жизни къ любящей матери-воспитательницѣ, этого не объяснено. Психологическій фактъ вѣренъ: женщина, веселившаяся въ продолженіе всей своей молодости, въ зрѣломъ возрастѣ обыкновенно обращается на путь истины, удалается въ свою внутреннюю семейную жизнь и большей частью, какъ бы желая воротить поцѣлу потраченное время, впадаетъ въ какую-нибудь крайность: ежели она обратится къ религіи, то впадеть въ бесполезное и предосудительное, но часто искреннее ханжество; ежели займется хозяйствомъ, то потеряетъ всякую женственность, превзойдетъ любого приказчика въ мелочной расчетливости и практичности. Подобной крайности не миновала и графиня: она занялась воспитаніемъ сына и посвятила себя этому дѣлу съ фанатическимъ, исключительнымъ увлеченіемъ. Фактъ, повторяемъ, вѣренъ, его можно объяснить себѣ; но этотъ трудъ долженъ былъ принять на себя самъ авторъ. Ему слѣдовало-бы показать намъ какую-нибудь сцену изъ жизни графини,—сцену, въ которой внѣшнія обстоятельства или внутренній процессъ мысли производятъ въ ней измѣненіе къ лучшему. Тогда переворотъ былъ бы объясненъ, и нельзя было бы упрекнуть автора въ произвольной группировкѣ событій. Воспитаніе молодого графа и жизнь его подъ вліяніемъ матери составляютъ сюжетъ повѣсти. Дѣйствія ребенка съ самаго нѣжнаго возраста стѣснены любящей, но излишней заботливостью матери. Г-нъ С. Н. приводитъ изъ жизни ребенка нѣсколько примѣровъ, нѣсколько очень естественныхъ случаевъ, въ которыхъ проявляется это стѣсняющее вліяніе. И въ этой части повѣсти вредитъ автору его желаніе, во что бы то ни стало, какъ можно ярче выставить на видъ и провести свою идею. Приведенные имъ случаи рассказаны мелькомъ, не оживлены подробностями, не происходятъ передъ глазами читателя; они рассказаны для нравоученія, и нравоученіе слѣдуетъ за каждымъ подобнымъ эпизодомъ. Сверхъ того, г-нъ С. Н. обнаруживаетъ намъ только одну сторону развитія молодого графа Вольдемара: приводимые имъ случаи подтверждаютъ мысль о деспотизмѣ материнской любви, но не даютъ полной и связной картины развитія молодого человѣка, не опредѣляютъ основныхъ чертъ его характера. Наконецъ случаи эти лишены той занимательности, которую

можно было бы придать имъ, ежели бы остановиться на живыхъ подробностяхъ внѣшней обстановки, ежели бы приложить къ нимъ психологическій анализъ,—словомъ, ежели бы сдѣлать изъ нихъ сцены семейной жизни, которыя, какъ нельзя лучше, очертили бы характеры главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Г-нъ С. Н. ни разу не воспользовался въ рассказѣ этихъ случаевъ диалогической формой, которая придала бы имъ колоритъ дѣйствительности, живость и наглядность. Здѣсь, передавая разговоръ между матерью и сыномъ, можно было бы показать съ одной стороны нѣжную любовь, выражающуюся въ каждомъ словѣ, и рядомъ съ этой любовью незнаніе дѣтскаго сердца, непониманіе истинной цѣли воспитанія; съ другой стороны, можно было представить въ словахъ сына ребяческую наивность съ проблесками ума, съ постепенно пробуждающимся стремленіемъ къ самостоятельности; можно было бы прослѣдить борьбу, совершавшуюся въ душѣ ребенка между этимъ стремленіемъ и чувствомъ сыновней любви; изъ ряда этихъ сценъ можно было-бы показать, какое направленіе принимаетъ характеръ молодого графа, въ какую сторону развиваются его наклонности. Въ рукахъ г-на С. Н. находился богатый матеріалъ, которымъ онъ рѣшительно не воспользовался. Диалогическая форма является у него совершенно некстати, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ всего лучше было-бы замѣнить ее яснымъ и сжатымъ изложеніемъ. Г-нъ С. Н. приводитъ разговоръ между графиней и наставникомъ, приглашеннымъ для воспитанія ея сына; въ этомъ разговорѣ наставникъ высказываетъ свою педагогическую теорію; графиня ее оспариваетъ, но оспариваетъ неудачно и подъ конецъ принуждена согласиться. Авторъ, очевидно, вложилъ въ уста учителя свои собственные мысли о воспитаніи. Мысли эти вѣрны и были бы вполне умѣстны въ серьезной статьѣ; но въ повѣсти не слѣдовало о нихъ много распространяться; не слѣдовало развивать дѣльную теорію: нужно было только обозначить ее въ главныхъ чертахъ и потомъ, по возможности подробно, въ сценахъ между педагогомъ и воспитанникомъ показать, какъ дѣйствуетъ эта система воспитанія на Вольдемара. Этого не сдѣлано. Приведа длинный и утомительный споръ, въ которомъ графиня, свѣтская женщина, не получившая основательнаго образованія, говоритъ языкомъ ученаго, но отсталого спеціалиста, г-нъ С. Н. въ самыхъ общихъ выраженіяхъ говорить, что вліяніе наставника на Вольдемара было благотворно, приводитъ нѣкоторыя распоряженія новаго педагога, но совершенно не прослѣживаетъ, какъ привились эти распоряженія, какимъ образомъ они были приняты матерью и ребенкомъ. То-же отсутствіе художественности и жизни, рядомъ съ вѣрностью мысли и правдоподобіемъ рассказанныхъ

фактовъ, проходить черезъ всю повѣсть г-на С. Н. Такъ, напримѣръ, послѣднее проявленіе деспотизма материнской любви состоитъ въ томъ, что графиня хочетъ заставить сына жениться на богатой, красивой и образованной дѣвушкѣ, съ полнымъ убѣжденіемъ, что это супружество составитъ счастье Вольдемара. Оказывается, что молодой человѣкъ уже любитъ другую дѣвушку, но такъ привыкъ уважать желаніе матери, такъ дорожить ея безкорыстной привязанностью, что готовъ повиноваться и отъ тяжелой внутренней борьбы занемогаетъ. Фактъ самъ по себѣ естественный и вполне вытекающій изъ характера дѣйствующихъ лицъ. Но фактъ этотъ, очевидно, приставленъ авторомъ для того, чтобы показать самый сильный примѣръ деспотизма. Доказательства очевидны: въ концѣ

повѣсти является приставное лицо, или, вѣрнѣе, одно имя лица, призваннаго однако-же играть весьма значительную роль. Оказывается, что Вольдемаръ съ дѣтства любитъ дѣвицу В. Между тѣмъ о дѣвицѣ В. до тѣхъ поръ не было сказано ни слова. Спрашивается: какъ-же могло развиться серьезное чувство при постоянномъ бдительномъ надзорѣ матери? спрашивается: гдѣ видѣлъ Вольдемаръ дѣвицу В., какое вліяніе имѣло чувство на развитіе молодого графа? Отвѣта нѣтъ, и по всему видно, что г-нъ С. Н., оканчивая свою повѣсть, приставилъ эпизодъ, не позаботившись о томъ, чтобы привести его въ органическую связь съ предыдущимъ. Должно сознаться, что даже вѣрность основной идеи не можетъ извинить подобныхъ промаховъ въ расположеніи фактовъ.

## „Русскій Педагогическій Вѣстникъ“ 1857, 1858 и 1859 гг.

**Подробный конспектъ преподаванія первоначальной математики малолѣтнимъ дѣтямъ.**

*П. Гурьева.*

Въ то время, когда педагогика не была возведена на степень самостоятельной науки, когда отъ преподавателя требовали только нѣкоторыхъ свѣдѣній да навыка, приобретаемаго практикою,—въ то время наука, не приспособленная къ дѣтскимъ силамъ, не оживленная жизненнымъ интересомъ, оставалась для учащихся непонятнымъ, случайнымъ, несомысленнымъ совокупленіемъ собственныхъ именъ, техническихъ терминовъ и механическихъ приѣмовъ: все это надо было осилить памятью, и только самые даровитые ученики, независимо отъ учителя, вносили живой смыслъ въ изученіе и старались, часто безуспѣшно, объяснить для себя то, что ихъ заставляли затверживать. Педагоги не понимали, что человѣчество, дошедшее до сознанія отвлеченныхъ истинъ и расположившее сознанія истины въ строгой, логической системѣ, шло путемъ опыта, руководствовалось внѣшними чувственными впечатлѣніями, и мало-по-малу, зрѣя и развиваясь, укрѣпляя свои мыслительныя силы постояннымъ упражненіемъ, возвысилось отъ нагляднаго представленія, отъ простаго наблюденія до пониманія общаго, отвлеченнаго, вѣчнаго закона. Они не понимали, что постигнуть отвлеченную истину можетъ только тотъ, кто привыкъ наблюдать, видѣть воплощеніе этой истины въ единичныхъ проявленіяхъ, предметахъ, взятыхъ изъ чувственнаго физическаго

міра; они не понимали, что съ ребенкомъ нельзя идти въ изученіи науки тѣмъ путемъ, который обыкновенно указывается въ дожинныхъ учебникахъ, составленныхъ людьми несвѣдущими, не задумывавшимися надъ потребностями и силами дѣтскаго возраста. Въ такихъ учебникахъ начинаютъ обыкновенно съ общихъ опредѣленій вѣроятно на томъ основаніи, что нельзя-же приняться за изученіе такого предмета, котораго названіе не понимаетъ воспитанникъ. Доказывать важность такого разсужденія въ настоящее время почти не нужно. Всякій знаетъ по себѣ, какъ трудно ему было съ перваго раза вмѣстить въ голову понятіе о значеніи и подраздѣленіяхъ географіи, о томъ, чему учить грамматика, о томъ, что такое ариометика, величина, число и т. д.; всякій помнитъ, какъ долго оставался въ его головѣ раздѣлъ между теоретическими положеніями науки, выученными по книгѣ, и тѣми географическими, грамматическими и ариометическими свѣдѣніями, которыя онъ приобрѣлъ навыкомъ, вынесъ изъ практической жизни. Рѣдкому ученику приходило въ голову то, что онъ во всякомъ, самомъ обыкновенномъ разговорѣ склоняетъ имена существительныя, согласуетъ съ ними прилагательныя, спрягаетъ глаголы,—словомъ, по навыку и по врожденной въ человѣкѣ способности къ языку, подчиняется всѣмъ тѣмъ законамъ, которые съ такимъ трудомъ, съ такою скукою ему приходится изучать по учебнику; рѣдкій ребенокъ, начинавшій заниматься ариометикой по прежней методѣ, понималъ, что, пере-

считывая подаренные ему орѣхи, дѣля ихъ поровну съ товарищемъ, играя въ четъ и нечетъ, онъ въ умѣ совершаетъ ариѳметическія выкладки, которыя кажутся ему такими мудреными и странными въ классной комнатѣ, за черной доскою. Нужно, слѣдовательно, связать науку съ жизнью; нужно, чтобы вездѣ практика была осмыслена наукою, и чтобы наука, съ своей стороны, благотворно, живительно дѣйствуя на всеневную жизнь, не допуская ее превратиться въ бездушную рутину, сама опиралась на опытъ и принимала въ расчетъ его указанія. Сознаніе этой связи должно начинаться для ребенка съ самаго ранняго возраста; ребенокъ долженъ понять или по крайней мѣрѣ инстинктивно почувствовать, что наука не придумана человѣкомъ произвольно, что она—снимокъ съ природы, сама природа, разоблаченная, разгаданная, открывшая свои законы пытливому разуму человека. Нужно, чтобы ребенокъ понялъ, что истины науки находятся между собою въ тѣсной, необходимой связи, что онѣ изложены въ томъ порядкѣ, какого требуютъ законы человѣческой мысли, что ихъ не сочилили, а что онѣ сами естественнымъ образомъ вытекаютъ одна изъ другой. Такія мысли не могутъ быть ясно сознаны ребенкомъ; но, мы повторяемъ, при рациональномъ преподаваніи онъ можетъ и долженъ инстинктивно чувствовать это. По старой методѣ названіе науки (арифметика, исторія и т. д.) было для воспитанника синонимомъ учебника, книги, переплетенной такъ или иначе, заключающей въ себѣ тѣ или другіе вопросы и отвѣты; по новой методѣ ребенокъ долженъ слышать названіе науки только тогда, когда усвоитъ себѣ цѣлый стройный кругъ истинъ, вышедшихъ изъ его собственной головы, выработанныхъ самодѣятельнымъ процессомъ его мысли, направляемой и поддерживаемой наставникомъ.

Такая метода преподаванія примѣнима въ полной чистотѣ своей только къ тѣмъ предметамъ, въ которыхъ можетъ работать одна мысль, почти безъ содѣйствія памяти, къ тѣмъ предметамъ, основа которыхъ заключается въ вѣчныхъ истинахъ, составляющихъ неотъемлемую принадлежность человѣческаго сознанія. Математическія истины въ стройномъ порядкѣ развиваются одно изъ другой. Тутъ нѣтъ случайностей, которыя нужно запомнить, нѣтъ сбивчивыхъ, перепутанныхъ подробностей, нѣтъ ни собственныхъ именъ, ни событий; слѣдовательно, математика болѣе, нежели какой-либо другой предметъ, должна быть излагаема такъ, чтобы самостоятельность ученика была постоянно возбуждена, чтобы мысль его, творя по своимъ естественнымъ законамъ, постоянно убѣждала его въ непреложности истинъ, постоянно говорила его сознанію: это такъ, и иначе быть не можетъ. Математика укрѣпляетъ мыслительную силу, придаетъ мысли правильность и логич-

ность, это—дознанная, слишкомъ часто повторенная истина. Эту истину повторяютъ, а между тѣмъ до сихъ поръ, особенно въ женскомъ воспитаніи; не вопли оцѣнили ее и не приложили къ дѣлу, образовательнаго вліянія математики. На математику смотрятъ только съ практической стороны: дѣвушкѣ, говорятъ, нужно знать четыре правила ариѳметики для счетоводства, для домашняго хозяйства, чтобы считать только, чтобы поваръ не обманывалъ. Пусть будетъ такъ! Неприятно не знать счета деньгамъ, не умѣть подвести итога прихода и расхода; но есть другія вещи, гораздо болѣе неприятныя. Больно и грустно видѣть, что часто лучшія наши женщины не умѣютъ мыслить, не проводить, даже въ словахъ, ни одной идеи до конца, строить странные силлогизмы, увлекаются воображеніемъ и чувствомъ, и часто, совершенно нестати, даютъ имъ перевѣсъ надъ логическими доводами ума. Это не мѣшаетъ имъ быть умными. Въ идеяхъ ихъ часто много блеска и оригинальности, но нѣтъ послѣдовательности; видно, что онѣ способны мыслить, да не привыкли, и потому не умѣютъ сдерживать порывовъ чувства и воображенія, которые часто совершенно неожиданно врываются въ рядъ дѣльныхъ, серьезныхъ мыслей. Многимъ нравятся эти неумѣстные порывы, многіе называютъ ихъ проявленіями женственности и считаютъ такое положеніе дѣлъ нормальнымъ. Мы не раздѣляемъ этого мнѣнія и думаемъ, что женственность проявляется въ мягкости чувства, въ живой воспримчивости ко всему истинному и прекрасному, а никакъ не въ отсутствіи способности хладнокровно мыслить и спокойно обсуживать предметы. Подвижность характера, неумѣніе остановиться на чемъ нибудь мыслью, неумѣніе принудить себя къ послѣдовательному труду,—всѣ эти качества часто принимаются за живость и искренность, между тѣмъ какъ они на самомъ дѣлѣ являются только результатами поверхностнаго образованія и умственной незрѣлости; эти-то качества и составляютъ основаніе такъ называемой безтолковости, въ которой не всегда несправедливо упрекаютъ женщинъ.

Устранить эту безтолковость можно только прочнымъ образованіемъ; а, какъ на бѣду, всѣ предметы, входящіе въ программу женскаго образованія, говорятъ болѣе чувству, нежели уму, особенно въ томъ объемѣ и въ томъ видѣ, въ какомъ они преподаются дѣвчатамъ. Идти-ли рѣчь объ исторіи, педагоги совѣтуютъ читать и, ради нравовченія, представлять біографіи стдѣльныхъ личностей, рассказывать живые факты, говорящіе чувству и воображенію; они обходятъ, даже имѣя дѣло съ дѣвцами старшаго возраста, обще-человѣческія идеи, которыхъ развитіе составляетъ душу исторіи, обходятъ міровые вопросы, обусловливавшіе собою жизнь народовъ и мѣсто, которое занимаютъ они въ

общей массѣ человѣчества. Рассказывая факты, педагоги никогда не пытаются представить своимъ слушательницамъ тотъ процессъ исторической критики, путемъ котораго эти факты очищены отъ вымысловъ; воспитанницамъ всегда даютъ готовые результаты науки, и онѣ часто не подозрѣваютъ, какими трудами и долгими сомнѣніями, какою борьбою куплено то, что достается имъ такъ легко, какъ бы само собою. Мы не желаемъ готовить дѣвицъ къ специально научной дѣятельности, но думаемъ, что для развитія умственныхъ способностей необходимо познакомиться, хотя отчасти, съ тайнами науки, съ процессомъ дѣятельности человѣческой мысли въ лицѣ ея лучшихъ, самыхъ развитыхъ представителей. Нѣтъ той науки, которая, при правильномъ преподаваніи, не могла бы развить мыслительной силы, и между тѣмъ изъ всѣхъ наукъ, преподаваемыхъ дѣвицамъ, ни одна не достигаетъ вполне этой цѣли. Изученіе литературы пробуждаетъ въ дѣвицѣ, при самыхъ благоприятныхъ условіяхъ, эстетическое чувство; но чувство это почти никогда не возвышается отъ инстинктивнаго восхищенія прекраснымъ до свѣтлой, опредѣленной, обдуманной, сознательной оцѣнки художественнаго произведенія. Все въ обученіи дѣвушки до такой степени клонится къ развитію чувства въ ущербъ холодному, спокойному разсудку, что въ педагогической литературѣ образовалось даже мнѣніе, будто такъ и должно быть, будто преобладаніе чувства надъ умомъ въ женщинѣ—явленіе нормальное и необходимое, будто гармонія въ развитіи ума и чувства—химера, недостижимая цѣль, къ которой даже не должно стремиться.

Мы уже высказали объ этомъ свое мнѣніе и думаемъ, что многія образовательныя средства оставлены до сихъ поръ въ незаслуженномъ пренебреженіи при воспитаніи женщины у насъ, въ Россіи. Къ числу этихъ средствъ можно отнести рациональное, систематическое преподаваніе математическихъ наукъ, въ томъ объемѣ, въ какомъ онѣ нужны каждому образованному человѣку, сколько для приложенія къ жизни, столько и для формированія правильнаго, послѣдовательнаго мышленія. Къ этимъ отраслямъ математики, необходимымъ для каждаго, мы относимъ арифметику и геометрію. Алгебра и аналитическая геометрія слишкомъ отвлеченны, и потому нѣтъ надобности вводить ихъ въ кругъ предметовъ женскаго образованія. Смотри такимъ образомъ на значеніе математики въ ряду другихъ наукъ, мы съ полнымъ сочувствіемъ и съ уваженіемъ встрѣтили трудъ Гурьева, составившаго подробный конспектъ для преподаванія арифметики и основныхъ началъ геометріи. Не будемъ входить въ разборъ приемовъ, употребленныхъ Гурьевымъ, а постараемся только передать духъ, мысль этихъ приемовъ. Конспектъ составленъ на основаніи системы нагляднаго обуче-

нія, такъ что, сообразуясь съ нимъ, преподаватель можетъ постоянно вести ребенка отъ предметовъ, непосредственно извѣстныхъ ему, къ болѣе отвлеченнымъ и общимъ понятіямъ; вмѣсто цифръ ученикъ видитъ передъ собою нѣсколько палочекъ или черточекъ и надъ ними, не изучивъ предварительно никакихъ приемовъ, дѣлаетъ всѣ арифметическія дѣйствія. Обиліе разнообразныхъ практическихъ упражненій составляетъ отличительный признакъ и главное достоинство конспекта Гурьева. При помощи этихъ упражненій ученикъ самъ угадываетъ и формируетъ себѣ общій законъ прежде, нежели услышитъ его отъ учителя. Законъ, вошедшій такимъ образомъ въ сознаніе путемъ собственнаго опыта и размышленія ученика, останется навсегда въ его памяти и притомъ можетъ постоянно, какъ живой капиталъ, находиться въ его распоряженіи; онъ добытъ изъ жизни и потому всегда останется свѣжѣе, осмысленнѣе, жизненнѣе заученнаго урока. Для неопытнаго преподавателя, особенно, какъ говорить самъ Гурьевъ, для преподавательницъ, выходящихъ изъ женскихъ учебныхъ заведеній, конспектъ этотъ будетъ самымъ полезнымъ пособіемъ, тѣмъ болѣе, что онъ, очевидно, составленъ не по одной чистой теории, а совмѣщаетъ въ себѣ указаніе педагогической науки съ результатами собственнаго опыта автора.

### О воспитаніи дѣвочекъ. Сочиненіе Фенелона.

Редакціи «Русскаго Педагогическаго Вѣстника» принадлежитъ мысль знакомить нашу читающую публику съ классическими произведеніями иностранныхъ педагогическихъ литературъ. Мысль эта была высказана при самомъ началѣ изданія, во 2 № 1857 года; за общаніемъ немедленно послѣдовало исполненіе, и «Русскій Педагогическій Вѣстникъ» въ два первые года своего существованія представилъ переводъ двухъ замѣчательныхъ произведеній. Первое—«Мысли о воспитаніи» Джона Локка, второе—«О воспитаніи дѣвочекъ» Фенелона. Оба эти произведенія не относятся къ нашей современности: оба они возникли въ концѣ XVII вѣка. И то, и другое имѣло въ свое время значительный и вполне заслуженный успѣхъ, но ни то, ни другое не осталось свободнымъ отъ вліянія своего времени. Твореніе Локка и произведеніе Фенелона стоятъ, по своему нравственному направленію, несравненно выше тѣхъ понятій и идей, которыя жили въ ихъ современномъ обществѣ. Локкъ и Фенелонъ смѣло и открыто нападаютъ на пороки своего вѣка, обличаютъ тѣ недостатки, которые изъ общества постепенно вкрадываются въ воспитаніе; они опровергаютъ мнѣнія современныхъ имъ педагоговъ,—мнѣнія, совершенно несостоятельныя,

но имѣвшія свою силу, требовавшія еще въ то время опроверженія. Если сравнить эти мнѣнія, если сравнить господствовавшую тогда систему воспитанія, или, лучше сказать, отсутствіе всякой здравой системы, съ тѣми свѣтлыми мыслями, которая проводятъ Локкѣ и Фенелонѣ, то нельзя не признать ихъ важной заслуги въ области педагогической науки. Но, съ другой стороны, если поставить ихъ сочиненія рядомъ съ современными трактатами о воспитаніи, то должно сознаться, что они не выдержатъ съ ними сравненія. Многое, о чемъ едва догадывались Локкѣ и Фенелонѣ, многое, о чемъ они совсѣмъ не думали, сдѣлалось теперь необходимой принадлежностью правильнаго воспитанія; многое, что они допускали въ обращеніи съ дѣтьми, въ отношеніяхъ между наставниками и учениками, то теперь считается предосудительнымъ. Основные мысли остаются въ прежней силѣ, потому что мысли эти безотносительно вѣрны, истинны, не зависятъ отъ условій времени и мѣста; но обстановка, воспитаніе, педагогическіе приемы, объемъ преподаванія, — словомъ, внѣшняя форма, въ которую облекаются эти идеи, во многихъ отношеніяхъ уже не соответствуютъ требованіямъ современной науки. Это обстоятельство воплію естественно; въ немъ нельзя обвинять ни Локка, ни Фенелона, оно можетъ только служить мѣрой для опредѣленія тѣхъ успѣховъ, которые сдѣлала послѣ нихъ педагогика. Мы не будемъ подробно говорить о сочиненіи Локка, потому что оно посвящено преимущественно воспитанію мальчиковъ; что касается до произведенія Фенелона, то содержаніе его, какъ видно уже по самому заглавію, прямо относится къ нашему предмету. Фенелонъ первый серьезно взглянулъ на воспитаніе женщины, первый высказалъ ту мысль, что женщина, имѣя свои священныя обязанности, должна, наравнѣ съ мужчиною, получать прочное систематическое образованіе, которое подготовило бы ее къ будущей дѣятельности. Мысль эта въ то время была нова; но общество было уже настолько приготовлено, что идеи Фенелона встрѣтили живое сочувствіе. Въ то время дѣвочки воспитывали по старой рутинѣ. Ихъ держали дома или отдавали въ монастыри, въ которыхъ онѣ оставались до того возраста, когда имъ нужно было вступить въ свѣтъ; учили ихъ кой-чему и кое-какъ. Матери и воспитательницы рѣдко отдавали себѣ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, да и не сознавали необходимости отдавать себѣ подобный отчетъ. Дѣвочки росли, иногда развивались правильно, получали хорошее направленіе, но это было дѣломъ случая, результатомъ счастливыхъ обстоятельствъ. Хорошая воспитательница оказывала благотворное вліяніе; но она дѣйствовала инстинктивно, не имѣя въ виду опредѣленной цѣли, къ которой неуклонно должно было бы вести дѣло воспитанія. Фенелонъ

понялъ и объяснилъ современному обществу различіе между инстинктивнымъ и сознательнымъ воспитаніемъ; онъ показалъ въ своемъ теоретическомъ трактатѣ необходимость послѣдняго и ненадежность перваго, въ которомъ достигаются случайные результаты, въ которомъ все безусловно зависитъ отъ личныхъ свойствъ воспитателя; наконецъ, онъ поставилъ вопросъ о воспитаніи женщины на ряду съ вопросомъ о воспитаніи мужчины, — съ вопросомъ, котораго важность въ то время уже вошла въ сознаніе. Онъ доказалъ, что для государственнаго и частнаго благосостоянія необходимо совокупное, согласное дѣйствіе обоихъ половъ, что только правильное развитіе мужчины и женщины можетъ быть прочнымъ залогомъ прогресса, успѣшнаго совершенствованія всего человѣчества. Высказавъ такимъ образомъ мысль о необходимости систематическаго образованія женщинъ, подтвердивъ эту мысль примѣрами изъ жизни и изъ исторіи, Фенелонъ приступаетъ къ опроверженію господствовавшей рутинѣ; онъ доказываетъ ея несостоятельность, разбирая тѣ результаты, которыхъ она обыкновенно достигаетъ; доказавъ въ общихъ чертахъ превосходство сознательнаго воспитанія надъ инстинктивнымъ, онъ переходитъ къ подробному, тщательному разбору главныхъ недостатковъ послѣдняго и при этомъ разборѣ обращается къ своей современности, беретъ факты изъ дѣйствительной жизни. Недостатки, которые замѣчаетъ Фенелонъ въ тогдашнихъ дѣвушкахъ, не исчезли и въ наше время: неразвитость, нерасположеніе къ труду, стремленіе къ удовольствіямъ, внутренняя пустота, преобладаніе воображенія и развитіе мечтательности, искренней или притворной, составляютъ до сихъ поръ общія свойства дѣвушекъ, воспитанныхъ въ свѣтъ и для свѣта. Встрѣтивъ такое странное соотношеніе между указаніями Фенелона на свою современность и тѣми явленіями, которыя мы замѣчаемъ въ наше время, читательницы наши могли бы вывести неправильное заключеніе: имъ могло бы показаться, что эти недостатки составляютъ неизбѣжныя свойства женской природы, — свойства, которыя, не исчезая никогда вполнѣ, проявляются въ различныхъ формахъ, сообразно съ условіями времени и мѣста. Но при этомъ не должно забывать одного обстоятельства: одинакія причины производятъ одинаковыя слѣдствія. Наше обыкновенное, свѣтское воспитаніе очень мало ушло впередъ отъ того воспитанія, которое получали дѣвочки временъ Фенелона: въ нашемъ воспитаніи предоставлено такое же обширное поприще случайности и произволу, въ немъ господствуетъ та же рутинѣ, обращенная на внѣшность, основанная не на законахъ ума, а на обычаяхъ свѣта. Слѣдствіемъ этого воспитанія является развитіе тѣхъ недостатковъ, которые замѣтили еще Фенелонъ, и отсутствіе тѣхъ добродѣтелей, въ

которых нуждается женщина для выполнения своихъ обязанностей. Приписывать этимъ недостаткамъ всеобъемлющее значеніе, считать это отсутствіе добродѣтелей за неизбежное, законное явленіе значило бы не понимать важности воспитанія, значило бы оскорблять женщину, не призывая въ ней способности къ самосовершенствованію. Мысли Фенелона объ этомъ предметѣ сходятся съ мнѣніемъ современной науки. Фенелонъ старается предупредить развитіе этихъ недостатковъ, давая нравственнымъ силамъ ребенка правильное направленіе; онъ совѣтуетъ начинать воспитаніе какъ можно раньше, совѣтуетъ дѣйствовать на ребенка вышними впечатлѣніями и, подобно всѣмъ современнымъ педагогамъ, придаетъ важное значеніе первымъ обнаруживающимся наклонностямъ дѣтей, первымъ проблескамъ развивающагося характера. Онъ требуетъ, чтобы воспитатель дорожилъ этими проявленіями, чтобы, управляя ими, онъ поступалъ осторожно, не стѣсняя дѣтской природы, чтобы онъ дѣйствовалъ такими убѣжденіями, которыя близки и доступны дѣтскому пониманію. Такой образъ дѣйствій исключаетъ въ обращеніи съ дѣтьми повелительный тонъ, холодное или рѣзкое обращеніе и, наконецъ, тѣ понудительныя средства, на которыя обыкновенно такъ щедры педагоги, не понимающіе своихъ обязанностей, не проникнутые просвѣщенной и безкорыстною любовью къ воспитанникамъ. На дѣтей можно дѣйствовать тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ сильнѣе будетъ возбуждена ихъ самостоятельность, чѣмъ болѣе заброшенная въ ихъ голову идея переработается силою ихъ собственного мышленія. На этомъ основаніи Фенелонъ считаетъ косвенное вліяніе гораздо дѣйствительнѣе вліянія прямого, выражающагося въ формѣ наставленій и соединеннаго съ властью. Ребенокъ обыкновенно недоувѣрчиво смотритъ на приказаніе со стороны старшаго и между тѣмъ легко и свободно поддается вліянію сверстника или чловѣка, умѣющаго поставить себя съ нимъ на одну доску. Слово, нечаянно произнесенное и вслѣдъ за тѣмъ точно забытое, дѣйствуетъ иногда сильнѣе самаго опредѣленнаго приказанія, не допускающаго ни возраженія, ни обсужденія. Въ первомъ случаѣ ребенокъ самъ подхватываетъ слово, самъ размышляетъ и выводитъ для себя заключеніе, которое для него почти то же, что для взрослого убѣжденіе, выработанное опытомъ; во второмъ случаѣ онъ и желалъ бы разсуждать и обдумывать, да ему не даютъ на это ни времени, ни свободы. Отъ него требуютъ немедленнаго и точнаго повиновенія; онъ повинуется, но не усваиваетъ себѣ смысла приказанія, не обращаетъ его въ общее правило, въ законъ, и потому приказаніе должно быть повторяемо при каждомъ частномъ случаѣ. Сверхъ того, у ребенка, какъ и у взрослого, есть инстинктивное стремленіе къ свободѣ; ему

хочется поступать по своему, жить своимъ умомъ. Косвенное вліяніе оставляетъ неприкосновенною эту драгоценную свободу, которую стѣсняетъ опредѣленное и рѣзкое приказаніе. Такое приказаніе неприятно дѣйствуетъ на самолюбіе ребенка и вызываетъ въ душѣ его оппозицію глухую, но часто вредную въ дѣлѣ воспитанія. Для воспитателя несравненно труднѣе дѣйствовать на ребенка косвеннымъ вліяніемъ, нежели давать ему совѣты, наставленія и приказанія. Подъ именемъ косвеннаго вліянія мы разумѣемъ то незамѣтное, тихое вліяніе, которое оказываетъ какаля-нибудь личность на окружающихъ ее людей своимъ собственнымъ примѣромъ, жизнью, всѣми самыми незначительными поступками и словами. Чтобы такое вліяніе со стороны воспитателя было вполнѣ благотворно, нужно, чтобы его чловѣческая личность была высоко развита, чтобы его убѣжденія были возвышенны и чисты, чтобы во всѣхъ его поступкахъ было видно постоянное стремленіе провести эти убѣжденія въ жизнь; словомъ, нужно, чтобы онъ былъ вполнѣ честный и развитой чловѣкъ. Этого требуетъ отъ воспитателя и Фенелонъ. Въ противномъ случаѣ, если приказанія и совѣты будутъ въ разладѣ съ поступками воспитателя, то они останутся для ребенка мертвою буквою и покажутся ему или слишкомъ строгими, или просто несправедливыми и неисполнимыми. Ребенокъ увидитъ, что воспитатель его—фразеръ, и сумѣетъ различить въ немъ двѣ личности: одну—проповѣдующую, другую—дѣйствующую; потерявъ уваженіе къ его личному характеру, онъ станетъ заподозрѣвать и его теорію. Итакъ, хотя нельзя въ дѣлѣ воспитанія ограничиваться однимъ косвеннымъ вліяніемъ, но должно желать, чтобы это вліяніе постоянно подкрѣпляло собою приказанія и совѣты: воспитатель долженъ обращать вниманіе на мельчайшіе свои поступки и слова, потому что всѣ они имѣютъ педагогическое значеніе. Нужно, чтобы вся обстановка воспитанія была заранѣе обдумана; въ ней не должно быть случайностей, не должно быть такихъ предметовъ или происшествій, которые, оказывая на ребенка косвенное вліяніе, могли бы разрушить дѣло воспитателя и возбудить въ ребенкѣ мысли и чувства, вредящія гармоническому развитію его характера. Опредѣливъ то, въ чемъ должно состоять нравственное вліяніе наставника, Фенелонъ переходитъ къ связи между воспитаніемъ и преподаваніемъ, т. е. между жизнью и наукой. Онъ признаетъ необходимость этой связи и этимъ признаніемъ поражаетъ схоластическую систему преподаванія, при которой сообщались голые факты, отрывочныя свѣдѣнія, не имѣвшія практической приспособительности и не содѣйствовавшія умственному развитію. Схоластика господствовала въ средніе вѣка; при Фенелонѣ она была еще сильна, хотя не преобладала,

хотя уже не была системой. Схоластика живеть еще въ наше время и въ общественныхъ училищахъ, и въ домашнемъ воспитаніи; къ схоластикѣ обращаются всѣ бездарные, несвѣдущіе или недобросовѣстные преподаватели. Они довольствуются твердымъ отвѣтомъ ученика, не заботясь о томъ, насколько этотъ отвѣтъ показываетъ присутствіе сознанія; имъ пріятно видѣть со стороны ученика тупое повиновеніе авторитету вмѣсто живой и самостоятельной (насколько возможно по возрасту) работы мысли. Они не заботятся о томъ, чтобы ребенокъ понималъ необходимость знанія и принималъ за дѣло по собственной охотѣ, по внутреннему убѣжденію. Противъ такихъ злоупотребленій въ дѣлѣ преподаванія вооружается Фенелонъ. Онъ совѣтуетъ собразоваться съ возрастомъ ребенка, изучать его личныя наклонности, вносить въ науку живой интересъ и, развивая умъ воспитанника, возбуждать въ немъ самостоятельности, чтобы каждое слово учителя принималось сознательно, подвергаясь оцѣнкѣ и предварительной переработкѣ въ умѣ ученика. Всѣ эти мысли Фенелона безусловно вѣрны и въ свое время имѣли, конечно, важное значеніе и благотворное вліяніе на развитіе педагогическихъ идей; всѣ эти мысли одинаково приложимы къ воспитанію мужчины и женщины, или вѣрнѣе—составляютъ необходимое основаніе всякаго правильнаго воспитанія. Чтобы быть хорошимъ воспитателемъ и наставникомъ, нужно любить ребенка и умѣть уважать въ немъ его человѣческую личность, его формирующійся характеръ, его стремленіе къ самостоятельности и къ дѣятельности мысли. Изъ этого воплѣтъ гуманнаго положенія можно вывести всѣ приведенныя нами мнѣнія Фенелона. Этими мнѣніями обрисовываются его педагогическія убѣжденія, которые и въ наше время не показались бы отсталыми. Затѣмъ Фенелонъ переходитъ къ предметамъ преподаванія. Онъ очень подробно говоритъ въ трехъ главахъ о необходимости религіознаго образованія и указываетъ на тѣ приемы, которые долженъ употреблять учитель, чтобы внушить ребенку искреннее благоговѣніе и правильное пониманіе религіозныхъ истинъ. Фенелонъ требуетъ, чтобы наставникъ приводилъ нравственное ученіе религіи въ живую связь со вседневною жизнью, требуетъ, чтобы сознанныя ребенкомъ истины не оставались въ застоѣ, чтобы, находясь въ постоянномъ примѣненіи, онѣ имѣли образовательное вліяніе на нравственный характеръ воспитанника. Обращая такимъ образомъ преимущественное вниманіе на нравственную сторону религіи, Фенелонъ отъ религіознаго образованія переходитъ къ подробному обозрѣнію тѣхъ недостатковъ, къ которымъ, по его мнѣнію, особенно склонны дѣвушки. Недостатки эти—излишняя застѣнчивость, наклонность къ притворству, тщеславіе, проявляющееся въ желаніи блестящаго красотою и нарядами—прививаются къ дѣвоч-

камъ извнѣ, вслѣдствіе дурнаго примѣра окружающаго ихъ общества. Нѣкоторые изъ этихъ недостатковъ имѣютъ чисто мѣстный и временный характеръ: такъ, напримѣръ, преобладающая наклонность къ притворству происходитъ, по сознанію самого Фенелона, отъ разлада между старымъ и молодымъ поколѣніями. Разладъ этотъ былъ особенно силенъ въ тогдашнемъ французскомъ обществѣ. Старшіе члены семействъ, проводя свою молодость безопасно, въ веселомъ и не всегда безгрѣшномъ разгулѣ, вздумали на старости лѣтъ заглаживать прежніе проступки и вдали въ ханжество, въ тупое, фанатическое исполненіе обрядовъ; они окружили себя монахами, ввели въ свой домъ мрачную обстановку средневѣковаго аббатства и стѣснили въ своихъ дѣтяхъ всѣ самыя законныя проявленія чувства, самыя естественныя въ молодости стремленія къ развлеченіямъ и удовольствіямъ. Удаляя ихъ отъ свѣтскаго общества, они не могли дать имъ замѣнъ ни прочнаго умственнаго развитія, ни занятій, которыя бы избавили ихъ отъ тяжелой внутренней пустоты. Они хотѣли, чтобы дѣти ихъ довольствовались той безвѣтной и холодной жизнью, которой жили они, люди, истратившіе свои физическія и нравственныя силы, притупившіе свой вкусъ избыткомъ наслажденій и не видѣвшіе впереди себя ничего, кромѣ болѣзней и могилы. Такія требованія были незаконны и неисполнимы. Естественнымъ слѣдствіемъ ихъ явилась взаимная недоувѣрчивость между родителями и дѣтьми. Недоувѣрчивость эта выразилась съ одной стороны въ холодной строгости, съ другой—въ стремленіи къ хитрости и притворству. Трудно ставить эти недостатки въ вину дѣвчачьимъ, выраставшимъ при такихъ невыгодныхъ условіяхъ. Фенелонъ говоритъ совершенно справедливо, что недостатокъ откровенности со стороны дѣтей является естественнымъ слѣдствіемъ неправильныхъ отношеній между родителями и дѣтьми. Причина этихъ неправильныхъ отношеній заключается въ неразвитости родителей и въ односторонности ихъ взгляда на вещи. Достигнуть полной откровенности со стороны ребенка, не подавляя его личности, приобрести его добровольное, неограниченное довѣріе очень трудно, особенно для тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ надъ нимъ непосредственную власть. Рѣшеніе такой трудной педагогической задачи было не по силамъ родителей и воспитателей времени Фенелона. Стараюсь внушить дѣтямъ благочестіе, они не умѣли узнать внутренняго состоянія ихъ души, не вызывали съ ихъ стороны откровеннаго сознанія въ слабостяхъ, желаніяхъ и сомнѣніяхъ, возникающихъ въ умѣ ребенка. Религіозное воспитаніе ограничивалось заучиваніемъ догматовъ и строгимъ исполненіемъ обрядовъ. Съ этой внѣшней, формальной стороною въ душѣ ребенка развивались нетронутые и незамѣченные воспитателемъ зародыши пороковъ, которые рано или



поздно должны были опрокинуть шаткое зданіе, воздвигнутое недалновидными педагогами. Такъ и случилось. Молодое поколѣніе, выросшее при описанныхъ нами условіяхъ, видѣвшее вокругъ себя строгую и мрачную обстановку, затаило въ душѣ жажду наслажденій и, выравшись на волю, освободившись изъ-подъ вліянія старшихъ, предалось самому необузданному, безнравственному разгулу. Религіозное воспитаніе, вошедшее въ моду въ послѣдніе годы жизни Людовика XIV, подготовило во многихъ отношеніяхъ времена Регентства и вѣкъ Людовика XV. Понимая вліяніе женщины на общественную нравственность, Фенелонъ хотѣлъ своимъ трактатомъ отвратить подобныя уклоненія отъ разумности, онъ хотѣлъ убѣдить родителей въ томъ, что истинная религіозность выражается въ нравственности, а не въ обрядахъ; но идеи его не успѣли проникнуть въ сознаніе общества и не принесли практической пользы. Намъ остается еще разобрать одинъ весьма важный отдѣлъ сочиненія Фенелона. Въ XI и XII главахъ авторъ говоритъ объ обязанностяхъ женщины и о томъ, какъ должно развивать ея умъ и готовить ее къ исполненію этихъ обязанностей. Фенелонъ смотритъ на женщину съ практической точки зрѣнія. Онъ хочетъ приготовить изъ подрастающихъ дѣвочекъ хорошихъ матерей и хозяйекъ; воспитывать будущее поколѣніе и завѣдывать внутреннимъ управленіемъ дома—вотъ въ чемъ состоитъ, по мнѣнію Фенелона, назначеніе женщины. На это мы позволимъ себѣ замѣтить, что, во-первыхъ, исключительно практическій взглядъ на вещи не можетъ быть допущенъ въ разбираемомъ нами вопросѣ. Нельзя смотрѣть на женщину, какъ на орудіе, примѣнимое въ домашнемъ быту и полезное въ дѣлѣ воспитанія: не должно забывать въ женщинѣ самостоятельную личность, имѣющую свои духовныя потребности и предъявляющую права свои на самостоятельное развитіе; во-вторыхъ, если даже принять практическій взглядъ на вещи, если, оставляя въ сторонѣ человѣческую личность женщины, мы будемъ готовить ее только для жизни и преимущественно для жизни семейной, и въ такомъ случаѣ взглядъ Фенелона окажется узкимъ и ограниченнымъ. Фенелонъ обращаетъ все свое вниманіе на материнскія обязанности женщины и почти совершенно забываетъ объ обязанностяхъ жены; онъ ограничиваетъ эти обязанности матеріальными хозяйственными заботами; для спокойствія мужа и для семейнаго счастья онъ находитъ совершенно достаточнымъ, если жена будетъ держать въ порядкѣ домъ и прислугу, если она сумѣетъ готовить хорошій столъ и соблюдать въ хозяйственныхъ издержкахъ экономію, не переходящую въ скупость. Такой идеалъ семейной жизни удовлетворялъ бы требованіямъ нашего общества временъ до-петровскихъ, когда взаимное чувство и обоюдное согласіе жениха и невесты не соста-

вляли необходимаго условія брака; теперь такая семейная жизнь для каждаго развитого человѣка показалась бы невыносимою. Мужъ имѣетъ право требовать отъ жены не только любви, но и дружбы; а для дружбы необходимо взаимное уваженіе и одинаковое развитіе, которое давало бы супругамъ средства понимать друге друга. Мужъ долженъ найти въ женѣ сочувствіе. У него есть духовныя потребности, которыя должны находить себѣ удовлетвореніе въ семейномъ кругу; а удовлетворить этимъ высшимъ потребностямъ можетъ только женщина развитая, приготовленная правильнымъ воспитаніемъ, способная мыслить и усвоивать себѣ отвлеченныя идеи. Слѣдовательно, умственныя способности женщины должны быть развиваемы до возможныхъ предѣловъ; жена-хозяйка, способная передать дѣтямъ всякія элементарныя свѣдѣнія, не подходитъ еще къ тому идеалу развитой женщины, котораго требуютъ понятія лучшихъ людей нашего времени. Программа, по которой Фенелонъ совѣтуетъ вести обученіе дѣвочекъ, недостаточна, потому что она составлена по одностороннему, исключительно практическому взгляду на назначеніе женщины. Фенелонъ требуетъ, чтобы дѣвочкамъ преподавали только тѣ отрасли знанія, которыя нужны для домашняго хозяйства, для первоначальнаго обученія дѣтей. Вотъ предметы его программы: чтеніе и письмо, знаніе отечественнаго языка, четыре правила ариметики и нѣкоторыя свѣдѣнія въ законовѣдѣніи—тѣмъ и ограничивается число необходимыхъ предметовъ. Къ этому можно еще прибавить практическія занятія рукодѣліемъ и домашнимъ хозяйствомъ. Сверхъ того, религіозное образованіе поставлено у Фенелона совершенно отдѣльно и приведено въ связь съ нравственнымъ воспитаніемъ. Изъ приведеннаго нами краткаго перечня видно, что Фенелонъ ошибается не только въ опредѣленіи личности и назначеніи женщины, но даже и въ пониманіи отношеній между преподаваніемъ и воспитаніемъ. Онъ смотритъ на преподаваніе, какъ на сообщеніе практически полезныхъ свѣдѣній, и совершенно упускаетъ изъ вида образовательную, облагораживающую силу науки; онъ забываетъ, что не всѣ отрасли науки необходимы для практической жизни, что всѣ онѣ развиваютъ мыслительныя способности, всѣ очищаютъ и формируютъ убѣжденія. Ограничивать кругъ занятій женщины тѣми предметами, которые ей придется приложить къ жизни, учить ее только домашнему хозяйству, счетоводству, грамотѣ и правильному употребленію отечественнаго языка значить не давать ей средства разумно дѣйствовать даже въ томъ ограниченномъ кругу, къ которому предназначаетъ ее Фенелонъ. Умственныя способности требуютъ себѣ пищи, требуютъ развитія; а въ механическихъ пріемахъ, которымъ Фенелонъ предписываетъ обучать дѣвицъ, нѣтъ пищи для ума, нѣтъ мате-

риаловъ для мыслительной дѣятельности. Между тѣмъ Фенелонъ понимаетъ, что для женщины нужно нѣкоторое умственное развитіе. Во многихъ мѣстахъ своего сочиненія онъ упоминаетъ объ этомъ развитіи, но нигдѣ не указываетъ на средства, которыми оно могло бы быть достигнуто. Онъ допускаетъ чтеніе греческой и римской исторіи, но только допускаетъ, и то съ тѣмъ, чтобы дѣвцы находили «въ ней чудеса храбрости и безкорыстія». Изученіе или, вѣрнѣе, чтеніе отечественной исторіи допускается также только по отношенію къ ея «прекраснымъ сторонамъ», то-есть по отношенію къ тѣмъ нравственнымъ поступкамъ, которые въ ней описаны. Нравоучительная цѣль въ глазахъ Фенелона стоитъ на первомъ планѣ и заслоняетъ собою чисто историческій интересъ событій, то-есть развитіе чело-вѣческаго рода. При такомъ способѣ преподаванія исторія не можетъ служить пищей для мыслительной способности; смыслъ событій, связь между причинами и слѣдствіями ускользаютъ отъ учащагося. Въмѣсто жизни народовъ, онъ видитъ передъ собою рядъ анекдотовъ, относящихся къ жизни отдѣльныхъ личностей; въ этихъ анекдотахъ нѣтъ общей мысли, и даже нравственное вліяніе ихъ не будетъ такъ сильно, какъ могло бытъ сильно вліяніе сознанныхъ историческихъ истинъ, законовъ, по которымъ народы живутъ, развиваются и гибнутъ. Созерцаніе этихъ истинъ, изученіе этихъ законовъ составляетъ главнѣйшую, конечную цѣль историческихъ занятій. Это созерцаніе можно сдѣлать доступнымъ и для дѣвицы, у которыхъ Фенелонъ отнимаетъ возможность возвыситься надъ нравоученіями и дѣтскими разсказами. Фенелонъ не понимаетъ также необходимости эстетическаго образованія: чтеніе литературныхъ произведеній онъ допускаетъ только съ нравоучительной цѣлью. Изученіе отечественныхъ писателей и знакомство съ главнѣйшими явленіями иностранныхъ литературъ не составляетъ, по мнѣнію Фенелона, необходимой части женскаго образованія; о занятіяхъ музыкой, живописью и другими искусствами сказано довольно неопредѣленно. Занятія эти, говоритъ Фенелонъ, могутъ разслабить и извѣжить чело-вѣка; но, при строгомъ выборѣ и правильномъ руководствѣ, они могутъ также принести пользу. Пользѣ этой Фенелонъ не придаетъ, впрочемъ, большого значенія. Все вниманіе знаменитаго французскаго писателя было исключительно обращено на религіозное воспитаніе и на практическую, житейскую сторону жизни. Онъ неправильно и неполно опредѣлилъ значеніе женщины, и потому составилъ неудовлетворительную программу. Это неудивительно и не должно служить ему укоромъ: живши въ то время, когда слѣдовало еще доказывать необходимость женскаго воспитанія, Фенелонъ не могъ одинъ, первый, разрѣшить вопросъ и обнять его со всѣхъ сторонъ. Требованія времени измѣни-

лись, и теорія Фенелона во многихъ отношеніяхъ устарѣла и требуетъ пополненій и исправленій. Несмотря на то, сочиненіе его «О воспитаніи дѣвочекъ» имѣетъ важное значеніе въ исторіи педагогической науки и по своему глубокомысленному характеру заслуживаетъ до сихъ поръ вниманія читателей. Переводъ, представленный въ «Русскомъ Педагогическомъ Вѣстникѣ», сдѣланъ довольно тщательно, языкомъ правильнымъ и понятнымъ. Замѣтимъ только одну случайную ошибку, которая можетъ поставить читателя въ затрудненіе. «Въ заключеніе—говоритъ Фенелонъ—представимъ здѣсь очеркъ женщины съ твердою волею, сдѣланный Ле-Сажемъ». Здѣсь по ошибкѣ слово: «le Sage», означающее обыкновенно премудраго Соломона, переведено именемъ собственнымъ, и вслѣдствіе этого слова Соломона о женщинѣ съ твердою волею,—слова, взятые изъ его Притчей, приписаны французскому писателю-романисту.

#### Объ истинномъ наставникѣ дѣтей.

Статья, заглавіе которой мы здѣсь выписали, переведена изъ французской книги: «Education des mères de famille». Авторъ старается доказать въ этой статьѣ, что естественнымъ наставникомъ, воспитателемъ дѣтей должна быть сама мать. Мысль вѣрная; но часто случается, что, стараясь, во что бы то ни стало, доказать и провести до конца какую-нибудь, хотя и вѣрную мысль, чело-вѣкъ увлекается, впадаетъ въ крайность и доходитъ до самыхъ странныхъ результатовъ. Множество такихъ странныхъ выводовъ встрѣчается въ указываемой нами статьѣ. Авторъ доказываетъ мысль не новую, но, стараясь подѣйствовать на читателя, стараясь убѣдить его, беретъ для подтвержденія ея примѣры изъ исторіи, изъ жизни великихъ людей и, пользуясь ихъ собственными словами, объявляетъ, что они обязаны всѣмъ своимъ величіемъ вліянію матерей. Насколько такіе смѣлые выводы искажаютъ фizioномію историческихъ фактовъ, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ. Различіе между Карломъ IX и Генрихомъ IV объясняется исключительно вліяніемъ Екатерины Медичи на первого и Иоанны д'Альбре на второго. Характеръ Людовика XIV выводится прямо изъ характера Анны Австрійской; направленіе сочиненій Вольтера, по мнѣнію автора, опредѣлилось личностью его матери. Слѣдовательно, не духъ времени, не направленіе общества вырабатываетъ личности историческихъ дѣятелей, а случайныя обстоятельства домашней жизни родителей. Женись только отецъ Вольтера на другой женщинѣ, конечно дѣло: не было бы энциклопедистовъ—вотъ до какого смѣшнаго искаженія истины доводитъ автора его желаніе во всемъ видѣть вліяніе матери. Желаніе, положимъ, похвальное; у автора

въ каждомъ словѣ видна цѣль подѣйствовать на современныхъ ему французскихъ женщинъ и возбудить въ нихъ желаніе воспитывать своихъ дѣтей. Все это хорошо; но вѣдь въ наше время извѣстное правило Маккиавеля: «цѣль оправдываетъ средства» считается несостоятельнымъ и безразличнымъ. Въ наше время мало того, чтобы доказываемая мысль была вѣрна, требуется еще, чтобы она была доказана вѣрными доводами. Зачѣмъ же искажать исторію, зачѣмъ обнаруживать такое ребяческое непониманіе тѣхъ законовъ, по которымъ живетъ человѣчество? Сказать, что не духъ времени, а вліяніе матери породило сочиненіе Вольтера, это все равно, что думать, будто реформацию *сдѣлалъ* Лютеръ, а не вызвала потребность оскорбляемаго человѣчества. Будь Вольтеръ воспитанъ иначе, онъ бы, можетъ быть, остался «золотой посредственностью». Въ немъ могли подавить природныя способности; но дать имъ другое направленіе, противоположное духу вѣка, заставить его быть передовымъ человѣкомъ и между тѣмъ дѣйствовать не такъ, какъ онъ дѣйствовалъ, это невозможно. Авторъ забылъ мысль Гегеля: всякій человѣкъ—сынъ своего вѣка и своего народа. Вліяніе матери, отца, воспитателя, какова угодно, не можетъ бороться съ господствующимъ направленіемъ времени. Направленіе это сильно и увлечетъ за собою всякую пылкую, воспріимчивую натуру. Оставимъ теперь вопросъ объ исторической вѣрности доказательствъ, приводимыхъ авторомъ; посмотримъ, до какихъ результатовъ доходитъ онъ путемъ этихъ доказательствъ. Признавая важность вліянія матери, доводя значеніе матери до невообразимыхъ предѣловъ, авторъ старается доказать, что въ воспитаніи, веденомъ матерью, все есть верхъ совершенства. Онъ хвалитъ, увлекаясь своимъ предметомъ, даже тѣ недостатки, которыхъ исправленіе долженъ желать каждый, понимающій значеніе воспитанія,—недостатки, которые, по всей вѣроятности, составляютъ современное явленіе и исчезнутъ, лишь только образованіе женщины получитъ вѣрное направленіе.

«Наконецъ, самый этотъ неосновательный умъ, эта склонность къ удовольствіямъ, эта привязанность ко всему чудесному, что все вообще такъ неблагоприятно осуждаютъ въ женщинахъ, еще болѣе увеличиваетъ гармонію между матерью и ея ребенкомъ».

Неосновательный умъ, склонность къ удовольствіямъ, привязанность къ чудесному, т. е. преобладающая сила воображенія,—словомъ, всѣ недостатки, которые являются въ женщинахъ вслѣдствіе неправильнаго воспитанія, всѣ они здѣсь возведены на степень добродѣтелей, полезныхъ, почти необходимыхъ для матерей семейства. Такія мысли, высказанныя въ такой, повидимому, благообразной формѣ, могутъ найти себѣ довѣрчивыхъ читателей, и потому мы считаемъ долгомъ опровергнуть ихъ и показать всю ихъ

нелогичность. Желая поддержать въ женщинѣ неосновательный умъ, склонность къ удовольствіямъ, привязанность къ чудесному, авторъ осуждаетъ ее на вѣчное дѣтство, которое, впрочемъ, многіе поэты называютъ счастливою порою жизни. Они говорятъ о невинности дѣтскаго возраста, объ его беззаботности, о томъ, какъ ребенокъ, подобно бабочкѣ, перепархиваетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, и пр., и пр. Все это—фразы; потерявшія въ наше время значеніе. Дѣтство есть приготовленіе къ разумной жизни, время неполнаго раскрытія душевныхъ силъ, время ограниченной, бессознательной или смутно сознаваемой жизни. Желать продлить это время значитъ подавлять развитіе, значитъ нарушать законы природы. Да и чѣмъ оправдываетъ авторъ свое странное, неосмысленное желаніе? Онъ говоритъ, что качества, которыя «такъ неблагоприятно осуждаютъ въ женщинахъ, еще болѣе увеличиваютъ гармонію между матерью и ея ребенкомъ». Вѣдь это фраза. Качества эти намъ извѣстны: неосновательный умъ, склонность къ удовольствіямъ, привязанность къ чудесному. Они, дѣйствительно, составляютъ общую принадлежность дѣтей и женщинъ, не получившихъ правильнаго развитія. Но есть-ли что-нибудь общее между этими качествами, какъ они проявляются у тѣхъ и у другихъ? Что въ ребенкѣ естественно, въ чемъ видны проблески пробуждающихся способностей, то въ человѣкѣ взросломъ составляетъ болѣзненное явленіе, результатъ извращеннаго воспитанія и бесполезно пережитой жизни. Неосновательный умъ неразвитой женщины проявится въ умничаньи, въ нелѣпныхъ парадоксахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего общаго съ свѣжимъ лентомъ пробуждающейся, но еще не пробудившейся мысли ребенка; привязанность къ чудесному составляетъ одно изъ проявленій неосновательнаго ума, не привыкшаго къ работѣ. Въ ребенкѣ эта привязанность естественна, потому что есть надежда, что она съ лѣтами пройдетъ; въ человѣкѣ взросломъ она составляетъ порокъ, болѣзнь, которая съ каждымъ годомъ становится неизлечимѣе, которая навсегда можетъ разстроить правильное отравленіе мыслительной способности. Авторъ находитъ, что склонность къ удовольствіямъ также увеличиваетъ гармонію между матерью и ребенкомъ. Это чрезчуръ оригинально. Авторъ, быть можетъ, предполагаетъ, что дѣтство, на которое онъ осуждаетъ женщину, есть полное дѣтство, что мать интересуется сама тѣми же предметами, которые занимаютъ ребенка, что склонность къ удовольствіямъ выражается въ пристрастіи къ игрушкамъ, къ бѣганью, къ дѣтскимъ забавамъ. Въ такомъ случаѣ онъ сильно ошибается. Самая неразвитая женщина все-таки забавляется сообразно съ своимъ возрастомъ, ежели только она не находится въ состояніи идиотизма; слѣдовательно, подъ именемъ склонности къ удовольствіямъ, въ кото-

рой упрекають женщинъ, должно подразумѣвать наклонность къ свѣтскимъ удовольствіямъ, а подобная наклонность никакимъ образомъ не увеличить «гармонію между матерью и ребенкомъ». Недостатки ни въ какомъ случаѣ, ни подъ какимъ видомъ не могутъ имѣть хорошихъ результатовъ; не могутъ быть возведены на степень добродѣтелей. Изъ вышесказаннаго можно заключить, что авторъ, идеализирующій даже недостатки современной женщины, оттого только, что эта женщина—мать, пристрастенъ къ своему предмету и не въ мѣру увлекается. Мы увидимъ сейчасъ, къ чему приводитъ его это увлеченіе. Отстаивая права матери на воспитаніе дѣтей, авторъ совершенно оттѣсняетъ мужчинъ и, повидимому, даже не признаетъ законнымъ участіе отца въ дѣлѣ воспитанія. Онъ впадаетъ въ ту же крайность, которую мы уже замѣтили въ статьѣ Пальховскаго, но съ увлеченіемъ, свойственнымъ французу, ведетъ дѣло еще дальше:

«Хорошіе наставники создаютъ добрыхъ учениковъ; но только одна мать можетъ создать человѣка: въ этомъ-то и состоитъ разница въ ихъ назначеніи. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ попеченія о воспитаніи принадлежатъ вполне матерямъ, и если мужчины имъ завладѣли, то это потому только, что они смѣшали воспитаніе съ обученіемъ—двѣ совершенно разныя вещи, которыя нужно отдѣлять одну отъ другой, потому что ученіе можетъ быть и прервано, и безъ всякой опасности передано изъ однихъ рукъ въ другія. Но воспитаніе должно быть нераздѣльно и въ однихъ рукахъ; оно не удается тому, кто его прерываетъ. Кто, предпринявъ его однажды, оставляетъ его, тотъ увидитъ своего ребенка погибающимъ въ заблужденіяхъ или, что еще того хуже, равнодушнымъ къ истинѣ».

Все, что тутъ сказано, съ начала до конца, все неправда. Слова: «только одна мать можетъ создать человѣка» — фраза, способная многимъ понравиться, но не истинная. Создаютъ человѣка не хорошіе наставники, не мать, а обстоятельства жизни и принципъ, руководившій воспитаніемъ, кѣмъ бы ни былъ проведенъ этотъ принципъ. Впрочемъ, это частности; главное дѣло въ томъ, что авторъ представляетъ, будто мужчины, участвуя въ дѣлѣ воспитанія, завладѣли тѣмъ, что не принадлежало имъ по праву. Это обидная для мужчинъ и несправедливая исключительность. Желая оправдать свои слова, авторъ старается раздѣлить то, что нераздѣлимо, и впадаетъ въ грубую ошибку противъ положеній современной педагогической науки. Воспитаніе и обученіе, по его мнѣнію, — двѣ совершенно разныя вещи. Авторъ упрекаетъ мужчинъ въ томъ, что они смѣшали одно съ другимъ. Упрекъ этотъ не имѣетъ никакого смысла: чѣмъ болѣе мы станемъ отдѣлять обученіе отъ воспитанія, тѣмъ безжизненнѣе будетъ наука, тѣмъ неосмысленнѣе—жизнь. Нужно, чтобы каждая научная истина проникла черезъ сознаніе въ плоть и кровь ребенка, чтобы она могла современемъ помочь ему

сформировать себѣ убѣжденія. Развитие ума должно идти параллельно съ развитіемъ всѣхъ остальныхъ способностей—физическихъ и нравственныхъ. Все воспитаніе (включая сюда и обученіе) должно быть построено на однихъ началахъ, проникнуто одной идеей. Къ тому и стремится современная педагогика, чтобы разрушить грань между воспитаніемъ и обученіемъ: одно должно проникать другое. Ребенокъ развивается не въ классной комнатѣ: онъ развивается ежедневно; потому надо постоянно занимать его способности; а развѣ это не обученіе? Съ другой стороны, давая ему уроки, надо въ этихъ урокахъ проводить идеи, способныя благотворно дѣйствовать на весь образъ мыслей, на нравственные убѣжденія ребенка; а развѣ это будетъ не воспитаніе? Слить одно съ другимъ, вывести обученіе изъ классной комнаты и внести его въ кругъ игръ, ежеминутныхъ занятій ребенка, поддѣйствовать на душу теплыми словами живой науки—вотъ цѣль современной педагогики, и, при такой цѣли, невозможно естественное дѣленіе, предлагаемое авторомъ разбираемой нами статьи. Этихъ замѣчаній будетъ довольно, чтобы опредѣлить ея достоинство; авторъ на каждомъ шагѣ увлекается и почти не выходитъ изъ общихъ фразъ и восклицаній; гдѣ нѣтъ фразъ, тамъ начинаются искаженіе исторіи или ошибки противъ педагогики. Словомъ, статью читать не стоить, и мы говорили о ней единственно для того, чтобы предохранить нашихъ читательницъ отъ ложныхъ сужденій и натянутыхъ выводовъ автора.

**О вліяніи женщинъ вообще и о бракѣ, какъ необходимомъ условіи цивилизаціи.—О воспитаніи дѣвочекъ, какъ его понимали аббатъ Флери и Фенелонъ и какъ оно нынѣ ведется.**

Первая изъ этихъ статей развиваетъ очень дѣльную мысль, поддерживаетъ ее примѣрами изъ исторіи и изъ современной жизни человечества, и, наконецъ, изъ этой мысли выводитъ нѣкоторые заключенія, довольно важныя для направленія женскаго воспитанія. Вотъ эта мысль: женщина оказываетъ постоянное вліяніе на судьбу человечества, и вліяніе это дѣлается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ многостороннѣе и рациональнѣе жизнь, чѣмъ шире распространена цивилизація. Это вѣрно. Въ первобытномъ состояніи человечества, когда люди приближались къ животной природѣ образомъ жизни и наклонностями, вліяніе женщины, существа физически слабаго, было ничтожно; господствовала грубая сила, ломившая все, что попадалось на дорогѣ. Нравственная сторона человѣка дремала, на нее нельзя было дѣйствовать, да и сверхъ того тог-

дашняя женщина не въ силахъ была разбудить въ мужчинѣ высшія, духовныя стремленія. Мы имѣемъ свидѣтельства лѣтописцевъ о томъ, что было время, когда брака не было и когда чело-вѣкъ не возвысился еще до понятія о немъ. Впослѣдствіи, когда мало-по-малу проснулось созна-ніе родственныхъ отношеній, когда дикая жизнь смѣнилась осѣдлою, когда звѣроловство уступило мѣсто земледѣлію,—женщина стала завѣдывать внутреннимъ управленіемъ дома и, какъ хозяй-ка, какъ полезная работница, получила нѣкото-рое значеніе въ глазахъ мужа. Значеніе это было еще очень невелико: физическая сила мужчины доставляла ему огромный перевѣсъ и ставила женщину въ совершенную зависимость. Мужчи-на обыкновенно покушалъ себѣ жену и платилъ ей родителямъ *вѣно* (такъ назывался выкупъ этотъ у славянъ). Этотъ обычай былъ распро-страненъ между всѣми европейскими народами, и онъ служилъ яснымъ доказательствомъ того, что дѣвушка считалась сначала собственностью родителей, а потомъ собственностью мужа. Въ Западной Европѣ вліяніе германскихъ началъ, рыцарство и христіанство облегчили судьбу жен-щины и выдвинули ее въ общество; началось въ средніе вѣка поклоненіе женщинѣ, обожаніе кра-соты, выразившееся въ тогдашней поэзіи и при-давшее рыцарству романической характеръ. Ры-царство отжило свой вѣкъ; но рыцарскіе нравы жили въ обществѣ до XVIII столѣтія. Они поро-дили ту утонченную вѣжливость, которая при дворѣ Людовика XIV составила цѣлую сложную науку. Во имя женщины перестали совершать военные подвиги; но ей попрежнему поклоня-лись, и въ этомъ поклоненіи было попрежнему много неосмысленнаго: восхищались красотой женщины, ея легкимъ остроуміемъ, но на вну-треннее развитіе ея, на нравственное ея значе-ніе никто не обращалъ вниманія. Поднять и рѣ-шить вопросъ о женскомъ образованіи было слиш-комъ трудно для тогдашняго слабого и пустого общества. Женщину любили и ласкали; но ей не позволяли серьезно мыслить, находили, что ей это не по силамъ и не къ лицу. Мужчины пере-стали оскорблять женщину грубыми проявлені-ями деспотизма; но правъ женщины еще не были признаны, потому что она не имѣла опредѣлен-ныхъ обязанностей и была осуждена на какое-то вѣчное дѣтство. Нашему вѣку суждено было сдѣ-лать переворотъ во взглядѣ на женщину: на нее начинаютъ смотрѣть серьезно; сравнивая ея пра-ва съ правами мужчины, хотя бы сравнить и обя-занности. Предоставляя ей самостоятельность, хотятъ дать ей средства воспользоваться свобо-дою разумно, употребить ее на благо для себя и для челоуѣчества. Начинается развитіе мыслей о женскомъ воспитаніи, о женскомъ трудѣ; под-нимается вопросъ о женщинахъ, какъ о самосто-ятельной личности, имѣющей не только юридиче-скія, но и нравственныя права. Вотъ, въ самыхъ

общихъ чертахъ, судьба женщины, веденная па-раллельно съ главными фазами развитія евро-пейскаго общества. Авторъ разбираемой статьи не представляетъ полного очерка этой судьбы, но беретъ нѣкоторые характеристическіе моменты и изъ сравненія ихъ выводитъ свои заключе-нія. Онъ сопоставляетъ нравственное униженіе женщины на Востоку съ положеніемъ современ-ной европейской женщины, далѣе сравниваетъ между собою различныя историческія эпохи и отдастъ предпочтеніе тѣмъ временамъ, когда женщина пользовалась всеобщимъ уваженіемъ. При этомъ авторъ впадаетъ въ ошибки и обна-руживаетъ отсутствіе историческаго пониманія. Вотъ что онъ говоритъ о рыцарствѣ и о по-слѣдующихъ за нимъ вѣкахъ.

«Рыцари становятся покровителями беззащит-ныхъ; они искореняютъ заблужденія произвола и вмѣсто его приготавливаютъ торжество закону. Сражаясь сперва для того, чтобы завоевывать государства, они оканчиваютъ тѣмъ, что сража-ются за красоту женщинъ, и такимъ образомъ просвѣщеніе начинается любовью. Великій переворотъ произошелъ во Франціи съ того са-мага дня, когда одинъ благородный рыцарь, осаждавшій замокъ, въ которомъ находилась жена его непріятеля, отвелъ отъ него свои войска потому только, что эта женщина гото-вилась сдѣлаться матерью.

Нѣсколько позже, когда начала наукъ, выско-бодясь изъ-подъ школьнаго мрака, господство-вавшаго повсюду, озарили собою умы людей, судьба женщины сдѣлалась вполне достойной сожалѣнія. Пока мужчины считали себя выше женщинъ только тѣлесной силой и храбростью, они еще уступали вліянію слабости и красоты; но коль скоро они набили себѣ головы дустыми знаніями, гордость овладѣла ими вполне, и жен-щины едва не потеряли своего могущества. Самымъ несчастнымъ временемъ для нихъ былъ вѣкъ теологовъ и ученыхъ; съ той-то поры были возбуждены всѣ дерзкіе вопросы о пер-венствѣ мужчины и о подчиненіи ему женщины. Тогда-то принимаются описывать ихъ коварство и ихъ несовершенство; доходятъ до того, что сомнѣваются въ существованіи въ нихъ души, и самые теологи въ своемъ смущеніи, кажется, забываютъ, что самъ Иисусъ Христосъ по своей матери былъ связанъ съ челоуѣчествомъ».

Авторъ ставитъ времена рыцарства выше вре-мень теологовъ и ученыхъ. Это несправедливо. Уваженіе рыцаря къ женщи-нѣ было неосмыслен-ное увлеченіе; челоуѣчество переживало пору юности, ту пору, когда мальчикъ готовъ обо-жать каждую женщину, когда въ каждой жен-щинѣ онъ видитъ чуть не мадонну. Уваженіе рыцарей не требовало ничего отъ женщинъ, не подвинуло ихъ впередъ на пути умственнаго и нравственнаго развитія. Женщина могла заснучъ на незаслуженныхъ лаврахъ, и потому было необходимо, чтобы взглядъ мужчины сдѣлался строже, глубже и серьезнѣе. Вѣкъ теологовъ и ученыхъ былъ вѣкомъ пробужденія критики. Критика эта была необходима, чтобы очистить взглядъ мужчины и возвысить женщину. Кри-тика появилась, быть можетъ, въ уродливой

формѣ, но это понятно и законно. Ничто не выходит готовымъ изъ рукъ природы: все должно быть вырабатываемо, и только постепенно, мало-по-малу, достигается опредѣленной, законченной формы. Если видно движеніе впередъ, стремленіе къ лучшему, то историкъ не имѣетъ права ожидать той странной формы, въ которой выражаются попытки усовершенствованія. Ставить эпоху предшествующую выше послѣдующей, въ которой замѣтна перемѣна направленія, но не видно ни застоя, ни движенія назадъ, это значитъ сомнѣваться въ прогрессѣ, не понимать идеи исторіи. Переходъ отъ неосмысленнаго поклоненія женщинѣ къ правильной оцѣнкѣ ея личности не могъ совершиться вдругъ; а переломное время всегда бываетъ болѣе или менѣе тяжело. Уяснивъ значеніе женщины, авторъ говорить про облагораживающее вліяніе истиннаго чувства и совѣтуетъ не скрывать отъ дѣвицъ существованія любви, но, напротивъ, представлять имъ это чувство, какъ одно изъ высшихъ проявленій законнаго стремленія къ прекрасному. Эта мысль вѣрна, и система воспитанія, при которой дѣвицѣ до замужества не даютъ въ руки ни одного романа, какъ бы ни былъ онъ нравственъ и вѣренъ дѣйствительности,—эта система теперь почти оставлена, потому что знаютъ, съ одной стороны, ея бесполезность, съ другой—нелогичность. Эта система, основанная на запрещеніи, на скрываніи, никогда не приносила хорошихъ результатовъ. Тайна раздражаетъ любопытство, запрещеніе усиливаетъ стремленіе къ запрещенному. Сверхъ

того, нужно ли и возможно ли скрывать отъ дѣвушки существованіе любви? Не лучше ли, вмѣсто того, чтобы дѣвушкѣ узнавать объ ней стороною, черезъ подругу, украдкою, не лучше ли матери самой внушить ей уваженіе къ этому чувству и указать ей на тѣ обязанности, которыя возлагаетъ оно на человѣка, и на тѣ чистыя радости, которыя доставляетъ оно въ жизни? Кажется, такой взглядъ на воспитаніе дѣвушекъ беретъ перевѣсъ не только въ теоріи, но и въ жизни. Приготовляя дѣвушку быть женою, матерью, необходимо заставить ее заглянуть въ будущее, заставить заранѣе понять то чувство, безъ котораго жизнь не полна и развитіе не все-сторонне. О второй статьѣ того же автора мы скажемъ коротко. Авторъ разбираетъ мысли Флери и Фенелона, заговорившихъ въ царствованіе Людовика XIV о необходимости образованія для женщинъ; онъ опредѣляетъ значеніе обоихъ писателей для тогдашняго времени и отношеніе ихъ педагогической теоріи къ системѣ современнаго воспитанія. Признавая заслуги того и другого, авторъ находитъ, что ихъ понятія узки и ограничены для нашего времени. Онъ сообщаетъ при этомъ нѣсколько основательныхъ замѣчаній, сходныхъ съ мыслями, высказанными нами при разборѣ сочиненія Фенелона, и, наконецъ, кончаетъ обращеніемъ къ современнымъ женщинамъ, увѣщевая ихъ исправиться отъ господствующаго въ обществѣ недостатка (на который указывали еще Флери и Фенелонъ), отъ пагубнаго стремленія—казаться, а не быть. Все это вѣрно, и мы не находимъ противъ этого возраженій.

## О Б Л О М О В Ъ.

Романъ *И. А. Гончарова.*

Въ каждой литературѣ, достигшей извѣстной степени зрѣлости, появляются такіа произведенія, которыя соглашаютъ общечеловѣчскій интересъ съ народнымъ и современнымъ, и возводятъ на степень художественныхъ созданій типа, взятые изъ среды того общества, къ которому принадлежитъ писатель. Авторъ такого произведенія не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ; онъ не задаетъ себѣ задачи составить поучительную книгу и осмѣять тотъ или другой недостатокъ общества

или перевознести ту или другую добродѣтель, въ которой нуждается это общество. Нѣтъ! Творчество съ заранѣе задуманной практической цѣлью составляетъ явленіе незаконное; оно должно быть предоставлено на долю тѣхъ писателей, которымъ отказано въ могучемъ талантѣ, которымъ дано взаимѣ нравственное чувство, способное сдѣлать ихъ хорошими гражданами, но не художниками.—Истинный поэтъ стоитъ выше житейскихъ вопросовъ, но не уклоняется отъ ихъ разрѣшенія, встрѣчаясь съ ними на пути своего творчества. Такой поэтъ смотритъ

глубоко на жизнь и въ каждомъ ея явленіи видитъ общечеловѣческую сторону, которая затронетъ за живое всякое сердце и будетъ понятна всякому времени. Случится ли поэту обратить вниманіе на какое-нибудь общественное зло,—положимъ, на взяточничество,—онъ не станетъ, подобно представителямъ обличительнаго направленія, вдаваться въ тонкости казуистики и излагать разныя запутанныя продѣлки: цѣль его будетъ не осмѣять зло, а разбѣить передъ глазами читателя психологическую задачу; онъ обратитъ вниманіе не на то, въ чемъ проявляется взяточничество, а на то, откуда оно исходитъ; взяточникъ въ его глазахъ—не чиновникъ, недобросовѣстно исполняющій свою обязанность, а человѣкъ, находящійся въ состояніи полного нравственнаго униженія. Прослѣдить состояніе его души, раскрыть его передъ читателемъ, объяснить участіе общества въ формированіи подобныхъ характеровъ—вотъ дѣло истиннаго поэта, котораго твореніе о взяточничествѣ можетъ возбудить не одно отвращеніе, а глубокую грусть за нравственное паденіе человѣка. Такъ смотритъ поэтъ на явленія своей современности, такъ относится онъ къ различнымъ сторонамъ своей національности, на все смотритъ онъ съ общечеловѣческой точки зрѣнія; не трати силъ на воспроизведеніе мелкихъ внѣшнихъ особенностей народнаго характера, не дробя своей мысли на мелочныя явленія всендневной жизни, поэтъ разомъ постигаетъ духъ, смыслъ этихъ явленій, усваиваетъ себѣ полное пониманіе народнаго характера и потомъ, вполне располагая своимъ матеріаломъ, творить, не списывая съ окружающей его дѣйствительности, а выводя эту дѣйствительность изъ глубины собственнаго духа и влагая въ живые, созданныя имъ образы одушевляющую его мысль. «Народность—говоритъ Вѣлинскій—есть не достоинство, а необходимое условіе истинно художественнаго произведенія». Мысль поэта ищетъ себѣ опредѣленнаго, округлаго выраженія и по естественному закону выливается въ ту форму, которая всего знакомѣе поэту; каждая черта общечеловѣческаго характера имѣетъ въ извѣстной національности свои особенности, каждое общечеловѣческое движеніе души выражается сообразно съ условіями времени и мѣста. Истинный художникъ можетъ воплотить свою идею только въ самыхъ опредѣленныхъ образахъ, и вотъ почему народность и историческая вѣрность составляютъ необходимое условіе изящнаго произведенія. Слова Вѣлинскаго, сказанныя имъ по поводу повѣстей Гоголя, могутъ быть въ полной силѣ приложены къ оцѣнкѣ новаго романа Гончарова. Въ этомъ романѣ разрѣшается обширная, общечеловѣческая психологическая задача; эта задача разрѣшается въ явленіяхъ чисто русскихъ, національныхъ, возможныхъ только при нашемъ образѣ жизни, при тѣхъ

историческихъ обстоятельствахъ, которыя сформировали народный характеръ, при тѣхъ условіяхъ, подъ влияніемъ которыхъ развивалось и отчасти развивается до сихъ поръ наше молодое поколѣніе. Въ этомъ романѣ затронуты и жизненные, современные вопросы настолько, насколько эти вопросы имѣютъ общечеловѣческой интересъ; въ немъ выставлены и недостатки общества, но выставлены не съ полемической цѣлью, а для вѣрности и полноты картины, для художественнаго изображенія жизни, какъ она есть, и человѣка съ его чувствами, мыслями и страстями. Полная объективность, спокойное, безстрастное творчество, отсутствіе узкихъ временныхъ цѣлей, профанирующихъ искусство, отсутствіе лирическихъ порывовъ, нарушающихъ ясность и отчетливость эпическаго повѣствованія,—вотъ отличительные признаки таланта автора, насколько онъ выразился въ послѣднемъ его произведеніи. Мысль Гончарова, проведенная въ его романѣ, принадлежитъ всѣмъ вѣкамъ и народамъ, но имѣетъ особенное значеніе въ наше время, для нашего русскаго общества. Авторъ задумалъ прослѣдить мертвящее, губительное влияніе, которое оказываютъ на человѣка умственная апатія, усыпленіе, овладѣвающее мало-по-малу всѣми силами души, охватывающее и сковывающее собою всѣ лучшія, человѣческія, разумныя движенія и чувства. Эта апатія составляетъ явленіе общечеловѣческое, она выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и порождается самыми разнообразными причинами; но вездѣ въ ней играетъ главную роль страшный вопросъ: «зачѣмъ жить? къ чему трудиться?»—вопросъ, на который человѣкъ часто не можетъ найти себѣ удовлетворительнаго отвѣта. Этотъ неразрѣшенный вопросъ, это неудовлетворенное сомнѣніе истощаютъ силы, губятъ дѣятельность; у человѣка опускаются руки, и онъ бросаетъ трудъ, не видя ему цѣли. Одинъ съ негодованіемъ и съ желчью отброситъ отъ себя работу, другой отложитъ ее въ сторону тихо и лѣнливо; одинъ будетъ рваться изъ своего бездѣйствія, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чѣмъ можно было бы наполнить внутреннюю пустоту; апатія его приметъ отчѣнокъ мрачнаго отчаянія, она будетъ перемежаться съ лихорадочными порывами къ беспорядочной дѣятельности и все-таки останется апатіей, потому что отнять у него силы дѣйствовать, чувствовать и жить. У другого равнодушіе къ жизни выразится въ болѣе мягкой, безцвѣтной формѣ; животныя инстинкты тихо, безъ борьбы, выплывутъ на поверхность души; замрутъ безъ боли высшія стремленія; человѣкъ опустится въ мягкое кресло и заснетъ, наслаждаясь своимъ бессмысленнымъ покоемъ; начнется вмѣсто жизни прозябаніе, и въ душѣ человѣка образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волненіе внѣшняго



міра, который не потревожить никакой внутренней переворотъ. Въ первомъ случаѣ мы видимъ какую-то вынужденную апатію, — апатію и вмѣстѣ съ тѣмъ борьбу противъ нея, избытокъ силъ, просившихся въ дѣло и медленно гаснущихъ въ безплодныхъ попыткахъ; это—байронизмъ, болѣзнь сильныхъ людей. Во второмъ случаѣ является апатія покорная, мирная, улыбающаяся, безъ стремленія выйти изъ бездѣйствія, это—обломовщина, какъ называлъ ее Гончаровъ, это болѣзнь, развитію которой способствуютъ и славянская природа, и жизнь нашего общества. Это развитіе болѣзни прослѣдилъ въ своемъ романѣ Гончаровъ. Огромная идея автора во всемъ величій своей простоты улеглась въ соответствующую ей рамку. По этой идеѣ построены весь планъ романа, построены такъ обдуманно, что въ немъ нѣтъ ни одной случайности, ни одного вводнаго лица, ни одной лишней подробности; чрезъ всѣ отдѣльныя сцены проходитъ основная идея, и, между тѣмъ, во имя этой идеи, авторъ не дѣлаетъ ни одного уклоненія отъ дѣйствительности, не жертвуетъ ни одной частностью во внѣшней отдѣлкѣ лицъ, характеровъ и положеній. Все строго естественно и между тѣмъ вполне осмысленно, проникнуто идеей. Событій, дѣйствія почти нѣтъ; содержаніе романа можетъ быть рассказано въ двухъ, трехъ строкахъ, какъ можетъ быть рассказана въ нѣсколькихъ словахъ жизнь всякаго человѣка, не испытываемаго сильныхъ потрясеній; интересъ такого романа, интересъ такой жизни заключается не въ замысловатомъ сфлеленіи событій, хотя бы и правдоподобныхъ, хотя бы и дѣйствительно случившихся, а въ наблюденіи надъ внутреннимъ міромъ человѣка. Этотъ міръ всегда интересенъ, всегда привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе; но онъ особенно доступенъ для изученія въ спокойныя минуты, когда человѣкъ, составляющій предметъ нашего наблюденія, предоставленъ самому себѣ, не зависитъ отъ внѣшнихъ событій, не поставленъ въ искусственное положеніе, происходящее отъ случайнаго стеченія обстоятельствъ. Въ такія спокойныя минуты жизни, когда человѣкъ, не тревожимый внѣшними впечатлѣніями, сосредоточивается, собираетъ свои мысли и заглядываетъ въ свой внутренний міръ, въ такія минуты происходитъ иногда никому не замѣтная, глухая внутренняя борьба, въ такія минуты зрѣетъ и развивается задушевная мысль или происходитъ поворотъ на прошедшее, обдумываніе и оцѣнка собственныхъ поступковъ, собственной личности. Эти таинственныя минуты особенно дороги для художника, особенно интересны для посвященнаго наблюдателя. Въ романѣ Гончарова внутренняя жизнь дѣйствующихъ лицъ открыта предъ глазами читателя; нѣтъ нитяныя внѣшнихъ событій, нѣтъ придуманныхъ и рассчитанныхъ эффектовъ, и потому анализъ автора ни на минуту не теряетъ своей

отчетливости и спокойной проникающей способности. Идея не дробится въ сплетеніи разнообразныхъ происшествій: она стройно и просто развивается сама изъ себя, проводится до конца и до конца поддерживаетъ собою весь интересъ, безъ помощи постороннихъ, побочныхъ, вводныхъ обстоятельствъ. Эта идея такъ широка, она охватываетъ собою такъ много сторонъ нашей жизни, что, воплщая одну эту идею, не уклоняясь отъ нея ни на шагъ, авторъ могъ, безъ малѣйшей натяжки, коснуться чуть ли не всѣхъ вопросовъ, занимающихъ въ настоящее время общество. Онъ коснулся ихъ невольно, не желая жертвовать для временныхъ цѣлей вѣчными интересами искусства; но это, невольно высказанное въ общественномъ дѣлѣ, слово художника не можетъ не имѣть сильнаго и благотворнаго вліянія на умы: оно подѣйствуетъ такъ, какъ дѣйствуетъ все истинное и прекрасное. Часто случается, что художникъ приступаетъ къ своему дѣлу съ извѣстной идеей, созрѣвшей въ его головѣ и получившей уже свою опредѣленную форму; онъ берется за перо, чтобы перенести эту идею на бумагу, чтобы вложить ее въ образы—и вдругъ увлекается самимъ процессомъ творчества; произведеніе, задуманное въ его умѣ, разрастается и получаетъ не ту форму, которая была назначена ему прежде. Отдѣльный эпизодъ, которому вначалѣ слѣдовало только подтвердить основную мысль, обрабатывается съ особенной любовью и вырастаетъ такъ, что почти выдвигается на первый планъ, и между тѣмъ отъ этого, повидимому незаконнаго, преобладанія одной части надъ другими не происходитъ дисгармоніи; основная идея не теряетъ своей ясности, не затемняется развитіемъ эпизодовъ; все произведеніе остается стройнымъ и изящнымъ, хотя и не соблюдена математическая строгость въ соразмѣрности частей. Описанный нами фактъ творчества свершился, какъ кажется, надъ романомъ Гончарова. Главной идеей автора, насколько можно судить и по заглавію, и по ходу дѣйствія, было изобразить состояніе спокойной и покорной апатіи, о которой мы уже говорили выше; между тѣмъ, послѣ прочтенія романа у читателя можетъ возникнуть вопросъ: что хотѣлъ сдѣлать авторъ? Какая главная цѣль руководила имъ? Не хотѣлъ ли онъ прослѣдить развитіе чувства любви, анализировать до мельчайшихъ подробностей тѣ видоизмѣненія, которыя испытываетъ душа женщины, взволнованной сильнымъ и глубокимъ чувствомъ? Вопросъ этотъ рождается не оттого, чтобы главная цѣль была не достигнута, не оттого, чтобы вниманіе автора уклонилось отъ нея въ сторону; напротивъ, дѣло въ томъ, что обѣ цѣли, главная и второстепенная, возникшая во время творчества, достигнуты до такой степени полно, что читатель не знаетъ, которой изъ нихъ отдать предпочтеніе. Въ Обломовѣ мы видимъ двѣ картины, одинаково законченныя, поста-

вленные рядомъ, проникающія и дополняющія одна другую. Главная идея автора выдержана до конца; но во время процесса творчества представилась новая психологическая задача, которая, не мѣшая развитію первой мысли, сама разрѣшается до такой степени полно, какъ не разрѣшалась, быть можетъ, никогда. Рѣдкій романъ обнаруживалъ въ своемъ авторѣ такую силу анализа, такое полное тонкое знаніе человѣческой природы вообще и женской въ особенности; рѣдкій романъ когда-либо совмѣщалъ въ себѣ двѣ, до такой степени огромныя, психологическія задачи, рѣдкій возводилъ соединеніе двухъ такихъ задачъ до такого стройнаго и, повидимому, несложнаго цѣлаго. Мы бы никогда не кончили, если бы стали говорить о всѣхъ достоинствахъ общаго плана, составленнаго такою смѣлою рукою; переходимъ къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ характеровъ.

Илья Ильичъ Обломовъ, герой романа, олицетворяетъ въ себѣ ту умственную апатію, которой Гончаровъ придалъ имя обломовщины. Слово «обломовщина» не умереть въ нашей литературѣ: оно составлено такъ удачно, оно такъ осязательно характеризуетъ одинъ изъ существенныхъ пороковъ нашей русской жизни, что, по всей вѣроятности, изъ литературы оно проникнетъ въ языкъ и войдетъ во всеобщее употребленіе. Посмотримъ, въ чемъ же состоитъ эта обломовщина. Илья Ильичъ стоитъ на рубежѣ двухъ, взаимно противоположныхъ, направлений: онъ воспитанъ подъ вліяніемъ обстановки старо-русской жизни, привыкъ къ барству, къ бездѣйствію и къ полному угожденію своимъ физическимъ потребностямъ и даже прихотямъ; онъ провелъ дѣтство подъ любящимъ, но неосмысленнымъ надзоромъ совершенно неразвитыхъ родителей, наслаждавшихся въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ полной умственной дремотою, въ родѣ той, которую охарактеризовалъ Гоголь въ своихъ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Онъ избалованъ и избалованъ, ослабленъ физически и нравственно; въ немъ старались, для его же пользы, подавлять порывы рѣзости, свойственные дѣтскому возрасту, и движенія любознательности, просыпающіяся также въ годы младенчества: первые, по мнѣнію родителей, могли подвергнуть его ушибамъ и разнаго рода поврежденіямъ; вторыя могли разстроить здоровье и остановить развитіе физическихъ силъ. Кормленіе на убой, сонъ въ волю, поблажка всѣмъ желаніямъ и прихотямъ ребенка, не грозившимъ ему какимъ либо тѣлеснымъ поврежденіемъ, и тщательное удаленіе отъ всего, что можетъ простудить, обжечь, ушибить или утомить его,—вотъ основныя начала обломовскаго воспитанія. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, что не успѣли сдѣлать труды родителей и нянекъ. На тепличное растеніе, не ознакомившееся въ дѣтствѣ не только съ волненіями дѣй-

ствительной жизни, но даже съ дѣтскими огорченіями и радостями, пахнуло струей свѣжаго, живого воздуха. Илья Ильичъ сталъ учиться и развился настолько, что понять, въ чемъ состоитъ жизнь, въ чемъ состоятъ обязанности человѣка. Онъ понималъ это умомъ, но не могъ сочувствовать воспринятымъ идеямъ о долгѣ, о трудѣ и дѣятельности. Роковой вопросъ: къ чему жить и трудиться?—вопросъ, возникающій обыкновенно послѣ многочисленныхъ разочарованій и обманутыхъ надеждъ, прямо, самъ собою, безъ всякаго приготовленія, во всей своей ясности представился ему Ильи Ильича. Этими вопросомъ онъ сталъ оправдывать въ себѣ отсутствіе опредѣленныхъ наклонностей, нелюбовь къ труду всякаго рода, нежеланіе покушать этимъ трудомъ даже высокое наслажденіе, безсиліе, не позволявшее ему идти твердо къ какой-нибудь цѣли и заставлявшее его останавливаться съ любовью на каждомъ препятствіи, на всемъ, что могло дать средство отдохнуть и остановиться. Образованіе научило его презирать праздность; но сѣмена, брошенные въ его душу природою и первоначальнымъ воспитаніемъ, принесли плоды. Нужно было согласить одно съ другимъ, и Обломовъ сталъ объяснять себѣ свое апатическое равнодушіе философскимъ взглядомъ на людей и на жизнь. Онъ дѣйствительно успѣлъ увѣрить себя въ томъ, что онъ—философъ, потому что спокойно и безстрастно смотритъ на волненія и дѣятельность окружающихъ его людей; лѣнь получила въ его глазахъ силу закона; онъ отказался отъ всякой дѣятельности; обезпеченное состояніе дало ему средства не трудиться, и онъ спокойно задремалъ съ полнымъ сознаніемъ собственного достоинства. Между тѣмъ идутъ года, и съ годами возникаютъ сомнѣнія. Обломовъ оборачивается назадъ и видитъ рядъ бесполезно прожитыхъ лѣтъ, смотритъ внутрь себя и видитъ, что все пусто, оглядывается на товарищей — всѣ за дѣломъ; настаютъ порою страшныя минуты яснаго сознанія; его щемитъ тоска, хочется двинуться съ мѣста, фантазія разыгрывается, начинаются планы, а между тѣмъ двинуться нѣтъ силъ, онъ какъ-будто приросъ къ землѣ, прикованъ къ своему бездѣйствію, къ спокойному креслу и къ халату; фантазія слабѣетъ, лишь только приходитъ пора дѣйствовать; смѣлые планы разлетаются, лишь только надо сдѣлать первый шагъ для ихъ осуществленія. Апатія Обломова не похожа на тотъ тяжелый сонъ, въ который были погружены умственные способности его родителей: эта апатія парализуетъ дѣйствія, но не деревянитъ его чувства, не отнимаетъ у него способности думать и мечтать; высшія стремленія его ума и сердца, пробужденныя образованіемъ, не замерли; человѣческія чувства, вложенныя природою въ его мягкую душу, не очерствѣли: они какъ-будто запылились жиромъ, но сохранились во всей своей первобытной чистотѣ.

Обломовъ никогда не приводилъ этихъ чувствъ и стремленій въ соприкосновеніе съ практической жизнью; онъ никогда не разочаровывался, потому что никогда не жилъ и не дѣйствовалъ. Оставшись до зрѣлаго возраста съ полною вѣрой въ совершенство людей, создавъ себѣ какой-то фантастической міръ, Обломовъ сохранилъ чистоту и свѣжесть чувства, характеризующую ребенка; но эта свѣжесть чувства бесполезна и для него, и для другихъ. Онъ способенъ любить и чувствовать дружбу; но любовь не можетъ возбуждать въ немъ энергіи; онъ устаетъ любить, какъ усталъ двигаться, волноваться и жить. Вся личность его влечетъ къ себѣ своей честностью, чистою помысловъ и «голубиной», по выраженію самого автора, нѣжностью чувствъ; но въ этой привлекательной личности нѣтъ мужественности и силы, нѣтъ самодѣятельности. Этотъ недостатокъ губить всѣ его хорошія свойства. Обломовъ робокъ, застѣнчивъ. Онъ стоитъ по своему уму и развитію выше массы, составляющей у насъ общественное мнѣніе, но ни въ одномъ изъ своихъ дѣйствій не выражаетъ своего превосходства; онъ не дорожитъ свѣтомъ—и между тѣмъ боится его пересудовъ и безпрекословно подчиняется его приговорамъ; его пугаетъ малѣйшее столкновеніе съ жизнью, и, ежели можно избѣжать такого столкновенія, онъ готовъ жертвовать своимъ чувствомъ, надеждами, матеріальными выгодами; словомъ, Обломовъ не умѣетъ и не хочетъ бороться съ чѣмъ бы то ни было и какъ бы то ни было. Между тѣмъ, въ немъ совершается постоянная борьба между дѣливой природой и сознаниемъ человѣческаго долга.—борьба бесплодная, не вырывающаяся наружу и не приводящая ни къ какому результату. Спрашивается, какъ должно смотрѣть на личность, подобную Обломову? Этотъ вопросъ имѣетъ важное значеніе, потому что Обломовыхъ много и въ русской литературѣ, и въ русской жизни. Сочувствовать такимъ личностямъ нельзя, потому что онѣ тяготятъ и себя, и общество; презирать ихъ безусловно тоже нельзя: въ нихъ слишкомъ много истинно-человѣческаго, и сами онѣ слишкомъ много страдаютъ отъ несовершенствъ своей природы. На подобныя личности должно, по нашему мнѣнію, смотрѣть, какъ на жалкія, но неизбѣжныя явленія переходной эпохи; онѣ стоятъ на рубежѣ двухъ жизней: старо-русской и европейской, и не могутъ шагнуть рѣшительно изъ одной въ другую. Въ этой нерѣшительности, въ этой борьбѣ двухъ началъ заключается драматичность ихъ положенія; здѣсь же заключаются и причины дисгармоніи между смѣлостью ихъ мысли и нерѣшительностью дѣйствій. Такихъ людей должно жалѣть, во-первыхъ—потому, что въ нихъ часто бываетъ много хорошаго, вторыхъ—потому, что они являются невинными жертвами исторической необходимости. Рядомъ съ Обломовымъ выведенъ въ романѣ Гончарова

другой характеръ, соединяющій въ себѣ тѣ результаты, къ которымъ должно вести гармоническое развитіе. Андрей Ивановичъ Штольцъ, другъ Обломова, является вполне мужчиной, такимъ человѣкомъ, какихъ еще очень мало въ современномъ обществѣ. Онъ не измаланванъ домашнимъ воспитаніемъ, онъ съ молодыхъ лѣтъ началъ пользоваться разумной свободой, рано узналъ жизнь и умѣлъ внести въ практическую дѣятельность прочныя теоретическія знанія. Выработанность убѣжденій, твердость воли, критическій взглядъ на людей и на жизнь, и рядомъ съ этимъ критическимъ взглядомъ вѣра въ истину и въ добро, уваженіе ко всему прекрасному и возвышенному,—вотъ главныя черты характера Штольца. Онъ не даетъ воли страстямъ, отличая ихъ отъ чувства; онъ наблюдалъ за собою и сознаетъ, что человѣкъ есть существо мыслящее, и что разумъ долженъ управлять его дѣйствіями. Господство разума не исключаетъ чувства, но осмысливаетъ его и предохраняетъ отъ увлеченій. Штолецъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ холодныхъ, флегматическихъ людей, которые подчиняютъ свои поступки расчету, потому что въ нихъ нѣтъ жизненной теплоты, потому что они не способны ни горячо любить, ни жертвовать собою во имя идеи. Штолецъ не мечтатель, потому что мечтательность составляетъ свойство людей, больныхъ тѣломъ или душою, не умѣвшихъ устроить себѣ жизнь по своему вкусу; у Штольца здоровая и крѣпкая природа; онъ сознаетъ свои силы, не слабѣетъ передъ неблагоприятными обстоятельствами и, не напавшись насильно на борьбу, никогда не отступаетъ отъ нея, когда того требуютъ убѣжденія; жизненные силы бьютъ въ немъ живымъ ключомъ, и онъ употребляетъ ихъ на полезную дѣятельность, живетъ умомъ, сдерживая порывы воображенія, но воспитывая въ себѣ правильное эстетическое чувство. Характеръ его можетъ съ перваго взгляда показаться жестокимъ и холоднымъ. Спокойный, часто шутиливый тонъ, съ которымъ онъ говоритъ и о своихъ, и о чужихъ интересахъ, можетъ быть принятъ за неспособность глубоко чувствовать, за нежеланіе вдуматься, вникнуть въ дѣло; но это спокойствіе происходитъ не отъ холодности: въ немъ должно видѣть доказательство самостоятельности, привычки думать про себя и дѣлиться съ другими своими впечатлѣніями только тогда, когда это можетъ доставить имъ пользу или удовольствіе. Въ отношеніяхъ между Обломовымъ и Штольцемъ, Обломовъ нѣжнѣе и сообщительнѣе своего друга. Это очень естественно: характеры слабѣе всегда нуждаются въ нравственной поддержкѣ и потому всегда готовы раскрыться, подѣлиться съ другимъ горемъ или радостью. Люди съ твердымъ, глубокимъ характеромъ находятъ въ голосѣ собственного разсудка лучшую опору и потому рѣдко чувствуютъ потребность высказаться. Въ от-

ношеніи къ любимой женщинѣ Штольцъ не способенъ быть страдательнымъ существомъ, послушнымъ исполнителемъ ея воли; сознание собственной личности не позволяетъ ему, для кого бы то ни было, отступать отъ убѣжденій или мѣнять основныя черты своего характера. Осмысливая все, онъ осмысливаетъ и любовь, и видитъ въ ней не служеніе кумиру, а разумное чувство, долженствующее пополнить существованіе двухъ взаимно уважающихъ другъ друга людей. Штольцъ—вполнѣ европеецъ по развитію и по взгляду на жизнь; это—типъ будущій, который теперь рѣдокъ, но къ которому ведетъ современное движеніе идей, обнаружившееся съ такою силой въ нашемъ обществѣ. «Вотъ,—говоритъ Гончаровъ,—глаза очнулись отъ дремоты, слышались бойкіе, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими знаменами!»

Личности, подобныя Штольцу, рѣдки въ наше время: условія нашей общественной и частной жизни не могутъ содѣйствовать развитію такихъ характеровъ; въ наше время еще трудно согласить личные интересы съ чистотою убѣжденій, трудно не увлечься, съ одной стороны, въ сферу отвлеченной мысли, не пьющей связи съ жизнью, съ другой—въ область копѣчнаго, бездушнаго расчета. Гончаровъ сознаетъ исключительность характера Штольца и объясняетъ его происхожденіемъ тѣми особенными условіями, подвліяніемъ которыхъ онъ росъ и развивался. Отецъ его, нѣмецъ, пріучилъ его къ дѣятельности и съ малыхъ лѣтъ предоставилъ ему такую свободу, которая принудила его самого обещивать поступки и заботиться объ его дѣтскихъ интересахъ; мать его, русская дворянка, не сочувствовала реальному направленію, которое давалъ отецъ воспитанію Андриши, и старалась возбудить въ немъ эстетическое чувство, заботилась даже о внѣшнемъ изяществѣ его манеръ и туалета. Отецъ старался сдѣлать изъ Андрея нѣмецкаго бюргера, дѣятельнаго, расчетливаго и расторопнаго; мать желала видѣть въ немъ человека съ нѣжной душой и русскаго барина, образованнаго, способнаго блистать въ обществѣ и проживать честнымъ образомъ деньги, зарабатываемыя отцомъ. Отецъ воспитывалъ мальчика на римскихъ классикахъ, водилъ его по фабрикамъ, давалъ ему разныя коммерческія порученія и предоставлялъ его наклонностямъ возможно полную свободу; мать учила его прислушиваться къ задумчивымъ звукамъ Герца, пѣла ему о цвѣтахъ, о поэзіи жизни и проч. Вліянія обоихъ родителей были такимъ образомъ почти діаметрально противоположны; сверхъ того, на Андрея дѣйствовала окружавшая его обстановка русской жизни, широкая, безпечная, располагавшая къ лѣни и покою, дѣйствовала, наконецъ, и школа труда, которую онъ принужденъ былъ пройти, чтобы составить себѣ карьеру и состояніе. Всѣ эти разнородныя влія-

нія, умѣряя другъ друга, формировали сильный, недюжинный характеръ. Отецъ далъ Андрею практическую мудрость, любовь къ труду и точность въ занятіяхъ; мать воспитала въ немъ чувство и внушила ему стремленіе къ высшимъ духовнымъ наслажденіямъ; русское, деревенское общество положило на его личность печать добродушія и откровенности. Наконецъ, жизнь закалила этотъ характеръ и придала строгую опредѣленность тѣмъ нравственнымъ свойствамъ, которыя не успѣли вполнѣ выработаться въ молодости, при воспитаніи. Характеръ Штольца вполнѣ объясненъ авторомъ, и такимъ образомъ, несмотря на свою рѣдкость, является характеромъ понятнымъ и законнымъ.

Третья замѣчательная личность, выведенная въ романѣ Гончарова,—Ольга Сергѣевна Ильинская—представляетъ типъ будущей женщины, какъ сформируютъ ее впоследствии тѣ идеи, которыя въ наше время стараются ввести въ женское воспитаніе. Въ этой личности, привлекающей къ себѣ невыразимой прелестью, но не поражающей никакими рѣзко выдающимися достоинствами, особенно замѣчательны два свойства, бросающія оригинальный колоритъ на всѣ ея дѣйствія, слова и движенія. Эти два свойства рѣдки въ современныхъ женщинахъ и потому особенно дороги въ Ольгѣ; они представлены въ романѣ Гончарова съ такою художественною вѣрностью, что имъ трудно не вѣрить, трудно принять Ольгу за невозможный идеаль, созданный творческой фантазіей поэта. Естественность и присутствіе сознания—вотъ что отличаетъ Ольгу отъ обыкновенныхъ женщинъ. Изъ этихъ двухъ качествъ вытекаютъ правдивость въ словахъ и въ поступкахъ, отсутствіе кокетства, стремленіе къ развитію, умѣнье любить просто и серьезно, безъ хитростей и уловокъ, умѣнье жертвовать собой своему чувству настолько, насколько позволяютъ не законы этикета, а голосъ совѣсти и разсудка. Первые два характера, оговоренные нами выше, представлены уже сложившимися, и Гончаровъ только объясняетъ ихъ читателю, то-есть показываетъ тѣ условія, подвліяніемъ которыхъ они образовались; что же касается до характера Ольги, онъ формируется передъ глазами читателя. Авторъ выводитъ ее сначала ребенкомъ, дѣвушкой, одаренной природнымъ умомъ, пользовавшейся при воспитаніи нѣкоторой самостоятельностью, но не испытавшей никакого сильнаго чувства, никакого волненія, незнакомой съ жизнью, непривыкшей наблюдать за собою, анализировать движенія собственной души. Въ этотъ періодъ жизни Ольги мы видимъ въ ней богатую, но нетронутую натуру; она не испорчена свѣтомъ, не умѣетъ притворяться, но не успѣла также развить въ себѣ мыслительной силы, не успѣла выработать себѣ убѣжденія; она дѣйствуетъ, повинуваясь влеченіямъ доброй души, но дѣйствуетъ инстинктивно; она слѣдуетъ

дружескимъ совѣтамъ развитою челоуѣка, но не всегда подвергаетъ эти совѣты критикѣ, увлекается авторитетомъ и иногда мысленно ссылается на своихъ пансионскихъ подругъ, старается припомнить, что сдѣлала бы въ томъ или другомъ случаѣ Соничка. Она не поступаетъ такъ, какъ поступили бы эти подруги, но мысленно упрекаетъ себя въ этомъ, не понимая, не сознавая еще ясно, что кокетство—ложь, что, слѣдя внушеніямъ собственной души, она поступаетъ честно, и что инстинктивное отвращеніе ко всякому притворству есть проявленіе нравственнаго чувства, а не слѣдствіе неразвитости или, какъ она говоритъ, глудости. Опытъ и спокойное размышленіе могли постепенно вывести Ольгу изъ этого періода инстинктивныхъ влеченій и поступковъ, врожденная любознательность могла повести ее къ дальнѣйшему развитію путемъ чтенія и серьезныхъ занятій; но авторъ выбралъ для нея другой, ускоренный путь. Ольга полюбила, душа ея взволновалась, она узнала жизнь, слѣдя за движеніями собственного чувства; необходимо понять состояніе собственной души заставила ее многое передумать, и изъ этого ряда размышленій и психологическихъ наблюденій она выработала самостоятельный взглядъ на свою личность, на свои отношенія къ окружающимъ людямъ, на отношенія между чувствомъ и долгомъ,—словомъ, на жизнь въ самомъ обширномъ смыслѣ. Гончаровъ изображеніемъ характера Ольги, анализомъ ея развитія показалъ въ полной силѣ образовательное вліяніе чувства. Онъ подмѣчаетъ его возникновеніе, слѣдитъ за его развитіемъ и останавливается на каждомъ его видоизмѣненіи, чтобы изобразить то вліяніе, которое оказываетъ оно на весь образъ мыслей обоихъ дѣйствующихъ лицъ. Ольга полюбила нечаянно, безъ предварительнаго приготовленія; она не создавала себѣ отвлеченнаго идеала, подъ который многія барышни стараются подводить знакомыхъ мужчинъ, не мечтала о любви, хотя, конечно, знала о существованіи этого чувства. Она жила спокойно, не стараясь искусственно возбудить въ себѣ любовь, не стараясь видѣть героя будущаго своего романа въ каждомъ новомъ лицѣ. Любовь пришла къ ней неожиданно-негаданно, какъ приходитъ всякое истинное чувство; чувство это незамѣтно прокралось къ ней въ душу и обратило на себя ея собственное вниманіе тогда, когда получило уже нѣкоторое развитіе. Когда она замѣтила его, она стала вдумываться и соразмѣрять съ своей внутренней мыслью слова и поступки. Эта минута, когда она отдала себѣ отчетъ въ движеніяхъ собственной души, начинается собою новый періодъ въ ея развитіи. Эту минуту переживаетъ каждая женщина, и переворотъ, который совершается тогда во всемъ ея существѣ и начинается обличать въ ней присутствіе сдержаннаго чувства и сосредоточенной мысли, этотъ

переворотъ особенно полно и художественно изображенъ въ романѣ Гончарова. Для такой женщины, какъ Ольга, чувство не могло долго оставаться на ступени инстинктивнаго влеченія; стремленіе осмыслить въ собственныхъ глазахъ, объяснить себѣ все, что встрѣчалось съ нею въ жизни, пробудилось тутъ съ особенной силой: явилась цѣль для чувства, явилось и обсуживаніе любимой личности; этимъ обсуживаніемъ опредѣлилась самая цѣль. Ольга поняла, что она сильнѣе того челоуѣка, котораго любить, и рѣшилась возвысить его, вдохнуть ему энергію, дать ему силы для жизни. Осмысленное чувство сдѣлалось въ ея глазахъ долгомъ и она съ полнымъ убѣжденіемъ стала жертвовать этому долгу нѣкоторыми внѣшними приличіями, за нарушеніе которыхъ чистосердечно и несправедливо преслѣдуетъ подозрительный судъ свѣта. Ольга растетъ вмѣстѣ съ своимъ чувствомъ; каждая сцена, происходящая между нею и любимымъ ею челоуѣкомъ, прибавляетъ новую черту къ ея характеру, съ каждой сценой граціозный образъ дѣвушки дѣлается знакомѣе читателю, обрисовывается ярче и сильнѣе выступаетъ изъ общаго фона картины. Мы достаточно опредѣлили характеръ Ольги, чтобы знать, что въ ея отношеніяхъ къ любимому челоуѣку не могло быть кокетства: желаніе завлечь мужчину, сдѣлать его своимъ обожателемъ, не испытывая къ нему никакого чувства, казалось ей непростительнымъ, недостойнымъ честной женщины. Въ ея обращеніи съ челоуѣкомъ, котораго она впоследствии полюбила, господствовала сначала мягкая, естественная грація; никакое расчитанное кокетство не могло поддѣлывать сильнѣе этого неподдѣльнаго, безыскусственно-простаго обращенія; но дѣло въ томъ, что со стороны Ольги тутъ не было желанія произвести то или другое впечатлѣніе. Женственность и грація, которыя Гончаровъ умѣлъ вложить въ ея слова и движенія, составляютъ неотъемлемую принадлежность ея природы и потому особенно обаятельно дѣйствуютъ на читателя. Эта женственность, эта грація становится сильнѣе и обаятельнѣе по мѣрѣ того, какъ чувство развивается въ груди дѣвушки; игривость, ребяческая безпечность смѣняются въ ея чертахъ выраженіемъ тихаго, задумчиваго, почти торжественнаго счастья. Передъ Ольгою открывается жизнь, міръ мыслей и чувствъ о которыхъ она не имѣла понятія, и она идетъ впередъ, довѣрчиво глядя на своего спутника, но въ то же время всматриваясь съ робкой любознательностью въ тѣ ощущенія, которыя толпятся въ ея взволнованной душѣ. Чувство растетъ; оно дѣлается потребностью, необходимымъ условіемъ жизни, а между тѣмъ и тутъ, когда чувство доходитъ до пароса, до «лунатизма любви», по выраженію Гончарова, и тутъ Ольга не теряетъ сознанія нравственнаго долга и умѣетъ сохранять спокойный, разумный,

критическій взглядъ на свои обязанности, на личность любимаго человѣка, на свое положеніе и на дѣйствія свои въ будущемъ. Самая сила чувства даетъ ей ясный взглядъ на вещи и поддерживаетъ въ ней твердость. Дѣло въ томъ, что чувство въ такой чистой и возвышенной натурѣ не нисходитъ на степень страсти, не помрачаетъ разсудка, не ведетъ къ такимъ поступкамъ, отъ которыхъ впоследствии пришлось бы краснѣть; подобное чувство не перестаетъ быть сознательнымъ, хотя порою оно бываетъ такъ сильно, что давитъ и грозитъ разрушить собою организмъ. Оно вселяетъ въ душу дѣвушки энергію, заставляетъ ее нарушить тотъ или другой законъ этикета; но это же чувство не позволяетъ ей забыть дѣйствительнаго долга, охраняетъ ее отъ увлеченія, внушаетъ ей сознательное уваженіе къ чистотѣ собственной личности, въ которой заключаются залогомъ счастья для двухъ людей. Ольга переживаетъ между тѣмъ новую фазу развитія: для нея наступаетъ горестная минута разочарованія, и испытываемыя ею душевныя страданія окончательно вырабатываютъ ея характеръ, придаютъ ей мысли зрѣлость, сообщаютъ ей жизненный опытъ. Въ разочарованіи часто бываетъ виноватъ самъ разочаровывающійся. Человѣкъ, создающій себѣ фантастическій міръ, непременно, рано или поздно, столкнется съ дѣйствительной жизнью и ушибется тѣмъ больше, чѣмъ выше была та высота, на которую подняла его прихотливая мечта. Кто требуетъ отъ жизни невозможнаго, тотъ долженъ обмануться въ своихъ надеждахъ. Ольга не мечтала о невозможномъ счастьи: ея надежды на будущее были просты, планы ея—осуществимы. Она полюбила человѣка честнаго, умнаго и развитаго, но слабаго, не привыкшаго жить; она узнала его хорошія и дурныя стороны и рѣшилась употребить все усилія, чтобы согрѣть его той энергіей, которую чувствовала въ себѣ. Она думала, что сила любви оживитъ его, вселитъ въ него стремленіе къ дѣятельности и дастъ ему возможность приложить къ дѣлу способности, задремавшія отъ долгаго бездѣйствія. Цѣль ея была высоко-нравственная; она была внушена ей истиннымъ чувствомъ. Она могла быть достигнута: не было никакихъ данныхъ, чтобы сомнѣваться въ успѣхѣ. Ольга приняла мгновенную вспышку чувства со стороны любимаго ею человѣка за дѣйствительное пробужденіе энергіи; она увидѣла свою власть надъ нимъ и надѣялась вести его впередъ на пути самосовершенствованія. Могла ли она не увлечься своей прекрасной цѣлью, могла ли она не видѣть впереди себя тихаго разумнаго счастья? И вдругъ она замѣчаетъ, что возбужденная на мигъ энергія гаснетъ, что предпринимаемая ею борьба безнадежна, что обаятельная сила соннаго спокойствія сильнѣе ея живительнаго вліянія. Что было дѣлать ей въ подобномъ случаѣ? Мнѣнія, вѣроятно, раздѣ-

лятся. Кто любитъ порывистой красотой безсознательнаго чувства, не думая о его послѣдствіяхъ, тотъ скажетъ: она должна была остаться вѣрною первому движенію сердца и отдать свою жизнь тому, кого однажды полюбила. Но кто видитъ въ чувствѣ ручательство будущаго счастья, тотъ взглянетъ на дѣло иначе: безнадежная любовь, бесполезная для себя и для любимаго предмета, не имѣетъ смысла въ глазахъ такого человѣка; красота такого чувства не можетъ извинить его неосмысленности. Ольга должна была побѣдить себя, разорвать это чувство, пока было еще время; она не имѣла права губить свою жизнь, приносить собою бесполезную жертву. Любовь становится незаконною тогда, когда ея не одобряетъ разсудокъ; заглушать голосъ разсудка значитъ давать волю страсти, животному инстинкту. Ольга не могла такъ поступить, и ей пришлось страдать, пока не выболѣло въ ея душѣ обманутое чувство. Ее спасло въ этомъ случаѣ присутствіе сознанія, на которое мы уже указали выше. Борьба мысли съ остатками чувства, подкрѣпленнаго свѣжими воспоминаніями минувшаго счастья, закалила душевныя силы Ольги. Въ короткое время она переживала и передумала столько, сколько не случается передумать и перечувствовать въ теченіе многихъ лѣтъ спокойнаго существованія. Она была окончательно приготовлена для жизни, и прошедшя, испытанное ею, чувство и пережитыя страданія дали ей способность понимать и цѣнить истинныя достоинства человѣка; они дали ей силы любить такъ, какъ не могла она любить прежде. Внушить ей чувство могла только замѣчательная личность, и въ этомъ чувствѣ уже для разочарованія не было мѣста; пора увлеченія, пора лунатизма прошла невозвратно. Любовь не могла болѣе незамѣтно проникаться въ душу, ускользя до времени отъ анализа ума. Въ новомъ чувствѣ Ольги все было опредѣленно, ясно и твердо. Ольга жила прежде умомъ, и умъ подвергалъ все своему анализу, предъявлялъ съ каждымъ днемъ новыя потребности, искалъ себѣ удовлетворенія, нищи во всемъ, чтѣ ее окружало. Затѣмъ развитіе Ольги сблало еще только одинъ шагъ впередъ. На этотъ шагъ есть только бѣглое указаніе въ романѣ Гончарова. То положеніе, къ которому повелъ этотъ новый шагъ, не очерчено. Дѣло въ томъ, что Ольгу не могли удовлетворить вполне ни тихое семейное счастье, ни умственные и эстетическія наслажденія. Наслажденія никогда не удовлетворяютъ сильной, богатой природы, неспособной заснуть и лишиться энергіи: такая природа требуетъ дѣятельности, труда съ разумною цѣлью, и только творчество способно до нѣкоторой степени утишить это тоскливое стремленіе къ чему-то высшему, незнакомому, — стремленіе, котораго не удовлетворяетъ счастливая обстановка всенедневной жизни. До этого со-

стоянія высшаго развитія достигла Ольга. Какъ удовлетворила она пробудившимся въ ней потребностямъ,—этого не говоритъ намъ авторъ. Но, признавая въ женщинѣ возможность и законность этихъ высшихъ стремленій, онъ, очевидно, высказываетъ свой взглядъ на ея назначеніе и на то, что называется въ обществѣ эмансипаціей женщины. Вся жизнь и личность Ольги составляютъ живой протестъ противъ зависимости женщины. Протестъ этотъ, конечно, не составлялъ главной цѣли автора, потому что истинное творчество не навязываетъ себѣ практическихъ цѣлей; но чѣмъ естественнѣе возникъ этотъ протестъ, чѣмъ менѣе онъ былъ пригрозенъ, тѣмъ болѣе въ немъ художественной истины, тѣмъ сильнѣе подѣйствуетъ онъ на общественное сознание. Вотъ три главные характера «Обломова». Остальныя группы личностей, составляющія фонъ картины и стоящія на второмъ планѣ, очерчены съ изумительной отчетливостью. Видно, что авторъ для главнаго сюжета не пренебрегалъ мелочами и, рисуя картину русской жизни, съ добросовѣстной любовью останавливался на каждой подробности. Вдова Шеницына, Захаръ, Тарантьевъ, Мухоморовъ, Анисья—все это живые люди, все это типы, которые встрѣчалъ на своемъ вѣку каждый изъ насъ. Мы не будемъ говорить подробно объ этихъ второстепенныхъ личностяхъ. Изъ нихъ особенно замѣчательна вдова Шеницына, въ лицѣ которой Гончаровъ воплотилъ чистое чувство, не возвышенное образованіемъ и не основанное на сознаніи. Захаръ, лакей Обломова, является такой типической, обработанной личностью, какой давно не представляла наша литература. Эта личность не выдается рѣзко впередъ въ романѣ Гончарова только потому, что всѣ характеры обработаны одинаково полно, общій планъ строго обдуманъ, и всѣ дѣйствующія лица обращаютъ на себя вниманіе читателя настолько, насколько это нужно для интереса и гармонической стройности цѣлаго. Теперь намъ остается еще объяснить, почему мы считаемъ необходимымъ, чтобы дѣвцы прочли романъ Гончарова: изъ первыхъ словъ нашей статьи видно, какъ высоко ставимъ мы это произведеніе; не прочтя его, трудно познакомиться вполнѣ съ современнымъ положеніемъ русской литературы, трудно представить себѣ полное ея развитіе, трудно соста-

вить себѣ понятіе о глубинѣ мысли и законченности формы, которыми отличаются нѣкоторыя самыя вѣрныя ея произведенія. «Обломовъ», по всей вѣроятности, составитъ эпоху въ исторіи русской литературы: онъ отражаетъ въ себѣ жизнь русскаго общества въ извѣстный періодъ его развитія. Имена Обломова, Штольца, Ольги сдѣлаются нарицательными. Словомъ, какъ ни разсматривать «Обломова», въ цѣломъ ли, или въ отдѣльныхъ частяхъ, по отношенію ли его къ современной жизни, или по его абсолютному значенію въ области искусства, такъ или иначе, всегда должно будетъ сказать, что это—вполнѣ изящное, строго обдуманное и поэтически-прекрасное произведеніе. Вотъ почему мы такъ долго останавливались на его разсмотрѣніи, вотъ почему мы еще разъ настойчиво рекомендуемъ его для чтенія дѣвцамъ. Ежели даже смотрѣть на воспитаніе дѣвицъ такъ, какъ смотритъ на него наше модное общество, заботящееся такъ много о вѣншей невинности и полагающее эту невинность въ незнаніи жизни и природы, даже и тогда самая строгая цензура не найдетъ въ «Обломовѣ» ничего предосудительнаго. Изображеніе чистаго, сознательнаго чувства, опредѣленіе его вліянія на личность и поступки человѣка, воспроизведеніе господствующей болѣзни нашего времени, обломовщины,—вотъ главные мотивы романа. Ежели вспомнить притомъ, что всякое изящное произведеніе имѣетъ образовательное вліяніе, ежели вспомнить, что истинно изящное произведеніе всегда нравственно, потому что вѣрно и просто рисуетъ дѣйствительную жизнь, тогда должно сознаться, что чтеніе книгъ, подобныхъ «Обломову», должно составлять необходимое условіе всякаго рациональнаго образованія. Сверхъ того, для дѣвицъ можетъ быть особенно полезно чтеніе этого романа. Это чтеніе несравненно лучше отвлеченнаго трактата о женской добродѣтели уяснить имъ жизнь и обязанности женщины. Стоитъ только вдуматься въ личность Ольги, прослѣдить ея поступки, и, навѣрное, въ головѣ прибавится не одна плодотворная мысль, въ сердцѣ заронится не одно теплое чувство. Итакъ, мы думаемъ, что «Обломовъ» должна прочесть каждая образованная русская женщина или дѣвушка, какъ должна она прочесть всѣ капиталныя произведенія нашей словесности.



## Дворянское Гнѣздо.

Романъ И. С. Тургенева.

Вопросъ о томъ, что должны и что могутъ дѣвѣицы, до сихъ поръ не вполне рѣшенъ, несмотря на его важность въ дѣлѣ женскаго воспитанія. Есть много замѣчательныхъ художественныхъ произведеній, которыя, представляя жизнь, какъ она есть, разсматривая и обсуживая явленія современности, отыскивая въ нихъ общечеловѣческую сторону, объясняя ихъ историческимъ развитіемъ народности, заслуживаютъ полнаго вниманія всякаго просвѣщеннаго человѣка и удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ самой тонкой эстетической критики. Чтеніе такихъ произведеній необходимо для всесторонняго образованія какъ мужчины, такъ и женщины; а между тѣмъ часто случается, что въ подобныхъ произведеніяхъ есть двѣ-три сцены, слишкомъ откровенно разоблачающія несовершенства жизни и слабости человѣческой природы. Тутъ потребности умственной жизни сталкиваются и приходятъ въ борьбу съ понятіями, принятыми въ обществѣ и освященными временемъ,—рождается вопросъ: читать или не читать дѣвѣицѣ такое произведеніе? и вопросъ этотъ рѣшается различно, смотря по взгляду на вещи родителей и воспитателей. Иногда пуризмъ доходитъ до такихъ размѣровъ, что изъ рукъ дѣвѣушки вырываютъ всякій романъ, всякую книгу, въ которой встрѣчается слово «любовь»; при этомъ обыкновенно обращаютъ преимущественное вниманіе не на мысль, не на направленіе книги, а на внѣшнюю форму, на слова и выраженія. Согласить подобныя мнѣнія, еще живущія въ нашемъ обществѣ, съ сколько-нибудь жизненнымъ взглядомъ на образование и на ту роль, которую должно играть въ образованіи чтеніе, невозможно; идти прямо наперекоръ принятымъ понятіямъ общества, не обращать на нихъ никакого вниманія также нельзя. Этимъ можно только возбудить недовѣріе и озлобленіе въ приверженцахъ прежняго порядка вещей, ихъ нужно убѣждать разумными доводами, а не раздражать смѣлыми, но бесполезными выходками. Что же остается дѣлать, встрѣчаясь съ такими произведеніями, каково, напримеръ, «Дворянское Гнѣздо», послѣдній романъ И. С. Тургенева? Пройти его молчаніемъ нельзя, во имя любви къ нашей словесности, во имя того, что «Дво-

рянское Гнѣздо», вмѣстѣ съ «Рудинимъ», представляетъ собою полный результатъ художественной дѣятельности одного изъ нашихъ первоклассныхъ писателей. Рекомендовать его для чтенія дѣвѣицамъ трудно: въ положеніи главныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ самой завязкѣ романа много горькой жизненной истины. А что слишкомъ истинно, то, какъ извѣстно, принято до времени скрывать. Находясь въ подобномъ затруднительномъ положеніи, мы рѣшились выбрать среднюю дорогу. Мы указали родителямъ и воспитателямъ на тѣ препятствія, которыя могутъ встрѣтиться при чтеніи «Дворянскаго Гнѣзда»; теперь мы постараемся въ нашемъ отчетѣ, минуя частности и подробности, показать, почему необходимо познакомить дѣвѣицъ съ этимъ во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнымъ произведеніемъ. И. С. Тургеневъ, какъ извѣстно, вѣроятно, всѣмъ нашимъ читательницамъ, знакомымъ съ «Записками Охотника», съ «Рудинимъ», съ «Затишьемъ», съ «Муму», съ «Асею»,—истинный художникъ, и художникъ преимущественно русскій. Русская національность выражается какъ въ созданіи русскихъ типовъ, такъ и въ отношеніи самого художника къ создаваемымъ имъ типамъ. Дѣйствующія лица повѣстей и рассказовъ Тургенева живутъ одной жизнью съ своимъ авторомъ. Выразимся точнѣе: у cadaго изъ выведенныхъ лицъ есть что-то общее съ авторомъ, какая-нибудь точка соприкосновенія; въ пониманіи вещей, въ складѣ ума представляемыхъ личностей есть такія оригинальныя черты, такія неувидимыя, но характеристичныя частности, которыя вырабатываетъ только русская жизнь, которая можетъ оцѣнить и подмѣтить только человѣкъ, сжившійся съ этой жизнью, одаренный тѣмъ же національнымъ складомъ ума, перечувствовавшій на себѣ интересы и стремленія, волновавшія русское общество, и притомъ перечувствовавшій ихъ такъ, какъ чувствуетъ и воспринимаетъ ихъ русскій человѣкъ. Знаніе русской жизни, и притомъ знаніе не книжное, а опытное, вынесенное изъ дѣятельности, очищенное и осмысленное силою таланта и размышленія, сказывается во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева и особенно ярко выразилось въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», самомъ строй-

номъ и законченномъ изъ его созданий. Всѣ дѣйствующія лица его романа, начиная отъ русской дѣвушки Лизы и кончая русскимъ лакеемъ старыхъ временъ Антономъ, въ высшей степени оригинальны и жизненны; всѣ они созданы изъ тѣхъ элементовъ, которые всѣ мы знаемъ и изъ которыхъ, со времени реформы Петра, мало-помалу слагается наша общественная и частная жизнь. Всѣ они—представители настоящего или непосредственнаго прошедшаго. Есть между ними и лучшіе люди, есть и доживные, но ни одинъ изъ нихъ не обогналъ своего вѣка, ни одинъ, подобно Штольцу, не является предвѣстникомъ будущаго, и, слѣдовательно, ни одного изъ нихъ нельзя, подобно Штольцу, упрекнуть въ томъ, что онъ—лицо, произвольно созданное авторомъ изъ такихъ элементовъ, которые еще не сдѣлались достояніемъ нашей жизни. Тургеневъ въ своемъ романѣ не говоритъ намъ о томъ, что должно быть; онъ представляетъ намъ то, что есть. Дидактизма нѣтъ и тѣни; а между тѣмъ «Дворянское Гнѣздо»—вполнѣ поучительный романъ: онъ рисуетъ современную жизнь, отгнѣняетъ ея хороша и дурная стороны, объясняетъ происхождение выведенныхъ явленій и вызываетъ читателя на серьезные и плодотворныя размышленія. Когда мы изучаемъ исторію, намъ рѣдко удается заглянуть въ душу людей извѣстной эпохи, не всегда удается перенестись въ кругъ ихъ понятій, объяснить себѣ, какъ смотрятъ они на себя, на міръ, на свои отношенія къ обществу, къ семейству и къ человечеству. Такія черты не заносятся въ лѣтописи, гдѣ говорится только о войнахъ, мирныхъ договорахъ и дѣйствіяхъ государей. Внутренняя, духовная жизнь эпохи можетъ отразиться только въ художественномъ произведеніи. На этомъ основаніи нѣкоторые подобныя произведенія стоятъ на ряду съ драгоценнѣйшими историческими памятниками. Къ числу такихъ произведеній можно отнести «Евгенія Онѣгина», «Героя Нашего Времени», «Мертвыя Души», «Обломовъ» и «Дворянское Гнѣздо». Онѣгинъ, Печоринъ и Обломовъ воплотили въ себѣ различныя фазы болѣзни вѣка, поражающей лучшихъ представителей прошлаго поколѣнія; «Мертвыя Души» и «Дворянское Гнѣздо» представили въ рядѣ свѣжихъ, жизненныхъ картинъ бытъ и понятія среднего класса нашего общества. «Мертвыя Души» обнимаютъ собою преимущественно отрицательныя явленія этой жизни, ея «бѣдность, да бѣдность, да несовершенства»; «Дворянское Гнѣздо» беретъ ея лучшихъ представителей и показываетъ намъ, что въ нихъ есть хорошаго и чего недостаетъ, что слѣдовало бы добавить и исправить. Въ названныхъ нами произведеніяхъ высказалась вторая четверть XIX столѣтія; въ нихъ прослѣженъ весь процессъ внутренней жизни и развитія нашего общества въ этотъ періодъ времени.

Приступимъ теперь къ изложенію мысли ав-

тора, выраженной имъ въ выборѣ и группировкѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа. Не имѣя возможности касаться всѣхъ личностей и положеній, мы ограничимся анализомъ трехъ характеровъ, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, довольно полно и ясно выразилась основная мысль. Мы будемъ говорить только о Панинѣ, о Лаврецкомъ и о Лизѣ, упоминая объ остальныхъ личностяхъ настолько, насколько онѣ отгнѣняютъ или объясняютъ собою черты ихъ характера или процессъ ихъ развитія.

Владиміръ Николаевичъ Панинъ—чиновникъ, артистъ, свѣтскій человѣкъ, очень неглубинный и довольно образованный, схватившій налету карьеру, положеніе въ обществѣ и даже довольно современный, но очень поверхностный взглядъ на вещи; онъ прекрасно характеризуется однимъ словомъ угрюмаго, ученаго, но забытаго жизнью музыканта Лемма. «Онъ дилетантъ», говоритъ старый нѣмецъ о молодомъ и блестящемъ свѣтскомъ человѣкѣ, умѣющимъ соединять своими успѣхами въ обществѣ практической взглядъ на административную дѣятельность и вишнюю, очень приличную, но вовсе не искреннюю восприимчивость къ разнообразнымъ проявленіямъ изящнаго. За Панина заступается въ разговорѣ съ Леммомъ Лизавета Михайловна Калитина. «Вы къ нему несправедливы,—говоритъ она:—онъ все понимаетъ и самъ почти все можетъ сдѣлать.»—«Да,—продолжаетъ музыкантъ:—все—второй нумеръ, легкій товаръ, слѣпшая работа. Это нравится, и онъ правится, и самъ онъ этимъ доволенъ: ну, и браво». Въ этихъ правдивыхъ словахъ добросовѣстнаго труженика обрисованъ весь Панинъ: онъ—дилетантъ и во вседневной жизни, и въ служебной своей дѣятельности, и особенно въ искусствѣ, которое подъ его руками превращается вполнѣ въ изящную игрушку, въ talent de société или d'agrément. Панинъ не служитъ никакому дѣлу, не преданъ никакой идеѣ, не выработалъ себѣ никакого твердаго, дорогаго убѣжденія; прожить весело и спокойно, нравиться окружающимъ людямъ, рисоваться передъ ними разнообразными дарованіями и чистотой нравственныхъ правилъ, возбуждать ихъ изумленіе и благоговѣніе вычитанной и кстаті приведенной мыслью, и наконецъ путями всѣхъ этихъ разнородныхъ, пустыхъ, но въ сущности безгрѣшныхъ успѣховъ достигнуть подъ старость высокаго чина и обезпеченнаго состоянія—вотъ цѣль Панина въ жизни, и этой цѣли онъ навѣрное достигнетъ, потому что онъ—человѣкъ умный, не настолько безнравственный или смѣлый, чтобы оскорбить какой-нибудь продѣлкой даже самое чуткое общественное мнѣніе, и не настолько благородный и пылкій, чтобы всей душой принять какое-нибудь убѣжденіе и во имя этого убѣжденія пожертвовать карьерой и временными выгодами. Панинъ—сухой человѣкъ, примѣняющій и об-

ція идеи, и высшія стремленія къ мелкимъ годамъ своего я, но въ то-же время тщательно скрывающей отъ всѣхъ другихъ свой узкій эгоизмъ. Онъ драпировается и постоянно играетъ роль. То онъ является государственнымъ человѣкомъ, заботящимся о нуждахъ народа и горячо принимающимъ къ сердцу все, что можетъ упрочить его благосостояніе и содѣйствовать его развитію. Въ этомъ случаѣ его пылкія и, повидимому, вдохновенныя рѣчи отличаются преобладаніемъ общихъ мѣстъ и незнаніемъ истиннаго дѣла, незнаніемъ народнаго характера и народной жизни. То онъ прикидывается художникомъ, умно говорить о Шекспирѣ и Белзювенѣ, съ чувствомъ поетъ, съ видомъ знагока кладезь широкіе штрихи на единственный ландшафтъ, который рисуется во всѣхъ альбомахъ знакомыхъ дамъ и дѣвицъ. Здѣсь Леммъ, истинный художникъ по чувству и специалистъ своего дѣла по знаніямъ, прямо угадываетъ его неискренность и смѣло говоритъ, что онъ неспособенъ вѣрно понимать и глубоко чувствовать. То Паншинъ просто является добрымъ, откровеннымъ малымъ, у котораго нѣтъ ни затаенной мысли, ни расчета,—человѣкомъ, увлекающимся минутными порывами, поддающимся мимолетнымъ впечатлѣніямъ и способнымъ, по живости и безпечности характера, надѣлать глупостей и поставить себя въ затруднительное и неловкое положеніе. Тутъ притворство его обнаруживается тѣмъ, что онъ, являясь на словахъ добрымъ и простымъ малымъ, на дѣлѣ держитъ себя самымъ политическимъ образомъ. Онъ шутитъ, фамильярничаешь, позволяетъ себѣ вольности, но настолько, насколько можно: онъ никогда не забывается. Шутки его иногда оскорбляютъ личности; но онъ шутитъ только съ беззащитными людьми,—съ тѣми, кто стоитъ ниже его, или съ тѣми, кто не пойметъ ироніи и приметъ ее за чистую монету. Нельзя сказать, чтобы Паншинъ постоянно сознательно лгалъ, играя свои роли: онъ самъ увѣренъ, что онъ и артистъ, и администраторъ, и славный малый. Потому онъ чрезвычайно доволенъ всей своей особой вообще и каждымъ изъ своихъ прекрасныхъ качествъ въ особенности; онъ—актеръ, увлекающійся своей ролью и забывающій дѣйствительность. Дѣйствительности своей онъ собственно и не знаетъ: вѣчно рисуясь и передъ другими, и передъ собою, онъ не успѣлъ возвыситься до безпристрастнаго размысленія надъ самимъ собою и никогда не задавалъ себѣ существеннаго вопроса: чѣмъ онъ долженъ быть и что онъ на самомъ дѣлѣ? На самомъ дѣлѣ Паншинъ—человѣкъ одного разбора съ Молчалинымъ («Горе отъ ума») и Чичиковымъ («Мертвые Души»); онъ приличіе ихъ обоихъ и несравненно умнѣ перваго. Поэтому, чтобы достигнуть тѣхъ же цѣлей, къ которымъ идутъ и Молчалинъ, и Чичиковъ, чтобы далеко обогнать того и другого, Паншину не пужно будетъ ни

ползать, ни мошенничать: достаточно будетъ улынуться въ одномъ мѣстѣ, сказать ловкую фразу въ другомъ, почтительно выслушать нелѣпное разсужденіе въ третьемъ, прикинуться рыцаремъ чести въ четвертомъ—и на избраника судьбы широкой рѣчкой польются земныя блага. Чичиковъ и Молчалинъ—мелкіе торгаши, оттого къ нимъ и прилипаетъ грязь ихъ ремесла; Паншинъ—промышленникъ большой руки, и потому онъ останется баринкомъ и честнымъ человѣкомъ, не по убѣжденію, а потому, что оно и выгодно, и спокойно. По внутреннимъ свойствамъ души, онъ ничѣмъ не лучше обоихъ своихъ предшественниковъ,—цѣль въ жизни у нихъ одна; все различіе заключается только во внѣшнемъ образованіи, да во внѣшней обстановкѣ. Такихъ людей формируетъ наше общество, оно воспитываетъ ихъ съ малыхъ лѣтъ въ своихъ салонахъ или канцеляріяхъ; оно потворствуетъ имъ своимъ благоволеніемъ и позволяетъ имъ достигнуть желанной цѣли, ежели они идутъ къ ней осторожно и прилично, не производя скандала и не мараю себя вопіющей безнравственностью. Въ романѣ Тургенева Паншинъ представленъ въ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ своей жизни: онъ любитъ достойную дѣвушку. Чувство, повидимому, очень благородное, но тутъ надо принять въ соображеніе три обстоятельства:

1) Онъ любитъ дѣвушку очень богатую,—дѣвушку, которая во всѣхъ отношеніяхъ представляется ему приличной, почти блестящей партіей.

2) Онъ продолжаетъ рисоваться передъ любимой дѣвушкой во все продолженіе романа; онъ рисуется торжественной важностью, когда дѣлаетъ предложеніе, рисуется мрачнымъ спокойствіемъ, когда впоследствии получаетъ отказъ. Чувство во все продолженіе дѣйствія не вызвало у него ни одного живого, задушевнаго, неразсчитаннаго слова.

3) Онъ не понималъ и не зналъ любимой дѣвушки; разговоръ ихъ вертѣлся въ общихъ сферахъ музыки, живописи, поэзій. Онъ говорилъ о нихъ, какъ дилетантъ и свѣтскій человѣкъ. Она слушала его равнодушно и отвѣчала прилично, потому что въ разговорѣ не было одушевленія, не было и откровенности. Зная одну наружность дѣвушки и довольствуясь этимъ знаніемъ, онъ не могъ любить сильно; въ тотъ самый день, когда неблагоприятно рѣшилась его судьба, онъ съ живѣйшимъ удовольствіемъ пѣлъ, игралъ въ карты и велъ пустой разговоръ съ женщиной, не заслуживавшей ни уваженія, ни сочувствія развитого человѣка. Вотъ каковъ Паншинъ!

Лавреціи—человѣкъ, много пережившій, испытавшій и радость, и горе, вдумывавшійся въ себя и въ свои отношенія къ людямъ, и выработавшій себѣ, наконецъ, путемъ серьезныхъ занятій, путемъ размысленій и опыта, умѣнье владѣть своимъ внутреннимъ міромъ, сдержи-

вать порывы чувства и мириться съ жизнью, несмотря на ея мрачныя стороны, несмотря на тѣ страданія, которыя выпадаютъ въ ней на долю людей съ развитымъ умомъ и иѣжнымъ чувствомъ. Все участіе Лаврецькаго въ дѣйствиі романа представляется рядомъ незаслуженныхъ страданій, среди которыхъ крѣпнеть и формируется его мужественная личность, крѣпнеть, не черствѣя, не теряя живой воспримчивости ко всему изящному въ природѣ и въ человѣкѣ. Его, какъ онъ самъ выражается, съ дѣтства вывихнули уродливымъ воспитаніемъ, отъ послѣдствій котораго ему трудно оправиться до зрѣлаго возраста; въ немъ пробудили любознательность и не направили ея, ему не дали даже элементарныхъ свѣдѣній, а между тѣмъ бросили въ его свѣжую и здоровую голову нѣсколько идей, взятыхъ изъ философіи XVIII вѣка, пересаженныхъ на русскую почву и понятыхъ особеннымъ, оригинальнымъ образомъ; суровымъ, почти спартанскимъ воспитаніемъ ему придали полноту и крѣпость физическихъ силъ—и не указали исхода этимъ силамъ. До двадцати-трехлѣтняго возраста его не познакомили ни съ жизнью, ни съ наукой, въ немъ развили только твердость воли, и эта твердость пригодилась ему на то, чтобы, не пугаясь упущеннаго времени, приняться за перевоспитаніе самого себя. Но между тѣмъ жизнь не ждетъ и предъявляетъ свои права, заставляетъ его идти впередъ тогда, когда нѣтъ еще ни опытности, ни умѣнья осмысливать свои поступки, когда дѣло перевоспитанія только что началось. Лаврецькій дѣлаетъ промахъ въ жизни,—промахъ, не легшій пятномъ на его совѣсть, но окончательно испортившій его будущую участь. Послѣдствіемъ этого промаха—неудачнаго и неосторожнаго выбора жены по первому впечатлѣнію—развиваются въ романѣ и составляютъ его главную завязку. Лаврецькій является на сцену уже человѣкомъ 35 лѣтъ, уже знакомымъ съ тяжелымъ страданіемъ. Первое впечатлѣніе горести уже пережито имъ; но въ душѣ остались неизгладимые слѣды. Онъ не далъ горю опутать и обезсилить себя, не сталъ имъ рисоваться передъ самимъ собою, но, взглядывшись въ свое положеніе, сказалъ себѣ просто, что не видитъ впереди возможности счастья и наслажденія; онъ мирится съ этой безнадежностью и при этомъ примиреніи умѣетъ уберечься отъ той апатіи, въ которую часто впадаютъ люди, обманутые жизнью. Наслажденія жизни кончились, говорить онъ себѣ, но остались обязанности, и это сознаніе неисполненнаго долга,—сознаніе, что онъ можетъ и долженъ быть полезенъ окружающимъ и зависящимъ отъ него людямъ, даетъ ему силы жить, не ожидая и не требуя ничего отъ жизни. Лаврецькій не признаетъ себя разочарованнымъ, и онъ, дѣйствительно, не разочарованный: онъ не возводитъ собственнаго, случайнаго несчастья въ общее правило, не смотритъ съ недоверіемъ и

насмѣшкой на чужія радости, не чувствуетъ къ людямъ отвращенія, не отвергаетъ въ нихъ существованія добра, хотя, конечно, не вѣритъ ему съ прежнимъ юношескимъ увлеченіемъ. Онъ не можетъ себѣ представить, чтобы самъ онъ могъ еще разъ помолодѣть душой и испытать счастье взаимной любви; но, когда это счастье встрѣчается съ нимъ, онъ не отталкиваетъ его, начинаетъ ему вѣрить и предается своему новому чувству безъ боязни, безъ мрачныхъ предчувствій, съ полнымъ, святымъ наслажденіемъ, которымъ онъ дорожитъ тѣмъ болѣе, что уже знаетъ ему цѣну и что не смѣлъ болѣе надѣяться на него. Несчастье дѣйствуетъ на людей различно, смотря по степени ихъ ума и нравственныхъ силъ: однихъ оно убиваетъ, повергаетъ въ апатію или ожесточаетъ; это люди съ слабой волей, тратящейся на исполненіе мелкихъ прихотей и измѣняющей имъ тогда, когда нужно бороться и терпѣть, или это люди съ узкимъ и не вполне развитымъ умомъ,—люди, неспособные обсуждать своего положенія,—люди выводящіе общія правила изъ мелкихъ случайностей, становящіеся на ходули и считающіе себя какими-то несчастными избранниками, жертвами, гонимыми рокомъ. Ихъ безсильная злоба на то, что они называютъ своей судьбой, кажется имъ законнымъ и великимъ чувствомъ; а ежели посмотрѣть на дѣло со стороны, то увидишь, что эта злоба такъ же безпредметна, какъ смѣшонъ гнѣвъ ребенка, ударившагося объ столъ и старающагося выместить на немъ свою боль. Къ числу такихъ жалкихъ, больныхъ людей, окисляющихся подъ вліяніемъ несчастья, принадлежатъ всѣ герои Байрона и его послѣдователей,—герои, возбуждавшіе такое благоговѣніе и сочувствіе въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Другихъ людей несчастье возвышаетъ и очищаетъ. Въ нихъ спятъ несознанныя ими самими душевныя силы; чтобы пробудить эти силы, нуженъ иногда сильный толчокъ, который, разрывая связь человѣка съ окружающими его внѣшними предметами, принудилъ бы его оглянуться на себя и привести въ извѣстность свое внутреннее достояніе. Такимъ толчкомъ бываетъ несчастье. Послѣ такого толчка эти люди становятся терпимѣе къ другимъ; они полнѣе понимаютъ чужія страданія и живѣе сочувствуютъ чужимъ радостямъ, хотя подчасъ и грустно становится у нихъ на душѣ; несчастье дѣлается для нихъ школою; изъ тяжелаго опыта они выносятъ умѣнье сдерживать и осмысливать свои порывы, умѣнье различать людей, умѣнье выбирать наслажденія и довольствоваться тѣмъ, что есть, не требуя невозможнаго и не мучась произвольно создаваемыми фантазіями и сомнѣніями. Только такихъ людей можно назвать людьми крѣпкими и нравственно здоровыми. Къ числу такихъ людей принадлежитъ Лаврецькій. Онъ не отступаетъ отъ борьбы, пока можно бороться, и умѣетъ покоряться молча, съ мужественнымъ достоин-

ствомъ, тамъ, гдѣ нѣтъ другого исхода. Последней способностью обладаютъ немногіе. На личности Лаврецкаго лежить явственно обозначенная печать народности. Ему никогда не измѣняютъ русскій, незатѣйливый, но прочный и здравый практической смыслъ и русское добродушіе, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее и неприготовленное. Лаврецкій простъ въ выраженіи радости и горя; у него нѣтъ возгласовъ и пластическихъ жестовъ, не потому, чтобы онъ подавлялъ ихъ, а потому, что это не въ его природѣ; онъ, какъ русскій человѣкъ, страдаетъ про себя и способенъ скорѣе къ тихому чувству, къ заумности, къ продолжительной тоскѣ, о которой поютъ наши народныя пѣсни, нежели къ бурнымъ взрывамъ отчаянія и къ стремительнымъ движеніямъ страсти. Въ драматическія минуты его жизни въ немъ иногда шевелятся грубыя, дикія чувства; но они не омрачаютъ разсудка и, тотчасъ подавленные размышленіемъ, замираютъ въ груди, не найдя себѣ выхода. У Лаврецкаго есть еще одно чисто русское свойство: легкій, безобидный, полудаздумчивый, полуинтересный юморъ проникаетъ собою почти каждое его слово; онъ добродушно шутитъ съ другими, и часто, смотря со стороны на свое положеніе, находитъ въ немъ комическую сторону и съ той же добродушной шутливостью относится къ собственной личности и затрогиваетъ такіе предметы, которыхъ воспоминаніе заставляетъ сердце обливаться кровью. Когда случается ему укорять себя въ чемъ нибудь, онъ рѣдко укоряетъ серьезно, съ желчью или съ негодованіемъ. Онъ никогда не попадаетъ въ трагизмъ; напротивъ, отношеніе его къ собственной личности тутъ остается юмористическимъ. Онъ добродушно, съ отѣнкомъ тихой грусти, смѣется и надъ собою, и надъ своими увлеченіями и надеждами. Личность Лаврецкаго рельефно выдвигается въ романѣ Тургенева, тѣмъ болѣе, что она отѣняется съ двухъ сторонъ: съ одной стороны ее отѣняетъ космополитъ и мелкій эгоистъ Паншинъ, съ другой — энтузіастъ, мечтатель, претендующій на титулъ фанатика, Михалевичъ. Въ первомъ господствуетъ колѣбный расчетъ, во второмъ непоколебимо развито чувство, не допускающее никакого разсужденія и не обращающее вниманія на опытъ; въ первомъ все искусственно и размѣрено, во второмъ все широко и размахисто — и стремленія, и надежды, и внѣшнее обращеніе; первый смотритъ на жизнь, какъ на спекуляцію, въ которой можно выиграть столько-то выгодъ, столько-то почестей, столько-то наслажденій; второй видитъ въ ней фанатическое, самоотверженное служеніе какому-то долгу, обширному, великому, о которомъ онъ, впрочемъ, самъ не составилъ себѣ яснаго понятія. Лаврецкій держитъ средину между тѣмъ и другимъ; его разсудокъ сдерживаетъ чувство, а чувство охраняетъ его отъ сухости и черствости; онъ не выходитъ изъ

границъ здраваго смысла, но и не останавливается на чисто положительной, сухо практической сторонѣ жизни; онъ живетъ всѣми сторонами своего существа и стремится къ полной, примиряющей гармоніи. Столкновеніе Лаврецкаго съ Паншинымъ показываетъ различіе между заносчивымъ дилетантомъ-космополитомъ, судящимъ о народности, которой онъ не знаетъ, и человѣкомъ жизни, патриотомъ безъ претензій, основательно знающимъ нужды своихъ соотечественниковъ и дѣйствительно сочувствующимъ интересамъ ихъ развитія. Столкновеніе Лаврецкаго съ Михалевичемъ обнаруживаетъ слабость стороны ихъ обоихъ. Безцѣльный энтузіазмъ Михалевича составляетъ рѣзкую противоположность съ медленностью и нерѣшительностью Лаврецкаго. Первый кричитъ о долгѣ и дѣятельности, но не выходитъ изъ общихъ мѣстъ и самъ не можетъ опредѣлить, чего онъ требуетъ; второй знаетъ свои обязанности, но, по свойственной русскимъ людямъ обломовщинѣ, долго собирается взяться за дѣло, мѣшкаетъ и бесполезно тратитъ время. Лаврецкій — не энергическій человѣкъ, хотя въ немъ много жизненныхъ силъ и здраваго ума; недостатокъ энергіи, которымъ вообще страдаетъ русская народность, происходитъ въ немъ, быть можетъ, просто отъ физиологическихъ или климатическихъ условій. Оттѣняя собою его хорошія качества, эта черта придаетъ его личности послѣднюю опредѣленность и сообщаетъ его образу печать поэтической жизненной правды. Личность Лаврецкаго во все продолженіе романа совершенствуется и очищается путемъ тяжелыхъ испытаній; она достигаетъ полного своего развитія уже въ эпилогѣ. Лаврецкій является тамъ человѣкомъ пожилымъ; онъ кончилъ навсегда личные расчеты съ жизнью, взялся за серьезное и полезное дѣло и въ этомъ дѣлѣ нашелъ себѣ ежели не счастье, то, по крайней мѣрѣ, разумное, достойное мыслящаго человѣка успокоеніе. Тургеневъ показываетъ намъ Лаврецкаго въ такую минуту, при такой обстановкѣ, которая можетъ служить пробнымъ камнемъ его нравственныхъ силъ; онъ приводитъ его послѣ восьмилѣтняго отсутствія въ тѣ мѣста, въ которыхъ онъ думалъ во второй разъ найти счастье, въ которыхъ быстро промелькнулъ его романъ, получившій такую печальную развязку. На знакомыхъ мѣстахъ уже нѣтъ знакомыхъ людей, ихъ мѣсто замѣнило новое поколѣніе, которое рѣзвится и смѣется, передъ которымъ широко и безоблачно открывается жизнь. Лаврецкій погружается въ свои воспоминанія и въ то же время прислушивается къ шумнымъ восклицаніямъ свѣжихъ, молодыхъ голосовъ. Онъ задумывается, ему становится грустно, въ его душу направиваются образы и звуки былого, а между тѣмъ вокругъ него роскошная, расцвѣтающая жизнь громко и смѣло предъявляетъ свои права на настоящее, и Лаврецкій отъ чистаго сердца, безъ желчи и безъ

зависти, признает эти права и желает счастья молодому поколѣнію.

Ему грустно отъ воспоминанія, а не отъ чужого веселья. Эта черта, превосходно выраженная въ концѣ эпилога, доказываетъ, что Лаврецкій достигъ полной гармоніи, полной побѣды надъ мелкимъ и завистливымъ эгоизмомъ, растравляющимъ душевныя раны и служащимъ основой той мизантропіи, которою отличаются другіе, менѣе благородные страдалцы.

Говоря о личности Лаврецкаго, мы не можемъ не обратить вниманія нашихъ читательницъ на тѣ замѣчательныя главы, въ которыхъ авторъ представляетъ генеалогію своего героя и рисуетъ рядъ фамильныхъ портретовъ, начиная отъ пра-дѣда Лаврецкаго, русскаго барина стараго покроя, мрачнаго, жестокаго и своенравнаго, жившаго, вѣроятно, еще тогда, когда реформа Петра едва коснулась верхнихъ слоевъ нашего общества. Въ этихъ главахъ очерчено широкими штрихами нѣсколько чрезвычайно характерныхъ личностей, не похожихъ другъ на друга и между тѣмъ носящихъ на себѣ одинъ общій отпечатокъ русской народности. Значеніе духа нашей старины, значеніе тѣхъ идей и вліяній, которыя выносило въ себѣ наше общество съ половины XVIII вѣка, и, наконецъ, то удивительное пониманіе русскаго человѣка разныхъ временъ и слоевъ общества, которое отличаетъ собою произведенія Тургенева, выразились въ этихъ главахъ какъ въ группировкѣ личностей, такъ и въ выборѣ немногихъ, но чрезвычайно характерныхъ подробностей.

Въ началѣ нашей статьи мы замѣтили, что всѣ дѣйствующія лица «Дворянскаго Гнѣзда» цѣликомъ взяты изъ современности, что ни одно изъ нихъ ни въ какомъ отношеніи не обогнало своего вѣка, хотя многія относятся къ его лучшимъ представителямъ. Это замѣчаніе оказалось применимымъ къ личностямъ Паншина и Лаврецкаго. Одинъ изъ нихъ—чистое порожденіе испорченнаго общества; другой, успѣвшій выработать себѣ болѣе самостоятельную нравственную фізіономію, также является намъ сыномъ своего народа, русскимъ человѣкомъ, выносившимъ въ себѣ всѣ вліянія, или, по выраженію одного современнаго критика, всѣ вѣянія эпохи. Эти вѣянія выразились и въ его воспитаніи, и въ событіяхъ его жизни. Но самымъ яркимъ подтвержденіемъ нашего замѣчанія мы считаемъ характеръ Лизаветы Михайловны Калитиной, одной изъ самыхъ граціозныхъ женскихъ личностей, когда-либо созданныхъ Тургеневымъ. Лиза—дѣвушка, богато одаренная природою; въ ней много свѣжей, неиспорченной жизни; въ ней все искренно и неподдѣльно. У нея есть и природный умъ, и много чистаго чувства. По всѣмъ этимъ свойствамъ, она отдѣляется отъ массы и примыкаетъ къ лучшимъ людямъ нашего времени. Но богато одаренныя

натуры рождаются во всякое время; умныя, искренно и глубоко чувствующія дѣвушки, неспособныя на мелкій расчетъ, бывають во всякомъ обществѣ. Не въ природныхъ качествахъ души и ума, а во взглядѣ на вещи, въ развитіи этихъ качествъ и въ ихъ практическомъ примѣненіи должно искать вліянія эпохи на отдѣльную личность. Въ этомъ отношеніи Лиза не обогнала своего вѣка; личность ея сформировалась подъ вліяніемъ тѣхъ элементовъ, которыхъ различныя видоизмѣненія мы ежедневно встрѣчаемъ въ нашей современной жизни. Чтобы яснѣе высказать нашу мысль, мы позволимъ себѣ провести параллель между Ольгой Сергѣевной Ильинской, стоящей на нѣсколько десятилѣтій впереди нашего времени, и Лизой, современной русской дѣвушкой. У той и другой природныя качества почти тѣ же: та же искренность и естественность, тотъ же природный здравый смыслъ, та же женственная мягкость и грація поступковъ и душевныхъ движеній. Обѣ онѣ рѣзко отдѣляются отъ массы свѣтскихъ барышень, обѣ онѣ стоятъ неизмѣримо выше ихъ; но на этомъ и останавливается сходство. Въ Ольгѣ есть живая любознательность, въ Лизѣ ея не замѣтно; въ Ольгѣ женственность совмѣщается съ ея смѣлостью мысли, со способностью оцѣнивать и критиковать личности, со стремленіемъ къ умственной самостоятельности; въ Лизѣ женственность выражается въ робости, въ стремленіи подчинить чужому авторитету свою мысль и волю, въ нежеланіи и неумѣнн пользоваться врожденною проицательностью и критическою способностью. Ольга, любя Обломова, разгадываетъ его личность и честно, открыто говоритъ ему, что онъ ей не по плечу, что они вмѣстѣ не могутъ быть счастливы; Лиза, не любя Паншина, отказывается обсуживать его личность и, по волѣ матери, готова сдѣлаться его женой. Отъ этого ложнаго шага въ жизни ее спасаетъ не собственное размышленіе, выручившее Ольгу, а постороннее вліяніе. Ежели при этомъ взять во вниманіе, насколько личность Обломова чище и возвышеннѣе личности Паншина, ежели сообразить, какое вліяніе должно было имѣть на сужденіе дѣвушки чувство, то нетрудно будетъ убѣдиться въ томъ, что между Ольгой и Лизой существуетъ значительное различіе. Ольга знаетъ свое личное достоинство; на нее уже пахнуло воздухомъ свободы, до нея коснулось вѣяніе новыхъ идей о самостоятельности женщины, какъ человѣческой личности, имѣющей полное право на всестороннее развитіе и на участіе въ умственной жизни человѣчества. Эти идеи пустили въ ней такіе глубокіе корни и принесли такіе прекрасные плоды, какихъ еще въ наше время нельзя и ожидать. Лиза стоитъ внѣ дѣйствія этихъ идей; она попрежнему считаетъ покорность высшею добродѣтельною женщины; она молча покоряется, насильно закры-

ваетъ себѣ глаза, чтобы не видать несовершенствъ окружающей ея сферы. Помириться съ этой сферой она не можетъ: въ ней слишкомъ много неспорченнаго чувства истины; обсуживать или даже замѣчать ея недостатки она не смѣетъ, потому что считаетъ это предосудительною или безнравственною дерзостью. Поэтому, стоя неизмѣримо выше окружающихъ ее людей, она старается себя увѣрить, что она такая же, какъ и они, даже, пожалуй, хуже; что отвращеніе, которое возбуждаетъ въ ней зло или неправда, есть тяжкій грѣхъ, нетерпимость, недостатокъ смиренія. При случаѣ, гдѣ только есть какая нибудь возможность, она даже готова увѣрить себя, что чужой проступокъ или чужое горе произошло по ея винѣ, что она слезами и молитвой должна заглядеть свое невольное, никогда даже не совершенное, но тѣмъ не менѣе тяготящее надъ ней преступленіе; ея чуткая совѣсть находится въ постоянной тревогѣ; не выработавъ въ себѣ критической способности, боясь предоставить себя своему природному здравому смыслу, избѣгая обсуживанія, которое она смѣшиваетъ съ осужденіемъ, Лиза во всякомъ движеніи своемъ, во всякой невинной радости предчувствуетъ грѣхъ, страдаетъ за чужіе проступки, упрекаетъ себя въ томъ, что замѣтила ихъ, и часто готова принести свои законныя потребности и влеченія въ жертву чужой прихоти. Она—вѣчная и добровольная мученица. Личность ея получаетъ отъ этого особенную, трогательную прелесть; но ежели взглянуть на дѣло серьезно, не поддаваясь той инстинктивной симпатіи, которую внушаетъ съ перваго взгляда привлекательный образъ молодой дѣвушки, то нельзя не замѣтить, что Лиза идетъ по ложной и опасной дорогѣ. Истиннымъ можно назвать только такое развитіе, которое ведетъ насъ къ нравственному совершенству и заставляетъ насъ находить счастье въ самомъ процессѣ самосовершенствованія. Такое развитіе должно пробуждать въ насъ потребности и въ то же время должно давать намъ средства удовлетворять этимъ потребностямъ, должно вести эти стремленія къ опредѣленной и разумной цѣли. Но ежели мы будемъ требовать отъ себя невозможнаго, ежели, во имя неправильно понятой буквы нравственнаго закона, мы постоянно будемъ недовольны собой, ежели мы постоянно будемъ тратить свою энергію на совершеніе ненужнымъ подвиговъ смиренія и самоотверженія, тогда мы только измучимъ и истомимъ себя, отравимъ себѣ самыя благородныя и невинныя радости жизни, выпустимъ изъ рукъ собственное разумное счастье и омрачимъ спокойствіе и счастье близкихъ людей своими добровольными и бесполезными страданіями. Ежели самодовольствіе ведетъ къ умственной неподвижности, то и постоянное фанатическое стремленіе къ недостижимому идеалу, стоящему выше челоѣчества, ведетъ къ осла-

бленію нравственныхъ силъ, какъ неумѣренныя гимнастическія упражненія изнуряютъ физическія силы. Истинное развитіе должно вести къ равновѣсію всѣхъ силъ челоѣческой души. У Лизы равновѣсіе было нарушено. Воображеніе, настроенное съ дѣтства разсказами набожной, неразвитой няньки, и чувство, свойственное всякой женской впечатлительной природѣ, получили полное преобладаніе надъ критическою способностью ума. Считая грѣхомъ анализировать другихъ, Лиза не умѣетъ анализировать и собственной личности. Когда ей должно на что-нибудь рѣшиться, она рѣдко размышляетъ: въ подобномъ случаѣ она или слѣдуетъ первому движенію чувства, довѣряется врожденному чутью истины, или спрашиваетъ совѣта у другихъ и подчиняется чужой волѣ, или ссылается на авторитетъ нравственнаго закона, который всегда понимаетъ буквально и всегда слишкомъ строго, съ фанатическимъ увлеченіемъ. Словомъ, она не только не достигаетъ умственной самостоятельности, но даже не стремится къ ней и забиваетъ въ себѣ всякую живую мысль, всякую попытку критики, всякое рождающееся сомнѣніе. Въ практической жизни она отстываетъ отъ всякой борьбы; она никогда не сдѣлаетъ дурного поступка, потому что ее охраняютъ и врожденное, и нравственное чувство, и глубокая религиозность; она не уступитъ въ этомъ отношеніи влиянію окружающихъ, но, когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сдѣлаетъ ни шагу, не скажетъ ни слова и съ покорностью приметъ случайное несчастье, какъ что-то должное, какъ справедливое наказаніе, поразившее ее за какую-то воображаемую вину. При такомъ взглядѣ на вещи, у Лизы нѣтъ орудія противъ несчастья. Считая его за наказаніе, она несетъ его съ покорнымъ благоговѣніемъ, не старается утѣшиться, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ стряхнуть съ себя его гнетущее влияніе: такія попытки показались бы ей дерзкимъ возмущеніемъ. «Мы были наказаны»—говоритъ она Лаврецкому. За что? на это она не отвѣчаетъ; но между тѣмъ убѣжденіе такъ сильно, что Лиза признаетъ себя виновной и посвящаетъ всю остальную жизнь на оплакиваніе и отмаливаніе этой невѣдомой для нея и несуществующей вины. Восторженное воображеніе ея, потрясенное несчастнымъ происшествіемъ, разыгрывается и заводитъ ее такъ далеко, показываетъ ей такой мистическій смыслъ, такую таинственную связь во всѣхъ совершившихся съ нею событіяхъ, что она, въ порывѣ какого-то самозабвенія, сама называетъ себя мученицей, жертвой, обреченной страдать и молиться за чужіе грѣхи: «Нѣтъ, тетюшка,—говоритъ она:—не говорите такъ. Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога. Все кончено; кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я уже не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло; даже



когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ; я знаю все. Все это отмолилъ, отмолилъ надо: вась мнѣ жаль, жаль мамаша, Леночка; но дѣлать нечего. Чувствую я, что мнѣ не житье здѣсь, я уже со всѣмъ простилась, всему въ домѣ поклонилась въ послѣдній разъ. Отзываетъ меня что-то, тошно мнѣ, хочется мнѣ запереться павѣкъ. Не удерживайте меня, не отговаривайте: помогите мнѣ, не то я одна уйду»... И такъ кончается жизнь молодого, свѣжаго существа, въ которомъ была способность любить, наслаждаться счастьемъ, доставлять счастье другому и приносить разумную пользу въ семейномъ кругу... и какую значительную пользу можетъ принести въ наше время женщина, какое согрѣвающее, благотворное вліяніе можетъ имѣть ея мягкая, граціозная личность, ежели она захочетъ употребить свои силы на разумное дѣло, на безкорыстное служеніе добру. Отчего же уклонилась отъ этого пути Лиза? Отчего такъ печально и безслѣдно кончилась ея жизнь? Чтѣ сломило ее? Обстоятельства, скажутъ нѣкоторые. Нѣтъ, не обстоятельства, отвѣтимъ мы, а фанатическое увлеченіе неправильно понятымъ нравственнымъ долгомъ. Не утѣшенія искала она въ монастырѣ, не забвенія ждала она отъ уединенной и созерцательной жизни: нѣтъ! она думала принести собою очистительную жертву, думала совершить послѣдній, высшій подвигъ самоотверженія. Насколько она достигла своей цѣли, пусть судятъ другіе. Говоря о воспитаніи Лизы, Тургеневъ даетъ намъ ключъ къ объясненію какъ нравственной чистоты ея убѣжденій, не потускивѣвшихъ отъ вреднаго вліянія неразвитаго общества, такъ и излишней строгости и односторонности ея взгляда на жизнь.

Въ воспитаніи Лизы все было направлено къ развитію чувства. Важнѣйшимъ элементомъ этого воспитанія было пламенное религиозное чувство ея няни, попеченіямъ которой она почти исключительно была предоставлена. Наука, до сихъ поръ не приобретающая права гражданства въ женскомъ образованіи, не могла благотворно подѣйствовать на ея умъ. Искусство, именно музыка, затронула ея эстетическое чувство, но не расширила круга ея понятій. Раскрывавшаяся душа ея жадно воспринимала серьезные рассказы няни, проникнутые восторженнымъ, правдивымъ чувствомъ. Воображеніе ребенка получило несоразмѣрное развитіе, а умъ остался ребѣкимъ и неразработаннымъ. Лиза сдѣлалась набожной, она горячо полюбила добро и истину, она вынесла изъ своего дѣтства теплую вѣру и твердыя нравственныя правила, но на этомъ она и остановилась; распорядиться своими правилами, примѣнять ихъ къ жизни, находить присутствіе духа во всякомъ положеніи, обдумывать свои поступки и опредѣлять свои обязанности

размышленіемъ, а не слѣпымъ порывомъ чувства—этого она не умѣетъ, потому она руководствуется инстинктомъ или авторитетомъ, создаетъ себѣ призраки, изнемогаетъ въ неестественной борьбѣ съ самыми законными своими побужденіями, ставитъ себѣ въ вину это изнеможеніе и, наконецъ, утомленная внутренними волненіями, рѣшается покинуть все, что ей дорого, и принести послѣднюю жертву. Изъ женскихъ характеровъ, существующихъ въ нашей литературѣ, Лиза представляетъ всего болѣе сходства съ Татьяною Пушкина: въ той и въ другой замѣчается перевѣсъ чувства и воображенія надъ умомъ; разница только въ томъ, что у Татьяны чувство и воображеніе, воспитанныя на романахъ, порождаютъ въ ней болѣзненную мечтательность, работаютъ надъ созданіемъ романческаго героя и, наконецъ, воплощаютъ этого героя въ лицѣ Евгенія Онегина, неспособнаго составить счастье умной и чувствительной женщины. У Лизы чувство и воображеніе воспитаны на возвышенныхъ предметахъ; но они все-таки развиты несоразмѣрно, берутъ перевѣсъ надъ мыслительной силой и также ведутъ къ болѣзненнымъ и печальнымъ уклоненіямъ. Это преобладаніе чувства надъ разумомъ выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и составляетъ въ современныхъ женщинахъ явленіе, до такой степени распространенное, что въ педагогической литературѣ неоднократно высказывалось мнѣніе, будто оно такъ и должно быть, будто и преподаваніе въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ должно собразоваться съ этимъ необходимымъ свойствомъ женской природы. Мы уже позволяли себѣ выражать противоположное мнѣніе; повторяемъ его и теперь: женщинѣ, какъ и мужчинѣ, дана одинаковая сумма прирѣдненныхъ способностей; но воспитаніе женщины, менѣе реальное, менѣе практическое, менѣе упражняющее критическія способности (нежели воспитаніе мужчины), съ молодыхъ лѣтъ усыпляетъ мысль и пробуждаетъ чувство, часто доводитъ его до неестественнаго, болѣзненнаго развитія. Истинная цѣль реформы, совершающейся на нашихъ глазахъ въ женскомъ воспитаніи, и состоитъ, насколько мы ее понимаемъ, именно въ томъ, чтобы уравновѣсить въ женщинѣ умъ и чувство, чтобы пріучить ее самостоятельно думать, анализировать себя и другихъ, и послѣдовательно, безъ увлеченія, но съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ проводить въ жизнь добытыя убѣжденія. Въ этомъ пробужденіи женщины къ дѣйствительной жизни, къ умственной дѣятельности въ самомъ обширномъ значеніи этого слова,—въ этомъ пробужденіи, говоримъ мы, заключаются задатки прогресса для всего нашего общества. Повторяю теперь уже высказанное нами мнѣніе, мы считаемъ себя въ правѣ подтвердить наши слова авторитетомъ двухъ замѣчательнѣйшихъ художниковъ нашего

времени, Тургенева и Гончарова. Первый высказал свое мнѣніе объ образованіи женщины въ созданіи личности Лизы и въ своемъ отношеніи къ этой личности: онъ сочувствуетъ ея прекраснымъ качествамъ, любитъ ея граціей, уважаетъ твердость ея убѣжденій, но жалѣетъ о ней и вполне сознается, что она пошла не по тому пути, на который указываютъ человѣку разумъ и здоровое чувство. Гончаровъ сказалъ свое слово въ личности Ольги, уравнивающей въ себѣ мысль и чувство. Поднялось множество голосовъ, сказавшихъ, что женщину, подобную Ольгѣ, въ нашемъ обществѣ нѣтъ; но никто не говорилъ, чтобы образъ Ольги было неженственъ, чтобы въ немъ не было поэтической правды. Это сужденіе даетъ намъ право сказать, что Ольга—русская женщина новаго поколѣнія, еще не вступавшаго въ жизнь. Требования, которыя выразилъ Гончаровъ въ созданіи этой личности, невыполнимы теперь; но они законны и могутъ быть выполнены впоследствии, быть можетъ, въ скоромъ времени. Сравнивая современную дѣвушку Лизу съ будущей дѣвушкой Ольгой, мы можемъ опредѣлить тотъ путь, по которому должно пойти образованіе женщины, можемъ заранее рассчитать тѣ результаты, которыхъ оно должно достигнуть. Въ заключеніе нашей статьи еще разъ возвратимся къ Лизѣ и обратимъ вниманіе читательницъ на то, какъ ея личность отъѣнена двумя женскими фигурами: матери ея, Маріи Дмитріевны, и тетки, Мары Тимофеевны. Первая представляетъ собою типъ, очень распространенный въ нашемъ обществѣ: это взрослый ребенокъ, то-есть женщина безъ убѣжденій,—женщина, не привыкшая къ размышленію и почти потерявшая способность мыслить; она живетъ и дышитъ одними свѣтскими удовольствіями, свойственными ей уже пожилымъ лѣтамъ; ей нравятся пустѣйшіе и безнравственные люди; семейной жизнью она не живетъ, любви дѣтей и вліянія надъ ними пріобрѣсти не умѣла; она любитъ чувствительныя сцены и щеголяетъ разстроенными нервами и сентиментальностью. Словомъ, она—ребенокъ по развитію, только лишена ребяческой граціи и чистоты. Марѳа Тимофеевна—умная и добрая женщина стараго вѣка, не получившая никакого образованія, но одаренная здравымъ смысломъ и той проникающей силой, которую обыкновенно пріобрѣтаютъ подъ старость умные люди, много видѣвшіе на своемъ вѣку и не пропускавшіе видѣннаго безъ вниманія. Марѳа Тимофеевна—старушка энергичная и дѣятельная, съ рѣзкими и угловатыми манерами, говорящая правду въ глаза и не

скрывающая ни своего отвращенія къ нѣкоторымъ сомнительнымъ личностямъ, ни своего добраго расположенія къ тѣмъ, кого она любитъ. Марѳа Тимофеевна набожна, но безъ фанатизма; она не терпитъ лжи и безнравственности, но допускаетъ терпимость убѣжденія, не стѣсняетъ свободы совѣсти окружающихъ ее людей. Ей противны гости Маріи Дмитріевны, какъ пустые и вздорные люди, а Лаврецкаго она любитъ, хотя знаетъ, что расходится съ нимъ въ самыхъ существенныхъ понятіяхъ. Практической смыслъ, мягкость чувствъ, при рѣзкости внѣшняго обращенія, безошадная откровенность и отсутствіе фанатизма—вотъ преобладающія черты въ личности Мары Тимофеевны, превосходно очерченной въ романѣ Тургенева. Поставленная между этими двумя женскими личностями, Лиза является въ самомъ выгодномъ свѣтѣ: рѣзкость приговоровъ, неженственная смѣлость и придирчивость Мары Тимофеевны отъѣняютъ собою ея скромность, стыдливую и граціозную нерѣзительность. Что касается до Мары Дмитріевны, то вся ея неискренняя, жеманная, безцвѣтная личность составляетъ разительный контрастъ съ серьезной, сосредоточенной, строгой фигурой дочери, проникнутой и воодушевленной однимъ принципомъ, истиннымъ и прекраснымъ, но доведеннымъ до крайности. Контрастъ этотъ дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, что Марья Дмитріевна—живой типъ, такая женщина, какихъ очень и очень много. Какъ истинный художникъ, Тургеневъ не могъ и не долженъ былъ высказать свою мысль рѣзко: онъ показалъ въ личности Лизы недостатки современнаго женскаго воспитанія, но онъ выбралъ свой примѣръ въ ряду лучшихъ явленій, обставилъ выбранное явленіе такъ, что оно представляется въ самомъ выгодномъ свѣтѣ. Отъ этого идея автора не бросается прямо въ глаза. Не надо искать, въ нее надо вдуматься; но зато она тѣмъ полнѣе и неотразимѣе подѣйствуетъ на умъ читателя. Чѣмъ менѣе художественное произведеніе сбивается на поученіе, чѣмъ безпристрастнѣе художникъ выбираетъ фигуру и положенія, которыми онъ намѣренъ обставить свою идею, тѣмъ стройнѣе и жизненнѣе его картина, тѣмъ скорѣе онъ достигнетъ ею желаннаго дѣйствія. Ежели изображена дѣйствительность во всемъ блескѣ и разнообразіи ея явленій, и ежели всѣ эти явленія, какъ бы нечаянно выхваченныя художникомъ изъ извѣстной намъ жизни, говорятъ намъ одно и то-же, тогда нельзя не убѣдиться. Тутъ мы уже вѣримъ не слову художника, а тому, что говорятъ факты, что засвидѣтельствовано самой жизнью.

# Т Р И С М Е Р Т И.

Разсказъ графа *Л. Н. Толстого*.

(„Библиотека для Чтенія“ 1859 г.)

Читательницы наши, безъ сомнѣнія, знакомы со многими изъ произведеній замѣчательнаго писателя, графа Толстого, о которомъ мы до сихъ поръ не имѣли случая говорить съ ними. Онѣ прочли, вѣроятно, его «Дѣтство, отрочество и юность», «Утро помѣщика», «Изъ записокъ князя Нехлюдова: Люцернъ», «Метель», «Севастопольскія воспоминанія». Прочтя эти произведенія, легко составить себѣ понятіе о направленіи таланта автора, объ его характеристическихъ, индивидуальных особенностяхъ и о тѣхъ предметахъ, на которые онъ, въ процессѣ своего творчества, обращаетъ преимущественное вниманіе. Толстой—глубокій психологъ. Въ этомъ нетрудно убѣдиться, ежели только припомнить выдающіяся черты его произведеній,—тѣ черты, которыя, даже при самомъ поверхностномъ чтеніи, поражаютъ читателей, приковываютъ къ себѣ его вниманіе и оставляютъ въ умѣ его неизгладимое впечатлѣніе. Картины природы, дышашія жизнью и отличающіяся свѣжей опредѣленностью, отчетливая обработка характеровъ, выхваченныхъ прямо изъ дѣйствительности, смѣлость общаго плана и жизненное значеніе идеи, положенной въ основаніе художественнаго произведенія,—все это общія свойства, составляющія принадлежность всѣхъ нашихъ лучшихъ писателей и отражающіяся во всѣхъ наиболѣе зрѣлыхъ произведеніяхъ нашей словесности. Кромѣ этихъ общихъ свойствъ, у Толстого есть своя личная, характеристическая особенность. Никто далѣе его не простираетъ анализа, никто такъ глубоко не заглядываетъ въ душу человѣка, никто съ такимъ упорнымъ вниманіемъ, съ такой неумолимой послѣдовательностью не разбираетъ самыхъ сокровенныхъ побужденій, самыхъ мимолетныхъ и, повидимому, случайныхъ движеній. Какъ развивается и постепенно формируется въ умѣ человѣка мысль, черезъ какія видоизмѣненія она проходитъ, какъ накинаетъ въ груди чувство, какъ играетъ воображеніе, увлекающее человѣка изъ міра дѣйствительности въ міръ фантазій,

какъ въ самомъ разгарѣ мечтаній, грубо и материально напоминаетъ о себѣ дѣйствительность и какое первое впечатлѣніе производитъ на человѣка это грубое столкновеніе между двумя разнородными мірами,—вотъ мотивы, которые съ особенной любовью и съ блестящимъ успѣхомъ разрабатываетъ Толстой. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить, напримѣръ, описаніе сна и пробужденія въ «Метели», главу изъ «Отрочества», въ которой изображено состояніе Николинки, ожидавшаго появленія St. Jérôme'a и наказанія, мѣсто изъ «Юности», въ которомъ Иртенъевъ ждетъ духовника въ его кельѣ; не знаемъ, нужно ли даже указывать на отдѣльныя мѣста: какую бы сцену мы ни припомнили, вездѣ мы встрѣтимъ или тонкій анализъ взаимныхъ отношеній между дѣйствующими лицами, или отвлеченный психологическій трактатъ, сохраняющій въ своей отвлеченности свѣжую, полную жизненность, или, наконецъ, прослѣживаніе самыхъ таинственныхъ, неясныхъ движеній души, недостижныхъ сознанія, не вполне понятныхъ даже для того человѣка, который самъ ихъ испытываетъ, и между тѣмъ получающихъ свое выраженіе въ словѣ и не лишающихся при этомъ своей таинственности. Это направленіе таланта Толстого имѣло вліяніе на выборъ сюжета того разсказа, о которомъ мы теперь будемъ говорить съ нашими читательницами. Авторъ положилъ себѣ задачей изобразить чувства умирающаго и его отношенія къ тѣмъ предметамъ, среди которыхъ онъ жилъ и которые, переживая его, представляютъ своимъ спокойнымъ равнодушіемъ разительную противоположность съ нравственнымъ томленіемъ, происходящимъ въ его душѣ. Разсказъ Толстого состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ эскизовъ, связанныхъ между собою только характеромъ содержанія; общей нити разсказа нѣтъ. Авторъ изобразилъ только три момента, три смерти, происшедшія при различныхъ условіяхъ, при различной обстановкѣ, и, обрисовавъ самыми яркими

красками это различіе, выставилъ во всѣхъ трехъ тѣ общія явленія, которыя сопровождаютъ собою разрушеніе всякаго организма. Мы рассмотримъ оба первые представленныя авторомъ момента, сблизивъ между собою общія черты и указывая нашимъ читателямъ на постоянное противоположеніе между свѣжей, кипучей, дѣятельной и беззаботной жизнью съ одной стороны и медленнымъ, безнадежнымъ увяданіемъ—съ другой; что касается до третьяго момента, то онъ представляетъ собою смѣлую, граціозную фантазію художника,—фантазію, которая, какъ музыкальный аккордъ, заканчиваетъ собою поэтическое произведеніе, оставляя въ душѣ читателя какую-то тихую, грустную задумчивость. Мы коснемся содержанія, сюжета разсказа, чтобы быть въ состояніи обратить вниманіе нашихъ читателей на подробности, чтобы указать имъ въ этихъ подробностяхъ художественныя красоты. Повредить интересу разсказа мы не боимся, потому что думаемъ, какъ уже замѣчали не разъ, что достоинства изящнаго произведенія заключаются не во внѣшнемъ планѣ, не въ нити сюжета, а въ способѣ его обработки, въ группированіи подмѣченныхъ частности, которыя даютъ цѣлому жизни и опредѣленную физиономію. Кто сталъ бы въ повѣстяхъ и разсказахъ Толстого искать романической завязки, интереса событій, тотъ, во-первыхъ, обманулъ бы въ своихъ ожиданіяхъ, а во-вторыхъ, слѣдя только за нитью дѣйствія, упустилъ бы изъ виду то, что составляетъ главную прелесть, самое прочное достоинство этихъ разсказовъ, упустилъ бы изъ виду глубину и тонкость психологическаго анализа. Читая Толстого, необходимо вглядываться въ частности, останавливаться на отдѣльныхъ подробностяхъ, повѣрять эти подробности собственными, пережитыми чувствами и впечатлѣніями, необходимо вдумываться, и только тогда чтеніе это можетъ обогатить запасъ мыслей, сообщить читателю знаніе человѣческой природы и доставить ему такимъ образомъ полное, плодотворное эстетическое наслажденіе.

Первый эскизъ романа, о которомъ мы говоримъ, заключаетъ въ себѣ описаніе послѣднихъ дней въ жизни больной барыни, умирающей отъ чахотки. Больная эта принадлежитъ ежели не къ высшему, то, по крайней мѣрѣ, къ среднему, богатому классу общества; она окружена всѣми удобствами, которыя только могутъ доставить денежные средства; она ѣдетъ за границу въ спокойной каретѣ, съ мужемъ, глубоко преданнымъ ей, и съ докторомъ, тщательно наблюдающимъ за малѣйшимъ измѣненіемъ ея здоровья, и между тѣмъ, при всемъ этомъ комфорѣ, при всей уютливости, съ которою всѣ окружающіе предупреждаютъ ея малѣйшія желанія, болѣзнь развивается не по часамъ, а по минутамъ, организмъ слабѣетъ, и больная сама, напрасно стараясь поддержать какую-нибудь надежду на выздоровле-

ніе, замѣчаетъ въ себѣ всѣ признаки полнаго упадка силъ и начинающагося разложенія. Это внѣшнія условія, обстановка той страшной драмы, которая разыгрывается въ душѣ больной и которую во всѣхъ подробностяхъ развилъ Толстой. Больная не хочетъ умирать: она еще молода и имѣетъ право требовать отъ жизни многихъ наслажденій, многихъ радостей, которыхъ она едва коснулась. Она съ сверхъестественнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ души хватается за малѣйшій проблескъ надежды, за малѣйшій остатокъ жизни, дотѣвующій въ ея истомленной, наболѣвшей груди; но силы измѣняются, энергія падаетъ, грозный образъ смерти съ ужасающей ясностью носится передъ разстроеннымъ воображеніемъ больной, преслѣдуетъ ее съ неотвратимымъ постоянствомъ; надежда замираетъ въ сердцѣ; въ умѣ уже нѣтъ доводовъ, которыми можно было бы отогнать страшную мысль; остается только покориться ей, убѣдиться очевидностью и перейти изъ томительной борьбы, изъ колебанія между страхомъ и надеждою въ спокойное ожиданіе неотразимаго удара. Такую дорогу обыкновенно выбираютъ люди съ сильнымъ характеромъ,—люди, способные взглянуть въ лицо дѣйствительности, какъ бы ни была она мрачна. Такіе люди желаютъ знать истину и отгоняютъ мечты и неопредѣленныя надежды; но не таковъ характеръ, изображенный Толстымъ. Его больная съ самаго начала разсказа не вѣритъ своему выздоровленію, ее раздражаетъ всякое проявленіе здоровой жизни; она завидуетъ такимъ проявленіямъ и видитъ въ нихъ почти умышленный намекъ на свое собственное безотрадное положеніе; она чувствуетъ, что смерть близка, и между тѣмъ не хочетъ обратить это смутное чувство въ спокойное сознаніе, боится самаго слова: «умереть», умышленно закрываетъ себѣ глаза на свое положеніе, потому что проникнута чувствомъ отчаянной безнадежности. Больная Толстого похожа на человѣка, чувствующаго сильную робость и между тѣмъ боящагося не только дать волю этому чувству, но даже сознаться передъ самимъ собою въ его существованіи. Чтобы заглушить свою робость, этотъ человѣкъ обыкновенно начинаетъ храбриться, громко говорить, пѣть, стараясь такимъ образомъ прivity къ себѣ извнѣ бодрость духа, которую онъ напрасно ищетъ въ собственномъ сознаніи. Больная чувствуетъ, что ей не выздороветь; но чѣмъ сильнѣе въ ней это чувство, тѣмъ громче говоритъ она себѣ, что ея болѣзнь—вздоръ, что ее воскресятъ теплый воздухъ, пріятное путешествіе и спокойный образъ жизни. Не вѣря собственнымъ словамъ, не имѣя въ запасѣ доводовъ противъ очевидности, она требуетъ такихъ доводовъ отъ другихъ, и сердится, страдаетъ и томится, когда вмѣсто желанныхъ доводовъ слышитъ изъясненія собственнаго; это болѣзнованіе пугаетъ ее, потому что напо-

минает о томъ, что постоянно, глухо твердить ей собственное чувство. Мучительная нравственная борьба больной заставляетъ ее изнемогать и разрѣшается безсильными вспышками отчаянія и горести. Приводимъ небольшую сцену, замѣчательную по силѣ выраженія, по глубинѣ и вѣрности психическаго анализа; въ этой сценѣ читательницы наши могутъ прослѣдить развитіе цѣлаго ряда чувствъ и мыслей: здѣсь, во-первыхъ, противопоставляется жизнь и разрушеніе жизни; здѣсь представлены враждебныя отношенія умирающей ко всему здоровому и живому, ко всему, что даетъ ей поводъ дѣлать неутѣшительныя сравненія съ собственнымъ положеніемъ; здѣсь, наконецъ, видна ея попытка ободрить себя надеждою: попытка эта не нашла себѣ поддержки въ окружающихъ и разбилась временно возникшую въ больной энергію:

«— Что, какъ ты, мой другъ? сказала мужъ, подходя къ каретѣ и прожевывая кусокъ.

— Все одинъ и тотъ же вопросъ, подумала больная:— а самъ ѣсть!— Ничего, пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой другъ, я боюсь, тебѣ хуже будетъ, отъ дороги въ эту погоду, и Эдуардъ Ивановичъ то-же говоритъ. Не вернуться ли намъ? Она сердито молчала.

— Погода поправится, можетъ быть, путь установится, и тебѣ бы лучше стало; мы бы и поѣхали всѣ вмѣстѣ.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь въ Берлинѣ и была бы совсѣмъ здорова.

— Что-жь дѣлать, мой ангелъ, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на мѣсяць, ты бы славно поправилась, я бы кончилъ дѣла, и дѣтей бы мы взяли...

— Дѣти здоровы, а я нѣтъ.

— Да вѣдь пойми, мой другъ, что съ этой погодой, ежели тебѣ сдѣлается хуже дорогой... тогда, по крайней мѣрѣ, дома.

— Что-жь, что дома? Умереть дома? вспыльчиво отвѣчала больная. Но слово умереть, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрѣла на мужа. Онъ опустилъ глаза и молчалъ. Ротъ больной вдругъ дѣтски изогнулся, и слезы полились изъ ея глазъ. Мужъ закрылъ лицо платкомъ и молча отошелъ отъ кареты.

— Нѣтъ, я поѣду, сказала больная, подняла глаза къ небу, сложила руки и стала шептать несвязныя слова.— Боже мой! за что-же? говорила она, и слезы лились сильнѣе. Она долго и горячо молилась; но въ груди такъ же было больно и тѣсно, въ небѣ, въ поляхъ и по дорогѣ было такъ же сѣро и пасмурно, и та же осенняя мгла, ни чаще, ни рѣже, а все такъ же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиковъ, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету»...

Обратимъ вниманіе читательницъ на картину русской природы и русской жизни, набросанную художникомъ въ послѣднихъ словахъ приведеннаго нами отрывка. Эта картина возникла отъ одного взмаха пера, въ ней нѣтъ отчетливости описанія, нѣтъ отдѣльныхъ подробностей, но есть удивительная яркость цѣлаго, есть изобра-

зительность и сила, которая придаетъ этому бѣглому очерку особенное художественное значеніе. Впечатлѣніе, производимое этимъ очеркомъ, особенно сильно по тому отношенію, въ которомъ онъ находится къ главному дѣйствию, совершающемуся среди этой обстановки. Печальная физіономія сѣраго осенняго дня гармонируетъ съ безнадежнымъ положеніемъ больной, а живая, обыденная дѣятельность, происходящая на станціонномъ дворѣ, служитъ поразительнымъ контрастомъ напряженному, торжественно унылому настроенію ея души. Читатель угадываетъ по этому расположенію подробностей, что больная, представленная графомъ Толстымъ, испытываетъ на себѣ всѣ впечатлѣнія, какія только можно вынести изъ созерцанія изображенной авторомъ картины, разсѣившейся передъ окнами ея кареты. Въ природѣ ищетъ она себѣ подкрѣпленія; но въ природѣ все пасмурно, все напоминаетъ о поблекшихъ надеждахъ и о предстоящемъ прощаніи съ жизнью. Къ людямъ обращается она, надеясь найти въ нихъ сочувствіе; но люди вокругъ нея заняты своимъ дѣломъ, имъ некогда, и ихъ здоровыя лица, ихъ шумная, хлопотливая дѣятельность поражаютъ больную своимъ равнодушіемъ, надрываютъ ей сердце полнотою жизни и избыткомъ веселости. Послѣднія минуты больной изображены съ той же силой анализа, которая ни на минуту не оставляетъ Толстого, какъ бы ни были таинственны и, повидимому, недоступны для наблюденія выбранные имъ моменты внутренней жизни человѣка. Изображая эти послѣднія минуты, авторъ представилъ со стороны больной тѣ же чувства, ту же борьбу между любовью къ жизни и ожиданіемъ смерти,—борьбу, которую мы уже видѣли въ приведенномъ нами отрывкѣ. Здѣсь эти чувства и эта борьба носятъ на себѣ особый оттѣнокъ—передъ смертью наступаетъ минута величественнаго спокойствія; не замирая вполне, земные помыслы затихаютъ въ душѣ человѣка; больная приближается къ состоянію полной безнадежности,—къ состоянію, похожему на полное спокойствіе: она приближается къ нему, но еще не достигла его; изрѣдка проблескиваетъ лучъ какой-то надежды, неопредѣленной, несбыточной, но дорогой сердцу,—надежды, къ которой по временамъ, находя свою прежнюю энергію, устремляются всѣ силы ея души. За минутами тревоги, возбужденной этими прощальными проблесками надежды, наступаетъ грустная, покорная тишина, которая опять нарушается какимъ-нибудь страстно болѣзненнымъ, раздражительнымъ порывомъ къ жизни, и все тише и тише волнуетъ въ больной груди чувство, рѣже и тоскливѣе становится его послѣднія движенія, неопредѣленнѣе и несбыточнѣе дѣлаются тѣ формы, въ которыхъ показывается надежда. Наконецъ, исчезаетъ послѣдній призракъ надежды, и остается только тихое, полное невыразимой тоски желаніе жить, во что

бы то ни стало. Больная понимает, что желаніе это неисполнимо, а между тѣмъ оно живетъ въ ней до послѣдней минуты и подъ конецъ выражается только непреодолимымъ страхомъ передъ приближающейся смертью. Вотъ цѣлый міръ чувствъ, почти непонятныхъ для человѣка въ спокойномъ состояніи,—міръ чувствъ, въ который вводитъ насъ графъ Толстой, представляя сцену между умирающей больной и ея родственниками, вошедшими въ ея комнату послѣ того, какъ она причастилась Святыхъ Таинъ.

«Кухина и мужъ вошли. Больная тихо плакала, глядя на образъ.

— Поздравляю тебя, мой другъ, сказалъ мужъ.

— Благодарствуй! Какъ мнѣ теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, говорила больная, и легкая улыбка играла на ея тонкихъ губахъ.— Какъ Богъ милостивъ! Не правда ли, Онъ милостивъ и всемогущъ? И она снова съ жадной мольбой смотрѣла полными слезъ глазами на образъ.

Потомъ вдругъ какъ будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подовзала къ себѣ мужа.

— Ты никогда не хочешь сдѣлать, что я прошу, сказала она слабымъ и недовольнымъ голосомъ.

Мужъ, вытянувъ шею, покорно слушалъ ее.

— Что, мой другъ?

— Сколько разъ я говорила, что эти доктора ничего не знаютъ; есть простыя дѣкарки, онѣ вылѣчиваютъ... Вотъ батюшка говорилъ... мѣщанинъ... Пошли.

— За кѣмъ, мой другъ?

— Боже мой! ничего не хочетъ понимать... И больная сморщилась и закрыла глаза.

Докторъ, подойдя къ ней, взялъ ее за руку. Путьсъ замѣтно блиае слабѣе и слабѣе. Онъ мигнулъ мужу. Больная замѣтила этотъ жестъ и испуганно оглянулась. Кухина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня, говорила больная.—это отнимаетъ у меня послѣднее спокойствіе.

— Ты—ангелъ! сказала кухина, цѣлуя ея руку.

— Нѣтъ, сюда поцѣлуй, только мертвыхъ цѣлуютъ въ руку. Боже мой! Боже мой!»

Переходимъ ко второму эскизу разсказа. Главное дѣйствующее лицо этого эскиза взято авторомъ изъ низшаго класса и поставлено въ такую обстановку, которой бѣдность и несложность составляютъ прекрасно выдержанный контрастъ съ изящной обстановкой больной барыни. Вѣдннй ящикъ, человѣкъ, неимѣющій ни роду, ни племени, умираетъ на чужой сторонѣ, въ душевнй кухнѣ, на печи, среди громкихъ разговоровъ и обычныхъ хлопотъ своихъ товарищй-ящиковъ, почти забывшихъ о существованіи больного и вспоминающихъ о немъ только тогда, когда онъ самъ напоминаетъ о себѣ судорожнымъ кашлемъ или стономъ. Различіе обстановки производить различіе въ образѣ дѣйствій обоихъ больныхъ: барыни, окруженная попеченіями и предупредительными услугами близкихъ ей людей, стремится высказаться и ищетъ облегченія въ ихъ словахъ, въ выраженіи ихъ фізіономіи; она взыскательна въ своихъ требованіяхъ, и не всякое выраженіе участія способно удовлетво-

рить и успокоить ее. Ящикъ, напротивъ того, молча страдаетъ, молча переноситъ ворчаніе кухарки, недовольной тѣмъ, что онъ занялъ ея уголь, молча смотритъ на занятія своихъ товарищй и слушаетъ ихъ толки, въ которыхъ рѣдко проглядываетъ участіе къ его страданіямъ. Поставленный въ такое положеніе, больной не боится смерти или, по крайней мѣрѣ, не выражаетъ своей боязни. Къ его тѣлеснымъ страданіямъ почти не примѣшивается то нравственное томленіе, которое такъ глубоко понималъ и такъ мастерски изобразилъ авторъ въ первомъ эскизѣ. Это нравственное томленіе существуетъ въ немъ, правда, потому что оно неизбѣжно сопровождается собою приближеніе смерти и даже обуславливается, быть можетъ, особеннымъ, болѣзненнымъ настроеніемъ нервовъ и всего организма; итакъ, томленіе существуетъ, но не прорывается наружу. Больной боится беспокоить здоровыхъ и сдѣлаться имъ въ тягость; онъ считаетъ себя какъ бы виноватымъ передъ нами, виноватымъ въ своемъ безпомощномъ положеніи, виноватымъ тѣмъ, что загрозилъ собою уголь и стѣснилъ товарищй. Поэтому въ обращеніи больного проглядываютъ трогательная мягкость, ласковость, вмѣсто которой мы въ первомъ эскизѣ видѣли требовательность и безпокойную, хотя и извинительную раздражительность. Стоитъ сравнить самыя простыя слова больной барыни и больного ящика, и изъ одного этого сравненія разомъ откроется передъ читателемъ различіе какъ ихъ общественнаго положенія, такъ и внутренняго настроенія cadaго изъ нихъ. Контрастъ между настроеніемъ и живой, сильной жизнью, представленный такъ рельефно въ первомъ эскизѣ, нашелъ себѣ мѣсто и во второмъ и выразился въ формахъ, еще болѣе опредѣленныхъ, почти рѣзкихъ, потому что формы эти обуславливаются тѣмъ бытомъ, въ которомъ происходитъ все дѣйствіе. Въ первомъ эскизѣ здоровые изъясляютъ свое участіе, соболѣзнуютъ и только не измѣняютъ естественныхъ условій своего существованія и своей дѣятельности, и это уже кажется больной оскорбительнымъ равнодушіемъ, насмѣшкой надъ ея положеніемъ. Здѣсь, напротивъ того, здоровые ворчатъ на больного, тяготятся его присутствіемъ, стараются извлечь изъ него какія-нибудь выгоды, основываютъ на его болѣзни и смерти разные меркантильные расчеты, о которыхъ съ самымъ наивнымъ видомъ говорятъ съ самимъ больнымъ, не понимая, да и не желая понимать, что подобные разговоры должны мучительно дѣйствовать на разстроенные нервы и напряженное воображеніе страдальца. И больной молчитъ терпѣть и проситъ прощенія. Какъ въ первомъ эскизѣ не должно обвинять больную барыню въ томъ, что она несправедливо капризничаетъ и требуетъ невозможнаго, такъ и во второмъ не должно осуждать здоровыхъ въ томъ, что они грубоо обходятся съ своимъ товарищемъ:

первая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ болѣзни, которая заставляетъ ее забывать все, что не относится къ ея положенію; вторые не настолько развиты, чтобы умѣть поставить себя на мѣсто больного и соразмѣрить каждое свое слово съ его положеніемъ, поэтому обращеніе ихъ неровно: за чисто человѣческими движеніями состраданія слѣдуютъ проявленія несправедливой досады или грубаго эгоизма. Что касается до личности больного ямщика, то это—личность забытая, загнанная своимъ положеніемъ, привыкшая страдать молча и робко переносить упреки за свои же страданія. Такія личности встрѣчаются во всякомъ неразвитомъ обществѣ, въ которомъ уважается не человѣческая личность, а случайные ея атрибуты: физическая сила, богатство, здоровье и т. п. Эти черты неразвитого общества и заботой личности выразились во второй главѣ разсказа. Не дѣлаемъ здѣсь выписокъ, а отсылаемъ нашихъ читателей къ этой главѣ.

Если мы сравнимъ между собою приемы, которые употребляетъ авторъ въ первомъ и во второмъ эскизѣ, то найдемъ, что въ первомъ онъ преимущественно слѣдитъ за внутреннимъ развитіемъ мыслей и чувствъ, а во второмъ почти исключительно обращаетъ свое вниманіе на изображеніе внѣшней обстановки, при которой умираетъ больной, внѣшнихъ условій его быта, внѣшнихъ отношеній его къ окружающимъ товарищамъ. Причину этого объяснить не трудно. Въ первомъ эскизѣ обстановка ничего не значитъ: она не увеличиваетъ собой страданій больной и не можетъ дать читателю средствъ заглянуть въ ея внутренній міръ, тамъ весь интересъ борьбы сосредоточенъ въ этомъ внутреннемъ мірѣ, самая борьба происходитъ отъ чисто внутреннихъ причинъ, и, слѣдовательно, тамъ авторъ не могъ быть простымъ наблюдателемъ, изображающимъ то, что можно видѣть и слышать: ему нужно заглядывать въ душу больной, ловить ея сокровеннѣйшія движенія и подвергать ихъ тонкому, проникательному анализу. Во второмъ случаѣ, напротивъ того, больной подавленъ обстановкой: въ этой обстановкѣ все, начиная отъ душнаго воздуха въ избѣ и кончая неосторожнымъ обращеніемъ ямщиковъ, все заставляетъ страдать больного; борьба его съ неудобствами и лишеніями такъ сильна и такъ очевидна, что она поглощаетъ собою все его силы, не оставляетъ времени для мучительныхъ мыслей, не позволяетъ ему уходить въ свой внутренній міръ и прислушиваться къ безпокойнымъ біеніямъ собственнаго сердца. Мысль лѣниво движется въ утомленной головѣ, безцвѣтна и однообразна ея видоизмѣненія; мучительная боль въ груди, тѣлесное безпокойство, душный воздухъ, которымъ онъ дышитъ, жесткая печь, на которой онъ лежитъ, вотъ что бросается въ глаза въ положеніи больного ямщика, вотъ что дало матеріалъ для эскиза Толстого. Въ этомъ эскизѣ самое отсут-

ствіе психическаго анализа, то-есть то обстоятельство, что авторъ ограничивается однимъ рельефнымъ воспроизведеніемъ внѣшнихъ подробностей, имѣетъ важное значеніе и составляетъ необходимую принадлежность самаго содержанія. Не потому здѣсь нѣтъ анализа, что анализъ слишкомъ труденъ для автора, а потому, что нечего анализировать. Загляните въ душу больного ямщика, выведеннаго Толстымъ, и вы не найдете въ его чувствахъ ни порывистой силы и твердости, ни сложности и разнообразія; васъ поразятъ въ нихъ заботность и безотвѣтная покорность, по временамъ переходящая въ какое то отупѣніе,—покорность, выработанная длиннымъ рядомъ однообразныхъ трудовъ, привычныхъ обыденныхъ страданій и безцвѣтныхъ, постоянно сѣрыхъ дней жизни. Эта покорность выражается во всемъ существѣ больного ямщика: въ его словахъ и движеніяхъ, во всѣхъ его отношеніяхъ къ окружающей обстановкѣ и къ другимъ людямъ. Достаточно изобразить эти отношенія, описать движенія и передать слова, и передъ читателемъ откроется весь его внутренній міръ съ его бѣдностью и несложностью. Такъ поступилъ Толстой, и это обстоятельство положило своеобразный отпечатокъ на второй эскизъ его разсказа.

Переходимъ къ третьему эскизу, чрезвычайно оригинальному по своей художественной концепціи. Третья смерть есть смерть срубленнаго дерева: рука человѣка играетъ здѣсь роль судьбы, и картина природы, замѣчательная по свѣжести красокъ, по осязательности линий и контуровъ, заканчиваетъ собою весь разсказъ. Такъ какъ этотъ третій эпизодъ очень невеликъ, то мы позволяемъ себѣ привести его цѣликомъ, чтобы не дробить общаго впечатлѣнія.

«На всемъ лежалъ холодный, матовый покровъ еде падавшей, не освѣщенной солнцемъ, росы. Востокъ незамѣтно яснилъ, отражая свой слабый свѣтъ на подернутомъ тонкими тучами сводѣ неба. Ни одна травка внизу, ни одинъ листъ на верхней вѣтви дерева не шевелились. Только изрѣдка слышавшіеся звуки крыльевъ въ чащѣ дерева или шелеста по землѣ нарушали тишину лѣса. Вдругъ странный, чуждый природѣ звукъ, разнесся и замеръ на опушкѣ лѣса. Но слова послышались звукъ и равномерно сталъ повторяться внизу около ствола одного изъ неподвижныхъ деревьевъ. Одна изъ макушекъ необычайно затрепетала, сочные листья ея зашептали что-то, и малиновка, сидѣвшая на одной изъ вѣтвей ея, со свистомъ перепорхнула два раза и, подергивая хвостикомъ, сѣла на другое дерево.

Топоръ звучалъ глуше и глуше, сочныя бѣлыя щепки летѣли на росистую траву, и легкой трескъ послышался изъ-за ударовъ. Дерево взогнуло всемъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ корнѣ. На мгновеніе все затихло; но снова погнулось дерево, снова послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучья и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звукъ топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими



крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями.

Первые лучи солнца, пробивъ сквозившую тучу, блеснули въ небѣ и пробѣжали по землѣ и небу. Туманъ волнами сталъ переливаться въ лощинахъ, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачныя поблѣвшія тучки, спѣша, разбѣгались по сплѣвшему своду. Птицы громоздились въ чащѣ и, какъ потерянные, шепетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались въ вершинахъ, и вѣтви живыхъ деревьевъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ, поникшимъ деревомъ».

Опять то-же потрясающее душу противоположеніе между жизнью и смертью,—противоположеніе, напоминающее по своей идеѣ извѣстные стихи Пушкина:

И пусть у гробового входа  
Младая будетъ жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вѣчною сиять.

Замѣчательно то, что это противоположеніе не рѣжетъ глазъ, а, напротивъ, образуетъ какое-то гармоническое сочетаніе, общую картину, въ которой отдѣльныя черты жизни и смерти дополняютъ и отбѣгаютъ другъ друга. Замѣчательнѣе, наконецъ, оригинальный взглядъ на природу, выраженный художникомъ въ приведенномъ нами отрывкѣ. Онъ угадываетъ, подслушиваетъ проблески мысли и чувства въ жизни и говорѣ дѣса, въ шелестѣ листьевъ, въ веселомъ шепетаньи и чириканьи птичекъ. При этомъ онъ не снимаетъ съ природы покрыва ея таинственности, не заходитъ въ область фантастическаго вымысла, не навязываетъ природѣ ничего чисто человѣческаго, несвойственнаго ей, насилующаго законы растительной жизни. Картина срубленнаго дерева, медленно склоняющагося макушкой на сырую землю, представлена во всей своей простотѣ, безъ всякихъ фіоритуръ, и между тѣмъ въ этомъ простомъ изображеніи простого обыденнаго явленія художникъ умѣлъ уловить идею общей жизни природы, медленно и неохотно уступающей напору посторонняго, враждебнаго вліянія. Онъ прослѣдилъ борьбу между жизнью и смертью сначала на разныхъ

степеняхъ общественнаго развитія, а потомъ— въ двухъ различныхъ царствахъ природы. Чѣмъ ниже спускался онъ, тѣмъ глуше былъ протестъ жизни, тѣмъ молчаливѣе совершалась борьба, такъ что, наконецъ, въ послѣднемъ эскизѣ наблюдатель сомнѣвается даже въ существованіи подобной борьбы и не знаетъ, къ чему отнести ту впечатлительность, которою художникъ надѣлилъ растительную природу,—къ области-ли дѣйствительности, или къ творческой фантазіи поэта, отыскивающего въ природѣ отраженія или подобія человѣческаго духа. Вотъ глубокое художественное значеніе разсказа Толстого. Читательницамъ нашимъ можетъ показаться страннымъ, что мы такъ долго останавливались на разсмотрѣніи этого небольшого разсказа. На это есть причины. Цѣлью нашей было не только заинтересовать читательницъ къ прочтенію этого разсказа, но преимущественно обратить ихъ вниманіе на тѣ художественныя кротости, которыхъ должно искать, на которыхъ должно останавливаться при чтеніи произведеній Толстого. Сверхъ того, сюжетъ и построеніе разсмотрѣннаго нами разсказа заставляютъ насъ останавливаться на подробностяхъ потому, что подробности и частности сосредоточиваютъ въ себѣ здѣсь весь художественный интересъ. Здѣсь нѣтъ развитія характеровъ, нѣтъ дѣйствія, а есть только изображеніе нѣкоторыхъ моментовъ внутренней жизни души, есть анализъ; а чтобы оцѣнить вѣрность анализа, необходимо взглянуть въ него и вникнуть въ подробности. Гдѣ нѣтъ анализа душевныхъ движеній, тамъ есть, какъ мы уже видѣли, наглядное и точное до мелочей воспроизведеніе внѣшнихъ подробностей. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ необходимо, при оцѣнкѣ, обращать вниманіе на художественное выполненіе подробностей; иначе останется непонятою лучшая часть произведенія,—та часть, которая составляетъ характеристическую особенность таланта Толстого. Чтобы обратить вниманіе нашихъ читательницъ на эту важнѣйшую часть, мы позволили себѣ подробно распространиться насчетъ разсматриваемаго нами разсказа и привели въ нашемъ отчетѣ нѣкоторые наиболее замѣчательные отрывки, объяснивъ ихъ значеніе.

## НЕСОРАЗМѢРНЫЯ ПРЕТЕНЗІИ.

(Уличные типы. Текстъ А. Голицынскаго, съ 20-ю рисунками М. Пикколо. Изданіе К. Рихау. 1860. Москва).

«Если хотите знать народъ, изучайте его на улицѣ,—сказалъ одинъ философъ.—Къ русскому человѣку скорѣй всего можно сдѣлать такое приложеніе. Нашъ простолюдинъ—гость у себя дома, и часто гость очень церемонный: тутъ вы отъ него иногда слова не добьетесь. Онъ является домой большей частью для того только, чтобъ поѣсть, отдохнуть, да, пожалуй, умереть. Вся жизненная и общественная дѣятельность выражается на улицѣ: здѣсь онъ работаетъ, пьетъ, гуляетъ, бранится, торгуетъ, мошенничаетъ, значитъ, весь на распахку; наблюдай и рисуей, сколько хочешь».

Такъ Голицынскій начинаетъ вступленіе въ своей книгѣ «Уличные типы». Это его программа. Изъ этихъ словъ видно, что авторъ придаетъ своему произведенію довольно важное значеніе; онъ полагаетъ, что оно можетъ познакомить читателя съ народной жизнью, и, конечно, всякій образованный читатель согласится, что узнать свойства и потребности нашего народа—насушная задача нашего времени. Мы съ живѣйшимъ сочувствіемъ встрѣчаемъ комедіи Островскаго и Писемскаго, потому что онѣ открываютъ черты народнаго характера; каждое собраніе пѣсень, сказаній, легендъ подвергается серьезной критикѣ и внимательному изученію; каждая черта народной жизни, занесенная въ лѣтописи или въ разгульную пѣсню бурлака, съ любовью и съ жаднымъ вниманіемъ отмѣчается талантливыми и добросовѣстными изслѣдователями нашей отечественной исторіи. Мы недавно принялись за изученіе народности и какъ-будто въ разъясненіи ея хотимъ провѣрить свои недостатки, слабости, несчастія, однимъ словомъ, подмѣтить и опредѣлить истинныя черты своего характера. Мы приходимъ къ сознанію, что историческая маска вовсе не передаетъ вѣрнаго портрета народной физіономіи. И вотъ намъ общаются представить рядъ картинъ, изображающихъ жизнь народа на московскихъ улицахъ. Это любопытно. Не ожидая глубокаго изученія, мы однакожь позволяемъ себѣ надѣяться, что встрѣтимъ нѣсколько сценъ, волныхъ жизни и здоро-

ваго юмора, нѣсколько мѣтко схваченныхъ чертъ народнаго характера, нѣсколько типическихъ, бойко очерченныхъ фигуръ. Надѣемся, наконецъ, что авторъ, согласно своему общанію, отнесется къ предмету серьезно и тепло, какъ должно относиться къ свѣжому, молодому организму, не успѣвшему развернуться, но представляющему задатки здоровой силы и будущей самостоятельной дѣятельности. Во имя этихъ задатковъ надо извинить и оправдать существующія безобразныя уклоненія и ошибки; молодостью этого народа, его неразвитостью объясняется большая часть его слабостей и недостатковъ. Мы не требуемъ оптическихъ обмановъ, мы не боимся тяжелелаго впечатлѣнія, не отвертываемся отъ нравственнаго зла, но настоятельно требуемъ, чтобъ это зло было намъ объяснено, чтобъ наше обличеніе было не клеветой на дѣйствительность, не камнемъ, брошеннымъ въ грѣшника, а осторожнымъ и бережнымъ раскрытіемъ раны, на которую мы не имѣемъ права смотрѣть съ ужасомъ и отвращеніемъ. Наука и искусство должны мирить насъ съ жизнью, объясняя намъ ея смыслъ и внушая мягкое и осмысленное состраданіе къ самымъ повидимому неизвинительнымъ уклоненіямъ ея отъ законовъ разума. Законъ осуждаетъ уголовнаго преступника, отдѣляетъ его отъ общества, наказываетъ его физической или гражданской смертью, повинуюсь грустной необходимости оберегать большинство и во имя его интересовъ и безопасности жертвовать отдѣльной личностью; но человѣкъ, и тѣмъ болѣе художникъ, долженъ видѣть въ преступникѣ человѣка, смотрѣть на него какъ на больного и не клеймить его своимъ презрѣніемъ. Объясняя преступленіе, мы уже до нѣкоторой степени его извиняемъ; человѣкъ, дурно воспитанный, не видѣвшій съ дѣтства ни ласки, ни совѣта, можетъ сдѣлаться бездушнымъ эгоистомъ, мелкимъ или крупнымъ взяточникомъ, уличнымъ воромъ или грубымъ деспотомъ въ семействѣ, смотря по тѣмъ обстоятельствамъ, при которыхъ сложилась его жизнь, смотря по тому положенію, которое онъ займетъ въ обществѣ, смотря по тѣмъ жиз-

неннымъ средствамъ, которыя достанутся ему на долю. Порокъ, которому онъ предается, конечно, будетъ противенъ нашему нравственному и эстетическому чувству, но одержима имъ личность возбудитъ наше состраданіе; если дерево растетъ въ сукъ, его надо выправлять, разузнавъ сначала причины, заставившія его уклониться отъ нормальнаго направленія; если ребенокъ капризенъ или склоненъ ко лжи, надо изучить его характеръ и подыскать средства, способныя дѣйствовать на него благотворно, а не презирать его и не глумиться надъ его слабостями. А развѣ большой не тотъ же ребенокъ? А развѣ человекъ, испорченный въ нравственномъ отношеніи,—не большой? А развѣ пороки цѣлаго сословія или даже цѣлага народа не болѣзни? Относиться къ этимъ порокамъ съ легкой шуткой—непростительно. Это значить зубоскалить надъ тѣмъ, отъ чего многіе страдаютъ и плачутъ. Относиться къ нимъ съ безпощаднымъ осужденіемъ, хладнокровно презирать ихъ, значить бить ребенка за то, что онъ не понимаетъ заданнаго урока. Вѣдь, конечно, нравственное зло, до такой степени наглое, есть люди, до такой степени испорченные, что противъ нихъ возмущается вся наша природа; отъ такихъ людей отступится самый гуманнѣйшій педагогъ, самый великодушнѣйшій филантропъ, какъ самый просвѣщенный медикъ можетъ отказаться отъ больного, уже превращающагося въ трунъ. Но съ такими исключеніями литературѣ нечего дѣлать. Раскапывать грязь, чтобы показать, какъ она грязна, раскапывать ее безъ малѣйшей надежды и даже безъ желанія отыскать въ ней что-нибудь заслуживающее оправданія или объясненія—трудъ безплодный и неблагодарный. Что говорятъ намъ злодѣи разныхъ парижскихъ и лондонскихъ тайнъ, наводнявшихъ французскую литературу? Что есть негодяи, мошенники и разбойники. Это всякій знаетъ. Кто желаетъ по этому предмету навести статистическія справки, тому всего удобнѣе обратиться въ архивы уголовныхъ судовъ. Тамъ, по крайней мѣрѣ, найдется дѣйствительность, а не поддѣлка, не вымыселъ. Со стороны художника нельзя считать законнымъ ни враждебное отношеніе къ выводимой имъ дѣйствительности, ни холодное равнодушіе. Кто смотритъ на предметъ непріязненно, тотъ видитъ или слишкомъ мало, или слишкомъ много, тотъ вмѣсто картины представитъ карикатуру. Кто смотритъ на предметъ совершенно холодно, тотъ не имѣетъ достаточной побудительной причины взглянуть въ него и изучить его, тотъ не имѣетъ достаточно внутренней силы и теплоты, чтобы выносить его въ груди и вдохнуть ему живое дыханіе жизни. Фотографія—не картина, и ремесленникъ—не художникъ, хотя бы онъ довелъ до высокаго совершенства техническую отдѣлку своихъ произведеній. Дайте намъ въ художникъ человекъ, и

хорошаго человекъ, способнаго хоть въ минуты творчества любить горячо и сильно, стремиться къ добру и красотѣ и, ненавидя зло, прощать и падать злодѣя, какъ слабого и больного человека! Чтобы воссоздавать сцены народной жизни, всего необходимѣе эта способность любить, способность спускаться въ міросозерцаніе людей, стоящихъ ниже насъ по своему развитію, и не относиться къ ихъ радостямъ и горестямъ, къ ихъ ошибкамъ и страданіямъ съ холодной высоты отвлеченной мысли.

Эти замѣчанія вызваны не самой книгой Голицынскаго, а тѣми ожиданіями и требованіями, на которыя даетъ намъ право самоувѣренный и самодовольный тонъ его вступленія. Трудно, впрочемъ, согласиться съ тѣми словами, которыя я привелъ въ началѣ статьи. Россія—не Италия, Москва—не Римъ; ни климатъ, ни характеръ народа не располагаютъ къ такому обширному развитію наружной жизни, при которомъ изучать народъ было бы всего удобнѣе на улицѣ. Мысль о томъ, что русскій «простолудинъ—гость дома, и часто гость очень церемонный», высказана Голицынскимъ сѣмло и голословно, какъ неопровержимая аксіома. Доказательства, которыя онъ выдвигаетъ на поддержку ея, состоятъ въ общихъ фразахъ, которыя, въ свою очередь, должны быть доказаны. «Вся его жизненная и общественная дѣятельность,—говоритъ авторъ,—выражается на улицѣ». Въ чемъ же состоитъ эта жизненная и общественная дѣятельность? Вотъ въ чемъ: «здѣсь,—продолжаетъ Голицынскій,—онъ работаетъ, пьетъ, гуляетъ, бранится, торгуетъ, мошенничаетъ, значитъ—весь на распаху...».

Работаетъ русскій человекъ, сколько мнѣ извѣстно, не на улицѣ, а въ мастерскихъ или у себя дома,—стало быть, съ этой стороны изучить его на улицѣ мудрено; самъ Голицынскій, кромѣ извозчиковъ, не нашелъ въ уличныхъ типахъ ни одного ремесла, производимаго на улицѣ. Торгуетъ русскій народъ дѣйствительно отчасти и на улицѣ, но что-же изъ этого? Если вы будете наблюдать русскаго человекъ съ одной этой стороны, то рискуете или не сдѣлать никакого заключенія о его характерѣ, или прийти къ невѣрнымъ выводамъ. Глядя на суетливость московскихъ мелкихъ торговцевъ, вы, пожалуй, подумаете, что дѣятельность и подвижность составляютъ основныя черты народнаго характера. Затѣмъ изъ всѣхъ проявленій «жизненной и общественной дѣятельности» русскаго человекъ остается только то, что онъ на улицѣ «*пьетъ*, гуляетъ, бранится и мошенничаетъ». Чтобы по этимъ проявленіямъ составить себѣ понятіе о народномъ характерѣ, надо быть ясновидящимъ или пророкомъ, а ясновидящему вовсе не нужно никакихъ наблюденій: онъ и такъ угадаетъ духъ народа. Но Голицынскій—не пророкъ, и потому ему слѣдовало бы взглянуть въ свой предметъ

попристальнѣе и подумать посерьезнѣе. Считать вычисленныя имъ проявленія существенными моментами народной жизни—значить не понимать народа, не любить и не уважать его. Если мы хотимъ знать о народѣ только то, какъ онъ работаетъ, торгуетъ, пьетъ, гуляетъ, бранится и мошенничаетъ, то мы этимъ самымъ или отвергаемъ въ немъ присутствіе другихъ, болѣе благородныхъ, инстинктовъ, или не интересуемся ими. Какъ мужикъ любить, какъ онъ живетъ въ семействѣ, какъ онъ воспитываетъ своихъ дѣтей, что думаетъ и чувствуетъ,—этого мы, стало быть, и знать не хотимъ. Если народность даетъ намъ поводъ сострить, рассказать забавный анекдотъ или нарисовать бойкую карикатуру, тогда мы ей рады, какъ случаю выказать наше остроуміе, а иначе намъ до нея и дѣла нѣтъ. Приступать съ такими идеями къ изученію русскаго народа—по меньшей мѣрѣ несовременно. Но, можетъ быть, подумаетъ читатель, это только неудачное выраженіе, употребленное въ предисловіи Голицынскаго случайно и не имѣющее логической связи съ характеромъ всей книги.

Посмотримъ же, что даетъ намъ книга и насколько въ своихъ очеркахъ авторъ остается вѣренъ идеямъ, высказаннымъ во вступленіи. Во всей книгѣ четыре очерка: «Нипціе», «Пріѣзжіе мужички», «Прислуга» и «Представители Толкучаго рынка». Въ очеркахъ «Пріѣзжіе мужички» авторъ описываетъ тѣ иллюзии и мистификаціи, которыя приходится встрѣтить простолыдину-провинциалу на московскихъ улицахъ. Вотъ идетъ по тротуару мужикъ, спрашивая у каждаго встрѣчнаго, гдѣ живетъ «нѣмка Мантиля Карловна, бѣлобрысая такая, дюжая изъ себя»; вотъ мужикъ хлебнулъ московской водки и отплеивается, говори, что у нихъ «водка въ Смоленскѣ хмельнѣе и лучше»; далѣе мужики разговариваютъ о томъ, какъ «нѣмецъ по пружиѣ на телеграфѣ чихвари ишетъ». Далѣе заѣзжіи извозчикъ-вапъка терпятъ горькую долю то отъ господъ, дешево платящихъ за далекіе концы, то отъ казака, везущаго въ часть арестанта, то отъ такихъ людей, которые отъ извозчиковъ уходятъ въ проходные дворы. Въ этомъ очеркѣ остроуміе Голицынскаго разыгрывается самымъ роскошнымъ образомъ. Не смѣшно ли въ самомъ дѣлѣ, что мужикъ говоритъ *Мантиля* вмѣсто *Матилда*, *телеграфъ* вмѣсто *телеграфъ*, *чихварі* вмѣсто *цифра*? Не смѣшно ли, что мужикъ не знаетъ, что справляются объ адресахъ въ адресномъ столѣ или въ полиціи, что въ московскихъ кабакахъ продаютъ разбавленную водку, что отъ Сухаревой башни до Зубова очень далеко и что бываютъ дома съ проходными дворами? Выставить на показъ это незнаніе и посмѣяться надъ нимъ съ полнымъ удовольствіемъ и съ беззаветнымъ увлеченіемъ—вотъ цѣль автора въ на-

званномъ очеркѣ, и, конечно, цѣль достигается вполне. Народность выводимыхъ личностей тоже выражается вполне, какъ въ ихъ незнаніи, такъ и въ ихъ произношеніи. У насъ еще до сихъ поръ не перевелись писатели, которые характеризуютъ русскаго мужика тѣмъ, что онъ почесываетъ затылокъ, говоритъ *эфтотъ* вмѣсто *этотъ* и коверкаетъ иностранныя слова. Гуманность этихъ писателей вообще, и Голицынскаго въ особенности, заключается по большей части въ томъ, что они, считая слово *мужикъ* грубымъ и обиднымъ, представляютъ его въ смягченномъ видѣ *мужичекъ*. Совершенно одобряя такого рода гуманное смягченіе, я позволю себѣ замѣтить, что въ такомъ случаѣ было бы очень хорошо и удобно, а главное дѣло—гуманно говорить: *казачекъ* вмѣсто *казакъ*, *солдатикъ* вмѣсто *солдатъ*, *бабочка* вмѣсто *баба*, смягчая такимъ образомъ постоянно слова, обозначающія собою низшія ступени сословія.

Въ разсказѣ «Прислуга» вся соль заключается въ томъ, что лакеи, кучера, кухарки и горничныя на чемъ свѣтъ стоятъ ругаютъ своихъ господъ, рассказываютъ объ ихъ любовныхъ похиженіяхъ и отпускаютъ другъ другу площадныя любезности и такія же остроты. Вотъ, напримѣръ, сцена за воротами:

«— Какой же это клубъ на Цвѣточномъ бульварѣ? спросили лукаво дѣвушки.

— Мы тамъ свой завели (отвѣчаетъ кучеръ), тальянскій, значить, съ французскимъ угощеніемъ... на нѣмецкій ладъ.

Кучеръ опять откашлянулся, наклонилъ голову на сторону и зацѣлъ подъ свою гармонию: «Вотъ на-а пути-и-и село-о большо-о-е, туда...» — Что жъ орѣшками-то не попоштуете!—крикнулъ онъ неожиданно, щипнувъ за талю одну изъ слушательницъ.

— Ахъ, чтобы тебѣ лопнуть! Жидъ ты эдакій! Перепугалъ до смерти!—крикнула та въ свою очередь, изо всѣхъ силъ треснувъ его по спинѣ ладонью.

— Попоштуйте орѣхами-то, хоть крѣпки ли зубы попробовать.

— На-те вотъ, берите, коль не побрезгаете.

— Изъ вашего платочка завсегда оченно пріятно,—отвѣчалъ ловеласъ съ необыкновенной галантностью.

— Почему же это?

— А потому не въ примѣръ скусиѣ орѣхи будутъ... «его забилось ре-е-ти-во-е, и по-о-тих...» и т. д.

Были и до сихъ поръ есть писатели, принимающіе тривіальность за народность; употребляя слова: *треснуть*, *лопнуть*, *тальянскій*, *галантерейность*, *попштовать*, *скусиѣ*, и восклицанія въ родѣ *жидъ ты эдакій!* Голицынскій убѣжденъ въ томъ, что, во-первыхъ, онъ уловилъ букетъ народности и что, во-вторыхъ, онъ создалъ сцену, исполненную неподдѣльнаго комизма и самаго живого юмора. Писатели съ посредственнымъ талантомъ и съ ограниченнымъ даромъ наблюдательности не умѣютъ воз-

создавать народное міросозерцаніе и часто вовсе не подозреваютъ его существованія. Они поддѣлываютъ только внѣшнія угловатости и рѣзкости, и потому ихъ сцены изъ народной жизни, при бѣдности и безвѣстности внутренняго содержанія, отличаются аффектаціей и поддѣлкой народнаго разговорнаго языка. Инымъ это правится, и не мудрено: романы Зотова и Воскресенскаго находятъ себѣ многочисленныхъ читателей; выходки фарсеровъ въ водевиляхъ, дающихся для съѣзда и разѣзда публики, возбуждаютъ въ райкѣ громкій хохотъ и рукоплесканія. Эстетическія понятія и требованія различныхъ людей отличаются безконечнымъ разнообразіемъ; почему же и Голицынскому не прослыть въ извѣстномъ кругу читателей юмористомъ и знатокомъ русской народности? Наше дѣло—показать, что въ его книгѣ можно встрѣтить, чтобы предостеречь болѣе разборчивую публику отъ разочарованія. Комизмъ Голицынскаго далеко не изященъ, но смѣется каждый тому, что ему кажется смѣшнымъ; смѣялся же сослуживцы Жевакина надъ тѣмъ, что ему показывали палець, а между тѣмъ, у кого же останется духу быть за это въ претензіи на добродушнаго мичмана? Но если читатель позволитъ себѣ смѣяться надъ тѣмъ, что въ каждой гуманной личности должно возбудить чувство грусти, состраданія или ужаса, тогда мы въ правѣ сказать и доказать, что такой смѣхъ—кощунство, и что вліяніе его, по крайней мѣрѣ, на ту часть публики, которая вѣрить авторитету печатной буквы, безприветливо и вредно. Это гаерство, которому нуженъ канатъ и дурацкая шапка, чтобы развлекать публику, а не любовь и симпатія къ народу. Читая очерки Голицынскаго «Нищіе» и «Представители Толкучаго рынка», я не могъ отдать себѣ отчета въ томъ, съ какой цѣлью написалъ ихъ авторъ. Я даже сомнѣваюсь, чтобы самъ авторъ сознавалъ въ нихъ какую-нибудь цѣль. Хотѣлъ ли онъ обличить плутни нищихъ и московскихъ жуликовъ, и должно ли поставить эту статью на ряду съ книгой Зоркина, обличающаго плутни шуллерской игры? Хотѣлъ ли онъ представить рядъ очерковъ съ чисто-эстетической цѣлью, какъ писатель, изображающій «бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни»? Что онъ хотѣлъ сдѣлать, мы не знаемъ; посмотримъ же, что онъ сдѣлалъ.

Въ очеркѣ «Нищіе» представлены *салонница*, «бѣдный, но благородный человекъ», *шарманщикъ*, и, наконецъ, очерченъ вертепъ или подвалъ, въ которомъ живутъ калѣки-нищіе, пробавляющіеся милостыней у входа въ церкви, на паперти, на бульварахъ и на улицахъ. Почти во всѣхъ этихъ сценахъ мы имѣемъ дѣло съ поддѣльною бѣдностью, и авторъ вездѣ обращаетъ вниманіе не на степень матеріальнаго недостатка, а на средства, которыми

употребляютъ бѣдняки, чтобы возбуждать состраданіе народа. Онъ относится къ самой бѣдности ихъ холодно, а по поводу ихъ пронырства и искусства притворяться даетъ полную волю своему натянному юмору. Онъ чрезвычайно игриво остритъ и надъ салонницей, и надъ «бѣднымъ, но благороднымъ человекомъ», и даже надъ бѣдной дѣвочкой, сопровождающей шарманщика и дѣлающей жертвой разврата въ такомъ возрастѣ, когда еще ни физическія, ни нравственныя силы не окрѣпли и не способны поддерживать и предохранить ее отъ пагубнаго вліянія окружающаго среды. О салонницѣ онъ говоритъ, напримѣръ, что салопъ «служить такимъ же отличительнымъ признакомъ ея званія, какъ, напримѣръ, для испанки мантилья». О «бѣдномъ, но благородномъ человекѣ» приводится цѣлая сцена, въ которой такой проситель на ломаномъ французскомъ языкѣ обращается къ состраданію порядочно одѣтаго господина. Остроуміе Голицынскаго остается вѣрно себѣ: вся соль этой сцены заключается въ искаженіи французскихъ словъ, которые даже для болѣе картинности напечатаны русскими буквами. Напримѣръ:

— Vous demandez *l'aumone*? (спрашиваетъ господинъ).

— Фи донъ, лимонъ... (отвѣчаетъ проситель), жѣ при сюръ новрете, мусье).

Веселость Голицынскаго не помрачается даже тогда, когда онъ рассказываетъ о томъ, что одного «бѣднаго, но благороднаго человека» нашли замерзшимъ на улицѣ. Остроуміе его не сдерживается и передъ труномъ. Дѣло вотъ въ чемъ. Однажды отставной чиновникъ выпросилъ у Голицынскаго гривенникъ, говоря, что ему необходимо ѣхать на Амуръ; на другой день утромъ, въ присутствіи Голицынскаго, поднимаютъ на улицѣ чей-то замерзшій трупъ. «Представьте же мое удивленіе, когда, взглянувъ на его посинѣлое лицо,—продолжаетъ авторъ,—я узналъ вчерашняго амурца. И даже бронзовая медаль болталась у него въ петлицѣ. Довѣхал! подумалъ я, и сиросилъ у квартальнаго: «куда-же вы теперь его повезете?»—Человѣкъ умеръ, какъ собака, подъ заборомъ, безъ приюта, безъ ласки, и не возбуждаетъ въ Голицынскомъ даже той жалости, какую невольно чувствуешь къ страданіямъ животнаго. Я могу объяснить этотъ фактъ только гипотезой: вѣроятно, Голицынскій заподозрѣлъ своего амурца въ пьянствѣ и, возмущенный этой слабостью, отнесся къ его жалкой кончинѣ съ добродѣтельнымъ равнодушіемъ и презрѣніемъ. Но любопытно то обстоятельство, что сцена, рассказанная Голицынскимъ, производитъ на читателя совсѣмъ не то впечатлѣніе, какого ожидалъ авторъ. Если кто изъ трехъ личностей, дѣйствующихъ въ сценѣ, рассказанной Голицынскимъ, способенъ поддѣлывать на читателя тяжело и враждебно, то это, конечно, то я, отъ

лица котораго идетъ весь рассказъ. Бродяга, собиравшійся ѣхать на Амуръ, умеръ мучительною смертию, онъ погибъ, какъ «собака подъ заборомъ». Если квартальный отзывается о смерти человѣка совершенно равнодушно, то это извиняется его необразованностью или давнишнею привычкою. Но что же сказать въ оправданіе того я, которое, закутываясь въ шубу, думаетъ о замершемъ бѣднякѣ: «доѣхаль!», что значитъ другими словами: «околѣлъ! туда и дорога!» А всего любопытнѣе то, что Голицынскій даже не выдѣляетъ себя изъ этого я, не замѣчаетъ, что это я нуждается въ оправданіи или въ презрительномъ состраданіи, и, довольный своей теплою шубой и неизсякаемымъ остроуміемъ, переходитъ къ другимъ забавнымъ сценамъ. Къ числу такихъ забавныхъ сценъ относится аукціонъ на ребенка, происходящій въ вертепѣ. Къ числу такихъ же сценъ относится смерть ребенка въ этомъ вертепѣ,—смерть, которая рассказана такъ: «Мать видитъ, что ребенокъ дѣйствительно кончается, и начинаетъ выть и причитать по привычкѣ. Жильцы вертепа, Богъ знаетъ почему, хохочутъ. Черезъ часъ маленькій герой нашъ умираетъ и—*finita la comedia!*» Что за наглый цинизмъ! Кто далъ право Голицынскому относиться такъ грубо къ лучшимъ чувствамъ человѣческой природы! Мать—нищая, развратная, безносая женщина, какъ неоднократно съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ повторяетъ Голицынскій; такъ что же изъ этого? Развѣ она не можетъ любить своего ребенка? Она отдастъ его на прокатъ другимъ нищимъ-старухамъ, она торгуетъ имъ, она поступаетъ отвратительно, но что же изъ этого? Развѣ въ минуту агоніи ребенка въ ней не можетъ проснуться материнское чувство, усиленное внезапно выступившими угрызеніями совѣсти? Надо быть сердцеѣдцемъ, надо быть Богомъ, чтобы осмѣлиться сказать, что эта несчастная мать воетъ и причитать *по привычкѣ*. Жильцы вертепа смѣются—неумудрено! Образованный человѣкъ, литераторъ, находитъ сказать только—*finita la comedia*; было бы удивительно, если бы нищие не смѣялись и не глумились надъ смертью бѣднаго ребенка; осуждать ихъ за это несправедливо, можно только замѣтить, что сцены, подобныя описанной, составляютъ клевету на человѣчество. Онѣ могутъ войти только въ протоколъ уголовного процесса; многое совершенно неправдоподобное случается иногда въ дѣйствительности, но мы не повѣримъ художнику, если онъ представить намъ въ своей картинѣ эти случайности и исключенія, потому что исключительныя положенія не даютъ матеріала для тина, а только могутъ быть до нѣкоторой степени объяснены случайнымъ и страннымъ стеченіемъ обстоятельствъ. Въ природѣ встрѣчаются, можетъ быть, совершенные злодѣи, но нуженъ колоссальный талантъ, чтобы заставить повѣ-

рить въ возможность такого злодѣя, представленнаго въ литературномъ произведеніи. Если смерть ребенка въ вертепѣ нищихъ происходила передъ глазами самого Голицынскаго, тогда холодный цинизмъ, съ которымъ она рассказана, приведетъ читателя въ ужасъ. Если эта сцена создана фантазіей автора, тогда это лишній камень осужденія, брошенный безъ особенной причины въ классъ людей, который нуждается въ состраданіи и который безусловно презирать—несправедливо, чтобы не сказать больше. Народные пороки—вопросъ до такой степени серьезный, что къ нему надо относиться осторожно, съ знаніемъ и пониманіемъ дѣла, съ полною способностью сочувствовать несчастному и съ полнымъ желаніемъ простить и оправдать то, что унало въ грязь случайно и стремится изъ нея выйти. Въ подобныхъ случаяхъ всегда лучше быть слишкомъ мягкимъ, нежели слишкомъ жестокимъ: изящнѣе, справедливѣе и гуманнѣе тотъ сердобольный купецъ или мужикъ, который подаетъ нищему грошъ, не справляясь даже о его правдивности, чѣмъ тотъ писатель-обличитель, которому во всякомъ оборванномъ просителѣ мерещится тушедець, обманщикъ или мошенникъ. Голицынскій такъ презираетъ поддѣльную бѣдность, что рядомъ съ нею рѣшительно не даетъ мѣста истинной бѣдности. Эта безразличность недостойна ни художника, ни развитою человѣка. Подумайте, что такое поддѣльная бѣдность? Заслуживаетъ ли она дѣйствительно такого безжалостнаго осужденія? Если просить милостыню человѣкъ, имѣющій состояніе, то это болѣзнь, монomanія. Если человѣкъ, дѣйствительно не имѣющій средствъ и даже работы, прикидывается калѣжкой, то онъ выставляетъ только яркую вывѣску того положенія, въ которомъ дѣйствительно находится. Нищенство—занятіе очень неизящное; нищенство не излѣчивается тѣмъ величавымъ презрѣніемъ, съ которымъ вы будете смотрѣть на бѣдняка. Амурець, которому Голицынскій далъ гривенникъ, былъ очень здоровъ, однако это не помѣшало ему замерзнуть; стало быть, онъ дѣйствительно былъ въ крайности, потому что даже авторъ уличныхъ типовъ, строгій censor morum, не говоритъ положительно о томъ, что онъ замерзъ въ пьяномъ видѣ. Зачѣмъ, скажете вы, здоровому человѣку нищенствовать и пить, когда онъ можетъ работать? Да развѣ, отвѣчу я, всякому здоровому человѣку такъ легко найти себѣ работу? Вы безъ рекомендаціи не найдете дворника, не пустите къ себѣ въ домъ кухарку, тѣмъ болѣе не дадите работы человѣку, протягивающему вамъ руку на улицѣ. А, можетъ быть, есть между нищими и такіе люди, которые душой рады были бы найти себѣ занятія. Можетъ быть, униженные случайно, эти люди стремятся выйти изъ своего тяжелаго положенія, но ихъ отталкиваетъ окружающее общество, и они медленно возвращаютъ-

ся и мирится съ жизнью туеядца и бродяги. Сидя безъ хлѣба и безъ мѣста, отвѣдавши случайно, въ крайности, дарового пропитанія, молодой и здоровый малый можетъ совершенно испортиться, отбиться отъ работы и поступить въ разрядъ поддѣльныхъ калѣкъ. Жалкое паденіе, скажемъ мы, но это паденіе, какъ и большая часть человѣческихъ пороковъ, простительно и заслуживаетъ состраданія, а не презрѣнія. Съ распространеніемъ грамотности развивается обыкновенно трудолюбіе и, слѣдовательно, уменьшается число туеядцевъ и нищихъ. Содействовать такого рода усовершенствованіямъ—дѣло каждаго честнаго гражданина, но кто же станетъ этому содействовать? У кого хватить духу смѣяться надъ тѣмъ, въ чемъ проявляется слабость человѣческой природы во всей своей ужасающей наготѣ? Кто способенъ стать къ очерку Голицынскаго въ критическія отношенія, тому онъ покажется жалокъ и смѣшонъ; кто увлечется юморомъ автора, тотъ вмѣстѣ съ нимъ погрѣшитъ противъ справедливости и здраваго смысла.

«Представители Толкучаго рынка», конечно, блѣднѣютъ передъ очеркомъ «Нищія». Автору не приходится имѣть дѣло съ такими мрачными явленіями жизни, и потому остроуміе его уже не производитъ на читателя такого сильнаго и страннаго впечатлѣнія. Въ этомъ очеркѣ любопытно и поучительно замѣтить только то, что авторъ съ особеннымъ удовольствіемъ напираетъ на подробности, напоминающія романъ Поль-де-Кока; но у Поль-де-Кока эти подробности наивны и веселы, а у Голицынскаго онѣ просто плоски и грязны. Онъ любитъ останавливаться на такихъ подробностяхъ, въ которыхъ, по его мнѣнію, лежитъ и особенность русскаго народа, и мѣстный колоритъ московскаго Толкучаго рынка. Какъ ѣсть русскій мужикъ, и чѣмъ сть какой рыбы пахнетъ, и какъ поддерживается теплота въ кушаньѣ на открытомъ воздухѣ,—все это описано съ такою любовью, что иностранецъ могъ бы подумать, что русская народность безъ этихъ особенностей невообразима. Опять мы скажемъ: «вольному воля!» Остроуміе Голицынскаго мнѣ кажется плоскимъ и натянутымъ, но вѣдь много у насъ на Руси такой публки, для которой двусмысленный, часто топорный анекдотъ стоитъ любой комедіи Островскаго; что же съ этимъ дѣлать? Какъ ни грустно признаться въ этомъ, а можно быть увѣреннымъ, что книга «Уличные типы» разойдется хорошо и что, читая ее, многіе православные будутъ надирать

животики. Приятно, по крайней мѣрѣ, встрѣтить въ этой же самой книгѣ приговоръ надъ ней въ бесѣдѣ двухъ букинистовъ. Обсуживая состояніе современной книжной торговли, одинъ изъ этихъ промышленниковъ замѣчаетъ между прочимъ, что книжка «Старичокъ-весельчакъ, рассказывающій старинныя московскія были», вышла шестымъ изданіемъ и «ходко идетъ». Этими словами букиниста Голицынскій очевидно даетъ публикѣ урокъ и старается показать ей, что она раскушаетъ дрянъ и ея услаждается свои досуги. Но мы покажемъ бы и букиниста, и публику, если бы этотъ урокъ послужилъ въ пользу и былъ примененъ къ оцѣнкѣ разобранной нами книги. «Уличные типы» Голицынскаго составляютъ на русской почвѣ подражаніе безчисленнымъ юмористическимъ изданіямъ, наводняющимъ французскую литературу и потѣшающимся надъ смѣшными и плачевными сторонами народности. Всѣ эти изданія, начиная съ самаго роскошнаго изданія «Le diable à Paris», отличаются глянцеванной бумагой, прекраснымъ выполненіемъ рисунковъ и замѣчательною пустотой содержанія. Всѣ эти качества замѣчаются въ книгѣ Голицынскаго, конечно, въ ослабленномъ видѣ, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ подражанія. О пустотѣ содержанія мы уже говорили; о виѣшности изданія нельзя не отозваться съ похвалой. Бумага и шрифтъ хороши; а рисунки напоминаютъ собою манеру Гаварни и выполнены опытною и искусною рукой. Даже жаль, что издержки издателя и талантъ художника потрачены на такую ничтожную книгу. Эта книга, сама по себѣ, конечно, не стоила такого подробнаго разбора, но я рѣшился отдать ей нѣсколько страницъ, потому что она глубоко и неловко затрогиваетъ предметъ, близкій сердцу каждаго честнаго человѣка. Грустно видѣть, когда гримасничаютъ, кривляются и глумятся надъ такимъ предметомъ, который любишь горячо, искренно и сознательно,—надъ предметомъ, которому даровитые дѣятели посвящаютъ лучшіе труды свои, къ которому избранные люди приступаютъ съ любовью и уваженіемъ. Тутъ поневолѣ зашевелится въ душѣ негодованіе, и невольно подумаешь, что, проходя молчаніемъ постыдное кощунство, дѣлаешься его пассивнымъ соучастникомъ и ободрителемъ. Въ оправданіе книги Голицынскаго сказать нечего. Въ извиненіе самого автора можно привести развѣ то обстоятельство, что онъ самъ не вѣдаетъ, чѣмъ творить: и въ этомъ лучшее оправданіе его передъ судомъ критики.



# НАРОДНЫЯ КНИЖКИ.

(Русская азбука для народн. школь и для домашн. обуч. по новѣйш. методѣ. Изд. Лермантова и К. 1860.—Русская азбука съ наставленіемъ, какъ должно учить. 2 изд. значит. доп. В. Золотова.—Изд. 'товар. «Обществ. Польза». 1860.—Христоматія—28 басенъ русск. баснописцевъ Измайлова, Хемницера, Дмитріева и Крылова. Изд. Лермантова и К. 1861.—Бесѣды въ досужее время. Разск. для чтенія простому народу. Изд. Станюковича. 1860.—Дѣдушка Назарычъ. Разск. А. Погоскаго. 1860.—Первый винокуръ. Древнее сказаніе.—Механикъ-самоучка Нулибинъ. Соч. И. Трошчаго. Изъ «Народн. чтенія». 1860.—Дядя Титъ Антонычъ учить, какъ надо любить ближняго. Соч. Н. С. 1860.—Княгиня Ольга, первая русская правительница-христіанка. Соч. Н. С. 1861).

Наконецъ общество начинаетъ сознать, что на немъ лежитъ обязанность—дѣлиться съ народомъ знаніями и идеями. Вѣроятно, многія изъ книгъ, поименованныхъ въ заглавіи моей статьи, написаны съ добросовѣстнымъ желаніемъ принести пользу; вѣроятно также, что нѣкоторыя изъ нихъ составлены съ промышленной цѣлью; но и это не бѣда. Составить предметъ спекуляціи можетъ только такое предпріятіе, котораго необходимость вошла въ общественное сознаніе. Разумѣется, книга, написанная для народа только ради торговаго сбыта, не дѣлаетъ чести нравственному чувству ея составителя, но самое существованіе подобной спекуляціи—фактъ отрадный, потому что онъ указываетъ на большой запросъ или, по крайней мѣрѣ, на возможность подобнаго запроса въ ближайшемъ будущемъ. Необходимость народнаго образованія вошла въ общественное сознаніе, но между теоретическимъ и практическимъ рѣшеніемъ вопроса лежитъ цѣлая бездна. Давно ли въ нашихъ журналахъ рассуждали и спорили о томъ, нужна ли и полезна ли для народа грамотность? Вопросъ этотъ рѣшенъ утвердительно, но самая возможность подобнаго спора, а самая необходимость доказывать аксіому служить осязательнымъ примѣромъ того, какъ ново и непривычно для насъ дѣло народнаго образованія. И это не удивительно. Потребность умственнаго прогресса была отодвинута въ нашей жизни на задній планъ, и мы, вмѣсто истиннаго образованія, довольствовались одними внѣшними условіями его; мы не видѣли или, лучше, не хотѣли видѣть, что позади насъ есть миллионы другихъ людей, которые имѣютъ одинаковое право на человѣческую жизнь, образованіе и социальное усовершенствованіе. Теперь мы сознаемъ, что безъ этихъ миллионовъ людей мы далеко не уйдемъ съ своей привозной цивилизаціей и съ своимъ просвѣщеніемъ, взятымъ напрокатъ. Такимъ образомъ великой задачей нашего времени становится умственная эманципація массъ, черезъ которую предвидится имѣть исходъ къ лучшему положенію не только ихъ самихъ, но и всего общества. Школой нашего воспитанія является весь народъ, а воспитателемъ его—образованное мень-

шинство. Въ теоріи мы знаемъ, что надо дѣлать. Надо изучить характеръ воспитанника, взвѣснить тѣ обстоятельства и обстановку его прежней жизни, которыя могли имѣть вліяніе на складъ его способностей и жизни, надо честнымъ и откровеннымъ обращеніемъ приобрести его довѣріе, надо узнать его насущныя потребности и, наконецъ, оцупавъ дѣйствительную почву, взяться за дѣло такъ, какъ потребуютъ обстоятельства, какъ Богъ на душу положитъ, не ожидая отъ теоріи рѣшенія такихъ вопросовъ, которые должны рѣшаться на мѣстѣ, путемъ какого-то наитія и творческаго вдохновенія. Съ такими требованіями каждый развитой человѣкъ имѣетъ право обратиться къ любому порядочному воспитателю, и, вѣроятно, въ этихъ требованіяхъ не будетъ ничего преувеличеннаго. Если же нельзя братья кое-какъ, съ налету, за воспитаніе ребенка, то тѣмъ болѣе нельзя съ кой-какими теоретическими свѣдѣніями приступать къ воспитанію народа. Въ первомъ случаѣ мы рискуемъ приготовить обществу дурного гражданина, можетъ быть несчастную жертву порока; во второмъ—мы принимаемъ на себя тяжелую отвѣтственность за свою націю. И если жалко видѣть отдѣльное лицо, испорченное ложнымъ воспитаніемъ, то съ какимъ же чувствомъ мы должны смотрѣть на умственный развратъ всего народа? Къ сожалѣнію, мы рѣдко задумываемся надъ этимъ вопросомъ и, облачаясь въ санъ воспитателя его, оказываемъ ему услугу, подобную той, какую въ баснѣ Крылова оказалъ медвѣдь спавшему пустынику. Говоря вообще, мы плохо понимаемъ требованія народной жизни, хотя и много кричимъ на эту тему. Теоретики, фразеры, реформаторы съ высоты величія отвлеченной мысли, доктринеры, фанатики, готовые умереть на словахъ за честь своего знамени, энтузіасты, крикунны и махатели руками расплодился неимоვნю въ нашемъ разсыропленномъ обществѣ. Предпріятія возникаютъ и лопаются; теоріи въ одинъ день создаются и распадаются; всѣ какъ-будто заняты, а дѣло двигается медленно впередъ. Мы никогда не отличались особенной энергіей, но теперь на всѣхъ замѣтна апатія, лихорадочныя порывы и вслѣдъ за ними

какая-то нравственная усталость и беспощадное равнодушіе. Первое препятствіе охлаждаетъ насъ, первая неудача отбрасываетъ наши силы въ совершенное бездѣйствіе. Притомъ мы давно привыкли думать, что великія дѣла можно дѣлать посредствомъ маленькихъ людей, между тѣмъ для добросовѣстнаго выполненія и маленькаго дѣла нуженъ если не великій, то хорошій человекъ. Мы эту истину цѣнимъ мало: и я увѣренъ, что, остановивъ на улицѣ тридцать встрѣчныхъ и предложивъ имъ быть воспитателями народа, мы получимъ отказъ развѣ отъ одного: всѣ прочіе точно такъ же возьмутся за этотъ трудъ, какъ они взяли бы за переписываніе бумагъ. Это признакъ совершеннаго непониманія общественныхъ интересовъ и крайняго презрѣнія къ нимъ.

Встрѣчаясь съ слабыми и блѣдными попытками провести въ народное сознаніе нѣсколько свѣтлыхъ мыслей, я прежде всего считаю нужнымъ выяснитъ до нѣкоторой степени тѣ формы, въ которыхъ вообще можетъ и должна появиться пропаганда. И педагогъ, и поэтъ, и учитель, и профессоръ—пропагандисты, которыхъ вліяніе, конечно, обусловливается ихъ личными свойствами и достоинствами; но между пропагандою поэта и педагога нельзя не замѣтить существенной разницы. Поэтъ не видитъ передъ собою публики и не рассчитываетъ на нее, не взвѣшиваетъ каждое слово и не предлагаетъ себѣ на каждомъ шагѣ вопроса: какое впечатлѣніе произведу я на современное общество? Создавая по внутренней необходимости, выдѣляя отъ себя то, что накопилось и накипѣло въ груди, онъ весь занятъ своимъ предметомъ, весь живетъ въ мірѣ вызванныхъ имъ образовъ и кромѣ этихъ образовъ въ минуту творчества не видитъ ничего, да и не долженъ ничего видѣть. Связь между поэтомъ и обществомъ неизбежна, но она существуетъ помимо воли поэта, и поэтъ не дѣлаетъ, да и не долженъ дѣлать ни шагу, чтобы скрѣпить или ослабить эту связь. Связь эта основана на томъ, что поэтъ переживаетъ съ современниками и горе, и радость, и надежды, и опасенія, и моменты юношеской вѣры, и годы мужительныхъ сомнѣній и тяжкаго раздумья. Онъ переживаетъ все это вмѣстѣ съ нами, но чувствуетъ живѣе насъ; оттого наша неясная грусть или тревожная, но еще не сознанная и почти безпричинная радость въ созданіяхъ поэта принимаютъ плоть и кровь; оттого-то поэтъ учитъ насъ, не говоря намъ ничего новаго.

Въ пропагандѣ педагога, напротивъ того, все соображено, размѣрено и клонится къ пользѣ воспитываемой личности. Его пропаганда должна быть послѣдовательна и строго сообразна условіямъ времени, личности и степени ея развитія. Насколько поэту необходима искренность чувства, настолько педагогу необходима постоянная наблюдательность и осторожность какъ въ

выборѣ предмета, такъ и въ процессѣ его изложенія. Чистый типъ поэта и педагога, вѣроятно, не встрѣчается въ природѣ, потому что вообще не встрѣчается воплощеній отвлеченныхъ качествъ. Чтобы быть поэтомъ въ дѣлѣ народнаго образованія, надо стоять на одной почвѣ съ народомъ, надо горячо любить его, и при томъ любить просто и безъ претензій; надо силой непосредственнаго чувства понимать и его невысказанное горе, и несознанныя надежды, и невыяснившіяся стремленія. Кромѣ Кольцова, врядъ ли кто-нибудь изъ нашихъ замѣчательныхъ поэтовъ умѣлъ въ своихъ произведеніяхъ жить одною жизнью съ той массой людей, которая нуждается въ умственномъ содѣйствіи со стороны образованнаго меньшинства. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могли проникнуть творческой мыслью исключительно въ народное міросозерцаніе, потому что все ихъ вниманіе было поглощено анализомъ окружающей ихъ полу-русской среды, сложившейся подъ вліяніемъ акклиматизаціи европейскаго этикета, европейскихъ предрассудковъ и отчасти европейскихъ идей и воззрѣній. Эту среду, въ которой они выросли и развились, наши поэты поняли и изучили; что же касается до простаго народа, съ которымъ каждый изъ насъ имѣетъ чисто внѣшнія отношенія, то изъ него наши поэты брали нѣкоторыя характерныя фигуры, но при этомъ постоянно останавливались на одной внѣшней сторонѣ явленія. Они представляли лакея, крестьянина, фабричнаго и т. п., но кромѣ подробностей костюма и обстановки, кромѣ копированія домашняго быта и языка, кромѣ воспроизведенія внѣшнихъ отношеній, въ ихъ произведеніяхъ не было ничего такого, въ чемъ выразилось бы пониманіе внутреннихъ существенныхъ особенностей русской жизни. Осипъ въ «Ревизорѣ», Петрушка и Селифанъ въ «Мертвыхъ Душахъ»—живые люди, это безспорно, но они схвачены только съ внѣшней стороны, какъ лица, составляющія декорацию, обстановку и потому не заслуживающія особенно тщательнаго разсмотрѣнія. Все, что они говорятъ,—вѣрно; все это непременно было бы сказано русскимъ дворовымъ человекомъ, находящимся въ ихъ положеніи, но все это, взятое вмѣстѣ, такъ незначительно, что никакимъ образомъ не даетъ читателю средства проникнуть во внутренній міръ этихъ личностей. Послѣ Гоголя дѣло сближенія образованнаго класса съ народомъ подвинулось впередъ; главными дѣйствующими лицами романовъ и повѣстей стали являться русскіе мужики и бабы, но и здѣсь анализъ скользитъ по одной поверхности. Романы изъ народнаго быта рисовали и рисуютъ намъ не столько характеры, сколько положенія. Если есть драматическая борьба, то она замыкается въ кругъ чисто внѣшнихъ происшествій. Черезъ это всѣ характеры являются въ напряженномъ

состояніи, и мы видимъ не естественное и спокойное развитіе жизни, а нравственныя судороги, которыя не позволяютъ намъ дѣлать какія бы то ни было заключенія о выраженіи лицъ въ обыденныя, будничныя минуты жизни. На это мнѣ можетъ быть скажутъ, что трудовая, пасмурная жизнь крестьянина такъ безцвѣтна и однообразна, что собственно человѣческія стороны его личности выражаются только проблесками, въ тѣ минуты, когда заговорить ретивое и когда нашъ простолюдинъ на нѣсколько мгновеній стряхнетъ съ себя тяжелую и вынужденную апатію.

Но это возраженіе опровергается пѣснями Кольцова, относящимися такъ часто и съ такою любовью къ этой заунывной, трогательной сторонѣ народной жизни, состоящей изъ длиннаго ряда однообразныхъ трудовъ, крупныхъ и мелкихъ лишений. Притомъ замѣчу, что только незнаніе русскаго человѣка и человѣка вообще можетъ рѣшить такъ смѣло и голословно, что обыденная жизнь простолюдина сама по себѣ безцвѣтна и пуста. Народъ ближе насъ стоитъ къ природѣ и смотреть на окружающій его міръ яснѣе, чѣмъ мы, потому что взглядъ его не омраченъ предубѣжденіями и ложными понятіями нашей жизни. Но потому-то намъ и трудно наблюдать и анализировать внутреннюю сторону народной жизни. Мы обыкновенно подступаемъ къ ней съ предвзятыми идеями и даемъ свой собственный, произвольный смыслъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Кто, напримѣръ, понялъ и вѣрно выразилъ отношенія крестьянина къ любимой имъ женщинѣ? Изображая отношенія между влюбленными, наши романисты большей частью рисовали намъ сцены, созданныя воображеніемъ,—сцены, за вѣрность которыхъ не поручится ни самъ авторъ, ни внутреннее чутье читателя. «Свиданіе», описанное въ «Запискахъ Охотника» Тургенева, составляетъ въ ряду подобныхъ сценъ рѣдкое исключеніе, но при этомъ не должно упускать изъ виду обстоятельство, которое придаетъ всей сценѣ живой и своеобразный колоритъ. Тургеневъ выставляетъ контрастъ между дѣвственной, свѣжей душой молодой крестьянки и засушенной и пошлой натурой лакея, любимца барина. Внѣшнее положеніе дѣйствующихъ лицъ само по себѣ такъ характеристично, что оно совершенно овладѣваетъ вниманіемъ читателя и совершенно выкупааетъ въ его глазахъ недостатокъ анализа самаго чувства. Семейныя отношенія точно такъ-же были недоступны правильному наблюденію нашихъ писателей; мы знаемъ, что отецъ—хозяинъ въ домѣ, что мужъ распоряжается съ женою деспотически, что жена считаетъ такой порядокъ вещей естественнымъ и законнымъ, что взрослые дѣти ходятъ въ страхѣ передъ старикомъ-отцомъ; но всѣ эти свѣдѣнія очень похожи на примѣты, выставляемыя въ паспор-

тахъ и отпускныхъ билетахъ; живое явленіе жизни трудно исчерпать описаніемъ,—его надо прочувствовать и пережить въ самомъ себѣ; если бы какой-нибудь путешественникъ, прожившій десять лѣтъ въ Парагваѣ или на Сандвичевыхъ островахъ, написалъ романъ изъ тамошнихъ нравовъ, мы, вѣроятно, съ большимъ любопытствомъ остановились бы на описаніи мѣстныхъ обычаевъ, обрядовъ, образа жизни, быта и предразсудковъ, но въ то же время имѣли бы полное право усомниться въ жизненной вѣрности и полнотѣ выведенныхъ характеровъ и изображенныхъ личностей. А между тѣмъ, читая романы изъ народнаго быта, публика наша думаетъ, что имѣетъ дѣло съ дѣйствительной народной жизнью. Спрашивается: развѣ различіе между какимъ-нибудь парагвайцемъ и европейскимъ туристомъ значительно больше того различія, которое существуетъ между русскимъ простолюдиномъ и русскимъ писателемъ? Развѣ между простолюдиномъ и писателемъ есть какая-нибудь связь, кромѣ единства языка и мѣста рожденія? Развѣ отношенія простолюдина къ писателю искреннѣе, задушевнѣе и ближе отношеній парагвайца къ завѣзшему европейцу? Мы любимъ народъ или, по крайней мѣрѣ, воображаемъ себѣ, что любимъ, потому что мудро дѣйствительно любить того, кого мы почти не знаемъ, но народъ не любитъ насъ и не вѣритъ намъ. Мы для него до сихъ поръ ровно ничего не сдѣлали, мы его трудами жили въ теченіе столѣтій, и онъ это помнить той самой памятью, которая до сихъ поръ хранитъ въ народной пѣснѣ воспоминанія о Дунаѣ-рѣкѣ и о Владимирѣ Красномъ-Солнышкѣ. Кто станетъ винить нашего мужика въ томъ, что онъ въ каждомъ одѣтомъ по-европейски господинѣ видитъ человѣка, съ которымъ надо держать ухо остро и съ которымъ пускаться въ откровенность не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ?—Какъ бы то ни было, мы должны признаться, что при настоящемъ положеніи дѣлъ изученіе народности только что начинается; мы едва начали распознавать ея существенныя признаки, мы не можемъ даже дать внѣшняго описанія народнаго типа, стало-быть, вывести этотъ типъ въ художественномъ произведеніи еще нѣтъ никакой возможности. Исторія разлучила насъ съ нимъ гораздо ранѣе Петра. До сихъ поръ, сколько можно припомнить, народная инициатива выразилась только въ эпоху самозванцевъ да въ 1812 году; во все остальное время народъ нашъ представлялъ собою огромную массу, повиновавшуюся данному извнѣ толчку по силѣ инерціи и принимавшую любую форму, смотря по тому, откуда чувствовалось давленіе. На основаніи всего сказаннаго, можно допустить предположеніе, что едва-ли поэтическая и педагогическая пропаганда по силамъ нашему поколѣнію. Нашей поэтической пропаганды народъ не пойметъ,

потому что мы говоримъ на двухъ разныхъ языкахъ, живемъ въ двухъ разныхъ сферахъ и въ умственныхъ нашихъ интересахъ не имѣемъ ни одной да вѣдь точки соприкосновенія. Что волнуетъ лучшихъ людей нашего общества, что заставляетъ ихъ стремиться къ отвлеченной истинѣ, къ знанію ради знанія, что заставляетъ ихъ страдать и радоваться муками творческаго рожденія, то, конечно, покажется всякому здравомыслящему, но неразвитому простолыдину искусственной потребностью, прихотью барства, слѣдствіемъ извѣженной и празднои жизни. Эстетическія понятія наши расходятся также сильно съ понятіями нашего народа; что намъ кажется превосходнымъ, вызываетъ нашъ умъ на усиленную дѣятельность, а въ душѣ будитъ цѣлый міръ неясно сознаваемого чувства, то навѣрное покажется народу слишкомъ блѣднымъ, потому что требованія его фантазіи и сердца гораздо шире и проще нашихъ. Словомъ, разстояніе между нашими воззрѣніями и наклонностями до сихъ поръ еще такъ велико, что оно исключаетъ всякую возможность непосредственнаго пониманія. Намъ достаточно было бы развернуть передъ народомъ наше міросозерцаніе во всей его полнотѣ, чтобы внушить ему недовѣріе и боязнь. Есть такіе народныя вѣрованія и предрассудки, которые невозможно затрогивать грубо и неосторожно; ихъ надо разрушать исподволь, надо вести народное развитіе, не касаясь ихъ прямо и предоставляя ихъ устраненіе времени и здравому смыслу.—Стало быть, надо дѣйствовать педагогически, т. е. приравнивать свое изложеніе къ понятіямъ слушателя и не сходить съ его точки зрѣнія. Но для педагогической дѣятельности необходимо, чтобы, во 1-хъ, воспитатель зналъ своего воспитанника вдоль и поперекъ, и чтобы, во 2-хъ, между воспитателемъ и воспитанникомъ существовало полное довѣріе. Въ послѣднемъ случаѣ намъ представляется величайшее затрудненіе. Мы можемъ возвратитъ довѣріе народа только тогда, когда станемъ къ нему снисходительными братьями. Доселѣ мы искали только однихъ правъ и расширенія произвола въ отношеніи массы, но не хотѣли знать, что кромѣ правъ есть и обязанности съ нашей стороны.

Высказавъ свое мнѣніе о народной литературѣ вообще, приступлю къ разбору фактовъ, т. е. вышедшихъ для народа книжекъ. Этотъ разборъ фактовъ подтверждаетъ мое заключеніе, сдѣланное *a priori*; скажу болѣе: онъ приводитъ къ результату, гораздо болѣе печальному, чѣмъ можно было ожидать. Если бы принять совокупность лежащихъ передо мною книжекъ за *maximum* того, что можетъ дать народу пишущая Россія, то можно было бы подумать, что у насъ нѣтъ ни одного таланта, ни одного человека, любящаго народъ.

Въ этихъ книжкахъ даже нельзя указать на слишкомъ большія ошибки, потому что онѣ

ниже ошибокъ. Если бы составители этихъ книжекъ имѣли какое-нибудь понятіе о своей задачѣ (т. е. о народѣ, для котораго пишутъ, и о предметѣ, по которому пишутъ), то хотя бы это понятіе было ложное, самое существованіе его отразилось бы въ большей жизненности и теплотѣ изложенія. Но въ этихъ книжкахъ нѣтъ ни мысли, ни направленія, ни пониманія народности: это даже не книги, это бумага, болѣе или менѣе сѣрая, напечатанная болѣе или менѣе убористымъ шрифтомъ, съ большимъ или меньшимъ числомъ опечатокъ. Четыре книжки, именно двѣ азбуки и два сборника стихотвореній, по многимъ причинамъ должны быть изъяты изъ общаго разбора, и потому я теперь же скажу о нихъ нѣсколько словъ. Обѣ азбуки составлены по новой методѣ, и въ нихъ обученіе начинается не съ буквъ, а съ цѣлыхъ словъ: эта метода, признанная современной педагогикой, дѣйствительно рациональнѣе прежней методы и отличается большими практическими удобствами. Когда русскому человѣку говорятъ русское слово, онъ его понимаетъ, но когда неграмотному человѣку называютъ букву, онъ рѣшительно не въ состояніи понять, чтд это такое. Факты доказываютъ намъ, что въ исторіи изобрѣтенія письменъ буквенная система занимаетъ высшую и послѣднюю степень, и что гораздо прежде раздѣленія словъ на буквы находилось въ употребленіи письмо, изображающее самые предметы или символически указывающее на идею того слова, которое нужно было написать. Не слово составилось изъ буквъ или звуковъ, а, напротивъ того, звуки произошли оттого, что аналитическая дѣятельность ума разложила существующія слова и нашла въ нихъ общія составныя части, элементы, которые сами по себѣ, самостоятельно никогда не существовали. Требовать такой аналитической дѣятельности отъ человѣка неграмотнаго и мало мыслящаго нельзя; поэтому необходимо, чтобы учитель на наглядныхъ примѣрахъ показалъ ему, какъ слова дѣлятся на слоги, а слоги на буквы, и на этомъ основаніи метода, предлагаемая двумя названными мною азбуками, во многихъ отношеніяхъ облегчаетъ первоначальное обученіе, которое было такъ скучно и утомительно для учителя и для ученика. Честъ изобрѣтенія этой методы принадлежить европейскимъ педагогамъ; примѣнена она въ обѣихъ азбукахъ недурно, но, сколько мнѣ кажется, она лучше примѣнена въ изданіи Лермантова и комп. Въ азбуку Золотова воспитанникъ, прочтя при помощи учителя девять двухсложныхъ словъ, въ первомъ же упражненіи переходитъ къ слогамъ и даже и къ буквамъ; въ азбуку Лермантова этотъ переходъ дѣлается нечувствительно: тамъ ученикъ прочитываетъ рядъ словъ, очень короткихъ и сходныхъ между собою по своимъ составнымъ частямъ, напр. *ты, то, та,—ты,*

мы, вы. Видя сходство въ написаніи и созвучіе въ произношеніи, онъ естественно проводитъ параллель между тѣмъ и другимъ, и собственнымъ умомъ доходитъ до пониманія отдѣльных буквъ; это возбуждительное вліяніе, которое азбука можетъ оказать на самостоятельность мысли, особенно важно и полезно, потому что оно ободряетъ ученика и облегчаетъ ученіе. Въ обѣихъ азбукахъ есть нѣсколько страницъ упражненій; на нихъ, какъ это бываетъ во всѣхъ дюжинныхъ азбукахъ, есть и нравоученія, и ариеметика, и статистическія свѣдѣнія о Россіи; все тамъ есть и зачѣмъ оно туда попало,—единому Богу извѣстно. Азбуки изъявляютъ желаніе быть энциклопедіями и черезъ это перестаютъ быть хорошими азбуками. Достаточно было бы, кажется, дать ученику, выучившемуся читать, страницъ 20 занимательнаго и понятнаго чтенія, чтобы приохотить его, или, пожалуй, просто, чтобы дать ему средства съ удовольствіемъ почитать подъ руководствомъ учителя; но изъ чтенія исторіи, ариеметики, правилъ общегитія и изъ всѣхъ этихъ отрывочныхъ полусвѣдѣній выходитъ такая скучная и бесполезная смѣсь, что ученикъ, конечно, не въ состояніи будетъ ни прочесть ее съ удовольствіемъ, ни приобрѣсти изъ нея какое-нибудь дѣйствительное знаніе. На двухъ страницахъ азбуки Золотова говорится объ именованныхъ числахъ, о календарѣ, о древней исторіи, о сотвореніи міра, о Рождествѣ Христовомъ, Евангеліи и объ основаніи Россійскаго государства. Прочтя такіа двѣ страницы, невольно вспомнишь о томъ увѣдомъ учитель, который въ одинъ урокъ прочиталъ отъ ассиріянъ и вавилонянъ до Александра Македонскаго и даже въ заключеніе сломалъ казенный стулъ. Вотъ, напр., о древней исторіи: «Во все это время (отъ сотворенія міра до 1860 года) жили разные народы; самыми древними изъ нихъ были египтяне, вавилоняне, евреи, римляне, греки и многіе другіе», а далѣе уже слѣдуетъ объ откровенномъ законѣ Моисея и о Рождествѣ Христовомъ. А вотъ изъ азбуки Лермантова статья изъ отдѣла «Основныя законоположенія»: «Власть родительская простирается на дѣтей обоаго пола и всякаго возраста, съ различіемъ и въ предѣлахъ, законами для сего поставленныхъ (Св. Зак. Т. X ст. 158)». Насколько, прочитавъ эти строки, ученики получаютъ понятіе о древней исторіи и о предѣлахъ родительской власти въ Россіи—это я предоставляю рѣшить самимъ составителямъ. Есть родители и воспитатели, которые, желая своимъ дѣтямъ и воспитанникамъ добра, говорятъ: пускай всему учится, все пригодится; не узнаетъ всего вполнѣ, по крайней мѣрѣ получитъ какое-нибудь понятіе. Въ отношеніи къ понятію эти педагоги чрезвычайно нетребовательны; они часто называютъ понятіемъ одно слово, одну фразу, часто просто имя собственное.

Съ этой точки зрѣнія можно, пожалуй, оправдать приложения къ азбукамъ Золотова и Лермантова, но я позволяю себѣ держаться мнѣнія діаметрально противоположнаго и потому замѣчу, что нехорошо и недобросовѣстно заваливать память человѣка, которому придется въ будущемъ многому учиться; это значитъ злоупотреблять правами учителя и терпѣніемъ ученика.—Оба сборника стихотвореній отличаются вычурностью обертки и совершенною случайностью въ выборѣ помѣщенныхъ пьесъ. Любопытно было бы спросить у господъ составителей, какой цѣли старались они достигнуть своими сборниками, нравственной или эстетической? Хотѣли ли они дать народу назидательное чтеніе или просто познакомить его съ лучшими произведеніями русской поэзіи? Отвѣчать на этотъ вопросъ я предоставляю имъ самимъ, а отъ себя скажу только, что они не достигли никакой цѣли. Первая цѣль вообще недостижима, потому что исправить нравственность человѣка баснями и поученіями невозможно. Вторая цѣль не достигается по причинѣ крайней неразборчивости составителей. Плохіа басни Дмитріева и Измайлова безъ малѣйшаго выбора ставятся рядомъ съ баснями Крылова; и къ чему все это, и почему это предназначается для народа, и что можетъ, по расчетамъ составителя, найти народъ въ этихъ книжкахъ—не знаю, да и считаю лишнимъ изслѣдовать. До сихъ поръ я имѣлъ дѣло съ такими книгами, которыхъ идеи собственно не подвергались критикѣ. Въ азбукахъ мы видѣли примѣненіе извѣстной методы; въ сборникахъ—перечетку давно извѣстныхъ произведеній. Составителямъ принадлежали только расположеніе частей и выборъ. И то, и другое оказалось неудовлетворительнымъ; посмотримъ, что дадутъ намъ книги, не составленныя, а написанныя для народа.

Въ числѣ этихъ книгъ есть беллетристическіе опыты («Первый Винокуръ» и «Дѣдушка Назарычъ»), нравственные разсужденія («Дядя Титъ Антонычъ учитъ, какъ надо любить ближняго»), попытки популярно изложить начала физики («Всѣды въ досужее время») и два біографическіе очерка («Книгина Ольга» и «Механикъ-самоучка Кулибинъ»). Разсмотрю сначала повѣсти. Древнее сказаніе «Первый Винокуръ» написано съ дидактической и полемической цѣлью и напоминаетъ наивныя проповѣди противъ пьянства, которыми такъ богата наша древняя церковная литература. Гласъ вопіющаго въ пустыни раздается до нашего времени; желаніе наговорить читателямъ множество душеспасительныхъ поученій, исправить народную нравственность фразами, живеть, какъ видно, и въ нашемъ вѣкѣ. Кто беретъ въ руки перо, чтобы писать для народа или для дѣтей, тотъ непременно задаетъ себѣ какую-нибудь благонамѣренную задачу, неуклонно стремится къ дости-

женію своей добродѣтельной цѣли, не обращая вниманія на бѣдность собственной фантазіи, и заканчиваетъ свое скучное произведеніе—правоученіемъ, которое выражаетъ собою всю идею и вѣнчаетъ дѣло. Въ этомъ разрядѣ литературныхъ произведеній примѣняется, какъ видно, самымъ оригинальнымъ образомъ знаменитое положеніе Макіавелли: «цѣль оправдываетъ средства». Авторъ древняго сказанія «Первый Винокуръ» ставитъ себѣ великую и полезную задачу отучить народъ отъ пьянства и очернить въ общественномъ мнѣніи не только откупщиковъ, но даже и винокуровъ.

Желая внушить мужику отвращеніе къ пьянству, онъ рассказываетъ, что куреніе вина идетъ отъ дьявола, и что первый винокуръ былъ чертенокъ, посланный на землю самимъ сатаной, чтобы сотворить людямъ великую пакость. Авторъ не сообразилъ, какое вліяніе можетъ произвести его брошюра. Я съ своей стороны думаю, что она будетъ совершенно оставлена безъ вниманія, но авторъ, рѣшившійся писать и издавать рассказъ съ правоучительной цѣлью, по всей вѣроятности, рассчитывалъ на то, что народъ повѣритъ его доводамъ и будетъ сочувствовать его идеямъ. Если авторъ такимъ образомъ смотрѣлъ на вещи, то онъ сдѣлалъ непростительную педагогическую ошибку. Пьянство вредно, въ этомъ спорѣ нѣтъ, но народное суевѣріе, исключаящее всякую возможность разумнаго и здороваго міросозерцанія, составляетъ не меньшее зло, и притомъ такое зло, противъ котораго можетъ и должна бороться литература. Что же дѣлаетъ рассказъ «Первый Винокуръ»? Пиражая пьянство, онъ поддерживаетъ дикіе народные предрасудки. Онъ ратуетъ противъ пьянства тѣми самыми доводами, которыми народъ ополчался противъ табаку, противъ картофеля, противъ желѣзныхъ дорогъ, словомъ, противъ всякаго заморскаго изобрѣтенія. «Православные люди,—говоритъ авторъ,—это дьявольское навожденіе; отплеивайтесь и открещивайтесь отъ него». И съ такой логикой, съ такими литературными приемами люди берутся учить народъ, просвѣщать и гуманизировать его. Нашъ народъ вѣритъ во все сверхъестественное: въ чертей, въ колдуновъ, въ домовыхъ, въ дѣшихъ, въ водяныхъ, въ русалокъ, въ вѣдьмъ, оборотней и знахарокъ; и вдругъ ему представляютъ правоучительный рассказъ, котораго главные дѣйствующія лица взяты изъ преисподней и созданы самой безобразной и въ то же время безсильной фантазійей. Хороши народные воспитатели, которые укореняютъ и узаконяютъ народные предрасудки и дѣлаютъ изъ нихъ пугало для поддержанія народной нравственности и первобытной простоты нравовъ. Къ сожалѣнію должно сознаться, что, несмотря на дикое направленіе, этотъ рассказъ написанъ живымъ языкомъ, и что народъ можетъ понять его и,

сколько мнѣ кажется, прочесть съ удовольствіемъ. Художникъ, если бы его воображенію представились гибельныя послѣдствія пьянства для народной нравственности, воплотилъ бы эту идею въ простомъ, безыскусственномъ образѣ, взялъ бы матеріалы изъ живой дѣйствительности и написалъ бы такую картину, которая для читателей всѣхъ сословій имѣла бы свой смыслъ и всѣмъ имъ сказала бы свое слово. Взятая за ту же идею проповѣдникъ, нагородилъ вздору, соорилъ фантастическую исторію, не принесъ ни малѣйшей пользы, а можетъ быть даже сбилъ съ толку какого-нибудь простодушнаго и доверчиваго читателя.

Другая повѣсть Погосскаго: «Дѣдушка Назарычъ», не представляя никакихъ положительныхъ достоинствъ, не бросается въ глаза яркими недостатками. Погосскій недурно владѣетъ языкомъ, не употребляетъ высокопарныхъ выраженій, непонятныхъ для народа, но въ его литературныхъ приемахъ есть нѣкоторыя странности, показывающія, что онъ—не художникъ; онъ поддѣлывается подъ солдатскій говоръ и испещряетъ свои страницы разными замысловатыми метафорами, непонятными для непосвященныхъ. Огородъ онъ сравниваетъ съ фронтомъ солдатъ, кочни капусты разставлены у него по ранжиру и образуютъ шеренги, словомъ, фантазія автора черпаетъ изъ военнаго артикула богатый запасъ сравненій и образовъ.

Такого рода приемы встрѣчаются очень часто въ такой литературѣ, которая предназначается для публики, стоящей ниже автора по умственному своему развитію. Въмѣсто того, чтобы возвысить ее до себя, авторъ самъ унижается до нея и перенимаетъ ея дурныя привычки или невольныя ея уклоненія отъ разумности и естественности. Не можетъ быть, чтобы Погосскій самъ находилъ свои воинственныя сравненія изящными и умѣтными. Скалозубы вообще не любятъ литературу и относятся къ ней съ пренебреженіемъ, а Погосскій, какъ издатель «Солдатской бесѣды», самъ доказываетъ фактически, что не таковы его наклонности и убѣжденія. А поддѣлываться подъ вкусъ публики, которую желаешь развить и гуманизировать, значить подчиняться нравственному вліянію своего ученика и исполнять и предупреждать его нелѣпыя капризы. Мы знаемъ, что нашъ народъ считаетъ изящнымъ, и однако, стараясь подвинуть впередъ его эстетическое образованіе, не станемъ распространять по дешевой цѣнѣ лубочныя картины съ безграмотными и бессмысленными подписями. Современная педагогика дошла до того убѣжденія, что надо воспитывать преимущественно и прежде всего человѣка, что даже складъ ума и наклонности воспитанника должны имѣть вліяніе на составъ энциклопедическаго преподаванія, т. е., что будущій гуманистъ, будущій математикъ, юристъ, офицеръ, администраторъ,

технологъ должны получить прежде всего одинаковое общее образование, которое бы возвысило и укрѣпило въ нихъ чувство и сознание собственного человѣческаго достоинства. Узкая специальность и неорганическое обособленіе отдѣльных сословій ведутъ къ духу исключительности и нетерпимости, дробятъ народность и сознание національнаго единства. Дѣльность специалиста не исключаетъ въ немъ общительности и не должна развиваться въ ущербъ человѣческимъ качествамъ ума и сердца. Можно быть храбрымъ солдатомъ, и не класть всю душу въ исправку и ружейные приемы. Можно быть опытнымъ фронтовикомъ, и выражаться общечеловѣческимъ и общепонятнымъ языкомъ. Кромѣ несовершенствъ вишняго изложенія, можно еще замѣтить въ рассказѣ Погоскаго одинъ существенный недостатокъ. Спрашивается: почему именно старый солдатъ выбранъ Погоскимъ для того, чтобы украситься всѣми лучшими качествами человѣка? Почему именно идеаломъ добродѣтельнаго старика является старый солдатъ? Если это сдѣлано въ назиданіе читателямъ-солдатамъ, то я упрекну Погоскаго въ дидактизмъ, который, какъ неоднократно бывало доказано, никогда не достигаетъ даже своей узкой и ограниченной цѣли. Жизнь, полная дѣятельности, тревогъ и лишеній, жизнь походная и бивачная, отсутствіе своего крова, оторванность отъ семьи заставитъ неразвитога человѣка съежиться въ самомъ себѣ, но никакъ не доведетъ его до той идиллической мягкости, которою отличается все поведеніе Назарыча.

«Весѣды въ досужее время» до нѣкоторой степени напоминаютъ тѣ энциклопедическія свѣдѣнія, которыя сообщаютъ азбуки Золотова и Лермантова. На 72-хъ крошечныхъ страничкахъ авторъ умѣстилъ и предостереженіе противъ деревенскихъ знахарей, и панегирикъ ученымъ врачамъ, и магнетизмъ, и гальванизмъ, и электрическую машину, и паровозы, и телеграфъ. Люди, читавшіе или изучавшіе физику Ленца, конечно, поймутъ, что хочеть сказать авторъ, но пойметъ ли это народъ и вынесетъ ли онъ изъ книжки что-нибудь существенное—это вопросъ, да еще очень важный. Да, наконецъ, допустимъ, что народъ пойметъ, какъ устроенъ вольтовъ столбъ и какъ производится гальванопластическое золоченіе. Какая-жъ въ этомъ будетъ польза? Представьте себѣ, что я бы прочелъ путешествіе Герберштейна по Россіи, потомъ палеонтологію Кювье, потомъ изслѣдованіе о языкѣ Кави Вильгельма Гумбольдта, потомъ геральдику Лакіера, потомъ *Radices Linguae Slavicae* Добровскаго и т. д.,—неужели тысячи страницъ и цѣлые полки томовъ, поглощенныхъ такимъ образомъ, обогатили бы хоть на одну іоту мой внутренний міръ? Мнѣ кажется, что, напротивъ, надо было бы быть чуть не гениемъ, чтобы при такомъ чтеніи не сдѣ-

латься круглымъ дуракомъ. А вѣдь народное образованіе, выражающееся въ грошовыхъ изданіяхъ, ведется именно такимъ образомъ. Если бы народъ прочелъ и усвоилъ себѣ то, что специально для него пишуть, то это было бы для него величайшимъ несчастьемъ; это заволокло бы тусклою тinou живую струю народнаго ума. Образованіе народа пойдетъ мимо этихъ бездарныхъ попытокъ, и пойдетъ неудержимой волной, когда дремлющія силы сознаютъ собственное существованіе и двинутся по внутренней потребности. Скажите, какую живую мысль дать нашему мужику описаніе вольтова столба? Улучшится ли отъ этого его матеріальное благосостояніе; прибудетъ ли хлѣба на гумнѣ; перестанетъ ли онъ бить свою хозяйку; внесетъ ли онъ человѣческую логику въ свои вѣрованія и убѣжденія? Придетъ время говорить и о вольтовомъ столбѣ, да вѣдь не теперь же, и не такимъ образомъ. Вѣдь нельзя же забрасывать человѣка незнакомыми словами, до которыхъ ему нѣтъ дѣла, вѣдь зарыбить въ глазахъ и замуштитъ въ ухахъ отъ этой безцвѣтной пестроты. «Весѣды въ досужее время» могли бы быть хорошею книжкой, если бы онѣ не захватили разомъ такое множество предметовъ, если бы онѣ о чемъ-нибудь одною поговорили подробно, занимательно и общепонятно. Но тутъ-то и является препятствіе: чтобы говорить подробно, надо прочесть что-нибудь кромѣ учебника, да и подумать о томъ, что выбрать и какъ изложить. Сказать же вскользь о громѣ, потомъ объ электрическихъ машинахъ, потомъ о гальванизмѣ, выказать при этомъ просвѣщенное сочувствіе къ прогрессу, привести этимологію этого слова, порадоваться на свою образованность и ткнуть мужику въ глаза его невѣжество и суевѣріе—на это способенъ любой гимназистъ, перешедшій въ старшій классъ и горлый своимъ общественнымъ положеніемъ. Если что при такомъ изложеніи забудется—не бѣда, можно заглянуть въ учебникъ; а переврешь чтонибудь—и то не штука, благо публика ничего не знаетъ и всыскать не сумѣетъ. Если народныя книжки не являются у насъ сотнями и тысячами, то развѣ только потому, что книгопродавцы боятся типографскихъ издержекъ и не увѣрены въ сбытѣ. За авторами не стало бы дѣло: народная книжка всякому по плечу; она не требуетъ отъ составителя ни стараній, ни свѣдѣній, ни любви къ своему дѣлу, ни даже умѣнья порядочно писать по-русски. Захотѣлъ и написалъ, а что изъ этого выйдетъ, объ этомъ смѣшно и спрашивать. Конечно, ничего не выйдетъ, и это самое утѣшительное, что можно сказать въ этомъ случаѣ. Было бы страшно за будущее нашего народа, если бы можно было думать, что недоучившіяся или ничему не учившіяся бездарности могли бы имѣть какое-нибудь вліяніе на его образъ мыслей. Народъ, который можно было бы вылѣчить



отъ вѣковыхъ предрасудковъ грошевою книжкой, былъ бы пустой народъ, который не стоило бы воспитывать, котораго убѣжденія никогда не приобрѣли бы стойкости и самостоятельности. Изъ дряблага и мягкаго дерева трудно выточить хорошую вещь, а твердое дерево уступаетъ съ трудомъ и какъ будто борется съ обрабатывающимъ его инструментомъ; часто бываетъ и то, что плохой инструментъ ломается о хорошей материалъ.

Книжка «Дядя Титъ Антонычъ учитъ, какъ надо любить ближняго», стоитъ ниже всякой критики. Это скучная, безцвѣтная проповѣдь, облеченная, неизвѣстно зачѣмъ, въ діалогическую форму, обставленная неправдоподобными личностями, не существующими ни въ русскомъ, ни въ какомъ-либо другомъ быту. Дѣло вотъ въ чемъ: у хозяина-мужика живетъ батракъ, тоже мужикъ, который въ деревнѣ играетъ роль проповѣдника, и которому самъ хозяинъ и сосѣдніе поселяне кланяются въ поясъ. Этотъ деревенскій патріархъ, поступившій въ батраки для процесса самоуничженія, объясняетъ текстъ изъ Евангелія собравшимся сосѣдямъ; всѣ слушаютъ съ благоговѣніемъ и выносятъ изъ его рѣчи то незамысловатое заключеніе, что турки, нѣмцы и французы—такіе же люди, какъ и русскіе, и потому имѣютъ право на нашу любовь и на наше участіе.—Мнѣ кажется, все разсужденіе въ высокой степени бесполезно и сверхъ того изложено языкомъ растянутымъ, витіеватымъ и въ то же время воднистымъ. Ни одно слово не бьетъ въ сердце; ни разу ораторъ не возвышается до наѵоса и не покидаетъ старчески-византийскаго тона рѣчи; ни въ одной строкѣ не слышно живого чувства; вездѣ условная, кликальная риторика, вездѣ холодная, безстрастная наставительность. Знаній эта брошюрка не даетъ, на чувство подѣйствовать не можетъ, стало быть больше нечего о ней и говорить.

На эту брошюру похожа по своей внѣшности біографія княгини Ольги; кажется, она составлена тѣмъ же авторомъ; на обѣихъ книжкахъ написано: «Соч. Н. С.», и обѣ онѣ представляютъ значительное сходство въ литературномъ отношеніи. Пріемы построения совершенно тѣ же. Точно такъ-же какая то личность, называющаяся собою, т. е. говорящая отъ своего имени, подходитъ къ группѣ деревенскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, собравшихся вокругъ учителя. Роль дяди Тита Антоныча въ этой брошюрѣ играетъ приходскій священникъ, отецъ Павелъ. Отъ перемѣны имени не перемѣняется манера изложенія; она представляетъ ту же утомительную безцвѣтность, которою въ высокой степени отличалось повѣствованіе дяди Тита; въ этой брошюрѣ эта утомительность еще замѣтнѣе, потому что отъ историческаго разсказа мы требуемъ того, чего нельзя ожидать отъ поучительнаго слова. Но ужъ таково свойство бездарности, что она

вноситъ холодъ и скуку во все, за что ни берется. Разсказъ о жизни Ольги шибко сбивается на проповѣдь; онъ составленъ по житію св. Ольги и осязательно показывается, какъ мало авторъ умѣлъ воспользоваться своими источниками. Исторія, сколько мнѣ кажется, даже въ настоящее время нужна для народнаго образованія: фонъ исторической картины, колоритъ мѣста и времени, подробности, рисующія громадную, хотя отвлеченную личность народа, должны обратиться на себя все вниманіе историка, способнаго писать для народа, т. е. излагать свои идеи просто и популярно. Пусть на этомъ фонѣ выдѣляются и выступаютъ передъ воображеніемъ, читателя личности отдѣльныхъ историческихъ дѣятелей и работниковъ. Народу необходимы историческія идеи; изъ этихъ идей формируются убѣжденія, составляетъ міросозерцаніе. Но чѣмъ нужнѣе какой-нибудь предметъ, тѣмъ строже надо быть въ его выборѣ, тѣмъ неумолимѣе надо клеймить неудачныя и безмысленныя попытки. Въ біографіи княгини Ольги—бѣдность содержанія, безцвѣтность изложенія и отсутствіе всякой исторической идеи поражаютъ на каждой строкѣ. Авторъ разсказываетъ, что древляне убили Игоря, что жена Игоря Ольга отвела отъ него, что потомъ въ 955 году она приняла христіанство, потомъ видѣла видѣніе, а наконецъ умерла. Вотъ вамъ и историческая идея, и мѣстный колоритъ, и фізіономія фактовъ. Точно такъ-же можно было бы разсказать какую-нибудь деревенскую силетню, не измѣняя обстановки, потому именно, что обстановка нѣтъ и тѣни. О древлянахъ не сказано даже, что они жили въ лѣсистой странѣ и отличались отъ полянъ дикостью и суровостью; имени полянъ не встрѣчается во всемъ разсказѣ. Сказано, что князь Рюрикъ былъ первый русскій государь, и это послѣднее выраженіе оставлено безъ всякаго поясненія. Грамотный мужикъ, имѣющій понятіе о теперешнихъ границахъ Россіи и о значеніи слова *государь*, можетъ себѣ представить, что Рюрикъ былъ то-же, что теперь императоръ, что онъ владѣлъ такою же территоріей, имѣлъ такой же дворъ и штатъ министровъ, что онъ вель такой же образъ жизни и, пожалуй, даже, что его резиденціей былъ Петербургъ и Зимній дворецъ. Вѣдь популярное изложеніе состоитъ именно въ томъ, чтобы каждое слово было объяснено и вызывало въ умѣ читателя именно то представленіе, которое вы хотите вызвать. Вы должны предвидѣть самое полное незнаніе, предполагать возможность самой грубой ошибки и приступить къ дѣлу, почувствовавъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы разбить это невѣжество и устранить упорное заблужденіе. Это очень трудно, но кто же и говоритъ, чтобы добросовѣстное исполненіе задачи популяризатора было легко; сдѣлать дѣло, какъ слѣдуетъ, всегда трудно, а такими популяризаторами, какіе у насъ теперь

развелись, хоть прудь пруди, да что же въ нихъ толку? Говорится, напр., что «Ольга сочла нужнымъ принять на себя управленіе русскимъ государствомъ». А что такое было тогдашнее русское государство, и въ чемъ состояло его управленіе, какъ совершался въ то время механизмъ государственной дѣятельности, это не пояснено ни однимъ словомъ. Далѣе говорится, что Ольга была «язычницей и поклонялась идоламъ, и не знала, что первый долгъ человѣка состоитъ въ томъ, чтобы прощать обиды». Этими словами объясняется то, что она погубила древлянъ, присланныхъ просить ея руки для своего князя Мала. Въ этихъ словахъ есть двѣ ошибки: во-первыхъ, объ язычествѣ Ольги не сказано ни слова, а выраженіе *поклонялась идоламъ* ничего не поясняетъ, потому что само по себѣ требуетъ поясненія. Во-вторыхъ, эти слова даютъ невѣрное и неправдоподобное объясненіе поступка Ольги съ древлянами. Древляне были избиты, потому что идея родовой мести, идея «кровь за кровь» господствовала во всемъ славянскомъ мірѣ въ то время, когда еще слабо развиты были юридическія понятія. Христіанство не могло сразу искоренить эти понятія и подкапывало ихъ настолько, насколько оно постепенно содѣйствовало смягченію нравовъ. Заглушить голосъ человѣческихъ страстей и подчинить ихъ нравственному закону оно не могло, и стоитъ взглянуть на исторію Византіи, гдѣ императоры рѣзали другъ другу носы и выкалывали глаза, сталкивая другъ друга съ престола, чтобы убѣдиться въ томъ, что христіанство было безсильно, когда ему приходилось бороться съ корыстными расчетомъ или съ дикой страстью. Ольга потому убила древлянъ, что не была христіанкою, а почему же христіанинъ Владиміръ Святой собирался идти войною на непокорнаго сына своего Ярослава? Почему христіанинъ Святополкъ перебилъ своихъ братьевъ Бориса, Глѣба, Святослава? Почему христіанинъ Святополкъ-Михаилъ выкололъ глаза Васильку Ростиславичу? Почему, наконецъ, въ XV столѣтіи христіане Дмитрій Шемака и Василій Темный позволяли себѣ во время междоусобій такія кровавыя и безполезныя злодѣянія?—Говоря о жестокостяхъ Ольги, авторъ старается показать высокое значеніе христіанства; но, выводѣ эти жестокости изъ язычества, онъ навязываетъ христіанству отвѣтственность за тѣ злодѣянія, которыя были совершены послѣ крещенія Руси. Это опять плачевное слѣдствіе дидактизма, который такъ же неуѣстенъ въ исторіи, какъ въ художественномъ произведеніи. Читая исторію, надо учиться тому, чему учитъ сама жизнь, сами факты; если же авторъ желаетъ вставлять нравочненія, до которыхъ онъ дошелъ собственнымъ умомъ, тогда лучше писать проповѣди въ родѣ Тита Антоныча, нежели статьи съ претензією на историческое знаніе. Первые не оставляютъ никакого сомнѣнія насчетъ своего

характера, а послѣдніе обманываютъ и заинтересовываютъ своимъ заглавіемъ. Рассказывая о прибытіи Ольги въ Константинополь, авторъ дѣлаетъ грубую историческую ошибку. «Греческій императоръ Константинъ Багрянородный—говоритъ онъ—въ золотой колесницѣ, сопровождаемый патріархомъ и всеми высшими чиновниками, выѣхалъ навстрѣчу русской княгини». Нелѣпѣ этого извѣстія трудно что-нибудь придумать. Кажется, въ лѣтописяхъ Византіи не было примѣра, чтобы императоръ выѣхалъ навстрѣчу какому-нибудь иностранному государю, и вдругъ онъ выѣзжаетъ навстрѣчу Ольги, на которую онъ не могъ даже смотрѣть, какъ на государыню, и въ которой онъ долженъ былъ видѣть просто полудикую искательницу приключеній. Но не нужно въ этомъ случаѣ дѣлать предположеній насчетъ возможности подобнаго факта. Наши лѣтописи и сочиненія Константина Порфиророднаго опровергаютъ эту нелѣпую выдумку; изъ рассказа нашихъ лѣтописей видно, что Ольга была недовольна приѣмомъ, который сдѣлалъ ей императоръ, и по возвращеніи въ Кіевъ жаловалась на то, что ее заставили долго стоять въ гавани Константинополя. У Константина Порфиророднаго въ церемоніяхъ Византійскаго двора подробно описанъ приѣмъ Ольги русской ("Ελληνος της Ρωσσηνης); приѣмъ этотъ происходилъ въ золотомъ триклиніи (столовой), сопровождался обѣдомъ, и, конечно, въ описаніи этого приѣма ни о золотой колесницѣ, ни о встрѣчѣ не упоминается ни однимъ словомъ. Я подозреваю въ этой выдумкѣ Н. С. нравоучительную цѣль. Онъ, вѣроятно, имѣлъ попользованіе показать величіе русскаго государства даже въ тѣ времена, которыя для самого повѣствователя покрыты густымъ мракомъ неизвѣстности. Но добродѣтель не всегда торжествуетъ, и добродѣтельный и благонамѣренный патріотизмъ Н. С. разбился о скалу историческихъ свидѣтельствъ и фактовъ. Выдумка Н. С. можетъ служить яркимъ подтвержденіемъ моей мысли о томъ, что книжки для народа составляются по плохимъ учебникамъ, и что, гдѣ понадобится, факты учебниковъ пополняются и подкрашиваются сообразно съ наклонностями и глубокомысленными соображеніями недоучившихся составителей. Научная и литературная добросовѣтность неизвѣстны въ низшихъ слояхъ нашей письменности, въ толкуемъ рынкѣ нашей журналистики и книжной торговли. Нашарлатанить, наврять, привести цитату изъ нечитаннаго сочиненія или утаить источникъ, изъ котораго заимствована какая-нибудь идея,—подобныя подвиги позволяютъ себѣ и не одни составители грошовыхъ книжекъ. Но кто помысленіе да пообразованіе, тотъ мошенничаетъ умно, такъ, что трудно будетъ поймать и уличить; кто же берется за перо, едва умѣя писать, безъ дарованій и безъ свѣдѣній, тотъ попадаетъ на верной же выдумкѣ и обнаружить въ полномъ

блескъ все свое невѣжество и все свое неуваженіе къ истинѣ, къ своимъ читателямъ и къ предмету своего разсказа. Пусть Н. С. приметъ въ расчеѣ это обстоятельство и постарается быть осторожнѣе или хитрѣе въ послѣдующихъ своихъ изданіяхъ для народа. Пусть онъ чаще справляется съ учебниками и рѣже увлекается преслѣдованіемъ побочныхъ цѣлей въ историческомъ изложеніи.

Биографія «Механика-самоучки Кулибина», составленная Троицкимъ и продающаяся какъ отдѣльный оттискъ изъ журнала «Народное Чтеніе», интересна по сообщаемымъ фактамъ, но изложена такъ дурно, какъ только можетъ быть дурно изложена статья, написанная для народа. Троицкій какъ будто нарочно старается нарушить своимъ изложеніемъ всѣ условія, которыхъ соблюденіе необходимо для того, чтобы народъ могъ понять то, что для него пишутъ. Отвлеченныя разсужденія, составляющія собою начало статьи, написаны такимъ тяжелымъ языкомъ, такими длинными и запутанными періодами, что ими затруднится даже тотъ, кто привыкъ къ чтенію и къ книжнымъ выраженіямъ. Напримеръ: «Будучи убѣждены, что благое Провидѣніе, одѣляя человѣчество своими безчисленными дарами, соблюдаетъ строгую справедливость, мы не можемъ, однако, оспаривать, что многія историческія событія, а также и различныя условія окружающей мѣстности имѣютъ весьма сильное вліяніе на каждый народъ и вырабатываютъ ему, если не всегда, то на извѣстный промежутокъ времени, особенный характеръ, отличающій его отъ другихъ народовъ». Такъ много наговорить и такъ мало сказать—на это надо особенное искусство. Въдъ ни одинъ порядочный журналъ не принялъ бы на свои страницы статью, написанную такимъ языкомъ, а написать такимъ образомъ для народа считается дѣломъ позволительнымъ, между тѣмъ какъ для народа хорошей языкъ составляетъ не прихоть, а насущную потребность, при неудовлетвореніи которой онъ не будетъ въ состояніи понимать то, что ему стараются передать. Если бы Троицкій принесъ свою статью въ редакцію одного изъ нашихъ большихъ журналовъ, то его, вѣроятно, попросили бы передѣлать введеніе и повсемѣстно исправить языкъ. Печатавъ ее въ «Народномъ Чтеніи», редакція должна была сдѣлать гораздо большія измѣненія. Отвлеченныя разсужденія надо было совершенно уничтожить; связь между отдѣльными фактами жизни Кулибина надо было провести яснѣе; личный характеръ механика-самоучки, очерченный въ бѣгломъ очеркѣ подъ конецъ статьи, долженъ былъ осмысливать и окрашивать собою всѣ сообщаемые эпизоды. Языкъ надо было передѣлать *de fond en comble*; больше

жизни, больше движенія мысли и художественности и меньше отвлеченныхъ разсужденій, больше критики и меньше панегиризма—и тогда биографія Кулибина могла бы быть прекраснымъ подаркомъ для грамотной части нашего народа. Въ настоящемъ своемъ видѣ книга Троицкаго для народа недоступна, и ее прочтутъ только тѣ грамотныя престолюдины, которые читаютъ для процесса чтенія. Небрежность, съ которою пишутъ для народа даже люди, толкующіе о сочувствіи ко всему русскому и о народномъ благѣ, превышаетъ всякое вѣроятіе. Я разсмотрѣлъ десять книжекъ для народа, изданныхъ въ прошломъ и въ нынѣшнемъ году, и какіе же результаты дало намъ это обзорѣніе?—Оно убѣдило меня и моихъ читателей въ отсутствіи хорошихъ книгъ для народа, и хотя это убѣжденіе, какъ всякая истина, имѣетъ свою хорошую сторону, оно тѣмъ не менѣе крайне неутѣшительно. Мы сознаемъ свое безсиліе—это хорошо, но существованіе самаго безсилія—явленіе очень печальное. Начиная свою статью, я надѣялся указать на разбираемыя книги, какъ на неудачныя попытки, которыя могутъ по крайней мѣрѣ имѣть свое значеніе, какъ первая степень въ исторіи развитія литературы для народа. Но чѣмъ внимательнѣе я вглядываюсь въ преобладающій характеръ этихъ книгъ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ томъ, что видѣть въ нихъ неудачныя попытки, предполагать въ нихъ зародыши будущаго развитія—значить впадать въ доктринерство и оказывать слишкомъ много чести этимъ топорнымъ произведеніямъ промышленнаго пера. Гг. составители этихъ книжекъ дѣлали, кажется, только одну попытку—выручить за свою работу деньги; насколько эта попытка удалась имъ—не наше дѣло; что изъ подобныхъ книжекъ ничего не разовьется ни въ близкомъ, ни въ отдаленномъ будущемъ, и что первому человѣку, который выступитъ впередъ съ добросовѣстнымъ и просвѣщеннымъ желаніемъ служить народному образованію, будетъ такъ же трудно начать, какъ будто бы онъ первый пошелъ по этому пути, въ этомъ, кажется, усомниться трудно. Дѣло нашей народности не стоитъ на одномъ мѣстѣ, но его двигаютъ не грошовыя изданія. Его несутъ на плечахъ наши публицисты, наши ученые и художники. Знакомъ наше общество съ государственными идеями и учрежденіями Европы, изучая прошедшее нашего народа въ его государственной, юридической и семейной жизни, выясняя мало-по-малу, черту за чертою, характеристическія особенности народнаго типа, публицисты, ученые и художники постепенно вырабатываютъ и проводятъ въ общественное сознаніе тотъ идеаль, къ которому стремится наше современное общество.

# ИДЕАЛИЗМЪ ПЛАТОНА.

(Обозрѣніе философской дѣятельности Сократа и Платона, по Целлеру; составилъ Клевановъ).

Есть такія привилегированныя личности, которыхъ имена пользуются особенной, часто незаслуженной и не всегда лестной популярностью. Вы встрѣтите имя такой личности и въ учебникѣ, и въ собраніи анекдотовъ для дѣтей, и, пожалуй, даже на прописяхъ. Дѣйствительная фізіономія этой личности отъ частаго употребленія ея имени какъ-то стирается и замѣняется какимъ-то условнымъ понятіемъ: личность дѣлается представителемъ цѣлаго типа или воплощаетъ въ себѣ какое-нибудь отдѣльное качество и доводитъ его въ себѣ до небывалыхъ и невозможныхъ размѣровъ. Кто, напримеръ, въ дни дѣтства или юности не воображалъ себѣ Баярда представителемъ рыцарства, хотя Баярдъ жилъ въ такое время, когда рыцарство, особенно во Франціи, превращалось уже въ анахронизмъ? Кто не видѣлъ въ Генрихѣ IV, королѣ французскомъ, воплощенія чистоты и какого-то простоватаго добродушія? Кто не смотрѣлъ на Платона, Сократа и Сенеку, какъ на свѣтила міра, воплотившія въ себѣ всю мудрость грековъ и римлянъ? Эти свѣтила міра, эти фокусы добродѣтели прославляются въ учебникахъ, въ которыхъ, конечно, вы не найдете о нихъ ничего, кромѣ возгласовъ, болѣе или менѣе безцвѣтныхъ и риторичныхъ. Не подражая голословности учебниковъ, многія серьезные изслѣдованія раздѣляютъ съ ними подобострастное отношеніе къ этимъ избраннымъ личностямъ. Ослѣпленные блескомъ имени, имѣющаго за себя двухтысячелѣтній авторитетъ, изслѣдователи, особенно нѣмцы, проходя передъ этими личностями, обезоруживаютъ свою критику, скромно потупляютъ взоры и ограничиваются въ отношеніи къ нимъ ролью почтительнаго и аккуратнаго передатчика. Видно, что надъ ними тяготеетъ авторитетъ преданія и школы. Излагая исторію греческой философіи, принято какъ-то относиться покровительственно къ элеатской школѣ, къ Гераклиту и Демокриту, къ Пинеагору и Анаксегору, потомъ съ негодованіемъ упомянуть о софистахъ, потомъ умилиться надъ личностью и судьбою Сократа, поклониться въ поясъ Платону, его Диміургу и Идеямъ, назвать Аристотеля великимъ ученикомъ его, часто несправедливымъ къ великому учителю, потомъ разругать Эпикура, посягаться надъ скептиками

и выразить добродѣтельное сочувствіе возвышеннымъ доблестямъ стоиковъ. Это принято; этого требуютъ интересы *нравственности*, которую такъ ревниво берегутъ многіе псевдо-художники и многіе дѣйствительные труженники на обширномъ и такъ часто неблагодарномъ полѣ науки. Эти нравственныя воззрѣнія, которыя чуть ли не двѣ тысячи лѣтъ проводятся въ книгахъ и рукописяхъ, часто не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ вопросамъ практической нравственности, поставили Сократа и Платона на тотъ несокрушимый пьедесталъ, съ котораго я, конечно, не попытаюсь свести почтенныхъ стариковъ. Пусть они остаются на этихъ пьедесталахъ, но только повыше, подальше отъ насъ; пусть ихъ идеи почитаются святыней, непонятной и непригодной для нашего безнравственнаго вѣка и поколѣнія. Пусть ихъ возвышенный идеализмъ служитъ предметомъ благоговѣнія для немногихъ избранныхъ, и пусть эти избранные гонятъ прочь непосвященную чернь, которую такъ не любитъ фешенебельный Гораций, и въ ряды которой охотно вмѣшаемся мы и охотно вмѣшали бы нашего читателя. Но мы не шутимъ: мнѣ кажется, что книга Клеванова уже по выбору предмета можетъ быть признана высоко-безполезной и бесполезно-высокой попыткой популяризовать то, что не можетъ и не должно быть популярно; кто хочетъ писать для всей читающей публики, тотъ долженъ обрабатывать предметъ живой, самородной критикой, взяться за дѣло съ смѣлыми литературными приемами, произнести свое сужденіе, сказать живое, задушевное слово, хотя бы о мертвомъ и застывшемъ предметѣ. Что же касается до пионеровъ общества, до специалистовъ, врядъ ли извлеченіе изъ Целлера будетъ для нихъ особенно драгоценнымъ приобрѣтеніемъ. Специалисты—народъ упрямый и склонный къ сомнѣнію; они любятъ добираться до источниковъ и не загребаютъ жара чужими руками. Діалектическія тонкости, наполняющія собой большую часть книги Клеванова, для публики слишкомъ тонки, безцвѣтны и безцѣльны, слишкомъ недоступны здравому смыслу, а для специалиста онѣ слишкомъ не новы. Въ одномъ только пунктѣ Клевановъ могъ придать своему труду свѣжій колоритъ и живое біеніе; онъ могъ бы показать от-

ношеніе Сократа и Платона къ практической дѣятельности, къ вопросам общественной жизни, къ интересамъ народа, отдѣльной личности и государства. Онъ могъ бы остановиться на практическихъ слѣдствіяхъ идеализма и взвѣсить трезвой критикой особенности того влияния, которое этотъ идеализмъ могъ оказать на человѣческую личность и на отношенія между людьми въ семействѣ и государствѣ. Клевановъ этого не сдѣлалъ; не сдѣлалъ онъ этого потому, что надъ нимъ тяготѣютъ два авторитета, Платонъ и Целлеръ; чтобы обсудить, какъ слѣдуетъ, съ современной или просто съ человѣческой точки зрѣнія поставленные выше вопросы, надо рѣшиться думать своимъ умомъ, а это такая смѣлость, до которой и теперь въ всякій охотникъ. Передъ тѣнями Платона и Сократа благоговѣть Клевановъ; отъ печатной буквы Целлера онъ отступить не рѣшается; при такихъ условіяхъ мудрено сказать живое слово объ идеализмѣ; мудрено, во-первыхъ, потому, что мысли, взятія у другого, въ чужихъ рукахъ всегда отзываются холодной сухостью, а во-вторыхъ, потому, что Целлеръ, какъ нѣмецкій теоретикъ, разсматриваетъ Платона, любуясь красотой и стройностью системы и не обращая вниманія на степень ея внутренней самостоятельности и практической пригодности. У нѣмецкихъ мыслителей и критиковъ есть одинъ очень честный, но часто донъ-кихотскій приемъ—становится на точку зрѣнія противника и сражаться съ нимъ его же оружіемъ. Такимъ путемъ вы можете уличить его въ неослѣдовательности, но не уличите въ непрактичности, потому что практическая жизнь представляется каждому различно, смотря по его темпераменту, по его положенію, по степени и по условіямъ его развитія. Мнѣ кажется, критикъ можетъ идти по другому пути; онъ можетъ не требовать отъ себя полной и безстрастной объективности, не переносить искусственно въ чужое воззрѣніе и оставаться полнымъ человѣкомъ съ живыми убѣжденіями, съ ясно обозначенными и ни мало не скрываемыми симпатіями и антипатіями. Онъ можетъ представить читателю сущность разбираемыхъ имъ мыслей, потомъ развить свои идеи, показать между тѣми и другими точки соприкосновенія и разногласія, защитить свои положенія отъ нападокъ и возраженій, могущихъ придти на умъ читателю, и, наконецъ, представить самому читателю выборъ между нимъ и предметомъ его рецензій.

«Du choc des opinions jaillit la vérité», говоритъ извѣстная поговорка, и если это изреченіе справедливо, объективность не всегда можетъ быть признана въ критикѣ великимъ достоинствомъ. Трудно быть субъективнѣ Маколея, а между тѣмъ никто не упрекаетъ знаменитаго историка ни въ пристрастїи, ни въ узкой одно-сторонности. Личности оживаютъ подъ его пе-

ромъ и отдають полный отчетъ въ своихъ поступкахъ, въ своихъ мысляхъ и побужденіяхъ; передъ глазами читателя происходитъ величавый процессъ, въ которомъ живой и умный англичанинъ, ораторъ и парламентскій боецъ, являлся то обвинителемъ, то адвокатомъ выводимой личности, смотря по тому, куда влечетъ его голосъ совѣсти и личнаго убѣжденія. Кромѣ описываемой и разбираемой исторической личности, читатель видитъ передъ собой образъ критика, видитъ, какъ мѣняется выраженіе этого умнаго и подвижнаго лица, слышитъ въ его дикціи то сочувствіе, то негодованіе, то пропію, то одушевленіе, которыя возбудили бы во всякомъ энергическомъ человѣкѣ тѣ или другія явленія жизни и человѣческой мысли. Излишнее увлеченіе можетъ, конечно, повредить ясности взгляда, но съ даровитымъ критикомъ этого случиться не можетъ. У кого дѣятельность анализирующей мысли преобладаетъ надъ потребностью самостоятельнаго творчества, кто по темпераменту болѣе критикъ, чѣмъ художникъ, тотъ даже въ минуту энтузіазма не вдается въ фантазерство. Въ эти минуты, когда полнѣе дышетъ грудь, когда живѣе бьется сердце, въ эти минуты быстрѣе работаетъ мозгъ, смѣлѣе и оригинальнѣе льются мысли, и кропотливый контроль надъ этой ускоренной дѣятельностью анализирующаго ума обазывается такъ же бесполезенъ, какъ бесполезно труженническое шлифованіе лирическихъ стиховъ, вылившихся изъ души истиннаго поэта въ минуты искренняго волненія. Талантъ всегда имѣетъ свою оригинальную физиономію, и ему трудно отрѣшиться отъ этой физиономіи; чѣмъ бы онъ ни писалъ, художественное ли произведеніе, или критическое изслѣдованіе, онъ положитъ на него свою печать и не погонится за искусственнымъ спокойствіемъ тона и за умышленной объективностью. Когда говорятъ о Платонѣ, то всякій развитой человѣкъ понимаетъ, что отъ него нельзя требовать того, чего мы теперь потребовали бы отъ любого студента; никто не думаетъ сравнивать его даже съ какимъ-нибудь современнымъ обскурантомъ, никто не ставитъ ему въ вину ребячество многихъ его политическихъ воззрѣній и тенденцій; но, воля ваша, признавая его сыномъ своего народа и своей эпохи, мы не можемъ относиться съ почтительной и безстрастной вѣжливостью къ его нравственнымъ и политическимъ теоріямъ. Предметъ близокъ къ сердцу, потому что Платонъ захватываетъ въ свои изслѣдованія такіе вопросы, которые постоянно на очереди и которые человѣчество въ каждомъ поколѣнїи рѣшаетъ и перерѣшаетъ по своему. Къ такимъ вопросамъ остается совершенно равнодушной только кабинетная ученость почтеннаго Целлера и похвальная скромность его усерднаго послѣдователя, Клеванова. Въ благоговѣніи къ Платону, выражающемся въ книгѣ Клеванова,

не слышно горячаго сочувствія; Клевановъ на каждой страницѣ свидѣтельствуеъ Платону свое почтеніе, но ни разу, излагая его мысли, не обнаруживаетъ того воодушевленія, съ которымъ живой человѣкъ всегда выскажетъ свою задушевную мысль, свое завитное убѣжденіе. Языкъ Клеванова вездѣ остается гладокъ, ровень, методиченъ; мысли медленно развиваются одна изъ другой; изложеніе ясно, правильно, вяло и утомительно. Съ этой минуты я могу устранить личность Клеванова изъ моей критической статьи; онъ вѣрно слѣдуетъ Целлеру и передаетъ мысли Платона, не разбирая ихъ и не обнаруживая къ нимъ дѣйствительнаго сочувствія. По общему тону изложенія можно предположить, что Клевановъ—идеалистъ, но дальнѣйшее разъясненіе этого вопроса представляетъ такъ мало общаго интереса, что мы предпочитаемъ перейти къ самому Платону. Въ личности этого греческаго философа можно видѣть на первомъ планѣ сильное поэтическое дарованіе, т. е. богатую фантазію и огромное стремленіе къ творчеству. Съ отвычивостью, свойственной поэту, Платонъ откликнулся всей своей жизнью, всей дѣятельностью на самый животрепещущій интересъ эпохи, воплотившейся въ личности Сократа. Дѣло Сократа было, дѣйствительно, такъ красиво и величественно на взглядъ, что имъ не мудро было увлечься. Человѣкъ незнатный, небогатый, неученый, невзрачный, берется быть учителемъ нравственности для цѣлаго народа, старается влить живые соки въ истощенное національное сознаніе, побуждаетъ одной непосредственной искренностью убѣжденій знаменитѣйшихъ диалектиковъ своего времени, перетягиваетъ на свою сторону всю даровитую молодежь и, наконецъ, падаетъ жертвой реакціи и до конца жизни сохраняетъ непоколебимую твердость и спокойное присутствіе духа. Смерть Сократа часто обезоруживаетъ даже новѣйшую критику, готовую прислунуть съ анатомическимъ ножомъ къ диссекціи его философской системы. Философія Сократа, говорятъ многіе, хороша уже потому, что поддержала его въ минуту смерти; онъ своей мученической кончиной, говорятъ многіе, запечатлѣлъ свое ученіе. Этотъ аргументъ будетъ имѣть свою силу, если мы безусловно примемъ положеніе Сократа о томъ, что знать истину и дѣлать добро—одно и то же; но мы этой ошибкѣ не сдѣлаемъ и сумѣемъ, конечно, отдѣлать область воли отъ области знанія. Сократъ умеръ какъ мужчина, потому что былъ мужчиной, а не потому, что его поддерживали въ минуту смерти положенія его философіи. Одна и та же мысль производить на различныхъ людей различное впечатлѣніе; изъ одной и той же школы выходятъ люди съ различными наклоностями и стремленіями; человѣкъ—не пустая бутылка, въ которую можно влить какую угодно жидкость. Смерть Сократа рисуетъ только личность этого

человѣка, не говоря ничего ни *pro*, ни *contra* его ученія. Смерть Сократа доказываетъ, что Сократъ былъ не фразеръ, но не говоритъ намъ, что онъ не могъ ошибиться въ теоріи или въ жизни. Факты подтверждаютъ мое мнѣніе о томъ, что честность и стойкость Сократа принадлежали его личности, а не его ученію. Въ числѣ учениковъ и друзей Сократа мы находимъ Алкивиада и Критія, главнаго предводителя олигархіи, одного изъ 30-ти тирановъ,—человѣка, котораго имя по справедливости было ненавистно его современникамъ и согражданамъ. Ни Алкивиадъ, ни Критій не отличались ни политической честностью, ни стойкостью убѣжденій, стало быть, ученіе Сократа оказалось несостоятельнымъ, когда нужно было исправлять нравственность и передѣлывать природу человѣка. Но, тѣмъ не менѣе, личность Сократа не могла не зарекомендовать въ глазахъ Платона проповѣдуемаго имъ ученія: Платонъ увлекся личностью и сдѣлался ее ревностнымъ прозелитомъ тѣмъ болѣе, что философія Сократа открывала широкій просторъ фантазій и творчеству мысли.

Поэтический гений Платона подучилъ рѣшительный толчокъ и сталъ творить въ томъ направленіи, которое было ему указано любимымъ наставникомъ. Во всемъ этомъ еще не было большой бѣды, хотя, быть можетъ, позволительно пожалѣть о томъ, что поэтъ оставилъ свѣтлый міръ образовъ и картинъ и переселился въ возвышенныя, но холодныя сферы отвлеченной мысли. Красота, къ которой Платонъ стремился какъ художникъ, стала являться ему, отрѣшенная отъ всякой вишней формы, или, вѣрнѣе, онъ самъ старался отрѣшнить ее отъ формы, проникнуть въ ее общую сущность, уловить ее въ полной отвлеченности. Началось стремленіе къ идеалу, т. е. къ призраку, къ галлюцинаціи. Богатая полнота жизни, рельефность матеріи, переливы линий и красокъ, пестрое разнообразіе явленій, все, чѣмъ красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону зломъ, ширмой, за которой ласивно скрыта, какъ красавица въ заколдованномъ теремѣ, истина міра, нетлѣнная, неизмѣнная, вѣчная красота. Пылкая фантазія усилила эти мечты: галлюцинація Платона дошла до того, что онъ вѣрилъ въ дѣйствительное существованіе идеи отдѣльно отъ явленія; идеализмъ сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вмѣстѣ съ тѣмъ сразу дошелъ до такого полнаго отрицанія самыхъ элементарныхъ свидѣтельствъ опыта, какого, вѣроятно, онъ не достигалъ никогда ни прежде, ни послѣ Платона. Подъ творческой, разнашистой кистью его создалась цѣлостная, фантастически-величественная картина міра. Диміургъ, Идеи, міровая душа, масса матеріи съ ея тупой инерціей, звѣзды и свѣтила, живущія своей жизнью и мыслящія въ безконечномъ пространствѣ,—все это создается подъ перомъ Платона, начинается жить

и дышать, все это производить такое впечатлѣніе, какъ будто бы оно дѣйствительно существовало, и все это только потому, что Платонъ крѣпко вѣритъ въ свое созданіе, да еще потому, что Платонъ — великій художникъ, подобный Гомеру, Данту или Мильтону. Вся физика Платона есть чистое созданіе фантазіи, не допускающее въ слушатель тѣни сомнѣнія, не опирающееся ни на одно свидѣтельство опыта, развивающееся само изъ себя и основанное на одной діалектической разработкѣ идеи, положенной въ основаніе. Платонизмъ есть религія, а не философія, и вотъ почему онъ имѣлъ такой громадный успѣхъ въ мистическую эпоху паденія язычества: вотъ почему онъ сохранился и взлѣдьянъ византійскими учеными, переданъ Италіи и Европѣ въ эпоху Возрожденія, поставленъ на незыблемый пьедесталъ и подъ разными именами живетъ и теперь. У кого нѣтъ самостоятельнаго творчества, тотъ примыкаетъ къ чужой фантазіи и дѣлается ея адептомъ. Изъ многихъ подобныхъ фантазій, фантазія Платона отличается высокимъ полетомъ мысли и смѣлой концепціей общей картины. Немудрено, что къ его идеаламъ примыкаютъ съ полнымъ сочувствіемъ многие мистики, отличающіеся развитымъ умомъ и тонкимъ эстетическимъ чувствомъ. Платонъ вѣрилъ въ созданія своей фантазіи; онъ считалъ ихъ за безусловную истину и ни разу не становился къ нимъ въ критическія отношенія; одна секунда сомнѣнія, одинъ трезвый взглядъ могли разрушить все очарованіе и расцѣять всю яркую и великолѣпную галлюцинацію. Но этой роковой секунды въ его жизни не было, и на всѣхъ сочиненіяхъ Платона легла печать самой фантастической и въ то же время спокойной вѣры въ непогрѣшимость своей мысли и въ дѣйствительность вызванныхъ ею призраковъ. Вѣра въ самого себя тѣсно связана съ умственной нетерпимостью, а умственная нетерпимость ждетъ только удобнаго случая, чтобы воздвигнуть дѣйствительное гоненіе на диссидентовъ. Пока Платонъ остается въ сферахъ отвлеченной мысли или, вѣрнѣе, свободного вымысла, до тѣхъ поръ онъ является чистымъ поэтомъ. Когда онъ входитъ въ область существующаго, онъ становится доктринеромъ. Какъ вамъ понравится, напр., понятіе Платона о любви! Онъ въ бесѣдѣ «Пиршество» опредѣляетъ любовь, какъ стремленіе конечныхъ существъ обезсмертить и увѣковѣчить себя въ постоянно новыхъ порожденіяхъ. Первая степень любви, по мнѣнію Платона, есть любовь къ прекраснымъ чувственнымъ формамъ; вторая—любовь къ прекраснымъ душамъ; третья и высшая степень любви — къ прекраснымъ наукамъ и, наконецъ, какъ результатъ и вѣнецъ дѣла, любовь къ идеѣ, которая порождаетъ истинное познаніе и истинную добродѣтель. Очень понятно, что у человѣка, дошедшаго до этой высшей квинтэссенціи любви, не должно быть мѣ-

ста для любви къ женщинамъ; стало быть нравственное оскорбленіе человѣчества во имя идеи должно быть конечной цѣлью нормальнаго развитія. Вотъ къ какимъ красивымъ результатамъ приводитъ доктринерское желаніе внести общую, искусственно-созданную идею во всѣ живыя явленія и отравленія жизни. Доктринерство Платона идетъ въ разрѣзъ съ дѣйствительностью и даже съ его собственнымъ жизненнымъ опытомъ. Какъ художникъ, Платонъ былъ очень восприимчивъ къ пластической красотѣ; какъ здоровый и сильный мужчина, развившійся подъ небомъ цвѣтущей Греціи, онъ не думалъ останавливать своихъ эротическихъ стремленій, и любовь къ идеѣ не мѣшала ему любить направо и налево... отдавая дань эпохѣ и народу... Но зло было сдѣлано; зерно аскетизма и вражды къ матеріи было брошено; въ эпоху римской имперіи оно разрослось въ ученіе новоплатонцевъ и новоплатониковъ и, опираясь на Платона, принесло человѣчеству обильный плодъ добровольныхъ заблужденій и бессмысленныхъ самоистязаній. Кто не былъ поэтомъ, подобно Платону, тотъ требовалъ отъ себя послѣдовательности и страдалъ отъ разлада, существовавшаго между идеей и жизнью, не понимая того, что идея берется изъ жизни, а не жизнь располагается по данной программѣ. Для такого человѣка являлась необходимость бороться съ самимъ собою, и лучшія силы несчастнаго идеалиста уходили на бесплодную нравственную гимнастику, на отчаянную ломку, на искорененіе страстей, на сглаживаніе самыхъ своеобразныхъ и жизненныхъ чертъ своей фізіономіи. Такого рода идеализмъ тяготѣлъ надъ Рудиними и Чукагуриними прошлаго поколѣнія; онъ породилъ нашихъ грызуновъ и гамлетиковъ, людей съ ограниченными умственными средствами и съ безконечными стремленіями. Смѣшно выводить этихъ господъ отъ Платона, но можно замѣтить, что эти дрябля и хилыя личности страдаютъ именно той болѣзью, которую Платонъ воспѣлъ въ своихъ философскихъ стремленіяхъ, какъ лучшую принадлежность человѣчества и какъ единственное отличіе человѣка отъ животнаго. Доктринерство Платона проходитъ чрезъ все его нравственное ученіе. Платонъ здѣсь, какъ и въ своей физикѣ, не смотритъ на то, что даетъ жизнь; онъ не изучаетъ естественныхъ стремленій человѣческой природы, да и къ чему изучать? Абсолютная истина, въ существованіе которой всей душой вѣритъ поэтъ-мыслитель, находится не въ явленіи, а гдѣ-то внѣ его, высоко и далеко, въ такихъ сферахъ, куда можетъ залетѣть пыльное воображеніе, но куда не поведетъ критическое изслѣдованіе, основанное на изученіи фактовъ. Платонъ считаетъ себя полнымъ обладателемъ этой драгоцѣнной, хотя и невѣсомой истины; онъ утверждаетъ, правда, «что душѣ въ здѣшней



жизни невозможно достигнуть вполнѣ чистаго воззрѣнія на истину»; но это положеніе вовсе не ведетъ къ тѣмъ слѣдствіямъ, какихъ можно было отъ него ожидать; видно, что оно не проникаетъ особенно глубоко въ сознание Платона; Платонъ допускаетъ то обстоятельство, что смерть можетъ открыть его духу болѣе обширный міръ знаній, но не видно, чтобы онъ сознавалъ неудовлетворительность своего наличнаго капитала; не видно, чтобы онъ сомнѣвался въ вѣрности своихъ идей; то, что онъ знаетъ или создаетъ творческой фантазіей, кажется ему безусловно вѣрнымъ и не допускаетъ надъ собой никакого контроля. Вслѣдствіе этого Платонъ говоритъ въ своей нравственной философіи: должно думать такъ-то, поступать такъ-то, стремиться къ тому-то. Эти приказанія отдаются человѣчеству съ высоты философской мысли, не допускаютъ ни комментаріевъ, ни возраженій и требуютъ себѣ безусловнаго повиновенія. Черты народнаго характера, коренныя свойства человѣческой природы возмущаются противъ этихъ указовъ Платона, но это нисколько не смущаетъ гордаго мыслителя, упоеннаго созерцаніемъ своихъ твореній.

Все, что не согласно съ его инструкціями, признается ложнымъ, случайнымъ, незаконнымъ, препятствующимъ общему благу всего человѣчества. А кто же, спросите вы, создалъ это понятіе общаго блага? Генераль-отъ-философіи Платонъ, отвѣчу я,—и бѣдное человѣчество, опекаемое его неусыпными трудами, лишено даже права голоса въ такомъ дѣлѣ, которое называется его общимъ благомъ. Добро, по словамъ Платона, должно быть предметомъ всякой человѣческой дѣятельности; къ добру долженъ стремиться каждый человѣкъ, потому что обладаніе добромъ составляетъ собою благополучіе. Добро или благо—понятіе чрезвычайно широкое и способное расширяться до безконечности; для голоднаго кусокъ хлѣба есть высшее благо; для влюбленнаго—благосклонный взглядъ любимой женщины, для служащаго человѣка—вниманіе начальника, повышеніе въ чинѣ и орденъ въ петличку, для поэта—минута творчества, и т. д., и т. д. И всѣ эти господа правы съ своей точки зрѣнія; и если мы отнесемъ проиически ко многимъ людскимъ стремленіямъ и въ то же время съ уваженіемъ упомянемъ о другихъ, то мы сдѣлаемъ это только потому, что сами стоимъ ближе къ однимъ, и можемъ ихъ лучше понимать и полнѣе имъ сочувствовать. Если одинъ гастрономъ любить пить за обѣдомъ хересъ, а другой портвейнъ, то, вѣроятно, въ цѣломъ мірѣ не найдется такого критика, который могъ бы доказать ясно и осязательно, что одинъ изъ двухъ любителей правъ, а другой ошибается. По логическому закону надо допустить, что предпочтете г. А. къ хересу, а г. В. къ портвейну происходитъ или отъ физиологической причины, т. е. отъ особенностей неба, гортани или желудка, или отъ исторической при-

чины, т. е. отъ пріобрѣтенной привычки. Пристрастіе г. А. къ хересу, а г. В. къ портвейну можетъ подвергнуть того и другого разнымъ неприяностямъ и испытаніямъ. Если г. А. попадетъ въ общество любителей портвейна, то при неумѣннн нашего общества уважать чужое мнѣніе, вкусъ его найдутъ страннымъ, быть можетъ даже испорченнымъ; вокругъ него будутъ пожимать плечами, на него будутъ глядѣть удивленными глазами; далѣе, если г. А. попадетъ въ какой-нибудь маленькій уздннй городокъ, въ которомъ нѣтъ порядочнаго хереса, то ему будетъ предстоять печальная альтернатива отбѣзаться отъ любимаго напитка и принятъся за другое вино, или остаться вѣрнымъ самому себѣ и съ несокрушимой твердостью переносить лишеніе. Находясь въ положеніи г. А., одни пошли бы по одному пути, другіе по другому, и, мнѣ кажется, можно выразить предположеніе, что ни тѣхъ, ни другихъ не осудило и не прославило бы общественное мнѣніе. Но вотъ въ чемъ бѣда: когда надо судить о хересѣ и портвейнѣ, мы остаемся спокойнымъ, хладнокровнымъ, мы разсуждаемъ просто, здраво и довольно искусно, хотя часто безсознательно владѣемъ діалектическимъ оружіемъ; но когда заходитъ рѣчь о высокихъ предметахъ, тогда мы сейчасъ же принимаемъ постную физиономію, становимся на ходули и начинаемъ говорить высокимъ слогомъ, согласно съ эстетическими требованіями прошлаго столѣтія. Мы позволяемъ нашему ближнему имѣть свой вкусъ въ отношеніи къ закускѣ и десерту, но бѣда ему будетъ, если онъ выразитъ самостоятельное мнѣніе о нравственности, и еще болѣе бѣда, чуть не побіеніе камнями, или *Камнемъ*, если онъ проведетъ свои идеи въ жизнь, даже въ своемъ домашнемъ быту. Если взвесить дѣло простымъ здравымъ смысломъ, то мы имѣемъ право требовать отъ нашего сосѣда только того, чтобы онъ не вредилъ нашей особѣ матеріальнымъ насиліемъ, чтобы онъ не портилъ умышленно нашей собственности и чтобы онъ не присвоивалъ ее себѣ мошенническими продѣлками. Разсуждать о его поведеніи вѣдъ этихъ трехъ случаевъ мы, конечно, имѣемъ полное право, потому что, сколько мнѣ кажется, нѣтъ той вещи въ мірѣ, которую нельзя было бы взять предметомъ разговора или критическаго анализа. Но, разсуждая такимъ образомъ о личности и поведеніи нашего сосѣда, мы должны помнить, если желаемъ быть логичны, что наши сужденія о его нравственности настолько же имѣютъ безусловное значеніе, насколько имѣетъ его напр. мнѣніе о томъ, что брюнетки красивѣе блондинокъ, или наоборотъ. Вѣдь пора же, наконецъ, понять, господа, что общій идеалъ такъ же мало можетъ предъявить правъ на существованіе, какъ общія очки, или общіе сапоги, шитые по одной мѣркѣ и на одну колодку. Если вы станете носить чужія очки, вы испортите глаза;

если пройдете верстѣ пять въ чужихъ сапогахъ, вы въ кровь изотрете ноги; если вы навяжете себѣ на спину котомку чужихъ убѣжденій, вы изнеможете подъ этой неестественной обузой; вы выбьетесь изъ силъ, поправляя и привязывая ее къ себѣ покруче, а кончится все-таки тѣмъ, что котомка отвалится и пропадетъ гдѣ-нибудь на пыльной дорогѣ, но воротить потраченные силы часто бываетъ очень мудрено, воротить потерянное время всегда невозможно, и свѣжесть первой молодости, довѣріе къ самому себѣ почти всегда отрывается вмѣстѣ съ котомкой идеала и вмѣстѣ съ ней заваливается въ дорожной пыли. Надо же наконецъ понять, что идеалъ не есть даже отвлеченное понятіе, а просто сколокъ съ другой личности; всякій идеалъ имѣетъ своего автора, какъ всякая народная пѣсня имѣетъ не только родину, но даже и составителя. Добратъ-ся до вмени того и другого всегда бываетъ очень трудно и въ большей части случаевъ совершенно невозможно; но, составляя нравственный портретъ одного лица, — портретъ иногда польщенный, иногда просто обезцвѣченный, идеалъ годится только для того, съ кого онъ снять, или для тѣхъ людей, которые совершенно подходятъ къ нему по темпераменту, по вѣшнему положенію и по внутреннимъ силамъ. Но трудно найти двухъ людей, совершенно сходныхъ лицомъ; полное же нравственное сходство двухъ самостоятельно развившихся личностей составляетъ такое рѣдкое явленіе, какого, кажется, и не встрѣтишь во всей исторіи человѣчества; есть много безвѣстныхъ и безличныхъ субъектовъ, заданныхъ какими-нибудь вѣшними обстоятельствами, пригнанныхъ на одну колодку общественной дисциплиной или отшлифованныхъ на одинъ образецъ тираническими законами моды и этикета; посмотривъ на нихъ, — они все покажутся похожими между собой и лицомъ, и голосомъ, и манерами; всякая оригинальность, выражающаяся въ образѣ жизни, въ прическѣ, въ одеждѣ, кажется въ подобномъ обществѣ дерзостью, нарушеніемъ закона, оскорбленіемъ нравственности. Живой человѣкъ съ сожалѣніемъ посмотритъ на такое общество; зачѣмъ, подумаешь онъ, эти господа добровольно поддерживаютъ придуманные законы, отъ которыхъ каждому отдѣльному лицу приходится терять лишнія? Этотъ вопросъ, вѣроятно, кажется вамъ здравымъ, а между тѣмъ все эти господа, стѣсняющіе свою личную свободу во имя придуманныхъ или настѣдственныхъ законовъ, все до послѣдняго — идеалисты, хотя конечно многіе изъ нихъ и не слышали никогда этого слова. Наше свѣтское общество, нашъ beau monde биткомъ набиты идеалистами, сознательно и бессознательно стремящимися къ отвлеченному совершенству. Un jeune homme comme il faut, une jeune personne charmante, эти два почетные титула, которыми награждаетъ общество за усердное исполненіе его

устава, составляютъ въ то же время заглавіе двухъ идеаловъ, къ которымъ, смотря по различію половъ, стремится множество молодыхъ людей, одаренныхъ свѣжими силами и задатками развитія. Эти молодые люди гибнутъ въ нравственномъ отношеніи, сохнутъ и мельчаютъ, оттого что стараются во имя идеала уничтожить свою личность или тѣ зародыши, изъ которыхъ при благоприятныхъ условіяхъ могла бы развиться самостоятельная индивидуальность. Множество браковъ по расчету, множество продѣлокъ сомнительнаго свойства, множество дуэлей дѣлаются не для удовлетворенія той или другой страсти, а во имя идеала, или изъ страха передъ общественнымъ мнѣніемъ, стоящимъ у подножія воздвигнутаго имъ кумира. «Это принято», «это не принято», вотъ тѣ слова, которыми въ большей части случаевъ рѣшаются житейскіе вопросы; рѣдко случается слышать энергическое и честное слово: «я такъ хочу» или «не хочу», а между тѣмъ каждый имѣетъ разумное право произнести это слово, когда дѣло идетъ о немъ и объ его личныхъ интересахъ. Принято и не принято значить другими словами согласно и не согласно съ моднымъ идеаломъ; слѣдовательно, идеализмъ тяготѣетъ надъ обществомъ и, сковывая индивидуальныя силы, препятствуетъ разумному и всестороннему развитію. Отвергая общій идеалъ, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствованія. Я не считаю стремленіе къ совершенству обязанностью человѣка. Сказать, что это обязанность, такъ же смѣшно, какъ сказать, что человѣкъ обязанъ дышать и принимать пищу, расти къ верху и толстѣть въ ширину. Самосовершенствованіе дѣлается такъ же естественно и непроизвольно, какъ совершаются процессы дыханія, кровообращенія и пищеваренія. Чѣмъ бы вы ни занимались, вы съ каждымъ днемъ приобрѣтаете большую техническую ловкость, болышій навыкъ и опытность. Это дѣлается совершенно бессознательно и помимо вашего желанія, и это правило можетъ быть примѣнено не только къ какому-нибудь ремеслу, но и къ жизни. Все мы, несмотря на различіе состоянія, образованія и положенія въ обществѣ, живемъ мыслью и чувствами, хотя дѣятельность нашей мысли тратится на самые разнородные интересы и хотя дѣятельность нашихъ чувствъ возбуждается самыми разнокалиберными предметами. Все мы воспринимаемъ и перерабатываемъ впечатлѣнія, и чѣмъ больше мы живемъ, тѣмъ большую техническую ловкость мы приобрѣтаемъ въ этомъ занятіи. Существованіе житейской опытности не подлежитъ сомнѣнію; ее признаютъ и уважаютъ грамотный и неграмотный, образованный европеецъ и австралійскій дикарь; эта опытность есть результатъ самосовершенствованія; процессъ ея приобрѣтенія есть процессъ бессознательнаго, чисто растительнаго умственнаго раз-

внѣтъ; этотъ процессъ можетъ встрѣтить себѣ случайное содѣйствіе или случайное препятствіе въ окружающей обстановкѣ, точно такъ-же, какъ процессъ пищеваренія можетъ быть нарушенъ невдородовой пищей или возстановленъ мѣлономъ и воздержаніемъ. Наблюденія надъ природой человѣка, приведенныя въ систему и составившія собою собирательную науку, медицину, указываютъ на тѣ предметы и на тѣ отправления, которые вредятъ человѣческому организму или приносятъ ему пользу. Сообразившись съ предписаніями науки, человѣкъ можетъ вести правильный образъ жизни, сберегающій его силы и содѣйствующій его физическому благосостоянію. Но ни одинъ порядочный медикъ не предпишетъ всѣмъ своимъ пациентамъ общую гигиену; онъ непременно изучитъ сначала темпераментъ каждаго и потомъ расположитъ свои предписанія, сообразившись съ собранными матеріалами. Въ образованномъ обществѣ люди вообще больше думаютъ о себѣ, нежели въ простомъ народѣ, отчасти потому, что на это представляется больше средствъ и досуга, отчасти потому, что образованіе развиваетъ и укрѣпляетъ самосознаніе. Образованный классъ болѣе простаго народа заботится о своемъ здоровьѣ, поддерживаетъ его искусственными средствами и разными предосторожностями старается предотвратить могущее произойти разстройство. Точно такія-же гигиеническія мѣры по отношенію къ своему умственному развитію и нравственному совершенствованію принимаетъ человѣкъ, сознавшій въ себѣ умственную личность и заботящійся о нормальности своихъ интеллектуальныхъ отравленій. Положимъ, я созналъ въ себѣ стремленіе и способность къ научнымъ занятіямъ и, слѣдуя внутреннему побужденію, принимаюся читать и изучать историковъ и мыслителей. Не поставлю-же я себѣ, подобно Берсеневу, идеаломъ Т. Н. Грановскаго или П. Н. Кудрявцева. Не стану же я подражать ни Маколею, ни Нибуру, ни Тьерри, ни Гизо, какъ бы велико ни было мое уваженіе къ этимъ передовымъ представителямъ человѣческой мысли. Я себѣ не поставлю впереди никакой цѣли, не дамъ никакой предвзятой идеи; я не знаю, къ какимъ результатамъ я приду, и меня вовсе не занимаетъ вопросъ о томъ, чтѣ я сдѣлаю въ жизни; меня занимаетъ самый процессъ дѣланія; я вижу, что никому не мѣшаю своей дѣятельностью, и на этомъ основаніи считаю себя правымъ передъ собой и передъ цѣлымъ міромъ; я работаю и стараюсь облегчить себѣ трудъ, или (что то-же самое) вынести изъ каждаго своего усилія возможно большее количество наслажденія; это, по моему мнѣнію, альфа и омега всякой разумной человѣческой дѣятельности. Процессъ умственнаго развитія и нравственнаго совершенствованія допускаетъ нѣкоторые гигиеническіе приемы, но, конечно, одни и тѣ-же приемы не могутъ быть при-

мѣнены даже къ двумъ недѣлимымъ. Эти приемы состоятъ, конечно, не въ томъ, чтобы пригонять личность къ извѣстному образцу; основанные на изученіи самаго недѣлимаго, эти приемы клонятся только къ тому, чтобы дать больше простора и разгула индивидуальнымъ силамъ и стремленіямъ. Эмансипировать собственную личность не такъ просто и легко, какъ кажется; въ насъ много умственныхъ предубѣжденій, много нравственной робости, мѣшающей намъ свободно желать, мыслить и дѣйствовать; мы сами добровольно стѣсняемъ себя собственнымъ вліяніемъ на свою личность; чтобы избѣгнуть такого вліянія, чтобы жить своимъ умомъ въ свое удовольствіе, надо значительное количество естественной или выработанной силы, а чтобы выработать эту силу, надо, можетъ быть, пройти цѣлый курсъ нравственной гигиены, который кончится не тѣмъ, что человѣкъ приблизится къ идеалу, а тѣмъ, что онъ сдѣлается *личностью*, получить разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть самимъ собою.—Я стану избѣгать вреднаго для меня общества пустыхъ людей по тому-же побужденію, по которому съ простуженными зубами не подойду къ открытому окну, но я нисколько не возведу этого себѣ въ добродѣтель и не найду нужнымъ, чтобы другіе подражали моему примѣру. Надѣюсь, что я достаточно отбѣнилъ различіе, существующее между стремленіемъ къ идеалу и процессомъ самосовершенствованія. Вѣроятно, я не сказалъ ничего новаго, но полагаю, что всякое самостоятельное убѣжденіе имѣетъ право выразиться въ словѣ, хотя бы сотни людей исповѣдывали его въ продолженіе десятковъ и сотенъ лѣтъ. Кромѣ того, вопросъ объ идеализмѣ живетъ и будетъ жить до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать мистическія теоріи и неосуществимыя стремленія; стало быть, разъясненіе этого вопроса, какъ бы ни было оно слабо и поверхностно, теперь еще не можетъ быть излишнимъ и несвоевременнымъ. Возвращаясь къ нравственной философіи Платона. Какъ я уже говорилъ выше, добро, по мнѣнію Платона, должно быть для человѣчества предметомъ дѣятельности и источникомъ высшихъ наслажденій. *Понятіе* добра существовать у него какъ абсолютная идея и не приводится ни въ малѣйшую зависимость отъ личности и положенія *понимающаго* субъекта. Что это самостоятельное, абсолютное понятіе добра на самомъ дѣлѣ есть произведеніе мозга Платона, это, кажется, не требуетъ доказательства; человѣкъ мыслитъ только своимъ мозгомъ, точно такъ-же, какъ онъ варитъ пищу только своимъ желудкомъ и дышитъ только своими легкими. Любопытно замѣтить, что Платонъ, ставящій служебное добру въ непремѣнную обязанность всему человѣчеству, самъ не исполнѣтъ выяснилъ себѣ свои собственные представленія о сущности и фізіономіи этого добра. Въ своихъ бесѣдахъ *Те-*

ететь и Федонъ и въ трактатѣ о Государствѣ Платонъ смотритъ на всѣ чувственныя явленія какъ на зло, на наше тѣло—какъ на враждебное начало, на нашу жизнь—какъ на время заточенія въ глубокомъ и мрачномъ вертепѣ. Смерть представляется минутой освобожденія, такъ что при этомъ возвращеніи остается только непонятнымъ, почему Платонъ не ускорилъ для себя этой въожделѣнной минуты, почему онъ въ теоріи не оправдалъ самоубійства, и почему онъ воспылѣлъ благостью Диміурга, виновника нашего заточенія и всѣхъ связанныхъ съ нимъ золь и страданій. Въ другихъ бесѣдахъ Платона, напр. въ *Филебѣ*, высшее добро опредѣляется какъ полное примиреніе чувственного начала съ духовнымъ, какъ гармоническое сліяніе того и другого, и средствами произвести это сліяніе считаются изящныя искусства и въ особенности музыка. Въ враждебномъ отношеніи Платона къ чувственному міру видно усиліе могучаго ума оторваться отъ родимой почвы, которая его вскормила и возрастила. Поэтъ-мыслитель хочетъ отрѣшиться отъ народнаго характера, отъ колорита окружающей дѣйствительности, отъ своей собственной плоти и крови. Грекъ, гражданинъ свободнаго города, здоровый и красивый мужчина, къ которому по первому призыву собираются на роскошный пиръ друзья и гетеры, старается во что бы то ни стало доказать себѣ, что въ этомъ мірѣ все—зло: и полная чаша вина, и жгучая ласка красивой женщины, и аромат цвѣтовъ, и звуки лиры, и звучный гекзамеръ, и даже дружба, которая, по мнѣнію грековъ, была выше и чище любви. Эти усилія доказать себѣ и другимъ то, противъ чего говоритъ свидѣтельство пяти чувствъ, не вызваны никакой дѣйствительной причиной и потому рѣшительно не носятъ на себѣ печати искренняго воодушевленія. Романтизмъ возникаетъ обыкновенно въ эпоху бѣдствій и страданій, когда человѣку нужно гдѣ-нибудь забыться, на чемъ-нибудь отвести душу; я несчастливъ здѣсь, мнѣ здѣсь душно, тяжело, больно дышать, такъ я успокоюсь, по крайней мѣрѣ, въ вѣчно-свѣтлой, вѣчно-тихой и теплой атмосферѣ, которую создастъ мое воображеніе и куда не проникнутъ ни горе, ни заботы, ни стоны страдальцевъ. Романтизмъ искренній, вызванный самой почвой, зарождается въ эпоху римской имперіи и развивается съ особенной силой въ средніе вѣка; отрицаніе доходитъ до ужасающихъ размѣровъ; пропадаетъ всякая вѣра въ благородныя стороны и побужденія человѣческой природы, и вмѣсто этой здоровой вѣры въ дѣйствительность доходитъ до степени галлюцинаціи вѣра въ дѣйствительное существованіе и недостижимое совершенство призрачнаго, заоблачнаго міра фантазій. Сенека, Тацитъ, Маркъ-Аврелій въ своихъ сочиненіяхъ выражаютъ съ полной искренностью и съ замѣчательною силой моментъ грусти, не-

годованія противъ настоящаго и полнаго сомнѣнія въ будущемъ. Новоплатоники, эссеяне и египетскіе терапевты, средневѣковые рыцари, монахи и отчасти трубадуры воплощаютъ въ себѣ моментъ романтическаго стремленія оторваться отъ дѣйствительности и унести въ лучшей, сверхчувственный міръ. У всѣхъ этихъ господъ романтизмъ былъ потребностью души; въ Римѣ послѣ Августа порядочному человѣку невозможно было жить полной жизнью; каждый день совершались самыя отвратительныя злодѣянія: предательства, доносы, пытки, казни, игры гладиаторовъ, истязанія рабовъ, апофеозы разныхъ нравственныхъ уродовъ и кретинновъ,—все это поневолѣ должно было ожесточить самаго добродушнаго оптимиста. Мыслящимъ людямъ того времени оставались только двѣ дороги: или удариться въ самый широкій разгулъ чувственности, или дать полную свободу своему воображенію, утѣшаться его свѣтлыми созданіями и во имя этихъ созданій вступить въ открытую вражду со всей дѣйствительностью, начиная съ собственного тѣла. По первому пути пошли эпикурейцы, по второму между прочими—новоплатоники. Люди съ трезвымъ критическимъ умомъ не могли вѣрить въ созданія собственной фантазіи и предпочитали, за немнѣишемъ лучшимъ, грубіяя, но дѣйствительныя наслажденія болѣе тонкимъ, но совершенно призрачнымъ утѣшеніямъ. Эпикуреизмъ и новоплатонизмъ, разгулъ чувственности и умерщвленіе плоти вызваны одною историческою причиною. Идти путемъ середины, т. е. проводить въ жизнь теоретическія убѣжденія и черпать свои идеи изъ житейскаго опыта, сдѣлалось невозможнымъ, потому что жизнь располагалась по волѣ немногихъ личностей и дѣлалась жертвой случайности и произвола; тогда явились двѣ крайности: одни совершенно отказались отъ идеи и стали искать наслажденія въ физическихъ отравленіяхъ жизненнаго процесса; другіе совершенно отказались отъ жизни и стали любоваться построеніями своего мозга. Оба направленія должны быть оправданы, какъ произвольныя и естественныя отклоненія отъ обыкновеннаго порядка вещей. Но если мы перенесемся къ эпохѣ Платона, то трудно будетъ себѣ представить, что могло вызвать съ его стороны враждебныя отношенія къ физическому міру явленій. Ни нравственное, ни политическое состояніе Греціи во время Пелопонезской войны и послѣ ея окончанія не было до такой степени плохо, чтобы привести мыслителя въ отчаяніе и вызвать съ его стороны безусловное осужденіе. Многія стороны греческаго быта, напр., рабство и *извѣстнаго рода развратъ*, могли бы возмутить человѣка нашей эпохи, но Платонъ не относился къ нимъ строго и не понималъ ихъ отвратительности. Рабы остаются рабами въ его идеальномъ государствѣ, а развратъ онъ идеализи-

руетъ, видя въ немъ эстетическое стремленіе и набрасывая покрывало на физическія послѣдствія... Платонъ, какъ извѣстно, составилъ проектъ идеальнаго государственнаго устройства и, кажется, старался даже осуществить свой политическій идеалъ въ Сиракузахъ и въ Сициліи. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что онъ вѣрилъ въ возможность земнаго счастья, и что существующіе въ наличности матеріалы не казались ему настолько невыгодными, чтобы изъ нихъ было невозможно построить прочное и красивое зданіе. Какъ-же послѣ этого понимать враждебное отношеніе Платона къ чувственному міру? Мнѣ кажется, его должно понимать только какъ теоретическій выводъ платоновой мысли, которому не сочувствовала и на который даже не обращала вниманія живая, человѣческая природа поэта-мыслителя. Все скверно въ матеріальной жизни, говоритъ доктрина Платона; напротивъ, все прекрасно и способно сдѣлаться еще лучше, возражаетъ его поэтическое чувство, и этотъ голосъ непосредственнаго чувства поддерживается примѣромъ его собственной жизни, свѣтлымъ колоритомъ его фантазій и чувственной яркостью самыхъ повидимому отвлеченныхъ его представлений. Поэтъ-мыслитель постоянно ищетъ образа и воплощаетъ свои идеи въ формы, заимствованныя изъ міра матеріи; этимъ самымъ онъ показываетъ, что этотъ міръ вовсе не внушаетъ ему отвращенія, и что великая идея не оскверняется отъ соприкосновенія съ чувственнымъ явленіемъ. Но Платону было необходимо указать на источникъ и возможность зла; это такой вопросъ, котораго не обойдешь ни въ какой философской системѣ, ни въ какомъ политическомъ міросозерцаніи. Приписать зло волѣ Диміурга было мудро; противъ подобной мысли возмущались и здравая логика, и эстетическое чувство Платона. Навязать добродушному и мудрому существу всѣ гадости и несовершенства человѣческой жизни значило уничтожить возможность его существованія и перевернуть вверхъ дномъ всю красивую систему платонова міросозданія. Олицетворить зло въ отдѣльномъ понятіи, создать идею зла и противопоставить ее идеѣ добра было также невозможно. Это подало бы поводъ къ неисчислимымъ и неразрѣшимымъ вопросамъ и противорѣчіямъ. Если зло вѣчно, то, стало быть, оно естественно, а если оно естественно, то оно не есть зло. Если Диміургъ воплощаетъ въ себѣ идею могущества и отличается самыми благими стремленіями, то онъ хочетъ и долженъ истребить зло, а если онъ не истребляетъ его, то, стало быть, онъ не въ силахъ сдѣлать этого. Чтобы избѣжать подобныхъ противорѣчій, Платонъ обращается къ матеріи и путемъ діалектическихъ доводовъ доказываетъ, что она-то есть невольная и безсознательная причина зла. Принуж-

денный признать инертное могущество и вѣчность матеріи, существующей помимо воли Диміурга и только получающей отъ него свою форму, Платонъ доходитъ до теоретическаго убѣжденія, что зло есть свойство матеріи. Создавая какое-нибудь существо, Диміургъ кладетъ на матерію печать извѣстной идеи, но матерія слишкомъ груба, чтобы воспринять этотъ отпечатокъ въ полной ясности и чистотѣ; матеріальное сопротивляется рукѣ художника, и это невольное сопротивленіе даже олицетворяется у Платона подъ именемъ неразумной міровой души; въ этомъ сопротивленіи и лежитъ начало зла. Изъ этого видно, что пессимизмъ Платона не вытекъ живою струею изъ его непосредственнаго чувства и не былъ вызванъ обстоятельствами и обстановкой его жизни, а выработанъ путемъ умозаключеній и никогда не проникалъ глубоко въ его личность. Противорѣчіе, въ которое впадаетъ Платонъ, развивая почти рядомъ два, чуть не діаметрально противоположныя, міросозерцанія, открываетъ намъ одну изъ симпатичнѣйшихъ сторонъ его личности. Это противорѣчіе ясно показываетъ, что доктринеръ не могъ побѣдить въ Платонѣ поэта и человѣка, и что живыя инстинкты и живыя симпатіи его души вылились наружу не стѣсняясь мертвою буквою писанной системы. Но, между тѣмъ, доктрина развивается своимъ чередомъ; Платонъ, какъ мыслитель, выводитъ крайнія слѣдствія своей философской системы, а Платонъ, какъ человѣкъ, и жизнью, и словомъ протестуетъ противъ порожденной своей собственной мысли. Впечатлительный, измѣнчивый и подвижный, какъ истинный поэтъ, онъ противорѣчитъ самому себѣ и самъ того не замѣчаетъ, самъ не думаетъ о томъ, чтобы какъ-нибудь сблизить и примирить два противоположныя воззрѣнія. Обращаясь такъ нецеремонно съ собственными теоріями, Платонъ не допускаетъ подобной свободы для другихъ; его возмущаютъ существующія непослѣдовательности и уклоненія отъ разумности въ сферѣ частной и государственной жизни. Не будучи въ состояніи внести строгое единство даже въ міръ собственной мысли, онъ хочетъ подчинить неизмѣннымъ законамъ всѣ явленія человѣческой жизни, водворить строгую правильность и разумность во всѣ отношенія между людьми въ семействѣ и въ государствѣ. На мѣстѣ живого развитія жизни онъ хочетъ поставить неизмѣнное и неподвижное созданіе своей творческой мысли. Трактатъ Платона о государствѣ не есть произведеніе свободной фантазіи, не есть красивая игрушка, которой житейскую безполезность и непримѣнимость признавалъ бы самъ творецъ. Это почти проектъ, и любимой мыслью Платона было привести его въ исполненіе. Перестроить общество на новый ладъ, заставить цѣлый народъ жить не такъ, какъ онъ привыкъ и какъ ему хочется, а такъ,

какъ, по моему убѣжденію, ему должно быть полезно,—это, конечно, такая задача, за которую теперь не взялся бы ни одинъ здравомыслящій человѣкъ. Во время Платона такая задача была, вѣроятно, такъ-же немислима, какъ и теперь, но на видъ она должна была казаться гораздо легче уже потому, что греческая народность была разбита на множество мелкихъ государствъ, и что авторъ, стоя на площади въ Аѳонахъ, могъ говорить чуть не съ цѣлой національностью. Сословіе свободныхъ и полноправныхъ гражданъ было очень ограничено въ сравненіи съ цѣлымъ народонаселеніемъ; это сословіе одно имѣло возможность измѣнять по своему благоусмотрѣнію фізіономію государства, а умами этого сословія дѣйствительно могъ управлять любимый ораторъ или писатель. Это обстоятельство, конечно, не могло повести къ тому, чтобы законы и учрежденія, придуманные однимъ лицомъ и не воспитанные самой почвой, могли остановить потокъ исторической жизни или дать ему произвольное направленіе; но оно могло, по крайней мѣрѣ, внушить Платону обманчивыя надежды; оно могло увѣрить его въ возможности составлять и прикладывать къ дѣлу проекты государственнаго устройства. Мы до сихъ поръ видѣли Платона, какъ поэта, какъ доктринера; не раздѣляя его фантастическихъ бредней, мы принуждены были признавать въ его созданіяхъ много искренняго воодушевленія, много смѣлости и силы воображенія; не сочувствуя его нравственнымъ принципамъ, мы не могли отказать имъ во внутренней стройности и послѣдовательности. Этой послѣдовательности не повредила даже двойственность его возрѣній на матерію и ея отношенія къ человѣческому духу; какъ мыслитель, задавшійся извѣстной идеей, Платонъ смѣло дошелъ до крайнихъ выводовъ; какъ живой человѣкъ, онъ пошелъ совершенно другой дорогой и доказалъ, такимъ образомъ, въ одно и то-же время силу своей творческой мысли, крѣпость своей физической природы и невозможность стиснуть жизнь въ узкія рамки теории.—Словомъ, въ концѣ концовъ можно вывести заключеніе, что Платонъ имѣлъ несомнѣнные права на наше уваженіе, какъ сильный умъ и замѣчательный талантъ. Колоссальныя ошибки этого таланта въ области отвлеченной мысли происходятъ не отъ слабости мысли, не отъ близорукости, не отъ робости ума, а отъ преобладанія поэтическаго элемента, отъ сознательнаго презрѣнія къ свидѣтельствамъ опыта, отъ самонадѣяннаго, свойственнаго сильнымъ умамъ стремленія вынести истину изъ глубины творческаго духа, вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть и изучить ее въ единичныхъ явленіяхъ. Несмотря на свои ошибки, несмотря на полную несостоятельность своей системы, Платонъ можетъ быть названъ по всей справедливости родоначальникомъ идеализмовъ. Состав-

ляетъ-ли это обстоятельство важную заслугу предъ лицомъ челоѣчества, это, конечно, такой вопросъ, на который отвѣтить различно представители различныхъ направленій въ области отвлеченной мысли; но какъ бы ни былъ рѣшенъ этотъ вопросъ, все-таки никто не откажетъ Платону въ почетномъ мѣстѣ въ исторіи науки. Есть такія геніальныя ошибки, которыя оказываютъ возбуждательное вліяніе на умы цѣлыхъ поколѣній; сначала увлекаются ими, потомъ къ нимъ становятся въ критическія отношенія; это увлеченіе и эта критика долгое время служатъ школой для челоѣчества, причиною умственной борьбы, поводомъ къ развитію силъ, руководящимъ и окрашивающимъ началомъ въ историческихъ движеніяхъ и переворотахъ. Но Платонъ не остановился въ области чистаго мышленія и не понималъ того, что, пренебрегая опытомъ и единичными явленіями, нельзя понимать истиннаго смысла исторической и государственной жизни. Онъ взялся за рѣшеніе практическихъ вопросовъ, не умѣя ихъ даже поставить, какъ слѣдуетъ; его попытки въ этомъ родѣ до такой степени слабы и несостоятельны, что онъ распадается въ прахъ отъ самаго легкаго прикосновенія критики; въ этихъ попыткахъ нѣтъ ни разумной любви къ челоѣчеству, ни уваженія къ отдѣльной личности, ни художественной стройности, ни единства цѣли, ни нравственной высоты идеала. Представьте себѣ причудливое и некрасивое зданіе, съ арками, фронтонами, портиками, бельведерами и колоннадами, не имѣющими никакого практическаго назначенія, и вы получите понятіе о томъ впечатлѣніи, которое производятъ на читателя трактаты Платона *о государствѣ* и *о законахъ*. «Первая цѣль государства,—по мнѣнію Платона,—сдѣлать гражданъ добродѣтельными, обезпечить вещественное и нравственное благосостояніе всѣхъ и каждого». Новые изслѣдователи, напр. Вильгельмъ Гумбольдтъ («Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen»), смотрятъ на дѣло иначе и опредѣляютъ государство какъ охранительное учрежденіе, избавляющее отдѣльную личность отъ оскорбленій и нападковъ со стороны вѣншихъ и внутреннихъ враговъ. Этимъ опредѣленіемъ они избавляютъ взрослого гражданина отъ своеобразной и непрошенной опеки, которая въ продолженіе всей жизни тяготѣетъ надъ нимъ въ государствѣ Платона. Оставляя въ сторонѣ невѣрность основнаго взгляда, мы увидимъ, что даже та цѣль, которую задается Платонъ, не можетъ быть достигнута тѣми средствами и приемами, которые предлагаются въ его трактатахъ. Граждане должны быть добродѣтельны, а между тѣмъ Платонъ предписываетъ имъ такія оскорбительныя стѣсненія, противъ которыхъ возмущается нравственное и эстетическое чувство; уму читателя представляется такая дилем-

ма: или граждане, какъ порядочные люди, не вынесутъ этого стѣсненія, и тогда всѣ учрежденія Платона пойдутъ прахомъ; или они подчинятся этимъ стѣсненіямъ и, систематически развращенные ими, потеряютъ способность быть добродѣтельными. Добродѣтель, даже какъ понимаетъ ее Платонъ, и соблюденіе законовъ въ его идеальномъ государствѣ составляютъ два несомнѣваемыхъ начала. Мудрость, мужество, самообладаніе и справедливость представляются четырьмя главными добродѣтелями въ нравственной философіи Платона. Спрашивается, которая изъ этихъ четырехъ добродѣтелей отнимается у человѣка право свободной критики и приводитъ къ безусловному повиновенію? Если-же ни одна изъ этихъ добродѣтелей не пригодна для послушныхъ гражданъ идеальнаго государства, то это значитъ, что Платонъ отдѣляетъ идеальнаго человѣка отъ идеала гражданина. Многие мыслители древности, между прочими и Аристотель въ своей «Политикѣ», говорятъ, что добродѣтель доступна только полноправнымъ гражданамъ и не существуетъ ни для раба, ни для ремесленника, ни для женщины. Но Платонъ, подчиняя *всѣмъ* гражданъ своего государства неестественнымъ и оскорбительнымъ стѣсненіямъ, идетъ гораздо дальше. Онъ даетъ обществу такое устройство, которое самымъ фактомъ своего существованія дѣлаетъ невозможнымъ не только осуществленіе идеала, но даже стремленіе къ нему. Со стороны мыслителя, по понятіямъ котораго внѣ идеала нѣтъ спасенія, такого рода распоряженія должны показаться чрезвычайно оригинальными. Если идеальнаго человѣка неосуществимымъ даже теоретически въ гражданскомъ обществѣ, то изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что человѣку слѣдуетъ жить и развиваться внѣ общества, или же что пресловутый идеальнаго идеалъ есть бесполезная игрушка празднаго воображенія. Ни то, ни другое заключеніе не понравилось бы Платону, но устранить оба заключенія можно, только отказавшись отъ утопической теоріи или перестроивъ идеаль. Въ государствѣ Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нѣтъ и не должно быть. Каждая отдѣльная личность есть извѣстной формы и величины винтъ, шестерня или колесо въ государственномъ механизмѣ; кромѣ этой служебной должности, онъ ни въ какомъ кругу не имѣетъ никакого значенія; онъ не сынъ, не братъ, не мужъ, не отецъ, не другъ и не любовникъ. Съ минуты рожденія его отрываютъ отъ груди матери и помѣщаютъ въ воспитательный домъ; его не показываютъ родителямъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и его происхожденіе умышленно забывается; его воспитываютъ наравнѣ со всѣми дѣтьми его возраста, и онъ, какъ только начинаетъ помнить и сознавать себя, чувствуетъ, что онъ—казенная собственность, не связанная ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ въ окру-

жающемъ его мѣрѣ. Онъ вырастаетъ и получаетъ извѣстную должность; его дѣлаютъ воинемъ, и военные упражненія становятся главнымъ его занятіемъ и развлеченіемъ; въ эти упражненія онъ, какъ хорошій гражданинъ, обязанъ вложить остатки энергіи и души, которыхъ не успѣло засушить школьное воспитаніе. Когда у него появляется борода и развивается мужская сила, его осматриваетъ и свидѣтельствуетъ *особый сановникъ* и потомъ приводитъ къ нему молодую дѣвушку, которая, по его убѣжденію, годится ему въ жены. Приплотъ идетъ на пользу общества, и съ нимъ поступаютъ точно такъ-же, какъ поступали съ его родителями. Когда мужчина становится старикомъ, его дѣлаютъ гражданскимъ чиновникомъ и опредѣляютъ въ одно изъ существующихъ вѣдомствъ; онъ становится судьей, казначеемъ или воспитателемъ юношества, смотря по тому, на что его найдутъ годнымъ. Занятіе торговлей или ремесломъ считается унижительнымъ для полноправнаго гражданина и запрещено законами. Высшія формы, въ которыя должны воплотиться эти политическія убѣжденія, едва набросаны въ сочиненіяхъ Платона. Онъ считаетъ нужнымъ, чтобы во главѣ государства стояли достойнѣйшіе и мудрѣйшіе, но ему рѣшительно все равно, будутъ ли тамъ одинъ мудрѣйшій или нѣсколько мудрѣйшихъ. Демократическая форма правленія ему противна, какъ аристократу по рожденію и какъ человѣку, считающему себя неизмѣримо выше массы по умственнымъ силамъ и по нравственному достоинству. Вотъ нѣсколько выписокъ изъ книги Клеванова, въ которыхъ эта сторона теоріи Платона очерчена довольно ясно. «Относительно вопроса: правительство должно ли быть основано на согласіи народа или дѣйствовать на него силой, Платонъ прямо высказываетъ убѣжденіе, что если нужно согласіе массъ народа, то никакія, самыя благоразумныя учрежденія не могутъ быть никогда приведены въ дѣйствіе. Сознajući свои обязанности правитель долженъ поступать съ зависящими отъ него людьми какъ благоразумный врачъ; не спрашиваясь ихъ согласія, волей-неволей долженъ давать онъ имъ горькое, но полезное лѣкарство». «Далѣе Платонъ говоритъ, что неблагоприятно было бы мудраго правителя стѣснять законами». «Вообще Платонъ приходитъ къ рѣшительному убѣжденію, что массы народа неспособны управлять сами собою, и что невозможно требовать, чтобы имъ когда-нибудь было доступно и понятно истинное искусство управленія». «Но Платонъ, имѣя самое невыгодное понятіе о степени нравственнаго развитія массъ народныхъ, не могъ допустить, чтобы большинство людей подвластныхъ терпѣливо и съ некорностью сносили власть мудрецовъ; а потому Платонъ долженъ былъ вооружить своихъ правителей-философовъ такой властью, которой



было бы достаточно для приведения въ исполненіе ихъ распоряженій; вслѣдствіе этого они должны были имѣть всегда подъ руками достаточное число дѣятельныхъ и способныхъ исполнителей. Такимъ образомъ выяснилась для Платона потребность въ отдѣльномъ сословіи воиновъ, которое должно имѣть цѣлью своей дѣятельности не столько защиту государства извнѣ, сколько поддержаніе внутри его порядка и общественаго спокойствія». «А потому Платонъ въ своемъ трактатѣ о государствѣ, запрещая ложь частному человѣку, допускаетъ обманъ, какъ средство управленія въ рукахъ властителей». Эти выписки прямо показываютъ, что, по понятіямъ Платона, со стороны правителей не существуетъ обязанности въ отношеніи къ управляемымъ личностямъ; обманъ, насиліе, произволъ допускаются какъ средства управленія. Законы нравственности, существующіе для частныхъ лицъ, теряютъ обязательную силу для государственныхъ дѣятелей. Они должны быть мудрыми, но право судить о степени ихъ мудрости отнимается у наиболее заинтересованныхъ личностей и предоставляется, кажется, одному Деміургу. Съ одной стороны произволъ имѣетъ только тѣ границы, на которыхъ онъ самъ заблагодарасудитъ остановиться. Съ другой стороны покорность не имѣетъ никакихъ предѣловъ. Если она начинаетъ ослабѣвать, ее слѣдуетъ подкрѣплять искусственными средствами, нравственными или физическими, слабыми или сильными, смотря по комплекціи пациента и по благоусмотрѣнію врача. Устраненіе вредныхъ вліяній должно играть важную роль въ курсѣ воспитанія или лѣченія, которому должны подвергаться граждане идеальнаго государства. Гомеръ изгоняется, какъ безнравственный сказочникъ. Мифы пересочиняются и пропитываются высокими идеями. Статуи Аполлона и Афродиты въ интересахъ приличія прикрываются костюмомъ. Чтобы сосѣдніе народы не могли вводить въ соблазнъ гражданъ идеальнаго государства, сношенія съ иностранными землями должны быть по возможности затруднены и ограничены: «путешествія за границу дозволены только людямъ зрѣлаго возраста, и при томъ не иначе, какъ или для собственнаго образованія, или для государственныхъ цѣлей. По возвращеніи граждане должны подвергаться испытанію, не при-

несли-ли они съ собою вредныхъ убѣжденій». Разбирать подобныя положенія бесполезно; они сами говорятъ за себя очень громко и краснорѣчиво. Позволю себѣ замѣтить, что, къ чести человѣчества, духъ политическихъ идей Платона никогда не пытался завоевать себѣ мѣсто въ дѣйствительности. Сумасброднѣйшіе деспоты—Ксерксъ персидскій, Калигула и Домиціанъ—никогда не пробовали почеркомъ пера уничтожить семейство и поставить свой народъ на степень конскаго завода. Къ счастью для своихъ подданныхъ, эти господа не были философами; они казнили людей для преполюженія времени, но, по крайней мѣрѣ, они не реформировали человѣчества и не старались систематически развратить своихъ согражданъ. Просвѣщенные и умные деспоты, въ родѣ Людовика XI, Тиверія и Фердинанда Католическаго, оказывали на своихъ подданныхъ сознательное вліяніе, но ихъ проекты и отдаленнѣйшія мечты никогда не достигали того величія и той смѣлости, которыми отличаются идеи Платона. Стремленія у нихъ были общія; но, увлекаясь, поэтическимъ геніемъ, Платонъ проводилъ эти стремленія съ безпримѣрной силой; злѣйшимъ врагомъ этихъ стремленій былъ могучій духъ критики и сомнѣнія, элементъ свободнаго мышленія и личной оригинальности, и этотъ элементъ ненавиденъ Платону; нравственной опорой имъ служила вывѣска народнаго блага, и этой-же вывѣской пользуется Платонъ; матеріальной поддержкой ихъ было войско, и эта-же самая сила имѣетъ важное мѣсто въ государствѣ Платона. Эти правители, подобно мудрецамъ идеальнаго государства, считали себя достойнѣйшими и лучшими изъ своихъ согражданъ,—людьми, призванными быть воспитателями и врачами неразвившагося и нравственно-больнаго человѣчества. Римскія пытки и казни, испанская инквизиція, походы противъ Альбгойцевъ, кѣтка кардинала *La Vaue*, костеръ Гусса, Варооломеевская ночь, Вастилія и проч., и проч. могутъ быть названы *горькими, но полезными* лѣкарствами, которыя въ разныя времена и въ разныхъ дозахъ врачъ человѣчества давали своимъ пациентамъ *волеиневолей, не спрашиваясь ихъ согласія*. Принципъ, проведенный Платономъ въ его трактатахъ о государствѣ и о законахъ, небезызвѣстенъ новѣйшей европейской цивилизаціи.

## ФИЗИОЛОГИЧЕСКІЕ ЭСКИЗЫ МОЛЕШОТА.

(«Physiologisches Skizzenbuch von Jac. Moleschott». Giessen, 1861).

### I.

«Въ наше время было бы странно думать, что дух не зависитъ отъ матеріи»—этими словами начинаетъ Молешотъ свою книгу. Мы постепенно перестаемъ бояться природы и благоговѣть передъ нею; мы перестаемъ навязывать ей сознательныя стремленія и опредѣленныя цѣли; мы смотримъ на то, что у насъ передъ глазами, и стараемся быть внимательными; усилія наши направлены къ тому, чтобы усовершенствовать орудія познания, и, чтобы рассмотреть предметъ нашего наблюденія въ разныхъ положеніяхъ и съ разныхъ сторонъ, мы обуздываемъ дѣятельность теоретическаго мышленія, которое постоянно торопится къ общимъ выводамъ; мы хотимъ какъ можно больше видѣть и какъ можно меньше догадываться. До сихъ поръ не придумано такого микроскопа, который могъ бы слѣдить за работой мысли въ мозгу живого человѣка; на этомъ основаніи изслѣдователи очень благоразумно обходятъ до времени эти интересныя отправления человѣческаго организма и сосредоточиваютъ свои силы на разъясненіи другихъ процессовъ, болѣе грубыхъ и слѣдовательно болѣе осизательныхъ. Что можно рассмотреть микроскопомъ и разложить химическимъ анализомъ, то разсматривается и разлагается; что недоступно непосредственному изслѣдованію, то наблюдается черезъ сближеніе отдѣльныхъ фактовъ, подобно тому, какъ въ алгебраическихъ уравненіяхъ неизвѣстная величина опредѣляется по извѣстнымъ. Камень за камнемъ сносится на то мѣсто, гдѣ надо выстроить домъ; наблюденія и опыты не противорѣчатъ другъ другу, но часто лежатъ особнякомъ, не обнаруживая между собою видимой связи и необходимаго соотношенія. Незвѣстнаго еще такъ много, что даже не обозначены общія линіи того зданія, которое выстроится современнымъ и въ которое войдутъ, какъ строительные матеріалы, всѣ песчинки, добытыя правильнымъ трудомъ человѣческой мысли. Ничто не построено,

но многое собрано, и, главное, многое разрушено.

Съ тѣхъ поръ, какъ живетъ человѣчество, оно невольно старалось себѣ объяснить, что такое человѣкъ, міръ, природа и ея законы; любознательности было много, а знаній мало; поневолѣ приходилось добавлять фантазіей; возникло великое множество міросозерцаній, болѣе или менѣе поэтическихъ, великое множество образовъ, болѣе или менѣе величавыхъ; отъ разныхъ остатковъ этихъ міросозерцаній приходится теперь избавляться; разные изношенные образы приходится разбивать, выметая ихъ осколки съ того мѣста, на которомъ предполагается строить зданіе въ современномъ вкусѣ, на прочномъ фундаментѣ. Отношеніе между человѣкомъ и окружающей природой, и даже въ самомъ человѣкѣ отношенія между различными частями и отправлениями его организма составляютъ рѣшительное яблоко раздора между мыслителями и фантазерами. Последніе, сильные числомъ, хотятъ допустить, во что бы то ни стало, присутствіе такихъ элементовъ, какихъ въ дѣйствительномъ мірѣ никогда не было и не можетъ быть, такихъ вещей, о которыхъ, по выраженію нашего народно-эпическаго языка, «ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать». Фантазеры вооружаются самымъ разнообразнымъ дрекольемъ, чтобы отстоять свое дѣло; они вносятъ свои невѣдомыя тонкости во всѣ сферы человѣческихъ знаній и искусства; натуралисты, историки и поэты часто оказываются зараженными самымъ узколобымъ мистицизмомъ. Мыслителямъ приходится иногда тратить много времени на то, чтобы разбивать теоріи и фантазіи и чтобы открывать глаза слишкомъ довѣрчивымъ и совершенно беззащитнымъ не спеціалистамъ; лучшіе изъ мыслителей идутъ другимъ путемъ, болѣе труднымъ, но зато болѣе плодотворнымъ; они совершенно отворачиваются отъ области произвольныхъ гаданій, предоставляютъ ее идеалистамъ, а сами наблюдаютъ и изучаютъ химическій составъ крови, процессъ пищеваренія, конструкцію волосъ, ногтей и прочія ни-

чтожныя мелочи; и эти ничтожныя мелочи уже теперь повернули вверхъ-дномъ колоссальныя теоріи міровыхъ мыслителей и цѣлыхъ народовъ; эти ничтожныя мелочи уже теперь разбили оковы человѣческой мысли. Дѣло разрушенія сдѣлано; дѣло созиданія будетъ впереди и займетъ собою не одно поколѣніе.

## II.

«Физиологическіе эскизы» Молешота посвящены строгому изслѣдованію нѣкоторыхъ отравленій и отдѣльных частей человѣческаго тѣла. Первый этюдъ разсматриваетъ вліяніе пищи на человѣческой организмъ, второй разбираетъ подробно тѣ видоизмѣненія, которыя производитъ въ человѣкѣ движеніе на чистомъ воздухѣ, четвертый въ популярной формѣ сообщаетъ публикѣ микроскопическія наблюденія ученыхъ надъ роговой оболочкой человѣческаго тѣла. Третій очеркъ, о которомъ стоитъ поговорить подробно въ концѣ статьи, существенно отличается отъ остальныхъ по своему характеру и предмету; онъ заключаетъ въ себѣ характеристику Георга Форстера, написанную съ замѣчательной глубокой критическаго взгляда и проникнутую самымъ честнымъ сочувствіемъ къ личности благороднаго дѣятеля. Главной задачей моею настоящей статьи будетъ сгруппировать мысли Молешота, выраженные въ его чисто физиологическихъ эскизахъ, и представить ихъ читателямъ въ ясномъ и по возможности сжато изложеніи.

«Жить,—говоритъ Молешотъ,—значитъ сохранять форму своего тѣла вопреки непрерывному измѣненію мельчайшихъ матеріальныхъ частицъ, составляющихъ собою тѣло». Безпрерывное измѣненіе матеріальныхъ частицъ совершается посредствомъ тѣхъ выдѣленій, которыя сопровождаютъ собою процессы дыханія и пищеваренія; кромѣ того оно происходитъ путемъ испаринны, отпаденія засохшихъ частичекъ кожи, выростанія и обрѣзыванія волосъ и ногтей. Убывающія частицы нашего тѣла должны замѣщаться новыми; новый надо вырабатывать изъ какого-нибудь матеріала, а матеріалъ этотъ мы получаемъ изъ пищи, которую принимаемъ въ желудокъ, и изъ воздуха, который вдыхаемъ въ легкія. Мы, по словамъ Либиха, похожи на ходячія печи, нуждающіяся въ постоянной или по крайней мѣрѣ часто повторяющейся топкѣ. Положенное въ насъ топливо перегораетъ и, претерпѣвая разныя измѣненія, перерабатывается въ кровь. А что такое кровь? Бордѣ говоритъ, что кровь есть мясо въ жидкомъ состояніи, но Молешотъ съ этимъ не соглашается. Въ крови, по его словамъ, заключаются задатки и зародыши всего тѣла: мозгъ, нервы, кости, мясо, кожа и хрящи—все вырабатывается изъ крови, слѣдовательно въ крови есть такія химическія состав-

ныя части, которыхъ нѣтъ въ мясѣ и которыя идутъ на построеніе другихъ тканей нашего тѣла.

Значеніе крови становится такимъ образомъ чрезвычайно важнымъ.

Химическій составъ крови даетъ намъ мѣрку для оцѣнки сравнительнаго достоинства всякой пищи; если употребляемая нами пища содержитъ въ себѣ всѣ составныя части крови и притомъ въ одинаковой пропорціи съ кровью, то эта пища можетъ поддерживать наше существованіе и сохранять наше здоровье. Тщательное изслѣдованіе химическаго состава здоровой крови должно такимъ образомъ служить основаніемъ для всякихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій о количествѣ и качествѣ пищи, необходимыхъ для надлежащаго восполненія убывающихъ частицъ организма.

Молешотъ посвящаетъ разсмотрѣнію крови цѣлую главу своего эскиза. Изъ этого разсмотрѣнія оказывается, какъ извѣстно людямъ, знакомымъ съ физиологіей, что кровь состоитъ изъ соединенія азота, углерода, водорода, кислорода, калия, натрія, кальція, магнія, желѣза, сѣры, фосфора, хлора и фтора. Если выразиться проще, можно сказать, что на 100 частей крови приходится 79 частей воды; остальныя 21 часть состоятъ изъ бѣлковины (т. е. изъ такого вещества, которое по своему составу и по свойствамъ очень похоже на яичный бѣлокъ), изъ различныхъ солей и изъ очень незначительнаго количества жира и сахара; на 1000 частей крови приходится около 4 частей жира, а количество сахара, заключающееся въ крови, еще гораздо меньше и до сихъ поръ еще не было опредѣлено. Красный цвѣтъ крови происходитъ отъ примѣси желѣза; нарушеніе этого цвѣта сопровождается собою разстройство и большую или меньшую слабость всего организма; поэтому присутствіе желѣза въ крови совершенно необходимо, хотя количество такъ незначительно, что не можетъ быть въ точности опредѣлено. Каждая изъ составныхъ частей крови потребляется организмомъ на построеніе тѣхъ или другихъ разрушающихся или устарѣвшихъ частицъ. Такъ, напр., фосфорнокислая известь (соединеніе фосфора, кислорода и кальція) идетъ на ремонтъ костей; фтористый кальцій образуетъ зубы, поваренная соль—хрящи.

Для работы нашего мозга необходимъ фосфоръ и особеннаго рода фосфористый жиръ. «Какъ кровь не можетъ обращаться съ должною силою безъ притока желѣза, какъ кости не могутъ служить опорой для нашего тѣла безъ притока извести, такъ точно мозгъ не можетъ думать безъ притока фосфора и фосфористаго жира». Безъ фосфора нѣтъ дѣятельности мысли; но предполагать, чтобы у умнаго человѣка было въ мозгу много фосфора, по словамъ Молешота, неосновательно, потому что органъ одинаково

страдаетъ отъ избытка какого-нибудь ингредиента, какъ и отъ недостатка. Каждый органъ вытягиваетъ изъ крови именно то количество матеріала, которое необходимо для его отправления; онъ не возьметъ себѣ лишняго, но если-же случится недостатокъ, если въ крови не найдется необходимыхъ матеріаловъ, тогда, конечно, дѣятельность органа должна ослабѣть и постепенно прекратиться (Moleschott. «Lehre der Nahrungsmittel» S. 100). Очень можетъ быть, что утомленіе, которое мы чувствуемъ послѣ продолжительной умственной работы, происходитъ отъ того, что фосфористый жиръ истрачивается, и что мозгъ не успѣваетъ вытягивать изъ крови необходимаго количества матеріала; очень можетъ быть, что напряженіе мысли, усиліе ума связано съ усиленной дѣятельностью тѣхъ сосудовъ, которые тянутъ фосфоръ изъ крови въ мозгъ. Что это утомленіе, эти усилія и напряженія основываются на чисто *материальномъ* процессѣ—въ этомъ смѣшно и сомнѣваться, по сущности этого процесса совершенно не разъяснена, и потому мы хорошо сдѣлаемъ, если изъ заманчивой сферы гипотезъ снова спустимся на твердую почву положительныхъ фактовъ.

### III.

Такъ какъ принимаемая нами пища должна переработаться въ кровь, то она, какъ уже было выше замѣчено, должна заключать въ себѣ всѣ тѣ составныя части, которыя были указаны въ крови; вода, бѣлковина, соли, жиръ и сахаръ непременно должны входить въ нашу пищу, потому что всѣ эти спеціи необходимы для образованія крови; воды должно быть всего больше, потому что изъ нея состоятъ почти  $\frac{4}{5}$  всей нашей крови; дѣйствительно, опытъ показываетъ, что самыя сухія пищи содержатъ въ себѣ значительный процентъ воды; мы пьемъ чай или кофе утромъ и вечеромъ; за обѣдомъ мы ѣдимъ супъ, слѣдовательно во всѣхъ этихъ видахъ поглощаемъ воду; сверхъ того мы по нѣскольку разъ въ день чувствуемъ жажду и утоляемъ ее напитками, которыхъ большая часть разбавлена водою; наконецъ, мы дышаемъ въ себя водяные пары, носящіеся въ воздухѣ, и такимъ образомъ еще увеличиваемъ количество поглощаемой воды. Словомъ, вода есть самая важная и необходимая составная часть нашей пищи; жажда чувствуетъ скорѣе голода и въ меньшее время ведетъ за собою смерть; впрочемъ, всѣ составныя части крови непременно должны входить въ нашу пищу; если будетъ совершенно опущенъ хоть одинъ изъ ея ингредиентовъ, то произойдетъ разстройство организма, которое рано или поздно приведетъ къ его разрушенію.

Я обратилъ вниманіе на особенную важность воды только потому, что недостатокъ ея замѣчается всего скорѣе, измучиваетъ и убиваетъ

человѣка въ самое короткое время, и слѣдовательно бросается въ глаза при самомъ поверхностномъ взглядѣ на дѣло. Въ строго научномъ смыслѣ нельзя сказать, чтобы вода была важнѣе другихъ составныхъ частей крови: всѣ онѣ необходимы для поддержанія жизни и здоровья, слѣдовательно всѣ одинаково важны; замѣчу только, что жиръ можетъ быть замѣненъ сахаромъ потому, что сахаръ, принимая въ кишечномъ каналѣ разныя химическія измѣненія, превращается въ жиръ. Пчелы приготавливаютъ воскъ изъ цвѣточного сахара, а воскъ представляетъ существенное сходство съ жиромъ, съ той только разницей, что еще менѣе жира содержитъ въ себѣ кислорода. Наблюденія Либиха надъ домашними животными доказали рѣшительно, что сахаръ превращается въ жиръ; знаменитый химикъ взвѣшивалъ жиръ убитыхъ быковъ и масло, доставляемое коровами, и вычислилъ, что эти животныя не могли получить этихъ веществъ изъ своей пищи въ видѣ чистаго жира. Анализъ коровьяго помета показалъ, что въ немъ корова выбрасываетъ столько же жира, сколько его находится въ ея пищѣ. Но въ этой пищѣ (въ сѣнѣ и картофелѣ) есть много такихъ веществъ, которыя въ желудкѣ превращаются въ сахаръ; изъ сахара развивается молочная кислота, изъ молочной кислоты—масляная кислота и, наконецъ, жиръ. Изъ этого превращенія сахара въ жиръ видно, что вещества, составляющія нашу пищу, болѣе или менѣе подвергаются измѣненіямъ, смотря по тому, насколько эти вещества сродны составнымъ частямъ нашей крови. Молочная кислота ближе сахара подходитъ къ жиру; сахаръ подходитъ ближе къ жиру крахмала. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что крахмалъ не такъ скоро можетъ быть превращенъ въ жиръ, какъ сахаръ, и что сахаръ, въ свою очередь, перейдетъ въ жиръ медленнѣе молочной кислоты.

Но главная и важнѣйшая часть пищеваренія заключается именно въ приготовленіи крови изъ принятой пищи, слѣдовательно чѣмъ скорѣе и легче принятая пища перерабатывается въ кровь, тѣмъ успѣшнѣе совершается пищевареніе; успѣшность пищеваренія зависитъ преимущественно отъ свойства пищи или, точнѣе, отъ степени сродства ея съ составными частями крови; удобоваримую можно назвать ту пищу, изъ которой легче и скорѣе добываются ингредиенты крови; на этомъ основаніи молочная кислота окажется удобоваримѣе сахара, сахаръ—удобоваримѣе крахмала. Тѣ составныя части нашей пищи, которыя не могутъ переработаться въ кровь, оказываются ненужными и должны быть удалены, какъ постороннія тѣла. Эти-то не нужныя составныя части нашей пищи составляютъ главное основаніе испражнений, къ которымъ сверхъ того присоединяются желудочныя и кишечныя слизи и жидкости, обветшалыя частицы кожи, выдѣленія желчи, словомъ, такіе мате-

риалы, которые входили въ составъ нашей крови и нашего тѣла и потомъ устарѣли и пришли въ негодность. Чѣмъ меньше ненужныхъ частицъ содержитъ въ себѣ наша пища, тѣмъ большее количество питательныхъ веществъ она отдаетъ въ кровь; такимъ образомъ болѣе питательной называется та пища, которая содержитъ въ себѣ наибольшій процентъ веществъ, необходимыхъ для образованія крови. Не всѣ питательныя вещества заключающіяся въ нашей пищѣ, могутъ быть изъ нея добыты во время ея пребыванія въ желудкѣ и въ кишечномъ каналѣ. Пребываніе это ограничено извѣстнымъ временемъ, и если въ теченіе этого времени желудочные и кишечные соки не успѣли химически переработать пищу, если они не успѣли обратить ее въ кровь, то пища выйдетъ изъ нашего тѣла, несмотря на то, что она въ неразложенномъ состояніи заключаетъ въ себѣ много матеріаловъ, способныхъ превратиться въ кровь.

Мясо и молоко по своему химическому составу подходятъ къ крови ближе печенаго хлѣба; печеный хлѣбъ подходитъ къ ней ближе сѣна; мясо и молоко питательнѣе хлѣба и сверхъ того удобоваримѣе хлѣба; это значитъ, что фунтъ мяса заключаетъ въ себѣ болѣе ингредиентов крови, чѣмъ фунтъ хлѣба; кромѣ того, ингредиенты крови, заключающіеся въ фунтѣ хлѣба, должны претерпѣть нѣсколько химическихъ измѣненій, прежде чѣмъ они превратятся въ дѣйствительную кровь, и число этихъ химическихъ измѣненій болѣе, чѣмъ число измѣненій, которыя должны претерпѣть питательныя вещества, заключающіяся въ фунтѣ мяса. Стало быть, не говоря уже о томъ, что количество питательныхъ частицъ въ хлѣбѣ меньше, чѣмъ въ мясѣ, нужно еще обратить вниманіе на то, что это меньшее количество труднѣе добыть изъ хлѣба, чѣмъ изъ мяса, и что слѣдовательно большее количество питательнаго вещества пропадаетъ даромъ, т. е. пройдетъ черезъ пищеварительный каналъ, не разложившись. При всемъ томъ человѣкъ можетъ жить, питаясь хлѣбомъ и водою и совершенно обходясь безъ мяса и молока; онъ будетъ слабѣе человѣка, питающагося мясомъ; но не умретъ и даже будетъ способенъ работать. Если же вы будете кормить человѣка однимъ картофелемъ, то онъ черезъ двѣ недѣли ослабѣетъ и сдѣлается неспособнымъ зарабатывать себѣ пропитаніе. Это происходитъ отъ того, что картофель непитателенъ и неудобоваримъ. Въ крови нашей заключается въ 50 разъ болѣе бѣлковины, чѣмъ жира, а въ картофелѣ бѣлковины почти въ 20 разъ меньше, чѣмъ веществъ, образующихъ жиръ. Стало быть, чтобы вытнуть изъ картофеля то количество бѣлковины, которое необходимо для поддержанія нормальнаго состава крови, человѣкъ долженъ принять въ желудокъ огромное количество разныхъ постороннихъ и ненужныхъ веществъ. По вычисле-

ніемъ Молешота оказывается, что здоровый работникъ долженъ съѣдать въ день 20 фунтовъ картофеля, чтобы добывать изъ него необходимое количество бѣлковины. Но органы пищеваренія не могутъ справиться съ такимъ огромнымъ количествомъ матеріала; они будутъ завалены ненужнымъ мусоромъ и, можетъ быть, совершенно остановятъ свою дѣятельность; если бы этого не случилось, тогда произошло бы другое неудобство: крахмаль картофеля переработался бы въ жиръ, и этотъ жиръ потопилъ бы собою остальные, болѣе благородныя части нашей крови.

«Можетъ ли,—воскликаетъ Молешотъ,—дѣлывая картофельная кровь придавать мускуламъ силу для работы и сообщать мозгу животворный толчокъ надежды? Бѣдная Ирландія! Твоя бѣдность родитъ бѣдность! Ты не можешь остаться побѣдительницей въ борьбѣ съ гордымъ сосѣдомъ, которому обильныя стада сообщаютъ могущество и бодрость! Ты не можешь побѣдить! Твоя пища можетъ породить безсильное отчаяніе, но не возбудитъ она воодушевленія, а только воодушевленіе способно отразить исполна, въ жилахъ котораго течетъ живая сила дѣятельности вмѣстѣ съ богатой кровью. Не благодари Америку за тотъ подарокъ, который увѣковѣчиваетъ твое несчастіе! Мы можемъ хвалить доброе намѣреніе Гокинса, принесшаго тебѣ картофель, но ты не должна считать его своимъ благодареніемъ». («Ученіе о пищѣ»).

Но почему же картофель, неспособный поддерживать силы человѣка, служитъ отличной пищей для рогатаго скота и для свиней? Почему сѣно, изъ котораго человѣческой желудокъ не вытянетъ ни одной питательной частицы, можетъ, въ случаѣ необходимости, въ теченіе многихъ мѣсяцевъ поддерживать существованіе лошади? Почему человѣкъ, оставленный въ луговой степи, рискуетъ умереть съ голоду, между тѣмъ какъ эти же самыя степи кормятъ многочисленныя стада буйволовъ? Отвѣтъ на всѣ эти вопросы отыскивается въ различномъ устройствѣ органовъ пищеваренія. Эти органы у травоядныхъ животныхъ гораздо сложнѣе, чѣмъ у плотоядныхъ, потому что растительная пища сравнительно съ животной нуждается въ большемъ количествѣ измѣненій, чтобы превратиться въ кровь, и слѣдовательно должна долѣе животной пищи пробывать въ желудкѣ и въ кишкахъ и долѣе ея подвергаться дѣйствию пищеварительныхъ соковъ и кислотъ. «Пища,—говоритъ Молешотъ,—превратила дикую кошку въ ручную. Изъ плотояднаго животнаго съ короткимъ пищеварительнымъ каналомъ, путемъ постепенной привычки, изъ нея образовалось совершенно другое существо, которому длинный каналъ даетъ возможность переваривать растительную пищу, незнакомую ему въ естественномъ состояніи». («Ученіе о пищѣ»). «Человѣкъ занимаетъ средину между плотоядными и травоядными живот-

ными: зубы и челюсти, желудокъ и кишки, слюнные железки и жевательные мускулы его устроены такъ, что дѣлаютъ его способнымъ принимать и переваривать смѣшанную пищу» (ibid). Вслѣдствіе этой смѣшанной пищи кровь его также стоитъ по своему химическому составу по срединѣ между кровью чисто плотояднаго и кровью чисто травояднаго. Изъ крови вырабатываются ткани организма; свойствами крови обуславливаются свойства мускуловъ, зубовъ, железокъ, костей, мозга, особенности ума и характера. Измѣните пищу человѣка, и весь человѣкъ мало-по-малу измѣнится. Переходъ отъ мяса къ сѣну такъ рѣзокъ, что человѣкъ его не вынесетъ, но путемъ постепенныхъ измѣненій можно довести человѣка до того, что онъ сдѣлается травояднымъ животнымъ, точно такъ же, какъ кошка изъ животнаго плотояднаго сдѣлалась животнымъ, способнымъ варить растительную пищу. Такой переходъ потребовалъ бы многихъ поколѣній, но въ немъ нѣтъ ничего невозможнаго; сомнительно только, чтобы травоядный человѣкъ могъ быть вѣнцомъ созданія и человѣкомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Сомнительно, чтобы усовершенствованіе или, вѣрнѣе, усложненіе пищеварительныхъ органовъ не совершилось въ ущербъ развитію мозга.

Можно выразить смѣлое предположеніе, что разнообразіе пищи, ведущее за собою разнообразіе составныхъ частей крови, служитъ основаніемъ разносторонности ума и гармоническаго равновѣсія между разнородными силами и стремленіями характера. Европеецъ доводитъ разнообразіе пищи до послѣднихъ предѣловъ; какъ гражданинъ міра, онъ не ограничивается произведеніями своей родины и питается всѣмъ, что приходится ему по вкусу; какъ человѣкъ занимаетъ средину между животными, такъ европеецъ занимаетъ средину между людьми; растительная и мясная пища достигаютъ возможно полнаго равновѣсія въ репертуарѣ европейской кухни образованныхъ и зажиточныхъ классовъ. Поэтому въ европейцѣ нѣтъ той дикости, которая характеризуетъ собою племена звѣролововъ; нѣтъ и той сонливости, которою отличаются индусы, питающіеся корнями и овощами; процессъ пищеваренія совершается легко и скоро; отягощеніе и лѣнь, порождаемые сытнымъ обѣдомъ, продолжаютъ не болѣе часа, потому что смѣшанная пища разлагается легко и отсылаетъ въ кровь необходимый транспортъ матеріаловъ. Мозгъ тинетъ изъ крови столько фосфора, сколько понадобится; работа мысли идетъ широкимъ махомъ; возникаютъ философскія системы и художественныя произведенія, слагаются социальныя теоріи и практическія усовершенствованія, является вѣра въ силы человѣчества и уваженіе къ человѣческому достоинству—и что же? Если даже побудительный толчекъ къ этимъ прекраснымъ движеніямъ лежитъ вѣдъ свойствъ нашей

пищи, то, конечно, этимъ свойствамъ мы обязаны тѣми силами, которыя выполняютъ задуманное дѣло и не даютъ замереть благороднымъ и высокимъ стремленіямъ. («Уч. о пищѣ»).

#### IV.

Существеннѣйшая часть принимаемой нами пищи подвергается нѣсколькимъ болѣе или менѣе важнымъ измѣненіямъ, прежде нежели мы рѣшаемся взять ее въ ротъ. Никто не ѣстъ сырого мяса или картофеля, никто не глотаетъ цѣликомъ зерна ржи или пшеницы. Поваренное искусство, развившееся помимо всякой научной теоріи, заботится только о томъ, чтобы угодить болѣе или менѣе утонченнымъ требованіямъ вкуса, а между тѣмъ большая часть его распоряженій заслуживаетъ полнаго одобренія со стороны возникающей науки о предметахъ пищи. Цѣлый рядъ примѣровъ можетъ подтвердить собою ту мысль, что человѣчество руководилось безошибочнымъ инстинктомъ въ выборѣ и приготовленіи своихъ яствъ.

По извѣстному неприятному ощущенію жаждущій чувствуетъ, что его организму нуждается въ притока воды; грудной ребенокъ кричитъ, когда чувствуетъ голодъ, и успокаивается, когда начинаетъ сосать грудь; въ этихъ случаяхъ очевидно дѣйствуетъ природный инстинктъ, а не опытъ. Тотъ же природный инстинктъ выражается въ чувствѣ вкуса; когда мы находимся въ здоровомъ состояніи, то намъ нравится то, чего дѣйствительно требуетъ нашъ организмъ; намъ пріѣдается одна и та-же пища, потому что она вноситъ въ нашу кровь слишкомъ много однихъ ингредиентовъ и слишкомъ мало другихъ; намъ никогда не надобно хорошей говядины именно потому, что она доставляетъ намъ въ изобиліи всѣ составныя части нашей крови; намъ никогда не надобно чистой ключевой вода, именно потому, что этого матеріала всегда требуетъ наша кровь. Словомъ, организмъ нашъ заявляетъ свои требованія по мѣрѣ того, какъ они возникаютъ, и мы по необходимости стремимся ихъ выполнить; мы чувствуемъ, что намъ чего-то хочется, и чувствуемъ, въ чемъ именно мы нуждаемся; для этого намъ нѣтъ надобности напрягать вниманіе; такъ называемыя животныя потребности и влеченія сказываются сами собою и говорятъ громче и громче, до тѣхъ поръ, пока вы не заткнете имъ ротъ полнымъ удовлетвореніемъ. Духовную потребность вы можете отсрочить или даже задушить въ себѣ, но бѣда вамъ будетъ, если вы вздумаете упрямиться и идти наперекоръ заявившей себя физической потребности. Разстройство организма, помраченіе умственныхъ способностей, общій упадокъ силъ,— вотъ тѣ послѣдствія, которыя неминуемо ведутъ за собою умышленная борьба съ собственнымъ тѣломъ. Тому, кто выбралъ однажды мрачную

дорогу аскета, трудно повернуть назадъ и вѣрнуться на вѣрный путь.

Неправильный образъ жизни развиваетъ органическія ткани, отклоняющіяся отъ нормы; неправильно слагающія мозги порождаетъ дикія идеи и ведетъ къ нелѣпнымъ заключеніямъ; эти заключенія образуютъ міросозерцаніе, въ которомъ каждый предметъ представляется въ своеобразныхъ размѣрахъ и окрашивается произвольными красками; жизнь смѣняется вѣчною галлюцинаціей; образъ жизни становится строже, потому что этого требуютъ дикія умозаключенія, и все это фантастическое зданіе завершается явленіемъ идиотизма или помѣшательства.—Къ счастью всего человѣчества, повarenное искусство никогда не шло въ разрѣзъ съ потребностями нашей физической природы; оно дѣйствовало ощутно и попадало въ цѣль безъ промаха, потому что старалось угодить требованіямъ нашего вкуса, а во вкусѣ всегда заявлялись дѣйствительныя нужды нашего организма.—Приведу нѣсколько примѣровъ.

Мы варимъ картофель и поступаемъ въ этомъ случаѣ очень рачіонально. Превращеніе крахмала въ сахаръ, долженствующее совершиться въ желудкѣ, значительно облегчается этой операцией. Въ сыромъ картофелѣ крахмалъ заключенъ въ видѣ маленькихъ зернышекъ въ клѣточки или пузырьки; оболочка этихъ клѣточекъ состоитъ изъ такой матеріи, которую желудочный сокъ разлагаетъ съ большимъ трудомъ. Дѣйствіе горячей воды разрушаетъ сцѣпленіе клѣточекъ между собой, и крахмальные зернышки освобождаются изъ своихъ футляровъ; они приходятъ въ непосредственное соприкосновеніе съ разлагающими слизями пищеварительныхъ органовъ, и превращеніе ихъ въ сахаръ и въ жиръ значительно облегчается.

Крахмалъ хлѣбныхъ зеренъ освобождается изъ клѣточекъ уже тогда, когда дѣйствіе мельничныхъ жернововъ превращаетъ ихъ въ муку. Просѣиваніе муки отдѣляетъ отъ нея отруби, т. е. мелкіе остатки клѣтчатки (Zellstoff). Печеніе хлѣба превращаетъ значительную часть крахмала въ сахаръ, и потому печеный хлѣбъ не только вкуснѣе сырой муки, но и удобоваримѣе ея.

Изъ гороха и чечевицы готовится супъ; этотъ супъ или похлебка протирается сквозъ сито, и шелуха гороховыхъ и чечевичныхъ зеренъ выбрасывается. Это значительно облегчаетъ работу желудка. Шелуха этихъ зеренъ состоитъ изъ очень плотной клѣтчатки, которая почти вовсе не поддается разлагающему дѣйствію желудочнаго сока. Если бы мы стали цѣлкомъ глотать горошины, какъ пилюли, то большая часть ихъ прошла бы черезъ пищеварительный каналъ совершенно неразложенной. Если бы мы стали жевать горохъ, то зерна, конечно, разложились бы въ желудкѣ и въ кишкахъ, но шелуха составила бы совершенно лишнее бремя и пона-

спасну засорила и распучила бы наши внутренности. Стало бытъ, приготовленіе гороховой похлебки предлагаетъ нашему желудку питательныя вещества гороха въ очищенномъ и упрощенномъ видѣ.

Если изъ куска мяса хотятъ приготовить бульонъ, то это мясо кладутъ въ холодную воду, и эту воду кипятятъ вмѣстѣ съ мясомъ; если же хотятъ получить хорошій кусокъ варенаго мяса, то мясо кладутъ прямо въ кипятокъ; это правило, извѣстное каждой кухаркѣ, также имѣетъ свое разумное основаніе.

Въ сыромъ мясѣ мясныя волокна окружены особеннаго рода сокомъ, заключающимъ въ себѣ растворъ бѣлковины, различныхъ солей и азотистаго креатина (Fleischstoff). Этотъ растворъ отъ прикосновенія горячей воды свертывается и твердѣетъ; вокругъ мяса образуется корка, затрудняющая дѣйствіе воды на мясо; питательныя вещества остаются въ самомъ кускѣ и не выходятъ въ воду, и такимъ образомъ получается вареное мясо, сохраняющее весь свой вкусъ и всю питательность. Въ холодной водѣ, постепенно подогреваемой, распускается сокъ, окружающій мясныя волокна; онъ весь выходитъ изъ мяса и переходитъ въ воду, такъ что когда вода вскипитъ, то получается крѣпкій мясной наваръ и вываренный кусокъ мяса, котораго волокна легко отдѣляются другъ отъ друга и, сравнительно съ прежнимъ составомъ мяса, представляютъ мало питательности.

Жареное мясо удобоваримѣе, чѣмъ сырое. По изслѣдованіямъ Мульдера оказалось, что жареніе образуетъ укусную кислоту, которая облегчаетъ собою пищевареніе; маринованное мясо, т. е. мясо, вымоченное въ укусѣ, переваривается также легче сырого мяса. Очень жирное мясо, напримѣръ, свинину, обыкновенно солятъ, потому что соленое сало переваривается легче сырого жира. Употребленіе разныхъ приправъ: перца, гвоздики, лавроваго листа, мускатнаго орѣха, употребленіе сахара, стараго сыра, вина и ликера основано также на требованіяхъ нашего желудка; если пользоваться всѣми этими приправами съ благоразумною умѣренностью, то всѣ онѣ могутъ содѣйствовать пищеваренію, ускорять въ нашемъ тѣлѣ обмѣнъ соковъ и передвиженіе частицъ и, слѣдовательно, усилить дѣйствіе нервовъ, воспринимающихъ впечатлѣніе и вырабатывающихъ мысль.

На умѣренное употребленіе крѣпкихъ напитковъ Молешотъ смотритъ очень снисходительно; помысливъ разныхъ филантроповъ и обществъ трезвости онъ считаетъ не только практически бесполезными, но даже теоретически неразумными. Алкоголь, говоритъ онъ, замедляетъ стараніе органическихъ тканей, такъ что работникъ, выпивающій чарку водки послѣ своего скуднаго обѣда, не такъ скоро проголодается, какъ его товарищъ, не употребляющій крѣпкихъ

напитковъ. «Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, — продолжаетъ онъ, — что было бы жестоко отнимать у поденщика, который въ потъ лица зарабатываетъ себѣ кусокъ хлѣба, средство подольше удерживать въ своемъ тѣлѣ скудную пищу. Пусть дадутъ ему обильное пропитаніе, тогда онъ будетъ въ состояніи обходиться безъ водки. Пока не позаботятся о томъ, чтобы работа должнымъ образомъ прокармливала человѣка, до тѣхъ поръ будетъ казаться насмѣшкой наше желаніе устранить менѣе хорошее, не давая и не умѣя давать лучшаго. Или, можетъ быть, слѣдуетъ отмѣнить употребленіе водки, потому что оно дѣлаетъ возможнымъ злоупотребленіе? Тогда попробуйте сначала опровергнуть тотъ упрекъ, что вы унижаете нравственное достоинство человѣка, если заставляете его отказываться отъ наслажденія въ избѣжаніе скотскаго разврата. Аскетъ, требующій строгаго сѣдомудрія, насилуетъ человѣческую природу, точно такъ же насилуетъ ее врачъ, требующій уничтоженія водки на томъ основаніи, что на свѣтѣ есть пьяницы. Гете далъ новому міросозерцанію прекрасный лозунгъ: *memento vivere!* (помни, что нужно жить!). Кто проповѣдуетъ уничтоженіе водки, тотъ переноситъ насъ въ средневѣковое католичество, которое душило лучшій цвѣтъ человѣчности безобразнымъ девизомъ: *memento mori!* (помни, что нужно умереть)». («Уч. о пищѣ»).

## V.

Мы видѣли такимъ образомъ, что притотовленіе пищи въ нашихъ кухняхъ основано на инстинктивно понятыхъ потребностяхъ нашего организма.

На томъ же инстинктивномъ пониманіи этихъ потребностей основано смѣшеніе нашихъ кушаній между собою, порядокъ, въ которомъ они слѣдуютъ другъ за другомъ въ обѣдѣ, и старанія разнообразить репертуаръ обѣда такъ, чтобы сегодня не повторялось то, что подавалось вчера. — Мясо, напр., подается обыкновенно съ какимъ-нибудь соусомъ, и соусъ этотъ состоитъ изъ какихъ-нибудь овощей.

Причина объясняется очень просто. Мясо даетъ нашей крови необходимое количество бѣлковины, а овощи сообщаютъ ей тѣ вещества, изъ которыхъ образуется жиръ; сверхъ того они содержатъ въ себѣ значительное количество солей, облегчающихъ собою перевариваніе мяса. Если же приправою къ мясу постоянно служитъ одинъ сортъ овощей, то очень понятно, что въ кровь вносятся постоянно та соль, которая преобладаетъ въ данномъ овощѣ; въ другихъ соляхъ и минеральныхъ частицахъ чувствуется недостатокъ, и этотъ недостатокъ обнаруживается въ томъ, что намъ надоѣдаетъ и приѣдается одна и та же приправа, и мы съ удовольствіемъ принимаемъ

за что-нибудь новое. Напр., въ рѣбѣ мало желѣза, а въ шинатѣ его очень много; если на нашемъ столѣ въ продолженіе трехъ дней будетъ появляться рѣба, то на четвертый день вы съ удовольствіемъ увидите шинатъ, именно потому, что онъ способенъ пополнить возникшій въ крови недостатокъ желѣза.

Мы видимъ такимъ образомъ, что главное назначеніе принимаемой пищи состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать въ нашемъ организмѣ необходимое количество и нормальный химическій составъ крови. Очевидно, что не только качество, но и количество пищи должно быть въ этомъ случаѣ принято въ соображеніе. Какъ бы ни была пища питательна и удобоварима, но если ея такъ мало, что она не покрываетъ расходовъ нашего тѣла, то мы постоянно будемъ терять больше, чѣмъ будемъ получать; сводить концы съ концами будетъ невозможно, и всѣ наши жизненные отправленія будутъ страдать отъ недостаточнаго питанія. Бѣлковина, заключающаяся въ крови, постепенно перегораетъ и, превращаясь въ мочевину, въ мочевую кислоту, въ углекислоту и въ воду, выбрасывается изъ нашего тѣла разными каналами и путями. Жиръ и вещества, служащіе къ его образованію, также выдѣляются въ формѣ воды и углекислоты. Съ каждымъ выдыханіемъ выходитъ изъ нашего тѣла извѣстная часть пережженной бѣлковины и пережженного жира. Каждый разъ, когда мы испражняемся, съ нашими испраженіями выходитъ желчная кислота, образовавшаяся изъ жира. Каждый разъ, когда мы выпускаемъ мочу, изъ нашего тѣла выдѣляются разныя соли и минеральныя частицы. Въ теченіе 24 часовъ различныя выдѣленія и испраженія уменьшаютъ вѣсъ нашего тѣла на  $\frac{1}{14}$  часть. Этотъ ущербъ долженъ быть пополненъ, если мы на завтрашній день желаемъ сохранить ту сумму силъ, которою владѣли сегодня. Около четвертой части понесеннаго ущерба покрывается тѣмъ количествомъ кислорода, который мы вдыхаемъ въ атмосферномъ воздухѣ; остальные три четверти должны быть пополнены пищей и питьею.

Такимъ образомъ, чтобы не почувствовать ослабленія, мы должны въ теченіе сутокъ принимать такое количество питательныхъ веществъ, котораго вѣсъ былъ немного больше  $\frac{1}{14}$  части вѣса всего нашего тѣла. Если предположить, что въ нашемъ тѣлѣ 4 пуда вѣса, то въ теченіе сутокъ должны принимать пищи отъ  $8\frac{1}{2}$  до 9 фунтовъ; если вы цѣлыя сутки пробудете на одномъ мѣстѣ въ совершенномъ спокойствіи, то количество выдѣлений будетъ меньше, и меньшее количество пищи будетъ въ состояніи поддерживать вашу жизнь и вѣсъ вашего тѣла. Но мы ѣдимъ не для того, чтобы жить, говоритъ Молешотъ. «Наука, конечно, интересуется тѣмъ, при какой діетѣ человѣкъ можетъ не умереть, но человечеству важно знать то, при какой пищѣ



мужчина способенъ работать, а женщина—кормить своихъ дѣтей». Чѣмъ сильнѣе работа, тѣмъ обильнѣе и питательнѣе должна быть пища. «Когда дѣло идетъ о лошадяхъ и о конской работѣ,—говоритъ Мюльдеръ,—тогда никто не сомнѣвается въ томъ, что пища должна соответствовать работѣ. Не сѣно, а овесъ способенъ удовлетворять потребностямъ лошадинаго организма, когда лошадь должна работать какъ слѣдуетъ. А при напряженной работѣ и овесъ оказывается недостаточнымъ; тогда лошадей надо кормить бобами. Лошадямъ даютъ то, что имъ необходимо! А людямъ?» (!)

Такимъ образомъ наибольшую практическую важность имѣетъ въ нашихъ глазахъ количество пищи, необходимое человѣку для того, чтобы жить полной человѣческой жизнью, чтобы работать и мыслить, чувствовать и любить, чтобы производить дѣтей и выкармливать ихъ, а не для того только, чтобы прозавать и предохранять свои органическія ткани отъ окончательнаго разрушенія. Исслѣдованія Молешота доводятъ его до слѣдующихъ результатовъ. Сумма всей пищи должна равняться 7-ми фунтамъ; на это количество приходится почти  $5\frac{3}{4}$  фунтовъ воды. Твердыхъ веществъ требуется немного больше  $1\frac{1}{4}$  фунта (125 золотниковъ); въ томъ числѣ должно быть около 25 золотниковъ бѣлковины, около 14 золотниковъ чистаго жира, около 80 золотниковъ веществъ, способныхъ превратиться въ жиръ, и около 6 золотниковъ солей и минеральныхъ частицъ.

Молешотъ допускаетъ, что отдѣльныя личности уклоняются отъ этихъ цифръ въ ту или другую сторону, но онъ утверждаетъ, что эти цифры могутъ быть смѣло приняты въ основаніе расчета, когда дѣло идетъ о запасеніи провіанта для крѣпости или для экипажа корабля. Жиръ, сахаръ и крахмалъ могутъ замѣнять другъ друга въ этомъ расчетѣ; но бѣлковина, которой требуется только 25 золотниковъ въ сутки, не можетъ быть замѣнена никакимъ другимъ веществомъ. Дешевая растительная пища, богатая крахмаломъ, обыкновенно бѣдна бѣлковиною, и потому количество бѣлковины въ большей части случаевъ опредѣляетъ собой степень питательности. Бѣлковина всего дороже, потому что ея мало и потому что она въ достаточномъ количествѣ встрѣчается большей частью въ такой пищѣ, которая по дорогой цѣнѣ своей мало доступна рабочему классу. Изъ предметовъ растительной пищи только чечевица, бобы и горохъ содержатъ въ себѣ столько бѣлковины, что одного фунта этой пищи почти достаточно, чтобы удовлетворить въ этомъ отношеніи требованіямъ организма на цѣлыя сутки. Печенаго хлѣба надо съѣсть для достиженія той же цѣли около 3 фунт., рису болѣе 5 фунт., картофеля 20 фунт., цвѣтной капусты 52 фунта, а грушъ 110 фунт. Питаться фруктами работнику нѣтъ никакой воз-

можности; питаться картофелемъ тоже мудрено. Мясо, горохъ или печеный хлѣбъ одни въ состояніи поддерживать силы человѣка, доставляя ему необходимый процентъ бѣлковины, и потому, конечно, позволительно выразить желаніе, чтобы бобы, горохъ и чечевица вытѣснили собой картофель, занимающій самое почетное мѣсто въ пропитаніи неимущихъ классовъ Ирландіи и Германіи. Такого рода измѣненіе могло бы повести за собой улучшеніе породы, укрупненіе народнаго здоровья и возвышеніе національнаго самосознанія. Значеніе употребляемой пищи въ развитіи историческихъ событій до сихъ поръ еще не было достаточно принято въ соображеніе, и даже Бюкль выразилъ насчетъ этого предмета однѣ догадки, которыя ожидаютъ еще въ будущемъ опроверженія или подтвержденія.

Мы видѣли выше, что здоровый человѣкъ въ теченіе 24 ч. долженъ принять около семи фунтовъ пищи; эта средняя величина измѣняется, смотря по времени года, смотря по полу и возрасту субъекта и смотря по той степени напряженія, которую требуетъ отъ него его работа. Зимой мы ѣдимъ больше, чѣмъ лѣтомъ, если только предположить, что дѣятельность наша остается одинаковой; зимой мы больше, чѣмъ лѣтомъ, выдыхаемъ углекислоты и выдѣляемъ мочи. Расходъ черезъ это увеличивается, и сообразно съ этимъ долженъ увеличиться и приходъ. Каждый замѣчалъ, что аппетитъ уменьшается во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ; въ это время организмъ нашъ собственными средствами развиваетъ меньшую степень животной теплоты, пережигаетъ меньшее количество бѣлковины и жира и потому нуждается въ меньшемъ количествѣ топлива. Праздность значительно уменьшаетъ скорость обмѣна матеріи. Люди богатые, не привычныя ни къ физической, ни къ умственной работѣ, обыкновенно не въ мѣру толстѣютъ, страдаютъ приливами крови, жалуются на недостатокъ аппетита и стараются расшевелить его искусственными средствами и замысловатыми приправами. Женщины выдыхаютъ только двѣ трети того количества углекислоты, которое выдыхаютъ мужчины; вслѣдствіе этого онѣ ѣдятъ обыкновенно меньше мужчинъ. Старики выдѣляютъ также меньше взрослыхъ мужчинъ, и этимъ обстоятельствомъ объясняется то уменьшеніе аппетита, которое обыкновенно замѣчается подъ старость. Грудной ребенокъ и юноша, не достигшіи еще полнаго развитія силъ, выдѣляютъ относительно величины своего тѣла больше углекислоты и мочевины, чѣмъ взрослый мужчина. Кромѣ того и ребенокъ, и юноша растутъ, слѣдовательно приходъ долженъ превышать расходъ, потому что только избытокъ принимаемой пищи даетъ матеріалы для увеличенія объема тѣла и для укрупненія всѣхъ органическихъ тканей. Стало быть, если бы мы стали опредѣлять количество пищи, необходи-

мое для ребенка, сравнивая размеры его тела съ размерами нашего, то мы рисковали бы заморить его голодомъ и во всякомъ случаѣ значительно остановили бы его ростъ. Во-первыхъ, ребенокъ выделяетъ сравнительно больше взрослому, во-вторыхъ, онъ растетъ, слѣдовательно по этимъ двумъ причинамъ нуждается въ большемъ количествѣ пищи, чѣмъ нуждался бы карликъ зрѣлаго возраста и одинаковой величины съ нашимъ субъектомъ. «Съ того дитя растетъ», говорятъ русскія няньки, вида, что окружающіе удивляются аппетиту ихъ питомцевъ. Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, данныя науки оправдываютъ народное изреченіе, основанное на непосредственномъ опытѣ. Если ребенокъ не приченъ къ лакомствамъ, и если онъ требуетъ себя простой пищи, то можно давать ему столько, сколько онъ пожелаетъ. Неиспорченная природа не потребуетъ лишняго и не создастъ себя искусственныхъ нуждъ. Животныя объѣдаются очень рѣдко, и нѣтъ причины думать, чтобы ребенокъ, не избалованный воспитаніемъ, составилъ въ дурную сторону исключеніе изъ общаго правила.

## VI.

Вопросъ о сравнительной цѣнѣ съѣстныхъ припасовъ съ каждымъ десятилѣтіемъ становится существеннѣе и важнѣе. Въ Западной Европѣ, въ Англии, во Франціи и въ Германіи, при густомъ и постоянно возрастающемъ населеніи, пролетаріи обращаютъ на себя вниманіе государственныхъ людей и ученыхъ, социалистовъ и филантроповъ. Вѣдь нельзя-же цѣлымъ тысячамъ работниковъ и работницъ оставаться безъ куска хлѣба, нельзя-же имъ умирать голодной смертію, а между тѣмъ нельзя-же требовать, чтобы хлѣбъ, овощи и мясо составляли общую собственность, подобно тому, какъ составляютъ общую собственность атмосферный воздухъ, солнечный свѣтъ и рѣчная вода. Надо, стало-быть, подумать о томъ, чтобы неимущіе могли собственными руками зарабатывать себе здоровую пищу, которая могла бы сообщать ихъ мышцамъ силу для новой работы, а ихъ мозговымъ нервамъ — живую бодрость и постоянно обновляющійся притокъ надежды. Въ 1679 году Панинъ предложилъ готовить пищу изъ костей; кости эти подвергались сильному давленію, вываривались въ кипяткѣ и превращались такимъ образомъ въ клей или студень. Обстоятельства замяли проектъ Панина, но когда французская революція выдвинула впередъ вопросъ о пролетаріяхъ, коммиссія знаменитыхъ тогдашнихъ врачей получила приказаніе рассмотреть это предложеніе, оставшееся подъ спудомъ въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Каде де-Во, Жембарна, Пелльтье, д'Арсе и другіе объявили, что кости даютъ превосходную пищу, что одинъ

фунтъ костей даетъ столько навару, сколько давали шесть фунтовъ говядины, и что супъ изъ костей во всѣхъ отношеніяхъ лучше говяжьяго бульона. Такъ называемый румфордскій супъ, приготовленный изъ костей, былъ даже введенъ въ госпитали и въ инвалидные дома. Но больнымъ и инвалидамъ отъ этого супа не поздоровилось, и новой коммиссіи поручено было снова рассмотреть дѣло; членами этой коммиссіи были между прочими Дю-Пюитренъ и Мажанди; результаты новаго изслѣдованія были вовсе неутѣшительны. Оказалось, что румфордскій супъ легко подвергается гніенію, что онъ невкусенъ, обременителенъ для желудка и вовсе не такъ питателенъ, какъ мясной наваръ. Новѣйшія изслѣдованія подтвердили мнѣнія второй коммиссіи, и теперь можно сказать рѣшительно, что супъ изъ костей настолько-же дороже мясного супа, насколько дурное сукно дороже хорошаго. Конечно, порцію костяного супа и аршинъ плохого сукна можно получить за меньшее количество денегъ, чѣмъ порцію мясного навару и аршинъ хорошаго сукна, но если вы примете въ соображеніе сравнительную питательность обоихъ суповъ и сравнительную прочность обѣихъ матерій, то вы увидите, что, покупая болѣе дорогую вещь, вы сберегаете деньги, потому что обезпечиваете себя отъ новыхъ тратъ на болѣе долгое время и доставляете себе существенную, а не воображаемую пользу.

Въ новѣйшее время, въ 1849 году, французскій ученый Мильонъ предложилъ печь хлѣбъ изъ непросѣянной муки, говоря, что отдѣляющіяся отруби уносить съ собою множество самыхъ питательныхъ частей. Коммиссія, разсматривавшая вопросъ о костяхъ, бралась подарить Франціи огромное количество пропадавшей до того времени говядины. Мильонъ сумелъ Франціи такую-же громадную прибыль въ сбереженіи отрубей. «Если бы, — говорилъ онъ, — кто-нибудь вдругъ объявилъ, что ему удалось обогатить Францію на нѣсколько милліоновъ гектолитровъ очень питательной пищи, не увеличивая трудовъ земледѣльца и не отнимая ни вершка земли у какого-нибудь другого растенія; если бы этотъ человѣкъ сталъ утверждать, что эта пища въ сравненіи съ пшеничною мукой содержитъ въ себѣ больше клейковины и вдвое больше жира, и что остальныя ея части, за исключеніемъ 10 процентовъ клѣтчатки, легко превращаются въ кровь, то можно было бы подумать, что онъ бредитъ или видитъ сонъ. А между тѣмъ, эта пища дѣйствительно существуетъ, она находится въ пшеницѣ, и ее удаляютъ изъ пшеницы съ большимъ трудомъ. У пшеницы отнимаютъ значительную часть ея азота, ея жира, ея крахмала, солей, вкусныхъ и пріятныхъ матеріаловъ, для того только, чтобы освободиться отъ нѣсколькихъ тысячныхъ

долей клѣтчатки». Это краспорѣчивое воззваніе Мильона, напечатанное въ «Annales de chimie et de physique» за 1849 годъ, встрѣтило себѣ правдое опроверженіе. «Хлѣбпашецъ и садовникъ, — пишетъ Бушарда, — люди, постоянно работающіе и находящіеся въ постоянномъ движеніи, могутъ переваривать рѣшетный хлѣбъ; отруби, заключающіяся въ этомъ хлѣбѣ, находятъ себѣ полезное назначеніе. Но если вы дадите этотъ хлѣбъ слабому старику, то отруби, не разложившись, пройдутъ черезъ его кишечный каналъ, потому что пищеваренію помѣшаютъ плотность питательныхъ частицъ и тотъ шайтъ клѣтчатки, въ которомъ онѣ заключены. Не экономнѣе-ли будетъ въ этомъ случаѣ отдать отруби и мякину рогатому скоту и получить отъ него взаменъ мясо и молоко, въ высшей степени полезныя для людей съ слабыми пищеварительными органами».

Солдаты, получающіе въ крѣпостяхъ рѣшетный хлѣбъ, по словамъ Молешота, часто продаютъ свой паекъ и покупаютъ себѣ хлѣбъ изъ просѣянной муки. Дѣло въ томъ, что только сильный желудокъ способенъ переносить рѣшетный хлѣбъ, и каждый согласится съ тѣмъ, что пріятнѣе избѣгать разстройства, нежели лѣчиться отъ него. «Всякій, — говоритъ Молешотъ, — съ бѣльшимъ удовольствіемъ понесетъ деньги къ булочнику, чѣмъ къ аптекарю».

Эти два примѣра показываютъ ясно, что когда дѣло идетъ о пищѣ, то сравнительная дешевизна свѣдѣнныхъ припасовъ опредѣляется не только той суммой денегъ, которая за нихъ заплачена. Возь соломы дешевле четверти овса, но ежели вы станете кормить вашихъ лошадей соломой, то навѣрное въ концѣ концовъ останетесь въ убыткѣ. Картофель дешевле мяса, но если вы станете питаться картофелемъ, то навѣрное придете къ непріятнымъ и разорительнымъ результатамъ. Дешевымъ можно назвать то средство, которое съ наименьшими издержками ведетъ насъ къ желанной цѣли; если-же, платя ничтожную сумму, мы не достигаемъ предполагаемой цѣли, то мы бросаемъ деньги на вѣтеръ и утѣшаемся только тѣмъ, что бросаемъ ихъ мелкими клочками. Развѣ картофель можетъ быть названъ дешевой пищей? Развѣ онъ исполняетъ назначеніе пищи? Если онъ обманываетъ голодъ, то на это есть средства еще болѣе дешевыя: стоитъ только покрѣпче затянуть себѣ животъ, какъ дѣлаютъ то австралійскіе дикари, и въ этомъ средствомъ на нѣсколько часовъ укротите мучительное чувство голода; вы не дадите новой силы вашему организму, но этого не сдѣлаетъ и картофель; вся разница въ томъ, что картофельная діета ослабитъ и разстроитъ васъ мало-помалу и на медленномъ огнѣ сожжетъ ваши силы, между тѣмъ какъ голодъ разрушитъ ихъ быстро и заставитъ васъ испытать острые мученія въѣсто хронической болѣзни. Есть-ли между тѣмъ

и другимъ чувствительная разница?—это такой вопросъ, рѣшеніе котораго совершенно зависитъ отъ вашего вкуса, если дѣло идетъ о васъ самихъ; но если вы—администраторъ или филантропъ, если вы обязаны или желаете обсуживать и рѣшать вопросы народнаго продовольствія, тогда будьте осторожны и не рекомендуйте той или другой дешевой пищи, не справившись съ тѣмъ, насколько она питательна и здорова. Гокинсъ, познакомившій Ирландію съ картофелемъ, оказалъ ей плохую услугу; его можно оправдать только его невѣдѣніемъ; привести же невѣжество въ оправданіе какого-нибудь современнаго вамъ дѣятеля было бы безсмысленно, потому что теперь физиологія, діететика, гигиена возвысились до степени науки; кто не знакомъ съ успѣхами науки, тотъ рѣшительно неспособенъ быть судьей въ какомъ бы то ни было важномъ вопросѣ практической жизни, тотъ рѣшительно неспособенъ быть благодѣтелемъ челоѣчества въ какомъ бы то ни было отношеніи.

Время случайныхъ открытій миновало; усовершенствованія вырабатываются, а не рождаются сами собою. Микроскопъ и химическій анализъ—вотъ орудія современнаго прогресса, и при помощи этихъ орудій Молешотъ дошелъ до одного простаго, частичнаго, но существенно важнаго результата. Онъ доказалъ, что обработка стручковыхъ растений (чечевицы, гороха, бобовъ и фасоли) должна вытѣснить обработку картофеля. За первыми болше хлопотъ и издержекъ, но зато эти растенія даютъ такую пищу, которая во всѣхъ отношеніяхъ можетъ замѣнить собою мясо, недостаточное по своей цѣнѣ бѣднымъ работникамъ Западной Европы. Недостаточность картофеля, какъ главнаго пищи, сознается всѣми свѣдущими людьми. Съ разныхъ сторонъ слышатся предложенія замѣнить его какимъ-нибудь заморскимъ, еще не акклиматизованнымъ, растеніемъ. Верро хвалитъ корни трюфелевиднаго растенія, прозябающаго въ средней Африкѣ и извѣстнаго подъ англійскимъ именемъ «native bread» (туземный хлѣбъ). Воксъ рекомендуетъ корни *Glucine Apios*, растущей въ Каролинѣ; Трекюль указываетъ на *Apios tuberosa*, находящуюся въ Миссури; Мульдербъ говоритъ объ обильнѣ бѣлковины, заключающейся въ корняхъ *Ullico tuberosus*. Всѣ эти растенія съ мудреными названіями надо еще пріучать къ европейской почвѣ, а между тѣмъ горохъ, бобы и чечевица цвѣтутъ на нашихъ глазахъ и нуждаются только въ томъ, чтобы мы расширили масштабъ ихъ обработки. Простой, чисто-жителскій совѣтъ Молешота, основанный въ то-же время на тщательномъ анализѣ составныхъ частей рекомендуемыхъ имъ растеній, во всякомъ случаѣ долженъ былъ бы обратить на себя вниманіе европейскихъ агрономовъ.

Если мысль Молешота можетъ быть осуще-

ствлена на дѣлъ, то послѣдствія этого осуществленія навѣрное будутъ имѣть самое благотворное вліяніе на улучшение народной нравственности, на развитіе народного богатства, на усиленіе народной дѣятельности и предприимчивости.

## VII.

Послѣ всего, что было говорено выше, трудно сомнѣваться въ томъ вліяніи, которое оказываетъ пища на темпераментъ, направленіе и дѣятельность мысли, словомъ, навесъ нравственный и интеллектуальный характеръ человѣка. Есть осизательные факты, способные убѣдить самаго необузданнаго идеалиста. Въ кузницахъ департамента Тарнъ рабочихъ постоянно кормили растительной пищей; по ежегоднымъ отчетамъ оказывалось, что каждый работникъ круглымъ числомъ проводилъ въ году 15 дней въ лазаретѣ. Въ 1833 году Талабо, назначенный главнымъ начальникомъ этихъ заведеній, ввелъ мясную пищу, и здоровье рабочихъ поправилось такъ сильно, что уже только три дня въ году приходилось на бѣдъзни. При этомъ нужно принять въ соображеніе то, что рабочій уходилъ въ лазаретъ тогда, когда уже чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ къ работѣ, что онъ нѣсколько времени перемогался, работалъ черезъ силу, старался выходить и переломить бѣдъзнь; окажется, что 15 дней лежанія въ больницѣ равняются нѣсколькимъ мѣсяцамъ ненормальнаго состоянія, мрачнаго и раздражительнаго расположенія духа. Здоровая пища въ пять разъ уменьшила число больничныхъ дней; ясно, что она вмѣстѣ съ тѣмъ значительно измѣнила характеръ рабочихъ; кто впятеро рѣже бываетъ боленъ, тотъ по крайней мѣрѣ вдвое веселѣе и бодрѣе, у того по крайней мѣрѣ вдвое успѣшнѣе идетъ работа, и вслѣдствіе этого вдвое больше родится надеждъ и предприятий. Ирландцы, переселяющіеся въ Америку, часто представляютъ замѣчательные примѣры физическаго и нравственнаго превращенія. Изнуренный и органически испорченный картофельной діетой, ирландецъ лѣнивъ по слабости, вслѣдствіе химическаго состава крови, и не годится у себя дома ни на какую работу. Тотъ-же ирландецъ переѣзжаетъ въ Америку, подкрѣпляетъ свои силы сочнымъ мясомъ—и становится другимъ человѣкомъ; мускулы становятся тверже, работа идетъ успѣшнѣе; смѣлость, предприимчивость, веселая бодрость и самоуваженіе, естественныя слѣдствія здоровья и успѣшной дѣятельности, вытѣсняють мало-по-малу прежнія неутѣшительныя черты ирландскаго характера. Ирландецъ перерождается на новой почвѣ и становится другимъ человѣкомъ вслѣдствіе обильной и здоровой пищи. Различіе типовъ въ различныхъ сословіяхъ навѣрное находится въ связи со свойствами принимаемой ими пищи.

Насколько свойства пищи имѣютъ вліяніе на особенности народнаго характера, это опредѣлать, вѣроятно, болѣе тщательныя изслѣдованія; здѣсь достаточно будетъ привести нѣсколько общихъ замѣчаній. Племена, питающіяся звѣриной ловлей, отличаются большей частью физической силой и отвагой; тѣмъ-же свойствами, хотя не въ такой степени, одарены кочевые народы, питающіеся молокомъ и мясомъ; многіе расположены искать причины этихъ свойствъ въ образѣ жизни этихъ племенъ; но при этомъ не должно забывать, что образъ жизни развивается изъ особенностей темперамента, что темпераментъ обуславливается преимущественно химическимъ составомъ крови, и что кровь вырабатывается изъ принимаемой пищи.

Невозможно отрицать вліяніе мѣстности и климата; но невозможно также не видѣть, что эти условія дѣйствуютъ уже на нѣчто данное, на существующее тѣло, и что слѣдовательно всего важнѣе вопросъ: изъ чего составилось это тѣло? Вопросъ о принимаемой пищѣ равносильнъ этому вопросу и слѣдовательно всего ближе подходитъ къ вопросу о личномъ характерѣ человѣка. «Пока яванцы будутъ питаться преимущественно рисою, а суринамскіе негры банановой мукой, до тѣхъ поръ они будутъ подчинены голландцамъ», говоритъ Молошотъ. «Безъ сомнѣнія, преобладаніе англичанъ и голландцевъ надъ туземцами своихъ колоній зависитъ преимущественно отъ большаго развитія мозга; мозгъ зависитъ отъ химическаго состава крови, а кровь—отъ пищи. Сравните, на примѣръ, кротость отаитянъ, питающихся плодами, съ дикостью новозеландцевъ, упивающихся кровью своихъ враговъ». («Физ. эск.»).

Въ дѣйствиіи вина на организмъ и мыслительныя способности человѣка всего ярче обнаруживается наша зависимость отъ матеріи; нѣсколько рюмокъ крѣпкаго напитка измѣняютъ человѣка совершенно; если онъ былъ грустенъ, онъ становится веселъ; если онъ былъ сосредоточенъ, онъ становится общителенъ; шутки, остроты, откровенныя изліянія, внезапныя порывы гнѣва, неожиданныя припадки чувствительности—рядъ словъ и поступковъ, на которые тотъ-же самый человѣкъ никогда бы не рѣшился при другихъ условіяхъ, становится естественнымъ въ его собственныхъ глазахъ и понятнымъ для всѣхъ окружающихъ; всѣ говорятъ: «онъ пьянъ»; и извиняють многое, чего не извинили бы трезвому. Состояніе пьянаго человѣка рѣзко отдѣляется отъ нормальнаго положенія; это дѣлають потому, что напряженіе силъ и нервовъ, произведенное дѣйствіемъ вина, продолжается очень недолго и вскорѣ смѣняется расслабленіемъ организма и усыпленіемъ субъекта; сверхъ того, это напряженіе рѣзко бросается въ глаза, и потому невольно кажется намъ подозрительнымъ и какъ

будто болѣзненнымъ. Но сравните между собою двухъ трезвыхъ людей: одинъ изъ нихъ хладнокровенъ и разсудителенъ, спорить спокойно, возражаетъ мягко, дѣлаетъ жесты умѣренные и скромные; другой горячъ и впечатлительнъ, споритъ съ ожесточеніемъ, кричитъ на васъ, машетъ руками и во всякую минуту готовъ вамъ наговорить дерзостей, въ которыхъ черезъ четверть часа будетъ просить извиненія. Если бы эти два господина А и В помѣнялись между собою ролями, вы навѣрное подумали бы, что А пьянъ, а В боленъ и потому не въ мѣру тихъ и кротокъ. Между тѣмъ А не дѣлалъ бы ничего неприличнаго; онъ только обнаруживалъ бы ту степень страстности, съ которой вы уже совершенно освоились въ В; разница между прежнимъ А и теперешнимъ показала бы вамъ поразительной только потому, что та возникла вдругъ, безъ всякихъ переходовъ и промежуточныхъ инстанцій. Если вы сегодня видѣли 10-ти-лѣтняго ребенка, который приходится вамъ по-поясъ, и черезъ четверть часа увидите, что тотъ-же самый ребенокъ приходится вамъ по плечо, то вы скажете конечно, что его поставили на ходули; но если вы увидите того-же ребенка лѣтъ черезъ пять, то васъ даже несколько не удивитъ происшедшая въ немъ перемѣна, единственно потому, что вы видѣли или можете предположить промежуточные инстанціи. Если бы, выдаясь постоянно съ А, вы видѣли и замѣчали, что его спокойная природа становится постепенно живѣе и страстнѣе, и если бы лѣтъ черезъ пять онъ сдѣлался очень похожъ на В, то вы, вѣроятно, не стали бы объяснять дѣйствіемъ вина эту странность и впечатлительность. Вы только сказали бы, припоминая прошлое, что въ характерѣ вашего знакомаго произошла значительная перемѣна; эта перемѣна, совершившаяся внезапно, могла бы васъ озадачить и испугать; совершаясь постепенно, она васъ будетъ радовать; вы увидите въ ней признакъ здоровья и возрастающей силы. Слабая степень опьяненія оказывается такимъ образомъ усиленіемъ и ускореніемъ кровообращенія, произведеннымъ внезапно и вслѣдствіе этого продолжающимся недолго. Укрѣпляющая пища, принимаемая въ изобиліи, произведетъ при продолжительномъ дѣйствіи на организмъ тѣ-же явленія, которыя производятъ лишняя рюмка крѣпкаго вина, съ той только существенной разницею, что эти явленія будутъ нормальнымъ достояніемъ организма, а не результатомъ временнаго возбужденія.

Наша зависимость отъ вѣчныхъ свойствъ матеріи, выражающаяся рѣзко въ дѣйствіи вина на организмъ, выражается не такъ рѣзко, но зато болѣе прочнымъ образомъ, въ дѣйствіи мясной и растительной пищи. Эту зависимость хорошо понимали поборники аскетизма; воздержаніе отъ мясной пищи было необходимо для достиженія ихъ цѣлей; надо было ослабить мускулы

и разводянить кровь, чтобы приучить человѣка къ изнуренію плоти. Всѣ мы знаемъ по опыту, что воздержаніе отъ мясной пищи уменьшаетъ половое влеченіе; противъ этого никто не споритъ, какъ противъ существующаго факта; а допуская это обстоятельство, можно-ли долѣе сомнѣваться въ зависимости всего нравственнаго характера отъ химическаго состава пищи. Развѣ могутъ смотрѣть одними глазами на разнообразныя явленія жизни сильный и слабый, здоровый и больной, человѣкъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова и аскетъ, изуродованный образомъ жизни и питанія? Краски и звуки окружающей природы, дѣйствія и личности близкихъ людей, движенія собственной мысли и собственного чувства—словомъ, всѣ матеріалы, надъ которыми работаетъ жаждающая дѣятельность нашего мозга, представляются въ различномъ свѣтѣ этимъ двумя діаметрально-противоположнымъ типамъ. Тамъ, гдѣ здоровый и сильный человѣкъ увидитъ только пестроту и разнообразіе явленій, привлекательную игру жизни, тамъ слабый и больной увидитъ тѣту міра сего, суетность земной красоты, неразумное и незаконное уклоненіе отъ вѣчной нормы; тамъ, гдѣ первый снисходительно улыбнется, тамъ второй нахмуритъ брови; тамъ, гдѣ первый увлечется живымъ порывомъ, тамъ второй призветъ на помощь суровыя требованія идеала; то, что первый пойметъ и оправдаетъ инстинктомъ сердца, силой чувства, то осудитъ второй педагогическимъ приговоромъ сухого разсудка, вращающагося въ ограниченной сферѣ одностороннихъ отвлеченностей.

«Сытый голоднаго не разумѣетъ», говоритъ русская пословица, и эту пословицу въ самомъ буквальномъ смыслѣ можно приложить ко всѣмъ сферамъ духовной дѣятельности человѣчества. Разладъ между сытыми и голодными, между людьми наслаждающимися и людьми страдающими продолжится до тѣхъ поръ, пока на бѣломъ свѣтѣ будутъ люди, нуждающиеся въ необходимомъ, и люди, упорно отворачивающиеся отъ наслажденія; обезпечить матеріальное существованіе первыхъ и побѣдить разумными доводами упорство вторыхъ—эти двѣ великія задачи, сознанныя уже нашей эпохой, предстоитъ окончательно рѣшить отдаленному будущему. Уничтоженіе матеріальныхъ лишеній и связанныхъ съ ними физическихъ страданій уничтожило бы большую часть общественныхъ золъ и преступленій. Каждая дикая мысль, каждое отчаянное движеніе души могутъ быть приведены въ нѣкоторую зависимость отъ неправильнаго или недостаточнаго питанія; тѣ-же обстоятельства жизни, тѣ-же столкновенія съ печальной дѣйствительностью производятъ совершенно различное впечатлѣніе на сытаго и на голоднаго, на здороваго и на больного. «Мы рождены изъ матеріи,—говоритъ Молашотъ;—растенія, вытягивающія свойственные имъ соли

изъ земли, связываютъ насъ съ извѣстною почвой. Черты нашего лица и мысли нашего мозга имѣютъ такую-же географію, какъ и растения. Мы не можемъ жить безъ пищи и потому не можемъ избѣжать вліянія матеріи, распространяющагося изъ кишечнаго канала черезъ кровь во всѣ части нашего тѣла при каждомъ кускѣ пищи, который мы проглатываемъ» («Phys. Ski'z»).)

Связанный такимъ образомъ съ почвой, на которой онъ живетъ, человѣкъ господствуетъ надъ этой почвой, умѣя выбирать себѣ именно то, что ему нравится и что онъ признаетъ для себя необходимымъ. Не ограничиваясь простымъ утоленіемъ голода и жажды, человѣкъ создаетъ себѣ потребности, которыя можно было бы назвать искусственными, если бы онъ не проявился одновременно у всѣхъ народовъ земнаго шара, и если бы какой-то непосредственный инстинктъ не указывалъ этимъ народамъ на разнообразныя средства, удовлетворяющія этимъ потребностямъ. Стремленіе къ наркотическимъ веществамъ существуетъ у аравитянъ и у гренландцевъ, у негровъ и у европейцевъ, у индусовъ и у американскихъ индійцевъ. Сибирскіе дикари пьютъ настой мухомора; турки курятъ табакъ и опиумъ; мы пьемъ чай, кофе, пиво, вино и куримъ табакъ; индусы жуютъ бетель, перуанцы—коку; негры готовятъ вино изъ пальмоваго сока, киргизы—изъ кобыльаго молока: всѣ безъ исключенія находятъ возможность какимъ-нибудь снадобьемъ привести себя въ возбужденное состояніе. Колоритъ этого возбужденія измѣняется, смотря по свойствамъ принятаго вещества, смотря по силѣ пріема и по комплекціи принимающаго субъекта.

Между тѣми галлюцинаціями, которыя возбуждаютъ опиумъ и гашишъ, и тѣмъ слабымъ возбужденіемъ, которое доставляетъ чашка крѣпкаго чаю,—лежитъ множество промежуточныхъ стѣпеновъ. Сильное напряженіе нервовъ, порождаемое опиумомъ и гашишемъ, ведетъ за собою всеобщее разслабленіе и страданіе; крѣпкій чай производитъ только біеніе сердца и очень медленно разстраиваетъ нервную систему; поэтому опиумъ и гашишъ употребляютъ на Востокѣ люди, готовые за нѣсколько минутъ жгучаго наслажденія заплатить годами страданій; чай и кофе, напротивъ того, пьютъ европейцы, съ величайшею осторожностью и бережливостью тратящіе силы. Генрихъ Кенигъ говоритъ, что кофе принадлежитъ католикамъ, а чай—протестантамъ. Дѣйствительно, тщательныя наблюденія показали, что кофе развиваетъ силу воображенія, а чай изощряетъ критическую способность ума; въ сѣверной Германіи преобладаетъ чай, въ южной—кофе. Движеніе идей, начавшееся въ XVIII столѣтіи, совпадаетъ съ введеніемъ въ Европѣ чая и кофе во всеобщее употребленіе; правители, боявшіеся этого движенія, запирали кофейные дома, служившіе сборнымъ

мѣстомъ для людей, интересовавшихся политическими вопросами; такъ распорядился Карлъ II, но эта полицейская мѣра не принесла особенной пользы династіи Стюартовъ и не остановила даже распространенія чая и кофе.

Видѣть въ употребленіи чая или кофе причину того или другого политическаго переворота было бы, конечно, смѣшно, но вотъ съ какой стороны можно посмотрѣть на дѣло: если бы народонаселеніе какого-нибудь государства вмѣсто стакана чая выпивало утромъ и вечеромъ по стакану пива, то у большей части жителей нервы сложились бы какъ-нибудь иначе; не было бы той впечатлительности, той подвижности, той раздражительности, которую возбуждаетъ чай; мозговые нервы воспримчивѣе остальныхъ веществъ; вліяніе наркотическихъ веществъ; очень понятно, что въ мозговыхъ нервахъ и выразилось бы всего сильнѣе дѣйствіе пива или чая. Скорость и послѣдовательность въ развитіи идей, вліяніе воспринятой идеи на поступки, словомъ, логика и практическая философія народа всего замѣтнѣе могутъ измѣниться отъ того, что одинъ наркотическій напитокъ будетъ замѣненъ другимъ. Представьте же себѣ, что въ государство это проникаетъ какая-нибудь новая, общечеловѣческая идея; скоро-ли она распространится, встрѣтитъ-ли себѣ горячее сочувствіе, найдется-ли критическое опроверженіе, явятся-ли въ отношеніи къ этой идеѣ фанатическіе адепты или благоразумные цѣнители,—все это такіе вопросы, на которые можно отвѣчать приблизительно вѣрно только въ томъ случаѣ, если мы будемъ знать главныя особенности народной логики или, проще, если мы будемъ знать свойства мозговыхъ нервовъ отдѣльныхъ гражданъ. На положеніе этихъ нервовъ имѣютъ несомнѣнное вліяніе употребительныя наркотическія напитки. Стало быть, эти-же напитки имѣютъ нѣкоторую долю вліянія на судьбу той или другой великой идеи.

«Посредствомъ кофе,—говоритъ Молешотъ,—точно такъ-же, какъ посредствомъ пароходовъ и электрическихъ телеграфовъ, пускается въ обращеніе рядъ мыслей, возникаетъ теченіе идей, проектовъ и предпріятій, которые всѣхъ увлекаютъ за собою». Не одинъ историкъ-мыслитель придетъ въ негодованіе при мысли о мировомъ значеніи чая или кофе; употребленія слова «духъ времени, требованія эпохи, настроеніе умовъ», онъ не думаетъ и не гадаетъ, что въ основѣ всѣхъ этихъ высокихъ представленій лежатъ часто матеріальныя причины, которыя еще ждутъ себѣ правильной оптики. Развитіе промышленности, путей сообщенія, торговли и военнаго дѣла принимаются въ соображеніе и считаются существенными чертами въ прогрессѣ народностей и въ совершенствованіи всего человѣчества. Когда рѣчь заходитъ о выборѣ и

приготовленіи пищи, т. е. о построеніи нашего собственного тѣла, тогда мы улыбаемся или дѣлаемъ гримасу, относимся къ изслѣдованію, какъ къ безвредной шуткѣ, или осуждаемъ его, какъ неумѣстный парадоксъ. Наши историки говорятъ о тѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, которыя клонятся къ тому, чтобы доставить нашему тѣлу извѣстнаго рода комфортъ, избытокъ и частости жизненнаго наслажденія, и ничего не говорятъ о томъ, изъ чего слагалось это тѣло, и какъ съ теченіемъ времени совершенствовались и очищались эти строительные матеріалы. Эта странная непослѣдовательность извиняется съ одной стороны молодостью естественныхъ наукъ, не успѣвшихъ еще занять свое мѣсто въ ряду руководящихъ знаній исторіи, съ другой стороны—бѣдностью историческихъ свидѣтельствъ о пицѣ различныхъ народовъ и различныхъ сословій. Теперь интересъ къ естественнымъ наукамъ пробуждается, мелочи перестаютъ считаться бесполезными и незанимательными, анализъ подробностей разрушаетъ туманныя теоріи и звонкія фразы, и зданіе антропологии, надъ фундаментомъ котораго работаютъ люди, подобные Фохту и Мошоту, основывается на твердыхъ фактахъ, на неопровержимыхъ данныхъ непосредственнаго опыта и точнаго наблюденія.

Надѣюсь, что, прочитавъ эти страницы, наша публика согласится съ тѣмъ, что изслѣдованія Мошота о съѣстныхъ припасахъ, представленныя въ популярной формѣ, заслуживаютъ полнаго вниманія всякаго образованнаго человека и могутъ имѣть самое благотворное вліяніе на дѣятельность молодой, формирующей мысли, сбрасывающей оковы рутиннаго фразерства и подавляющаго мистицизма. Веселѣе жить, легче дышать, когда вмѣсто призра-

ковъ и отвлеченностей видишь осязательныя явленія и создаешь какъ свою зависимость отъ нихъ, такъ и свое господство надъ ними. Я беру въ руки топоръ и знаю, что могу этимъ топоромъ срубить себѣ домъ или отрубить себѣ руку; я держу въ рукѣ бутылку и знаю, что налитое вино можетъ доставить мнѣ умѣренное наслажденіе или довести меня до уродливыхъ нелѣпностей; въ каждой частицѣ матеріи лежитъ и наслажденіе, и страданіе; все дѣло въ томъ, чтобы знать ея свойства и умѣть ими пользоваться, какъ мы умѣемъ пользоваться топоромъ и виномъ; чѣмъ шире и глубже становятся наши знанія, тѣмъ полнѣе и безслѣднѣе расплываются въ ничто неуклюжіе призраки Ормузда и Аримана, пугавшіе довѣрчивое дѣтство отдѣльных личностей и цѣлыхъ народовъ. Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизмѣняются, дробятся и разлагаются, кружатся и движутся безъ цѣли и безъ остановки, проходятъ черезъ наше тѣло, порождаютъ новыя тѣла—и вотъ вся жизнь, и вотъ исторія. Но формы для насъ дороже матеріала; мы любимъ и ненавидимъ только формы, сражаемся за формы и противъ формъ, и потому въ исторіи, конечно, слѣдимъ за развитіемъ и увяданіемъ формъ, а не матеріала, потому что матеріалъ вѣченъ, неизмѣненъ. Это естественно, но, изучая формы, надо же знать и матеріалы, хотя бы для того, чтобы опредѣлить, насколько дорогія намъ формы зависятъ отъ свойствъ матеріала,—хотя бы для того, чтобы овладѣть матеріаломъ и располагать имъ по своему благоусмотрѣнію. Изученіе матеріала и изученіе формъ, естественныя науки и гуманныя, химія и исторія должны идти рука объ руку и сознать въ себѣ потребность соединенія, хотя самое соединеніе относится также къ области будущаго.

# ПРОЦЕССЪ ЖИЗНИ.

Физиологическія письма *Карла Фохта*.

(«Physiologische Briefe» von Carl Vogt).

## I.

Представьте себѣ, что вамъ приходится описывать очень сложную машину съ замысловатымъ внутреннимъ устройствомъ, которое непременно должно находиться во время дѣйствія снаряда въ плотно закупоренномъ ящикѣ, чтобы не подвергнуться разлагающему влиянію атмосфернаго воздуха, чтобы не отсырѣть, не засориться и не придти въ негодность. Представьте себѣ, что эта машина приводится въ движеніе не одними механическими средствами (т. е. не только колесами, гириями, шестернями и цѣпочками), а кромѣ того химическими соединеніями и разложеніями, совершающимися внутри снаряда. Чтобы дать читателямъ какое-нибудь понятіе объ этой сложной машинѣ, вамъ поневолѣ придется описывать ее по частямъ, представлять ее въ разрѣзѣ, вынимать изъ нея отдѣльныя колеса и гири, разсматривать химическіе агенты, словомъ, разрушать ту общую связь, которая необходима для усильнаго дѣйствія снаряда. Вамъ придется утомлять вниманіе читателя мелкими подробностями, которыхъ необходимость нѣсколько времени будетъ оставаться для него непонятной; въ то время, когда читатель будетъ требовать отъ васъ общаго, идеи снаряда, вы будете принуждены говорить ему о дѣйствіи того или другого блока, о свойствахъ той или другой щелочи. Въ такомъ-то неперіятномъ положеніи находится физиологъ, пытающійся сообщить публикѣ въ популярной формѣ главные результаты новѣйшихъ изслѣдованій, касающихся человѣческаго организма. Конечно, никакая машина не можетъ интересоваться насъ такъ сильно, какъ интересуется насъ наше собственное тѣло. Но за то какая-же машина сложностью своего внутренняго устройства можетъ сравниться съ животнымъ организмомъ? Какая машина представляетъ наблюдателю такія, на первый взглядъ непреодолимыя, препятствія? Мы хотимъ видѣть машину въ полномъ ходу,—это оказывается невозможнымъ. Какъ только мы попытаемся какимъ-нибудь способомъ

раскрыть дверцу, чтобы бросить любопытный взглядъ на внутреннее устройство, такъ это внутреннее устройство оказывается насильственно измѣненнымъ; гармонія нарушена, и намъ остается только догадываться, какъ было прежде, до той минуты, когда мы разорвали живую связь органическихъ тканей.

О тѣхъ временахъ, когда предразсудокъ мѣшалъ врачамъ анатомировать трупы, нечего и говорить; въ тѣ времена физиологія не существовала, какъ наука; тогда приходилось любознательному врачу рѣзать кошекъ, собакъ, кроликовъ, и по аналогіи возсоздавать внутреннее устройство человѣческаго тѣла; зато тогда медицина опиралась на магію; поле этихъ двухъ наукъ не можетъ быть разграничено, и многіе знаменитые врачи за излишнюю догадливость попадали въ тюрьму священной инквизиціи и умирали на кострахъ. Теперь измѣнились препятствія, измѣнились опасности, угрожающія физиологу; наука далеко подвинулась впередъ, но и теперь она еще нуждается почти въ оправданіи, въ извиненіи въ глазахъ той массы, которая именно всего болѣе нуждается въ знаніяхъ и которая уже потому, что знаетъ грамотѣ, была бы дѣйствительно способна усвоить себѣ результаты изслѣдованія. Теперь добросовѣстный и талантливый изслѣдователь рискуетъ остаться непрочитаннымъ только потому, что онъ не забываетъ впередъ фактовъ, не строитъ скороспѣлыхъ теорій, не возвышается преждевременно до синтетическихъ взглядовъ. Мы все еще сильно заражены наклонностью къ натурфилософіи, къ познанію общихъ свойствъ естества, основныхъ началъ бытія, конечной цѣли природы и человѣка, и прочей дребедени, которая смущаетъ даже многіхъ спеціалистовъ и мѣшаетъ имъ обращаться какъ слѣдуетъ съ микроскопомъ и съ анатомическимъ ножомъ. Теоріи физиологіи растутъ какъ грибы подъ руками плодовитыхъ писателей; медицина кидается на эти теоріи, прилагаетъ ихъ къ дѣлу, едва провѣривъ степень ихъ относительности; является путаница, практическія ошибки, отзывающіяся сотнями



смертных случаевъ, сотнями и тысячами неудачныхъ лѣченій. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, иначе объяснить появленіе на нашихъ глазахъ разныхъ противорѣчивыхъ системъ лѣченія, гомеопатіи, гидротатіи, магнитическаго, электрическаго, гальваническаго лѣченія? Если все это не одно чистое шарлатанство, чтѣ предположить какъ-то совѣстно, то это продукты скороспѣлыхъ теорій, а скороспѣлыя теоріи—остатокъ среднейковой методы восходить къ началу всѣхъ началъ, когда знаешь факты изъ пятого въ десятое, и когда почва еще колыхнется подъ ногами.

Естественныя науки не то, что исторія, совсѣмъ не то, хоть Бокль и пытается привести ихъ къ одному знаменателю. Въ исторіи все дѣло въ воззрѣніи, въ гуманной личности самого писателя; въ естественныхъ наукахъ все дѣло въ фактѣ; если бы Маколей ошибся сто разъ въ фактическомъ разсказѣ событій, и тогда бы его произведенія имѣли для насъ несравненно болѣе прелести, болѣе жизненной полноты и человѣческаго достоинства, чѣмъ творенія какого-нибудь Капфига или Миркура, хотя бы эти господа не ошиблись ни въ одномъ годѣ, ни въ одной генеалогической подробности. Разсматривая прошедшую жизнь человѣчества, я непремѣнно становлюсь къ ея проявленіямъ въ тѣ или другія отношенія; если-же у меня нѣтъ никакихъ отношеній къ прошедшимъ событіямъ, тогда становится непонятнымъ, для чего-же я ихъ разсказываю. Лѣтописецъ записываетъ для того, чтобы событія не пропали для потомства. А историкъ такой причины въ наше время привести нельзя. Лѣтописи не пропадутъ; онѣ хранятся въ библіотекахъ и архивахъ, за замками и запорами. Стало быть, если я беру эти лѣтописи, то для того, чтобы сказать что-нибудь по поводу событій, а не для того, чтобы пересказать событія, иначе и Семейскаго придется зачислить въ русскіе историки. Исторія есть осмысленіе событія съ личной точки зрѣнія автора; каждая политическая партія можетъ имѣть свою всемірную исторію и дѣйствительно имѣть ее, хотя, конечно, не всѣ эти исторіи записаны, точно такъ-же, какъ всякая философская школа имѣетъ свой философскій лексиконъ. Исторія есть и всегда будетъ теоретическимъ оправданіемъ извѣстныхъ практическихъ убѣжденій, составившихся путемъ жизни и имѣющихъ свое положительное значеніе въ настоящемъ. Объ естественныхъ наукахъ этого, конечно, нельзя сказать; природѣ нѣтъ никакого дѣла до того, какъ вы объ ней думаете; если вы ошиблись, она васъ помнетъ или совсѣмъ раздавитъ, какъ помнетъ или раздавитъ васъ колесо огромной машины, къ которой вы подошли слишкомъ близко во время ея полного хода. Изучая природу, вы имѣете дѣло съ слѣпыми силами, но съ силами громадными, постоянно дѣйствующими,

которыя не поддадутся для васъ ни вправо, ни влево. Управлять вы ими можете, но для этого вы должны *знать* ихъ, а не составлять себѣ объ нихъ произвольныя теоретическія понятія. Каждая естественная наука имѣетъ свои практическія приложенія; отъ степени развитія этихъ практическихъ приложеній зависитъ вся наша жизнь; самосохраненіе, удобства жизни, наслажденія—все это возможно только при знаніи окружающей природы; тутъ ужъ на теоріи далеко не уйдешь.

Цѣль естественныхъ наукъ—никакъ не формирование міросозерцанія, а просто увеличеніе удобства жизни, расширеніе и расчищеніе того русла, въ которомъ текутъ наши интересы, занятія, наслажденія, словомъ, все то, чтѣ мы называемъ жизнью. Для естествоиспытателя нѣтъ ничего хуже, какъ имѣть міросозерцаніе. Если вы думаете, что Фохтъ, Молешотъ и другіе подобныя имъ имѣютъ міросозерцаніе, то вы сильно ошибаетесь. Эти люди просто настолько сильны умомъ, что откинули всѣ бредни, которыми наслаждались, а подчасъ и пугали себя окружающія ихъ взрослые дѣти въ очкахъ, въ парикахъ, съ бородами и бакенбардами. Они рѣшились каждую вещь брать въ руки, осматривать, класть ее подъ микроскопъ, опускать въ кислоту и потомъ сообщать публикѣ описанія своихъ опытовъ съ рисунками и чертежами; какъ люди, способные работать мозгомъ, они, конечно, видѣли нѣкоторую связь между наблюдаемыми явленіями и даже старались находить эту связь, располагая свои наблюденія въ извѣстной послѣдовательности; общихъ результатовъ они не нашли еще, потому ли, что ихъ вовсе нѣтъ, или же потому, что фактическая часть науки еще малоизвѣстна; какъ бы то ни было, но своей теоріи міра они не построили, и въ этомъ, вообразите себѣ, и состоитъ величайшая ихъ заслуга. Когда люди, расположенные строить теоріи міра, берутся за изученіе природы, то они дѣлаются Сведенборгами или Экартсгаузенами, или же, по крайней мѣрѣ, подобно Мильну-Эдвардсу, превращаютъ природу въ специалиста политической экономіи. Мнѣ всегда приходило въ голову, что подобныя господа положительно не поняли своихъ наклонностей и способностей. Въ нихъ творчество положительно преобладаетъ надъ любознательностью. Имъ бы слѣдовало усвоить себѣ извѣстную форму изложенія и писать романы, повѣсти, поэмы, лирическія мелочи, все, что угодно, только никакъ не ученныя изслѣдованія. Оно, конечно, пріятно смотрѣть на природу, какъ на кучку пестрыхъ камешковъ, изъ которыхъ можно сложить красивую, пеструю мозаику; но вѣдь надо же себя поставить на мѣсто тѣхъ людей, которые желали бы видѣть, какъ эти пестрые камешки лежатъ не въ книгѣ неудавшагося поэта, а на самомъ дѣлѣ въ живой дѣйствительности. Зачѣмъ же этихъ людей вводить въ за-

блужденіе заглавіемъ книги? Если бы на оберткѣ было написано: *Фантазія такого-то о природѣ, въ стихахъ и прозѣ*, то, можетъ быть, эти люди и въ руки не взяли бы этого произведенія.

Да, строители теоріи или, что то-же, неудавшіеся поэты надѣлали много вреда; они, напримѣръ, до такой степени извратили понятія и вкусъ публики, что публика требуетъ отъ изслѣдованія натуралистовъ — направленія. Ради Бога, господа, вникните въ безобразіе этого требованія: направленія отъ натуралистовъ. Я поясню это требованіе короткимъ разсказомъ дѣйствительнаго происшествія. Мнѣ случилось разговаривать о Молешотѣ съ однимъ знакомымъ мнѣ, современно развитымъ гуманистомъ. Мой собесѣдникъ упрекнулъ Молешота въ аристократизмъ. Я пришелъ въ недоумѣніе и ждалъ, что то будетъ. Помилуйте, продолжалъ гуманистъ, онъ придаетъ такое значеніе пищѣ, что по его теоріи выйдетъ такъ: кто хорошо обѣдаетъ, тотъ и силенъ, и уменъ, а тотъ, у котораго рѣдко бываетъ во шахъ кусокъ мяса, стало быть, дрянъ. Мой знакомый долго продолжалъ говорить на эту тему, но направленіе его рѣчи уже намѣчено, и потому я его оставлю въ сторонѣ. Что же касается до Молешота, его конечно защищать мудрено. Онъ виноватъ безъ оправданія! Какъ онъ смѣлъ, вопреки гуманнѣйшимъ тенденціямъ вѣка, доказывать, что мясная пища даетъ силы мускуламъ и мозгу, а растительная заставляетъ организмъ почти исключительно заниматься пищевареніемъ! Можно было бы возразить пожалуй, что для бѣдныхъ ирландцевъ было бы полезнѣе, если бы филантропы поменьше восторгались ихъ патриархальными добродѣтелями и побольше заботились о замѣненіи картофеля чечевицею и горохомъ. Но филантропы такого возраженія не примутъ: если вы скажете, что народъ грубъ, они обвиняютъ васъ въ негуманности; если вы скажете, что порода измельчала и испортилась отъ дурной пищи и дурного образа жизни, они обвиняютъ васъ въ кощунствѣ. Преклоняйтесь предъ народной правдой, уважайте даже народныя шутки да кашу и не вѣрьте Молешоту, котораго, по выраженію Полонскаго, изучаетъ самъ чортъ, — вотъ что скажутъ вамъ филантропы, гуманисты, которые всѣ болѣе или менѣе подходятъ подъ типъ неудавшихся поэтовъ.

## II.

Фохтъ не поэтъ; его физиологическія письма написаны безъ міросозерцанія; съ міромъ онъ и не имѣетъ дѣла; онъ старается описать понятнымъ языкомъ главныя органическія отправления, образующія собою тотъ страшно сложный процессъ, который мы называемъ простымъ, общезвѣстнымъ словомъ жизнь. Вся книга Фохта состоитъ изъ отдѣльныхъ подробностей и исчер-

пываетъ, насколько это теперь возможно, только одну сторону жизни, растительную жизнь (*das vegetative Leben*). Въ книгѣ Фохта говорится только о томъ, какъ поддерживается органическая жизнь, т. е. какъ обращается кровь, какъ совершается процессъ дыханія, какъ принимается и переваривается пища. Цѣлая огромная сторона жизни остается еще нетронутой; о жизни животной, т. е. о воспріятіи и переработкѣ впечатлѣній, о дѣятельности нервной системы, въ этомъ томѣ еще не сказано ни слова. Говоря о различныхъ отправленияхъ растительной жизни (т. е. о той жизни, которая составляетъ общее достоиніе растений и животныхъ), Фохтъ принужденъ бороться съ рутинной и скрытымъ мистицизмомъ прежнихъ физиологовъ. Говорить ли онъ о кровообращеніи, о дыханіи или о пищевареніи, ему вездѣ приходится еще *доказывать*, что всѣ эти процессы совершаются по простому сдѣянію физическихъ и химическихъ законовъ, безъ всякаго вмѣшательства посторонней, таинственной силы. Эту таинственную силу прежніе физиологи называли жизненной силой. Гдѣ кончались предѣлы ихъ наблюденій, тамъ они вмѣсто того, чтобы откровенно сказать «не знаю», говорили: здѣсь начинается дѣйствіе жизненной силы.

«Жизненная сила, — говоритъ Фохтъ, — принадлежитъ къ числу тѣхъ заднихъ дверей, которыхъ такъ много въ наукѣ и которыя всегда будутъ убѣжищемъ праздныхъ умовъ; вмѣсто того, чтобы потрудиться да изслѣдовать то, что на первый взглядъ кажется непостижимымъ, эти умы довольствуются тѣмъ, что дивятся кажущемуся чуду. Медицина въ этомъ отношеніи особенно изобрѣтательна. Боже милостивый! Что бы случилось съ медицинскою практикой, если бы не было подъ руками терминовъ: ревматизмъ, ипохондрія и истерія, этихъ трехъ кладовыхъ, въ которыя мы сваливаемъ все то, о чемъ не имѣемъ точныхъ свѣдѣній? Когда не знали электричества, тогда считали громъ явленіемъ сверхъестественнымъ; но чѣмъ дальше шли впередъ въ познаніи природы, тѣмъ болѣе исчезало таинственное и чудесное. То же явленіе совершалось и въ физиологіи; жизненная сила есть тотъ неизвѣстный, тотъ  $x$ , который стоитъ вездѣ въ глубинѣ сцены и постоянно увертывается, когда его хотять схватить; царство этого неизвѣстнаго отодвигается назадъ и въ глубь, по мѣрѣ того, какъ наука проникаетъ впередъ съ своимъ факеломъ. Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія не было ни одного отправления нашего тѣла, въ которомъ этотъ неизвѣстный элементъ жизненной силы не игралъ бы значительной роли: — теперь ссылка на жизненную силу для объясненія наблюдаемаго факта не имѣетъ уже никакого научнаго значенія; она будетъ просто описательнымъ выраженіемъ невѣдѣнія». Итакъ, жизненной силы, какъ чего-то само-

стоятельного, неразлагаемого, не существует; послѣдній оплотъ невѣжества разрушенъ; маска сорвана съ мистицизма, и изслѣдователи смотрятъ на природу внимательно, но просто, безъ суевѣрнаго благоговѣнія, безъ институтской мечтательности.

Иные скажутъ, пожалуй, что это и есть направление изслѣдованія. Господа, помилосердитесь! Неужели человѣкъ, говорящій самому себѣ: смотри въ оба, не зѣвай по сторонамъ, не ври глупостей,—вслѣдствіе этого представляется вамъ адептомъ извѣстной школы? Тогда вы должны будете сознаться, что и здравый смыслъ, и нормальный глазъ тоже принадлежать не здоровымъ людямъ вообще, а приверженцамъ того или другого ученія. Впрочемъ, и это бываетъ. Когда я въ одной критической статьѣ выразилъ сомнѣніе въ необходимости идеаловъ, то мнѣ замѣтили въ «Сѣверной Пчелѣ», что я только подставляю вмѣсто существующихъ идеаловъ свой идеальчикъ; вотъ видите ли, отсутствіе идеаловъ и безграничная свобода личности, формулирующаяся русской пословицей: «кто во что гораздъ» или «всякій молодецъ на свой образецъ», какъ желаемое состояніе человѣчества, показали моему рецензенту новымъ идеаломъ. Если такъ смотрѣть на вещи, тогда, конечно, и Молашота, и Фохта придется считать идеалистами и адептами школы: они отрицаютъ всякія предвзятія теорій, освобождаются отъ всякихъ предубѣжденій. Ну, что жтъ? это отрицаніе и есть, стало быть, ихъ теорія. Спорить съ подобнымъ мнѣніемъ не стоитъ уже потому, что оно нисколько не измѣняетъ сущности дѣла, а спорить изъ-за словъ

Есть тѣма охотниковъ,—  
Я не изъ ихъ числа.

### III.

Приступимъ къ дѣлу. Въ процессѣ жизни можно замѣтить три главныя отправления, тѣсно, неразрывно связанныя между собою, но между тѣмъ совершающіяся отдѣльными органами и, слѣдовательно, допускающія отдѣльное изученіе. Эти три отправления называются кровообращеніемъ, дыханіемъ и пищевареніемъ. При остановкѣ одного изъ этихъ трехъ отправленій останавливаются и остальные; организмъ разлагается, и составныя его части возвращаются въ вѣчный круговоротъ вещества. Если, положимъ, отъ холода остановилось обращеніе крови, мы говоримъ, что животное замерзло; если какое-нибудь постороннее препятствіе остановило притокъ кислорода въ легкія, мы говоримъ, что животное задохнулось; если отъ недостатка питательныхъ матеріаловъ остановилось на извѣстный промежутокъ времени пищевареніе, мы говоримъ, что животное умерло съ голоду. Во всѣхъ трехъ случаяхъ прекращеніе одной изъ

функцій жизненнаго процесса повело за собою прекращеніе двухъ остальныхъ и, слѣдовательно, уничтоженіе органической жизни вообще. Жизнь же есть не что иное, какъ постоянное измѣненіе матеріала при сохраненіи извѣстной формы. Я сегодня тотъ же человѣкъ, какой былъ вчера, а между тѣмъ процессы испарженія, испаренія и выдыханія выдѣлили изъ моего тѣла матеріалы, входившіе вчера въ его составъ; въ то же время процессы принятія пищи и вдыханія воздуха внесли въ мое тѣло частицы, которыхъ въ немъ не было вчера. Если я теряю способность выдѣлять или воспринимать, я, вмѣстѣ съ тѣмъ, теряю способность жить; запоръ, задержаніе мочи, отсутствіе аппетита и проч. составляютъ болѣзни; если эти болѣзни не будутъ устранены медицинскими средствами или дѣйствіемъ самой природы, если потерянная способность выдѣлять или воспринимать не возвратится въ свое время, организмъ непремѣнно разрушится, и мое я превратится въ черноземъ, войдетъ въ тѣло земляныхъ и другихъ червей, въ составъ травы, и вообще поступитъ въ полное распоряженіе общей кормилицы, матушки сырой земли, а духъ, конечно, воспаритъ, и т. д. Оно хотъ и обидно для человѣческаго самолюбія, а дѣлать нечего! Какъ ни толкуй гг. гуманисты о нравственномъ и юридическомъ смыслѣ, а противъ рожна прать мудрено и съ фактами примириться необходимо. Для тѣхъ же изъ гуманистовъ, которые любятъ прислоняться къ авторитету и утѣшаться тѣмъ, что они имѣютъ за себя великіе голоса человѣчества, будетъ безконечно полезно въ этомъ случаѣ припомнить слова Гамлета надъ черепомъ Юрика. Противъ осязательнаго факта они еще поспорятъ, но когда увидятъ, что за этотъ же фактъ говоритъ и Шекспиръ, тогда они сложатъ оружіе!

Но къ дѣлу! къ дѣлу! Постараюсь по Фохту, въ самыхъ общихъ чертахъ, охарактеризовать процессы кровообращенія, дыханія и пищеваренія. Подробности невозможны при отсутствіи чертежей; сверхъ того, они утомительны для человѣка, рѣшительно незнакомаго съ анатоміей; что же касается до легкаго очерка, то я надѣюсь, что его прочтутъ безъ скуки и неудовольствія.

Въ обращеніи крови главную роль играетъ сердце. «Все движеніе крови, — говоритъ Фохтъ, — зависитъ исключительно отъ дѣятельности сердца». Сердце есть полый мускулъ, сжимающійся и расширяющійся; этотъ мускулъ соединяется съ двумя системами кровеносныхъ сосудовъ, расходящихся отъ сердца ко всѣмъ частямъ тѣла. Одна изъ этихъ системъ—*артеріи* несутъ кровь отъ сердца къ оконечностямъ; другая—*вены* несутъ кровь отъ оконечностей къ сердцу. Артеріи отличаются отъ *венъ* большей толщиной стѣнокъ и большей эластичностью. Если разрѣзать артерію и выдавить изъ нея

кровь, она все-таки сохранить свою цилиндрическую форму, такъ что ее можно будетъ сравнить съ гуттаперчевой трубкой; если же сдѣлать то же самое съ веною, она сморщится и потеряетъ прежнюю форму, какъ потеряетъ ее, напримеръ, узкій и длинный мѣшокъ, изъ котораго будетъ высыпанъ содержавшійся въ немъ порошокъ.

Сердце разгорожено продольной стѣнкой на двѣ половины, не имѣющія между собою сообщенія. Каждая изъ двухъ половинокъ разгорожена поперечной стѣнкой на двѣ части, сообщающіяся между собою черезъ широкія отверстія. Верхняя часть каждой половины называется *предсердіями*; нижняя—*желудочками*. Оба предсердія сжимаются въ одно время и выпускаютъ содержащуюся въ нихъ кровь въ желудочки; затѣмъ предсердія расширяются, и тогда въ одно время сжимаются оба желудочка. Кровь течетъ изъ обѣихъ полостей въ разныя стороны, и потому мы сначала прослѣдимъ за тою кровью, которая идетъ изъ лѣваго желудочка. Прямо изъ сердца кровь вступаетъ въ широкую артерію, въ *аорту*, которая на нѣкоторомъ разстояніи отъ сердца развѣтвляется на нѣсколько второстепенныхъ артерій и несетъ кровь одними сосудами въ верхнюю часть тѣла: въ шею, въ голову и въ руки, другими—въ нижнюю часть тѣла: къ пищеварительному каналу, къ печени, къ половымъ органамъ и къ ногамъ. По мѣрѣ приближенія артерій къ поверхности тѣла, онѣ развѣтвляются болѣе и болѣе; развѣтвленія эти подъ конецъ дѣлаются такъ тонки, что ихъ нельзя рассмотреть простымъ глазомъ; эти тончайшія развѣтвленія, находящіяся подъ кожей на всей поверхности тѣла и, кромѣ того, въ кишечномъ каналѣ, въ печени, въ легкихъ, соединяются съ другими тончайшими развѣтвлененіями, которыя уже отъ поверхности тѣла поворачиваются назадъ къ сердцу; дошедши до поверхности тѣла, кровь артеріальныхъ сосудовъ переходитъ въ венозные сосуды, которые постепенно сходятся въ толстыя вены. Кровь изъ верхнихъ и нижнихъ частей тѣла этими толстыми венами идетъ къ правому предсердію, а изъ праваго предсердія вливается въ правый желудочекъ. Правая полость сжимается, и кровь черезъ артерію течетъ въ легкія, разливается тамъ по волоснымъ сосудамъ, входитъ въ венозные сосуды, потомъ идетъ назадъ въ лѣвое предсердіе и въ лѣвый желудочекъ, и тогда снова начинается та-же исторія.

Стало-быть, вотъ маршрутъ крови въ тѣлѣ человѣка: изъ лѣваго сердца въ оконечности тѣла, изъ оконечностей въ правое сердце, изъ праваго сердца въ легкія, изъ легкіхъ назадъ въ лѣвое сердце. Кровь идетъ по этому пути, а не по другому, на томъ основаніи, что другого пути нѣтъ; сжатіе сердца дѣйствуетъ на движеніе крови, какъ поршень на движеніе воды въ насосѣ; кровь, выдавленная изъ сердца, поневолѣ бросается въ

открытыя трубочки; сердце сжимается еще разъ, и новая волна крови течетъ въ трубочки и продвигается дальше прежнюю, а прежняя въ свою очередь толкаетъ впередъ ту часть крови, которая прошла черезъ сердце раньше. Покуда сердце будетъ сжиматься, до тѣхъ поръ кровь будетъ двигаться.

Всмотрѣвшись въ этотъ элементарный обзоръ кровообращенія, читатель будетъ въ состояніи понять приблизительно то разстройство, которое можетъ причинить организму недостатокъ крови или ея избытокъ. При недостаткѣ крови неизбежно медленное ея движеніе въ оконечностяхъ и у поверхности тѣла; при полнокровіи, напротивъ того, напоръ крови къ различнымъ частямъ тѣла слишкомъ силенъ, и движеніе крови вообще слишкомъ быстро. Люди малокровные отличаются вялою кожей, слабостью половой дѣятельности, спокойнымъ, ровнымъ, часто нерѣшительнымъ характеромъ. Люди полнокровные страдаютъ приливами, легко раздражаются, часто горячатся, сильно увлекаются, любятъ движеніе и дѣятельность, отличаются физической силой и предприимчивостью. Горячительныя напитки, гимнастическія упражненія, волненіе, возбужденное разговоромъ или событіемъ, ускоряютъ біеніе сердца, т. е. его сжатіе и расширеніе, увеличиваютъ быстроту кровообращенія и этимъ самымъ возвышаютъ температуру тѣла. У кого кровь движется быстрѣе, у того всѣ отправленія дѣлаются не такъ, какъ у человѣка съ медленнымъ движеніемъ крови. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что и процессъ мысли, и весь такъ называемый нравственный характеръ въ значительной степени зависятъ отъ скорости кровообращенія.

Біеніе пульса, по которому медики опредѣляютъ состояніе своихъ пациентовъ, находится въ непосредственной связи съ сжатіемъ и расширеніемъ сердца: сердце сжимается, волна крови ударяетъ въ пульсовую артерію; артерія, какъ упругая трубочка, расширяется и вслѣдъ затѣмъ, пропустивши волну, опять сжимается. При каждой новой волнѣ, повторяется расширеніе и сжатіе; это и есть біеніе пульса. Свойства этого біенія зависятъ отъ трехъ обстоятельствъ: отъ силы сжатія сердца, отъ величины кровяной волны и отъ эластичности артерій; эти три обстоятельства измѣняются, смотря по состоянію субъекта, и слѣдовательно даютъ медику возможность ознакомиться съ положеніемъ больного. Въ оконечностяхъ тѣла, въ волосныхъ сосудахъ приливы крови отъ сердца, отзывающіеся въ артеріяхъ сжатіемъ и расширеніемъ ихъ, становятся едва чувствительными; тамъ кровь течетъ ровно; точно такъ же течетъ она въ венахъ, и потому вены не бьются подобно артеріямъ. Волосные сосуды отличаются значительной способностью сжиматься; отъ холода они могутъ совершенно закрыться; если морозъ сильно подѣйствовалъ на вашъ палецъ, волосные сосуды его

сжимаются, кровь перестает проникать въ него, и весь палець или по крайней мѣрѣ поверхность его начинать коченѣть. Возьмемъ другой примѣръ: положимъ, вы входите по поясъ въ холодную воду; волосныя сосуды нижней части вашего тѣла, отъ дѣйствія холода, до извѣстной степени сжимаются; потокъ крови, хлынувшій къ этой нижней части, не можетъ проникнуть въ нее весь; ясно, что въ верхней части вашего тѣла окажется больше крови, чѣмъ сколько нужно; произойдетъ приливъ крови къ головѣ; во избѣжаніе этого прилива, который можетъ повести за собою неприятыя послѣдствія, обыкновенно, входя въ воду, прежде всего мочать голову, чтобы волосныя сосуды головы также сжались и не пустили бы къ себѣ излишняго количества крови.

Во сколько времени совершается полный оборотъ крови, т. е. во сколько времени частица крови, вышедшая изъ лѣваго сердца, обойдетъ все тѣло и возвратится назадъ въ лѣвое сердце? Тщательныя наблюденія показали, что средняя величина времени, необходимаго для полного оборота, равняется одной минутѣ. Въ сутки полный оборотъ крови совершается слѣдовательно 1440 разъ. Этой быстротой оборота объясняется то обстоятельство, что всякій ядъ, разлагающій или заражающій кровь, вѣдается въ организмъ чрезвычайно быстро. Зачумленные частицы въ теченіе сутокъ 1440 разъ обѣгутъ ваше тѣло, столкнутся со множествомъ еще здоровыхъ частицъ, передадутъ имъ долю своей ядовитости и, смотря по силѣ яда, въ нѣсколько часовъ или въ нѣсколько дней перепортятъ всю кровь. Змѣя укусила васъ въ ногу, а между тѣмъ у васъ пухнетъ все тѣло; бѣшеная собака оцарапала руку, а между тѣмъ, если тотчасъ же не прижечь рану, явятся признаки бѣшенства, т. е. общаго пораженія организма. На кровообращеніи основываются также страшныя послѣдствія сифилитической болѣзни, которая, начинаясь едва замѣтной ранкой, кончается или по крайней мѣрѣ можетъ кончиться гниеніемъ всего тѣла. Возможность оспрививанія заключается также въ обращеніи крови. Ничтожная частичка коровьей осны, положенная въ ранку, всасывается кровью, производитъ въ ней химическія измѣненія, порождаетъ всеобщее воспаленіе и сыпь, и наконецъ отнимаетъ у организма способность воспринимать эту заразу въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Умѣйте только узнавать свойства природы и дѣйствительную фізіономію вещей, и вы всегда будете въ состояніи воспользоваться этими свойствами по вашему благоусмотрѣнію; не передѣлывая природу по-своему, вы будете ея повелителемъ. Магики, искавшіе такихъ заклинаній, которыми можно было бы держать стихій въ своемъ распоряженіи, инстинктивно понимали силу человѣка. Они видѣли эту силу въ знаніи, и въ этомъ случаѣ не ошибались. Ошибались же они только тѣмъ, что однимъ прыжкомъ хотѣли

вскочить на ту лѣстницу, по которой приходится идти медленно, отдыхая на каждой ступенькѣ и тщательно ощущивая слѣдующія ступени, чтобы не оступиться и не полетѣть внизъ. Они хотѣли магическимъ словомъ или обрядомъ достигнуть того, чего современная цивилизація достигла путемъ долговременныхъ и безчисленныхъ опытовъ. Они хотѣли отгадать и не отгадали. Моленотъ и Фохтъ ищутъ и кое-что отыскали, точно такъ же, какъ много отыскали Ньютонъ, Коперникъ, Лаврерье, Гайу, Кьюве, Линней, Верцеліусъ, Либихъ, Фаредъ и пр., и пр.

«Неужели же, — спрашиваетъ Фохтъ въ концѣ главы о кровообращеніи, — фізіологіи удалось такимъ образомъ смирить сердце, безпокойно волнующееся въ груди человѣка, положить на него оковы и навязать ему законы? Неужели же то участіе, которое мы ему приписываемъ въ нашихъ чувствахъ, оказывается вымысломъ? Когда мы, по старой привычкѣ, говоримъ, что наше сердце усиленно бьется, замираетъ отъ радости или сжимается отъ тоски, неужели мы употребляемъ только картинныя выраженія, отдаемъ дань пріятельской мечтѣ подвѣжнаго воображенія? Неужели съ нами случилось то-же, что случилось съ Петромъ въ сказкѣ Гауфа о Тангейзерѣ? Неужели у насъ, какъ у Петра, вырвали изъ груди живое сердце и вставили каменное, которое, правда, бьется и приводитъ въ движеніе кровь, но не принимаетъ участія въ нашихъ радостяхъ и страданіяхъ, равномѣрно бьется отъ любви и ненависти, какъ маятникъ стѣнныхъ часовъ? Нѣтъ! право, нѣтъ! До этихъ результатовъ не доходитъ наша механика. Она открываетъ намъ законы; она показываетъ намъ физическія силы, дѣйствующія въ сердцѣ и въ сосудахъ; но наблюденія и размышленія показываютъ также, какъ сильно приложеніе этихъ силъ зависитъ отъ высшаго руководителя, отъ нервной системы; каждое впечатлѣніе, воспринятое ею, отзывается и отражается въ скорости и въ силѣ движеній сердца и въ распредѣленіи крови. Мы не ошибаемся, когда чувствуемъ, какъ въ минуту воодушевленія сердце бьется подлѣе, какъ въ минуту тоски или ожиданія оно судорожно вздрагиваетъ. Мы ошибаемся только въ томъ случаѣ, если непосредственно самому сердцу приписываемъ это участіе. Сердце отражаетъ только впечатлѣнія и ощущенія, воспринятые мозгомъ, центральнымъ органомъ нервной системы; раздраженія, исходящія изъ этого центрального органа, дѣйствуютъ на сердце сильнѣе непосредственнаго раздраженія. Мы не ошибаемся, когда чувствуемъ, что щеки наши краснѣютъ отъ стыда и блѣднѣютъ отъ страха; мы ошибаемся только въ томъ случаѣ, если приписываемъ эти измѣненія дѣйствию крови, между тѣмъ какъ они производятся сосудными нервами, управляющими распредѣленіемъ крови. Раздраженные дѣйствіемъ мозга, эти нервы сжимаютъ со-

суды; когда же эти нервы находятся въ бездѣйствіи и въ ослабленіи, сосуды расширяются и наливаются кровью. Но что большею частью вліяніе мозга на растительные процессы жизни основано на этой тѣсной связи его съ сердцемъ и его движеніями, съ расширеніемъ и сжатіемъ сосудовъ, это, кажется, не подлежитъ сомнѣнію. Впрочемъ тоска и забота изнуряютъ тѣло. Веселое расположеніе духа, бодрый взглядъ на жизнь, умѣренность въ волненіяхъ и страстяхъ сохраняютъ здоровье и свѣжесть. Эти замѣчанія каждый можетъ провѣрить въ жизни. Причину связи этихъ явленій между собою объяснить не такъ легко. Но отъ постоянного обновленія крови зависитъ питаніе, дыханіе, вся растительная жизнь; а обновленіе и движеніе крови находятся въ непосредственной зависимости отъ движенія сердца. Гдѣ недостатокъ одного фактора, тамъ и вся сумма будетъ невѣрна; если избытокъ страстей, необузданная смѣна сильныхъ ощущеній или постоянное вліяніе грустнаго настроенія духа нарушаютъ или ослабляютъ правильную дѣятельность сердца и сосудовъ, конечно ни обращеніе крови, ни зависящее отъ него питаніе тѣла не могутъ совершаться должнымъ порядкомъ».

Это великолѣпное мѣсто Фохта можно принять за попытку, не отходя ни на шагъ отъ осязательныхъ фактовъ, сблизить между собою области психологіи и физиологіи. О вліяніи сердца и кровеносныхъ сосудовъ на нервы онъ здѣсь не упоминаетъ, потому что считаетъ это обстоятельство совершенно несомнѣннымъ и очевиднымъ для всѣхъ. О вліяніи мозговыхъ нервовъ на сердце онъ говоритъ особенно подробно для того, чтобы убѣдить читателя въ томъ, что физиологія не вырываетъ у живого человѣка сердца и не отнимаетъ у этого полагая мускула способности повиноваться (чисто пассивно) распоряженіямъ мозга. Изъ словъ Фохта можно вывести чисто физиологическое опредѣленіе понятій: мысль и чувство. Вы видите, что на движеніе сердца, на положеніе кровеносныхъ сосудовъ дѣйствуютъ исключительно чувства, напр., грусть, радость, боязнь, стыдъ, и т. д. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что чувство есть такое раздраженіе въ мозговыхъ нервахъ, которое мгновенно, по крайней мѣрѣ быстро и притомъ непроизвольно, проходитъ черезъ всѣ нервы нашего тѣла и черезъ эти нервы такъ или иначе дѣйствуетъ на обращеніе крови. Мысль, напротивъ того, есть такое раздраженіе мозговыхъ нервовъ, которое распространяется въ нихъ медленно и не дѣйствуетъ на нервы тѣла; оно совершается въ извѣстномъ порядкѣ, за которымъ мы сами можемъ прослѣдить и для котораго у насъ даже есть готовое названіе—логическая послѣдовательность. Надо полагать и надѣяться, что понятія *психическая жизнь*, *психологическое явленіе* будутъ современемъ разложены на свои составныя части. Ихъ участь

рѣшена; они пойдутъ туда же, куда пошелъ философскій камень, жизненный эликсиръ, квадратура круга, чистое мышленіе и жизненная сила. Слова и иллюзіи гибнутъ—факты остаются.

#### IV.

Дыханіе, какъ несомнѣнный и очень важный фактъ, должно обратить на себя теперь наше вниманіе. Дыханіе совершается посредствомъ легкихъ, это мы уже знаемъ изъ общечитія; это одна изъ тѣхъ медицинскіихъ истинъ, которыя находятся во всеобщемъ обращеніи, но въ которыхъ мы все-таки не отдаемъ себѣ яснаго отчета. Такъ, напримѣръ, не всѣмъ извѣстно то, что сжатіе и расширеніе легкихъ совершается чисто пассивно. Грудная клѣтка человѣческаго скелета состоитъ изъ двѣнадцати паръ плоскихъ, въ различной степени согнутыхъ, эластичныхъ костей; кости эти называются ребрами и прикрѣпляются спереди къ грудной кости, а сзади—къ спинному хребту. Внутренняя сторона этой костяной клѣтки обтянута крѣпкой кожей, не пропускающей внѣшняго воздуха; нижняя часть клѣтки, смежная съ брюшной полостью, отдѣляется отъ этой полости мускулистой поперечной перегородкой, извѣстной въ анатоміи подъ названіемъ грудобрюшной преграды; верхняя часть грудной клѣтки гораздо уже нижней и черезъ дыхательное горло сообщается съ полостями рта и носа. Въ грудной клѣткѣ висятъ на разныхъ сосудахъ и мышцахъ легкія и сердце. Легкія можно сравнить съ двумя мѣшками, сдѣланными изъ эластической матеріи. Кожа, обтягивающая стѣнки грудной клѣтки, плотно прилегаетъ къ легкимъ и даже срастается съ ихъ верхней частью. Теперь положимъ, что грудная клѣтка увеличивается въ своемъ объемѣ: мускулы грудобрюшной преграды вытягиваютъ ее, и средина этой кожаной перегородки немного опускается къ брюшной полости; очень понятно, что объемъ грудной клѣтки становится больше и стѣнки этой клѣтки отходятъ отъ внѣшней поверхности легкихъ. Но грудная клѣтка плотно обтянута кожей; въ ней нѣтъ атмосфернаго воздуха, потому что съ дыхательнымъ горломъ сообщается не самая клѣтка, а висяція въ немъ легкія. Стало быть, между стѣнками легкихъ и стѣнками грудной клѣтки, въ случаѣ расширенія послѣдней, происходитъ пустота; не встрѣчая себѣ сопротивленія извнѣ и испытывая на себѣ изнутри давленіе содержащагося въ нихъ атмосфернаго воздуха, легкія расширяются до тѣхъ поръ, пока не наполняютъ собою всей грудной клѣтки; такимъ образомъ происходитъ дыханіе. Но вотъ грудная клѣтка, расширившаяся на мгновеніе, снова сжимается и сжимаетъ легкія; очень естественно, что часть принятаго воздуха выбрасывается черезъ тѣ же отверстія, черезъ которыя онъ вошелъ; происходитъ вы-

дыханіе. Расширить или сжимать легкія мы собственно не можем; мы сжимаемъ и расширяемъ грудную клетку, а легкія измѣняются въ объемѣ уже помимо нашей воли, по физическому закону равновѣсія газообразныхъ тѣлъ, — по тому самому закону, по которому пузырь, положенный подъ колоколь воздушнаго насоса, при вытягиваніи воздуха изъ подъ колокола, раздувается и наконецъ лопаается отъ напора содержагося внутри его воздуха, не встрѣчающаго себѣ уравновѣшивающаго давленія извнѣ.

Кромѣ физическаго процесса въ дыханіи есть еще процессъ химическій; воздухъ не только входитъ въ легкія и выходитъ обратно; онъ самъ испытываетъ измѣненія и производитъ измѣненія въ тѣхъ частяхъ, съ которыми приходится въ соприкосновеніе. Каждому извѣстно, что въ комнатѣ, гдѣ слишкомъ много людей, становится душно, тяжело дышать; всякому извѣстно, что въ комнатахъ необходимо освѣжать воздухъ, лѣтомъ открывая окна, а зимою пропалывая печи.

Все это происходитъ оттого, что мы выдыхаемъ не тѣ газы, которые вдыхаемъ, и слѣдовательно въ извѣстный промежутокъ времени можемъ химически переработать весь воздухъ, содержащійся въ комнатѣ, и сдѣлать его негоднымъ для дальнѣйшаго вдыханія. Тогда надо переменить воздухъ или задохнуться. «Давно уже, — говоритъ Фохтъ, — былъ извѣстенъ фактъ, что люди или животныя, запертыя въ тѣсномъ и плотно закупоренномъ пространствѣ, по прошествіи нѣкотораго времени начинали дышать съ трудомъ; кожа людей становилась сине-краснаго цвѣта, и самыя значительныя усилія вздохнуть не находила себѣ удовлетворенія. Если ихъ оставляли запертыми еще дольше, то у нихъ являлись конвульсивныя движенія, исчезало сознаніе и, наконецъ, жизнь постепенно угасала при сильнѣйшихъ судорогахъ; словомъ, при этомъ родѣ смерти повторялись тѣ же явленія, какія случаются при удушеніи». Причина этого явленія объяснилась вполнѣ удовлетворительно только тогда, когда химія сдѣлала значительныя успѣхи, позволившіе ей разлагать и анализировать газы. Теперь мы знаемъ положительно, что атмосферный воздухъ состоитъ изъ 21 процента кислорода и 79 процентовъ азота; мы знаемъ, что количество азота не измѣняется отъ процесса дыханія, а что кислородъ, напротивъ того, поглощается нашими легкими, которые, взамѣнъ воспринятаго количества кислорода, выдѣляютъ равное по объему количество углекислоты. Кислородомъ дышать всѣ животныя; въ другихъ газахъ они задыхаются, и углекислота въ этомъ отношеніи стоитъ на ряду съ другими, т. е. рѣшительно не можетъ поддерживать животной жизни. Кислородъ имѣетъ особенное химическое средство съ красными шариками, плавающими въ нашей крови и сооб-

щающими ей ея яркій цвѣтъ. Эти красные шарикки жадно соединяются съ кислородомъ и подъ его вліяніемъ измѣняютъ даже свой цвѣтъ; до соединенія съ кислородомъ они отличаются сине-краснымъ, багровымъ цвѣтомъ, послѣ соединенія они принимаютъ ярко-красный, болѣе свѣтлый колоритъ.

При теперешнемъ состояніи науки мы еще не въ состояніи прослѣдить всѣ химическія измѣненія, совершающіяся въ крови. Причины и назначеніе каждаго измѣненія еще не могутъ быть указаны. Мы знаемъ только, что кровь, притекающая къ легкимъ, бываетъ сине-краснаго цвѣта и насыщена углекислотой; въ легкіяхъ она выдѣляетъ углекислоту, принимаетъ соответствующую дозу кислорода и выходитъ изъ легкіяхъ, превратившись въ ярко-красную кровь. Мы знаемъ также, что это насыщеніе кислородомъ необходимо для процесса жизни; есть ядовитыя газы, которые при вдыханіи отнимаютъ у кровяныхъ шариковъ способность соединяться съ кислородомъ. Къ числу такихъ газовъ принадлежитъ окись углерода, которую не должно смѣшивать съ углекислотой. Углекислота можетъ задушить чисто пассивно; здѣсь дѣйствуетъ не углекислота, а просто отсутствіе кислорода; человекъ, задохнувшійся въ углекислотѣ, все равно что утопленникъ; если его вытащить въ время, то его можно оживить, вдывая ему въ легкія воздухъ или чистый кислородъ. Окись углерода, напротивъ того, прекращая процессъ дыханія, кромѣ того, химически измѣняетъ кровь и отнимаетъ у нея способность средства съ кислородомъ. Людей, задохнувшихся въ этомъ газѣ, невозможно спасти. Съ этимъ газомъ намъ приходится встрѣчаться во вседневномъ быту. Онъ производитъ угаръ, отъ него болитъ голова, когда онъ въ небольшомъ количествѣ проникаетъ черезъ легкія въ кровь, и отъ него умираютъ люди, если онъ дѣйствуетъ на нихъ долгое время, т. е. въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. На дѣйствиіи этого газа основанъ извѣстный, очень употребительный въ Парижѣ способъ самоубійства посредствомъ жаровни; этотъ способъ по своей дешевизнѣ доступенъ бѣднякамъ, на которыхъ всего тяжелѣе напирать суровая сторона жизни, сторона лишений, трудовъ и страданій; сверхъ того, онъ нечувствительно приводитъ къ смерти, если только можно найти средство заснуть, подвергаясь дѣйствию убивающаго газа. Кто испыталъ ощущеніе угара или видѣлъ его дѣйствіе на другихъ, тотъ пойметъ, какъ сильно отзывается во всемъ организмѣ, во всей нервной системѣ малѣйшее химическое измѣненіе въ составѣ крови. Какъ ни быстро развивается въ наше время химія, а она не въ состояніи еще, по несовершенству своихъ орудій, прослѣдить за этими едва замѣтными измѣненіями, которыя ведутъ за собою очень ощутительныя послѣдствія. Многіе вопро-

сы вслѣдствіе этого должны еще остаться нерѣшенными. Почему, напримѣръ, кровяные шарки должны соединяться именно съ кислородомъ? На что нуженъ этотъ кислородъ въ общей экономіи животной жизни? Рѣшеніе этихъ вопросовъ принадлежитъ еще будущему.

## V.

Третій процессъ, необходимый для поддержанія животной жизни, основанъ на томъ, что мы перерабатываемъ въ свое тѣло вещества, воспринимаемыя нами извнѣ, изъ окружающаго міра. Этотъ процессъ называется пищевареніемъ и отличается особенной сложностью. Говоря о пищевареніи, надо принимать въ расчетъ свойства тѣхъ предметовъ, которые мы принимаемъ въ себя, и свойства тѣхъ органовъ, которые ихъ перерабатываютъ. Дышать мы можемъ только атмосфернымъ воздухомъ; питаемся мы, напротивъ того, самыми разнообразными веществами; это, конечно, имѣетъ на насъ значительное влияние; мы, обыкновенно, приписываемъ разнымъ невѣдомымъ причинамъ то, что надо отнести на счетъ дѣйствія пищи, мы даже приходимъ въ негодованіе, когда намъ объясняютъ чисто физическими причинами то, что мы называемъ душевнымъ страданіемъ; мы улыбаемся съ видомъ недоумія, когда опытный медикъ совѣтуетъ намъ, для устраненія дурного расположенія духа, кушать то или другое, заниматься гимнастикой или принимать слабительное. Во вседневной частной жизни мы стараемся такимъ образомъ проломить лбомъ стѣну или, что то же самое, подчинить себѣ наши физиологическія отравленія, вмѣсто того, чтобы подчиниться имъ, и, поддерживая ихъ въ самомъ нормальномъ положеніи, во всякую данную минуту располагать всѣми силами организма. Мы даже во вседневной жизни, которая, однако, у большей части людей вовсе не отличается преобладаніемъ высокихъ стремленій, стараемся забыть великолѣпное правило классической древности: «въ здоровомъ тѣлѣ—здоровая мысль» (*mens sana in corpore sano*). Мудрено ли послѣ того, что, когда намъ приходится имѣть дѣло съ общими вопросами, хоть бы, напримѣръ, въ области исторіи, мы уже окончательно завираемся и соглашаемся скорѣе говорить фразы, которыхъ сами не понимаемъ, чѣмъ приводить различныя великія событія въ связь съ матеріальными причинами, подобными выбору пищи и процессу пищеваренія.

Мои выписки изъ Молешота \*) многимъ показались парадоксальными. Фохтъ, тѣмъ не менѣе, во всѣхъ отношеніяхъ сходится съ выводами Молешота, и потому я, чтобы не повторяться, обойду то письмо его, въ которомъ онъ говоритъ

о предметахъ, употребляющихся въ пищу. Приведу только двѣ-три выписки, въ которыхъ выражается взглядъ Фохта на значеніе пищи для общественной и исторической жизни. «При разведеніи картофеля, —говоритъ онъ, — всѣ выгоды лежатъ на сторонѣ производящаго, всѣ невыгоды падаютъ на потребителя, который получаетъ пищу въ неудобной формѣ и въ неудобномъ смѣшеніи составныхъ частей; потребитель этотъ долженъ пустить въ ходъ величайшую сумму пищеварительной дѣятельности для того, чтобы добиться малѣйшаго полезнаго результата. На этомъ основаніи одинъ замѣчательный изслѣдователь говоритъ совершенно справедливо, что преобладаніе картофельной пищи доводитъ бѣдный классъ до послѣдней крайности, что ему уже некуда отступить и не на что опереться; бѣдный поденщикъ или бѣдный мужикъ поставленъ въ необходимость разрѣшить ужасную задачу: доставить наибольшее количество работы при наименьшемъ количествѣ пищи плохого достоинства».

Пріятно встрѣтить въ серьезномъ изслѣдователѣ истинно гуманнаго человѣка; пріятно видѣть, что сухой анализъ отдѣльныхъ составныхъ частей человѣческаго тѣла не вытѣснилъ въ умѣ ученаго натуралиста образа полной человѣческой личности, не сбѣлалъ его невнимательнымъ къ ея затрудненіямъ и страданіямъ. Ни Молешоту, ни Фохту нельзя отказать въ здоровой, дѣльной гуманности; гуманность эта не фразиста и не слезлива; она выражается не возгласами, не умиленіемъ надъ непорочностью простого народа, а всѣмъ ходомъ мысли, математически вѣрными выкладками, внимательностью къ насущнымъ потребностямъ бѣдняка и снисхожденіемъ къ тѣмъ слабостямъ, которыя порождаются его лишеніями и страданіями.

«Съ каждымъ днемъ, —говоритъ Фохтъ, — возрастаетъ потребленіе чая и кофе; чѣмъ больше распространяется, при увеличеніи бѣдности, картофельная пища, тѣмъ упорнѣе народъ держится за кофе, который дѣлается необходимымъ подкрѣпляющимъ средствомъ... Сильное возбужденіе дѣйствіе алкалоида, заключающагося въ настоѣ, заставляетъ прибѣгать къ употребленію чая и кофе, потому что эти напитки доставляютъ возможность управляться съ пищей, принятой при такихъ неблагоприятныхъ условіяхъ». Считать чай или кофе пустой прихотью и осуждать бѣдныхъ людей за то, что они, отказывая себѣ въ необходимомъ, позволяютъ себѣ въ отношеніи къ этимъ напиткамъ нѣкоторую роскошь, было бы, какъ въ видете, неосновательно и не гуманно. Извѣстная доля наслажденія до такой степени необходима для того, чтобы поддержать въ человѣкѣ бодрость, что онъ скорѣе согласится недобѣсть и недоспать, чѣмъ обойтись безъ этой микроскопической радости. Чѣмъ больше въ его обыденной жизни труда и черной за-

\*) См. „Физиологическіе эскизы Молешота“, стр. 281.



боты, тѣмъ необходимѣе для него минуты развлеченія и релакса. У кого есть всякій день сытный обѣдъ и умѣренная работа, тотъ можетъ, пожалуй, круглый годъ не отходить отъ конторки или письменнаго стола. Но для пролетарія, для поденщика, таскающаго по буднямъ кули и съѣдающаго кусокъ черстватаго хлѣба, совершенно необходимо въ воскресенье или въ праздникъ пролѣтъ пѣсню, отхватить тренака или даже хлебнуть чарку водки. «Собственно предметы пищи,—говорить Фохтъ,—необходимы для поддержанія жизни, а наркотическія и спиртуозныя вещества увеличиваютъ наслажденіе и доставляютъ нѣсколько счастливыхъ часовъ даже тому, кого гнететъ забота». «Отдѣльная личность,—говорить Вибра,—принявшая слишкомъ много гашпана, бѣгающая по улицамъ и нападающая на встречнаго и поперечнаго, исчезаетъ при сравненіи съ тѣмъ множествомъ людей, которые, принявъ умѣренную дозу послѣ обѣда, проводятъ нѣсколько веселыхъ и счастливыхъ часовъ. Число тѣхъ людей, которымъ *кожа* доставляетъ возможность преодолевать самыя страшныя трудности и даже спастись отъ голодной смерти, значительно превышаетъ количество тѣхъ немногихъ *кокеровъ*, которые неумѣреннымъ употребленіемъ этого наркотическаго вещества погубили свое здоровье. Точно также одно неумѣстное лицемѣріе можетъ проклинать употребленіе кубка, прогоняющаго заботы, основываясь на томъ, что есть пьяницы, не останавливающіеся во-время и не знающіе мѣры».

По этимъ выпискамъ можно видѣть, что Фохтъ соглашается съ Молешотомъ какъ въ общей идѣе, такъ и въ отдѣльныхъ фактахъ. Онъ вмѣстѣ съ Молешотомъ придаетъ пищѣ очень важное значеніе и находитъ, что въ выборѣ пищи всего лучше руководствоваться инстинктомъ, т. е. естественными требованіями своего вкуса; но такъ какъ подобный образъ дѣйствія доступенъ только людямъ обезпеченнымъ, такъ какъ бѣдняки ѣдятъ не то, чего имъ хочется, а то, что подешевле, то вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ одинаково дешевой пищи имѣетъ важное практическое значеніе. Въ рѣшеніи этого вопроса Фохтъ опять-таки сходится съ Молешотомъ: картофель безусловно отвергается и вмѣсто него рекомендуются стручковые растенія, горохъ, чечевица и бобы. Къ наркотическимъ и спиртуознымъ веществамъ и Фохтъ, и Молешотъ относятся очень снисходительно; обоимъ изслѣдователямъ одинаково противенъ тотъ квакерскій ригоризмъ, который превращаетъ человѣка въ рабочую машину и запрещаетъ всякое наслажденіе для того, чтобы не могло быть излишества. Оба изслѣдователя стоятъ на твердой почвѣ живыхъ фактовъ и смотрятъ на человѣческую личность трезвымъ взглядомъ, не исключаяющимъ ни снисхожденія, ни любви.

## VI.

Теперь мнѣ остается только прослѣдить за тѣмъ видоизмѣненіями, которыя испытываетъ пища, проходя черезъ желудокъ и кишечный каналъ. Мы здѣсь имѣемъ дѣло съ цѣлой химической лабораторіей, которая, работая безостановочно, превращаетъ въ кровь то, что можетъ подвергнуться этому измѣненію, и выбрасываетъ то, что не разлагается, изъ чего уже добыты всѣ нужные ингредіенты.

Прежде всего мы беремъ пищу въ ротъ, разжевываемъ ее зубами и при этомъ неволью смачиваемъ ее слюной; пища отправляется въ желудокъ въ размельченномъ видѣ и притомъ пропитанная водянистой жидкостью; черезъ это она дѣлается доступною химическому влиянію желудочнаго сока; если бы мы глотали куски, не прожевавши ихъ, то это химическое влияніе вовсе не могло бы имѣть мѣста или, по крайней мѣрѣ, совершалось бы гораздо медленнѣе, и процессъ пищеваренія во всякомъ случаѣ потерпѣлъ бы нѣкоторое расстройство.

Мнѣ случилось читать въ одной статьѣ о Карлѣ V, что этотъ государь постоянно страдалъ несвареніемъ желудка, и что это обстоятельство объясняется до нѣкоторой степени устройствомъ его черепа; дѣло въ томъ, что нижняя челюсть была сильно выдвинута впередъ, такъ что не могла плотно сходиться съ верхней. Императоръ не могъ хорошо пережевывать пищи и притомъ любилъ плотно покушать; жирныя куски говядины и рыбы, едва помятые во рту, скользили въ горло и, конечно, комомъ залегали въ желудкѣ. Кто знаетъ, насколько это обстоятельство имѣло влияния на эксцентрическіе поступки повелителя образованнаго міра и даже на его удаленіе въ монастырь св. Юста? Сколько мнѣ помнится, статья, о которой я говорю, была напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1856 годъ, и авторомъ ея былъ П. Н. Кудрявцевъ. Жаль, что не вездѣ и не всегда физическія причины какого-нибудь явленія такъ очевидны и осязательны, какъ въ дѣлѣ Карла V!

Размельченная пища проникаетъ въ желудокъ—простой мѣшокъ, сдѣланный изъ тонкой кожи и снабженный мускулами; внутренніи стѣнки желудка шероховаты и покрыты железками, отдѣляющими кислотоватую жидкость; эта жидкость называется желудочнымъ сокомъ и играетъ главную роль въ химической переработкѣ пищи. Одинъ любопытный опытъ показали фізіологамъ, что желудокъ не растираетъ пищу, а только разлагаетъ ее выдѣляемымъ сокомъ. Собакамъ, уткамъ и курамъ давали проглотить маленькія жестяныя или деревянныя коробочки, въ которыхъ была положена пища; стѣнки этихъ коробочекъ были продырявлены такъ, чтобы жидкость могла проникать въ коробочки, но что-

бы самая пища не приходила въ соприкоснове- ніе съ стѣнками желудка; корочки эти были привязаны на ниткѣ, за которую ихъ можно было вытащить назадъ. Когда ихъ вытащили по прошествіи нѣсколькихъ часовъ, то въ нихъ уже не осталось пищи; все было, слѣдовательно, разложено желудочнымъ сокомъ и унесено въ кишечный каналъ.

Какъ кровообращеніе нѣсколько не зависитъ отъ присутствія какой-нибудь воображаемой жизненной силы, такъ точно и пищевареніе совершается безъ вмѣшательства этого таинственнаго агента. Химическій процессъ пищеваренія можно произвести въ животнаго организма, если только взять тѣ кислоты, которыя дѣйствуютъ въ желудочномъ сокѣ, смѣшать ихъ въ должной пропорціи и привести ихъ въ температуру, равняющуюся теплотѣ нашихъ внутренностей. Мясо и растительная пища, подверженная дѣйствію такого состава въ какомъ-нибудь стеклянномъ сосудѣ, измѣняется точно такъ-же, какъ измѣнились бы они и въ человѣческомъ желудкѣ.

Работа желудка кончается тѣмъ, что пища превращается въ такъ называемую пищевую кашницу, т. е. въ болѣе или менѣе густое тѣсто, смотря по свойству принятой пищи. Эта кашница, въ которой одніе частицы оказываются совершенно разложенными, другія — только размягченными, третьи — совершенно нетронутыми, изъ желудка выходитъ въ тонкую кишку и подвергается дѣйствію поджелудочной железы и печени. Поджелудочная железа выдѣляетъ изъ себя прозрачную, клейкую жидкость, имѣющую свойство превращать крахмалъ въ сахаръ, сахаръ — въ молочную, потомъ въ масляную кислоту и, наконецъ, въ жиръ. Примѣшиваясь къ готовому жиру, эта жидкость производитъ въ немъ такое химическое измѣненіе, которое позволяетъ ему распускаться въ водѣ и вообще соединяться съ водянистыми жидкостями. Это измѣненіе необходимо для того, чтобы жиръ просачивался сквозь стѣнки кишечнаго канала и по мелкимъ волоснымъ сосудамъ проходилъ въ кровь. Печень, дѣйствующая на пищу посредствомъ выдѣляемой ею желчи, играетъ очень важную роль какъ въ медицинскихъ сочиненіяхъ, такъ и въ обиходныхъ понятіяхъ, распространенныхъ въ массѣ; печеню объясняются многія болѣзненные явленія; страданіе печени и развитіе желчи составляютъ, по мнѣнію публики и нѣкоторыхъ медиковъ, главные причины дурнаго расположенія духа, ипохондрии, меланхолии и т. п. Фохтъ говоритъ, что по большой части эти объясненія ошибочны, но во многихъ случаяхъ приходится оставить дѣло нерѣшеннымъ; нельзя отвѣчать ни да, ни нѣтъ, потому что химическая работа печени и вліяніе желчи на пищевареніе еще недостаточно разработаны. До сихъ поръ найдено, что желчь оказываетъ двойное вліяніе на пише-

вую кашницу. Во-первыхъ, она предохраняетъ ее отъ гніенія въ самомъ кишечномъ каналѣ. Во-вторыхъ, она, подобно соку поджелудочной железы, превращаетъ жиръ въ эмульсію, легко соединяющуюся съ водянистыми жидкостями. Надъ животными производили слѣдующій опытъ: у нихъ перевязывали каналъ, ведущій изъ желчнаго пузыря въ кишки, такъ чтобы ни одна капля желчи не могла попасть въ переваривающуюся пищу; потомъ желчный пузырь прорѣзывался съ другой стороны такъ, чтобы желчь выливалась наружу и чтобы дѣятельность печени шла такимъ образомъ своимъ порядкомъ. Многія животныя не выдерживали операціи и умирали подъ ножомъ изслѣдователя; другія жили болѣе или менѣе долго, но всѣ безъ исключенія не могли выздороветь; они бѣли чрезвычайно много и при этомъ постоянно худѣли, жиръ совершенно пропадалъ, а такъ какъ жиръ въ извѣстномъ количествѣ совершенно необходимо нашему организму, то отсутствіе жира приводило за собою смерть. Эта пропажа жира объясняется тѣмъ, что жиръ, содержащійся въ пищѣ, не превращался въ эмульсію и слѣдовательно, не имѣя возможности черезъ волосные сосуды просачиваться въ кровь, проходилъ по кишечному каналу и выходилъ вонъ, не принеся организму никакой пользы. Жиръ животный, или сало, и жиръ растительный, или масло (напр., конопляное, маковое), какъ извѣстно каждому по всѣдневному опыту, не соединяются съ водой, между тѣмъ изъ сала дѣлается мыло, распускающееся въ водѣ; а изъ тѣхъ же самыхъ зеренъ, изъ которыхъ выжимается масло, дѣлается молоко (конопляное, маковое), очень легко соединяющееся съ водой. Желчный сокъ поджелудочной железы превращаетъ жиръ и сало въ мыло (т. е. въ жирныя вещества, растворяющіяся въ водѣ) а растительное масло — въ растительное молоко или эмульсію. У животныхъ, у которыхъ была вырѣзана печень, эта переработка жира не могла производиться въ достаточныхъ размѣрахъ, и потому они чахли, несмотря на огромное количество поглощаемой пищи. Кромѣ того экскременты этихъ животныхъ отличались отвратительнымъ гнилымъ запахомъ; запахъ этотъ сообщался даже ихъ дыханію; ясно, что пища загнивала въ ихъ кишечномъ каналѣ оттого, что къ ней не было притока желчи.

Испытавъ на себѣ вліяніе сока поджелудочной железы и желчи, пищевая кашница смачивается еще кишечнымъ сокомъ и, наконецъ, выходитъ изъ нашего тѣла. Составныя части экскрементовъ значительно отличаются отъ составныхъ частей пищи; многія вещества, входящія въ пищу, не находятся въ экскрементахъ; зато въ нихъ находится много такого, чего не было въ пищѣ и что входило въ составъ нашего тѣла, какъ-то: желудочный сокъ, желчь, кишечный

сокъ и т. п. Въ экскрементахъ организмъ выбрасываетъ то, что оказывается въ принятой пищѣ лишнимъ или нерастворимымъ, и съ этими остатками пищи соединяетъ тѣ вещества, которыя ему нужно выдѣлить изъ себя, и которыя, оставаясь долѣе въ организмѣ, могли бы произвести въ немъ то или другое разстройство. А что же сдѣлалось съ тѣми частями пищи, которыя пошли въ прокъ? Говоря о химической переработкѣ пищи, мы до сихъ поръ показали только, какимъ образомъ изъ пищи выдѣляются эти полезныя части. Посмотрите теперь, какъ эти части входятъ въ общую экономію организма.

Если мы положимъ въ воду сухое органическое вещество, напр., кусокъ дерева, кожи, пузыря, то это вещество разбухнетъ, т. е. приметъ въ себя нѣкоторое количество воды. На этой способности органическихъ тканей всасывать водянистыя жидкости основанъ весь процессъ питанія и обновленія нашего тѣла. Сверхъ того, органическія ткани имѣютъ также способность служить проводниками между двумя жидкостями, прикасающимися къ нимъ съ обѣихъ сторонъ. Если вы налейте винаго спирта въ пузырь и, крѣпко завязавши его, положите все это въ чашу, наполненную водою, то черезъ нѣсколько часовъ окажется, что въ пузырь—разбавленный спиртъ, а въ чашѣ—вода со слабою примѣсью спирта. Водянистыя жидкости такимъ образомъ не только всасываются въ органическія ткани, но и просачиваются насквозь. Органическая ткань даже притягиваетъ къ себѣ жидкость; въ этомъ вы можете убѣдиться слѣдующимъ опытомъ: возьмите длинную стеклянную трубку, налейте въ нее спирта, завяжите ее конецъ пузыремъ и опустите этотъ завязанный конецъ въ воду: вы увидите, что жидкость въ трубкѣ начнетъ подниматься и поднимется даже гораздо выше общаго уровня воды. Послѣднее обстоятельство не могло бы случиться, если бы конецъ трубки не былъ завязанъ пузыремъ. Ясно, стало быть, что притягиваетъ органическая ткань.

Если мы посмотримъ вообще на устройство кишечнаго канала, то увидимъ, что его можно сравнить съ длиною трубкой, на внутренней поверхности которой находится безчисленное множество чрезвычайно тонкихъ лимфатическихъ и кровеносныхъ сосудовъ; сосуды закрыты со всѣхъ сторонъ, но стѣнки сосудовъ состоятъ изъ органическихъ тканей, которыя не только пропускаютъ, но даже притягиваютъ жидкости; очень естественно, что между содержаніемъ кишечнаго канала, т. е. пищевой кашицей, и жидкостями сосудовъ совершается постоянный обменъ; чѣмъ жиже пища, тѣмъ скорѣе она всасывается кровяными и лимфати-

ческими сосудами, вносится въ общее кровообращеніе, испытываетъ множество химическихъ измѣненій и, наконецъ, совершенно уподобляется крови или лимфѣ, а потомъ идетъ на обновленіе твердыхъ химическихъ тканей. Это очень неясно, а это знаю, но, чтобы представить это ясно, надо подождать дальнѣйшихъ успѣховъ физиологіи и притомъ написать статью въ 100 разъ больше той, которую я теперь представляю на благосклонное вниманіе читателя.

## VII.

Вотъ мы въ обглодъ очеркъ посмотрѣли на три важнѣйшіе процесса растительной жизни человѣка. Что же мы изъ этого выведемъ? Любопытаться ли сложнымъ устройствомъ нашего тѣла? Или, напротивъ того, находить въ этой сложности существенный недостатокъ? Вѣдь извѣстное дѣло, чѣмъ сложнѣе машина, тѣмъ чаще она портится, тѣмъ чаще ее приходится чинить, тѣмъ бережнѣе съ нею приходится обращаться. Если принять въ соображеніе многочисленность нашихъ болѣзней, несовершенство нашей медицины, необходимость множества предосторожностей и необходимость умереть, несмотря на всѣ предосторожности, то можно, пожалуй, подумать: Вотъ съ нею, съ этой красивою сложностью; съ нею такъ много хлопотъ, неприятностей и страданій! Но эти мысли будутъ совершенно неосновательны, собственно потому, что онѣ глубоко безплодны. Физическое *statu quo*, то, что мы называемъ природой, то, чѣмъ мы любимся, то, къ чему поэты пишутъ или, по крайней мѣрѣ, писали воззванія и идилліи, безстрастно, безчувственно, бессознательно, неумолимо, глухо къ нашимъ благодарственнымъ возгласамъ и къ нашимъ бесильнымъ проклятіямъ. Къ чему же становиться намъ къ этой слѣпой силѣ въ какія бы то ни было нравственныя отношенія? Она не посторонится для насъ ни вправо, ни влѣво. Она сама по себѣ, мы сами по себѣ, но мы отъ нея зависимъ, и зависимъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше знаемъ ее. Вотъ что намъ нужно: узнавать ее, вглядываться въ нее и постепенно овладѣвать ея тайнами, которыхъ она, впрочемъ, и не думаетъ скрывать, а которыя мы считаемъ за тайны только потому, что онѣ до поры до времени не попадались намъ на глаза. Старайтесь разъяснить себѣ факты и законы, а потомъ, какое впечатлѣніе произведутъ на васъ эти факты и законы, какое міросозерцаніе вы себѣ сострипаете и какимъ чувствомъ вы его окрасите,—любовью, ненавистью, благоговѣніемъ или презрѣніемъ,—это уже предоставляется вашему личному вкусу, и до этого, кромѣ васъ, никому нѣтъ ни малѣйшаго дѣла.

## Схоластика XIX вѣка.

### I.

Развитіе русской журналистики съ каждымъ годомъ становится шире; возникаютъ новые журналы и въ короткое время приобретаютъ себѣ значительный кругъ читателей; между тѣмъ старые журналы продолжаютъ свое существованіе, и число ихъ подписчиковъ нисколько не уменьшается. Периодическія изданія расходятся по всѣмъ концамъ Россіи, и идеи, выработанныя въ тиши кабинета, за письменнымъ столомъ, становятся достояніемъ цѣлой обширной страны, становятся почти единственной умственной пищей для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ людей. Большинство публики читаетъ одни журналы, это—фактъ, въ которомъ могъ наглядно убѣдиться всякій, кто жилъ въ провинціи и бывалъ въ обществѣ какого-нибудь уѣзднаго города. Одинъ экземпляръ «Современника» или «Русскаго Вѣстника» читается цѣлымъ городомъ, переходитъ изъ рукъ въ руки и возвращается обыкновенно къ владѣльцу въ самомъ жалкомъ, встрепанномъ видѣ, такъ что ему приходится только сказать: «расчитали въ дребезги». При этомъ нѣкоторые отдѣлы остаются совершенно нетронутыми и даже неразрѣзанными; отмѣтить подобные отдѣлы было бы, конечно, любопытно для физиологіи общества, но я не съ этой цѣлью повелъ рѣчь о распространеніи журналовъ въ массѣ читающей публики. Кромѣ журналовъ, этой публикѣ дѣйствительно читать нечего; отдѣльныя книги издаются теперь чаще прежняго, но ихъ все-таки мало; кромѣ того, онѣ имѣютъ или ученый, или учебный характеръ; это—или изслѣдованія, или популярныя руководства, а учиться большинство нашей публики не желаетъ, вѣроятно потому, что воспитаніе, данное ей въ школѣ, было дурно и оставило послѣ себя на всю жизнь полнѣйшее отвращеніе къ тому, что отзывается школой или книжной ученостью. Сочиненія Пушкина, Лермонтова и Гоголя знаютъ почти наизусть люди, одаренные эстетическимъ чувствомъ и сколько-нибудь развитые въ литературномъ отношеніи; что же касается до большинства, то оно или вовсе не читаетъ ихъ, или прочитываетъ ихъ одинъ разъ, для соблюденія обряда, и потомъ откладываетъ въ сторону и почти забываетъ. Перечитать во второй разъ

художественное произведеніе потому только, что оно художественно или проникнуто глубокой мыслью, это такой подвигъ, котораго возможность понимаютъ далеко не всѣ и на который рѣшаются очень немногіе. Между тѣмъ журналы неотразимой силой привлекаютъ къ себѣ этихъ господъ: во-первыхъ, они даютъ свѣжія новости, во-вторыхъ, разнообразіе, часто даже пестрота оглавленія даетъ каждому всѣ средства выбрать себѣ чтеніе по вкусу и по плечу; въ-третьихъ, одна книжка не успѣваетъ еще приглядѣться, какъ она смѣняется новой, и провинціальный читатель слѣдитъ за идеями и интересами вѣка, не успѣвая соскучиться и не утомляя свой мозгъ усиленной работой. Все это было бы очень хорошо; литераторы и публика удовлетворяли бы другъ друга, но дѣло въ томъ, что на практикѣ выходитъ совсѣмъ не то, что выходило въ теоріи.

Пишущіе люди забываютъ, что они пишутъ не для себя, а для общества, литераторы составляютъ замкнутый кружокъ; этотъ кружокъ внутри себя вырабатываетъ идеи и убѣжденія и передаетъ публикѣ результаты, которые часто оказываются понятными только тогда, когда мы знаемъ, какъ они вырабатывались и формировались; одинъ кружокъ сталкивается въ мнѣніяхъ съ другимъ, начинается споръ, котораго предметъ остается теменъ для публики; между тѣмъ публика читаетъ полемику, видитъ, какъ горячатся оба противника, и съ любопытствомъ слѣдитъ за скандальной стороной дѣла. Не вините въ этомъ публику; поставьте себя на ея мѣсто; представьте себѣ, что при васъ происходитъ споръ на непонятномъ для васъ языкѣ. Если вы не выйдете изъ комнаты, то вы, вѣроятно, почти невольно будете слѣдить за выраженіемъ лица и за мимикой спорящихъ личностей. То-же самое дѣлаетъ публика. О предметѣ ученаго или литературнаго спора она судить не можетъ, потому что спорящіе литераторы большей частью забываютъ о ея существованіи и не дѣлаютъ ни шагу для того, чтобы пояснить ей, въ чемъ дѣло. Они ссылаются на иностранныя авторитеты, на собственныя сочиненія или статьи, разбросанныя по разнымъ журналамъ или напечатанныя дѣтъ десять тому назадъ, наконецъ, на голосъ внутренняго чувства, какъ сдѣлалъ Погодинъ на диспутѣ съ Костомаровымъ,

или покойный Хомиковъ, возстава въ «Русской Бесѣдѣ» противъ матеріализма. Справдаться по всёмъ этимъ ссылкамъ мудрено; у публики не достало бы на это ни досуга, ни терпѣнія. Слѣдовательно, остается ей двѣ дороги: или вовсе не читать спора, или, читая его, втихомолку посмѣиваться надъ тѣмъ, какъ горячатся спорящія стороны. Публика такъ и дѣлаетъ.

## II.

Вопросъ о народности, сближеніе съ народомъ, изученіе народности—эти слова слышатся на каждомъ шагу и встрѣчаются на каждой страницѣ нашихъ большихъ журналовъ. Идеѣ этихъ словъ мудрено не сочувствовать, трудно въ этихъ святыхъ словахъ не видѣть великой задачи времени, самаго животрепещущаго интереса нашей будущей исторіи. Но, съ другой стороны, нужно быть въ высшей степени доврчивымъ и добродушнымъ оптимистомъ, чтобы отъ нашихъ журналовъ ожидать дѣйствительнаго сближенія съ народомъ. «Русская Бесѣда» въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ печатала дѣльныя и основательныя изслѣдованія Хомикова, Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ, Бѣльева; «Отечественныя Записки» въ прошломъ году приложили къ своему журналу цѣлый сборникъ пѣсень Якушкина; въ «Свѣточѣ» во всёхъ подробностяхъ описана русская свадьба; «Современникъ» принужденъ выслушивать замѣчанія со стороны «Отечественныхъ Записокъ» за то, что мало занимается народнымъ элементомъ; новый журналъ «Время» на интересахъ народности строитъ всю свою программу, и что же изъ этого выходитъ, какія практическія слѣдствія ведутъ за собою всѣ эти благородныя стремленія? Ровно никакихъ. Они дадутъ только будущему біографу матеріалы, по которымъ онъ будетъ въ состояніи сдѣлать ошибочный выводъ такого рода: «въ половинѣ XIX столѣтія вопросъ о народности возбуждалъ къ себѣ сильное сочувствіе въ читающей части русскаго общества». Этотъ выводъ будущаго біографа я смѣло рѣшаюсь назвать ошибочнымъ, на томъ основаніи, что «Современникъ» и «Русскій Вѣстникъ» пользуются наибольшей популярностью, несмотря на то, что первый отличается космополитическимъ направленіемъ, а второй занимается гражданской жизнью Западной Европы гораздо пристальнѣе, нежели интересами нашей народности. Если сверхъ того принять въ соображеніе тотъ фактъ, что «Русская Бесѣда» существуетъ почти безъ подписчиковъ, то не трудно будетъ убѣдиться въ томъ, что наша журналистика не успѣла пріохотить къ ознакомленію съ народностью даже ту часть публики, на которую она можетъ имѣть непосредственное вліяніе. О вліяніи на простой народъ, о фактическомъ сближеніи съ нимъ путемъ журнальной литературы—смѣшно и говорить. Нашъ народъ,

конечно, не знаетъ того, что о немъ пишутъ и разсуждаютъ, и, вѣроятно, еще лѣтъ тридцать не узнаетъ объ немъ. Житейскихъ, осязательныхъ результатовъ онъ, вѣроятно, долго не увидитъ, потому что стремленія не переходятъ въ дѣло и остаются на страницахъ журналовъ, къ обоюдной выгодѣ редакціи и сотрудниковъ. Что вопросъ объ эмансипаціи разрѣшился независимо отъ журнальныхъ толковъ, въ этомъ, конечно, нельзя винить журналистику; эмансипація была дѣломъ правительства и совершается административнымъ путемъ. Но воскресныя и бесплатныя школы?—Это было дѣломъ общества, а между тѣмъ этотъ вопросъ прошелъ мимо журналистики, и журналы ограничились тѣмъ, что отмѣтили совершившійся фактъ на страницахъ своей современной лѣтописи или хроники. Не журналы возбудили этотъ вопросъ, и литература не указала обществу на его насущную потребность, а только оговорила эту потребность уже тогда, когда ея существованіе было сознано всѣми, когда уже были приняты мѣры для удовлетворенія этой потребности. Любопытно было бы знать, можно ли указать хоть на одно полезное дѣло, хоть на одинъ живой вопросъ народной жизни, который былъ бы возбужденъ и рѣшенъ нашими журналами и который не остался бы на бумагѣ, а хоть на одну іоту увеличилъ бы матеріальное и нравственное благосостояніе нашего народа. Я почти увѣренъ, что отвѣтъ на этотъ вопросъ получится отрицательный. Причины этого явленія я постараюсь разобрать въ самыхъ общихъ чертахъ.

## III.

Вѣшняя фізіономія нашего общества слагается, конечно, помимо литературы. Наша журналистика не можетъ имѣть никакого вліянія на рѣшеніе административныхъ вопросовъ, слѣдовательно эту сторону дѣла я могу совершенно выпустить изъ моего разсужденія. Само собою понятно, что статьи «Русскаго Вѣстника» объ англійскомъ *jury* или объ англійскомъ парламентѣ имѣютъ для насъ интересъ чисто научный и не могутъ содѣйствовать нашему гражданскому воспитанію, потому что гражданъ воспитываетъ жизнь, а не книга. Точно такъ-же понятно, что сблизиться съ народомъ мы путемъ журналистики не можемъ; сближается съ народомъ тотъ, кто живетъ среди него, кто видитъ его каждый день въ разныхъ видахъ и положеніяхъ, у кого есть съ нимъ общіе интересы и общія стремленія. Нѣтъ сомнѣнія, что помѣщики лучше петербургскихъ и московскихъ литераторовъ знаютъ бытъ и характеръ простого народа; они знаютъ народъ въ самомъ будничномъ и непривлекательномъ видѣ; у нихъ происходятъ съ нимъ ежедневныя столкновенія, которыми ожесточаются обѣ стороны; подъ вліяніемъ этихъ столкновеній у впечатлительнаго человѣка портится

характеръ и формируется мрачный и негуманный взглядъ на личность русскаго простолюдина; все это справедливо, но зато въ основу этого взгляда ложится не теорія, а непосредственный опытъ, и вслѣдствіе этого понятіе, которое сложилось въ головѣ практическаго хозяина о типическихъ особенностяхъ русскаго крестьянина, будетъ всегда ярче и опредѣленнѣе въ частностяхъ, чѣмъ понятіе теоретика-литератора, воодушевленнаго самыми безкорыстными и гуманными стремлениями. Практическое сближеніе съ народомъ—дѣло до такой степени важное, что его нельзя предпринять между прочимъ, толкуя о Боклѣ и Стюартѣ Миллѣ; какая-нибудь поѣздка по Россіи можетъ оставить въ воображеніи нѣсколько типическихъ фигуръ, которыя годятся для альбомнаго рисунка или для легкаго литературнаго очерка; но внутренній смыслъ этихъ фигуръ дается не сразу и постепенно измѣняется по мѣрѣ того, какъ вы подходите къ нимъ ближе и выглядываете внимательнѣе въ ихъ выраженіе и обстановку. Словомъ, журналистика, проводящая общечеловѣческія идеи въ русское общество, нуждается въ посредникахъ, которые проводили бы эти идеи къ народу. Въ настоящее время народъ еще не въ состояніи сознавать эти идеи, обращать ихъ въ свое умственное достоиніе, органически перерабатывать ихъ силой собственнаго мышленія; пусть онъ, по крайней мѣрѣ, чувствуетъ на себѣ ихъ благотворное, согревающее вліяніе. Русскій крестьянинъ, быть можетъ, еще не въ состояніи возвыситься до понятія собственной личности, возвыситься до разумнаго эгоизма и до уваженія къ своему я; пускай же онъ почувствуетъ, по крайней мѣрѣ, какую-то перемѣну въ окружающей атмосферѣ, пускай почувствуетъ, что съ нимъ обращаются *господа* какъ-то не попрехнему, а какъ-то серьезнѣе и мягче, любовнѣе и ровнѣе. Такого рода перемѣна въ обращеніи не укрылась бы отъ его вниманія и измѣнила бы его нечувствительно для него самого. «Чѣмъ болѣе вы будете обращаться съ мальчикомъ, какъ съ джентльманомъ, тѣмъ скорѣе онъ дѣйствительно превратится въ джентльмана»—это основное положеніе американской педагогики, и это положеніе можетъ быть примѣнено къ дѣлу вездѣ, гдѣ эмансипація идетъ не снизу вверхъ, а сверху внизъ. Чтобы русскій мужикъ почувствовалъ эту благодѣтельную перемѣну, нужно, чтобы наше провинціальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тѣмъ, чтѣ оно теперь. Гуманизировать это сословіе—дѣло литературы и преимущественно журналистики. Это дѣло, конечно, исполнимѣе сближенія съ народностью или гражданской реформы путемъ журнальныхъ статей. Это дѣло требуетъ дружныхъ усилій и долговременнаго труда, но какое же дѣйствительное усовершенствованіе въ сферѣ гражданской жизни не требуетъ времени, труда, траты силъ и еди-

нодушія? По крайней мѣрѣ, можно сказать одно: это — цѣль достижимая, и это, можетъ быть, единственная задача, которую можетъ выполнить литература, и которую притомъ только одна литература и въ состояніи выполнить. Это среднее сословіе, гуманизированное общечеловѣческими идеями, можетъ сдѣлаться посредникомъ между передовыми дѣятелями русской мысли и нашими младшими братьями-мужиками, въ избу которыхъ, конечно, никогда не заходятъ книжки журналовъ, стоящихъ 15 руб. сер. въ годъ. Ни грошовыя изданія, о которыхъ было говорено, ни «Народное Чтеніе», о которомъ нужно будетъ поговорить со временемъ, не принесутъ народу никакой чувствительной пользы. Эти книги написаны людьми, имѣющими какое-то отвлеченное, книжное понятіе о народѣ, старающимися приноровиться къ его потребностямъ и обнаруживающими въ своихъ попыткахъ полнѣйшую непрактичность, полнѣйшее незнаніе той почвы, которую они хотятъ воздѣлывать. Но не забывайте, что въ нашемъ обществѣ есть тысячи людей, понимающихъ нашъ книжный языкъ, носящихъ нашъ костюмъ, словомъ—*господь*, которые въ состояніи прочесть и понять ученую статью въ журналѣ и которые въ то же время живутъ среди народа, въ деревняхъ и уѣздныхъ городахъ нашего обширнаго отечества. Эти люди поневолѣ выучиваются говорить съ народомъ и присматриваются къ его потребностямъ; эти люди по самому своему положенію стоятъ на рубежѣ двухъ элементовъ, общества и народа, и какъ будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаній сверху внизъ. Отчего же мы ими не пользуемся? Оттого, мнѣ кажется, что до сихъ поръ мало обращали на нихъ вниманія. Наша журнальная критика и журнальная наука могли особенно благодѣтельно дѣйствовать на это сословіе, но, къ сожалѣнію, ни критика, ни наука не имѣли въ виду этого класса читателей и не заботились даже о томъ, чтобы сдѣлаться доступными имъ по формѣ. Въ настоящее время вы не найдете почти ни одной критической статьи, которая была бы вполне понятна чловѣку, не имѣющему специальныхъ свѣдѣній по тому кругу предметовъ, къ которому относится статья. Обыкновенному читателю такая статья представится непрерывнымъ рядомъ намековъ, въ которыхъ онъ будетъ смутно чувствовать какую-то общую связь, но въ чемъ состоитъ эта связь и что говорятъ эти намеки, это останется ему совершенно непонятнымъ. Опять-таки доказательство того, что если цѣлѣе отдѣлы нашихъ журналовъ остаются неразрѣзанными, то виновата въ этомъ не публика. Наши журналисты мечтаютъ о гражданской жизни и о сближеніи съ народомъ, и эти бесплодныя мечты отвлекаютъ ихъ отъ настоящаго дѣла, отъ дѣйствительной обязанности, отъ живого общенія съ той сферой читателей, которая ждетъ отъ

них притока знаній и идей. Кроме того, кроме этого міра благородныхъ, но неосуществимыхъ мечтаній, у нашихъ журналистовъ есть дѣльный міръ закулисныхъ тайнъ, и намеками на интєресы этого міра пересыпаны ихъ критическія обзорнїя и полемическія статьи. Этотъ міръ мелкихъ личныхъ неприяностей, міръ литературнаго кумовства и нелитературныхъ перебранокъ даетъ себя чувствовать по временамъ въ какомъ-нибудь журнальномъ скандалѣ, котораго причина и истинная фізіономія остаются непонятными для массы читающей публики. А между тѣмъ публику потчуютъ этими скандалами, и она *volens nolens* узнаетъ факты, непонятные для нея и вовсе неинтересные.

#### IV.

Но что же можетъ и что должна сдѣлать журналистика для той публики, которая исключительно занимается чтеніемъ журналовъ? Она должна разбить ея предрасудки и помочь ей выработать себѣ разумное міросозерпаніе. При этомъ она должна имѣть въ виду ту часть публики, которая способна подвинуться впередъ, людей молодыхъ и свѣжихъ, людей, способныхъ принять истину и отрѣшиться отъ отцовскихъ заблужденій. Для такихъ людей талантливый критикъ съ живымъ чувствомъ и съ энергическимъ умомъ, критикъ, подобный Вѣлинскому, могъ бы быть въ полномъ смыслѣ слова учителемъ нравственности, да не той условной нравственности, которая осуждаетъ г-жу Толмачеву, а той широкой нравственности, которая желаетъ только, чтобы человѣкъ былъ самимъ собою, чтобы всякое чувство проявлялось свободно, безъ посторонняго контроля и придуманныхъ стѣсненій. Литература во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ должна бить въ одну точку; она должна всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаютъ на нее робость собственной мысли, предрасудки касты, авторитетъ преданія, стремленіе къ общему идеалу и весь тотъ отжившій хламъ, который мѣшаетъ живому человѣку свободно дышать и развиваться во всѣ стороны. А то ли дѣлаетъ наша литература? Къ большей части вопросовъ жизни, науки или искусства она относится какъ-то нерѣшительно, какъ-то въ половину, оглядываясь по сторонамъ, боясь колыхнуть авторитетъ, боясь оскорбить исторію; эти оглядки, эти опасенія часто имѣютъ мѣсто въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ можно смѣло положить на голосъ здраваго смысла, въ которомъ можно даже отдаться внушенію непосредственнаго чувства. Возьмемъ примѣръ: пермская дама прочла на публичномъ чтеніи стихотвореніе Пушкина; корреспондентъ одной газеты описалъ это чтеніе, стараясь для удовольствія публики блеснуть яркостью красокъ и не жалѣя

риторическихъ украшеній; сотрудникъ другой газеты, также для удовольствія публики, начинаетъ глумиться надъ описаніемъ перваго и, давши волю своему неопытному юмору, съ размаху задѣваетъ имя и личность читавшей дамы. Дѣло, кажется, ясное! Оно ясно до такой степени, что о немъ, можетъ быть, и вовсе не стоило говорить, но правильное чутье нѣкоторыхъ нашихъ журналовъ показало имъ, что это—вопросъ, для насъ еще нерѣшенный и требующій оговорки. Юмористъ газеты «Вѣкъ» получилъ отъ лица нашей журналистики серьезный выговоръ за свои циническія выходки противъ личности женщины и за ретроградное направленіе своей статьи. Этотъ выговоръ можно было бы назвать донкихотствомъ, если бы общественное мнѣніе въ Россіи опредѣлилось настолько, чтобы всѣ образованные люди рѣшали въ одинъ голосъ важнѣйшіе вопросы жизни. Но у насъ рѣшительно нѣтъ общественныхъ убѣжденій; въ каждомъ семействѣ происходитъ борьба между старыми понятіями и молодыми стремленіями; эта борьба и эти колебанія порождаютъ въ жизни общества много противорѣчащихъ другъ другу явленій; напр., молодая дѣвушка приходитъ въ университетъ учиться, а профессоръ старается выжить ее изъ аудиторіи циническимъ тономъ своей лекціи. Очевидно, эта дѣвушка и этотъ профессоръ расходятся между собою во взглядѣ на такой простой и понятный предметъ, какъ образованіе женщинъ; они представляютъ борьбу двухъ діаметрально-противоположныхъ началъ, Домостроя и XIX вѣка. Обѣ стороны открыто несутъ свое знамя и понимаютъ свою несовмѣстимость. Но не всѣ члены общества становятся рѣшительно на ту или другую сторону; большая часть такъ называемыхъ серьезныхъ людей держатъ нейтралитетъ и становятся въ самыя разнообразныя положенія въ отношеніи къ предмету спора; они обсуживаютъ его, вводя въ свои сужденія такое множество оговорокъ и ограниченій, что сущность дѣла становится мало-по-малу неясной для самыхъ жаркихъ защитниковъ того или другого мнѣнія; качая мудрыми головами, эти разсудительные люди обвиняютъ обыкновенно обѣ спорящія стороны въ крайности и въ увлеченіи, и сами стараются выбрать золотую середину. А возможна ли эта середина? Попробуйте стать посрединѣ между негромъ и плантаторомъ, между самодуромъ-отцомъ и дочерью, которую насильно выдаютъ замужъ, между мистицизмомъ и рационализмомъ. Примиренія нѣтъ, и держать нейтралитетъ значить стоять совершенно въ сторонѣ и не принимать никакого участія въ обсуждаемомъ вопросѣ. Нейтралитетъ, который стараются держать люди разсудительные, есть въ сущности оптическій обманъ, и, какъ оптическій обманъ, онъ можетъ быть опасенъ для неопытныхъ глазъ.

Въ нашемъ обществѣ есть много людей моле-

дыхъ, которые душою рады были бы пойти за свѣтлыми и привлекательными идеями вѣка, но которыхъ останавливаетъ, во-первыхъ, то, что результаты этихъ идей совершенно расходятся съ существующими формами жизни, и, во-вторыхъ, голосъ разсудительныхъ людей, выбравшихъ мнимую золотую середину. Робость ихъ неокрѣпшей мысли останавливается на существующемъ порядкѣ и на авторитетѣ. Чтобы помочь этимъ людямъ, надо пользоваться случаемъ, брать примѣры прямо изъ жизни и на этихъ примѣрахъ показывать приложеніе общихъ правилъ и руководящихъ идей.

Протестъ нашихъ журналовъ противъ Камня-Виногорова былъ положительно полезенъ; онъ показалъ обществу, какъ наше литературное большинство понимаетъ права женщины, и показалъ не въ теоретическомъ разсужденіи, а на живомъ примѣрѣ. Но нерѣшительность отношеній къ простому и ясному дѣлу нашла себѣ представителей въ двухъ значительныхъ органахъ нашей журналистики. «Отечественныя Записки» приняли шутивый тонъ, говоря объ этомъ событіи въ отдѣлѣ русской литературы (1861, апрѣль, стр. 143); осмѣяли какъ школьную проѣлку всю исторію протеста и поспѣвовали о томъ, что толки о женщинѣ не уяснили значенія семейнаго начала въ Россіи. «Русскій Вѣстникъ» отнесся къ дѣлу гораздо строже; у него всѣ оказались виноваты: и г-жа Толмачева, и фельетонистъ «Петербургскихъ Вѣдомостей», и юмористъ «Вѣка», и въ особенности Михайловъ и *спущенная имъ статья*. На 17 страницахъ разбирается это дѣло, и разборъ приводить къ самымъ неожиданнымъ результатамъ; съ-плеча высказываются смѣлыя, новидимому, мнѣнія, которые на слѣдующей же страницѣ встрѣчаютъ себѣ такое же смѣлое опроверженіе. На стр. 24 говорится о томъ, что женщина въ нашемъ обществѣ пользуется всѣми разумными правами, а на страницѣ 36 прорывается признаніе, что «у насъ дѣвушка не легко отважится пройти одна по улицѣ». Концы съ концами сведены такъ, что вы при чтеніи не замѣтите противорѣчій, но если вы захотите отдать себѣ отчетъ въ прочитанномъ, то общее впечатлѣніе выйдетъ самое смутное. Дѣло въ томъ, что въ подобномъ вопросѣ надобно отвѣчать ясно и категорически: да или нѣтъ. Меттерниховскія полумѣры, отвѣты *и да, и нѣтъ* или *ни да, ни нѣтъ* не приложимы и бессмысленны. Молодыя женщины и дѣвушки нашего общества чувствуютъ потребность учиться; у нихъ пробуждается дѣятельность мысли; вопросъ въ томъ, дать ли имъ книги въ руки или нѣтъ, пустить ли ихъ въ-университетъ или нѣтъ. Давая имъ книги и пуская ихъ въ университетъ, мы, мужчины, собственно говоря, ничего не дѣлаемъ, а только устраняемъ свое вліяніе и рѣшительно не принимаемъ на себя никакой от-

вѣтственности. Не давая книгъ и запирая двери университета, мы самымъ грубымъ образомъ посягаемъ на чужую свободу. Скажите же, въ какомъ образованномъ обществѣ возможенъ такой вопросъ? Вѣдь это все равно, что спросить печатно: нужно ли бить женщину кулакомъ, или нѣтъ. Неужели для разрѣшенія такого вопроса нужно обращаться къ исторіи, уяснять значеніе семейнаго начала, или ссылаться на права женщины передъ сводомъ законовъ, какъ дѣлаетъ «Русскій Вѣстникъ»? Научный вопросъ, историческое значеніе женщины въ древней и новой Россіи можно обсуживать сколько угодно, и чѣмъ больше фактовъ вы наберете въ лѣтописяхъ, тѣмъ полнѣе и серьезнѣе будетъ ваше изслѣдованіе; но если вы въ житейскій вопросъ вмѣшаете результаты вашихъ кабинетныхъ трудовъ, то это будетъ напрасная трата времени.

А время вещь какая?

Дѣйствительно, діалектическія тонкости, въ которыя пускаются наши журналы по поводу самыхъ простыхъ и понятныхъ вещей, какъ нельзя больше напоминаютъ читающей публикѣ знаменитаго метафизика, свалившагося въ яму и не рѣшающагося безъ предварительнаго размышленія схватить веревку, которую спускаетъ къ нему здравомыслящій человѣкъ. «Фразы заѣли насъ», говоритъ «Русскій Вѣстникъ» въ своей статьѣ о г-жѣ Толмачевой (1861 г., мартъ, стр. 37). Это совершенно справедливо. Когда нужно приложить къ дѣлу здравый смыслъ, когда можно дать волю непосредственному чувству, мы пускаемся въ фразы и выдвигаемъ впередъ вычитанную теорію; живой фактъ превращается въ отвлеченное, безжизненное и безвѣтное понятіе; это понятіе поворачиваемъ во всѣ стороны; на цѣлыхъ страницахъ мы переливаемъ изъ пустого въ порожнее и въ заключеніе подводимъ такіе результаты, которые на завтрашній же день, какъ мыльные пузыри, лопнуть отъ движенія жизни. Жизнь идетъ мимо литературы, и журнальныя теоріи одна за другой сдаются въ архивъ и умираютъ.

V.

Жизнь наша бѣдна внутреннимъ содержаніемъ, а между тѣмъ и эта бѣдная жизнь съ ея потребностями и стремленіями отражается довольно ясно только въ изящной словесности. Наша изящная словесность во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ выше нашей критики, такъ что во многихъ случаяхъ критика не была въ состояніи дать отчета о художественномъ произведеніи, возбудившемъ всеобщее сочувствіе въ читающей публикѣ. О «Воспитаницѣ» Островскаго не было сказано ни слова, а между тѣмъ, какъ много говоритъ эта небольшая драма, какія живыя личности и положенія выступаютъ передъ вообра-



женіемъ читателя! Если молчаніе критики о «Воспитанницѣ» произошло отъ невниманія, то это непростительная оплошность; впрочемъ, трудно сдѣлать подобное предположеніе; вѣрнѣе то, что у нашей критики не достало силъ разобрать аналитически тѣ явленія, которыя въ стройныхъ образахъ явились передъ творческимъ сознаніемъ художника; сознаніе этого безсилія и нежеланіе отдѣлаться фразами отъ замѣчательнаго произведенія дѣлаетъ честь добросовѣстности нашихъ критиковъ; но самый фактъ безсилія—явленіе, дѣйствительно существующее и въ то же время очень печальное. На изящную словесность намъ рѣшительно невозможно пожаловаться; она дѣлаетъ свое дѣло добросовѣстно и своими хорошими и дурными свойствами отражаетъ съ дагерротипической вѣрностью положеніе нашего общества. Во-первыхъ, все вниманіе ея сосредоточено на среднемъ сословіи, т. е. на томъ классѣ, который дѣйствительно живетъ и движется, для котораго смѣняются идеалы, взгляды на жизнь и вѣянія эпохи. Романы изъ жизни высшей аристократіи и изъ престопаднаго быта сравнительно довольно рѣдки, а явленіе писателя, подобнаго Марку Вовчку,—писателя сливающего свою личность съ народомъ, составляетъ совершенное исключеніе. Это предпосчитеніе нашихъ художниковъ къ среднему сословію объясняется тѣмъ, что къ этому сословію принадлежатъ почти все то, что пишетъ, читаетъ, мыслитъ и развивается. Высшая аристократія и простой народъ въ сущности мало измѣнились со времени напр. Александра I; народъ остался тѣмъ, чѣмъ былъ, и не перемѣнилъ даже покроя платья; аристократія перемѣнила костюмъ, приняла какія-нибудь новыя привычки, но образъ мыслей, взглядъ на жизнь остались тѣ-же и попрежнему напоминаютъ вѣкъ Людовика XIV. Что же касается до средняго сословія, то каждое десятилѣтіе производитъ въ немъ замѣтную перемѣну; поколѣніе рѣзко отличается отъ поколѣнія; идеи европейскаго запада дѣйствуютъ почти исключительно на высшіе слои этого средняго класса; этотъ классъ наполняетъ собою университеты, держитъ въ рукахъ литературу и журналистику, ѣздитъ за границу съ ученой цѣлью, словомъ, онъ выражаетъ собою національное самосознаніе. Художникъ, который ищетъ человѣческихъ чертъ, а не бытовыхъ подробностей, психологическаго, а не этнографическаго интереса, естественно обращается къ этому классу и изъ него черпаетъ матеріалы. Борьба идей, а не личностей, столкновеніе понятій и возрвнй возможны только въ этомъ классѣ. Предметъ борьбы и столкновенія характеризуетъ собою эпоху, и при томъ такъ вѣрно, что хорошій критикъ по одному внутреннему содержанию художественнаго произведенія, котораго герои взяты изъ средняго сословія, можетъ опредѣлить безошибочно то десятилѣтіе, въ которомъ оно возникло. Сравните

«Герой нашего времени», «Кто виноватъ?» и «Дворянское Гнѣздо», и вы увидите, до какой степени измѣняются характерныя фізіономіи и понятія изъ десятилѣтія въ десятилѣтіе.

Занимаясь преимущественно среднимъ сословіемъ, наша изящная словесность обращаетъ свое вниманіе не столько на общество, сколько на человѣческую личность. Психологическій интересъ въ большей части нашихъ романовъ и повѣстей преобладаетъ надъ бытовымъ и социальнымъ. Дѣйствіе происходитъ обыкновенно внутри семейства и почти никогда не приводится въ связь съ какимъ-нибудь общественнымъ вопросомъ. Въ этомъ обстоятельствѣ также отражается явленіе русской жизни; дѣло въ томъ, что у насъ, собственно говоря, нѣтъ общества, и до сихъ поръ не бывало такихъ движеній, которыя бы заинтересовали всѣхъ и дали почувствовать каждому, что онъ не только Петровъ или Ивановъ, но въ то же время гражданинъ Россіи; у насъ есть множество отдѣльных кружковъ, которые другъ друга не знаютъ и знать не хотятъ; внутренняя связь этихъ кружковъ иногда имѣетъ очень опредѣленный смыслъ, а иногда вовсе не имѣетъ смысла; въ нѣкоторыхъ случаяхъ кружокъ составляется изъ людей, связанныхъ между собою симпатіей, единствомъ убѣжденій, сходствомъ характеровъ; большей частью кружки основаны на связи чисто случайной, на родствѣ или свойствахъ, на сосѣдствѣ по деревнѣ, на товариществѣ по службѣ, на встрѣчѣ за бутылкой вина. Фізіономію кружка часто очень удачно схватываетъ художникъ; въ этой фізіономіи есть обыкновенно нѣсколько типическихъ чертъ, которыя каждому русскому понятны и знакомы; другія черты, составляющія индивидуальную особенность того или другого кружка, тоже могутъ войти въ романъ, потому что идея художника должна выразиться въ самомъ опредѣленномъ обособленіи такъ, чтобы выведенныя личности были живыми людьми и въ то-же время представителями извѣстнаго типа. Но для критики отсутствіе связи между отдѣльными кружками составляетъ рѣшительно камень преткновенія; какъ судить объ обществѣ, какъ наблюдать за проявленіями его жизни, когда общества нѣтъ и когда жизнь общества ни въ чемъ не проявляется! Задача дѣйствительно мудреная, и за рѣшеніе этой задачи критика наша берется, сколько мнѣ кажется, не такъ, какъ слѣдовало бы. За неимѣніемъ общества она старается его выдумать; она пытается привить къ намъ общественные интересы и истоичается въ благородныхъ, но бесполезныхъ усиліяхъ; она хочетъ сдѣлать слишкомъ много и потому ровно ничего не дѣлаетъ; она забываетъ, что критика можетъ только обсуждать существующія явленія, выражать потребности, носящіяся въ обществѣ, а не порождать новыя явленія и не будить въ обществѣ такія потребности, для

которыхъ еще нѣтъ почвы въ дѣйствительности. Забывать впередъ не дѣло критики; это значитъ разрушать живую связь между собою и читающимъ обществомъ; если критика 1861 года осталась не прочитанной или по прочтеніи не произвела на читателя никакого впечатлѣнія, то она навсегда пропала; вѣдь будущее поколѣніе не станетъ же разрывать старые журналы, чтобы искать въ нихъ идеи, приходящіяся по душѣ. Журналистика—дѣло нынѣшняго дня; что не прочитано сегодня, то уже устарѣло завтра. Вѣлинскаго издають и читають теперь преимущественно потому, что его съ жадностью читали его современники, потому что онъ былъ учителемъ цѣлаго поколѣнія, а не потому, что въ его критикѣ заключаются вѣчныя истины. Вѣлинскій дорогъ намъ не какъ мыслитель, а какъ выраженіе извѣстной эпохи. Самые недостатки Вѣлинскаго, его увлеченія, порывы страстности, вредящіе корою ясности критическаго взгляда, могли только содѣйствовать усилю его критики. Эти недостатки принадлежали времени; ихъ раздѣляли съ Вѣлинскимъ лучшіе люди той эпохи, и потому эти самые недостатки скрѣпляли связь между критикомъ и читателемъ.

Ничего подобнаго не встрѣтишь въ теперешней критикѣ, потому что усвоить себѣ всѣ сочувствія извѣстной эпохи, всѣ ея сильныя и слабыя стороны, словомъ, воплотить въ себѣ эпоху можетъ только сильный талантъ, а нашимъ критикамъ именно недостаетъ силы и таланта. У нихъ есть кой-какія знанія, есть честныя убѣжденія, благородныя стремленія, но нѣтъ той жизни, той энергіи и огни, которые неотразимымъ обаяніемъ дѣйствуютъ на общество и увлекаютъ за собою умы читателей. Этимъ недостаткомъ таланта объясняются ошибки нашей критики, ея безтактность и, главное—ея поразительная мертвенность. Человѣкъ талантливый творить по внутренней потребности; онъ увлекается процессомъ творчества за предѣлы всякой теории и увлекаетъ за собою слушателей или читателей; онъ иногда ошибается, противорѣчитъ себѣ, потому что впечатлительность и подвижность мысли часто мѣшаютъ ему размѣрять каждый шагъ и взвѣшивать каждое слово. Трудолюбивая посредственность часто найдетъ случай уличить его въ поверхностности, въ поспѣшинности выводовъ, въ недостаточномъ знакомствѣ съ фактами, но во всѣхъ этихъ ошибкахъ, въ самыхъ противорѣчійхъ видна самородная сила мысли, отъ нихъ вѣетъ жизнью, и во имя этого обаятельнаго дыханія жизни вы охотно извините талантливому человѣку отдѣльные пробѣлы и недосмотры; задаться какой-нибудь теоріей и не отступать отъ нея въ теченіе всей своей дѣятельности—это невозможно для талантливаго человѣка; оторваться отъ интересовъ дѣйствительной жизни онъ рѣшительно не

въ состояніи; его природа слишкомъ воспримчива и впечатлительна, чтобы не отозваться на то, «что просить у сердца отвѣта». Онъ можетъ расходиться съ своими современниками въ пониманіи житейскихъ вопросовъ и важнѣйшихъ интересовъ эпохи, онъ можетъ вступить съ ними въ открытую борьбу на жизнь и на смерть, но предметомъ этой борьбы будетъ дѣйствительная почва, а не отвлеченная, схоластическая теорія, созданная односторонней работой мозга.

Современная критика грѣшитъ именно тѣмъ, что она задается теоріями и изобрѣтаетъ жизнь вмѣсто того, чтобы приглядываться и прислушиваться къ звукамъ окружающей дѣйствительности. Вѣдны, однообразны эти звуки, не слагаются они въ стройную гармонию,—все это правда, но вѣдь все-таки это дѣйствительность, и самая ея бѣдность и однообразіе представляютъ намъ фактъ, способный вызвать слово сочувствія у дѣйствительнаго поэта или вести истиннаго критика на плодотворныя размышленія. Эту бѣдность не замаскируешь самыми нестрыми декораціями фантазіи, да и кого обманутъ эти декораціи? Дѣтей, не выучившихся отличать мишуру отъ золота, да тѣхъ жалкихъ людей, у которыхъ воображеніе преобладаетъ надъ чувствомъ, и которые способны жить одной головой и удовлетворяться тѣмъ, что въ ихъ мозгу господствуетъ строгая систематичность и существуетъ гармоническое согласіе между поселенными въ немъ идеями. Витать мыслью въ радужныхъ сферахъ фантазіи или уноситься куда-нибудь за море къ лучшему порядку вещей въ то время, когда окружающіе насъ люди терпятъ горькую судьбу или несутъ тяжелый трудъ, это такая способность сибаритства, которой обладаютъ многіе, но которая, къ сожалѣнію, недоступна человѣку, одаренному живымъ чувствомъ. Возлѣ меня человѣкъ работаетъ и страдаетъ, терпитъ голодь, холодъ и оскорбленія, а я, сидя на мягкомъ диванѣ, послѣ сытнаго обѣда, боюсь даже пошевелить своей мыслью и подумать о его положеніи; вздохнувъ ex officio о несовершенствахъ жизни, я отворачиваюсь отъ некрасиваго зрѣлища, отголяю прочь сѣренькія впечатлѣнія и начинаю строить воздушные замки или разсуждать о парламентской реформѣ въ Англии. Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя спокойныя и свѣтлыя размышленія полезны для головы и для желудка; пульсъ бьется ровно и пищевареніе идетъ нормальнымъ порядкомъ, но что эти размышленія—сонъ на яву, это, мнѣ кажется, тоже не требуетъ доказательствъ.

## VI.

Наша изящная словесность представляетъ интересъ преимущественно психологическій: она разсматриваетъ человѣка, а не гражданина, не

представители изящной эпохи, не члена извѣстнаго общества. Черты народности, эпохи и общества встрѣчаются въ изобиліи въ создаваемыхъ ею образахъ, потому что эти образы дѣйствительно художественны и, слѣдовательно, вполнѣ опредѣленны; но эти черты составляютъ только необходимые аксессуары; что же касается до главныхъ пружинъ романическаго интереса, то онѣ обыкновенно скрываются во внутреннемъ развитіи отдѣльныхъ характеровъ, въ колоритѣ личныхъ и семейныхъ отношеній главныхъ дѣйствующихъ лицъ. У насъ не было историческаго романа, за исключеніемъ «Капитанской Дочки» Пушкина; у насъ нѣтъ до сихъ поръ соціального или правоописательнаго романа. Въ этомъ отношеніи литература служитъ вѣрнымъ отраженіемъ жизни; у насъ каждый занять собою и своимъ семейнымъ бытомъ; гражданскія доблести и патриотическое чувство пробуждаются только тогда, когда всѣмъ угрожаетъ опасность, какъ то было, напр., въ 1812 году; вызванное общей опасностью, это патриотическое чувство равносильно чувству самосохраненія, возбужденному одновременно въ нѣсколькихъ милліонахъ людей. Эти милліоны поднимаются не для того, мнѣ кажется, чтобы отстаивать какую-нибудь общую идею, а для того, чтобы защитить свои личные интересы. Поднимаются всѣ вмѣстѣ потому, что каждому отдѣльно грозитъ опасность. Эта разрозненность не подлежитъ сомнѣнію. Хороша ли она, или нѣтъ, это вопросъ, и, мнѣ кажется, вопросъ далеко не рѣшенный. Она мѣшаетъ единству гражданскаго дѣйствія, но зато развиваетъ личную оригинальность и самостоятельность. Трудно также рѣшить а priori, составляетъ ли эта разрозненность черту русскаго характера или простое временное слѣдствіе внѣшней организаціи нашего общества; какъ бы то ни было, фактъ существуетъ и, если можно, изъ него нужно извлечь пользу.

Вмѣсто того, чтобы проповѣдывать голосомъ вопіющаго въ пустынѣ о вопросахъ народности и гражданской жизни, о которыхъ молчитъ изящная словесность, обладающая большимъ тактомъ, наша критика сдѣлала бы очень хорошо, если бы обратила побольше вниманія на общечеловѣческіе вопросы, на вопросы частной нравственности и житейскихъ отношеній. Въ уясненіи этихъ вопросовъ нуждается всякій; эти вопросы затемнены и запутаны разнымъ старымъ хламомъ, который не мѣшало бы отодвинуть въ сторону, чтобы всѣмъ и каждому можно было непредубѣжденными глазами взглянуть на свѣтъ божій и на добрыхъ людей. Съ важнымъ видомъ взойти на кафедру и ни съ того, ни съ сего начать проповѣдь о человѣческихъ обязанностяхъ и добродѣтеляхъ было бы, конечно, смѣшно; я этого и не требую отъ нашей критики; но вы не забудьте того, что въ каждой книжкѣ cadaго

толстаго журнала появляются повѣсти и романы; хорошія произведенія представляютъ намъ характеры и образы, посредственные—выражаютъ стремленія и воззрѣнія авторовъ; и тѣ, и другія могутъ дать поводъ къ обсужденію разныхъ сторонъ нашей всендневной жизни, а эти стороны нуждаются въ пересмотрѣ и въ расчищеніи; это выразилъ еще въ «Петербургскомъ Сборникѣ» талантливый и рыцарски-честный человекъ, авторъ статьи: «Капризы и раздумье», и эта мысль нашла себѣ полное сочувствіе въ теплой душѣ Вѣлинскаго. Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, между воспитателемъ и воспитанникомъ,—все это должно быть обсуживаемо и разсматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Это обсужденіе не должно привести къ составленію законовъ семейной нравственности. Воже упаси! Догматизмъ вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно совершенно уступить мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы патолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященныя вѣками и потому подернувшіяся вѣковой плѣсенью. Говорить мелькомъ объ условной или мѣщанской нравственности принято въ современной литературѣ. Слово «условная нравственность» сдѣлалось даже общимъ мѣстомъ; повторяясь ежеминутно, это слово потеряло свой живой смыслъ и обратилось въ побрякушку, не пробуждающую въ насъ никакого опредѣленнаго представленія, почему это такъ случилось? Насъ заѣли фразы, мы пустились въ діалектику, воскресили схоластику и возвращаемся въ заколдованномъ кругу словъ и отвлеченностей, которыя мѣшаютъ намъ видѣть настоящее дѣло. Вотъ, напр., Григорьевъ пишетъ цѣлую статью объ отношеніи искусства въ нравственности: статья по своему направленію соответствуетъ духу времени, а между тѣмъ авторъ не выходитъ изъ сферы отвлеченностей и ни одного литературнаго типа не разбираетъ по отношенію къ затронутому вопросу; именъ встрѣчается довольно много, но по поводу этихъ именъ высказываются замѣчанія, относящіяся къ исторіи литературы, но не бросающія никакого свѣта на понятіе условной и истинной нравственности. Прочитавъ статью въ 23 страницы, читатель убѣждается въ томъ, что Григорьевъ протестуетъ противъ «условной нравственности», но самое понятіе «условная нравственность» остается для него такъ-же мало опредѣленнымъ, какъ, напр., выраженія того же критика: «литыя формы» Карамзина («Время»

1861, мартъ) или «казовые концы» нашего общества («Свѣточъ» 1861, апрѣль). Заявить въ себѣ присутствіе того или другого убѣжденія не трудно; тотъ фактъ, что вы—прогрессистъ или обскурантъ, касается только васъ самихъ и вашихъ ближайшихъ знакомыхъ; публика не нуждается въ вашемъ голословномъ исповѣданіи вѣры; оно ни для кого не поучительно и, можетъ быть, даже не интересно; но если вы дадите себѣ трудъ развить отдѣльныя мысли вашего міросозерцанія, если вы покажете ихъ приложение къ дѣлу въ различныхъ столкновеніяхъ съ жизнью, тогда публика увидитъ степень самостоятельности и искренности вашихъ убѣжденій, степень ихъ жизненности и практической приѣмности; она увидитъ, что можно задуматься надъ выраженными вами идеями, и, можетъ быть, скажетъ вамъ спасибо за то, что вы дали ей поводъ къ тѣмъ или другимъ размышленіямъ. Есть множество истинъ простыхъ и понятныхъ, которая, однако, не совсемъ легко приѣмнить, даже въ теоретическомъ разсужденіи, къ отдѣльнымъ случаямъ жизни. «Уважайте въ себѣ и въ другихъ человѣческую личность»,—что можетъ быть проще этого правила; вѣроятно, не найдется ни одного человѣка въ мірѣ, который рѣшился бы спорить противъ этой мысли, выраженной въ догматической формѣ; вѣроятно, никто не найдетъ этого изреченія безнравственнымъ; а между тѣмъ, посмотрите вокругъ себя—вы встрѣтите на каждомъ шагу противорѣчія этому простому правилу практической нравственности; загляните въ исторію человѣчества, и вы убѣдитесь въ томъ, что оно даже теоретически не уснило себѣ этой идеи; религіозныя войны, утопическія теоріи, реформы съ высоты административнаго величія или отвлеченной мысли доказываютъ ясно, что необходимость уважать человѣческую личность не была сознаана во всемъ своемъ объемѣ ни мыслителями, отъ Платона до Гегеля, ни практическими дѣятелями, отъ Кира Персидскаго до Наполеона III. Можно сказать рѣшительно, что приложение принципа къ дѣлу гораздо важнѣе самаго принципа; подъ однимъ знаменемъ могутъ стоять люди самыхъ несходныхъ характеровъ и даже до нѣкоторой степени разнорѣчивыхъ убѣжденій. Вѣроятно, «Русскій Вѣстникъ» не рѣшится выставить на своемъ знамени цитату изъ Домостроя; вѣроятно, онъ скажетъ смѣло, что ратуетъ за прогрессъ и за свободу человѣческой мысли и личности, а, между тѣмъ, онъ съ ожесточеніемъ возстаётъ противъ тѣхъ людей, которые выразили свое неудовольствіе по поводу статьи Камня-Виногорова, называетъ ихъ стаей, спущенной Михайловымъ, а всю исторію протеста клеймитъ именемъ возмутительнаго гама на площадяхъ русской литературы. Споры возникаютъ въ наше время не столько за принципъ, сколько за отдѣльныя частности въ его приложеніи къ дѣлу;

въ основномъ принципѣ всѣ порядочные люди болѣе или менѣе согласны между собою; кто не сходитъ съ нами въ основаніи, съ тѣмъ мы считаемъ всякій споръ совершенно бесполезнымъ; вѣроятно, ни одинъ порядочный журналъ не вступитъ въ полемику съ «Домашней Бесѣдой» и не откликнется ни однимъ словомъ на крикленія Аскоченскаго. Изъ всего слѣдуетъ, что критика будетъ тѣмъ живѣе и плодотворнѣе для общества, чѣмъ меньше будетъ въ ней отвлеченности и общихъ взглядовъ, чѣмъ неуклоннѣе она будетъ слѣдить за движеніемъ жизни и чѣмъ внимательнѣе будетъ обсуживать отдѣльныя явленія науки и искусства, даже отдѣльные случаи всендневной жизни.

Помидуйте, вы низводите критику на степень городской сплетницы, скажутъ съ ужасомъ тѣ литераторы, которые прежде всего гонятся за серьезностью направленія и за величіемъ и строгостью идеи. Господа, отвѣчу я, не будемъ обманывать самихъ себя: вѣдь мы должны писать для общества, слѣдовательно, должны заниматься тѣмъ, что всѣмъ доступно и всѣмъ можетъ принести пользу. Какой-нибудь общественный скандалъ въ данную минуту интересуется публику гораздо больше, нежели рѣшеніе вопроса о томъ, существуютъ ли у насъ западники и славянофилы; по поводу этого общественного скандала вы можете развить нѣсколько свѣтлыхъ идей и заронить въ нашихъ читателей кое-какіе задатки развитія и движенія впередъ. Спрашивается, по какому же побужденію вы не воспользуетесь этимъ случаемъ? Потому, скажете вы, что не желаете уронить достоинства идеи, не желаете вмѣшаться въ толпу крикуновъ и свистуновъ, etc..., etc... Что за щепетильность, что за брезгливость, что за фешенебельное и въ то-же время педантическое презрѣніе къ тѣмъ интересамъ, которые волнуютъ окружающихъ васъ людей! Какъ критикъ, вы должны помогать общественному самосознанію и не оставлять, сложа руки, когда общество рискуетъ ошибиться, или когда является возможность высказать ему нѣсколько истинъ. Олимпійское спокойствіе можетъ быть очень умѣстно въ ученомъ собраніи, но оно нигде не годится на страницахъ журнала, служащаго молодому, еще не перебродившему обществу. Если вашъ утонченный слухъ не терпитъ рѣзкихъ звуковъ, откажитесь отъ критической дѣятельности, приводящей васъ въ соприкосновеніе съ живымъ и безалабернымъ міромъ людей; плохой тотъ медикъ, который блѣднѣетъ при видѣ крови и падаетъ въ обморокъ, когда нужно перевязывать рану больного; плохой тотъ критикъ, который не въ состояніи вынести шума житейскихъ толковъ и потому можетъ познакомиться съ жизнью только по книгамъ, написаннымъ высокимъ слогомъ и проникнутымъ олимпійскимъ спокойствіемъ. Но, извините, между медикомъ и критикомъ большая разница. Медикъ

по исполнить въ томъ, что у него слабы нервы; онъ борется съ собою и не можетъ побѣдить себя; что же касается до щенетильнаго критика, то онъ, очевидно, напускаетъ на себя дурь и даже любитъ тѣмъ величавымъ презрѣніемъ, съ которымъ онъ относится къ суетящейся мелюзгѣ. «Время» говорило о литературныхъ генералахъ; помяните, да у насъ есть не только литературные генералы, а просто литературные богдыханы, которые сердятся за всякое громкое слово и пушатъ насъ, какъ мальчишекъ, за отсутствіе серьезности и за то, что мы смѣемъ беспокоить ихъ барскія уши и нарушать ихъ величавую полудремоту. Попробуйте написать рѣзкую критическую статью: «Отечественныя Записки» сейчасъ обвинять васъ въ гарцованіи, въ срамословіи и свержнословіи (sic!), а «Русскій Вѣстникъ» крикнетъ изъ Москвы: «молчать, мальчишки, не смѣйте разсуждать, когда я говорю!» Все это было бы почти грустно, если бы не было въ высшей степени смѣшно!

## VII.

Стремленіе къ серьезности, господство теорій, переходящихъ порою въ рутину, отвлеченность и вслѣдствіе этого безжизненность содержанія и неясность вѣншей формы составляютъ неотъемлемое достояніе нашей современной критики. Она гордится этими свойствами и держитъ въ запасѣ нѣсколько казенныхъ фразъ, которыми эти слабости и недостатки воздаютъ въ высшія достоинства; отворачиваясь отъ явленій дѣйствительности значить служить вѣчнымъ интересамъ мысли; туманныя отвлеченности называются философіей; даже самый осязательный недостатокъ—неясность формы—не встрѣтилъ себя до сихъ поръ опредѣленно выраженного протеста въ печати. Словомъ, средневѣковая схоластика и египетская символика живутъ въ нашей періодической литературѣ, несмотря на изобрѣтеніе Гутенберга, которое, какъ мы знаемъ по самымъ элементарнымъ учебникамъ, должно было разбить замкнутость ученаго сословія и сдѣлать науку достояніемъ массы. Схоластика оправдывается условіями своего времени; египетская символика вытекла изъ религіи и поддерживалась народнымъ характеромъ, любовнымъ таинственностію и мистическій мракъ; но въ наше время схоластическое отчужденіе отъ жизни и символическая загадочность выраженія составляютъ печальный анахронизмъ. Попытки нѣкоторыхъ критиковъ построить эстетическую теорію и уяснить вѣчные законы изящнаго рѣшительно не удались, и не удались именно потому, что нашъ вѣкъ уже не ловится на теоріи и не повинуется слѣпо вымышленнымъ законамъ. Прошли тѣ времена, когда Буало и Батте, законодатели ложнаго классицизма, могли произвольно обрѣзывать область творчества и вы-

брасывать изъ нея все низкое (т. е. невысокое) и пошлое (т. е. обиденное). У насъ въ журнальной критикѣ былъ моментъ, когда теорія сразилась съ интересами жизни и употребила всѣ усилія, чтобы поворотить движеніе мысли туда, куда требовалось, согласно съ буквою эстетическаго закона; схватка, происшедшая между теоретиками и практиками, была жаркая, и, какъ того слѣдовало ожидать, теоретики не остановили теченія жизни и отошли въ сторону, пожимая плечами. Дѣло шло объ обличительной литературѣ. Надо было рѣшиться, законное ли оно явленіе, или нѣтъ. Собственно говоря, въ рѣшеніи этого вопроса никто не нуждался; публика съ наслажденіемъ читала «Губернскіе Очерки» Щедрина, нисколько не заботясь о томъ, осудитъ или оправдаетъ его наша критика; но рьяные систематики, любящіе систему для системы, не могли быть спокойны, пока не нашли той категоріи, въ которую можно было включить произведеніе новаго беллетриста. Эти систематики возстали противъ обличительной литературы и съ фанатическимъ жаромъ вступились за отвлеченное понятіе искусства. Ахшарумовъ помѣстилъ даже въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1858 года статью подъ громкимъ заглавіемъ: «Порабощеніе искусства». Словомъ, господа теоретики такъ горячо вступились за отвлеченное понятіе, какъ вступаются только за живого человѣка, когда ему наносятъ тяжелое оскорбленіе. Слушая ихъ, можно было подумать, что не повѣсти и романы пишутся для того, чтобы удовлетворить творческому стремленію авторовъ и доставить публикѣ эстетическое наслажденіе, а наоборотъ—писатели и публика существуютъ: первые для того, чтобы писать, а послѣдняя для того, чтобы читать художественныя произведенія. Теорія здѣсь, какъ и вездѣ, посягала на свободу писателей и читателей; здѣсь, какъ и вездѣ, она обнаружила крайнюю близорукость и крайнее незнаніе жизни. Она хотѣла передѣлать жизнь по-своему и подчинить своимъ приговорамъ творчество художника и вкусъ читателя. Она не поняла того, что протестъ былъ насущной потребностью русскаго общества въ лицѣ наиболее развитыхъ его представителей; она не захотѣла вникнуть въ то, что протестъ могъ выразиться только въ изящной словесности, и что на этомъ основаніи наши протестанты съ жадностію ухватились за эту форму. Критика отстала отъ общества и отъ изящной словесности и, толкуя объ исторіи, сама забыла приложить историческую оцѣнку къ невиданному явленію. Она заговорила объ абсолютныхъ законахъ творчества и не сообразила того, что абсолютной красоты нѣтъ, и что вообще понятіе красоты лежитъ въ личности читателя, а не въ самомъ предметѣ. Что на мои глаза прекрасно, то вамъ можетъ не нравиться; что приходилось по вкусу нашимъ отцамъ, то можетъ наводить на насъ сонъ и дремоту. Негритянка, которая

своему соотечественнику покажется воплощеніемъ красоты, навѣрное не понравится европейцу. Красота чувствуется, а не мѣрится аршиномъ; требуется, чтобы художественное произведеніе приводило зрителей или слушателей въ одинаковое настроеніе, значить желать, чтобы у всѣхъ этихъ господъ равномерно бился пульсъ, а сдѣлать это очень трудно; намъ извѣстно изъ исторіи, что Карль V, во время пребыванія своего въ монастырѣ св. Юста, при всѣхъ усиліяхъ не успѣлъ привести къ равномерному ходу двухъ стѣнныхъ часовъ. Человѣчскій организмъ будетъ послужить стѣнныхъ часовъ; къ тому же онъ образуется и развивается помимо нашей воли; изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что законодатели-эстетики напрасно стараются добраться до такихъ законовъ, которые на практикѣ признало бы все человечество. Вы можете рядомъ силлогизмовъ доказать мнѣ, что такое-то произведеніе художественно, но если это произведеніе не подѣйствовало на мою нервную систему, то, прочитавши вашу рецензію, я останусь къ нему такъ же холоденъ, какъ и прежде. Если, стоя передъ картиною, вы предварительно отдаете себѣ отчетъ въ правильности рисунка, въ вѣрности выраженія и въ живости колорита, а уже потомъ начинаете наслаждаться общимъ впечатлѣніемъ, то это доказываетъ, что картина писана не художникомъ, а трудолюбивымъ и ученымъ техникомъ, или что вы, цѣнитель, до такой степени пропитаны теоретическими знаніями, что научный элементъ задушилъ въ васъ живое чувство и непосредственную воспримчивость къ явленію красоты. Это значить, что вы заучились, и что ваши мыслительныя силы развились въ ущербъ остальнымъ отправленіямъ вашего организма. Мы, обыкновенные люди, идемъ обратнымъ путемъ, отъ синтеза къ анализу, т. е. сначала чувствуемъ впечатлѣніе, а потомъ отдаемъ себѣ отчетъ въ причинахъ этого впечатлѣнія. Если я не почувствовалъ красоты, то не стану справляться съ мнѣніемъ знакоковъ, а подожду, пока большое количество жизненнаго опыта не дастъ мнѣ средствъ самостоятельно насладиться даннымъ произведеніемъ, или пока тотъ же жизненный опытъ не покажетъ мнѣ, что я былъ правъ передъ собственной личностью, пройдя совершенно равнодушно мимо этого произведенія.

Личное впечатлѣніе, и только личное впечатлѣніе можетъ быть мѣриломъ красоты. Пусть всякій критикъ передаетъ намъ только то, какъ на него подѣйствовало то или другое поэтическое произведеніе; пусть онъ дастъ публикѣ отчетъ въ своемъ личномъ впечатлѣніи, и тогда каждая критическая статья будетъ такъ же искренна и жива, какъ лирическое стихотвореніе истиннаго поэта; тогда рецензія будетъ создаваться, вытекать изъ души критика, а не

строиться механически, какъ строится она теперь. Тогда критика будетъ дѣломъ таланта, и бездарность не будетъ въ состояніи укрыться за чужую теорію, превратно понятую и превратно передаваемую. Это, конечно, *via desideria*. Бездарность никогда не откажется отъ критической дѣятельности уже потому, что не сознаетъ себя бездарностью. Бездарность никогда не откажется отъ теоріи, потому что ей необходимъ критеріумъ, на которомъ можно было бы строить свои приговоры, необходима надежная стѣна, къ которой можно было бы прилониться. Въ высказываеся же въ нашей журналистикѣ мнѣніе о томъ, что литература наша *страдаетъ* отсутствіемъ авторитетовъ («Отч. Зап.», 1861, февраль, «Рус. Лит.», стр. 76), точно будто вѣра въ авторитетъ или въ теорію составляетъ необходимое условіе жизни. Если такое мнѣніе до сихъ поръ высказывается даже въ догматической формѣ, то очевидно, оно будетъ жить очень долго, можетъ быть, даже никогда не умретъ, потому что, вѣроятно, не переведутся въ обществѣ такіе люди, которые по влности и робости мысли не рѣшаются стать на свои ноги и постоянно напрашиваются къ кому-нибудь подъ умственную опеку. Тѣмъ не менѣе было бы очень хорошо, если бы вѣра въ необходимость теоріи была подорвана въ массѣ читающаго общества. Строго проведенная теорія непременно ведетъ къ стѣсненію личности, а вѣрить въ необходимость стѣсненія значить смотрѣть на весь міръ глазами اسکета и истязать самого себя изъ любви къ искусству.

Въ вопросѣ объ обличительной литературѣ теорія эстетики выказала всю свою несостоятельность. Дѣло было такъ просто, что возвести его въ теоретическій вопросъ и толковать о немъ больше трехъ лѣтъ могли только Метафизикъ Хемницера, да наша заучившаяся критика. Дѣло состояло въ томъ, что въ журналахъ рядомъ съ нѣкоторыми замѣчательными очерками Щедрина стали появляться посредственные рассказы и сцены съ обличительными стремленьями и съ худо скрытой правдоуличной цѣлью. Посредственные беллетристическія произведенія ни въ какой литературѣ не составляютъ рѣдкости, а у насъ ими хоть прудъ пруди; каждый журналъ ежемѣсячно вноситъ на алтарь отечества свою посильную лепту, въ теченіе года возникаетъ отъ 60 до 80 повѣстей, и, конечно, въ этомъ числѣ по крайней мѣрѣ  $\frac{9}{10}$  никуда не годятся. Литературныя посредственности обладаютъ обыкновенно значительной гибкостью, потому что онѣ дѣлаютъ, а не творятъ свои произведенія. Увидя успѣхъ щедринскихъ рассказовъ, эти господа пустились въ подражаніе, и можно сказать положительно, что они хорошо сдѣлали. Ихъ повѣсти не могли имѣть художественнаго значенія ни въ какомъ случаѣ; когда они взялись за обличеніе, ихъ очерки получили житейскій интересъ. Пуш-

книгъ въ своемъ стихотвореніи «Поэтъ и чернь» сирашиваетъ:

Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

и, какъ извѣстно, выражаетъ ту мысль, что поэты созданы для пѣнопѣній, для звуковъ сладкихъ и молитвъ. Я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ Пушкина, но позволю себѣ одинъ нескромный вопросъ: неужели можно назвать жрецами искусства Колбасина, Карновича, С. Федорова, Основскаго, Вахновскую, Нарскую, Кугушева etc. etc.? Мнѣ кажется, эти господа могутъ смѣло взять метлу въ руки, нисколько не роняя своего достоинства. Красота формы имъ недоступна; пускай же они рассказываютъ интересные житейскіе случаи, это будетъ гораздо занимательнѣе для читателя, чѣмъ тѣ сентиментально блѣдные романы, которые производятъ г-жи Нарская и Вахновская. Но наша критика увидала въ наливѣ обличительныхъ очерковъ новое направленіе, опасное для искусства, точно будто сфера искусства доступна для людей безъ дарованія, и точно будто истинное дарованіе можетъ сбиться съ пути какимъ-нибудь господствующимъ направленіемъ. Явились также защитники обличительной литературы, доказывавшіе, что гражданскій протестъ есть прямая обязанность искусства. Спорящія стороны были достойны другъ друга и одинаково смѣшны для безпристрастнаго наблюдателя. Я бы имъ посоветовалъ проѣхать мимо академіи художествъ, прочесть на фронтонѣ надпись «свободнымъ художествамъ» и подумать о смыслѣ этихъ словъ. Спорящія стороны вспомнили бы, можетъ быть, что свобода въ выборѣ и обработкѣ сюжета такъ же необходима для художника, какъ для насъ съ вами воздухъ и пища; что ни наталкивать художника на какую-нибудь задачу, ни насильно оттаскивать его отъ нея нельзя; они поняли бы тогда, можетъ быть, что искренній крикъ негодованія, вырвавшійся у художника при видѣ общественныхъ гадостей, составляетъ такой же драгоценный моментъ его творческой дѣятельности, какъ спокойное созерцаніе прекраснаго образа; другая сторона поняла бы, что этотъ крикъ негодованія только тогда дѣйствительно силенъ, когда онъ не поддѣланъ, а вырывается невольно изъ груди дѣйствительно раздраженнаго человѣка; она поняла бы, слѣдовательно, что сердиться на художника за отсутствіе подобныхъ криковъ—значить посягать на его личную свободу и заставлять человѣка плакать или смѣяться, когда ему не грустно или не смѣшно. Что же касается до обличительнаго мусора, заваливаемаго наши журналы 1857 и 1858 годовъ, то обѣ стороны хорошо бы сдѣлали, если бы совершенно не спорили о немъ. Мусоръ—явленіе неизбежное, и никакое направленіе литературы его не уничтожить; если же выбирать изъ двухъ воль лучшее, то, конечно, можно выбрать обли-

чительный родъ, который хотѣ не изображаетъ жизни, но по крайней мѣрѣ рассказываетъ о ней. Замѣчательно, что до сихъ поръ состязаніе двухъ направлений нашей критики не прекратилось или не забыто. Г—бовъ до нашихъ временъ въ началѣ каждой статьи прохаживается на счетъ эстетической критики, а Григорьевъ оплакиваетъ паденіе истинной поэзіи, видитъ въ Тургеневѣ послѣдняго Могикана чистаго искусства и даже въ послѣдней, очень туманной статьѣ своей «Объ идеализмѣ и реализмѣ» («Свѣточъ», 1861, апрѣль) является робкимъ ходатаемъ идеализма, который, по его мнѣнію, воплотился въ Тургеневѣ. Обѣ стороны, т. е. критики, старающіеся заперчь поэзію въ возъ, и критики, стремящіеся къ безпредѣльности и къ вѣчной красотѣ, спорять между собою, дѣлають другъ на друга колкіе намеки, обижаются ими, отвѣчаютъ на нихъ упреками,—и хотѣ бы одинъ разъ на досугѣ они подумали: «изъ чего мы хлопочемъ? Кого интересуютъ наши кровавые споры? Зачѣмъ и на что мы тратимъ энергію? На кого наши слова будутъ имѣть вліяніе?» Да, господа, Крыловъ не умретъ, и его басня «Муха и дорожные» не разъ найдетъ себѣ приложеніе.

## VIII.

Наше время рѣшительно не благопріятствуетъ развитію теорій. Народъ хитрѣ сталъ, какъ выражаются наши мужики, и ни на какую штуку не ловится. Умъ нашъ требуетъ фактовъ, доказательствъ; фраза насъ не отуманитъ, и въ самомъ блестящемъ и стройномъ созданіи фантазіи мы подмѣтимъ слабость основанія и произвольность выводовъ. Фанатическое увлеченіе идей и принципомъ вообще, сколько мнѣ кажется, не въ характерѣ русскаго народа. Здравый смыслъ и значительная доля юмора и скептицизма составляютъ, мнѣ кажется, самое замѣтное свойство чисто русскаго ума; мы болѣе склоняемся къ Гамлету, чѣмъ къ Донъ-Кихоту, намъ мало понятны энтузіазмъ и мистицизмъ страстнаго адепта. На этомъ основаніи мнѣ кажется, что ни одна философія въ мірѣ не привьется къ русскому уму такъ прочно и такъ легко, какъ современный здоровый и свѣжій матеріализмъ. Діалектика, фразерство, споры на словахъ и изъ-за словъ совершенно чужды этому простому ученію. До фразъ мы, конечно, большіе охотники, но насъ въ этомъ случаѣ занимаетъ процессъ фразерства, а не сущность той мысли, которая составляетъ предметъ разсужденія или спора. Русскіе люди способны спорить о какой-нибудь высокой матеріи битыхъ шесть часовъ, и потомъ, когда пересохнетъ горло и охрипнетъ голосъ, отнести къ предмету спора съ самой добродушной улыбкой, которая покажетъ ясно, что въ сущности горячившемуся господину было очень мало дѣла до того, о чемъ онъ кричалъ.

Эта черта нашего характера привела бы въ отчаяніе добросовѣстнаго нѣмца, а въ сущности это пресижапатичная черта. Фанатизмъ подчасъ бываетъ хорошъ, какъ историческій двигатель, но въ повседневной жизни онъ можетъ повести къ значительнымъ неудобствамъ. Хорошая доза скептицизма всегда вѣрнѣе пронесетъ васъ между разными подводными камнями жизни и литературы. Эгоистическія убѣжденія, положенныя на подкладку мягкой и добродушной натуры, сдѣлаютъ васъ счастливымъ человѣкомъ, не тяжелымъ для другихъ и понятнымъ для самого себя. Жизненные передѣлки достанутся легко; разочарованіе будетъ невозможно, потому что не будетъ очарованія; паденія будутъ легкія, потому что вы не будете взбираться на недостигаемую высоту идеала; жизнь будетъ не трудомъ, а наслажденіемъ, занимательной книгой, въ которой каждая страница отличается отъ предыдущей и представляетъ свой оригинальный интересъ. Не стѣсняя другихъ непрощенными заботами, вы сами не будете требовать отъ нихъ ни подвиговъ, ни жертвъ; вы будете давать имъ то, къ чему влечетъ живое чувство, и съ благодарностью или, вѣрнѣе, съ добрымъ чувствомъ будете принимать то, что они добровольно будутъ вамъ приносить. Если бы всѣ въ строгомъ смыслѣ были эгоистами по убѣжденіямъ, т. е. заботились только о себѣ и новиновались бы одному влеченію чувства, не создавая себѣ искусственныхъ понятій идеала и долга и не вмѣшиваясь въ чужія дѣла, то, право, тогда привольнѣе было бы жить на бѣломъ свѣтѣ, нежели теперь, когда о васъ заботятся чуть не съ колыбели сотни людей, которыхъ вы почти не знаете и которые васъ знаютъ не какъ личность, а какъ единицу, какъ члена извѣстнаго общества, какъ недѣлимое, носящее то или другое фамильное прозвище.

Возможность такого порядка вещей представляетъ, конечно, неосуществимую мечту, но почему же не отнестись добродушно къ мечтѣ, которая не ведетъ за собою вредныхъ послѣдствій и не переходитъ въ мономанію. Міръ мечты можетъ тоже сдѣлаться обильнымъ источникомъ наслажденія, но этимъ источникомъ надо воспользоваться съ крайней осторожностью. Самый крайній матеріалістъ не отвергнетъ возможности наслаждаться игрою своей фантазіи или слѣдить за игрою фантазіи другого человѣка. Въ первомъ случаѣ на первомъ процессѣ основанъ процессъ поэтическаго творчества; на второмъ—процессъ чтенія поэтическихъ произведеній. Но съ другой стороны самый необузданный идеализмъ происходитъ именно отъ того, что элементъ фантазіи получалъ слишкомъ много простора и разыгрывался въ чужой области, въ области мысли, въ сферѣ научнаго изслѣдованія. Пока я сознаю, что вызванные мною образы принадлежатъ только моему воображенію, до

тѣхъ поръ я тѣшусь ими, я властвую надъ ними и воленъ избавиться отъ нихъ, когда захочу. Но какъ только яркость вызванныхъ образовъ ослѣпила меня, какъ только я забылъ свою власть надъ ними, такъ эта власть и пропала; образы переходятъ въ призраки и живутъ помимо моей воли, живутъ своею жизнью, какъ кошмаръ, оказываютъ на меня вліяніе, господствуютъ надо мною, внушаютъ мнѣ страхъ, приводятъ меня въ напряженное состояніе. Такъ, напр., пелазгъ создавалъ свою первобытную религію и падалъ во прахъ передъ созданіемъ собственной мысли. Галлюцинація его была ослѣпительно ярка; критика была слишкомъ слаба, чтобы разрушить мечту; борьба между призракомъ и человѣкомъ была не ровная, и человѣкъ склонялъ голову и чувствовалъ себя подавленнымъ, пригнутымъ къ землѣ...

Шутить съ мечтой опасно, разбитая мечта можетъ составить несчастье жизни; гоняясь за мечтою, можно прозѣвать жизнь или въ порывѣ безумнаго воодушевленія принести ее въ жертву. У такъ называемыхъ положительныхъ людей мечта принимаетъ формы болѣе солидныя и превращается въ условный идеалъ, наследованный отъ предковъ и носящійся передъ цѣлымъ сословіемъ или классомъ людей. Идеаль человѣка comme il faut, человѣка дѣльнаго, хорошаго семьянина, хорошаго чиновника—все это мечты, которымъ многое приносится въ жертву. Эти мечты болѣе или менѣе отравляютъ жизнь и мѣшаютъ беззавѣтному наслажденію. Да какъ же жить, спросите вы, неужели безъ цѣли? Цѣль жизни! Какое громкое слово, и какъ часто оно оглушаетъ и вводитъ въ заблужденіе, отуманивая слишкомъ довѣрчиваго слушателя. Посмотримъ на него поближе. Если вы поставите себѣ цѣлью такую дѣятельность, къ которой стремится ваша природа, то вы дадите себѣ только лишній трудъ; вы бы сами пошли по тому пути, на который навело васъ размысленіе; непосредственный инстинктъ натолкнулъ бы васъ на прямую дорогу, и натолкнулъ бы, можетъ быть, скорѣе и вѣрнѣе, нежели навелъ тщательный анализъ; если же, Боже упаси, вы поставите себѣ цѣль, несомвѣстную съ вашими наклонностями, тогда вы себѣ испортите жизнь; вы потратите всю энергію на борьбу съ собой; если не побѣдите себя, то останетесь недовольны; если побѣдите себя, то вы сдѣлаетесь автоматомъ, чисто-разсудочнымъ, сухимъ и вялымъ человѣкомъ. Старайтесь жить полной жизнью, не дрессируйте, не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности въ угоду заведенному порядку и вкусу толпы—и, живя такимъ образомъ, не спрашивайте о цѣли; цѣль сама найдется, и жизнь рѣшитъ вопросы прежде, нежели вы ихъ предложите.

Васъ затрудняетъ, можетъ быть, одинъ вопросъ: какъ согласить эти эгоистическія начала



съ любовью къ человечеству? Объ этомъ нечего либодиться. Человѣкъ отъ природы—существо очень доброе, и если не окислять его противорѣчливыми и дрессировкой, если не требовать отъ него неестественныхъ нравственныхъ фокусовъ, то въ немъ естественно разовьются самыя любовныя чувства къ окружающимъ людямъ, и онъ будетъ помогать имъ въ бѣдѣ ради собственнаго удовольствія, а не изъ сознанія долга, т. е. по доброй волѣ, а не по нравственному принужденію. Вы подумаете, можетъ быть, что я указываю вамъ на *état de la nature*, и обратите мое вниманіе на то, что дикари, живущіе въ первобытной простотѣ нравовъ, далеко не отличаются добродушіемъ и доводятъ эгоизмъ до полнѣйшей животности. На это я отвѣчу, что дикари живутъ при такихъ условіяхъ, которыя мѣшаютъ свободному развитію характера; во-первыхъ, они подчинены вліянію внѣшней природы; между тѣмъ какъ мы успѣли уже отъ него избавиться; во-вторыхъ, они вѣрятъ въ тѣ призраки, о которыхъ я говорилъ выше; въ-третьихъ, они болѣе или менѣе стремятся къ условному идеалу, и идеалъ у нихъ одинъ, потому что вся дѣятельность ограничивается охотою и войною; присутствіе этого идеала оказываетъ самое стѣснительное вліяніе на живыя силы личности. Изъ всего этого слѣдуетъ заключеніе, что развитіе недѣлимаго можно сдѣлать независимымъ отъ внѣшнихъ стѣсненій только на высокой степени общественнаго развитія; эмансипація личности и уваженіе къ ея самостоятельности является послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи. Дальше этой цѣли мы еще ничего не видимъ въ процессѣ историческаго развитія, и эта цѣль еще такъ далека, что говорить о ней значитъ почти мечтать. Набросанныя мною мысли, вылившіяся изъ глубины души, составляютъ основу цѣлаго міросозерцанія; вывести всѣ послѣдствія этихъ идей не трудно, и я надѣюсь, что читатель, если захочетъ, будетъ въ состояніи по начертанному плану возсоздать въ воображеніи все зданіе. Къ сожалѣнію, наша критика не высказала до сихъ поръ этихъ идей и относилась къ эгоизму, какъ къ пороку, а въ фокусахъ и подвигахъ самопожертвованія видѣла высокую добродѣтель. До сихъ поръ, касаясь философіи жизни, она считаетъ идеалъ совершенной необходимостью и въ стремленіи къ идеалу, въ сознаніи долга видитъ самыя живыя стороны человѣческой личности и дѣятельности. Стремленіе къ наслажденію она называетъ свойствомъ чисто животнымъ, но допускаетъ однако, что изъ этого же источника можетъ развиться благородное и высокое стремленіе къ самосовершенствованію. Система глубоко вкоренилась въ нашу нравственную философію и хозяйничаетъ въ области человѣческихъ мыслей и чувствъ, не обращая никакого вниманія на самого хозяина. Теоретикамъ нѣтъ дѣла до того, что есть въ наличности; они

говорятъ: такъ должно быть, поворачиваютъ все вверхъ дномъ и утѣшаются тѣмъ, что внесли симметрію и систему въ живой міръ явленій. Кто хоть по наслышкѣ знакомъ съ философіей исторіи Гегеля, тотъ знаетъ, до какихъ поразительныхъ крайностей можетъ довести даже очень умнаго человѣка манія всюду соваться съ законами и всюду вносить симметрію. Если вы читали въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года прекрасную статью Вагнера: «Природа и Мильнъ-Эдвардсъ», то вы могли убѣдиться въ томъ, что въ сферѣ естественныхъ наукъ рыаное систематизированіе ведетъ къ поразительнымъ и осязательнымъ недѣлностямъ. Внесенная въ область человѣческой нравственности, система не ведетъ къ такимъ явнымъ недѣлностямъ только потому, что мы привыкли смотрѣть на вещи ея глазами; мы живемъ и развиваемся подъ вліяніемъ искусственной системы нравственности; эта система давитъ насъ съ колыбели, и потому мы совершенно привыкаемъ къ этому давленію; мы раздѣляемъ этотъ гнетъ системы со всѣмъ образованнымъ міромъ и потому, не видя предѣловъ своей клѣтки, считаемъ себя нравственно свободными.

Но, оставаясь для насъ незамѣтнымъ, это умственное и нравственное рабство медленною ядомъ отравляетъ нашу жизнь; мы умышленно раздвигаемъ свое существо, наблюдаемъ за собою, какъ за опаснымъ врагомъ, хитримъ передъ собою и ловимъ себя въ хитрости, боремся съ собою, побѣждаемъ себя, находимъ въ себѣ животныя инстинкты и ополчаемся на нихъ силою мысли; вся эта глупая комедія кончается тѣмъ, что передъ смертью мы, подобно римскому императору Августу, можемъ спросить у окружающихъ людей: «хорошо ли я сыгралъ свою роль?» Нечего сказать! Приятное и достойное препровожденіе времени! Поневоля вспомнишь слова Нестора: «никто же ихъ не биша, сами ся мучиху».

## IX.

Матеріализмъ сражается только противъ теоріи; въ практической жизни мы всѣ матеріалисты и всѣ идемъ въ разладъ съ нашими теоріями; вся разница между идеалистомъ и матеріалистомъ въ практической жизни заключается въ томъ, что первому идеалъ служитъ вѣчнымъ упрекомъ и постояннымъ кошмаромъ, а послѣдній чувствуетъ себя свободнымъ и правымъ, когда никому не дѣлаетъ фактическаго зла. Предположимъ, что вы въ теоріи крайній идеалистъ, вы садитесь за письменный столъ и ищете начатую вами работу; вы осматриваетесь кругомъ, шарите по разнымъ угламъ, и если ваша тетрадь или книга не попадетъ вамъ на глаза или подъ руки, то вы заключаете, что ея нѣтъ, и отправляетесь искать въ другое мѣсто, хотя бы ваше сознаніе говорило вамъ, что вы

положили ее именно на письменный столъ. Если вы берете въ ротъ глотокъ чаю, и онъ оказывается безъ сахара, то вы сейчасъ же исправите вашу оплошность, хотя бы вы были твердо увѣрены въ томъ, что сдѣлали дѣло какъ слѣдуетъ и положили столько сахара, сколько кладете обыкновенно. Вы видите такимъ образомъ, что самое твердое убѣжденіе разрушается при столкновеніи съ очевидностью, и что свидѣтельству вашихъ чувствъ вы невольно придаете гораздо больше значенія, нежели соображеніямъ вашего разсудка. Проведите это начало во всѣ сферы мышленія, начиная отъ низшихъ до высшихъ, и вы получите полнѣйшій матеріализмъ: я знаю только то, что вижу или вообще въ чемъ могу убѣдиться свидѣтельствомъ моихъ чувствъ. Я самъ могу поѣхать въ Африку и увидеть ея природу, и потому принимаю на вѣру рассказы путешественниковъ о тропической растительности; я самъ могу провѣрить трудъ историка, сличивши его съ подлинными документами, и потому допускаю результаты его изслѣдованій; поэтъ не даетъ мнѣ никакихъ средствъ убѣдиться въ вещественности выведенныхъ имъ фигуръ и положеній, и потому я говорю смѣло, что они не существуютъ, хотя и могли бы существовать. Когда я вижу предметъ, то не нуждаюсь въ діалектическихъ доказательствахъ его существованія: *очевидность есть лучшее ручательство дѣйствительности*. Когда мнѣ говорятъ о предметъ, котораго я не вижу и не могу никогда увидеть или ощущать чувствами, то я говорю и думаю, что онъ для меня не существуетъ. *Невозможность очевиднаго проявленія исключаетъ дѣйствительность существованія*.

Вотъ каноника матеріализма, и философы всѣхъ временъ и народовъ сохранили бы много труда и времени и во многихъ случаяхъ избавили бы своихъ усердныхъ почитателей отъ бесплодныхъ усилій понять несуществующее, если бы не выходили въ своихъ изслѣдованіяхъ изъ круга предметовъ, доступныхъ непосредственному наблюденію.

Въ исторіи человѣчества было нѣсколько свѣтлыхъ головъ, указывавшихъ на границы познания, но мечтательныя стремленія въ несуществующую безпредѣльность обыкновенно одерживали верхъ надъ холодною критикою скептическаго ума и вели къ новымъ надеждамъ и къ новымъ разочарованіямъ и заблужденіямъ. За греческими атомистами слѣдовали Сократъ и Платонъ; рядомъ съ эпикуренствомъ жилъ новоплатонизмъ; за Бекономъ и Локкомъ, за энциклопедистами XVIII вѣка слѣдовали Фихте и Гегель; легко можетъ быть, что послѣ Фейербаха, Фохта и Молешота возникнетъ опять кака-нибудь система идеализма, которая на мгновение удовлетворитъ массу больше, нежели можетъ удовлетворить ее трезвое міросозерцаніе мате-

риалистовъ. Но что касается до настоящей минуты, то нѣтъ сомнѣнія, что одолеваетъ матеріализмъ; всѣ научныя изслѣдованія основаны на наблюденіи, и логическое развитіе основной идеи, развитіе, не опирающееся на факты, встрѣчаетъ себѣ упорное недовѣріе въ ученое мірѣ. Не послѣдовательности выводовъ требуемъ мы теперь, а дѣйствительной вѣрности, строгой точности, отсутствія личнаго произвола въ группировкѣ и выборѣ фактовъ. Естественныя науки и исторія, опирающаяся на тщательную критику источниковъ, рѣшительно вытѣсняють умозрительную философію; мы хотимъ знать, что есть, а не догадываться о томъ, что можетъ быть. Германія—отечество умозрительной философіи, классическая страна новѣйшаго идеализма—породила поколѣніе современныхъ эмпириковъ—и выдвинула впередъ цѣлую школу мыслителей, подобныхъ Фейербаху и Молешоту. Филологія стала сблизаться въ своихъ выводахъ съ естественными науками и избавляется мало-по-малу отъ мистическаго взгляда на человѣка вообще и на языкъ въ особенности. Извѣстный молодой ученый Штейнталь, комментировавшій Вильгельма Гумбольдта въ замѣчательной брошюрѣ «Языкознаніе В. Гумбольдта и философія Гегеля»; откровенно сознается въ томъ, что умозрительная философія сама по себѣ существовать не можетъ, что она должна слиться съ опытомъ и изъ него черпать всѣ свои силы; онъ понимаетъ философію только какъ осмысленіе всякаго знанія, и внѣ области видимыхъ единичныхъ явленій не видитъ возможности знанія и мышленія.

Не забудьте, что это голосъ изъ противоположнаго лагеря, голосъ со стороны гуманистовъ, — людей, не привыкшихъ обращаться съ микроскопомъ и съ анатомическимъ ножомъ и по самому роду своихъ занятій расположенныхъ искать высшихъ причинъ и двигательныхъ силъ; если эти люди сходятся въ своихъ идеяхъ съ натуралистами, то это доказываетъ, что доводы послѣднихъ дѣйствительно имѣютъ за себя неотразимую силу истины. Признаніе Штейнтала далеко не представляется намъ единичнымъ фактомъ, исключеніемъ изъ общаго правила. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Гаймъ въ своемъ предисловіи къ лекціямъ о философіи Гегеля («Гегель и его время»): «Есть души, которыя никакъ не въ состояніи обойтись безъ такъ называемыхъ Векономъ *idola theatri* и потому постоянно будутъ страшиться скачка черезъ широкій ровъ, отдѣляющій метафизическое отъ чисто исторически-человѣческаго. Къ числу такихъ людей принадлежатъ тѣ, которые точку опоры ищутъ не въ самихъ себѣ, но надъ собой и внѣ себя». Далѣе: «Господствующее въ наше время удаленіе отъ занятій философіей и все болѣе и болѣе возрастающая самостоятельность исторической науки и естествовѣдѣнія должны пользоваться,

какъ всякій согласится, по крайней мѣрѣ тѣмъ же правами, какъ и всякій другой фактъ».

Изъ этихъ словъ Штеффала и Гайма можно, кажется, вывести заключеніе, что умозрительная философія упала въ общественномъ мнѣніи ученаго міра, и что паденіе это признано даже тѣми людьми, которые ехъ offісіо, какъ ученики Гегеля и люди, занимающіеся философіей, должны были отстаивать ея права на существованіе. Посмотримъ теперь въ бѣгломъ очеркѣ, какъ отнеслась къ этимъ современнымъ явленіямъ и вопросамъ наша критика и ученая литература.

## X.

Прилично писать о философіи для насъ дѣло новое; семинарская философія существуетъ уже давно, но она, къ счастью, не находитъ себѣ читателей и цѣнителей внѣ предѣловъ извѣстной касты. Мертвая доктрина Новицкаго и составителя «Философскаго лексикона» ни для кого не можетъ быть опасна. Она не отъ міра сего, и міръ ея не пойметъ. Эти дряхлыя явленія могутъ быть смѣло пропущены критикой и оставлены безъ всякаго вниманія публикой. Можно сказать, что Антоновичъ въ своей рецензіи «Философскаго лексикона» («Современникъ» 1861 г., февраль) сражается съ вѣтряными мельницами; было бы гораздо проще предложить читателямъ двѣ-три выписки изъ этого произведенія; читатели сразу поняли бы, въ чемъ дѣло, и, вѣроятно, потеряли бы всякое желаніе платить деньги за «Философскій лексиконъ» такого сорта; бороться съ идеями «Философскаго лексикона» недостаточно развитаго человѣка, да и просто не стоитъ, потому что эти идеи ни для кого не опасны уже по той допотопной формѣ, въ которую онѣ облечены; нужно было просто предохранить публику отъ безполезныхъ расходовъ, а эта цѣль могла быть достигнута съ гораздо меньшею тратой труда и времени. Вполнѣ сочувствуя свѣжему и здоровому направленію мысли, высказавшемуся въ статьѣ Антоновича, я позволяю себѣ выразить сожалѣніе о томъ, что эти свѣжія силы потрагались на опроверженіе чепухи, которая никою даже не введетъ въ соблазнъ, которую навѣрное не возьметъ въ руки ни одинъ читатель «Современника».

Въ послѣдніе четыре года у насъ стали появляться статьи философскаго содержанія, до нѣкоторой степени доступныя читающей публикѣ; въ нихъ толкуютъ, правда, объ общемъ идеалѣ, въ нихъ есть много туманныхъ мѣстъ и безполезной діалектики, но, по крайней мѣрѣ, онѣ не призываютъ небесныхъ громовъ на головы не соглашающихся съ ними мыслителей и спорятъ съ ними умѣреннымъ тономъ, не употребляя старославянскихъ выраженій, не приходя въ священный ужасъ и не обнаруживая благочестиваго негодованія. Статьи Лаврова о гегелизмѣ,

о механической теоріи міра, о современныхъ германскихъ телстахъ и др. обнаружили въ авторѣ обширную начитанность и основательное знакомство съ высшею исторіей философскихъ системъ. Эти два качества, довольно рѣдкія въ пишущихъ людяхъ нашего времени, доставили Лаврову журнальную извѣстность. Добраться до слабыхъ сторонъ Лаврова наша критика не могла, потому что ей самой крѣпко приходится по душѣ неопредѣленность выводовъ и діалектическія тонкости. Между тѣмъ слабая сторона этого писателя заключалась именно въ отсутствіи субъективности, въ отсутствіи опредѣленныхъ и цѣльныхъ философскихъ убѣжденій. Эта слабая сторона могла укрыться отъ глазъ общества тогда, когда Лавровъ писалъ историческіе очерки по философіи и занимался изложеніемъ чужихъ системъ; въ подобномъ трудѣ неопредѣленность личныхъ убѣжденій автора можетъ прослыть за историческое безпристрастіе, за объективность и обратиться въ положительное достоинство въ глазахъ читателя. Но въ нынѣшнемъ году въ январской книжкѣ «Отч. Зап.» напечатаны три публичные лекціи Лаврова подъ общимъ заглавіемъ: «Три бесѣды о современномъ значеніи философіи». Уже это заглавіе должно было подать надежду на то, что Лавровъ выскажетъ свои понятія о философіи и открыто примкнетъ къ одной изъ двухъ партій, составляющихъ великій расколъ въ современномъ философскомъ мірѣ, т. е. или заявить невозможность умозрительной философіи, или станетъ отстаивать ея права на существованіе. Заглавія каждой отдѣльной бесѣды подавали еще болѣе заманчивыя надежды; въ нихъ Лавровъ обѣщаль объяснить, что такое философія въ знаніи, что такое философія въ искусствѣ и что такое философія въ жизни. Читающее общество было въ правѣ ожидать отъ этихъ бесѣдъ, что онѣ уяснятъ ей современное движеніе философскихъ наукъ и что онѣ выдвинутъ впередъ цѣлое міросозерцаніе, выработанное или по крайней мѣрѣ переработанное самостоятельнымъ умомъ современно развитаго русскаго человѣка. Судя по предыдущимъ работамъ Лаврова, общество могло заключить, что у него въ распоряженіи находится много матеріаловъ, и что въ его бесѣдахъ оно получитъ въ популярной формѣ существеннѣйшіе результаты его долговременныхъ и добросовѣстныхъ занятій.

Вышло совсѣмъ не то. Бесѣды не коснулись современнаго значенія философіи, совершенно обошли вопросы, поднятые въ этой области новѣйшей школой мыслителей, и не представили никакого опредѣленнаго міросозерцанія. Лавровъ съ особеннымъ стараніемъ скрылъ свою личность такъ, что вы до нея рѣшительно не доберетесь. Не рѣшаясь высказать ни одного яснаго и опредѣленнаго сужденія, Лавровъ не выходитъ изъ общихъ мѣстъ элементарной логики,

психологій и эстетикій, которую преподають въ гимназіяхъ подъ названіемъ теории словесности. Мысли вытекають одна изъ другой, между ними есть связь, есть логическая послѣдовательность, но для чего онѣ текутъ, что вызвало ихъ теченіе и къ чему оно, наконецъ, приводитъ,—это остается совершенно непонятнымъ. Да что же такое, наконецъ, философія? Неужели это медицинская гимнастика мысли, шевеленіе «мозга», какъ говоритъ купецъ у Островскаго, которое начинается по нашей прихоти и прекращается по нашему благоусмотрѣнію, не приведа ни къ чему, не рѣшивъ ни одного вопроса, не разбивъ ни одного заблужденія, не заронивъ въ голову живой идеи, не отозвавшись въ груди усиленнымъ біеніемъ сердца? Да полно, философія ли это?... Такъ развѣ жъ не философія двигала массы, развѣ не она разбивала дряхлые кумиры и расшатывала устарѣлыя формы гражданской и общественной жизни? А XVIII вѣкъ? А энциклопедисты?... Нѣтъ, воля ваша, то, что Лавровъ называетъ философіей, то отрѣшено отъ почвы, лишено и плоти, и крови, доведено до игры словъ—это схоластика, праздная игра ума, въ которую можно играть съ одинаковымъ успѣхомъ въ Англии и въ Алжирѣ, въ Небесной Имперіи и въ современной Италиі. Гдѣ же современное значеніе подобной философіи? Гдѣ ея оправданіе въ дѣйствительности? Гдѣ ея права на существованіе?—Лавровъ предлагаетъ вопросъ, что такое я? бьется надъ этимъ вопросомъ въ продолженіе цѣлой страницы и кончаетъ тѣмъ, что находитъ вопросъ о нашемъ я научно неразрѣшимымъ. Зачѣмъ же было его поднимать? Какая естественная, жизненная потребность влечетъ къ разрѣшенію вопроса: что такое я? Къ какимъ результатамъ въ области мысли, частной или гражданской жизни можетъ привести рѣшеніе этого вопроса? Искать разрѣшенія подобнаго вопроса все равно, что искать квадратуры круга. Философскій камень, жизненный элексиръ и *perpetuum mobile*—чрезвычайно полезныя вещи въ сравненіи съ этими гимнастическими фокусами мысли. Этихъ вещей никто не добудетъ, но по крайней мѣрѣ кто стремится къ нимъ, тотъ стремится къ осязательнымъ благамъ и идетъ къ нимъ путемъ опыта, такъ что можетъ на этомъ пути сдѣлать случайно какое-нибудь неожиданное и полезное открытіе. Самый вопросъ о томъ, что такое я? и попытки Лаврова освѣтить этотъ вопросъ съ разныхъ сторонъ останутся непонятными для человѣка, одареннаго простымъ здравымъ смысломъ и не посвященнаго въ мистеріи философскихъ школъ; это обстоятельство, какъ мнѣ кажется, служитъ самымъ разительнымъ доказательствомъ незаконности или, вѣрнѣе, полнѣйшей бесполезности подобныхъ умственныхъ упражненій. Отгонять непросвѣщенную чернь (*profanum vulgus*) отъ храма науки—не въ

духѣ нашей эпохи; это негуманно, да и опасно. Лавровъ этого, конечно, не желаетъ, потому что самъ открываетъ *публичныя* лекціи; если же все вообще, а не одни избранные, должны и желаютъ учиться и размышлять, то не мѣшало бы выкинуть вонъ изъ науки то, что понимается немногими и не можетъ никогда сдѣлаться общедоступнымъ. Вѣдь странно было бы называть гениальнѣйшимъ произведеніемъ Гёте вторую часть «Фауста», которую никто не понимаетъ; точно такъ-же странно назвать міровою истиною или міровымъ вопросомъ такую идею или такой вопросъ, которые смутно понимаютъ незначительное меньшинство односторонне развитыхъ людей. А какъ же не назвать одностороннимъ и уродливымъ развитіе такихъ умовъ, которые на всю жизнь погружаются въ отвлеченность, ворочаютъ формы, лишеныя содержанія, и умышленно отворачиваются отъ привлекательной пестроты живыхъ явленій, отъ практической дѣятельности другихъ людей, отъ интересовъ своей страны, отъ радостей и страданій окружающаго міра? Дѣятельность этихъ людей указываетъ просто на какую-то несоразмѣрность въ развитіи отдѣльныхъ частей организма; въ головѣ сосредоточивается вся жизненная сила, и движеніе въ мозгу, удовлетворяющее самому себѣ и въ себѣ самомъ находящее свою цѣль, замѣняетъ этимъ недѣлимымъ тотъ разнообразный и сложный процессъ, который называется жизнью. Давать такому явленію силу закона такъ же странно, какъ видѣть въ аскетѣ или въ скопцѣ высшую фазу развитія человѣка.

Отвлеченности могутъ быть интересны и понятны только для нормально развитаго, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по двумъ причинамъ: во-первыхъ,—во имя цѣлостности человѣческой личности, во-вторыхъ,—во имя того здраваго принципа, который, постепенно проникая въ общественное сознаніе, нечувствительно сглаживаетъ грани сословій и разбиваетъ кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ—явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ, конечно, одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ? Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе специалисты? Вѣдь надо же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяють людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ звать

не хотимъ; но это неправда, истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно разсмотрѣть глазами и ощущать руками, то пойметъ и 10-тилѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человекъ, и ученый специалистъ.

Итакъ, съ какой стороны ни посмотримъ на діалектику и отвлеченную философію, она всячески покажется бесполезной тратой силъ и переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Если разбирать публичныя лекціи Лаврова, то нужно, мнѣ кажется, говоря о первыхъ двухъ бесѣдахъ, не слѣдить шагъ за шагомъ за авторомъ, не опровергать его отдѣльныя положенія, не ловить его на частныхъ противорѣчіяхъ, а просто въ нѣсколькихъ крупныхъ чертахъ показать полнѣйшую бесполезность всего предпринятаго имъ труда. Антоновичъ («Соврем.» 1861, апрѣль) написалъ обширную рецензію первыхъ двухъ лекцій Лаврова, провелъ въ этой рецензіи свѣжій и современный взглядъ на философію, но, сколько мнѣ кажется, пустился въ совершенно ненужныя частности и тонкости. Возставая противъ діалектики, онъ сражается съ нею діалектическимъ оружіемъ; онъ доказываетъ логическую непослѣдовательность тогда, когда слѣдовало бы доказать практическую бесполезность. Дѣло не въ томъ, вѣрно ли рѣшаются вопросы о сущности вещей и о томъ, что такое я, а въ томъ—нужно ли рѣшать эти вопросы. Антоновичъ споритъ съ Лавровымъ, какъ адептъ одной школы съ адептомъ другой; было бы, мнѣ кажется, проще и полезнѣе для публики, если бы онъ сталъ на точку зрѣнія совершеннаго профана и спросилъ бы: а какими знаніями и идеями обогатить меня ваша хваленая философія? Одинъ этотъ вопросъ былъ бы, мнѣ кажется, серьезнѣе и радикальнѣе всего длиннаго ряда доказательствъ, которыя Антоновичъ выводитъ противъ Лаврова.

Обративъ все вниманіе свое на одну личность русскаго мыслителя, Антоновичъ упускаетъ изъ виду умозрительную философію вообще, между тѣмъ какъ ее давно бы слѣдовало отпѣть и похоронить.—Лавровъ сдѣлалъ попытку поговорить съ нашимъ обществомъ объ умозрительной философіи; этотъ фактъ можно обсудить съ двухъ сторонъ. Можно спросить, во-первыхъ, умѣстна ли эта попытка? и во-вторыхъ, удачно-ли она выполнена? Первый вопросъ имѣетъ общій интересъ; обсуживая его, мы толкуемъ о нуждахъ нашего общества и разсматриваемъ характеръ нашей эпохи. Второй вопросъ относится чисто къ личности Лаврова и имѣетъ совершенно частный и, сравнительно съ первымъ, узкій интересъ.—Между тѣмъ Антоновичъ усиленно работаетъ надъ вторымъ вопросомъ и не рѣшаетъ перваго; мы узнаемъ отъ него, что Лавровъ—эклектикъ, и не узнаемъ того, годится ли на что-нибудь для нашего времени и для нашего

общества умозрительная философія вообще.—Словомъ, статья Антоновича наполнена прекрасными частностями, но этихъ частностей такъ много, что въ нихъ тонетъ общая идея, а именно эту общую идею и слѣдовало выставить какъ можно рѣзче. Замѣчу еще, что Антоновичъ напрасно ограничился разборомъ двухъ первыхъ бесѣдъ Лаврова; третья бесѣда о философіи въ жизни отличается отъ двухъ первыхъ большимъ количествомъ внутренняго содержанія. Философскія убѣжденія Лаврова высказываются, наконецъ, въ болѣе опредѣленной формѣ и ведутъ къ реальнымъ выводамъ въ сферѣ практической жизни. Объ этой бесѣдѣ стоитъ сказать нѣсколько словъ. Лавровъ говоритъ, во-первыхъ, что дѣль жизни находится внѣ ея процесса, который «въ каждомъ минованіи есть только переходное, случайное выраженіе для того, что не можетъ воплотиться вполне, что составляетъ высшее, существенное, относительно неизмѣнное въ человекѣ — для его нравственнаго идеала».

Во-вторыхъ, Лавровъ говоритъ, что самый грубый и элементарный взглядъ на жизнь есть тотъ, при которомъ мы стремимся только къ наслажденію; «первое правило—ищи то, чѣмъ наслаждаемся,—доступно животному наравнѣ съ человекомъ, дикому наравнѣ съ образованнымъ человекомъ, ребенку наравнѣ съ мужемъ. Последнее—пренебрегай всѣмъ, кромѣ высшаго блага,—есть изреченіе, отъ котораго не откажется самый строгій аскетъ; а, какъ известно, истинные аскеты—большая рѣдкость между людьми».

Замѣчу мимоходомъ, что уроды тоже составляютъ большую рѣдкость между людьми; ихъ сохраняютъ даже въ спиртѣ!

Въ-третьихъ, Лавровъ говоритъ, что «человѣчность есть совокупленіе всѣхъ главныхъ отраслей дѣятельности въ жизни одной личности. Но она есть совокупленіе, а не смѣшеніе. Каждая дѣятельность, ставя свой вопросъ, свою цѣль, свой идеалъ, рѣзко отличается отъ другой, и одно изъ главныхъ золъ челоуѣчества заключается въ недостаточномъ различеніи этихъ вопросовъ, въ перенесеніи идеаловъ изъ одной области дѣятельности въ другую».

А вѣдь если бы вовсе не было идеаловъ, тогда и переносить нечего было бы, и путаницы никакой не могло бы быть. Такъ затѣмъ-же ставить идеалъ необходимымъ условіемъ развитія?

Приведенныя выписки показываютъ ясно, что Лавровъ склоняется къ такому міросозерцанію, которое существенно отличается отъ мыслей, высказанныхъ мною на предыдущихъ страницахъ. Я все основываю на непосредственномъ чувствѣ; Лавровъ строитъ все на размышленіи и на системѣ; я требую отъ философіи осязательныхъ результатовъ; Лавровъ довольствуется безцѣль-

нымъ движеніемъ мысли въ сферѣ формальной логики. Я считаю очевидность полнѣйшимъ и единственнымъ ручательствомъ дѣйствительности; Лавровъ придаетъ важное значеніе диалектическимъ доказательствамъ, спрашиваетъ о сущности вещей и говоритъ, что она непостижима, слѣдовательно предполагаетъ, что она существуетъ какъ-то независимо отъ явленія. Въ области нравственной философіи взгляды наши почти діаметрально противоположны. Лавровъ требуетъ идеала и цѣли жизни внѣ ея процесса; я вижу въ жизни только процессъ и устраняю цѣль и идеалъ; Лавровъ останавливается передъ аскетомъ съ особеннымъ уваженіемъ; я даю себѣ право пожалѣть объ аскетѣ, какъ пожалѣлъ бы о слѣпомъ, о безрукомъ или о сумасшедшемъ. Лавровъ видитъ въ человѣчности какой-то сложный продуктъ разныхъ нравственныхъ специй и ингредиентов; я полагаю, что полнѣйшее проявленіе человѣчности возможно только въ цѣльной личности, развившейся совершенно безыскусственно и самостоятельно, не сдавленной служеніемъ разнымъ идеаламъ, не потратившей силъ на борьбу съ собой.

Я говорилъ, что, по моему мнѣнію, критику лучше всего высказывать *своей* взглядъ на вещи, дѣлиться съ читателямъ *своимъ* личнымъ впечатлѣніемъ; я такъ и сдѣлалъ въ отношеніи къ Лаврову. Я поставилъ рядомъ съ его воззрѣніями мои воззрѣнія и представляю читателямъ полнѣйшую свободу выбрать тѣ или другія, или отвергнуть и тѣ, и другія. Я не старался убѣждать въ вѣрности моихъ мыслей, не задавалъ себѣ задачи во что бы то ни стало настаивать читателя на мою точку зрѣнія. Умственная и нравственная пропаганда есть до нѣкоторой степени посягательство на чужую свободу. Мнѣ бы хотѣлось не заставить читателя согласиться со мною, а вызвать самодѣятельность его мысли и подать ему поводъ къ самостоятельному обсужденію затронутыхъ мною вопросовъ. Въ моей статьѣ навѣрное встрѣтится много ошибокъ, много поверхностныхъ взглядовъ; но это въ сущности нисколько не мѣшаетъ дѣлу; если мои ошибки замѣтитъ самъ читатель, это будетъ уже самодѣятельное движеніе мысли; если онѣ будутъ указаны ему какимъ-нибудь рецензентомъ—это опять-таки будетъ полезно; *du choc des opinions jaillit la vérité*—говорятъ французы, и читатель, присутствуя при спорѣ, будетъ самъ разсуждать и вдумываться. Смѣю льстить себя одной надеждой: если бы статья моя вызвала какое-нибудь опроверженіе, то споръ сталъ бы вертѣться въ кругу дѣйствительныхъ и жизненныхъ явленій и не перешелъ бы въ схоластическое *словопрение*. Я обсуживалъ явленія нашей критики, руководствуясь голосомъ простаго здраваго смысла, и надѣюсь, что если мнѣ будутъ возражать, то возраженія эти будутъ вытекать изъ того-же источника и не будутъ сопровождаться непонят-

ными для публики ссылками на авторитеты Канта, Гегеля и другихъ.

Говоря о нашей философской литературѣ, я упомянулъ только о статьяхъ Лаврова и считаю совершенно лишнимъ обсуживать Страхова и Эдельсона; эти явленія такъ блѣдны и чахлы, что объ нихъ не стоитъ упоминать, да и сказать-то нечего. Утомленіе и скука—вотъ все, что можно вынести изъ чтенія этихъ произведеній; и возражать нечему, и поспорить не съ чѣмъ, такъ все элементарно, утомительно ровно и невозмутимо спокойно. Страховъ считаетъ нужнымъ доказывать, что между человѣкомъ и камнемъ большая разница, а Эдельсонъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ восторгаться идеей организма, а потомъ, также безъ видимой причины, начинаетъ предостерегать ученыхъ отъ излишняго увлеченія этой идеей.

Вскую шаташася языцы?

## XI.

Не такъ давно \*) я высказалъ нѣсколько мыслей о безжизненности нашей критики и изложилъ тѣ идеи, которыми я руководствуюсь при разборѣ этихъ чахлахъ и безцвѣтныхъ явленій. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, въ которыхъ журнальная полемика разгорѣлась особенно ярко, критическій отдѣлъ большей части періодическихъ изданій украсился многими любопытными статьями; эти статьи подають поводъ къ размышленію; онѣ подтверждаютъ высказанныя мною замѣчанія, которыя могли показаться голословными читателямъ моей первой статьи; поэтому я намѣренъ воспользоваться ими какъ матеріаломъ и, обсуживая ихъ, договорить то, что было недосказано, яснѣе и обстоятельнѣе изложить то, чего я прежде коснулся слегка. Я не встаю противъ полемики, не зажимаю ушей отъ свиста, не проклинаю свистуновъ; и Ульрихъ фонъ-Гуттенъ былъ свистунъ, и Вольтеръ былъ свистунъ, и даже Гете вмѣстѣ съ Шиллеромъ свистнули на всю Германію, издавши совокупными силами свой альманахъ «Die Xenien»; у насъ, на Руси, свисталъ часто и рѣзко, стихами и прозою, Пушкинъ; свисталъ Брамбесъ, которому, вопреки громовой статьѣ Дудышкина: «Сеньковский—дилетантъ русской словесности», я не могу отказать ни въ умѣ, ни въ огромномъ талантѣ. А развѣ во многихъ статьяхъ Вѣлинскаго не прорываются рѣзкіе, свистящіе звуки? Припомните, господа, ближайшихъ литературныхъ друзей Вѣлинскаго,—людей, которымъ онъ въ дружескихъ письмахъ выражалъ самое теплое сочувствіе и уваженіе: вы увидите, что многие изъ нихъ свистали, да и до сихъ поръ свищутъ тѣмъ богатырскимъ по-

\*) Первые 10 главъ этой статьи были написаны въ май, а остальныя въ сентябрѣ 1861 года. *Изд.*

свистомъ, отъ котораго у многихъ звонить въ ушахъ и который безъ промаха бьетъ въ цѣль, несмотря на разстояніе.

Оправдывать свистуновъ—напрасный трудъ; ихъ оправдало чутье общества; на ихъ сторонѣ большинство голосовъ, и каждое нападеніе изъ противоположнаго лагеря обрушивается на голову самихъ же нападающихъ, такъ называемыхъ людей серьезныхъ, дѣятелей мысли, кабинетныхъ тружениковъ, русскихъ Гегелей и Шопенгауэровъ, профессоровъ, снувшихъ въ журналистику, или литературныхъ промышленниковъ, прикрывающихъ свою умственную нищету притворнымъ сочувствіемъ къ вѣчнымъ интересамъ науки. «Русскій Вѣстникъ» и «Отечественныя Записки» убиваются надъ развратомъ русской мысли и заживо оплакиваютъ русскую литературу; ихъ книжки—бюлетени сердобольнаго врача, писанныя у постели больного, умирающаго отъ послѣдствій безпорядочной жизни. Главные *благодѣтельные* органы нашей журналистики составляютъ консиліумъ, нищуть дѣкачества, щупаютъ пульсъ и съ ужасомъ сообщаютъ другъ другу о быстрыхъ успѣхахъ болѣзни; за ними выдвигается группа постылыхъ журналовъ и газетъ, совѣтующихъ больному познать тищету и суетную гордыню дольнаго міра сего, воспарить духомъ къ высотамъ Сіонскимъ и, отложивъ надежду и попеченіе о выздоровленіи, приготовиться къ мирной, христіанской кончинѣ живота. А въ это время больной мечется въ бреду, лепечетъ въ лихорадочномъ полуснѣ безсвязныя слова, «извергаетъ хулы», называетъ громкія имена всѣхъ вѣковъ и народовъ: Кавуръ, Россель, Платонъ, Страховъ, Пальмерстонъ, Аскоченскій... Что за сумбуръ! И все то онъ ругаетъ, надъ всѣмъ-то онъ смѣется, все то ему нипочемъ. «Вляя горячка», говорятъ врачи. «Delirium tremens!» важно повторяетъ Леонтьевъ. «Дьявольское навожденіе», шепчетъ, отилевываясь, Аскоченскій. «Какъ ему не умереть! Онъ отрицаетъ общіе авторитеты, все, чѣмъ красна и тепла наша жизнь», говорятъ печально г. Н. Ко.

Кто же наконецъ играетъ роль больного? Кто же, какъ не «Современникъ» вмѣстѣ съ «Русскимъ Словомъ»? Кто же, кромѣ этихъ двухъ отверженныхъ, осмѣливался относиться скептически къ дѣятельности Росселя и Кавура? Кто находилъ сухими и безплодными ученые труды Буслаева и Срезневскаго? Кто совѣтовалъ сдать въ архивъ стройныя, красивыя, величественныя системы идеализма, внутри которыхъ темно, сыро и холодно, какъ въ старомъ готическомъ соборѣ? Кто дерзнулъ обвинить Гизо въ историческомъ мистицизмѣ, Лаврова—въ неясности формы и неопредѣленности направленія, Буслаева—въ наивности и старовѣрствѣ, Юркевича—въ отсталости и въ любомудріи, Н. И. Пирогова—въ патріархальности педагогическихъ прие-

мовъ, «Отечественныя Записки»—въ вялости тона и въ отсутствіи направленія, «Русскій Вѣстникъ»—въ мѣщанскомъ пристрастіи къ золотой серединѣ?.. Можно было бы исписать десять страницъ, и все-таки не перечислить всѣхъ преступленій, въ которыхъ были уличены въ теченіе 1861 года «Русское Слово» и «Современникъ». Каждая статья составляла *crime des autorités*, сшибая съ пьедестала какой-нибудь кумиръ, которому кричали другіе журналы «выдыбай, жоже!» Человѣкъ въ нормальномъ положеніи, въ здоровомъ умѣ не могъ бы найти въ себѣ столько продерзости. Статья Чернышевскаго о Гизо, «Полемическія красоты», политическія статьи Благосвѣтлова, «Схоластика» Писарева и его статья о Мошешотѣ, рецензія стихотвореній Сквороды и отвѣтъ Крестовскаго Костомарову, Дневникъ темнаго человѣка и Свистокъ—все это бредъ больного, послѣднее напряженіе силъ, за которымъ будетъ и должна слѣдовать реакція, агонія.—Аминь! речеть «Домашняя Бесѣда», и къ своему крайнему удивленію благонамѣренные врачи русской журналистики въ первый разъ въ жизни вторятъ Аскоченскому. Но позвольте, господа врачи, *doctores augustissimi*, я не понимаю вашего огорченія. Отчего же вы такъ взволнованы? Здоровый человѣкъ, владѣющій полнымъ разсудкомъ, не станетъ безпокоиться попусту, скликать пожарную команду, когда у сосѣда топится овинъ и когда не предвидится ни малѣйшей опасности. Надо предположить одно изъ двухъ: или дѣйствительно свистуны сильны въ области литературы, или благонамѣренные люди сами больны и, по разстройству нервовъ, вздрагиваютъ отъ малѣйшаго шума. Каждая выходка «Современника» или «Русскаго Слова» осуждается синедріономъ такъ называемыхъ солидныхъ журналовъ; осужденіе обыкновенно занимаетъ большіе мѣста, чѣмъ самая выходка; стало быть, эти выходки дѣйствительно опасны, или же, извините, вамъ больше не о чемъ говорить, и вы ловите случай, раздуваете скандалъ для того, чтобы наполнить книжку, и слѣдовательно поступаете сами, какъ неудавшіеся фельетонисты.

Разберемъ оба предположенія. Кому и чему могутъ быть опасны выходки свистуновъ? Вѣроятно только идеямъ или же такимъ личностямъ, которыя передъ лицомъ всего образованнаго міра служатъ представителями той или другой тенденціи. Вѣдь вы, господа врачи, вступаете не за Козлянинова, не за Вергейма, а за Кавура, за Росселя, за исторію, за философію, за серьезную науку. Всѣмъ этимъ лицамъ и идеямъ вы своимъ заступничествомъ оказываете очень плохую услугу. Прикосновенія критики боится только то, что гнило, что, какъ египетская мумія, распадается въ прахъ отъ движенія воздуха. Живая идея, какъ свѣжій цвѣтокъ отъ дождя, крѣпнетъ и разрастается, выдержи-

вая пробу скептицизма. Передъ заклинаніемъ трезваго анализа исчезаютъ только призраки; а существующіе предметы, подвергнутые этому испытанію, доказываютъ имъ дѣйствительность своего существованія. Если у васъ есть такіе предметы, до которыхъ никогда не касалась критика, то вы бы хорошо сдѣлали, если бы порядкомъ встряхнули ихъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что вы храните дѣйствительное сокровище, а не истлѣвшій хламъ. Если же вы для себя уже сдѣлали этотъ опытъ, то позвольте-же и другимъ сдѣлать то же для себя. Вы, положимъ, убѣждены въ томъ, что умозрительная философія есть мать всѣхъ добродѣтелей и источникъ всякаго благосостоянія. А вотъ для меня, напр., это положеніе составляетъ еще недоказанную теорему. Что же, мнѣ вамъ на слово прикажете вѣрить? Или прикажете до тѣхъ поръ не писать ничего, пока не выработаю себѣ абсолютно вѣрнаго, неизблемаго убѣжденія, пока не превращу въ аксіомы всѣ теоремы? На второй мой вопросъ вы отвѣтите утвердительно, а я вамъ докажу сейчасъ, что этотъ утвердительный отвѣтъ—нелѣпность. Каждое поколѣніе разрушаетъ міросозерцаніе предыдущаго поколѣнія; чтó казалось неопровержимымъ вчера, то валится сегодня; абсолютныя, вѣчныя истины существуютъ только для народовъ неисторическихъ, для эскимосовъ, папуасовъ и китайцевъ. Вы мнѣ скажете, что  $2 \times 2 = 4$ —абсолютная истина для всѣхъ вѣковъ и народовъ, а я вамъ отвѣчу, что  $2 \times 2 = 4$  не есть идея; тутъ подлежащее повторяется въ сказуемомъ; въ первой и второй части уравненія предметъ одинъ и тотъ-же, и измѣняются только формы выраженія. «Прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками»—это тоже не идея; въ тутъ связываете между собою не два предмета, а два названія, изъ которыхъ одно сжато, другое—пространно. Эти такъ называемыя математическія истины могутъ быть сведены на общую формулу *опредѣленія*: «островъ есть кусокъ земли, окруженный со всѣхъ сторонъ водою». Тутъ объясняется слово, а не предметъ. Кромѣ того математическія опредѣленія вообще имѣютъ дѣло съ рамками, съ самыми общими, совершенно безцвѣтными отвлеченностями, къ которымъ человѣкъ не можетъ имѣть никакихъ личныхъ отношеній. *Два, прямая линія*—все это не предметы, не явленія жизни, а рамки, въ которыя можно вставить чтó угодно. Математическія истины неизблемы, потому что онѣ безжизненны; видѣ математики посмотрите куда угодно,—всѣ понятія наши о природѣ и человѣкѣ, о государствѣ и обществѣ, о мысли и дѣятельности, о нравственности и красотѣ, мѣняются такъ быстро, что послѣдующее поколѣніе не оставляетъ камня на камнѣ въ міросозерцаніи предыдущаго. Кто усталъ идти, тотъ можетъ сѣсть въ сторонѣ отъ дороги и помириться съ тѣмъ, что его обгоняетъ. Такъ сдѣлалъ «Рус-

скій Вѣстникъ», такъ поступилъ Тургеневъ. Мнѣнія «Русскаго Вѣстника» соответствовали требованіямъ нашего общества года три тому назадъ; теперь они многимъ покажутся ретроградными. Образъ Влены въ «Наканунѣ» могъ казаться безукоризненно прекраснымъ года три тому назадъ; въ 1860 году въ немъ уже могли замѣтить несмѣлыя отношенія автора къ идеѣ равноправности мужчины и женщины.

Вы видите такимъ образомъ, что не писать до тѣхъ поръ, пока не установятся убѣжденія, значить безъ толку пожертвовать лучшими годами дѣятельности. Убѣжденія ваши *остановятся* на какомъ-нибудь результатѣ только тогда, когда вмѣстѣ съ костями и хрящами начнетъ твердѣть и сохнуть мозгъ; вы остановитесь не потому, что достигли истины, а потому, что утомились работою жизни и мысли, потеряли ту эластичность, гибкость и подвижность ума, которыми обладали въ молодости; остановившись, вы начинаете жить прошедшимъ, и если вы писатель, то этимъ-же прошедшимъ вы дѣлитесь съ публикой. А прошедшее движущемуся обществу можетъ дать матеріалы для размышленія, а не норму для дѣятельности. Стало быть, ваши слова будутъ живѣе и плодотворнѣе, если вы выскажете ихъ тогда, когда ваша личность и дѣятельность еще принадлежатъ будущему. Страстный бредъ или пылкая діалектика юноши всегда западаютъ въ душу слушателя глубже и шевелятъ его живѣе, чѣмъ мудрый совѣтъ старика, высказанный осторожно, безстрастно и торжественно. Юноша способенъ ошибаться—согласенъ, но зато онъ не учитъ общества, не читаетъ лекцій; онъ самъ ищетъ, самъ стремится, а стремленіе къ истинѣ, поступательное движеніе всегда лучше обладанія ею, уже потому, что послѣднее есть самообольщеніе, а первое—дѣйствительный фактъ. Итакъ, позвольте людямъ, недостижимымъ крайнихъ предѣловъ своего развитія, т. е. еще не остановившимся,—говорить, писать и печатать; позвольте имъ встряхивать своимъ самороднымъ скептицизмомъ тѣ залежавшіяся вещи, ту обветшалую рухлядь, которыя вы называете общими авторитетами, и которыя, по вашему признанію, грѣютъ и красятъ вашу жизнь. Согласитесь съ тѣмъ, что «спросъ не бѣда», и что общему авторитету не болѣе отъ того, что его подвергнуть сомнѣнію. Если авторитетъ ложный, тогда сомнѣніе разобьетъ его, и прекрасно сдѣлаетъ; если же онъ необходимъ или полезенъ, тогда сомнѣніе повертитъ его въ рукахъ, осмотритъ со всѣхъ сторонъ и поставитъ на мѣсто. Словомъ, вотъ ultimatium нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; чтó выдержитъ ударъ, то годится; чтó разлетится въ дребезги, то хламъ: во всякомъ случаѣ, бей направо и налево, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть. Клеветать, конечно, не слѣдуетъ; лгать въ фактахъ—не хорошо, но въ подобной лжи еще никто не



улучилъ свистуновъ; ихъ учили въ ложныхъ воззрѣніяхъ, а воззрѣнія не могутъ быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрѣніе, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждаго свое, и потому я совершенно согласенъ съ словами Н. Ко., которые онъ хотѣлъ сказать мнѣ: *въ туку*: «Давайте всѣ мыслить самостоятельно, и—чурь—однѣ другому не мѣшать». Нашелъ въ чемъ упрекнуть! въ самостоятельности мысли. Давай Богъ побольше такихъ обличителей, которые, желая обругать, говорятъ комплименты.

Я замѣтилъ выше, что серьезные журналы дѣлаютъ изъ мухи слона, потому что имъ больше нечего дѣлать; это положеніе я поддерживаю; только полнѣйшая умственная праздность можетъ возводить въ событіе каждую статью Свистка, каждую выходку Темнаго человѣка. Люди толкуютъ о серьезныхъ интересахъ науки и общества, и въ то же время сотни страницъ посвящаютъ Чернышевскому, котораго сами называютъ свистуновъ и верхоглядомъ. И что это за страницы! сколько глубокомыслия, сколько проницательной критики, сколько высоко нравственного негодованія тратится на опроверженіе «Пolemическихъ красотъ!» Судя по тому значенію, которое придаютъ Чернышевскому современные серьезные люди, надо думать, что если энциклопедическій словарь дойдетъ до буквы *Ч*, то ему будетъ посвящена обширная статья. Подлинно, Чернышевскій имѣетъ полное право произнести извѣстное стихотвореніе Пушкина: «*Ех ungue leonem*», кончающееся такъ:

Я по упамъ узналъ его какъ-разъ.

## XII.

«Пolemическія красоты» Чернышевскаго взволновали журнальный міръ; никакое научное открытіе, никакое серьезное изслѣдованіе не обращало на себя такъ внезапно всеобщаго вниманія серьезныхъ литераторовъ. «Русскій Вѣстникъ» съ несвойственной ему поспѣшностью, въ июньской книгѣ своего изданія, отвѣчалъ на статью, помѣщенную въ июньской-же книгѣ «Современника»; «Отеч. Зап.» въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ не спускаютъ глазъ съ «Современника», лишающаго ихъ сна и покоя; даже безвредный «Свѣточъ» не преминулъ заявить свой протестъ противъ нарушенія литературныхъ приличій Чернышевскимъ. Мысль невольно переносится къ той давно прошедшей эпохѣ, когда памфлетъ Ульриха фонъ-Гуттена «Письма темныхъ людей» («*Epistolae obscurorum virorum*») прошумѣлъ по Германіи и нарушилъ умственную апатию записныхъ ученыхъ. Доктора и монахи принялись ругаться на всѣ лады и доказали двѣ вещи, во-первыхъ—мѣткость ядовитаго памфлета, во-вторыхъ—собственную духовную нищету, связанную съ нахальной заноси-

востью и карикатурнымъ самообожаніемъ. Такого рода проишествія возможны во всякое время. Люди дѣлнывы или отъ природы мало-сильные всегда сердятся на людей дѣятельныхъ и даровитыхъ, которые, идя скорѣе ихъ, увлекаютъ за собою большинство и пользуются его заслуженнымъ сочувствіемъ. Сердятся они не всегда изъ корыстныхъ видовъ: иному дѣйствительно обидно; онъ, можетъ быть, дѣлъ пятнадцать рылся въ бібліотекахъ и архивахъ, трудился въ потѣ лица, считалъ себя полезнымъ специалистомъ, предъявлялъ права на принадлежность соотечественниковъ, и вдругъ,—о, разочарованіе!—является какой-нибудь неизвѣстный юноша, высказываетъ о предметѣ специальныхъ изслѣдованій мысли, ошеломляющія специалиста своей оригинальностью и новизною, и прямо называетъ долготѣніе труды вышеописаннаго ученаго сухимъ хламомъ, изъ котораго не выжмешь ни идеи, ни важнаго фактическаго результата. Какъ же такому непонятому специалисту не озлиться? Какъ ему не пуститься съ азартомъ въ несвойственное ему поле журнальной полемики? Какъ ему въ проклятіяхъ противъ свистопляски не дойти до того паюса задорности, какимъ отличается переписка Ивана IV съ Курбскимъ? Кто же рѣшится сознаться даже передъ самимъ собой (не то что передъ публикою) въ томъ, что онъ въ продолженіе десятковъ лѣтъ не зналъ, что дѣлалъ и съ какой цѣлью трудился. Чтобы рѣшиться на такое признаніе, надо быть почти великимъ человѣкомъ, а великіе люди не тратятъ жизни на перепечатку дѣтостей и на копировку старинныхъ шрифтовъ. Раздраженіе Погодина, выразившееся въ его письмѣ къ Костомарову и въ изобрѣтеніи слова «свистопляска», негодованіе Буслаева, напечатавшаго въ «Отеч. Зап.» письмо къ Пышину, и гнѣвъ Вяземскаго, посвятившаго свистунамъ сатирическую пѣснь лебеда, объясняются только что выписанными мною побудительными причинами. Ярость «Русскаго Вѣстника» и «Отеч. Зап.» объясняется проще. Винить журналиста въ томъ, что онъ желаетъ увеличенія подписки, было бы смѣшно. Кто жъ себѣ врагъ? Фразамъ о безкорыстномъ служеніи идеѣ и обществу наше время цѣлохъ вѣрять. Какъ ни кричите противъ меркантильности эпохи, вы ее крикомъ не прогоните. Эта меркантильность есть современная форма эгоизма, выражавшагося въ прежнія времена властолюбіемъ, жаждой славы, дожуанствомъ и т. д. Возставать противъ корыстолюбія журналовъ я не буду; постараюсь только посметрѣть, какія средства они пускаютъ въ ходъ, чтобы выдвинуть себя впередъ и отбросить совѣстниковъ на задній планъ. Буду обращать вниманіе не столько на нравственное достоинство этихъ средствъ, сколько на ихъ практическую пригодность. Можно быть отличнымъ, честнѣйшимъ человѣкомъ и очень плохимъ литераторомъ, и тѣмъ болѣе негодя-

щимся журналистомъ. «Хоть пей, да дѣло разумѣй», это мудрое правило надо особенно крѣпко помнить въ наше время, когда развелись легіоны печатающихъ людей, которые «немножечко дерутъ»,

Зато ужъ въ ротъ хмельного не берутъ».

Впрочемъ опять-таки этого нельзя сказать ни объ «Отечественныхъ Запискахъ», ни о «Русскомъ Вѣстникѣ». Тѣ и дерутъ, и чистотой литературныхъ нравовъ не отличаются. Объ «Русскомъ Вѣстникѣ» довольно будетъ замѣтить, что онъ не уважаетъ умственной самостоятельности своихъ сотрудниковъ (исторія о Свѣчиной), попрекаетъ Чернышевскаго саратовской семинаріей и даже пишетъ о томъ, что у него крадутъ книги и четвертаки. Что-жь касается до «Отечественныхъ Записокъ», этого притона современной схоластики, кладези недоступной премудрости, то я намѣренъ посвятить имъ все продолженіе этой статьи. Надо разъ навсегда высказаться насчетъ этого ученаго журнала, противъ котораго почти невозможно серьезная критика. Почему? А потому, что въ немъ нѣтъ живой мысли, стало быть надо или смѣяться надъ тупымъ педантствомъ, или закрыть книгу и лечь спать съ отяжелѣвшей головой.

Легіонъ редакторовъ «Отечественныхъ Записокъ», чего добраго, назоветъ эти слова нарушеніемъ литературныхъ приличій; они скажутъ, пожалуй, что мнѣ слѣдуетъ спорить съ ними, а не отдѣлываться брошенной фразой; они, можетъ быть, сочтутъ мои слова уловкой; вѣдь требовали-же они отъ Чернышевскаго, чтобы онъ составился съ Юркевичемъ; вѣдь считали-же они отказъ Чернышевскаго за доказательство его несостоятельности. Поймите, господа, что спорить съ вами и съ Юркевичемъ—значить ломать себѣ голову, слѣдя за извилинами вашихъ аргументацій, написанныхъ тяжелымъ, неяснымъ языкомъ 30-хъ годовъ, входить въ мрачный лабиринтъ вашей буддѣйской науки, отъ которой мы сторонимся съ нѣмымъ благоговѣніемъ. Скажите, ради чего намъ съ Чернышевскимъ брать на себя такой трудъ? Чтобы убѣдить васъ? Да мы этого не желаемъ. Чтобы убѣдить публику? Да она и безъ того на нашей сторонѣ. Ей смертельно надоѣдаютъ ваша наука и критика. Читаетъ она въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсти, переводные романы (которыхъ всегда довольно), историческіе статьи; что-же касается до критики, ее рѣдко разрѣзываютъ; вопросы, которые Дудышкинъ, какъ сфинксъ современной литературы, задаетъ на разрѣшеніе журналамъ (напр., о Пушкинѣ), прочитываются для смѣха журналистами и, какъ слѣдуетъ того ожидать, не разрѣшаются никѣмъ.

Убѣждать публику намъ, стало быть, не въ чужь; кромѣ того, смѣхъ и свистъ лучшія орудія убѣжденія. Если бы мы стали васъ опровергать

по пунктамъ, статьи наши вышли бы такъ-же скучны и головоломны, какъ ваши критическія изслѣдованія, а этого-то мы и не желаемъ. Итакъ, спорить мы съ вами не будемъ, а смѣяться, если придетъ расположеніе, не премеинемъ. Спора вы требуете, а смѣха боитесь. Вотъ смѣхомъ-то мы васъ и доканаемъ. Вы непременно разсердитесь и въ сердцахъ выкажете свои больныя мѣста, которыхъ у васъ очень много. Вы уже разсердились на Чернышевскаго и высказывали много диковинныхъ вещей. Кромѣ того, вы напрягли всѣ свои силы, ничего не успѣли сдѣлать и слѣдовательно обличили свое безпомощное состояніе, свою убогость, которой вы насъ все-таки не разжалобите.

### XIII.

Шестдесятъ пять страницъ въ разныхъ отдѣлахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1861 года за августъ выдвинуто противъ второй коллекціи «Полемическихъ красотъ». Упрекъ въ отсутствіи направленія подѣйствовалъ слишкомъ хорошо; всѣ редакторы ополчились, какъ одинъ человѣкъ, и пошли четверо противъ одного; впрочемъ, на флотѣ дьялинутовъ, который увелъ въ плѣнъ капитанъ Лемуиль Гулливеръ, было гораздо больше четырехъ храбрыхъ бойцовъ; всѣ были воодушевлены патриотическимъ жаромъ, всѣ они тоже защищали народность, и между тѣмъ всѣ сдались на капитуляцію. Что дѣлать, гг. идеалисты, спиритуалисты и супранатуралисты! Духъ бодръ, плоть немощна. Крестовый походъ политической умѣренности, историческаго глубокомыслия, критической серьезности и откровенной запальчивости противъ наглаго, насмѣшливаго невѣжества кончился безславнымъ пораженіемъ. Ряды нападающихъ смѣшались; разнокалиберность союзниковъ и непривычка стоять подъ однимъ знаменемъ взяли свое; пошли ученые рыцари кто въ дѣсь, кто по дрова; своя своихъ не познаша, и предполагавшія стройный натискъ превратился въ безпорядочное гарцование, достойное Благосвѣтлова, но нисколько неприличное для туристовъ русской мысли. Бѣдные нуристы! Они были не на своемъ мѣстѣ; они напоминали несчастнаго Франца Горна, комментатора Уильяма Шекспира, попавшагося въ дикую охоту и скакавшаго за своимъ любимымъ поэтомъ на ослѣ, держась за гриву и творя молитву дрожащимъ голосомъ (Heine. «Atta Troll»). И что за охота? Вѣдь говорилъ вамъ Чернышевскій: куда вамъ полемизировать! а вы его не послушали; вы, вѣрно, думали, что онъ говоритъ это отъ зависти; вотъ и додумались. А все—самолюбіе васъ губитъ. Ну, ему-ли вамъ завидовать! Вотъ видите-ли, въ чужь дѣло: намъ (т. е. «Современнику» и «Русскому Слову») позволительно посвящать вамъ обширныя критическія статьи; мы—люди задорные; мы въ вашемъ лицѣ осмѣиваемъ рутину и слѣдовательно остаемся

вѣрны своему характеру. Вамъ, напротивъ того, совѣтъ не слѣдуетъ съ нами говорить: всякая попытка свистнуть съ вашей стороны доставляетъ намъ перевѣсъ; вы беретесь за наше оружіе, стало быть, полагаете, что оно лучше вашего, и слѣдовательно этимъ самымъ осуждаете вашу всегдашнюю дѣятельность. Нельзя служить Богу и мамону, а то выйдетъ ни Богу свѣча, ни чорту кочерга. Вы должны показывать видъ, будто чувствуете къ намъ полнѣйшее, холодное, равнодушное презрѣніе, будто *игнорируете* насъ; вы иногда стараетесь поступать такимъ образомъ, но солидность ваша не выдерживаетъ развѣдающаго прикосновенія мѣткой насмѣшки. Нашъ сарказмъ жжетъ васъ, какъ раскаленное желѣзо; вы теряете всякое хладнокровіе, забываете *роль* и, не умѣя язвить шуткой, начинаете браниться, почерпая ваши слова то изъ церковно-славянскаго (напр., срамословіе, съверномысліе), то изъ площаднаго народнаго. Вотъ въ эти-то минуты вы крайне занимательны; тутъ-то васъ и нужно изучать и списывать съ натуры.

Августовская книжка «Отечественныхъ Записокъ» доставила мнѣ самое живое наслажденіе своей полемической частью. Она дорисовала тѣ образы, которые складывались уже въ моемъ умѣ; она показала мнѣ, какъ говорятъ и дѣйствуютъ рутинеры, выведенные изъ терпѣнія и чувствующіе, что почва колыхнется подъ ихъ ногами. Мнѣ случалось читать въ исторіи объ отчаянной борьбѣ отживающаго съ начинающимъ жтъя, и теперь мнѣ очень пріятно прослѣдить въ маленькихъ размѣрахъ процессъ этой борьбы между представителями русской мысли. Тяжело смотрѣть на агонію человѣка или животнаго, но агонія идеи, принципа, направленія представляетъ любопытное и пріятное зрѣлище. Весело смотрѣть на то, какъ защитники этого умирающаго принципа мечутся, суетятся, теряютъ голову, противорѣчатъ сами себѣ, сбиваютъ другъ друга съ ногъ, говорить всѣ вдругъ, какъ Добчинскій и Вобчинскій, и все-таки лишаются постепенно своихъ прозелитовъ, а между тѣмъ новая идея какъ пожаръ разливается по сценѣ дѣйствія, не останавливается никакими преградами, просачивается сквозь щели стѣнъ и дочиста сжигаетъ старый хламъ, какъ бы ни былъ онъ плотно закупоренъ и подъ какимъ бы крѣпкимъ карауломъ его ни содержали. Чернышевскій говоритъ, что въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣтъ единства направленія, и Дудышкинъ торжественно соглашается съ нимъ отъ лица всѣхъ главныхъ членовъ редакціи. Я позволяю себѣ не согласиться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ. Статьи «Отечественныхъ Записокъ» часто противорѣчатъ другъ другу—это правда; но у нихъ есть что-то общее, есть свой букетъ, который принадлежитъ имъ однѣмъ: этотъ букетъ онѣ называютъ *серьезностью*; въ переводѣ на общепонятный русскій языкъ это значитъ не-

доступность живымъ интересамъ, неумѣнье и нежеланье отгестисъ къ возникающимъ вопросамъ откровенно и ясно, *игнорированіе* живыхъ и больныхъ мѣстъ нашей частной и общественной жизни. Возникаетъ-ли какой-нибудь литературный споръ о предметѣ общеизвестномъ, имѣющемъ практическое значеніе во вседневной жизни,—«Отечественныя Записки» тотчасъ превращаютъ споръ въ научную теорему; предметъ уносится учеными критиками на вершины Олимпа россійской мысли, и густой туманъ скрываетъ его отъ глазъ обыкновенныхъ зрителей; кто попроще, тотъ начинаетъ благоговѣть, ничего не понимая, а кто смѣлѣе, тотъ закрываетъ книгу и говоритъ, что начинается «ерунда». Въ обоихъ случаяхъ вопросъ, поставленный жизнью, остается нерышеннымъ и полемному замираетъ. Достоинство журнала спасено, а между тѣмъ не высказано ничего рѣзкаго, что могло бы раздражить гусей; и волки сыты, и овцы цѣлы.

Вотъ видите-ли, въ нашемъ общественномъ мнѣніи есть множество отгѣнковъ, нечувствительно переливающихся одинъ въ другой. Крайними полюсами этого общественнаго мнѣнія можно назвать съ одной стороны Аскоченскаго, съ другой—ну, хоть бы Чернышевскаго, благо мы часто о немъ упоминаемъ. У Аскоченскаго есть положительная сторона—ханжество, и отрицательная—ненависть къ человѣческому разуму. Эта отрицательная сторона, эта ненависть у него груба, рьяна, нелѣпа; если отъ Аскоченскаго мы будемъ постепенно подвигаться къ Чернышевскому, эта ненависть будетъ находиться въ убывающей прогрессіи; мракобѣsie перейдетъ въ мраколюбіе, наконецъ, въ довольство мракомъ, въ терпѣніе мрака; доводы противъ разума будутъ видоизмѣняться, но полную эмансипацію разума мы найдемъ только на противоположномъ полюсѣ. Духъ Аскоченскаго вѣетъ въ «Домашней Бесѣдѣ»; съ его мнѣніемъ можно бороться даже за предѣлами нашей страны; слабые и смѣлые европейцы, даже въ Европѣ, даже въ Англіи, не выдерживаютъ. Авторитеты и старшихъ, но въ сущности шелковая веревка на ногахъ! Шелкъ больно, и въ своимъ полнѣйшемъ развитіи Записокъ самодѣятельность съ Бл. пріюта наликъ! Кто вздоромъ, нею смѣя идти себѣ нмъ числомъ, хвалитъ хорошиимъ, и бранитъ то, въ

вается большинство. Высшим образом эта черта характера «Отечественныхъ Записокъ» выразилась въ томъ, что, сколько мнѣ помнится, ни одинъ литераторъ не начиналъ своей карьеры въ «Отечественныхъ Запискахъ». Когда имя дѣлалось извѣстнымъ, Краевскій допускалъ его на Олимпъ; талантливый юноша, не печатавшій до того времени нигдѣ, не могъ прямо попасть въ «Отечественныя Записки», хотя бы онъ былъ семи няней во лбу. Это было очень благообразно со стороны Краевскаго. Когда нѣтъ творчества, не надо творить; когда нѣтъ собственной критической способности, надо поневолю полагаться на мнѣніе другихъ; «не зачѣмъ пѣть, когда голоса нѣтъ», говоритъ русская пословица. Откровенное признаніе собственной несостоятельности — дѣло очень похвальное, хотя, конечно, было бы еще похвальнѣе совсѣмъ не браться за такое дѣло, въ которомъ не смыслишь ни аза.

Итакъ, робость и неясность отношеній составляють букетъ «Отечественныхъ Записокъ». Причина этихъ свойствъ заключается отчасти въ дипломатической осторожности, отчасти въ слабости мысли. Ширина и смѣлость взгляда, неутомимая послѣдовательность логики, ясность и простота въ рѣшеніи вопросовъ свойственны только живому уму, а его нѣтъ въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Посредственность не любить быстро поступательнаго движенія; оно ее утомляетъ; довольствоваться наличнымъ умственнымъ капиталомъ, старой философской системой, шлифовать и полировать уголки, любоваться деталями, — вотъ ея дѣло, вотъ сфера ея муравьиной дѣятельности. А тутъ вдругъ придетъ какой-нибудь нахаль, все переворочаетъ, все переломаетъ, на шумитъ, напылитъ, такъ что послѣ его вторженія хозяинъ не можетъ узнать своего уютнаго кабинета, въ которомъ все было такъ аккуратно, такъ невозмутимо — спокойно, такъ тихо и безмятежно. Собирается онъ съ силами, чтобы послѣ нашествія новаго Аттилы привести въ прежній порядокъ свою крошечную систему, въ которой ему было тепло, въ которой онъ чувствовалъ себя безопаснымъ, какъ улитка въ раковинѣ, и къ которой онъ даже, можетъ быть, успѣлъ прохотить кружокъ почтительныхъ молодыхъ прозелитовъ. Хлопочетъ онъ о томъ, чтобы истребить слѣды разрушительнаго набѣга, и что-то не ладится; прозелиты ошеломлены; однимъ прельстила смѣлость вражескаго натиска, другихъ она удивила, третьихъ правела въ недоумованіе, но во всякомъ случаѣ всѣ они уже не тѣ невинные, непосредственные, нетронутые слушатели, какіе были прежде. Да и система не дозволяетъ добродушному хозяину прежняго умственнаго комфорта. Молча перенести дерзкое нападеніе невозможно: самолюбіе мѣшается, да и опасно; мальчишки — народъ заносчивый, зазнаются, примутъ молчаніе за признакъ слабости; надо спорить, да и притомъ какъ спорить! Состязаться

съ человѣкомъ одной школы съ вами пріятно; говоря съ нимъ, вы можете сослаться на положеніе учителя, и, лишь бы статья вашего общаго кодекса была подведена вѣрно, вашъ противникъ согласится съ вами и даже будетъ смотрѣть на васъ съ сугубымъ уваженіемъ, какъ на человѣка, которому полнѣе доступна неизреченная мудрость. Но спорить съ человѣкомъ другой школы совсѣмъ не то; вы сошлетесь на авторитетъ, а онъ вамъ скажетъ, что знать его не хочетъ; вы скажете: «это говорить Гегель!», а онъ отвѣтитъ: «а мнѣ что за дѣло!» — Вамъ придется доказывать основныя положенія, шевелить такія стропила ученія, которыя вы считали незыблемыми и неприкосновенными, придется передѣлывать сызнова дѣло учителя, и притомъ при такихъ условіяхъ, которыя значительно усложняютъ задачу. Когда жилъ и дѣйствовалъ учитель, тогда люди его времени еще не могли приготовить противъ его ученія разрушительныхъ доводовъ, по той простой причинѣ, что ученіе было ново, свѣжо, способно развиваться и не похоже на жреческую символистику; когда жилъ этотъ предполагаемый учитель, онъ уловилъ послѣднее слово своего времени и развилъ его въ систему; теперь настали другія времена; выработалось другое послѣднее слово, и можно сказать навѣрное, что если бы учитель жилъ въ наше время, то и ученіе его вышло бы не такое, какимъ онъ его сдѣлалъ. Въ наше время Гегель навѣрное не былъ бы гегельянцемъ, потому что только узкіе и вялые умы живутъ въ области преданій тогда, когда можно выдти въ область дѣйствительно живыхъ идей и интересовъ.

Итакъ, умственная посредственность всегда отличается пассивнымъ консерватизмомъ и противопоставляетъ натиску новыхъ идей тупое сопротивленіе инерціи. Бываетъ и прозелитическая посредственность; иные нищѣ духомъ стремятся, очертя голову, вслѣдъ за увлекающимъ ихъ талантомъ; слѣпой фанатизмъ и дешевый скептицизмъ одинаково часто встрѣчаются въ людяхъ ограниченныхъ; но въ нашемъ обществѣ дешевый скептицизмъ, кажется, преобладаетъ, потому что мы вообще страстностью не отличаемся. Вотъ эту-то тупую оппозицію инерціи и безпричиннаго скептицизма вы встрѣтите на каждой страницѣ «Отечественныхъ Записокъ».

Слова оппозиція и скептицизмъ требуютъ нѣкотораго поясненія. Оппозиція есть гарантія личности противъ посягательствъ большинства или силы: осмысленная оппозиція возбуждаетъ къ себѣ искреннее сочувствіе и заслуживаетъ полное уваженіе со стороны всякаго благороднаго человѣка; но чтѣ вы скажете, напримѣръ, объ оппозиціи помѣщицы Коробочки, не желающей продать мертвыя души на томъ основаніи, что она не знаетъ городскихъ цѣнъ? Вѣдь источникъ этой оппозиціи заключается въ неспособности понять предметъ, въ неумѣніи или нежеланіи сдѣлать

милльишее усиленіе мысли. Оппозиція многихъ старовѣровъ очень напоминаетъ оппозицію Коробочки. Ему толкуютъ объ удобствѣ какой-нибудь земледѣльской машины,—онъ слушаетъ изъ пятого въ десятое и потомъ наотрѣзъ отказывается сдѣлать нововведеніе. Вы добиваетесь причины его упорства, считаете вашего собесѣдника фанатикомъ наслѣдованнаго отъ отговъ экономическаго порядка вещей, строите въ головѣ цѣлую теорію объ исторической памяти русской народности, а между тѣмъ вашъ дубиноголовый противникъ способенъ отвѣтить вамъ только словами Лазаря Влизарыча: «Для того, что не для чего!..» Онъ упирается, потому что не ясно понимаетъ, а не понимаетъ и не хочетъ понимать оттого, что не привыкъ работать мыслью,—а на старости лѣтъ привыкать мудрено!

Скептицизмъ великъ и законенъ, какъ слѣдствіе разлагающей дѣятельности мысли, какъ результатъ тщательнаго анализа; но скептическое отношеніе къ предмету малу извѣстному обличаетъ только нежеланіе взглянуть въ него и ближе съ нимъ ознакомиться,—такой скептицизмъ вытекаетъ часто изъ очень мелкаго и мутнаго источника. Возьмемъ примѣръ. Положимъ, что моя статья возбудитъ къ себѣ недовѣріе въ двухъ читателяхъ: одинъ прочтетъ ее внимательно и, положимъ, замѣтитъ въ ней противорѣчія, тонъ страстнаго раздраженія, натяжки въ выводахъ; это наведетъ его на мысль, что статья написана пристрастно, онъ отнесется къ ней скептически. Такого рода скептицизмъ вполнѣ уважителенъ; онъ основанъ на знакомствѣ съ предметомъ; ошибка тутъ возможна. Другой читатель перелистуетъ статью, увидитъ, что дѣло идетъ объ «Отечественныхъ Запискахъ», и скажетъ: «Это брань журналистовъ, старающихся переманить подписчиковъ. Вздор! не стоитъ читать!»—Это уже дешевый скептицизмъ, хватающій верхки, судящій по внѣшности, не желающій или не умѣющій приложить анализа къ самому предмету. У человѣка, способнаго къ такому скептицизму, есть въ головѣ нѣсколько десятковъ готовыхъ сужденій, и онъ подводитъ подъ нихъ разные случаи жизни, ни мало не заботясь о ихъ дѣйствительной фізіономіи. Развиваться такой человѣкъ не способенъ; вращаясь въ безвыходномъ кругу готовыхъ сужденій и вывѣтрившихся фразъ, онъ не видитъ дѣйствительнаго міра и не даетъ себѣ труда взглянуть на него просто и серьезно. Эти оппозиціи и этотъ скептицизмъ выражаются въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. «Отечественныя Записки» выражаютъ ихъ тѣмъ, что не высказываютъ никогда опредѣленнаго мнѣнія; въ нихъ вы не найдете такого слова, изъ котораго можно было бы вывести осязательное, практическое заключеніе. У нихъ есть два молчалинскіе таланта: умѣренность и аккуратность, которую они называютъ серьезностью. До «степеней извѣстныхъ» они

уже дошли. Развѣ двадцать три года существованія журнала, и при томъ отъ 1838—1861 г., не «степени извѣстныя?»

## XIV.

Букетъ «Отечественныхъ Записокъ» я нашель; ихъ цвѣтъ—безцвѣтность; ихъ тактика состоитъ въ томъ, чтобы говорить, ничего не высказывая, числиться въ рядахъ прогрессистовъ, не раздѣляя съ ними трудовъ и опасностей, отуманивать своихъ читателей книжной ученостью и отводить имъ глаза отъ живыхъ идей, вопросовъ и интересовъ. Почему онѣ молчалиниствуютъ по расчету или по умственной убогости—решать не берусь; можетъ быть, по тому и по другому вмѣстѣ. Посмотримъ лучше, какъ обстоитъ тактика журнала выдерживается въ разліе отдѣлахъ. Первая полемическая статья, чающаяся въ августовской книжкѣ, принадлежитъ перу Альбертини; съ нею я и начну.

Альбертини вступаетъ за Кавура, стыдится Чернышевскаго его незнаніемъ и совѣтуетъ ему побольше читать и учиться. О Кавурѣ Альбертини спорить, нимало не обобщая вопросъ; онъ полагаетъ, что нападки «Современника» направлены противъ личности, а не противъ типа, противъ отдѣльныхъ поступковъ Кавура, а не противъ цѣлаго направленія его политики. Альбертини не понимаетъ или не хочетъ понимать, что Чернышевскій возстаетъ противъ Кавура за то, что, находясь по своему положенію во главѣ современной Италіи, сардинскій министръ сдерживалъ воодушевленіе народа (боясь, чтобы оно не хватило черезъ край) вмѣсто того, чтобы поддерживать его и давать ему направленіе. Кавура осуждаютъ за то, что онъ былъ болѣе шемонтскимъ подданнымъ, чѣмъ гражданиномъ свободной Италіи. Если вы, Альбертини, способны возвыситься до синтетическаго взгляда на личность Кавура, тогда доказывайте противное; мы васъ послушаемъ. Но если вы любите изучать факты, не обладая способностью обобщенія, тогда вамъ нельзя спорить съ Чернышевскимъ; да онъ и не станетъ съ вами спорить. Замашка останавливаться на голомъ фактѣ, на заглавіи—обнаруживается также въ томъ мѣстѣ, гдѣ Альбертини говоритъ о Пальмерстонѣ и Брайтѣ. Чернышевскій въ «Полемическихъ красотахъ» говоритъ, что для удобства и для краткости называетъ одинъ типъ прогрессистовъ—Пальмерстономъ, другой—Брайтомъ. Предупредивъ такимъ образомъ читателя, онъ говоритъ: «Пальмерстонъ только тогда непоколебимъ, когда опирается на Брайта, и теряетъ власть, когда отталкивается отъ себя Брайта». Ясно, что это надо понимать такъ: «Англійское правительство, выставляющее на своемъ знамени девизъ прогресса, только тогда непоколебимо, когда опирается на ту часть народа, которая дѣйствительно воодушевлена про-

грессивными стремлениями». Противъ этой мысли долженъ былъ возражать Альбертини, если онъ не согласенъ. Но онъ сдѣлалъ не то. Онъ именно утаилъ отъ своихъ читателей тотъ который Чернышевскій придалъ иммерстона и Брайта; онъ беретъ слова *au pied de la lettre* и начинаетъ разсужденіе между Пальмерстономъ и Токвилемъ, а не о сущности ихъ соединенія и грубого критикомъ «Современникъ» ироническая не противъ того-то воображаемаго: «о такихъ критики, сочинителей, а вы тогда читаете, тогда вамъ если своего, то обречь понимать противника, тотъ же степени «Отечественныя Записки» («мазурика»). Которое не знаю, но думаю, что не прискаты ни самъ онъ, ни его сподвижники. Совѣстно-то будетъ, не Чернышевскому.

Далѣе слѣдуетъ статья того же Альбертини объ Токвилѣ, какъ значится въ заглавіи, но героевъ статьи является все тотъ же Чернышевскій. Изъ этой статьи я выпишу нѣсколько умиленныхъ мѣстъ и ничего не скажу объ общей идеѣ, потому что общей идеи нѣтъ. Авторъ силится доказать, что Токвиль—прекрасный человекъ, а Чернышевскій—нахаль и невѣжда; но, прочтя его статью, читатель не выноситъ никакого понятія о французскомъ публицистѣ, и даже обвиненіе въ сумбурности, неосновательно взведенное на него Чернышевскимъ, не оказывается снятымъ. Избави Богъ отъ защитниковъ, подобныхъ Альбертини! Они способны затемнить самое чистое дѣло и запутать самый простой вопросъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, казнь своего лютаго врага, Альбертини возвышается до апофеоза проиіи. «Неужели,—воскликаетъ онъ,—послѣ этого (т. е. обругавши Кавура и Токвиля) вы (Чернышевскій) осмѣлитесь еще требовать отъ нашей молодежи, чтобъ она серьезно училась? Полноте! Вы гордитесь, кажется, что васъ читаютъ съ удовольствіемъ. Знаете-ли, кто читаетъ васъ съ истиннымъ удовольствіемъ? Все господа Якубовичи да Кондыревы (безграмотные переводчики Токвиля). Оттого-то они и перевели такъ безобразно Токвиля, что васъ они читаютъ съ удовольствіемъ и позаимствовались отъ васъ тѣмъ пренебреженіемъ къ наукѣ, къ серьезной мысли и къ серьезному труду, котораго проповѣдникъ всегда найдетъ себѣ приверженныхъ

адептовъ. Отчего же вы такъ несправедливы къ своему адепту, г. Якубовичу? Отчего же вы его обвиняете въ бессмыслицѣ? Если бѣ вы были послѣдовательны, вы его должны были бы погладить по головкѣ за то, что онъ такъ дико перевелъ писателя, по вашему, сумбурнаго».

Когда Альбертини говоритъ хладнокровно, тогда ему почти не нужна логика; разсказывать событія можно въ хронологическомъ порядкѣ; разсужденія можно заимствовать изъ плохихъ нѣмецкихъ газетъ; отсутствіе собственныхъ приговоровъ можно выдавать читателямъ за осторожность и серьезность. Недостатокъ логической связи и послѣдовательности можетъ пройти незамѣченнымъ, тѣмъ болѣе, что русская публика читаетъ невнимательно и съ обзоромъ политическихъ событій знакомится не столько по ежесѣчнымъ журналамъ, сколько по ежедневнымъ газетамъ. Но въ полемикѣ съ Чернышевскимъ вопросъ становится иначе. О Чернышевскомъ за границей не пишутъ, стало быть, о немъ надо говорить свое. Кромѣ того, сонливое спокойствіе или, что то-же, историческое безпристрастіе, хранившееся въ груди Альбертини, когда онъ разсуждалъ о Кавурѣ, Росселѣ и Пальмерстонѣ, исчезло; Чернышевскій задѣлъ самолюбіе нашего публициста, и Альбертини началъ свое знаменитое: «*quousque tandem*». Тутъ понадобилась хоть бы вѣшная связь—и логика Альбертини (именно его собственная, исключительная логика) обозначилась. Проскользнула вмѣстѣ съ индивидуальной логикой и нравственная исповѣдь. Спохватитесь во время, г. Альбертини, вы расточаете передъ нами сокровища вашей рыцарской литературной честности!

Вы находите: 1) что Чернышевскій долженъ былъ похвалить работу Якубовича, потому что Якубовичъ—его адептъ, и 2) что Чернышевскій долженъ былъ обрадоваться безобразному переводу Токвиля, потому что онъ не соглашается съ его идеями. Вы упрекаете Чернышевскаго въ непоследовательности за то, что онъ не поступаетъ такимъ образомъ; значитъ, вы на его мѣстѣ поступили бы такъ, какъ совѣтуете ему поступать; такимъ образомъ вы даете намъ право воспроизвести двѣ слѣдующія статьи вашего нравственного кодекса: 1) должно хвалить своихъ адептовъ, хотя бы они говорили вздоръ и дѣлали гадости; 2) должно ругать наповальъ своихъ противниковъ, чернить ихъ всѣми правдами и неправдами и радоваться, если чернить ихъ кто-либо другой. Эти статьи вашего кодекса даютъ намъ ключъ къ пониманію вашей выходки противъ Чернышевскаго по поводу Брайта и Пальмерстона; ясно, что она сдѣлана не по наивности.

Понятнымъ дѣлается также слѣдующее мѣсто: «Мы могли бы трактовать его (Чернышевскаго), какъ трактовали нѣкогда г. Благосвѣтлова, какъ обыкновенно трактуютъ балаганныхъ паяцовъ, которыхъ все дѣло—выкинуть штуку

половчѣ, поканиствѣ». И Чернышевскій, и Благосвѣтловъ извѣстны, какъ ваши литературные противники, *ergo*: надо ругать. Дайте срокъ, г. Альбертини. Напишите еще двѣ-три статьи, подобныя разбираемой нами, проворитесь еще раза три такъ, какъ провались теперь, и ваша брань сдѣлается такъ же почетной и похвала такъ же позорной, какъ брань и похвала юродствующаго редактора «Домашней Вѣсѣды». Вотъ еще одна выписка, въ которой приведено то-же нравственное воззрѣніе: «Люди «Современника» находятъ слѣдовательно, что авторитетъ Токвиля можетъ помѣшать воспріятію и усвоенію въ нашемъ обществѣ ихъ собственныхъ идей о тѣхъ самыхъ предметахъ, о которыхъ разсуждаетъ Токвиль; вотъ отчего и понадобилось имъ сокрушить его авторитетъ. Иначе зачѣмъ бы имъ было собирать грозу противъ Токвиля, доказывать его сумбурность, убѣждать своихъ читателей не читать Токвиля?»—Альбертини хотѣлъ бросить въ Чернышевскаго большимъ комокъ грязи и самъ по локоть выпачкалъ себѣ руки; всего смѣшнѣе то, что онъ самъ этого не замѣчаетъ, и что другіе со стороны должны говорить ему: «посмотрите на себя! что вы съ собою сдѣлали! на что вы похожи!» Вѣдь по вашему выходитъ, что назвать бѣлое бѣлымъ, а черное чернымъ можно только въ томъ случаѣ, если это доставляетъ вамъ прямую выгоду, если у васъ въ этомъ дѣлѣ свои расчеты. Представитель серьезной науки, служитель идеи, поборникъ истины, что вы говорите! вѣдь послѣ этого честному человѣку нельзя спорить съ вами, потому что вы въ отвѣченномъ спорѣ преслѣдуете только ваши выгоды и въ собесѣдникѣ вашемъ предполагаете такія же тенденціи. Вы говорите возмутительныя вещи, и на васъ нельзя сердиться только потому, что вы сами не понимаете вѣса своихъ словъ. Вы несвѣдущи какъ ребенокъ, но какъ развращенный ребенокъ; вы говорите громко то, что многіе думаютъ про себя, но то, что вы говорите,—все-таки дурно. Вашей непосредственностью уничтожается вмѣняемость преступления, но публикѣ остается только недоумѣвать, какъ это безсознательно лепечущій младенецъ можетъ писать и печатать серьезные статьи? Впрочемъ, въ нашъ вѣкъ удивительныхъ изобрѣтеній все возможно. Есть молотильная машина, швейная машина, скоропечатная машина. Кто знаетъ, можетъ быть Краевскій прославится изобрѣтеніемъ машины, доставляющей за умѣренную плату журнальныя статьи произвольнаго объема и направленія! Объ Альбертини довольно. Его, вѣроятно, достаточно поняли мои читатели. Перехожу къ Вестужеву-Рюмину.

#### XV.

Статья Вестужева-Рюмина направлена противъ статьи Чернышевскаго: «О причинахъ па-

денія Рима». Безтактность редакціи «Отечественныхъ Записокъ» обнаруживается вполнѣ въ помѣщеніи этой статьи въ августовской книжкѣ. Статья Чернышевскаго напечатана въ маѣ. Спрашивается, отчего же Вестужевъ-Рюминъ ждалъ два мѣсяца и пустилъ свою статью именно послѣ июльскихъ «Полемическихъ красотъ»? Вотъ единственный возможный отвѣтъ: «Отечественныя Записки» вѣрны тому принципу, который съ дѣтской откровенностью высказала Альбертини. Чернышевскій вдвойнѣ врагъ ихъ: какъ членъ редакціи «Современника» и какъ авторъ «Полемическихъ красотъ»; его надо ругать, придираясь ко всякому удобному и неудобному случаю. Вестужеву-Рюмину попадаетъ въ руки подлая книга Дюбуа-Гюшана о римской имперіи. Чернышевскій тоже писалъ о римской имперіи. Прекрасный случай! Какъ отказать себѣ въ удовольствіи поставить рядомъ имена Дюбуа и Чернышевскаго; какъ не провести между ними параллели. Общаго нѣтъ ничего—ни по внѣшности, ни въ содержаніи, ни въ направленіи ихъ трудовъ нѣтъ ни малѣйшаго сходства, но зато впечатлѣніе на читателя будетъ произведено; иной довѣрчивый добрякъ (а на такую публику, кажется, сильно рассчитываютъ «Отечественныя Записки») въ самомъ дѣлѣ повѣритъ, что Чернышевскій и Дюбуа-Гюшанъ—одного поля ягоды; вотъ и цѣль сопоставленія будетъ достигнута.

Позднее появленіе статьи Вестужева-Рюмина и ея заголовокъ предрасполагаютъ противъ нея; трудно себѣ представить, чтобы человѣкъ могъ написать что-нибудь хорошее, когда онъ берется за перо съ твердымъ намѣреніемъ очернить своего противника. Искреннее воодушевленіе, кипучая діалектика, разительность доводовъ возможны при полемикѣ только въ томъ случаѣ, если вы спорите, какъ представитель извѣстной идеи. Если же существуютъ личныя отношенія между полемизирующими сторонами, и если эти личныя отношенія вслывають въ спорѣ, тогда полемика превращается къ перебранки, надѣдаетъ публикѣ и возбуждаетъ въ ней законное презрѣніе. Чтеніе статьи Вестужева-Рюмина оправдало мое непріязненное предрасположеніе. Говоря о Дюбуа-Гюшанѣ, онъ ни съ того, ни съ сего вставляетъ язвительные (по его мнѣнію) намеки насчетъ поверхностности убогихъ фельетонистовъ, которые, черпая «свои идеи изъ юмористическихъ стишковъ, а познанія изъ кой-какихъ полубеллетристическихъ книгъ», ненавидятъ «самое имя науки», потому что «иногда профессоръ срѣзалъ его на экзаменѣ на какихъ-нибудь грамматическихъ формахъ», и такъ далѣе въ томъ же ядовитомъ родѣ. Не правда ли, намеки такъ тонки, что читатель, не приготовленный специально, т. е. не знающій скрытыхъ страданій серьезнаго журнала, не пойметъ, въ чей огородъ Вестужевъ-Рюминъ мечетъ камни. Онъ



говорить, что, встрѣчаясь съ произведеніемъ такого убогаго фельетониста, «можно только улыбнуться и пойти прочь; избіеніе невинныхъ—дѣло очень легкое и потому мало привлекательное». Какой шутникъ—Вестужевъ-Рюминъ! онъ въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ собирался *улыбнуться*, а *пойти прочь* рѣшается, только написавши 15 страницъ; и все это ради убогаго фельетониста, ради невиннаго малютки Чернышевскаго, котораго нашъ ученый критикъ можетъ такъ легко убить статьей, взмахомъ могучаго пера. Только серьезные люди способны шутить такъ естественно, мило и, главное, правдоподобно, какъ шутитъ Вестужевъ-Рюминъ. Серьезная часть статьи представляетъ въ патологическомъ отношеніи такое же замѣчательное явленіе, какъ и запоздавшая улыбка. Книга Дюбуа-Гюшана, нравственное состояніе современной французской литературы, римскій міръ, цезаризмъ и наполеонизмъ—все это только декорации; живетъ и дѣйствуетъ среди этой грандіозной обстановки все то же лицо—убогій фельетонистъ, котораго не стоитъ даже оспаривать. Образъ Чернышевскаго, какъ неотвязчивый призракъ, какъ мысль о любимой женщинѣ, преслѣдуетъ Вестужева-Рюмина, и наконецъ, наскоро развязавшись съ Дюбуа, пустивъ стороною нѣсколько тяжеловѣсныхъ сарказмовъ въ школьничковъ, вооружающихся «дѣтской пращей противъ голиафовъ умственнаго міра», нашъ ученый критикъ вседѣло посвящаетъ себя статьѣ Чернышевскаго. Статьи этой онъ однако не понимаетъ. Какъ и слѣдуетъ ожидать, онъ, какъ сотрудникъ «Отечественныхъ Записокъ», останавливается на буквѣ и не возвышается до идеи. «Г. Чернышевскому,—говоритъ онъ,—захотѣлось доказать, что новымъ обществомъ не грозитъ той катастрофы, которая разрушила древній міръ». Помилуйте, г. Вестужевъ-Рюминъ. Чтобы доказать такую штуку, надо быть Кифою Мокіевичемъ, а не Чернышевскимъ. Кто же боится подобной катастрофы? Даже заклятые руссофилы перестали называть Западъ гнилымъ и предрывать ему неминуемое разложеніе. Какъ же это вошла въ голову Чернышевскаго мысль доказывать то, противъ чего никто не споритъ, о чемъ даже никто (кромя Дюбуа-Гюшана развѣ) не говоритъ? Статья Чернышевскаго вызвана книгой Гизо, появившейся въ русскомъ переводѣ; въ этой статьѣ Чернышевскій возстаетъ противъ историческаго мистицизма и историческаго фразерства, которые можно замѣтить даже у такого строгаго мыслителя, какъ Гизо. Большинство историковъ, въ томъ числѣ и доктринеръ Гизо, говоритъ, что древній міръ *долженъ* былъ пасть; что его опрокинула не стихійная сила, не германцы, а внутренняя необходимость. Германцы являются какими-то *chargés d'affaires* историческаго промысла, являются потому, что понадобились соки въ историческомъ организмѣ. Словомъ, эти исто-

рики видятъ въ цѣни событій общую разумную идею. Чернышевскій смотритъ на вещи проще и хладнокровнѣе. Онъ говоритъ, что за классической цивилизаціей наступило варварство не потому, что такъ было необходимо, а потому, что такъ случилось. Классическій міръ погибъ оттого, что его буквально задавили варвары. Не будь варваровъ, онъ бы жилъ до сихъ поръ, и навѣрно выработалъ бы себѣ и новыя идеи, и новыя стремленія, и новыя бытовыя формы. Противъ этого возражать мудрено. Какъ же бы въ самомъ дѣлѣ погибла классическая цивилизація, если бы никто не разорялъ городовъ, не жегъ книгъ и не билъ людей? Положимъ, пролетаріатъ бы съ каждымъ годомъ увеличивался,—что-жъ изъ этого? Если вы слишкомъ натянете струну—она лопнетъ. Если голодный народъ дойдетъ до крайней степени страданія—онъ взбунтуется. Такъ или иначе произойдетъ переворотъ; оппозиція сдѣлается правительствомъ, и пойдутъ новыя порядки. Какъ бы ни было тяжело жить, а не могли же всѣ жители Рима разбѣжаться въ дѣса, уничтожить свои жилища и превратиться въ полудикихъ. Всѣ эти событія, обозначающія собой паденіе цивилизаціи, возможны только при напорѣ грубой матеріальной силы, т. е. опять-таки при нашествіи варваровъ, или, что почти то-же самое, при геологическомъ переворотѣ. Стало-быть основная мысль Чернышевскаго остается вѣрной: не будь варваровъ, не было бы и паденія древней цивилизаціи. Внутренней необходимости паденія не было. Но, доказывая вѣрную мысль, Чернышевскій, какъ съ нимъ часто бываетъ, заходитъ слишкомъ далеко и впадаетъ въ парадоксъ. Онъ начинаетъ утверждать, что общество не бываетъ ни молодымъ, ни зрѣлымъ, ни старымъ, что измѣняются и старятся только отдѣльные люди, и что на мѣсто 20-ти-лѣтняго Петра выдвигается 20-ти-лѣтній Иванъ, потомъ 20-лѣтній Андрей, обладающій той же свѣжестью силъ и тѣми же юношескими стремленіями, какими въ свое время обладали состарившіеся Иванъ и Петръ. Парадоксальное положеніе это опровергается двумя-тремя простыми вопросами: г. Чернышевскій, неужели вы думаете воспитать вашего сына въ тѣхъ идеяхъ, въ какихъ васъ самихъ воспитали ваши родители? Г. Чернышевскій, неужели вы теперь пишете то-же самое, что въ 1841 году писалъ баронъ Брамбеусъ? Г. Чернышевскій, неужели вы раздѣляете вѣрованія и предразсудки вашего дѣдушки? или неужели вашъ дѣдушка съ удовольствіемъ прочелъ бы вашу статью объ антропологическомъ принципѣ? Отвѣтивъ себѣ на эти вопросы, Чернышевскій немедленно убѣдится въ томъ, что онъ теперь не то, чѣмъ былъ лѣтъ 20 тому назадъ его отецъ, и что сынъ его (Чернышевскаго) будетъ лѣтъ черезъ 20 не то, что теперь Чернышевскій. Убѣдившись въ этомъ, онъ допустить для общества возможность крѣпнуть



и дрихлѣть, но все-таки никогда не согласится съ тѣмъ, чтобы общество могло одичать, а цивилизація погибнуть безъ вѣшняго напора матеріальной силы.

Философскую часть статьи Чернышевскаго Бестужевъ-Рюминъ совершенно оставляетъ безъ вниманія. Онъ приступаетъ къ разбору журнальной критической статьи, какъ къ оцѣнкѣ спеціальнаго историческаго изслѣдованія. Онъ сражается не съ идеей, а съ отдѣльными фактами, и, сказать правду, сражается крайне неудачно. «Точно ли,—спрашиваетъ онъ,—Риму нужно было ждать варваровъ, чтобы погибнуть? Что же, Марій съ своими когортами, Сулла съ проскрипціями, триумвиры съ своими знаменитыми пожертвованіями были лучше варваровъ?... Не измѣнилось ли подѣ влияніемъ всѣхъ этихъ событій римское общество, не перемѣнился ли самый составъ его, не перемѣнились ли элементы?» Ну, что же изъ этого слѣдуетъ?—Общество измѣняется, элементы перемѣшиваются, а классическая цивилизація все-таки живетъ, и люди все-таки не превращаются въ дикарей, несмотря ни на когорты Марія, ни на проскрипціи Суллы, ни на пожертвованія триумвировъ. Но приходятъ варвары, рѣжутъ цѣлыя населенія, сжигаютъ города,—и цивилизація тонетъ въ крови, задыхается подѣ пепломъ и мусоромъ. Вы сами, г. Бестужевъ-Рюминъ, возражая Чернышевскому, говорите то, что сказалъ онъ въ своей статьѣ. Послѣ Марія, Суллы и триумвировъ классическій міръ дышалъ цѣлыя пять столѣтій, сопротивлялся даже вѣшнему напору германцевъ. А если бы не было этого вѣшняго напора, мы не знаемъ, какъ бы повернулось дѣло. Протестъ противъ военнаго деспотизма, противъ угнетенія рабовъ, противъ господствовавшаго разврата слышался съ разныхъ сторонъ; протестовали философы, поэты, историки; протестовали жизнью и смертью христіанскіе мученики, египетскіе террапевты и чисто эллинскіе новолатоники. Въ законодательствѣ и въ судебной практикѣ замѣчаются около времени Антоніиновъ нѣкоторыя смягченія, участь рабовъ облегчается, увольненіе раба становится легче и прочіе. Очень правдоподобно, что древній міръ извернулся бы своими средствами, если бы его не скрутили вѣшнія обстоятельства. Мало того, иначе даже и не могло бы случиться. Мыслимо ли, чтобы какой-нибудь народъ умеръ естественной смертью, если его не тѣснятъ снаружи? А вѣдь древній міръ представлялъ собою, какъ выражается Бестужевъ-Рюминъ, «конгломератъ народовъ». Каково бы ни было истощеніе его духовныхъ силъ, а умереть онъ не могъ. Переворотъ былъ неизбѣженъ, но самый этотъ переворотъ и предупредилъ бы гибель; какъ только зло или, проще, неудобство общественнаго устройства становится невыносимымъ для большинства гражданъ, такъ это устройство и сваливается, какъ засохшій струнъ,

какъ бесполезная чешуя. Такъ, безъ сомнѣнія, случилось бы и съ Римомъ. Но Бестужевъ-Рюминъ, какъ идеалистъ, не можетъ помириться съ трезвымъ воззрѣніемъ Чернышевскаго. «Жаль,—говоритъ онъ,—что вы не взглянули на римскую имперію еще съ другой, весьма поучительной точки зрѣнія. Въ Римѣ матеріальная цивилизація была доведена до послѣднихъ предѣловъ; житейскій комфортъ, роскошь, все это развивалось до размѣровъ громадныхъ. Кажется, чего бы лучше; человечество должно бы благоденствовать. Мало того: равенство было совершенное; правда, существовали рабы, но и съ ними, какъ непобѣдимо доказываетъ Дюбуа, обходились человеколюбиво... Чего же недоставало Риму? Тѣхъ учреждений, которыми онъ нѣкогда былъ силенъ, и тѣхъ дѣятелей, тѣхъ воззрѣній, которые немислимы въ душной атмосферѣ цезарскаго Рима. Вотъ чего ему недоставало; недоставало сознанія, что «не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ», недоставало даже возможности и силы всецѣло принять въ себя это сознаніе».

Это мѣсто характеристично, какъ по своей фразистости, такъ и по полному незнаюю предмета, которое обнаруживаетъ въ немъ Бестужевъ-Рюминъ. Развратъ, чувственность, преобладаніе матеріи надѣ духомъ—вотъ тѣ свойства, которыя съ плеча приписываютъ древнему міру люди, знающіе его кое-какъ, изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. «Древній Римъ утопалъ въ роскоши и въ развратѣ; древнія доблести его померкли»—скажетъ вамъ любой гимназистъ по Кайданову и Смарагдову; то-же самое говорить намъ и серьезный критикъ. «Риму недоставало сознанія, что не о хлѣбѣ единомъ будетъ живъ человѣкъ», т. е. недоставало аскетизма. Странно! Справьтесь съ любой исторіей древней философіи (возьмите, напримѣръ, 4-й томъ Генриха Риттера), и вы увидите, что во времена императоровъ философы всѣхъ школъ (кромѣ эпикурейцевъ) сошлись между собою въ аскетическихъ и мистическихъ стремленіяхъ. Но что-же могли сдѣлать аскетизмъ? Высосать тѣ живыя силы, которыя могли составить энергичную оппозицію. Такъ онъ и сдѣлалъ. Чистые аскеты, новолатоники и новопифагорейцы удалились въ міръ призраковъ и галлюцинацій, изморили себя постною пищей и пустыми обрядами и, стремясь стать выше земного, сдѣлались неспособны ни къ чему земному. У нихъ были живыя идеи, но эти идеи были завалены хламомъ самоистязанія и фантазерства,—тѣмъ сознаніемъ, надѣ которымъ умиляется Бестужевъ-Рюминъ. Чего другого, а аскетизма и суевѣрія было въ Римѣ довольно. Изумительно также то прворство, съ которымъ Бестужевъ-Рюминъ отдѣляется отъ рабства, составляющаго самую большую сторону древней цивилизаціи. Шутка-ли это надѣ Чернышевскимъ, или дѣйствительное мнѣніе Бесту-

жева-Рюмина—все равно. Въ нашемъ молодомъ обществѣ шутить вещами, подобными рабству,—неумѣстно; обходить такіе вопросы въ серьезной статьѣ серьезнаго журнала или относиться къ нимъ слегка—просто непозволительно. Это значитъ играть словами, маскируя отъ читателей ихъ истинный смыслъ. «Нѣтъ, г. Чернышевскій, мало одной матеріальной цивилизаціи, мало накормить,—продолжаетъ нашъ критикъ:—надо еще способствовать его развитію; а этого Римъ не могъ сдѣлать». Я узнаю въ этихъ словахъ духъ того журнала, въ которомъ былъ помѣщенъ проектъ Щербины «о читальникѣ». Учить народъ, пускать въ продажу правительственнымъ путемъ книги для чтенія—все это дѣло извѣстное. А не лучше-ли бы было «накормить народъ», не заваливая его непосильною работой. Досугъ и матеріальное довольство продолжаютъ цивилизацію; упрочьте экономическій бытъ, обезпечьте матеріальную сторону, и народъ скорѣе, чѣмъ вы думаете, примется читать и даже писать книги. А на голодный желудокъ какъ-то плохо дѣйствуетъ книжное ученіе. «Отечественныя Записки» говорятъ: «помогайте народу развиваться», а мы говоримъ: «не мѣшайте народу, удалите препятствія, онъ самъ разовьется». Кто изъ насъ правъ?

Далѣе Вестужевъ-Рюминъ винитъ статью Чернышевскаго въ томъ, что ея послѣднее слово—«преобладаніе матеріальныхъ интересовъ надъ всѣми другими условіями существованія общества, т. е. именно то, что такъ долго старались втолковать намъ, и, кажется, не безъ успѣха, но отъ чего пора намъ излѣчиваться: общества чисто матеріальныя создаютъ «движимый кредитъ», книгу Дюбуа и цезаризмъ». Что значать слова «что такъ долго старались втолковать намъ»? Кто-же это втолковалъ намъ доктрину матеріализма? Да и возможна-ли пропаганда матеріализма въ такомъ обществѣ, гдѣ до нашихъ временъ, до нынѣшняго года, существовало крѣпостное право? Вѣдь только идеалистическое воззрѣніе, говорящее, что высокая степень духовнаго развитія даетъ право одному человѣку брать опеку надъ другимъ, только такое воззрѣніе, говорю я, можетъ оправдывать порабощеніе личности. Да и кромѣ того, пора взять въ толкъ, что неудовлетвореніе какой бы то ни было матеріальной потребности кладетъ непреодолимое препятствіе дальнѣйшему развитію, физическому, духовному, нравственному, интеллектуальному—какому угодно, назовите, какъ хотите. Когда человѣкъ голоденъ—прежде всего накормите его; когда у человѣка спина болитъ отъ побоевъ—позаботьтесь прежде всего о томъ, чтобы вылѣчить его и обезпечить его отъ подобныхъ пассажей на будущее время; когда человѣкъ изнуренъ непосильною работой—дайте ему отдохнуть. Прежде всего надо устранить физическое страданіе личности, а потомъ учить ее и развивать или, даже лучше всего, предоставить

это дѣло на благоусмотрѣніе каждаго отдѣльнаго лица, давая средства желающимъ и снимая путы со связанныхъ. Аргументъ, приводимый критикомъ: «общества чисто матеріальныя создаютъ движимый кредитъ» и т. д.—звонкая фраза. Вообразите себѣ, что даровитый молодой человѣкъ въ теченіе 20-ти лѣтъ жизни испытываетъ разныя псевдачи, утраты и разочарованія; въ 40 лѣтъ онъ—старикъ по взгляду на жизнь; онъ—полнѣйшій матеріалистъ, скептикъ въ отношеніи къ людямъ, эгоистъ въ общепринятомъ, узкомъ смыслѣ этого слова, человѣкъ сухой, холодный, брезгливый и тяжелый. Правильно-ли вы поступите, если свалите на счетъ его матеріалистическихъ убѣжденій причину всѣхъ его недостатковъ? Эти недостатки пришли къ нему вмѣстѣ съ матеріалистическими убѣжденіями, но не вслѣдствіе этихъ убѣжденій; этого человѣка окислила жизнь; эта же жизнь дала ему трезвость взгляда, въ которой надо видѣть искупляющую сторону, возмездіе за понесенныя страданія и испытанныя нравственныя поврежденія. Путей, ведущихъ къ матеріалистическимъ убѣжденіямъ, очень много; одни легче, другіе тяжеле, одинъ дойдетъ до нихъ простымъ, теоретическимъ размышленіемъ, не состарѣвшись душой или, точнѣе, чувствами, другой доберется до нихъ жизнью и кушитъ ихъ дорогой цѣной молодости и свѣжести; винить въ этомъ онъ все-таки долженъ не воспринятія убѣжденія, а обстоятельства своей собственной жизни.

Что примѣняется къ отдѣльному человѣку, то можно примѣнить и къ обществу. Современное французское общество испорчено политическими событіями послѣдняго пятидесятилѣтія; лучшіе французскіе писатели сознаются въ томъ, что рядъ неудачныхъ революцій породилъ поколѣніе людей, смотрящихъ на государственные перевороты, какъ на азартную игру, и ставящихъ на карту послѣднюю копѣйку, въ надеждѣ пробить себѣ дорогу къ почестямъ, удовлетворяющимъ требованіямъ мелкаго самолюбія. Играя такимъ образомъ великими словами и интересами, эти господа дошли до политическаго скептицизма, до меркантильности и вмѣстѣ съ тѣмъ добрались, путемъ чистаго опыта, до матеріалистическихъ убѣжденій. Матеріалистъ можетъ быть брюнетомъ и блондиномъ, честнымъ и безчестнымъ, горячимъ и холоднымъ,—неужели же всѣ эти свойства выработались изъ его умственныхъ убѣжденій? Повторяю, аргументъ Вестужева-Рюмина—просто звонкая фраза. Вся критическая статья его несовременна ни по своему направленію, ни по своей фактической сторонѣ. Изложеніе ея неясно, доказательства неубѣдительно и разбросаны. Полемиическая тенденція бросается въ глаза читателю и не гармонируетъ съ тономъ серьезнаго безпристрастія, который авторъ напрасно усиливается принять и выдерживать до конца.

## XVI.

Если вы, гг. читатели, желаете посмотреть, какъ Дудышкинъ умѣетъ быть игривымъ и остроумнымъ, то приглашаю васъ пробѣжать «Обзоръ русской литературы» въ августовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» отъ стр. 140—146. Тутъ Чернышевскій сравненъ съ траппистомъ, съ аскетомъ; при чемъ Дудышкинъ сознается, что самъ не знаетъ, почему это ему такъ кажется; тутъ приведены два куплета изъ лермонтовскаго «Пророка»; тутъ Дудышкинъ удивляется Чернышевскому, «какъ рѣдкости, какъ антику»; всего не перечтешь. Чтобы передать весь комизмъ этой чисто полемической части, нужно было бы переписать цѣлыя шесть страницъ, но я полагаю, что игра не стоитъ свѣчъ, и спѣшу перейти къ тѣмъ отдѣламъ статьи, въ которыхъ Дудышкинъ излагаетъ мысли, а не играетъ словами. Натѣшившись фдкими выходками противъ Чернышевскаго, Дудышкинъ начинаетъ съ того, что отстаиваетъ свой журналъ противъ упрека въ отсутствіи направленія и единства; этотъ упрекъ Дудышкинъ обращаетъ въ похвалу. «А вы нашли дурнымъ,—говоритъ онъ,—что въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣсколько частныхъ редакторовъ, завѣдывающихъ отдѣлами! Вѣда не въ томъ, что нѣсколько редакторовъ, а въ томъ, что ихъ не больше. Чѣмъ больше въ журналѣ специалистовъ, тѣмъ онъ меньше живетъ общими мѣстами, непригодными для жизни; тогда только возможны не теоретическія, вычитанныя изъ иностранныхъ книжекъ, сужденія о предметахъ русскаго міра, а болѣе практическія, примѣнимыя къ дѣлу».

Дудышкинъ прикидывается, будто вовсе не понимаетъ того, о чемъ говоритъ Чернышевскій. Я говорю: «прикидывается», потому что рѣшительно не могу себѣ представить, чтобы журналистъ, занимающійся своимъ дѣломъ больше десяти лѣтъ, не зналъ азбучныхъ правилъ этого дѣла. Ему говорятъ о томъ, что редакторы и сотрудники его ходятъ какъ впотьмахъ, сталкиваются мнѣніями, противорѣчатъ другъ другу и этимъ затемняютъ всѣ представляющіеся вопросы, а онъ отвѣчаетъ на это: «Нѣтъ, вы не говорите, что насъ слишкомъ много. Кабы больше было, было бы лучше». Да Богъ съ вами, господа! Будь васъ хоть сто человекъ—публикѣ это все равно, лишь бы вы говорили толкомъ, такъ, чтобы можно было понять, чего вы хотите, съ чѣмъ спорите, съ чѣмъ соглашаетесь. Специалисты по разнымъ отдѣламъ могутъ, сколько мнѣ кажется, сходиться въ области общечеловѣческихъ убѣжденій точно такъ же, какъ и въ этой же области могутъ сходиться между собою люди различныхъ темпераментовъ. Если же принимать слова Дудышкина за чистую монету, то надо предположить, что онъ не подозреваетъ существованія этой области общечеловѣческихъ убѣ-

жденій и что онъ, кромѣ того, не имѣетъ никакого понятія о томъ, что идея, которую проводить журналъ, составляетъ его единственное право на существованіе, его разумное оправданіе и объясненіе передъ лицомъ читающей публики. Изъ продолженія статьи оказывается впрочемъ, что этотъ отвѣтъ Чернышевскому былъ сдѣланъ только для того, чтобы представить его нападеніе смѣшнымъ. Эти тенденціи я замѣтилъ уже у Альбертини и Вестужева-Рюмина. Онѣ существуютъ и у Дудышкина и выражаются чаще и страстнѣе. Продолженіе его статьи говоритъ намъ, какъ онъ понимаетъ направленіе «Отечественныхъ Записокъ». Эта исповѣдь «Отечественныхъ Записокъ» въ лицѣ ихъ втораго редактора въ высшей степени замѣчательна. Дудышкинъ доказываетъ, что «Отечественныя Записки» постоянно поддерживали слѣдующія воззрѣнія:

1) Въ области экономическихъ наукъ—онѣ, пользуясь сотрудничествомъ Бунге, Бабста и другихъ людей, раздѣляющихъ ихъ убѣжденія, хвалили Керн, Милли, Васта, были постоянно на сторонѣ практичности и постоянно боролись съ утопистами и съ экономическими статьями Чернышевскаго.

2) Въ области политической—онѣ во всѣхъ *отдѣлахъ* хвалили Кавура, Маколея, Токвиля, Гизо, какъ людей теоріи, близкой къ дѣлу, какъ людей, высоко цѣнившихъ и высоко поставившихъ законъ исторической постепенности.

3) Литературу и поэзію онѣ считали тѣсно связанной съ народной жизнью и ея лучшими духовными проявленіями, высшимъ проявленіемъ всего великаго и прекраснаго въ человѣкѣ.

Итакъ, практичность въ дѣлахъ житейскихъ и уваженіе къ чистому искусству—вотъ девизъ «Отечественныхъ Записокъ». Такое благообразное слово, какъ *практичность*, способно подкупить въ свою пользу многихъ читателей, но, какъ это часто бываетъ, названіе и предметъ оказываются двумя различными вещами. Всегда ли практичность есть хорошее качество? Практичностью называется способность примѣняться къ существующему порядку вещей, мириться съ нимъ, извлекать изъ него пользу. Если существующій порядокъ хорошъ, т. е. удобенъ для всѣхъ, тогда практичность—великое достоинство. Если же онъ дуренъ, тогда практичность достается на долю людей дюжинныхъ, робкихъ, ограниченныхъ, дряблыхъ или плутоватыхъ; эти люди или молча покоряются «обстоятельствамъ», «судьбѣ», или ловятъ рыбу въ мутной водѣ. Люди замѣчательные въ такія эпохи бываютъ или восторженными мечтателями, или суровыми отрицателями, или презрительными скептиками. Утопія, ювеналовская сатира и демоническій смѣхъ слышатся съ высотой умственного міра; между тѣмъ золотая посредственность, люди, мелко плавающие, съ удивленіемъ и съ непріязненнымъ чувствомъ прислушиваются къ этимъ рѣзкимъ зву-

камь. «Что за странный народъ эти мыслители и поэты!—говорять они. Чего имъ хочется! Намъ хорошо, покойно. Жили бы они себѣ, какъ мы живемъ». Воля ваша, эти люди практичнѣе тѣхъ чудаковъ, которые попусту насаживаютъ, толкуя о возможности лучшаго, ругая безобразія существующихъ понятій и отношеній, или смѣясь надъ тѣми системками и идеяками, которыми тѣшатся современники. Быть практичнымъ—значить соглашаться съ мнѣніемъ большинства или силы. Чиновникъ, берущій взятки тамъ, гдѣ всѣ берутъ, практиченъ; практиченъ тотъ, кто не умнѣе и не глупѣе большинства; все, что стоитъ выше уровня массы, непрактично; оттого-то всѣхъ великихъ людей цѣнятъ обыкновенно послѣ ихъ смерти; оттого-то гениальная личность при жизни встрѣчаетъ столько страданий, столько насмѣшекъ, столько грубаго непониманія. «Вы находите,—говорить Дудышкинъ Чернышевскому,—политическія убѣжденія такихъ людей, какъ Кавуръ, мизерными—мы ихъ находимъ практичными». Этими словами, г. Дудышкинъ, вы охарактеризовали превосходно себя, свой журналъ, своихъ сотрудниковъ, все свое направленіе. Вы хвалите то, что вамъ по плечу,—а по плечу вамъ то, что кажется мизернымъ утопистамъ, т. е. людямъ, смотрящимъ дальше, чувствующимъ глубже и говорящимъ смѣлѣе. Если бы вы жили во времена Галилея, вы были бы въ числѣ его судей; въ наше время вы ограничитесь тѣмъ, что назовете Сень-Симона сумасшедшимъ, а Оуэна—старымъ идиотомъ. Такъ что ли?—А вѣдь я вамъ укажу на противорѣчіе, г. Дудышкинъ. Если ваме уваженіе къ чистому искусству—не фраза, если вы дѣйствительно способны чувствовать прекрасное, то вы, какъ художникъ, должны восхищаться утопіями, величественными построениями человѣческаго ума, сбросившаго всякія оковы и идущаго впередъ съ неудержимой силой, съ неотразимой послѣдовательностью. Какъ художникъ, вы, при оцѣнкѣ ихъ, должны быть способны стать выше мизернаго взгляда сухой практичности; если же вы хоть на минуту посмотрите на нихъ, какъ на созданія сильнаго ума, а не какъ на бредъ сумасшедшаго, если вы только дадите себѣ трудъ взглянуть на нихъ серьезно, то вы, какъ критикъ, должны будете сознаться, что во всѣхъ его утопіяхъ есть одна хорошая сторона: отрицаніе существующихъ нехлѣбностей и желаніе стать выше ихъ. Вы цитируете, какъ практическихъ мыслителей, Бокля и Милля. Да вѣдь Бокль и Милль—англичане. Поймите это, г. Дудышкинъ.

Говоря объ отношеніяхъ «Отечественныхъ Записокъ» къ эстетическимъ интересамъ, Дудышкинъ самодовольно противопоставляетъ свободное искусство искусству, порабощенному интересомъ общественнаго и экономическаго быта. Я раздѣляю съ Дудышкинымъ его отвращеніе къ дактилизму, къ поучительнымъ повѣстямъ и къ

комедіямъ съ добродѣтельной цѣлью. Но позволю себѣ замѣтить, что бывають такія дѣловыя эпохи, когда всѣ мыслящіе и чувствующіе люди, а слѣдовательно и художники, поневолѣ заняты насущными нуждами общества, нетерпящими отлагательства и грозно, настоятельно требующими удовлетворенія. Въ такія эпохи вся сумма умственныхъ силъ страны бросается въ омутъ дѣйствительной жизни. Тогда историкъ поневолѣ дѣлается страстнымъ адвокатомъ или безпощаднымъ судьей прошедшаго; поневолѣ поэтъ дѣлается въ своихъ произведеніяхъ поборникомъ той идеи, за которую онъ стоитъ въ своей практической дѣятельности. Безпристрастіе, эническое спокойствіе въ подобныя эпохи доступны только людямъ холоднымъ или мало развитымъ,—людямъ, которые или не понимаютъ, или не хотять понять, въ чемъ дѣло, о чемъ хлопочуть, отчего страдаютъ, къ чему стремятся ихъ современники. Читая Фета или Полонскаго, я буду отдавать справедливость благоухающей граціи ихъ картинъ и мотивовъ, но рѣшительно откажу и тому, и другому въ обширности горизонта, въ глубинѣ кипучаго чувства, въ смѣлости и зоркости взгляда. Замѣчательный поэтъ откликнется на интересы вѣка не по долгу гражданина, а по невольному влеченію, по естественной отзывчивости. Стоитъ стать на эту точку зрѣнія, чтобы увидать, что всѣ споры о назначеніи искусства—просто переливаніе изъ пустого въ порожнее. На повѣрку-то и выйдетъ, что девизъ «Отечественныхъ Записокъ»: «практичность и служеніе чистому искусству»—сводится на возгласъ: «Vivat aurea mediocritas!» (да здравствуетъ золотая посредственность!), потому что только золотая посредственность способна наслаждаться идеями, не выходящими изъ уровня мѣщанской практичности, только она способна въ дѣлѣ искусства руководствоваться предвзятой теоріей, а не живымъ непосредственнымъ чувствомъ; исповѣдь «Отечественныхъ Записокъ» подтверждаетъ то, что я сказалъ въ ихъ общей характеристикѣ. Ненависть къ свистунамъ, отстаиваніе серьезной науки, т. е. неумѣніе возвыситься отъ факта до идеи, безцвѣтность литературной критики, отсутствіе ясныхъ житейскихъ убѣжденій при вывѣскѣ практичности, все объясняется однимъ словомъ: «золотая посредственность» или, что то же, бесплодное трудолюбіе и безцѣльная кропотливость.

## XVII.

Не довольно ли, читатель? Не пора ли кончить?—Скажу еще нѣсколько словъ. Въ дѣлѣ Юркевича «Отечественныя Записки», конечно, стоять на его сторонѣ, во-первыхъ потому, что онъ противъ Чернышевскаго; во-вторыхъ потому, что онъ за рутину; въ-третьихъ потому, что его доводы чрезвычайно туманны, какъ

вообще доводы идеализмъ, старающихся поддерживать свои построения путемъ діалектики. Спорить съ Юркевичемъ уже потому было бы смѣшно, что за этимъ споромъ не стала бы слѣдить публика. Если ужъ кому-нибудь придетъ желаніе поспорить съ нимъ, то гораздо лучше сдѣлать это путемъ частнаго письма, вмѣсто того, чтобы заваливать журналъ неудобоваримыми статьями. «Отечественныя Записки» гостепрѣмно предлагаютъ Чернышевскому свой журналъ для веденія полемики съ Юркевичемъ. Въ этомъ предложеніи онъ остаются строго вѣрны себѣ. Онъ любятъ тѣ статьи, которыя ошеломляютъ публику сухостью предмета, туманностью изложенія и баснословнымъ количествомъ мудреныхъ терминовъ. Признавая себя круглымъ невѣждой въ дѣлѣ философіи, Дудышкинъ обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ общую черту людей темныхъ—охоту послушать то, чего не понимаешь. Но что касается до Чернышевскаго, то мы надѣемся, что для увеселенія Дудышкина онъ не приметъ радушнаго приглашенія «Отечественныхъ Записокъ» и не возобновитъ съ ними тѣхъ сношеній, которыя, какъ язвительно замѣчаетъ Дудышкинъ, были прерваны по поводу его знаменитой диссертациі.

Въ заключеніе моей статьи мнѣ остается только довести до свѣдѣнія публики неблагообразный поступокъ Дудышкина, касающійся уже лично меня. Въ июльской книжкѣ «Русскаго Слова» я помѣстилъ статью объ одной книгѣ Молешота; статья эта, какъ и слѣдовало ожидать, не понравилась Дудышкину, какъ почитателю Юркевича. Желая побить Чернышевскаго его же оружіемъ, Дудышкинъ воспользовался моей статьёй, чтобы показать, до какихъ нелѣпыхъ заключеній доводитъ гибельное лжемудріе. «Школа, къ которой принадлежитъ Чернышевскій,—пишетъ ученый критикъ,—говоритъ намъ: ни нравственныхъ, ни общественныхъ причинъ въ развитіи общества не существуетъ, существуютъ однѣ матеріальныя причины». Затѣмъ слѣдуетъ выписка изъ моей статьи, выписка изумительно нелѣпая по своему содержанію; вотъ она: «Вѣдная Ирландія никогда не выйдетъ изъ того несчастнаго положенія, въ которомъ находится, пока будетъ ѣсть картофель и не замѣнитъ его чече-

вицей или бобами; реформація, сильно развившаяся на сѣверѣ Германіи, обязана своими успѣхами введенію въ употребленіе чая; англійская революція обязана своимъ страстнымъ характеромъ кофею; повсемѣстное развитіе идей въ началѣ XVIII столѣтія происходитъ отъ введенія въ общее употребленіе чая и кофе». Прочитавъ эту выписку, я ужаснулся. Неужели я могъ написать такую чепуху? Неужели я нашелъ въ англійской революціи страстный характеръ и вывелъ его изъ кофе? Неужели я объяснилъ реформацію чаемъ? Во мнѣ шевельнулось сомнѣніе, я внимательно просмотрѣлъ всю мою статью и совершенно успокоился. Того мѣста, которое выписалъ Дудышкинъ, въ ней *положительно нѣтъ*. Говорится въ ней и объ Ирландіи, и о сѣверной Германіи, о чаѣ и кофе, но только въ разныхъ мѣстахъ и совсѣмъ не такъ, какъ выписываетъ Дудышкинъ. Вотъ, напримѣръ, объ Ирландіи:

«Можетъ ли,—восклицаетъ Молешотъ,—лѣнивая картофельная кровь придавать мускуламъ силу для работы и сообщить мозгу животворный толчокъ надежды? Вѣдная Ирландія! Твоя бѣдность родитъ бѣдность! Ты не можешь остаться побѣдительницей въ борьбѣ съ гордымъ соседомъ, которому обильныя стада сообщаютъ могущество и бодрость».

А вотъ что сказано о реформаціи и о чаѣ: «Генрихъ Кенигъ говоритъ, что кофе принадлежитъ католикамъ, а чай—протестантамъ. Дѣйствительно, тщательныя наблюденія показали, что кофе развиваетъ силу воображенія, а чай изощряетъ критическую способность ума; въ сѣверной Германіи преобладаетъ чай, въ южной—кофе. Движеніе идей, начавшееся въ XVIII столѣтіи, совпадаетъ съ введеніемъ въ Европу чая и кофе во всеобщее употребленіе». Эти слова составляютъ почти буквальный переводъ изъ Молешота. О страстномъ характерѣ англійской революціи, о распространеніи реформаціи посредствомъ чая—ни слова. Нелѣпости, сочиненныя Дудышкинымъ, по всѣмъ правамъ принадлежатъ ему самому. Не знаю, какъ оправдастъ или объяснитъ свой поступокъ Дудышкинъ; я считаю этотъ поступокъ безчестнымъ и печатно называю его *литературнымъ подлогомъ*.

# СТОЯЧАЯ ВОДА.

(Сочиненія А. Ѳ. Писемскаго. Томъ I. 1861 г.).

## I.

Говоря о сочиненіяхъ Писемскаго, я не буду рѣшать вопроса о степени таланта автора и о художественномъ достоинствѣ его произведеній; эти вопросы давно разсмотрѣны и рѣшены. Стоитъ раскрыть любую повѣсть или драму, любой романъ Писемскаго, чтобы силою непосредственнаго чувства убѣдиться въ томъ, что выведенныя въ нихъ личности—живые люди, выражающіе собою въ полной силѣ особенности той почвы, на которой они родились и выросли. Толковать на нѣсколькихъ страницахъ читателю то, что совершенно очевидно, значить понапрасну тратить время и трудъ; на этомъ основаніи и постараюсь въ моей статьѣ заняться дѣломъ болѣе интереснымъ и, какъ мнѣ кажется, болѣе полезнымъ. Въмѣсто того, чтобы говорить о Писемскомъ, я буду говорить о тѣхъ сторонахъ жизни, которыя представляютъ намъ нѣкоторыя изъ его произведеній.—Чтобы не растеряться во множествѣ разнообразныхъ явленій, я ограничусь одной повѣстью Писемскаго. Эта повѣсть—«Тюфякъ»—очень проста по завязкѣ и при этой простотѣ такъ глубоко и сильно схватываетъ матеріалы изъ живой дѣйствительности, что всѣ сѣрыя и грязныя стороны нашей жизни и нашего общества представляются разомъ воображенію читателя. Эти стороны жизни стоитъ разсматривать и изучать. Надъ ними задумываются и будутъ постоянно задумываться люди съ пытливымъ умомъ и съ теплымъ сердцемъ; ихъ не выкинешь изъ жизни и не заставишь самого себя забыть о ихъ существованіи. Гнетъ, несправедливость, незаконныя посяательства однихъ, бесполезныя страданія другихъ, апатическое равнодушіе третьихъ, гоненія, воздвигаемыя обществомъ противъ самобытности отдѣльныхъ личностей,—все это факты, которыхъ вы не опровергнете фразой и къ которымъ вы не останетесь равнодушны, несмотря ни на какое олимпійское спокойствіе. Эти факты заставили страдать нашихъ отцовъ и дѣдовъ; эти же факты тяготѣютъ

надъ нами и, вѣроятно, будутъ еще отравлять жизнь нашего потомства; всѣ мы терпимъ одну участь, но между тѣмъ наши отношенія къ тому, что заставляетъ насъ страдать, существенно измѣняются; каждое новое поколѣніе относится къ своимъ бѣдствіямъ и страданіямъ проще, смѣлѣе и практичнѣе, чѣмъ относилось предыдущее поколѣніе. Вѣроятно, ни одинъ образованный человекъ не будетъ теперь жаловаться на свою судьбу и не увидитъ наказанія свыше въ постигшей его неудачѣ; вѣроятно, ни одна порядочная дѣвушка не считаетъ своей обязанностью въ выборѣ мужа руководствоваться вкусомъ дражайшихъ родителей; наша личная свобода, конечно, стѣсняется общественнымъ мнѣніемъ или, вѣрнѣе, свѣтскимъ *qu'en dira-t-on*, но, по крайней мѣрѣ, мы уже потеряли вѣру въ непреложность этихъ свѣтскихъ законовъ и руководствуемся ими большей частью по силѣ привычки, потому что не достаетъ силъ и энергіи возстать въ жизни противъ того, что наша мысль признала стѣснительнымъ и недѣльнымъ. Всѣ мы—большіе прогрессисты въ области мысли; на словахъ мы доводимъ до геркулесовыхъ столбовъ уваженіе наше къ личности человека; въ жизни намъ представляется, конечно, другая картина; наши Уильберфорсы и Говарды часто являются поборниками произвольныхъ законовъ этикета, книжниками и фарисеями, или просто мандаринами и столоначальниками. Но этимъ иногда забавнымъ, а часто и очень печальнымъ противорѣчіемъ между прогрессивнымъ сужденіемъ и рутиннымъ поступкомъ смущаться не слѣдуетъ, и то хорошо, что думать начинаютъ по-человѣчески; вы не забудьте, что эти человѣческія мысли подхватываетъ на лету молодежь; эта молодежь не умѣетъ двоить свое существо, не умѣетъ хитрить сама съ собою и принимаетъ за чистую монету тѣ слова, которыя вы произносите въ минуту увлеченія и отъ которыхъ, можетъ быть, завтра отречетесь вашими поступками. За поколѣніемъ людей, много говорящихъ, выдвигается незамѣтно поколѣніе людей, дѣлающихъ дѣло.

*Pia desideria* мало по малу перестаютъ быть неудобными мечтами. Всякому поступку предшествуетъ размышленіе; отдѣльный человѣкъ размысливаетъ въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ или часовъ; общество находится въ раздумьи цѣлыми десятилѣтіями, и это время наружнаго бездѣйствія было бы несправедливо считать потеряннымъ. Умственная зрѣлость нашихъ отцовъ идетъ намъ на пользу, и хотя мы перерѣшаемъ по-своему большую часть рѣшенныхъ ими вопросовъ, но перерѣшаемъ-то мы ихъ именно потому, что ихъ рѣшенія оказались неудовлетворительными, избавляя насъ такимъ образомъ, отъ дорого стоящихъ заблужденій.

## II.

Много ли мы подвинулись впередъ съ того времени, какъ написать «Тюфякъ»? Съ тѣхъ поръ прошло одиннадцать лѣтъ, и много воды утекло. Открылись поѣзды по Московской желѣзной дорогѣ, открылось пароходство по Волгѣ, возникло множество акціонерныхъ компаній, появилось въ свѣтъ и упало множество журналовъ и газетъ, взяты Севастополь, заключенъ парижскій миръ, поднятъ крестьянскій вопросъ, родились воскресныя школы, появились въ университетѣ женщины, а между тѣмъ, читая повѣсть Писемскаго, поневолѣ скажешь: знакомыя все лица, да и до такой степени знакомы, что всѣхъ ихъ можно встрѣтить въ любой губернской залѣ дворянскаго собранія, гдѣ такъ безцвѣтно, безжизненно и вяло. Въ этихъ углахъ уходитъ много свѣжихъ силъ на безмысленныя попытки подладиться подъ тонъ окружающей среды; многие люди, слабые отъ природы, дѣлаются совершенной дрянью оттого, что не умѣютъ быть самими собою и ни въ чемъ не могутъ отдѣляться отъ общаго хора, поющаго съ чужого голоса. Этотъ хоръ слѣдуетъ модѣ въ образѣ мыслей, въ политическихъ убѣжденіяхъ, въ семейной жизни, начиная отъ устройства столовой и кончая воспитаніемъ дѣтей. Такимъ образомъ плывутъ по теченію два разряда людей. Одни проноживаются, откуда дуетъ вѣтеръ, и, соображаясь съ своими личными выгодами, представляютъ свои паруса и мѣняютъ убѣжденія. Другіе совершенно безкорыстно, какъ зеркало, отражаютъ въ себѣ то, что проходитъ мимо нихъ, только потому, что въ нихъ нѣтъ рѣшительно ничего своего. Ихъ дѣло сочувствовать, восторгаться или негодовать, аплодировать или шикать, либеральничать или подличать, смотря по тому, что дѣлается кругомъ. Кто-нибудь крикнетъ въ толпѣ, десять голосовъ подхватятъ, еще не зная хоршенько къ чему клонится дѣло; возгласъ, поддержанный десяткомъ безкорыстными клакерами, превращается уже въ крикъ и получаетъ уже авторитетъ и обязательную силу. *Chaque sot trouve un plus sot qui l'admire*; ко-

мокъ снѣга, сорвавшійся съ верхушки горы, катится внизъ и растетъ отъ прилипающихъ къ нему снѣжиннокъ; онъ превращается въ безобразную лавину и давитъ своимъ нелѣпымъ надеиѣмъ все, что попадаетъ на пути: дома, деревья, скотъ, люди, все поглощается и гибнетъ. Спросите у лавины: къ чему она это сдѣлала? Вы не получите отъ нея отвѣта и точно такъ-же не узнаете отъ толпы побудительной причины ея словъ и поступковъ, отъ которыхъ, можетъ быть, страдаетъ ваше доброе имя и душевное спокойствіе. Да, можно сказать рѣшительно, что лучше ошибаться по собственному убѣжденію, нежели повторять истину только потому, что ее твердитъ большинство. Кто ошибается, тотъ можетъ сознать свою ошибку, того можно убѣдить, въ томъ можно встрѣтить сопротивленіе или дѣйствительное сочувствіе. Но что же вы сдѣлаете съ человѣкомъ, у котораго нѣтъ личности, на котораго нельзя ни надѣяться, ни разсердиться, потому что причина его дѣйствій, словъ и движеній лежитъ въ окружающемъ мірѣ, а не въ немъ самомъ? Что вы сдѣлаете съ этими вѣчными дѣтьми, для которыхъ послѣднее произнесенное слово служить закономъ и для которыхъ противъ безсознательнаго крика большинства нѣтъ апелліи?—Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе, вотъ болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика: вотъ что часто мѣшаетъ развитію молодого ума, вотъ что заставляеть людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и бессознательныхъ поступковъ.

## III.

Семейная драма, составляющая сущность повѣсти Писемскаго «Тюфякъ», разыгрывается именно въ той душевной атмосферѣ, въ которой старыя и молодыя, мужчины и женщины съ утра до вечера играютъ въ гости, сплетничаютъ другъ на друга и занимаются картами, какъ существеннымъ, важнымъ дѣломъ. Три молодыя личности, не обиженные природою, измучиваются, вянутъ и погибаютъ въ этой атмосферѣ. Въ этихъ личностяхъ нѣтъ ничего особеннаго ни въ дурную, ни въ хорошую сторону; онѣ—не гени и не уроды; одаренныя достаточною долею ума и практическаго смысла, онѣ могли бы прожить себѣ въ свое удовольствіе, вырастить съ подюжины дѣтей и умереть спокойно, оставивъ по себѣ пріятное воспоминаніе въ сердцахъ признательнаго потомства, т. е. своихъ дѣтей и внучатъ. Выходить совсѣмъ не то, чего слѣдовало ожидать. Одинъ изъ трехъ—Павелъ Бешметевъ—спивается съ кругомъ и умираетъ въ молодыхъ лѣтахъ. Другая—жена Бешметева—проводитъ молодость въ грубыхъ семейныхъ сценахъ

и остается вдовой тогда, когда уже не знает, что дѣлать со своей свободой; третья—сестра Бешметева—посвящаетъ жизнь свою служенію обязанности, живетъ для своихъ дѣтей, терпитъ дурака-мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова, и медлено хилѣетъ, потому что съ одной обязанностью не проживешь жизни.

И это жизнь!.. Стоить-ли заботиться о своемъ пропитаніи, поддерживать свое здоровье, беречься простуды только для того, чтобы видѣть, какъ день смѣняется ночью, какъ чередуются времена года, какъ подрастаютъ одни люди и старѣются другіе? Если жизнь не даетъ ни живого наслажденія, ни занимательнаго труда, то зачѣмъ же жить? зачѣмъ пользоваться самосознаніемъ, когда самъ не находишь для него цѣли и наслажденія? Странно! Этотъ вопросъ представляется самъ собою, какъ только взглянешь на себя, какъ только отдашь себѣ отчетъ въ своемъ прошедшемъ, въ настоящемъ и въ предполагаемомъ будущемъ; между тѣмъ, изъ десяти знакомыхъ вамъ личностей врядъ ли одна будетъ въ состояніи отвѣчать на этотъ вопросъ удовлетворительно, врядъ ли одна сумеетъ представить причины и оправданія своего бытія; сказать проще, рѣдкій человекъ окажется довольнымъ своею судьбой, и между тѣмъ изъ этихъ недовольныхъ рѣдкій старается выйти изъ своего положенія и устроить свою жизнь такъ, какъ бы ему самому хотѣлось. Мы опутаны разными связями и отношеніями, мы стѣснены разными соображеніями, не имѣющими ничего общаго съ нашей свободною волей, но стѣснены не фактически, а нравственно; надъ нами въ большей части случаевъ тяготѣетъ не матеріальная сила, а *scrupule de conscience*, и мы такъ робки и слабы, что не можемъ сбросить съ себя даже этого ничтожнаго ограниченія. Безличность, безгласность, инерція,—куда ни поглядишь,—такъ и лѣзутъ въ глаза; эти свойства въ большей части случаевъ составляютъ основу нормальнаго положенія, начинающаго отъ чисто комическаго и кончающаго страшно трагическимъ. Возьмите съ одной стороны «Женитьбу» Гоголя, гдѣ безличность воплощена въ надворномъ совѣтникѣ Подколесинѣ, съ другой стороны «Тюфякъ» Писемскаго, гдѣ вы видите вынужденную безгласность со стороны Юліи Кураевой, которую отецъ насильно выдаетъ замужъ за Бешметева. Въ первомъ случаѣ вы отъ души смѣетесь, и если дадите себѣ трудъ взглянуть въ личность Подколесина, то просто назовете его колпакомъ, какъ не разъ величаетъ его услужливый пріятель Кочкаревъ. Во второмъ случаѣ вамъ будетъ не до смѣху; искреннее негодованіе и глубокое сочувствіе къ оскорбляемой личности заговорить въ вашей душѣ тогда, когда вы прочтете, напримѣръ, такого рода сцену:

«Юлія, проплакавъ цѣлый день послѣ помолвки, къ вечеру слегла въ постель, съ сильной головной болью. Отецъ ея, проѣздивъ цѣ-

лый день съ Бешметевымъ за разными покупками, приводитъ его въ спальню своей дочери, показывая видъ, что доставляетъ ей этимъ величайшее удовольствіе. Но этимъ еще не кончилось дѣло.

— А что, голова болитъ? спрашиваетъ онъ у дочери.

— Болитъ, папа.

— Хочешь я тебѣ лѣкарство скажу?

— Скажите.

— Поцѣлуй жениха. Сейчасъ пройдетъ. Не такъ ли, Павелъ Васильевичъ?

— Что это, папа? сказала Юлія.

Павелъ покраснѣлъ.

— Непременно пройдетъ. Ну-те-ка, Павелъ Васильевичъ, лѣчите невесту смѣлѣй.

Онъ взявъ Павла за руку и поднявъ со стула

— Поцѣлуй, Юлія; съ женихомъ-то и надобно цѣловаться.

Павелъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, да, кажется, и Юлія не слишкомъ было легко исполнить приказаніе папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцѣловала жениха, а потомъ сейчасъ же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платкомъ, но Павелъ ничего этого не видалъ».

Хороши всѣ актеры этой грязной сцены! Хорошъ отецъ, торгующій поцѣлуями своей дочери и распоряжающійся ея тѣломъ, какъ своею собственностью; хорошъ тюфякъ-женихъ, цѣлующій свою невесту по мановенію папеньки; да, коль говорить правду, хороша и та дѣвушка, которая не смѣетъ выйти изъ-подъ родительской власти, несмотря на то, что эта власть наталкиваетъ ее на такія гадости, отъ которыхъ возмущается ея физическая и нравственная природа. Невольное презрѣніе къ рабской безгласности продаваемой дѣвушки смѣняется въ вашей душѣ состраданіемъ и сочувствіемъ къ оскорбляемой личности только потому, что вы видите весь механизмъ домашняго гнета, тяготящаго надъ несчастной жертвой, вы слышите строгое приказаніе въ словахъ Владиміра Андрейча: «поцѣлуй, Юлія», вы понимаете, что послѣ ухода жениха можетъ начаться такая семейная сцена, которой грязныя подробности не будутъ даже прикрыты флеромъ внѣшняго приличія; Владиміръ Андрейчъ начнетъ дѣлать внушенія, потомъ браниться и кричать, потомъ никто не поручится намъ за то, что онъ не прибѣтеть или не высѣчетъ непочтительную дочь. Все это будетъ происходить въ тѣсномъ семейномъ кругу, безъ постороннихъ свидѣтелей; все это будетъ тщательно скрыто отъ ближайшихъ сосѣдей, насколько можно скрыть семейную тайну въ губернскомъ городѣ, гдѣ всѣ слуги знакомы между собою, и гдѣ всѣ господа имѣютъ обыкновеніе выспрашивать у своихъ лакеевъ подробности скандальной хроники; все это, повторю, совершится безъ официальной огласки, но побои останутся побоями и не сделаются пріятіемъ и сносимъ отъ того, что ихъ не станутъ считать посторонніе зрители. Юлія систематически развращена холопскимъ воспитаніемъ: она забита пріемами военной дисциплины,



примѣненными къ патриархальному быту русскаго семейства; она боится папеньки даже послѣ своего замужества; она въ отношеніи къ нему на всю жизнь остается дѣвчонкой, и потому от нея нельзя многого требовать. Чтобы бороться съ семейнымъ деспотизмомъ, неразборчивымъ въ средствахъ, надо обладать значительной силой характера. Сила характера развивается на свободѣ и гложетъ подъ вѣшнимъ гнетомъ. Юлія не виновата въ томъ, что она сдѣлалась дрянью подъ ферулой своего нѣжнаго родителя, но въ ту минуту, когда мы ее видимъ, она является уже вполне дрянью, — женщиной, отъ которой невозможно ожидать ни благороднаго порыва чувства, ни живого проблеска мысли. Это — губернская барышня въ полномъ смыслѣ этого слова. Умъ ей не занятъ никакими серьезными интересами и скользитъ по поверхности окружающихъ явленій, не глядя въ нихъ и не отдавая себѣ отчета въ собственныхъ своихъ впечатлѣніяхъ. Она наряжается, выѣзжаетъ, выслушиваетъ любезности, поддерживаетъ салонные разговоры, шепчется со своими подругами, читаетъ попадающіеся подъ руку романы, ѣздитъ съ визитами и возвращается домой, ложится спать и встаетъ, словомъ, живетъ со дня на день, ни разу не спросивъ себя о томъ, есть ли въ ея жизни какой-нибудь смыслъ, хорошо-ли ей живется на свѣтѣ и нельзя ли жить какъ-нибудь поумнѣе и разумнѣе. Она умѣетъ мечтать о будущемъ, о томъ, что «выйдетъ за какого-нибудь гвардейскаго офицера, который увезетъ ее въ Петербургъ, и она будетъ гулять съ нимъ по Невскому проспекту, блистать въ высшемъ свѣтѣ, будетъ представлена ко двору, сдѣлается статсъ-дамой».

Чего, чего нѣтъ въ этихъ мечтахъ! Гвардейскіе эполеты мужа, Невскій проспектъ, высшій свѣтъ и, наконецъ, дворъ, какъ конечная цѣль всѣхъ стремленій! Характеръ этихъ мечтаній находится въ строгой гармоніи съ характеромъ того образа жизни, который ведетъ Юлія въ родительскомъ домѣ. Всѣ наслажденія, о которыхъ она мечтаетъ, оказываются наслажденіями чисто вѣшними и, кромѣ того, совершенно условными и искусственными. Мечтая объ этихъ наслажденіяхъ, дѣвушка мечтаетъ не отъ своего лица, а отъ лица того кружка, въ которомъ она выросла. Почему пріятнѣе выйти замужъ за гвардейскаго офицера, чѣмъ за губернскаго чиновника? Почему пріятнѣе блистать въ высшемъ свѣтѣ, чѣмъ въ среднемъ кругу? Неужели эстетическое чувство удовлетворится созерцаніемъ красныхъ отворотовъ гвардейскаго мундира или брильянтовыхъ фермуаровъ, надѣтыхъ на дамахъ высшего свѣта? Неужели званіе гвардейскаго офицера или великосвѣтской дамы достается только людямъ, отличающимся замѣчательнымъ умомъ, нѣжностью чувства и высокимъ образованіемъ? Неужели всякій гвардейскій офи-

церъ способенъ быть хорошимъ мужемъ, а всякая великосвѣтская дама — пріятною собесѣдницей? Какъ ни была Юлія мало развита, а, мнѣ кажется, и у ней хватило бы здраваго смысла на то, чтобы найти подобные вопросы совершенно бессмысленными. Стало быть, что же ее привлекало? Что вызывало въ головѣ ея эти завѣтные мечты? Ясно, что она мечтаетъ именно такъ только потому, что точно такъ-же мечтаютъ ея подруги. Всѣ говорятъ, что блистать въ высшемъ свѣтѣ весело; какъ-же не повѣрить всѣмъ? Какъ не положиться на общій говоръ, когда нѣтъ ни собственнаго сужденія, ни ясныхъ собственныхъ желаній? Мечтая съ чужого голоса, Юлія точно такъ-же съ чужого голоса ведетъ свою дѣйствительную жизнь, вышедши замужъ за Вешметева. Она выѣзжаетъ и наряжается, и кромѣ этого ничего не дѣлаетъ. Да что-же ей дѣлать? Когда она жила въ родительскомъ домѣ, ей иногда приходилось отказаться отъ какого-нибудь предполагаемаго выѣзда собственно потому, что этотъ выѣздъ могъ нарушить финансовыя или дипломатическія соображенія главы семейства. Очень понятно, что въ подобныхъ случаяхъ Юлія мечтала о замужествѣ, какъ о вожделѣнной минутѣ освобожденія. Было бы странно, если бы она не воспользовалась этой минутой. Дѣйствительность разбила большую часть ея воздушныхъ замковъ. Петербургъ, гвардейскіе эполеты и высшій свѣтъ оказались миражемъ. Надо-же было хоть чѣмъ-нибудь вознаградить себя; надо было пожить въ свое удовольствіе хоть въ тѣхъ узенькихъ и бѣдененькихъ предѣлахъ, которые очертила вокругъ нея судьба. А какъ жить въ свое удовольствіе? Въдѣ это, воля ваша, вопросъ очень важный. Немногіе въ состояніи рѣшить его совершенно ясно и удовлетворительно для самихъ себя, а кто на это способенъ, тотъ почти навѣрное устроитъ себѣ жизнь по своему и не будетъ ни въ какомъ случаѣ несчастнымъ. Юлія не могла рѣшить этого вопроса удовлетворительно; ей недоставало для этого двухъ вещей: знанія жизни вообще и знанія своей собственной личности; она не знала, чего можно требовать отъ жизни, и не знала, чего требуетъ именно она. Въ подобномъ затруднительномъ положеніи надо было поневолѣ пойти торной дорогой, по которой раньше ея шли сотни губернскихъ барышень, сдѣлавшихся дамами по волѣ заботливыхъ родителей. Двинувшись впередъ по этому пути, Юлія не могла остановиться; пустая жизнь отнимаетъ силы даже подумать о серьезномъ дѣлѣ; если бы Юлія даже подозрѣвала существованіе и возможность какой-нибудь другой жизни, она не пожелала бы ее выбрать; если бы даже она пожелала этого, у ней не хватило бы энергіи на то, чтобы осуществить это желаніе; ни въ себѣ самой, ни вокругъ себя она не нашла бы поддержки, и только безсильное отрицаніе и инстинктивное недовольство своимъ на-

стоящим положеніемъ было бы результатомъ этихъ желаній. Впрочемъ, безсознательное недовольство, скука и пресыщеніе неминуемо вывали бы на долю Юліи, если бы ей никто не мѣшалъ идти по той дорогѣ, на которую навело ее вліяніе общества. Юлія навѣрно бы соскучилась отъ выѣздовъ и нарядовъ, если бы никто не мѣшалъ ей выѣзжать и ридиться. Но жизнь ея измѣнилась подъ вліяніемъ двухъ обстоятельствъ: разладъ съ мужемъ и зародившаяся въ ея душѣ любовь къ постороннему мужчине поневолю отвлекли ея вниманіе отъ выѣздовъ и нарядовъ; пришлось отстаивать свою свободу отъ пассивной оппозиціи тюфяка-Бешметева; пришлось ежеминутно жить съ образомъ любимаго человѣка, и внѣшнія удовольствія губернской свѣтской жизни потеряли половину своей практической важности и болшую часть своей прелести; дразги жизни воплотились въ личности докучливаго мужа, поэзія жизни, которой почти не подозрѣвала Юлія, сказала сама собой въ восторженномъ поклоненіи красивому, идеализованному образу Бахтіарова. Юлія въ первый разъ перестала быть куклой и почувствовала себя женщиной, существомъ любящимъ и требующимъ сочувствія. Дурно-ли, хорошо-ли она пристроила свое чувство—это уже совсѣмъ другой вопросъ. Главное дѣло въ томъ, что она любила: однимъ этимъ фактомъ она становилась неизмѣримо выше той Юліи, которая мечтала о гвардейскомъ офицерѣ и о Невскомъ проспектѣ. Любя красивую фигуру, она выражала свою личность, жила своей жизнью, своими глазами принимала и своимъ умомъ обуславывала впечатлѣнія. Она ошибалась, но ошибалась, какъ свойственно человѣку ошибаться; она, по крайней мѣрѣ, переставала быть обезьяной или глупымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ зажатой панироски единственно потому, что вокругъ него курятъ взрослые. Въ любви Юліи къ Бахтіарову есть недостатокъ разборчивости, есть неумѣнье глядываться въ людей и отличать сущальное золото отъ настоящаго, но этому чувству нельзя отказать въ нѣкоторой высотѣ нравственныхъ требованій. Юлія не умѣетъ распознать настоящаго Бахтіарова, но тотъ Бахтіаровъ, котораго она любитъ, т. е. воображаемое лицо, которое она ставитъ на мѣсто дѣйствительно существующаго, вовсе не дурной и даже не дюжинный человѣкъ. Какъ только Бахтіаровъ оказывается подлецомъ, такъ онъ погибаетъ въ глазахъ Юліи; женщина поумиѣе и поопытнѣе Юліи разобрала бы своего героя раньше—объ этомъ спору нѣтъ; но дѣло въ томъ, что умственная неразвитость Юліи, а не нравственная испорченность ея была причиной ея увлеченія. Она любила хорошую и красивую личность, и только не видѣла того, что эта личность не имѣетъ ничего общаго съ настоящимъ Бахтіаровымъ. Кто еще не жилъ, тотъ и не умѣетъ жить; кто никогда не мыслялъ и не наблюдалъ, тотъ не можетъ распо-

знавать характеры окружающихъ людей. Юлія не виновата въ своей ошибкѣ. Какъ жертва своего воспитанія и своего общества, она можетъ возбудить къ себѣ состраданіе; горести и радости ея внутренняго міра такъ мелки и ничтожны, что имъ мудрено сочувствовать; разсматривая ихъ, придется только пожалѣть о человѣческой личности, трагической нравственныя силы на пустыя и безсвязныя тревоги. Словомъ, Юлія—личность очень обыкновенная по врожденнымъ способностямъ, испорченная безобразной домашней дисциплиной и постепенно мельчающая подъ вліяніемъ нелѣпыхъ условий семейной и общественной жизни. Личность ея очень не изящна именно потому, что въ большей части случаевъ она сливается съ окружающимъ обществомъ, боится отъ него отшатнуться, по рукамъ и по ногамъ связана его предрасудками и раздѣляетъ почти всѣ его вкусы и наклонности. Она почти нигдѣ не составляетъ исключенія ни въ худшую, ни въ лучшую сторону. Любя Бахтіарова, она порой увлекается и дѣлаетъ неосторожный поступокъ; эти минуты увлеченія выражаютъ собою лучшія, живыя стороны ея характера; но, къ сожалѣнію, она увлекается дряннымъ человѣкомъ, и недостойная личность ея героя бросаетъ грязную тѣнь на чистоту ея порывовъ. Къ тому-же эти порывы слишкомъ слабы; она дѣлаетъ неосторожный шагъ и оглядывается по сторонамъ, прячется, боится и папеньки, и мужа. На ея мѣстѣ женщина, способная сильно любить, увлеклась бы за предѣлы всякаго приличія и надѣлала бы множество яркихъ глупостей. На ея мѣстѣ женщина съ твердымъ и честнымъ характеромъ не стала бы прятаться и гордо пошла бы навстрѣчу домашнимъ сценамъ и общественному стыду. Но Юлія не изъ тѣхъ; ей хочется служить и Богу, и мамону, и вслѣдствіе этого изъ нея выходитъ ни то, ни се, ни Богу свѣча, ни чорту кочерга, какъ выражается наше престонародье.

#### IV.

А что за человѣкъ—мужъ Юліи?—Учился онъ въ университетѣ и мечтаетъ о магистерскомъ экзаменѣ. Въ немъ есть сходство съ Обломовымъ, и самое существенное различіе между этими двумя личностями заключается въ различіи манеры Гончарова и Писемскаго. Гончаровъ шадитъ и любитъ своего героя, а Писемскій безжалостно продергиваетъ свое созданіе, гдѣ только можно, и продергиваетъ его безъ злобной раздражительности, спокойно, холодно и почти весело. При всей своей объективности Гончаровъ можетъ быть названъ лирикомъ въ сравненіи съ Писемскимъ. Гончаровъ сочувствуетъ отдѣльнымъ личностямъ своихъ произведеній и отдѣльнымъ поступкамъ своихъ героев; иное онъ осуждаетъ, иное объясняетъ и оправдываетъ; критику часто уравниваетъ въ немъ художника. Ничего подоб-

ного не встрѣтите вы у Писемскаго; его воззрѣній и отношеній къ идеалу вы нигдѣ не встрѣтите, они даже и не просвѣчиваютъ нигдѣ. Онъ никому не сочувствуетъ, никѣмъ и ничѣмъ не увлекается, ни отъ чего не приходитъ въ негодованіе, никого не осуждаетъ и не оправдываетъ. Грязь жизни остается грязью; сырой фактъ такъ и бьетъ въ глаза; берите его какъ онъ есть, осмысливайте, осуждайте, оправдывайте—это ваше дѣло; голосъ автора не поддержитъ васъ въ вашемъ критическомъ процессѣ и не заспоритъ съ вами.—Бешметевъ и Обломовъ похожи другъ на друга тѣмъ, что оба зависятъ отъ окружающей обстановки, несмотря на то, что стоятъ выше ея по умственному развитію. Отсутствие активной инициативы, отсутствие твердой оппозиціи, шаткость и слабость—вотъ основныя черты ихъ характера. Бешметевъ такъ-же слабъ, какъ Обломовъ, и при томъ нисколько не лѣнивъ; онъ былъ бы способенъ двигаться впередъ, если бы кто-нибудь велъ его за собою или толкалъ его сзади; общество, въ которое онъ попадаетъ, употребляетъ всѣ усилія, чтобы задержать и отодвинуть его назадъ; онъ страдаетъ отъ этого, но подается и опускается съ ужасающей быстротою. Неопытный въ житейскихъ дѣлахъ, онъ позволяетъ женить себя черезъ сваху и не понимаетъ того, что невѣста его терпѣть не можетъ, а что родители смотреть на него, какъ на владѣльца пятидесяти незаложенныхъ душъ. Не умѣя ни отразить нанадокъ крикливой родни своей, ни отмалчиваться отъ нихъ, онъ, по ихъ настоянію, отказывается отъ предполагаемой ученой карьеры, отлагаетъ попеченіе о магистерскомъ экзаменѣ и превращается въ столоначальника губернскаго присутственнаго мѣста. Мечты о взаимной любви смѣнились нелѣпной женитьбой; мечты о разумной дѣятельности уснули подъ вице-мундиромъ чиновника, не отказывающагося отъ безгрѣшныхъ доходовъ. Писемскій не говоритъ ничего о доходахъ, но надо думать, что было не безъ того, потому что у Бешметева уже не было денегъ тогда, когда онъ поступилъ на службу; надо было чѣмъ-нибудь жить, и мѣсто столоначальника досталось Бешметеву по рекомендаціи Владиміра Андреевича Кураева, котораго практическія воззрѣнія мы уже видѣли, говоря о воспитаніи и замужествѣ Юліи. Далѣе паденіе Бешметева идетъ еще скорѣе; когда человѣкъ сбился съ настоящей дороги, тогда всякое случайное обстоятельство путаетъ и портитъ его. Нѣтъ настоящей дѣятельности, нѣтъ желаннаго наслажденія—такъ что же дѣлать? Надо проживать жизнь, убивать время, забивать въ самомъ себѣ лучшія потребности своей природы, лучшіе результаты своего развитія; чтобы не страдать, надо опомливаться, тупѣть и черствѣть. Все это случилось бы съ Бешметевымъ; онъ отростилъ бы брюшко, сталъ бы мечтать о счастіи получить крестикъ и обь удовольствій составить вечеркомъ преферансикъ,

началъ бы нюхать табакъ, получилъ бы лысину и репутацію исполнительнаго чиновника и, наконецъ, умеръ бы, оставивъ своимъ дѣтямъ состояние, исправленное и дополненное. Все это произошло бы тогда, когда бы жизнь потекла спокойно, когда бы мечты не разбивались насильственно, а просто медленно разсѣялись бы, какъ утренній туманъ. Если бы Юлія Владиміровна Бешметева постепенно выказалась въ настоящемъ своемъ свѣтѣ, тогда ея осѣпленный мужъ помирился бы съ своимъ разочарованіемъ такъ-же тихо, какъ онъ помирился съ бюрократической дѣятельностью. Но толчокъ, полученный Бешметевымъ со стороны его семейной жизни, былъ такъ рѣзокъ и силенъ, что ему только и оставалось или вдругъ выпрыгнуть на прежнюю дорогу и утѣшить себя разумной дѣятельностью, или головой впередъ броситься въ омутъ грязи и гадости, запить и съ горя ухнуть остатокъ физическихъ и нравственныхъ силъ. Вообразите себѣ, что человѣкъ любитъ свою жену и надѣется, что она его осѣнитъ и полюбитъ въ свою очередь. Онъ работаетъ надъ ея нравственнымъ возвышеніемъ и не отчаивается отъ видимой неудачи своихъ первыхъ попытокъ; вдругъ онъ замѣчаетъ, что она не только любитъ другого, но даже вѣнается этому другому на шею и заодно съ этимъ другимъ дурачить его, любящаго мужа и усерднаго наставника. Чистая, непорочная, неопытная дѣвочка вдругъ превращается въ его глазахъ въ очень опытную, очень хитрую и совершенно непороченную женщину, которая проведетъ и выведетъ подлужины наставниковъ и надзирателей, подобныхъ ему, Бешметеву. Сдѣлавъ подобное открытіе, человѣкъ твердый и рѣшительный, вѣроятно, плюнулъ бы на все это, разорвалъ бы всякую связь съ своимъ прошедшимъ, понялъ бы то, что умный мужичина можетъ быть счастливъ собственными силами, и поступилъ бы сообразно съ этими размышленіями. Будь онъ въ положеніи Бешметева, такой человѣкъ вышелъ бы въ отставку, поѣхалъ бы въ Москву, занялся бы серьезно магистерскимъ экзаменомъ и въ освѣжающемъ трудѣ мысли нашелъ бы себѣ полное утѣшеніе, достойное развитого человѣка. Впрочемъ, надо сказать правду, несчастье, поразившее Бешметева, до такой степени важно, что и покрѣче его люди могутъ надъ нимъ позадуматься. Лаврецкій—не чета Бешметеву, а и Лаврецкій, узнавши объ измѣнѣ Варвары Павловны, считаетъ себя очень несчастнымъ человѣкомъ. Большая часть людей умѣютъ еще кое-какъ перенести холодность любимой женщины, но не переносить того, что они называютъ ея невѣрностью. Актъ невѣрности сваливаетъ любимое существо въ высокога и роскошнаго пьедестала въ грязную лужу; какъ ни широко эмансипаціонныя стремленія нашей эпохи, а до сихъ поръ большая часть развитыхъ мужчинъ нечувствительно для самихъ себя смотритъ на женщину, какъ на

движимую собственность или какъ на часть своего тѣла. Когда женщина, уступая силѣ чувства, начинаетъ располагать собою, какъ свободной и полноправной личностью, тогда вдругъ забываются всѣ широкія теоріи; тотъ мужчина, который по своему общественному положенію стоитъ къ этой женщинѣ въ отношеніяхъ друга и защитника, вдругъ выступаетъ на сцену судей и палачомъ; онъ призываетъ на нее громы общественного мнѣнія, онъ отступаетъ отъ нея съ добродѣтельнымъ отвращеніемъ, и общество, конечно, съ величайшей готовностью начинаетъ кидать грязью въ оставленную и обиженную личность. При болѣе грубыхъ правахъ, мужчина преслѣдуетъ женщину болѣе чувствительнымъ оружіемъ, начиная отъ грязныхъ намековъ и кончая побоями. Бешметевъ, при своемъ полномъ незнаніи жизни и при полномъ отсутствіи настоящаго, гуманнаго развитія, никогда не думалъ о правахъ женщины и объ отношеніяхъ ея къ мужчинѣ; онъ только мечталъ, лежа на диванѣ, о наслажденіяхъ взаимной любви; мечтавъ этимъ не пришлось осуществиться — и Бешметевъ просто озлился на жизнь и на женщину, не спрашивая у себя, правъ-ли онъ въ своемъ озлобленіи, и имѣютъ-ли какое-нибудь разумное оправданіе его мечты о любовномъ счастіи? Если посмотрѣть глазами самого Бешметева на непріятности его семейнаго быта, тогда можно оправдать всѣ глупости, къ которымъ его приводятъ житейскія испытанія; но если посмотрѣть на дѣло со стороны, то увидимъ, что всѣ несчастья эти составляютъ естественное и неизбежное слѣдствіе поведенія самого героя. Молодой человѣкъ женится на дѣвушкѣ почти насильно и почти зажмуривъ глаза; онъ видитъ, что она хороша собою, и правильныя линіи ея лица мѣшаютъ ему видѣть всю уродливость ихъ взаимныхъ отношеній; любилъ ли его будущая его жена, уважаетъ-ли его, сходятся-ли они между собою въ понятіяхъ и склонностяхъ, объ этомъ онъ забываетъ справиться; онъ женился и послѣ свадьбы начинаетъ требовать семейнаго счастья. Нелѣпыя требованія! Человѣкъ самъ положилъ руку на раскаленное желѣзо, и удивляется тому, что ему больно, и сердится на несчастную плиту, которая жжетъ его безъ всякаго злого умысла, вслѣдствіе вѣчныхъ законовъ природы. А между тѣмъ, будь вы на мѣстѣ этого человѣка, и вы положили бы руку на раскаленную плиту; вѣдь хватаются-же дѣти за горячія жаровни, потому что имъ нравится ихъ странный блескъ и яркій цвѣтъ. Дѣло вотъ въ чемъ: характеръ отдѣльнаго человѣка развивается подъ влияніемъ окружающей среды и обстоятельствъ жизни; въ человѣкѣ можетъ воспитаться преступникъ или эксцентрикъ гораздо прежде того времени, когда онъ будетъ въ состояніи дѣлать дѣйствительныя глупости и фактическія преступленія. Скажите-же, кто въ подобномъ случаѣ болѣе виноватъ: тотъ-ли матеріалъ, изъ

котораго выкраивается та или другая фигура, или та рука, которая ее выкраиваетъ? Рука эта болѣею частью дѣйствуетъ бессознательно; ее называютъ случаемъ, судьбою, силою обстоятельствъ, влияніемъ обстановки; послѣдніе два термина представляютъ нѣкоторый смыслъ, между тѣмъ какъ первые два отличаются крайней мистической неопредѣленностью. Сваливая вину на силу обстоятельствъ, на влияніе обстановки, мы снимаемъ отвѣтственность съ извѣстнаго лица, но тѣмъ прямѣе и строже относимся къ той идеѣ, которая лежитъ въ основѣ извѣстнаго общества, къ тѣмъ условіямъ быта, къ тѣмъ житейскимъ отношеніямъ, отъ которыхъ недѣлимому трудно отрѣшиться, и которыя съ самой колыбели тяготеютъ въ извѣстномъ направленіи надъ его мыслью и дѣятельностью. Вглядитесь въ личности, дѣйствующія въ повѣсти Писемскаго, — вы увидите, что, осуждая ихъ, вы собственно осуждаете ихъ общество; всѣ онѣ виноваты только въ томъ, что не настолько сильны, чтобы проложить свою оригинальную дорогу; онѣ идутъ туда, куда идутъ всѣ; имъ это тяжело, а между тѣмъ онѣ не могутъ и не умѣютъ протестовать противъ того, что заставляетъ ихъ страдать. Вамъ ихъ жалко, потому что онѣ страдаютъ, но страданія эти составляютъ естественныя слѣдствія ихъ собственныхъ глупостей; къ этимъ глупостямъ ихъ влечетъ то направленіе, которое сообщаетъ имъ общество. Соучествовать тому, что намъ кажется глупостью, мы не можемъ. Намъ остается только жалѣть о жертвахъ уродливаго порядка вещей и проклинать существующія уродливости. Тѣмъ и замѣчательна повѣсть Писемскаго, что она рисуетъ намъ не исключительныя личности, стоящія выше уровня массы, а дюжинныхъ людей, копошащихся въ грязи, замаранныхъ съ ногъ до головы, задыхающихся въ смрадной атмосферѣ и не умѣющихъ найти выхода на свѣтъ. Чтобы дѣйствительно оцѣнить всю грязь нашей вседневной жизни, надо посмотрѣть на то, какъ она дѣйствуетъ на слабыхъ людей; только тогда мы въ полной мѣрѣ поймемъ ея отравляющее влияніе; сильный человѣкъ легко выкарабкается изъ нея; но людей слабыхъ или неокрѣпшихъ она душистъ и жертвитъ. Читая «Дворянское Гнѣздо» Тургенева, мы забываемъ почву, выражающуюся въ личностяхъ Паншина, Марьи Дмитріевны и т. д., слѣдимъ за самостоятельнымъ развитіемъ честныхъ личностей Лизы и Лаврецаго; читая повѣсти Писемскаго, вы никогда, ни на минуту, не позабудете, гдѣ происходитъ дѣйствіе; почва постоянно будетъ напоминать о себѣ крѣпкимъ запахомъ, русскимъ духомъ, отъ котораго не знаютъ куда дѣваться дѣйствующія лица, отъ котораго порою и читателю становится тяжело на душѣ.

## V.

Трудно себѣ представить болѣе яркую и сжатую картину грязной жизни губернскаго города,

чѣмъ та, которую нарисовалъ Писемскій въ повѣсти «Тюфякъ». И это не карикатура, даже не сатира. Каждая отдѣльная фигура такъ твердо убѣждена въ полной правотѣ своихъ притязаній, въ полной законности своихъ дѣйствій, что она живетъ мимо воли автора, и что вамъ кажется, будто иначе она не можетъ жить. Это правда; иначе не можетъ она жить: машина заведена въ извѣстномъ направленіи и пойдетъ себѣ своимъ порядкомъ, пока не размотается пружина или не изотрутся колеса, или-же пока незамѣченное, но постепенно увеличивающееся внутреннее разстройство не остановитъ разомъ всего развихляющагося механизма. Семейный деспотизмъ развращаетъ младшихъ членовъ семействъ и готовитъ изъ нихъ будущихъ деспотовъ, которыхъ рука будетъ тяготѣть надъ будущими подчиненными личностями такъ-же тяжело, какъ тяготѣли надъ ними самими руки отцовъ и матерей. Та молодая дѣвушка, которая сегодня возбуждала ваше участіе, какъ несчастная жертва, задыхавшаяся отъ сдержанныхъ рыданій при помолвкѣ съ немилымъ человѣкомъ, черезъ нѣсколько недѣль явится передъ вами молодой барыней, держащей въ ежовыхъ рукавицахъ свою прислугу, терзающей мужа капризами и истериками и трагичной съ возмущительнымъ цинизмомъ его трудовыя копѣйки на украшеніе своей особы. Несчастный мужъ, котораго вы пожалѣете теперь, какъ мученика, явится скоро домашнимъ тираномъ и будетъ съ систематической жестокостью отравлять существованіе той самой женщины, на которую онъ въ былое время чуть-чуть не молился. Любящая мать, старающаяся устроить счастье своихъ дѣтей, часто связываетъ ихъ по рукамъ и ногамъ узкостью своихъ взглядовъ, близорукостью своихъ расчетовъ и непрощенной нѣжностью своихъ заботъ. Чувство ея сильно и искренно, но убѣжденія односторонни и ложны, и потому сумма ея вліянія вредна и губительна. Голосомъ этой любящей матери говоритъ почва, на которой она росла и прозябала, и молодой человѣкъ, слышавшій вдали отъ родительскаго дома что-то новое, рванувшійся душой къ этому новому, еще неизвѣстному, но уже привлекательному образу жизни и дѣятельности, рискуетъ остановиться въ нерѣшительности, растрогаться и расплакаться, раскаяться въ завыральныхъ идеяхъ, увидать свой долгъ въ сыновнемъ повинненіи и нечувствительно заглохнуть въ томъ омутѣ, изъ котораго онъ было старался выкарабкаться. Когда два направленія мысли вступили между собою въ борьбу на жизнь и на смерть, когда нейтралитетъ оказывается невозможенъ, тогда людямъ съ мягкими чувствами и съ нерѣшительнымъ умомъ приходится очень тяжело. Кто не способенъ сжечь за собою корабли и идти смѣло впередъ, шагая черезъ развалины своихъ прежнихъ симпатій, вѣрованій, воздушныхъ замковъ и идеаловъ и слыша за собою ругательства, упреки,

слезы и возгласы негодующаго изумленія со стороны близкихъ людей, тотъ хорошо сдѣлаетъ, если заглушитъ въ головѣ работу критическаго ума и даже простого здраваго смысла, если заблаговременно начнетъ отплеываться отъ лукаваго демона, сидящаго въ мозгу каждаго здороваго человѣка, смотрящаго на вещи собственными глазами. Кому жаль разставаться съ прошедшимъ, тому нечего и пытаться заглядывать въ лучшее, свѣтлое будущее. Идти, такъ идти, смѣло, безъ оглядки, безъ сожалѣнія, не унося за собою никакихъ пенатовъ и реликвій и не раздвигая своего нравственнаго существа жадно воспоминаніями и стремленіями. Этого никакъ не могутъ взять въ толкъ люди мягкіе и нѣжные; имъ все хочется или согласитъ между собою двѣ противоположности, или переубѣдитъ людей неисправимыхъ, состарѣвшихся въ своихъ понятіяхъ и косящихся на все незнакомое; соглашая противоположности и добиваясь отъ самихъ себя историческаго безпристрастія, эти господа дѣлаются сами совершенно нерѣшительными и безцвѣтными; переубѣждая застарѣлыхъ противниковъ, они нечувствительно мирятся съ ними и переходятъ на ихъ сторону, устраниваютъ свою жизнь по заведенному порядку и увеличиваютъ собой слой грязной почвы, подобно тому, какъ прошлогоднія растенія увеличиваютъ слой чернозема. Тѣ условія, при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и приятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попробуете на чемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшляется въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, пересуживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія. Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашей доброй волей, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будутъ досаждаютъ вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое слагается у насъ изъ очень неблаговидныхъ матеріаловъ, то васъ, право, скоро оставятъ въ покое; сначала потолкуютъ, подивятся или даже ужаснутся, но потомъ, видя, что вы на это не обращаете вниманія и что эксцентричности ваши идутъ себѣ своимъ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погибшаго человѣка и, такъ или иначе, оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое вниманіе... «Тюфякъ» даетъ намъ необходимые матеріалы для того, чтобы опредѣ-

лить характеръ нашего общественнаго мнѣнія. Въ губернскомъ городѣ суетятся и хлопочутъ столько же, сколько и въ столицѣ, съ той только разницей, что въ столицѣ большее количество людей собрано въ одномъ мѣстѣ, и потому, когда всѣ разомъ суетятся, то происходитъ гораздо больше шума, движенія, толкотни. Побудительныя причины, заставляющія столичныхъ жителей суетиться, гораздо разнообразнѣе именно потому, что жителей очень много, и что они. стоятъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы и умственнаго развитія. Въ провинціи аристократическое сословіе состоитъ изъ чиновниковъ и помѣщиковъ; литераторы, художники, ученые составляютъ большую рѣдкость; имъ нечего тамъ дѣлать, и они бывають въ провинціи не иначе, какъ на правахъ гостей; да и гдѣ эти господа не гости въ нашемъ отечествѣ? Гдѣ ихъ вліяніе на жизнь и понятія общества? Гдѣ та сфера жизни, въ которой они распоряжаются, какъ хозяева, и заявляютъ свои права? Если и чувствуется въ послѣднее десятилѣтіе какое-то взаимодѣйствіе между мыслями передовыхъ людей и жизнью общества, то какъ еще оно слабо, и какъ немногіе признають дѣйствительность его существованія! Итакъ, чиновники и помѣщики, съ женами и дѣтьми, составляютъ собою губернскую аристократію. Помѣщики, живущіе въ губернскомъ городѣ, поручають свои имѣнія приказчикамъ и бурмистрамъ, изъ ихъ рукъ принимаютъ свои доходы, проживають ихъ, навѣщаютъ иногда свои помѣстья и, произведи ревизію, получивъ должныя суммы, снова возвращаються въ городъ, чтобы наслаждаться жизнью. Эти господа пользуются обыкновенно обезпеченнымъ состояніемъ, такъ что съ матеріальной стороны они не встрѣчаютъ себѣ препятствій и стѣсненій. Чтѣ же они дѣлають? Они ѣздятъ въ гости и принимаютъ гостей, приглашаются на званые обѣды и дають такіе же обѣды у себя, танцуютъ и играютъ въ карты на вечерахъ и балахъ и устраивають у себя такіе же балы и вечера. Это называется пользоваться общественными увеселеніями. Интервалы между увеселеніями въ родѣ званыхъ обѣдовъ и вечеровъ наполняются визитами и разговорами, для которыхъ самой интересной темой служатъ городскія событія. Вставая утромъ съ постели, губернской аристократъ, если ему не предстоитъ какого-нибудь приглашенія, обыкновенно не знаетъ, чтѣ предпринять, куда дѣвать день, и отправляется къ кому-нибудь отъ нечего дѣлать, говорить что-нибудь отъ нечего дѣлать, беретъ въ руки книжку журнала, садится играть въ карты, выпиваетъ рюмку водки,—все отъ нечего дѣлать. Да и въ самомъ дѣлѣ, чтѣ же ему дѣлать?—Доходы получаютъ исправно, нужды ни въ чемъ не предвидится, ѣхать нигуда не надо. Что же дѣлать?—Сѣсть за книгу, что ли? Легко сказать; посмотрите-ка на дѣло поближе, и вы увидите, что

ничто не можетъ быть скучнѣе, какъ читать для процесса чтенія, безъ послѣдовательности и системы. Вѣдь не станете же вы безъ особенной надобности читать листокъ полицейскихъ вѣдомостей. Что за охота утруждать зрѣніе и напрягать умъ только для того, чтобы убить нѣсколько часовъ? Предпочитать, какъ препровожденіе времени, книгу живымъ явленіямъ жизни несвойственно человѣческой природѣ. Желая разсѣяться, человѣкъ ищетъ смѣны впечатлѣній. Чѣмъ живѣе впечатлѣнія и ощущенія, тѣмъ болѣе они его удовлетворяють; на этомъ основаніи онъ отправляется въ общество, болтаетъ съ знакомыми, садится за зеленое сукно, танцуетъ и кружится въ освѣщенной залѣ. Вся бѣда въ томъ, что ему нечего дѣлать, что онъ разсѣивается въ продолженіе всей своей жизни. Вѣдь не задавать же себѣ самому задачъ, не трудиться же для препровожденія времени, когда сама жизнь не шевелитъ своимъ потокомъ, не задаетъ никакихъ задачъ и не требуетъ никакого труда. Жизнь эта—странная штука! Губернскіе чиновники, кормчіе провинціального общества, работаютъ нерѣдко машинально, почти не сталкиваясь съ своей работѣй съ явленіями жизни и не выходя изъ сферы тѣхъ неизмѣнныхъ канцелярскихъ формъ, для которыхъ нѣтъ прогресса даже въ языкѣ. Утро занято у этихъ господъ, но ихъ машинальная дѣятельность оставляетъ по себѣ такую же пустоту, какую производитъ бездѣйствіе въ людяхъ праздныхъ. Ужъ все-таки остается незанятымъ и набивается чѣмъ попало, а попадають въ него обыкновенно бюрократическія интриги, городскія сплетни, преферансовыя соображенія и воспомнанія въ родѣ походовъ Чичикова. И вотъ изъ этихъ-то элементовъ составляется общественное мнѣніе, и отдѣлиться отъ него не совсѣмъ легко.

Исключеніе изъ общаго правила составляютъ тѣ немногіе, которыхъ жизнь исходитъ въ борьбѣ или въ совершенномъ отчужденіи отъ окружающей среды. Это люди сильные, которыхъ не легко надломить даже губернскому обществу. Но сильныхъ людей, къ сожалѣнію, у насъ немного; наша литература до сихъ поръ не представила образа сильнаго чловѣка, проникнутаго идеями общечеловѣческой цивилизаціи; большей частью изъ нашихъ университетовъ выходили люди, пламенно любящіе идею, страстно привязанные къ теоріи, но потерявшіе способность руководствоваться простымъ здравымъ смысломъ, чувствовать просто и сильно, дѣйствовать рѣшительно и въ то же время умѣренно. Они готовились воевать съ крокодилами и драконами, которыхъ не бываетъ въ нашихъ провинціальныхъ болотахъ, и въ то же время забывали отмахиваться отъ мошекъ и комаровъ, которые несутся надъ ними цѣлыми міриадами. Они выходили противъ мелкихъ гадинъ съ такимъ оружіемъ, которымъ поражаютъ чудовищъ; они со всего размаха убивали дубиною цѣлаго комара, и, къ ужасу сво-

ему замѣчали, что колоссальная трата энергій и воодушевленія оплачивалась совершенно незамѣтнымъ результатомъ. Герои обезсиливали, постоянно махая тяжелыми дубинами; мошки лѣзли имъ въ глаза, уши, въ носъ и въ ротъ, облѣпляли ихъ со всѣхъ сторонъ, оглушали ихъ своимъ жужжаньемъ, очень больно кусали и кололи ихъ едва замѣтными жалами и, высасывая изъ нихъ кровь, постепенно охлаждали ихъ боевую жаръ, ихъ добродѣтельную отвагу и великодушный паосъ. Жизнь подступала къ нашимъ героямъ такъ незамѣтно, она обхватывала ихъ со всѣхъ сторонъ такъ искусно и такими тонкими сѣтями, что не оставалось теоретикамъ никакой возможности не только сопротивляться, но даже замѣтить надвигавшуюся опасность. Уступка за уступкой, шагъ за шагомъ, и къ концу концовъ восторженные энтузіасты становились достойными дѣтьми своихъ отцовъ. Одни, бывшіе идеалисты или энтузіасты, просто превращались въ *толстыхъ*, о которыхъ говоритъ Гоголь; другіе, болѣе прочнаго закала, съ грустью сознавали свою бесполезность и, никуда не пристроившись, слонялись по бѣлому свѣту, нося въ разстроенной груди не вылившуюся любовь къ человѣчеству и разбитыя надежды; немногіе, очень немногіе собирали и пересчитывали свои силы послѣ перваго пораженія и, приведя ихъ въ извѣстность, принимались за мелкія дѣла дѣятельности, внося въ свои практическія занятія ту любовь къ истинѣ и къ добру, которую они, бывши юношами, громко исповѣдывали въ теоріи.

Да, масса нашего общества не безъ основанія относилась съ недоверіемъ къ людямъ мысли, принимавшимся за житейскія дѣла. Лаврецькихъ и Штольцовъ немного! О томъ и другомъ мы знаемъ только, что они что-то работали, но процесса ихъ работы мы не видимъ; Штольць отзывается искусственностью постройки; словомъ, все говоритъ намъ, что въ дѣятельности очень мало положительныхъ дѣятелей, и что попытка представить такихъ дѣятелей въ литературѣ не удалась именно отъ недостатка наличныхъ матеріаловъ.

## VI.

До сихъ поръ еще жизнь нашего общества не поддавалась такому влиянію, которое могло бы шевельнуть стоячую воду и спустить внизъ по теченію тину, накопившуюся въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій. Почти никто не занялъ полезнымъ и разумнымъ дѣломъ, почти никто не знаетъ, гдѣ отыскать себѣ такое дѣло, почти никто не сознаетъ въ себѣ потребности чѣмъ-нибудь заняться, а между тѣмъ почти всѣ чѣмъ-то недовольны и отчего-то скучаютъ. Праздность и скука ведутъ за собою много послѣдствій. Безпрерывная умственная праздность нѣсколькихъ поколѣній сохраняетъ для позднѣйшихъ внуковъ

тѣ формы быта, тѣ воззрѣнія на отношенія между людьми, отъ которыхъ даже дѣдамъ и прадедамъ солоно было жить на свѣтѣ. Патриархальность понятій еще живетъ въ нашемъ обществѣ, несмотря на заграничныя моды, которыя съ замѣчательною быстротой приносятся изъ Парижа въ разныя захолустья православной Руси. Господа въ англійскихъ визиткахъ и барыни въ кринолинахъ подчасъ разыгрываютъ такія семейныя и вообще домашнія сцены, на которыя съ удовольствіемъ могли бы смотреть бородастые бояре до-петровской эпохи. Отражается ли въ этихъ сценахъ народность—это я предоставляю рѣшить знатокамъ и любителямъ; знаю только, что отъ этихъ сценъ больно достается пассивнымъ и подчиненнымъ личностямъ; можетъ быть, эти сцены дѣлаютъ честь исторической памяти русскаго народа, но въ нихъ страдаетъ человѣкъ, въ нихъ тончутъ въ грязь человѣческое достоинство, и потому—Богъ съ нимъ, съ этимъ призракомъ прошедшаго, откуда былъ его ни почерпнули! Далѣе, праздность нашего общества ведетъ за собою существованіе искусственныхъ интересовъ; надо же чѣмъ-нибудь заняться,—и вотъ придумываются какія-нибудь цѣли; настоящей жизни нѣтъ, является подставная жизнь, которая никому не приноситъ ни пользы, ни наслажденія, но отъ которой не отрѣшается почти никто. Трехмѣсячные доходы ухлопываются, на примѣръ, на званый обѣдъ или балъ, на которомъ, можетъ быть, не будетъ ни одного человѣка, дѣйствительно дорогаго и близкаго для хозяевъ. Балъ дается съ особеннымъ великолѣпиемъ изъ тщеславія, чтобы заставить говорить въ городѣ; многіе изъ гостей, бывшихъ на балѣ, говорятъ, пріѣхавши домой, что надо и имъ устроить что-нибудь подобное, и говорятъ это иногда съ сокрушеннымъ сердцемъ, потому что денегъ мало, а между тѣмъ изъ кожи лѣзутъ — и устриваютъ. Вотъ вамъ и наполнена жизнь, вотъ и борьба интересовъ, вотъ и драма, переходящая то въ комическій, то въ трагическій тонъ. Иной почтенный отецъ семейства чуть не за пистолеты хватается, увѣряя своихъ домашнихъ, что жить нечѣмъ; глядя на него, подумаешь, что всему семейству придется завтрашній день безъ обѣда сидѣть, а на повѣрку окажется, что все отчаяніе происходитъ оттого, что ему нельзя дать больше одного бала въ нынѣшнемъ сезонѣ. Это комедія! Но между тѣмъ вмѣсто одного бала дается два или три; дѣла запутываются, имѣнія закладываются и просрочиваются; долги растутъ, кредитъ падаетъ; являются серьезныя финансовыя разстройства; начинается мѣщанская трагедія. Придуманныя прихоти считаются въ искусственомъ мірѣ нашей общественной жизни необходимыми потребностями; имъ жертвуютъ часто дѣйствительными удобствами жизни. Сколько семействъ средняго круга отказываются отъ сытнаго обѣда для того, чтобы обить комнаты но-

вами обоями, чтобы купить старшей дочери шелковое платье, или чтобы въ нанятой каретѣ поѣхать куда-нибудь на вечеръ! Если бы еще подобныя распоряженія дѣлались съ общаго согласія, ихъ можно было бы извинить; но въдѣ дѣлами семейства завѣдуютъ только папенька съ маменькой, остальные члены—лица безъ рѣчей, не имѣющія даже совѣщательнаго голоса—терпятъ лишения для того, чтобы покрыть расходы такихъ удовольствій, въ которыхъ они не принимаютъ участія.

Согласитесь, что это возмутительно! А развѣ не возмутительны тѣ мелкія интриги, которыя всѣ клоняются къ тому, чтобы можно было занять и удержать за собою известное мѣсто, известную роль въ обществѣ? Не уважая почти никого въ отдѣльности, члены общества уважаютъ всѣхъ вмѣстѣ; для нихъ ничего не значить огорчить или оскорбить сосѣда и приобрести въ немъ личнаго врага; но возбудить о себѣ толки, навѣчь на себя вниманіе всего общества какою-нибудь эксцентричностью или потерять ту долю общественнаго вниманія, которою они пользовались за роскошный образъ жизни,—это для нихъ невыносимо тяжело. Чтобы удерживать балансъ въ общественномъ мнѣніи, надо прибѣгать къ самымъ разнообразнымъ средствамъ, надо тратиться и разоряться, надо занимать деньги, не теряя кредита, надо принимать у себя важныхъ лицъ, надо внушать своимъ дѣтямъ такія идеи, которыя не могли бы произвести диссонанса, надо направлять сыновей по такой дорогѣ, которую общество считало бы блестящей, надо располагать по своему произволу и благоусмотрѣнію судьбой дочерей и выдавать ихъ замужъ за людей родовитыхъ, чиновныхъ и богатыхъ. Если вы—отецъ семейства, то вы отвѣчаете передъ обществомъ не за одного себя; проступокъ вашей жены, вашей дочери, вашего сына, брата или племянника падаетъ на васъ болѣе или менѣе тяжело, смотря по тому, насколько близокъ къ вамъ провинившійся. Взыскивая, такимъ образомъ, со всѣхъ членовъ семейства за вину одного, общественное мнѣніе, конечно, оправдываетъ или даже поощряетъ вмѣшательство родственниковъ и родственницъ въ такія дѣла, которыя собственно говоря, нисколько до нихъ не касаются. Простой здравый смыслъ говоритъ ясно, что каждый отдѣльный человѣкъ можетъ отвѣчать только за себя, да развѣ еще за малолѣтняго своего ребенка, который долженъ быть подъ хорошимъ присмотромъ, чтобы не имѣть возможности повредить какъ-нибудь своему здоровью и не нанести сосѣду убытка или несприятности. Наше русское общественное мнѣніе, не имѣющее ничего общаго со здравымъ смысломъ, судить со-всѣмъ не такъ: оно предполагаетъ между членами семейства и даже рода такую крѣпкую связь, такую солидарность отношеній, которая возможна только въ патриархальномъ быту, и о

которыхъ наше время, къ счастью, не имѣетъ понятія. Требованія общественнаго мнѣнія въ полномъ объемѣ неисполнимы, но эти требованія даютъ известное направленіе индивидуальнымъ силамъ; при всѣхъ вашихъ стараніяхъ, вы не усмотрите за своей родней и не будете въ состояніи привести всѣ ихъ дѣйствія къ должной мѣркѣ; но важно уже то, что вы будете стараться, будете выѣшиваться и слѣдовательно, сталкиваясь съ сильными характерами, будете надѣяться имъ, а имѣя дѣло съ людьми слабыми, будете сбивать ихъ съ толку. Сильные характеры я могу оставить въ сторонѣ; они не поддаются общественному мнѣнію, не слушаютъ чужихъ совѣтовъ и слѣдовательно не страдаютъ отъ уродливыхъ особенностей почвы. Что же касается до людей неглухихъ, сколько-нибудь развитыхъ, но не настолько сильныхъ, чтобы отстоять результаты своего развитія, то легко можно себѣ представить, какъ тяжело ихъ положеніе. Доходящіе до нихъ слухи о городскихъ толкахъ волнуютъ и смущаютъ ихъ; совѣты какого-нибудь неглѣпаго родственника или доброжелателя приводятъ ихъ въ недоумѣніе: голосъ собственнаго просвѣщеннаго убѣжденія говоритъ имъ одно, почва требуетъ совершенно другого, и они повинуются требованіямъ почвы, не успѣвая заглушить въ себѣ невольнаго протеста. Они унижаются и сами сознаютъ свое униженіе; это внутреннее раздвоеніе мучитъ, озлобляетъ ихъ и возбуждаетъ въ нихъ желаніе срывать зло на окружающемъ, они дѣлаются несправедливыми и, чувствуя это, еще болѣе окисляются и становятся еще несноснѣе. Эти люди, конечно, неспособны внушить къ себѣ уваженіе или сочувствіе, но они-то всего болѣе и нуждаются въ исцѣленіи; они дѣйствительно очень больны; къ тому же ихъ очень много, и объ нихъ стоитъ подумать. Переменить окружающую ихъ атмосферу невозможно; для этого нужно было бы перевоспитать все общество; стало быть надо сдѣлать ихъ по возможности нечувствительными къ міазмамъ этой атмосферы; надо настолько возвысить ихъ надъ уровнемъ окружающаго общества, чтобы они могли смотрѣть à vol d'oiseau на его гниль, негодованіе и волненіе; чтобы жить въ провинціальномъ обществѣ, не окисляясь и не опоничиваясь, надо умѣть презирать людей безъ злобы, презирать ихъ холодно, сознательно, отказываясь отъ всякой попытки возвысить ихъ до себя и понимая совершенную невозможность сойтись съ ними на какомъ-нибудь воззрѣніи. Когда дѣти играютъ въ куклы, было бы смѣшно подойти къ нимъ и начать имъ доказывать, что они тратятъ попусту драгоценное время,—относитесь къ обществу взрослыхъ, какъ къ группѣ играющихъ дѣтей,—и кроткая улыбка смѣнитъ собою тяжелое негодованіе, накопившееся въ вашей груди. «Пустые люди!»—подумаете вы. Да что же изъ этого? Въдѣ не насильно же напол-



нять их внутренним содержанием. Есть только одна сторона жизни, с которою никак нельзя помириться; къ счастью, эта сторона скрыта внутри домовъ и не напрашивается на глаза постороннимъ зрителямъ. Бывая въ обществѣ, вы увидите только пустоту его жизни, мелочность и ложность его интересовъ; это еще небольшая бѣда, каждый живетъ для себя и потому воленъ лично для себя забавляться чѣмъ вздумается и работать надъ чѣмъ угодно, но только *лично для себя*. Привнеолювать къ чему бы то ни было членовъ своего семейства, располагать ихъ судьбой по своему близорукому благоусмотрѣнію, опредѣлять карьеру сыновей и выдавать замужъ дочерей—о! это такія права, противъ которыхъ глубоко возмущается человѣческая природа; замѣтьте при томъ, что человѣкъ тѣмъ болѣе расположенъ пользоваться этими возмутительными правами, чѣмъ менше онъ способенъ употребить ихъ на благо подчиненныхъ личностей. Необразованный, безнравственный, пьющій губернской чиновникъ обыкновенно является деспотомъ въ семействѣ, крутитъ и ломитъ всякую оппозицію, не слушаетъ ни резоновъ, ни просьбъ,—съ пьяныхъ глазъ опредѣляетъ сыновей на службу, отправляетъ дочерей подъ вѣнецъ,—и при всемъ этомъ опирается на свои природныя и законныя права, ссылается на свою родительскую любовь и заботливость. Съ этой стороны жизни невозможно помириться; къ ней нельзя даже отнестись съ равнодушнымъ презрѣніемъ; здѣсь страдают и гибнутъ люди, и при томъ люди молодые, не успѣвшіе испортиться. Но сцены притѣсненія, драмы семейнаго деспотизма разыгрываются внутри семейства; ихъ можно предполагать и отгадывать, но видѣть ихъ можно только самимъ актерамъ, потому что эти сцены происходятъ безъ постороннихъ зрителей, тогда, когда ничто не требуетъ приличныхъ декораций и благообразной костюмировки. Прекратить эти халатныя сцены, развертывающія свое полное безобразіе въ спальняхъ, дѣтскихъ, кухняхъ и другихъ жилыхъ комнатахъ, недоступныхъ для гостей,—не можетъ ни законодательство, ни общественное мнѣніе. Пока жена будетъ зависть отъ мужа въ отношеніи къ своему пропитанію, пока мужъ будетъ такъ грубъ, что будетъ находить удовольствіе въ притѣсненіи слабого и зависимаго существа, пока родители и дѣти не будутъ имѣть яснаго понятія о своихъ человѣчески-разумныхъ правахъ,—до тѣхъ поръ можно будетъ обходить букву самаго мягкаго и справедливаго закона, до тѣхъ поръ можно будетъ обманывать контроль самаго чуткаго и просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія. Но на наше общественное мнѣніе полагаться нельзя; оно составлено изъ голосовъ тѣхъ самыхъ семьянъ, которые тяготеютъ надъ своими домочадцами; оно проникнуто духомъ Домостроя и только облагородило до нѣкоторой степени

вышніе приемы, рекомендуемые потомъ Сильвестромъ. Оно признаетъ за родителями право распорядиться судьбой дѣтей и, обязывая послѣднихъ къ пассивному повиновенію, вознаграждаетъ ихъ за потерю свободы правомъ угнетать современемъ другихъ. Наше общественное мнѣніе можетъ быть возмущено только скандаломъ; оно прощаетъ несправедливость и систематическую жестокость, лишь бы не было крига, лязга пощечинъ, кровавыхъ синяковъ и истерическихъ припадковъ; впрочемъ, это общественное мнѣніе умѣетъ быть глухо и слѣпо, умѣетъ смотрѣть сквозь пальцы и часто оказывается до того пропитаннымъ духомъ патріархальности, что принимаетъ сторону притѣснителя; часто оно обвиняетъ жертву деспотизма въ томъ, что она не умѣла избѣжать срама и покориться молча. Недаромъ говорить пословица: «изъ избы сору не выноси»; кажется, всѣ члены чиста русскаго семейства только и заботятся о томъ, чтобы хранить свой соръ чуть не подъ образами, и ни за что не рѣшаются съ нимъ разстаться и вышвырнуть его на улицу. Тайна, въ которую ложный стыдъ облекаетъ разныя семейныя неприятели, искусственный мракъ, который стараются поддержать въ семейномъ святилищѣ,—мракъ, непроницаемый ни для какой гласности, конечно, содѣйствуютъ сохраненію въ семейныхъ нравахъ и отношеніяхъ той дикости, которая уже выводится въ отношеніяхъ общественныхъ и междусловныхъ. Реформировать семейство можетъ только гуманизация отдѣльных лицъ и возвышеніе личнаго самосознанія и самоуваженія. Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человеческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствовалъ свое я и отдѣлилъ себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ влияніемъ этой идеи; когда она глубоко проникаетъ въ сознание каждаго взрослого недѣльнаго, всякое принужденіе, всякое насилуваніе воли ребенка, всякая ломка его характера сдѣлаются невозможными. Мы поймемъ тогда, что формировать характеръ ребенка—нелѣпная претензія; мы поймемъ, что дѣло воспитателя—заботиться о матеріальной безопасности ребенка и доставлять его мысли матеріалы для переработки; кто старается сдѣлать больше, тотъ посягаетъ на чужую свободу и воздвигаетъ на чужой землѣ зданіе, которое хозяинъ непремѣнно разрушитъ, какъ только вступитъ во владѣніе. Когда мы поймемъ все это?—не знаю; все это, можетъ быть, утопія, надъ которыми засмѣются практики въ дѣлѣ педагогики и семейной жизни. Смѣйтесь, гг. практики, смѣйтесь! Но не удивляйтесь тому, что возникаютъ утопіи; когда рутинна доведла до того, что приходится барахтаться и захлебываться въ грязи, тогда поневолѣ отвернешься отъ дѣйствительныхъ фактовъ, проклянешь прошедшее и обратишься за



ваго смысла: старикъ женится на молодойкѣ институткѣ, но имѣющей понятія о жизни; человекъ умный и серьезный—на пустой и вѣтряной дѣвчкѣ; человекъ бѣдный и неспособный трудиться—на дѣвчкѣ бѣдной и также неспособной трудиться: начинаются семейныя огорченія, начинается нужда, во всемъ оказывается виноватой любовь,—и нѣжныя матери предостерегаютъ сыновей и дочерей, указывая на роковыя примѣры и приговаривая со вздохомъ: «А ужъ какъ влюблены то были!» Поневолю умному и развитому молодому существу, слышная такія рѣчи, приходится отвѣчать: «я не влюбленъ, я люблю». Это не диалектическая тонкость, это—необходимое разграниченіе. Общество наше понимаетъ только влюбленность; какую то febris erotica, въ которой человекъ бѣнуется и дѣлаетъ такія же пошлости, какія предпринималъ добрый рыцарь Донъ-Кихотъ въ горахъ Сьерры-Морены. Надо-же заявить этому обществу, что я, дескать, въ своемъ умѣ и потому въ онекѣ не нуждаюсь, что я способенъ руководствоваться здравымъ смысломъ и между тѣмъ все-таки нахожу величайшее наслажденіе въ сближеніи съ такой-то женщиной, а не въ томъ, чтобы пріобрѣтать много денегъ, и не въ томъ, чтобы быть самымъ блестящимъ кавалеромъ на балѣ или самымъ исполнительнымъ столоначальникомъ въ департаментѣ. Видя дурачества своихъ влюбленныхъ, общество отождествляетъ любовь съ дурачествомъ и сердится на то, чего оно не знаетъ. Многія женщины нашего общества удерживаются отъ того, что называется паденіемъ,—страхомъ отцовъ или мужей, страхомъ стыда и осужденія; онѣ сами сознаютъ это, и это-же самое понимаютъ и мужчины, заботящіеся о поддержаніи ихъ нравственной чистоты; узкость и мелкость ихъ возрѣвнн мѣшаетъ этимъ господамъ и барынямъ видѣть въ женщинѣ что-нибудь, кромѣ матеріальныхъ половыхъ влеченій и нравственныхъ обязанностей жены и матери.

Между тѣмъ до этихъ господъ, которые при всей своей неразвитости суются толковать о назначеніи женщины, подкладывая подъ это слово, какъ и подъ многія другія, свой доморощенный смыслъ,—доходятъ изумительныя для нихъ слухи. Они узнаютъ, что въ Европѣ и въ Америкѣ передовые люди толкуютъ о томъ, что женщина такой же человекъ, какъ и мужчина, что она вовсе не обязана только о томъ и думать, чтобы готовить мужу обѣдъ, рожать ему дѣтей и кормить ихъ сначала грудью, а потомъ—манной кашкой; что она можетъ мыслить, чувствовать и дѣйствовать, не спрашивая позволенія ни у отца, ни у мужа. Задумываются наши господа; имъ говорятъ о правахъ женщины, и они сейчасъ же понятіе женщины вкляощаютъ въ тѣхъ образахъ, которые суетятся и пищатъ передъ ихъ глазами; они себѣ представляютъ, что

случилось бы, если бы ихъ жены и дочери были отпущены на волю, т. е. эмансипированы,—и съ ужасомъ зажмуриваютъ глаза и начинаютъ отмахиваться отъ эмансипаціонныхъ идей, потому что ихъ воображенію представляются неблагоприятныя картины. Они думаютъ, что женская нравственность и цѣломудріе, супружеская вѣрность и материнская заботливость поддерживаются только стараніями отцовъ и мужей, да гнетомъ общественнаго мнѣнія, и вдругъ имъ предлагаютъ оказаться отъ своего господства надъ женщинами и устранить гнетъ общественнаго мнѣнія. Да какъ же такъ? спрашиваютъ они; да гдѣ-жъ тогда граница, гдѣ будетъ плотина, которая до сихъ поръ сдерживала безнравственныя наклонности? гдѣ возможность, гдѣ обезпеченіе семейнаго счастья?—Словомъ, они видятъ, что можно употребить во зло идею, и уже кромѣ злоупотребленія въ этой идеѣ ничего не видятъ. Дѣйствительно, въ такой странѣ, гдѣ женщина признается полноправной личностью, ей легче завести себѣ любовника, чѣмъ у насъ, точно такъ-же, какъ у насъ это легче сдѣлать, чѣмъ въ Турціи или Персіи; въ этомъ не ошибаются протгивники эмансипаціи. Но захочетъ ли эмансипированная женщина удариться въ развратъ изъ любви къ разврату—объ этомъ они не спрашиваютъ. Дурно ли дѣлаетъ женщина, если дѣйствительно, любя мужчину, она отдается ему,—до этого вопроса они не умѣютъ возвыситься.

Если бы къ киргизамъ проникла какая-нибудь европейская идея, то, конечно, она произвела бы такой диссонансъ, такой сумбуръ, котораго бы не было, если бы она оставалась неизвѣстной. Беспорядокъ продолжался бы до тѣхъ поръ, пока эта идея не была бы задушена или пока бы она рѣшительно не восторжествовала и не переработала весь строй народныхъ понятій. Къ числу такихъ рѣзкихъ диссонансовъ бесспорно принадлежитъ разладъ между нашими средневѣковыми понятіями о семействѣ и совершенно новыми по своей ширинѣ идеями о полноправности женщины. Многіе изъ нашихъ образованныхъ умниковъ достаточно приготовлены, чтобы только понять обширность и величіе этой идеи? Чтобы всецѣло провести ее въ собственной жизни, надо располагать такими силами, которыя достаются на долю немногимъ единицамъ. А между тѣмъ посмотрите и послушайте. Полу-кретины, не умѣющіе ни мыслить, ни уважать мысли другого, судятъ и рядятъ, оплевываютъ и закидываютъ грязью то, что для нихъ—пустой звукъ, а для людей съ умомъ и съ душой—сознательное и доброе убѣжденіе. Личная свобода, любовь, полноправность женщины понимаются нашимъ обществомъ только въ опошленномъ, одностороннемъ и извращенномъ видѣ. Точно такъ же понимается ими идея эгоизма, неразрывно связанная съ идеей свободы личности и составляю-

щая необходимое основание всякой истинной любви. Эгоистъ, по понятію нашего общества,— тотъ человѣкъ, который никогда не любитъ, живетъ только для того, чтобы набивать себѣ карманъ или желудокъ, и наслаждается только чувственными удовольствіями или удовлетвореніемъ своей алчности или честолюбія. Тутъ прямо пододвинули подъ слово такое понятіе, которое не имѣетъ ничего общаго съ его подлиннымъ значеніемъ. Почему же эгоистъ долженъ быть недоступенъ эстетическому наслажденію? Почему онъ не можетъ любить? Почему онъ не можетъ находить наслажденія въ томъ, чтобы дѣлать добро другимъ? Эгоизмъ, т. е. любви къ собственной личности, ставить дѣлюю жизнь наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно—это уже подсказываютъ каждому его наклонности, его личный вкусъ. Стало бытъ, внутри понятія *эгоистъ* открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошие, и дурные люди; эгоистъ—человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдовательно, онъ дѣлаетъ только то, чего ему хочется, или, другими словами, остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу, ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно, въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое разнообразіе подъ какую-нибудь придуманную имъ или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствие нравственнаго принужденія— вотъ единственный существенный признакъ эгоизма, но этого, конечно, не понимаетъ общество; именемъ эгоиста оно называетъ непременно человѣка сухого и черстватаго, не понимая того, что такой человѣкъ даже и самого себя любить слабо и вяло, что онъ даже самому себѣ не умѣетъ доставлять тѣ наслажденія, которыя можно вынести изъ сношеній съ другими людьми. Называть эгоизмомъ бѣдность крови и худосочіе, мѣшающія энергическому восприниманію впечатлѣній, совершенно нелѣпо; и надо согласиться съ тѣмъ, что только бѣдность крови и худосочіе могутъ сдѣлать человѣка нечувствительнымъ къ наслажденіямъ любви, семейной жизни и дружбы,—недоступнымъ тому волненію, которое возбуждаютъ въ насъ истинно художественныя произведенія, — неспособнымъ къ творчеству мысли и къ искреннему воодушевленію. Эгоизмъ—система умственныхъ убѣжденій, ведущая къ полной ампаніи личности и усиливающая въ человѣкѣ самоуваженіе; а между тѣмъ этимъ словомъ обозначаютъ совокупность нрав-

ственныхъ, а можетъ быть и чисто физическихъ свойствъ, мѣшающихъ развитію полной человечности и слѣдовательно не позволяющихъ человѣку сильно любить, сильно желать и сильно наслаждаться жизнью. Отчего происходитъ эта ошибка въ опредѣленіи понятій? Вѣроятно, отъ того, что мы обыкновенно очень поверхностно смотримъ на вещи. Мы видимъ, на примѣръ, что человѣкъ никого не любитъ, держитъ жену и дѣтей въ черномъ тѣлѣ, копить деньги безъ всякой цѣли и тратитъ ихъ на грязныя удовольствія, въ которыхъ онъ одинъ принимаетъ участіе; изъ этого мы заключаемъ, что этотъ человѣкъ любить только самого себя, и что слѣдовательно онъ—эгоистъ: онъ никого, кромѣ самого себя, не любитъ—это вѣрно; но слѣдуетъ ли изъ этого заключенія, что онъ самого себя любить сильнѣе, чѣмъ тотъ человѣкъ, который находитъ наслажденіе въ томъ, чтобы доставить другимъ удовольствіе и счастье? Эти два человѣка расходятся между собою только во вкусахъ: оба идутъ къ одной цѣли—къ наслажденію; первый пускаетъ въ ходъ тѣ жалкія средства, которыя отыскиваетъ его узенькій умъ и до которыхъ допущивается его бѣдная, хилая природа; второй живетъ всеми фибрами своего организма, дышетъ полной грудью, смотритъ на міръ весело, любовно, радуется свѣжей жизни окружающей природы и довольству, разлитому на лицахъ близкихъ и дорогихъ ему людей; одинъ вѣчно безразличенъ, вялъ, почти боленъ; другой здоровъ, свѣжъ, бодръ и вслѣдствіе этого воспримчивъ къ радостямъ окружающаго міра; различіе, какъ видите, лежитъ скорѣе въ темпераментѣ, чѣмъ въ системѣ умственныхъ убѣжденій. Повторяю: эгоизмъ, если понимать его какъ слѣдуетъ, есть только полная свобода личности, уничтоженіе обязательныхъ трудовъ и добродѣтелей, а не искорененіе добрыхъ влеченій и благородныхъ порывовъ. Пусть только никто не требуетъ подвиговъ, пусть никто не навязываетъ влеченій и порывовъ, пусть общество уважаетъ личность настолько, чтобы не осуждать ее за отсутствіе влеченій и порывовъ, и пусть самъ человѣкъ не старается искусственно прививать къ себѣ и воспитывать въ себѣ эти влеченія и порывы,—вотъ все, что можно желать отъ послѣдовательнаго проведенія и сознательнаго воспринятія идеи эгоизма. Гнетъ общества надъ личностью такъ же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣсняя свободы своихъ соудей и членовъ своего семейства, тогда, конечно, были бы устранены причины многихъ несчастій и страданій. Другими словами, если бы всякій былъ эгоистомъ по-своему, не мѣшая другимъ быть эгоистами по-своему, тогда не было бы въ среднемъ кругу ни ссоръ, ни сплетенъ, ни скандаловъ. Въ *среднемъ кругу*, говорю я, потому что для низшихъ слоевъ общества есть такое зло, ко-

горое до сихъ поръ не могли устранить, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, лучшіе мыслители Европы. Это зло—пролетаріатъ со всѣми своими ужасными послѣдствіями. Отысканіе средства, долженствующаго устранить это зло, принадлежитъ еще будущему времени.

Большая часть идей, находящихся въ обращеніи между передовыми людьми нашего вѣка, прерватоно понимается массою нашего общества и вслѣдствіе этого не находитъ себѣ довѣрія. Ничтожный и дешевый скептицизмъ, съ которымъ встрѣчаются у насъ самыя честныя воззрѣнія, самыя теплыя выраженія человѣческаго чувства, самыя благородныя и широкія стремленія мысли, доказываетъ, что наше общество вообще равнодушно къ истинѣ и красотѣ, или что оно не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Последнее, мнѣ кажется, вѣрнѣе; схвативъ верхки образованія, слыша слова, знакомыя по французскимъ учебникамъ и романамъ, наша публика всякую идею понимаетъ по-своему, т. е. вкривъ и вкось, а наши критики, не давая себѣ труда разъяснить ей самыя элементарныя понятія, проповѣдуютъ въ пустынѣ и не производятъ на своихъ читателей никакого вліянія, потому что эти читатели принимаютъ ихъ за педантовъ, фразеровъ или шарлатановъ. Видя то, какъ общество относится къ идеямъ, составляющимъ славу нашего вѣка, можно уже до нѣкоторой степени составить себѣ понятіе о достоинствѣ его нравственныхъ воззрѣній. Покорность существующему порядку вещей и отношеній составляетъ одно изъ главныхъ нравственныхъ требованій. Протестъ, какъ бы ни былъ онъ законенъ и неизбеженъ, въ какой бы формѣ онъ ни выразился, всегда осуждается, какъ преступленіе. Семейная іерархія во всей своей строгости поддерживается общественнымъ мнѣніемъ; это общественное мнѣніе караетъ какъ тѣхъ, кто снизу возмущается противъ этой іерархіи, такъ и тѣхъ, кто сверху ослабляетъ оковы семейнаго деспотизма. Первыхъ оно называетъ непочтительными дѣтьми, вторыхъ—слабыми родителями. Отношенія между молодыми людьми разныхъ половъ находятся подъ самымъ дѣятельнымъ надзоромъ общественнаго мнѣнія. Въ правильности этихъ отношеній и заключается весь мистическій смыслъ условной нравственности. Всякое проявленіе чувства между молодыми людьми, не связанными узами брака и даже непомолвленными, считается наглымъ оскорбленіемъ общественной нравственности. Честная дѣвушка должна больше всѣхъ любить папеньку съ маменькой, а потомъ, когда ее выдадутъ замужъ, она должна всю сумму своей любви перенести на мужа, а потомъ, когда у нея родятся дѣти,—на дѣтей. Жить такимъ образомъ—значитъ исполнять свой долгъ. Если дѣвушка замѣчаетъ въ своихъ родителяхъ недостатки, она должна убѣждать себя въ томъ, что это ей только показалось, или же что эти свой-

ства не недостатки, а хорошія качества; если она страдаетъ отъ этихъ недостатковъ, она должна принять эти страданія съ покорностью и считать ихъ крестомъ, возложеннымъ на нее Богомъ; стараться объ устраненіи этихъ страданій—грѣшно. Если родители—люди дурные, то дочь должна считать ихъ хорошими людьми и любить ихъ, какъ таковыхъ; впрочемъ, брать съ нихъ примѣръ общественное мнѣніе не велитъ. Если дѣвушка случится полюбить молодого человека, она медленно должна во всемъ признаться своимъ родителямъ или по крайней мѣрѣ маменькѣ, хотя бы она со стороны послѣдней не могла ожидать себѣ сочувствія, хотя бы даже ей пришлось за это выслушать упреки и испытать препятствія; если маменька посовѣтуетъ ей прервать сношенія съ любимымъ человѣкомъ или, говоря языкомъ патріархальнаго быта, велитъ выкинуть дурь изъ головы, она должна немедленно повиноваться; если родители прищутъ ей жениха, способнаго составить ей счастье, человекъ солиднаго, т. е. прилично-пожилого, одареннаго состояніемъ, чинами и знаками отличія, она должна съ благодарностью принять отъ нихъ это доказательство ихъ заботливости; въ подобномъ случаѣ общественное мнѣніе поощряетъ только со стороны невѣсты обильныя слезы, долженствующія служить доказательствомъ неизмѣнной привязанности къ родительскому дому; впрочемъ эта привязанность, очень похвальная, если она проявляется до свадьбы, можетъ показаться странной и даже предосудительной, если она слишкомъ сильно будетъ выражаться послѣ замужества. Молодые должны быть, или казаться, счастливыми; молодая женщина должна быть довольна своей участью, хотя бы ея супругу было подѣ семьдесятъ лѣтъ и хотя бы ей приходилось быть сидѣлкой, а не женой; если она показается недоволенной и если—Боже упаси!—въ числѣ знакомыхъ ея мужа отыщется какой-нибудь юноша, котораго нельзя будетъ назвать уродомъ,—общественное мнѣніе отмѣтитъ ее и возьметъ ее подѣ присмотръ; при малѣйшемъ предлогѣ молодая женщина будетъ обвинена въ нарушеніи супружеской вѣрности, и репутація ея будетъ замарана; объ ней никто не пожалѣетъ, никто не вмѣнитъ ей въ заслугу многолѣтняго повиновенія родителямъ; все прежнее образцовое поведеніе будетъ вмѣнено ей въ вину. «Какова!—скажутъ всѣ—а еще какой смиренницей прикидывалась! Ужъ подлинно въ тихомъ омутѣ...» Я нарочно выбралъ женщину для того, чтобы по ея личности прослѣдить требованія общественной нравственности.

По физическимъ силамъ, по силѣ умственныхъ силъ, вырабатывающихся въ ней воспитаніемъ, по положенію и правамъ своимъ въ обществѣ, женщина является намъ существомъ слабымъ, подчиненнымъ, подавленнымъ. И общественное мнѣніе только къ тому и стремится, чтобы пред-

ставить эту слабость нормальнымъ положеніемъ, чтобы уврочить гнеть, чтобы еще больше подавить и безъ того подавленную личность. *Vae victis!*—вотъ варварскій девизъ этого общественнаго мнѣнія. Нѣтъ въ немъ ни человѣколюбія, ни справедливости. Поклоненіе силѣ, къ чему бы она ни примѣнилась, узаконеніе существующаго порядка вещей, какъ бы ни былъ онъ безобразенъ, осужденіе слабого, какъ бы ни были справедливы его притязанія, перевѣсъ авторитета надъ здравымъ смысломъ,—словомъ, необузданный консерватизмъ патриархальнаго быта,—вотъ чѣмъ отличается наше общественное мнѣніе. Оно знаетъ и поощряетъ только два рода добродѣтелей: со стороны старшихъ и начальниковъ—строгость, твердость, настойчивость, не допускающія разсужденія, не смятаемыя уваженіемъ къ подчиненному, не признающія въ немъ самобитной личности; со стороны младшихъ и подчиненныхъ — пассивное, безсмысленное, чисто внѣшнее повиновеніе, несомнѣнное съ умственной самостоятельностью и обидное для человѣческаго достоинства. Это общественное мнѣніе формируетъ только рабовъ и деспотовъ; свободныхъ людей нѣтъ; кто не чувствуетъ надъ собою гнета, тотъ гнететь самъ и вымещаетъ на своихъ подчиненныхъ то, что ему приходилось терять въ молодые годы. Что нарушить эти преемственныя преданія школы, семейства и общественнаго быта? когда произойдетъ это нарушение?—на все это отвѣтитъ будущее. Но такъ жить, какъ жило и до сихъ поръ живетъ большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшаго порядка вещей и когда не понимаешь своего страданія.

### VIII.

Все, что я говорилъ о нашемъ провинціальномъ обществѣ,—искусственность занимающихъ его интересовъ, грубость семейныхъ отношеній, неестественность нравственныхъ воззрѣній, подавленіе личной самостоятельности гнетомъ общественнаго мнѣнія,—все это выразилось въ повѣсти «Тюфякъ». Мое дѣло будетъ обратить вниманіе читателя на тѣ факты, которые всего болѣе даютъ матеріаловъ для размышленія. Въ «Тюфякъ» есть двѣ женщины; одну изъ нихъ мы знаемъ—эта жена Бешметева; ее всѣ осуждаютъ, съ нею никто не знакомится; знакомыя съ нею дамы прерываютъ съ нею сношенія; все это дѣлается за то, что ее подозрѣваютъ въ интрижъ съ Бахтіаровымъ. Вотъ вамъ образчикъ общественной логики: выйти замужъ за человѣка, котораго не любишь,—не бѣда; отдаться любимому человѣку—стыдно и грѣшно. Другая женщина—сестра Бешметева; ее мужъ—глунъ, мотъ, игрокъ, человѣкъ пустой и ограниченный; въ немъ нѣтъ сильныхъ страстей и пороковъ; но зато нѣтъ ни одной свѣтлой, человѣческой чер-

ты, за которую можно было бы простить ему его гаденькія свойства; съ такимъ джентльменомъ живетъ умная, честная, хоть и неразвитая женщина; въ отношеніи къ нему она хранитъ супружескую вѣрность; она страдаетъ отъ его пошлости; ей просто нечѣмъ жить, нечѣмъ дышать, и она дѣйствительно медленно истлѣваетъ, сохнетъ отъ пустоты жизни, отъ недостатка внутренняго содержанія. Общественное мнѣніе не жалѣетъ объ ней и не возмущается ея бесполезнымъ самоотверженіемъ; оно говоритъ, что Лизавета Васильевна Масурова—добродѣтельная женщина, исполняющая свои обязанности! Если бы Лизавета Васильевна любила и уважала своего мужа, тогда въ исполненіи ея обязанностей не было бы ничего оскорбительнаго для ея человѣческаго достоинства, тогда она сама была бы счастлива, и въ ея образѣ дѣйствій не видно было бы подвиговъ самоотверженія. Именно по этой причинѣ наше общество, воспитанное въ правилахъ приниженія личности, не поставило бы ей въ заслугу ея хорошаго поведенія; въ нашемъ обществѣ глубоко коренится взглядъ на добродѣтель, какъ на насилуваніе природы. Вы услышите на каждомъ шагѣ: «Что-жъ за важность, что такой-то не пьетъ?—Онъ не расположенъ къ вину. Что за важность, что такая-то хорошо живетъ съ мужемъ?—Она его любитъ». Если судить такимъ образомъ, то надо всегда ставить раскаявшагося преступника выше человѣка, неспособнаго сдѣлать преступленіе. Естественное расположеніе къ добру считается въ такомъ случаѣ счастливой принадлежностью человѣческой природы, счастливымъ преимуществомъ, а не результатомъ акта свободной воли. По нравственнымъ понятіямъ нашего общества, свободная воля человѣка должна быть направлена на то, чтобы ломать врожденныя наклонности, искоренять тѣ слабости, которыя всего болѣе свойственны нравственному организму, и прививать тѣ добродѣтели, которыя ему всего болѣе антипатичны. Идеализмъ, т. е. выкраиваніе людей на одинъ образецъ и вражда къ матерн, какъ къ источнику всякаго зла, лежитъ въ основаніи этихъ нравственныхъ воззрѣній, которыя раздѣляютъ съ массою даже лучшіе люди общества. Они восхваляютъ женщину за то, что она исполняетъ свои обязанности въ отношеніи къ нелюбимому мужу; они не понимаютъ того, что выйти замужъ за нелюбимаго человѣка—возмутительно. Они не понимаютъ того, что женщина, соглашавшаяся принадлежать человѣку, котораго она разлюбила, подавлять въ себѣ естественный голосъ женской гордости и стыдливости и профанируетъ актъ любви, сводя его на степень хладнокровно-исполняемаго условнаго обряда. Здѣсь, какъ и вездѣ, приговоры общественнаго мнѣнія клонятся къ тому, чтобы извратить и изуродовать чувство человѣческаго достоинства, чтобы въ угоду неосозательному

принципу раздавить и уничтожить живую личность. Самъ Вешметевъ можетъ служить намъ яркимъ примѣромъ того нравственнаго развращенія, которое въ грязной средѣ выпадаетъ на долю молодой и слабой личности, стоявшей на хорошей дорогѣ, но не сумѣвшей на ней удержаться. Поддержало ли, остановило ли его хоть на минуту общественное мнѣніе? Напротивъ, оно постоянно толкало его къ паденію, и потомъ, когда онъ повалился въ пропасть, оно отрелось отъ своего поступка и рѣзко осудило его за нравственное униженіе. Переходъ отъ ученой карьеры къ бюрократической дѣятельности, нелѣпныя отношенія къ женѣ, посягательства на ея свободу, грубая ревность, притѣсненія и попреки—все это оправдывало общественное мнѣніе, ко всему этому оно подзадоривало доврѣчиваго Тюфяка, и все это привело къ чему же?—Къ внутренней пустотѣ, къ озлобленію противъ жены, къ недо-

вольству собою и людьми, къ желанію забыться, къ пьянству запоемъ, къ грязному паденію нравственныхъ силъ, къ разрушенію здоровья, къ преждевременной смерти. И что же сдѣлали тѣ старшіе родственники, которые, какъ проводники общественнаго мнѣнія, управляли дѣйствіями Вешметева? Увидали ли они по крайней мѣрѣ, что слишкомъ хорошо повиноваться ихъ совѣтамъ—нелѣпо? Поняли ли они свою оплошность? Сознали ли они свою неспособность руководить дѣйствіями молодыхъ и свѣжихъ личностей?—Ни мало! Они отступились отъ своего дѣла и не хотѣли понять того, что несчастія, свалившіяся на Вешметева, составляютъ естественныя слѣдствія ихъ совѣтовъ; они обвиняли самого-же Вешметева, презрительно сожалѣли о немъ, и потомъ, вѣроятно, забыли о несчастной жертвѣ своей нелѣпости.

И это судья! Это законодатели общественнаго мнѣнія!

## ПИСЕМСКІЙ, ТУРГЕНЕВЪ и ГОНЧАРОВЪ.

(Сочиненія А. О. Писемскаго. Т. I и II. Сочиненія И. С. Тургенева).

### I.

Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ принадлежатъ къ одному поколѣнію. Это поколѣніе уже давно созрѣло и теперь клонится къ старости; дѣти этого поколѣнія уже способны рѣшать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся дѣятелями прошедшаго времени и для нихъ настаетъ судъ ближайшаго потомства. Пора прѣвѣрить результаты ихъ работъ, не для того, чтобы выразить имъ свою признательность или неудовольствіе, а просто для того, чтобы пересчитать умственный капиталъ, достояющійся намъ отъ прошедшаго, узнать сильныя и слабыя стороны нашего наслѣдства и сообразить, что въ немъ можно оставить на старомъ основаніи и что надо фундаментально передѣлать. Всего этого наслѣдства разомъ не оглядишь; оно, какъ и все русское, велико и обильно. Посмотримъ на первый разъ, что оставили намъ наши первоклассные романисты, лучшіе представители русской поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Вопросъ, поставленный мною, шире, чѣмъ можетъ подумать читатель. Романы Писемскаго, Гончарова и Тургенева имѣютъ для насъ не только эстетическій, но и общественный интересъ; у англичанъ рядомъ съ Диккенсомъ, Теккереемъ, Бульверомъ и Эллиотомъ есть Джонъ Стюартъ Милль; у французовъ рядомъ съ романистами

есть публицисты и социалисты; а у насъ въ изыщной словесности, да въ критикѣ на художественныя произведенія сосредоточилась вся сумма идей нашихъ объ обществѣ, о человѣческой личности, о междучеловѣческихъ, семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ; у насъ нѣтъ отдѣльно существующей нравственной философіи, нѣтъ социальной науки; стало быть, всего этого надо искать въ художественныхъ произведеніяхъ. Я говорю: *надо искать*, потому что не можетъ-же быть, чтобы люди, имѣющіе знакомыхъ, жену, дѣтей, состоящіе на государственной или частной службѣ, и притомъ сколько-нибудь способные размышлять, не составляли себѣ извѣстныхъ понятій о своихъ отношеніяхъ, о жизни и ея требованіяхъ; не можетъ быть, чтобы, составивъ себѣ эти понятія, они не дѣлились ими съ тѣми, кто можетъ ихъ понимать. Въмѣсто того, чтобы сообщать результаты своихъ наблюденій въ отвѣченной формѣ, они стали облекать идею въ образы. Многіе изъ нашихъ беллетристовъ сдѣлались художниками потому, что не могли сдѣлаться общественными дѣятелями или политическими писателями; что-же касается до истинныхъ художниковъ по призванію, то они также должны были какою-нибудь стороною своей дѣятельности сдѣлаться публицистами.

Кто, живя и дѣйствуя въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ, не проводилъ въ общественное

сознание живыхъ, общечеловѣческихъ идей, того мы уважать не можемъ, того потомство не помѣтитъ въ число благородныхъ дѣятелей русскаго слова. Гг. Феть, Положскій, Щербина, Грековъ и многіе другіе микроскопическіе поэтики забудутся такъ-же скоро, какъ тѣ журнальныя книжки, въ которыхъ они печатаются. «Что вы для насъ сдѣлали?» спроситъ этихъ господъ молодое поколѣніе. «Чѣмъ вы обогатили наше сознание? Чѣмъ вы насъ шевельнули, чѣмъ заронили въ насъ искру негодованія противъ грязныхъ и дикихъ сторонъ нашей жизни? Сказали ли вы теплое слово за идею? Разбили-ли вы хоть одно господствующее заблужденіе? Стояли-ли вы сами, хоть въ какомъ-нибудь отношеніи, выше возрѣвій вашего времени?» На всѣ эти вопросы, возникающіе сами собою при оцѣнкѣ дѣятельности художника, наши версификаторы ничего не сумѣютъ отвѣтить. Мало того: они не поймутъ этихъ вопросовъ и останутся въ недоумѣніи; они въ наивности души увѣрены въ величій своихъ заслугъ и въ правахъ своихъ на всеобщую признательность; они думаютъ, что, шлифуя русскій стихъ, баюкая насъ своими тихими мелодіями, воспѣвая на тысячу ладовъ мелкіе отгѣнки мелкихъ чувствъ, они приносятъ пользу русской словесности и русскому просвѣщенію. Они считаютъ себя художниками, имѣя на это званіе такія-же права, какъ модистка, выдумавшая новую куафюру.

Чтобы эти слова не казались безсмысленною выходкой, лаяніемъ на луну, я считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ, что я понимаю подъ словомъ «художникъ». Вотъ видите ли, всѣ мы смотримъ на какой-нибудь уличный скандалъ, но не во всѣхъ насъ это зрѣлище западаетъ одинаково глубоко, не всѣхъ насъ оно потрясаетъ одинаково сильно. Чего, чего не передумалъ бы человѣкъ впечатлительный, присутствуя, положимъ, при подвигѣ расправы надъ извозчикомъ; одна эта сцена показалась бы ему только эпизодомъ длинной, никому не вѣдомой драмы, разыгрывающейся каждый день безъ свидѣтелей въ разныхъ бѣдныхъ квартирахъ, на улицахъ, «подъ овиномъ, подъ стогомъ», — вездѣ, гдѣ бѣдный и слабый терпитъ горькую долю отъ богатаго и сильнаго. Воображеніе дорисовало бы недостающія подробности; естественное, гуманное чувство, воспитанное разностороннимъ образованіемъ, согрѣло бы всю картину, и вотъ изъ грубой уличной сцены возникло бы художественное произведеніе, которое навѣрное подѣйствовало бы на читателя, шевельнуло бы его или заставило бы его задуматься. Кто по природѣ и по воспитанію впечатлительней, да кто усвоилъ себѣ умѣнье передавать свои впечатлѣнія другимъ такъ, чтобы они могли перечувствовать то, что онъ самъ чувствуетъ, тотъ и художникъ. Умѣнье передавать составляетъ техническую сторону искусства и пріобрѣтается навыкомъ и упражне-

ніемъ. Способность воспринимать, или впечатлительность, составляетъ принадлежность человѣческаго характера художника; эта способность кроется въ строеніи нервовъ, рождается вмѣстѣ съ нами и, конечно, развивается или притупляется обстоятельствами жизни. Умѣнье передавать, или виртуозность формы сама по себѣ не можетъ сильно и обаятельно подѣйствовать на читателя; не угодно-ли вамъ, напримѣръ, описать самымъ яркимъ и подробнымъ образомъ лицо вашего героя такъ, чтобы читатель видѣлъ каждую морщину на его лбу, каждый волосокъ на его бровяхъ, каждую бородавку на лбу или щекѣ? На каждой академической выставкѣ есть нѣсколько подобныхъ картинъ; тутъ, положимъ, художникъ нарисовалъ палитру, карандашъ и куски красокъ; въ другомъ мѣстѣ—корзину съ цвѣтами или разрѣзанный арбузъ; въ третьемъ—портретъ какого-нибудь господина, у котораго брови воротникъ и пуговицы на шинели выдѣланы такъ тщательно, что не знаешь, портретъ-ли это, или вывѣска мѣховщика. Ахъ, какъ натурально, скажете вы, но представитъ себѣ, чтобы художникъ, рисуя всѣ эти прелести, что-нибудь думалъ или чувствовалъ, эти рѣшительно не будете въ состояніи. Вы увидите, что такой-то господинъ хорошо составляетъ краски и ловко владѣетъ кистью, но человѣческаго характера этого господина вы не увидите: ни мысли его, ни чувства вы не уловите; отходя отъ картины, вы будете въ правѣ сказать, что такой-то NN тратитъ свое замѣчательное умѣнье на совершеннѣйшіе пустяки; почему это происходитъ—на это могутъ быть многія причины: или г. NN не настолько уменъ, чтобы составить въ головѣ свой планъ картины, или не настолько развитъ, чтобы умѣть обставить свою идею, или не настолько впечатлительнъ, чтобы нечаянно наткнуться на сюжетъ и, почти помимо собственной воли, выносить и взлѣлывать его въ груди. Во всякомъ случаѣ, этотъ NN—художникъ только на-половину, настолько-же, насколько можетъ быть названъ художникомъ поваръ, отлично изготовившій кулебяку. NN совершенно веленъ рисовать палитры, арбузы и мѣховые воротники всѣхъ цвѣтовъ и достоинствъ, но мы, зрители, также совершенно вольны восхищаться или не восхищаться его малеваніями.

Перенесемъ теперь то, что было сказано о живописи, на поэзію. Къ сожалѣнію, область поэзіи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ далеко не такъ обширна, какъ область живописи. Вы можете, напримѣръ, нарисовать картину, не выразивъ ровно никакой идеи и никакого чувства; эта завидная привилегія совершенно отнимается у васъ, когда вы берете орудіемъ своимъ—слово; тогда надо непремѣнно что-нибудь сказать; читая самое наглядное описаніе какого-нибудь плетня или огорода, читатель никакъ имъ не удовлетворится, а все будетъ спрашивать, что же дальше? Если же вы ему ничего дальше не дадите, то онъ по-



думаетъ, что вы надъ нимъ подшутили, и, чего добраго, найдете вашу шутку довольно плоскою. На этомъ основаніи каждый поэтъ, какъ бы онъ ни дорожилъ своей художнической свободой и какъ бы ни былъ ему враждебенъ элементъ мысли, старается чисто для приличія прикинуться въ своихъ произведеніяхъ мыслящимъ и чувствующимъ. Никто, конечно, не упрекаетъ Фета, Мея и Полонскаго въ томъ, чтобы они были глубокіе мыслители, а между тѣмъ и въ ихъ лирическихъ стихотвореніяхъ есть подобія мыслей и чувствъ; случается, правда, что вы прочтете маленькое стихотвореніе въ три-четыре куплета и тотчасъ-же забудете его, какъ забываете докуренную сигару; но зато это стихотвореніе подѣйствовало на вашу нервную систему почти также, какъ сигара; первые два стиха подкупили васъ своей благозвучностью, первые четыре рифмы ублажали васъ своимъ мѣрнымъ паденіемъ, и вы дочитываете до конца, находясь въ состояніи пріятной полудремоты и потерявъ всякую способность, да и всякое желаніе отнестись критически къ прочитанному произведенію. Такого рода чтеніе дѣйствительно хорошо въ гигіеническомъ отношеніи послѣ обѣда, и кромѣ того такого рода стихотворенія очень полезны въ типографскомъ отношеніи для пополненія бѣлыхъ полосъ, т. е. страницъ между серьезными статьями и художественными произведеніями, помѣщающимися въ журналахъ. Но знаете ли, что часто случается? Дженгльменъ, наполнившій гладкими пустячками штукъ полтора ста такихъ бѣлыхъ полосъ, производится въ русскіе поэты, становится авторитетомъ, издаетъ собраніе своихъ стихотвореній и начинаетъ помышлять о признательности потомства, о монументѣ аеге peregrinus. Я совершенно согласенъ признать за ними права на монументъ, но позволю себѣ только дать читателю такихъ поэтовъ одинъ совѣтъ: попробуйте, милостивый государь, переложить два-три хорошенькія стихотворенія Фета, Полонскаго, Щербина или Бенедиктова въ прозу и прочтите ихъ такимъ образомъ. Тогда всплывутъ наверхъ, подобно деревянному маслу, два драгоценныя свойства этихъ стихотвореній: во-первыхъ, неподражаемая мелкость основной идеи, и во-вторыхъ, колоссальная напыщенность формы; вамъ покажется, будто вы по ошибкѣ раскрыли томъ сочиненій Марлинскаго, вы припомните семейство Манилова или даже надписи на конфетныхъ билетикахъ, вы закроете книгу и, вѣроятно, согласитесь съ моимъ мнѣніемъ. Мнѣ кажется, что въ стихахъ, какъ и въ прозѣ, прежде всего нужна мысль; отсутствіе мысли можетъ быть замаскировано фантастическими арабесками и затупшевано гладкостью и музыкальностью стиховъ; но то, что лишено мысли, никогда не произведетъ сильнаго впечатлѣнія.

У нашихъ лириковъ, за исключеніемъ Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго

содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ физиономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія тревоженія ихъ собственнаго, узенькаго, психическаго міра: какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно при такой-то разлукѣ, что невзвѣднулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ,—все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ больно мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какимъ манеромъ любить свою возлюбленную Фетъ, или Мей, или Полонскій? Поучитесь-ка, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскимъ поэтомъ, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похожденій и нѣжныхъ чувствованій. Впрочемъ, опять-таки говорю, вы вольны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, воленъ обсуживать вашу дѣятельность, какъ мнѣ угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на одни мои глаза покажется больно пустой и безцвѣтной.

Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: «Филантропъ», «Эпизодъ къ ненаписанной поэмѣ», «Бду ли ночью по улицѣ темной», «Сама», «Живя согласно съ строгою моралью»,—тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаетъ и любить живалъ Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современно развитогаго человѣка, какъ и р о в ѣ д и к а гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, трезвое міросозерцаніе, какъ творца «Трехъ Смертей», «Савонароллы», «Приговора», и т. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ версификаторовъ, о которыхъ я говорилъ на предыдущей страницѣ. Но все-таки, если мы желаемъ изучить тотъ запасъ общечеловѣческихъ идей, который находился въ обращеніи въ мыслящей части нашего общества, если мы хотимъ прослѣдить, какъ эта мыслящая часть относилась къ жизни массы, то мы преимущественно должны обратить наше

вниманіе на тѣхъ трехъ романистовъ, которыхъ имена выписаны въ заглавіи статьи. Ихъ личности, ихъ манера писать, условия ихъ развитія, складъ ихъ таланта, взглядъ на жизнь—все это представляетъ самое пестрое разнообразіе; между тѣмъ всѣ трое пользуются постоянной любовью нашей публики, слѣдовательно или каждый изъ нихъ какой-нибудь стороною своего таланта удовлетворяетъ требованіямъ этой публики, или, извините за откровенность, эта публика не предъявляетъ никакихъ опредѣленныхъ требованій и кушаетъ безъ разбору все, что ей ни поднесутъ. Оба эти предположенія имѣютъ нѣкоторую долю основательности. Дѣйствительно, публика наша не взыскательна и мало развита, какъ въ эстетическомъ, такъ и во всякомъ другомъ отношеніи; съ другой стороны, каждый изъ трехъ названныхъ романистовъ имѣетъ свою характерную особенность; въ Гончаровѣ, напр., развита та сторона, которая слаба въ Тургеневѣ и Писемскомъ; въ Писемскомъ есть такія достоинства, которыхъ вы не найдете ни въ Тургеневѣ, ни въ Гончаровѣ; Тургеневъ задѣignet въ васъ такія струны, которыхъ не шевельнетъ ни Гончаровъ, ни Писемскій; стало быть, публика наша, читая ихъ вмѣстѣ и находя всѣхъ троихъ по своему вкусу, поступаетъ очень основательно; она для своего умственного продовольствія распорядилась точно такъ же благоразумно, какъ опытная хозяйка, заказывающая хорошій обѣдъ и инстинктивно устраивающая такъ, чтобы одно кушанье дополнялось другимъ, чтобы питательныя вещества, не находящіяся въ мясѣ, приносились въ соусѣ и приправѣ, и чтобы такимъ образомъ организмъ вынесъ изъ-за стола возможно большее количество обновляющаго матеріала.

Чтобы открыть характерныя особенности каждаго изъ нашихъ трехъ романистовъ, надо поговорить довольно подробно о каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности. Я начну съ Гончарова; онъ писалъ меньше Писемскаго и Тургенева; его романы менѣе замѣчательны для характеристики русской жизни, и потому съ нимъ легче справиться; покончивши съ нимъ, я оставлю все вниманіе читателей на параллели между Писемскимъ и Тургеневымъ.

## II.

Гончаровъ написалъ только два капитальные романа: «Обыкновенную Исторію» и «Обломова». Первый изъ этихъ романовъ сразу поставилъ его въ ряды первоклассныхъ русскихъ литераторовъ, и его «Очерки кругосвѣтнаго плаванія» и «Обломовъ» были встрѣчены журналами и публикой съ такою радостью, съ какой рѣдко встрѣчаются на Руси литературныя произведенія. Мнѣ кажется, причины этого замѣчательнаго явленія заключаются преимущественно въ томъ, что Гон-

чаровъ по плечу всякому читателю, т. е. для всякаго ясенъ и понятенъ. Онъ вездѣ стоитъ на почвѣ чистой современной практичности, и притомъ практичности не западной, не европейской, а той практичности, которой отличаются образованные петербургскіе чиновники, читающіе помѣщики, разсуждающіе о современныхъ предметахъ барыни, и т. п. Прочтите Гончарова отъ начала до конца, и вы, по всей вѣроятности, ничѣмъ не увлечетесь, ни надъ чѣмъ не замечаетесь, ни о чемъ горячо не заспорите съ авторомъ, не назовете его ни обскурантомъ, ни рьянымъ прогрессистомъ, и, закрывая послѣднюю страницу, скажете очень хладнокровно, что Гончаровъ—очень умный и основательно разсуждающій господинъ. У Гончарова нѣтъ никакого конька, никакой любимой идеи; утопія всякаго рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлеченію онъ относится съ легкимъ и вѣжливымъ оттѣнкомъ прони; онъ—скептикъ, не доводящій своего скептицизма до крайности; онъ—практикъ и матеріалистъ, способный ужиться съ фантазеромъ и идеалистомъ; онъ—эгоистъ, не рѣшающійся взять на себя крайнихъ выводовъ своего міросозерцанія и выражающій свой эгоизмъ въ тепловатомъ отношеніи къ общимъ идеямъ, или даже, гдѣ возможно, въ *инирированіи* человѣческихъ и гражданскихъ интересовъ. Этотъ эгоизмъ проглядываетъ во всѣхъ его произведеніяхъ; кто читалъ «Фрегатъ Палладу» и «Обломова», тотъ не найдетъ удивительнымъ мое мнѣніе. Постоянно спокойный, ничѣмъ не увлекающійся романистъ нашъ развязно подходитъ къ запутаннымъ вопросамъ общественной и частной жизни своихъ героевъ и героинь; безпристрастно и безпристрастно осматриваетъ онъ положеніе, отдавая себѣ и читателю самый ясный и подробный отчетъ въ мелкихъ его особенностяхъ, становясь поочередно на точку зрѣнія каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всѣхъ. Онъ обсуживаетъ положеніе и свойства своихъ дѣйствующихъ лицъ, во всегда воздерживается отъ окончательнаго приговора. Прочитавши «Обыкновенную Исторію», читатель не можетъ сказать, чтобы авторъ сочувствовалъ старшему Адуеву, и не можетъ также сказать, чтобы онъ находилъ его неправымъ; сочувствія къ младшему Адуеву также не видно ни въ ту минуту, когда онъ составляетъ совершенную противоположность съ своимъ дядею, ни въ тотъ моментъ, когда онъ становится на него похожимъ. Вслѣдствіе этого, оканчивая послѣднюю страницу романа, читатель чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ. «Обыкновенная Исторія» производитъ такое впечатлѣніе, какое могла бы произвести отлично нарисованная, но неясно освѣщенная картина; мы чувствуемъ, что авторъ романа—человѣкъ умный, наблюдательный и способный осмысливать свои наблюденія; этотъ

человѣкъ говорить съ нами о явленіяхъ нашей жизни, описываетъ ихъ подробно и наглядно, изображаетъ вліяніе этихъ явленій на молодое существо, знакомящееся съ жизнью, но изображаетъ чисто внѣшнимъ образомъ, перечисляя только симптомы пережѣвъ, происходящихъ въ его героѣ.

Очень естественно, что читатель, заинтересованный настолько же личностью рассказчика, насколько нитью самаго разсказа, ждетъ на каждой страницѣ, чтобы авторъ въ постановкѣ образовъ или въ лирическомъ отступленіи выразилъ бы свои воззрѣнія, сказалъ бы: я считаю это хорошимъ, а то дурнымъ, по такимъ-то причинамъ. Мнѣ могутъ возразить на это, что объективность—высшее достоинство эпического поэта; я отвѣчу, что это одна изъ тѣхъ наслѣдованныхъ отъ предшлага фразъ, которыми пробавляются, за неимѣніемъ лучшаго, эстетика и критика,—одна изъ тѣхъ фразъ, въ которыхъ многіе свѣдущіе, но робкіе люди видятъ предѣлъ, «его же не преидеши». Во-первыхъ, эпическая поэзія въ чистомъ видѣ своемъ теперь невозможна; попробуйте разсказывать событія безъ основной мысли, не группируя ихъ такъ, чтобы читатель могъ видѣть просвѣщающую идею,—вы собьетесь на Дюма-отца, Февала и компанію, и ни одинъ развитой человѣкъ не раскроетъ вашей книги и не скажетъ вамъ спасибо за ваше эпическое спокойствіе. Разсказывать что-нибудь безъ особенной цѣли даже своимъ знакомымъ—свойственно только празднему болтуну или дряхлѣющему старцу, а разсказывать для процесса разсказыванія всей читающей публикѣ—просто недобросовѣстно и невѣжливо; надо помнить, что публика за разсказы платитъ деньги и на чтеніе ихъ тратитъ время. Зачѣмъ же такъ безперемонно обращаться съ достояніемъ ближняго? Я этимъ не хочу сказать, чтобы необходимо было читать публикѣ нравоченія и наставленія. Воже упаси! Это еще скучнѣе! Но дѣло въ томъ, что, собираясь разсказывать что-нибудь, писатель долженъ же самъ имѣть въ головѣ понятіе о томъ, что онъ будетъ сообщать другимъ. Если ему приходится описывать явленіе, зависящее отъ другого явленія, то долженъ же онъ объяснить одно другимъ, вывести одно изъ другого, показать, что такая-то причина должна привести и приводить къ такому-то слѣдствію. Слѣдовательно, рассказчикъ долженъ раскрыть передъ читателемъ свой процессъ мысли. Кроме того, читателю невольно придетъ въ голову вопросъ: да съ какой стати NN разсказываетъ мнѣ эти событія? Что, кроме желанія получить авторскій гонораръ, побудило его написать нѣсколько страницъ, вывести на сцену десятка полтора лицъ и слѣдить за ними въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ ихъ жизни?—Отвѣта на эти естественные вопросы надо искать въ самомъ произведеніи; если произведеніе вылилось изъ души, то писатель, конечно, въ этомъ про-

изведеніи говорить о томъ, что, такъ или иначе, интересуетъ его лично, что затрогиваетъ его за живое, что онъ горячо любитъ или горячо ненавидитъ. Если предметъ его разсказа для него равнодушенъ, то какъ объяснить себѣ то, что онъ обратилъ на него вниманіе, сталъ надъ нимъ задумываться, сталъ уяснять его самому себѣ и, наконецъ, довелъ его до такой степени наглядности, что онъ и для другихъ людей сталъ замѣтенъ, понятенъ и осозателенъ? А если ничего этого не было, если писатель не вдумывался, не уяснял себѣ и т. д., то разсказъ выйдетъ блѣдный и скучный; его дѣйствующія лица будутъ тѣни или маріонетки, но никакъ не живые люди; таковы дѣйствительно бывають разсказы, писанные на заказъ, безъ внутренняго желанія, безъ живого участія къ предмету.

Для того, чтобы печатныя строки казались рѣчами и поступками живыхъ людей, необходимо, чтобы въ этихъ печатныхъ строкахъ сказалась живая душа того, кто ихъ писалъ; только въ этомъ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью писателя и заключается обаятельное дѣйствіе поэзіи; живопись говорить глазу, музыка—уху, а поэзія (творчество)—чисто одному мозгу; вы видите глазомъ черные значки на бѣломъ полѣ и при помощи этихъ значковъ узнаете то, что думалъ человѣкъ, котораго вы, можетъ быть, никогда въ глаза не видали; на васъ дѣйствуетъ чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бывають *личныя*; слѣдовательно, что же останется отъ поэтического произведенія, если вы изъ него вытравите личность автора? Вполнѣ объективная картина—фотографія; вполнѣ объективный разсказъ—показаніе свидѣтеля, записанное stenogramomъ; вполнѣ объективная музыка—шарманка; добиться этой объективности значитъ уничтожить въ поэзіи всякій патетическій элементъ и вмѣстѣ съ тѣмъ убить поэзію, убить искусство, даже науку, даже всякое движеніе мысли.

Личность автора для меня интересна, какъ всякая человѣческая личность, и кроме того какъ личность, чувствующая потребность высказаться, слѣдовательно воспринявшая въ себя рядъ извѣстныхъ впечатлѣній и переработавшая ихъ силой собственной мысли. Личности же вымышленныхъ дѣйствующихъ лицъ я только терплю и допускаю, какъ выраженіе личности автора, какъ форму, въ которую ему заблагоразсудилось вложить свою идею. Если я съ идеей согласенъ, если я ей сочувствую, а выведенныя личности оказываются блѣдными и неестественными, то я скажу, что авторъ—неопытный музыкантъ, что чувство въ немъ есть, а техническаго умѣнія мало; замѣтивши этотъ недостатокъ, я все-таки буду, можетъ быть, нѣкоторые отрывки читать съ удовольствіемъ, вфротно, тѣ отрывки, въ которыхъ сила внутренняго убѣжденія и воодушевленія укрѣпляетъ неопытныя руки виртуоза и заставляетъ его на нѣсколько мгновеній побѣ-

дить трудности техники. «Ничего, со временем будет прокъ, явится навѣкъ»,—можно будетъ сказать, закрывая книгу, написанную такимъ образомъ, т. е. съ неподдѣльной теплотой, но безъ достаточнаго знанія жизни; читатель съ добрымъ чувствомъ разстанется съ такимъ писателемъ и съ радостью встрѣтится съ нимъ въ другой разъ. Но если въ разсказѣ, великолѣпно обставленномъ живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатлѣнiе будетъ совершенно неудовлетворительно. Вамъ покажется, что передъ вами играетъ на фортепiаной какой-нибудь заѣзжий искусникъ, выдѣлывающій удивительныя штуки пальцами, исполняющій съ быстротой молнii невообразимыя трели и рудалы, возбуждающій ваше искреннее изумленiе бѣгlostью рукъ, но ничѣмъ не дающій вамъ почувствовать, что онъ—человѣкъ. Тутъ ужъ нѣтъ никакой надежды; тутъ года не принесутъ пользы; приобрести фактическiя знанiя можно, усвоить технику какого угодно искусства тоже небольшая трудность, но откуда же взять свѣжестъ чувства, самодѣятельной энергii мысли, той электрической, непонятной силы, которая берется въ насъ, Богъ вѣсть откуда, и уходитъ съ годами, Богъ вѣсть куда?

Словомъ, только личное воодушевленiе автора грѣбеть и раскаляетъ его произведенiе; гдѣ этого личнаго воодушевленiя не замѣтно, тамъ, какъ бы ни были вѣрно подмѣчены и искусно сгруппированы подробности, тамъ, повторяю, нѣтъ истинной силы, нѣтъ истинно обаятельнаго влiянiя поэзii, нѣтъ сочувствiя между поэтомъ и читателемъ.

### III.

Между публикой и любимымъ писателемъ почти всегда устанавливаются извѣстныя отношенiя, основанныя на сочувствii и довѣрiи. Любя произведенiя какого-нибудь NN, невольно составляешь себѣ понятiе о его личности, допускаешь въ ней тѣ или другiя свойства и рѣшительно отвергаешь разныя темныя пятна. Иногда случается разочароваться, и часто подобное разочарованiе бываетъ такъ же тяжело, какъ разочарованiе въ близкомъ и дорогомъ человѣкѣ. Гончаровъ—писатель, любимый публикой; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнiя, а между тѣмъ, странное дѣло, между нимъ и публикой положительно нѣтъ подобныхъ отношенiй; его человѣческой личности никто не знаетъ по его произведенiямъ; даже въ дружескихъ письмахъ, составившихъ собою «Фрегатъ Палладу», не сказались его убѣжденiя и стремленiя; выразилось только то настроенiе, подѣ влiянiемъ котораго написаны письма; настроенiе это переходитъ отъ спокойно дѣнливаго къ спокойно веселому, и больше намъ не представляется никакихъ данныхъ для обсужденiя личнаго характера нашего художника. Во всякомъ случаѣ, если два боль-

ше романа, которыхъ сюжеты взяты изъ современной жизни, не выражаютъ ясно даже отношенiй автора къ идеямъ и явленiямъ этой жизни,—это значить, что въ этихъ романахъ есть умышенная или нечаянная недоговоренность, и что эти романы продуманы и состроены, а не прочувствованы и созданы. Вѣрный взглядъ на остова «Обыкновенной Истории» и «Обломова» подтвердитъ эту мысль. «Обыкновенная Исторiя» говоритъ намъ: вотъ что дѣлается изъ молодого человѣка подѣ влiянiемъ нашей петербургской жизни. Ну, что же такое? спрашиваетъ читатель. Чтѣ она его формируетъ или портитъ? Чтѣ она сама хороша или дурна?—На второй вопросъ Гончаровъ отвѣчаетъ такъ: петербургская жизнь вотъ какая, и описываетъ наружность этой жизни, тщательно избѣгая какихъ бы то ни было отношенiй къ этой наружности. Положимъ, у васъ спрашиваютъ, хороша ли такая-то женщина? Вы отвѣчаете:—носъ у нея такой-то длины и такой то ширины, ротъ такой-то величины, зубовъ столько-то, какого-то цвѣта глаза, столько-то линий въ длину и столько-то въ разрьзѣ, цвѣтъ ихъ такой-то, и т. д. Согласитесь, что изъ подобнаго безпристрастнаго описанiя не вынесешь сколько-нибудь цѣлостнаго понятiя о характерѣ физиономii, какимъ бы увлекательнымъ языкомъ ни были записаны эти статистическiя данныя. Точно такъ-же описанiе петербургскаго житiя-бытiя у Гончарова выходитъ неяркимъ потому, что авторъ рѣшительно не хочетъ выразить своего мнѣнiя, своего взгляда на вещи.

На вопросъ о томъ, формируетъ или портитъ эта жизнь молодого Александра Адуева, Гончаровъ ничего не отвѣчаетъ. Онъ самъ рассказываетъ въ концѣ романа, что Александръ приобрѣлъ лысину, почтенную полноту и житейскую опытность, охладившую его мечтательность; тѣмъ дѣло и кончается. Читатель въ правѣ сказать: г. Гончаровъ, я самъ очень хорошо знаю, что у человѣка лѣтъ въ пятьдесятъ вылѣзаютъ волосы, что сидячая жизнь увеличиваетъ въ насъ количество жира, и что съ годами мы становимся опытнѣе. Вы описали это чрезвычайно подробно, вѣрно и наглядно, но вы не сказали намъ ничего новаго и скрыли отъ насъ внутреннiй смыслъ вашихъ сценъ и картинъ. Дѣйствительно, крупныя, типическiя черты нашей жизни почти умыленно сглажены писателемъ и слѣдовательно ускользаютъ отъ читателя; зато отдѣлка подробностей тонка, красива, какъ брюссельскiя кружева, и, по правдѣ сказать, почти такъ же бесполезна. Александръ приходитъ въ соприкосновенiе съ миромъ чиновниковъ—объ этомъ сказано вскользь, и потомъ сообщены результаты, что онъ привыкъ къ канцелярской работѣ и сталъ получать порядочное жалованье. Александръ вступаетъ въ сношенiя съ журналами,—объ этомъ тоже упоминается мимоходомъ, и только для того, чтобы отиѣтитъ приращенiе его годового дохода. Двѣ

такія важныя стороны нашей жизни, какъ бюрократія и періодическая литература, не удостоиваются внимательнаго разсмотрѣнія, а между тѣмъ приводятся отъ слова до слова длиннѣйшіе разговоры между Петромъ Ивановичемъ и Александромъ, между Александромъ и Наденькой, Александромъ и Тафаевой и т. п. Это—ошибка, какъ передъ изображеніемъ самой жизни, такъ даже и передъ личностью самого героя. Положимъ, старшіе родственники и любимыя женщины имѣютъ значительное вліяніе на формирование характера и убѣжденій; но вѣдь все-таки формируетъ-то самая жизнь, столкновение съ ея дразнами, съ ея сѣрыми трудовыми сторонами; намъ любопытно видѣть, какъ живутъ герои Гончарова, а онъ намъ показываетъ, какъ они резонерствуютъ о жизни или мечтаютъ о ней, сидя рядомъ съ героинями гдѣ-нибудь подъ кустомъ сирени, въ тѣнистой бесѣдкѣ. Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а развѣ крошечный уголокъ жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивленія: онъ умѣетъ удерживать насъ на этомъ крошечномъ уголкѣ въ продолженіе цѣлыхъ сотенъ страницъ, не давая намъ ни на минуту почувствовать скуку или утомленіе; онъ чаруетъ насъ простотой своего языка и свѣжей полнотой своихъ картинъ, но если вы по прочтеніи романа захотите отдать себѣ отчетъ въ томъ, чтѣ вы вмѣстѣ съ авторомъ пережили, передумали и перечувствовали, то у васъ въ итогѣ получится очень немного. Гончаровъ открываетъ вамъ цѣлый міръ, но міръ микроскопическій; какъ вы приняли отъ глаза микроскопъ, такъ этотъ міръ исчезъ, и капля воды, на которую вы смотрѣли, представляется вамъ снова простой каплей. Если бы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ея широтѣ, во всемъ ея пестромъ разнообразіи,—какія бы чудеса она могла произвести!—Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализѣ мелочей, тотъ, стало быть, и неспособенъ идти дальше и подниматься выше. Гончаровъ останется на анализѣ мелочей потому, что у него нѣтъ побудительной причины перейти къ чему-либо другому; онъ холоденъ, его не волнуютъ и не возмущаютъ крупныя нелѣпости жизни; микроскопическій анализъ удовлетворяетъ его потребности мыслить и творить; на этомъ поприщѣ онъ пожинаетъ обильныя лавры—стало быть, о чемъ же еще хлопотать, къ чему еще стремиться? Словомъ, Гончаровъ, какъ художникъ, то же самое, что Срезневскій, какъ ученый; первый творитъ для процесса творчества, не заботясь о степени важности тѣхъ предметовъ, которые онъ воспріимаетъ, не спрашивая себя о томъ, высѣкаетъ ли онъ своимъ рѣзцомъ великолѣпную статую или вытачиваетъ красивую бездѣлушку для письменнаго стола богатаго барина; второй точно такъ-же изслѣдуетъ для процесса изслѣдованія, не спра-

шивая себя о томъ, стоитъ ли игра свѣчей, и выйдетъ ли изъ его трудовъ какой-нибудь осязательный результатъ. Обѣ эти личности, представители одного типа, выработались подъ вліяніемъ извѣстныхъ условий, сжились съ ними и, почисливъ вопросы жизни рѣшенными вполнѣ удовлетворительно, обратили дѣятельность свою на шлифованіе подробностей, не имѣющихъ даже относительной важности. Какъ,—спросить съ негодованіемъ мой читатель,—и «Обломовъ»—шлифованіе подробностей? Да,—отвѣчу я съ подобающею скромностію.—«Обломовъ», какъ нравоописательный романъ, не что иное, какъ шлифованіе подробностей. Типъ Обломова не созданъ Гончаровымъ; это повтореніе Вельтова, Рудина и Бешметева; но Вельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ приведены въ связь съ коренными свойствами и особенностями нашей начинающейся цивилизаціи, а Обломовъ поставленъ въ зависимость отъ своего неправильно сложившагося темперамента. Вельтовъ и Рудинъ сломлены и помяты жизнью, а Обломовъ просто лѣнивъ, потому что лѣнивъ. Вліяніе общества на личность героя здѣсь, какъ и въ «Обыкновенной Исторіи», скрыто отъ глазъ читателя; авторъ понимаетъ, что оно должно существовать, но онъ держитъ его гдѣ-то за кулисами, и изъ-за этихъ кулисъ его герой выходитъ совершенно готовымъ и начинаетъ разсуждать и ходить по сценѣ. Если читатель возразитъ мнѣ, что «Сонъ Обломова» объясняетъ намъ процессъ его развитія, то я на это отвѣчу, что «сонъ» говоритъ только о младенческихъ годахъ нашего героя. Никакой характеръ не оказывается сложившимся въ десяти или двѣнадцатилѣтнемъ мальчикѣ; тѣмъ болѣе не могъ сложиться въ такіе годы характеръ Обломова, котораго и въ тридцать-пять лѣтъ можно было ворочать куда угодно; стало быть, зачѣмъ же авторъ, заговоривши о воспитаніи и развитіи своего героя, не далъ намъ сценъ изъ его гимназической, студенческой, чиновнической жизни? Вѣдь это, воли ваша, было бы не только плодотворнѣе, но даже интереснѣе многихъ сценъ между Обломовымъ и Захаромъ. Вѣдь любопытно знать, что именно формируетъ у насъ Обломовыхъ, гораздо любопытнѣе, чѣмъ смотрѣть на то, какъ уже сформированные Обломовы, т. е. люди, на которыхъ надо махнуть рукой, валяются на диванѣ и плюютъ въ потолокъ. Но, какъ вездѣ, интересный, живой вопросъ обойденъ, а подробностей гибель.

Изображая личность Обломова, Гончаровъ могъ еще ограничиться тѣсною сферой, не выходя изъ предѣлы кабинета и спальни и занимать читателя пересказываніемъ того, что говорили между собою Илья Ильичъ и Захаръ. Но вотъ нашъ художникъ хочетъ противопоставить своему лѣнивому герою лицо дѣятельное, весело и дѣльно смотрящее на жизнь энергически расправляющееся съ ея дразнами и невзгодами. Является

Андрей Иванович Штольцъ, о которомъ даже самъ авторъ возвѣщаетъ не безъ торжественности, говоря, что это человѣкъ будущаго, что много Штольцевъ кроется подъ русскими именами, что люди такого закала будутъ дѣлать дѣло, какъ слѣдуетъ. О, думаете вы, вотъ тутъ-то Гончаровъ выскажетъ то, что у него на душѣ, тутъ-то онъ воспользуется всѣми собранными матеріалами, чтобы дать плоть и кровь этому человѣку будущаго, тутъ-то онъ приведетъ своего любимаго героя въ столкновение съ разными сторонами и типическими особенностями нашей жизни. Вы продолжаете читать съ возрастающимъ нетерпѣніемъ, и убѣждаетесь въ томъ, что Штольцъ ведетъ себя точно такъ же, какъ всѣ гончаровскіе герои, т. е. много говоритъ, хорошо округляетъ періоды, самодовольно развертываетъ передъ слушателемъ свои убѣжденія и ничего не дѣлаетъ: о его дѣятельности, которая составляетъ сущность его характера и замѣчательнѣйшее его достоинство, авторъ рассказываетъ намъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ. Штольцъ представленъ внѣ жизни; а Штольцъ безъ жизни все равно, что рыба безъ воды. Онъ выведенъ изъ своего естественнаго положенія, и потому самъ блѣденъ и неестествененъ до крайности. Такъ какъ онъ на нашихъ глазахъ не дѣйствуетъ, то ему, чтобы зарекомендовать себя читателю, поневолѣ приходится говорить самому о себѣ: «я, дескать, человѣкъ дѣятельный, вѣрте мнѣ на слово»; автору точно такъ-же приходится обращаться къ вѣрѣ читателя и говорить ему: «Штольцъ у меня человѣкъ дѣятельный; дѣятельности вы его не увидите, но онъ, право, постоянно занятъ». Читатель, расположенный къ скептицизму, подумаетъ при этомъ такъ: «если романтизму приписываетъ одному изъ своихъ героев какое-нибудь качество, а между тѣмъ это качество не выражается въ его дѣйствіяхъ, то я, читатель, имѣю право заключить, что у автора не хватило силъ вложить въ образы то, что онъ выразилъ въ отвлеченной фразѣ. Дѣятельный Штольцъ принадлежитъ къ разряду лицъ, подобныхъ добродѣтельному становому Львова и знаменитому чиновнику его сіятельства графа Соллогуба». Читатель-скептикъ не ошибется въ своемъ предположеніи.

Впрочемъ, то обстоятельство, что Гончаровъ взялся за сооруженіе своего Штольца, и то обстоятельство, что это сооруженіе вышло до крайности неудачнымъ, такъ характерны, что объ нихъ стоитъ поговорить подробнѣе. Дѣйствующія лица романовъ Гончарова постоянно вращаются въ безразличной атмосферѣ, живутъ въ тѣхъ комнатахъ, въ которыя не проникаетъ русскій духъ, и становятся другъ къ другу въ такія отношенія, которыя завязаты отъ особенностей ихъ личнаго характера, а не отъ условій мѣста и времени. Декораціи у Гончарова русскія; для обстановки онъ выводитъ русскаго ла-

кея, русскую кухарку, но это—аксессуары, которые могутъ быть устранены, не нарушая завязки романа; главные дѣйствующія лица созданы головой автора, а не навѣяны впечатлѣніями живой дѣятельности. Задавшия своей идеей, набросавъ ее въ общихъ чертахъ, Гончаровъ потомъ уже съ натуры подрисовываетъ подробности, и все вмѣстѣ выходитъ очень удовлетворительно и на первый взглядъ кажется романомъ, взятымъ изъ русской жизни и воспроизводящимъ русскіе типы. Но это только на первый взглядъ. Отдѣляйтесь только отъ обаянія великолѣпнаго языка, отбросьте аксессуары, не относящіеся къ дѣлу, обратите все ваше вниманіе на тѣ фигуры, въ которыхъ сосредоточивается смыслъ романа, и вы увидите, что въ нихъ нѣтъ ничего русскаго и кромѣ того—ничего типичнаго. Если мы поступимъ такимъ образомъ съ «Обыкновенной Исторіей», то увидимъ, что смыслъ романа лежитъ въ двухъ фигурахъ, въ дядѣ и племянникѣ, и что изъ этихъ двухъ фигуръ одна невѣрна и неестественна, а другая совершенно пассивна и безцвѣтна.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя,—не вѣренъ съ головы до ногъ. Это какой-то англійскій джентльменъ, пробившій себѣ дорогу въ люди силой своего ума, составившій себѣ карьеру и состояніе и при этомъ нисколько не загрязнившійся. Въ нашемъ отечествѣ дорога къ почестямъ и деньгамъ усѣяна всякаго рода терніями. Кто хочетъ преуспѣть на томъ поприщѣ, по которому путешествовалъ Петръ Ивановичъ, тотъ немного сохранить въ себѣ гонора и фанаберіи; подъ старость непременно дойдетъ до положенія Фамусова, а вѣдъ между Фамусовымъ и Петрошъ Ивановичемъ—огромная разница. Петра Ивановича видимо уважаетъ Гончаровъ, а къ Фамусову онъ, по всей вѣроятности, отнесся бы съ добродѣтельнымъ презрѣніемъ. Это видимое различіе между Фамусовымъ и Петрошъ Ивановичемъ не можетъ быть объяснено различіемъ времени. Скажите по совѣсти, неужели мы такъ много ушли впередъ съ тѣхъ поръ, какъ была написана комедія Грибоѣдова? Неужели вы до сихъ поръ не встрѣчаете между вашими знакомыми Фамусова, Молчалина и Скалозуба? Формы стали дѣйствительно поприличнѣе, но что же это за утѣшеніе? Неужели же Гончаровъ, выводя своего героя, обманулъ внѣшней благопристойностью формы и не умѣлъ заглянуть поглубже и распознать подъ гладкими фразами Петра Ивановича родовыхъ свойствъ фамусовскаго типа? Врядъ ли такой острый аналитикъ могъ впасть въ грубую ошибку, въ которой можетъ уличить его всякій школьникъ. Мнѣ кажется, дѣло въ томъ, что въ самомъ Фамусовѣ авторъ «Обыкновенной Исторіи» осудилъ бы не сущность, а внѣшнее неблагоураженіе. Потихоньку вести свои дѣла, заводитъ связи и поддерживать ихъ изъ чистаго расчета, заниматься такимъ дѣломъ, къ

которому не лежить сердце и котораго не оправдываетъ умъ, оставлять подъ сѣдломъ въ практикѣ тѣ идеи, которыя исповѣдуешь въ теоріи, смотрѣть съ скептической улыбкой на порывы молодежи, стремящейся обратить слово въ дѣло,—всѣ эти вещи можно назвать благоразуміемъ, лишь бы онѣ не представлялись въ полной наготѣ, безъ прикрасъ и смягченій. Своему герою Гончаровъ приписываетъ именно это благоразуміе, утаивая и сглаживая тѣ сѣреннія стороны, которыя неизбежно связаны съ этимъ благоразуміемъ. Но утаить и сгладить эту обратную сторону медали можно было только съ тѣмъ условіемъ, чтобы показывать читателямъ одну сторону дѣла. Если бы Гончаровъ вздумалъ выдержать очерченный имъ характеръ, привелъ его въ столкновение со всѣми фазами русской жизни, тогда ему пришлось бы всѣ эти фазы выдумать самому, и тогда вопиющая неестественность бросилась бы въ глаза каждому читателю. На этомъ основаніи надо было пройти молчаніемъ всѣ отношенія Петра Ивановича къ тому міру, который лежитъ за предѣлами его кабинета и спальни. На этомъ основаніи нельзя было сказать ни слова о томъ, какъ Петръ Ивановичъ вышелъ въ люди; даже тѣ средства и пути, которыми его племянникъ пріобрѣлъ себѣ независимое положеніе, покрыты мракомъ неизвестности. Петръ Ивановичъ, какъ чиновникъ, какъ подчиненный, какъ начальникъ, какъ свѣтскій человѣкъ,—не существуетъ для читателя «Обыкновенной Исторіи», и не существуетъ именно потому, что автору предстояло рѣшить грозную дилемму: или выдумать отъ себя русскую жизнь и превратить Петербургъ въ Аркадію, или бросить грязную тѣнь на своего героя, какъ на человѣка подкупленного этой жизнью и отстаивающаго ея нелѣпости ради своихъ личныхъ выгодъ. Чтобы не насиловать явленій жизни, чтобы не становиться къ нимъ въ ложныя отношенія и чтобы не закидать грязью своего героя, Гончаровъ заблагоразсудилъ въ «Обыкновенной Исторіи» совершенно отвернуться отъ явленій жизни. Отнестись къ нимъ съ тѣмъ суровымъ отрицаніемъ, съ которымъ относились къ нимъ всѣ честные дѣятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity Гончаровъ не рѣшился. Почему?—Отвѣчать на этотъ вопросъ не мое дѣло; пусть отвѣчать на него самъ романистъ. Во всякомъ случаѣ, въ «Обыкновенной Исторіи» онъ исполнилъ удивительный *tour de force*, и исполнилъ его съ безпримѣрной ловкостью; онъ написалъ большой романъ, не говоря ни одного слова о крупныхъ явленіяхъ нашей жизни; онъ вывелъ двѣ невозможныя фигуры и увѣрилъ всѣхъ въ томъ, что это дѣйствительно существующіе люди; онъ сталъ въ первый рядъ русскихъ литераторовъ, не откликаясь ни однимъ звукомъ на вопросы, поставленные исторической жизнью народа, пропускаемая мимо ушей то, что носится въ воздухѣ

и составляетъ живую связь между живыми дѣятелями. Исполнить такого рода *tour de force*, и притомъ исполнить его на глазахъ Бѣлинскаго, удалось Гончарову, только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, безпримѣрной тщательности въ отдѣлкѣ мелочей и подробностей. Герои Гончарова ведутъ между собой такіе живые переговоры, что, прислушиваясь къ нимъ, невольно забываешь невѣрность ихъ типа и невозможность ихъ существованія. А между тѣмъ эта невѣрность и невозможность, не заявленная положительно въ нашей критикѣ, заявляются въ ней отрицательно. Рудина, Лаврецаго, Калиновича, Бешметева наши критики берутъ, какъ представителей типовъ, какъ живыхъ людей, служащихъ образчиками русской природы, а героиъ Гончарова никто не беретъ такимъ образомъ, потому что, повторяю, въ нихъ нѣтъ ничего русскаго, и нѣтъ никакой природы.

Оба Адуевы, дядя и племянникъ, не обратились и никогда не обратятся въ полу-нарицательныя имена, подобныя Онѣгину, Фамусову, Молчалину, Поздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Федоровича Адуева, племянника? Только и скажешь, что у него нѣтъ личности, а между тѣмъ даже и безличность или безхарактерность не можетъ быть поставлена въ число ихъ свойствъ. Онъ молодъ, прѣзжаетъ въ Петербургъ съ большими надеждами и съ сильной дозой мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбиваетъ его надежды и заставляетъ его быть скромнѣе и смотрѣть подъ ноги, вмѣсто того, чтобы носиться въ пространствахъ эоира. Онъ влюбился—ему измѣняетъ любимая дѣвушка; онъ напускаетъ на себя хандру—и понемногу отъ нея выльчивается; потомъ онъ влюбляется въ другую, и на этотъ разъ уже самъ измѣняетъ своей Дульциней; съ годами онъ становится разсудительнѣе; при этомъ онъ постоянно споритъ съ своимъ дядею и мало-по-малу начинаетъ сходиться съ нимъ во взглядѣ на жизнь; романъ кончается тѣмъ, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно въ понятіяхъ и наклонностяхъ.—«Это канва романа,—скажете вы,—это—общія черты, контуры, которые можно раскрасить, какъ угодно». Это правда; и эти контуры такъ и остались нераскрашенными; бѣдность и недодѣланность ихъ опять—таки замаскированы тщательностью внѣшней отдѣлки. Напримѣръ, Александръ ѣдетъ къ той дѣвушкѣ, которую онъ любитъ; онъ чувствуетъ сильное нетерпѣніе, и Гончаровъ чрезвычайно подробно рассказываетъ, въ какихъ именно внѣшнихъ признакахъ проявлялось это нетерпѣніе, какъ сидѣлъ его герой, какъ онъ перемѣнялъ положеніе, какое впечатлѣніе производили на него окрестныя виды; потомъ эта дѣвушка ему измѣнила, предпochла другого,—и Гончаровъ опять—таки съ дагерротипической вѣрностью воспроизводитъ внѣш-

нія выраженія отчаянія, а потомъ апатію своего героя. Онъ пишетъ вообще исторію болѣзни, а не характеристику больного: поэтому, если бы романъ Гончарова попался въ руки какому-нибудь разумному жителю луны, то этотъ господинъ могъ бы составить себѣ довольно вѣрное понятіе о томъ, какъ говорятъ, любятъ, живутъ, наслаждаются и страдаютъ на землѣ животныя, называемыя людьми. Но мы, къ сожалѣнію, все это знаемъ по горькому опыту, и потому тѣ общія черты, которыя нашъ романистъ разрабатываетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ, представляютъ для насъ мало существеннаго интереса. Мы знаемъ, что, отправляясь на свиданіе съ любимой женщиной, молодой человекъ чувствуетъ усиленное біеніе сердца; какъ подробно ни описывайте этотъ симптомъ, вы охарактеризуете только извѣстное физиологическое отправление, а не очертите личной физиономіи. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, какъ человекъ жуетъ или храпитъ во снѣ, или сморкается. Дѣло другое, если герой, отправляясь на свиданіе, перебираетъ въ головѣ такія идеи, которыя составляютъ его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоятъ отмѣтить и воспроизвести. Но Гончаровъ думаетъ иначе; онъ съ зеркальной вѣрностью отражаетъ все или, вѣрнѣе, все то, что находить удобоотражаемымъ, все бездѣльное, т. е. именно все то, чего не слѣдовало и не стоило отражать.

Условія удобоотражаемости измѣняются съ годами; чтó было неудобно дѣять десять тому назадъ, то сдѣлалось удобнымъ и общепринятымъ теперь. Вслѣдствіе этихъ измѣненій въ воздухѣ времени, измѣнились и направленіе Гончарова. Его «Обыкновенная Исторія», за исключеніемъ послѣднихъ страницъ, которыя какъ-то не вяжутся съ цѣлымъ и какъ будто приклеены чужой рукой, говорить довольно прямо, хоть и очень осторожно: «эхъ, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремленія въ даль, къ усовершенствованіямъ, къ лучшему порядку вещей!—все это пустяки, фантазерство!—надѣньте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпиміемъ, молчите, когда васъ не спрашиваютъ, говорите, когда прикажутъ и что прикажутъ, скрипите перьями, не спрашивая, о чемъ и для чего вы пишете,—и тогда, повѣрьте мнѣ, всѣ будутъ вами довольны, и вы сами будете довольны всѣмъ и всѣми».

Эти мысли и воззрѣнія въ свое время были какъ нельзя болѣе кстати, ихъ надо было только выразить съ нѣкоторой осторожностью, чтобы не прослыть за послѣдователя почтеннѣйшаго Булгарина; а, какъ мы видѣли, дипломатической осторожности въ «Обыкновенной Исторіи» дѣйствительно гораздо больше, чѣмъ мысли, и несравненно больше, чѣмъ чувства. Но времена переѣмнились, и пришлось настраивать лиру на

новый ладъ; всѣ заговорили о прогрессѣ, о разумѣ, и Гончаровъ также заблагоразсудилъ дать нашему обществу урокъ, наставить его на путь истины и указать ему на свѣтлое будущее. «Россіяне!—говорить онъ въ своемъ «Обломовѣ»,— всѣ вы спите—всѣ вы равнодушны къ судьбѣ родины, всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна и заплыли жиромъ, что мнѣ, романисту, приходится въ укоръ вамъ брать своего положительнаго героя изъ нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя русской земли».—И россияне, со свойственной имъ однимъ добродушной наивностью, умиляются надъ гениальнымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную до-нельзя фигуру Обломова и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: «да, да! вотъ наша язва, вотъ наше общее страданіе, вотъ корень нашихъ золъ—Обломовщина, Обломовщина!... Всѣ мы—Обломовы! всѣ мы ничего не дѣлаемъ! а дѣло ждетъ» и т. д.

Добрые люди! напрасно вы такъ на себя ропщете; да что же вы будете дѣлать? Какая это вамъ пригрѣзилась работа? Это, должно быть, одно изъ слѣдствій вашего продолжительнаго сна; перевернитесь на другой бокъ и усните опять. Вы можете быть или Обломовыми, или Молчаливыми, Фамусовыми и Петрами Ивановичами; первые—байбаки, тряпки; вторые—положительные дѣятели; но всякій порядочный человекъ скорѣе согласится быть Обломовымъ, чѣмъ Фамусовымъ. Гончаровъ, какъ авторъ «Обломова» \*), думаетъ иначе; онъ думаетъ, что дѣло ждетъ, а работники спятъ, такъ что приходится нанимать ихъ за границей; спать они не потому, что ихъ измучила работа, не потому, чтó ихъ истомила жажда и пропекли жгучіе лучи солнца, а потому, что—негодящій народъ, лѣнтяи, увальни, жиромъ заплыли! Вотъ ужъ это дешевая клевета, пустая фраза, разведенная на цѣлый огромный романъ. Гончаровъ, какъ Паншинъ въ романѣ Тургенева «Дворянское Гнѣздо», думаетъ, что стоитъ только захотѣть, такъ сейчасъ и посыплются въ ротъ жареные рибчики, и l'idée du cadastre будетъ популяризирована; вотъ поэтому его «Обломовъ» и относится къ тогдашнему пробужденію дѣятельности, какъ замѣчаніе начальника, высказанное подчиненному: «что-жъ вы, дескать, любезный мой, спите? вѣдь такъ нельзя! вы видите, я самъ не жалѣю силъ». Гончаровъ, очевидно, думалъ этой мыслью попасть въ ноту, и дѣйствительно многимъ показалось, что онъ попалъ, а на повѣрку выходитъ, что пѣнье было фальшивое, да и подтягиваль-то онъ

\*) Какъ авторъ „Обыкновенной Исторіи“, Гончаровъ думаетъ совсѣмъ не то: тамъ онъ думаетъ, что все хорошо и всѣ хороши; стоитъ только приглядѣться да втянуть.



не теноромъ, а фистулой. Дѣло въ томъ, что Обломовъ похожъ на Бельтова, Рудина и Бешметева, только гораздо рѣзче обрисованъ; вотъ многимъ, если не всѣмъ, и покажись въ то время, что Гончаровъ говоритъ то же самое, что Тургеневъ и Писемскій; а Гончаровъ говорилъ другое, только съ свойственной ему осторожностью. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ доходятъ до своей дрянности вслѣдствіе обстоятельствъ, а Обломовъ—вслѣдствіе своей природы. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ—люди измѣтые и невообразимые жизнью, а Обломовъ—человѣкъ ненормального тѣлосложенія. Въ первомъ случаѣ виноваты условія жизни, во второмъ—организация самого человѣка. По мнѣнію Тургенева, Писемскаго и др., наше общество нуждается въ реформахъ; по мнѣнію Гончарова, мы всѣ—больные, нуждающіеся въ лѣкарствахъ и въ совѣтахъ врача. Согласитесь, что это не совсѣмъ то же самое. Вотъ изъ этого-то взгляда и вытекла попытка Гончарова соорудить нелѣпую фигуру Штольца. Положительныхъ дѣятелей нѣтъ,—это фактъ, который рѣшается признать нашъ романистъ; но почему ихъ нѣтъ? спрашиваетъ онъ. Дать на этотъ вопросъ удовлетворительный отвѣтъ онъ боится, потому что такой отвѣтъ можетъ повести ужасно далеко, по русской пословицѣ: «языкъ до Кіева доведетъ». Вотъ онъ и отвѣчаетъ: «дѣятели нѣтъ, потому что мы страдаемъ Обломовщиной». Это не отвѣтъ, это повтореніе вопроса въ другой формѣ, а между тѣмъ фраза облетѣла всю Россію, «Обломовщина» вошла въ языкъ, и даже талантливый критикъ «Современника» посвятилъ цѣлую критическую статью на разборъ вопроса: что такое Обломовщина?

Далѣе Гончаровъ разсуждаетъ такъ: если мы страдаемъ припадками болѣзни, то, чтобы изобразить положительнаго дѣятеля; стоитъ только представить здороваго человѣка; въ насъ недостаетъ энергіи, стало быть, если приписать энергію какому-нибудь джентльмену, если заставить его ходить большими шагами, говорить рѣшительно и громко, рѣшать, не задумываясь, теоретическіе вопросы,—великая задача будетъ рѣшена; ключъ найденъ, рецептъ положительнаго дѣятеля составленъ; остается только послать въ аптеку, чтобы тамъ подписали: «ordinavit nobis doctor vitae russicae I. Gontcharow». А ну, какъ въ аптекѣ не найдется матеріаловъ? Что, если провизоръ усмѣхнется, прочитавъ рецептъ, и отвѣтитъ ученому доктору, что такихъ спецій въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и что такіе химическіе соединенія невозможны ни подъ какой широтой? Что тогда? Ничего. Докторъ умоетъ руки, скажетъ, что больной непременно выздоровѣлъ бы, если бы можно было найти птичье молоко, о которомъ толкуетъ его рецептъ. Въ дѣйствительности больной не поправится, но зато докторъ будетъ правъ: онъ не задумался, онъ рѣшилъ

вопросъ; его-ли вина, что вопросъ можетъ быть рѣшенъ только въ теоріи или, вѣрнѣе, въ фантазіи? Да и всего вѣрнѣе, что робкій провизоръ не отвѣтитъ доктору такъ рѣзко, какъ мы это предположили. Благоговѣя передъ репутаціей ученаго мужа, онъ начнетъ смѣшивать и размѣшивать, и если у него не выйдетъ требуемаго соединенія, отнесетъ свою неудачу на счетъ собственной неловкости, вмѣсто того, чтобы обличить эскулапа въ невѣжество и шарлатанствѣ.

Благоговѣніе передъ авторитетами, общими и частными, одинаково сильно: въ аптекахъ и въ журналахъ. Если откинуть это благоговѣніе, то надо будетъ сказать напрямикъ, что весь «Обломовъ»—клевета на русскую жизнь, а Штольць—просто faux-ſuyant, подставное рѣшеніе вопроса, вмѣсто истиннаго, попытка разрубить фразами тотъ узелъ, надъ которымъ, не жалѣя глазъ и костей, трудятся въ продолженіе цѣлыхъ десятилѣтій истинно добросовѣстные дѣятели. Да! Авторъ «Обыкновенной Исторіи» напрасно прикинулся прогрессистомъ. Обращаясь къ нашему потомству, Гончаровъ будетъ имѣть полное право сказать: не поминайте лихомъ, а добромъ не чѣмъ!

#### IV.

Теплѣе и искреннѣе могутъ быть наши отношенія къ Тургеневу и Писемскому. Оба они—честные дѣятели и прямые люди; оба смотрятъ на явленія нашей жизни, понимая и чувствуя свое сродство съ ними, оба говорятъ о нихъ то, что думаютъ въ самомъ дѣлѣ, говорятъ искренно и задушевно, не задавая себѣ задачи поддѣлаться подъ господствующій тонъ. За эту правдивость, за эту честную стойкость имъ можно сказать большое спасибо; говорить, что думаешь, не насилуя себя,—совсѣмъ не такъ легко, какъ кажется; этого даже нельзя и требовать отъ всякаго, но этимъ свойствомъ надо дорожить въ тѣхъ людяхъ, въ которыхъ оно встрѣчается. Имена двухъ романистовъ нашихъ, Тургенева и Писемскаго, чисты; никто не обвинитъ ихъ, какъ людей и какъ писателей, въ потаканіи и нашамъ, и вашимъ. Это отрицательное достоинство, можетъ замѣтить читатель; съ этимъ совершенно согласенъ, но именно это отрицательное достоинство въ наше время такъ рѣдко, что его стоитъ отмѣтить тамъ, гдѣ мы замѣчаемъ. Читая романы Писемскаго и Тургенева, приятно сознавать, что каждая строчка ихъ произведеній—не фраза, брошенная для удовольствія тѣхъ или другихъ читателей, а дѣйствительное выраженіе дѣйствительно существующаго въ авторѣ чувства или возрѣнія. Съ этими чувствами и возрѣніями можно не соглашаться, но ихъ нельзя не уважать, потому что право на уваженіе имѣетъ всякое искреннее убѣжденіе.

Существенное различіе между Тургеневымъ и

Писемскимъ бросается въ глаза при самомъ бѣгломъ обзорѣ ихъ произведеній; это различіе было не разъ отмѣчено въ нашей критикѣ; еще недавно А. Григорьевъ называлъ Писемскаго представителемъ реализма, и Тургенева—представителемъ и чуть-ли не послѣднимъ могиканомъ идеализма. Такого рода разграниченіе обыкновенно ведетъ къ спору о сравнительномъ достоинствѣ этихъ двухъ направленій и слѣдовательно заводитъ въ такую глубь эстетики, которою, какъ мнѣ кажется, было бы бесполезно и невѣжливо утомлять читателя. Для меня Тургеневъ и Писемскій важны настолько, насколько они разъясняютъ явленія жизни; слѣдовательно, для меня всего интереснѣе отношенія ихъ къ изображаемымъ ими типамъ. Что же касается до того, какъ каждый изъ нихъ рисуется явленія и картины, то этотъ вопросъ имѣетъ для меня совершенно второстепенный интересъ. Пусть одинъ рисуется крупными штрихами, а другой съ любовью отдѣлываетъ подробности—все равно; они могутъ сходиться между собою въ результатахъ. Разбирать манеру писателя и отдѣлять ее отъ манеры другого писателя—почти то же самое, что писать стилистическое изслѣдованіе; это, конечно, важно для характеристики писателя, но это не можетъ служить отвѣтомъ на нашъ вопросъ: что сдѣлали Тургеневъ и Писемскій для нашего общественнаго сознанія?—Чтобы сколько-нибудь разрѣшить этотъ важный и интересный вопросъ, надо обратиться къ остову романовъ и повѣстей нашихъ литераторовъ, взглянуть на нихъ почти à vol d'oiseau, отмѣтить выдающіеся типы и, главное, отдать себѣ ясный отчетъ въ отношеніи авторовъ къ этимъ типамъ.

При теперешнемъ положеніи женщины въ обществѣ и въ семействѣ, мужчина является необходимымъ и единственнымъ проводникомъ идей, носившихся въ воздухѣ эпохи,—въ тѣ домашніе кружки, которые замѣняютъ намъ общество. Подъ влияніемъ этихъ идей, понятыхъ такъ или иначе, складываются обстоятельства жизни, формируются характеры, опредѣляются направленія мысли и дѣятельности. Мужчины приходятъ въ непосредственныя столкновенія съ жизнью; они серьезно учатся, служатъ, обдѣлываютъ жизнь въ ту или другую форму, смотря по своимъ силамъ и по обстоятельствамъ времени и мѣста. Женщины въ настоящее время зависятъ отъ мужчинъ въ отношеніи къ своему матеріальному положенію, въ отношеніи къ своему развитію, къ взгляду на жизнь, къ тому складу и направленію, которое принимаетъ все ихъ существованіе. При анализѣ романа не мѣшаетъ взять отдѣльно эти два ряда типовъ и личностей; одни лица—дѣятельныя, распоряжающіяся обстоятельствами, испытывающія на себѣ ихъ непосредственное влияніе; другія лица—пассивныя, зависящія отъ первыхъ, получающія отъ нихъ свѣтъ преломленный и видоизмѣненный. Мужчины зависятъ

отъ общихъ условій; женщины—отъ частныхъ условій, отъ отдѣльныхъ личностей, отъ отца, отъ старшаго брата, отъ любовника или мужа. Общія условія почти для всѣхъ одни и тѣ же; слѣдовательно, эти условія въ извѣстной сферѣ общества вырабатываютъ довольно опредѣленное количество типовъ: личнаго разнообразія искать и требовать мудрено; одинъ мирится съ общими условіями, другой заявляетъ свой протестъ,—вотъ вамъ двѣ главныя категоріи, подъ которыя можно подвести личности мыслящія и дѣйствующія; однѣ идутъ направо, другія налево; кромѣ того, однѣ идутъ по избранному направленію скорѣе, другія медленнѣе: однѣ идутъ сознательно, другія изъ обезьянства; однѣ легко устаютъ, другія оказываются неутомимыми; но всѣ эти второстепенные отбѣнки происходятъ уже отъ того, что у одного человѣка больше мозга въ головѣ, у другого больше крови въ жилахъ, у третьяго больше лимфы въ сосудахъ, у четвертаго больше желчи выдѣляется изъ печени. Физиологу можетъ быть очень интересно разграничивать эти отбѣнки и сортировать соответственно съ ними людскіе характеры, но для физиологіи общества подобныя изслѣдованія будутъ довольно бесплодны.

Изучая общество, талантливый и умный романистъ выводитъ слабаго, сильнаго, безцвѣтнаго человѣка, и т. д. не для того, чтобы сказать читателю: «вотъ посмотрите, господа, какіе бываютъ люди!», а для того, чтобы сказать ему: «вотъ посмотрите, какъ дѣйствуютъ на различныхъ людей тѣ условія жизни, тѣ идеи и стремленія, среди которыхъ живете вы сами. Посмотрите, какіе типы формируются подъ влияніемъ этихъ условій». Только тогда, когда романистъ доходитъ до такихъ размышленій, онъ является истиннымъ художникомъ, потому что только тогда онъ вполнѣ овладѣваетъ своимъ предметомъ и перерабатываетъ его силой живущей мысли. Гдѣ нѣтъ этой переработки, тамъ есть только списываніе картинокъ съ природы,—списываніе, предпринимаемое для препровожденія времени,—списываніе, при которомъ ни сила мысли, ни сила чувства не подсказываетъ рисовальщику истиннаго общаго смысла тѣхъ явленій, которыя онъ кладетъ на полотно или на бумагу. Какъ бы ни былъ ярко нарисованъ поэтическій образъ, я имѣю полное право спросить: на что онъ мнѣ нуженъ? что у меня съ нимъ общаго? отвѣчаетъ ли онъ хоть на одинъ жизненный вопросъ?—Если эти вопросы останутся безъ отвѣта, я смѣло отнесу яркій образъ къ разряду пестрыхъ игрушекъ, до которыхъ всегда найдется много охотниковъ между взрослыми дѣтми обоего пола.

Романы Тургенева и Писемскаго никакимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ разряду этихъ игрушекъ; всѣ они слишкомъ глубоко прочувствованы или слишкомъ полно отражаютъ

картины жизни, чтобы не показаться каждому читателю серьезнымъ и дѣльнымъ словомъ мыслящаго человѣка. Въ дѣятельности Писемскаго до сихъ поръ нельзя отмѣтить ни одной фальшивой ноты; въ дѣятельности Тургенева, до его несчастнаго романа «Наканунѣ», не было также значительныхъ ошибокъ \*); ни тотъ, ни другой не пробовали представить положительныхъ дѣятелей, т. е. такихъ героев, которымъ вполнѣ могли бы сочувствовать авторъ и читатели; ни тотъ, ни другой не давали даже нелѣпныхъ обещаній, въ родѣ того, которое далъ Гоголь въ первой части «Мертвыхъ Душъ», и которое онъ такъ уродливо выполнилъ во второй части своей поэмы. Оба—Тургеневъ и Писемскій—стояли въ чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ нашей дѣятельности: оба скептически относились къ лучшимъ проявленіямъ нашей мысли, къ самымъ красивымъ представителямъ выработавшихся у насъ типовъ. Эти отрицательныя отношенія, этотъ скептицизмъ—величайшая ихъ заслуга передъ обществомъ. Сбить съ пьедестала пустаго фразера, показать ему, что онъ несетъ вздоръ, упиваясь звуками собственнаго голоса, что онъ только фразеромъ и можетъ быть,—это чрезвычайно важно; это такой урокъ, послѣ котораго отрезвляется цѣлое поколѣніе; отрезвившись, оно всматривается въ окружающія явленія... Поколѣніе Рудинныхъ—гегельянцы, заботившіеся только о томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ—замысловатая таинственность, мирили насъ съ нелѣпостями жизни, оправдывали ихъ разными высшими взглядами и, всю свою жизнь толкуя о стремленіяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта.

Развѣнчать этотъ типъ было такъ же необходимо, какъ необходимо было Сервантесу похоронить своимъ Донъ-Кихотомъ рыцарскіе романы, какъ одно изъ послѣднихъ наслѣдій средневѣковой жизни. Типъ красиваго фразера, совершенно чистосердечно увлекающагося потокомъ своего краснорѣчія, типъ человѣка, для котораго слово замѣняетъ дѣло, и который, живя однимъ воображеніемъ, прозябаетъ въ дѣйствительной жизни, совершенно развѣнчанъ Тургеневымъ и представленъ во всей своей дрянности Писемскимъ.

Люди этого типа совершенно не виноваты въ томъ, что они не дѣйствуютъ въ жизни, не виноваты въ томъ, что они—люди безполезные; но они вредны тѣмъ, что увлекаютъ своими фразами тѣ неопытныя созданія, которыя прельщаются ихъ виѣшней эффектностью; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требованіямъ; усиливъ

ихъ чувствительность, способность страдать, они ничѣмъ не облегчаютъ ихъ страданія; словомъ, это—болотные огоньки, заводящіе ихъ въ тучобы и погасающіе тогда, когда несчастному путнику необходимъ свѣтъ, чтобы разглядѣть свое затруднительное положеніе.

Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ Рудинѣ, Писемскій представилъ его въ Эльчаниновѣ («Воярщина») и въ Шамилевѣ («Богатый Женихъ»). Всѣ трое съ самыхъ юныхъ лѣтъ все собираются летѣть, все расправляютъ крылья, иногда машутъ ими до изнеможенія, но ни на вершокъ не поднимаются отъ полу и для безпристрастнаго наблюдателя остаются смѣшными и пошлыми въ самыя пылкія минуты своего лиризма. Въ этихъ людяхъ равновѣсіе между головой и тѣломъ оказывается нарушеннымъ съ самаго дѣтства; уродливое воспитаніе не позволяетъ имъ развиваться, какъ слѣдуетъ, въ физическомъ отношеніи; они не отличаются въ дѣтствѣ ни здоровьемъ, ни силой, но зато, благодаря наемнымъ гувернерамъ, очень рано начинаютъ украшать свою голову разнообразными свѣдѣніями; они опережаютъ своихъ сверстниковъ и сами замѣчаютъ это; воспитатели своимъ вліяніемъ поддерживаютъ въ нихъ это «благородное соревнованіе». У ребенка являются искусственные интересы, ему хочется не конфетъ, не игрушекъ, не бѣготни, не забавъ, а того, чтобы его похвалили, но головкѣ погладили, отличили передъ другими; онъ заботится не о томъ, что доставляетъ непосредственное пріятное ощущеніе, а о томъ, что считается хорошимъ въ глазахъ старшихъ. Вотъ онъ подрастаетъ, становится къ своимъ педагогамъ въ критическія отношенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, привычка смотрѣть на себя со стороны не пропадаетъ; когда ему было десять лѣтъ, ему хотѣлось хорошо отвѣтить урокъ, чтобы учитель назвалъ его молодцомъ; а въ семнадцать лѣтъ ему хочется совершить удивительнѣйшій подвигъ, чтобы его имя повторяли съ уваженіемъ соотечественники и соотечественницы. «Благородная гордость, благородныя стремленія»,—говорятъ окружающіе люди. Мнѣ кажется, вѣрнѣе было бы сказать, что началось маханіе крыльями, которое рѣшительно ни къ чему не поведетъ. Удивительнѣйшій подвигъ, конечно, не совершается, но мысль о такомъ подвигѣ раздражаетъ нервы; молодой искатель великихъ дѣлъ говорить съ увлеченіемъ и увлекательно; его слушатели—добрая, довѣрчивая молодежь уважаетъ высоту его порывовъ и съ умиленіемъ слушаетъ его тирады; герой нашъ чувствуетъ свою силу надъ кружкомъ, воодушевляется своимъ торжествомъ, питается своимъ тщеславіемъ, растетъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и, одерживая постоянно въ спорѣ легкія побѣды, мечтая и говоря о широкой и великой дѣятельности, мало-по-малу теряетъ всякую способность трудиться. Вотъ если бы тутъ, въ кругу молодыхъ слушате-

\*) Я не говорю о его стихотвореніяхъ и драматическихъ произведеніяхъ, которыя извѣстны очень немногимъ читателямъ.

лей и собесѣдниковъ будущаго великаго человека, нашелся умный, ѣдкій скептикъ, который, какъ дважды-два—четыре, доказалъ бы оратору, что онъ поретъ ахинею,—тогда, можетъ быть, нашъ герой одумался бы и понялъ бы, что мечтать смѣшно, а не трудиться, когда есть силы,—глупо или по крайней мѣрѣ, нерасчетливо; но молодое пиво бродитъ, ничто не сдерживаетъ его броженія, и оно бьетъ черезъ край и утекаетъ въ мутной пѣнѣ; года идутъ; силы, не освѣжаемыя трудомъ, тупѣютъ; матеріальное положеніе остается сомнительнымъ; способность импровизировать восторженную гиль превращается въ привычку говорить высокимъ слоюзомъ о мудреныхъ вещахъ, какъ-то: *жизнь, Русь, назначеніе человека, долгъ гражданина*; удивительный подвигъ, который предполагалось совершить въ началѣ поприща, откладывается: фразеръ начинаетъ понимать, что онъ ничего не сдѣлалъ и ничего не сдѣлаетъ, но отказаться отъ эффектичанаія передъ самимъ собой онъ рѣшительно не въ состояніи; онъ начинаетъ говорить: «у меня были силы, ихъ разнесла жизнь; жизнь меня измала, но я не уступилъ ей напору; теперь я безсилень, теперь я жалокъ, ничтоженъ, смѣшонъ». Даже въ патетическомъ перечисленіи своихъ нравственныхъ нарывовъ и струповъ нашъ герой ищетъ картинной эффектичности, подобно тому, какъ уѣздная барышня ищетъ интересной блѣдности, если не можетъ похвастаться свѣжимъ цвѣтомъ лица и округлостью бюста. Роль, позы, трагическая мантія оказываются самими насущными потребностями неудавшагося титана. Искренности, жизни, натуре—ни на волосъ.

На словахъ эти люди способны на подвиги, на жертвы, на героизмъ; такъ, по крайней мѣрѣ, подумаетъ каждый обыкновенный смертный, слушая ихъ разглагольствованія о человѣкѣ, о гражданинѣ и другихъ тому подобныхъ отвлеченныхъ и высокихъ предметахъ. На дѣлѣ эти дряблыя существа, постоянно испаряющіяся въ фразы, неспособны ни на рѣшительный шагъ, ни на усидчивый трудъ. Вглядитесь въ Рудина: какъ онъ говоритъ о жизни, какъ его слова западаютъ въ душу двумъ молодымъ личностямъ—Натальѣ и Васистову, какъ онъ самъ воодушевляется и становится почти великъ, когда его увлекаетъ потокъ его мыслей! И вдругъ, что же выходитъ на дѣлѣ? Рудинъ труситъ предъ Волынцевымъ, труситъ передъ Натальей, спотыкается объ ничтожнѣйшія препятствія, падаетъ духомъ, выѣзжая изъ гостепріимнаго дома Дарьи Михайловны и, наконецъ, является передъ читателемъ измятымъ, избитымъ, бесполезнымъ, какъ выжатый лимонъ; и тутъ онъ фразерствуетъ только нѣсколькими тонами ниже. Но въ Рудинѣ есть выкупающія стороны; Рудинъ—поэтъ, голова, сильно раскаляющаяся и быстро простывающая для того, чтобы снова раскалиться отъ

прикосновеніи другихъ предметовъ. Онъ впечатлителенъ до крайности, и въ этой впечатлительности заключаются и его обаятельность, и источникъ его страданій. Если бы дѣло такъ-же скоро дѣбалось, какъ сказка скаывается, то Рудинъ могъ бы быть великимъ дѣятелемъ; въ ту минуту, когда онъ говоритъ, его личность вырастаетъ выше обыкновенныхъ размѣровъ; онъ гальванизируетъ самого себя, онъ силенъ и вѣрится въ свою силу, онъ готовъ пойти на острый бой со всей неправдой земли; вотъ почему онъ умираетъ со знаменемъ въ рукѣ; но въ обыденной жизни нельзя устраивать свои дѣла однимъ взмахомъ руки; ничто не приводитъ къ намъ поучаему величю: надо выработать, надо срыть препятствія и разровнять себѣ дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывомъ кипучей отваги, вспышкой нечеловѣческой энергии можно только ослѣпить зрителей; оно красиво, но бесплодно. Рудинъ умираетъ великолѣпно, но вся жизнь его не что иное, какъ длинный рядъ самообольщеній, разочарованій, мыльныхъ пузырей и миражей.

Всего печальнѣе то, что эти миражи обманывали не его одного; съ нимъ вмѣстѣ, за него и часто сильнѣе его самого, страдали люди, принимавшіе его слова на вѣру, воспламенявшіеся вмѣстѣ съ нимъ и не умѣвшіе остыть тогда, когда остывалъ Рудинъ. Особенно вредно Рудины дѣйствуютъ на женщинъ; женщины въ нашемъ обществѣ нерѣдко до сѣдыхъ волосъ остаются дѣтми; онѣ не знаютъ жизни, потому что сами не сталкиваются съ нею; онѣ не знаютъ того, какъ лгутъ въ жизни, поступками и словами, на каждомъ шагу и при каждомъ удобномъ случаѣ, иногда даже лучше люди и добросовѣстнѣйшіе дѣятели; онѣ видятъ этихъ людей и дѣятелей въ домашнемъ костюмѣ, когда вицмундиры смѣняются простыми сюртуками; онѣ слышатъ, какъ эти люди разсуждаютъ о своей дѣятельности, и много фальшивой монеты принимаютъ за наличную. Упомянувъ такимъ образомъ о женщинахъ, я, конечно, не говорю о тѣхъ несчастныхъ личностяхъ, которыхъ горькая нужда слишкомъ хорошо познакомила съ грязью жизни, или которыхъ уродливое воспитаніе сдѣлало нечувствительными къ какимъ бы то ни было впечатлѣніямъ, кромѣ чисто-физической боли и чисто-физическаго наслажденія.

Нѣкоторая независимость отъ внѣшнихъ обстоятельствъ совершенно необходима для того, чтобы человѣкъ могъ мыслить и чувствовать; если человѣкъ цѣлый день работаетъ для того, чтобы не умереть съ голода, и утоляетъ свой голодъ для того, чтобы завтра опять цѣлый день работать, то онъ прозябаетъ, а не живетъ; онъ черствѣетъ, тупѣетъ, покрывается какой-то ржавчиной; въ этомъ и заключается деморализующее, опошляющее влияніе пауперизма, котораго не испытываютъ животныя и который

страшнымъ бременемъ тяготѣетъ надъ человѣкомъ. Слѣдовательно, говоря о психической жизни женщины, я поневолю принужденъ ограничиться тѣми сферами, въ которыхъ эта психическая жизнь не подавлена и не забыта ежечасною тревожною заботой о кускѣ хлѣба; такія женщины, знающія жизнь настолько, насколько пожелаютъ показать имъ жизнь ихъ паненки, опекуны или супруги, любятъ смѣляя рѣчи Рудиныхъ; онѣ въ этихъ людяхъ надѣются увидѣть тѣхъ героевъ, къ которымъ инстинктивно стремятся ихъ желанія; онѣ надѣются черезъ нихъ познакомиться съ той болѣе полною и широкою жизнью, онѣ привязываются къ этимъ людямъ той пылкою любовью, которую мы любимъ наши лучшія надежды, наши свѣтлыя мечты, наши благородныя стремленія; все то, что даетъ намъ силы переносить тягости жизни, все это воплощается для женщины въ образѣ того человѣка, который горячимъ словомъ шевельнулъ ея мозговые нервы; тутъ обмануться, тутъ разочароваться значитъ упасть со страшной высоты; вынести такое паденіе, окрѣпнуть послѣ такого грубаго удара удастся очень немногимъ.

Вотъ въ какомъ отношеніи Рудины принимаютъ на себя страшную отвѣтственность; кто будитъ въ человѣкѣ его лучшіе инстинкты, тотъ долженъ и удовлетворить ихъ требованіямъ; кто ведетъ слабого ребенка на крутую гору, тотъ можетъ сдѣлаться преступникомъ, если не поддержитъ до самаго конца горы это существо, вѣрующее въ его силу и смѣло пошедшее за нимъ по его призыву; оставить такое существо на половинѣ дороги, когда впереди страшная крутизна, а сзади страшный спускъ въ сырую трущобу,—это непростительно: тутъ извиненіемъ не можетъ служить ни ошибка, ни слабость; когда берешься устраивать чужую жизнь, надо взвѣсить свои силы; кто этого не умѣетъ или не хочетъ сдѣлать, тотъ опасенъ, какъ слабоумный или какъ эксплуататоръ.

## V.

Выкупающія стороны, отмѣченные мною въ характерѣ Рудина, не встрѣчаются въ личностяхъ Эльчанинова и Шамилова. Сущность типа состоитъ, какъ мы видѣли, въ несоразмѣрности между силами и претензіями; духъ бодръ, плоть немощна—вотъ формула рудинскаго типа. Несоразмѣрность эта можетъ происходить отъ избытка претензій или отъ недостатка силъ. Рудинъ воплощаетъ въ себѣ первый моментъ; Эльчаниновъ и Шамиловъ служатъ представителями второго. Рудинъ—человѣкъ очень недюжинный по своимъ способностямъ, но онъ постоянно собирается сдѣлать какой-то фокусъ, перескочить à pieds joints черезъ всѣ препятствія и дразни жизни; этотъ фокусъ ему не удастся, потому что онъ вообще удастся только немногимъ

счастливымъ или гениямъ; вслѣдствіе этого Рудинъ истощается въ безплодныхъ попыткахъ, разливается въ разсужденіяхъ объ этихъ попыткахъ и дальше этого не идетъ; дѣятельность обыкновеннаго работника мысли ему сподручна, да вотъ, видите-ли, онъ—Блоручка, онъ ее знать не хочетъ; ему подавайте такое дѣло, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его въ восторженномъ состояніи; онъ черновой работы не терпитъ, потому что считаетъ себя выше ея. Эльчаниновъ и Шамиловъ, напротивъ того, представляютъ собою полнѣйшую посредственность; они даже въ мечтахъ своихъ слишкомъ высоко не забираютъ; имъ съ трудомъ достаются даже такіе рядовые результаты, какъ кандидатскій экзамень; они—просто дѣнтая, не рѣшающіеся сознаться самимъ себѣ въ причинѣ своихъ неудачъ.

Въ каждомъ обществѣ, дурно или хорошо устроенномъ, есть два рода недовольныхъ; одни дѣйствительно страдаютъ отъ господствующихъ предрасудковъ; другіе страдаютъ отъ побочныхъ причинъ и только сваливаютъ вину на эти предрасудки. Одни жалуются на то, что масса ихъ современниковъ отстаетъ отъ нихъ; другіе—на то, что эти же современники идутъ мимо нихъ, не обращая вниманія на ихъ возгласы и трагическіе жесты; къ числу первыхъ относятся Галилей, Иоаннъ Гуссъ, аболіціонистъ Броунъ; къ многочисленной фалангѣ вторыхъ принадлежатъ разныя непрізнанныя дарованія и непонятны души,—люди, нищіе духомъ и не рѣшающіеся убѣдиться въ своей нищетѣ. Одинъ, положимъ, оказался неспособнымъ кончить курсъ и вслѣдствіе этого кричитъ, что система преподаванія уродлива, а преподаватели—взяточники; другому возвратили нехлѣбную статью изъ редакціи журнала,—онъ начинаетъ жаловаться на тлетворное направленіе періодической литературы; третьяго выгнали со службы за то, что онъ пьетъ запоемъ,—онъ становится въ мѣфистофелевскія отношенія къ современному порядку вещей. Критическія отношенія къ дѣйствительности неизбежны и необходимы, но критиковать надо честно и дѣльно; кто кидается въ отрицаніе съ горя, съ досады, чтобы сорвать зло за личную непріятность, тотъ вредитъ дѣлу общественнаго развитія, тотъ роняетъ идею оппозиціи и подрываетъ въ публикѣ довѣріе къ тѣмъ честнымъ дѣятелямъ, съ которыми онъ, повидимому, стоитъ подъ однимъ знаменемъ.

Когда вы горячо спорите о чемъ-нибудь, то нѣтъ ничего непріятнѣе, какъ услышать отъ другого собесѣдника плохой аргументъ въ пользу вашего мнѣнія; нечестный или ограниченный союзникъ въ умственномъ дѣлѣ, въ борьбѣ принциповъ,—вреднѣе врага; поэтому севздо-прогрессисты мѣшаютъ дѣлу прогресса гораздо сильнѣе, чѣмъ открытые обскуранты, если только послѣдніе въ борьбѣ съ новыми идеями остана-

вливаются на одной аргументаціи. Мелкіе представители рудинскаго типа схватываютъ на лету свѣжія идеи, выкраиваютъ себѣ изъ нихъ эффектную, по ихъ мнѣнію, драпировку и, закутываясь въ нее, до такой степени опешливаютъ самую идею, что становятся совѣстно за нихъ и до слезъ обидно за идею. Возьмемъ, напримѣръ, Шамилова. Онъ пробылъ три года въ университетѣ, болтался, слушалъ по разнымъ предметамъ лекціи такъ же безсвязно и безцѣльно, какъ ребенокъ слушаетъ сказки старой няни, вышелъ изъ университета, ухалъ во-своися, въ провинцію, и разказалъ тамъ, что «нашѣренъ держать экзаменъ на ученую степень и пріѣхалъ въ провинцію, чтобы удобнѣе заняться науками». Въмѣсто того, чтобы читать серьезно и послѣдовательно, онъ пробавлялся журнальными статьями и тотчасъ по прочтеніи какой-нибудь статьи пускался въ самостоятельное творчество: то вздумаетъ писать статью о «Гамлетѣ», то составитъ планъ драмы изъ греческой жизни, напишетъ строкъ десять и броситъ; зато говорить о своихъ работахъ всякому, кто только соглашается его слушать. Розказни его заинтересовываютъ молодую дѣвушку, которая по своему развитію стоитъ выше уѣзднаго общества; находя въ этой дѣвушкѣ усердную слушательницу, Шамиловъ обближается съ нею и, отъ нечего дѣлать, воображаетъ себя до безумія влюбленнымъ; что-же касается до дѣвушки,—та, какъ чистая душа, влюбляется въ него самымъ добросовѣстнымъ образомъ и, дѣйствуя смѣло изъ любви къ нему, предолбываетъ сопротивленіе своихъ родственниковъ; происходитъ помолвка съ тѣмъ условіемъ, чтобы Шамиловъ до свадьбы получилъ степень кандидата и опредѣлился на службу. Является, стало быть, необходимость поработать, но нашъ новый Митрофанушка не осиливаетъ ни одной книги и начинаетъ говорить: «не хочу учиться, хочу жениться». Къ сожалѣнію, онъ говорить эту фразу не такъ просто и откровенно, какъ произносилъ ее его прототипъ. Онъ начинаетъ обвинять свою любящую невѣсту въ холодности, называетъ ее сѣверной женщиной, жалуется на свою судьбу; прикидывается страстнымъ и пламеннымъ, приходитъ къ невѣстѣ въ нетрезвомъ видѣ и, съ пьяныхъ глазъ, совершенно некстати и очень неграціозно обнимаетъ ее. Всѣ эти штуки продлываются отчасти от скуки, отчасти потому, что Шамилову ужасно не хочется готовиться къ экзамену; чтобы обойти это условіе, онъ готовъ поступить на хлѣба къ дядѣ своей невѣсты и даже выпросить черезъ невѣсту обезпеченный кусокъ хлѣба у одного стараго вельможи, бывшаго друга ея покойнаго отца. Всѣ эти гадости прикрываются мантией страстной любви, которая будто бы омрачаетъ разсудокъ Шамилова; осуществленію этихъ гадостей мѣшаютъ обстоятельства и твердая воля честной дѣвушки. Шамиловъ дѣлаетъ ей сцены,

требуетъ, чтобы она отдалась ему до брака, но невѣста его настолько умна, что видитъ его ребячество и держитъ его въ почтительномъ отдаленіи. Видя серьезный отпоръ, нашъ герой жалуется на свою невѣсту одной молодой вдовѣ и, вѣроятно, чтобы утѣшиться, начинаетъ объясняться ей въ любви. Между тѣмъ отношенія съ невѣстой поддерживаются; Шамилова отправляютъ въ Москву держать экзаменъ на кандидата; Шамиловъ экзамена не держитъ, къ невѣстѣ не пишетъ и, наконецъ, успѣваетъ увѣрить себя безъ большого труда въ томъ, что его невѣста его не понимаетъ, не любитъ и не стоитъ. Невѣста отъ разныхъ потрясеній умираетъ въ чахоткѣ, а Шамиловъ избираетъ благую часть, т. е. женится на утѣшавшей его молодой вдовѣ; это оказывается весьма удобнымъ, потому что у этой вдовы—обезпеченное состояніе. Молодые Шамиловы пріѣзжаютъ въ тотъ городъ, въ которомъ происходило все дѣйствіе разказа; Шамилову отдають письмо, написанное къ нему его покойной невѣстой за день до смерти, и по поводу этого письма происходитъ между нашимъ героемъ и его женой слѣдующая сцена, достойнымъ образомъ завершающая его бѣглую характеристику:

— Покажите мнѣ письмо, которое отдалъ вамъ вашъ другъ, начала она.

— Какое письмо? спросилъ съ притворнымъ удивленіемъ Шамиловъ, садясь у окна.

— Не запирайтесь: я все слышала... Понимаете ли вы, что дѣлаете?

— Что такое я дѣлаю?

— Ничего: вы только принимаете отъ того человѣка, который самъ прежде интересовался мною, письма отъ вашихъ прежнихъ пріятельницъ и потомъ еще говорите ему, что вы теперь наказаны—къмъ? позвольте васъ спросить. Мною, вѣроятно? Какъ это благородно и какъ умно! Еще васъ считаютъ умнымъ человекомъ; но гдѣ же вашъ умъ? въ чемъ онъ состоитъ, скажите мнѣ пожалуйста?... Покажите письмо!

— Оно писано ко мнѣ, а не къ вамъ; я ваши переписками не интересуюсь.

— У меня не было и нѣтъ ни съ кмъ переписки... Я играть вамъ собою, Петръ Александръ, не позволю... Мы опиблись, мы не поняли другъ друга.

Шамиловъ молчалъ.

— Отдайте мнѣ письмо, или сейчасъ же позъжайте куда хотите, повторила Катерина Петровна.

— Возмите. Неужели вы думаете, что я призываю къ нему какой-нибудь особый интересъ? сказала съ насмѣшкой Шамиловъ.

И, бросивъ письмо на столъ, ушелъ.

Катерина Петровна начала читать его съ забличаніями.

«Я пишу это письмо къ вамъ послѣднее въ жизни»...

— Печальное начало!

«Я не сержусъ на васъ; вы забыли ваши клятвы, забыли тѣ отношенія, которыя я, безумная, считала неразрывными».

— Скажите, какая неопытная невинность. «Передо мною теперь...»

— Скучно!.. Аннушка!..

Явилась горничная.

— Поди, отдай барину это письмо и скажи, что я совѣтую ему сдѣлать для него медальонъ и хранить его на груди своей.

Горничная ушла и, воротившись, доложила баринѣ:

— Петръ Александрычъ приказали сказать, что они безъ вашего совѣта будутъ беречь его.

Вечеромъ Шамиловъ поѣхалъ къ Карелину, просидѣвъ у него до полуночи и, возвратясь домой, прочиталъ нѣсколько разъ письмо Вѣры, вздохнулъ и разорвалъ его. На другой день онъ сдѣлае утро просилъ у жены прощенья.

Вотъ онъ каковъ, Шамиловъ. Надо отдать Писемскому полную справедливость: онъ раздавилъ, втопталъ въ грязь дрянной типъ драпирующаго фразера. Ни Тургеневъ въ своемъ Рудинѣ, ни Жоржъ-Зандъ въ Орасѣ не возвышались до такой удивительной, практической простоты отношеній къ личностямъ этихъ героевъ.

Въ выписанной мною заключительной сценѣ нѣтъ ни малѣйшей эффектности, ни тѣни искусственности; характеръ дорисовывается вполне; впечатлѣніе производится на читателя самое сильное и притомъ самыми простыми, дешевыми, естественными средствами. Пустой фразеръ наказанъ какъ нельзя больнѣе, и притомъ наказанъ не стеченіемъ обстоятельствъ, какъ Рудинъ въ эпилогѣ, а неизбежными слѣдствіями собственнаго характера. Онъ тщеславенъ, неспособенъ трудиться и сухъ, — очень естественно, что онъ съ удовольствіемъ женится на богатой женщинѣ, хотя бы она была и гораздо постарше его. Соблюдая передъ самимъ собой благообразіе отношеній, онъ не сознаетъ въ томъ, что поставилъ себя въ зависимое положеніе — ему даютъ почувствовать эту зависимость; онъ видитъ, что дѣло некрасиво, и пробуетъ возмутиться — ему затигиваютъ мундштукъ потуже; онъ, чисто для приличія, произноситъ передъ горничной гордую фразу — его заставляютъ отказаться отъ этой фразы; онъ уходитъ и надувается — его принуждаютъ просить прощенья, да еще цѣлое утро ему грозитъ, что его согонятъ со двора, — и онъ становится шелковымъ. «Собака — собачья смерть», говоритъ пословица; но мнѣ кажется, было бы правильнѣе сказать: «собака — собачья жизнь». Смерть — случайность, потому что камень можетъ свалиться и на героя, и на не-героя, но жизнь съ своимъ направленіемъ и съ своей обстановкой зависитъ отъ самого человѣка; жизнь Шамилова представляетъ полный оттискъ его личности; какими бы героемъ этотъ джентльменъ ни умеръ — все равно; мы видѣли, какъ онъ расположилъ свое существованіе, какъ напакостилъ себѣ и другимъ, и этого совершенно достаточно, чтобы оцѣнить букетъ его характера.

Въ Шамиловѣ, по моему мнѣнію, больше жизненнаго значенія, чѣмъ въ Рудинѣ: Шамиловыхъ тысячи, Рудинныхъ — десятки. Тургеневъ беретъ довольно исключительное явленіе. Писемскій,

напротивъ того, прямо запускаетъ руку въ дѣйствительную жизнь и вытаскиваетъ оттуда такихъ людей, какихъ мы встрѣчаемъ сплошь да рядомъ; между тѣмъ общій характеръ типа у Писемскаго проанализированъ такъ-же вѣрно, какъ и у Тургенева, а очерченъ даже гораздо ярче.

Виновато-ли общество въ формированіи недѣлимыхъ, относящихся къ этому типу? На этотъ вопросъ можно отвѣтить такъ. Общество виновато во всемъ томъ, что совершается въ его предѣлахъ; всякая дрянная личность самымъ фактомъ своего существованія указываетъ на какой-нибудь недостатокъ въ общественно-организаціи. Что же дѣлать обществу? спросить читатель. Вѣшать что-ли преступниковъ, или усиливать полицейскія мѣры для предупрежденія преступленій? Нѣтъ, отвѣчу я. Воръ не могъ родиться воромъ, потому что новорожденный ребенокъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что такое собственность. Его испортило воспитаніе, а воспитаніе зависитъ отъ отношеній, отъ условій экономическаго быта, отъ суммы гуманныхъ идей, находящихся во всеобщемъ обращеніи; если воспитаніе плохо въ какомъ бы то ни было отношеніи, въ этомъ прямо виновато общество; ни вы, ни я, ни Петръ, ни Сидоръ отдѣльно не заслуживаютъ порицанія, но тѣ отношенія, въ которыхъ Петръ стоитъ къ Сидору или я стою къ вамъ, могутъ быть названы ложными, неестественными и стѣснительными.

Отношенія эти образовались помимо насъ и до нашего рожденія; ихъ освятила исторія, ихъ не устранить никакая единичная воля; вѣрить и сомнѣваться мы не можемъ *ad libitum*; мысли наши текутъ въ извѣстномъ порядкѣ, помимо нашей воли; даже въ процесѣ мысли мы стѣснены условіями нашей физической организаціи и обстоятельствами нашего развитія; если вы выросли при извѣстной обстановкѣ, свыклись съ нею въ теченіе вашей жизни и притомъ не обладаете значительной силой мысли, то вамъ, можетъ быть, никогда не удастся обсудить эту обстановку совершенно свободно и смѣло; винить васъ въ этомъ было бы смѣшно, но замѣтить, что ваша робость оказываетъ вредное влияніе на зависящіи отъ васъ личности, было бы совершенно справедливо; устранить это вредное влияніе, хотя бы вамъ это было не по сердцу, также очень законно; но валить на васъ отвѣтственность за то, что вы поступаете сообразно съ вашей природой, безжалостно и бесполезно. Если пороховые газы и васъ въ рукахъ разорвутъ ружье, въ которомъ уже образовался разстрѣлъ, то вы, вѣроятно, не станете сердиться ни на ружье, ни на порохъ, хотя бы отъ разрыва у васъ перекалѣчило руки. Вы просто выведете заключеніе, что разстрѣленное ружье можетъ быть разорвано, если положить въ него слишкомъ крѣпкій зарядъ, и, вѣроятно, на будущее время будете осмотрительнѣе. Если

бы только вы могли быть всегда послѣдовательны, то и на человѣческія слабости и погрѣшности вы смотрѣли бы такъ-же безстрастно, какъ на разрывъ ружья: вы бы остерегались отъ вредныхъ послѣдствій этихъ слабостей, но на самыя слабости не могли бы сердиться; поэтому необходимо хоть въ критикѣ становиться выше искусственнаго понятія: необходимо, говоря о личности человѣка, рассмотреть причины его поступковъ, привести ихъ въ соотношеніе съ условіями его жизни, объяснить ихъ вліяніемъ обстоятельствъ и вслѣдствіе этого оправдать того грѣшника, въ котораго прежде летѣли камни. Въ заключеніе всего, можно только сказать о подсудимой личности: такой-то слабъ и не вынесъ гнета обстоятельствъ, а такой-то силенъ и побѣдилъ всѣ препятствія. Одного мы уважаемъ за его силу, другого призираемъ за его слабость по той-же самой причинѣ, по которой мы съ удовольствіемъ съѣдаемъ кусокъ свѣжаго мяса и съ отвращеніемъ выбрасываемъ въ помойную яму гнилое яйцо. Кто-же во всемъ этомъ виноватъ? Неужели самъ субъектъ, т. е. продуктъ извѣстныхъ условій, совершенно не зависѣвшихъ отъ его выбора? Никто не виноватъ, да и чтó это за скверное слово: *вина*, *виноватъ*; отъ него пахнетъ уголовнымъ наказаніемъ. Это слово, это понятіе исчезаетъ теперь, и пенитенціарная система Сѣверныхъ Штатовъ является намъ первой удачной попыткой замѣнить наказаніе перевоспитаніемъ.

Шамиловъ и подобныя имъ личности не имѣютъ права претендовать на общество за то, что общество обращается съ ними, какъ съ трупными, но они имѣютъ право жаловаться на то, что общество допустило ихъ сдѣлаться людьми дряблыми и никуда не годными. Они должны сказать: мы—лишніе люди, насъ нельзя пристроить ни къ какому дѣлу, но если бы насъ иначе воспитывали въ дѣтствѣ и иначе направляли въ молодости, мы, можетъ быть, не обременяли бы собою земли и не относились бы къ копителямъ неба и къ чужероднымъ растеніямъ.

## VI.

Чтобы отгнать своихъ героевъ, принадлежащихъ къ рудинскому типу, чтобы рельефнѣе выставить безпощадность своихъ отношеній къ ихъ чахламъ личностямъ и смѣшнымъ претензіямъ, Тургеневъ и Писемскій ставятъ ихъ рядомъ съ простыми, очень неразвитыми смертными, и эти простые смертные оказываются выше, крѣпче и честнѣе полированныхъ и фразерствующихъ умниковъ. Рудинъ пасуетъ передъ Волынцевымъ, передъ отставнымъ армейскимъ ротмистромъ, не получившимъ никакого образованія. Эльчаниновъ у Писемскаго въ подметки не годится Савелію, мелкопомѣстному дворянину, пашущему вмѣстѣ съ своимъ единственнымъ мужикомъ. Шамиловъ оказывается дрянью въ сравненіи съ дикимъ гу-

саромъ Карелинымъ и даже въ сравненіи съ ту-поумнымъ Сальниковымъ.

Рудинъ, Эльчаниновъ и Шамиловъ гораздо образованнѣе и даже развитѣе тѣхъ личностей, которымъ они противопоставляются, а между тѣмъ неотесанныя натуры послѣднихъ внушаютъ гораздо больше довѣрія, уваженія и сочувствія. Отчего это происходитъ? Оттого, что въ фразерахъ мы ничего не видимъ, кромѣ извѣстной дрессировки, а въ дичкахъ видимъ человѣка, каковъ онъ есть, съ самородными достоинствами и съ прилипшими случайно странностями и шероховатостями. Но теперь возникаетъ другой вопросъ: съ какой цѣлью Тургеневъ и Писемскій рѣшаются дѣлать эти сопоставленія? Чтó они хотятъ этимъ доказать? Неужели то, что образованіе вредно дѣйствуетъ на человѣка? На послѣдній вопросъ можно смѣло отвѣтить: нѣтъ. Дѣло въ томъ, что польза образованія, на словахъ, если не на самомъ дѣлѣ, до такой степени признана всѣми, что этого положенія никто не станетъ доказывать, и что противъ этого положенія, выраженаго совершенно абстрактно, никто не станетъ спорить. Самъ Асоченскій не скажетъ прямо: образованіе вредно, хотя и постарается подъ благовиднымъ предлогомъ очернить самыя свѣтлыя его результаты. Для порядочныхъ же людей нашего времени вопросъ о пользѣ образованія давнымъ-давно, чуть не съ пеленокъ, пересталъ быть вопросомъ. Къ признанному же факту, стоящему на неизблемыхъ основаніяхъ, мы можемъ относиться совершенно смѣло съ самою безпощадной и послѣдовательной критикой. Намъ незначѣмъ ни миндальничать передъ идеями цивилизаціи, ни благоговѣть передъ ея благодѣяніями. Мы можемъ уже говорить другимъ тономъ. Мы видимъ, что свѣтъ цивилизаціи исподволь распространяется въ нашемъ обширномъ отечествѣ, и отъ всей души радуемся этому факту, но, признавая его чрезвычайно важнымъ, именно по этой причинѣ и стараемся всмотрѣться въ него какъ можно пристальнѣе. Великолѣпное растеніе, принадлежащее всѣмъ людямъ, но воздѣланное съ особенной любовью западными европейцами и доставляющее имъ богатые плоды, перенесено на нашу почву и посажено на нашихъ равнинахъ, гдѣ его и вѣтромъ качаетъ, и снѣгомъ заноситъ, и засухой за жариваетъ. Вѣдь, право, не грѣшно будетъ спросить: «каково принялось иноземное растеніе? есть ли надежда акклиматизировать его подъ нашимъ негостепримнымъ небомъ?» Не грѣшно будетъ отвѣтить на это: «надежда, пожалуй, есть, да гдѣ же ея нѣтъ?» А принялось-то нѣжное растеніе Запада не совсѣмъ хорошо; характеръ его извращенъ климатическими и другими условіями; плоды мелкіе и горьковатые; зелень чахлая и тощая. Вотъ и стали кричать по этому случаю славянофилы: «не надо намъ этого растенія! Оно намъ не по климату; оно истощитъ всю нашу навоз-



ную почву, которую мы, отцы и дѣды наши удобряли съ такимъ постояннымъ усердіемъ, не щади живота и животовъ. Проклятый тотъ народъ, который воздѣлываетъ это растеніе; чтобъ ему подаваться тѣми плодами, которые оно приноситъ!»

Было бы грустно думать, что лучшіе изъ нашихъ современныхъ художниковъ вторяютъ въ своихъ произведеніяхъ этимъ нестройнымъ крикамъ. Неужели Писемскій и Тургеневъ славянофильствуютъ, ставя полудикія природы выше фразеровъ? Если бы эта статья принадлежала перу славянофила, то навѣрное бы авторъ ея подвелъ такого рода заключеніе и пришелъ бы въ неописанный восторгъ оттого, что наши повѣствователи преклоняются будто-бы передъ народной правдой и святynieй. Я же, не имѣя счастья принадлежать къ сотрудникамъ покойной «Русской Вѣсды» и нынѣ процвѣтающаго «Дня», позволю себѣ взглянуть на дѣло болѣе широкимъ взглядомъ и постараюсь оправдать Тургенева и Писемскаго отъ упрека въ славянофильствѣ.

Противопологая полудикую природу—обезцвѣченной, наши художники говорятъ за человѣка, за самородныя и неотъемлемыя свойства и права его личности, они не думаютъ выхвалять одинъ народъ на счетъ другого, одинъ слой общества на счетъ другого; національная или кастическая исключительность не можетъ найти себѣ мѣста въ томъ свѣтломъ и любовномъ взглядѣ, которымъ истинный художникъ охватываетъ природу и человѣка; обнимая своимъ могучимъ синтезомъ все разнообразіе явленій жизни, обобщая ихъ естественнымъ чутьемъ истины, видя въ каждомъ изъ нихъ его живую сторону, художникъ видитъ человѣка въ каждомъ изъ выводимыхъ типовъ, заступаетъ за него, когда онъ страдаетъ, сочувствуетъ ему, когда онъ опечаленъ, осуждаетъ его, когда онъ гнететъ другихъ;— и во всѣхъ этихъ случаяхъ только интересы человѣческой личности волнуютъ и потрясаютъ впечатлительные нервы художника. Споръ о томъ, что годится намъ лучше, западная ли наука, или восточная рутина, не можетъ имѣть никакого интереса для художника; эпитеты: *западная* и *восточная*, въ которыхъ, по мнѣнію борцовъ различныхъ партій, заключается вся сила, откидываются въ умъ художника или даже вообще умаго человѣка. Онъ разсматриваетъ просто науку и рутину, движеніе и застой, какъ два различныя состоянія человѣческаго мозга; онъ одинаково легко отрѣшается отъ узкой англomanіи московскихъ доктринеровъ и отъ тупого патріотизма славянофиловъ: способность сочувствовать всему человѣческому, всему живому и естественному,—способность, составляющая необходимую принадлежность истиннаго художника, даетъ ему возможность видѣть хорошія стороны самыхъ противоположныхъ

между собой явленій и ни подъ какимъ видомъ не позволяетъ ему дѣлаться рабомъ какой бы то ни было головной теоріи.

Нашъ братъ-работникъ часто вдается въ крайность и вслѣдствіе этого противорѣчить самому себѣ; полемизируя противъ вредной идеи, мы противопоставляемъ ей тотъ принципъ, который считаемъ хорошимъ, и часто, увлекаясь благороднымъ жаромъ, проводимъ этотъ принципъ до послѣднихъ, въ дѣйствительности невозможныхъ, предѣловъ; мы пересаливаемъ, какъ партизаны, какъ люди партіи, и въ эти минуты художникъ, понимающій какъ-то инстинктивно правду и ложь всякаго дѣла, можетъ нарисовать насъ, и воспроизвести въ одно время и благородное побужденіе, заставляющее насъ кричать и бѣсноваться, и смѣшныя крайности, до которыхъ доводитъ насъ увлеченіе. Такъ поступили Писемскій и Тургеневъ въ отношеніи къ явленіямъ, произведеннымъ у насъ на Руси вліяніемъ цивилизаци; они отнеслись совершенно безпощадно къ той дикой почвѣ, на которой разбрасываются сѣмена нѣжнаго европейскаго растенія; ни Писемскаго, ни Тургенева нельзя упрекнуть въ тупомъ пристрастіи къ патріархальности; но съ другой стороны ихъ нисколько не подкупили блескъ той цивилизаци, которая дѣлаетъ чудеса въ Америкѣ и въ Англіи; «блестѣть-то она блеститъ,—говорятъ наши романисты,—да каково-то у насъ она принимается. Въдъ теперь періодъ порыва и страсти, и много уродливыхъ, много жалкихъ явленій, много крикливыхъ диссонансовъ происходитъ отъ сшибки общечеловѣческаго элемента съ Домостроемъ».

Что дѣлать художнику въ такія эпохи? Что дѣлать человѣку, горячо любящему человѣческіе интересы и сильно нуждающемуся въ нравственной опорѣ? На что ему надѣяться? На силу идеи, внесенной въ жизнь народа, или на энергію народа, который переработаетъ доставшуюся ему идею и обратитъ ее въ свою полную умственную собственность, въ капиталъ, съ котораго онъ со временемъ будетъ брать богатые проценты? На что ему надѣяться, повторяю я: на силу идеи, или на энергію человѣка? Конечно, на силу идеи, подхватятъ идеалисты и доктринеры,—на силу истины, которая всегда восторжествуетъ и останется вѣчно истинной. Хорошо; пускай себѣ идеалисты говорятъ, что имъ угодно, а я скажу, что надо надѣяться на силу человѣка, какъ живого органическаго тѣла, и со мной въ этомъ случаѣ согласны, по смыслу своихъ произведеній, Тургеневъ и Писемскій. Увлечся идеей не трудно, подчиниться идеѣ способенъ человѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ; чтобы переработать идею, напротивъ того, необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, спо-

собенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими—избранныя личности; оттого въ тѣхъ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только и живетъ, когда человѣкъ вырабатываетъ ее силою собственнаго мозга; какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, такъ она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться.

Столкнувшись съ цѣлымъ міромъ новыхъ, широкихъ идей, наши рудинствующіе молодые люди теряютъ всякую способность переработать ихъ въ плоть и кровь свою; они благоговѣютъ передъ тѣми идеями, которыхъ они наслушались, любятъ на эти идеи, но жить ими не могутъ, потому что нельзя же жить такими вещами, на которыя смотришь издали и которыхъ не осмѣливаешься взять въ руки. Они—сами по себѣ, а идеи ихъ—сами по себѣ. Очень можетъ быть, что новыми идеями вообще увлекаются прежде другихъ натуры впечатлительныя, подвижныя, неспособныя къ критикѣ и вслѣдствіе этого ничтожныя въ дѣлѣ жизни; тѣ кряжистыя натуры, которыя противопоставляются Рудиннымъ, воспринимаютъ туго, недовѣрчиво, постепенно; но когда извѣстная идея, какъ извѣстный приемъ лѣкарства, расшевелила ихъ мозговые центры, тогда они начинаютъ дѣйствовать; мысль не расходится съ дѣломъ; они живутъ, вмѣсто того, чтобы разсуждать о жизни; такихъ людей у насъ немного, но такихъ людей начинаетъ признавать и уважать наше общество. Къ числу ихъ принадлежалъ Зыковъ, котораго представилъ Писемскій въ романѣ «Тысяча Душъ»; такимъ людямъ приходится только говорить, надеяться легкія безплоднымъ крикомъ, надирать грудь надъ неблагоприятной работой, иногда вдаваться въ дикій кутежъ съ горя, сжигать жизнь до-тла и умирать съ горькимъ сознаниемъ своего безсилія, умирать, какъ умираетъ человѣкъ, задыхающійся подъ стогомъ сѣна, котораго онъ не въ силахъ своротить съ своей груди. Некрасивая и даже негромкая смерть. Эти мученики нашего тупоумія и нашей инертности до сихъ поръ были разрозненными единицами, и художники наши не могли обращаться съ ними, какъ съ представителями цѣлаго типа; въ томъ, что называется у насъ обществомъ, замѣчалось страшное раздвоеніе; одни повторяли на разные лады чужія мысли и воображали себѣ, что они *думаютъ*; другіе ничего не думали и ничего не воображали, росли въ брюхо, фли и нафдались, жили и умирали, словомъ, задавая себѣ маленькія цѣли, шли къ нимъ бодримъ, твердымъ шагомъ и всегда достигали ихъ, если не случалось

поскользнуться, или если не расшибалъ параличъ. Весь запасъ мыслей былъ на одной сторонѣ, весь запасъ воли и энергій—на другой; между тѣми и другими лежала бездна...

Но отъ кого же ждать спасительнаго толчка: отъ фразеровъ или отъ дикарей? Отвѣтъ на этотъ вопросъ ясенъ. Фразеры развились до послѣднихъ предѣловъ, настолько, насколько они способны развиться; развились и остановились; они сдѣлали все, что могли, и больше отъ нихъ нечего ждать, это—выпаханное поле; а у дикарей—новъ, дичь, глушь, рѣпье да крапива, но есть растительная сила, которую ничто не замѣнитъ. Кто заучился до такой степени, что потерялъ здравый смыслъ, на того остается махнуть рукой; кто ничему не учился, у того могутъ быть проблески самороднаго здраваго смысла, и изъ этихъ проблесковъ можетъ выработаться, смотря по обстоятельствамъ, живая мыслительная сила или горькій, забудыжный русскій юморъ. Въ живой силѣ, въ здоровомъ тѣлѣ, въ мускулахъ, въ костяхъ и въ нервахъ, а не въ бумажныхъ страницахъ и не въ кожаныхъ переплетахъ заключаются для человѣка задатки свѣтлаго будущаго. Работать надо, работать мозгомъ, голосомъ, руками, а не упиваться сладковатымъ теченіемъ чужихъ мыслей, какъ бы ни были эти мысли стройны и вышлены.

## VII.

Кромѣ типа несправимыхъ фразеровъ, въ произведеніяхъ Писемскаго и Тургенева можно отмѣтить еще два главные разряда мужскихъ характеровъ. Во-первыхъ, заслуживаютъ вниманія люди, подобные Лежневу и Лавренкоу; во-вторыхъ,—люди, подобные Веретьеву (въ повѣсти Тургенева «Затишьѣ») и Рымову (въ разсказѣ Писемскаго «Комикъ»). Первые проникаются гуманными идеями и, не вступая во имя этихъ идей въ борьбу съ дѣйствительностью, располагаютъ только свою собственную жизнь сообразно съ этими идеями. Если они—помѣщики, они берутъ съ своихъ крестьянъ легкій оброкъ, обращаются съ ними кротко и ласково и, не ломая круто ихъ предразсудковъ, стараются по возможности улучшить ихъ матеріальный бытъ и смягчать грубость ихъ нравовъ; если у нихъ есть семейство, они предоставляютъ свободу женѣ своей, воспитываютъ дѣтей своихъ внѣ предразсудковъ и не стѣсняють ихъ свободной воли съ той самой минуты, когда она начинаетъ у нихъ проявляться. Словомъ, это люди мягкіе, не тяжелые, терпѣливые ко всему, что ихъ окружаетъ, и въ томъ числѣ къ глупостямъ и подлостямъ другихъ людей. Какъ дѣятели, они никуда не годятся; но мѣрять достоинства человѣка только той пользой, которую онъ приноситъ идеѣ или окружающему обществу, было бы не совсѣмъ справедливо. Если человѣкъ не вредитъ другому, если онъ живетъ

въ свое удовольствіе, но эксплуатируя другихъ и не стѣняя чужой свободы, то самое строгое нравственное ягу должно признать его невиннымъ. Какъ дѣятель, онъ—нуль; но заставляя всѣхъ быть дѣятелями и клеймить презрѣніемъ того, кто въ этомъ отношеніи оказывается несостоятельнымъ или, вѣрнѣе, кто совершенно не выступаетъ на это поприще, значитъ врываться въ область личной свободы и смотрѣть на человѣка не какъ на самостоятельный организмъ, а какъ на винтъ или какъ на гайку въ общемъ механизмѣ общества. Предоставляя этотъ взглядъ Платону, Аристотелю и новѣйшимъ ихъ послѣдователямъ; я же съ своей точки зрѣнія безусловно оправдываю Лежнева, Лаврецаго и Бѣлавина; они дѣлаютъ, что могутъ, и больше отъ нихъ нечего требовать, потому что требовать отъ человѣка самоотверженія совершенно не деликатно и негуманно, какъ бы велика и прекрасна ни была та идея, во имя которой мы его требуемъ.

Темпераментъ людей, подобныхъ Лежневу и Бѣлашину, обыкновенно очень спокоенъ; развиваются они при благопріятныхъ условіяхъ, т. е. обыкновенно пользуются обезпеченнымъ состояніемъ, усваиваютъ себѣ свои убѣжденія безъ особенной боли, смотрятъ на жизнь свѣтло и любовно, любятъ ровно и тихо, ненавидѣть не умѣютъ и спокойно презираютъ то, что возмущаетъ до глубины души людей болѣе страстныхъ и раздражительныхъ. Они—люди умѣренные по самой натурѣ своей; ихъ несправедливо было бы смѣшать съ тѣми личностями, которыя угождаютъ нашимъ и вашимъ изъ чистаго расчета, изъ боязни навлечь на себя непріятности или изъ желанія подслужиться; первые—люди, отъ природы лишенные жала и желчи; вторые—скрываютъ жало и желчь и пускаютъ ихъ въ ходъ тогда, когда они могутъ сдѣлать это.

Совершенною противоположною съ этими спокойными натурами представляютъ люди, подобные Рымову и Веретьеву. Это—люди съ кипучими силами, съ огненнымъ темпераментомъ, съ огромными страстями, съ рѣзкими недостатками, но съ яркими талантами и съ могучими стремленіями. Дарованія и силы этихъ людей разбрасываются, тратятся на пустыни, и сами они видятъ это, и самимъ имъ жаль себя и досадно на себя, и хочется забыться, утопить тяжелое чувство, размыкать горе. Сколько могучихъ талантовъ гибнетъ въ нашемъ отечествѣ отъ безпорядочной жизни, отъ пьянства и кутежа! Зачѣмъ пьютъ, зачѣмъ кутятъ?.. Человѣкъ съ умомъ и съ душой такого наглаго вопроса не предложить. Кабы не было тяжело, такъ не стали бы пить. Пить съ горя не изящно, я съ этимъ согласенъ, но жалокъ тотъ человѣкъ, который постоянно смотритъ на себя со стороны и всю свою жизнь думаетъ о томъ, чтобы сохранить внѣшнее благообразіе; у людей, полныхъ души и чувства, бывають такія минуты, когда весь че-

ловѣкъ сосредоточенъ въ одномъ стремленіи, когда онъ имъ только и живетъ, въ немъ только и видитъ отраду и цѣль существованія; и если что-нибудь остановитъ такого человѣка въ то время, когда онъ идетъ къ своей любимой цѣли, если что-нибудь станетъ между этимъ человѣкомъ и его призваніемъ, тогда не пеняйте на него и не удивляйтесь его поступкамъ. Та самая сила, которая могла бы сдѣлать чудеса, побѣдить всѣ внѣшнія препятствія, осуществить безпокойное стремленіе, та самая сила, передъ проявленіями которой мы бы стали благоговѣть и преклоняться, обращается противъ самого человѣка и разбиваетъ въ дребезги ту грудь, въ которой она гнѣздится. Есть люди, которые могутъ помириться съ неполной или помятой жизнью, съ перекошенной и перекрашенной дѣятельностью; есть и другіе люди, которые не умѣютъ дѣлать уступокъ; имъ подавай или все, или ничего; при первой разбитой надеждѣ, при первой попыткѣ жизни прибрать ихъ къ рукамъ и скрутить ихъ по-своему, они бросаютъ все и съ какимъ-то злобнымъ наслажденіемъ разбиваютъ объ дорогу и свой идеалъ, и свои стремленія, и молодость, и силы, и жизнь. Являются вспышки отчаянной энергіи, попытки повернуть дѣло по-своему и головой пробить себѣ дорогу къ любимой дѣятельности; но такія попытки одному человѣку не по силамъ, и за энергическимъ движеніемъ впередъ слѣдуетъ обыкновенно страшная, часто отвратительная реакція. Кабы этимъ силамъ да другую сферу—было бы совсѣмъ другое дѣло. Типъ широкой природы, разбрасывающейся въ простомъ народѣ на сивуху, а въ среднемъ кругу—на шампанское, могъ бы переродиться въ типъ талантливаго, живого, веселаго работника.

Отношенія Писемскаго къ этому типу теплѣе, симпатичнѣе и справедливѣе, чѣмъ отношенія Тургенева. Тургеневъ смотритъ на своего Веретьева какъ-то слишкомъ легко и слишкомъ презрительно: это не великодушно; жертвы нашего собственного тупоумія, нашей собственной инертности имѣютъ право на наше сочувствіе или, по крайней мѣрѣ, на наше состраданіе; если жизнь однихъ вколачиваетъ въ могилу, другихъ вгоняетъ въ кабакъ, третьихъ превращаетъ въ негодяевъ, то согласитесь, что въ этомъ не виноваты тѣ личности, которыя не выносятъ атмосферы этой жизни. «Комизъ» Писемскаго неподражаемо хорошъ, какъ выраженіе этой идеи въ поразительно яркихъ образахъ. Вотъ, говоритъ авторъ, Рымовъ запилъ, превратился въ тряпку, попалъ подъ башмакъ глупой жены своей, какого-то ходячаго пуховика; а вотъ, полюбуйтесь, то общество, среди котораго онъ живетъ, всѣ, какъ на подборъ: одинъ глупѣе другого, и каждый подличаетъ по-своему; Рымовъ пьяный умѣе ихъ всѣхъ трезвыхъ. Какъ же ему не пить? Когда вездѣ видишь, по выраже-

нію Гоголя, одни свиные рыла, тогда поневоля захочешь хоть на нѣсколько минутъ закрыть глаза, чтобы ничего не видѣть. Рымовъ ищетъ одурѣнія, самозабвенія, бреда—и все это очень понятно, все это—протестъ противъ того, съ чѣмъ борются всѣ честные дѣятели, и что ненавидятъ всѣ порядочные люди.

### VIII.

Въ томъ, что я написалъ до сихъ поръ, есть нѣсколько мыслей о тѣхъ явленіяхъ жизни, которые представлены Писемскимъ и Тургеневымъ. Полной оцѣнки ихъ дѣятельности нѣтъ, а между тѣмъ статья вышла уже очень большая. Зная ея неполноту, я постараюсь въ особой статьѣ высказать свои мысли о женскихъ типахъ, выведенныхъ въ произведеніяхъ Гончарова, Тургенева и Писемскаго. Кроме того, о такомъ романѣ, какъ «Тысяча Душъ», нельзя говорить вскользь и между прочимъ. По обилію и разнообразію явленій, схваченныхъ въ этомъ романѣ, онъ стоитъ положительно выше всѣхъ произведеній нашей новѣйшей литературы. Характеръ Калиновича задуманъ такъ глубоко, развитіе этого характера находится въ такой тѣсной связи со всѣми важнѣйшими сторонами и особенностями нашей жизни, что о романѣ «Тысяча

Душъ» можно написать десять критическихъ статей, не исчерпавши вполне его содержанія и внутренняго смысла. О такихъ явленіяхъ говорить всегда кстати; говорить о нихъ—значитъ говорить о жизни, а когда же обсужденіе вопросовъ современной жизни можетъ быть лишено интереса? Поэтому я теперь постараюсь въ нѣсколькихъ словахъ сгруппировать выводы, которые могутъ быть сдѣланы изъ теперешней моей статьи:

- 1) Я считаю трехъ названныхъ мною романистовъ важнѣйшими представителями современной поэзіи и отвергаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ Майкова и Некрасова.
- 2) Въ романѣ Гончарова я вижу только тщательное копированіе мелкихъ подробностей и микроскопически тонкій анализъ. Ни глубокой мысли, ни искренняго чувства, ни прямодушныхъ отношеній къ дѣйствительности я не замѣчаю.
- 3) Въ Писемскомъ и въ Тургеневѣ я дорожу преимущественно ихъ отрицательнымъ и совершенно трезвымъ воззрѣніемъ на явленія жизни.
- 4) Писемскій глубже Тургенева захватываетъ эти явленія, изображаетъ ихъ болѣе густыми красками и по жизненной полнотѣ своихъ твореній, какъ «черноземная сила», стоитъ выше Тургенева.

## ЖЕНСКІЕ ТИПЫ

ВЪ РОМАНАХЪ И ПОВѢСТЯХЪ ПИСЕМСКАГО, ТУРГЕНЕВА И ГОНЧАРОВА.

### I.

Сколько лѣтъ уже живутъ люди на свѣтѣ, сколько времени толкуютъ они о томъ, какъ бы устроить свою жизнь поизящнѣе и поудобнѣе, а до сихъ поръ самыя простыя и положительно необходимыя отношенія не установились какъ слѣдуетъ. До сихъ поръ мужчина и женщина жьшуютъ другъ другу жить, до сихъ поръ они взаимно, самыми разнообразными и утонченными средствами, отравляютъ другъ другу жизнь. Разойтись они не могутъ, сойтись какъ слѣдуетъ не умѣютъ и, инстинктивно стараясь сблизиться, запутываются въ такія сложныя, мучительныя, неестественныя отношенія, о которыхъ свѣжій челобѣкъ съ здоровымъ мозгомъ не можетъ себѣ составить даже приблизительно вѣрнаго понятія. Мужчина гнететъ женщину и клеветаетъ на нее. Взгляните на восточныя гаремы, вспомните о тѣхъ законахъ, по которымъ вдова должна была

сжигаться на кострѣ покойнаго мужа, вспомните тѣ странныя статьи первобытнаго уголовного кодекса, въ силу которыхъ нарушительница супружеской вѣрности подвергалась смертной казни или по меньшей мѣрѣ жестокому и унизительному тѣлесному наказанію,—вспомните все это, и вы увидите ясно, что на сторонѣ мужчины всегда находились сила, власть и неосѣненное право мучить по своему благоусмотрѣнію подчиненную, безотвѣтную и сравнительно съ нимъ слабую спутницу. Загляните потомъ въ литературу всѣхъ народовъ, начиная съ древнѣйшихъ временъ, пересчитайте, если у васъ на то хватитъ силъ и свѣдѣній, всѣ ядовитыя или просто грязныя обвиненія, направленные противъ женщины вообще, и вы увидите такъ же ясно, что мужчина, постоянно развращавшій женщину гнетомъ своего крѣпкаго кулака, въ то же время постоянно обвинялъ ее въ ея умственной неразвитости, въ отсутствіи тѣхъ или другихъ высо-

кихъ добродѣтелей, въ наклонности къ тѣмъ или другимъ преступнымъ слабостямъ. Обвиненія эти дѣлались, конечно, чисто съ точки зрѣнія самого обвинителя, который въ своемъ собственномъ дѣлѣ является обыкновенно истцомъ, судьей, присяжнымъ и палачомъ. Если, напримеръ, молодому образованному греку временъ Перикла было скучно сидѣть съ своей женой, которая не знала ничего, кромѣ своихъ рабынь и шерстяной пряжи, то онъ громко обвинялъ ее въ тупоуміи и уходилъ съ веселыми пріятелями къ модной гетерѣ, гдѣ, конечно, находилъ полное сочувствіе своему семейному горю, а вслѣдъ за сочувствіемъ отыскивалъ и утѣшеніе. Жена, существо молодое, свѣжее, способное развиваться и наслаждаться, оставалась одна, не смѣя даже роптать, съ тихимъ затаеннымъ вздохомъ принималась опять за пряжу, робко поджидала возвращенія господина-супруга, стыдливо принимала его полупышныя ласки и, не получая ни откуда притока свѣжаго воздуха, постоянно тупѣла и съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе надобѣдала своему мужу. Возьмемъ другой примѣръ.

Если богатый мусульманинъ, владѣтель великолѣпнаго гарема, не имѣлъ возможности любить съ одинаковой силой всѣхъ своихъ женъ и любовницъ, и если одна изъ оставленныхъ одалискъ искала себѣ утѣшенія въ какой-нибудь посторонней привязанности, если она успѣвала склонить стражу и украдкой ввести въ гаремъ своего возлюбленнаго, — хозяинъ и властелинъ считалъ себя смертельно оскорбленнымъ и самымъ жестокимъ образомъ вымещалъ свою обиду на своей возмущившейся собственности. Эта собственность зашивалась въ мѣшокъ и отправлялась на дно ближайшей рѣки или немилосердно уродовалась палками, плетью, розгами и другими исправительными орудіями, принадлежащими къ той же категоріи.

Но все это, скажетъ читатель, примѣры, взятые изъ отдаленнаго прошлаго или изъ другой уродливо сложившейся цивилизаціи! Хорошо, возьмемъ примѣръ изъ нашихъ временъ и изъ нашего быта. Года четыре тому назадъ въ нашемъ отечествѣ были подняты вопросы о воспитаніи; появилось нѣсколько педагогическихъ журналовъ, и въ нихъ, между прочимъ, заговорили очень рѣчисто о женщинѣ. На нашихъ женщинъ напали съ двухъ сторонъ; въ первыхъ, ихъ раскритиковали въ пухъ, какъ воспитательницъ; во-вторыхъ, — какъ часть воспитывающагося и вырастающаго молодого поколѣнія. Матерямъ и воспитательницамъ наша литература говорила безъ всякихъ обиняковъ: «вы воспитываете скверно, вы сами пусты, вы живете нарядами и выѣздами, вы не думаете о страшной отвѣтственности, которая лежитъ на васъ передъ обществомъ, передъ родиной, передъ собственной совѣстью. Покайтесь и обратитесь

на путь истины». Обращаясь къ воспитанницамъ, литература наша даже ихъ умѣла обвинить въ томъ, что онѣ получили съ самыхъ раннихъ лѣтъ скверное направленіе, что онѣ не любятъ науки, равнодушны къ интересамъ своего развитія, обожаютъ своихъ учителей, начинаютъ кокетничать чуть не съ пеленокъ и, достигши шестнадцати-лѣтняго возраста, норовятъ выйти замужъ за кого попало. Я возьму только одинъ фактъ этого обвиненія и докажу вамъ, что по своей идеѣ онъ нисколько не лучше тѣхъ двухъ примѣровъ, которые я привелъ выше.

Въ первомъ примѣрѣ грекъ дуетъ на свою жену за ея неразвитость, которую онъ же самъ поддерживаетъ въ ней своимъ обращеніемъ съ нею.

Во второмъ примѣрѣ мусульманинъ колотитъ свою одалиску за невѣрность, которую онъ же самъ вызываетъ своей невнимательностью.

Въ третьемъ примѣрѣ литераторы наши ругаютъ женщинъ за ихъ вѣтренность, за ихъ пустоту, которая поддерживается складомъ всего общества, и въ которой виноваты одни мужчины, какъ единственные дѣятельные члены этого общества.

Наши русскія матери плохо воспитываютъ — согласенъ; да гдѣ же имъ было научиться примѣрамъ здоровой педагогики? Гдѣ имъ было проникнуться челоуѣческими идеями? Наши матери занимаются устройствомъ своихъ куафюръ или маринованіемъ грибовъ — опять-таки согласенъ. Да что же имъ дѣлать, когда онѣ ничего лучшаго не знаютъ? А не знаютъ онѣ потому, что съ ними никто по-челоуѣчески не говорилъ. Виноваты же въ этомъ одни мужчины, потому что мужчины дирижируютъ оркестромъ общественныхъ убѣжденій и являются запѣвалами. Если выходить разладаца, они же сами за это отвѣчаютъ и на себя должны пенять.

Наши дѣвушки кокетничаютъ потому, что никто не умѣетъ шевельнуть какъ слѣдуетъ ихъ ума; молодыя силы ищутъ себѣ исхода и, не находя себѣ разумнаго приложенія, обращаются на пустяки и тратятся на нелѣпости; дѣвушка старается выйти замужъ — это очень похвально и благоразумно; желая этого, она повинуется единственно голосу физической природы и показываетъ въ себѣ присутствіе свѣжихъ силъ, потребность любви и наслажденія; кромѣ того, она очень хорошо понимаетъ, что, выходя замужъ, она становится свободнѣе, чѣмъ была прежде, находясь въ родительскомъ домѣ; если она ищетъ для себя личной свободы, значитъ, она инстинктивно или сознательно понимаетъ ея цѣну. Кто стремится къ независимости, тотъ во всякомъ случаѣ оказывается сильнѣе, умнѣе и энергичнѣе челоуѣка, мирящагося со своимъ подчиненнымъ положеніемъ.

Чтобы выйти замужъ, многія дѣвушки пускаютъ въ ходъ неблагообразныя средства; онѣ ста-

раются понравиться, продают товар лицом, кокетничают; все это очень нехорошо, но опять-таки въ этомъ виноваты мужчины. Если бы мужчинамъ не нравились кокетки, если бы мужчины требовали отъ женщинъ серьезнаго ума, если бы они не довольствовались легкой граціей, тогда кокетство сдѣлалось бы невозможнымъ. А кричать въ литературѣ противъ того зла, которое поощряешь въ жизни, безцѣльно и бесполезно. Валить нравственную отвѣтственность на такое существо, которое въ теченіе всей своей жизни находится въ зависимости, несправедливо и неблагоприятно. Пора, мнѣ кажется, сказать рѣшительно и откровенно: женщины ни въ чемъ не виноваты. Она постоянно является страдальцей, жертвой или, по крайней мѣрѣ, страдательнымъ лицомъ. Если случается иногда, что женщина отравляетъ существованіе добраго, честнаго и умнаго мужчины, то въ этомъ случаѣ совершается только круговая порука. Женщина вымещаетъ на своемъ мужѣ то зло, которое ей сдѣлали въ домѣ отца; ее испортили, — она и является испорченной; а все-таки въ существованіи портящихъ элементовъ виновата не женщина. Она въ полномъ смыслѣ слова — продуктъ извѣстныхъ бытовыхъ формъ и условій, и при томъ продуктъ, не имѣющій никакой возможности заявить свой протестъ. Даже мужчина, недовольный той жизнью, на которую обрекаютъ его понятія, укоренившіяся въ обществѣ, бываетъ принужденъ выдержать страшную борьбу, — такую борьбу, которая обыкновенно истощаетъ до послѣдней капли живыя силы его личности; большая часть мужчинъ не доводятъ этой борьбы до конца, смиряются и склоняютъ голову, признавая себя побѣжденными; кто остается побѣдителемъ, тотъ скоро умираетъ отъ послѣдствій непомѣрныхъ усилій.

Подумайте, что же при такихъ условіяхъ можетъ сдѣлать женщина? Вспомните, что женщина у насъ знаетъ несравненно меньше, чѣмъ мужчина, извѣжена несравненно больше и также несравненно больше мужчины сдвлена контролемъ общественнаго мнѣнія. Мужчина приходитъ въ столкновеніе со множествомъ разнообразныхъ сферъ: родительскій домъ, гимназія, университетъ, департаментъ или полкъ, маскарадъ, трактиръ, редакція журнала, прилавокъ торговой конторы — вѣдь это все школы жизни; положимъ, что каждая изъ этихъ школъ сама по себѣ неудовлетворительна, но зато ихъ довольно много, и каждая изъ нихъ болѣе или менѣе даетъ матеріалы для критики остальныхъ. Если даже мы видимъ уродливыя явленія, то они оказываютъ на нашу мыслительную дѣятельность возбуждающее вліяніе, лишь бы только эти уродливыя явленія не были утомительно-однообразны. Мужчинѣ есть на чемъ развиваться; что это развитіе пойдетъ вкривь и вкось — въ этомъ нѣтъ почти ни малѣйшаго сомнѣнія; но

тѣмъ не менѣе первобытный сонъ ребенка будетъ нарушенъ, придется не разъ задуматься, разсердиться, опечалиться, явится столкновеніе съ разными личностями, съ разными сферами, явится борьба, и эта борьба такъ или иначе начнетъ обтесывать личность молодого индивидуума, вступающаго въ жизнь. Тѣ задатки способностей и страстей, которые лежали въ темпераментѣ мальчика, разовьются въ дурную или хорошую сторону, смотря по обстоятельствамъ; сдѣлавшись молодымъ человѣкомъ, этотъ мальчикъ помирится съ жизнью или возстанетъ противъ нея, но во всякомъ случаѣ онъ обозначится, по-своему пойметъ самого себя и станетъ къ окружающей его жизни въ какія-нибудь отношенія. Личность сложится такъ или иначе, а у женщины, въ большей части случаевъ, и этого не бываетъ. Мужчину жизнь вертитъ и колыхаетъ круче, но женщину она давитъ сильнѣе. Для того, чтобы одна женщина выдѣлилась своимъ образомъ жизни изъ тысячеголовой массы необозначившихся, недоразвившихся и ничѣмъ не затронутыхъ индивидуумовъ, необходимо соблюденіе нѣсколькихъ условій, которыя въ нашемъ обществѣ, при теперешнемъ складѣ воспитанія и понятій, встрѣчаются чрезвычайно рѣдко.

Необходимо, во-первыхъ, чтобы что-нибудь вызвало на размышленія и на критику. Необходимо какой-нибудь толчокъ, который нарушилъ бы ребяческую полудремоту дѣвушки или женщины. Мужчина встрѣчаетъ такіе толчки довольно часто; каждый изъ насъ помнитъ, вѣроятно, теплое слово какого-нибудь учителя или профессора, старшаго товарища или случайнаго знакомаго, котораго свѣтлая личность рельефно вырисовывается на темномъ фонѣ будничныхъ житейскихъ воспоминаній; каждый испыталъ, вѣроятно, электрическое дѣйствіе такого слова, послѣ котораго приходилось оглануться на свою прежнюю жизнь, перебрать въ умѣ свои неясныя, неперебродившія чаянія и стремленія, и положить первый краеугольный камень будущимъ мужскимъ убѣжденіямъ. — Къ такимъ словамъ женщины воспримчивѣе, чѣмъ вы думаете: такіе слова для нихъ не пропадаютъ даромъ, онѣ запоминаютъ ихъ чувствомъ, онѣ вырастаютъ и развертываются мгновенно подъ живительнымъ вліяніемъ такого слова; онѣ привязываются всѣми силами молодой и пылкой души — и къ этому слову, и къ тому, кто его произноситъ; но посмотрите, гдѣ, когда, отъ кого приходится имъ слышать такое слово? Много ли у насъ такихъ людей, которые способны заговорить съ женщиной по-человѣчески? а изъ тѣхъ людей, которые на это способны, много ли такихъ, которые достойны этого? Много ли такихъ, повторяю я, которые, вызвавъ довѣріе и сочувствіе женщины смѣлой, вдохновенной тирадой, не обмануть этого довѣрія, и не обаяются мыль-

ными пузырями и ничтожными фразерами? Стянемся на самих себя; посмотрим—каковы мы сами; посмотрим, что мы, люди дѣла, люди мысли, дали и даемъ нашимъ женщинамъ? посмотримъ—и покраснѣемъ отъ стыда! Порисовать передъ женщиной изящество чувствъ, огоршить ее блестящей оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивой смѣлостью честнаго порыва—это наше дѣло, на это мы—мастера. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить—мы на попятный дворъ, мы начинаемъ дѣлаться благоразумными, мы пугаемся того, что мы сдѣлали, мы стараемся залить тотъ пожаръ, который сами, сдуру, не спросясь броду, раздули; мы говоримъ и себѣ, и другимъ, и даже женщинъ: вольно-жъ было такъ горячо принимать къ сердцу! Надо помириться, надо покориться! Да, вотъ мы каковы, и туда же требуемъ отъ женщины, чтобы она была мыслящимъ существомъ. И смѣшно, и досадно!

Вотъ видите ли: стало быть, если даже толчокъ данъ, если даже мышленіе и критика пробудились, этого еще недостаточно. Женщина во всякомъ возрастѣ до такой степени лишена самостоятельности, что первая же проявленія этой критики очень легко могутъ быть задавлены тѣми людьми, которые составляютъ обстановку. Молодое существо шевельнется, рванется къ какой-то новой, незнакомой жизни,—его круто осадятъ назадъ; оно заговоритъ—его осмѣютъ; оно начнетъ протестовать—ему велятъ молчать; чтобы побѣдить въ неравной борьбѣ, которая завяжется между молодой женщиной и обстановкой, необходимы или особенно благоприятныя обстоятельства, или огромная сила характера. Осуждать ту молодую дѣвушку или женщину, которая начнетъ борьбу и не выдержитъ ее до конца,—я не рѣшаюсь. Силъ у нея мало—да что же дѣлать? Гдѣ было развиваться этимъ силамъ? На что было опереться? Да и наконецъ, развѣ ей самой, этой побѣжденной личности, склонившей голову и смирившейся передъ тѣмъ, что вызываетъ въ ней глубокое отвращеніе, развѣ ей легко жить на свѣтѣ? Обличать страдалницу, осуждать женщину, сломленную и изнывающую подъ ея бременемъ—это, можетъ быть, высоко-нравственно и глубоко-справедливо, но я представляю подобные подвиги другимъ, тѣмъ болѣе, что охотники всегда найдутся.

Итакъ, получивши расшевеливающей толчокъ, женщина должна еще получить извнѣ или развить въ самой себѣ силы для протеста и борьбы. Борьба будетъ самая разнообразная; сначала—внутренняя борьба, ломка прежнихъ убѣжденій и созиданіе новыхъ; потомъ борьба съ семейными властями, съ маленькими, съ тетушками, съ ихъ матримоніальными планами, съ ихъ великосвѣтскими предразсудками, съ ихъ мѣщанской посредственностью и оконченѣвшей рутинностью;

наконецъ—борьба съ общественнымъ мнѣніемъ, съ насмѣшками, намеками и силетнями. Возьмемъ самую простую вещь—трудъ женщины. Мы знаемъ вѣрный фактъ: нѣкоторыя дѣвушки ходили на лекціи въ университетъ и ходятъ до сихъ поръ въ медико-хирургическую академію. Но знаемъ ли мы внутреннюю, закулисную, семейную сторону этого факта? Сколько домашнихъ споровъ вызывало, быть можетъ, желаніе дѣвушки учиться серьезно, сколько разъ это желаніе бывало подавляемо, сколько слезъ тутъ было пролито, и какія святяся слезы! Если вы, положимъ, видите сегодня десять дѣвушекъ на лекціи, то почему вы знаете, чего имъ стоило придти? И почему вы знаете, что на эту лекцію не пришли бы еще двадцать дѣвушекъ, если бы ихъ не задержали... доводами, насмѣшками, силой? Теперь идетъ рѣчь о томъ, что женщины жаждутъ быть допущены къ медицинской практикѣ. Вопросъ, какъ вы видите, поднять свѣжій, но какіе иногда встрѣчаются отзывы, хоть святыхъ вонъ неси. Напримѣръ, кievская газета «Современная Медицина» въ своемъ фелетонѣ вздумала позубоскалить на эту тему; она говоритъ, что женщины-медики будутъ поставлены въ щекотливое положеніе, если имъ придется лѣчить специально-мужскія болѣзни; и потомъ предлагаетъ этимъ женщинамъ-медикамъ называться докториссами. Это только плоско и, конечно, не можетъ имѣть никакого вліянія на разрѣшеніе поставленнаго вопроса, но вы посмотрите на дѣло вотъ съ какой точки зрѣнія: если такія шутки откалываются въ печати людьми грамотными, чуть ли даже не учеными, то что же говорится на эту тему конфиденціально, въ своихъ кружкахъ, людьми темными и употребляющими прилагательное *ученый* не иначе, какъ съ прибавленіемъ существительнаго *гусь*... Каково тутъ будутъ острить и потѣшаться надъ той женщиной, которая у насъ въ Россіи первая рѣшится объявить себя практикующимъ медикомъ? И вѣдь эти остроты и потѣхи будутъ раздаваться въ тѣхъ самыхъ семейныхъ кружкахъ, въ которыхъ будутъ подрастать молодыя существа, способныя проникнуться до глубины души идеей о пользѣ и необходимости женскаго труда. Какова будетъ борьба! Каково будетъ слабій женщинѣ съ нѣжной, тонкой кожей проходить сквозь строй грубыхъ насмѣшекъ, наглыхъ взглядовъ въ упоръ, благонамѣренныхъ совѣтовъ и крупнопоселенныхъ остротъ и намековъ. Подумайте-ка объ этомъ, поставьте на мѣсто этой пробивающейся личности образъ дорогой для васъ женщины, и тогда найдите въ себѣ силы бросить камнемъ въ ту, которая ослабѣетъ и спасуетъ на половинѣ дороги. Мнѣ кажется, вы тогда согласитесь со мной въ томъ, что женщина находится у насъ въ такомъ положеніи, при которомъ она не отвѣчаетъ ни за что; когда она изнемогаетъ и падаетъ, мы должны ей сочувствовать, какъ му-

ченицѣ; когда она одолеваетъ препятствія—мы должны прославлять ее, какъ героиню.

Если что-нибудь дурно въ женщинѣ, такъ дурна форма, въ которую отлиты ея понятія, чувства и дѣйствія; а форму эту изготовили мы; измѣнить ее собственными силами женщина не можетъ; а матеріалъ въ ней такъ хорошъ, такъ свѣжъ, несмотря на уродливую форму, въ которую онъ втиснутъ, что онъ заставляетъ все забывать; любовь матери, сестры, любовницы, жены разливаетъ на нашу сѣрую жизнь свѣтлыя полосы счастья и поэзіи. И за что насъ любить эти милыя существа? И чѣмъ мы это заслужили? На этотъ вопросъ мы затруднимся отвѣтить, если не захотимъ отвѣтить фразой; но въ этомъ избыткѣ любви, которая вырывается изъ мѣры и тратится безъ разбора, въ этой кипучей полнотѣ покуда неосмысленнаго чувства, въ этомъ отсутствіи нравственной экономіи и разсудочности—заключаются именно задатки будущаго богатаго развитія, будущей широкой, разносторонней, размашистой жизни, будущей плодотворной, любвеобильной дѣятельности. Что сдѣлаетъ женщина, если она будетъ развиваться наравнѣ съ мужчиной?—это вопросъ великій и покуда неразрѣшимый.

## II.

Изъ предыдущихъ обшихъ разсужденій читатель можетъ замѣтить двѣ выдающіяся черты: во-первыхъ, то, что я во всѣхъ случаяхъ безусловно оправдываю женщину; во-вторыхъ, то, что я считаю теперешнее положеніе женщины крайне тяжелымъ и неутѣшительнымъ. Съ этими двумя основными идеями я приступилъ теперь къ анализу женскихъ типовъ, встрѣчающихся въ романахъ и повѣстяхъ Гончарова, Тургенева и Писемскаго. Я буду выбирать только тѣ личности, которыя еще борются съ жизнью и чего-нибудь отъ нея требуютъ. Женщины, уже помирившіяся съ извѣстной долей, не войдутъ въ мой обзоръ, потому что онѣ, собственно говоря, уже перестали жить.

Тѣ конечные результаты, къ которымъ приводитъ жизнь, не лишены интереса; ихъ можно изучать, какъ опредѣлившіеся факты, какъ памятники прошедшаго; но дѣло въ томъ, что мы теперь живемъ тревожной жизнью настоящей минуты; мы чувствуемъ неотразимую потребность отвернуться отъ прошедшаго, забыть, похоронить его и съ любовью устремить взоры въ далекое, манящее, неизвѣстное будущее. Поддаваясь этой потребности, мы сосредоточиваемъ все наше вниманіе на томъ, въ чемъ видна молодость, свѣжесть и протестующая энергія,—на томъ, въ чемъ вырабатываются и зрѣютъ задатки новой жизни, представляющей рѣзкую противоположность съ нашимъ теперешнимъ прозябаніемъ. Наши романисты также поддаются

этой потребности, изображая своихъ героинь именно въ тотъ моментъ, когда онѣ, подъ влияніемъ чувства къ мужчинѣ, развертываютъ всѣ силы своей природы и поворачиваютъ свою жизнь въ ту или другую сторону. Этотъ поворотный пунктъ въ жизни женщины особенно важенъ; рѣдко удается женщинѣ пойти по той дорогѣ, которая обѣщаетъ полное удовлетвореніе ея потребностямъ и стремленіямъ; большей частью ей приходится, споткнувшись объ какое-нибудь препятствіе, свернуть куда-нибудь въ сторону и потомъ, убѣдившись въ невозможности выйти снова на прежній широкій, свѣтлый и ровный путь, жить день за днемъ, безъ цѣли, безъ опредѣленныхъ желаній, безъ живого наслажденія. Кто видитъ женщину въ этой фазѣ развитія, тотъ видитъ существо больное, слабое, увядающее, способное молча покоряться, но уже потерявшее силы и желаніе работать и бороться. Въ такой отживающей женщинѣ вы не найдете слѣдовъ той энергіи, которая кипѣла въ молодой дѣвухкѣ; въ энергіи этой заключаются залогов будущаго развитія, слѣдовательно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, на что способна женщина, какія силы таятся въ ея мозгу, въ ея нервахъ, изучайте ее тогда, когда она еще полна жизни и свѣжести, а не тогда, когда она измята, избита и обезцвѣчена влияніемъ пошлыхъ людей и пошлой обстановки. Верите ея именно въ ту минуту, когда она любитъ и когда, подавая руку избранному человѣку, она готова съ нимъ рядомъ весело идти на встрѣчу труду, лишеніямъ, суду свѣта, упрекамъ родственниковъ, словомъ—всѣмъ тѣмъ передрыгамъ, которыя закаляютъ челоука и которыя на нашемъ безцвѣтномъ и неточномъ разговорномъ языкѣ называются горемъ и непріятностями.

Романъ большей части нашихъ женщинъ непродолжителенъ и нерадостенъ, благодаря тому обстоятельству, что наши мужчины изъ рукъ вонъ плохи; а почему плохи наши мужчины, это я, насколько возможно, старался объяснить въ предыдущей статьѣ. Большею частью мужчина влюбляется въ женщину или тогда, когда онъ находится въ положеніи неоперившагося птенца, или тогда, когда жуированіе жизнью, мелкія дразни и постоянный разладъ между міромъ мысли и міромъ дѣйствительности измучили и утомили его до крайности. Свѣжести и силы нѣтъ у нашихъ мужчинъ; они становятся стариками на другой день послѣ того, какъ перестаютъ быть ребятами; мало того, старческая дряблость живетъ въ нихъ рядомъ съ ребяческой наивностью и неразвитостью; не умѣя ни однимъ серьезнымъ дѣломъ заняться серьезно, они уже начинаютъ чувствовать себя лишними на бѣломъ свѣтѣ въ томъ возрастѣ, въ которомъ при нормальномъ образѣ жизни должно еще продолжаться физическое и умственное развитіе. Дѣлать нечего, заняться нечѣмъ, болтать вдохно-



венную чепуху надоѣдаетъ—и человѣкъ мечется изъ угла въ уголъ, привязывается къ разнымъ искусственнымъ интересамъ, хоть чтобы тѣмъ-нибудь заинтересоваться, и наконецъ, встрѣтивъ на своей дорогѣ женщину, которая ему нравится и способна понимать то, что онъ ей будетъ говорить, воображаетъ себѣ, что онъ въ пристани, что цѣль жизни найдена, что его счастье въ рукахъ этой любимой имъ особы. Но дѣло въ томъ, что особа и ея обожатель совершенно различными глазами смотрятъ на жизнь.

Женщину заинтересовываетъ то, что мужчина говоритъ ей о жизни; она сама не жила, а куда только росла или прозябала въ родительскомъ домѣ; а между тѣмъ силъ пожить и желанія пожить въ ней набралось много; вотъ она и слушаетъ съ напряженнымъ и постоянно возрастающимъ любопытствомъ и участіемъ то, что ей говорить ея собесѣдникъ о новомъ для нея процессѣ, о самостоятельной жизни, въ которой человѣкъ самъ пожинаетъ посѣянные плоды и самъ несетъ отвѣтственность за свои хорошіе и дурные поступки. Она не замѣчаетъ того что ея собесѣдникъ усталъ жить, хотя въ сущности очень мало жилъ; она не замѣчаетъ того, что ея собесѣдникъ постоянно оставался школьникомъ, хотя давно уже покинулъ университетскую скамью; она воображаетъ себѣ, что дѣятельность ея собесѣдника дѣйствительно широка и плодотворна, что жизнь его полна и разнообразна; она готова была бы завидовать ему, если бы она его не любила и не надѣялась раздѣлить съ нимъ все наслажденіе и всю обаятельную тревогу этой, по ея мнѣнію, дѣятельной жизни. Она не знаетъ и не понимаетъ, что ея обожатель никогда въ жизни не являлся и не явится полноправной, самостоятельной, всесторонне развитой человѣческой личностью; она не видитъ того, что избранникъ ея сердца бѣгаетъ, какъ бѣлка въ колесѣ, и будетъ продолжать это общепольное занятіе до тѣхъ поръ, пока не откажутся служить его руки и ноги; заглядывая изъ спертой атмосферы своей дѣвической каморки въ рабочій кабинетъ того человѣка, котораго она желаетъ назвать своимъ мужемъ, дѣвушка не замѣчаетъ того, что она только изъ одной клѣтки хочетъ перейти въ другую; эта другая будетъ, пожалуй, попросторнѣе первой, да что же въ этомъ толку?—клѣтка все-таки останется клѣткой.

Ошибаясь насчетъ размѣровъ и значенія дѣятельности, дѣвушка ошибается точно такъ-же на счетъ самой личности того человѣка, который, поразивши ея воображеніе, начинаетъ мало-помалу возбуждать въ ней любовь. Она слушаетъ его разсужденія о жизни съ страстнымъ воодушевленіемъ и придаетъ его личности часть того огня, который горитъ въ ней самой: она воображаетъ себѣ, что разсказчикъ чувствуетъ то-же самое, что чувствуетъ она, слушательница; вѣдь случается же иногда, что человѣкъ, съ которымъ

произошло какое-нибудь счастливое событіе, выходитъ на улицу и воображаетъ себѣ подъ влияніемъ своего господствующаго настроенія, что все окружающіе предметы, одушевленные и неодушевленные, смотрятъ на него какъ-то особенно весело, дружелюбно и довѣрчиво. Если такой человѣкъ одаренъ значительной долей впечатлительности и фантазіи, то съ нимъ можетъ случиться то, что онъ подойдетъ къ цѣпной собацѣ, чтобы приласкать ее, и, конечно, очень быстро печальнымъ опытомъ убѣдится въ ошибочности своихъ оптимистическихъ воззрѣній. Для молодой дѣвушки, воспитывающей въ груди своей первое чувство любви, такого рода ошибка почти неизбежна. Идеализировать личность нравщагося человѣка гораздо легче, чѣмъ идеализировать цѣпную собаку, а послѣдствія отъ того и другого могутъ выйти одинаково скверныя, хотя и существенно различныя по внѣшнимъ проявленіямъ.

Молодой человѣкъ, разсказывающій дѣвушкѣ о томъ, какъ онъ развивался, какъ боролся съ обстоятельствами, что перенесъ и выстрадалъ, гальванизируетъ самого себя процессомъ разсказа и близостью правящей ему женщины; глаза его блестятъ, давно поблекшія щеки загораются яркимъ румянцемъ; дикція его оживляется по мѣрѣ того, какъ онъ замѣчаетъ впечатлѣніе, производимое его рѣчью на свою собесѣдницу; онъ самъ наслаждается своимъ торжествомъ: чувство удовлетворяемаго самолюбія доставляетъ ему болѣе сильное удовольствіе, чѣмъ чувство раздѣленной любви; въ самой пылкой сценѣ любви онъ является въ одно время и актеромъ, и зрителемъ, и эта несчастная способность смотрѣть на самого себя со стороны въ то время, когда существо свѣжее безраздѣльно отдается обаятельному впечатлѣнію минуты, эта несчастная способность, повторяю я, есть вѣрный симптомъ вялости и дряблости; мозгъ постоянно бодрствуетъ и господствуетъ надъ всеми отправлениями организма потому, что остальные нервы притупились и ослабли. А между тѣмъ дѣвушка вся находится подъ обаяніемъ: ни одно слово въ разсказѣ, ни одна нота въ голосѣ разсказчика, ни одно измѣненіе въ мускулахъ его лица или въ выраженіи его глазъ не пропадаютъ для нея и не ускользаютъ отъ ея напряженнаго, благоговѣющаго вниманія. Новыя, неиспытанныя и неожиданныя ощущенія проходятъ черезъ ея нервную систему съ такой непостижимой быстротой, что она въ теченіе получасоваго разговора переживаетъ чуть-ли не два-три года и почти внезапно изъ взрослога ребенка превращается въ любящую женщину. И какъ она хороша въ эту минуту перерожденія! И какъ она, при всей своей чуткости, при всей напряженной силѣ вниманія, не способна отнестись критически къ своему собесѣднику! Какъ она горячо вѣрить и какъ жестоко ошибается! Въ ней вспыхиваетъ энергія, и въ немъ вспыхи-

ваает энергія; но въ ней это первые проблески разгорающагося пламени, а въ немъ это послѣднія искры потухающаго огня. Она послѣ двухъ-трехъ теплыхъ разговоровъ способна рѣшиться на все, а онъ послѣ двухъ-трехъ такихъ разговоровъ ужъ ровно ни на что не способенъ; она подойдет къ нему и скажетъ: «ну, что-же! мы довольно говорили; пора дѣйствовать, пора жить; если между нами есть препятствія, опрокинемъ ихъ, перешагнемъ черезъ нихъ. Пойдемъ навстрѣчу трудамъ, опасностямъ и наслажденію». А онъ, потративши остатки энергіи на восторженную рѣчь, чистосердечно удивится тому, что отъ него еще чего-то требуютъ; она думаетъ, что разговоръ есть только начало дѣйствія, предлюдія жизни, а онъ послѣ разговора отдыхаетъ на лаврахъ, въ полномъ убѣжденіи, что разговоръ есть полнѣйшее и единственно возможное проявленіе жизни. Увлеченная его рѣчами, она кидается къ нему на шею и въ эту минуту забываетъ и папеньку, и маменьку, и то, что въ комнату можетъ войти посторонній человѣкъ, и даже то, что она—благородная дѣвица, какъ неоднократно внушали ей воспитательницы. А онъ, при подобной вспышкѣ дѣйствительнаго чувства, при подобномъ проявленіи свѣжей жизни, теряетъ и опускаетъ руки подъ влияніемъ чисто-комическаго, глубокаго испуга; онъ не знаетъ, что ему дѣлать съ этой женщиной, принявшей его слова въ такомъ серьезномъ смыслѣ; онъ до такой степени теряетъ присутствіе духа, что не понимаетъ даже того, что ему изъ деликатности, почти изъ приличія слѣдуетъ приласкать любящее существо и отвѣтить выраженіемъ теплаго сочувствія на страстные объятія; онъ предбородушно проситъ взволнованную женщину успокоиться, придти въ себя, вспомнить, что ихъ могутъ застать...

Если эта сцена происходитъ съ дѣвушкой впечатлительной, слабой и нервной, то она разрѣшается слезами, кончается истерическимъ припадкомъ и не производитъ рѣшительнаго перелома; дѣвушка объясняетъ себѣ всю нескладность этой сцены тѣмъ обстоятельствомъ, что она сама была разстроена и взволнована; любимый мужчина не теряетъ въ ея глазахъ своего достоинства, и разочарованіе происходитъ уже впоследствии, послѣ цѣлаго ряда подобныхъ сценъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ вѣлыхъ отношеній. Но если дѣйствующимъ лицомъ въ этой нелѣпой сценѣ была дѣвушка или женщина сильная, страстная и энергичная, то она сразу понимаетъ, какъ пошло вель себя въ этой сценѣ нравившійся ей мужчина, она быстро откидывается назадъ, однимъ холоднымъ взглядомъ уничтожаетъ впечатлѣніе всего разговора, въ одну минуту сосредоточивается въ самой себѣ, и только что начатый романъ оказывается навсегда оконченнымъ, безъ шума, безъ слезъ, безъ эффектныхъ выходовъ, и, повидимому, къ

обоюдному удовольствію героя и героини. А между тѣмъ чувство женщины глубоко и несправедливо оскорблено; она обманута въ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ; первое проявленіе жизни прихвачено морозомъ, и самая жизнь оказывается надломленной. Зло, конечно, поправимое, но кому-жъ его поправить? Гдѣ у насъ тѣ люди, которые умѣли и хотѣли бы понять страданія женщины и радикально излѣчить эти страданія любовью, лаской, удовлетвореніемъ той потребности дѣятельности, которая постоянно волнуетъ мыслящую человѣческую личность? Если бы у насъ было много такихъ людей, то во многихъ отношеніяхъ жизнь наша пошла бы не такъ какъ она идетъ теперь.

### III.

Изъ женскихъ личностей, выведенныхъ въ романахъ Гончарова, только Ольга Сергѣевна Ильинская до нѣкоторой степени заслуживаетъ анализа. Въ доброе, старое время, когда литература считалась роскошью и забавой жизни, отъ автора романа требовали только блестящаго вымысла и разнообразія картинъ; самые строгіе цѣнители требовали отъ него нравственнаго поученія и совершенно удовлетворялись его произведеніемъ, если оно изображало борьбу добра и зла и выводило на сцену воплощенія разныхъ добродѣтелей и пороковъ; одни критики требовали, чтобы непременно торжествовало добро; другіе, болѣе догадливые, позволяли злу одерживать побѣду, но желали только, чтобы зло, подавленное или торжествующее, было представлено въ очень отвратительномъ видѣ, «во всей наготѣ своего безобразія», какъ выражались съ добродѣтельнымъ негодованіемъ эти догадливые цѣнители. Для однихъ романъ былъ источникомъ благородной забавы, пособіемъ для успѣшнаго пищеваренія, чѣмъ-нибудь въ родѣ хорошей сигары, рюмки ликера или коньяка; для другихъ романъ былъ нравоученіемъ въ лицахъ, и эти другіе смотрѣли на первыхъ, какъ на жалкихъ умственныхъ недорослей, какъ на людей пустыхъ и ничтожныхъ. Эти другіе, считавшіе себя солью земли и свѣтилами міра, очень много толковали объ идеалахъ и искали идеаловъ въ романахъ, повѣстяхъ и драмахъ. Подъ именемъ идеала они разумѣли что-то очень высокое и хорошее; идеаломъ человѣка они называли совокупленіе въ одномъ вымышленномъ лицѣ всевозможныхъ хорошихъ качествъ и добродѣтельныхъ стремленій; чѣмъ больше такихъ качествъ и стремленій романистъ называвалъ на своего героя, тѣмъ ближе онъ подходилъ къ идеалу и тѣмъ больше похвалялъ заслуживалъ онъ со стороны этихъ высоко развитыхъ цѣнителей. Цѣнители эти хотѣли, чтобы читатель, закрывая книгу, могъ сказать съ сердечнымъ умчленіемъ: «да! вотъ какіе должны быть люди! Увы! зачѣмъ это я не

похожъ на этого героя, и зачѣмъ это въ моей супругѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства съ изящной личностью этой героини?»

Доброе, старое время, о которомъ я говорю, время Грандисоновъ и Клариссъ, для многихъ добродушныхъ людей еще не миновало и для многихъ никогда не минуетъ. До сихъ поръ есть такіе высоко нравственные люди, которые смотрятъ на литературу, какъ на проповѣдь, возвышающую душу и очищающую нравственность; есть и такіе, которые видятъ въ ней весьма позволительную забаву; есть даже и такіе, которые видятъ въ ней источникъ всякаго зла. Люди послѣдней категоріи не читаютъ ничего, кромя календарей и дѣловыхъ бумагъ; но зато люди первыхъ двухъ категорій съ наслажденіемъ читаютъ «Обломова»; людей, наслаждающихся чтеніемъ романовъ послѣ сытнаго обѣда, нѣжать обаятельностью языка и спокойствіе разсказа; сверхъ того ихъ радуешь и умиляетъ тщательная отдѣлка мелочей; нужны-ли эти мелочи для пониманія дѣла, объ этомъ они не спрашиваютъ; ощущеніе, доставляемое имъ романомъ,—приятно, и они совершенно довольны. Люди, ищущіе назиданія, восхищаются фигурой Ольги и видятъ въ ней идеалъ женщины; каюсъ, господа читатели, года два тому назадъ и я принадлежалъ къ числу этихъ людей и я восторгался Ольгою, какъ образцомъ русской женщины. Но нашъ желѣзный вѣкъ, вѣкъ демоническихъ сомнѣній и грубо реальныхъ требованій, образуетъ мало-по-малу такихъ людей, которые даже романисту не позволяютъ быть фантазеромъ и даже ученому специалисту не позволяютъ быть буквоедомъ. Мы нуждаемся, говорятъ эти люди, въ рѣшеніи самыхъ элементарныхъ вопросовъ жизни, и намъ некогда заниматься тѣмъ, что не имѣетъ прямого отношенія къ этимъ вопросамъ. Мы жить хотимъ и, слѣдовательно, назовемъ дѣятелемъ жизни, науки или литературы только того человѣка, который помогаетъ намъ жить, пуская въ ходъ всѣ средства, находящіяся въ его распоряженіи.

Но созданія Гончарова не выясняютъ намъ ни одного явленія жизни, и, слѣдовательно, мы можемъ взглянуть на всю его дѣятельность, какъ на явленіе чрезвычайно оригинальное, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени бесполезное. Мы не требуемъ отъ художника мелкаго обличенія, но полагаемъ, что пониманіе жизни и ясныя, сознательныя и притомъ искреннія отношенія къ поставленнымъ имъ вопросамъ представляютъ необходимую принадлежность художника. Гончаровъ попытался нарисовать образъ русской дѣвушки, одаренной отъ природы значительными умственными силами и поставленной при самыхъ выгодныхъ условіяхъ развитія. Картинка вышла на первый взглядъ очень красивая. Благодаря пластичности гончаровскаго изложенія, большинство читателей приняли Ольгу за живую

личность, возможную при условіяхъ нашей жизни. Первое впечатлѣніе говоритъ въ пользу героини «Обломова», но стоитъ только, не останавливаясь на мелочахъ, взглянуть на крупныя черты этого характера, чтобы убѣдиться въ томъ, что онъ выдуманъ, какъ и все то, что когда-нибудь выходило изъ-подъ пера Гончарова. При первомъ своемъ появленіи на сцену Ольга выходитъ изъ головы автора совершенно сформированной, въ полномъ вооруженіи, подобно тому, какъ въ доброе, старое время Паллада-Афина вышла изъ черепа Зевеса.

Авторъ пытается объяснить происхожденіе выведеннаго имъ женскаго характера, но попытки эти оказываются совершенно неудачными. Говоря вскользь о развитіи Ольги, Гончаровъ указываетъ только на два обстоятельства, отличающія собою ея жизнь отъ жизни другихъ дѣвушекъ, принадлежащихъ къ тому же слою общества. Первымъ обстоятельствомъ является отрицательное вліяніе тетки, вторымъ—положительное вліяніе Штольца. Тетка, замѣнявшая Ольгѣ родителей, не мѣшала ей дѣлать, что угодно, а Штольцъ въ досужія минуты училъ ее уму-разуму; первое обстоятельство довольно правдоподобно: сироты обыкновенно растутъ свободнѣе, чѣмъ дѣти, воспитывающіяся въ родительскомъ домѣ; они терпятъ больше горя, но зато развиваются самобытнѣе и становятся тверже, именно потому, что ихъ не охватываетъ со всѣхъ сторонъ расслабляющая атмосфера слѣпой любви и неотразимаго деспотизма. Ольгѣ было удобнѣе развиваться подъ надзоромъ тетки, чѣмъ подъ руководствомъ матери; но вѣдь тетка могла дать только отрицательный элементъ; она могла до известной степени не мѣшать развитію, а условія жизни, выборъ чтенія, кружокъ знакомыхъ должны были направлять силы молодого ума въ ту или другую сторону.

Что могъ сдѣлать Штольцъ? Если бы даже онъ съ неуклоннымъ вниманіемъ слѣдилъ за проявленіями мысли и чувства въ молодой дѣвушкѣ, то и тогда ему одному было бы довольно трудно составлять противовѣсъ всему вліянію домашней и общественной обстановки. Но кромя того Штольцъ—«человѣкъ дѣятельный»; онъ съ утра до вечера бѣгаетъ по городу, онъ постоянно находится въ развѣздахъ; гдѣ-жъ ему быть руководителемъ и воспитателемъ молодой дѣвушки? Сверхъ того, Штольцъ относится къ Ольгѣ, какъ къ ребенку, даже во время той сцены, послѣ которой онъ предлагаетъ ей руку и сердце; когда Ольга говоритъ ему о своемъ романѣ съ Обломовымъ, онъ ей отвѣчаетъ на ея признанія: «васъ за это надо оставить безъ сладкаго блюда за обѣдомъ». Если этотъ дѣловой господинъ, сильно смахивающій вообще на *commis voyageur*, относится такъ шутливо къ серьезному разсказу дѣвушки о серьезныхъ чувствахъ и о дѣйствительныхъ, пережитыхъ ею страданіяхъ, то можно

себѣ представить, съ какой покровительственной улыбкой онъ относился къ этой дѣвушкѣ, когда она ходила въ коротенькихъ платьяхъ, и когда она, какъ умный, развивающійся ребенокъ, всего болѣе нуждалась въ дружескомъ совѣтѣ и въ уваженіи со стороны взрослого. Кромѣ того Штольцъ и самъ не отличается значительной высотой развитія; когда Ольга, сдѣлавшаяся уже его женою, жалуется ему на какія-то стремленія, на какую-то неудовлетворенную тоску, Штольцъ говоритъ на это: «мы не боги», и совѣтуетъ ей покориться, помириться съ этой тоскою, какъ съ неизбѣжной принадлежностью жизни. Штольцъ, очевидно, не понимаетъ смысла и причины этой тоски, но, какъ человѣкъ самолюбивый и самонадѣянный, онъ не рѣшается признаться въ своемъ непониманіи и пускается въ фразерство. Человѣкъ, неспособный понять такую простую вещь, человѣкъ, неспособный въ рѣшительную минуту поддержать и разумнымъ образомъ успокоить женщину, опирающуюся на него съ полнымъ довѣріемъ, конечно, не можетъ имѣть на развитіе молодого существа того рѣшительнаго и благотворнаго вліянія, которое приписано Штольцу въ романѣ Гончарова. Если Штольцъ не умѣетъ направить къ разумной дѣятельности силы женщины, уже сложившейся и окрѣпшей, то какимъ-же образомъ можетъ этотъ самый Штольцъ пробудить и вызвать къ жизни силы, еще дремлющія въ мозгу ребенка? Есть, конечно, такіе люди, которые могутъ расшевелить, но потомъ не въ силахъ поддержать доврившуюся имъ женщину; къ числу такихъ людей принадлежатъ Рудинъ, Шамиловъ, герой стихотворенія Некрасова «Саша»; такіе люди слабы и порывисты, а Штольцъ твердъ и спокоенъ; такіе люди очень хорошо знаютъ, что надо дѣлать, но у нихъ не хватаетъ силъ на то, чтобы исполнить сознанное дѣло. Штольцъ, напротивъ того, могъ бы все сдѣлать, но онъ не знаетъ, что надо дѣлать. Изъ всего этого видно, что Штольцъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми рудинскаго типа; мало того, онъ поставленъ въ противоположность къ этому типу; онъ, по мнѣнію Гончарова, является живымъ укоромъ этимъ людямъ. Спрашивается, какъ-же этотъ высокоразвитый, металлически твердый, трезво и спокойно размышляющій человѣкъ оказался неспособнымъ вывести жену свою изъ лабиринта осадившихъ ее сомнѣній и стремленій?

Тѣ эпитеты, которые я здѣсь придаю Штольцу, не выражаютъ моего личнаго мнѣнія объ этой фигурѣ; этими эпитетами я обозначаю только тѣ свойства, которыя Гончаровъ хотѣлъ придать своему созданію; я-же съ своей стороны не считаю Штольца ни высокоразвитымъ, ни металлически твердымъ, ни спокойно размышляющимъ; всѣ эти свойства могутъ быть приписаны человѣку, а я не считаю Штольца за человѣка. Я вижу въ немъ довольно искусно выточенную

маріонетку, двигающуюся взадъ и впередъ по произволу выточившаго ее мастера. Еще гораздо искуснѣе маріонетки Штольца выточена другая, очень красивая маріонетка, Ольга Сергѣевна Ильинская; но жизни нѣтъ ни въ той, ни въ другой. Поэтому, говоря о гончаровскихъ лицахъ, намъ приходится только слѣдить за процессомъ мыслительной дѣятельности въ головѣ автора; намъ приходится не обсуживать выведенныя имъ стороны жизни, а просто рѣшать вопросъ, послѣдовательны-ли и пригодны-ли его сужденія. беру я на себя этотъ трудъ потому, что имя Гончарова пользуется значительной извѣстностью, и слѣдовательно мнѣнія его могутъ имѣть нѣкоторое вліяніе на мысли читателей.

Итакъ, мы видѣли, что Гончаровъ думаетъ о развитіи женщины: онъ полагаетъ, что дѣвушкѣ достаточно пользоваться нѣкоторой независимостью и встрѣчаться порою съ умнымъ и твердымъ мужчиной, для того, чтобы вполне развиты свои природныя силы. Тѣ предѣлы, которыхъ должна достигать эта независимость, не обозначены ясно, потому что отношенія Ольги къ теткѣ совершенно не обрисованы и отношенія ея къ обществу оставлены въ тѣни, съ тѣмъ замѣчательнымъ умнѣемъ, съ которымъ Гончаровъ всегда набрасывалъ покрывало на то, о чемъ, по его мнѣнію, неудобно распространяться. Тѣ размѣры, въ которыхъ должны проявляться умъ и твердость мужчины, также не опредѣлены съ достаточной ясностью; Гончаровъ не далъ себѣ труда подумать о томъ, чѣмъ могутъ быть искреннія и разумныя отношенія между развитымъ мужчиною и развитой женщиной, и, вслѣдствіе этого, отношенія эти вышли блѣдны и фальшивы, какъ казенная фраза на избитую тему. Въ самомъ характерѣ Ольги встрѣчаются внутреннія противорѣчія, которыя ясно показываютъ, до какой степени туманны и сбивчивы понятія автора о томъ идеалѣ женщины, который онъ самъ себѣ составилъ и который онъ хотѣлъ выяснить читателямъ своего романа.

Возьмемъ отношенія Ольги къ Обломову. Ольгу заинтересовываетъ граціозность этой честной, мѣшковой личности, которой наивность и природный умъ рѣзко отдѣляются отъ вычурности и безцвѣтности тѣхъ свѣтскихъ джентльменовъ, которыхъ до того времени приходилось видѣть Ольгѣ. Заинтересовавшись Обломовымъ, Ольга начинаетъ въ него вглядываться, убѣждается въ томъ, что онъ дѣйствительно уменъ, честенъ, мягокъ, симпатиченъ, и начинаетъ чувствовать къ нему влеченіе. Когда эта зародившаяся любовь сдѣлалась замѣтна для самой Ольги, то она взглянула на свое чувство оригинально; она посмотрѣла на него, какъ на подвигъ, который посылается ей судьба; она воображала себѣ, что ей предстоитъ обновить Обломова, одряхлѣвшаго отъ умственного сна, воодушевить его новой энергіей и сдѣлать его способнымъ къ дѣятель-

ной, человеческой жизни. Чтобы понимать такимъ образомъ свои отношенія къ любимому человѣку, надо стоять на высокой степени умственнаго развитія и обладать огромными природными силами. Кто стоитъ на такой степени и обладает такими силами, тотъ неспособенъ затосковать безпредметной тоской и не понять причины своей тоски. Если Ольга понимаетъ, что Обломову необходима дѣятельность, то какъ же она можетъ не понять, что ей, какъ энергической личности, дѣятельность еще гораздо необходима? Какъ же она не понимаетъ, что вся ея тоска съ любимымъ человѣкомъ, на южномъ берегу Крыма, среди роскошной, цвѣтущей природы,—не что иное, какъ неудовлетворенная потребность разумной дѣятельности? Какъ, наконецъ, эта энергическая природа не рвется вонъ изъ душевной атмосферы спокойнаго, соннаго счастья въ живую среду дѣятельности и тревоги? Какъ возможно, чтобы Ольга, рѣшившаяся такъ рѣзко разорвать свои отношенія съ Обломовымъ тогда, когда Обломовъ оказался тряпкой, чтобы эта самая Ольга, повторяю я, успокоилась на плоскомъ отвѣтѣ Штольца: «мы не боги», и помирилась съ такой жизнью, въ которой, сколько намъ извѣстно, по словамъ Гончарова, не было ничего, кромѣ воркованія любящаго супруга, нянчанія ребенка и заботъ по домашнему хозяйству? Энергическая женщина сама пробѣда бы себѣ дорогу къ дѣятельности и взглянула бы съ невольнымъ презрѣніемъ на того мужчину, который рѣшился бы увѣрить ее, что надо быть богомъ, чтобы работать и наслаждаться. Но Гончаровъ, расходясь съ моимъ мнѣніемъ, доказываетъ, кажется, совершенно противное. Если сгруппировать въ общую картину всѣ черты, введенныя имъ въ фигуру Ольги, то смыслъ выйдетъ довольно оригинальный, гармонирующій съ основной идеей «Обыкновенной Истории». Ольга въ крайней молодости беретъ себѣ на плечи огромную залачу; она хочетъ быть нравственной опорой слабаго, но честнаго и умнаго мужчины; потомъ она убѣждается въ томъ, что эта работа ей не по силамъ, и находитъ гораздо болѣе удобную самую опереться на крѣпкаго и здороваго мужчину. Положеніе ея очень прочно и комфортабельно, но, какъ вспышка молодости, у нея является припадокъ тоскливаго волненія. Этотъ припадокъ отъ времени до времени повторяется, постепенно ослабѣвая; наконецъ, молодая женщина совершенно излѣчивается, дѣлается спокойной и веселой, и жизнь ея начинаетъ струиться тихимъ, прозрачнымъ и отчасти усыпительно журчащимъ ручейкомъ. Гончаровъ находитъ, что это сонное спокойствіе должно быть признано счастьемъ; я съ нимъ не буду спорить, потому что у каждого свои понятія о счастьѣ: это—дѣло личнаго вкуса. Гончаровъ въ изображеніи личности Ольги точно такъ же, какъ и въ «Обыкновенной Истории», произво-

дитъ варіаціи на извѣстныя русскія пословицы: «жгуча крапива, да уварится», или «кабы на горохъ, да не морозъ, онъ бы и тыя переросъ»; онъ видитъ въ проявленіяхъ молодости и свѣжести дикія вспышки, бесплодныя попытки перекрутить все по-своему и постепенно ослабѣвающіе припадки сумасбродства, онъ смотритъ на вещи трезвыми глазами благоразумнаго старца и считаетъ развитіе человѣка благополучно довершеннымъ въ ту эпоху, когда онъ начинаетъ располагать свои слова и поступки, сообразуясь съ внушеніями приличнаго расчета.

Знаете-ли, господа читатели, что вышло бы изъ «Обломова», если бы этотъ романъ былъ разсказанъ писателемъ, смотрящимъ на вещи не такъ благоразумно, какъ смотритъ Гончаровъ? Вышло бы вотъ что: Обломовъ оказался бы беззаботной головой, съ поэтическими стремленіями, не находящими себѣ удовлетворенія; онъ бы вышелъ похожимъ на Бельтова; и авторъ показалъ бы, что условія жизни, а не лимфатическій темпераментъ, мѣшаютъ ему развернуть свои способности и удовлетворить тѣмъ стремленіямъ, которыя отъ неудовлетворенія чахнутъ и мелѣютъ. Ольга оказалась бы очень умной дѣвушкой, во всей личности которой совершается борьба между энергическимъ голосомъ чувственности—съ одной стороны и расчетомъ—съ другой стороны. Ей нравится Обломовъ; она желала бы отдаться ему; ее привлекаетъ граціозная беззаботность, спокойная размашистость этой честной личности; но съ другой стороны эти самыя свойства внушаютъ ей серьезныя и благоразумныя опасенія. «Вѣдь этотъ Обломовъ,—разсуждаетъ она,—ужасный ротозѣй; его могутъ оплести и обмануть такъ, что онъ и ухомъ не поведетъ; растратитъ все состояніе, работать не сумѣетъ, служить не пойдетъ, потому что «прислуживаться тошно». Что же я съ нимъ буду дѣлать? Онъ милый, хорошій; мнѣ его поцѣловать хочется, у меня къ нему сердце лежитъ, да вѣдь страшно; вѣдь онъ по міру пуститъ». Пока дѣвушка раскидываетъ такимъ образомъ своимъ рано созрѣвшимъ рассудочкомъ, чувство симпатіи къ Обломову въ ней усиливается, она увлекается пылкимъ темпераментомъ; случайно рука ея понадеваетъ въ его руку; она наклоняется къ нему, слышится звукъ поцѣлуя; случай этотъ повторяется,—она счастлива, потому, что находитъ подъ обаяніемъ минуты и потому, что въ ней громко говоритъ голосъ здоровой природы... Но въ это время обаяніе вдругъ разрушается; ей дѣлается предложеніе молодой человѣкъ, Штольцъ, находящійся на отличной дорогѣ, подвигающійся къ видному положенію въ обществѣ, отлично устроившій свое имѣніе и пользующійся репутаціей красиваго, умнаго и дѣльнаго джентльмена. «Изъ молодыхъ, да ранній», говорятъ объ этомъ юношѣ благоразумные старцы, и этотъ-то юноша съ подобающей со-

лдностью выражаетъ Ольгѣ искренность и силу своего чувства и, серьезно глядя ей въ глаза, предлагаетъ ей руку и сердце. Юноша Штольцъ дѣйствуетъ не безъ расчета: онъ знаетъ, что Ольга можетъ рассчитывать на наслѣдство отъ какой-нибудь тетушки или бабушки; «кромѣ того,—разсуждаетъ онъ,—все-же будетъ женщина въ домѣ; больше порядка, изящества, представительности; въ томъ положеніи, которое мнѣ въ скоромъ времени придется занимать, это даже необходимо». Ну, да что тянуть разсказъ! расчетъ у Ольги беретъ верхъ надъ чувствомъ; она круто обрываетъ отношенія съ Обломовымъ, называетъ его пустымъ человѣкомъ, хотя самой больно разстаться съ милой личностью, и, наконецъ, скрѣпя сердце, выходитъ замужъ за дѣльнаго Штольца, который представляетъ что-то среднее между Калиновичемъ Писемскаго и Панинымъ Тургенева. Апофеоза расчета, скептическое отношеніе къ чувству—вотъ альфа и омега обоихъ романовъ Гончарова. Эти черты составляютъ остоу характера Ольги; не та дѣвушка хороша, по мнѣнію Гончарова, которая любить сильно и безкорыстно, а та, которая умѣетъ выбирать себѣ мужа; не тотъ человѣкъ хорошъ, по мнѣнію Гончарова, у котораго есть и теплое чувство, и свѣтлый умъ, и широкія стремленія, а тотъ, кто, живя съ волками, умѣетъ быть по-волчьи. Это совершенно справедливо, и эту глубокую истину, до которой мы, легкомысленные свистуны, никакъ не можемъ додуматься, уже давно сознала ученая редакция учено-литературнаго журнала «Русскій Вѣстникъ». Одно опасно въ этомъ случаѣ: желая понравиться волкамъ, подражая подъ нихъ, какъ говорить наше купечество, можно завять такъ нескладно и нелѣпо, что даже волкамъ придется тошно. Да и, наконецъ, неужели большинство нашей публики—волки? Не наговоръ ли это?

Итакъ, насчетъ Ольги Ильинской мы можемъ замѣтить, что это характеръ, невѣрно понятый и ложно представленный авторомъ. Кто не можетъ ужиться съ нами, думаетъ Гончаровъ, тотъ и дрянъ; кто живетъ прилѣваячи, тотъ молодецъ. Коротко и ясно. Но справедливо ли будетъ, если я поступлю такъ: положимъ, я иду мимо высыхающаго прудка и вижу, что карась издыхаетъ отъ недостатка воды; въ это самое время сотни лягушекъ прыгаютъ и квакаютъ, плышутъ отъ радости и съ наслажденіемъ таскаютъ червяковъ изъ жидкой грязи; я останавливаюсь надъ карасемъ и, указывая ему на лягушекъ, начинаю ругать его, зачѣмъ онъ не веселится и не наслаждается благами жизни. Правъ ли я буду? Кажется, нѣтъ. Не виноватъ карась въ томъ, что онъ родился карасемъ, и небольшая заслуга лягушкамъ отъ того, что онъ родился или сдѣлался лягушкой отъ того, что онъ родился или сдѣлался лягушкой. Одинъ дышетъ жабрами, другой—легкими; одинъ любитъ свѣтлую воду,—другой жидкую грязь. Ну, и съ Богомъ!

## IV.

Съ любовью и съ полнымъ довѣріемъ обращаюсь я снова къ нашимъ менѣе благообразнымъ художникамъ, Писемскому и Тургеневу. У Тургенева мы находимъ разнообразіе женскихъ характеровъ, у Писемскаго—разнообразіе положеній. Тургеневъ входитъ своимъ тонкимъ анализомъ во внутренней міръ выводимыхъ личностей; Писемскій останавливается на яркомъ изображеніи самаго дѣйствія. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы; романы Писемскаго плотнѣе и крѣпче построены. Тургеневъ больше Писемскаго рискуетъ ошибиться, потому что онъ старается отыскать и показать читателю смыслъ изображаемыхъ явленій; Писемскій не видитъ въ этихъ явленіяхъ никакого смысла, и въ этомъ случаѣ, заботясь только о томъ, чтобы воспроизвести явленіе во всей его яркости, онъ, кажется, избираетъ вѣрную дорогу. У Тургенева уловленъ смыслъ нашей жизни, но рядомъ съ тонкими и вѣрными замѣчаниями и соображеніями попадаются фальшивыя ноты, въ родѣ построенія Инсарова. У Писемскаго букетъ нашей жизни, какъ крѣпкій запахъ дегтя, конопляника и тулупа, поражаетъ нервы читателя по-мимо воли самого автора. Тургеневъ мудритъ надъ жизнью, и иногда невпопадъ; Писемскій лѣпнётъ прямо съ природы, и созданія его выходятъ некрасивыя, грубыя, кряжистыя, какъ некрасива, груба и кряжиста самая жизнь наша, самая неотесанная наша натура. Общая атмосфера нашей жизни схвачена полиѣе у Писемскаго, но зато индивидуальныя характеры у Тургенева обработаны гораздо тщательнѣе. Словомъ, романы Писемскаго представляютъ *этнографическій* интересъ, а романы Тургенева замѣчательны по интересу *психологическому*.

Въ повѣстяхъ и романахъ Тургенева много великолѣпно отдѣланныхъ женскихъ характеровъ. Я остановлюсь только на нѣкоторыхъ; возьму: Асю, Наталью (изъ «Рудина»), Зинаиду (изъ «Первой любви»), Вѣру (изъ «Фауста»), Лизу (изъ «Дворянскаго гнѣзда»), и Елену (изъ «Наканунъ»).

Ася—милое, свѣжее, свободное дитя природы; какъ незаконнорожденная дочь, она въ домѣ отца своего не пользовалась тѣмъ тщательнымъ надзоромъ, который душитъ въ ребенкѣ живыя движенія и превращаетъ здоровую дѣвочку въ благовоспитанную барышню. Свободно играла и рѣзвилась она, бывши ребенкомъ; свободно стала она развиваться подъ руководствомъ своего старшаго законнорожденного брата, добродушнаго молодого человѣка, весело, свѣтло и широко смотрящаго на жизнь. «Вы видите,—говоритъ объ ней ея братъ, Гагинъ,—что она много знала и знаетъ, чего не должно бы знать въ ея годы... Но развѣ она виновата? Молодыя силы разигрывались въ ней, кровь кипѣла, а вблизи ни одной

руки, которая бы ее направила... Полная независимость во всемъ, да развѣ легко ее вынести? Она хотѣла быть не хуже другихъ барышень. Она бросилась на книги. Что тутъ могло выйти путнаго? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце въ ней не испортилось, умъ удѣлѣлъ».

Эти слова Гагина характеризуютъ и того, кто ихъ произноситъ, и ту дѣвушку, о которой говорятъ. Мы можемъ возразить, что изъ этихъ словъ не видно, чтобы Гагинъ смотрѣлъ на жизнь широко. На это возраженіе отвѣчу, что Гагинъ принадлежитъ къ числу людей мягкихъ, неспособныхъ вступить въ открытую борьбу съ существующимъ предразсудкомъ или завязать горячій споръ съ несоглашающимся собесѣдникомъ. Мягкость и добродушіе поглощаютъ въ немъ всѣ остальные свойства; онъ изъ добродушія посовѣстится уличить васъ въ недѣльности; онъ даже съ подлецомъ старается обойтись помягче, чтобы не обидѣть его; самъ онъ не стѣсняетъ Аси ни въ чемъ и даже не находитъ въ ея своеобразности ничего дурнаго, но онъ говорить объ ней съ довольно развитымъ, но отчасти фешенебельнымъ господиномъ, и потому невольно, изъ мягкости, становится въ уровень съ тѣми понятіями, которыя онъ предполагаетъ въ своемъ собесѣдникѣ. Онъ высказываетъ о воспитаніи Аси тѣ понятія, которыя живутъ въ обществѣ; самъ онъ не чувствуетъ этимъ понятіямъ; находя на словахъ, что полную независимость вынести не легко, онъ самъ никогда не рѣшится стѣснить чью-нибудь независимость; зато и не рѣшится отстоять отъ притязаній общества свою или чужую независимость. Уступая требованіямъ общественныхъ приличій, онъ отдалъ Асю въ пансіонъ; когда же Ася по выходѣ изъ пансіона поступила подъ его покровительство, онъ не могъ стѣснять ея свободы ни въ чемъ, и она стала дѣлать, что ей было угодно. Что же, спроситъ читатель, она, вѣроятно, надѣлала много неопозволительныхъ вещей? О да, отвѣчу я, ужасно много. Какъ же въ самомъ дѣлѣ! Она прочла нѣсколько страстныхъ романовъ, она одна ходила гулять по прирейнскимъ скаламъ и развалинамъ; она держала себя съ посторонними людьми то очень застѣнчиво, то весело и бойко, смотря по тому, въ какомъ она была настроеніи, она... ну, да что же! Неужели вамъ этого мало? *Вы видите, что она многое знала и знаетъ, чего не должно бы знать въ ея годы. Полная независимость во всемъ! Да развѣ легко ее вынести?* О; эти двѣ фразы имѣютъ великое значеніе. Золотая середина! Тебѣ я посвящаю ихъ! «Русскій Вѣстникъ!» «Отечественныя Записки!» Возьмите ихъ въ зипграфъ!

Ася является въ повѣсти Тургенева восемнадцатилѣтней дѣвушкой; въ ней кипятъ молодыя силы, и кровь играетъ, и мысль бѣгаетъ; она на все смотритъ съ любопытствомъ, но ни во что не вглядывается; посмотреть и отвернется, и

опять взглянетъ на что-нибудь новое; она съ жадностью ловитъ впечатлѣнія, и дѣлаетъ это безъ всякой цѣли и совершенно бессознательно; силъ много, но силы эти бродятъ. На чемъ онѣ сосредоточатся и что изъ этого выйдетъ, вотъ вопросъ, который начинаетъ занимать читателя тотчасъ послѣ перваго знакомства съ этой своеобразной и прелестной фигурой.

Она начинаетъ кокетничать съ молодымъ человекомъ, съ которымъ Гагинъ случайно знакомится въ нѣмецкомъ городѣ; кокетство Аси такъ же своеобразно, какъ и вся ея личность; это кокетство безцѣльно и даже бессознательно; оно выражается въ томъ, что Ася въ присутствіи посторонняго молодого человека становится еще живѣе и шаловливѣе; по ея подвижнымъ чертамъ пробѣгаетъ одно выраженіе за другимъ; она какъ-то вся въ его присутствіи живетъ ускороенной жизнью; она при немъ побѣжитъ такъ, какъ не побѣжала бы, можетъ быть, безъ него; она станетъ въ граціозную позу, которую не приняла бы, можетъ быть, если бы его тутъ не было, но все это не расчитано, не пригоняется къ извѣстной цѣли; она становится рѣзвѣе и граціознѣе, потому что присутствіе молодого мужчины незамѣтно для нея самой волнуетъ ея кровь и раздражаетъ нервную систему; это не любовь, но это—половое влеченіе, которое неизбежно должно явиться у здоровой дѣвушки точно такъ же, какъ оно является у здороваго юноши. Это половое влеченіе, признакъ здоровья и силы, систематически забывается въ нашихъ барышняхъ образомъ жизни, воспитаніемъ, обученіемъ, пищей, одеждой; когда оно оказывается забытымъ, тогда тѣ же воспитательницы, которыя его забыли, начинаютъ обучать своихъ воспитанницъ такимъ маневрамъ, которые до извѣстной степени воспроизводятъ его внѣшніе симптомы. Естественная грація убита; на ея мѣсто подставляютъ искусственную; дѣвушка запугана и забита домашней выправкой и дисциплиной, а ей велятъ при гостяхъ быть веселой и развязной; проявленіе истиннаго чувства навлекаетъ на дѣвушку потокъ правоученіи, а между тѣмъ любезность ставится ей въ обязанность; однимъ словомъ, мы вездѣ и всегда поступаемъ такъ: сначала разобьемъ естественную, цѣльную жизнь, а потомъ изъ жалкихъ черепковъ и верешковъ начинаемъ клеить что-нибудь свое, и ужасно радуемся, если это свое издали почти похоже на натуральное. Ася—вся живая, вся натуральная, и потому-то Гагинъ считаетъ необходимымъ извиниться за нее передъ той золотой серединой, которой лучшимъ и наиболѣе развитымъ представителемъ является г. Н. Н., рассказывающей всю повѣсть отъ своего лица. Мы такъ далеко отошли отъ природы, что даже ея явленія мѣриемъ не иначе, какъ сравнивая ихъ съ нашими искусственными копіями; вѣроятно, многимъ изъ нашихъ читателей случилось, глядя

на закатъ солнца и видя такіе рѣзкіе цвѣта, которыхъ не рѣшился бы употребить ни одинъ живописецъ, подумать про себя (и потомъ, конечно, улыбнуться этой мысли): «что это, какъ рѣзко! Даже не натурально». Если намъ случается такимъ образомъ ломить на колѣнку явленія неодушевленной природы, которыя имѣютъ свое оправданіе въ самомъ фактѣ своего существованія, то можно себя представить, какъ мы безсознательно, незамѣтно для самихъ себя, ломаемъ и насылаемъ природу человѣка, обсуживая и перетолковывая вкривь и вкосъ явленія, попадающіяся намъ на глаза. Изъ того, что я до сихъ поръ говорилъ объ Асѣ, прошу не выводить того заключенія, будто это—личность совершенно непосредственная. Ася настолько умна, что умѣетъ смотрѣть на себя со стороны, умѣетъ по-своему обсуживать свои собственные поступки и приносить надъ собою приговоръ. Напримѣръ, ей показалось, что она чрезчуръ расшалилась, на другой день она является тихой, спокойной, смиренной до такой степени, что Гагинъ говоритъ даже объ ней:—«А-га! Постъ и покаяніе на себя наложила».

Потомъ она замѣчаетъ, что въ ней что-то не ладно, что она, кажется, привязывается къ новому знакомству; это открытіе ее пугаетъ; она понимаетъ свое положеніе, двусмысленное, по мнѣнію нашего общества; она понимаетъ, что между нею и любимымъ человѣкомъ можетъ появиться такая преграда, черезъ которую она изъ гордости не захочетъ перескочить, и черезъ которую она изъ любви не посмѣетъ перешагнуть. Весь этотъ рядъ мыслей пробѣгаетъ въ ея головѣ чрезвычайно быстро и отдается во всемъ ея организмѣ; кончается тѣмъ, что она, какъ испуганный ребенокъ, порывисто отвертывается отъ неизвѣстнаго будущаго, которое является ей въ образѣ новаго чувства, и съ дѣтскимъ довѣріемъ, съ громкимъ плачемъ и въ то же время съ недѣтской страстностью кидается назадъ къ своему милому прошедшему, воплощающемуся для нея въ личности добраго, снисходительнаго брата.

«Нѣтъ,—говоритъ она сквозь слезы:—я никого не хочу любить, кромѣ тебя; нѣтъ, нѣтъ, одного тебя я хочу любить—и навсегда».

— Полно, Ася, успокойся,—говоритъ Гагинъ,—ты знаешь, я тебѣ вѣрю.

— Тебя, одного тебя!—повторила она, бросилась ему на шею и съ судорожными рыданіями начала цѣловать его и прижиматься къ его груди.

— Полно, полно,—твердилъ онъ, слегка проводя рукой по ея волосамъ.

Наша еврейская цивилизація какъ-то такъ устроена, что она пугаетъ дикарей и мало-помалу истребляетъ ихъ; Ася въ отношеніи къ этой цивилизаціи находится почти въ такомъ положеніи, въ какомъ можетъ быть поставленъ какой-нибудь краснокожій стрѣлокъ; ей предстоитъ рѣшить грозную дилемму: надо или отказаться

отъ того человѣка, къ которому она начинаетъ чувствовать влеченіе, или стать во фронтъ, войти въ ранжиръ, отказаться отъ милой свободы; она инстинктивно боится чего-то, и инстинктъ ея не обманываетъ; она хочетъ воротиться къ прошедшему, а между тѣмъ будущее манитъ къ себѣ, и не отъ насъ зависитъ остановить теченіе жизни.

Настроеніе Аси, ея обращеніе къ прошедшему скоро исчезаютъ безъ слѣда; приходитъ Н. Н., начинается разговоръ, прихотливо перепрыгивающей отъ одного впечатлѣнія къ другому, и Ася вся отдается настоящему, и отдается такъ весело и беззаботно, что не можетъ даже скрыть ощущаемаго удовольствія; она болтаетъ почти безсвязный вздоръ, обаятельный, какъ выраженіе ея свѣтлаго настроенія, и, наконецъ, прерывается и просто говоритъ, что ей хорошо. И это настроеніе совершенно неожиданно разрѣшается въ весьма естественномъ желаніи—вальсировать съ любимымъ человѣкомъ.

«Все радостно сіяло вокругъ насъ, внизу, надъ нами, небо, земля и воды; самый воздухъ, казалось, былъ насыщенъ блескомъ».

— Посмотрите, какъ хорошо!—сказалъ я, неловко понизивъ голосъ.

— Да, хорошо!—также тихо отвѣтила она, не смотря на меня.—Если бы мы съ вами были птицы—какъ бы взвились, какъ бы полетѣли... Такъ бы и утонули въ этой синевѣ... Но мы не птицы.

— А крылья могутъ у насъ вырасти,—возразилъ я.

— Какъ такъ?

— Поживете—узнаете. Есть чувства, которыя поднимаютъ насъ отъ земли. Не безпокойтесь, у васъ будутъ крылья.

— А у васъ были?

— Какъ вамъ сказать?.. Кажется, до сихъ поръ я еще не леталъ.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился къ ней.

— Умѣете вы вальсировать?—спросила она вдругъ.

— Умѣю,—отвѣчалъ я, нѣсколько озадаченный.

— Такъ пойдете, пойдете... Я попрошу брата сыграть намъ вальсъ... Мы вообразимъ, что мы летаемъ, что у насъ выросли крылья.

Она побѣжала къ дому. Я побѣжалъ вслѣдъ за ней, и нѣсколько мгновений спустя мы кружились въ тѣсной комнатѣ подъ сладкіе звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, съ увлеченіемъ. Что-то мягкое, женское проступило вдругъ сквозь ея дѣвически-строгий обликъ. Долго потомъ рука моя чувствовала прикосновеніе ея нѣжнаго стана, долго слышалось мнѣ ея ускоренное близкое дыханіе, долго мерцали мнѣ темные, неподвижные, почти закрытые глаза на блѣдномъ, но оживленномъ лицѣ, рѣзко обвѣянномъ кудрями».

Во всей этой сценѣ Ася, очевидно, находится въ напряженномъ состояніи; она переживаетъ новую для себя фазу развитія; она въ одно время и живетъ, и думаетъ о жизни, какъ это всегда бываетъ съ людьми, одаренными свѣтлыми умственными способностями; она поддается но-



вымъ впечатлѣніямъ и въ то же время боится ихъ, потому что не знаетъ, что дадутъ они ей въ будущемъ; порою пересиливаетъ страхъ, порою одолеваетъ желаніе. Чувство растеть съ каждымъ днемъ; Ася объявляетъ г. Н., что крылья у нея выросли, да летѣть некуда, а потому признается брату, что она любитъ этого господина. «Увѣрю васъ,—говоритъ Гагинъ въ разговорѣ съ Н.,—мы съ вами, благоразумные люди, и представить себѣ не можемъ, какъ она глубоко чувствуетъ и съ какой невѣроятной силой высказываются въ ней эти чувства; это находить на нее такъ же неожиданно и такъ же неотразимо, какъ гроза». Дѣйствительно, чувство Аси высказывается не одними словами и слезами; оно доводитъ ее до дѣйствія; забывая всякую предосторожность, отлагая въ сторону всякую ложную гордость, она назначаетъ любимому человѣку свиданіе, и тутъ-то, при этомъ случаѣ, высказывается въ полной яркости превосходство свѣжей, энергической дѣвушки надъ вялымъ продуктомъ великосвѣтской, условно-этикетной жизни. Посмотрите, чѣмъ рискуетъ Ася, и посмотрите, чего боится Н.? Идя на свиданіе, Ася, конечно, не знала, чѣмъ оно можетъ кончиться; свиданіе это было назначено безъ всякой цѣли, по неотразимой потребности сказать любимому человѣку наединѣ что-то такое, чего и сама Ася ясно не сознавала; свидѣвшись съ Н. у фрау Луизъ, она такъ безраздѣльно отдалась впечатлѣнію минуты, что потеряла и желаніе, и способность сопротивляться чему бы то ни было; она безусловно довѣрилась, не слышавши отъ Н. ни единого слова любви; безсознательная робость молодой дѣвушки и сознательная боязнь лишиться добраго имени—все умолкло передъ настоятельными, неотразимыми требованіями чувства.

Если можно благоговѣть передъ чѣмъ бы то ни было, то всего разумнѣе и изящнѣе будетъ съ благоговѣніемъ остановиться передъ этой силой чувства: это такой двигатель, для котораго не существуетъ непреодолимыхъ трудностей; при всякой борьбѣ между людьми одолѣетъ рано или поздно та партія, на сторонѣ которой находится наибольшая сумма энергическаго чувства; чловѣкъ, вносящій въ жизнь пылкое желаніе наслаждаться, горячую, энергическую любовь къ жизни, навѣрное достигнетъ желаемаго счастья, если ему не свалится на голову какой-нибудь нелѣпый камень. Только вялость и апатія вязнуть въ трясинѣ, не умѣя осилить ни матеріальную нужду, ни людское недоброжелательство. *Femme le veut, Dieu le veut*—эта поговорка живетъ у французовъ со временъ рыцарства, и въ ней есть значительная доля правды; чего, чего не надѣлаетъ любящая женщина? Какія новыя силы не пробудятся въ ней подъ вліяніемъ ея чувства? Если бы дѣйствительно (какъ утверждаютъ противники такъ называемой эмансипаціи женщинъ)

у женщины не было ничего, кромѣ способности любить, то и тогда еще неизвѣстно, чья природа оказалась бы крѣпче и богаче интеллектуальными дарами—природа мужчинъ или природа женщины? Въ разбираемой мною повѣсти неразвитаая, полудикая дѣвушка одной силой своего чувства становится выше молодого человѣка, у котораго есть и умъ, и образованіе, и современное развитіе. Она на все рѣшалась, не остановилась даже передъ той мыслью, что можетъ огорчить брата, единственнаго человѣка въ мірѣ, котораго она любитъ; она пошла навстрѣчу осужденію и позору, страданію и домашнему горю, а онъ, онъ... на чѣмъ онъ запнулся? Стыдно сказать, а умалчивать незахѣмъ. На томъ, читатели, что его женѣ на визитныхъ карточкахъ неудобно будетъ написать: *M-me N., née une telle*. На томъ, что онъ самъ, г. Н., затруднится отвѣчать на вопросъ какого-нибудь великосвѣтскаго хлыща: «какъ ваша супруга урожденная?» Потомъ онъ послѣ двухдневной борьбы одолеваетъ это препятствіе, но эта побѣда оказывается несвоевременной. Кромѣ того, читатель, подумайте сами, если мы будемъ бороться съ такими плюгавыми препятствіямъ, какъ съ какимъ-нибудь дѣйствительно существующимъ колоссальнымъ врагомъ, то не правда ли, какъ мы далеко уйдемъ впередъ, какъ много сдѣлаемъ дѣльнаго, а главное, какъ много успѣемъ насладиться жизнью? А жизнь, ей-Богу, коротка, и счастливыя стеченія обстоятельствъ бываютъ такъ рѣдки, что ими необходимо пользоваться, если не хочешь глупѣйшимъ образомъ прозвѣвать жизнь. На личность г. Н. можно взглянуть еще съ одной очень поучительной стороны. Онъ приходитъ на свиданіе съ твердымъ намѣреніемъ объявить Асѣ, что они должны разстаться. «Женитесь на семнадцатилѣтней дѣвочкѣ (прибавьте еще, г. Н., на незаконнорожденной дочери),—говоритъ онъ самъ себѣ,—съ ея нравомъ (тутъ г. Н. очевидно боится, чтобы у него, вслѣдствіе этого права, не выросли рога), какъ это можно?» (Да и не бойтесь, г. Н.: вамъ конечно нельзя, да вы и не женитесь. Это вамъ сказалъ уже и Гагинъ). Твердое намѣреніе г. Н. начинаетъ колебаться, когда онъ видитъ грустную, робкую и обаятельную въ этой грустной робости фигуру Аси, которая старается улыбнуться и не можетъ, хочетъ сказать что-то и не находитъ ни словъ, ни голоса. Ему становится жаль этой милой, любящей дѣвушки; онъ спускается къ ней и называетъ ее ласкательнымъ прозвищемъ.

«— Ася,—сказалъ и едва слышно.

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взглядъ женщины, которая полюбила, кто тебя опшишетъ? Они молили, эти глаза, они довѣрялись, вопрошали, отдавались... Я не могъ противиться ихъ обаянію. Тонкій огонь пробѣжалъ по мнѣ жгучими иглами, я нагнулся и приникъ къ ея рукѣ...

Послышался трепетный звукъ, похожій на

прерывистый вздохъ, и я почувствовалъ на моихъ волосахъ прикосновеніе слабой, какъ листъ дрожащей, руки. Я поднялъ голову и увидалъ ея лицо. Какъ оно вдругъ преобразилось! Выраженіе страха исчезло съ него, взоръ ушелъ куда-то далеко и увлекалъ меня за собой, губы слегка раскрылись, лобъ поблѣднѣлъ, какъ мраморъ, и кудри отодвинулись назадъ, какъ будто вѣтеръ ихъ откинулъ. Я забылъ все и потянулъ ее къ себѣ—покорно повиновалась ея рука, все ея тѣло повлеклось велѣдъ за рукою, шаль потянулась съ плечь и голова ея тихо легла на мою грудь, легла подъ мои загорѣвшіяся губы... — Ваша...—прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокругъ ея стана...

«Ахти, бѣда!—подумаетъ сердобольный читатель.—Погубить онъ, озорникъ, бѣдную дѣвушку!» Да, дѣйствительно, всякій здоровый и крѣпкій человѣкъ увлекся бы до послѣднихъ предѣловъ и, конечно, въ увлекающей Асѣ не встрѣтилъ бы ни малѣйшаго сопротивленія. Честный человѣкъ увлекся бы, и отъ послѣдствій его увлеченія не пострадалъ бы никто; онъ женился бы на Асѣ на другой день послѣ свиданія, и самое свиданіе осталось бы въ жизни обоихъ супруговъ свѣтлымъ, блестящимъ воспоминаніемъ. Энергическій негодяй, въ родѣ Василія Лучинова (въ повѣсти Тургенева «Три портрета»), также не отказался бы отъ плодовъ свиданія, воспользовался бы всѣми наслажденіями, какія можно было бы добыть отъ Аси, и потомъ бросилъ бы ее, какъ прочитанную записку. Первый поступилъ бы—какъ порядочный человѣкъ, второй—какъ отъявленный негодяй. Что же касается до тѣстообразнаго г. Н., то онъ поступилъ такъ замысловато и въ слѣдствіе этого такъ глупо, какъ можетъ поступить только существо, лишенное плоти и крови, или одаренное весьма жалкой дозой крови плохого достоинства. Онъ сначала было растаялъ, а потомъ сплхвтался. У него не достало мозгу, чтобы съ первой минуты окатить дѣвушку ушатомъ холодной воды, а потомъ недостало полнокровія, чтобы, не заботясь о послѣдствіяхъ, дать этой дѣвушкѣ и самому себѣ нѣсколько мгновений жгучаго наслажденія. У него все перепутано; чувство врывается въ процессъ мысли, мысль парализуетъ чувство. Воспитаніе ослабило его тѣло и набило мозгъ его идеями, которыхъ тотъ не можетъ осилить и переварить. У него нѣтъ физическаго здоровья, физической силы, физической свѣжести; это—ходячая теорія, человѣческая голова на курьихъ ножкахъ, выжатый лимонъ безъ соку, безъ вкуса и безъ остроты. И таково большинство; и намъ этотъ типъ такъ привыченъ, что насъ даже не поражаютъ его вопиющіе недостатки; многие читатели навѣрное сказали по прочтеніи «Аси», что Н.—очень честный человѣкъ, которому не посчастливилось въ жизни. Да, честный. Никто у него и не отнимаетъ этой честности...

Ася—такая личность, въ которой есть всѣ

зататки счастливой полной жизни; развившись помимо условій нашей жизни, она не заразилась ея недѣлостями. Встрѣтись она со свѣжимъ мужчиной, она бы показала намъ, что значить быть счастливой, и дала бы намъ самый спасительный и плодотворный урокъ, котораго намъ до сихъ поръ никто не умѣлъ дать. Но гдѣ же взять такого мужчину? У насъ ихъ нѣтъ. И вотъ свѣжее, молодое, здоровое существо попало въ лазаретъ, въ которомъ стонуть на разныхъ ладахъ субъекты, одержимые самыми разнообразными болѣзнями. Ну, конечно, изъ этого не могло выйти ничего путнаго; поневолѣ ей пришлось зачехнуть отъ аптечнаго воздуха или заразиться отъ дыханія окружающихъ субъектовъ. Виновата ли въ этомъ женщина?

#### V.

Наталья въ «Рудинѣ» похожа на Асю, или, вѣрнѣе, въ основу ихъ личностей положена авторомъ одна идея, разработанная различно въ обоихъ романахъ. Въ Асѣ больше граціи, въ Натальѣ больше твердости; Ася отличается подвижностью, Наталья—сдержанностью и способностью глубоко вдумываться въ предметъ и долго вынашивать въ головѣ идею или чувство. Въ Асѣ огонь вспыхиваетъ сильно и внезапно; дѣйствіе этого внутренняго огня тотчасъ отражается на ея фізіономіи, въ ея поступкахъ, во всемъ ея поведеніи; въ Натальѣ этотъ огонь разгорается медленно, и дѣйствіе его долгое время скрывается отъ нея самой и отъ другихъ; а потомъ, когда она сама отдаетъ себѣ отчетъ въ своемъ настроеніи, она все-таки скрываетъ его отъ другихъ, и одна, безъ постороннихъ свидѣтелей, хозяйничаетъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Различій, какъ видите, очень много, а между тѣмъ сходство самое существенное: обѣ дѣвушки сохранили свѣжесть и здоровье помимо обстановки, помимо тѣхъ людей, которые считали себя въ правѣ распоряжаться ихъ мыслями и чувствами. Наталья это было труднѣе сдѣлать, чѣмъ Асѣ, и потому Наталья вышла изъ своей борьбы крѣпче и вынесла изъ нея болѣею записъ сознанныаго опыта. Наталья—старшая дочь богатой барыни, окруженная съ малолѣтства гувернантками, французскими грамматиками и душеспасительными наставленіями, произносимыми на разныхъ европейскихъ языкахъ. Какъ тутъ не ополиться? Дѣйствительно, мудро, но тутъ выручаетъ одно обстоятельство, именно то, что матери некогда постоянно наблюдать за воспитаніемъ, а гувернантки большей частью довольно тупы.

Воспитанію дѣтей посвящаютъ себя обыкновенно тѣ лица, которыя по ограниченности ума ни на что другое не способны, да иначе и быть не можетъ. Во-первыхъ, матеріальное положеніе наставника всегда зависимо и всегда скудно

обезпечено. Во-вторых, обречь себя на то, чтобы постоянно передавать другому то, что знаешь, значить отказаться от возможности идти дальше. Когда начинаешь учить другого, тогда уже интересы собственного развития отодвигаются на задний план. Кто хочет денег, тот не пойдет в педагоги, потому что мѣсто не хлѣбное. Кто хочет идей, тот не пойдет в педагоги, потому что занятія съ дѣтьми отнимают у чловѣка время, не обогащая его внутреннимъ содержаніемъ. Стало-быть, въ педагоги идетъ, даже по призванію, только трудолюбивая посредственность; въ гувернантки идутъ тѣ дѣвушки, которымъ не удалось выйти замужъ. То обстоятельство, что мѣсто педагога не пользуется почетомъ и что вслѣдствіе этого на эти мѣста идутъ люди, обиженные Богомъ, не разъ возбуждало въ нашей педагогической литературѣ жалобные вопли; я осмѣлюсь самымъ скромнымъ тономъ выразить сомнѣніе въ основательности этихъ воплей. Осмѣлюсь даже предложить вопросъ: велика ли та услуга, которую мы оказываемъ дѣтямъ, занимаясь ихъ нравственнымъ воспитаніемъ? Воспитывать—значитъ приготавливать къ жизни; спрашивается, можетъ ли готовить къ жизни кого бы то ни было такой чловѣкъ, который самъ не умѣетъ жить? А что мы не умѣемъ жить—въ этомъ, кажется, не усомнится благосклонный читатель. Воспитывая нашихъ дѣтей, мы втискиваемъ молодую жизнь въ тѣ уродливыя формы, которыя тяготѣли надъ нами; мы поступаемъ такимъ образомъ съ такими личностями, которыя сами не могутъ еще ни подать голоса, ни заявить протеста, ни оказать сопротивленія; мы безъ спросу мнемъ чужія личности и чужія силы; когда владычцы этихъ силъ и этихъ личностей начинаютъ вступать въ свои чловѣческія права, то они находятъ, что въ ихъ владѣніяхъ все перенутано; мысль загромождена разными кошмарами и кикиморами; чувство извращено и болѣзненно надаралано или насильственно притуплено педагогическими внушеніями о долгѣ, о чести, о нравственности; молодое тѣло изнурено безплодной, односторонней мозговой работой, отсутствіемъ правильного мотіона, чистаго воздуха, часто даже недостаткомъ здоровой пищи. Физическое здоровье подорвано, а что дано взаменъ? Насажень въ мозгу по разнымъ грядкамъ съ нѣмецкой тщательностью и возмутительной аккуратностью бурьянъ и чертополохъ, который надо вырывать съ корнемъ, чтобъ онъ не истощилъ всю умственную почву. И вотъ молодой хозяинъ поневолѣ посылаетъ ко всѣмъ чертямъ услужливыхъ огородниковъ, вспававшихъ и засѣявшихъ ему мозгъ; онъ исподволь или вдругъ, смотря по обстоятельствамъ, эмансипируетъ себя отъ ихъ непрошенной опеки и начинаетъ жить по-своему и думать по-своему. Но на борьбу съ сорными травами уходитъ много хорошихъ силъ, часто чловѣкъ оказывается

освобожденнымъ отъ бурьяна уже тогда, когда тѣлесное развитіе достигло полной зрѣлости и стоять уже на поворотномъ пунктѣ.

Чѣмъ раньше молодая личность становится въ скептическія отношенія къ своимъ наставникамъ, тѣмъ лучше, потому что тѣмъ меньше послѣдніе успѣютъ напортить и тѣмъ больше времени останется на поправленіе или, вѣрнѣе, на радикальное уничтоженіе ихъ работы. Стать въ скептическія отношенія легче къ дураку, чѣмъ къ умному чловѣку, и потому я рѣшаюсь признать положительно полезнымъ то обстоятельство, что нашимъ воспитаніемъ занимались и занимаются большей частью недалекіе люди. Развиваться подъ руководствомъ наставника, мнѣ кажется, положительно невозможно, а развиваться помимо наставника тѣмъ удобнѣе, чѣмъ ограниченнѣе наставникъ. Но отчего же, однако,—спроситъ читатель—умный и широко-развитый чловѣкъ не можетъ принести своему воспитаннику существенной пользы? Оттого, любезный читатель, что умный и широко развитый чловѣкъ никогда не рѣшится воспитывать ребенка; онъ пойметъ, что врываться въ интеллектуальный міръ другого чловѣка съ своей инициативой—безчестно и нелѣпо; онъ будетъ хорошо кормить ребенка, удалять отъ него вредные предметы, въ родѣ бѣшеной собаки, каленаго желѣза, сырой комнаты, угарнаго воздуха. На томъ онъ и остановится; если ребенокъ предложитъ ему вопросъ, онъ ему отвѣтитъ; если ребенокъ принесетъ на его судъ какое-нибудь сомнѣніе, онъ ему выскажетъ свое убѣжденіе. Зрѣлый умъ старшаго будетъ имѣть вліяніе на формирование сужденій ребенка, но это вліяніе будетъ независимо отъ воли обоихъ дѣйствующихъ лицъ; его не будутъ втискивать силой или всучивать педагогической хитростью. Кто попытается сдѣлать больше этого, тотъ, стало быть, не настолько уменъ или не настолько широко развитъ, чтобы быть безвреднымъ сознательно и добровольно. Если онъ не можетъ быть безвреденъ сознательно и добровольно, то пускай будетъ безвреденъ невольно, вслѣдствіе безсилія. Если нельзя найти чловѣка очень умнаго, возмите чловѣка очень глухаго. Результатъ получится почти въ такой же мѣрѣ удовлетворительный, а людей глухихъ много, особенно между педагогами. Стало быть, выйдетъ и дешево, и сердито.

Наталья, какъ умный ребенокъ, рано заявила свою умственную жизнь какимъ-нибудь озадачивающимъ вопросомъ, мѣткимъ замѣчаніемъ, вспышкой своеволія; это заявленіе, благодаря тупости воспитательницы, встрѣтило себѣ холодный или даже недоброежелательный приемъ. На вопросъ отвѣчали вскользь; на мѣткое замѣчаніе воснослѣдовало со стороны гувернантки не менѣе мѣткое замѣчаніе: «маленькія дѣвочки не должны такъ говорить». Маленькая дѣвочка

спросила: почему? Ей приказали молчать. Вснышку своеволия назвали капризомъ и подавили силой. Словомъ, такъ или иначе, воспитывающая сторона уронила себя въ глазахъ воспитываемой стороны, а это, какъ извѣстно всѣмъ, занимавшимся когда-нибудь воспитаніемъ, вовсе не трудно сдѣлать, когда имѣешь дѣло съ умнымъ ребенкомъ. Маленькая дѣвочка широко раскрыла свои умные глаза, съ удивленіемъ посмотрѣла на старшихъ недоумѣвающимъ взоромъ и подумала про себя: какіе они странные; а черезъ нѣсколько времени она подумала: а, такъ вотъ они какіе! Вотъ и вошелъ въ воспитаніе новый элементъ, существованіе котораго не подозрѣваютъ воспитатели, и который между тѣмъ постоянно пугаетъ алгебраическія выкладки педагогическихъ соображеній. Приказанія ихъ исполняются, но «формировать умъ и сердце» ребенка имъ не удастся; приказанія ихъ не прохватываютъ вглубь; маленькая дѣвочка, какъ улитка, ушла въ себя и начинаетъ строить себѣ свой мірокъ, въ который она ни за какія коврижки не пуститъ ни мамашу, ни гувернантку; откровенность откладывается въ сторону, и чѣмъ умнѣе ребенокъ, тѣмъ безусѣбнѣе оказываются попытки старшихъ развить раковину улитки и подсмотреть нескромнымъ взоромъ тайну внутренняго развитія.

Дѣти, начинающія развиваться помимо руководства наставниковъ, выбираютъ обыкновенно одинъ изъ двухъ путей: или они вступаютъ въ ожесточенную, отчаянную борьбу съ посягательствами взрослыхъ, или они, отказываясь отъ всякой борьбы, повинуются чисто внѣшнимъ образомъ и уже постоянно держатся на-сторожъ, постоянно относятся къ распоряженіямъ педагоговъ критически и скептически. Первые—будущіе Донъ-Кихоты жизни, всегда готовые ломать копье за свои идеи, всегда дѣйствующіе открыто и смѣло и часто погибающіе за доброе дѣло. Другія—тѣ люди, о которыхъ говоритъ нашъ народъ: «въ тихомъ омутѣ черти водятся». Невозмутимо-спокойные по наружности, глубоко-страстные въ душѣ, непоколебимые и неподкупные, эти люди дѣйствуютъ медленно, бьютъ на-вѣрняка и рѣдко промахиваются. Наталья принадлежала ко второй категоріи, а между тѣмъ промахнулась. Она полюбила Рудина и ошиблась въ немъ; но кто же бы и не ошибся въ Рудинѣ? Кого бы не подкупили его рѣчи, если даже онъ подкупили Лежнева, мужчину, одареннаго значительной дозой скептицизма и здраваго смысла. Причины ошибки Натальи лежатъ не въ ней самой, а въ окружавшихъ ее обстоятельствахъ. Рудинъ былъ лучшимъ изъ окружавшихъ ее мужчинъ, она его и выбрала; что же дѣлать, если и лучшей оказался никуда не годнымъ? И Лежневъ, и Волынцевъ крѣпче Рудина, въ этомъ спору нѣтъ; но ни Волынцевъ, ни Лежневъ не могли шевельнуть молодую дѣвушку, находящуюся въ той порѣ жизни,

когда умъ требуетъ яркости идей, и когда весь организмъ проситъ сильныхъ ощущеній. Романъ Натальи очень похожъ на романъ Аси; и та, и другая искали въ любимомъ человѣкѣ жизни и силы; и та, и другая наткнулись на вялое резонерство и на позорную робость. И опять приходится закончить главу вопросомъ: въ чемъ тутъ виновата женщина?

## VI.

Но не всѣмъ-же дѣвушкамъ удается развиваться помимо обстановки; многія, и очень многія, даже большинство, пропитываются насквозь атмосферой нашей жизни, въ дѣтствѣ принимаютъ въ себя зародыши разложенія, живыми тѣнями проходятъ свое земное странствіе и, какъ неизлѣчимые больные, рано начинаютъ увядать и клониться къ могилѣ.

Къ этому чрезвычайно многочисленному типу, допускающему внутри себя почти безконечное разнообразіе, принадлежатъ два замѣчательные женскіе характера: Вѣра (изъ «Фауста») и Лиза (изъ «Дворянскаго Гнѣзда»).

Первая искусственно заморожена воспитаніемъ; вторая заражена съ дѣтства міазмами нашей домашней атмосферы. Разберу отдѣльно ту и другую личность.

Вѣра воспитывается подъ руководствомъ своей матери, женщины очень умной, очень энергичной, испытывавшей много несчастій и сосредоточившей всю силу своей любви на единственной дочери. Сказать по правдѣ, трудно найти болѣе невыгодныя условія развитія. Любящая мать, да еще къ тому же энергичная, да еще къ тому же умная, да еще къ тому же испытывавшая несчастья, навѣрное будетъ слѣдить за каждымъ движеніемъ дочери, будетъ прокрадываться въ ея мысли, будетъ рѣшать за нее всѣ представляющіеся вопросы жизни, будетъ оберегать ее отъ впечатлѣній такъ же заботливо, какъ отъ сквозного вѣтра. Вмѣсто того, чтобы жить въ жизни, дочь будетъ обрѣтаться въ какой-то восковой ячeyкѣ, состроенной вокругъ нея любящей рукой матери. Любить человѣка и не мѣшать ему въ жизни, не отравлять его существованія непрощенными заботами и навязчивымъ участіемъ, это такой фокусъ, который немногимъ по силамъ. Родителямъ онъ совершенно не доступенъ. Они хотятъ, во что бы-то ни стало, чтобы ихъ опытность шла на пользу дѣтямъ; того они не понимаютъ и не хотятъ понять, что самый процессъ приобрѣтенія опытности чрезвычайно приятенъ, и что этотъ процессъ никакъ не можетъ быть замѣненъ чужимъ рассказомъ или описаніемъ; когда вы голодны, вамъ надо ѣсть, а не читать описанія лакомыхъ блюдъ и даже не смотрѣть на эти блюда; когда вы любите женщину, чтеніе самыхъ разнообразныхъ романовъ и рассказы о самыхъ замысловатыхъ любовныхъ похожденияхъ вашего папеньки не замѣнятъ вамъ двухъ

минуть разговора, созерцанія непосредственной близости; когда вы молоды, когда вы вступаете въ жизнь, вамъ надо жить, а никакъ не слушать разказы о томъ, какъ жили ваши родители.

Мать Вѣры вообразила себѣ, что она пожила за себя и за свою дочь, и рѣшилась, во что бы то ни стало, избавить Вѣру отъ ошибокъ и страданій, выпавшихъ на долю ея матери. Для этого нужно было обработать по-своему мягкій матеріалъ, попавшійся въ руки, и г-жа Ельцова принялась за работу довольно ловко: она успѣла приготовить изъ дочери своей такую консерву, которая могла бы десятки лѣтъ плавать по морю житейскому, постоянно сохраняя подъ свицовой крышкой свою нетронутую, дѣтскую невинность; борьба между умной, опытной женщиной, съ одной стороны, и не пробудившимися силами бѣднаго ребенка, съ другой стороны, была слишкомъ неравна; мать побѣдила безъ труда, и живыя силы почти безъ сопротивления отправились подъ свицовую крышку; и свицовая крышка эта придавила ихъ такъ рано, что онѣ замерли, не заявивъ протеста; дѣвочка даже не замѣтила существованія этой крышки, и выросла, считая свое положеніе нормальнымъ или, вѣрнѣе, не думая подвергать его анализу.

Во-первыхъ, г-жа Ельцова приобрѣла полное довѣріе своей дочери и внушила ей страстную, доходящую до благоговѣнія любовь къ своей особѣ. Есть личности, которымъ очень пріятна подобная любовь, исключая критику. Мнѣ кажется, существованіе такого чувства унижаетъ человѣческое достоинство того, кто его испытываетъ,—того, къ кому оно обращено. Обожающее лицо теряетъ всякую самостоятельность; обожаемое—ставится въ обидное положеніе китайскаго идола.

Вѣру въ опытность матери, въ ея умъ и непогрѣшимость, Вѣра Ельцова поневолѣ должна была безусловно подчиниться ея воззрѣніямъ: но убѣжденія отжившей старухи не могутъ быть убѣжденіями молодой дѣвушки; они могутъ сдѣлаться для нея только догматами вѣры; она можетъ повторять ихъ про себя, какъ магическое заклинаніе, не понимая ихъ истиннаго смысла, потому что этотъ смыслъ дается только тому, кто пожилъ и кого помята жизнь; принять на вѣру убѣжденія матери значило отказаться отъ знакомства съ жизнью; при всей любви своей къ матери, молодая дѣвушка могла бы не рѣшиться на подобную жертву, если бы кто-нибудь представилъ ей эту жертву въ настоящемъ свѣтѣ; но такого Мефистофеля не нашлось, а старый ангель-хранитель, г-жа Ельцова, употребила съ своей стороны всѣ усилія, чтобы отвести дочери глаза и показать ей только тѣ уголки жизни, которые, по ея мнѣнію, не могли произвести вреднаго вліянія, т. е. не могли нарушить умственной и нервной дремоты дѣвушки. Все, что могло сильно потрясти нервы, подѣйствовать на

воображеніе и сообщить сильный толчокъ критическому уму, было тщательно устранено; ни посторонній человѣкъ, ни посторонняя книга не могли пробиться сквозь ту китайскую стѣну, которою г-жа Ельцова отдѣлила свою Вѣрочку отъ всего живого міра; если бы Вѣрѣ случилось поговорить съ кѣмъ-нибудь, то этотъ разговоръ она же сама отъ слова до слова передала бы матери; если бы Вѣрѣ попалась книга, она не стала бы ее читать, не спрося позволенія матери; когда узникъ полюбилъ свою тюрьму, тогда вѣтъ средствъ освободить его: вѣдь не насильно же тащить его на свѣтъ Божій! Вѣрѣ до ея замужества не давали въ руки ни одного романа; зато научное ея образованіе было такъ полно, что она удивляла кандидата своими обширными свѣдѣніями; свѣдѣнія эти были, конечно, чисто фактическія: Вѣра знала, въ которомъ году произошло, положимъ, Нердингенское сраженіе, къ какому роду и виду принадлежитъ божья коровка, сколько пестиковъ и тычинокъ въ георгинѣ, но значенія Реформаціи она не понимала и общаго взгляда на жизнь природы не имѣла.

Навѣрное г-жа Ельцова боялась Вольтера и Фейербаха такъ же сильно и такъ же основательно, какъ Жоржъ Занда или Бальзака. Вѣрочкѣ позволялось украшать свою память всякими антиками и диковинками, но работать мыслью или воспринимать какія-нибудь необыденныя ощущенія нервами было строго запрещено.

Строгій выборъ книгъ былъ только административнымъ средствомъ въ рукахъ г-жи Ельцовой; цѣль, къ достиженію которой она стремилась, опираясь на подобныя средства, лежала очень далеко; надо было устроить по извѣстной программѣ всю жизнь молодой дѣвушки, надо было искусно обѣжать опасный періодъ любви; надо было выдать ее замужъ за хорошаго человѣка, укрѣпить ее въ понятіи долга и, наконецъ, поставить ее на якорь въ такой пристани, въ которую не заходятъ и не заглядываютъ житейскія бури, смѣлыя мысли, безпорядочныя кометообразныя чувства. Чтобы дойти до такой пристани, надо было лавировать, и Ельцова лавировала не безъ успѣха.

Молодой человѣкъ, заинтересованный Вѣрой, съ похвальной скромностью просить у Ельцовой позволенія сдѣлать ей предложеніе; заботливая маменька, видя, что этотъ молодой человѣкъ, несмотря на свою скромность, не похожъ на желанную пристань, отказываетъ ему прямо, не спросивши мнѣнія дочери; она даже не считаетъ нужнымъ сказать ей потомъ, что за нее сватался такой-то. Одного этого факта достаточно, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, насколько Ельцова употребляла во зло довѣренность своей дочери, и какъ грубо она нарушала ея святѣя, человѣческія права. Наконецъ, желанная пристань находится; добродушный, простоватый господинъ, бывшій въ университетѣ, не вынесшій отсюда

завиральныхъ идей и превратившейся въ помѣшкца, несмотря на свои молодые лѣта, оказывается достойнымъ субъектомъ; эврика! говоритъ Ельцова—и выдаетъ за него свою дочь, которая, конечно, ставитъ себя за счастье исполнить волю Божію и родительскую. Ельцова умираетъ, вполне спокойная: «пристроила, — думаетъ она, — теперь и безъ меня проживетъ; въ сторону-то сбѣгаться некуда».

Мы видѣли такимъ образомъ, какъ формировалась Вѣра Ельцова; посмотримъ теперь, какъ она, несмотря на предосторожности маменьки, столкнулась съ жизнью мысли и чувства. Вотъ она уже лѣтъ девять замужемъ, ей уже двадцать восемь лѣтъ, а она смотритъ семнадцатилѣтней дѣвушкой. «То же спокойствіе, та же ясность, голосъ тотъ же, ни одной морщинки на лбу, точно она всѣ эти годы пролежала гдѣ-нибудь въ снѣгу». И попрежнему не знакома съ волненіями мысли и чувства, попрежнему не тронута жизнью, попрежнему не прочла ни одного романа, ни одного стихотворенія. Страшно становится за эту женщину!— Если она проживетъ свой вѣкъ и умретъ, не любивши, не мысливши, не испытавши ни одного эстетическаго наслажденія, то спрашивается, для чего же было жить? А если она вдругъ проснется отъ какого-нибудь сильнаго потрясенія,—что съ нею будетъ? Вынесутъ ли ея нервы ту массу ощущеній, которыя нахлынутъ со всѣхъ сторонъ и поразятъ ее сильнѣе, чѣмъ кого-либо другого? Дѣти впечатлительнѣе взрослыхъ; ребенокъ плачетъ о сломанной игрушкѣ,—о томъ, что мать ѣдетъ куда-нибудь дня на два, такъ же горько, какъ взрослый заплачетъ о смерти дорогаго человѣка; ребенокъ утѣшается также гораздо скорѣе, и это служитъ новымъ доказательствомъ того, что онъ впечатлительнѣе взрослого. Мірѣ дѣтскихъ радостей и дѣтскихъ горестей гораздо мельче и уже, чѣмъ міръ горя и радости у взрослого; если бы у ребенка было столько же серьезныхъ интересовъ, сколько ихъ у взрослого, и если бы ребенокъ на всѣ эти интересы откликался съ той же живостью, съ какой онъ радуется подарку или горюетъ о минутной разлукѣ, то навѣрное организмъ его не вынесъ бы этого избытка сильныхъ ощущеній. Входя въ міръ мысли и чувства постепенно, незамѣтно, втягиваясь понемногу въ серьезныя занятія и въ интересы дѣйствительной жизни, ребенокъ мало-по-малу теряетъ свою прежнюю раздражительность и воспримчивость. Нервы притупляются отъ часто повторяющагося раздраженія; является привычка; человѣкъ черствѣетъ и вслѣдствіе этого крѣпнѣтъ. Крайняя раздражительность несовмѣстна съ мужественной твердостью, и чтобы вынести передраги жизни, необходимо утратить невинность, свѣжесть, дѣвственность чувства и тому подобныя свойства, которыми особенно дорожатъ въ своихъ воспитанникахъ добродѣтельные педагоги.

Недобрую штуку сотворила Ельцова съ своей дочерью: сохранивши первобытную чуткость и отзывчивость ребенка, Вѣра смотритъ на вещи, какъ женщина; она понимаетъ умомъ многое, чего не переживала чувствомъ; силы въ ней дремлютъ, но онѣ созрѣли; стоитъ дать толчокъ, и вся эта личность преобразится; въ ней мгновенно разыграется такая драма, которая удивитъ всѣхъ знающихъ ее людей порывистостью и силой борьбы. Положеніе ея странно усложнено заботливыми распорядженіями матери: она никогда не любила, а между тѣмъ она замужемъ; она рискуетъ полюбить той свѣжей и сильной любовью, какая доступна и понятна только очень молодымъ существамъ, а между тѣмъ у нея есть семейство, есть такъ называемыя обязанности, и въ ней сильно развито чувство долга. Что-то будетъ?

Чего можно было ожидать, то и происходитъ на самомъ дѣлѣ. Мужчина открываетъ Вѣрѣ Николаевнѣ доступъ въ тотъ міръ сильныхъ ощущеній, который оставался ей неизвѣстнымъ въ проложеніе дѣлаго десятка лѣтъ; мужчина пробуждаетъ ее изъ того летарическаго сна, въ который погрузило ее воспитаніе; мужчина превращаетъ мраморную статую въ женщину, и эта женщина привязывается къ своему просвѣтителю всѣми силами богатой, любящей женской души. Проспать слишкомъ десять лѣтъ, лучшіе годы жизни, и потомъ проснуться, найти въ себѣ такъ много свѣжести и энергіи, сразу вступить въ свои полныя человѣческія права—это, воля ваша, свидѣтельство о присутствіи такихъ силъ, которыя при сколько-нибудь естественномъ развитіи могли бы доставить огромное количество наслажденія, какъ самой Вѣрѣ Николаевнѣ, такъ и близкимъ ей людямъ. Вѣра Николаевна любила такъ сильно, что забыла и мать, и мужа, и обязанности; образъ любимаго человѣка и наполняющее ее чувство сдѣлались для нея жизнью, и она рванулась къ этой жизни, не оглядываясь на прошедшее, не жалѣя того, что остается позади, и не боясь ни мужа, ни умершей матери, ни упрековъ совѣсти; она рванулась впередъ и надорвалась въ этомъ судорожномъ движеніи; глаза, привыкшіе къ густой темнотѣ, не выдержали яркаго свѣта; прошедшее, отъ котораго она кинулась прочь, настигло и придавило ее къ землѣ. Она первая, прямо, безъ вызова со стороны мужчины, объявляетъ ему, что она его любитъ; она сама назначаетъ свиданіе и идетъ къ нему твердымъ шагомъ къ назначенному мѣсту.

«Послѣ чаю, когда я уже началъ думать о томъ, какъ бы незамѣтно выскользнуть изъ дому, она сама вдругъ объявила, что хочетъ идти гулять, и предложила мнѣ проводить ее. Я всталъ, взялъ шляпу и пошелъ за ней. Я не смѣлъ заговорить, я едва дышалъ, я ждалъ ея перваго слова, ждалъ объясненій; но она молчала. Молча

дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ—я до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это сдѣлалось—мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ друга. Какая-то невѣдомая сила бросила меня къ ней, ея—ко мнѣ.

При погукшемъ свѣтѣ дня ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцѣлуй...

Этотъ поцѣлуй былъ первымъ и послѣднимъ. Вѣра вдругъ вырвалась изъ рукъ моихъ и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ...

— Оглянитесь,—сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ:—вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы развѣ что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видѣла.

Она глубоко и рѣдко дышала.

— Кого? Что?

— Мою мать,—медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновеніе?

— Полноте,—началь я—что вы это? Скажите мнѣ лучше...

— Нѣтъ, ради Бога, нѣтъ!—перебила она и схватила себя за голову.—Это сумасшествіе... Я съ ума схожу... Этимъ шутить нельзя—это смерть... Прощайте...

Я протянулъ къ ней руки.

— Остановитесь, ради Бога, на мгновеніе!—воскликнулъ я съ невольнымъ порывомъ. Я не зналъ, что говорилъ, и едва держался на ногахъ.—Ради Бога, вѣдь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечеромъ,—поспѣшно проговорила она:—не сегодня, прошу васъ... уѣзжайте сегодня... завтра вечеромъ приходите къ калиткѣ сада, возлѣ озера. Я тамъ буду, я приду... я клянусь тебѣ, что приду,—прибавила она съ увлеченіемъ, и глаза ея блеснули...—Кто бы ни останавливалъ меня, клянусь! Я все скажу тебѣ, только пустите меня сегодня.

И прежде, чѣмъ я могъ промолвить слово, она исчезла.

А потомъ умерла. Организмъ не выдержалъ потрясенія, и обаятельная сцена любви разрѣшилась смертельной нервной горячкой. Образы, въ которыхъ Тургеневъ выразилъ свою идею, стоять на границѣ фантастическаго міра. Онъ взялъ исключительную личность, поставилъ ее въ зависимость отъ другой исключительной личности, создалъ для нея исключительное положеніе и вывелъ крайнія послѣдствія изъ этихъ исключительныхъ данныхъ. Старуха Ельцова и дочь ея—такіе чистые представители двухъ типовъ, какихъ въ дѣйствительности не бываетъ. Какая мать сумѣетъ провести такъ послѣдовательно свои идеи въ воспитаніе дочери, и какая дочь захочетъ съ такой слѣпой покорностью подчиняться этимъ идеямъ? Размѣры, взятые авторомъ, превышаютъ обыкновенные размѣры, но идея, выраженная въ повѣсти, остается вѣрной, прекрасной идеей. Какъ яркая формула этой идеи, «Фаустъ» Тургенева неподражаемо хорошъ. Ни

одно единичное явленіе не достигаетъ въ дѣйствительной жизни той опредѣленности контуровъ и той рѣзкости красокъ, которая поражаетъ читателя въ фигурахъ Ельцовой и Вѣры Николаевны, но зато эти двѣ почти фантастическія фигуры бросаютъ яркую полосу свѣта на явленія жизни, распыляющіяся въ неопредѣленныхъ, сѣроватыхъ туманныхъ пятнахъ.

## VII.

Слѣдуетъ ли подвергать отдѣльному разбору личность Лизаветы Михайловны Калитиной, героини романа «Дворянское Гнѣздо»? Этотъ романъ написанъ такъ недавно, по поводу его выхода въ свѣтъ появилось въ нашей периодической литературѣ столько критическихъ статей, что читателямъ, вѣроятно, пріѣлись толки о Лизѣ и о Лаврецкомъ,—толки, въ которыхъ все-таки не договаривалось послѣднее слово. Я знаю, что мнѣ тоже не придется договориться до послѣдняго слова, и потому предпочитаю вовсе не говорить. Если же, паче чаянія, кто-нибудь изъ читателей пожелаетъ знать мое мнѣніе о Лизѣ, то я попрошу этого читателя внимательно просмотрѣть предыдущую главу моей критической статьи и потомъ перечитать «Дворянское Гнѣздо». Зная, какъ я смотрю на Вѣру, читатель узнаетъ также, какъ я смотрю на Лизу. Лиза ближе Вѣры стоитъ къ условіямъ нашей жизни; она вполне правдоподобна, размѣры ея личности совершенно обыкновенныя; идеи и формы, сдвигавшія ея жизнь, знакомы какъ нельзя лучше каждому изъ нашихъ читателей по собственному горькому опыту. Словомъ, задача, рѣшенная Тургеневымъ въ абстрактѣ въ повѣсти «Фаустъ», рѣшается имъ въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ» въ приложеніи къ нашей жизни. Результатъ выходитъ одинъ и тотъ же; гниль одолеваетъ, праведная смерть торжествуетъ надъ грѣховной жизнью.

О Зинаидѣ Засѣкиной (изъ повѣсти «Первая любовь») не скажу ни слова. Я ея характера не понимаю.

## VIII.

Совершенно уйти отъ вліянія обстановки невозможно; такъ или иначе, обстановка даетъ себя знать; если вы живете съ дурными людьми, то эти люди могутъ подѣйствовать на васъ двоякимъ образомъ, смотря по тому, на сколько стойки ваши убѣжденія и тверда ваша воля. Вы можете или заразиться отъ этихъ людей ихъ преобладающимъ порокомъ, или довести въ самомъ себѣ до уродливой крайности протестъ противъ этого порока. Большею частью случается такъ, что отдѣльная личность понемногу окрашивается подъ общій цвѣтъ массы; личности, одаренныя значительными силами, обыкновенно немногочисленны; и эти немногія избранныя личности окрашиваются обыкновенно въ противоположный цвѣтъ

и, нечувствительно для самих себя, доводят этот цвѣтъ до рѣзкой крайности именно потому, что масса постоянно пытается заштукатурить подь одну тѣнь съ собою. Если вы жизнью и словами съ особеннымъ воодушевленіемъ протестуете противъ господствующаго въ обществѣ порока, то вы протестуете такъ горячо именно потому, что порокъ стоитъ передъ вашими глазами; причина протеста лежитъ не въ вашей природѣ, а въ томъ, что васъ окружаетъ; для васъ самихъ протестъ дѣло бесплодное и утомительное; вашъ крикъ сушитъ вамъ легкія и производитъ охриплость въ голосѣ; а между тѣмъ нельзя не кричать; вы кричите и этимъ самымъ платите дань тѣмъ идеямъ, которыя удержаютъ жизнь вашихъ соотечественниковъ. Если вы отмахиваетесь отъ комаровъ и не дадите имъ укунить себя, то все-таки комары дѣйствуютъ на васъ тѣмъ, что заставляютъ васъ дѣлать утомительныя движенія. Подлость и глупость раздражаютъ ваши нервы, слѣдовательно производятъ въ васъ перемѣну, и можно сказать навѣрное, что, въ какомъ бы направленіи ни совершилась эта перемѣна, она никогда не можетъ быть перемѣной къ лучшему. Вотъ это-то послѣднее обстоятельство Тургеневъ упустилъ изъ виду, создавая характеръ Елены, и отъ этой ошибки произошла, мнѣ кажется, вся нескладница, поражающая читателя въ построеніи романа «Наканунѣ».

Елена раздражена мелкостью тѣхъ людей и интересовъ, съ которыми ей приходится имѣть дѣло каждый день. Она умѣе своей матери, умѣе и честнѣе отца, умѣе и глубже всѣхъ гувернантокъ, занимавшихся ея воспитаніемъ, она раздражена и неудовлетворена тѣмъ, что даетъ ей жизнь; она съ сознаннымъ негодованіемъ отвертывается отъ дѣйствительности, но она слишкомъ молода и женственна, чтобы стать къ этой дѣйствительности въ трезвыя отрицательныя отношенія. Ея недовольство дѣйствительностью выражается въ томъ, что она ищетъ лучшаго и, не находя этого лучшаго, уходитъ въ міръ фантазіи, начинаетъ жить воображеніемъ. Это болѣзненное состояніе. Когда воображеніе забѣгаетъ впередъ, когда начинается сооруженіе идеала и потомъ бѣганіе за нимъ, тогда живыя силы уходятъ на безплодныя поиски и попытки, и жизнь проходитъ въ какомъ-то тревожномъ, безпредметномъ, смутномъ ожиданіи. Елена все мечтаетъ о *чемъ-то*, все хочетъ *что-то* сдѣлать, все ищетъ *какого-то* героя; мечты ея не приходятъ и не могутъ придти въ ясность именно потому, что это мечты, а не мысли; она не критикуетъ нашей жизни, не всматривается въ ея недостатки, а просто отворачивается отъ нея и хочетъ выдумать себѣ жизнь. Такъ нельзя, Елена Николаевна! Что жизнь въ дурныхъ своихъ проявленіяхъ вамъ не нравится, это дѣлаетъ вамъ величайшую честь, это показываетъ,

что вы умѣете мыслить и чувствовать; но жить и дѣйствовать вы рѣшительно не умѣете. Если не нравится жизнь, надо или исправить ее, или умереть, или уѣхать. Чтобы исправить жизнь *для себя* лично, надо вглядѣться въ ея недостатки и отдать себѣ самый ясный отчетъ въ томъ, что именно особенно не нравится; чтобы умереть, надо обратиться къ оружію или къ яду; чтобы уѣхать куда бы то ни было, надо взять паспортъ и заготовить деньгами. Но не мечтать, ни въ какомъ случаѣ не мечтать! Это совсѣмъ непрактично; это растравляетъ раны, вмѣсто того, чтобы залѣчивать ихъ; это губитъ силы, вмѣсто того, чтобы обновлять и укрѣплять человѣка. Мечты—принадлежность и угтѣшеніе слабого, большого, задавленнаго существа, а вамъ, Елена Николаевна, нечего Бога гнѣвить, можно и другимъ дѣломъ заняться. Вы пользуетесь нѣкоторой независимостью въ домѣ вашихъ родителей, васъ не бьютъ, не гнутъ въ дугу, не выдаютъ насильно замужъ; этихъ условій слишкомъ мало для того, чтобы наслаждаться, но ихъ слишкомъ достаточно для того, чтобы дѣйствовать и бороться; мечтать было позволительно въ былые годы вашей крѣпостной горячичной, точно такъ же, какъ ей позволительно было пить запоемъ, но теперь и ей это будетъ не къ лицу. Я не осуждаю Елену въ томъ, что она мечтаетъ; я бы не осудилъ человѣка, схватившаго сильнѣйшій простудный кашель, я бы сказалъ только, что онъ боленъ; точно такъ же я говорю и доказываю самой Еленѣ, что она больна и что она ошибается, если считаетъ себя здоровой. Въ этомъ отношеніи ошибается вмѣстѣ съ нею самъ Тургеневъ; онъ глазами психически больной Елены смотритъ на дѣйствующія лица своего романа; оттого онъ вмѣстѣ съ Еленой ищетъ героевъ; оттого онъ вмѣстѣ съ нею бракуетъ Шубина и Версенева; оттого онъ выписываетъ изъ Болгаріи невозможнаго и ни на что не нужнаго Инсарова. Елена и вмѣстѣ съ нею Тургеневъ не удовлетворяются обыкновенными, человѣческими размѣрами личностей; все это обыкновенно, все это пошло; давай имъ эффекта, колоссальности, героизма. «Жить скверно», говорятъ Тургеневъ и Елена.—Согласенъ. «Жить скверно потому, что люди скверны».—Несогласенъ! Отношенія между людьми ненормальны—это такъ, а люди ни въ чемъ не виноваты, потому, что передѣлать отношенія, затвердѣвшія отъ десятилѣтковой исторической жизни и передѣлать ихъ тогда, когда еще очень немногіе начали сознавать ихъ неудобства—это, воля ваша, мудрено. Если несется шестерня бѣшеныхъ лошадей, то я никакъ не рѣшусь называть мелкими трусами всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ уклоняться въ сторону и давать имъ дорогу. Инстинктъ самосохраненія и трусость—двѣ вещи разныя. Ставить самоотверженіе въ число необходимыхъ добродѣтелей, обязательныхъ для всякаго



человѣка, можетъ только мечтательная дѣвушка Елена Николаевна Стахова, да замечтавшійся до забвенія дѣйствительности художникъ Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Бракуя людей за то, что они не герои, раскидывая направо и налево окружающую его мелюзгу, Тургеневъ доходитъ, наконецъ, до созданія идеальнаго человѣка. Человѣкъ этотъ—болгаринъ. На какомъ основаніи? Неизвѣстно. Принимать Инсарова за живое лицо я не могу; потому прослѣживая его развитіе и воссоздавая его личность критическимъ анализомъ я не берусь; выпишу только съ буквальной вѣрностью рядъ фактовъ, совершенныхъ этимъ героемъ, и рядъ свойствъ, приписанныхъ ему Тургеневымъ.

1) Инсаровъ—болгаринъ; мать его убита турецкимъ агонъ; отецъ разстрѣлянъ безъ суда.

2) Въ 48-мъ году Инсаровъ былъ въ Болгаріи, исходилъ ее вдоль и поперекъ, провелъ въ ней два года и въ 50-мъ году вернулся въ Россію съ широкимъ рубцомъ на шеѣ и съ желаніемъ образоваться въ московскомъ университетѣ и сблизиться съ русскими.

3) Вотъ портретъ Инсарова: «это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, худощавый и жилистый, съ впалой грудью, съ узловатыми руками; черты лица имѣлъ онъ рѣзкія, носъ горбиной, иссиня-черные, прямые волосы, небольшой лобъ, небольшіе, пристально глядѣвшіе, углубленные глаза, густыя брови; когда онъ улыбался, прекрасные бѣлые зубы показывались на мигъ изъ-подъ тонкихъ, жесткихъ, слишкомъ отчетливо очерченныхъ губъ. Одѣтъ былъ въ старенькій, но опрятный сюртучекъ, застегнутый доверху».

4) Когда Версенева предлагалъ Инсарову переехать къ нему на дачу, Инсаровъ соглашается только съ тѣмъ условіемъ, чтобы заплатить Версеневу по расчету 20 руб. сер.

5) По уходѣ Версенева Инсаровъ бережно снимаетъ сюртукъ.

6) Версенева говоритъ объ Инсаровѣ, что онъ ни отъ кого не возьметъ денегъ взаймы.

7) Инсаровъ отказывается обѣдать съ Версеневымъ, говоря ему съ спокойной улыбкой:

— «Мои средства не позволяютъ мнѣ обѣдать такъ, какъ вы обѣдаете!»

8) Инсаровъ никогда не мѣняетъ никакого своего рѣшенія и никогда не откладываетъ исполненія даннаго обѣщанія.

9) Инсаровъ учится русской исторіи, праву и политической экономіи, переводитъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую—для русскихъ.

10) Инсаровъ не любитъ распространяться о собственной своей поѣздкѣ на родину, но о Болгаріи вообще говоритъ охотно со всякимъ.

11) Инсаровъ надѣваетъ на голову ушастый

картузь и на прогулкѣ выступаетъ не сбѣга, глядитъ, дышетъ, говоритъ и улыбается спокойно.

12) Инсаровъ уходитъ куда-то на три дня съ тремя болгарами, которые предварительно съѣдаютъ у него «цѣлый огромный горшокъ каши».

13) Въ разговорѣ съ Еленой Инсаровъ откровенно рассказываетъ исторію своей отлучки, говоритъ, что онъ ѣдетъ за шестьдесятъ верстъ, чтобы помирить двухъ земляковъ, что его всѣ знаютъ, и что всѣ ему вѣрятъ. Елена спрашиваетъ у него: «вы очень любите свою родину?» Онъ на это отвѣчаетъ: «это еще неизвѣстно. Вотъ, когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ». Потомъ онъ говоритъ такъ: «Но вы сейчасъ спрашивали меня, люблю-ли я свою родину? Что-же другое можно любить на землѣ? Что одно неизбѣнно, что выше всѣхъ сомнѣній, чему нельзя не вѣрить, послѣ Бога?» Эта, не лишняя риторика, рѣчь заканчивается удивительной антитезой: «Замѣйте, послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я, мы желаемъ одного и того же». Антитеза, ей-Богу, очень хороша. А Елена-то слушаетъ и только уши развѣшываетъ.

14) Инсаровъ бросаетъ въ воду пьянаго нѣмца, обезпокоившаго дамъ на гуляньи.

15) Инсаровъ замѣчаетъ, что онъ полюбилъ Елену, и хочетъ уѣхать. Онъ говоритъ: «Я—болгаринъ, мнѣ русской любви не нужно».

16) Инсаровъ накануне своего отъѣзда на просьбу Елены придти къ нимъ на другой день утромъ—ничего не отвѣчаетъ и не приходитъ. «Я васъ ждала съ утра», говоритъ Елена, встрѣтившись съ нимъ у часовни. Онъ отвѣчаетъ на это: «я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не общалъ».

17) Въ объясненіи съ Инсаровымъ Елена постоянно является активнымъ лицомъ и постоянно тащитъ его за собою; она первая говоритъ ему о любви.

18) По возвращеніи съ дачи въ Москву Инсаровъ опасно занемогаетъ и двѣ недѣли находится при смерти.

19) Елена приходитъ къ Инсарову послѣ его выздоровленія; Инсаровъ въ ея присутствіи чувствуетъ волненіе и проситъ ее уйти, говоря, что онъ ни за что не отвѣчаетъ; Елена не уходитъ и отдается ему.

20) Тайно обвѣнчавшись съ Еленой, Инсаровъ увязаетъ вмѣстѣ съ нею въ Венецію, чтобы оттуда пробраться въ Болгарію.

21) Инсаровъ въ Венеціи умираетъ отъ аневризма, соединеннаго съ разстройствомъ легкихъ.

Ради Бога, господа читатели, изъ этого длиннаго списка дѣяній и свойствъ составьте себѣ какой-нибудь цѣлостный образъ; я этого не умѣю и не могу сдѣлать. Фигура Инсарова не возстаетъ передо мною; но за то съ ужасающей

отчетливостью возстаёт передо мною тотъ процессъ механическаго построения, которому Инсаровъ обязанъ своимъ происхожденіемъ. Тургеневъ не могъ остановиться на чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ жизни; ему до смерти надоѣли пигмеи, а между тѣмъ отъ этого жизнь не измѣнилась, и пигмеи не выросли ни на вершокъ. Ему захотѣлось колоссальности, героизма, и онъ задумался надъ тѣмъ, какія свойства надо придать герою; образъ не напрашивался въ его творческое сознание, надо было съ невѣроятными усиліями составлять этотъ образъ изъ разныхъ кусочковъ; во-первыхъ, надо было поставить героя въ необыкновенное положеніе; положеніе придумано: Инсаровъ—болгаринъ, и родители его погибли лютой смертью. Потомъ надо было устроить такъ, чтобы каждое слово и движеніе героя были проникнуты особенной многозначительностью, несознаваемой самимъ героемъ; Тургеневъ достигъ этого, заставивъ Инсарова разглагольствовать о любви къ родинѣ почти такъ же, какъ разглагольствуетъ чиновникъ Соллогуба, съ той только разницей, что послѣдній не дѣлаетъ блестящей антитезы (послѣдній мужикъ—и я). Чтобы отгнать то водушевленіе, которое овладѣваетъ Инсаровымъ, когда онъ говоритъ о родинѣ, Тургеневъ напираетъ даже на то, что въ Инсаровѣ не видно ничего необыкновеннаго, что въ немъ все очень просто, начиная отъ ушастаго картуза и кончая спокойной походкой. Чтобы показать благородную гордость героя, Тургеневъ упоминаетъ о томъ, что Инсаровъ ни отъ кого не взялъ бы денегъ взаймы и даже отъ Берсенева не принимаетъ даромъ комнаты, когда тотъ приглашаетъ его къ себѣ на дачу. Не знаю, какъ другимъ, а мнѣ эта гордость по поводу десяти или двадцати рублей кажется мелочностью. Не принимать одолженія отъ мало знакомаго человѣка или отъ такого, которому тяжело быть обязаннымъ, это понятно, но съ мелочной тщательностью отгораживать свои интересы отъ интересовъ товарищастудента или друга—это, воля ваша, бесплодный трудъ. Мое ли перейдетъ къ нему, его ли ко мнѣ, чортъ ли въ этомъ? Я знаю, что самъ съ удовольствіемъ сдѣлаю ему одолженіе, и потому съ полной довѣрчивостью принимаю отъ него такое же одолженіе. Чтобы показать, какъ земляки-болгары вѣрятъ Инсарову, Тургеневъ рассказываетъ о побѣдѣ послѣдняго за шестьдесятъ верстъ; чтобы дать образчикъ той колоссальной энергіи, на которую способенъ герой, Тургеневъ изобрѣлъ бросаніе пьянаго нѣмца, и при томъ великана, въ воду. Чтобы дать понятіе о любви Инсарова къ родинѣ, Тургеневъ заставляетъ его бороться съ любовью къ Еленѣ; Инсаровъ готовъ на пользу Болгаріи пожертвовать любимой женщиной,—и это невольно переноситъ читателя въ лучшіе дни Римской республики. Но вотъ что любопытно. Инсаровъ—герой, сильный

человѣкъ; отчего же онъ постоянно предстаетъ Еленѣ инициативу? Отчего Елена тащить его за собою и постоянно сама дѣлаетъ первый шагъ къ сближенію? Отчего Инсаровъ постоянно принимаетъ отъ нея разныя доказательства любви не иначе, какъ послѣ нѣкотораго упрасиванія съ ея стороны? что это за церемонія, и умѣстны ли онѣ между не-пигмеями? Инсаровъ видитъ, что дѣвушка вышла къ нему навстрѣчу и съ тоской спрашиваетъ у него: отчего же вы не пришли сегодня утромъ? Въ этомъ вопросѣ сказывается любовь, недоумѣніе, страданіе, а Инсаровъ отвѣчаетъ на это: «я вамъ не общіцаль» и старается только отстоять ненарушимость своего слова. Точно будто хозяинъ торговаго дома отвѣчаетъ кредитуру: «срокъ вашему векселю не сегодня!» Освободитъ ли Инсаровъ Болгарію—не знаю, но Инсаровъ, какимъ онъ является въ отдѣльныхъ сценахъ романа «Наканунъ», не представляетъ въ себѣ ничего цѣлостно-человѣческаго и рѣшительно ничего симпатичнаго. Что его полюблила болѣзненно-восторженная дѣвушка, Елена,—въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; вѣдь и Титанія гладила съ любовью длинныя уши ослиной головы; но что истинный художникъ, Тургеневъ, соорудилъ ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца,—это очень грустно; это показываетъ радикальное измѣненіе во всемъ міросозерцаніи, это начало увяданія. Кто въ Россіи сходилъ съ дороги чистаго отрицанія, тотъ надалъ. Чтобы освѣтить ту дорогу, по которой идетъ Тургеневъ, стоитъ назвать одно великое имя—Гоголя. Гоголь тоже затосковалъ по положительнымъ дѣятелямъ, да и свернулъ на «Переписку съ друзьями». Что-то будетъ съ Тургеневымъ? Кромѣ фальшиваго пониманія и уродливаго построения, въ романѣ «Наканунъ» есть еще недоговоренность, умысленная недоконченность въ выраженіи главной идеи. Нѣтъ отвѣта на естественный вопросъ: нашла ли Елена своего героя въ Инсаровѣ? Вопросъ этотъ важенъ, потому что ведетъ къ рѣшенію общаго психологическаго вопроса. Что такое мечтательность и исканіе героя? Болѣзнъ ли это, порожденная пустотой и пошлостью жизни, или это—естественное свойство личности, выходящей изъ обыкновенныхъ размѣровъ? Есть ли это проявленіе силы или проявленіе слабости? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, надо было создать для Елены самыя благоприятныя обстоятельства, и тогда въ картинахъ и образахъ показать намъ: счастлива ли она, или нѣтъ? А тутъ, что такое? Инсаровъ скорострѣжно умираетъ: да развѣ это рѣшеніе вопроса? Къ чему эта смерть, обрывающая романъ на самомъ интересномъ мѣстѣ, замазывающая черной краской неоконченную картину и избавляющая художника отъ труда отвѣчать на поставленный вопросъ? Но, можетъ быть, Тургеневъ и не задавалъ себѣ этого вопроса? Можетъ быть, для него центромъ романа была

не Елена, а былъ Инсаровъ? Тогда остается только пожалѣть, что въ плохомъ дидактическомъ романѣ, похожемъ на Обломова по идеѣ, встрѣчается такъ много такихъ великолѣпныхъ частностей, какъ, напримѣръ, личности Елены, Шубина и Берсенева, дневникъ Елены, сцена ожиданія, сцены любви и, наконецъ, неподражаемый Уваръ Ивановичъ.

## IX.

У Писемскаго я не буду брать отдѣльныхъ женскихъ характеровъ; постараюсь только показать общія отношенія его къ женщинѣ; отношенія эти въ высшей степени гуманны; всепрощеніе доведено въ нихъ до послѣднихъ предѣловъ. «Женщина,—говоритъ намъ Писемскій своими произведеніями,—никогда ни въ чемъ не виновата. Ее бьютъ, ее угнетаютъ, ее обижаютъ дѣломъ и словомъ, ея потребности остаются неудовлетворенными и непонятыми; она страдаетъ и своими страданіями мучитъ мужчину; мужчина на нее сердится и не понимаетъ того, что онъ самъ причина ея страданій и своихъ мученій». Переберите всѣ романы Писемскаго, и вы убѣдитесь въ вѣрности моихъ словъ. Писемскій не идеализируетъ женщинъ; у него есть дрянныя женщины, есть и хорошія; но и самая дрянная женщина освобождается отъ всякаго укора. Посмотрите на Юлію Владиміровну въ «Тюфякѣ», на Марію Антоновну въ «Бракѣ по страсти», на Катерину Александровну въ «Богатомъ Женихѣ». Некрасивы эти три барыни, куда некрасивы, но вы чувствуете и видите, что имъ не было никакого выхода изъ пошлости и грязи. Онѣ увязли и перемарались, потому что не было никакой возможности пробраться въ жизни сухими тропинками. И во всѣхъ трехъ случаяхъ мужчина постоянно является ближайшей, непосредственной причиною униженія женщины. На Юлію женится почти насильно тюфякъ-Вешметевъ; очень понятно, что Юлія пускается во всѣ тяжкія; на Марію Антоновнѣ женится по расчету хлыщъ Хозаровъ; она выходитъ за него замужъ по чи-

стосердечной страсти; онъ оставляетъ ее въ забросѣ и начинаетъ ухаживать за другой женщиной; она отъ скуки начинаетъ цѣловаться съ офицеромъ Пириневскимъ. На Катеринѣ Александровнѣ женится фразеръ Шамилловъ, также по расчету; потомъ этотъ господинъ начинаетъ показывать себя несчастнымъ, не имѣя на то законнаго повода; Катерина Александровна чувствуетъ себя оскорбленной и съ своей стороны очень жестоко показываетъ своему неделикатному супругу его зависимое положеніе.—Вы видите такимъ образомъ, что эти три женщины находятъ себѣ оправданіе въ поведеніи своихъ мужей и въ томъ воспитаніи, которое имъ было дано въ родительскомъ домѣ.

Когда Писемскій симпатизируетъ выводимой женской личности, тогда все построеніе и изложеніе повѣсти или романа согрѣвается такимъ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ, какое на первый взглядъ трудно даже предположить въ этомъ безопадномъ реализмѣ. Это чувство выражается не въ лирическихъ отступленіяхъ, не въ идеализаціи любимаго женскаго типа; оно, помимо воли и сознанія самого автора, просвѣчиваетъ въ постановкѣ фигуръ, въ группировкѣ событій; оно не нарушаетъ правдивости; оно само вытекаетъ изъ этой правдивости. Чтобы почувствовать страданіямъ женщины, чтобы оправдать ее, не нужно подкупать себя въ ея пользу; надо только смотрѣть на вещи простыми, невооруженными и непредубѣжденными глазами.

Писемскій вполне понялъ значеніе этой мысли и съ свойственной ему неумолимой и при томъ безсознательной послѣдовательностью провелъ эту мысль во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Прочтите, господа читатели, его рассказъ «Виновата ли она?», помѣщенный во второмъ томѣ его сочиненій, и вы увидите, какъ просто и честно относится онъ къ вопросу о женщинѣ.

Хотѣлось бы мнѣ подольше остановиться на отношеніяхъ Писемскаго къ женщинѣ, но я потратилъ много времени на разборъ менѣе отрядныхъ явленій, и потому приходится кончить.

## Библиографическія замѣтки.

### I.

**Берлинъ.** Осенняя сказка *Генриха Гейне.*

Гейне, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ближайшій къ намъ по времени, по складу мысли и по образамъ, жилъ и умеръ вдали отъ своихъ соотечественниковъ, т. е. отъ людей, говорившихъ съ нимъ на одномъ языкѣ. Благонравные нѣмцы приходили въ ужасъ отъ его беспощаднаго смѣха и не понимали его ѣдкой грусти; все въ направленіи его таланта, все въ личныхъ особенностяхъ его пафоса юмора приводило ихъ въ краску, въ негодованіе или въ ужасъ; когда поэтъ говорилъ имъ о наслажденіи, о полной чашѣ жизни, о связи человѣка съ природой,—они скромно опускали глаза и находили его безнравственнымъ; когда онъ разбивалъ своимъ сарказмомъ устарѣлыя идеи, обезсмысленныя формы, тяжелыя оквы разума—тогда противъ него поднимался сонмъ профессоровъ и протестантскихъ пасторовъ, и своимъ маленькимъ аршинчикомъ эти люди принимались мѣрить идеи гения гений; конечно, далеко превышала ихъ масштабъ, и они называли его уродомъ. Когда, наконецъ, поэтъ становился трибуномъ вѣка, ораторомъ за права человѣческой личности,—ему зажимали ротъ, какъ вредному, безмозглому крикуну. Поэтъ умеръ, и картина переѣвилась. Нѣмцы поняли, наконецъ, что Гейне—бессмертный поэтъ, что онъ войдетъ въ исторію литературы помимо всякихъ узкихъ теорій, и что на немъ будетъ воспитываться молодое поколеніе помимо всякихъ отчаянныхъ возгласовъ благонамѣренныхъ педагоговъ. Тѣ люди, которые знали Гейне, состарѣлись и успѣли высказать въ полномъ блескѣ свою умственную нищету; выдвинулось впередъ то поколѣніе, которое, читая Фохта, Молешота и Бюхнера, идетъ къ дѣлу помимо фразъ, и слѣдовательно способно понимать своего поэта и чувствомъ, и мыслью. Изданія сочиненій Гейне стали расходиться съ изумительной быстротой; въ 1860 году Кампе

напечатавъ девятнадцатое изданіе; вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣмецкой публикѣ явилась надежда получить современемъ собраніе посмертныхъ произведеній Гейне, и въ нынѣшнемъ году Штейнманъ, пользовавшійся личнымъ знакомствомъ поэта, напечаталъ два тома его неизданныхъ мелкихъ стихотвореній, три тома писемъ и осеннюю сказку «Берлинъ». Книжки Штейнмана взволновали нѣмецкую критику, и во многихъ періодическихъ изданіяхъ появились скептическіе отзывы о подлинности изданныхъ имъ произведеній. Скептическіе отзывы эти получили особенную силу, когда родной братъ поэта, Густавъ Гейне, печатно объявилъ, что стихотворенія и письма, изданныя Штейнманомъ, не могутъ принадлежать перу Генриха Гейне, что всѣ бумаги покойнаго находятся у него, Густава Гейне, и у вдовы поэта, и что слѣдовательно изданія Штейнмана не что иное, какъ поддѣлка, предпринятая изъ корыстныхъ видовъ. Штейнманъ, однако, не уналь духомъ и, продолжая изданія посмертныхъ произведеній Гейне, отвѣчалъ рѣзкой брошюрой на нападки, направленные противъ литературной честности издателя и противъ подлинности издаваемыхъ матеріаловъ. Въ этой брошюрѣ онъ доказываетъ, что Густавъ Гейне не присутствовалъ при кончинѣ своего брата, что Генрихъ Гейне не упоминаетъ о Густавѣ въ своемъ завѣщаніи и назначаетъ своимъ душеприказчикомъ не брата своего, а посторонняго человѣка, доктора Христіани. Что же касается до изданныхъ стихотвореній, то Штейнманъ ручается за ихъ подлинность и предлагаетъ каждому желающему явиться къ нему и убѣдиться въ томъ, что письма и стихи дѣйствительно писаны рукою Гейне. Такое печатное приглашеніе говорить, конечно, въ пользу Штейнмана, хотя и не можетъ устранить всякое сомнѣніе. Противники Штейнмана могутъ во всякое время завести съ нимъ формальный процессъ, и если они этого не сдѣлаютъ, то, конечно, дадутъ намъ право думать, что Штейнманъ правъ. Пока этотъ вопросъ еще не совсѣмъ рѣшенъ, обратимся къ самымъ

сочиненіяжъ Гейне, изданнымъ Штейнманомъ, и посмотримъ, есть ли въ нихъ хоть блѣдное подобіе того, что мы привыкли встрѣчать въ вѣчно-свѣжихъ произведеніяхъ великаго лирика. Возьмемъ на первый разъ осеннюю сказку «Берлинъ». Въ предисловіи издатель объявляетъ, что эта сказка составлена изъ черновыхъ набросковъ, и что для общей связи чужая рука должна была вставлять нѣкоторые строки и куплеты. Откровенное признаніе Штейнмана свидѣтельствуемъ въ пользу его искренности и даетъ намъ право думать, что мы имѣемъ дѣло не съ обманщикомъ; но зато это признаніе такъ наивно, что трудно удержаться отъ улыбки. Кто сколько-нибудь знакомъ съ Гейне, тотъ очень хорошо понимаетъ, что подражать ему совершенно невозможно; его обороты и формы такъ эксцентричны и капризны, что только колоссальный талантъ нашего поэта спасаетъ ихъ отъ уродливости. Гейне непереволимъ; наши поэты, даровитые и бездарные, берутъ изъ Гейне идеи и образы, пишутъ свои стихотворенія на эту заимствованную тему, потомъ ставятъ въ заголовкѣ: «изъ Гейне» и воображаютъ себѣ, что они его перевели. Ихъ стихотворенія бываютъ хороши или дурны, смотря потому, написаны ли они М. Л. Михайловымъ, или какимъ-нибудь г. Семперверо, но во всякомъ случаѣ это не переводы; Гейне остается самъ по себѣ, а стихотвореніе, навѣянное имъ, само по себѣ; теперь представьте же себѣ, любезный читатель, каково должно быть—дополнять Гейне, работать подъ Гейне, какъ столыры работаютъ подъ орѣхъ. Попытка Штейнмана округлить черновые наброски великаго поэта напоминаетъ какъ нельзя больше распоряженія иныхъ богатыхъ вельможъ, приказывающихъ подновить какую-нибудь старую картину знаменитаго мастера; но что извѣнительно вельможѣ, то кажется страннымъ въ скромномъ издателѣ посмертныхъ сочиненій Гейне,—въ человѣкѣ, соприкасавшемся съ литературной дѣятельностью и имѣющемъ нѣкоторое понятіе о ея требованіяхъ. Если бы Штейнманъ, какъ слѣдуетъ добросовѣстному издателю, далъ намъ въ руки то, что нашлось въ подлинныхъ бумагахъ, мы бы по самой отрывочности могли судить о томъ, какъ въ головѣ Гейне зрѣли и слагались его обаятельные, причудливыя созданія, для которыхъ и не приберешъ другого имени, какъ «сонъ въ лѣтнюю ночь» или «зимняя сказка»; тотъ процессъ творчества, который всякій поэтъ скрываетъ при своей жизни, являясь передъ публикой не иначе, какъ *en grande tenue*, или, по крайней мѣрѣ, въ изящномъ *négligé*,—этотъ процессъ творчества, повторяю я, хоть сколько-нибудь сдѣлался бы для насъ понятнымъ; но теперь, благодаря наивной услужливости добраго Штейнмана, что прикажете дѣлать съ его книгой? если бы онъ сдѣлалъ свои вставки въ совершенно обработанное произведе-

ніе Гейне, эти вставки бросились бы въ глаза, какъ заплаты другого цвѣта; но бѣда въ томъ, что сказка «Берлинъ» находилась въ положеніи эскиза, а Гейне, какъ сообщаетъ тотъ же Штейнманъ въ комментаріяхъ къ письмамъ, сильно шлифовалъ свои стихи, выпуская ихъ въ свѣтъ; слѣдовательно, намъ не остается никакого критеріума, чтобы строго отдѣлать гейневскіе стихи отъ не гейневскихъ. На этомъ основаніи подѣлимся съ читателями только общимъ впечатлѣніемъ. «Берлинъ» во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ неизмѣримо ниже «Атта Тролля» и «Германіи». Рассказать сюжетъ этой осенней сказки совершенно невозможно, точно такъ же, какъ рассказать сюжетъ «Атта Тролля» или «Германіи»; фантазія поэта скачетъ отъ одного предмета къ другому, не заботясь ни объ общей связи, ни о соразмѣрности частей, ни о постепенности переходовъ. Но въ «Атта Троллѣ» и въ «Германіи» Гейне, перепрыгивая отъ одного предмета къ другому, рисуетъ рядъ отдѣльныхъ блестящихъ, совершенно законченныхъ картинъ; онъ бросаетъ читателю совершенно неожиданно цѣлые букеты смѣлыхъ идей, которыя дѣйствуютъ на васъ особенно сильно нечаянностью своего появленія, своей парадоксальностью и неподражаемой оригинальностью формы. Ничего этого нѣтъ въ «Берлинѣ». Отдѣльныя картины не подѣланы; въ нихъ недостаетъ рельефности; идеи, конечно, достойны передоваго поэта нашего времени; но такъ какъ образы, въ которыхъ выражены эти идеи, не доведены поэтомъ до полной ясности и осязательности, то и самыя идеи не могутъ дѣйствовать такъ сильно и не производятъ того впечатлѣнія, которое мы привыкли выносить изъ Гейне. Кромѣ того, говоря о «Берлинѣ», Гейне вдается въ частности и мелочи, которыя могутъ быть вполнѣ интересны только тому, кто совершенно знакомъ съ закулисными тайнами берлинскаго литературнаго и театральнаго міра; эти мелочи встрѣчаются у Гейне вездѣ; полемическія выходки противъ Масмана, противъ Генгстенберга, противъ швабскихъ поэтовъ есть и въ «Атта Троллѣ», и въ «Германіи»; но тамъ эти выходки до того блестятъ остроуміемъ, что онѣ получаютъ общій интересъ; намъ нѣтъ дѣла до того, кто бранитъ Гейне; мы видимъ, какъ онъ бранитъ, отгадываемъ, за что онъ бранитъ, и совершенно удовлетворяемся этими свѣдѣніями. Въ недоудѣланной сказкѣ «Берлинъ», напротивъ того, эти выходки не отличаются игривостью и оставляютъ совершенно равнодушнымъ читателя-иностранца. Въ заключеніе укажу на тѣ главы, въ которыхъ наиболѣе проявляется юморъ и блескъ гейневской поэзіи. Всѣхъ главъ 27; особеннаго вниманія заслуживаетъ 15-я глава, въ которой Гейне говоритъ о судьбѣ своихъ первыхъ поэтическихъ опытовъ, 19-я, въ которой онъ, страстный поклонникъ Наполеона I, какъ гениальной личности, изображаетъ въ нѣсколь-

кихъ штрихахъ исторію Европы въ началѣ XIX вѣка; и, наконецъ, эпилогъ къ «осенней сказкѣ», въ которомъ Гейне совѣтуетъ приготовить обѣдъ для людоедовъ изъ различныхъ представителей германской мысли и берлинской жизни, изъ различныхъ враждебныхъ нашему поэту элементовъ и направлений. Въ другихъ мѣстахъ поэмы есть разбросанныя картинки, много удачныхъ выражений, но, повторяю, все вмѣстѣ неясно и не производитъ цѣлостнаго впечатлѣнія. Постараюсь въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ поговорить о мелкихъ стихотвореніяхъ Гейне, изданныхъ Штейнманомъ, о его письмахъ и прозаическихъ статьяхъ.

## II.

### Посмертныя стихотворенія Гейне. Dichtungen von H. Heine.

По тѣмъ стихотвореніямъ Гейне, которыя изданы въ нынѣшнемъ году Штейнманъ, нельзя составить себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго понятія о поэтической личности Гейне, о силѣ и разнообразіи его дарованія. Въ этомъ посмертномъ изданіи собраны стишки и пѣсенки, оставшіяся въ неотдѣланномъ видѣ, забытые самимъ поэтомъ, набросанные кое-какъ на клочкѣ бумаги, между дѣломъ, въ минуту дружескаго разговора, и сохранившіяся отъ совершеннаго уничтоженія и забвенія, благодаря заботливости друзей покойнаго поэта. Личность Гейне, его міросозерцаніе, его капризная и шаловливая муза знакомы и милы всѣмъ истинно развитымъ людямъ нашего времени. Этимъ людямъ будетъ пріятно видѣть проблески гейневскаго юмора, созданія его обаятельной фантазіи, выраженія его мимолетныхъ чувствъ, хотя бы эти проблески были блѣдны, хотя бы эти созданія находились въ видѣ эскизовъ, хотя бы эти чувства выразились въ неотдѣланной и даже не совсемъ ясной формѣ. Намъ дорогъ Гейне весь, какъ онъ есть; мы интересуемся его человѣческими чувствами, слабостями и страданіями; мы видимъ въ немъ мученика нашего вѣка, не признаннаго своими соотечественниками, принужденнаго бѣжать изъ родного края отъ умственной робости и рутинныхъ понятій филистеровъ,—разбитаго болѣзню и медленно умирающаго вдали отъ друзей, въ чужомъ городѣ, среди нерадостныхъ впечатлѣній. Намъ дороги страданія великаго поэта, какъ Марку Антонію была дорога окровавленная рубашка Цезаря; намъ дороги эти страданія, какъ укоръ нашему вѣку, гордящемуся терпимостью и свободой мысли, какъ приговоръ осужденія надъ идеями и бытовыми формами, измучившими своей уродливостью честнаго и гениальнаго человѣка. Въ посмертныхъ стихотвореніяхъ Гейне мы не будемъ искать тѣхъ

великолѣпныхъ и широкихъ идей, тѣхъ обильно оригинальныхъ образовъ, которые бросаются въ глаза на каждой страницѣ въ его «Buch der Lieder», въ «Romanzo», въ «Deutschland», въ «Atta Troll» и т. п. Надо принять въ соображеніе, что посмертныя стихотворенія не что иное, какъ крошки, упавшія со стола поэта и подобранныя почтительными друзьями.

Потому, говоря объ этихъ стихотвореніяхъ, достаточно будетъ отмѣтить нѣкоторыя отдѣльныя пьесы, отличающіяся отъ массы остальныхъ изящной формой или выражающія совершенно безыскусственно то настроеніе, которому онѣ обязаны своимъ происхожденіемъ.

Многія изъ вновь изданныхъ стихотвореній навѣяны событіями, совершившимися на политическомъ горизонтѣ. Вотъ, напримѣръ, баллада «Монтезума», написанная, очевидно, въ то время, когда страданія Испаніи обращали на себя вниманіе образованной и сочувствующей Европы:

«Монтезума, царь Мексики, жарился на медленномъ огнѣ; его принуждали сознаться, гдѣ его казна; отъ костра распространился запахъ, не похожій на запахъ паштета или поджаривающейся колбасы. Въ это время благоуханіе костровъ можно было встрѣтить и въ Европѣ. Замашку жарить людей на медленномъ огнѣ терпѣли законы и обычаи.

«Вокругъ костра стояли испанскіе кавалеры, искатели приключеній изъ Ла-Манчи, монахи, вооруженные крестомъ,—всякая испанская сволочь, жадная къ деньгамъ.

«Кто проигралъ все до послѣдней рубашки въ азартной игрѣ и въ спекуляціяхъ, тотъ и присоединился къ этимъ экспедиціямъ.

«Въ Америку!»—кричатъ негодяи въ темныхъ труппахъ Мадрида; и въ приморскихъ городахъ раздаются возгласы мошенниковъ и бездѣльниковъ.

«Подонки испанскаго населенія поступаютъ подѣ начальство Кортеса и Пизарро; ихъ привлекаетъ блескъ мексиканскаго золота; имъ не надо лавровыхъ вѣнковъ.

«Ступивши ногою на американскій берегъ, они тотчасъ начинаютъ грабить и разбойничать; ихъ дерзкія руки крушатъ безъ разбора дѣтей и женщинъ.

«Опираясь на мечъ, на огонь и на пытки, опустошеніе разливается по несчастной странѣ; видимой цѣлью и предлогомъ должно служить обращеніе язычниковъ.

«И храмы, и кумиры падаютъ и разрушаются; пресвятая, пречистая Дѣва, Тебѣ воздвигается алтарь.

«Держа въ рукахъ распятіе, прикрывая этимъ символомъ безвѣріе и злодѣяніе, монахи и поны идутъ впередъ и осѣняютъ себя крестнымъ знаменіемъ во имя Бога.

«Мексиканскаго императора запираютъ въ

келью, устроенную по пенсильванской системѣ; злодѣи издѣваются надъ нимъ, играя съ нимъ, какъ кошка съ мышью.

Его сокровища поглощаются корыстолюбивыми звѣрями; мексиканскій народъ страдаетъ и гибнетъ; страна превращается въ печальную пустыню.

«Но за преступленіями послѣдовало воздаяніе, мщеніе неба: на твоей землѣ, Испанія, полилась рѣками кровь твоихъ гражданъ.

«Мифическій ящикъ Пандоры, наполненный бѣдствіями, опрокинулся надъ тобою, пролился до послѣдней капли, и ты, Испанія, была жестоко поражена.

«Въ пестрой смѣсѣ мировыхъ событій ты дошла до послѣдней степени слабости и униженія,—ты, могучая держава, въ которой не заходило солнце».

Недостатокъ отдѣлки въ этомъ стихотвореніи бросается въ глаза, но достоинство основной идеи говорить само за себя. Поэтъ видитъ явную связь между упадкомъ Испаніи и тѣми жестокостями, съ которыми было сопряжено завоеваніе отдѣльныхъ государствъ Америки. Онъ выражаетъ эту связь словами: «воздаяніе, мщеніе неба»; Гейне понимаетъ очень ясно и очень просто, что народъ, увлекающійся духомъ завоеваній и рѣшающійся угнетать чужую національность, развращается тѣми продѣлками, въ которыхъ онъ видитъ великіе и блестящіе подвиги, украшающіе собой страницы исторіи. Очень понятно, что испанецъ XVI вѣка, мечтая о томъ, какъ легко обогатиться за моремъ, какъ весело пожить подъ троническимъ небомъ и дать просторъ звѣрнымъ инстинктамъ въ чужой землѣ, гдѣ для побѣдителя не существуетъ уголовныхъ законовъ, очень понятно, повторяю я, что испанецъ мало думалъ о честныхъ и мирныхъ средствахъ зарабатывать себѣ деньги. Его манило въ Америку, въ страну чудесъ, въ родину золота и алмазовъ; его поощряло общественное мнѣніе, его благословляло католическое духовенство, съ нимъ вмѣстѣ шли монахи съ крестомъ въ рукѣ, и молодой мечтатель уѣзжалъ за море, а на родину возвращался бандитомъ, не годнымъ ни на какое дѣло, способнымъ только пьянствовать въ тавернахъ, играть въ кости, убивать людей по частнымъ заказамъ или поступать на службу къ тому, кто хорошо платитъ. Можно себѣ представить, какъ плохо шла промышленность и торговля. Если бы Гейне захотѣлъ представить гибельное вліяніе угнетаемой Америки на мучительницу ея Испанію въ нѣсколькихъ яркихъ картинахъ, то, конечно, эта прекрасная мысль могла бы послужить основой для великолѣпной поэмы. Но Гейне, кажется, былъ не изъ тѣхъ художниковъ, которые долго вынашиваютъ и медленно вырабатываютъ въ себѣ занимающую ихъ идею; мысль Гейне такъ быстро перебѣгаетъ отъ одного предмета къ дру-

тому, что почти ни одна идея его не оказывается вполне доработанной и совершенно обстановленной вышними подробностями. Онъ говоритъ намеками, рисуетъ широкими, бѣглыми штрихами и представляетъ обильное поле для дѣятельности комментатора и критика.

Изъ балладъ, напечатанныхъ въ собраніи Штейнмана, приведу еще довольно большое стихотвореніе подъ заглавіемъ «Гренадеръ Рикю».

## 1.

«Папа сидѣлъ подъ арестомъ въ Савонскомъ замкѣ, и французскіе гренадеры караулили его, слѣдя за малѣйшимъ его движеніемъ.

«Каждый день, чтобы служить обѣдню, папа проходилъ въ маленькую капеллу черезъ галереи рыцарскаго зала.

«Въ залѣ стояли на часахъ гренадеры; папа каждое утро давалъ свое благословеніе съдымъ усачамъ, которые, увидѣвъ святого отца, становились на колѣни.

«Вдругъ караульнымъ солдатамъ было отдано строжайшее приказаніе: не пропускать папу черезъ двери рыцарскаго зала.

«Передъ папскими покоями стоялъ на часахъ гренадеръ Рикю, когда папа пошелъ въ капеллу въ первый разъ послѣ новаго приказанія.

«Съдой усачъ подошелъ къ папѣ и доложилъ ему о новомъ распоряженіи. Папская свита заговорила о смертномъ грѣхѣ и вѣчномъ осужденіи.

«И требовала, чтобы Рикю пропустилъ святого отца для совершенія святого дѣла, но Рикю отказалъ наотрѣвъ, несмотря на всѣ увѣщанія.

«Когда папа все-таки хотѣлъ пройти, Рикю воскликнулъ: «именемъ императора!»

«Съдой усачъ прогналъ папу назадъ, опустивъ штыкъ.

«Пусть меня Богъ проститъ!—сказалъ онъ.—Если бы мнѣ приказалъ императоръ, я бы штыкомъ распоролъ животъ самому Господу Богу!

«Я за императора шестнадцать разъ ходилъ въ огонь, въ самыхъ жаркихъ сраженіяхъ; за него я готовъ идти въ адъ, въ наказаніе за смертный грѣхъ».

## 2.

«Прошло сорокъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ не позволилъ святому отцу совершить святое дѣло. Сколько переживъ, сколько новыхъ событій!

«Тронъ Бонапарта разбитъ въ прахъ; престолъ Вурбоновъ разрушенъ; Людовикъ Филиппъ бѣжалъ изъ Парижа. «Vive la république!» кричитъ народъ.

«По улицамъ на берегахъ Сены, на башняхъ Notre Dame развѣвается трехцвѣтное знамя, а подъ нимъ завываютъ колокола.

«По тротуару идетъ живой скелетъ, опираясь слабою рукой на палку и придерживаясь бокомъ къ стѣнамъ домовъ.

«На немъ одѣтъ, словно футляръ, старый капотъ, изношенный и вытертый до послѣдней степени. Ноги его заплетаются одна о другую.

«Фуражка, потерявшая форму и цвѣтъ, покрываетъ лысую голову; на груди болтается, на полинялой ленточкѣ, крестъ Почетнаго Легіона.

«Нижняя часть лица покрыта серебристою бородой. Глаза, въ которыхъ было прежде такъ много огня, погасли и потускнѣли.

«На согнутой спинѣ лежитъ бремя восьмидесятилѣтней жизни. Кто этотъ бѣдный старикъ?— Это инвалидъ Рикю.

«Каждый день онъ безъ отдыха таскаетъ по улицамъ свое бѣдное тѣло. Его, какъ вѣчнаго Жюда, гонить и преслѣдуетъ какая-то сила.

«На немъ лежитъ проклятіе и осужденіе за то, что онъ не нарушилъ клятвы, данной императору.

«Теперь не у всѣхъ такая чуткая совѣсть, какъ у инвалида Рикю. Теперь уже не то время.

«Утомившись до-смерти, онъ свалился на мостовую. «Не могу ни жить, ни умереть»,—простоналъ онъ, когда пришли къ нему на помощь.

«А между тѣмъ, — продолжалъ онъ, — умереть такъ легко и такъ удобно. Я, право, и самъ не знаю, живъ ли я или умеръ.

«И такъ дешево! Стоитъ только взять въ аптеку нѣсколько капель хлороформа, чтобы отправиться на тотъ свѣтъ.

«Друзья, принесите мнѣ нѣсколько капель! Скажите аптекарю: у Рикю нѣтъ ничего, нѣтъ денегъ, нѣтъ покоя. Нельзя ни жить, ни умирать.

«Сорвите у меня съ груди этотъ крестъ на полинялой лентѣ! Отнесите его къ аптекарю и скажите: «вотъ Рикю посылаетъ ему за нѣсколько капель!»

«Какъ только онъ проговорилъ послѣднее слово, такъ голова его склонилась.»

«Желанный покой достался ему на долю безъ хлороформа.

«На носилки положили тѣло стараго инвалида, который при жизни воздавалъ кесарево кесареви, а боже Богови».

По задумчивости тона, по простотѣ изложенія и по яркости образовъ, это стихотвореніе не уступить лучшимъ балладамъ «Romanzo». Идея также вполне достойна нашего поэта. Гренадеръ Рикю, человѣкъ простой и честный, поставленъ въ жизни своей между двумя огнями; онъ—вѣрующій католикъ и въ то же время ревностный солдатъ; религіозный деспотизмъ тащить его въ одну сторону, военный деспотизмъ—въ другую, но со стороны религіознаго деспотизма онъ имѣетъ передъ собою только отвѣченный догматъ; личныхъ отношеній къ папѣ и къ церковной власти у него нѣтъ; военный дес-

потизмъ, напротивъ того, представляетъ его воображенію въ обаятельномъ образѣ любимаго императора, по приказанію котораго онъ, не задумываясь, готовъ идти на смерть и на мученіе, въ огонь и въ воду. Поэтому, когда происходитъ столкновение между религіознымъ элементомъ и военнымъ, послѣдній одерживаетъ рѣшительную побѣду, и мы видимъ, какъ личные симпатіи, индивидуальныя влеченія французскаго воина торжествуютъ надъ голосомъ отвлеченнаго долга. Но между тѣмъ время проходитъ, лѣта берутъ свое, и тотъ поступокъ, который онъ сдѣлалъ изъ любви къ императору, бывши молодцомъ-гренадеромъ, начинаетъ серьезно пугать его воображеніе. Онъ воображаетъ себя проклятымъ, отверженнымъ существомъ, отъ котораго сторонится даже самая смерть. Наконецъ, утомленіе жизнью доходитъ до такой степени, что даже любимый образъ Наполеона отодвигается на задній планъ: Рикю готовъ продать крестъ Почетнаго Легіона за нѣсколько капель хлороформа. И вотъ приходитъ смерть. А зачѣмъ жилъ этотъ человѣкъ? За что онъ любилъ Наполеона? зачѣмъ, въ послѣдніе годы своей жизни, считалъ себя проклятымъ? Зачѣмъ, зачѣмъ?...

Въ настоящее время, когда вниманіе образованнаго міра обращено на послѣднюю борьбу между защитниками рабства и его врагами, когда въ самой демократической странѣ нашей планеты совершается послѣдняя попытка удержать за однимъ человѣкомъ право смотрѣть на другого человѣка какъ на вьючное животное,— слѣдующій стихотворный рассказъ Гейне окажется не лишенымъ современнаго интереса:

«Колокола звонятъ къ обѣднѣ и призываютъ на молитву; толпа стремится въ церкви; прекрасное воскресное утро!

«Молодые матери убаюкиваютъ на колыбельныхъ своихъ новорожденныхъ дѣтей; дѣвушки и матроны сидятъ въ прохладной тѣни веранды.

«А въ это время бѣдная невольница-негрятка, молодая, цвѣтущая красотой, лежитъ и стонетъ на жесткой соломѣ, одна, всѣми оставленная, въ тюрьмѣ.

«Законъ благочестиваго штата Луизианы опредѣляетъ смертную казнь тому рабу, который подниметъ руку на своего господина.

«Дина,—такъ зовутъ эту дѣвушку, которая, по словамъ закона, принадлежитъ къ человѣческому скоту и отдается въ полное распоряженіе владѣльца,—

«Дина ударила свою госпожу, чтобы защитить себя отъ побоевъ; она совершила дѣло дозволенной обороны.

«Но буква закона рѣшаетъ дѣло; ее тотчасъ же осудили на смерть, и поэтому она томится въ мрачной тюрьмѣ.

«День ея казни тогда былъ еще далекъ, потому что у нея была страшная надежда сдѣлаться матерью.



«Отец этого ребенка, котораго рожденія она ожидала, какъ приближеніе своей смерти, былъ супругъ ея строгой госпожи.

«Дина сдѣлалась жертвой его похотливости, и черезъ два мѣсяца родила мальчика, безъ всякой помощи, въ стѣнахъ тюрьмы.

«Изъ ея рукъ вырвали ребенка; не помогли ни просьбы, ни слезы; напрасно бѣснуется львица, у которой отняли дѣтенышей.

«Вслѣдъ затѣмъ заскрипѣли запоры тюрьмы, ее ожидалъ эшафотъ; палачъ ведетъ ее подъ руку на послѣднюю прогулку.

«Вокругъ эшафота собирается любопытная толпа, желающая посмотреть на бѣдную преступницу и присутствовать при послѣднихъ минутахъ ея жизни».

Впечатлѣніе, производимое на читателя этимъ стихотвореніемъ, готовится съ самаго начала его заглавіемъ. Оно называется «Ein Stück Menschen-Vieh» («Штука человѣческаго скота»), и слѣдовательно самымъ этимъ названіемъ даетъ намъ возможность бросить взглядъ на отношенія между американскими плантаторами и ихъ рабами. По внѣшней формѣ это стихотвореніе совершенно не обработано; видно, что поэтъ написалъ только канву, набросалъ основныя черты, изъ которыхъ могло возникнуть со временемъ замѣчательное художественное произведеніе; положеніе взято очень характерное; въ короткомъ разсказѣ сгруппированы самые замѣчательные моменты въ отношеніяхъ между рабомъ и господиномъ; мы видимъ, во-первыхъ, что молодая негрятка ни въ чемъ не смѣетъ отказать своему владѣльцу; ни чувство женской стыдливости, ни желаніе сохранить въ полной неприкосновенности то, что женщины называютъ своею добродѣтелью, ни любовь къ другому человѣку,—словомъ, ничто не можетъ избавить молодую и красивую невольницу отъ преслѣдованій похотливаго плантатора; ему дозволены закономъ всѣ средства; побои, жестокия тѣлесныя наказанія, насилваніе—все это такого рода домашнія распоряженія, на которыя некуда пожаловаться, и въ которыхъ никто не станетъ требовать у хозяина отчета. Къ общественному мнѣнію обратиться невозможно; оно составляетъ голосами такихъ же рабовладѣльцевъ, которые у себя дома распоряжаются такъ же безцеремонно съ человѣческимъ скотомъ, составляющимъ неотъемлемую собственность. Молодая невольница, какъ безответная жертва, отдается своему господину, а между тѣмъ для нея готовится новое испытаніе; она возбуждаетъ ревность своей госпожи, и гнѣвъ обманываемой супруги обрушивается не на обманщика-мужа, а на его несчастную жертву, на беззащитную невольницу; бѣдную дѣвушкѣ ея несчастіе вмѣшается въ преступленіе; начинается глухое домашнее преслѣдованіе, мелкое тиранство, къ которому такъ способны страстные и ревнивыя женщины. Между тѣмъ моло-

дая невольница чувствуетъ себя беременною и вслѣдствіе этого становится раздражительнѣе; ея характеръ измѣняется подъ вліяніемъ ея новаго положенія; госпожа преслѣдуетъ ее сильнѣе прежняго; въ людской на ея счетъ дѣлаются обидные намеки; надъ нею смѣются, ее оскорбляютъ невольницы, забывая то, что съ ними случилось или можетъ случиться то же несчастіе, которое постигло бѣдную Дину. Наконецъ, всякому терпѣнью есть же предѣлы; когда вездѣ испытываешь оскорбленія, когда на спинѣ чувствуешь слѣды недавнихъ побоевъ, когда впереди видишь горе, безконечный трудъ и невыносимыя лишенія, тогда поневолѣ забудешь всякую осторожность и хоть разъ въ жизни попробуешь сорвать зло на своихъ утѣснителяхъ. Такъ случается съ нашей Диной. Госпожа подвергается ей подъ руку съ бранью и побоями въ ту минуту, когда у нея накопило на душѣ много желчи и горечи; на побои она отвѣчаетъ побоями, и судьба ея рѣшена. Посмотрите на какую хотите породу животныхъ, вы увидите, что самецъ всегда станетъ защищать свою самку; но плантаторъ южныхъ штатовъ составляетъ исключеніе изъ этого общаго правила: онъ смотритъ на свою бывшую любовницу, какъ на домашнее животное или какъ на мебель, которою онъ пользовался въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль или мѣсяцевъ; прошла потребность въ этой мебели, и ее можно сломать на дрова безъ малѣйшаго сожалѣнія; владѣлецъ Дины даже не пробуетъ защитить ее противъ гнѣва своей супруги; ему даже пріятно пожертвовать ей свою любовницу и этой ничтожною уступкою возстановить нарушенный миръ домашняго очага. Къ тому же заступиться передъ судомъ за невольницу, ударившую свою госпожу, значило бы поднять противъ себя все общественное мнѣніе штата; и вотъ Дину сажаютъ въ тюрьму, а впереди—публичная казнь; ей прочитываютъ смертный приговоръ; но казнить беременную женщину значитъ нанести хозяину денежный убытокъ; приплодъ по всѣмъ правамъ принадлежитъ хозяину, и законы Луизианы не имѣютъ права посягать на частную собственность; казнь Дины отсрочивается до ея разрѣшенія отъ бремени; она въ тюрьмѣ рождаетъ своему хозяину сына; у нея отнимаютъ новорожденнаго ребенка, который, конечно, никогда не будетъ знать родительской ласки и не найдетъ себѣ облегченія въ кровной связи своей съ плантаторомъ. Этого бѣднаго ребенка воспитаютъ въ рабствѣ; онъ останется на всю жизнь рабомъ и, вѣроятно, не разъ будетъ переносить побои отъ родного отца, отъ родныхъ братьевъ и въ особенности отъ мачихи. А мать этого ребенка, едва оправившаяся отъ родинѣ, слабая, истомленная страданіями и душнымъ тюремнымъ воздухомъ, идетъ на эшафотъ и умираетъ отъ руки палача; вокругъ эшафота собирается толпа зѣвакъ, и въ этой толпѣ мож-

но узнать тѣ же лица, которыя вамъ встрѣтились прошлое воскресенье въ церкви и которыя, со слезами умиленія, слушали поучительныя проповѣди пастора. Въ судьбѣ молодой невольницы, изображенной въ стихотвореніи Гейне, заключается, какъ видите, цѣлая драма или, вѣрнѣе, цѣлая страшная трагедія съ кровавой развязкой. Идея до такой степени преобладаетъ надъ формой, что стихотвореніе это необходимо надо считать простымъ наброскомъ, легкимъ эскизомъ, хотя Гейне, можетъ быть, и не имѣлъ въ виду когда-нибудь обстоятельнѣе разработать выраженную въ немъ идею.

Отъ души ненавидя физическое рабство со всѣми его ужасными послѣдствіями, Гейне точно такъ же ненавидѣлъ умственное рабство. Въ собраніи его посмертныхъ стихотвореній отличается преобладаніемъ этого чувства пьеса подъ заглавіемъ: «Она все-таки движется!» («Und sie bewegt sich doch»).

Вотъ это стихотвореніе, изображающее въ немногихъ штрихахъ отреченіе Галилея отъ своего астрономическаго ученія:

«Не угасай на небосклонѣ, солнце, яркое свѣтило! Пусть узнаетъ весь міръ то несчастное сужденіе, которое возникло въ воспаленномъ мозгу!

«Галилео Галилеи, мужъ науки, чистый и безгрѣшный, какъ ангелъ, томится въ тюремномъ заключеніи.

«И отчего прогнѣвались на почтеннаго, добродушнаго старика? Оттого, что онъ училъ, будто земля вращается вокругъ солнца!

«Его потащили въ судилище «священной инквизиціи»; его обвинили въ такомъ преступленіи, за которое онъ, какъ сынъ церкви, былъ достоинъ смертной казни.

«Залъ наполненъ монахами; монахи сидятъ вокругъ судейскаго стола; они громко признали его ученіе ложнымъ и еретическимъ.

«Лучи солнца, свѣтите ярче! Шаръ земной, вращайся быстрѣе! Міръ, внеми преступному приговору, произнесенному верховнымъ судилищемъ!

«Взгляните! Покрытый серебристыми сѣдинами, почтенный, величавый старикъ встаетъ съ мѣста, чтобы отречься отъ своихъ изслѣдованій, отъ своего ученія и чтобы проклясть свои мысли.

«По приказанію судей, онъ становится на колѣни, протягиваетъ правую руку надъ евангеліемъ, отрекается отъ своихъ идей, но потомъ встаетъ и, ударивъ ногою объ полъ, говоритъ смѣло, потому что наука не покоряется никакому игу: «земля, ты все-таки движешься!»

Въ этомъ стихотвореніи Гейне выbralъ величественный моментъ. Галилей передъ судомъ инквизиціи волею высшей власти, послѣ долговременной и тяжелой борьбы, объявилъ человѣческой разумъ полноправнымъ и совершеннолѣтнимъ. Въ

тотъ моментъ, который изображаетъ Гейне, физическая сила очевидно находится на сторонѣ галилейниковъ; поддерживать свои идеи аргументами эти люди не могутъ и не хотятъ; но горе тому, кто вздумаетъ ихъ вызвать на диспутъ и кто посмѣетъ разойтись съ ними во мнѣніяхъ; въ распоряженіи монаховъ, произносящихъ судъ надъ достоинствомъ специальныхъ научныхъ изслѣдованій, находятся страшныя средства, способныя привести въ ужасъ самаго рѣшительнаго подвижника истины; за монаховъ стоитъ слѣпобвѣрующая толпа; по одному слову этихъ монаховъ, въ инквизиціонный застѣнокъ, на разнообразныя уточненныя пытки и, наконецъ, на костеръ; вокругъ костра собирается многочисленная толпа, и въ этой толпѣ нѣтъ ни одного человѣка, въ груди котораго шевельнулось бы искреннее состраданіе, — ни одного человѣка, на лицѣ котораго отразилось бы сознательное сочувствіе къ страданіямъ праведника; мужчины и женщины, старики и дѣти смотрятъ на возмутительную казнь, какъ на выраженіе воли Всевышняго, какъ на праведный судъ раздраженнаго Неба, какъ на справедливое воздаяніе за страшное, непростительное проявленіе человѣческой дерзости; они смотрятъ на несчастнаго мученика, какъ на отверженное созданіе, обреченное на вѣчное истязаніе въ неугасимомъ пламени. И не понимаютъ эти люди, что мученикъ этотъ трудился для нихъ и для ихъ дѣтей, что онъ умираетъ на кострѣ не за убійство, не за воровство, а за то, что думаетъ о разныхъ предметахъ не совсѣмъ такъ или совсѣмъ не такъ, какъ думаетъ большая часть его современниковъ; не предвидятъ они того, что ихъ же потомство, въ прямой нисходящей линіи, возвеличитъ и прославитъ проклятаго еретика, а на благочестивые подвиги отцовъ и предковъ посмотритъ съ укоризной, съ отвращеніемъ и съ ужасомъ; и, что всего удивительнѣе, та же исторія повторяется постоянно; въ каждомъ вѣкѣ есть свои Галилеи, свои инквизиторы; въ каждомъ вѣкѣ есть такіе софизмы, которыми можно одурачить толпу и натравить ее именно на того человѣка, который горячо любитъ ее и съ донкихотскимъ самоотверженіемъ отстаиваетъ ея права и интересы. Что толпа ловится на эти софизмы, это еще не слишкомъ удивительно; толпа долго еще останется слѣпой стихійной силой; средній уровень знаній и умственнаго развитія возвышается въ толпѣ такъ медленно, что, право, со временъ Галилея ума и терпимости въ ней прибавилось очень немного; но странно то, что до сихъ поръ находятся въ высшихъ слояхъ умственной аристократіи такіа донкихотски-честныя натуры, которыя за эту слѣпую и неподвижную толпу готовы идти на казнь или въ изгнаніе. Удивительно, какимъ это образомъ тѣ люди, которымъ знакомы факты историческаго прошедшаго, ко-

торымъ извѣстны имена и личности Сократа, Галилея, Гусса, Савонароллы, рѣшаются брать на свои плечи и пытаются повернуть къ лучшему участь своихъ младшихъ братьевъ, участь той толпы, которая привыкла побивать камнями своихъ пророковъ и потомъ ронять на ихъ могилы безполезныя слезы и бросать лавровыя вѣнки. Если цѣлыя тысячелѣтія горькаго и постоянно повторяющагося историческаго опыта не могутъ вылѣчить человѣка отъ дурной привычки или отъ хронической болѣзни жертвовать собою для пользы другихъ, и притомъ такихъ другихъ, которые не поймутъ и не оцѣнятъ его жертвы, то надо предположить, что эта привычка или болѣзнъ пустила глубокіе корни въ натурѣ человѣка.

Въ изданіи Штейнмана есть нѣсколько стихотвореній Гейне, обращенныхъ къ Германіи; здѣсь, какъ и вездѣ, Гейне относится къ политической и умственной дѣятельности Германіи съ самой ѣдкой ироніей, его возмущаетъ нерѣшительность и глубокомысліе нѣмцевъ, тратящихъ драгоценное время на схоластическіе споры, не имѣющіе ни малѣйшаго отношенія къ дѣйствительнымъ, практическимъ нуждамъ родины. Въ области умственной дѣятельности Германіи Гейне осмѣиваетъ академическую рутину, безплодную эрудицію, мертвенность мысли, скрывающуюся подъ обиліемъ выисокъ, ссылокъ и цитатъ. Ясный, конкретный умъ Гейне не терпитъ отвлеченностей и враждуетъ противъ всего туманнаго, неопредѣленнаго и мистическаго. Доктринерство въ области политической жизни, гегелевская діалектика въ области философіи, мертвенность въ области практической нравственности совершенно антипатичны нашему гениальному поэту. Всѣ эти качества, составляющія неотъемлемую принадлежность официальныхъ представителей германской жизни и науки, жестоко осмѣяны какъ въ прежнихъ стихотвореніяхъ Гейне, такъ и въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя теперь собраны и изданы Штейнманомъ. Нѣкоторые ученые и литераторы въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ служили мишенями для самыхъ злыхъ сарказмовъ со стороны Гейне. Эти господа не забыты и здѣсь; Масманъ, Венедей, Луиза Мюльбахъ, Менцель, Генгстенбергъ, всѣ критиканствиты, вся школа швабскихъ поэтовъ, постоянно восхваляющихъ весну, луну и т. п., осмѣяны безъ всякаго состраданія; Гейне, какъ чрезвычайно умный и крайне раздражительный человѣкъ, не могъ ужиться среди той атмосферы тупоумія, скучной серьезности, бездарности и узкаго тщеславія, которая душила его въ Германіи; его ненавидѣли и боялись всѣ эти дюжинные писаки, и это, конечно, дѣлаетъ ему большую честь. Большая часть чисто-полемическихъ стихотвореній Гейне состоитъ изъ сплошныхъ намековъ на мелкія событія германской прессы и пересытана такими откровенными выраже-

ніями, къ которымъ не привыкло ухо русскаго читателя. На этомъ основаніи я передамъ здѣсь въ переводѣ только тѣ стихотворенія Гейне о Германіи, въ которыхъ развивается какая-нибудь общая идея, удобопонятная для нашей публики. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе «Вы и я»:

«Вы поносите меня, когда во мнѣ закипаетъ молодость, и когда я, человѣкъ съ горячей кровью, слѣдую ея внушеніямъ.

«Измѣна!» кричали вы, когда я окрестилъ Иудею того, кто за сребренники продалъ Бога, говорившаго его устами.

«Вы обвиняли меня въ наглой клеветѣ, когда я говорилъ правду и срывалъ зрѣлые плоды съ дерева знанія.

«Вы бранили меня за легкомысліе, когда я смѣялся и шутилъ; если бы вы могли это сдѣлать, вы бы вычеркнули мое имя.

«Вписанное огненными буквами въ книгу времени, вы бы охотно выскоблили его и вытравивали его ядомъ.

«Но оно будетъ сіять, не померкая, до тѣхъ поръ, пока земной шаръ будетъ обращаться вокругъ солнца, и пока стрѣлка компаса будетъ указывать на сѣверъ.

«Несмотря на вашу зависть и вани преслѣдованія, ни одинъ Геростратъ не разрушитъ того памятника, который я построилъ себѣ собственной рукой».

Первые четыре куплета приведеннаго стихотворенія представляютъ сжатую, но полную характеристику тѣхъ нападокъ, которымъ талантливый и честный человѣкъ подвергается со стороны завистливыхъ и подкупленныхъ рутинеровъ. Рутинеры, какъ извѣстно, ничего не любятъ, кромѣ того мѣстечка, которое обезличиваетъ собою ихъ брелное существованіе; не любя ни того предмета, которымъ они занимаются, ни той сладенькой идеи, которую они проводятъ въ своей жизни или въ своихъ литературныхъ работахъ, эти господа очень любятъ облекать себя въ красивую драпировку полного безпристрастія и обыкновенно смотрятъ на самые обыкновенные житейскіе вопросы съ такой высшей точки зрѣнія, съ которой вполне познается суетность всего земнаго и ничтожество отдѣльнаго человѣка, его интересовъ, идей, горячихъ желаній и задушевныхъ стремленій. Не желая высказывать какую-нибудь идею, приложимую къ практической дѣятельности, ученый рутинеръ обыкновенно останавливается на тщательной переборкѣ голыхъ фактовъ, сшиваетъ эти факты между собою чисто вишнимъ образомъ и издаетъ болѣе или менѣе увѣсистый томъ или даже жиденькую брошюру, которые немедленно расхваливаются рутинерами-критиками и съ уваженіемъ упоминаются *коллеса* или *коммиттотами* автора. «Рыбакъ рыбака видитъ издалека», «рука руку моетъ»; въ силу этихъ

премудрыхъ пословицъ, рутинеры тщательно поддерживаютъ другъ друга; если послушать ихъ, то надо умилиться тому, сколько гениальныхъ ученыхъ и талантливыхъ литераторовъ развелось на блѣсомъ свѣтѣ; рутинеры спорятъ иногда между собою, но такъ какъ споръ обыкновенно касается какого-нибудь мельчайшаго и ни на что не нужнаго факта, то спорящія стороны не роняютъ другъ друга въ общественномъ мнѣнїи, потому что ни одна изъ нихъ не можетъ довести своего противника *ad absurdum*; кромѣ того, какъ бы горячо ни спорили между собою два рутинера, они всегда готовы заключить между собою вѣчный миръ и совокупными силами разгромить того дерзкаго человѣка, который осмѣлится заявить въ своей головѣ присутствіе живой мысли и скептическаго отношенія къ ихъ антикварнымъ трудамъ; съ рутинерами можно спорить, но только надо принадлежать къ ихъ цеху, надо въ спорѣ кружиться въ известномъ кругу понятій и доказательствъ, надо руководствоваться не простымъ здравымъ смысломъ, а здравымъ смысломъ, положеннымъ на известныя ноты, подстриженнымъ по известному образцу; если же вы вздумаете заговорить, какъ самостоятельную мыслящую человѣкъ, то рутинеры возстанутъ на васъ всѣмъ синклитомъ, раздерутъ ризы свои, посыплютъ пепломъ главу, поднимутъ крикъ и вой и объявятъ всему читающему міру о томъ, что появилась новая ересь, достойная, если не пытки и костра, то по крайней мѣрѣ исправительнаго полицейскаго наказанія. Рутинеры стоятъ обыкновенно къ предмету своихъ занятій въ отношеніяхъ чисто утилитарныхъ; они смотрятъ на науку, какъ на дойную корову, по весьма справедливому замѣчанію Шиллера; тотъ запасъ идей и свѣдѣній, который они сообщаютъ своимъ слушателямъ или читателямъ съ высоты занимаемыхъ кафедръ или на страницахъ своихъ журналовъ, составляетъ ихъ капиталъ; съ этого капитала они, смотря по степени своей практической ловкости, берутъ болѣе или менѣе обильные проценты; чтобы доходы рутинеровъ не уменьшались, публика должна считать ихъ идеи за непреложную истину; всякая попытка отнестись критически къ этимъ идеямъ есть посягательство на собственность рутинера; очень понятно, что онъ, рутинеръ, возстанетъ противъ скептика не такъ, какъ представитель противоположнаго мнѣнія, а просто, какъ страждущій собственникъ. Онъ закричитъ: „караулъ! грабежъ!“ онъ готовъ будетъ обратиться къ полиціи, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ положеніе какаго-нибудь добродушнаго профессора второстепеннаго германскаго университета; лѣтъ 20 тому назадъ, бывши еще молодымъ человѣкомъ, подающимъ блестящія надежды, этотъ господинъ приобрѣлъ себѣ довольно значительныя знанія, составилъ себѣ взглядъ на вещи и репутацію,

добылъ себѣ кафедру, отчасти черезъ протекцію, и, конечно, какъ слѣдуетъ благоразумному нѣмцу, задремалъ на рано-приобрѣтенныхъ лаврахъ; по домотопости и аккуратности, свойственной нѣмцу среднихъ лѣтъ, господинъ профессоръ завелся семействомъ, сообразилъ предварительно объемъ своего жалованья и убѣдившись въ томъ, что онъ можетъ себѣ позволить *эту роскошь*, т. е. женитьбу по взаимной склонности и счастье семейнаго очага. Чтобы содержать семейство, надо получать жалованье; чтобы получать жалованье, надо имѣть слушателей; а чтобы имѣть слушателей, надо считаться хорошимъ профессоромъ, отворяющимъ дверь въ храмъ науки, а не въ какой-нибудь завалищій хлѣвъ; что же прикажете дѣлать такому почтенному отцу семейства, если вдругъ какой-нибудь Гейне пуститъ въ свѣтъ такую ракету, къ которой съ невольнымъ сочувствіемъ обратятся любопытные взоры вѣтренной молодежи; вѣдь это убытокъ, вѣдь это разореніе. Вѣдь каждая новая идея кладетъ охулку на тотъ залежавшійся товаръ, который господинъ докторъ, профессоръ и членъ разныхъ ученыхъ обществъ старается сбыть за хорошую плату въ головы своихъ слушателей! Что же тутъ дѣлать? Вѣдь не идти же въ самомъ дѣлѣ по міру съ Frau Professorin и съ чадами! Надо дѣлать то, что дѣлаютъ въ подобныхъ случаяхъ купцы, не могущіе выдержать конкуренціи съ заграничными товарами. Надо оплевать и очернить разомъ и тѣ идеи, которыя подрываютъ источники профессорскихъ доходовъ, и тѣхъ людей, которые высказываютъ эти идеи вслѣдствіе твердаго и честнаго убѣжденія. Всякая новая идея врывается въ міръ съ нѣкоторой страстностью, которая постепенно усиливается отъ встречающихся препятствій; эту страстность рутинеры разсматриваютъ черезъ микроскопъ; изъ этой страстности они выкраиваютъ страшное пугало, чтобы выхлопотать противъ самой идеи что-нибудь въ родѣ *lettre de cachet*. Вотъ такіе-то люди такими-то продѣлками выгнали Гейне изъ Германіи; замолчать передъ этими людьми и отвѣтить презрѣніемъ на ихъ грязныя и корыстныя обвиненія значило бы исполнить ихъ величайшее желаніе. Имъ только и нужно было, чтобы ихъ оставили въ покоѣ, чтобы никто не обличалъ ихъ ограниченности и не смущалъ ихъ доврчивыхъ, юныхъ слушателей и читателей; но Гейне, какъ честный дѣятель, не положилъ оружія; онъ продолжалъ тревожить ихъ своими сарказмами, долетавшими до ихъ слуха съ береговъ Сены; больной, разбитый параличомъ, изнуренный борьбой жизни, поэтъ не умолкалъ и постоянно бросалъ имъ въ глаза свою возрастающую популяриность и ихъ безсильную злобу. Въ выписанномъ выше стихотвореніи поэтъ, какъ вы видите, упрекаетъ своихъ враговъ въ несправедливости и злонамѣренности ихъ нападокъ; враги Гейне, какъ онъ самъ говоритъ, нападали

на него за горячность, за рѣзкость приговоровъ, за повизну идей и за насмѣшливость и легкость тона. Кто имѣлъ на своемъ вѣку дѣло съ рутинной критикой, тотъ знаетъ, что слова Гейне представляютъ собой полнѣйшее выраженіе истины. Рутинеры не терпятъ горячности, потому что сами они холодны и вялы; рутинеры не терпятъ рѣзкихъ выраженій, потому что сами чувствуютъ за собою грѣхи и боятся правдивой и беспощадной оцѣнки, не скрашенной даже мягкостью виѣшней формы; рутинеры не терпятъ новыхъ идей, потому что новая идея есть смертный приговоръ надъ рутинной и надъ тѣми, кто покоится и пасется подъ ея широколиственной тѣнью; и, наконецъ, рутинеры не терпятъ шутиваго тона, во-первыхъ, потому, что имъ вездѣ чудится злая иронія, а, во-вторыхъ, потому, что, улыбаясь и шутя, можно легко и быстро объяснить мірянамъ такія вещи, которыя люди рутинны желаютъ удержать для себя, какъ жреческую символическую; шутиливый тонъ связанъ съ популярностью изложенія, а популярность, по мнѣнію многихъ и многихъ ученыхъ идиотовъ, *унижаетъ достоинство науки*; мы же съ своей точки зрѣнія переведемъ эту послѣднюю фразу такъ: популярное изложеніе разливаетъ элементарныя свѣдѣнія въ массу общества и вслѣдствіе этого опять-таки убавляетъ доходы рутинеровъ. Если бы только два десятка профессоровъ могли объяснить удовлетворительно законы свободнаго паденія тѣлъ, то, конечно, эти двадцать свѣтилъ были бы провозглашены великими мудрецами; на ихъ лекціи стекались бы сотни слушателей и соразмѣрно съ этимъ возрастали бы или по крайней мѣрѣ упрочивались бы ихъ доходы. Когда же наука выходитъ изъ университетовъ и академій и начинаетъ ходить по улицамъ, тогда надо быть дѣйствительно замѣчательнымъ дѣятелемъ, чтобы обратить на себя вниманіе, чтобы съ почетомъ удержаться на кафедрѣ и чтобы въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ кормить жену и дѣтей результатами своихъ ученыхъ подвиговъ. Чѣмъ шире распространены грамотность и элементарное образованіе, тѣмъ сильнѣе становится конкуренція на мѣста преподавателей; всякое молодое, свѣжее или зрѣлое и крѣпкое дарованіе найдетъ себѣ поле дѣятельности, но зато рутинна и посредственность будутъ сбиты съ пьедестала и затеряются въ толпѣ. Стало быть, популяризованіе знаній ни для кого не представляетъ такихъ серьезныхъ опасностей, какъ для тѣхъ людей, которые держатъ въ рукахъ монополію знаній и выдаютъ себя за ревностныхъ подвижниковъ просвѣщенія.—Разборъ двухъ стихотвореній Гейне далъ мнѣ такимъ образомъ поводъ поставить рядомъ два типа людей: одни, подобно Галилею, работаютъ по внутренней потребности, совершаютъ чудеса въ разрабатываемой ими области и въ награду за свои подвиги попадаютъ

на костеръ или отправляются въ изгнаніе; другіе работаютъ по расчету, перестаютъ трудиться, какъ только имъ удастся составить себѣ репутацію и жить рентами съ припасеннаго умственнаго капитала, морочатъ молодыхъ людей фразами, забываютъ въ нихъ охоту мыслить сухостью своего изложенія, и въ награду за свои подвиги попадаютъ на академическое кресло или отправляются еще куда-нибудь повыше. Какое общее заключеніе можно вывести изъ этой неутиѣшительной параллели? А то заключеніе, что человѣкъ самъ по себѣ предобро, премилое и преблагородное существо: въ немъ пропасть силъ, пропасть желанія примѣнить эти силы такъ, чтобы и себѣ, и другимъ было хорошо и удобно, пропасть мягкости, готовности уступить другому и въ свою очередь съ признательностью принять отъ другого радушно-предложенную уступку. Но попробуйте этого же самаго милѣйшаго человѣка втолкнуть въ тѣсную комнату съ маленькимъ окошечкомъ, биткомъ набитую другими людьми и получающую со двора слабый притокъ свѣжаго воздуха,—нашъ милѣйшій человѣкъ задохнется или, что всего вѣрнѣе, начнетъ драться съ своими новыми сожителями, чтобы протѣсниться къ окошечку. Если у милѣйшаго здоровые локти и бока, онъ пробьетъ, начнетъ дышать свѣжимъ воздухомъ и навѣрное очень жестко будетъ отталкивать тѣхъ джентльменовъ, которые въ свою очередь будутъ ловить глотокъ кислорода. Тутъ ужъ гуманность въ сторону, когда уступить—значитъ умереть, и когда вся жизнь должна быть борьбой не съ обстоятельствами, какъ риторически выражаются писатели и простые смертные, а съ такими же живыми людьми, которыхъ мы обязаны, видите ли, любить, какъ своихъ братьевъ и какъ самихъ себя. А почему же, спроситъ любознательный читатель, жизнь должна быть такой ожесточенной борьбой?—Почему, да почему!—Ну, стало быть, такъ уже суждено; я, ей Богу, не знаю!

Да, жизнь была-бы совершенно невыносима, если бы въ ней не было ничего кромѣ драки за кусокъ хлѣба и за право жить въ свое удовольствіе. Къ счастью для человѣка, въ самой сѣрой трудовой и задорной жизни бываютъ свѣтлыя, теплыя, употѣлныя минуты, минуты сіяющаго счастья, минуты тихаго благоухающаго довольства, минуты безмятежнаго спокойствія. Человѣкъ, измученный тычками и пинками, получаемыми отъ разныхъ сосѣдей по жизни, человѣкъ, утомленный тѣмъ напряженіемъ нервовъ и мускуловъ, которое необходимо для того, чтобы возвращать эти тычки и пинки по принадлежности, человѣкъ этотъ отдыхаетъ и крѣпнетъ, когда ему удается въ теплый лѣтній вечеръ броситься въ пахучую траву, надышаться чистымъ воздухомъ, насмотрѣться на голубую даль, на тихую зыбь спокойнаго, свѣтлаго озера, на зеленую

листву здоровой растительности. Мы любимъ природу, мы любимъ жизнь, когда она насъ не гнететъ и не разрушаетъ; мы рады хоть на нѣсколько минутъ сложить оружіе, оставить задорную позу, забыть сложнѣйшій вѣкъ и его реальныя, неострашимыя требованія; мы рады хоть нѣсколько минутъ пожить одной жизнью съ природой, смотрѣть, слушать, дышать, не резонерствуя, не умничая, не полемизируя. Такія минуты коротки: того и гляди, откуда-нибудь слышится тревога; но чѣмъ короче подобныя минуты, тѣмъ онѣ дороже. Кромѣ вѣшной природы, у человѣка есть еще другое убѣжище—любовь женщины. Гейне великолѣпно понимаетъ и то, и другое; онъ, ветеранъ мысли, стоявшій на бреші слишкомъ двадцать лѣтъ, оставилъ намъ нѣсколько сотъ мелкихъ стихотвореній, въ которыхъ уловлены самыя разнообразныя и тонкіе оттѣнки человѣческихъ наслажденій; для Гейне жилъ своей жизнью каждый вновь распускавшійся цвѣтокъ; его радовало, какъ проявленіе жизни, щебетаніе каждаго жаворонка, суетливая дѣятельность ласточки, бойкое чириканье воробья. Онъ наслаждался легкими, глазами, ушами; онъ ловилъ своими пятью чувствами все, что въ окружающей насъ природѣ вѣжитъ, ласкается, грѣетъ и освѣжаетъ человѣка; это обиліе наслажденій, не требовавшихъ никакихъ искусственныхъ приготовленій, одинаково доступныхъ богачу и пролетарію, было необходимо для Гейне; надо было много наслаждаться, всею грудью дышать въ себя свѣжія впечатлѣнія, чтобы такъ долго бороться съ ложью жизни и такъ ѣдко и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ обаятельно смѣяться надъ людскими глупостями. Сарказмъ Гейне—не головной сарказмъ; онъ не выдуманъ, не подобранъ; онъ выливается такъ же свободно, такъ же образно, какъ самое свѣжее лирическое стихотвореніе; въ немъ такъ же много души и чувства, какъ въ какомъ-нибудь страстномъ обращеніи поэта-юноши къ цвѣтущей природѣ или къ любимой женщинѣ. Чтобы владѣть такимъ сарказмомъ, надо до послѣдней минуты сохранить полную способность жить и наслаждаться, потому что только въ наслажденіи человѣкъ обновляетъ свои силы. Живучесть нашего поэта, его воспримчивость къ звукамъ природы и къ наслажденію, въ какой бы формѣ оно ни представилось, превышаетъ всякое вѣроятіе. Какъ ни мучили его люди, какъ ни уродовала его болѣзнь, онъ все-таки любилъ жизнь и все-таки находилъ себѣ отраду.

Въ изданіи Штейнмана есть нѣсколько обаятельно свѣжихъ произведеній Гейне, въ которыхъ поэтъ выражаетъ самыя теплыя, любовныя отношенія къ наслажденіямъ жизни. Къ числу такихъ стихотвореній относится, напримеръ, «Первый поцѣлуй подъ солнцемъ».

Воодушевленіе поэта доходитъ до такихъ размѣровъ, что онъ даже отступаетъ отъ своего обык-

новеннаго трезваго міросозерцанія; онъ представляетъ себѣ, что во всемъ мірѣ развита общая жизнь, что вся природа проникнута одной идеей, и что всѣ отдѣльныя лучи свѣта, теплоты и жизни сосредоточиваются въ одномъ фокусѣ. Диаметрально противоположно по проведенному взгляду на вещи слѣдующее короткое стихотвореніе, также помѣщенное въ изданіи Штейнмана:

«Міръ, ты—молодая дѣвушка, міръ, ты—брюккенская вѣдьма, смотря по тому, черезъ какіе очки смотрѣть на тебя: черезъ выпуклые или черезъ вогнутые.

«Но если смотрѣть на тебя астрономически, черезъ телескопъ,—то у тебя не найдется половыхъ частей, и ты окажешься гермафродитомъ».

Насчетъ міросозерцанія Гейне я распространяться не буду. Поговорю лучше объ отношеніяхъ его къ женщинѣ. Гейне смотрѣлъ на женщину, какъ на источникъ величайшихъ наслажденій, но дальше этого взгляда онъ не шелъ; женщина удовлетворяла самымъ утонченнымъ требованіямъ его нервной системы, но она не шевелила его мозговыхъ нервовъ: онъ любилъ въ женщинѣ пластическую красоту, граціозное сочетаніе линий, контуровъ и красокъ, женственную мягкость и кокетливое остроуміе, но не становился съ женщиной въ равноправныя отношенія, не говорилъ съ нею серьезно, не сообщалъ ей задушевныхъ идей и убѣжденій, и самъ рѣшительно не заботился о томъ, какъ она смотритъ на міръ, на жизнь и на человѣка. Онъ шалилъ, игралъ съ женщиной, находилъ, что эти шалости составляютъ лучшее украшеніе жизни, но, кажется, не считалъ возможнымъ стоять съ женщиной подъ однимъ знаменемъ и смотрѣть на нее, какъ на честнаго и стойкаго союзника. Его эротическія стихотворенія всѣ до одного носятъ на себѣ печать этого воззрѣнія; никогда онъ не говоритъ съ женщиной или о женщинѣ безъ какой-то снисходительной улыбки, которая даже въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ не покидаетъ его губъ. Гейне не могъ возвыситься до тѣхъ серьезныхъ и глубокихъ отношеній, въ которыхъ, по собственному своему признанію, Джонъ Стюартъ Милль находился къ своей покойной женѣ. Люди, ратующіе теперь за полноправность женщины, имѣютъ полное право упрекнуть Гейне въ легкости его воззрѣній на женщину; этотъ упрекъ будетъ справедливъ, но жестокъ. Для человѣка, работавшаго и сражавшагося съ рутинной въ теченіе всей своей жизни, для скитальца, изгнаннаго изъ родины, для поэта съ пылкими страстями и съ впечатлительными нервами необходимо было имѣть теплый уголокъ, отогрѣться въ объятіяхъ женщины, отдыхать и обновляться ея страстными ласками. Послѣ труда необходимо былъ полный отдыхъ, а перевоспитываніе любимой женщины—опять-таки дѣятельность,—дѣя-

тельность обаятельная, но все-таки истоощающая силы. Реформировать тѣхъ женщинъ, которыми онъ увлекался, у нашего поэта не доставало силъ; измученный борьбой жизни, онъ входилъ къ любимой женщинѣ единственно для того, чтобы подышать другимъ воздухомъ, чтобы пошутить, подурачиться, приласкаться. Можно ли за это быть въ претензіи на Гейне? Можно ли требовать отъ человѣка, поднимающаго на плечи десять пудовъ, чтобы онъ поднималъ еще пять, да еще чтобы онъ не осмѣливался нигдѣ присѣсть и перевести духъ? Вѣдь это жестоко, вѣдь это значить прямо требовать, чтобы человѣкъ надорвался. А Гейне и безъ того былъ надорванъ жизнью. Страданія взяли свое—и великій поэтъ умеръ отъ мучительной нервной болѣзни, превратившись задолго до своей смерти въ разлагающійся трупъ. Стоить прочесть въ изданіи Штейнмана отдѣлъ стихотвореній «Aus der Matrazengruft» («Изъ постельной могилы»), чтобы составить себѣ понятіе о томъ, что вынесъ этотъ великій страдалецъ.

### III.

#### Побѣда надъ самодурами и страдальческой крестъ. Сатирическая бывальщина *Гермогена Трехзвѣздочкина*.

Когда мнѣ было лѣтъ семь или восемь, когда я учился французскому языку, мнѣ часто приходилось переводить анекдотъ слѣдующаго содержания: «Одинъ драматическій писатель послалъ въ дирекцію театра комедію своего сочиненія. Къ этой комедіи было приложено письмо, въ которомъ авторъ извѣщалъ дирекцію, что онъ написалъ свою комедію въ двѣнадцать дней. Дирекція просмотрѣла комедію и возвратила ее съ помяткою, что автору слѣдуетъ употребить двѣнадцать мѣсяцевъ для того, чтобы исправить свое произведеніе». Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я переводилъ этотъ анекдотъ съ французскаго языка на русскій, и обратно; съ тѣхъ поръ мнѣ пришлось до нѣкоторой степени познакомиться съ міромъ литературныхъ дѣятелей и литературныхъ рабочихъ, и я тутъ припомнилъ давно забытый анекдотъ и вполнѣ убѣдился въ его справедливости. Самолюбіе литератора заносчиво и мелочно, щекотливо и необузданно; это самолюбіе постоянно встрѣчаетъ себѣ заслуженные щелчки и все-таки не унимается.

Плодомъ такого неудержимаго самолюбія явилась книга: «Побѣда надъ самодурами и страдальческой крестъ». Эта книга снабжена введениемъ, изъ котораго мы узнаемъ два любопытные факта о личности автора, скрывшаго свое подлинное имя подъ оригинальнымъ псевдонимомъ Гермогена Трехзвѣздочкина.

Первый фактъ тотъ, что вся книга написана

въ четыре недѣли. «Это была,—говорить авторъ,—импровизація сердца, это были вопли души, убитой полнымъ равнодушіемъ и жестокимъ злорадствомъ нѣкоторыхъ». Второй фактъ тотъ, что авторъ импровизація въ продолженіе тридцати лѣтъ питалъ постоянную дружбу къ Алексѣю Алексѣевичу Одинцову, которому и посвящается вся книга, написанная даже вслѣдствіе его совѣта.—То, что я называлъ введениемъ, представляетъ, собственно говоря, лирическое обращеніе автора къ своему испытанному другу; какъ лирическое обращеніе, оно въ полномъ своемъ составѣ для публики не понятно и не интересно. Мы, публики, имѣемъ право вывести изъ него слѣдующія заключенія: Трехзвѣздочкинъ уже не молодъ и притомъ одержимъ неустойкой охотой писать. Если даже предположить, что онъ подурчился съ Одинцовымъ, когда ему было лѣтъ десять, то теперь автору «сатирической бывальщины» окажется сорокъ, стало быть, пора юношескихъ порывовъ и бѣшенаго вдохновенія прошла безвозвратно и притомъ безслѣдно; Трехзвѣздочкинъ самъ признаетъ себя рекрутомъ въ фалангѣ писателей; но, воля ваша, чтобы въ мѣсяцъ написать цѣлую книгу въ 244 стр., надо обладать значительной бѣглостью пера, такой бѣглостью, которая, сколько мнѣ извѣстно, недоступна самымъ плодовитымъ изъ нашихъ журнальныхъ писателей. Несмотря на эту бѣглость, которая сама по себѣ составляетъ немаловажное достоинство, я осмѣлюсь выразить предположеніе, что Трехзвѣздочкинъ останется скромнымъ рекрутомъ, и что приемъ, который сдѣлаетъ публика его «импровизація», больно растравитъ раны его оскорбленнаго самолюбія. Повѣсть или романъ, который онъ рассказываетъ въ своей книгѣ, представляетъ одну изъ безчисленныхъ варіацій на давно избитую тему. Прожившійся дворяничекъ женится на куческой дочкѣ, чтобы породниться съ богатымъ купцомъ и запустить руку въ его непочтой сундукъ. Въ первой части «сатирической бывальщины» все идетъ самымъ казеннымъ порядкомъ, тутъ есть и гостиница, въ которую промотавшійся герой, Валерьянъ Николаевичъ Шугаровъ, задолжалъ за нѣсколько мѣсяцевъ; тутъ есть и буфетчикъ, дающій тому же герою деньги въ кредитъ, вѣроятно потому, что иначе Валерьяну Николаевичу невозможно будетъ исполнить приказаній своего автора; тутъ подвергается очень кстати пріятель Шугарова съ рекрутской квитанціей, которая даетъ герою возможность познакомиться съ семействомъ богатаго купца Сермяжниковъ; тутъ, ну, однимъ словомъ—тутъ авторъ устраняетъ всѣ прпятствія; Гермогенъ Трехзвѣздочкинъ разсуждаетъ, вѣроятно, такъ: я—авторъ, я выдумалъ этихъ людей, я создалъ это положеніе, ну, стало быть, я воленъ распоряжаться ими, какъ мнѣ угодно; а если какой-нибудь нахальчикъ, по зависти къ моей изобрѣтательности,

вздумаешь доказывать мнѣ, что я вру на дѣйствительность, то я отвѣчу ему, что это не его дѣло, назову его злонамѣреннымъ и злораднымъ клеветникомъ, напишу чувствительное посланіе къ моему старому другу и въ двѣ недѣли выдумаю новую вереницу лицъ и положеній. Для Трехзвѣздочкина не существуетъ затрудненій; ему надо, чтобы его герой познакомился съ купеческой дочкой, — сейчасъ является на выручку рекрутская квитанція; надо, чтобы этотъ герой понравился своей будущей супругѣ, — это достигается двумя-тремя комплиментами; надо сдѣлать подарокъ горничной, — сейчасъ-же оказывается, что у Шугарова подъ руками платье, которое ему поручили передать его сестрѣ. Авторъ «сатирической бивальщины» не задумывается надъ средствами; онъ запутываетъ и распутываетъ интригу, не обращая никакого вниманія на законы логики и правдоподобія; дѣло кончается тѣмъ, что его герой, похожій, какъ блѣдная копія, на Хлестакова или Вихорева, женится на толстой дочери богатаго купца и сверхъ всякаго ожиданія становится образцовымъ мужемъ, хорошимъ хозяиномъ и во всѣхъ отношеніяхъ добродѣтельнымъ человѣкомъ.

Уже изъ одного этого обстоятельства мы можемъ заключить, что авторъ смотритъ на жизнь и на людей почти такъ же наивно и добродушно, какъ покойный Карамзинъ, авторъ «Вѣдвой Лизы» и «Исторіи государства Россійскаго». Оптимизмъ Трехзвѣздочкина вырисовывается еще яснѣе во второй части его произведенія. Тутъ онъ рѣшаетъ такую задачу, передъ которой отступили величайшіе дѣятели нашей литературы: дѣятели эти, къ сожалѣнію, всѣ были болѣе или менѣе пессимистами и никака не умѣли возвыситься до той умилительной наивности воззрѣній, на которую съ перваго раза отважился Трехзвѣздочкинъ. Въ произведеніяхъ нашихъ дѣятелей случалось всегда такъ, что одолѣвали самодуры, и что подъ ихъ тяжелыми стопами задыхалось и вымирало возникавшее движеніе жизни. У Трехзвѣздочкина выходитъ совсѣмъ наоборотъ, и даже вторая часть его бивальщины украшена заманчивымъ заглавіемъ: «Побѣда надъ первымъ самодуромъ». Я, признаюсь, приступилъ съ замѣраніемъ сердца къ чтенію этой второй части. Что, если, думалъ я, содержаніе этихъ 114 страницъ соотвѣтствуетъ заглавію? Что, если дѣйствительно Трехзвѣздочкинъ укажетъ намъ средство радикально излѣчивать людей, одержимыхъ бѣсомъ самодурства: вѣдь это будетъ рай земной, блаженство, а не жизнь. Всѣ наши страданія происходятъ отъ того, что мы сами дуримъ и что дуриятъ окружающіе насъ люди; когда это повсемѣстное преобладаніе глупости будетъ опрокинуто, тогда буквально потекутъ рѣки молока и меда; и все это найти за 2 р. 50 к. въ книгѣ совершенно неизвѣстнаго писателя, — согласишься, что это такое счастье, отъ котораго можетъ

закружиться голова. Человѣкъ всегда расположенъ надѣяться; надежда, кроткая посланница небесъ, даетъ намъ силы переносить дрязги нашей отвратительной жизни, дрязги отъ климата, дрязги отъ денежныхъ дефицитовъ, дрязги отъ глупостей и подлостей человѣческаго рода. Когда на дворѣ смертельный холодъ, мы надѣемся, что будетъ оттепель; когда на улицѣ стоять непроходимыя лужи, мы надѣемся, что ихъ какъ-нибудь разметутъ; когда мы завалены бесплодною работою, мы надѣемся, что авось будетъ когда-нибудь полегче; не только человѣкъ, даже собака, и та надѣется; когда хозяйня начинаетъ ее бить, она визжитъ, а сама все-таки надѣется: ну, думаетъ себѣ, ударитъ, побьетъ, больно побьетъ, а все-же когда-нибудь да перестанетъ; и вѣдь, знаете-ли, собака не ошибается: дѣйствительно, побьетъ и перестанетъ; она полизуетъ руку и на будущее время будетъ надѣяться пуще прежняго. Но я, какъ рецензентъ, оказался гораздо несчастнѣе собаки: я прочиталъ 130 страницъ, нашель, что онѣ наполнены невообразимою чепухой, и думалъ на томъ покончить, но мнѣ бросилось въ глаза заманчивое до нельзя заглавіе второй части, и я понадѣялся: не все же Трехзвѣздочкинъ будетъ говорить вздоръ, — началъ читать, и жестоко разочаровался. Вторая часть вышла не въ примѣръ безобразнѣе первой, а средство побѣждать самодурство оказалось ужаснѣйшимъ пуфомъ, достойнымъ самаго отчаяннаго идеалиста. Дѣло вотъ въ чемъ: Шугаровъ женился на дочери Сермяжникова, и женился, какъ я уже говорилъ, потому что прокутилъ свое наслѣдство, а жить и жуировать желалъ попржему. Съ женой онъ зажилъ какъ нельзя лучше; занялся ея образованіемъ, научилъ ее одѣваться, какъ слѣдуетъ, и даже ввертывать въ разговоръ французскія слова, и даже читать какія то умныя книжки, которыхъ заглавія, впрочемъ, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, не помѣчены въ «сатирической бивальщинѣ». Гуманизируя такимъ образомъ свою жену, Шугаровъ не забылъ и тестя, хотя, конечно, перевоспитать кряжистаго старовѣра-купца, да еще вдобавокъ миллионера, было совсѣмъ не такъ легко, какъ оплодировать молодую женщину, страстно привязанную къ своему развивателю. Педагогическія упражненія свои надъ старымъ самодуромъ Шугаровъ началъ съ слѣдующей, весьма оригинальной продѣлки. У Сермяжникова была рожа, купленная имъ на имя той самой дочери, которая вышла замужъ за Шугарова; М-те Шугарова дала своему мужу довѣренность, а мужъ этотъ, чтобы уплатить свои долги, приобрѣтенные до свадьбы, взялъ да и заложилъ куда то въ частныя руки тягачу рошу. Вы не угадываете, читатель, какую связь эта продѣлка имѣетъ съ гуманизацией стараго купца. О, вы недогадливы, почти такъ же недогадливы, какъ я самъ; я тоже, читая



бывальщину, не понималъ, къ чему клонится дѣло, а на повѣрку вышло, что эта штука не что иное, какъ первый урокъ. Педагоги твердятъ постоянно, что надо учить дѣтей шутѣ и играя, вотъ Шугаровъ и сыгралъ шутку, и успѣхъ превзошелъ всѣ ожиданія читателей и рецензента.

Узнавши о томъ, какимъ манеромъ зять начинаетъ его обтесывать, старый Сермяжниковъ разсвирѣпѣлъ; онъ тоже не понималъ, что все это дѣлается для его же пользы; потребовалъ къ себѣ своего молодчика-зятя, накричалъ, нашумѣлъ, хотѣлъ даже поколотить его, но тутъ Шугаровъ, вспомнивъ святое назначеніе педагога, немедленно вступаетъ въ отправленіе своихъ обязанностей и даетъ самодуру второй урокъ; онъ схватываетъ стулъ и замахивается имъ надъ самой головой тятеньки, а потомъ произноситъ краткое, но крѣпкое слово. Прошу васъ, господа читатели, обратить вниманіе на тотъ фактъ, что Шугаровъ только замахивается, а не разить; онъ, стало-быть, принадлежитъ къ новой школѣ педагоговъ; онъ наказываетъ непослушнаго воспитанника страхомъ палки, а не самой палкой,—разница, какъ видите, огромная; достоинство человѣка спасено, и въ то же время воспитаннику внушенъ спасительный страхъ. Самодуръ утихаетъ, потомъ отправляется къ какой то княгинѣ; та его усовѣщиваетъ окончательно, исторгаетъ изъ его очей слезы раскаянія и умиленія, заставляетъ его навѣки отказаться отъ самодурства и убѣждаетъ его въ необходимости отдѣлить дочери и зятю по крайней мѣрѣ двѣсти тысячъ серебромъ. Самодуръ окончательно растаяваетъ отъ этихъ словъ; кланяется въ ноги матушкѣ-княгинѣ, благодаритъ ее за то, что она его, дурака, наставила на путь истины, и обѣщается свято исполнить ея совѣты. Приѣхавъ домой, Псой Вауэсевичъ мирится съ зятемъ, находитъ себя во всемъ виноватымъ; благодаритъ и его также за ученіе и потомъ отдѣляетъ ему съ женою такой кушъ, на который немедленно покупается имѣніе въ тысячу душъ. Вотъ тебѣ и раз! Изъ этой замысловатой были можно вывести, во-первыхъ, правоученіе, а во-вторыхъ,—практическое заключеніе.

*Правоученіе.* Если ты, о читатель, находишься въ затруднительномъ положеніи, ищи себѣ богатую невѣсту.

Если ты задолжалъ, плати долги деньгами супруги; если у нея нѣтъ денегъ, продавай и закладывай ея вещи; если у нея нѣтъ вещей, стащи что-нибудь у ся тятеньки и, продавъ сташенную вещь, откупись отъ долгового отдѣленія и спаси такимъ манеромъ свою дворянскую честь.

Если тятенька узнаетъ объ участи своей вещи, не робѣй; если онъ станетъ упорять тебя въ посягательствѣ на чужую собственность, воспрянь въ полномъ величіи оскорбленной гордости, смѣлой рукой схвати тяжелый стулъ,

взмахни имъ надъ головой обидчика и опять-таки заговори взволнованнымъ голосомъ о долгѣ и чести дворянина.

Поступая такимъ образомъ, ты, о читатель, поправишь свои разстроеныя обстоятельства, составишь счастье той женщины, которая кинется въ твои объятія душой и тѣломъ, одержишь окончательную побѣду надъ закоренѣлымъ самодурствомъ ея отца и, въ заключеніе, сдѣлаешься обладателемъ великолѣпнаго имѣнія и отличнаго каменнаго дома. Ты сдѣлаешь такимъ образомъ великое добро себѣ и другимъ, исполнишь какъ слѣдуетъ назначеніе человѣка и умрешь въ мирѣ, съ спокойной совѣстью.

*Практическое заключеніе.* Любезный читатель, если васъ одолеваетъ самодуры, то вы распорядитесь съ ними такъ: сначала половчѣе надуйте ихъ, потомъ шарахните ихъ по головѣ какимъ-нибудь тяжелымъ дрекольемъ; повторите оба эта маневра какъ можно чаще, и будьте увѣрены, что вы скоро избавитесь отъ самодуровъ, и что они же сами придутъ васъ благодарить за ваши заботы.

Любезный читатель, согласитесь, что все это ужасно нелѣпо и даже перестаетъ быть смѣшнымъ; я самъ это сознаю и пишу только потому, что я самъ—лицо подначальное: что намъ велить писать, то мы пишемъ; чего не велеть писать, того не пишемъ; бьемся, какъ рыба объ ледъ, пляшемъ, какъ карась на сковородѣ, смѣемся, когда кошки на сердцѣ скребутся... Эхъ, ужъ и не говорилъ бы! Ну, ихъ совсѣмъ! Приведу вамъ лучше препотѣшное мѣсто изъ «сатирической бывальщины», именно самый эпизодъ:

«Итакъ, побѣда надъ однимъ изъ самодуровъ была полная, совершенная: оно пало, это самодурство, и уже болѣе никогда не поднималось. И такимъ образомъ въ одинъ и тотъ же часъ, въ одной и той же комнатѣ, въ одномъ и томъ же лицѣ совершилось и возстаніе, и паденіе (sic!); возсталъ падшій ангелъ, пало возносившееся когда то высоко самодурство. И чудо это совершилось отъ одного только легкаго дуновенія цивилизації... Что же станется съ человѣчествомъ, когда подуетъ полный, попутный вѣтеръ прогресса и накренитъ впередъ всѣми парусами тотъ гигантскій левиаанъ цивилизації, на которомъ человѣчество плыветъ по безпредѣльному океану жизни. Но откуда, но куда, но зачѣмъ?.. И не разгадать того вовѣки уму человѣческому!.. Преклонимся же передъ этой густой завѣсой будущаго: не въ мочь хилой человѣческой рукѣ приподнять эту тяжелую завѣсу; не выдержать его слабому, непривычному зрѣнію сіянія того солнца, которому суждено освѣщать отдаленную будущность нашей расы. Парализь разобьетъ эту дерзкую руку, мгновенная слѣпота поразитъ это слабое зрѣніе, и вѣщій мракъ разольется окрестъ человѣчества, отъ его прежде-

временнаго и богопротивнаго домогательства. Предоставимъ же рукѣ Божественнаго Промысла мало-по-малу приподнимать эту завѣсу, такъ что постепенно окрѣпнѣетъ человѣческое зрѣніе, и люди будутъ въ состояніи беззавѣтно и согрѣваться, и освѣщаться лучами солнца вездѣсущихъ разума, справедливости и человѣколюбія, и уже болѣе не бояться ослѣпнуть отъ лучезарнаго сіянія солнца Безусловной Правды».

Я васъ спрашиваю, господа читатели, возвышался ли самъ Гаврило Романычъ до такого паѳоса созерцанія?—Нѣтъ, не возвышался! Доходиль-ли самъ Кифа Мокіевичъ до такихъ глубокихъ и всеобъемлющихъ выводовъ?—О, нѣтъ, не доходиль!

Я бы никогда не позволилъ себѣ во второй разъ утруждать читателей «Русскаго Слова» отчетомъ о литературныхъ трудахъ Гермогена Трехзвѣздочкина, если бы этотъ господинъ не обвинилъ меня печатно въ пристрастіи, въ несправедливости, во лжи и пр. Всѣ эти обвиненія посыпались на меня за рецензію, помѣщенную мною въ ноябрьской книжкѣ нашего журнала. Чтобы показать моимъ читателямъ, что отзывъ мой о книгѣ Трехзвѣздочкина былъ очень снисходителенъ, я въ этой статьѣ не буду говорить отъ себя почти ни одного слова. Представлю читателямъ букетъ выписокъ, и пусть они сами судятъ книгу и произносятъ надъ нею приговоръ.

Вотъ, напримѣръ, о воспитаніи: «Ну, и наградите его; да только не изюмцемъ и не яблочкомъ... А дайте ему въ соприкасалице, т. е. постегайте его маненько извѣстными и по извѣстной. Это будетъ для него не въ примѣръ «пользительнѣе» вашего изюмца и яблочка, если не въ настоящемъ, то въ будущемъ».

Вотъ остроуміе: «Что-же касается до конторскаго кота Васьки, который имѣлъ чрезвычайно много и ума, и гонору, и ни капли мѣднаго лба, то, услышавъ рѣзкій о себѣ отзывъ Виссаріона I, рѣшился сильно и немедленно протестовать, и для этого собралъ на митингъ въ конторскомъ подвалѣ всѣхъ красноярскихъ котовъ и промяукалъ передъ ними блистательную рѣчь въ защиту своей чести. Вотъ образчикъ этого котовскаго краснорѣчія»:

И затѣмъ слѣдуетъ на десяти страницахъ сцена между кошками.

Вотъ изображеніе сильнаго чувства: «За малѣйшее оскорбленіе моего самолюбія буду мстить здѣсь, до гроба, и даже тамъ, за гробомъ. Если не успѣю выместить на самомъ обидчикѣ, буду мстить его женѣ, сестрѣ, брату, дѣтямъ, внучатамъ, правнучатамъ. А если никого изъ нихъ не окажется, и обидчикъ мой умретъ прежде, нежели я успѣю ему отмстить, тогда я проберусь ночью, какъ тать, на кладбище, самъ своими руками разрою его могилу, достану гробъ,

выну кости моего обидчика и буду надругаться надъ ними, буду топтать, попирать ихъ моими ногами, стану плевать, харкать на нихъ и размечу ихъ на всѣ четыре стороны!»

Вотъ мнѣніе Трехзвѣздочкина о современной литературѣ: «Слышцы!.. имъ нужны авторитеты, а не таланты... Какъ пѣтухи, которые копаются въ навозныхъ кучахъ и отыскиваютъ въ нихъ одни овсяныя или другія зерна, бросая съ презрѣніемъ попавшійся имъ случайно алмазь или жемчужину, они роются въ навозной кучѣ земной жизни и отыскиваютъ въ ней не новыя и свѣжіе таланты, а авторитеты, въ которые вѣрують слѣпо, безконтрольно, мѣряя ихъ на аршинъ мелочныхъ, но непосредственныхъ барышей. И вотъ попалось въ ихъ пѣтушинный клювъ зерно, то есть статейка, такъ себѣ, но за подписью авторитета и порой какого?.. Отысканнаго кѣмъ-то въ закоулкахъ Апраксина или Щукина двора у какого-то бубиниста и вымѣняннаго, какъ библиографическая рѣдкость, но только подозрительнаго достоинства... И вотъ нашъ пѣтухъ, со статьѣй въ клювъ, бѣжитъ со всѣхъ ногъ и карабкается на заборъ. А другіе пѣтухи, его собраты по навозной кучѣ, глядя на него, кричатъ во все пѣтушиное горло: *кукуреку!* Смотрите, смотрите! у нашего собрата въ клювъ геніальная статья, *перлъ созданія*, плодъ глубокой учености и высокаго таланта нашего Апраксинскаго авторитета! *Кукуреку*, *ку-куреку!*.. Ну, а за этими пѣтухами и нѣкоторыя хохлатыя куры вторятъ своимъ мужьямъ и горланяютъ во всю куричью глотку: «кудахъ-тахъ-тахъ, кудахъ-тахъ-тахъ!»

Вотъ дѣяніе того героя, которому вполнѣ сочувствуетъ авторъ: «Громиловъ, весь погруженный въ разговоръ съ купчикомъ и словно пробужденный отъ сна, встрепенулся, поднялъ голову и, сказавъ: «Дерзкая маска!» со всего размаху послалъ ей въ накрахмаленныя юбки и пониже спины сильнѣйшаго шленка, который, какъ пистолетный выстрѣлъ, раздался по всей залѣ».

А вотъ какъ извиняется тотъ же герой въ своемъ эксцентричномъ поступкѣ: «Ахъ, это вы! Извините меня, мадамъ N N! Я полагалъ, что это кухарка моего пріятеля, извѣстная всему городу Каролинхенъ. Я видѣлъ вчера на ней токъ-въ-токъ такой-же костюмъ, какъ и на васъ, который принесли къ ней изъ магазина Семихвостовой и который она при мнѣ примѣривала. Если бы я зналъ, что это не кухарка, а вы, я никогда не позволилъ-бы себѣ того, что я сейчасъ сдѣлалъ».

А вотъ еще поступокъ того же сорта: «Громиловъ не выдержалъ: вырвалъ племянницу изъ рукъ полупьяной мегеры, отдалъ ребенка на руки одной изъ горничныхъ, сбѣжавшихся толпой въ залу на шумъ и на обморокъ барыни. Потомъ повернулъ нѣмку своей могучей рукой къ двери и принялся ее выталкивать. Мегера еще не хо-

тѣла сознать себя побѣжденной, а обернулася, оцарапнула ногтями одну щеку у Громилова и намѣревалася сдѣлать то же и съ другой; а въ заключеніе собралась укусить его за руку. Но это ей не удалось. Владиміръ снова повернулъ ее къ двери и на этотъ разъ такъ сильно придержалъ ее за плечо, что у нея отнята была малѣйшая возможность оборачиванья, царапанья и кусанья. Затѣмъ, раздраженный до нельзя и обморокомъ сестры, и болѣзненнымъ крикомъ ребенка, и не совсемъ пріятнымъ ощущеніемъ царапины на собственной щекѣ, онъ отпустилъ ей по спинѣ нѣсколько полновѣсныхъ ударовъ тоненькой камышевой тросточкой, находившейся у него въ рукѣ. Конецъ концовъ: нѣмка была вытолкана изъ дома, посажена на телегу, куда уже были снесены всѣ ея пожитки, рассчитана до послѣдней копѣйки и отправлена въ Одессу».

Вотъ еще выходка автора противъ литературы и критики, осмѣлившейся осудить оригинальные поступки его героя: «И этого мало: поддѣпять его ошибку разные бумагомаратели, пачкуны и кропатели, эти однодворцы ума и таланта, эти бездарные поденщики мысли, слова и пера, чернорабочіе повременныхъ изданій, панегиристы и кадилщики однихъ авторитетовъ. И примутся они бросать печатною грязью въ честное и свѣтлое имя того, кто виновенъ только въ томъ, что сознался въ одномъ своемъ проступкѣ, тогда какъ у многихъ изъ его хулителей и судей имѣются на совѣсти десятки проступковъ, несравненно предосудительнѣйшихъ, но тщательно ими скрываемыхъ. И попадетъ онъ, мученикъ своей добросовѣстности и правды, въ разные печатные листы и карикатуры, на одну доску съ опозоренными именами. И осудятъ его безъ суда и безъ апелляціи, и убьютъ въ немъ и талантъ, и жажду добра и полезной дѣятельности!...»

Вотъ будущій апофеозъ героя, избивающаго барынь и нѣмокъ: «Проснется тогда нашъ Владиміръ отъ оцѣпенѣнія, т. е. отъ слѣдствій недовѣрія къ своимъ силамъ, неумолимой, беспощадной строгости къ своимъ произведеніямъ и тяжелого, всеподавляющаго воспоминанія о своей колыбели, гдѣ его встрѣтила и повела на жизнь ненависть родной матери... И запоетъ онъ тогда пѣсню громкую, дивную, сладкозвучную, соловьиною, но быть можетъ свою пѣсню

послѣднюю, лебединую; пропоетъ и улетитъ туда, къ источнику свѣта и тепла, премудрости и любви, бросивъ съ грустнымъ сожалѣніемъ о бесплодности своего земного поприща, бросивъ свой умирающій взглядъ на своихъ бывшихъ судей и хулителей и сказавъ имъ:

«Прощайте, друзья и братія! Я былъ между вами—и вы меня не poznали. Оставайтесь-же вѣчными дѣтьми и слѣпцами, оставайтесь со своими позолоченными кумирами, увѣнчанными вами незаслуженными и поддѣльными лаврами. И никогда не перестанете вы поклоняться тѣмъ или другимъ кумирамъ; навѣки останетесь слѣпцами и язычниками... А я полечу къ моему Отцу Небесному, и у подножія Его престола буду пѣть пѣсни сладкія, высокія, которыхъ вы не хотѣли слушать, потому что ихъ не понимали. *Не dorosли до нихъ!*...»

А вотъ наконецъ образецъ реализма, до котораго, конечно, до Трехзвѣздочкина не доходилъ никто: «Подлецъ ты, мой зятюшка, бывший купецъ Софронъ Антроповъ сынъ Тропейниковъ, а нынѣшній мусье Софронье Антропье Тропенье! Подлецъ ты естественный! Подлецъ ты съ головы до пятокъ! Подлецъ ты и съ рожей, и съ кожей, и съ руками, и съ ногами! Подлецъ ты изъ подлецовъ! Подлецъ ты былъ, подлецъ ты есть, подлецъ будешь, подлецомъ издохнешь; и да будешь ты, анаема, проклятъ отнынѣ и вовѣки вѣковъ аминь! Вотъ тебѣ мое родительское благословеніе!—И съ самымъ этимъ словомъ собралъ я, свать, полонъ ротъ слюны, нарочито для того откашлянулся, и харкнулъ я въ его богомерзкую харищу. Увертливъ, окаянный! Прежде, чѣмъ я успѣлъ въ рожницу-то ему харкнуть, повернулся ко мнѣ спиной; ну, и шлепнулось ему о спину мое родительское благословеніе. Такую большущую, знашь, яичницу налѣпилъ на его кургузку, что одного полотенца куда мало, чтобы отереть ее».

Ну, довольно и этого. Судите сами, господа читатели, хороша ли книга Трехзвѣздочкина, который въ статьѣ, направленной противъ меня, съ пѣной у рта требуетъ, чтобы критика относилась мягко къ *начинающимъ дарованіямъ*. Мое убѣжденіе насчетъ «сатирической бывальщины» таково: первая часть плоха и скучна. Вторая часть составляетъ уже просто патологическое явленіе. Трехзвѣздочкину нужна не критика, а медицинская помощь.

# МЕТТЕРНИХЪ.

«Мои мемуары, — говоритъ князь Меттернихъ, — составили бы исторію моего времени; мнѣ не нужно писать ихъ, они уже написаны и лежатъ въ архивахъ». Въ этихъ словахъ, насквозь пропитанныхъ навѣйшимъ самообожаніемъ, много правды. Съ 1809 года Меттернихъ становится главой австрійской дипломатіи, и до 1848 года ни одно общеевропейское событіе не обходится безъ его участія. Въ продолженіе сорока лѣтъ Меттернихъ завязываетъ и распутываетъ дипломатическіе вопросы, съзываетъ конгрессы, обсуживаетъ важнѣйшіе интересы націй и правительствъ, умѣряетъ по-своему воодушевленіе народовъ, постоянно борется противъ требованій духа времени и, наконецъ, падаетъ отъ неудержимаго напора новыхъ идей и стремленій. Характеристика этой многосторонней дѣятельности можетъ подать поводъ къ плодотворнымъ размышленіямъ въ области новѣйшей исторіи и психологіи. Писать біографію Меттерниха значить обсуживать тѣ идеи, которыя онъ проводилъ въ своей дѣятельности, отдѣлять въ этихъ идеяхъ то, что принадлежитъ самому Меттерниху, отъ того, что приписано ему ошибочно, и, объясняя дѣйствія отдѣльной личности вліяніемъ времени и обстоятельствъ, произносить сужденіе надъ цѣлымъ типомъ политическихъ дѣятелей, надъ цѣлымъ направленіемъ, надъ цѣлой системой административныхъ учреждений. Въ полномъ объемѣ разрѣшить такую огромную задачу въ предѣлахъ журнальной статьи — невозможно; поэтому необходимо изъ многолѣтней дѣятельности Меттерниха выбрать болѣе яркіе факты, замѣчательные моменты и, освѣтивъ ихъ какъ слѣдуетъ, показать читателямъ, что за человѣкъ былъ князь Климентъ Венцеславъ Лотарій Непомукъ Меттернихъ, и что такое его знаменитая система, передъ которой многіе благоговѣли, которую многіе осуждали и которой изобрѣтеніе не совсѣмъ основательно приписывали австрійскому государственному канцлеру.

I.

Отецъ австрійскаго министра, графъ Францъ-Георгъ фонъ-Меттернихъ, принадлежалъ къ старинной нѣмецкой аристократіи: предки его владѣли обширными помѣстьями на Рейнѣ и отличались особенной приверженностью къ интересамъ католической церкви; имена многихъ Меттерниховъ встрѣчаются въ нѣмецкихъ лѣтописяхъ, и Лотаръ Меттернихъ въ началѣ XVII столѣтія является даже владѣтельнымъ курфирстомъ Трирскимъ. Впрочемъ, на этой высотѣ родъ Меттерниховъ не удержался, и графъ Францъ-Георгъ въ 1768 году является посланникомъ Трирскаго курфирста при вѣнскомъ дворѣ, а въ 1774 году переходитъ въ австрійскую службу. Состояніе графа по числу помѣстьевъ было блестящее, но онъ жилъ такъ роскошно, что доходовъ не доставало; долги росли ежегодно, и сыну графа, князю Клименту Меттерниху, пришлось удовлетворять старыхъ кредиторовъ своего отца тогда, когда онъ самъ уже находился на высшей степени своего могущества. Разоряя такимъ образомъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей, Францъ Меттернихъ умѣлъ хорошо поставить себя при вѣнскомъ дворѣ и, составивъ себѣ значительныя связи, далъ своему сыну возможность сразу выйти на блестящую дорогу, не трата силъ на черную работу и не засиживаясь въ низшихъ инстанціяхъ. Воспитаніе молодого графа Климента было вѣрено его матери, женщиной умной, серьезно смотрѣвшей на свои обязанности, но, конечно, какъ и слѣдовало ожидать, не свободной отъ кастическихъ предразсудковъ.

Климентъ Меттернихъ родился въ 1773 году, въ концѣ XVIII столѣтія, въ то время, когда выростало поколѣніе первой французской революціи. Идеи, опрокинувшія старый престолъ Бурбоновъ, прокрались въ аристократическій графскій домъ; первымъ наставникомъ Климента былъ эльзасскій уроженецъ Симонъ, горячо со-

чувствовавшей мнѣніямъ и поступкамъ позднѣйшихъ якобинцевъ. Онъ говорилъ ребенку о силѣ и значеніи этихъ мнѣній, носившихся въ воздухѣ эпохи, онъ предсказывалъ ихъ торжество, и ребенокъ запоминалъ эти рѣчи; онъ не сдѣлался революціонеромъ, потому что обстоятельства повели его въ другую сторону; но, отстаивая всѣми силами абсолютизмъ, Меттернихъ считалъ необходимымъ поддерживать его искусственными средствами. Это стремленіе къ поддержанію принципа, за который онъ боролся въ продолженіе 40 лѣтъ, эта постоянная тревожная боязнь революціи происходила въ Меттернихѣ именно оттого, что онъ былъ близко знакомъ съ идеями либераловъ и въ молодости самъ испыталъ на себѣ силу этихъ идей. Пятнадцать лѣтъ отъ роду молодой графъ отправился въ Страсбургъ слушать лекціи въ тамошнемъ университетѣ. Онъ вынесъ оттуда свободное отношеніе къ вопросамъ религіи, усвоилъ способность послѣдовательно мыслить и привыкъ внимательно вглядываться въ окружающіе предметы; онъ развилъ формальную сторону ума, не обогативши его значительнымъ запасомъ фактическихъ свѣдѣній. Онъ учился шутя, не переставая быть диллетантомъ науки и обходя всѣ ея непривлекательныя и на первый взглядъ сухія стороны; оно и понятно: ему было 16 лѣтъ; онъ былъ уменъ и хорошъ собою; у него была возможность жить весело и роскошно; онъ пользовался жизнью и, когда приходила фантазія, обращался къ лекціямъ профессоровъ, какъ къ новому источнику пріятныхъ ощущеній; счастливыя способности давали ему средства воспользоваться всѣмъ, что онъ слышалъ мелькомъ, и легко пополнять тѣ пробѣлы, которые оставляли въ его умѣ эти отрывочныя занятія.—Товарищами его были молодые люди аристократическихъ семействъ и различныхъ національностей; со многими изъ нихъ ему пришлось встрѣтиться на дипломатическомъ поприщѣ; вмѣстѣ съ нимъ учились въ Страсбургѣ Разумовскій, Штапельбергъ, Толстой, Голицынъ, Анштетень, Нарбоннъ и другіе. Между тѣмъ разыгралась французская революція, и заботливая маменька вызвала Климента изъ Страсбурга, гдѣ онъ успѣлъ пробить около двухъ лѣтъ; протекція отца доставила молодому Меттерниху возможность, въ качествѣ церемоніймейстера, присутствовать при коронаціи императора Леопольда II; потомъ молодой человѣкъ еще четыре года слушалъ лекціи въ майнцкомъ университетѣ, потомъ отправился путешествовать, побывалъ въ Англии и, наконецъ, 23 лѣтъ отъ роду, въ 1795 году, женился на княжнѣ Элеонорѣ Кауницъ, внучкѣ покойнаго министра Маріи-Терезіи. Легко и весело жилось счастливому юношѣ; его съ удовольствіемъ принимали въ высшемъ кругу; старый Кауницъ незадолго передъ своей смертью называлъ его «образцовымъ кавалеромъ»; его любили и ласкали вѣнскія красавицы; усы

брака, заключеннаго по расчету, не стѣсняли его эротическихъ наклонностей; словомъ, свѣтскій блескъ и нѣга жизни наполняли всѣ минуты и владѣли, повидимому, всѣми помыслами молодого графа. Между тѣмъ это время не пропало даромъ; Меттернихъ всматривался въ людей и пріобрѣталъ то умѣніе держаться въ обществѣ и обращаться съ разнородными личностями, которое было причиной его позднѣйшихъ дипломатическихъ успѣховъ и главнымъ основаніемъ его карьеры и слѣдовательно исторической извѣстности.

У Меттерниха были всѣ условія, необходимыя въ то время для дипломата: знатное происхожденіе, значительное богатство, красивая наружность, непринужденное обращеніе, чего же больше? онъ могъ вполне успѣшно быть представителемъ своего кабинета при какомъ-нибудь иностранномъ дворѣ, и дѣйствительно въ 1801 году его назначили посланникомъ въ Дрезденъ. Важныхъ дѣлъ у него тамъ не было, тѣмъ болѣе, что политика саксонскаго правительства зависѣла тогда отъ Пруссіи, а въ Берлинѣ австрійскимъ посланникомъ былъ опытный дипломатъ Стадіонъ, указывавшій Меттерниху своимъ примѣромъ, какъ поступать въ томъ или въ другомъ случаѣ. Жизнь въ Дрезденѣ была такъ же весела, какъ въ Вѣнѣ; изъ связей Меттерниха можно отмѣтить связи его съ княгиней В—нъ и герцогиней Саганъ, съ которой онъ поддерживалъ постоянныя сношенія до самаго вѣнскаго конгресса. Въ Дрезденѣ же онъ сблизился съ Фридрихомъ Генцомъ, который впоследствии сдѣлался его помощникомъ и секретаремъ, безусловнымъ исполнителемъ его воли. Въ 1803 году Меттерниха перевели въ Берлинъ; дѣла сдѣлались серьезнѣе; Австрія въ это время нуждалась въ союзникахъ, и Стадіонъ былъ посланъ въ Петербургъ, а Меттерниху поручено было склонять къ войнѣ съ Наполеономъ прусское правительство, чтобы составить такимъ образомъ противъ французской имперіи тройственный союзъ между Австріей, Россіей и Пруссіей. Аустерлицкое сраженіе разстроило весь этотъ планъ, и Меттернихъ, собиравшій грозу противъ Наполеона, въ 1806 году самъ былъ отправленъ посланникомъ въ Парижъ. Положеніе его было очень затруднительно; ладить съ Наполеономъ было мудрено; послѣ побѣды при Аустерлицѣ Наполеонъ не зналъ границъ своему высокоумію, распекалъ представителей иностранныхъ державъ, безъ церемоніи бранилъ при посланникахъ ихъ государей и особенно гнѣвался на австрійскаго императора, котораго онъ громко называлъ «мятежнымъ вассаломъ». Меттерниху надо было поддерживать достоинство своего двора, не раздражая гордаго побѣдителя; тутъ то въ Парижѣ и пригодилось ему его поверхностное образованіе и обращеніе: онъ умѣлъ льстить, не возбуждая къ себѣ презрѣнія, и это замѣчательное искусство

понадобилось ему въ полномъ своемъ объемѣ. Сверхъ того, Меттернихъ и въ Парижѣ пустилъ въ ходъ еще одно искусство: пользоваться любовными связями для политическихъ цѣлей. Онъ завязалъ интригу съ сестрой Наполеона, Каролиной Мюратъ, и черезъ нее узнавалъ намѣренія императора и вкрадывался до извѣстной степени въ его политическія планы. Наполеонъ зналъ о существованіи этой интриги, думалъ даже, что она можетъ быть ему полезна, и, конечно, жестоко ошибался въ своихъ ожиданіяхъ; Меттернихъ не проговаривался, и кромѣ того Каролина дѣйствительно любила его и для него охотно жертвовала интересами своего брата. На какомъ-то придворномъ собраніи Наполеонъ громко сказалъ своей сестрѣ: «Amusez se niais là; nous en avons besoin à présent!» Первая часть этого приказанія исполнялась какъ нельзя лучше, но положительно извѣстно, что интересы французской имперіи оставались въ этомъ случаѣ въ сторонѣ, и французскіе дипломаты того времени находятъ даже, что было бы гораздо лучше, если бы сестра императора вовсе не забавляла австрійскаго посланника. «Ce niais» начиналъ быть нуженъ Наполеону потому, что въ это время, т. е. около 1808 года, война въ Испаніи приняла самые серьезные размѣры; отношенія Франціи къ Пруссіи и Россіи также были ненадежны; ссориться съ Австріей было, стало-быть, опасно, потому что война могла обнять всю Европу а между тѣмъ австрійское правительство усиливало свое войско; всѣ дипломатическія сношенія Наполеона и его министровъ съ австрійскимъ дворомъ не могли остановить этихъ зловѣщихъ приготовленій. 15-го августа 1808 года, въ день своего рожденія, Наполеонъ, накануне возвратившійся изъ Испаніи, принималъ посланниковъ всѣхъ европейскіхъ державъ; онъ былъ раздраженъ неудачами своихъ армій на Пиренейскомъ полуостровѣ и рѣшился запугать Австрію угрозами и страшными взрывами своего диктаторскаго гнѣва. Въ самомъ началѣ аудіенціи онъ нападалъ на неаполитанскую королеву, потомъ, отыскавъ Меттерниха, пошелъ прямо на него, взялъ его за грудь и спросилъ громовымъ голосомъ:

«— Чего хотите вашъ императоръ?»

Меттернихъ не тронулся съ мѣста, не перемигиваясь въ лицѣ и отвѣчалъ спокойно и твердо:

«— Онъ хочетъ, чтобы вы уважали его посланника».

Наполеонъ принялъ руку и остановился на минуту, но раздраженіе его было слишкомъ сильно, и онъ продолжалъ, громко и постепенно разгорячаясь, выговаривать австрійскому правительству неискренность его политики. Меттернихъ слушалъ спокойно, сохраняя почтительное выраженіе лица, не обнаруживая ни волненія, ни робости. Слѣдствіемъ этой геройски выдер-

жанной аудіенціи было то, что молодой дипломатъ значительно повысился въ мнѣніи Наполеона; уже въ то время многіе при парижскомъ дворѣ замѣтили, что Меттернихъ отлично владеетъ собой и во всякую данную минуту располагаетъ своими словами, тономъ голоса и мускулами лица. Маршалъ Ланцъ первый герой наполеоновской арміи, бывший на *ты* съ императоромъ, громко расхохотался однажды послѣ ухода Меттерниха и Таллейрана, имѣвшихъ при немъ довольно оживленный разговоръ съ Наполеономъ.

«— Хорошъ въ вкусъ у Каролины,—сказалъ откровенный маршалъ:—Каково смиреніе! Въ то время, какъ онъ (Меттернихъ) говоритъ съ тобой, я бы могъ дать ему сяди пинка, и ты бы навѣрное не замѣтилъ на его сладкихъ губахъ ни малѣйшаго движенія».

Доходило ли *смиреніе* Меттерниха до такихъ баснословныхъ предѣловъ—не знаю; положительно извѣстно то, что онъ своей непроницаемостью выводилъ изъ терпѣнія пылкаго Наполеона; кончилось тѣмъ, что императоръ, видя, что отъ Меттерниха никогда нельзя добиться истины, махнулъ на него рукой и пересталъ спрашивать его о намѣреніяхъ австрійскаго правительства. Роль Меттерниха была дѣйствительно тяжела и невыгодна; приходилось до послѣдней минуты, до окончательнаго разрыва, хитрить съ Наполеономъ, зная, что никто этими хитростями не обманывается. Война 1809 года прекратила на время дипломатическую игру Меттерниха; но война эта, какъ извѣстно, продолжалась всего четыре мѣсяца, кончилась пораженіемъ австрійцевъ при Ваграмѣ и принудила Австрію исполнить всѣ требованія побѣдителя. Меттерниху поручено было вести переговоры, но никакое умѣніе владѣть собой, никакая диалектика, никакая дипломатическая изворотливость не могла доставить Австріи перевѣса. Сила была на сторонѣ побѣдителя, и ваграмское дѣло было слишкомъ энергическимъ аргументомъ для австрійскихъ уполномоченныхъ. Условія мира были тяжелы, и попытка Австріи отмстить за Аустерлицъ обрушилась на ея же голову. Во всемъ этомъ дѣлѣ всѣхъ больше выигралъ Меттернихъ; дипломатическія дѣянія его были не блестящи; внѣшняя его представительность, какъ мы видѣли, не приносила Австріи существенной пользы; роль его въ Дрезденѣ была ничтожна, въ Берлинѣ—безплодна, въ Парижѣ—положительно вредна; дѣло въ томъ, что Меттернихъ ошибался самъ насчетъ положенія Наполеона; въ своихъ донесеніяхъ и посольскихъ донесеніяхъ онъ представлялъ его болѣе затруднительнымъ, чѣмъ оно было на самомъ дѣлѣ; этими донесеніями онъ поддерживалъ воинственные намѣренія своего правительства; война вышла неудачна; повидимому, часть отвѣтственности должна была пасть на заблуждавшагося посланника; мало того, этотъ самый посланникъ, уполномо-

ченный вести переговоры, не успѣвъ ничего выторговать у побѣдителя, стало-быть, и тутъ оказался если не виноватымъ, то, по крайней мѣрѣ, несчастливымъ.

Начало карьеры было очевидно не блистательно, а между тѣмъ дѣло повернулось такъ, что, тотчасъ по заключеніи мира съ Наполеономъ, Меттернихъ былъ сдѣланъ министромъ иностранныхъ дѣлъ на мѣсто графа Стадіона, стоявшаго въ головѣ военной партіи. Почему такъ случилось—сказать трудно. Одни думаютъ, что назначеніе Меттерниха было сдѣлано въ угоду Наполеону, который, несмотря на парижскія размовки съ бывшимъ посланникомъ, видѣлъ въ немъ больше сочувствія къ себѣ, чѣмъ въ Стадіонѣ; другіе объясняютъ это дѣло гораздо проще—придворными интригами враговъ Стадіона и доброжелателей Меттерниха.

Съ минуты своего назначенія въ министры иностранныхъ дѣлъ графъ Климентъ Меттернихъ весь принадлежитъ исторіи до самой эпохи своего паденія въ 1848 году; его частная нравственность, его личныя добродѣтели и недостатки отходятъ на задній планъ; онъ становится важенъ, какъ дѣятель, какъ проводникъ принципа, какъ поборникъ извѣстнаго направленія.

## II.

Принимая портфель министра, Меттернихъ опирался на партію, противоположную чисто-нѣмецкой, патриотической партіи, желавшей войны съ Наполеономъ и находившейся подъ предводительствомъ Стадіона.—Первыя дѣйствія Меттерниха показали, что онъ находитъ безразсудной и невозможной дальнѣйшую борьбу съ французской имперіей; въ покорности передъ Наполеономъ и въ союзѣ съ нимъ онъ видѣлъ единственныя пути къ спасенію. Какія слѣдствія будетъ имѣть этотъ союзъ—этого нельзя было предвидѣть, да Меттернихъ и не смотрѣлъ въ даль; потребность настоящей минуты обращала на себя все его вниманіе, и онъ шелъ по извѣстному пути, если такъ было выгодно, а потомъ сворачивалъ въ другую сторону, если того требовали обстоятельства. Теперь сила была на сторонѣ Наполеона, сорваться съ нимъ было неудобно, стало-быть, надо было съ нимъ сблизиться, вопреки всѣмъ преданіямъ австрійской политики, вопреки всѣмъ недавнимъ оскорбленіямъ, и даже несмотря на то, что всякій союзъ съ Наполеономъ непремѣнно долженъ былъ принять видъ вассальныхъ отношеній. Средствомъ къ сближенію было, между прочимъ, бракосочетаніе Наполеона съ дочерью императора Франца, эрцгерцогиней Маріей-Луизой. Переговоры объ этомъ бракѣ были завязаны по идеѣ Меттерниха, и самъ Меттернихъ, весной 1810 года, проводилъ въ Парижъ молодую французскую императрицу. Союзъ съ

Франціей состоялся, однако, гораздо позднѣе, передъ самымъ началомъ похода 1812 года; Меттернихъ умѣлъ затянуть переговоры, такъ что Наполеону, торопившемуся разгромить Россію, пришлось купить союзъ съ Австріей цѣной такихъ уступокъ, о которыхъ онъ не думалъ прежде. Какъ только обозначились недружелюбныя отношенія между Россіей и Франціей, такъ Меттернихъ принялъ на себя роль хладнокровнаго зрителя, присутствующаго при горячемъ спорѣ двухъ противниковъ, не сочувствующаго ни тому, ни другому и готоваго склониться на ту или другую сторону, смотря по тому, кто больше дастъ и кто сильнѣе. Такіе люди всегда должны выиграть въ большихъ и въ малыхъ дѣлахъ; они ничѣмъ не рискуютъ; внимательно слѣдя за ходомъ борьбы, они стараются только уловить ту минуту, въ которую одна изъ борющихся сторонъ начинаетъ одолевать, но еще не увѣрена въ своемъ торжествѣ; тогда они присоединяются къ этой торжествующей партіи, ускоряютъ пораженіе противоположной стороны и дѣляютъ добычу, не принимавши участія въ серьезныхъ опасностяхъ борьбы. Это называется по-русски: «въ мутной водѣ рыбу ловить», и эта формула дѣйствительно подходитъ какъ нельзя лучше къ той политикѣ Меттерниха, за которую его произвели чуть не въ гении. Наполеонъ идетъ на Россію; Австрія присоединяетъ къ его арміи вспомогательный корпусъ; начинаются неудачи Наполеона, и австрійскій корпусъ, слѣдуя приказаніямъ своего правительства, начинаетъ дѣйствовать вяло и медленно; наконецъ, Наполеонъ бѣжитъ изъ Россіи, и австрійскій генераль Шварценбергъ, вмѣсто того, чтобы прикрыть его отступленіе, выводитъ свои войска изъ Польши и безъ сопротивленія отдаетъ ее русской арміи. Благодаря этимъ маневрамъ, Австрія къ концу компаніи 1812 года поставила себя въ совершенно нейтральное положеніе и дала понять воюющимъ сторонамъ, что она, смотря по обстоятельствамъ, можетъ повернуть свои пушки противъ французозъ или противъ русскихъ. Въ сношеніяхъ своихъ съ французскими дипломатами Меттернихъ далъ замѣтить, что война слишкомъ тяжела для Австріи, что Австрія желаетъ мира, и что австрійскому правительству было бы пріятно звать требованія Наполеона, чтобы, сообразуясь съ ними, начать за себя и за Францію переговоры съ Россіей и Пруссіей. Между тѣмъ, не дожидаясь положительныхъ отвѣтовъ Наполеона, Меттернихъ послалъ Вессенберга въ Лондонъ, а Лебцелтерна въ русскую главную квартиру, чтобы на всякій случай завязать сношенія съ врагами Франціи.

Союзъ съ Наполеономъ оказался фактически разрушеннымъ, хотя на словахъ Меттернихъ и продолжалъ увѣрять его въ неизмѣнной дружбѣ своего правительства.—Роль посредника между воюющими сторонами постепенно смѣнила со-

бою роль союзника; Наполеонъ давно пересталъ вѣрить искренности Австріи, но онъ былъ поставленъ въ такое положеніе, что не могъ круто повернуть дѣло и поневоля долженъ былъ мириться съ двулчливой политикой Меттерниха, чтобы не превратить ее въ открытую вражду. А между тѣмъ дошло дѣло и до вражды. Являясь примирительницей воюющихъ сторонъ, навязывая Наполеону свое непрошенное посредничество, Австрія стала склоняться на сторону Пруссіи и Россіи и поставила Наполеону такія условія мира, на которыя онъ не могъ согласиться; тогда Наполеонъ попробовалъ заключить отдѣльный миръ съ Россіей; если бы эта попытка была удачна, то Австрія, конечно, потеряла бы всѣ выгоды своего положенія и испытала бы еще разъ слѣдствія наполеоновскаго гнѣва. Меттернихъ предвидѣлъ это и понималъ, что подобнаго соглашенія между Россіей и Франціей допускать ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ; онъ обѣщалъ союзникамъ, что Австрія объявитъ войну Наполеону, если онъ не согласится на предлагаемыя условія и не заключитъ общаго мира. Между воюющими сторонами было заключено перемиріе на шесть недѣль; Меттернихъ поѣхалъ къ союзникамъ въ главную квартиру, потомъ къ Наполеону въ Дрезденъ; заявилъ первымъ готовность Австріи поднять оружіе противъ французовъ и принудилъ второго принять посредничество Австріи и открыть въ Прагѣ конгрессъ, на которомъ должны были опредѣлиться условія мира. Конгрессъ состоялся, но не привелъ къ заключенію мира. Наполеонъ постоянно дѣлалъ уступки слишкомъ поздно и началъ соглашаться тогда, когда конгрессъ былъ уже закрытъ и перемиріе прекращено. Въ полночь 10-го августа 1813 года переговоры были прерваны, и на другой день Австрія приступила къ коалиціи противъ Наполеона. Въ полгода произошелъ такимъ образомъ, безъ шума и скандала, совершенный поворотъ въ положеніи Австріи и въ ея политикѣ; отъ союза съ Наполеономъ она перешла къ открытой враждѣ; неудачи Наполеона не повредили Австріи; союзники слишкомъ дорожили ея содѣйствіемъ, чтобы ставить ей въ вину то обстоятельство, что она такъ недавно стояла на сторонѣ общаго врага; они мирились даже съ тѣмъ, что австрийское правительство, не желая окончательной гибели Наполеона, во многихъ случаяхъ умышленно ослабляло энергію военныхъ дѣйствій.

Вліяніе австрийской политики на дѣйствія союзниковъ выразилось прежде всего въ томъ, что война измѣнила свой колоритъ; интересы народовъ, выдвинутые впередъ въ прокламаціи короля Прусскаго, отошли на задній планъ; Францъ I и Меттернихъ вовсе не хотѣли быть вождями народа, стремящагося къ самоосвобожденію; первый заботился о территориальномъ приращеніи и о личномъ вліяніи на дѣла Европы;

второй хотѣлъ быть первымъ министромъ своего государя, исполнителемъ его воли, ревностнымъ защитникомъ интересовъ своего правительства. Народъ, по мнѣнію того и другого, долженъ былъ играть роль послушнаго орудія. Патриотическое воодушевленіе было, по ихъ мнѣнію, необходимо и могло при случаѣ сдѣлаться вреднымъ и опаснымъ. Превратить войну противъ Наполеона въ дѣло народа—значило дать этому народу возможность почувствовать свою силу, значило внушить ему ошибочную идею о томъ, что инициатива принадлежитъ ему, и что правительство нуждается въ его сочувствіи. Эта ошибочная идея могла повести къ дѣлому ряду заблужденій, и отъ этихъ то заблужденій Францъ I и Меттернихъ старались предохранить Австрію.

Вмѣстѣ съ стремленіемъ къ освобожденію въ Германіи проснулась идея о національномъ единствѣ. Эта идея также была не по вкусу австрийскому правительству. Составленная изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ, нѣмецкихъ, славянскихъ, мадьярскихъ, Австрія не могла сочувствовать никакимъ національнымъ стремленіямъ, потому что во всякомъ случаѣ эти стремленія должны были разорвать ее на составныя части и прекратить ея существованіе. Если бы идея германскаго единства осуществилась, то въ положеніи Австріи произошло бы во всякомъ случаѣ значительное измѣненіе. Императору Францу пришлось бы отказаться или отъ нѣмецкихъ, или отъ славянскихъ и мадьярскихъ владѣній; ему было бы необходимо или сдѣлаться императоромъ германскимъ, или, отказавшись отъ германской имперіи, остаться владѣтелемъ восточныхъ своихъ земель и уступить нѣмецкому правительству своихъ нѣмцевъ. Сдѣлаться германскимъ императоромъ было, конечно, лестно; но кто жъ могъ сказать навѣрное, что освободившаяся Германія пожелаетъ имѣть императоромъ именно Франца, а не кого-нибудь другого, напримѣръ, не короля прусскаго? Если бы случилось такъ, то австрийскій императоръ оказался бы въ чистомъ убыткѣ; ему пришлось бы пожертвовать значительной частью своихъ владѣній и кромѣ того допустить образованіе новаго, сильнаго и притомъ сопредѣльнаго государства. Ни Францъ I, ни Меттернихъ не могли слѣдовательно сочувствовать идеѣ соединенія Германіи; ни тотъ, ни другой не любили рискованныхъ мѣръ и значительныхъ переворотовъ; оба рѣшились по возможности поддержать существующее положеніе дѣлъ, образовать германскій союзъ и, пользуясь обстоятельствами, примѣжевать къ наследственнымъ австрийскимъ владѣніямъ тѣ клочки земли, которые можно будетъ выторговать на конгрессахъ.

Первымъ дѣйствіемъ этой политики была тайная статья теплицкаго договора между союзниками, въ которой говорилось, что Рейнскій Союзъ,



основанный Наполеономъ, будетъ разрушенъ и что отдѣльными германскимъ государямъ, которыхъ владѣнія входили въ его составъ, будетъ предоставлена полная и безусловная независимость. Далѣе, привлекая Баварію къ коалиціи противъ Наполеона, Меттернихъ тайной статьей договора обѣщаль королю баварскому полную самостоятельность; точно такъ же поступилъ онъ въ отношеніи къ другимъ членамъ Рейнскаго Союза, такъ что его идеи нашли себѣ полное сочувствіе во всѣхъ второстепенныхъ государяхъ Германіи; приверженцамъ германскаго единства пришлось поневолѣ покориться, потому что въ противномъ случаѣ они могли возбудить въ союзномъ лагерѣ раздоры, которыми воспользовался бы Наполеонъ. Безъ шума, совѣщаясь съ каждымъ правительствомъ отдѣльно, Меттернихъ наберевалъ такъ много приверженцевъ своихъ идей, что германское единство оказалось невозможнымъ, и что его невозможность начали сознавать еще въ то время, когда война съ Наполеономъ была въ полномъ разгарѣ.

Въ отношеніи къ Наполеону Меттернихъ держалъ себя болѣе чѣмъ умѣренно; личное сочувствіе къ императору французовъ и отвращеніе къ крутымъ переворотамъ не позволяли ему желать низверженія Наполеона; ему казалось совершенно достаточнымъ отбѣснить Францію въ ея естественныя границы, т. е. за Рейнъ; уже во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, послѣ рѣшительнаго пораженія Наполеона при Лейпцигѣ, Меттернихъ заговорилъ о мирѣ, и если миръ не состоялся, то въ этомъ виновато только безразсудное упорство Наполеона, который, разгорячившись, какъ азартный игрокъ, ставилъ на послѣднюю карту судьбу своей династіи и не умѣлъ забастовать во-время. Крестовый походъ освободившихся національностей на Парижъ возбуждалъ въ Меттернихѣ самое непріязненное чувство; онъ видѣлъ въ этомъ походѣ неминуемое усиленіе Россіи, которой онъ начиналъ бояться чуть ли не сильнѣе, чѣмъ Наполеона; кромѣ того ему было совершенно непонятно яростное воодушевленіе пруссаковъ, и онъ нисколько не хотѣлъ придавать войнѣ противъ Наполеона того торжественнаго, священнаго и популярнаго характера, который сообщали ей прокламаціи Александра и Фридриха-Вильгельма. Сносясь постоянно съ княземъ Шварценбергомъ, главнокомандующимъ союзныхъ армій, переписываясь съ дипломатами Наполеона, Меттернихъ старался по возможности затян timer военныя дѣйствія, отсрочить рѣшительный ударъ, чтобы дать Наполеону время одуматься и согласиться на благоразумныя условія мира. Благодаря его маневрамъ, корпусъ Блюхера былъ почти уничтоженъ; по его стараніямъ открылся въ началѣ 1814 года конгрессъ въ Шатильонѣ, который, какъ извѣстно, не имѣлъ никакихъ рѣшительныхъ послѣдствій. Наполеонъ хитрилъ съ союзниками, торговался,

чтобы выиграть время, старался рассорить Австрію съ Пруссіей и Россіей и между тѣмъ собиралъ послѣднія усилія, чтобы продолжать войну; союзникамъ надоѣли всѣ эти продѣлки; партія войны восторжествовала окончательно; Меттернихъ принужденъ былъ замолчать, и военныя дѣйствія кончились только взятіемъ Парижа и отреченіемъ Наполеона.

Политика Меттерниха, или, вѣрнѣе, его личный характеръ, какъ мы видѣли, обозначился въ его отношеніяхъ къ Наполеону.—Не плыть противъ теченія, не прать противъ рожна, выжидать удобную минуту, не давать хода чувствамъ и страстямъ націй, смотрѣть на политическія событія глазами придворнаго, жить со дня на день и принимать тѣ мѣры, которыхъ требуетъ данная минута, хотя бы въ слѣдующую минуту пришлось прямо противорѣчить себѣ, не управлять обстоятельствами, а подчиняться имъ— вотъ формула той политики, которая въ продолженіе сорока лѣтъ господствовала на материкѣ Европы, и которой оракуломъ былъ князь Меттернихъ \*). Эта политика была естественнымъ слѣдствіемъ личнаго характера австрійскаго министра. Мягкій и гибкій по природѣ, воспитанный въ идеяхъ политическаго скептицизма, пріученный съ молодыхъ лѣтъ къ ароматичѣской атмосферѣ блестящихъ дворцовъ и аристократическихъ салоновъ, Меттернихъ не могъ выработать себѣ общихъ началъ, крѣпкихъ убѣжденій и горячихъ политическихъ вѣрованій. Какъ исполнительный чиновникъ, онъ съ полнымъ усердіемъ повиновался импульсу, сообщаемому сверху, и, какъ чиновникъ, онъ не понималъ тѣхъ живыхъ силъ и живыхъ личностей, на которыя падали его распоряженія. Я приступаю теперь къ описанію роли Меттерниха на вѣнскомъ конгрессѣ, послѣ котораго начинается уже общевропейское значеніе его личности и политики.

### III.

Вѣнскому конгрессу нужно было, во-первыхъ, разобрать и привести въ ясность границы европейскихъ государствъ, перенутанныя войнами и самовластіемъ Наполеона; во-вторыхъ, необходимо было обновить бытовыя формы, опрокинутыя движеніемъ французской революціи. Меттернихъ считалъ первое дѣло гораздо болѣе важнымъ и интереснымъ; онъ говорилъ, что вопросъ о внутреннемъ устройствѣ Германіи разрѣшится самъ собою, какъ только будутъ приведены къ концу «важныя совѣщанія о вѣнскихъ дѣлахъ и территоріальныхъ отношеніяхъ».

Въ этомъ равнодушіи, въ этой легкости взрѣвній видно, какъ нельзя яснѣе, недостаточ-

\* Княжеское достоинство было дано Меттерниху послѣ сраженія при Лейпцигѣ.

ное знакомство съ дѣломъ. Меттернихъ еще не приходилъ въ соприкосновеніе съ законодательными и административными вопросами, не понималъ и не хотѣлъ понимать требованій народной жизни и потому относился къ этимъ интересамъ съ небрежностью. Главное дѣло, по его мнѣнію, подѣлить на вѣнскомъ конгрессѣ 32.000,000 душъ, жившихъ въ тѣхъ земляхъ, которыя были вырваны у Наполеона и его союзниковъ; подѣлить ихъ надо было такъ, чтобы Австріи досталось какъ можно больше, а другимъ великимъ державамъ, которыхъ усиленіе могло быть опаснымъ для Австріи, какъ можно меньше. Всего непріятнѣе было для Меттерниха территориальное увеличеніе Россіи и Пруссіи, и потому всѣ его усилія на конгрессѣ были направлены на то, чтобы не дать первой Польши, а второй—Саксоніи. Чтобы разстроить намѣренія этихъ двухъ державъ, онъ пустилъ въ ходъ самыя разнообразныя средства, не отличающіяся ни строгимъ нравственнымъ достоинствомъ, ни даже приличіемъ внѣшней формы. Желая поссорить русское правительство съ прусскимъ, онъ написалъ прускому министру Гарденбергу ноту, въ которой приглашалъ его заодно съ Австріей сопротивляться притязаніямъ Россіи и за это обѣщавъ со стороны Австріи полную поддержку всѣмъ требованіямъ Пруссіи. Гарденбергъ, человѣкъ слабый и впечатлительный, отвѣчалъ на эту ноту и въ своемъ отвѣтѣ выразился очень недоброжелательно насчетъ притязаній русскаго кабинета. Меттернихъ вздумалъ эту бумагу употребить, какъ орудіе, противъ Гарденберга; онъ пошелъ къ императору Александру и показалъ ему, какъ о немъ отзывался его союзникъ. Продѣлка эта, однако, не удалась. Императору Александру она показалась въ высшей степени грязной, и онъ объявилъ Францу I, что не хочетъ имѣть дѣла съ министромъ, подобнымъ Меттерниху. Когда Меттерниху не удалось поссорить Пруссію съ Россіей интригами, онъ рѣшился противодѣйствовать ихъ требованіямъ другими окольными путями. При содѣйствіи знаменитаго Талейрана, готового участвовать во всякой интригѣ изъ любви къ искусству, былъ заключенъ тайный союзъ между Австріей, Англіей и Франціей противъ Пруссіи и Россіи; до войны не дошло дѣло только потому, что обѣ спорящія стороны были утомлены и послѣ продолжительныхъ переговоровъ начали мириться на взаимныхъ уступкахъ.

Конгрессъ тянулся уже болѣе четырехъ мѣсяцевъ, какъ вдругъ пришло извѣстіе, что Наполеонъ скрылся съ острова Эльбы; вслѣдъ за тѣмъ узнали о его высадкѣ на берега Франціи и о бѣгствѣ Людовика XVIII изъ Парижа; тутъ уже, передъ общей опасностью, некогда было разбирать частные вопросы и помнить мелкія непріятности, испытанныя на конгрессѣ. Александръ помирился съ Меттернихомъ, несмотря на то, что

Наполеонъ прислалъ ему подлинный актъ тайнаго союза, найденный имъ въ Тюльерійскомъ дворцѣ на столѣ Людовика XVIII. Работы вѣнскаго конгресса, тянувшіяся медленно и бесплодно, пошли живѣе; вопросъ объ устройствѣ Германіи былъ выдвинутъ впередъ, и Меттернихъ сталъ употреблять всѣ усилія, чтобы сдѣлать это устройство по возможности сложнымъ и неповоротливымъ, а связь между отдѣльными частями—по возможности слабой и неопредѣленной. Онъ остался вѣренъ роли австрійскаго министра и считалъ самое слово «Германія» простымъ географическимъ терминомъ. Предложенный имъ проектъ дѣлить всю Германію на семь округовъ; по два округа приходится на Австрію и на Пруссію и по одному на Баварію, Ганноверъ и Виртембергъ. Австрійскій императоръ и король прусскій, баварскій, ганноверскій и виртембергскій должны составить совѣтъ, въ которомъ первымъ двумъ членамъ, какъ представителямъ двухъ округовъ, принадлежать по два голоса, а остальнымъ тремъ членамъ—по одному; этотъ совѣтъ долженъ завѣдывать иностранными дѣлами и рѣшать вопросы о войнѣ и мирѣ. Рядомъ съ этимъ совѣтомъ долженъ существовать другой совѣтъ съ законодательной властью, составленный изъ мелкихъ владѣтелей, изъ представителей вольныхъ городовъ и изъ членовъ перваго собранія. При такомъ устройствѣ Германіи, Австрія и Пруссія, рѣшившись дѣйствовать согласно, могли бы вести за собой весь союзъ и распоряжаться войсками мелкихъ владѣтелей, какъ своими собственными. Изъ семи голосовъ четыре принадлежали Австріи и Пруссіи, стало быть, большинство было всегда на сторонѣ ихъ мнѣнія; мелкіе владѣтели испугались за свою самостоятельность, и проектъ Меттерниха встрѣтилъ себѣ непреодолимую оппозицію. Дѣло осталось нерѣшеннымъ. Когда за него снова принялись въ 1815 г., въ концѣ мая, его окончили въ одиннадцать успѣшныхъ засѣданій, и Германія получила свою теперешнюю физіономію. Усилія Меттерниха увѣнчались успѣхомъ; у Германіи отнято единство, отнята возможность энергическаго, дружнаго дѣйствія; ея политическое значеніе ничтожно, потому что раздробленность ея доходитъ до крайнихъ предѣловъ; она представляетъ собой не федеративное государство, а союзъ изъ отдѣльныхъ, замкнутыхъ въ самихъ себѣ государствъ, безъ общаго правительства, безъ инициативы.

Всѣ благомыслящіе нѣмцы стремятся, какъ извѣстно, къ тому, чтобы отдѣлаться отъ подарка Меттерниха, но, какъ кажется, лишь комъ сорокалѣтняя давность имѣть свое значеніе, и энергія націи надломлена тѣмъ неестественнымъ положеніемъ, въ которое ее поставили дипломаты вѣнскаго конгресса. Зато самому Меттерниху вѣнскій конгрессъ принесъ чрезвычайно много пользы. Благодаря посредственности прочихъ

дѣятелей знаменитаго конгресса, австрійскій министръ сталъ во главѣ европейской дипломатіи, и притомъ въ такую рѣшительную минуту, которая навсегда должна была остаться въ памяти современниковъ и потомства. Передъ мудростью князя Меттерниха стали благоговѣть даже многіе изъ тѣхъ людей, которые не могли уважать его, какъ человѣка; на него посыпались знаки отличія, титулы, денежные награжденія, пенсіоны и подарки землями и помѣстьями. Семейныя дѣла Меттерниховъ значительно поправились, и огромные долги отца и сына стали погашаться. Князю Меттерниху досталась доля изъ той контрибуціи, которую Австрія взыскала съ Франціи; неаполитанскій король, возстановленный послѣ изгнанія Мюрата, при содѣйствіи Меттерниха, пожаловалъ ему титулъ герцога Портелла, съ которымъ былъ связанъ ежегодный доходъ въ 60,000 франковъ; союзники подарили Меттерниху землю бывшаго бенедиктинскаго монастыря Іоганнисберга въ рейскомъ округѣ; императоръ Александръ, возвращаясь въ Россію, просилъ Меттерниха поддерживать съ нимъ дружескую неполитическую переписку и опредѣлилъ ему на издержки 50,000 червонцевъ ежегоднаго пенсіона.

Всѣ эти факты должны были служить для австрійскаго министра неопровержимыми доказательствами несомнѣннаго превосходства его личныхъ дарованій и политическихъ убѣжденій. Тонъ его послѣ вѣнскаго конгресса значительно измѣняется; онъ становится опекуномъ континентальной Европы, блюстителемъ народной нравственности и менторомъ владѣтельныхъ особъ. Онъ начинаетъ говорить всѣмъ и каждому о своей системѣ, онъ угадываетъ будущее и своей предусмотрительностью предотвращаетъ такіа бѣдствія, которыхъ никто кромѣ него не видитъ. Словомъ, овладѣвши довѣренностью императора Франца I, ловкій придворный чиновникъ дѣлается всемогущимъ министромъ, законодателемъ и администраторомъ Австріи; какъ это часто случается съ людьми, внезапно или по крайней мѣрѣ очень быстро дошедшими до «степеней извѣстныхъ», онъ начинаетъ приписывать своимъ собственнымъ заслугамъ то, что относится къ случайностямъ; вслѣдствіе этого является слѣпая вѣра въ самого себя, безпричинная самонадѣянность и непреодолимое стремленіе рисовать передъ собою и передъ другими. Это случилось даже съ геніальнымъ человѣкомъ, съ Наполеономъ I, то-же самое въ меньшихъ размѣрахъ случилось и съ ловкимъ придворнымъ чиновникомъ Меттернихомъ. Не имѣя никакого понятія о социальной наукѣ, не зная характера тѣхъ народовъ, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло, не справляясь даже съ статистическими данными, не имѣя даже общаго гуманно-философскаго развитія, князь Меттернихъ вообразилъ себя государственнымъ человѣкомъ, и,

что всего удивительнѣе, Европа повѣрила ему на-слово, продолжала вѣрить въ теченіе сорока лѣтъ и подъ рубрикой государственнаго чловѣка зачислила его имя въ свои историческіе архивы. Съ высоты своего чиновнскаго величія *soi-disant* государственный чловѣкъ сталъ предписывать законы чловѣческой природѣ и чловѣческому разуму. «Германія,—говорить онъ,—географическій терминъ; Італія—географическій терминъ; требованія народовъ—якобинскія бредни».

Согласитесь, любезный читатель, что при помощи шести-семи готовыхъ названій, подобныхъ вышеприведеннымъ, нетрудно будетъ управлять половиной всеенной и распутывать или, вѣрнѣе, разрубать самыя сложныя вопросы общественной и экономической жизни. Для этого нужно только имѣть въ рукахъ мечъ Александра Македонскаго, и тогда васъ не остановитъ никакой Гордіевъ узелъ. Впрочемъ, нужно еще одно драгоценное свойство: способность рубить направо и налево, закуривая глаза и не обращая вниманія на стоны и крики. Этою способностью обладалъ до извѣстной степени австрійскій министръ; не то, чтобы онъ былъ особенно жестокъ, этого объ немъ нельзя сказать; онъ былъ только мало чувствителенъ, и потому былъ въ состояніи подписать безъ особеннаго волненія какой-нибудь суровый приговоръ или разорить цѣлую область налогами, или убить лучшія проявленія чловѣческой мысли, хотя въ то же время онъ ненавидѣлъ всякое кровопролитіе, всякое грубое насиліе и даже всякую рѣзкую мѣру. Въ немъ не было любви къ чловѣку и не было уваженія къ чловѣческому достоинству; поэтому всѣ его распоряженія клонятся къ тому, чтобы безопасно эксплуатировать живыя силы народа, не становясь къ этому народу ни въ какія задушевныя отношенія и нисколько не сочувствуя его развитію.

#### IV.

Какъ ни ссорились, какъ ни интриговали дипломаты вѣнскаго конгресса, а наконецъ генеральное размежеваніе Европы совершилось полюбовно; за Австріей была упрочена значительная часть сѣверной Італіи, именно все Ломбардо-Венеціанское королевство; кромѣ того австрійскій императорскій домъ находился въ родственныхъ связяхъ съ владѣтелями Тосканы, Модены и Пармы и вслѣдствіе этого могъ имѣть сильное вліяніе на внѣшнюю и внутреннюю политику этихъ второстепенныхъ государствъ. Такимъ образомъ, можно было сказать заранѣе, что Австрія будетъ добиваться и дѣйствительно добьется преобладанія въ Італіи. Какъ только Бурбонская династія была возстановлена въ Неаполѣ, Меттернихъ заключилъ съ неаполитанскимъ

королемъ тайный союзный договоръ и обязалъ его не давать Неаполю такихъ законовъ, которые въ какомъ бы то ни было отношеніи будутъ отличатся отъ австрійскихъ законовъ, господствующихъ въ Ломбардо-Венеціанскомъ королевствѣ. Въ то же время былъ заключенъ наступательный и оборонительный союзъ съ великимъ герцогомъ тосканскимъ, съ цѣлью обоюдной защиты; для поддержанія въ Италіи спокойствія и порядка; точно такъ же поступилъ Меттернихъ въ отношеніи къ Моденѣ. Но Піемонтъ на подобный союзъ не согласился; папа также пожелалъ сохранять свою самостоятельность; планъ Меттерниха, старавшагося отгородить австрійскія владѣнія въ Италіи отъ всякаго доступа зловредныхъ якобинскихъ идей, разстроился, потому что ближайшій сосѣдь Ломбардіи, сардинскій король, не захотѣлъ подчиниться австрійскому уставу. Если бы вся Италія управлялась по одной нормѣ, тогда жителямъ Ломбардіи не представлялось бы искушенія; на это рассчитывалъ Меттернихъ; когда этотъ расчетъ лопнулъ, тогда онъ счелъ нужнымъ отрѣзать австрійскихъ подданныхъ отъ остальной Италіи и заставить ихъ за быть, что они—итальянцы. Меттернихъ самъ сказалъ маркизу Ст.-Марцано: «Императоръ, желая подавить духъ итальянскаго единства, не принялъ и не приметъ титула итальянскаго короля; поэтому онъ распустилъ итальянское войско и уничтожилъ всѣ тѣ учрежденія, которыя могутъ подготовить образованіе большого національнаго королевства. Онъ хочетъ убить духъ итальянскаго якобинства и обезпечить такимъ образомъ спокойствіе Италіи».

Соблюдая такую дипломатическую осторожность въ совѣщаніяхъ съ итальянскими патріотами, обращаясь такъ бережно на словахъ съ ихъ національнымъ чувствомъ, Меттернихъ такъ же деликатно обращался на дѣлѣ съ лучшими вѣрованіями и стремленіями австрійскихъ итальянцевъ; онъ ввелъ ненавистную для нихъ конскрипцію, навязалъ имъ непривычныя для нихъ австрійскія законы, австрійское судопроизводство, австрійскую методу воспитанія. Въ короткое время эти мудрыя и своевременныя распоряженія сдѣлали то, что итальянцы, поступившіе подъ управленіе Австріи безъ особеннаго отвращенія, возненавидѣли ея господство той пламенною ненавистью, которая свойственна южнымъ народамъ романскаго племени. Интригамъ и насилію правительства народъ сталъ противопоставлять заговоры, тайныя общества и возмущенія; правительство еще туже стало стягивать оковы; Меттернихъ опуталъ всю страну сѣтью полицейскихъ сыщиковъ и шпіоновъ; глухое раздраженіе итальянцевъ сдѣлалось еще болѣе серьезнымъ и замкнутымъ. Правительство и народъ не довѣряли другъ другу; боялись другъ друга, и это взаимное недовѣріе, вызывая съ одной стороны новыя полицейскія мѣры, съ другой—но-

выя попытки къ возстанію, должно было увеличиваться съ каждымъ годомъ.

Рѣшившись идти по этому направленію, Меттернихъ уже не могъ ни остановиться, ни повернуть назадъ. Сдѣлать то или другое—значило поставить на карту Ломбардо-Венеціанское королевство, а рисковать имъ не желали ни Францъ I, ни его исполнительный чиновникъ Меттернихъ. Стремленія Меттерниха происходили въ этомъ случаѣ исключительно отъ его незнанія; онъ думалъ, что можно перевоспитать народъ въ два-три года, что можно приучить его къ какимъ угодно учрежденіямъ, что стоитъ только подписать тотъ или другой законъ, и что онъ сейчасъ же получитъ полную силу и произведетъ желанное дѣйствіе. Въ дипломатическихъ сношеніяхъ оно пожалуй что и такъ; если трактатъ подписанъ, значитъ, представитель государства согласенъ,—и дѣло съ концомъ; остается только привести въ исполненіе, отмежевать уступленную землю, взыскать условленную контрибуцію, срыть означенное укрѣпленіе, и т. п. Привыкши къ такого рода дѣятельности, Меттернихъ вздумалъ съ живыми народными интересами обращаться такъ же безцеремонно, какъ онъ обращался съ интересами различныхъ правительствъ. Такая безцеремонность сначала озадачила націю, а потомъ привела ее въ негодованіе. Распоряженія Меттерниха привели къ результату, діаметрально противоположному той цѣли, которую онъ себѣ поставилъ. Онъ хотѣлъ германизировать Италію и вмѣсто того итализировалъ ее, потому что чужеземный гнетъ пробудилъ въ народѣ чувство національной гордости и стремленіе къ политической самостоятельности. Онъ боялся революціи и всѣми силами старался отклонить или, по крайней мѣрѣ, отсрочить ее, и въ то же время своими распоряженіями заготовилъ горячаго матеріала на цѣлые десятки революцій и вулканизировалъ всю почву новоприобрѣтенныхъ австрійскихъ владѣній. «Система налоговъ и полиція,—говоритъ Монтанелли,—составляли всю административную науку австрійскаго правительства».

Экономическое положеніе Ломбардіи было такъ же тяжело, какъ общественное и нравственное; налоги были почти вдвое больше, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ имперіи; цѣпь австрійскихъ таможенъ не пропускала въ Ломбардію англійскихъ и французскихъ продуктовъ и принуждала жителей пробавляться произведеніями нѣмецкихъ фабрикъ, не отличавшимися ни дешевизной, ни хорошимъ достоинствомъ. Эти таможи точно такъ же затрудняли вывозъ ломбардскихъ произведеній въ Піемонтъ, въ Швейцарію, во Францію, въ Англію. Устройство банковъ, экономическихъ обществъ, промышленныхъ ассоціацій встрѣчало со стороны австрійскаго правительства непреодолимое сопротивленіе. Въ полицейскомъ отношеніи Ломбардія была отгорожена отъ образова-

наго міра такою то китайскою стѣной, только отнюдь не фарфоровой. Въѣздъ въ Ломбардію и выѣздъ изъ нея затруднялся безчисленными формальностями; случалось часто, что человѣку, просившему паспортъ въ Лондонъ или въ Парижъ, предлагали паспортъ въ Вѣну. Понятно, что при такомъ порядкѣ вещей ни одно сословіе не могло быть довольно. Дворянство было оскорблено невниманіемъ вѣнскаго двора; духовенство было озлоблено индифферентизмомъ Меттерниха въ дѣлахъ церкви; простой народъ былъ приведенъ въ отчаяніе налогами и наборами; купцы жаловались на уродливыя таможенныя распоряженія; литераторы были выведены изъ терпѣнія гнетомъ цензуры; наконецъ, вся нація въ одинаковой степени страдала отъ произвола въ судахъ, отъ неспособности администраторовъ, отъ всемогущества полиціи и отъ нахальства военнаго сословія.

Нашъ дипломатъ оказывается такимъ образомъ великимъ человѣкомъ на малыхъ дѣлахъ; онъ умѣетъ подолжаться къ отдѣльнымъ личностямъ, но не умѣетъ пріобрѣтать довѣріе и любовь цѣлаго народа; онъ самъ говоритъ даже, что и не ищетъ популярности; эти слова показываютъ всю его недалекость; онъ не понимаетъ того, что постоянно держать націю въ повиновеніи силой полиціи и войска—невозможно и кромѣ того невыгодно, потому что деньги, употребляемыя для содержанія лишняго войска, тратятся даромъ и не приносятъ ни пользы странѣ, ни удовольствія правительству. Впрочемъ, нужно ли еще опровергать политику Меттерниха? Она уже осуждена исторіей, ея несостоятельность обнаружилъ итальянскія событія послѣднихъ годовъ.

#### V.

Политика Меттерниха въ Германіи нисколько не отличается отъ его политики въ Италіи; та же боязнь національных стремленій, та же ненависть ко всякому усовершенствованію существующихъ учреждений, та же обширная система шпіонства. Чувствуя полнѣйшее отвращеніе къ яркимъ и крупнымъ мѣбрамъ, Меттернихъ не рѣшился идти напроломъ противъ тѣхъ идей и тенденцій, которыя возбудила въ нѣмецкомъ народѣ война за освобожденіе Германіи. Дѣйствуя окольными путями противъ германскаго единства, онъ точно такъ же хитро и осторожно повелъ интриги противъ конституціонныхъ идей, пользовавшихся сочувствіемъ націи и начинавшихъ укореняться въ умахъ владѣтельныхъ особъ и министровъ. Надъ проектомъ прусской конституціи работали въ то время Гарденбергъ и Вильгельмъ Гумбольдтъ, о конституціи говорили и писали въ Баваріи и Виртембергѣ, и всѣ эти толки, собранія, произносимыя рѣчи чрезвычайно не нравились Меттерниху; во-первыхъ, они

нарушали то спокойствіе, которое онъ считалъ высшимъ благоденствіемъ; во-вторыхъ, они увеличивали значеніе Пруссіи, на которую вся Германія начинала смотрѣть съ любовью и надеждой.

Какъ представительница чистаго абсолютизма и какъ соперница Пруссіи, Австрія должна была относиться враждебно къ конституціонному движенію и противодействовать ему всѣми мѣрами своей изобрѣтательной дипломатіи. Меттернихъ разослалъ ко всѣмъ посланникамъ своего двора инструкціи и приказанія всячески противодействовать осуществленію этихъ тенденцій; въ то же самое время представитель Австріи на германскомъ сеймѣ, по инструкціи того же Меттерниха, говорилъ языкомъ болѣе приличнымъ и не являлся отъявленнымъ противникомъ тѣхъ началъ, въ которыя горячо вѣровала вся живая Германія. Здѣсь, какъ и вездѣ, Меттернихъ велъ параллельно двѣ политики, офиціальную и неофиціальную, явную и тайную, которыя сближались или расходились между собою, смотря по обстоятельствамъ. Офиціальныя инструкціи Австріи говорилъ одно, а тайныя инструкціи, сообщаемыя посланникамъ, тайныя и конфиденціальныя письма къ государямъ и министрамъ говорили совершенно другое. Вступить въ открытый и честный бой съ опасными идеями вѣка Меттернихъ не рѣшался; онъ подкапывалъ ихъ потихоньку, и результаты его подземныхъ работъ не оставались безплодными; конфиденціальныя письма его тревожили впечатлительныя умы тогдашнихъ государей и парализовали ихъ честныя намѣренія. Гарденбергъ, безхарактерный прусскій министръ, повѣрилъ внушеніямъ Меттерниха, оттолкнулъ отъ себя своего помощника Гумбольдта и отшатнулся отъ дѣла конституціи; окончательное рѣшеніе вопросовъ затянулось на неопредѣленное время.

Интригуя такимъ образомъ противъ того, что цѣлый германскій народъ считалъ своей потребностью, Меттернихъ, конечно, не могъ чувствовать особаго расположенія къ печатной гласности. Журналистика, обращающая вниманіе общества на тѣ вымышленныя препятствія и пустыя отговорки, которыми затягивались совѣщанія о важныхъ вопросахъ, журналистика, напоминавшая обществу его нужды,—возбуждала въ Меттернихѣ самыя серьезныя опасенія; въ ней видѣлъ онъ самое страшное орудіе агитаціи, и противъ нея началъ онъ принимать постепенно усиливающіяся мѣры. Сначала онъ выдвинулъ противъ органовъ либеральной партіи свои органы, проводившіе въ возможно-приличной формѣ идеи и симпатіи австрійскаго правительства. Главнымъ бойцомъ Меттерниховскаго лагеря былъ извѣстный публицистъ Генцъ, человекъ умный и ловкій.—Блестящія статьи этого политическаго писателя помѣщались въ «Австрійскомъ Наблюдателѣ», котораго офиціальнымъ

редакторомъ былъ Юсифъ Пилать, домашній секретарь князя Меттерниха; ожесточенная полемика этого журнала съ «Рейнскимъ Меркуриемъ», издававшимся подъ редакціей талантливаго и честнаго писателя Герреса, обратила на себя вниманіе всей читающей Германіи, и Меттернихъ увидалъ, что спорить съ либералами значить распространять и популяризировать ихъ идеи; онъ повелъ дѣло правительственнымъ путемъ и упротеръ Гарденберга запретить ненавистный журналъ; но Герресь не унялся и началъ издавать брошюры и летучіе листки, которые покупались и читались нарасхватъ; тогда Меттернихъ задумалъ устроить въ обширныхъ размѣрахъ полицейское управленіе Германіи и по возможности всей континентальной Европы.

Опираясь на трактатъ священнаго союза, въ которомъ подписавшіеся государи обязывались совокупными силами поддерживать въ Европѣ общественное спокойствіе и наблюдать за народной нравственностью, Меттернихъ осенью 1818 г. устроилъ въ Ахенѣ конгрессъ и членамъ этого конгресса представилъ самымъ убѣдительнымъ образомъ необходимость дружно дѣйствовать противъ общаго врага, т. е. противъ того духа якобинства, который, если дать ему волю, опрокинетъ весь социальный порядокъ. Увѣщанія Меттерниха, указавшаго на грядущія бѣдствія съ воодушевленіемъ истиннаго пророка, подѣйствовали какъ нельзя лучше; члены конгресса воротились во-своихъ съ сильнымъ предубѣжденіемъ противъ пагубныхъ идей вѣка и съ той спасительной боязнью революціи, изъ которой не трудно было развить современемъ самую крутую мѣру реакціи. Меттернихъ сталъ ковать желѣзо, пока оно было горячо, и черезъ годъ послѣ ахенскаго конгресса пригласилъ нѣмецкихъ министровъ въ Карлсбадъ для совѣщаній «о тѣхъ мѣрахъ, которыя должно принять противъ демагогическихъ неурядиць». Неурядицы эти, требовавшія обще-германскаго конгресса, состояли въ нѣсколькихъ рѣчахъ, произнесенныхъ на студенческихъ сходкахъ, да еще въ томъ, что молодой патріотъ Зандъ убилъ извѣстнаго писателя Коцебу, поддерживавшаго подозрительныя сношенія съ однимъ иностраннымъ правительствомъ. Поднимать изъ-за этого тревогу было почти смѣшно, но правители Германіи на все смотрѣли глазами Меттерниха, а Меттернихъ старался преувеличивать опасность, чтобы показать необходимость систематическаго преслѣдованія извѣстныхъ идей и стремленій. Карлсбадскія конференціи состоялись, и система Меттерниха восторжествовала. Двѣ статьи союзнаго акта, статья 13-я, объявлявшая отдѣльнымъ государствамъ Германіи представительное правленіе, и 18-я, объявлявшая свободу печати, были истолкованы такъ ловко, что потеряли все свое значеніе. Черезъ мѣсяць послѣ карлсбадскихъ конференцій союзный сеймъ объявилъ, что, желая уберечь Гер-

манію отъ бѣдствій анархіи, онъ самъ дастъ общую норму, по которой должны быть выработаны конституціи отдѣльныхъ государствъ; что сейму, какъ верховной правительственной и законодательной инстанціи, должно имѣть въ своемъ распоряженіи вооруженную силу для исполненія рѣшеній; что вредное направленіе университетскаго преподаванія требуетъ строгаго надзора за студентами и профессорами; что вредное направленіе литературы должно быть обуздано цензурой, и что въ Майнцѣ должно устроить центральную слѣдственную комиссію для того, чтобы разузнавать и разрушать революціонныя замыслы.

Князь Меттернихъ поступалъ такимъ образомъ по мелкому, трусливому чувству самосохраненія; его личная судьба была тѣсно связана съ участіемъ Франца I, и потому онъ, во что бы то ни стало, старался упрочить могущество Австріи и ея преобладаніе въ Германіи.

Геніальные люди не становятся въ оппозицію съ требованіями времени, потому что они въ состояніи всецѣло понять эти требованія и вынести ихъ на своихъ плечахъ. Меттернихъ сознательно принимается за преслѣдованіе прогрессивныхъ идей; это доказываетъ, съ одной стороны, что онъ не въ состояніи быть проводникомъ этихъ идей, съ другой стороны—что честность не можетъ быть поставлена въ число его чловѣческихъ добродѣтелей. Умъ его не выходитъ изъ размѣровъ мелкой изворотливости; честность останавливается на той степени, которая мѣшаетъ чловѣку залѣзть въ чужой карманъ, но не доходитъ до искренности и стойкости убѣжденій. Меттернихъ сходенъ въ этихъ двухъ отношеніяхъ съ Талейраномъ съ той только разницей, что Талейранъ еще болѣе Меттерниха пустъ и мелоченъ и еще менѣе Меттерниха способенъ отъ отдѣльныхъ фактовъ возвышаться до общихъ идей.

## VI.

Обезпечивъ себя со стороны Германіи, Меттернихъ поставилъ себѣ за правило рѣшительно сопротивляться всякому измѣненію существующаго порядка вещей во всей Европѣ; всякая попытка націи улучшить свое положеніе считалась уголовнымъ преступленіемъ, которое должны были преслѣдовать всѣми мѣрами всѣ европейскія правительства. Когда въ Неаполѣ въ 1820 году вспыхнула революція, вынудившая конституцію у короля Фердинанда, Меттернихъ поставилъ австрійскую армію въ Италіи на военное положеніе и отправилъ къ итальянскимъ государямъ циркулярную ноту, въ которой объявлялось, что Австрія ручается за неприкосновенность ихъ владѣній и даже, въ случаѣ надобности, отправитъ свои войска для усмирненія мятежниковъ. Неаполитанское правительство отправило посланника

къ вѣнскому двору; посланника этого не приняли и не признали въ его должности; послѣ частнаго разговора съ Меттернихомъ онъ получилъ приказаніе немедленно оставить австрійскія владѣнія.—Этимъ, конечно, дѣло не кончилось; Меттернихъ, заботливый блюститель порядка, обратился къ своему любимому средству, къ конгрессу. Въ Тронавѣ, осенью 1820 года, собрались представители великихъ державъ, и начались совѣщанія о томъ, какія мѣры пустить въ ходъ для вразумленія заблуждающихся грѣшниковъ. Меттернихъ собственноручно написалъ проектъ новаго союза, въ которомъ принципъ вмѣшательства во внутреннія распоряженія государствъ былъ развитъ до послѣднихъ предѣловъ.

«Тѣ же идеи,—говорить этотъ проектъ,—во имя которыхъ соединились великія державы, чтобы опрокинуть военный деспотизмъ человѣка, вышедшаго изъ революціи, должны быть примѣнены къ дѣлу въ отношеніи къ революціоннымъ движеніямъ, частью — путемъ посредничества, частью—силою оружія». Къ этому вновь скрѣпленному союзу приступили Россія и Пруссія. Вооруженное вмѣшательство Австріи въ дѣла Неаполя было такимъ образомъ оправдано въ глазахъ Европы, и дѣла Меттерниха была достигнута. Протестъ Англіи не произвелъ на него сильнаго впечатлѣнія, потому что онъ не придавалъ особеннаго значенія ея вліянію на дѣла континента и не думалъ, чтобы протестъ этотъ выразился въ осязательной формѣ.

На тронавскомъ конгрессѣ было рѣшено пригласить неаполитанскаго короля въ Лайбахъ, и тамъ, вмѣстѣ съ нимъ, фундаментально обсудить положеніе его королевства. Король пріѣхалъ, съ радостью согласился, по приглашенію Меттерниха, взять назадъ ту конституцію, въ ненарушимости которой онъ полгода тому назадъ клялся передъ лицомъ своего народа, и съ восторгомъ принялъ отъ Австріи 50,000-ное вспомогательное войско. Сопrotивленіе неаполитанскаго парламента было задавлено безъ труда; конституція—уничтожена... Въ началѣ 1821 года произошло движеніе въ Пьемонтѣ; австрійскій корпусъ задавилъ это движеніе, и торжественный циркуляръ, подписанный тремя великими державами, объявилъ всѣмъ правительствамъ о рѣшительной побѣдѣ священнаго союза надъ нагубными стремленіями злоумышленниковъ, якобинцевъ и карбонаріевъ. Но еще не успѣли закрыть лайбахскаго конгресса, какъ пришло извѣстіе о возстаніи грековъ; Меттернихъ хотѣлъ и въ этомъ случаѣ пустить въ ходъ принципъ вооруженнаго вмѣшательства, но на этотъ разъ онъ встрѣтилъ рѣшительное сопротивленіе со стороны Франціи, Англіи и Россіи, и согласился отложить разсмотрѣніе греческаго вопроса до будущаго года.

До сихъ поръ Меттернихъ послѣ вѣнскаго конгресса не встрѣчалъ серьезной оппозиціи на ди-

пломатическомъ поприщѣ; система его находила себѣ всеобщее сочувствіе среди правителей и министровъ; Австрія пользовалась самымъ обширнымъ вліяніемъ на дѣла Европы; императоръ Францъ, видя ревность своего министра и оцѣнивая его заслуги, награждалъ его послѣ лайбахскаго конгресса званіемъ государственнаго канцлера Австрійской имперіи; послѣ этого Меттерниху нельзя было идти далѣе; онъ стоялъ на высшей ступени іерархической лѣстницы,—на той ступени, на которую послѣ Кауница не становился ни одинъ австрійскій подданный; онъ фактически былъ законодателемъ Европы; онъ управлялъ, повидимому, историческими событіями; кажется, ему больше ничего не оставалось желать, и дѣйствительно, вся его дѣятельность въ послѣднее десятилѣтіе, т. е. послѣ окончательнаго изложженія Наполеона, была, по его собственному выраженію, чисто консервативная, мы ее назовемъ узкоконсервативной, потому что истинный консерватизмъ возможенъ только при благоразумныхъ услугахъ требованіямъ времени; кто хочетъ поддержать всю машину въ состояніи общей годности, тотъ долженъ наблюдать за тѣмъ, чтобы не стирались и не ржавѣли отдѣльныя колеса, и заблаговременно замѣнять попорченныя части новыми, крѣпкими и свѣжими элементами; но для такой дѣятельности надо быть ученымъ или по крайней мѣрѣ практически опытнымъ механикомъ, надо знать назначеніе каждаго колеса, надо понимать общій строй машины, а ничто не дастъ намъ права думать, чтобы Меттернихъ былъ глубокимъ знатокомъ своего дѣла; продержатъ лѣтъ тридцать запретительную систему сумѣетъ всякій, если вы отдадите въ его распоряженіе полицію и войско; но гдѣ же прочные результаты такой системы? Да и возможны ли тутъ прочные результаты? Развѣ Меттернихъ успѣлъ перевоспитать ту націю, которой онъ управлялъ? Развѣ онъ убѣдилъ ее въ законности своей системы? Развѣ онъ отклонилъ въ какую-нибудь другую сторону тѣ силы и стремленія, которыхъ порывы были ему такъ ненавистны? Развѣ онъ создалъ для этихъ безпокойныхъ силъ какое-нибудь поприще дѣятельности?

Нѣтъ, такая задача была слишкомъ гололомна для нашего салоннаго дипломата. Онъ дрессировалъ націю, какъ плохія гувернантки дрессируютъ своихъ воспитанницъ, повторяя имъ на каждомъ шагѣ: не говорите громко, не гримасничайте, не трогайте этихъ вещей, не смотрите въ эту сторону. Такая дрессировка скоро надѣдаетъ воспитанику и скоро внушаетъ ему презрѣніе къ своему педагогу. Приложенная къ цѣлымъ народамъ, эта система политическаго воспитанія подѣйствовала точно такъ же; раздраженія націй выразилось довольно поздно, но зато взрывъ былъ очень силенъ и разстроилъ планы государственнаго канцлера раньше, чѣмъ

онъ думалъ; старой консервативной системы достало на вѣкъ Генца, умершаго въ 1835 году, но на вѣкъ Меттерниха ея оказалось мало, и событія 1848 года явились наказаніемъ за грѣхи 20-хъ и 30-хъ годовъ.

Неудачи системы начались гораздо раньше, тотчасъ послѣ того торжественнаго циркуляра, который возвѣстили народамъ Европы побѣду священнаго союза надъ нарушителями общественнаго порядка. Греческій вопросъ былъ первымъ яблокомъ раздора между членами священнаго союза. Меттернихъ, какъ сухой дипломатъ, видѣлъ въ возмущившихся грекахъ такихъ же мятежниковъ, каковы были неаполитанцы и пиемонтцы; у императора Александра, напротивъ того, пылкое религиозное чувство говорило громче всѣхъ остальныхъ соображеній; онъ хотѣлъ помочь своимъ единовѣрцамъ; кромѣ того война съ Турціей могла усилить влияние Россіи на дѣла Востока, и потому императоръ Александръ показалъ самое серьезное расположеніе вступить за грековъ вооруженной силой. Меттернихъ давно уже боялся Россіи, и потому, наскоро сговорившись съ англійскимъ министромъ лордомъ Кастльригомъ, для отвращенія угрожавшей войны предложилъ русскому правительству посредничество Австріи и Англии. Посредничество это было принято, и Порта очистила Молдавію и Валахію, которыя она, въ ожиданіи войны, уже успѣла занять своими войсками. Что же касается до грековъ, то члены священнаго союза согласились въ отношеніи къ нимъ оставаться на время нейтральными; со стороны Меттерниха это уже была важная уступка; онъ соглашался смотрѣть на возмущеніе подданныхъ противъ своего законнаго государя, не посылая войска для усмиренія мятежниковъ. Это, какъ вы видите, составляетъ уже отступленіе отъ системы, провозглашенной въ Ахенѣ, въ Тропавѣ и въ Лайбахѣ. Въ этомъ отступленіи нѣтъ ничего удивительнаго; мы уже настолько знаемъ личный характеръ князя Меттерниха, чтобы понимать, какъ мало онъ былъ способенъ бороться съ серьезнымъ препятствіемъ во имя своей идеи; какъ встрѣчается такое препятствіе, такъ нашъ дипломатъ уклоняется въ сторону, и только потомъ, изъ личнаго тщеславія, старается показать, что его уступка не что иное, какъ результатъ глубокихъ политическихъ соображеній, не что иное, какъ естественный и необходимый выводъ его знаменитой системы. Чѣмъ дальше отступаетъ онъ отъ этой системы въ жизни, тѣмъ упорнѣе держится за нее въ теоріи, чтобы посредствомъ запутанной діалектики замаскировать свои политическія неудачи и пораженія.

Чувствуя что-то неладное въ отношеніяхъ между главными членами священнаго союза, Меттернихъ считалъ необходимымъ скрѣпить этотъ союзъ новымъ конгрессомъ и на этомъ предполагаемомъ конгрессѣ еще разъ самымъ ревностнымъ

образомъ втолковать присутствующимъ лицамъ тѣ догматы политической вѣры, безъ которыхъ нѣтъ ни спасенія, ни порядка. Благодаря его стараніямъ, состоялся конгрессъ въ Веронѣ. Въ четыре года—четыре европейскіе конгресса, и всегда составителемъ, разсылающимъ приглашенные билеты, является Меттернихъ. Въ этихъ постоянно повторяющихся совѣщаніяхъ объ одномъ и томъ же, въ этомъ постоянно повторяющемся обращеніи къ союзникамъ, въ этихъ періодическихъ увѣреніяхъ во взаимной дружбѣ и взаимной помощи, видна тревожная боязливость, происходящая отъ тайнаго, инстинктивнаго, невысказаннаго чувства собственной безпомощности. Меттернихъ очевидно боялся остаться глазъ-на-глазъ со своимъ народомъ; онъ очевидно боялся, что его захватить врасплохъ какое-нибудь энергическое движеніе массы; на этомъ основаніи, при малѣйшемъ волненіи въ какомъ-нибудь уголкѣ Европы, послѣ малѣйшей размовки съ кѣмъ-нибудь изъ союзниковъ, онъ тотчасъ разсылаетъ во всѣ концы Европы приглашенія собраться для совѣщаній; онъ съ тревожной заботливостью освѣдомляется о настроеніи разныхъ правительствъ и, собравши ихъ представителей, начинаетъ опять толковать съ ними объ общей опасности, о необходимости прочнаго союза, о неопыненныхъ достоинствахъ своей системы. Эта вѣчная тревога служить новымъ доказательствомъ того, какъ мало князь Меттернихъ былъ убѣжденъ въ прочности своихъ собственныхъ дѣйствій.

## VII.

Каждый конгрессъ созывался Меттернихомъ съ тою цѣлью, чтобы отнять у народовъ какія-нибудь права, чтобы въ чемъ-нибудь стѣснить ихъ законную свободу, чтобы безнаказанно нарушить данныя имъ обѣщанія, чтобы напустить на нихъ войска священнаго союза. Веронскій конгрессъ въ своихъ результатахъ нисколько не отличается отъ трехъ предыдущихъ. Революція въ Испаніи обратила на себя все вниманіе австрійскаго канцлера; король испанскій, Фердинандъ VII, былъ принужденъ дать своему народу конституцію, но потомъ, введя эту конституцію, онъ своей двуличной политикой въ отношеніи къ конституціоннымъ властямъ самъ поддерживалъ въ своемъ королевствѣ волненія и безпорядки. Противъ конституціоннаго порядка бунтовали низшіе слои народа. Они вооружались противъ конституціи и объявляли, что идутъ защищать религію и короля. Монашество, терпящее, по опредѣленію кортесовъ, значительную долю своихъ помѣстьевъ и доходовъ, было недовольно конституціоннымъ порядкомъ. На сторонѣ конституціи стояло все мыслящее населеніе Испаніи; Фердинандъ VII, насколько это было возможно, замед-



лялъ и парализоваль дѣйствія кортесовъ противъ бунтовщиковъ. Могъ ли Меттернихъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ испанскихъ событий? Всѣ усилія австрійскаго министра на веронскомъ конгрессѣ были направлены къ тому, чтобы убѣдить Францію въ необходимости пойти на помощь испанскимъ роялистамъ, осуществить желанія самой испанской націи, требующей восстановления стараго порядка, и низложить ту партію мятежниковъ, которая овладѣла правленіемъ. Вслѣдствіе этого представители Франціи обязались, отъ имени своего правительства, представить мадридскому кабинету энергическую ноту и, если это не поможетъ, рѣшить дѣло французскими штыками, къ полному удовольствію Меттерниха, Фердинанда VII и испанскихъ роялистовъ.

Греческій вопросъ не могъ быть рѣшенъ съ такимъ блистательнымъ успѣхомъ. Императоръ Александръ, при всей своей привязанности къ принципу священнаго союза, не могъ никакъ убѣдиться въ необходимости предпринимать крестовый походъ въ пользу турецкаго султана, онъ по прежнему сочувствовалъ возмущившимся грекамъ, и потому Меттернихъ, выѣзжавъ стороной о его настроеніи, заблагодарасудилъ не поднимать этого щекотливаго вопроса и употребилъ все свое искусство на то, чтобы на конгрессѣ обойти дѣло грековъ молчаніемъ. Самимъ грекамъ это казалось невыгоднымъ; они прислали отъ себя депутацію, чтобы просить помощи у великихъ державъ; Меттерниха это нисколько не затруднило; по его приказанію этихъ грековъ задержали въ Анконскомъ карантинѣ до тѣхъ поръ, пока конгрессъ не разошелся. Австрійскій министръ, какъ видите, недолго задумывался въ выборѣ средствъ; цѣли его были такъ обширны, такъ возвышенно-благородны, что ими оправдывались и прикрывались неизящныя средства. Да и передъ кѣмъ было ихъ оправдывать? До мнѣнія народовъ Меттерниху не было дѣла, а правители и министры большей частью смотрѣли на вещи его глазами, и къ тому же ихъ было такъ легко отуманить софизмами и запугать мрачными пророчаніями.

Видя огромное вліяніе, которымъ несомнѣнно пользовался Меттернихъ въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, и зная тѣ дешевыя домашнія средства, которыми пріобрѣталось это вліяніе, историкъ останавливается въ недоумѣніи и ищетъ причины этому явленію. Неужели современники не понимали Меттерниха? Неужели они, зная его личность, могли слѣпо вѣрить его политическимъ теоріямъ? Неужели никто изъ тогдашнихъ дѣятелей не видѣлъ поверхностности, двуличности, безхарактерности и политической неразвитости австрійскаго государственнаго канцлера? Да кто же изъ тогдашнихъ официальныхъ дипломатовъ былъ лучше Меттерниха? Кто изъ нихъ не былъ ему сродни по умственнымъ и нрав-

ственнымъ качествамъ? Средство тогдашнихъ государственныхъ людей съ княземъ Меттернихомъ заключалось въ томъ, что большая часть изъ нихъ раздѣляла всѣ его недостатки, не обладая его мелкой изворотливостью и изобрѣтательностью. Никто изъ тогдашнихъ дипломатовъ не былъ специально приготовленъ къ своему дѣлу; всѣ они поступали на свои мѣста или по праву рожденія, или по придворнымъ заслугамъ; всѣ они держались на своихъ высокихъ мѣстахъ закулисными средствами, не имѣющими ничего общаго съ государственной мудростью; живя со дня на день, не зная и не предвидя того, что принесетъ завтрашній день, они постоянно сомнѣвались и трусили, постоянно ненавидѣли все новое, потому что во всякомъ непривычномъ, необыденномъ предметѣ или движеніи думали прочесть осужденіе и неминуемую гибель; имѣя дѣло съ неизвѣстными имъ силами, которыхъ взрывы могли быть страшно разрушительны, эти доможенные политики тоскливо оглядывались по сторонамъ, отыскивая себѣ союзниковъ. Меттернихъ душой и тѣломъ принадлежалъ къ ихъ лагерю, стоялъ съ ними подъ однимъ знаменемъ и обнаруживалъ при томъ такую проникательность, догадливость и усердную предусмотрительность, которою не могли не дорожить всѣ остальные дѣятели. О великихъ народныхъ и человѣческихъ интересахъ никто изъ нихъ не думалъ; поэтому всѣ они старались только отсрочить рѣшительную минуту; а придумывать разныя отговорки, пускать въ ходъ разныя полумѣры—Меттернихъ былъ великій мастеръ, собственно потому, что такое мастерство доступно всякому человѣку, стоящему въ положеніи австрійскаго министра. Давить движеніе мысли—не трудно, была бы только сила да добрая воля, т. е. совершенная нечувствительность къ тому, что волнуетъ, печалитъ или радуетъ другихъ людей. А въ этомъ отношеніи у Меттерниха были развязаны руки; онъ былъ свободенъ отъ всякихъ предрасудковъ; справедливость, развитіе мысли, литература, наука, народность были для него пустыя слова, на которыя жадно бросается неопытная молодежь, къ которымъ разсудительный человѣкъ относится съ снисходительной улыбкой. Улыбка эта оставалась на губахъ разсудительнаго человѣка до тѣхъ поръ, пока дѣло не выходило изъ предѣловъ шутки, препровожденія времени; какъ только неопытная молодежь, винмая зломѣреннымъ толкамъ, ослѣвленная громкими словами, принимала дѣло серьезно, такъ князь Меттернихъ нахмуривалъ брови, входилъ въ роль заботливаго отца семейства, скликалъ европейскій педагогическій совѣтъ и представлялъ ему необходимость вразумлять увлекающееся юношество. И развитіе этого юношества дѣйствительно задерживалось распоряженіями педагогическаго совѣта; и почти два поколѣнія изжили свой вѣкъ и потеряли свои силы въ шинль-

бергскихъ карцерахъ, въ ссылкѣ, въ глухой, безплодной оппозиціи противъ австрійской государственной тактики.

Читая мариологію итальянскихъ патриотовъ, каждый по-человѣчески чувствующій читатель, можетъ быть, почувствовалъ бы ненависть къ Меттерниху, душѣ австрійской политики, автору и проводнику всѣхъ жестокихъ мѣръ. Читатель этотъ поступить такимъ образомъ не совсѣмъ справедливо или, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ логично. Въ личности Меттерниха нѣтъ того мрачнаго величія, которое можно замѣтить въ историческихъ фигурахъ Людовика XI французскаго, Филиппа II испанскаго, Генриха VIII англійскаго, нашего Ивана IV; у Меттерниха нѣтъ тѣхъ смѣлыхъ и обширныхъ идей, которыя проводилъ въ своей дѣятельности Людовикъ XI, централизаторъ феодальной Франціи; у него нѣтъ того дикаго фанатизма, который одушевлялъ собою тирана Испаніи; въ его оправданіе нельзя привести того болѣзненнаго разстройтва, которымъ до нѣкоторой степени объясняются кровавые эксцентричности Генриха и Ивана. Острый умъ Людовика XI, строившаго для будущихъ поколѣній, не можетъ примирить насъ съ его жестокостями, но во всякомъ случаѣ выдвигаетъ его личность изъ ряда дюжинныхъ явленій; односторонняя дюжинность Филиппа II не можетъ вызвать къ себѣ нашего сочувствія, но во всякомъ случаѣ заставляетъ насъ смотрѣть на его громадные преступленія, какъ на результатъ горячаго убѣжденія; болѣзненное состояніе Генриха VIII и Ивана IV не можетъ показаться намъ привлекательнымъ, но оно почти снимаетъ съ нихъ отвѣтственность за пролитую кровь. Скажите на милость, можно ли въ пользу Меттерниха привести хоть одно подобное оправданіе? Создалъ ли онъ прочное зданіе для будущихъ вѣковъ? Дѣйствовалъ ли онъ подъ увлеченіемъ страсти? Страдалъ ли онъ упомишательствомъ? —ничуть не бывало; все дѣлалось у него хладнокровно, прилично, чуть-чуть не кротко: онъ безъ малѣйшаго раздраженія и безъ малѣйшей надобности, исполняя чужую волю, принималъ на себя роль главнаго тюремщика австрійской имперіи; какъ услужливый исполнитель, онъ съ полнымъ усердіемъ принималъ на себя всякія должности: нужно быть первымъ министромъ—онъ готовъ; нужно распечатать и прочесть чужое письмо—извольте; нужно подослать шпіона—и это можно; нужно вывѣдать черезъ свою любовницу секретъ—будетъ исполнено; нужно при-смотреть за арестантами—и тутъ князь Меттернихъ не ударитъ лицомъ въ грязь. Въ его характерѣ нѣтъ крупныхъ чертъ, и вслѣдствіе этого ничто въ немъ насъ не шевелитъ, ничто не приводитъ въ негодованіе. Смотря на судьбу и личность Меттерниха, только и можно подуматъ: бѣдный petit-maitre! Рядъ случайныхъ обстоятельствъ поставилъ его такъ высоко, такъ вы-

соко, что ему самому сдѣлалось и весело, и страшно; сойти внизъ ему не хочется, а упасть онъ боится; его маленькая фигура исчезаетъ на необозримо-высокомъ пьедесталѣ, и новый столпникъ забываетъ, что онъ—человѣкъ; онъ не смотритъ на то, что дѣлается внизу; ему нѣтъ дѣла до тѣхъ ничтожныхъ людей, которые не могутъ слѣдовать за нимъ на высоту. Онъ жалокъ въ своемъ неестественномъ положеніи; смѣшныя стороны его мизерной фигурки видны со всѣхъ сторонъ всей толпѣ, стоящей вокругъ пьедестала... Что же тутъ ненавидѣть? Онъ мелокъ, и оцѣнивать его личныя качества значить только хладнокровно отмѣтить эти выдающіеся черты его фізіономіи.

### VIII.

Дряблость князя Меттерниха начинаетъ обозначаться въ тѣхъ неудачахъ, которыя въ половинѣ двадцатыхъ годовъ испытываетъ его система.

Случалось ли вамъ, любезный читатель, встрѣчаться съ такими людьми, которые на словахъ готовы совершить чудеса геройской храбрости, а на дѣлѣ оказываются трусливѣе самаго обыкновеннаго смертнаго? Такіе господа при спорѣ говорятъ очень громко и постепенно возвышаютъ голосъ, но мѣрѣ того, какъ ихъ противникъ становится скромнѣе; если они могутъ запугать васъ, они начинаютъ самовольно распоряжаться вами; если же, напротивъ того, вы крикнете громче ихъ или выкажете сопротивление, они дѣлаются мягкими, услужливыми и понижаютъ тонъ. Къ числу такихъ людей принадлежитъ государственный канцлеръ Австрійской имперіи; пока онъ не встрѣчалъ себѣ оппозиціи, претензіи его росли не по днямъ, а по часамъ; система съ каждымъ годомъ проводилась настойчивѣе; вмѣшательство Австріи въ дѣла другихъ государствъ становилось нахальнѣе; дипломатическія ноты писались рѣзче и внушительнѣе; вся Германія была взята въ опеку; вмѣстѣ съ правами націй нарушалась и самостоятельность правителей. Король виртембергскій и великій герцогъ баденскій сами были расположены къ конституціонной системѣ управленія и дорожили любовью своихъ подданныхъ; австрійское правительство не обратило вниманія на ихъ личныя мнѣнія и симпатіи, и разными полунасильственными мѣрами заставило ихъ подчиниться политикѣ священнаго союза и ввести въ своихъ владѣніяхъ ту систему гнета, которую испытывала въ то время почти вся континентальная Европа.

Принципъ законности, провозглашенный Меттернихомъ послѣ вѣнскаго конгресса, превратился рѣшительно въ принципъ чистаго султанизма. Меттернихъ поддерживалъ только тѣхъ

законныхъ государей, которые соглашались подчиниться его инструкціямъ; кто возставалъ противъ этихъ инструкцій, тотъ былъ врагомъ Австрии и ея министра, какъ бы ни были законны его права на престолъ; если бы произошло столкновение между законнымъ государемъ, поддерживающимъ конституціонныя идеи, и партией, стремящейся водворить абсолютизмъ, Меттернихъ не задумался бы протянуть руку партиі вопреки желанію правителя. Тяжело приходилось континентальной Европѣ подъ фегулою австрійской политики; пора было остановить зазнавагося придворнаго чиновника и положить конецъ его диктаторскому самовластію, тяготѣвшему надъ націями такимъ же страшнымъ гнетомъ, какимъ деспотизмъ Наполеона тяготѣлъ надъ государями. Англійскій министръ Каннингъ нанесъ первый рѣшительный ударъ австрійской гегемоніи.

Нанести этотъ ударъ было вовсе не трудно. Меттернихъ, какъ и уже замѣтилъ, былъ слабъ и трусливъ. Встрѣчая серьезный отпоръ, онъ сначала пробовалъ запугать противника, но стоило только прикрикнуть, и нашъ дипломатъ, не рѣшаясь вступить въ борьбу, начиналъ заботиться только о томъ, чтобы прилично устроить себѣ отступление и не признать себя разбитымъ въ глазахъ европейскіихъ правительствъ. Споръ между Каннингомъ и Меттернихомъ завязался по поводу вопроса объ испанскихъ колоніяхъ въ Южной Америкѣ. Колоніи эти: Колумбія, Буэнос-Айресъ и Чили, отложились отъ метрополи, объявили себя независимыми и ввели у себя республиканское устройство. Меттернихъ на веронскомъ конгрессѣ объявилъ тономъ диктатора, что великія державы никогда не признаютъ существованія этихъ республикъ и, въ случаѣ надобности, пошлютъ свое войско въ Америку, чтобы восстановить нарушенные интересы монархическаго принципа. Внимая изреченіямъ своего оракула, европейскіе дипломаты благоговѣли, и мысль о крестовомъ походѣ въ Новый Свѣтъ серьезно занимала ихъ умы, возбуждала въ однихъ дѣятеляхъ тревожныя опасенія, въ другихъ—гордое чувство радости. Но явился невѣрующій скептикъ, и европейская пиѳія была уличена въ грубомъ заблужденіи. Джоржъ Каннингъ объявилъ ясно и просто, что Англія ни въ какомъ случаѣ не допуститъ вмѣшательства европейскіихъ державъ въ дѣла американскихъ колоній. Меттернихъ попробовалъ устроить конгрессъ, надѣясь какииъ-нибудь образомъ уломать Каннинга; Каннингъ наотрѣзъ отказался участвовать въ конгрессѣ и еще разъ замѣтилъ, что въ отношеніи къ бывшимъ испанскимъ колоніямъ Англія будетъ поступать по собственному благоусмотрѣнію, не обращая вниманія ни на конгрессъ, ни на священный союзъ. Что тутъ было дѣлать? Меттернихъ видѣлъ, что нашла доса на камень, и что придется отступить; онъ сталъ просить Каннинга не дѣлать, по крайней мѣрѣ, ничего

такого, что могло бы уронить въ общественномъ мнѣніи Европы систему священнаго союза; Каннингъ и на это не согласился; онъ отвѣчалъ, что Англія признаетъ независимость возмущившихся колоній; всѣ доводы Меттерниха были истощены, всѣ его заискиванія разбились о непоколебимую волю англичанина, и къ довершенію скандала французскій кабинетъ, подчиняясь вліянію Англіи, также обнаруживалъ расположеніе признать самостоятельность южно-американскихъ республикъ. Меттернихъ не былъ способенъ стоять за свою идею до послѣдней возможности; на гордую ноту англійскаго министра онъ отвѣтилъ очень скромно, что священный союзъ не будетъ сопротивляться тому, чтобы бывшія испанскія колоніи были объявлены независимыми, лишь бы только монархическій принципъ оставался неприкосновеннымъ, лишь бы только отложившіяся земли выбрали себѣ въ правители законныхъ государей. Каннингъ не сдѣлалъ никакой уступки и, рѣшительно отказавши Меттерниху во всѣхъ его требованіяхъ, велѣвъ затѣмъ официално, безъ всякихъ условій и ограниченій, признать независимость новыхъ республикъ. Меттернихъ, какъ и слѣдовало ожидать, покорился необходимости, и торжественныя обѣщанія его о крестовомъ походѣ великихъ державъ за море остались громкими фразами.

Еще чувствительнѣе было пораженіе, нанесенное политикѣ Меттерниха въ Португаліи; виновникомъ этого пораженія былъ тотъ же Каннингъ. Въ Португаліи королева Марія да-Глорія, дочь бразильскаго императора Педро, ввела бразильскую конституцію, предоставлявшую націи значительныя льготы и политическія права; дядя королевы, Мигуэль, призванный сдѣлаться ея мужемъ и соправителемъ, сталъ во главѣ абсолютистовъ и пытался уничтожить конституцію и опрокинуть существующее правительство, чтобы сдѣлаться неограниченнымъ государемъ; всѣ законныя права были на сторонѣ королевы Маріи, но вѣнскій кабинетъ, сочувствуя стремленіямъ Мигуэля, ободрялъ его приверженцевъ и даже убѣждалъ французское и испанское правительство поддерживать своими войсками замышляющуюся революцію абсолютистовъ. Меттернихъ, *soi-disant* легитимистъ и консерваторъ, становился нарушителемъ общественнаго спокойствія; исподтишка раздувалъ междоусобную войну и, по своему обыкновению, поддерживалъ ту сторону, противъ которой говорили и божественное право, и голосъ націи, и здравый смыслъ, и нравственное чувство. Каннингъ замѣтилъ австрійскія интриги и вдребезги разбилъ планы государственнаго канцлера. Онъ самъ похвѣлъ въ Парижъ и отклонилъ французское правительство отъ вмѣшательства въ португальскія дѣла; когда же Мигуэль, опираясь на испанскія войска, произвелъ революцію, то подъ стѣнами Лиссабона показалось десять англійскихъ военныхъ кора-

блей, и партія Мигуэля оставила свои замыслы. На другой день послѣ отправки этой эскадры Каннингъ произнесъ въ парламентѣ нѣсколько многозначительныхъ словъ, надъ которыми пришлось позадуматься Меттерниху. «Я не боюсь войны за хорошее дѣло,—сказалъ англійскій министр.—Но я боюсь ея потому, что знаю, какимъ образомъ Великобританія можетъ довести борьбу до такихъ послѣдствій, о которыхъ страшно подумать. Можно возбудить войну, въ которой будутъ сражаться между собою не арміи, а идеи, и тогда подъ знамена Великобританіи станутъ всѣ граждане, недовольные современнымъ положеніемъ своихъ земель. Въ настоящее время существуетъ такая сила, которая, подѣ руководствомъ Англій, можетъ сдѣлаться страшнѣ всѣхъ силъ, когда-либо боровшихся во всемирной исторіи». Каннингъ былъ человѣкъ дѣла, а не фразы; онъ не отступилъ бы отъ европейской войны, если бы ему пришлось отстаивать свои политическія убѣжденія; но Меттернихъ боялся шума и скандала; узнавъ о появленіи англійскихъ кораблей подъ Лиссабономъ и о громовой рѣчи Каннинга въ парламентѣ, онъ отступился отъ Мигуэля и объявилъ, что никогда не сочувствовалъ его революціи.

Да, если бы Каннингъ не умеръ въ 1827 году, многое на европейскомъ континентѣ могло бы сложиться не такъ, какъ оно сложилось. Благодаря его энергіи, кредитъ Меттерниха началъ слабѣть, и его система стала постепенно терять своихъ поклонниковъ. Между тѣмъ и греческій вопросъ, котораго рѣшеніе государственный канцлеръ отсрочивалъ разными дипломатическими фокусами, неожиданно разыгрался въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. 6-го іюля 1827 г. Россія, Англія и Франція заключили между собою въ Лондонѣ союзъ и обязались, въ случаѣ надобности, силой оружія принудить Порту къ освобожденію грековъ; союзъ этотъ былъ заключенъ безъ вѣдома Меттерниха; союзъ этотъ былъ заключенъ противъ одного изъ законныхъ государей Европы, и притомъ противъ одного изъ самыхъ самовластныхъ, слѣдовательно наиболѣе достойныхъ просвѣщеннаго сочувствія австрійскаго министра; союзъ этотъ усиливалъ значеніе Англій и Россій, и слѣдовательно парализовалъ вліяніе Австріи; какъ дипломатъ, какъ защитникъ абсолютизма и какъ тайный врагъ Англій и Россій, Меттернихъ чувствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ заключеніемъ этого союза. Онъ вмѣстѣ съ императоромъ Францемъ разразился въ ругательствахъ и проклятіяхъ противъ Каннинга. «Чортъ въ него вселился!»—кричалъ Францъ I, и министръ по обыкновенію былъ одного мнѣнія со своимъ государемъ; но ругательства эти не перешли въ дѣло, не перешли, конечно, на бумагу дипломатическихъ нотъ, и только частная корреспонденція Меттерниха съ однимъ нѣмецкимъ государемъ сберегла для по-

томства свидѣтельства этого безсильнаго гнѣва; въ этихъ письмахъ австрійскій министръ отзывается о Каннингѣ, какъ «о безмозгломъ сумасбродѣ, корчащемъ либерала и не имѣющемъ понятія о политическихъ интересахъ Англій». Въ этихъ отзывахъ выражается то комическое изступленіе, которое невольно обнаруживаютъ люди, пережившіе свою славу и замѣчающіе, что жизнь идетъ мимо нихъ, далеко обгоняя ихъ и не обращая вниманія на ихъ безсильныя старанія приостановить ея теченіе; по этимъ отзывамъ становится замѣтно, что Меттернихъ, постоявши дѣтъ 12 въ первыхъ рядахъ европейской дипломатіи, въ значительной степени потерялъ способность владѣть собою.

Время Ахена, Тропавы, Лйбаха и Вероны прошло невозвратно; выдвинулись новые дѣтели—и подавленные интересы націй понемногу поднимаютъ голову. Вскорѣ послѣ заключенія лондонскаго договора Каннингъ умеръ, но отъ этого Меттерниху легче не сдѣлалось. Преемникъ Каннинга, лордъ Веллингтонъ, гордый и упрямый, какъ истый англичанинъ, не склонялся ни на какія представленія австрійскаго правительства, держался въ союзѣ съ Россіей и защищалъ дѣло грековъ. Въ августѣ 1827 г. союзныя державы представили турецкому правительству свои требованія и, не получивши удовлетворенія, послали свои эскадры въ Архипелагъ; Меттернихъ рѣшился на отчаянную продѣлку—на дипломатическій подлогъ; желая во что бы то ни стало предупредить столкновеніе между Портой и союзными державами, боясь нарушенія всего политическаго равновѣсія, Меттернихъ написалъ отъ имени грековъ изъясненіе раскаянія и покорности; какіе-то подкупленные греки подняли эту бумагу, и 18-го сентября константинопольскій патріархъ торжественно передалъ этотъ подложный актъ турецкому правительству. Плоская и безчестная комедія эта ушла; публика, передъ которой она разыгрывалась, ей не повѣрила; союзныя державы, которыхъ Меттернихъ этимъ страннымъ способомъ надѣялся принудить къ прекращенію военныхъ дѣйствій, не обратили на всю эту штуку никакого вниманія. Извѣстіе о наваринскомъ сраженіи, уничтожившемъ турецкій флотъ, убѣдило австрійскаго министра въ томъ, что, имѣя дѣло съ людьми рѣшительными, нельзя остановить ихъ дипломатической діалектикой и поддѣльными подписями. Меттернихъ узналъ о наваринскомъ дѣлѣ въ ту самую минуту, когда онъ садился въ карету, чтобы ѣхать вѣнчаться; можно сказать положительно, что это извѣстіе испортило ему этотъ торжественный для него день; свадьба не была, правда, отложена, но женихъ оказался не въ блестящемъ расположеніи духа. Этотъ второй бракъ Меттерниха отличается отъ перваго тѣмъ, что на этотъ разъ нашъ герой женился по любви на дѣвушкѣ, отличавшейся замѣчательною кра-

сотой, но не представлявшей для него блестящей партіи. Противъ этого брака возставали всѣ его ближайшіе родственники, особенно гордая аристократка, старуха-мать его, которой въ то время было слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ и которая изъ прошлаго столѣтія принесла свои предрассудки и антипатіи. Впрочемъ, если самъ Меттернихъ наперекоръ этимъ предрассудкамъ рѣшился на женитьбу, то въ этомъ не слѣдуетъ видѣть проявленія истиннаго и глубокаго чувства. Когда государственный канцлеръ былъ еще юношей, онъ и тогда не отличался сердечной нѣжностью; на внучкѣ Кауница онъ женился по расчету; связью съ Каролиной Мюратъ онъ пользовался для политическихъ цѣлей или, вѣрнѣе, для того, чтобы пробить себѣ дорогу къ почестямъ и повышенію; любовь всегда была для него развлеченіемъ, а иногда полезнымъ, хоть и неблагообразнымъ средствомъ; онъ былъ слишкомъ сухъ и холоденъ, слишкомъ тщеславенъ и мелокъ, чтобы выносить въ груди прочное чувство и хоть разъ въ жизни принести ему въ жертву какую-нибудь существенную выгоду, какую-нибудь частицу своего самолюбія. Онъ женился во второй разъ, когда ему было 54 года; въ этихъ лѣтахъ мужчины бываютъ особенно чувствительны къ красотѣ молодыхъ женщинъ; капризъ увядающей чувственности бываетъ такъ силенъ, что онъ можетъ показаться дѣйствительнымъ чувствомъ; такого рода капризъ рѣшилъ судьбу государственнаго канцлера; выгодъ ему искать нечего было; богатства у него было довольно; въ связяхъ онъ не нуждался; стало быть, онъ женился на красавицѣ именно потому, что только красота и могла доставить ему наслажденіе; что чувство его къ своей избранной не было глубоко и прочно—это можно заключить по общему характеру разбираемой нами личности; кромѣ того, княгиня Меттернихъ умерла черезъ два года послѣ своей свадьбы, а супругъ ея безъ всякой горести перенесъ свою утрату и вслѣдъ затѣмъ женился на третьей женѣ.

Я счелъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ о семейной жизни Меттерниха для того, чтобы предостеречь читателя отъ ошибки; приписать этому человѣку способность глубоко чувствовать и сильно любить—значило бы совершенно не понять его характера; Меттернихъ былъ мелокъ въ своихъ человѣческихъ чувствахъ настолько же, насколько онъ былъ мелокъ и близорукъ въ своихъ политическихъ идеяхъ и административныхъ соображеніяхъ. Офиціальная, постоянно салонная жизнь, которой онъ прожилъ больше пятидесяти лѣтъ, удовлетворяла его потребностямъ, наполняла всѣ его минуты, составляла для него источникъ сильныхъ ощущеній, горя и радости, надеждъ и опасеній. У него не было внутренняго міра, и эта холодная официальность проникавшая насквозь всю его личность и таившаяся подъ простотою и изысканной не-

принужденностью вѣшняго обращенія,—отразилась, конечно, на его гражданской дѣятельности, отъ которой вѣтъ ледянымъ холодомъ и сухой безучастностью къ дѣйствительно живымъ сторонамъ дѣла.

Когда наваринское сраженіе подало сигналъ къ серьезной войнѣ между Россіей и Турціей, Меттернихъ, испытанный такимъ образомъ совершенное дипломатическое пораженіе, сталъ опасаться за существованіе Оттоманской Порты и старался возстановить противъ Россіи французское правительство. Когда его убѣжденія не подѣйствовали, онъ взялся за угрозы. Сынъ Наполеона, воспитывавшійся при вѣнскомъ дворѣ въ качествѣ герцога Рейхштадтскаго, внука императора Франца, послужилъ темой этихъ угрозъ. Со стороны Меттерниха эти угрозы были довольно оригинальны и безтактны; ему, защитнику законности, было просто неприлично противъ династіи Бурбоновъ, признанной великими державами и посаженной на престолъ при его же содѣйствіи,—выставлять претендентомъ на французскую корону сына корсиканскаго демократа, вышедшаго изъ рядовъ революціи и перевернушаго по-своему поземельныя отношенія Европы. Но Меттернихъ уже давно пересталъ заботиться о послѣдовательности своихъ поступковъ; для него дѣло шло о самосохраненіи Австріи, стало быть, тутъ уже поздно было толковать о проведеніи принципа; нашъ дипломатъ не подумалъ и о томъ, что его косвенныя угрозы окажутся мыльнымъ пузыремъ, если только французское правительство не испугается ихъ съ перваго разу. Дѣйствительно, у Меттерниха не было въ рукахъ никакихъ средствъ сдѣлать герцога Рейхштадтскаго опаснымъ для Франціи. Императоръ Францъ никогда не согласился бы отпустить изъ Вѣны своего внука, и это было хорошо извѣстно государственному канцлеру. Французское правительство поняло ничтожество этихъ угрозъ, отвѣчало на нихъ очень рѣзко, и австрійскій министръ принужденъ былъ замолчать.

Когда русское правительство спросило у австрійскаго кабинета отчета въ его интригахъ противъ Россіи, Меттерниху пришлось отказываться отъ своихъ словъ и поступковъ, пришлось извиняться и лстить, а императоръ Францъ собственноручно написалъ къ императору Николаю дружеское письмо. Куда же дѣвалось преждее могущество Австріи, ея недавнее первенство на европейскихъ конгрессахъ? Рядъ дипломатическихъ неудачъ, испытанныхъ государственнымъ канцлеромъ, разрушилъ то фантастическое обаяніе, которое политика Австріи со времени низложенія Наполеона оказывала на умы европейскихъ дипломатовъ. Андрианопольскій миръ между Россіей и Турціей упрочилъ русское вліяніе на дѣла Порты и еще больнѣе далъ почувствовать Меттерниху его безсиліе; Греческое королевство возникло помимо желанія Австріи; при

выборъ греческаго короля Австрія оставалась безъ голоса, и дѣло было рѣшено Англійей и Россіей. Словомъ, съ легкой руки Каннинга, униженія слѣдовали за униженіями, и бывшій законодатель Европы навсегда потерялъ свое громадное вліяніе; онъ пробовалъ завязать сношенія съ Россіей, снова втянуть ее въ священный союзъ, но дѣло не шло на ладъ; многое измѣнилось въ обстоятельствахъ и въ личностяхъ, много воды утекло, и воротить начало 20-хъ годовъ было невозможно; идеи, ненавистныя Меттерниху, окрѣпли во время гоненія и готовы были, при первомъ удобномъ случаѣ, вспыхнуть во всей своей яркости и освѣтить кропотливо выстроенное зданіе австрійской государственной мудрости.

## IX.

Въ 1830 году настроеніе умовъ въ Парижѣ сильно тревожило князя Меттерниха. Оппозиціонная партія въ палатѣ депутатовъ вела упорную борьбу съ министерствомъ Полиньяка, и за успѣхами этой борьбы слѣдили съ тревожнымъ вниманіемъ люди всѣхъ партій во всѣхъ странахъ континентальной Европы; одни надѣялись, другіе боялись; къ числу послѣднихъ принадлежалъ, конечно, австрійскій министръ; онъ видѣлъ, что въ Парижѣ волнуются, постепенно сближаясь между собою, республиканцы и бонапартисты; онъ зналъ, что ихъ идеи и стремленія находятъ сочувствіе и въ Испаніи, и въ Италіи, и въ Германіи, и даже въ наслѣдственныхъ земляхъ Австрійской Имперіи; онъ видѣлъ кромѣ того, что Карлъ X и министръ его Полиньякъ вполне увѣрены въ силѣ своего правительства, и эта легкомысленная самоувѣренность, основанная на незнаніи настоящаго положенія дѣлъ, еще болѣе безпокоила князя Меттерниха; онъ боялся, чтобы какой-нибудь самовластный поступокъ французскаго правительства не повелъ къ страшной катастрофѣ; онъ постоянно упрасивалъ князя Полиньяка дѣйствовать осторожно и мало-по-малу стѣснять дѣятельность оппозиціонной партіи; Полиньякъ успокаивалъ его самыми положительными общаніями, а между тѣмъ въ глубокой тайнѣ работалъ вмѣстѣ съ королемъ надъ составленіемъ новыхъ ордонансовъ, измѣняющихъ конституцію 1815 года. Въ концѣ юлія 1830 года князь Меттернихъ получилъ отъ своего посланника въ Парижѣ самыя успокоительныя извѣстія; ему писали, что ни Карлъ X, ни Полиньякъ не думаютъ предпринимать никакихъ рѣшительныхъ мѣръ, и что оппозиціонная партія съ своей стороны не обнаруживаетъ никакихъ враждебныхъ намѣреній. Но вслѣдъ за этими утѣшительными извѣстіями явились депеши совершенно другаго свойства. Оказалось, что Карлъ X и Полиньякъ въ послѣднихъ числахъ юлія попытались ввести новые ордонансы,

и что въ Парижѣ тотчасъ же вспыхнуло страшное возстаніе; Меттернихъ разразился проклятіями противъ безразсудныхъ посягательствъ французскаго правительства; когда же онъ узналъ о томъ, что Бурбоновъ выгоняютъ изъ Франціи, онъ пришелъ въ совершенное уныніе. «Теперь все пропало,—говорилъ онъ,—теперь вездѣ загорится!»

Дѣйствительно, приверженцы либеральной партіи подняли голову; въ Бельгіи вспыхнула революція, окончившаяся распаденіемъ Нидерландскаго королевства; въ Германіи обнаружилось броженіе; въ Гессенѣ, въ Саксоніи и въ Брауншвейгѣ произошли отдѣльныя возстанія; при такомъ положеніи дѣлъ Меттерниху и думать нечего было о томъ, чтобы вести съ революціей наступательную войну и бороться съ ея результатами во Франціи; ему надо было употребить всѣ усилія, чтобы уцѣлѣть въ Вѣнѣ и сохранить спокойствіе въ разнородныхъ доскуткахъ австрійской монархіи. Поэтому онъ показывалъ себя готовымъ на всякаго рода уступки и началъ съ того, что первый призналъ Людовика-Филиппа, получившаго корону изъ рукъ торжествующей революціи, законнымъ королемъ Франціи; точно такъ же было признано существованіе отдѣльнаго Бельгійскаго королевства; точно такъ же были фактически признаны результаты брауншвейгской революціи, низвергнувшей съ престола герцога Карла, пользовавшагося особеннымъ расположеніемъ князя Меттерниха.

Осторожно и уступчиво повелъ себя австрійскій министръ въ отношеніи къ оппозиціи, начинавшей возникать въ мадьярской націи. Вниманіе народа, по распоряженіямъ правительства, было отвлечено на блестящіе празднества, сопровождавшія собою коронацію эрцгерцога Фердинанда, объявленнаго венгерскимъ королемъ при жизни отца своего, Франца I. Когда въ сеймѣ произошли пренія насчетъ рекрутскихъ наборовъ и взиманія податей, правительство на всѣхъ пунктахъ уступило настоятельнымъ требованіямъ оппозиціи. Эта неожиданная уступчивость смягчила воинственное настроеніе умовъ, и всеобщее воодушевленіе венгерской націи не пошло ей въ прокъ, благодаря уклончивой робости князя Меттерниха.

Уступая въ Венгріи, Меттернихъ не хотѣлъ уступать въ Италіи; это былъ послѣдній уголокъ, въ которомъ съ грѣхомъ пополамъ держалась его отжившая система; мелкіе итальянскіе владѣтели боялись своихъ собственныхъ подданныхъ и съ величайшей радостью принимали отъ Австріи вооруженныхъ блюстителей порядка; Италіи недоставало единодушія; смѣлыхъ патриотовъ было довольно, но они были разсѣяны и дѣйствовали врознь. То въ Моденѣ, то въ папской области, то въ Неаполѣ обнаруживались волненія, но приходили австрійскіе солдаты и тушили огонь, прежде чѣмъ онъ успѣвалъ разгорѣться. Евро-

пейскія державы обыкновенно не мѣшали этимъ упражненіямъ австрійскихъ отрядовъ и смотрѣли на вмѣшательство Австріи, какъ на дѣло очень естественное и вполнѣ законное. Но послѣ июльской революціи новое французское правительство, чувствуя настоятельную потребность поддерживать свою популярность въ глазахъ тѣхъ людей, которымъ оно обязано было своимъ возвышеніемъ, — рѣшилось защищать національные интересы Италіи противъ посягательства Австріи.

Въ мартѣ 1831 года французскій кабинетъ объявилъ Меттерниху, что вступленіе австрійской арміи въ итальянскія земли можетъ подать поводъ къ войнѣ съ Франціей; что война эта возможна, если австрійцы займутъ Модену, правдоподобна, если они войдутъ въ папскую область, и неизбежна, если они перешагнутъ черезъ границу Пиемонта. Когда Меттернихъ, несмотря на это объявленіе, двинулъ войска въ Болонью, въ которой обнаружилось возстаніе, то французское правительство отъ словъ перешло къ дѣлу: Людовикъ-Филиппъ послалъ сильную эскадру и захватилъ приморскую крѣпость Анкону, чтобы, въ случаѣ дальнѣйшихъ предпріятій со стороны Австріи, имѣть противъ нея точку опоры въ папской области. Въ это самое время французскій посланникъ при папскомъ дворѣ убѣждалъ Пія VIII уступить желанію недовольнаго народа и отнять такимъ образомъ у Австріи поводъ къ вмѣшательству. Требованія Франціи поддерживала Англія; на сторонѣ Австріи находилась Пруссія. Меттернихъ боялся войны, и потому со своей обыкновенной технической ловкостью отсудилъ, поддерживая только внѣшнее благообразіе; но самъ передъ собою, въ тиши своего рабочаго кабинета, австрійскій министръ не могъ не сознаться въ томъ, что даже въ Италіи, на которую постоянно было обращено его бдительное вниманіе, выражавшееся въ многочисленныхъ арестахъ и въ постоянномъ движеніи военныхъ отрядовъ, даже въ Италіи, повторю я, преобладаніе австрійской политики колеблется и становится сомнительнымъ.

Тоскливо оглядываясь вокругъ себя, отыскивая испуганнымъ взоромъ друзей и единомышленниковъ, князь Меттернихъ попробовалъ пустить въ ходъ старое средство, приносившее такіе блестящіе результаты въ Ахенѣ, въ Тропавѣ, въ Лайбахѣ и въ Веронѣ; онъ попробовалъ освѣжить идею священнаго союза и пригласилъ короля прусскаго пріѣхать въ одинъ изъ городовъ Австріи для совѣщанія съ императоромъ Францомъ о дѣлахъ Европы. Свиданіе между вѣнцесосадами произошло въ Мюнхенъ-Грецѣ, въ Богеміи, но не принесло тѣхъ послѣдствій, которыхъ такъ усердно добивался Меттернихъ. Тѣсный оборонительный и наступательный союзъ, котораго желалъ Меттернихъ, не состоялся, потому что Пруссія не обнаружила того консерва-

тивного рвенія, которымъ пылалъ австрійскій министръ. Неодобряя дѣйствій французскаго правительства въ папской области, Пруссія ограничилась однако тѣмъ, что выразила это неодобреніе очень миролюбивымъ тономъ, въ очень умѣренныхъ дипломатическихъ нотахъ. Нота австрійскаго правительства, напротивъ того, была написана рѣзко, она обвиняла французскій кабинетъ въ поощреніи безпорядковъ и объявляла торжественно, что Австрія, Пруссія и Россія готовы съ оружіемъ въ рукахъ поддерживать спокойствіе въ тѣхъ странахъ, которыя Франція волнуешь своимъ влияніемъ. Ни Пруссія, ни Россія не уполномочивали Меттерниха пользоваться ими; грозя Франціи вооруженнымъ вмѣшательствомъ трехъ великихъ державъ, нашъ дипломатъ общалъ больше, чѣмъ онъ могъ выполнить; французское правительство поняло это и отвѣчало очень рѣшительно, что Франція никогда не потерпитъ ничего вмѣшательства въ Бельгіи, въ Швейцаріи и въ Пиемонтѣ. Въ Бельгіи и въ Швейцаріи — это еще ничего! Но въ *Пиемонтѣ*, лежащемъ на границѣ Ломбардо-Венеціанскаго королевства! Въ Пиемонтѣ не имѣть права возстановлять порядокъ—это, по мнѣнію Меттерниха, значило отказаться отъ итальянскихъ владѣній, значило признать себя побѣжденнымъ до начала сраженія. А между тѣмъ, какъ ни страдало сердце государственнаго канцлера, пришлось покориться и этому тягостному ограниченію. Находясь въ крайне затруднительномъ положеніи, Меттернихъ попробовалъ пропустить мимо ушей то, что было сказано о Пиемонтѣ; онъ отвѣчалъ французскому посланнику, что требованія Франціи касательно Бельгіи и Швейцаріи совершенно законны; французскій посланникъ замѣтилъ ему, что онъ забываетъ Пиемонтъ; Меттернихъ выразилъ притворное удивленіе, потомъ благородное негодованіе, но французскій дипломатъ продолжалъ настаивать; Англія также поддержала это послѣднее требованіе, и Меттерниху пришлось уступить, потому что ни Пруссія, ни Россія не изъявляли желанія проливать кровь своихъ гражданъ за неприкосновенность австрійскихъ владѣній въ Италіи и за торжество меттерниховой системы въ континентальной Европѣ.

Тайная ненависть Меттерниха къ королю Людовику-Филиппу, возвысившемуся путемъ революціи, постепенно возрастала по мѣрѣ того, какъ политика новаго французскаго правительства парализовала его влияніе на европейскія событія. Въ рукахъ Меттерниха находилось вѣрное средство надѣлать этому ненавистному правительству множество хлопотъ; при австрійскомъ дворѣ жилъ герцогъ Рейхштадтскій, о которомъ я уже упоминалъ прежде, и этимъ именемъ можно было бы отъ времени до времени грозить Орлеанской династіи точно такъ же, какъ до ея вступленія на престолъ грозили династіи Бурбоновъ. Но угрозы Меттерниха выполнялись такъ рѣдко, и

въ этомъ случаѣ выполненіе ихъ было такъ ненадежно, что правительство Людовика-Филиппа выслушало ихъ съ полнымъ равнодушіемъ, зная какъ нельзя лучше, что императоръ Францъ I никогда не выпуститъ своего внука изъ Вѣны и не позволитъ ему овѣдать заманчиво-тревожной жизни политическаго авантюриста. Герцогъ Рейхштадтскій хорошо понималъ свое положеніе и не могъ съ нимъ мириться. Ему пошелъ двадцать-второй годъ; онъ былъ уменъ и честолюбивъ; подвиги его отца рисовались ему какими-то баснословными дѣяніями сказочнаго героя; они раскаляли его молодое воображеніе; онъ чувствовалъ въ себѣ силы идти путемъ своего отца, онъ рвался къ шумной дѣятельности, онъ задыхался въ атмосферѣ вѣнскихъ салоновъ; его не пускали на волю, а между тѣмъ онъ зналъ, что многочисленная партія требуетъ его присутствія во Франціи; постоянная тревога, постоянно сдерживаемыя нравственныя страданія разбили его здоровье, онъ истомился, зачахъ и въ 1832 году умеръ въ той самой комнатѣ Шенбрунскаго замка, въ которой отецъ его въ былые годы диктовалъ Австріи условія унижительнаго мира.

Смерть герцога Рейхштадтскаго разстроила на время надежды бонапартистовъ во Франціи, но надежды эти сосредоточились скоро съ новой силой на одномъ изъ племянниковъ «великаго императора»,—на томъ самомъ, которому удалось совершить переворотъ 2-го декабря 1851 года.

Чисто германскія дѣла требовали со стороны Меттерниха самаго неуклоннаго вниманія; подъ вліяніемъ іюльскихъ событій 1830 года, въ германской націи просыпались тѣ опасныя стремленія къ національному единству и къ самоуправленію, которыя австрійскій министръ успѣлъ задуть послѣ войны съ Наполеономъ I. Симптомы болѣзни были тѣ же; стало быть, надо было, по мнѣнію Меттерниха, пустить въ ходъ тѣ лѣкарства, которыхъ дѣйствіе уже было испытано въ прошедшемъ кризисѣ. Опять началась дѣятельная переписка вѣнскаго кабинета съ различными дворами Германіи; однихъ упрасивали, другихъ увѣщевали, третьихъ усобѣщивали; всѣмъ грозили ужасами революціи, отъ всѣхъ требовали энергическихъ мѣръ. Энергическія мѣры, которыхъ требовалъ Меттернихъ, состояли въ усиленіи полицейскаго надзора, проявляющагося въ самыхъ разнообразныхъ и замысловатыхъ формахъ; во Франкфуртѣ-на-Майнѣ была учреждена центральная слѣдственная коммиссія, что-то въ родѣ комитета общественной безопасности; эта коммиссія должна была преслѣдовать и отыскивать либерализмъ во всемъ... Прежде всего упала, конечно, гроза на литературу, на журналистику и на книжную торговлю; посыпались аресты, денежные штрафы и запрещенія; всякія политическія сходки и народныя праздники были запрещены; политическія рѣчи считались преступленіемъ; кокарда на шляпкѣ или цвѣтная

лента въ костюмѣ считались нарушеніемъ общественнаго спокойствія.

Имя Меттерниха, которому совершенно основательно приписывалась инициатива реакціонныхъ мѣръ, сдѣлалось предметомъ ненависти... Сеймъ, служившій Меттерниху послушнымъ орудіемъ, потерялъ всякое значеніе въ глазахъ націи; его узаконенія и декреты, издававшіеся цѣлыми десятками по поводу самыхъ ничтожныхъ происшествій, надѣли всѣмъ и возбуждали презрительный смѣхъ; слабость и робость центрального правительства, душой котораго былъ Меттернихъ, выражались самымъ нагляднымъ образомъ въ этомъ ни на что ненужномъ обиліи указовъ и постановленій, постоянно повторявшихся и постоянно нарушавшихся. Между тѣмъ недовольствіе народа прорывалось въ частныхъ демонстраціяхъ; старыя бытовыя формы, подправленныя въ 1815 году, не удовлетворяли молодого поколѣнія, на глазахъ котораго совершились іюльскія событія. Меттернихъ все-таки не понималъ и не хотѣлъ понять того, что нація стремится къ новой политической жизни, и что ни подумѣры, ни уступки не заставятъ ее помириться съ положеніемъ дѣлъ. Онъ думалъ, что разогнать представительное собраніе значить уничтожить въ народѣ стремленіе къ самоуправленію; запретить книгу или газету значило, по его мнѣнію, искоренить тотъ вредный образъ мыслей, которому она обязана своимъ происхожденіемъ. Словомъ, вдавливая внутрь проявленіе какого-нибудь принципа, Меттернихъ думалъ уничтожить самый принципъ. Такимъ образомъ, имѣя въ виду радикальное усюкоеніе Германіи, стремившейся, по его мнѣнію, къ губительной анархіи, Меттернихъ въ началѣ 1834 года собралъ въ Вѣнѣ посланниковъ отъ всѣхъ нѣмецкихъ правительствъ для того, чтобы по общему соглашенію совокупными силами раздавить революціонную партію въ Германіи. Изъ рѣчи, которую Меттернихъ произнесъ передъ началомъ перваго засѣданія, видно, какое огромное значеніе онъ придавалъ этой партіи:

«Волненія нашей эпохи,—говорилъ между прочимъ австрійскій министръ,—породили партію, которой смѣлость, поощряемая нашей уступчивостью, дошла до невозможительной дерзости. Враждуя съ властями и авторитетами, считая себя призванной къ господству, эта партія среди общаго политическаго мира поддерживаетъ внутреннюю войну, отравляетъ духъ и настроеніе народа, соблазняетъ юношество, отуманиваетъ даже людей зрѣлаго возраста, путаешь и искажаетъ всѣ общественныя и частныя отношенія, сознательно подстрекаетъ подданныхъ къ систематическому недовѣрью противъ законныхъ государей и проповѣдуетъ разрушеніе и уничтоженіе всего существующаго. Эта партія успѣла вселиться въ представительныя собранія, учрежденныя въ германскихъ государствахъ. Дѣйствуя по



строго обдуманному плану, она сначала довольствовалась тѣмъ, что въ палатахъ депутатовъ составила противовѣсъ вліянію правительствъ. На этомъ ея стремленія не остановились: она старалась усилить свое значеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ заключить правительственную власть въ возможно тѣсныя границы; наконецъ, она пожелала, чтобы дѣйствительная власть изъ рукъ вѣнцеснца была перенесена въ представительныя собранія... И должно сознаться, партія эта, къ сожалѣнію, во многихъ мѣстахъ, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, достигаетъ своей цѣли; если высококатящаяся волна этого направленія не встрѣтитъ на пути своемъ крѣпкой плотины, если успѣхамъ этой партіи не будетъ положенъ конецъ, то въ скоромъ времени изъ рукъ многихъ правителей ускользнетъ послѣдняя тѣнь монархической власти».

Отрывшись рѣчью государственнаго канцлера, вѣнскаго конференціи повели къ слѣдующимъ результатамъ: протоколъ 12-го іюня 1834 года отнялъ у представительныхъ собраній германскихъ государствъ все ихъ дѣйствительное значеніе; эти собранія лишились права отказывать правительствамъ въ податяхъ и налогахъ и обсуживать государственный бюджетъ. Университеты и вся система народнаго образованія были подчинены строгому полицейскому надзору; значеніе суда присяжныхъ въ дѣлѣ литературныхъ преступленій было стѣснено вмѣшательствомъ администраціи; представительныя собранія; школы и литература—словомъ, всѣ проявленія народной мысли были систематически сдавлены; большая часть статей этого протокола, по рѣшенію совѣщавшихся лицъ, была оставлена въ тайнѣ; примѣръ Карла X и его ордонансовъ былъ еще слишкомъ свѣжъ въ памяти Меттерниха; рѣшаясь подражать дѣйствіямъ неосторожнаго французскаго короля, Меттернихъ не рѣшался подражать его отважной откровенности. Должно замѣтить, что нѣкоторые изъ германскихъ государей съ неудовольствіемъ исполняли рѣшенія вѣнскихъ конференцій; они понимали, что подобныя распоряженія отнимаютъ у правительства всякую нравственную опору, подрываютъ и губятъ его популярность, ставятъ его въ открытую оппозицію съ разумными стремленіями націи. «Намъ,—пишетъ одинъ изъ тогдашнихъ государей,—слѣдовало бы огорчаться результатами вѣнскихъ конференцій; онѣ отняли у насъ любовь и довѣріе нашихъ подданныхъ; мы лишились ихъ по милости Меттерниха. Если мы когда-нибудь снова достигнемъ сочувствія нашего народа, то это будетъ съ нашей стороны великая заслуга; но, говоря откровенно, я не знаю, какимъ образомъ можно будетъ засыпать бездну, отдѣляющую теперь престолъ отъ хижины простыхъ гражданъ, государя—отъ народа».

Государи, лично заинтересованные въ поддержаніи монархическаго принципа, были такимъ

образомъ недовольны излишней услужливостью и безтолковымъ усердіемъ Меттерниха, громко величавшаго себя самой надежной опорой европейскихъ престоловъ. Государи упрекали его въ томъ, что онъ вредилъ ихъ дѣйствительнымъ интересамъ и компрометировалъ ихъ имена въ общественномъ мнѣніи. Меттернихъ не могъ не знать ихъ мнѣнія; онъ самъ разными дипломатическими маневрами, угрозами и притѣсненіями навязывалъ свою политику тѣмъ государямъ Германіи, которые не хотѣли отнимать назадъ предоставленныя права; такъ поступилъ онъ съ Баденскимъ великимъ герцогомъ, а поступая такимъ образомъ, онъ уже не могъ говорить, что отстаиваетъ права монарховъ; и дѣйствительно, Меттернихъ не былъ чистосердечнымъ монархистомъ; онъ былъ бюрократомъ и, какъ бюрократъ, тѣснилъ и преслѣдовалъ выборное начало.

## X.

2-го марта 1835 года умеръ императоръ Францъ I, и политическій міръ Европы задалъ себѣ интересный вопросъ: какимъ образомъ и въ какомъ отношеніи измѣнится положеніе князя Меттерниха? Императоръ и его первый министр, дѣйствовавшіе заодно въ продолженіе 25 лѣтъ, сжились между собою, коротко узнали другъ друга и не разстались бы ни въ какомъ случаѣ, хотя бы императоръ Францъ прожилъ еще нѣсколько десятковъ лѣтъ. Гибкость и уступчивость князя Меттерниха уже давно расположили въ его пользу Франца I, не терпѣвшаго ни въ комъ изъ своихъ приближенныхъ присутствія собственной воли и самостоятельныхъ убѣжденій; между императоромъ и министромъ существовало различіе, но это различіе исчезало въ практической дѣятельности, благодаря драгоцѣнному свойству Меттерниха безъ малѣйшей боли отступать отъ идей и принциповъ. Францъ I былъ вѣрующій католикъ, Меттернихъ былъ скептикъ и индифферентистъ; Францъ I былъ злопамятенъ и мститель; Меттернихъ легко забывалъ обиды и никогда никого не преслѣдовалъ своей ненавистью; Францъ въ своемъ отвращеніи къ нововведеніямъ доходилъ до слѣпноты фанатизма; Меттернихъ былъ не прочь отъ мелкихъ улучшеній, лишь бы только проектъ подобныхъ улучшеній былъ выработанъ правительственнымъ лицомъ и облеченъ въ канцелярскія формы. Меттернихъ очень часто не сочувствовалъ распоряженіямъ своего государя, но всегда являлся его послушнымъ орудіемъ; Францъ I намѣчалъ общее направленіе, въ которомъ слѣдуетъ вести дѣло, а Меттернихъ, сохраняя про себя свое сочувствіе или несочувствіе, придумывалъ, какимъ образомъ провести это направленіе въ отдѣльныхъ отрасляхъ администраціи. При жизни императора Франца Меттернихъ составилъ

проектъ амнистіи для политическихъ преступниковъ Ломбардіи; императоръ не утвердить этого проекта, Меттернихъ немедленно отложилъ его въ сторону и съ прежнимъ усердіемъ продолжалъ поддерживать тѣ мелкія притѣсненія, на которыя жалуются въ своихъ мемуарахъ Сильвіо Пеллико, Паллавичино и другіе шпильбергскіе арестанты. Францу I нуженъ былъ расторопный исполнитель, и Меттернихъ, изучившій своего государя, былъ незаменимъ для императора Франца, какъ чиновникъ по особымъ порученіямъ.

Какъ посмотреть на этого чиновника новый государь, и сумѣетъ ли шестидесятилѣтній министръ съ надлежащей быстротой приоровиться къ новымъ требованіямъ,—вотъ какъ формулировался вопросъ, занимавшій умы европейскихъ дипломатовъ въ первое время послѣ смерти стараго императора. Новый государь, тридцатишестилѣтній Фердинандъ I, носившій титулъ короля венгерскаго со времени своей коронаціи въ Пресбургѣ въ сентябрѣ 1830 г., почти ни въ чемъ не былъ похожъ на своего отца; онъ былъ человѣкъ очень болѣзненный, съ трудомъ могъ сосредоточить свои мысли на обсужденіи серьезнаго предмета и не выдерживалъ двухчасоваго засѣданія въ государственномъ совѣтѣ; всѣ люди, знавшіе его въ то время, когда онъ былъ еще наслѣднымъ принцемъ, любили его за краткій нравъ и отъ души жалѣли о томъ, что болѣзнь, ослабляющая умственные способности, мѣшаетъ новому государю провести въ жизнь съ должной энергіей человѣколюбивыя стремленія. Первымъ дѣломъ Фердинанда по вступленіи на престолъ было облегченіе участи итальянцевъ, заключенныхъ въ Шпильбергъ и въ Мункачъ; узникамъ этимъ позволено было выселиться въ Америку. Фердинандъ могъ сдѣлать много частичнаго добра, но измѣнить господствующее направленіе политики онъ былъ не въ состояніи; съ благоговѣніемъ почительнаго сына принялъ онъ изъ рукъ отца санъ императора, а вмѣстѣ съ этимъ саномъ получилъ инструкціи, въ непреложность которыхъ онъ безусловно вѣрилъ. Всѣ старые слуги Франца I были оставлены на прежнихъ мѣстахъ, и князь Меттернихъ, вскорѣ послѣ смерти стараго императора, получалъ отъ Фердинанда собственноручное ласковое письмо, въ которомъ новый государь благодарилъ министра за услуги, оказанныя имъ габсбургскому дому и Австрійской имперіи, и просилъ по прежнему отправлять обязанности государственнаго канцлера. Несмотря на это любезное обращеніе Фердинанда къ старому слугѣ покойнаго отца, положеніе Меттерниха при новомъ правительствѣ чувствительно измѣнялось. При Францѣ государственный канцлеръ былъ исполнителемъ монаршей воли и представителемъ высочайшей особы, и потому все безропотно и безпрекословно склонялось предъ его могуществомъ. При Фердинандѣ этого не могло

быть, потому что, во-первыхъ, у императора не было определенной воли, и потому что, во-вторыхъ, князь Меттернихъ вовсе не пользовался его исключительнымъ или даже преобладающимъ расположеніемъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, природный чехъ, графъ Коловратъ-Либштейнскій, послѣ смерти Франца явился соперникомъ государственнаго канцлера, и несогласія между этими важнѣйшими правительственными лицами стали часто нарушать ходъ административныхъ распоряженій. Коловратъ, какъ государственный человѣкъ, былъ даровитѣе, смѣлѣе и популярнѣе Меттерниха, но главной причиной размолвокъ между обоими министрами было не столько существенное различіе въ коренныхъ убѣжденіяхъ, сколько мелочное желаніе каждаго изъ нихъ поставить на своемъ и подчинить соперника своему вліянію.

Несогласія начались съ того, что Коловратъ составилъ проектъ о новомъ устройствѣ государственнаго совѣта, а Меттернихъ изъявилъ желаніе учредить конференціонный совѣтъ, какъ высшую административную инстанцію. Государственный совѣтъ въ то время фактически не существовалъ; онъ никогда не собирался въ полномъ своемъ составѣ, и только отдѣльные департаменты его имѣли дѣйствительное значеніе; между тѣмъ Коловратъ пользовался титуломъ председателя государственнаго совѣта, и ему хотѣлось придать этому титулу фактическую силу; для этого надо было, но его мнѣнію, превратить государственный совѣтъ въ высшее государственное мѣсто, предоставить председателямъ его отдѣльныхъ департаментовъ право дѣлать словесные доклады самому императору и учредить общія собранія всѣхъ департаментовъ. Председателемъ этого общаго собранія государственнаго совѣта былъ бы, конечно, графъ Коловратъ, и черезъ это его вліяніе могло бы даже перевѣсить значеніе князя Меттерниха.

Но Меттернихъ также не оставался въ бездѣйствіи; его сторону держалъ эрцгерцогъ Людовикъ, братъ покойнаго Франца I, и оба совокупными силами противодѣйствовали проекту Коловрата; они считали исполненіе этого проекта опаснымъ, они боялись, чтобы государственный совѣтъ, соединившись въ одно административное дѣло, не составилъ сильной оппозиціи намѣреніямъ и стремленіямъ самодержавнаго правителя; со стороны Меттерниха къ этимъ опасеніямъ примѣшивалось, конечно, въ значительной степени невысказанное, чисто личное и очень мелкое чувство зависти къ возрастающему вліянію Коловрата. Чтобы ни въ какомъ случаѣ не предоставить послѣднему рѣшительнаго перевѣса, Меттернихъ предложилъ оставить государственный совѣтъ въ покоѣ и дать новое устройство конференціонному совѣту, въ которомъ окончательно обсуживались и рѣшались важныя государственныя вопросы. Членами этого совѣта были только

Меттернихъ и Коловратъ. Когда они не соглашались между собою, тогда не было никакой возможности рѣшить предложенный вопросъ, и государственная машина принуждена была остановиться въ своемъ движеніи до тѣхъ поръ, пока не уступитъ кто-нибудь изъ обоихъ членовъ конференціи. Обыкновенно примирителемъ и посредникомъ являлся эрцгерцогъ Людовикъ. Чтобы положить конецъ этимъ неудобствамъ, Меттернихъ предложилъ принять эрцгерцоговъ Людовика и Франца въ число постоянныхъ членовъ конференціоннаго совѣта. Въ конференціи оказалось бы такимъ образомъ четыре члена, и перевѣсъ голосовъ постоянно находился бы на сторонѣ государственнаго канцлера, потому что оба эрцгерцога вѣрили въ непогрѣшимость его политическихъ мнѣній. Планъ Меттерниха встрѣтилъ себѣ сочувствіе въ императорской фамиліи, а Коловратъ, чувствуя себя побѣжденнымъ, удалился отъ государственныхъ дѣлъ и уѣхалъ въ свои помѣстья. Безъ него не сумѣли управиться; эрцгерцоги старались помирить его съ Меттернихомъ, и кончилось тѣмъ, что Коловратъ возвратился въ Вѣну, принявъ на себя управление министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и министерствомъ финансовъ, отказался отъ перестройки государственнаго совѣта и согласился вмѣстѣ съ Меттернихомъ и двумя эрцгерцогами засѣдать въ государственной конференціи. Государственные дѣла пошли своимъ обычнымъ ходомъ, еще являе, еще медленнѣе, чѣмъ они шли при Францѣ I; всѣ важные чиновники чувствовали необходимость перемѣны, но никто изъ нихъ не зналъ, какъ приступить къ дѣлу, что измѣнить, что оставить по-старому. Громадность задачи пугала ихъ тѣмъ болѣе, что ни на одномъ пунктѣ они не могли между собою согласиться. Всѣ они чего-то ожидали, чего-то боялись и не смѣли прийтись къ существующимъ учрежденіямъ.

Смерть Франца I лишила австрійскаго правительства того начала инициативы, которымъ оно отличалось въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Меттернихъ, являвшійся услужливымъ исполнителемъ предначертаній, не былъ способенъ дѣйствовать въ духъ покойнаго императора съ той твердостью и послѣдовательностью, какой отличался Францъ I. При жизни Франца Меттернихъ могъ опереться на него и поставить себя подъ его защиту; онъ дѣйствовалъ по приказанію государя и зналъ, что его не дадутъ въ обиду; при Фердинандѣ надо было держать себя иначе: возбуждать неудовольствіе подданныхъ непопулярными мѣрами было опасно, потому что добродушный и слабохарактерный императоръ не рѣшился и не сумѣлъ бы наперекоръ обществу мнѣнію защищать даже своего любимца, а Меттернихъ пользовался только официальнымъ уваженіемъ государя и не внушалъ ему особенной симпатіи. Если бы Меттернихъ деспотическими распоряженіями возбудилъ про-

тивъ себя въ австрійскихъ подданныхъ ту ненависть, которую уже давно чувствовали къ нему иностранцы, то онъ упалъ бы съ своего высокаго мѣста; онъ это зналъ, и потому, угнетая нѣмцевъ и итальянцевъ сѣтью дипломатическихъ интригъ, держалъ себя очень осторожно въ отношеніи къ ближайшимъ подданнымъ своего государя. Онъ постоянно уступалъ требованіямъ венгерской оппозиціи, и уступалъ изъ личнаго чувства самосохраненія въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ съ точки зрѣнія монархическаго принципа слѣдовало пустить въ ходъ энергическія мѣры. Въ 1836 г. Кошутъ въ первый разъ обнаружилъ засѣданія венгерскаго сейма, распустивъ по всей Венгріи литографированные отчеты. Правительство сдѣлало попытку остановить обращеніе этихъ листовъ, но встрѣтило сильное сопротивленіе и, не смѣя раздражать энергическую націю, сдѣлало важную уступку: съ 1839 г. въ венгерскихъ газетахъ стали печататься подробные отчеты о засѣданіяхъ сейма, и нѣмецкій языкъ былъ вытѣсненъ изъ официальныхъ актовъ.

Чувство національности, подавленное системой Франца I и его предшественниковъ, стало расправлять свои крылья и почти мгновенно выросло на глазахъ самого Меттерниха, который, конечно, не сочувствовалъ его проявленіямъ и, между тѣмъ, не смѣлъ прикоснуться къ тому, за что народъ готовъ былъ поднять оружіе. Уступки, которыя Меттернихъ дѣлалъ требованіямъ массъ, не возбуждали къ нему сочувствія и не оправдываютъ его личности въ глазахъ исторіи. Уступки эти были чисто вынужденныя; народности, обращавшія ихъ въ свою пользу, презирали министра за его слабость. Проявленіемъ слабости, слѣдствіемъ малодушнаго страха объяснялись и объясняются до сихъ поръ всѣ уклоненія Меттерниха отъ системы Франца I. Если Меттернихъ не сочувствовалъ мѣрамъ своего покойнаго государя, то, стало-быть, онъ служилъ при немъ изъ-за жалованья и изъ-за внѣшняго почета; если онъ сочувствовалъ этимъ мѣрамъ, то, стало-быть, онъ теперь отступилъ отъ нихъ вслѣдствіе мелкой трусости. Полинъ какъ въ сравненіи съ Меттернихомъ является героемъ и мученикомъ. Чѣмъ ближе всматриваемся мы въ человѣческую личность Меттерниха, тѣмъ болѣе убѣждаемся въ томъ, что въ ней нельзя найти ни одной выкупающей черты. Все въ этомъ человѣкѣ мелко, посредственно. Ни дальновидности, ни великодушія, ни даже мужественной твердости. Неумѣние обсуживать государственные вопросы и неспособность твердо держаться принятаго рѣшенія кладутъ на всю дѣятельность Меттерниха послѣ смерти Франца I печать жалкаго бесилія и совершенной безхарактерности. Онъ постоянно идетъ ошупью, постоянно боится споткнуться на какомъ-нибудь препятствіи; ему совѣстно стоять на одномъ мѣстѣ и страшно идти впередъ; народныя силы ему по прежнему

неизвѣстны и по прежнему пугаютъ разными небывалыми призраками болѣзненно-настроенное воображеніе; ему вездѣ мерещится революція, и онъ не знаетъ, въ какую сторону бѣжать отъ нея. Пруссія предлагаетъ, наприимѣръ, очень простой проектъ: уничтожить заставы и таможи между германскими государствами и составить для всей Германіи общій таможенный уставъ; выгода очевидная: торговля оживится, потому что товары не будутъ задерживаться, общеніе между мелкими германскими государствами сдѣлается тѣснѣе, и торговля сношенія ихъ съ иностранцами будутъ удобнѣе; но Меттернихъ эту очевидную выгоду не принимаетъ въ соображеніе; онъ не понимаетъ того, что Австрія, взявши на себя устройство дѣла, выгоднаго для Германіи, можетъ усилить свое значеніе и увеличить политическое вліяніе. Проектъ Пруссіи тотчасъ возбуждаетъ въ немъ недовѣріе; онъ дипломатическимъ путемъ начинаетъ противодѣйствовать осуществленію, потомъ понемногу мирится съ нимъ, потомъ, наконецъ, становится покровителемъ той самой идеи, противъ которой онъ интриговалъ; но эту идею онъ не въ силахъ привести въ исполненіе; ее осуществляетъ уже послѣ паденія Меттерниха баронъ фонъ-Брукъ, присоединившій Австрію къ германскому таможенному союзу въ 1853 году; между тѣмъ, толки о возможности подобнаго торговаго договора между Австріей и Германіей происходили еще въ 1834 году; спрашивается, по чьей милости девятнадцать лѣтъ прошло въ пустыхъ переговорахъ? Положимъ даже, что Меттернихъ чисто-сердечно желалъ успѣха этой реформѣ, положимъ, онъ даже работалъ въ ея пользу, это нисколько не снимаетъ съ него вины и отвѣтственности. Возникаетъ вопросъ, на который не сумѣютъ отвѣтить самые ревностные защитники государственнаго канцлера: отчего этотъ человекъ, собиравшій конгрессы и конференціи, въ родѣ карлсбадскихъ и вѣнскихъ, отчего этотъ самый человекъ былъ такъ слабъ, когда надо было и когда можно было принести управляемому народу существенную пользу? Въ этомъ вопросѣ заключается полное осужденіе Меттерниха.

## XI.

Внѣшняя политика Меттерниха послѣ 1830 года и особенно послѣ смерти Франца I сдѣлалась совершенно робкой и нерѣшительной. Англія, Франція и даже Пруссія постоянно стремились къ расширенію своего политическаго вліянія, а между тѣмъ Австрія постоянно заботилась только о томъ, чтобы сохранить внѣшнюю представительность и удержать за собою блѣдную тѣнь того могущества, которымъ она пользовалась послѣ 1815 года. Князь Меттернихъ терпѣлъ постоянныя пораженія на дипломатическомъ поприщѣ

и только крайней уступчивостью умѣлъ маскировать чувствительность этихъ неудачъ. Уступчивость эта, происходившая отъ безсилія и отъ робости, называлась благоразуміемъ и оправдывалась желаніемъ поддержать въ Европѣ миръ и спокойствіе. Греческое королевство, возникшее помимо воли и даже вопреки желанію Меттерниха, рѣшительно не подчинялось вліянію Австріи; Бельгійское королевство отложилось отъ Нидерландовъ и, благодаря содѣйствію Франціи и Англіи, рѣшительно отстояло свою независимость, несмотря на пассивное сопротивленіе Австріи. Донъ Мигуэль, любимецъ Меттерниха и ревностный послѣдователь его политическихъ теорій, былъ изгнанъ изъ Португаліи, и Австрія не дѣлала въ его пользу ни малѣйшаго распоряженія; въ Испаніи вспыхнула революція, сбросившая съ престола Дона Карлоса, и Меттернихъ не рѣшился поддерживать изгнаннаго инфанта; всѣ политическіе вопросы рѣшались совершенно противно желанію австрійскаго министра, и онъ оставался безгласнымъ, иногда слабо возражалъ, иногда пускалъ въ ходъ мелкую интрижку, но никогда не заявлялъ рѣшительнаго протеста, боясь пораженія и не надѣясь на свои силы. Съ тѣхъ поръ, какъ Каннингъ разрушилъ вѣру въ непогрѣшимость Меттерниха, ни одно дипломатическое предпріятіе не клеилось въ рукахъ австрійскаго министра, всѣ его попытки создать что-нибудь подобное священному союзу не шли въ прокъ и вели только къ усиленію полицейскаго элемента въ управленіи Германіи или къ изобрѣтенію какой-нибудь новой стѣснительной мѣры въ отношеніи къ Италіи.

Въ 1832 году вся Европа обратила вниманіе на Турцію; египетскій паша Мегеметъ-Али, усилившійся въ своихъ владѣніяхъ, потребовалъ себѣ отъ султана сирійскія пашалыки. Султанъ отказалъ, и тогда сынъ Мегемета, Ибрагимъ, вступилъ въ Сирію съ сильной арміей, разбивъ турецкое войско, и черезъ Малую Азію грозилъ пройти къ Константинополю. Султанъ обратился съ просьбой о помощи къ Россіи; русскій флотъ отправился изъ Чернаго моря къ берегамъ Сиріи, и сильная армія вступила въ турецкія владѣнія; Меттернихъ пришелъ въ сильное безпокойство; онъ особенно боялся усилена ближайшихъ сосѣдей Австріи, онъ предвидѣлъ, что русская армія рано или поздно одержитъ побѣду надъ Ибрагимомъ, и что тогда русское правительство, выручившее султана изъ крайне опаснаго положенія, пріобрѣтетъ вліяніе на Турцію. Требовать отъ Россіи, чтобы она не вмѣшивалась въ турецкія дѣла, значило вызвать съ ея стороны рѣзкій отвѣтъ, нарушить дружескія отношенія съ русскимъ кабинетомъ и поставить себя въ необходимость или молча перенести дерзость, или объявить войну Россіи. Войны Меттернихъ не желалъ ни въ какомъ случаѣ; перспектива дипломатическаго пораженія также не имѣла для него

ничего привлекательнаго; поэтому онъ, не говоря ни слова русскому посланнику, рѣшился окольнымъ путемъ разстроить планы русскаго правительства. Чтобы сдѣлать вмѣшательство Россіи бесполезнымъ и даже невозможнымъ, надо было помирить воюющія стороны. Умирить бунтующаго подданнаго съ законнымъ государемъ было, конечно, мудро для такого усерднаго защитника легитимизма, какимъ любилъ себя выказывать передъ лицомъ Европы князь Меттернихъ. Съ точки зрѣнія системы, господствовавшей надъ континентальною Европой послѣ сверженія Наполеона I, съ точки зрѣнія той системы, которую Меттернихъ съ гордостью называлъ *своей*, слѣдовало, конечно, усмирить мятежника, возбудить въ немъ чистосердечное раскаяніе и потомъ, смотря по желанію властелина, простить дерзкаго нарушителя общественнаго спокойствія или накинуть ему на шею шелковую петлю. Но, что дѣлать, легче составлять политическія теоріи, чѣмъ примѣнять ихъ къ дѣлу. Въ настоящемъ случаѣ для Меттерниха было гораздо важнѣе устранить вмѣшательство Россіи, чѣмъ спасти достоинство законнаго государя Турецкой имперіи. Дерзкій мятежникъ Мегеметь-Али не хотѣлъ идти съ повинной головою къ своему законному повелителю; считая себя побѣдителемъ, онъ очень настоятельно требовалъ себѣ Сирію, и Меттернихъ, повидимому, нашелъ его требованіе законнымъ; по крайней мѣрѣ австрійскій интернунцій при турецкомъ дворѣ поддерживалъ домогательства египетскаго паша и доказывалъ Портѣ необходимость усилить силѣ обстоятельствъ. Австрійская логика убѣдила султана и его совѣтниковъ; сирійскій пашалыкъ былъ отданъ Мегемету-Али, и въ Кутаѣ былъ подписанъ договоръ, въ которомъ такимъ образомъ законный государь, по совѣту легитимиста Меттерниха, во всѣхъ отношеніяхъ исполнялъ требованія своего возмущившагося подданнаго.

Но въ то самое время, какъ Меттернихъ подавлялъ въ себѣ голосъ легитимизма для того, чтобы уничтожить вліяніе Россіи на Турцію, это вліяніе упрочивалось и облекалось въ законную форму. Въ мѣстечкѣ Ункляръ-Скелесси былъ заключенъ въ это время оборонительный союзъ между Турціей и Россіей. Меттерниха сильно встревожило извѣстіе объ этомъ договорѣ, который, по его мнѣнію, могъ повести къ общевропейской войнѣ; въ этой войнѣ Австріи пришлось бы непременно принять сторону того или другаго лагеря; можетъ быть, оказалась бы необходимость рѣшиться тогда, когда результатъ борьбы будетъ еще неизвѣстенъ; война на границахъ славянскихъ и мадьярскихъ владѣній Австріи могла надѣлать множество хлопотъ австрійскому правительству; усиленіе Россіи было, конечно, неприятно для патриотическаго сердца князя Меттерниха, но лучше было стерпѣть молча это усиленіе, чѣмъ изъ-за него подвергать себя опасно-

стямъ великой войны. Поэтому Меттернихъ, пожертвовавшій принципомъ легитимизма ради политическаго расчета, пожертвовалъ политическими расчетами ради самосохраненія; онъ боролся съ преобладаніемъ Россіи въ Турціи, пока оно еще устанавливалось и пока можно было подорвать его дипломатическими интригами; какъ только оно явилось узаконеннымъ фактомъ, такъ Меттернихъ тотчасъ же покорился необходимости и сталъ убѣждать представителей Франціи и Англіи послѣдовать его примѣру. Дѣйствительно, Франція и Англія успокоились, а Меттернихъ сблизился съ Россіей и заключилъ съ ней договоръ, въ силу котораго Австрія и Россія гарантировали неприкосновенность турецкихъ владѣній даже въ томъ случаѣ, если вымретъ царствующая династія.

Конечно, всѣ эти дѣйствія Меттерниха не разрѣшали и не могли разрѣшить восточнаго вопроса—они только отсрочивали смуты и раздоры на неопредѣленное время. Внутренняя слабость Оттоманской имперіи не позволяла ей существовать самостоятельно; великія европейскія державы постоянно сосредоточивали свое вниманіе на Константинополь, чтобы не допустить до рѣшительнаго преобладанія котораго-нибудь изъ ближайшихъ сосѣдей Турціи. Англія, Франція и Австрія постоянно упражнялись въ дипломатическихъ состязаніяхъ, и можно было предвидѣть, не будучи ни пророкомъ, ни великимъ политикомъ, что эти оберегатели Оттоманской Порты рано или поздно передерутся между собой, не сойдясь въ обсужденіи какого-нибудь спорнаго пункта. Знали или не знали Меттернихъ, что это такъ случится,—все равно. Во всякомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ такъ, какъ дѣйствуютъ люди, рѣшительно не заботящіеся о томъ, что будетъ впереди, лѣтъ черезъ десять или черезъ пятнадцать. Надо было кое-какъ увернуться отъ войны, и если это удавалось, Меттернихъ оказывался совершенно довольнымъ, не замѣчая того, что количество горячаго матеріала постоянно увеличивалось, и что, отсрочивая взрывъ, можно было увеличить его потрясающую силу.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ Мегеметь-Али опять обезпокоилъ султана; онъ потребовалъ, чтобы его пашалыкъ былъ объявленъ наследственнымъ въ его родѣ; когда ему отказали, онъ захватилъ въ плѣнъ весь турецкій флотъ и разбилъ армію султана при Низибѣ въ іюнь 1839 года; въ это самое время умеръ султанъ Махмудъ II, и весь дипломатическій міръ Европы пришелъ въ волненіе; всѣ государственные люди ожидали, что Россія, поручившаяся въ неприкосновенности турецкихъ владѣній, введетъ свои войска въ Турцію, чтобы охранять ее отъ притязаній египетскаго паша; если бы это случилось, то столкновеніе между Россіей съ одной стороны и Англіей и Франціей съ другой было бы неизбѣжно. Франція уже выказала свое сочувствіе Мегемету-

Али; Англія держала сторону Порты и въ этомъ отношеніи сходилась съ Россіей; но если бы Россія захотѣла взять въ опеку султана Абдуль-Меджида и занять турецкія области своими войсками, тогда, по всей вѣроятности, Англія и Франція совокупными силами вступили бы въ борьбу съ Россіей. Чтобы еще разъ отклонить предстоящую войну, Меттернихъ убѣдилъ Порту просить посредничества пяти великихъ державъ въ дѣлѣ съ Мегеметомъ-Али. Порта послѣдовала его совѣту и въ августѣ 1839 года обратилась къ представителямъ пяти державъ съ формальной просьбой усмирить бунтующаго пашу. Когда бы такимъ образомъ всѣ великія державы принялись за это дѣло, тогда, конечно, влияніе Россіи на турецкія дѣла оказалось бы значительно ослабленнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшій поводъ къ войнѣ былъ бы устраненъ.

Россія не сопротивлялась плану Меттерниха; въ Лондонѣ шли даже переговоры между Россіей и Англіей о томъ, чтобы составить союзъ для защиты Турціи; но Франція, поддерживавшая пашу, рѣшительно не соглашалась принимать участія въ предлагаемомъ посредничествѣ и старалась найти себѣ союзника въ Австріи. Можно было сказать навѣрное, что эти старанія будутъ совершенно безуспѣшны; кто сколько-нибудь зналъ Меттерниха, тотъ могъ себѣ легко представить, какъ онъ посмотритъ на предложеніе Франціи; если бы Австрія присоединилась къ Франціи, тогда оказалось бы, что двѣ великія державы идутъ противъ двухъ другихъ великихъ державъ; обѣ враждующія партіи оказались бы почти равносильными, и слѣдовательно исходъ борьбы между кабинетами или между войсками былъ бы крайне сомнителенъ; если бы, напротивъ того, Австрія стала на сторону Россіи и Англіи, тогда пошли бы три державы противъ одной; въ первомъ случаѣ можно было предполагать, что дѣло дойдетъ до войны; во второмъ случаѣ трудно было себѣ представить, чтобы одна Франція, и притомъ Франція Людовика-Филиппа, рѣшилась за египетскаго пашу вызвать на бой почти всю Европу; миролюбивыя наклонности князя Меттерниха побуждали его сблизиться съ Россіей и Англіей, чтобы такимъ образомъ показать Франціи, что ея оппозиція будетъ бесполезна; кромѣ того, примыкая къ Англіи и Россіи, Меттернихъ доставлялъ имъ рѣшительный перевѣсъ въ случаѣ войны. Тутъ незачѣмъ было болѣе колебаться, и Меттернихъ, въ совѣщаніи съ французскимъ посланникомъ Сентъ-Олеромъ, посоветовалъ ему передать своему правительству, чтобы оно не сопротивлялось единодушному желанію европейскіхъ державъ. «Я всѣмъ даю совѣты,—говорилъ государственный канцлеръ,—я выслушиваю, умѣряю страсти; но я не могу и не хочу сдѣлаться рѣшительнымъ приверженцемъ той или другой партіи. Я желаю сохраненія мира, согласія между державами; такъ какъ въ Лон-

донѣ происходятъ совѣщанія, то я не понимаю, почему Франція, по необъяснимой любви къ пашѣ, держится въ сторонѣ отъ обще-европейскаго дѣла. Если вы хотите знать мое мнѣніе, то, по моему, лучше всего согласиться съ тѣмъ, что будетъ рѣшено сообща, потому что это рѣшеніе, вѣроятно, будетъ основательно и дѣльно. Мы не хотимъ исключать Францію, но мы также вовсе не желаемъ, чтобы Франція взяла насъ на буксиръ».

Эти слова, произнесенныя Меттернихомъ осенью 1839 года, показывали ясно, что онъ рѣшился дѣйствовать заодно съ Англіей и Россіей, предоставляя, впрочемъ, своимъ союзникамъ полное право драться за общее дѣло и безъ его содѣйствія проливать кровь и пожинать лавры. Впрочемъ, дѣло тянулось еще болѣе полугода; только лѣтомъ 1840 года, 15 іюля, былъ подписанъ союзный договоръ между Россіей, Англіей, Пруссіей и Австріей; этимъ договоромъ четыре державы обязывались противоdѣйствовать неумѣреннымъ требованіямъ Мегемета-Али и поставить его въ прежніи отношенія къ султану. Сообразно съ условіями дипломатической вѣжливости, подписавшіяся державы черезъ своихъ представителей предложили и Франціи приступить къ союзу, но Франція на это любезное предложеніе отвѣчала сухимъ отказомъ и даже встревожила князя Меттерниха, принявъ воинственную осанку; во главѣ французскаго министерства стоялъ въ то время историкъ Тьеръ, восторженный поклонникъ Наполеона I, человекъ честолюбивый, энергичскій, мечтавшій о военной славѣ и вполне способный затѣять обще-европейскую войну изъ тщеславія, изъ любви къ блеску и треску оружія. Конечно, воинственные порывы Тьера умѣрялись холодной расчетливостью короля Людовика-Филиппа, но тѣмъ не менѣе Франція стала вооружаться, и Меттернихъ съ безпокойствомъ обратился за объясненіями къ Сентъ-Олеру. «Къ чему эти успѣшныя приготовленія?—говорилъ онъ.—Неужели вы хотите войны? Мы такъ миролюбивы, а вы намъ грозите. Неужели вамъ хочется, чтобы Германія поднялась такъ, какъ она поднималась въ 1813 году? Если это случится, то это поведетъ къ важнымъ послѣдствіямъ, и тогда ни за что нельзя поручиться».

Это совершенно справедливо; если бы Германія въ 1840 году поднялась съ тѣмъ энтузіазмомъ, который она обнаружила въ войнѣ съ Наполеономъ I, тогда конечно нельзя было бы поручиться за неприкосновенность Австріи и за министерство Меттерниха. Государственный канцлеръ очень хорошо понималъ, что ему самому воодушевленіе Германіи можетъ повредить гораздо сильнѣе, чѣмъ Людовику-Филиппу и Франціи. Это обстоятельство было, конечно, одной изъ важнѣйшихъ причинъ его миролюбивой политики.

Подписавши союзный договоръ, Меттернихъ,

несмотря на всю свою дипломатическую осторожность, рѣшился даже послать къ берегамъ Сиріи небольшую флотилію, которая вмѣстѣ съ англійской эскадрой Станфорда взяла нѣсколько приморскихъ крѣпостей и такимъ образомъ значительно поколебала настойчивость египетскаго паши. Это распоряженіе Меттерниха объясняется тѣмъ, что, поступая такимъ образомъ, Австрія ничѣмъ не рисковала и между тѣмъ доказывала свою энергію, являясь въ числѣ самыхъ ревностныхъ исполнителей подписаннаго договора. Порты захотѣла выместить на Мегеметъ-Али тотъ страхъ, который египетскій паша не разъ наговяля на нее своими побѣдами; она объявила его оставленнымъ отъ управленія Египтомъ; англійское правительство, въ лицѣ лорда Пальмерстона, сочувствовало этому распоряженію и желало продолжать военные подвиги противъ Сиріи и Египта. Франція значительно понизила свои требованія и желала только, чтобы Мегеметъ-Али остался наслѣдственнымъ правителемъ Египта; о Сиріи же не было рѣчи, потому что она, благодаря дѣйствіямъ англо-австрійскаго флота, была предоставлена въ полное распоряженіе султана. Тьеръ вышелъ въ отставку, и вмѣстѣ съ нимъ исчезло воинственное настроеніе французскаго правительства. Меттернихъ былъ очень радъ помириться съ Франціей и съ удовольствіемъ согласился отстоять пашу отъ Порты и отъ Англій; продолжать обстрѣливаніе сирійскихъ береговъ значило работать въ пользу Англій и дать ей возможность захватить два-три приморскихъ пункта—этого Меттерниху, конечно, не хотѣлось; онъ отозвалъ австрійскую эскадру и говорилъ, что считаетъ египетское дѣло оконченнымъ; о воинственныхъ стремленіяхъ Англій онъ сталъ отзываться съ неудовольствіемъ. «Это сумасшедшій,—говорилъ онъ о лордѣ Понсонби, англійскомъ посланникѣ въ Константинополь:—онъ способенъ заключить миръ или объявить войну, не обращая вниманія на положительныя приказанія своего двора; онъ во всѣхъ отношеніяхъ человекъ прекрасный, но сумасшедшій. Впрочемъ, теперь онъ можетъ дѣлать что ему угодно; исторія эта кончена».

Дѣйствительно, ни одна изъ великихъ державъ, кромѣ Англій, не была заинтересована въ продолженіи войны, и потому всѣ согласились съ предложеніемъ Меттерниха оставить Мегемета-Али въ покоѣ, предоставляя ему владѣть Египтомъ и завѣщать его своему сыну. Мегеметъ-Али, рисковавшій потерять все, съ радостью согласился на предложенныя условія, и вопросъ оказался такимъ образомъ рѣшеннымъ, несмотря на усилія Пальмерстона запутать дѣло и затянуть войну. Австрія вышла съ честью изъ этого дѣла и вынесла изъ него много существенныхъ выгодъ; поддержавши въ рѣшительную минуту Мегемета-Али и остановившись во-время, она упрочила и скрѣпила дружескія отношенія съ Франціей.

Впрочемъ, весь этотъ вопросъ представлялъ такъ мало затрудненій, что изъ него вовсе немудрено было выйти съ достоинствомъ и съ прибылью, особенно для Австріи, которая, не имѣя въ этомъ дѣлѣ прямого, личнаго интереса, могла обсуживать его совершенно спокойно и хладнокровно и кромѣ того во всякую данную минуту могла отойти въ сторону и, въ случаѣ надобности, ограничиться ролью безпристрастнаго зрителя. Кромѣ того, Меттерниху благопріятствовало счастье; когда Франція возвысила голосъ и начала вооружаться, дѣло могло сильно запутаться; если бы Франція объявила войну, если бы французская армія вступила на германскую землю, тогда многие расчеты государственнаго канцлера могли бы оказаться невѣрными; изъ домашняго дѣла турецкаго султана со своимъ вассаломъ могла выйти обще-европейская коллизія, которая разыгралась бы въ огромныхъ размѣрахъ и повела бы къ неисчислимымъ послѣдствіямъ; французскія войска могли бы вступить въ Италію, и въ 1840 году могло бы случиться то, что произошло въ 1859 году. Паденіе министерства Тьера спасло Австрію и Меттерниха; причина этого кризиса заключалась въ самой Франціи; Меттернихъ нисколько не содѣйствовалъ паденію Тьера и даже не предвидѣлъ его; такъ случилось, и изъ этой случайности для Меттерниха вышли хорошія послѣдствія; если бы случилось иначе, Меттерниху и Австріи пришлось бы нехорошо. Стало быть, государственнаго канцлера выручила не дипломатическая опытность, не предусмотрительная мудрость, а просто счастливое стеченіе обстоятельствъ.

## ХІІ.

Въ сентябрѣ 1843 года въ Греціи произошла революція, и король Оттонъ былъ принужденъ даровать конституцію. Хотя преданія политики конгрессовъ и священнаго союза уже давно были сданы въ архивъ исторіи, но Меттернихъ не утерпѣлъ; въ немъ заговорило ретивое, и желаніе вспомнить подвиги молодости, когда, по его мановенію, полки ходили усмирять Пьемонтъ, Неаполь и Испанію, шевельнулось въ душѣ ветерана-легитимиста, такъ часто избѣжавшаго принципу легитимизма. Въ настоящемъ случаѣ Меттернихъ осенью 1844 года обратился въ Парижъ съ дипломатическимъ вопросомъ: не будетъ ли удобно, для поддержанія престола короля Оттона, пяти великимъ державамъ сообща принять участіе въ дѣлахъ Греціи? Вопросъ этотъ былъ обращенъ къ тогдашнему министру Гизо, считавшему себя великимъ прогрессистомъ и ex officio чувствовалъ ко всякой конституціи величайшую нѣжность. Гизо отвѣчалъ Меттерниху, что ни Пруссія, ни Англія не обнаруживаютъ ни малѣйшаго желанія вмѣшиваться въ



дѣла Греціи; отъ себя же французскій министръ выразилъ то мнѣніе, что лучше всего предоста- вить Грецію ея собственнымъ силамъ и стремле- ніямъ, ограничиваясь только тѣмъ нравствен- нымъ вліяніемъ, которое можно оказывать на личности отдѣльныхъ дѣятелей посредствомъ письменныхъ и изустныхъ совѣтовъ. Изъ этого отвѣта князь Меттернихъ могъ заключить съ глубокою грустью, что времена пережънились. Онъ печально махнулъ рукой на Грецію, понялъ невозвратимость милаго прошедшаго и сталъ смот- рѣть въ другую сторону.

Въ 1846 году онъ высмотрѣлъ и присоеди- нилъ къ Австріи вольный городъ Краковъ. Не будучи обсуживать нравственной стороны этого со- бытія. Замѣчу только мимоходомъ, что въ 1815 году, на вѣнскомъ конгрессѣ, самъ князь Мет- тернихъ составилъ и подписалъ актъ, въ кото- ромъ четыре статьи (отъ VI-й до X-й) осыщали и обезпечивали на вѣчныя времена независимое существованіе вольнаго города Кракова; въ 1846 году тотъ же самый князь Меттернихъ объявилъ, что Австрія считаетъ должнымъ, по- винувся политической необходимости, прекра- тить независимое существованіе города Кракова и присоединить его къ австрійскимъ владѣніямъ. Есть обстоятельства, объясняющія до нѣкоторой степени оригинальный поступокъ Меттерниха и до нѣкоторой степени снимающія съ него отвѣт- ственность, но во всякомъ случаѣ онъ уничто- жилъ то, что самъ создалъ; онъ разбилъ свое дѣло; онъ самъ затопталъ въ грязь преданія той политики, къ которой онъ питалъ такое нѣжное чувство.

Италія попрежнему была предметомъ неусы- нныхъ заботъ австрійскаго министра и попреж- нему показывала себя неблагодарной и недо- стойной его попеченій. Итальянцы попрежнему продолжали ненавидѣть австрійцевъ и начинали даже придумывать средство совсѣмъ выгнать ихъ изъ Италіи; уже Мадзини и партія «Юной Италіи» начали свою агитаторскую дѣятель- ность; Пиемонтъ сдѣлался центромъ итальянска- го движенія; мысль о свободѣ и единствѣ Италіи понемногу стала облекаться въ образы, способ- ные возбудить энтузіазмъ народной массы. Сар- динскій король, Карлъ Альбертъ, отецъ итальян- скаго короля Виктора-Эммануила, личный врагъ князя Меттерниха, сталъ опираться на патріо- тическую партію и въ рѣзкихъ нотахъ выра- жать австрійскому правительству свои враждеб- ныя чувства и намѣренія. Въ это самое время, 1 іюня 1846 года, умеръ папа Григорій XVI, поддерживавшій политику Меттерниха въ Ита- ліи, и черезъ двѣ недѣли послѣ его смерти на папскій престолъ вступилъ Матаи-Ферретти подъ именемъ Пія IX. Первымъ дѣломъ новаго прееми- ка Св. Петра была всеобщая амнистія. Этого было достаточно, чтобы привести въ восторгъ итальянцевъ и возбудить въ австрійскомъ пра-

вительствѣ самыя серьезныя опасенія. Пій IX съ первой минуты сдѣлался героемъ патріотиче- скихъ надеждъ Италіи; первые поступки его бы- ли приняты взрывомъ національнаго энтузіазма, и ропотъ одобренія, способный съ минуты на минуту превратиться въ призывъ къ оружію противъ враговъ и угнетателей родины, пробѣ- жалъ по всему Аппенинскому полуострову. Мет- тернихъ далъ замѣтить папѣ, что считаетъ ам- нистію несвоевременной, и просилъ Пія IX не выходить въ предполагаемыхъ реформахъ изъ тѣхъ границъ, которыя были установлены въ маѣ 1831 г. Амнистія тревожила Меттерниха потому, что, пользуясь ею, множество итальян- скихъ патріотовъ или политическихъ преступ- никовъ со всѣхъ концовъ земли стеклись въ Церковную область, откуда имъ очень удобно было завязать сношенія съ недовольными гра- жданами Ломбардіи, Неаполя, Тосканы, Модены и Пармы. Предчувствуя, что папа не обратитъ особеннаго вниманія на его совѣты, Меттернихъ принялъ серьезныя мѣры противъ ожидаемаго движенія въ Италіи вообще и въ Церковной об- ласти въ особенности. Онъ началъ съ того, что усилилъ въ Феррарѣ австрійскій гарнизонъ, за- нимавшій эту крѣпость со временъ вѣнскаго конгресса. Папское правительство, боясь, чтобы его не заподозрили въ тайномъ сообществѣ съ Австріей, протестовало противъ этой мѣры, и протестовало такъ громко, что въ это дѣло вмѣ- шались Франція и Англія.

Итальянскіе патріоты потребовали учрежденія національной гвардіи; раздраженіе противъ Ав- стріи усилилось и приняло опредѣленную форму. Въ это самое время въ Римѣ произошло волненіе, возбужденныя партіей реакціи, желавшей на- сильно обратить папу къ политикѣ прежняго пра- вительства; общественное мнѣніе приписало эти волненія интригамъ австрійскаго правительства, и гласный протестъ Меттерниха противъ этого обвиненія нисколько не поколебалъ этого слуха. Когда Меттернихъ, желая энергическими мѣра- ми задавить возрастающее броженіе, предложилъ папскому правительству успокоить народъ ав- стрійскими отрядами, ему отвѣчали на это пред- ложеніе громкимъ и гордымъ отказомъ, въ кото- ромъ говорилось между прочимъ, что итальянцы сами умѣютъ защищать себя. Вслѣдъ затѣмъ папское правительство смѣлѣе прежняго стало поддерживать идею итальянскаго единства и за- вязало съ Сардиніей и Тосканой переговоры на- счетъ устройства итальянскаго таможеннаго союза. Меттернихъ понялъ тогда, что Пій IX стоитъ на ложной дорогѣ, съ которой невозможно будетъ своротить его кроткими увѣщаніями; онъ понялъ также, что начинающееся итальянское движеніе можетъ повести за собою важныя по- слѣдствія; онъ назвалъ это движеніе революціей, объявилъ себя рѣшительнымъ врагомъ этого дви- женія и, по своему обыкновенію, сталъ собирать



союзниковъ, сталъ совѣщаться чаще обыкновеннаго съ посланниками и переписываться съ министрами. «Я вѣрю,—писалъ онъ около этого времени къ Гизо,—въ торжество умѣренныхъ идей въ такихъ странахъ, которыя, подобно Франціи, пережили нѣсколько революцій. Тогда возможенъ компромиссъ, ведущій къ благотѣльнымъ результатамъ. Но я не думаю, чтобы могъ водвориться порядокъ *juste milieu* въ той фазѣ, въ какой находятся итальянскія государства; тамъ революція не подходитъ къ концу, а только что начинается; если въ государствѣ власть переходитъ изъ рукъ существующихъ правительствъ въ руки другой, какой бы то ни было, партіи, тогда можно сказать, что государство находится въ состояніи революціи. Меня несправедливо считаютъ приверженцемъ абсолютнаго сопротивленія; нѣтъ ничего абсолютнаго, кромѣ истины. Политика имѣетъ дѣло съ результатами и не знаетъ ничего абсолютнаго. Ни въ теоріи, ни въ практикѣ не было создаваемо ничего абсолютнаго. Мое сопротивленіе революціонному духу было иногда дѣятельное, какъ въ 1820 году, часто оборонительное, какъ въ 1831. Теперь я выжидаю. То, что происходитъ въ Италіи, скорѣе можно назвать мятежомъ (*révolte*), чѣмъ революціей (*révolution*). Мятежники осязательнѣе революціи; у нихъ есть тѣло, за которое можно ухватиться. Революціи похожи на призраки; чтобы расчитать свои дѣйствія въ отношеніи къ нимъ, надо выждать, пока эти призраки не облечутся въ тѣла».

Отрывокъ этотъ даетъ нѣкоторое понятіе о замѣчательномъ искусствѣ Меттерниха сообразоваться съ характеромъ и наклонностями того человѣка, съ которымъ онъ говоритъ. Онъ имѣетъ дѣло съ ученымъ историкомъ, отыскивающимъ общіе законы, подводившимъ явленія жизни подъ разныя искусственныя построенія собственнаго мозга и распредѣляющимъ въ придуманныя рубрики неопредѣлившіяся и невыяснившіяся стремленія и движенія настоящаго; кромѣ того, онъ имѣетъ дѣло съ человѣкомъ, любящимъ опираться на хартію, но чувствующимъ нѣкоторую, весьма естественную робость передъ толпой пролетаріевъ, шумящихъ на площади и требующихъ себѣ хлѣба и работы; кромѣ того, онъ имѣетъ дѣло съ французомъ, постоянно выражавшимъ съ высоты профессорской кафедрѣ и министерской трибуны свое благоговѣніе и умиленіе передъ доблестями и гениальностью французской націи. Чтобы понравиться Гизо, какъ ученому, Меттернихъ пускается въ бесплоднѣйшія діалектическія разысканія о различіи между *révolte* и *révolution*; чтобы польстить его псевдо-либерализму, онъ хвалитъ *juste milieu* и обнаруживаетъ добродѣтельное отвращеніе какъ къ слѣпому пристрастію къ реакціи, такъ и къ рьяному демократизму; чтобы погладить по шерсти фразистый патріотизмъ французскаго

министра, Меттернихъ самымъ утонченнымъ образомъ намекаетъ на превосходство французской цивилизаціи надъ зарождающеюся итальянскою гражданственностью. Меттернихъ, скептикъ, практикъ, неразборчивый въ средствахъ, начинаетъ толковать о благотѣльныхъ послѣдствіяхъ компромисса, о разумности историческаго теченія событій! Что можно подуматъ о подобномъ превращеніи? Да ничего. Это маска, очень искусно прилаженная къ лицу. Меттернихъ, сочиняя это письмо къ Гизо, въ душѣ навѣрное посылалъ ко всѣмъ чертямъ и доктрину, и *juste milieu*, и развитіе Франціи, и въ особенности папу, забравшаго себѣ въ голову неприличныя его лѣтатмъ и званію патріотическія тенденціи. Ему надо было только отстоять плодородныя равнины Ломбардіи, а для этого было необходимо устранить вмѣшательство Франціи и Англій въ итальянское движеніе. И вотъ Меттернихъ становится доктринеромъ съ доктринерами и напрыгаетъ свои мыслительныя способности, чтобы поддѣлаться подъ складъ ихъ идей.

Дѣйствительно, циркулярная нота, посланная 2 августа 1847 года къ четыремъ великимъ державамъ, находится въ рѣзкомъ противорѣчій съ идеями, выраженными въ письмѣ Меттерниха къ Гизо. Эта нота отвергаетъ существованіе итальянскаго народа. «Италія,—пишетъ въ ней Меттернихъ,—географическій терминъ. Итальянскій полуостровъ составленъ изъ самостоятельныхъ и независимыхъ другъ отъ друга государствъ. Существованіе и территоріальныя границы этихъ государствъ основаны на принципахъ всеобщаго международнаго права и скрѣплены ненарушимыми политическими трактатами. Императоръ съ своей стороны рѣшился уважать эти трактаты и всѣми силами, находящимися въ его распоряженіи, содѣйствовать ихъ поддержанію».

Цѣль этой ноты, въ которой уже не было рѣчи о *juste milieu* и о компромиссахъ, состояла въ томъ, чтобы узнать мнѣніе великихъ державъ объ итальянскомъ движеніи и о тѣхъ гарантіяхъ, которыми обезпечивалось независимое существованіе отдѣльныхъ итальянскихъ государствъ. Россія и Пруссія обратили на эту ноту мало вниманія и не обнаружили желанія посылать въ Италію войска для охраненія австрійскихъ владѣній и итальянскихъ вѣнценосцевъ. Франція приняла двусмысленное положеніе: она стала ободрять итальянскихъ патріотовъ и въ то же время продолжала увѣрять Австрію въ неизмѣнной прочности своего дружескаго расположенія; Меттернихъ нуждался въ политическихъ друзьяхъ и потому не имѣлъ возможности быть разборчивымъ и подвергать строгой критикѣ посылки своего мнимаго друга, который легко могъ превратиться въ дѣйствительнаго врага; онъ чувствовалъ себя одинокимъ, и дружба Франціи связывала ему руки; какъ только онъ

заводилъ рѣчь о вооруженномъ вмѣшательствѣ Австріи, такъ начинался немедленно громъ французской прессы; общественное мнѣніе возмущалось противъ Австріи, и французское правительство, побуждаемое броженіемъ умовъ въ обществѣ, заявило свой officialный протестъ противъ намѣреній князя Меттерниха. Въ это время Англія гораздо яснѣе высказывала Италіи свое сочувствіе; Пальмерстонъ послалъ въ Туринъ лорда Минто съ порученіемъ общать Сардиніи содѣйствіе Англіи и поддерживать враждебное настроеніе итальянцевъ противъ австрійскаго правительства. Въ officialныхъ своихъ депешахъ Пальмерстонъ объявилъ рѣшительно, что англійское правительство считаетъ реформы необходимыми для Италіи и намѣревается поддерживать и защищать своимъ вліяніемъ тѣ попытки, въ которыхъ выразится стремленіе измѣнить къ лучшему существующія въ этой націи бытовья формы. Меттернихъ все еще надѣялся на то, что когда вспыхнетъ рѣшительное возстаніе, великія державы позволятъ Австріи ввести свои войска въ Италію; имѣя въ виду эту надежду, онъ успѣшилъ заключить съ отдѣльными государями Италіи договоры, въ силу которыхъ австрійскимъ войскамъ дано было бы разрѣшеніе пройти черезъ ихъ владѣнія. Парма и Модена изъявили согласіе, но папа отказался отъ подобнаго договора, и тогда государственный канцлеръ, видя, что его благія идеи находятъ себѣ очень мало сочувствія, рѣшился предоставить Италію ей горькой участи, лишить ее покровительства Австріи и сосредоточить всю свою заботливость на сохраненіи спокойствія въ Ломбардіи.

Ломбардія начинала волноваться; въ Миланѣ происходили частые безпорядки; содѣйствіе съ Шемонтомъ и надежда на содѣйствіе Англіи начинали оказывать свое ядовитое вліяніе; наконецъ все это страшно натянутое положеніе разразилось возстаніемъ и вступленіемъ сардинцевъ въ предѣлы Ломбардіи; сигналомъ къ этимъ роковымъ событіямъ послужила февральская революція, низвергнувшая престолъ Людовика-Филиппа и отозвавшаяся электрическимъ сотрясеніемъ во всѣхъ концахъ континентальной Европы. Эта революція вмѣстѣ съ престоломъ Людовика-Филиппа опрокинула и министерство Меттерниха; государственный канцлеръ принужденъ былъ бѣжать изъ Вѣны такъ поспѣшно, что не успѣлъ даже, какъ слѣдуетъ, сдать своимъ преемникамъ дѣла и бумаги. Но, не забывая впередъ событій, я теперь снова обращаюсь къ внутреннимъ распоряженіямъ князя Меттерниха. Обзоръ его иностранной политики я считаю оконченнымъ; онъ, конечно, неполонъ и отрывоченъ, но такъ какъ дѣло идетъ не о томъ, чтобы представить систематическій перечень событій, а о томъ, чтобы охарактеризовать чело-вѣческую личность министра, занимавшего въ те-

ченіе сорока лѣтъ высшую государственную должность въ одной изъ великихъ державъ, то я полагаю, что достаточно будетъ и тѣхъ немногихъ фактовъ, которые приведены и очерчены въ этихъ главахъ. Представлять въ сжатой формѣ выводы изъ тѣхъ фактовъ я считаю неудобнымъ и кромѣ того бесполезнымъ; если изъ всего разказа читатель не вынесетъ никакого общаго, живого впечатлѣнія, то онъ не вынесетъ его изъ краткаго résumé. Если же мнѣ удалось сгруппировать событія такъ, что читатель составилъ себѣ сколько-нибудь цѣлостное понятіе о личности и дѣятельности Меттерниха, тогда всего лучше предоставитъ самому же читателю охарактеризовать эту личность и эту дѣятельность какимъ угодно хвалебнымъ словомъ или эпитетомъ.

### XIII.

Уже со временъ возстанія Германіи противъ Наполеона въ отдѣльныхъ частяхъ Австрійской имперіи начали обозначаться такія стремленія, которыя до того времени были совершенно неизвѣстны. Почувствовалась потребность реформъ; потребность эта выразилась, и въ однихъ мѣстахъ, напримѣръ въ Италіи, была подавлена, въ другихъ, напримѣръ въ Венгріи, была потихоньку замята или усыплена частичными уступками. Французская революція 1830 года оживила надежды той партіи, которая сознавала необходимость и пользу фундаментальныхъ измѣненій; смерть императора Франца, заклятаго, упрямаго врага всякой новизны, дала новую пищу этимъ надеждамъ; примѣръ Пруссіи, работавшей надъ учрежденіемъ таможеннаго союза, былъ живымъ укоромъ для реакціонной партіи и постоянно побуждалъ умѣренныхъ друзей реформы къ дѣятельной борьбѣ съ тѣми людьми и обстоятельствами, которые хотѣли китайской стѣной отгородить Австрію отъ живого, развивающагося и мыслящаго міра.

Въ 1840 году на прусскій престолъ вступилъ король Фридрихъ-Вильгельмъ IV. Первые поступки и рѣчи этого короля вызвали сочувствіе лучшихъ гражданъ Германіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпокоили мнительнаго старца князя Меттерниха почти такъ же сильно, какъ въ 1846 году его встревожилъ первый дебютъ папы Пія IX. Новый король обѣхалъ свои владѣнія, произнесъ нѣсколько рѣчей, изумившихъ современниковъ смѣлой честностью выраженныхъ стремленій, и потомъ, возвратясь въ столицу, началъ постепенно приводить въ дѣйствіе свои либеральные планы. Пруссія повеселѣла; литература и журналистика заговорили смѣлѣе; въ 1842 году былъ изданъ указъ короля объ учрежденіи сословныхъ собраній, изъ которыхъ со-временемъ должны были выработаться парламентскія учрежденія. Въ сентябрѣ того же 1842

года Меттернихъ, съ недоумѣніемъ смотрѣвшій на обозначившіяся тенденціи новаго правительства, свидѣлся съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ въ Кобленцѣ и пустилъ въ ходъ весь запасъ своего краснорѣчія, чтобы самыми яркими красками расписать заблуждающемуся монарху ту опасность, къ которой онъ своими распоряженіями ведетъ Пруссію. Краснорѣчіе государственнаго канцлера пропало даромъ; прусскій король выслушалъ его доводы, не повѣрилъ ни одному изъ нихъ и дѣльнѣе прежняго повелѣлъ приготовить работы по конституціонному вопросу. Тогда Меттернихъ пришелъ въ крайнее замѣшательство; противъ Пруссіи невозможно было пустить въ ходъ знаменитое средство вооруженнаго вмѣшательства; король самъ становился въ ряды той партіи, которую Меттернихъ называлъ революціонной; не за кого было поднимать оружіе, а дипломатическіе приемы, въ родѣ личныхъ свиданій и словесныхъ уговариваній, не дѣйствовали на упрямаго паціента. Поневолю приходилось оставить Пруссію въ покоѣ, и князь Меттернихъ, конечно, съ величайшимъ удовольствіемъ согласился бы на это условіе, но этого нельзя было сдѣлать. Пруссія не оставляла его въ покоѣ; видя начинающееся движеніе сосѣдей и единооплеменниковъ, читая книги, брошюры и журналы, появляющіяся въ Пруссіи, австрійскіе подданные чувствовали живѣе прежняго значеніе новаго порядка вещей, котораго они не сознавали еще во всѣхъ подробностяхъ. Высшіе и средніе классы общества, слѣдовавшіе въ жизни совѣтамъ Эпикура и долго остававшіеся равнодушными къ политическимъ событіямъ, стали съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдить за движеніемъ идей и за ходомъ реформы въ Пруссіи; люди, спеціально знакомые съ технической частью австрійской администраціи, стали за границей печатать сочиненія, въ которыхъ существующія учрежденія подвергались самой строгой, безпристрастной и вслѣдствіе этого разрушительной критикѣ. Собранія сословій въ разныхъ областяхъ имперіи заговорили рѣшительнѣе, чѣмъ когда-либо, и выдвинули впередъ такія требованія, которыя и въ голову не приходили князю Меттерниху. Венгерскій сеймъ съ 1843 на 1844 годъ обнаружилъ сильнѣйшую оппозицію противъ наміреній и распоряженій австрійскаго правительства; ненависть къ нѣмецкому элементу въ языкѣ и въ учрежденіяхъ и желаніе оторвать Венгрію отъ Австрійской имперіи и дать ей самостоятельное политическое существованіе выразились съ такой силою, что государственная конференція въ Вѣнѣ пришла въ смятеніе. Нашлись люди, которые посоветовали произвести въ Венгріи государственный переворотъ и указомъ императора уничтожить всѣ представительныя учрежденія. Меттернихъ не могъ рѣшиться на такую кругую мѣру; для него это значило поставить на карту существованіе Австрійской

имперіи и вмѣстѣ съ нею свое канцлерство; онъ зналъ, что подобный coup d'Etat поставитъ подъ оружіе всю Венгрію; вмѣстѣ съ Венгріей могли, опасаясь за свои права и учрежденія, подняться чехи и другіе славяне; пользуясь этой удобной минутой, вооружилась бы Ломбардія, и такимъ образомъ Фердинанду II и Меттерниху пришлось бы завоевывать всю Австрійскую имперію. Но государственному канцлеру на старости лѣтъ не хотѣлось садиться на боевого коня, и потому онъ въ государственной конференціи выразилъ ту мысль, что правительство должно уступить требованіямъ общественнаго мнѣнія и само начать необходимыя реформы. Идея Меттерниха получила перевѣсъ, и въ теченіе 1846 года австрійское правительство приготовило цѣлый рядъ проектовъ, которые въ 1847 году должны были разсматриваться и обсуживаться въ предстоящемъ венгерскомъ сеймѣ. Чешскіе чины не уступали венгерскимъ въ слѣдъ оппозиціи; національныя стремленія съ небывалой силою охватили Богемію и выразились въ наукѣ, въ литературѣ и политической жизни. Даже ниже-австрійскіе чины, засѣдавшіе въ Вѣнѣ и отличавшіеся въ былое время примѣрнымъ благоправіемъ, каждый годъ стали требовать отъ правительства уступокъ; и правительство постоянно уступало, потому что представительныя собранія были сильны сочувствіемъ своихъ избирателей, которые съ напряженнымъ вниманіемъ ловили слухи и печатныя извѣстія. Дѣло дошло до того, что ниже-австрійскіе чины потребовали обнародованія государственнаго бюджета, права обсуживать всѣ важныя дѣла, касающія ихъ области, учрежденія земскаго банка и радикальныхъ реформъ въ общинномъ устройствѣ.

Меттернихъ не вѣрилъ ушамъ своимъ, и всѣ эти неожиданныя событія, валившіяся какъ снѣгъ на голову, вызывали въ его умѣ печальныя размышленія; слишкомъ тридцатилѣтнія старанія оказывались разрушенными; если, несмотря на всѣ затворы и запоры, зараза вѣка проникла въ наслѣдственные владѣнія австрійскаго императора и въ короткое время усилилась въ нихъ до такой степени, то чего же можно ожидать впереди? На чѣмъ же остановится эта язва? Что она пощадитъ? Дѣйствительно, язва ничего не пощадитъ, и князь Меттернихъ, несмотря на всю свою безпримѣрную уступчивость, не могъ удержаться во главѣ правительства. Но сначала я попрошу читателя обратить вниманіе на то обстоятельство, что уступчивость князя Меттерниха въ послѣдніе два года его правительственной дѣятельности доходила до невѣроятныхъ предѣловъ. Тотъ же страхъ передъ революціей, который въ двадцатыхъ годахъ побуждалъ Меттерниха разрушать насильственнымъ образомъ малѣйшія проявленія національнаго чувства и невиннѣйшія стремленія челоуѣческой мысли,

тотъ же страхъ передъ революціей, повторяю я, заставляя Меттерниха въ концѣ сороковыхъ годовъ предлагать самыя разнородныя либеральныя мѣры и произносить такія рѣчи, которыя, конечно, очень странно было слышать отъ бывшаго министра и испытаннаго друга Франца I. Люди, неумѣренно пользующіеся силой тогда, когда сила находится въ ихъ рукахъ, обыкновенно являются очень трусливыми тогда, когда сила переходитъ въ руки ихъ противниковъ. Меттернихъ подходитъ подъ это общее правило. Въ мартѣ 1847 года онъ обратился къ Пруссіи съ предложеніемъ подать на союзномъ сеймѣ голосъ въ пользу свободы печати; въ этомъ же году онъ выразилъ государственной конференціи ту идею, что пора создать для Австріи конституцію; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представилъ два проекта, имѣвшіе цѣлью расширить конституціонныя права отдѣльныхъ провинцій и потомъ составить обще-австрійское государственное представительное собраніе, которому предоставлялось право обсуживать и утверждать бюджетъ, разсматривать и рѣшать важнѣйшіе правительственные вопросы, словомъ—отъ лица всей націи принимать дѣятельное и постоянное участіе въ администраціи.

Но не всѣ члены правительства умѣли, подобно Меттерниху, безъ сожалѣнія и безъ борьбы разставаться съ своими политическими идеями и стремленіями. Новые проекты Меттерниха встрѣтили себѣ сопротивленіе при дворѣ: эрцгерцогъ Людовикъ не понималъ необходимости такихъ капитальныхъ уступокъ и во всякомъ случаѣ не хотѣлъ торониться; съ недоумѣніемъ, свойственнымъ старику, онъ хотѣлъ сначала всмотрѣться въ предлагаемыя реформы, попривыкнуть къ нимъ, протянуть нѣсколько лѣтъ пренія и совѣщанія о частностяхъ и подробностяхъ и потомъ уже вводить новые порядки понемногу, не спѣша, безъ шума и эффекта. Вліяніе эрцгерцога, находившаго себѣ единомышленниковъ въ старыхъ подвижникахъ своего покойнаго брата Франца, остановило проекты Меттерниха; начались толки, разсужденія, назначенія комиссій для разсмотрѣнія разныхъ предметовъ и вопросовъ, и всѣ реформы остановились на одномъ разсмотрѣніи.

1 января 1848 года было учреждено высшее управленіе цензуры (Censur-Oberdirection); а 1 февраля еще кромѣ того появилось высшее цензурное судилище (Oberstes Censurgericht); оказалось впрочемъ, что реформы эти не подвинули дѣла впередъ. Тогда вѣнскіе книгопродавцы и вѣнскіе литераторы подали прошеніе, которое не принесло никакой существенной пользы.

2 февраля 1848 года была открыта вѣнская академія наукъ, но это торжество не произвело на общество того благодѣтельнаго впечатлѣнія, котораго ожидало правительство. Множество замѣчательныхъ ученыхъ и писателей получили

званіе дѣйствительныхъ академикомъ; множество важныхъ лицъ были назначены почетными членами, въ числѣ послѣднихъ находился самъ князь Меттернихъ, вельможный покровитель просвѣщенія въ Германіи и въ Европѣ; словомъ, все было чинно, важно и официально, а между тѣмъ многія характерныя подробности не укрылись отъ бдительнаго вниманія публики. Не укрылось, напримѣръ, то обстоятельство, что люди, подобные Араго, Шлоссеру, Ранке, Гервинусу, не были приняты въ число академикомъ, потому что ихъ политическія мнѣнія не нравятся правительству. Не укрылось и то обстоятельство, что рѣчь Гаммера, произнесенная имъ при открытіи академіи, была помѣщена въ вѣнской газетѣ съ пропусками. Все это были, конечно, мелочи, на которыя не стоило обращать вниманіе, но эти мелочи хватили за сердце и кипятили желчь.

Вечеромъ 28 февраля къ князю Меттерниху прискакалъ курьеръ съ первымъ извѣстіемъ о февральской революціи; государственный канцлеръ узналъ только, что Людовикъ-Филиппъ отказался отъ престола и что герцогиня Орлеанская приняла на себя регентство; это извѣстіе не произвело особеннаго впечатлѣнія, потому что вѣнскій кабинетъ никогда не питалъ особеннаго сочувствія къ личности и къ политикѣ короля, возведеннаго на престолъ революціей. Но на другой день утромъ пришло новое извѣстіе: Франція объявила себя республикой. Это извѣстіе сильно поразило Меттерниха: прочитавъ депешу, онъ нѣсколько минутъ съ смертною блѣдностью на лицѣ неподвижно просидѣлъ въ креслѣ. Съ замираніемъ сердца сталъ онъ ожидать новыхъ извѣстій изъ Франціи; у него оставалась слабая надежда на то, что произойдетъ контр-революція, которая положить конецъ существованію юной республики. Послѣдующія событія разбили эту надежду, и князь Меттернихъ съ нѣмымъ отчаяніемъ сталъ ожидать грядущихъ бѣдствій; съ именемъ французской республики ему казались неразлучными картины дикаго насилія и безотрадная перспектива нескончаемыхъ войнъ и повсемѣстныхъ волненій. Меттернихъ, всегда любившій вооруженное вмѣшательство, на этотъ разъ считалъ его примѣненіе рѣшительно невозможнымъ. Послѣдній ударъ, нанесенный политикѣ государственнаго канцлера переворотомъ во Франціи, былъ такъ силенъ и такъ внезапенъ, что Меттернихъ растерялся, пришелъ въ уныніе и потерялъ всякую вѣру въ дѣйствительность какого бы то ни было средства. Онъ очевидно не могъ собраться съ мыслями и, на предложеніе идти во Францію и разсѣять мятежниковъ, отвѣчалъ нерѣшительно: «надо подождать, надо высмотрѣть, какъ и куда станеть распространяться революція». Какъ доводъ противъ наступательной войны съ Франціей, Меттернихъ приводить даже то обстоятельство, что подобная война можетъ возбудить противъ себя негодованіе націи.

Меттернихъ началъ обращать вниманіе на то, что говорить, и даже на то, что думаетъ нація; по одному этому аргументу, приведенному государственнымъ канцлеромъ въ официальныхъ дипломатическихъ нотахъ, можно составить себѣ довольно яркое понятіе о томъ, какъ неизмѣримо великъ былъ страхъ его передъ ожидаемымъ движеніемъ. Распоряженія по внутренней администраціи замерли въ такомъ положеніи, въ какомъ ихъ захватили роковыя извѣстія изъ Парижа. Проекты реформъ не пошли въ дѣло: дворъ и конференція раздѣлились на двѣ партіи, неравныя по числу своихъ приверженцевъ; эрцгерцогъ Людовикъ и Меттернихъ стали доказывать, что производить реформы несвоевременно и опасно, да всякая уступка со стороны правительства покажется обществу и народу поблажкой, признакомъ слабости, поощреніемъ къ дальнѣйшимъ требованіямъ и, въ случаѣ крайности, къ возстанію. Всѣ остальные члены императорской фамилии и государственной конференціи считали быстрыя реформы совершенно необходимыми: они хотѣли упрочивать за собою расположеніе народа; для Меттерниха любовь общества и націи была невозвратно потеряна; для Фердинанда, извѣстнаго своимъ кроткимъ характеромъ, и для тѣхъ членовъ его семейства, которые не принимали дѣятельнаго участія въ правительственныхъ распоряженіяхъ Франца I, было очень нетрудно сохранить или даже вновь приобрести популяриность. Надо было только вычеркнуть изъ списка австрійскихъ чиновниковъ то громкое имя, съ которымъ связывалось такъ много роковыхъ воспоминаній,—то имя, которое въ продолженіе сорока лѣтъ постоянно тяготѣло надъ правительственными распоряженіями. Имя Меттерниха уже успѣло приобрести себѣ такую печальную извѣстность, что его одного было достаточно, чтобы возбудить полное недовѣріе противъ правительства; члены правительства понимали это и, конечно, не желая раздѣлять съ Меттернихомъ тѣхъ опасностей, которыя являлись для него, съ удовольствіемъ готовы были исключить его изъ списковъ, чтобы помириться съ общественнымъ мнѣніемъ.

Во главѣ этой партіи, желавшей искренняго примиренія съ обществомъ, стояла эрцгерцогиня Софія, жена эрцгерцога Франца, брата императора, женщина умная, энергическая, постоянно слѣдившая за ходомъ событій и понимавшая довольно вѣрно ихъ истинный смыслъ; она ожидала сильныхъ волненій и совѣтовала болѣзненному Фердинанду отказаться отъ престола въ пользу ея сына, Франца-Иосифа; сверхъ того она считала необходимымъ, чтобы эрцгерцогъ Людовикъ и князь Меттернихъ совершенно устранили свое вліяніе на государственныя дѣла, и чтобы Австрія, получивши общую конституцію, вступила въ новую эру исторической жизни. Софія считала подобныя мѣры рѣшительно необхо-

димыми для спасенія австрійской династіи отъ той участи, которая два раза постигала Бурбоновъ и такъ недавно обрушилась на Орлеановъ. Эти мысли часто выражались эрцгерцогиней въ семейныхъ совѣщаніяхъ; при этихъ совѣщаніяхъ присутствовалъ иногда князь Меттернихъ, и тутъ-то ему нерѣдко приходилось выслушивать горькія истины; эрцгерцогъ Іоаннъ, личный врагъ государственнаго канцлера, разбивалъ по пунктамъ его политическія теоріи, и прямо, не церемонясь, говорилъ при немъ, что его удаленіе отъ дѣлъ необходимо для блага государства и для спокойствія царствующей династіи. Меттернихъ на подобныя любезности отвѣчалъ холодно и почтительно, что онъ удалится отъ дѣлъ только въ такомъ случаѣ, когда самъ императоръ выразитъ ему такого рода желаніе. Государственный канцлеръ даже не останавливался на той идеѣ, что ему могутъ серьезно предложить отставку; онъ твердо вѣрилъ въ неразлучность своей судьбы съ судьбою Австрійской имперіи; онъ полагалъ, что можетъ настъ подъ развалинами всего государственнаго зданія, какъ послѣдній надежный защитникъ погибающаго принципа; подобная катастрофа представлялась ему тѣмъ то возможнымъ, но далекимъ и неопредѣленнымъ; за этой катастрофой, по его убѣжденію, неминуемо должны были слѣдовать анархія, терроръ и хаосъ. Представить себѣ, чтобы ему, какъ всякому другому министру, дали отставку,—представить себѣ все это князь Меттернихъ былъ рѣшительно не въ силахъ. Между тѣмъ его противники не дремали; придворная партія, желавшая реформъ и переменъ министерства, завела сношенія съ предводителями оппозиціи на ниже-австрійскомъ сеймѣ, котораго засѣданія должны были открыться 13 марта. Имъ дали понять, что паденія государственнаго канцлера желаютъ многие члены высшаго правительства, и что слѣдовательно прошеніе сейма объ удаленіи Меттерниха будетъ принято благосклонно и можетъ повести за собою плодотворныя послѣдствія.

6-го марта, въ присутствіи графа Коловрата и эрцгерцога Франца, общество промышленности (Gewerbeverein) составило и одобрило на имя императора адресъ, въ которомъ выражалось ясно то убѣжденіе, что взаимное довѣріе между управляющими и управляемыми можетъ быть восстановлено только послѣ удаленія Меттерниха. Этотъ адресъ былъ врученъ эрцгерцогу Францу, наслѣднику престола, и эрцгерцогъ поблагодарилъ подателей и составителей за честность ихъ стремленій. Это обстоятельство, конечно, ободрило публику и въ первый разъ показало народу, что даже императорская фамилія недовольна управленіемъ государственнаго канцлера.

..... Составили прошеніе объ отставкѣ Меттерниха, и два профессора, Пие и Эндлихеръ, официально подали это прошеніе эрцгерцогу Людо-

вику. Эрцгерцогъ принялъ депутацію и прочиталъ прошеніе съ видимыми знаками неудовольствія; онъ не далъ депутатамъ положительнаго отвѣта, но въ тотъ же день, въ два часа пополудни, созвалъ государственную конференцію и пригласилъ для совѣщаній нѣкоторыхъ членовъ императорской фамилии. Въ этомъ собраніи Людовикъ разсказалъ исторію прошенія и рѣшилъ, что на основаніи такой причины невозможно удалить отъ должности человѣка, оказавшаго такія великія услуги государству и царствующей династіи. Государственный канцлеръ очень кротко и спокойно замѣтилъ, что онъ тотчасъ готовъ отказаться отъ своей должности, если таково будетъ желаніе императора, но что, не искавши никогда популярности, онъ не можетъ удалиться отъ исправленія своихъ обязанностей. Послѣ засѣданія конференціи, въ тотъ же день, вечеромъ, могущественные недоброжелатели Меттерниха нашли средства провести въ комнату самого императора тѣхъ профессоровъ, которые утромъ подавали прошеніе эрцгерцогу Людовику. Императоръ принялъ ихъ съ обычной своей пріятливостью и даже общалъ обдумать представленное ему прошеніе; но никакихъ опредѣленныхъ надеждъ или общаній онъ имъ не далъ.

Меттернихъ изъ конференціи поѣхалъ домой, грустный и озбоченный: онъ чувствовалъ, что ему придется или выйти въ отставку, или уступить той партіи, которая требовала реформъ и уступокъ общественному мнѣнію. Ему представлялась такая дилемма, хотя въ сущности ея не было: никакія реформы и уступки уже не могли спасти его отъ паденія; онъ во всякомъ случаѣ долженъ былъ удалиться, но отъ него зависѣло допить или не допивать до дна чашу огорченій и оскорбленій; отъ него зависѣло сказать: «я выхожу въ отставку, потому что мой образъ мыслей не находитъ себѣ сочувствія ни въ обществѣ, ни въ моихъ товарищахъ по управленію», или же дожидаться, пока ему скажутъ: «ступайте, ваше вліяніе вредитъ государству и обществу». Нѣтъ сомнѣнія, что Меттернихъ, какъ человѣкъ практическаго ума и какъ «образцовый кавалеръ», дорожащій соблюденіемъ внѣшняго благообразія, выбралъ бы первый исходъ, если бы онъ зналъ, что изъ его положенія дѣйствительно только два выхода; но къ несчастю для государственнаго канцлера, онъ былъ совершенно ослѣпленъ вѣрой въ самого себя; онъ все-таки считалъ свое положеніе непоколебимымъ и, главное, неразлучно связаннымъ съ судьбой Австріи. Онъ былъ совершенно увѣренъ, что дѣло идетъ только объ уступкахъ, а уступить онъ былъ не прочь, потому что упорная борьба съ людьми, находящимися съ нимъ въ непосредственныхъ всѣдневныхъ отношеніяхъ, вообще была ему не по силамъ и рѣшительно не соотвѣтствовала его мягкому и слабому характеру. Теперь же въ особенности, думая уступками утвердиться въ своемъ

положеніи и зажать ротъ своимъ врагамъ при дворѣ и въ обществѣ, Меттернихъ оказался въ высшей степени гибкимъ и сговорчивымъ; онъ постоянно говорилъ до того времени, что уступки несвоевременны, потому что онѣ покажутся вынужденными; теперь и эта послѣдняя отговорка была отложена въ сторону; разграниченіе между добровольными и вынужденными уступками исчезло. Вечеромъ въ тотъ же день Меттернихъ пригласилъ къ себѣ предводителя дворянства (Landesmarschall), графа Монтекукули, пользовавшагося популярностью и расположеніемъ ниже-австрійскихъ чиновъ; онъ сталъ совѣтоваться съ нимъ о предлагаемыхъ уступкахъ и общалъ ему, что въ самомъ непродолжительномъ времени будутъ созваны депутаты отъ областныхъ представительныхъ собраній. Въ заключеніе бесѣды онъ попросилъ графа Монтекукули позаботиться о томъ, чтобы засѣданія сейма были по возможности спокойны и не увеличивали бы своими шумными преніями глухого раздраженія, проявлявшагося уже въ народѣ.

13-го марта члены конференціи съ ранняго утра собрались во дворецъ императора; недалеко отъ конференціонной залы, въ комнатѣ Фердинанда, находилась вся императорская фамилія; этотъ день былъ назначенъ для открытія сейма; въ ночь были получены очень неуспокоительныя извѣстія о положеніи города; улицы, прилегающія къ дому сейма, къ университету и даже къ императорскому дворцу, наполнялись людьми. Эрцгерцогъ Людовикъ и князь Меттернихъ приказали стянуть войска ко дворцу и разставить по улицамъ многочисленныя патрули, чтобы разгонять народъ при малѣйшемъ шумѣ. Ни Людовикъ, ни Меттернихъ не думали, что дѣло можетъ дойти до свалки между войсками и народомъ. Между тѣмъ толпы народа загроутили улицы, громко произносимыя рѣчи принимались криками одобренія, съ этими криками смѣшивались возгласы: «долой Меттерниха!», и эти зловѣщія возгласы подхватывались сотнями голосовъ. Въ это время во дворецъ къ императору приступали съ двухъ сторонъ двѣ противоположныя партіи: эрцгерцогиня Софія и эрцгерцогъ Іоаннъ требовали немедленныхъ радикальныхъ уступокъ. Съ другой стороны Людовикъ и Меттернихъ совѣтовали пустить въ ходъ энергическія мѣры. Почему совѣтовалъ это сдѣлать Людовикъ—я не знаю, да мнѣ до этого и дѣла нѣтъ. Почему добивался этого Меттернихъ—понятно. Онъ слышалъ нелестныя для себя крики и начиналъ понимать, что ему нельзя помириться съ этимъ народомъ, что надо побѣдять его или бѣжать безъ оглядки изъ Вѣны, изъ Австріи, быть можетъ даже изъ континентальной Европы; кромѣ того, онъ начиналъ понимать, что Фердинандъ, не рѣшившійся оттолкнуть его отъ себя, можетъ, въ минуту крайней опасности, оставить его, отшатнуться отъ него и такимъ образомъ

поставить его въ самое затруднительное положеніе; поэтому, совѣтуя императору пустить въ ходъ самыя энергическія мѣры, Меттернихъ, сознательно или инстинктивно, дѣлалъ послѣднюю отчаянную попытку связать неразрывными узами судьбу своей личности съ участью Австріи.

Если бы императоръ Фердинандъ, слѣдуя совѣту Меттерниха, приказалъ подавить возстаніе силой, то правительству необходимо было бы или побѣдить, или упасть; если бы правительство побѣдило, то навѣрное вліяніе Меттерниха перевѣсило бы значеніе всѣхъ противниковъ его личности и его политики. Если бы правительство упало, то съ нимъ вмѣстѣ упалъ бы Меттернихъ; но онъ начиналъ думать, что онъ можетъ упасть даже и въ томъ случаѣ, когда правительство удержится, и потому увлечь правительство вмѣстѣ съ собою ему не казалось особенно страшнымъ. Ухватываясь всѣми силами за императорскую мантию Фердинанда, прячась за эту мантию отъ ярости народа, Меттернихъ увеличивалъ для себя шансы спасенія. Если бы ему удалось склонить Фердинанда сломить возстаніе военной силой, то можетъ быть Меттерниху удалось бы до самой смерти своей остаться государственнымъ канцлеромъ. Но Фердинандъ не рѣшился на крайнія мѣры. Онъ находился въ недоумѣніи, а между тѣмъ каждую минуту приходили съ улицы вѣсти: уступки правительства не приняты... домъ сейма занятъ толпой народа... патруль далъ залпъ по толпѣ... нѣсколько человѣкъ убито... народъ остервенился; «долой Меттерниха!» кричатъ въ одинъ голосъ всѣ недовольные... Въ это время пришла во дворецъ депутація, состоящая изъ членовъ сейма. Эрцгерцогъ Людовикъ принялъ депутатовъ, выслушалъ ихъ рассказъ объ уличныхъ событіяхъ, распросилъ о желаніяхъ народа и отвѣчалъ имъ твердо и спокойно, что «комитетъ разберетъ эти желанія, и тогда императоръ рѣшитъ дѣло, какъ слѣдуетъ».

Меттернихъ въ это время прошелъ къ себѣ домой; вѣроятно, его не замѣтилъ или не узналъ толпящійся народъ, иначе жизнь его могла бы подвергнуться самой серьезной опасности; подойдя къ обну своего кабинета, онъ слышалъ, какъ одинъ ораторъ разбиралъ его систему передъ народомъ, и какъ народъ, увлеченный живыми доводами оратора, кричалъ съ возрастающей яростью: «Прочь, прочь Меттерниха!» Эти крики не производили на Меттерниха особеннаго впечатлѣнія; онъ былъ увѣренъ въ томъ, что терпѣніе Фердинанда лопнетъ, что полиція и войско разметутъ улицы и площади, что ораторъ насидится гдѣ-нибудь въ острогѣ и что тѣмъ дѣло покончится. А между тѣмъ онъ уже сдѣлалъ еще одну вынужденную уступку: передъ уходомъ своимъ изъ дворца онъ, подобно съ требова- ніемъ депутаціи, убѣдилъ императора немедленно назначить комитетъ для составленія конститу-

ціи и для произведенія другихъ реформъ, не терпящихъ дальнѣйшаго отлагательства. Но когда Меттернихъ снова отправился во дворецъ, тогда онъ началъ убѣждаться въ томъ, что полиція и войско не задавятъ движенія.

Когда появились государственный канцлеръ, неблаговолившіе къ нему члены императорской фамилии окружили его со всѣхъ сторонъ и стали просить его подать въ отставку и такимъ образомъ положить конецъ уличнымъ волненіямъ, разразившимся уже сценами насилія и кровопролитія; одни указывали ему на жертвы возстанія, другіе говорили, что изъ-за одного человѣка нельзя подвергать опасности цѣлую династію.

Меттернихъ обвелъ глазами вокругъ себя. Всѣ окружающіе молчали послѣ того, какъ прошелъ первый приступъ увѣщаній, направленный на Меттерниха его врагами; ни одного слова сочувствія не послышалось ни откуда, ни одного ободрительнаго взгляда не встрѣтилъ вопрошающій взоръ Меттерниха. Даже императоръ, даже эрцгерцогъ Людовикъ не говорили ни слова; Меттернихъ почувствовалъ себя очень одинокимъ; легкая краска пробѣжала по его лицу; онъ едва совладѣлъ съ внутреннимъ волненіемъ, внезапно разыгравшимся въ его груди, и быстрыми шагами прошелъ въ комнату государственной конференціи.

Между тѣмъ депутація приходитъ за депутаціей; въ предмѣстьяхъ Вѣны свирѣпствуетъ разгуливающая чернь; депутаты настоятельно требуютъ, чтобы ихъ выслушали, и говорятъ, что они не ручаются ни за что, если до наступленія ночи не будетъ восстановлено спокойствіе.

Эрцгерцогъ Людовикъ призываетъ къ себѣ депутатовъ и узнаетъ отъ нихъ, что народъ попрежнему требуетъ отставки Меттерниха и отступленія солдатъ, пустившихся въ рукопашный бой безъ особеннаго приказанія изъ дворца. Выслушавъ эти требованія, Людовикъ отвѣчалъ сухо, что онъ ничего не можетъ сдѣлать, и, отправившись въ комнату конференціи, предложилъ Меттерниху выдти «къ этимъ людямъ» и сдѣлать имъ тѣ уступки, которыя онъ признаетъ удобными.

Меттернихъ вышелъ къ депутатамъ отъ вѣнской милиціи; за нимъ послѣдовали почти всѣ члены императорской фамилии; всѣ интересовались знать, что скажетъ и на что согласится государственный канцлеръ. Меттернихъ подошелъ къ одному изъ офицеровъ, положилъ ему руку на плечо и произнесъ слѣдующія слова:

«— Вы гражданныя; вѣнскіе граждане отличались всегда и во всѣхъ случаяхъ; имъ было бы стыдно, если бы они, въ соединеніи съ войскомъ, не были въ состояніи разогнать уличныхъ бунтовъ.

— Ваша свѣтлость, отвѣчалъ офицеръ, — тутъ дѣло не въ бунтахъ; въ городѣ происходитъ революція, въ которой принимаютъ участіе всѣ сословія.



— Это неправда, перебилъ Меттернихъ поспѣшно, — итальянцы, поляки и швейцарцы возмущаютъ народъ.

— Ваша свѣтлость, представленныя прошенія подписаны тысячами именъ; вы встрѣтите тутъ и важнаго государственнаго чиновника, и простого ремесленника; если бы вашей свѣтлости угодно было взглянуть на улицу, то вы убѣдились бы въ правдивости моихъ словъ.

Меттернихъ больше не сказалъ ни слова; аудиенція окончилась, но депутацію задержали, боясь, чтобъ она не увеличила раздраженія народа разсказомъ о происходившемъ свиданіи съ властями. Между тѣмъ крики уличной толпы съ каждой минутой становились явственнѣе и громче, и все то-же самое слышалось въ этихъ крикахъ, и все такъ-же часто Меттернихъ слышалъ свое имя, и все такъ же мало лестнаго и утѣшительнаго заключалось въ этихъ непрерывныхъ поминаніяхъ; у бѣднаго старика начинала кружиться голова и звенѣть въ ушахъ; не зная, что дѣлать, онъ объявилъ, наконецъ, свою готовность уступить всѣмъ требованіямъ народа. Національная гвардія, свобода печати, конституція, все было отдано разомъ; но между тѣмъ и тутъ, уступая во всемъ, уступая безславно передъ открытой силой, Меттернихъ захотѣлъ сохранить внѣшнее благообразіе; исполняя всѣ требованія волнующагося народа, онъ придумалъ другія названія требуемымъ предметамъ, чтобы хоть этимъ завить инициативу и самостоятельность своего правительства. Въмѣсто «національной гвардіи» онъ далъ «гражданскую милицію» (Bürgerwehr); вмѣсто свободы печати — уничтоженіе цензуры; наконецъ, вмѣсто «Constitution» — «Constituierung des Vaterlandes». Меттернихъ отправился въ свой рабочій кабинетъ писать объ этихъ предметахъ указы, которые немедленно должны были быть представлены на подпись императору; дѣлая всѣ эти уступки, онъ забывалъ о четвертомъ требованіи народа, онъ пропускалъ умышленно мимо ушей тотъ крикъ, который повторялся громче и чаще всѣхъ остальныхъ: «Меттерниха, Меттерниха!» Въ то время, какъ падающій министръ сидѣлъ за столомъ, служебная часть его окончательно рѣшалась въ кабинетѣ императора. Эрцгерцогиня Софія и эрцгерцогъ Іоаннъ доказывали Фердинанду, что если Меттернихъ останется первенствующимъ министромъ, то всѣ уступки, сдѣланныя правительствомъ, окажутся бесполезными и даже не укротятъ народнаго волненія. Императоръ былъ утомленъ шумомъ и сильными ощущеніями, пережитыми имъ съ утра этого дня; ему хотѣлось спокойствія и мира; его ужасали и огорчали до глубины души кровавыя сцены, разыгрывавшіяся на улицахъ его столицы; онъ уступилъ доводамъ своихъ родственниковъ, и удаленіе князя Меттерниха отъ должности государственнаго канцлера почислилось дѣломъ рѣшеннымъ. Поль-

зуюсь позволеніемъ императора, эрцгерцогъ Іоаннъ тотчасъ отправился въ кабинетъ Меттерниха и передалъ ему просьбу Фердинанда отказать отъ занимаемаго мѣста для успокоенія націи и для устраненія тѣхъ опасностей, которыми подвергается царствующая династія. Меттернихъ получилъ такимъ образомъ фактическое доказательство того, что его дѣятельность положительно вредна. Слова эрцгерцога были произнесены сухо, рѣзко и не допускали возраженій. Государственный канцлеръ выслушалъ ихъ молча. Онъ былъ блѣденъ, сосредоточенно серьезенъ и глубоко опечаленъ. Внутренній страданія его выразились въ иронической улыбкѣ, которая какъ-то неестественно искривила его блѣдныя губы. Онъ вышелъ въ комнату аудиенціи, въ которой депутаціи просили свиданія съ императоромъ, чтобы лично просить его объ увольненіи канцлера. Спокойнымъ, ровнымъ, медленно-торжественнымъ шагомъ вышелъ сѣдой министръ на середину залы и сказалъ предводителямъ депутаціи:

«— Милостивые государи, если вы полагаете, что, отказываясь отъ моей должности, я могу принести пользу государству, то я съ радостью соглашаюсь на это».

Всѣ эти слова были сказаны для благообразія. Меттернихъ не могъ придавать никакого значенія приговору тѣхъ людей, которыхъ онъ за полчаса предъ тѣмъ называлъ уличными бунянами. Меттернихъ не могъ съ радостью согласиться на такую жертву, для избѣжанія которой онъ за пять минутъ передъ тѣмъ за своимъ письменнымъ столомъ собирался отречься отъ политическихъ тенденцій, составившихъ сущность всей его долгодѣтельной дѣятельности. Умирающему гладиатору необходимо было принять граціозную позу, и онъ умиралъ, насильственно придавая всей своей фигурѣ выраженіе величаваго и неестественнаго спокойствія.

Предводитель депутаціи отвѣчалъ на слова Меттерниха:

«— Ваша свѣтлость, мы не имѣемъ ничего противъ вашей личности, но все — противъ вашей системы, и поэтому мы должны принять съ радостью извѣстіе о вашемъ выходѣ въ отставку».

— Задачею всей моей жизни, заговорилъ снова старый канцлеръ, — было дѣйствовать для блага Австріи всѣми силами, находившимися въ моемъ распоряженіи; если думаютъ, что дальнѣйшее пребываніе мое на этомъ мѣстѣ подвергаетъ это благо какимъ бы то ни было опасностямъ, то для меня не можетъ быть жертвой сойти съ этого мѣста. Я слагаю въ руки императора отправление моихъ обязанностей. Поздравляю васъ съ новымъ правительствомъ. Желаю Австріи счастья».

Всѣ эти слова пропадали даромъ: депутатамъ не было никакого дѣла до такой задачи, которую Меттернихъ поставилъ себѣ въ жизни; имъ не



было дѣла и до того, съ какими чувствами удалился государственный канцлеръ съ арены правительственной дѣятельности; ихъ интересовалъ только фактъ удаленія, и они, не заявивъ ему своего сочувствія ни однимъ словомъ, отвѣчали на фразы Меттерниха громкимъ крикомъ торжествующей радости и возгласами: «да здравствуетъ императоръ Фердинандъ!»

Меттернихъ не рѣшился уйти, не заявивъ еще разъ своего присутствія передъ толпой, собравшейся въ залѣ. Онъ смотрѣлъ на всѣхъ окружающихъ его людей спокойнымъ, испытующимъ взоромъ и опять заговорилъ:

«— Я прѣдвизжу, что распространится ложное убѣжденіе, будто я унесъ съ собою монархію. Противъ подобнаго убѣжденія я торжественно заявляю свой протестъ. Ни у меня, ни у кого другого нѣтъ такихъ широкихъ плечей, на которыхъ можно было бы унести государство. Если державы исчезаютъ, то это происходитъ только тогда, когда онѣ сами отрываются отъ себя».

Въ этихъ послѣднихъ словахъ, произнесенныхъ Меттернихомъ въ санѣ первенствующаго министра, сказалось то самообожаніе, которое подъ конецъ политической карьеры составляло его преобладающій недостатокъ; онъ воображалъ себѣ, что всѣ смотрятъ на него такими же глазами, какими онъ самъ смотрѣлъ на себя; онъ воображалъ себѣ, что всѣ видятъ въ немъ воплощеніе монархическаго принципа и думаютъ, что съ его удаленіемъ отъ государственныхъ дѣлъ исчезнетъ та идея, которую онъ олицетворялъ въ своей особѣ.

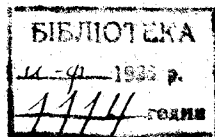
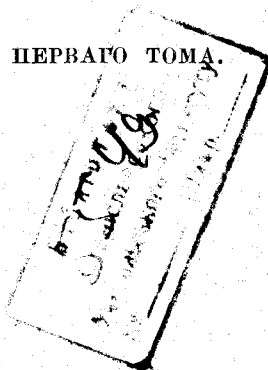
Вѣнская революція не возставала противъ монархическаго принципа; она просто требовала, чтобы правительство посвѣжѣло, обновилось и дѣятельно принялось за пересмотръ и переборку старой административной машины. Она выбросила Меттерниха не какъ представителя прин-

ципа, а просто какъ бесполезнаго, одряхлѣвшаго старика. Но принять свое паденіе такъ просто было не по силамъ государственному канцлеру: онъ сталъ на ходули, накинулъ на себя драпировку и сошелъ со сцены, какъ герой какой-нибудь ложно-классической трагедіи Расина или Корнеля; а дѣйствительно вѣнская революція едва не кончилась для него трагически. Народъ, узнавшій объ его удаленіи, на другой день утромъ, въ ночь съ 13-го на 14-е марта, разорилъ его загородную виллу и искалъ его съ твердымъ намереніемъ убить. Бывшему министру пришлось бѣжать изъ Вѣны въ наемной каретѣ, въ чужомъ платьѣ, почти безъ денегъ; пришлось бѣжать изъ австрійскихъ владѣній, черезъ всю Германію, въ Англію, въ которой онъ нашелъ себѣ безопасное убѣжище вмѣстѣ съ Людовикомъ-Филиппомъ.

О послѣдующихъ годахъ жизни Меттерниха говорить не стоитъ. Къ политической дѣятельности онъ не возвращался, а человѣческая его личность не настолько интересна, чтобы занимать насъ въ психологическомъ или въ какомъ бы то ни было другомъ отношеніи. Какъ и что онъ читалъ, какъ принималъ гостей и посѣтителей, какъ смотрѣлъ онъ самъ на политическія событія, совершавшіяся безъ его содѣйствія, какъ онъ, можетъ быть, дивился тому, что міръ не сдѣлался жертвой анархіи послѣ его выхода въ отставку,—намъ до этого нѣтъ никакого дѣла.

Князь Меттернихъ умеръ въ 1859 году, 11-го іюня, въ тотъ день, когда французы и сардинцы входили въ Миланъ, и когда дѣло Меттерниха въ Италіи окончательно разрушилось. Его похоронили послѣ торжественной процессіи 15-го іюня. Впереди его гроба несли на четырехъ черныхъ бархатныхъ подушкахъ его ордена, принадлежавшіе всѣмъ европейскимъ государствамъ, кромѣ Англіи.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.



НБ ПНУС



5548